Хилари Мантел

Зеркало и свет

Этой книгой я поставила перед собой самую сложную творческую задачу за всю свою писательскую карьеру – но и результатом довольна, как никогда. Надеюсь, и читатели не будут разочарованы после такого долгого ожидания.

Хилари Мантел

По сравнению с романами Мантел о Томасе Кромвеле 99 % современной прозы выглядит бледно и бескровно.

The Times

У римлян была «Энеида», у русских – «Война и мир»; благодаря Хилари Мантел теперь и у нас в Англии есть подлинный эпос, написанный на материале нашей истории.

Sunday Telegraph

И снова шедевр. Пружина сюжета закручена неумолимо, на зависть иным триллерам. Хилари Мантел принципиально переосмыслила сам жанр исторического романа сверху донизу. Вся трилогия, вместе взятая, – величайшее достижение британской литературы в новом веке.

Observer

Редкие авторы не просто закапываются в окаменевшие напластования прошлого, но поднимают свою добычу к свету, чтобы снова блестела, нам на радость. Хилари Мантел – из их числа. «Зеркало и свет» – даже в большей степени, чем первые два романа трилогии, – обеспечивает полное погружение в сенсориум былого и держит читателя тем сильнее, чем увереннее вторгается на территорию поэзии.

Саймон Шама, автор «Силы искусства» и «Глаз Рембрандта» (Financial Times)

Глубокий, драматичный, многоплановый, безумно увлекательный – не роман, а натуральное пиршество. И самое удивительное, что «Зеркало и свет» ничуть не уступает двум первым романам, получившим Букера. С чем бы сравнить… ну вот представьте, если бы третий «Крестный отец» был так же великолепен, как два первых.

Элизабет Гилберт, автор «Есть, молиться, любить» (The Wall Street Journal)

«Зеркало и свет» – как богато структурированный фриз, высеченный из безупречных изысканий, восхитительных характеров и экспрессионистского языка. Хилари Мантел – наш Микеланджело от литературы.

Oprah Magazine

Прошлое под пером Мантел буквально оживает: мы до последнего верим, что Кромвель имеет шанс спастись.

Vox

Если «Зеркало и свет» не принесет Хилари Мантел третьего Букера – нет в мире справедливости.

St. Louis Post-Dispatch

История Тюдоров утрачивает здесь всю тяжеловесную привычность и становится идеальным полигоном для характерно мантеловской мускулистой прозы и беспощадного остроумия, не говоря уж о ее давней зачарованности злом и насилием, религией и призраками.

Times Literary Supplement

«Зеркало и свет» являет нам новый эталон исторической прозы на поколения вперед.

Independent

Триумфальный финал завораживающей саги; многолетнее ожидание окупилось сторицей.

National Public Radio

Шедевр, который еще долго будет радовать читателей своими богатствами, меняясь с нами вместе и с нами вместе двигаясь в будущее.

Guardian

Закрыв «Зеркало и свет», я рыдала так, как не рыдала над книгой с детства. Из кремня по имени Томас Кромвель неподражаемая Хилари Мантел высекла неугасимую искру, искра же разгорелась жарким пламенем.

Сара Перри, автор «Змея в Эссексе» и «Мельмота» (Telegraph)

Ее трилогия о Кромвеле – величайшее достижение в жанре исторического романа за последнее десятилетие.

The New York Times Book Review

Ее Томас Кромвель – персонаж одновременно шекспировской глубины и модернистской сложности. Он мог бы быть Гамлетом – или пациентом из записных книжек Фрейда: то ныряет в детские воспоминания, то воспаряет к ангельским сферам.

The Atlantic

Противоречия и шероховатость – вот что придает ценность исторической прозе. Найти форму, а не навязать форму. И позволить читателю жить с неоднозначностью. Томас Кромвель – персонаж, для которого это особенно

важно. Он почти что эталон неоднозначности. Есть Кромвель популярной истории и Кромвель академической науки, и это два разных человека. Мне удалось объединить два лагеря, и теперь подоспели новые биографии Кромвеля, от популярных до самых строгих и научных. Так что у нас будет непротиворечивый Кромвель… возможно.

Хилари Мантел

Хилари Мантел – писательница, умеющая видеть сквозь кровь. Силой свой прозы она рисует моральную неоднозначность и реальную неопределенность политической жизни… Она воссоздала самый важный период новой английской истории: величайший английский прозаик современности оживляет известнейшие эпизоды из прошлого Англии.

Сэр Питер Стотард, председатель жюри Букеровской премии

Литературная изобретательность Мантел не изменила; все так же метко и точно в каждом слове.

Маргарет Этвуд (Guardian)

Мантел вдохновенно говорит голосом Кромвеля. Когда она создает сцены и придумывает диалоги, она убедительнее любой исторической хроники.

Филиппа Грегори (Sunday Express)

Портрет Томаса Кромвеля, созданный блистательной и самобытной писательницей, ниспровергает все каноны и вполне заслуженно получил Букеровскую премию.

Ф. Д. Джеймс(Sunday Telegraph: Books of the Year)

История Тюдоров, написанная мастерски и с большим знанием дела. Творение одного из лучших современных литераторов, этот грандиозный труд исследует психологию, политику и религиозное ханжество бурной эпохи Генриха VIII.

Кейт Мосс(The Times)

Настолько ново и неожиданно, что наши взгляды на историю и литературу уже никогда не будут прежними.

Том Холланд (Sunday Telegraph)

Удивительно, как Мантел воспроизводит язык и быт прошлого. Она перерывает исторические материалы и выкапывает мельчайшие, самые выразительные детали, воссоздающие прошлое как въявь. Диалоги настолько убедительны, что кажется, она в прежней жизни стенографировала разговоры в английских дворцах и тавернах.

Росс Кинг(Los Angeles Times)

Поистине завораживает. Написано виртуозно, с глубоким знанием эпохи; за счет богатейшей фактуры тюдоровский Лондон и окружение человека, идущего в гору, воссозданы с удивительным правдоподобием. Персонажи, как реальные,

так и вымышленные, от ребячески упрямого короля до кардинальского шута, обретают жизнь и замечательно передают буйный дух эпохи.

К. Дж. Сэнсом (автор романа «Горбун лорда Кромвеля»)

Масштабное полотно с тончайшей проработкой деталей, композиция из множества персонажей, лапидарный стиль, создающий мощный эффект присутствия, остроумие, поэзия и богатство оттенков.

Сара Дюнан (автор «Рождения Венеры»)

Хотя мы прекрасно знаем, чем все закончится, проза Мантел завораживает и волнует; история борьбы за власть разворачивается на наших глазах.

The Times: Books of the Year

Книга, от которой невозможно оторваться… Мантел пишет историческую прозу с такой разговорной живостью, что чувствуешь себя мухой на стене Кромвелева кабинета. Полный восторг от первой страницы до последней.

Mail on Sunday

Гений Мантел в том, что она пересказывает хорошо известную историю, залезая людям в голову, отыскивая тайные уголки мыслей, видя то, чего не видят другие. Я немного смущаюсь писать слово «гений», но…

Daily Mail

Мантел совершает переворот в литературе.

Times Literary Supplement

Мантел продолжает строить осязаемый тюдоровский мир.

Guardian: Books of the Year

Романы Мантел ничем не уступают «Крестному отцу»: те же эпичность, драматизм и напряжение.

Scotsman

Захватывающая история ярости и ужаса.

Independent on Sunday

Шедевр изящества и увлекательности.

Marie Claire

Проза Мантел великолепна… фактурная и в то же время простая, наполненная жизненной энергией. Для этих книг изобретен собственный язык: не тюдоровский, но интонациями воспроизводящий дух эпохи.

Canberra Times

Упоительно читать творение писательницы в расцвете сил, сплетенной в счастливых объятиях с музой, которую она себе покорила. Мантел и Томас Кромвель созданы друг для друга.

Sydney Morning Herald

Мантел знает, что выбрать, как сделать сцену живой, как вылепить персонажей. Она как будто не умеет отрешиться или обмануть… она инстинктивно хватается за реальность. Короче говоря, это писатель, наделенный тем, чему нельзя научить, – даром писать увлекательно.

The New Yorker

Мантел решительно сметает с истории паутину, снимает потемневший глянец архаичных фраз и маскарадной сентиментальности исторических романов, так что прошлое предстает нам живым, свежим и непривычным.

The New York Times Book Review

В 2009 году Хилари Мантел произвела фурор своим захватывающим романом «Вулфхолл», получившим Букеровскую премию… Кто бы думал, что история может быть настолько завлекательной?

Vanity Fair

То, что зовется трилогией «Вулфхолла», – удивительный труд, рождающийся на наших глазах. Прошлое кажется близким и – что лучше всего – непредсказуемым. Даже если вы знаете историю, вы будете глотать страницу за страницей, торопясь узнать, что же случится дальше.

People

Теперь, когда этот литературный подвиг совершен снова, мы видим, что самый умный вовсе не Кромвель; самая умная – Мантел.

The Huffington Post

Ее персонажи – реальные и живые люди, носители противоборствующих идей своего времени. Мантел делает прошлое живым и насущным.

The Economist

Остроумием, смелостью и поразительной широтой исторического знания Мантел вдохнула новую жизнь в избранную ей область.

Bookslut

Просто исключительно… Завидую тем, кто еще этого не читал.

Daily Mail

Новый уровень. История ближайшего советника Генриха VIII – лучшая историческая проза, какую мне случалось читать. Потрясающее достижение.

Sunday Telegraph

Блистательно в каждом слове… выше всяких похвал.

Spectator

Не думайте, что можете взяться за эту книгу когда угодно, – планируйте загодя, потому что оторваться от нее невозможно и, пока не дочитаете, вы толком не сможете даже спать.

Country Life

Увлекательный пересказ знакомой истории в непривычном ракурсе – мы проживаем драму пятивековой давности как современную и животрепещущую.

The Times

Мантел – изумительный писатель, тонкий стилист, соединяющий абсолютную точность с захватывающей глубиной погружения, и одновременно тонкий наблюдатель человеческой натуры.

New Statesman: Books of the Year

Лучший Букеровский лауреат за много лет. Насыщенная атмосфера, смелый повествовательный стиль, безусловный шедевр.

Scotsman: Books of the Year

Соединяя современное понимание зла с иронией, Мантел переносит нас прямиком в разум человека XVI столетия.

The Economist: Books of the Year

Ее Кромвель человечен и правдоподобен, а воссозданный ею двор Генриха VIII пугающе убедителен.

Scotsman: Books of the Year

Смело и захватывающе.

Financial Times: Books of the Year

Блестяще… Тюдоровская Англия Мантел – это сочащееся кровью мясо, кишки и грязь. Мантел заставляет нас задумываться о том, что мы якобы знаем. Есть историческая правда, а есть правда творческая. Мантел… чтит и ту и другую.

Spectator

Ошеломляюще прекрасно. Увлекательное повествование о борьбе за власть и политических махинациях и в то же время дивно поэтическое, полное ярких образов и фраз. Утонченное волшебство.

Daily Mail

Мантел создает мир настолько конкретный, что чувствуешь запах мокрого шерстяного плаща и колкие стебли тростника под ногами. Мы жадно ждем продолжения…

Daily Telegraph

Хилари Мантел не только безгранично талантлива, но и безгранично смела.

Observer

Мантел прекраснее всего в мрачных мелочах. Ощущение зла здесь густое, как дым от сожженной человеческой плоти, и от него перехватывает дыхание. Вот на что изредка способно слово в высшем своем проявлении.

Financial Times

Великолепно… Никогда еще не было такого сильного фаворита на Букер; не зря говорят, что Мантел наполнила само понятие исторического романа совершенно новым смыслом. В прозе Мантел есть безусловная уверенность Мюриель Спарк, и у читателя не возникает вопросов, откуда она столько знает про те времена, как не возникает сомнений и в ее оценке событий.

Evening Standard

Согласны мы с тем, как госпожа Мантел трактует историю, или нет, ее персонажи обладают собственной жизненной силой, шекспировской мощью. Стилистически ее подход «незримого наблюдателя» достигается через настоящее время, которым она владеет блестяще. Ее проза насыщенна и энергична. Диалоги не рядятся в тюдоровскую мишуру, а написаны современным языком.

The Economist

Великолепный портрет общества в эпоху пугающих перемен, а в центре этого портрета – Томас Кромвель, могущественный советник Генриха. Проза Мантел – на удивление упругая и точная.

The Washington Post

Мантел интересуют вопросы добра и зла в применении к людям, наделенным огромной властью. Отсюда ненависть, ликование, сделки, шпионы, казни и роскошные наряды… Она всегда стремится к цвету, богатству, музыке. Она внимательно читала Шекспира, но слышны и отзвуки молодого Джеймса Джойса.

The New Yorker

Мантел не просто приближает прошлое, а одним махом переносит нас туда своей искусной и мрачной прозой. Мы – путешественники во времени, очутившиеся в чужом мире… Интриги и переживания далекой эпохи превращают книгу в долгое изысканное удовольствие.

The Boston Globe

Шедевр исторической литературы… олицетворяет то, что последнее время казалось таким же мифическим, как принцессы-змеи: великий английский роман.

Bloomberg News

Мантел исследует темные течения политики XVI века и создает на удивление современного персонажа и конфликты.

The Christian Science Monitor

История Кромвеля оживает в динамичной и умной прозе госпожи Мантел… Мантел берет традиционный исторический костяк и наращивает на него фантасмагорическое разнообразие трудов и тактик, успехов и уловок своих героев.

Washington Times

Не бывает новых историй, есть только новые способы их рассказать. Мантел как писатель дерзновенна не меньше Анны Болейн; она сочиняет личные разговоры известных людей, и они читаются так, будто она их подслушала.

People Magazine

Любители исторической прозы – и великой литературы – должны визжать от восторга.

USA Today

Это тугой клубок интриг, а исторические фигуры кажутся, как никогда, живыми и человечными!

Miami Herald

Искусно сплетая историю и вымысел, Мантел рисует грандиозную картину тюдоровской Англии. Блестяще выстроенный сюжет и захватывающие диалоги…

St. Louis Post-Dispatch

На сцене истории выступает монарх, но кто-то должен за кулисами управлять всем балаганом. Для Генриха VIII этим человеком был Томас Кромвель, по крайней мере часть его царствования. У Генриха был свой способ избавляться от надоевших приближенных – топор, – и многие его советники сложили головы на плахе. Кромвель (очень дальний родственник Оливера Кромвеля, который тоже многих казнил) эффективно привел в исполнение грандиозный королевский проект по отделению церкви от Рима, но в конце концов навлек на себя гнев раздражительного Генриха (того самого, у которого было столько жен!) и был казнен. Большинство американцев простительно путает Кромвелей, но англичане знают, что это два разных человека. Томаса обычно изображают хитрым безжалостным негодяем, который уничтожал монастыри и преследовал реальных и мнимых врагов короля, мешавших тому подмять под себя католическую церковь в Англии. Все это происходило в XVI веке, когда Англию раздирали религиозные споры, а король все не мог дождаться наследника. Генрих был женат на Екатерине Арагонской, испанке, вдове его

старшего брата, и та никак не могла родить сына. У нее была только дочь, Мария, которая позже наделала столько бед. С помощью Кромвеля Генрих променял Екатерину на более молодую и теоретически более плодовитую Анну Болейн. Хотя вся история больше отдает коневодством, любители королевских особ ею упиваются. Она романтизирована и мифологизирована, и часто человеческое измерение заслоняет все остальное. Хилари Мантел блистательно восстановила историческое измерение… Погрузившись в ее прозу, вы окажетесь в мире Кромвеля и увидите его с той полнотой, какую дает только литература.

Pittsburgh Post-Gazette

В отличие от аристократов, для которых простонародье – почти инопланетная раса, Кромвель помнит жизнь простых людей и насущные нужды страны: дороги, лучшее питание, даже карты… Мантел пишет ясно и без лишних ухищрений; она воссоздает эпоху, не прибегая к архаичной речи. Огромная подготовительная работа нигде не выпирает на поверхность, но мелкие подробности рисуют осязаемую картину. Действие в значительной мере состоит из диалогов, ведь для Кромвеля слова – хлеб насущный…

Portsmouth Herald

Можно с уверенностью сказать, что романы обращаются к периоду кардинального социокультурного прорыва. Томас Кромвель, по Х. Мантел, не только персонаж истории Англии, во многом определивший этот «дрейф» страны в сторону нового мироустройства, но и личность, которая, по сути, являла собою образ новой страны, нового мышления, отношения к людям, законам, правилам и нормам бытия.

История в представлении Мантел не только политика, политические события и политические фигуры, но нечто более объемное, глубокое, одновременно более сущностное и обобщенное. Мантел понимает, что с точки зрения реконструкции истории важно все ее «тело». Наверное, поэтому в романах так много того, что называется «реалии», артефакты, физическая субстанция прошлого в ее телесности и осязаемости. Именно при их помощи скорее всего и легче всего реконструируется прошлое.

Борис Проскурнин (Филологический класс)

Читается этот политический экшн, скажем прямо, не всегда легко (а кто сказал, что заниматься интригами в Англии XVI века легко?), но очарование живого, трепещущего исторического действа того стоит. Да и харизма самого Томаса Кромвеля тоже – не обаяние зла, не обаяние наглого выскочки, но почти магические флюиды универсального ренессансного человека-который-кажется-знает-и-умеет-все… хотя, надо признаться, есть в мантелевском Кромвеле и что-то от крутых, опасных парней из американского кино. В любом случае у Хилари Мантел получилось создать персонаж, в который можно влюбиться, – а это, согласитесь, один из лучших способов выучить историю.

Мария Мельникова (Книжное обозрение)

Чем на этой поляне, вытоптанной до залысин десятками писателей и сотнями историков, можно еще удивить? Оказалось, главным героем. Мантел выбрала Томаса Кромвеля, нежно полюбила, переиначила его давно сложившийся

демонический образ и не прогадала. Если иные утверждают – льстил и манипулировал, автор отвечает: был внимателен и умел убеждать. И не жадный, а хозяйственный. Не хитрый, а рациональный. Не мстительный, а последовательный. Не выскочка, а self-made man.

Чтобы упрочить свидетельскую правдивость героя, автор плотно набивает тексты подлинными вещами. Когда упоминает латинское издание «Государя» Макиавелли, золоченую звезду для новогоднего дерева, подаренный архиепископом перстень, резные шахматы – не сомневайтесь: существование этих предметов документально подтверждено.

Остальное – кривотолки: главная движущая сила сюжетов. Все интригуют против всех, о важнейших событиях узнают по сплетням, власть зиждется на заговорах, государственные решения зависят от придворных фейков. Мантел мастерски передает атмосферу словесной вакханалии – романная действительность соткана ею из диалогов. Отточенных, как меч казнившего Анну палача. Энергичных, как алчущие выгоды аристократы. Раскрывающих замыслы собеседников «от» и «до». И предельно информативных. Как те слухи, коими полнятся эти книги.

Big Kyiv

Мантел не предлагает никаких постмодернистских ребусов «переведи то время в наше», как это было, например, в «Имени Розы» Умберто Эко. И точно так же нет в ее книгах политической назидательности, ради которой пишут такие тексты многие современные романисты (из соотечественников, например, Дмитрий Быков и Леонид Юзефович), у которых прошлое – всего лишь метафора нашего времени, а знаменитые «мертвецы» оказываются всего лишь удобными трансляторами авторских мыслей о современном. Мантел же совсем не интересует совпадение теперешней картинки с трафаретом прошлого. Вообще, если ее что-нибудь интересует, помимо собственно фигуры ее главного героя, – то это то, что называется «судом истории», и его справедливость.

При жизни Томас Кромвель практически официально был «самым ненавидимым человеком в Англии». Жесткость, с которой он закрывал монастыри и подавлял восстания монахов, угнетала даже короля, в пользу которого это все и делалось. При этом Кромвель, как оно часто и бывает, был умным государственником и прекрасным администратором.

«Не мертвые преследуют живых, а живые – мертвых. Кости и черепа вытряхивают из саванов, в лязгающие челюсти, как камни, бросают слова. Мы исправляем книги, оставшиеся от покойников, переписываем их жизнь». Если Хилари Мантел и стоило давать беспрецедентных Букеров – подряд за первую и вторую часть ее трилогии, – то за это высказывание. За признание своего (то есть писательского вообще) произвола, позволяющего делать давние жизни и смерти козырями в своей игре.

Анна Наринская (Коммерсантъ)

Сначала ты ждешь Букеровскую премию двадцать лет, а потом получаешь сразу две. Сейчас мне предстоит сложная задача: пойти и написать третью часть. Я, конечно, не рассчитываю стоять на этой сцене снова, но рассматриваю премию как знак доверия.

Хилари Мантел (из речи на Букеровской церемонии)

Мэри Робертсон в честь многолетней дружбы

Действующие лица

Покойники

Анна Болейн, королева Англии.

Ее предполагаемые любовники:

Джордж Болейн, виконт Рочфорд, ее брат.

Генри Норрис, главный из джентльменов, состоящих при короле.

Фрэнсис Уэстон и Уильям Брертон, джентльмены из окружения короля.

Марк Смитон, музыкант.

Дом Кромвеля

Томас Кромвель, позднее лорд Кромвель, государственный секретарь, лорд – хранитель малой королевской печати, викарий короля по делам церкви.

Грегори, его сын, единственный выживший ребенок от брака с Элизабет Уайкис.

Мерси Прайор, его теща.

Рейф Сэдлер, его старший письмоводитель, который вырос в семье Кромвеля, позднее приближенный короля.

Хелен, жена Рейфа.

Ричард Кромвель, его племянник, женатый на Франсис Мерфин.

Томас Авери, его домашний счетовод.

Терстон, его главный повар.

Дик Персер, псарь.

Женнеке, дочь Кромвеля (вымышленный персонаж).

Кристоф, слуга (вымышленный персонаж).

Мэтью, слуга, ранее служивший в Вулфхолле (вымышленный персонаж).

Бастингс, рулевой барки (вымышленный персонаж).

Семья и двор короля

Генрих VIII.

Джейн Сеймур, его третья жена.

Эдуард, его малолетний сын, рожденный в 1537 году, наследник престола.

Генри Фицрой, герцог Ричмондский, незаконнорожденный сын Генриха от Элизабет Блаунт, женатый на Мэри Говард, дочери герцога Норфолка.

Мария, дочь Генриха от Екатерины Арагонской, лишена права престолонаследия после того, как брак ее родителей был признан недействительным.

Елизавета, малолетняя дочь Генриха от Анны Болейн, лишена права престолонаследия после того, как второй брак короля был признан недействительным.

Анна, сестра герцога Вильгельма Клевского, четвертая жена Генриха.

Кэтрин Говард, фрейлина Анны, пятая жена Генриха.

Маргарет Дуглас, племянница Генриха, дочь его сестры Маргариты от второго брака с Арчибальдом Дугласом, графом Ангусом, выросла при дворе Генриха.

Уильям Беттс, врач.

Уолтер Кромер, врач.

Джон Чамберс, врач.

Ганс Гольбейн, художник.

Секстон, известный как Заплатка, шут, ранее состоял при Вулси.

Семейство Сеймуров

Эдвард Сеймур, старший сын, женатый на Энн (Нэн) Стэнхоуп.

Леди Марджери Сеймур, его мать.

Томас Сеймур, его младший брат.

Элизабет Сеймур, его сестра; вдова сэра Антони Отреда, впоследствии жена Грегори Кромвеля.

Политики и церковники

Томас Ризли, прозванный Зовите-меня, хранитель личной королевской печати, бывший протеже Гардинера, впоследствии переметнувшийся к Кромвелю.

Стивен Гардинер, епископ Винчестерский, посол во Франции, бывший секретарь кардинала Вулси, впоследствии королевский секретарь, чья должность перешла к Кромвелю.

Ричард Рич, спикер палаты общин, канцлер палаты приращений.

Томас Одли, лорд-канцлер.

Томас Кранмер, архиепископ Кентерберийский.

Роберт Барнс, лютеранский священник.

Хью Латимер, реформат, епископ Вустерский.

Ричард Сэмпсон, епископ Чичестерский, специалист в каноническом праве, консерватор.

Катберт Тунстолл, епископ Даремский, бывший епископ Лондонский.

Джон Стоксли, епископ Лондонский, консерватор, соратник казненного Томаса Мора.

Эдмунд Боннер, посол во Франции после Гардинера, епископ Лондонский после Стоксли.

Джон Ламберт, священник-реформат, обвиненный в ереси и сожженный на костре в 1538 году.

Придворные и аристократы

Томас Говард, герцог Норфолкский.

Генри Говард, его сын, граф Суррейский.

Мэри Говард, его дочь, замужем за Фицроем, королевским бастардом.

Томас Говард, его единокровный брат, известный как Правдивый Том.

Чарльз Брэндон, герцог Суффолкский, старый друг Генриха, был женат на его покойной сестре Марии.

Томас Уайетт, друг Кромвеля, поэт, дипломат, предполагаемый любовник Анны Болейн.

Генри Уайетт, его престарелый отец, давний сторонник Тюдоров.

Бесс Даррелл, любовница Уайетта, ранее фрейлина Екатерины Арагонской.

Уильям Фицуильям, позднее лорд-адмирал и граф Саутгемптон, союзник Кромвеля.

Николас Кэрью, видный придворный, сторонник Марии, дочери короля.

Элиза Кэрью, его жена, сестра Фрэнсиса Брайана.

Фрэнсис Брайан, прозванный Наместником Сатаны, закоренелый игрок и недипломатичный дипломат, шурин Николаса Кэрью.

Томас Калпепер, джентльмен из свиты короля.

Филип Хоуби, джентльмен из свиты короля.

Джейн Рочфорд, фрейлина, вдова казненного Джорджа Болейна.

Томас Болейн, граф Уилтширский, отец Анны Болейн и Джорджа Болейна.

Мэри Шелтон, кузина Анны Болейн и бывшая фрейлина.

Мэри Маунтигл, фрейлина.

Нэн Зуш, фрейлина.

Кэтрин, леди Латимер, урожденная Кэтрин Парр.

Генри Буршье, граф Эссекский.

Двор королевских детей

Джон Шелтон, распорядитель двора королевских дочерей.

Энн Шелтон, его жена, тетя Анны Болейн.

Леди Брайан, мать Фрэнсиса Брайана и Элизы Кэрью, воспитательница королевских дочерей Марии и Елизаветы, позднее малолетнего Эдуарда.

В монастыре в Шефтсбери

Элизабет Зуш, настоятельница.

Доротея Вулси, известная как Доротея Клэнси, незаконнорожденная дочь кардинала.

Соперники Генриха в борьбе за трон

Генри Куртенэ, маркиз Эксетерский, потомок дочери Эдуарда IV.

Гертруда, его жена.

Маргарет Поль, графиня Солсбери, племянница Эдуарда IV.

Генри, лорд Монтегю, ее старший сын.

Реджинальд Поль, ее сын, предполагаемый вождь крестового похода с целью вернуть Англию под власть папы.

Джеффри Поль, ее сын.

Констанция, жена Джеффри.

Дипломаты

Эсташ Шапюи, посол императора Карла V в Лондоне, франкоговорящий савояр.

Диего Уртадо де Мендоса, посол императора.

Жан де Дентвиль, французский посол.

Луи де Перро, сеньор де Кастильон, французский посол.

Антуан де Кастельно, епископ Тарба, французский посол.

Шарль де Марильяк, французский посол.

Гохштеден, посланник Клеве.

Олислегер, посланник Клеве.

Харст, посланник Клеве.

В Кале

Лорд Лайл, лорд-наместник, губернатор, дядя короля.

Хонор, его жена.

Энн Бассет, одна из дочерей Хонор от первого брака.

Джон Хуси, чиновник из гарнизона Кале, поверенный Лайла.

В Тауэре

Сэр Уильям Кингстон, королевский советник, комендант Тауэра.

Эдмунд Уолсингем, смотритель Тауэра, его заместитель.

Мартин, тюремный надзиратель (вымышленный персонаж).

Друзья Кромвеля

Хемфри Монмаут, лондонский купец, побывавший в тюрьме за то, что дал приют Уильяму Тиндейлу, переводчику Библии на английский язык.

Роберт Пакингтон, купец и член парламента.

Стивен Воэн, антверпенский купец.

Маргарет Вернон, аббатиса, ранее наставница Грегори.

Джон Бойл, монах-расстрига, драматург.

Freres humains qui apres nous vivez

N’ayez les cuers contre nous endurciz.

Терпимей будьте, братья-люди, к нам,

Что раньше вас прошли земным путем[1].

Франсуа Вийон

Взгляни наверх, крепчает ветер,

Готовы мы отплыть.

«Потоп», миракль

Часть первая

I

Обломки (1)

Лондон, май 1536 г.

Королеве срубили голову, он уходит. Острый приступ голода напоминает ему, что сейчас время второго завтрака или раннего обеда. Для событий этого утра еще не придумано правил. Очевидцы, преклонившие колени, чтобы проводить ее душу, встают и надевают шляпы. Под шляпами ошеломленные лица.

Он возвращается похвалить палача, который исполнил работу с изяществом и блеском, и, хотя король был щедр, важно наградить за отличную службу не только кошельком, но и словами. Бывший бедняк, он знает по опыту.

Маленькое тело лежит там, где упало: на животе, раскинув руки, оно плывет в алом, кровь сочится сквозь доски эшафота. Француз – за ним посылали в Кале – запеленал голову в ткань и передал одной из женщин, которые прислуживали Анне в последние минуты. Он наблюдает, как, приняв узел у палача, женщина вздрагивает от затылка до пят. Впрочем, узел она сжимает крепко, голова тяжелее, чем кажется. Ему, бывавшему на полях сражений, это известно.

Женщины ведут себя весьма похвально. Анна бы ими гордилась. Они не позволяют никому из мужчин ее коснуться; выставляют вперед ладони, отстраняют тех, кто вызвался помочь. Оскальзываясь в крови, склоняются над тщедушным телом. Он слышит их сдержанные вдохи, когда они поднимают за ткань то, что осталось от Анны. Женщины боятся, что ткань порвется и пальцы коснутся холодеющей плоти. Обходят пропитанную кровью подушку, на которой она преклонила колени. Краем глаза он видит, как кто-то срывается с места – легкий на подъем тощий придворный в кожаном джеркине. Ловкач Фрэнсис Брайан спешит сообщить королю, что отныне тот – свободный мужчина. Фрэнсис – кузен мертвой королевы, однако не забывает, что и будущая королева – его кузина.

Под гроб приспособили узкий сундук для стрел, как раз по размеру. Женщина, которая держит узел, опускается на колени вместе со своей подмокшей ношей. Поскольку места в сундуке больше нет, голову помещают в ноги трупа. Женщина встает, крестится. Окружающие повторяют ее жест, его рука послушно следует за всеми, затем он спохватывается и сжимает пальцы в кулак.

Бросив прощальный взгляд, женщины отступают, держа руки на весу, чтобы не запачкать платья. Кто-то из подчиненных Кингстона приносит льняные полотенца, слишком поздно. Эти люди меня поражают, говорит он французу. У них было несколько дней, чтобы найти гроб. Они знали, что ей не жить. Никаких сомнений не было.

– Может, и были, мэтр Кремюэль. – (Ни один француз не способен произнести его имя правильно.) – Может, и были, поскольку, как я понимаю, сама дама надеялась, что король пришлет гонца остановить казнь. Видели, как она смотрела через плечо, поднимаясь по ступеням?

– Он о ней и думать забыл. Все его мысли о новой невесте.

– Alors[2], пусть на этот раз все сложится, – говорит француз. – Надейтесь на лучшее. Если меня вызовут снова, я запрошу больше.

Палач отворачивается и начинает чистить меч, обращаясь с ним любовно, словно оружие – его друг.

– Толедская сталь. – Француз протягивает меч, предлагая ему полюбоваться. – Чтобы заполучить такой клинок, до сих пор кланяемся испанцам.

Он, Кромвель, трогает пальцем лезвие. Сегодня, глядя на него, в это трудно поверить, но его отец был кузнецом. Его влечет ко всему железному, стальному, к тому, что извлечено из земли и выковано, к тому, что плавится, чеканится, заостряется. На мече гравировка: терновый венец и молитва.

Зрители понемногу расходятся, придворные, олдермены и городские чиновники, в шелках и золотых цепях, в ливреях Тюдоров, со знаками отличия лондонских гильдий. Два десятка очевидцев, и никто толком не понимает, свидетелем чего стал. Они знают, что королева мертва, но все произошло так быстро, что еще не уложилось в голове.

– Она не страдала, Кромвель, – говорит Чарльз Брэндон.

– Милорд Суффолк, не переживайте, она страдала.

Брэндон ему омерзителен. Когда все преклонили колени, герцог остался стоять. Слишком много чести; герцог ненавидит королеву. Он вспоминает, какой нетвердой походкой она шла к эшафоту, ее взгляд через плечо, который не ускользнул от француза. Даже произнеся последнее слово и призвав молиться за короля, она продолжает всматриваться поверх толпы. И все же не позволила надежде себя ослабить. Редкая женщина способна так встретить свой конец, да и мужчин немного. Он заметил, что ее начала бить дрожь, но это было уже после молитвы. Обошлись без плахи, француз просто велел Анне встать на колени. Одна из женщин завязала повязку. Она не видела ни меча, ни даже его тени, клинок вошел в шею с тихим свистом, мягче, чем ножницы в шелк. Все мы – точнее, большинство, не Брэндон – сожалеем, что до такого дошло.

Сундук несут в часовню, плиты подняты: Анну положат рядом с братом Джорджем Болейном.

– При жизни они делили ложе, – говорит Брэндон, – весьма удобно, что теперь они делят гробницу. Посмотрим, как они будут любиться там.

– Идемте, господин секретарь, – говорит комендант Тауэра. – Предлагаю легкий завтрак, если вы окажете мне честь. Все мы сегодня встали ни свет ни заря.

– Вы можете есть, сэр? – Его сын Грегори сегодня впервые видел смерть.

– Мы должны трудиться, чтобы есть, и есть, чтобы трудиться, – говорит Кингстон. – Зачем королю слуги, которые из-за мыслей о куске хлеба не могут сосредоточиться?

– Сосредоточиться, – повторяет Грегори.

Недавно сына послали учиться искусству риторики, и, хотя Грегори еще не овладел приемами красноречия, он стал внимательнее к отдельно взятым словам. Иногда кажется, будто он выстраивает их в ряд, чтобы рассмотреть, иногда – тычет в них палкой, а порой – от этого сравнения невозможно удержаться – подбирается к ним, крутя хвостом, словно пес, обнюхивающий какашки других собак.

– Сэр Уильям, а бывало раньше, чтобы английскую королеву казнили? – спрашивает Грегори коменданта.

– Насколько я знаю, нет, – отвечает комендант. – Во всяком случае, юноша, при мне такого не случалось.

– Это заметно, – говорит он, Кромвель. – Так все ваши промахи последних дней просто из-за отсутствия опыта? Вы не способны с первого раза что-нибудь сделать правильно?

Кингстон заливисто смеется. Вероятно, думает, что он пошутил.

– Видите, милорд Суффолк, – обращается комендант к Чарльзу Брэндону, – Кромвель считает, мне не мешает набраться опыта в отрубании голов.

Этого я не говорил, думает он, а вслух произносит:

– Сундук для стрел был удачной находкой.

– Я бросил бы ее в навозную кучу, – откликается Брэндон. – А под ней закопал бы ее братца. И заставил бы их отца смотреть. О чем вы только думали, Кромвель? Зачем оставили его в живых? От него одни неприятности.

Он гневно оборачивается к герцогу, впрочем зачастую его гнев притворный.

– Милорд Суффолк, вам часто случалось оскорблять короля и после на коленях умолять о прощении. И, зная вас, не сомневаюсь, что на этом вы не остановитесь. Так что же? Вам нужен король, которому неведомо милосердие? Если вы, как утверждаете, любите короля, подумайте о его душе. Однажды он предстанет перед Господом и ответит за каждого подданного. Если я говорю, что Томас Болейн не опасен для государства, значит не опасен. И если я говорю, что он будет жить в мире и покое, то так тому и быть.

Гуляющие придворные поглядывают на них: Суффолк, с огромной бородой, сверкающие глаза, мощная грудь, и государственный секретарь, одетый неярко, приземистый, в теле. Придворные с опаской обходят ссорящихся, удаляясь судачить в дальний конец лужайки.

– Господи помилуй! – говорит Брэндон. – Вы решили преподать мне урок? Мне, пэру королевства? Вы, оттуда, откуда вы взялись?

– Я стою там, куда меня поставил король. И если я намерен преподать вам урок, вам придется его усвоить.

Он, Кромвель, думает, остановись, что ты творишь? Обычно он сама учтивость. Но если смолчать у эшафота, то где тогда говорить правду?

Он косится на сына. С коронации Анны прошло три года без одного месяца. Некоторые из нас стали мудрее, другие – выше. Грегори, когда он велел ему присутствовать на казни, сказал, что не сможет: «Она женщина, я не выдержу». Однако мальчик следил за лицом и речами. Всякий раз, когда ты будешь среди людей, учил он Грегори, знай, они оценивают тебя, прикидывают, достоин ли встать рядом со мной на королевской службе.

Они отступают, чтобы отвесить поклоны герцогу Ричмондскому, Генри Фицрою, королевскому бастарду. Это красивый юноша, унаследовавший от отца тонкую розоватую кожу и рыжие волосы: нежное растеньице, гибкий, как тростинка, ему еще предстоит вытянуться и возмужать. С высоты своего роста Ричмонд нависает над ними.

– Господин секретарь? Этим утром Англия стала лучше.

Грегори спрашивает:

– Милорд, вы тоже не встали на колени. Почему?

Ричмонд вспыхивает. Он понимает, что не прав, и, как его отец, не умеет это скрыть, но, как отец, готов с пеной у рта отстаивать свою неправоту.

– Я не хочу быть лицемером, Грегори. Милорд отец сказал мне, что Болейн хотела меня отравить. Хвасталась этим. Теперь ее непотребства разоблачены и она понесла заслуженное наказание.

– Вы не больны, милорд? – Слишком много вина вчера вечером, догадывается он: пили за будущее Ричмонда, не иначе.

– Просто устал. Мне нужно выспаться. Выбросить это зрелище из головы.

Грегори провожает Ричмонда глазами:

– Как вы думаете, он станет королем?

– Если станет, он тебя не забудет, – весело отвечает он.

– Он и так меня помнит, – говорит Грегори. – Я сболтнул лишнего?

– Иногда полезно говорить то, что у тебя на уме. В особых случаях. Даром тебе это не пройдет, но говорить все равно следует.

– Не думаю, что стану советником, – замечает Грегори. – Вряд ли я когда-нибудь это освою: открывать рот или молчать, смотреть или отводить взгляд. Вы сказали, когда палач занесет меч, после чего она умрет, – так вот, когда он занесет меч, вы сказали, опусти голову и закрой глаза. Но я наблюдал за вами – вы смотрели.

– А что мне оставалось? – Он берет сына за руку. – Иначе покойница приставила бы отрубленную голову на место, выхватила у палача меч и гнала бы меня до самого Уайтхолла.

Может быть, она и мертва, думает он, но все еще способна меня погубить.

Завтрак. Пшеничные булки из лучшей муки, кружащее голову крепкое вино. Герцог Норфолк, дядя покойной, кивает ему:

– Не всякий труп влезет в сундук для стрел, другому пришлось бы руки отрубать. Вы не думаете, что Кингстон сдает?

Грегори удивлен:

– Сэр Уильям не старше вас, милорд.

Раздается гогот:

– Считаешь, шестидесятилетних надо, как старых лошадей, ссылать в деревню щипать траву?

– Грегори считает, из них давно пора варить клей. – Он обнимает сына за плечи. – И скоро сварит его из собственного отца.

– Но вы гораздо моложе милорда Норфолка. – Грегори оборачивается к герцогу, подробно объясняет: – Мой отец здоровяк, если не считать лихорадки, которую он подхватил в Италии. Да, он работает от зари до зари, но работа еще никого не сводила в могилу, как он любит повторять. Врачи говорят, его не свалишь с ног пушечным ядром.

Те, кто присутствовал на казни, своими глазами видели, что с прежней королевой покончено, и теперь теснятся в открытых дверях. Городские чиновники, отпихивая друг друга, спешат перемолвиться с ним словечком. У всех на устах один вопрос: господин секретарь, когда мы увидим новую королеву? Когда Джейн удостоит нас чести ее лицезреть? Проедет ли она по городу верхом или проплывет на королевской барке? Какой герб выберет, какой девиз? Когда нам усадить художников и мастеров за работу? Скоро ли коронация? Какой подарок придется ей по душе, как угодить будущей королеве?

– Мешок с деньгами будет всегда кстати, – отвечает он. – Вряд ли она покажется на публике до свадьбы, но ждать осталось недолго. Она по-старомодному набожна, поэтому стяги и расписные ткани с изображением ангелов, святых и Девы Марии придутся ей по вкусу.

– Придется поискать, что у нас залежалось со времен Екатерины, – говорит лорд-мэр.

– Весьма благоразумно, сэр Джон, к тому же сэкономит городскую казну.

– У нас есть триптих с житием святой Вероники, – замечает престарелый член гильдии. – На первой доске плачущая святая стоит на пути к Голгофе, а Христос несет мимо свой крест. На второй…

– Разумеется, – бормочет он.

– …на второй святая вытирает лицо Спасителя, на третьей держит окровавленный плат, на котором проступает образ Христа, запечатленный Его драгоценной кровью.

– Моя жена заметила, – говорит комендант Кингстон, – что утром дама вместо обычного своего чепца надела головной убор по образцу тех, которые носила покойная Екатерина. Жена задумалась, что бы это значило.

Возможно, то был знак уважения умирающей королевы королеве умершей. Этим утром они встретятся в иной стране, им будет о чем поговорить.

– Если бы моя племянница подражала Екатерине в скромности, кротости и покорности, – говорит Норфолк, – то сберегла бы голову на плечах.

Грегори от изумления пятится, врезаясь в лорд-мэра:

– Но, милорд, Екатерина не была покорной! Она годами отказывалась подчиниться королю, который велел ей отступиться и дать ему развод! Разве вы не сами ездили убеждать ее, а она заперлась у себя в комнате, и вы все Святки кричали ей через дверь?

– Вы перепутали меня с милордом Суффолком, – бросает герцог. – Еще один бесполезный старый дурень, так, Грегори? Чарльз Брэндон – это великан с большой бородой, а я жилистый старикан с дурным нравом. Видите разницу?

– Ах да, припоминаю, – говорит Грегори. – Эта история так пришлась по душе моему отцу, что мы сделали из нее пьесу, которую поставили в Двенадцатую ночь. Моему кузену Ричарду, который изображал милорда Суффолка, приделали кудельную бороду до пояса, а мастер Рейф Сэдлер, натянув юбку, честил герцога по-испански. Отцу досталась роль двери.

– Жаль, я не видел. – Норфолк трет кончик носа. – Нет-нет, Грегори, я не шучу. – Они с Чарльзом Брэндоном давние соперники и радуются промахами друг друга. – Интересно, что вы поставите на следующее Рождество?

Грегори открывает рот и снова закрывает. Будущее – чистый белый лист. Он, Кромвель, спешит вмешаться, пока сын не начал этот лист заполнять:

– Джентльмены, могу поведать вам, какой девиз избрала новая королева. «Повиноваться и служить».

Гости пробуют слова на вкус.

Брэндон хохочет:

– Лучше подстелить соломки, не так ли?

– Совершенно согласен. – Норфолк опрокидывает мадеру. – Отныне, кто бы ни вздумал перечить Генриху, это будет не Томас Говард.

Он тычет себя пальцем в грудину, словно иначе его не поймут. Затем хлопает государственного секретаря по плечу, всем видом подчеркивая доброе расположение:

– И что теперь, Кромвель?

Не обманывайтесь. Дядюшка Норфолк нам не товарищ, не союзник и не друг. Он хлопает нас, чтобы оценить нашу твердость. Оглядывает бычью шею Кромвеля, примеряется, какой клинок подойдет.

В десять они оставляют честную компанию. Снаружи солнечные лучи пятнают траву. Он шагает в тень, его племянник Ричард Кромвель рядом.

– Надо бы навестить Уайетта.

– Все хорошо, сэр?

– Лучше не бывает, – отвечает он честно.

Именно Ричард несколько дней назад привел Томаса Уайетта в Тауэр, не применяя силу, не зовя стражников. Словно пригласил на прогулку по берегу реки. Ричард наказал относиться к узнику со всевозможным почтением, поместить его в удобную камеру в надвратной башне: туда и ведет их надзиратель Мартин.

– Как заключенный?

Словно речь идет не об Уайетте, а о простом узнике, до которого ему не больше дела, чем до любого другого.

Мартин отвечает:

– По-моему, сэр, он никак не может забыть тех пятерых джентльменов, что третьего дня лишились голов.

Мартин произносит это небрежно, будто потерять голову все равно что шляпу.

– Мастер Уайетт удивляется, почему его не было среди них, – продолжает Мартин. – А еще он все время ходит, сэр. Потом садится, на столе бумага. Кажется, будто собирается писать, но нет. Не спит. Глухой ночью требует света. Подвигает к столу табурет, очиняет перо. Шесть утра, светло как днем, ты приносишь ему хлеб и эль, он сидит перед чистым листом, а свеча горит. Только добру перевод.

– Приноси ему свечи. Я оплачу.

– Хотя должен признать, он настоящий джентльмен. Не такой гордец, как те, другие. Генри Норриса называли Добрый Норрис, но с нами обращался как с собаками. Истинного джентльмена по тому и видно, что он учтив даже в дни испытаний.

– Я запомню, Мартин, – говорит он серьезно. – Как поживает моя крестница?

– Ей уже два, можете поверить?

В ту неделю, когда родилась дочь Мартина, он навещал в Тауэре Томаса Мора. То было самое начало их поединка; он еще надеялся, что Мор уступит королю и спасет свою жизнь. «Будете крестным?» – спросил его Мартин. Он выбрал имя Грейс, так звали его умершую младшую дочь.

Мартин говорит:

– Мы не можем присматривать за узником каждую минуту. Боюсь, мастер Уайетт наложит на себя руки.

Ричард смеется:

– Мартин, неужто среди твоих подопечных не было поэтов? Любителей тяжко вздыхать, а если молиться, то непременно в рифму? Поэт подвержен меланхолии, но, уверяю тебя, способен позаботиться о себе не хуже прочих. Ему нужны пища и питье, а если у него что-нибудь заболит или кольнет, ты об этом услышишь.

– Уайетт пишет сонет, когда ушибет палец на ноге, – замечает он.

– Поэты благоденствуют, – подхватывает Ричард, – а вся боль достается их друзьям.

Мартин сообщает узнику об их прибытии легким стуком в дверь, словно за ней покои знатного лорда.

– Посетители, мастер Уайетт.

В комнате танцуют солнечные блики, молодой человек сидит за столом в луче света.

– Отодвиньтесь, Уайетт, – говорит Ричард. – Солнце падает вам прямо на лысину.

Он забывает, как груба молодость. Когда король спрашивает: «Я лысею, Сухарь?» – он отвечает: «Форма головы вашего величества восхитит любого живописца».

Уайетт проводит ладонью по редким светлым волосам:

– Выпадают, не успеешь оглянуться, Ричард. К моим сорока ни одна женщина на меня и не взглянет, если только не вздумает проломить мне череп ложечкой для яйца.

Каждую минуту Уайетт готов расплакаться или расхохотаться, но ни смех, ни слезы не имеют значения. Еще живой, когда пятеро казнены, живой и не перестающий этому изумляться, он трепещет на грани нестерпимой боли, словно человек, который подвешен на крюке и упирается в пол лишь пальцами ног. Он, Кромвель, слышал о таком способе допроса, но не имел надобности к нему прибегать. Заводите руки узнику за спину и подвешиваете его на потолочной балке. Вес тела удерживает лишь эта крохотная точка опоры. Если узник шевельнется или если выбить из-под него ноги, он повиснет на руках и вывихнет оба плеча. Хотя это лишнее, незачем никого калечить, пусть болтается в воздухе, пока не удовлетворит ваше любопытство.

– В любом случае мы уже позавтракали, – говорит он. – Комендант Кингстон такой растяпа, что мы боялись, как бы он не угостил нас заплесневелым хлебом.

– Он не привык, – говорит Уайетт. – Отрубить голову английской королеве и пяти ее любовникам. Такое выпадает не каждую неделю.

Он раскачивается, раскачивается на крюке, вот-вот оступится и завопит.

– Итак, все кончено? Иначе бы вас здесь не было.

Ричард пересекает комнату, склоняется над затылком Уайетта, треплет его по плечу, твердо и по-дружески, словно хозяин любимого пса. Уайетт неподвижен, лицо в ладонях. Ричард поднимает глаза: сами скажете, сэр?

Он наклоняет голову: говори ты.

– Она храбро встретила смерть, – произносит Ричард. – Говорила мало и по делу, просила прощения, благодарила короля за милосердие и не пыталась оправдаться.

Уайетт поднимает голову, в глазах изумление.

– Она никого не обвиняла?

– Не ей обвинять кого бы то ни было, – мягко замечает Ричард.

– Но вы же знаете Анну. У нее было здесь время подумать. Должно быть, она спрашивала себя, – его голубые глаза косятся в сторону, – почему я здесь, где свидетельства против меня? Наверняка она молилась за пятерых казненных и недоумевала, почему среди них нет Уайетта?

– Вряд ли она обрадовалась бы, увидев вашу голову на плахе, – говорит он. – Знаю, любви между вами не осталось, знаю, насколько злобный был у нее нрав, но едва ли она желала увеличить число мужчин, которых погубила.

– Не уверен, – говорит Уайетт. – Возможно, она сочла бы это справедливостью.

Ему хочется, чтобы Ричард наклонился и зажал Уайетту рот.

– Том Уайетт, – говорит он, – покончим с этим. Возможно, вы чувствуете, что исповедь облегчит душу. Коли так, пошлите за священником, скажите, что должны, получите отпущение грехов и заплатите ему за молчание. Но, бога ради, не исповедуйтесь мне. – Он мягко добавляет: – Вы сделали то, что трудно было сделать. Вы сказали то, что должны были сказать. Но больше ни слова.

– Иначе платить придется нам, – говорит Ричард. – Ради вас мой дядя прошел по лезвию ножа. Подозрения короля были настолько сильны, что никто другой не сумел бы их развеять, и, если бы не мой дядя, король казнил бы вас вместе с остальными. А к тому же, – Ричард поднимает глаза, – сэр, можно ему сказать? Суд не нуждался в показаниях, которые вы нам дали. Ваше имя

не упоминалось. Ее брат сам себя осудил, открыто насмехаясь над королем и утверждая перед лицом судей, что, несмотря на всю похвальбу, Генрих не способен удовлетворить женщину.

– Именно так, – говорит он, глядя в потрясенное лицо узника, – чего вы хотели от Джорджа Болейна? А мне пришлось терпеть этого глупца годами.

– А жена Джорджа, – продолжает Ричард, – оставила письменное признание, в котором утверждает, что видела, как ее муж целовал свою сестру и его язык был у нее во рту, а также, что они часто запирались вдвоем и проводили вместе часы.

Уайетт отодвигает табурет от стола, подставляет лицо свету, и солнечные лучи стирают с него всякое выражение.

– Фрейлины Анны, – продолжает Ричард, – тоже свидетельствовали против нее. Рассказали обо всех этих хождениях в темноте. Так что обошлись без вашей помощи. Они сообщили, что это продолжалось целых два года, если не больше.

Господи, думает он, довольно. Вынимает из-за пазухи стопку сложенных листов, бросает на стол:

– Это ваши показания. Сами уничтожите или доверите мне?

– Сам, – говорит Уайетт.

Он до сих пор мне не доверяет. Господь свидетель, думает он, я всегда был с ним честен. Всю неделю, час за часом, он торговался за жизнь Уайетта. В обмен предлагал Генриху свидетельства узника о прелюбодеяниях королевы. Прелюбодействовал ли с ней сам Уайетт – об этом он не спрашивал и никогда не спросит. Короля заверил, что нет, впрочем без лишних слов. Если он ввел Генриха в заблуждение, лучше об этом не знать.

– Я обещал вашему отцу за вами присмотреть. Я исполнил обещание.

– Премного обязан.

Снаружи красные коршуны чертят небо над Тауэром. Король решил не выставлять на всеобщее обозрение головы Анниных любовников. Если придется ехать по Лондонскому мосту с новой женой, его город должен быть чист и прибран. Коршунов лишили добычи; неудивительно, замечает он Ричарду, что они кружат над Томом Уайеттом.

Ричард говорит:

– Сами видите. Достойный человек. Даже тюремщики от него без ума. Ночной горшок и тот в восторге, что Уайетт до него снисходит.

– Мартин пытался обиняками вызнать, что его ждет.

– Ага, – говорит Ричард. – Еще привяжешься к нему ненароком. И что потом?

– Здесь он пока в безопасности.

– Аресты прекратятся? Уайетт был последним?

– Да.

– Значит, с этим покончено?

– Покончено? Нет.

Сейчас Томасу Кромвелю пятьдесят. Те же быстрые глазки, то же непробиваемое коренастое тело, то же расписание дня. Его дом там, где он просыпается: в архивах на Чансери-лейн, в его городском доме в Остин-фрайарз, с королем в Уайтхолле или в любом из тех мест, где случится заночевать Генриху. Встает в пять, читает молитвы, совершает омовение, завтракает. В шесть принимает посетителей, рядом с ним его племянник Ричард Кромвель. Барка государственного секретаря доставляет его вверх или вниз по реке в Гринвич, в Хэмптон-корт, на монетный двор или в арсенал Тауэра. Хотя он до сих пор простолюдин, большинство согласится, что Кромвель – второй человек в Англии. Он викарий короля по делам церкви. У него есть право вмешиваться в работу любого ведомства, любого департамента королевского двора. Он держит в голове английские законы, псалмы и пророков, колонки королевских бухгалтерских книг, а также родословную, размер владений и доход каждого влиятельного англичанина. Он знаменит своей памятью, и король любит его проверять, вытаскивая на свет подробности забытых судебных дел двадцатилетней давности. Иногда он крошит пальцами сухие стебли розмарина или руты, чтобы запах пробудил воспоминания. Однако всем известно, это для вида. Он не помнит только того, чего никогда не знал.

Его главная обязанность (в настоящее время) избавлять короля от старых жен и снабжать новыми. Дни его длинны и наполнены трудами, всегда найдутся законы, которые следует написать, или послы, которых следует улестить и ввести в заблуждение. Он трудится при свече летними сумерками и зимними закатами, когда темнеет в три пополудни. Даже его ночи ему не принадлежат. Часто он спит в соседней с королем комнате, и Генрих будит его среди ночи, чтобы допросить о поступлениях в казну, или просит истолковать сон.

Иногда Кромвелю приходит в голову, что ему следует жениться, – уже семь лет, как он потерял Элизабет и дочерей. Но какая женщина смирится с его образом жизни?

Дома его встречает Рейф Сэдлер. При виде хозяина он стягивает шляпу:

– Сэр?

– Все позади.

Рейф ждет, не сводит глаз с его лица.

– Рассказывать нечего. Достойный конец. Король?

– Мы почти его не видели. Бродил между часовней и спальней, говорил со своим капелланом. – Рейф теперь доверенное лицо Генриха, у короля на посылках. – Я решил зайти на случай, если вы захотите что-нибудь ему передать.

На словах. То, что нельзя доверить чернилам. Он задумывается. Что можно сказать мужчине, который только что убил жену?

– Ничего. Ступай домой к жене.

– Хелен будет рада узнать, что несчастья дамы остались позади.

Он удивлен:

– Хелен же ее не жалеет?

Рейф смущен:

– Она считает Анну защитницей евангельской веры, которая, как вы знаете, близка сердцу моей жены.

– Ах да, – говорит он, – но я сумею защитить ее лучше.

– И потом, все женщины сочувствуют, когда что-то случается с их сестрой. Они жалостливее нас, и без их жалости наш мир стал бы суровее.

– Анна не заслуживает жалости, – говорит он. – Ты не рассказывал Хелен, что она угрожала отрубить мне голову? И, как нам известно, хотела укоротить жизнь короля.

– Да, сэр, – отвечает Рейф, словно успокаивая его. – Это подтвердили в суде, верно? Однако Хелен спросит – простите меня, естественный вопрос для женщины, – что станет с дочерью Анны Болейн? Король от нее отречется? Он не может быть уверен, что она его дочь, но и в противоположном не может быть уверен…

– Теперь это не важно, – говорит он. – Даже если Элиза – дочь Генриха, она все равно незаконнорожденная. Как мы теперь знаем, его брак с Анной никогда не был законным.

Рейф чешет макушку, отчего его рыжие волосы встают хохолком.

– Выходит, если его брак с Екатериной также незаконен, король ни разу не был женат. Дважды был молодоженом, но не мужем – такое когда-нибудь случалось с королями? Может быть, в Ветхом Завете? Дай Бог, чтобы мистрис Сеймур не оплошала и подарила ему сына. Нам без наследника никак. Дочь короля от Екатерины незаконнорожденная. Как и дочь Анны. Остается его сын Ричмонд, который всегда был бастардом. – Рейф нахлобучивает шляпу. – Пошел я домой.

Рейф выскальзывает за дверь, оставляя ее открытой.

– До завтра, сэр, – доносится с лестницы.

Он встает, запирается, но у двери медлит, рука застыла на деревянной панели. Рейф вырос в доме, и ему недостает его постоянного присутствия – у Рейфа собственный дом, семья и новые обязанности при дворе. Он помогает карьере Рейфа, который для него все равно что сын, почтительный, не знающий усталости, заботливый, и – что немаловажно – Рейфа любит и ему доверяет король.

Он садится за стол. На дворе еще май, а уже две английские королевы отправились на тот свет. Перед ним письмо Эсташа Шапюи, императорского посла, хотя предназначено письмо не ему, а новости, в нем изложенные, не первой свежести. Посол использует новый шифр, но, вероятно, его можно прочесть. Должно быть, ликует, сообщая императору Карлу, что конкубина доживает последние часы.

Он трудится над письмом, пока не начинает различать имена, включая собственное, затем обращается к иным заботам, оставляя письмо мастеру Ризли, королю дешифровщиков.

Когда колокола бьют к вечерне, он слышит, как внизу мастер Ризли смеется с Грегори.

– Поднимайтесь, Зовите-меня! – кричит он, и молодой человек, прыгая через две ступени, взлетает по лестнице и размашистым шагом входит, в руке письмо.

– Из Франции, сэр, от епископа Гардинера.

Письмо предусмотрительно вскрыто, чтобы ему не трудиться самому.

Зовите-меня-Ризли? Эта шутка из тех времен, когда Том Уайетт был кудряв, Екатерина была королевой, Томас Вулси правил Англией, а он, Томас Кромвель, еще спал по ночам. Зовите-меня однажды вбежал в Остин-фрайарз – изящный юноша, деятельный, нервный, как заяц. Мы оценили его дублет с разрезами, шляпу с пером и сверкающий кинжал на поясе. Как же мы смеялись. Он был обходителен, схватывал на лету, любил поспорить и ждал, что им будут восхищаться. В Кембридже Стивен Гардинер был его наставником и многому его научил, но епископу не хватало терпения, в котором нуждался Зовите-меня. Он хотел, чтобы его слушали, хотел делиться своими мыслями; по-заячьи настороженный, чего-то недопонимая, что-то угадывая, вечно натянутый как струна.

– Гардинер сообщает, что французский двор бурлит, сэр. Ходят слухи, что у королевы была сотня любовников. Король Франциск веселится от души.

– Еще бы.

– Вот Гардинер и спрашивает, что ему, как английскому послу, отвечать?

Французское воображение живо дорисует подробности, которые упускает Стивен: чем занималась покойная королева, с кем, сколько раз и в каких позах.

– Нехорошо давшему обет безбрачия смущать свой ум подобным, – говорит он.
– Наш долг, мастер Ризли, уберечь епископа от греха.

Ризли встречает его взгляд и хохочет. Пребывая вдали от Англии, Гардинер ждет, что Зовите-меня будет снабжать его самыми подробными сведениями. Учитель вправе рассчитывать на благодарность ученика. У Ризли есть должность, он хранитель личной королевской печати. Есть доход, красавица-жена, расположение короля. В настоящую минуту он владеет вниманием государственного секретаря.

– Грегори выглядит довольным, – замечает Ризли.

– Грегори рад, что все позади. Он никогда такого не видел. Впрочем, никто из нас не видел.

– Наш бедный государь, – говорит Зовите-меня. – Его добротой воспользовались. Ни один мужчина не страдал так, как страдал он. Две такие жены, как принцесса Арагонская и Анна Болейн! Такие острые языки, такие порочные сердца. – Он присаживается на краешек табурета. – Двор бурлит. Все хотят знать, конец ли это. И что вам сказал Уайетт без протокола.

– Пусть себе бурлит.

– Спрашивают, будут ли еще аресты.

– Неизвестно.

Ризли улыбается:

– Это вы решаете.

– Не знаю.

Он чувствует усталость. Семь лет король добивался Анны. Три года правления, три недели, чтобы довести дело до суда, три удара сердца, чтобы все завершить. Три удара его сердца – не только ее. И это цена, о которой не следует забывать.

– Сэр, – Зовите-меня подается вперед, – пора заняться герцогом Норфолком. Внушите королю сомнения в его преданности. Сделайте это сейчас, пока герцог в опале. Другого случая может не представиться.

– Сегодня утром герцог был со мной на редкость любезен. Учитывая, что мы погубили его племянницу.

– Томас Говард равно любезен с врагами и с друзьями.

– Верно.

Герцогиня Норфолкская, которую герцог бросил, отзывается о нем теми же словами, если не хуже.

– Теперь, – говорит Зовите-меня, – когда Анна и его племянник Джордж опозорены, самое время герцогу со стыдом удалиться в свои владения.

– Стыд и дядюшка Норфолк несовместимы.

– Я слышал, он требует объявить Ричмонда наследником. Герцог рассуждает так: если мой зять станет королем, а моя дочь сядет на трон рядом с ним, вся Англия будет под пятой Говарда. Говорит: «Раз все трое детей Генриха теперь незаконные, почему бы не выбрать Ричмонда? По крайней мере, он может сидеть на лошади и держать меч, это не хворая карлица леди Мария и не Элиза, которая так мала, что способна обкакаться на публике».

Он говорит:

– Не сомневаюсь, Ричмонд стал бы отличным королем, но мысль о пяте Говарда невыносима.

Взгляд мастера Ризли останавливается на нем:

– Друзья леди Марии хотят вернуть ее ко двору. Они рассчитывают, что парламент, когда соберется, провозгласит ее наследницей. И они ждут, что вы исполните свои обещания. Обратите сердце короля к дочери.

– Ждут? – переспрашивает он. – Вы меня удивляете. Если я что-нибудь кому-нибудь обещал, то не им.

Зовите-меня пугается:

– Сэр, старые семейства – ваши союзники, они помогли вам сбросить Болейнов. Они ждут благодарности. Они старались не для того, чтобы Ричмонд стал королем, а Норфолк захватил власть.

– Стало быть, мне придется выбирать? – спрашивает он. – Из ваших слов следует, что обе стороны сцепятся между собой и в этой войне уцелеют либо друзья леди Марии, либо Норфолк. А вы не задумывались, что, кто бы ни одержал верх, первым делом он расправится со мной?

Дверь открывается. Зовите-меня вздрагивает. Входит Ричард Кромвель:

– А вы кого ждали, Зовите-меня? Епископа Винчестерского?

Вообразите Гардинера в дверях в легком дуновении серы, он бьет раздвоенными копытами, опрокидывая чернильницу. Вообразите слюну, что стекает у него по подбородку, когда он вскрывает сундуки и роется в бумагах, вращая злобным глазом.

– Письмо от Николаса Кэрью, – говорит Ричард.

– А я вас предупреждал, – произносит Зовите-меня. – Люди Марии. Уже.

– Кстати, – замечает Ричард, – кошка снова сбежала.

С письмом в руке он спешит к окну:

– Где она?

Зовите-меня позади него:

– Какая кошка?

Он ломает печать:

– Вон там, на дереве!

Он опускает глаза к письму. Сэр Николас просит о встрече.

– И это кошка? – удивляется Зовите-меня. – Это полосатое чудище?

– Она приехала в ящике из Дамаска. Я купил ее у итальянского торговца, и вы не поверите, сколько я ему заплатил. Кошка не должна выходить за порог, иначе загуляет с лондонскими котами. Мне следует подыскать ей полосатого мужа. – Он открывает окно. – Кристоф, она на дереве!

Кэрью предлагает собрать представителей старых династий: Куртенэ во главе с маркизом Эксетерским и Полей, которых будет представлять лорд Монтегю. Как потомки короля Эдуарда и его братьев, они ближе всех стоят к трону. Они якобы защищают интересы королевской дочери Марии. Если им не суждено самим управлять Англией, как раньше Плантагенетам, они надеются управлять ею через королевскую дочь. Предмет их восхищения – ее родословная, кровь, унаследованная от испанской матери. Печальная малышка Мария волнует их куда меньше. И я не премину намекнуть ей об этом при встрече, думает он. Ее судьбу нельзя доверять людям, грезящим о прошлом.

Кэрью, Куртенэ, Поли – все как один паписты. Кэрью – старый боевой товарищ Генриха, но также друг королевы Екатерины. Невозможное сочетание для нынешних времен. Воображает себя образцом благородства и любимцем фортуны. Для Кэрью, Куртенэ, Полей и их сторонников Болейны были грубым промахом, ошибкой, которую исправил палач. Разумеется, Томаса Кромвеля также не мешает подправить, низведя до писаря, ему не привыкать к низкому положению – пусть добывает нам деньги, но много на себя не берет. Раб, которого можно растоптать на пути к грядущему величию.

– Зовите-меня прав, – обращается он к Ричарду. – Сэру Николасу не мешало бы умерить спесь. – Он поднимает письмо. – Эти люди ждут, что я прибегу к ним по свистку.

– Они ждут, что вы станете им служить, – говорит Ризли. – Иначе они вас раздавят.

Под окном толпится вся молодежь Остин-фрайарз, повара, писари, мальчики на побегушках.

– Кажется, мой сын лишился разума. Грегори, – говорит он в окно, – кошку сетью не поймаешь. Она тебя заметила, отойди от дерева.

– Посмотрите, Кристоф трясет дерево, – говорит Ричард. – Недоумок.

– Прислушайтесь к моим словам, сэр, – умоляет Зовите-меня. – Не далее как на прошлой неделе…

– Ничего удивительного, – обращается он к Ричарду, – что кошка сбежала. Устала от воздержания. Хочет найти своего принца. Так что там случилось на прошлой неделе?

– Я слышал разговор о кардинале. Смотрите, Кромвелю хватило двух лет, чтобы отомстить врагам Вулси. Томас Мор мертв. Королева Анна мертва. Те, кто оскорблял кардинала, – Брертон, Норрис – хотя Норрис был не худшим…

Норрис, думает он, никогда не сказал кардиналу плохого слова в лицо. Только за глаза. Паразит и захребетник ваш Добрый Норрис, лицемер.

– Если бы я хотел отомстить за Вулси, – говорит он, – мне пришлось бы расправиться с половиной королевства.

– Я только передаю, что болтают люди.

– Наконец-то Дик Персер, – говорит Ричард, высовываясь из окна. – Сними ее оттуда, малый, пока не стемнело.

– Они спрашивают себя, – продолжает Ризли, – кто главный враг кардинала? И отвечают: король. Как отомстит Томас Кромвель королю, своему правителю и властелину, когда предоставится возможность?

В темнеющем саду ловцы кошки воздели руки, словно молятся на луну. Различить смутный силуэт на дереве способен лишь зоркий глаз, кошка почти слилась с веткой, на которой лежит, свесив лапы. Он вспоминает Марлинспайка, кардинальского кота, которого принес в Остин-фрайарз, когда тот умещался в кармане. Марлинспайк вырос и сбежал на поиски кошачьего счастья.

Я выше этого, думает он: этого дня, этого меркнущего света, этих силков. Я та кошка из Дамаска. Мне пришлось так долго сюда добираться, что меня на моей ветке ничто не испугает и не смутит.

И все-таки вопрос Ризли свербит в голове, просачиваясь в мозг, словно прохладный ручеек по стене подвала. Он в смятении: во-первых, тем, что такой вопрос задан. Во-вторых, тем, кто мог его задать. И в-третьих, он не знает ответа.

Ричард оборачивается от окна:

– Что говорит Кристоф, сэр?

Он переводит: арго мальчишки не просто понять.

– Кристоф клянется, что во Франции они всегда ловили котов сетью, даже малые дети, и, если к нему прислушаются, он покажет, как это делается. – Он обращается к Ризли: – Вопрос…

– Только не обижайтесь…

– …исходит от Гардинера?

– Потому что, кроме этого чертова паскудника, епископа Винчестерского, кто мог такое сказать? – подхватывает Ричард.

Зовите-меня отвечает:

– Когда я передаю слова Винчестера, я только передаю его слова. Я не говорю ни за него, ни в его пользу.

– Хорошо, – говорит Ричард, – потому что иначе я оторву тебе башку и зашвырну на дерево, к кошке.

– Ричард, поверьте, я не сторонник епископа. Иначе я был бы с ним в составе посольства, а не с вами здесь. – На глаза Ризли набегают слезы. – Я пытаюсь образумить господина секретаря, а вам бы только возиться с кошкой да угрожать мне. Вы заставляете меня продираться через тернии.

– Я вижу ваши раны, – говорит он мягко. – Когда будете писать Стивену Гардинеру, скажите, что ради него я пороюсь среди трофеев. Джордж Болейн получал от Винчестерской епархии две сотни фунтов в год. Для начала вернем епископу эти деньги.

Едва ли это смягчит Гардинера, думает он. Всего лишь демонстрация добрых намерений разочарованному человеку. Стивен так надеялся, что падение Анны увлечет на дно и его, Кромвеля.

– Вы упомянули о врагах кардинала, – говорит Ричард. – Я бы причислил к ним епископа Гардинера. Однако он ведь не пострадал?

– Он считает, что пострадал, – говорит Ризли. – Был доверенным лицом кардинала, пока мастер Кромвель его не оттеснил. Королевским секретарем, пока мастер Кромвель не отнял у него пост. Король удалил его от двора, и он думает, это происки мастера Кромвеля.

Верно, все так и есть. Гардинер знает, как навредить, даже из Франции. Знает, как расчесать кожу и впрыснуть отраву.

– Мысль, что я затаил злобу против моего государя, не что иное, как измышления больного епископского разума. Что у меня есть, кроме того, что мне даровал Генрих? Кто я без него? Все мои упования только на короля.

Ризли спрашивает:

– Но вы напишете Николасу Кэрью? Вы готовы с ним встретиться? Мне кажется, это необходимо.

– Чтобы его успокоить? – спрашивает Ричард. – Нет. – Закрывает окно. – Ставлю на Персера.

– А я на кошку.

Он воображает, каким кажется кошке мир сверху: сквозь призму громадного глаза руки возбужденных людей раскручиваются, словно ленты, маня во тьме. Возможно, она думает, что они на нее молятся. Или решила, что добралась до звезд. Возможно, тьма расступается перед ней вспышками и пятнами света, крыши и фронтоны кажутся тенями на воде. И когда она всматривается в сеть, то видит не ее, а просветы между ячейками.

– По-моему, следует выпить, – говорит он Ризли. – А еще зажечь свечи и камин. Пришлите Кристофа, когда вернется из сада. Пусть покажет нам, как у них во Франции разводят огонь. Возможно, мы сожжем письмо Кэрью, мастер Ризли, как думаете?

– Что я думаю? – Зовите-меня ощеривается почти как сам Гардинер. – Я думаю, что Норфолк против вас, епископ тоже, а теперь вы хотите настроить против себя старые семейства. Храни вас Господь, сэр. Вы мой хозяин, вам я служу и за вас молюсь. Но святые угодники! Вы же не думаете, будто эти люди свалили Болейнов, чтобы сделать вас хозяином положения?

– Думаем, – говорит Ричард. – Именно так мы и думаем. Возможно, это вышло случайно, но мы постараемся, чтобы так все и оставалось.

Как тверда рука Ричарда, когда он протягивает ему кубок. Как тверда его рука, когда он кубок принимает.

– Лорд Лайл прислал это вино из Кале, – говорит он.

– За погибель наших врагов, – говорит Ричард, – и удачу друзьям.

– Надеюсь, вы их различаете, – говорит Ризли.

– Зовите-меня, согрейте ваше бедное дрожащее сердце. – Он бросает взгляд на окно, замечает свое мутное отражение в стекле. – Можете написать Гардинеру, что скоро он получит деньги. А потом займитесь шифром.

Кто-то принес в сад факел. Слабое мерцание заполняет окна. Его тень в окне поднимает руку, наклоняет голову.

– Пейте за мое здоровье.

Ночью ему снится смерть Анны Болейн в виде триптиха. На первой доске он стоит и смотрит, как королева восходит на эшафот в своем тяжелом гейбле. На второй она в белом чепце преклоняет колени, а француз поднимает меч. На последней доске на ткани, в которую завернута отрубленная голова, проступает кровавый лик.

Он просыпается, когда ткань сдергивают. Если на ней запечатлелось лицо Анны, он все равно уже ничего не видит. Сегодня двадцатое мая тысяча пятьсот тридцать шестого года.

II

Спасение обломков

Лондон, лето 1536 г.

Где мой оранжевый джеркин? – спрашивает он. – У меня был оранжевый джеркин.

– Я его не видел, – отвечает Кристоф. Тон скептический, словно они рассуждают о комете.

– Я перестал носить его до того, как взял тебя в дом. Ты был за морем, украшал собой навозную кучу в Кале.

– Вы меня оскорбляете! – Кристоф возмущен. – А ведь именно я поймал кошку.

– Нет, не ты! – возражает Грегори. – Это был Дик Персер. Кристоф только стоял и улюлюкал. А теперь ждет благодарностей.

Его племянник Ричард говорит:

– Вы перестали носить его после падения кардинала. Не лежало сердце.

– Зато сегодня я бодр и весел. И не собираюсь предстать перед женихом с кислой миной.

– С нашим королем одежду нужно шить двухстороннюю, – замечает Кристоф. – Никогда не знаешь, будешь плясать или подыхать.

– Твой английский все свободнее, Кристоф, – замечает он.

– Этого не скажешь про ваш французский.

– Чего ты хотел от старого солдата? Слагать стихи на нем я не собираюсь.

– Зато ругаетесь вы отменно, – говорит Кристоф ободряюще. – Лучше всех, кого я знаю. Лучше моего папаши, который был вор не из последних и держал в страхе всю округу.

– Интересно, признал бы тебя отец? – спрашивает Ричард. – Таким, каким ты стал? Наполовину англичанином в ливрее моего дяди?

Кристоф поджимает губы:

– Его небось давно повесили.

– Ты жалеешь о нем?

– Плевал я на него.

– Не надо так говорить, – произносит он умиротворяюще. – Джеркин, Кристоф? Поищешь?

Грегори замечает:

– Последний раз, когда мы все вместе выходили из дома…

– Не надо, молчи, – перебивает его Ричард. – Даже не вспоминай.

– Понимаю, – соглашается Грегори. – Мои учителя внушили мне это с младых ногтей. Не говорить об отрубленных головах на свадьбе.

Вообще-то, королевская свадьба состоялась вчера, маленькая приватная церемония. Сегодня депутации верноподданных готовы поздравить новую королеву. Цвета его повседневной одежды – тусклые дорогие оттенки, которые итальянцы именуют berettino[3]: серо-коричневая палая листва Дня святой Цецилии, серо-сизый свет Рождественского поста. Однако сегодня повод обязывает. Изумленный Кристоф помогает ему облачиться в праздничное одеяние, когда вбегает Зовите-меня-Ризли.

– Я не опоздал? – Ризли пятится. – Сэр, вы собираетесь идти в этом?

– Разумеется! – Кристоф оскорблен. – А вас никто не спрашивает.

– Я только хотел напомнить, что темно-желтый носили люди кардинала, и если это напомнит королю… ему может не понравиться такое напоминание… – Зовите-меня запинается. Вчерашний разговор словно пятно на его собственном джеркине, которое он не может стереть. – Хотя, конечно, ему может понравиться, – добавляет он смиренно.

– Если ему не понравится, он велит мне снять джеркин с плеч. Главное, чтоб не голову.

Зовите-меня вздрагивает. Он очень чувствителен, даже для рыжеволосого. Когда они выходят на солнце, Ризли съеживается.

– Зовите-меня, – говорит Грегори, – вы знаете, что Дик Персер забрался на дерево и снял кошку. Отец, разве ему не положена прибавка к жалованью?

Кристоф что-то бормочет. Похоже на «еретик».

– Что? – спрашивает он.

– Дик Персер – еретик, – говорит Кристоф. – Он верит, что облатка всего лишь хлеб.

– Как и мы! – восклицает Грегори. – Безусловно… хотя… – Сомнения отражаются на его лице.

– Грегори, – говорит Ричард, – мы ждем от тебя меньше теологии и больше развязности. Тебе предстоит встреча с новыми королевскими братьями – сегодня Сеймуры в фаворе. Если Джейн подарит королю сына, они еще больше возвысятся, Нед и Том. Но будь начеку. И мы будем.

Ибо это Англия, счастливая страна, земля чудес, где под ногами валяются золотые самородки, а в ручьях течет кларет. Белые соколы Болейнов словно жалкие воробьи на заборе, а феникс Сеймуров устремился ввысь. Благородные представители славного рода, лесничие, хозяева Вулфхолла, новые родственники короля теперь ровня Говардам, Тэлботам, Перси и Куртенэ. Кромвели – отец, сын и племянник – тоже могут похвастаться происхождением. Разве не все мы родом из Эдема? «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто джентльменом был тогда?» На этой неделе, когда Кромвели выходят из дома, джентльмены в Англии расступаются.

Король облачен в изумрудный бархат – лужайка, сияющая алмазами. Отойдя от старого друга Уильяма Фицуильяма, своего казначея, он берет под руку государственного секретаря, отводит в нишу окна, где стоит, моргая в солнечном свете. Сегодня последний день мая.

Итак, первая брачная ночь: как спросить? Невеста выглядит такой невинной, что, забейся она под кровать и пролежи до утра на спине, читая молитвы, он бы не удивился. А Генрих, как утверждают многие женщины, нуждается в поощрении.

Король шепчет:

– Такая свежесть. Такой такт. Такая девичья pudeur[4].

– Рад за вас, ваше величество. – Он думает, да, да, но как тебе удалось?

– Из ада в рай, и всего за одну ночь!

Такой ответ его устраивает.

Король говорит:

– Задача, как всем известно, стояла непростая, деликатная… и вы, Томас, проявили твердость и расторопность. – Король оглядывает комнату. – Джентльмены и, должен признаться, не только джентльмены, но и дамы спрашивают меня: не пора ли мастеру Кромвелю получить награду за труды? Вы знаете, я не спешил продвигать вас, но потому лишь, что боялся оставлять палату общин без вашего присмотра. Однако, – Генрих улыбается, – палате лордов твердая рука нужна не меньше. Именно там теперь ваше место.

Он кланяется. Маленькие радуги порхают по каменной кладке.

– Королева со своими фрейлинами, – говорит король. – Набирается смелости. Я просил ее показаться двору. Ступайте к ней, шепните несколько одобряющих слов. Приведите ее, если сможете.

Он отворачивается, и посол Шапюи тут как тут. Один из франкоговорящих подданных императора, не испанец, а савояр. Шапюи в Англии уже довольно давно, однако не смеет вести разговоры на нашем языке; для дипломатического разговора его английский недостаточно хорош. Чуткие уши посла уловили слово «pudeur», и он с улыбкой спрашивает:

– Итак, господин секретарь, кому пришлось стыдиться?

– Стыдиться? Напротив, гордиться. Невеста проявила истинную скромность.

– Я думал, что стыдиться пришлось вашему королю. Учитывая недавние события. И просочившиеся слухи о том, что предыдущую он удовлетворить не мог.

– На сей счет мы располагаем только свидетельством Джорджа Болейна.

– Что ж, если королева, как вы утверждаете, делила постель с Джорджем – собственным братом, – естественно, что именно ему она поведала о бессилии мужа. Впрочем, теперь, с отрубленной головой, лорду Рочфорду затруднительно отстаивать свою точку зрения. – Посол сверкает глазами, кривит губы, но он держит себя в руках. – Стало быть, вчера новобрачный показал себя с лучшей стороны. И он думает, что до прошлой ночи мадам Джейн сохраняла невинность? Разумеется, откуда ему знать. Он считал девственницей Анну Болейн, чем, уж мне-то поверьте, удивил всю Европу.

С послом не поспоришь. В этом деликатном вопросе обвести Генриха вокруг пальца не сложнее, чем сыграть на дудочке.

– Полагаю, он потешится с мадам Джейн месяца два, – рассуждает Шапюи, – пока не положит глаз на другую. И сразу обнаружится, что Джейн ввела короля в заблуждение и брак незаконен, поскольку до свадьбы она дала обещание другому джентльмену, не так ли?

Эсташ забрасывает удочку наобум. Он знает, что голова Анны Болейн слетела с плеч, но хочет знать, на каком основании расторгнут брак. Ибо брак должен быть расторгнут: казни недостаточно, чтобы исключить Элизу из числа наследников престола, – следует доказать, что брак с самого начала был незаконен. И как королевский клир это проделал? Он, Томас Кромвель, не намерен удовлетворять любопытство посла. Он наклоняет голову и торит путь сквозь толпу, на ходу меняя языки. Новая королева говорит только на родном английском, да и то нечасто. Ее брат Эдвард хорошо знает французский, младший, Том Сеймур, – неизвестно, что тот говорит, но слушать не желает никого.

Женщины вокруг Джейн разодеты в пух и прах, и в сердце позднего утра аромат лаванды струится в воздухе, словно пузырьки смеха. Какая жалость, что душистые травы бессильны против высокородных вдов, которые обступили свою добычу, словно часовые в парче. Женщины Болейнов растворились: ни бедной Мэри Шелтон, которая надеялась выйти за Гарри Норриса, ни бдительной Джейн Рочфорд, вдовы Джорджа. Вокруг лица, которых не видали при дворе со времен королевы Екатерины; в центре толпы бледная молчаливая Джейн выглядит крохотной фигуркой из теста. Генрих щедро одарил ее драгоценностями казненной женщины, а золотошвеи спешно расшили платье сердечками и узелками влюбленных. Она делает движение ему навстречу, один из узелков отваливается. Джейн наклоняется, но фрейлина оказывается шустрее.

Джейн шепчет:

– Спасибо, мадам.

На лице Джейн смущение. Ей не верится, что Маргарет Дуглас – племянница короля, дочь шотландской королевы – у нее на посылках. Мег Дуглас хорошенькая девица лет девятнадцати-двадцати. Она выпрямляется – свет вспыхивает на рыжих волосах – и занимает свое место. На ней французский головной убор во вкусе Анны Болейн, но большинство женщин вернулись к старомодным гейблам. Рядом с Мег ее ближайшая подруга Мэри Фицрой, молоденькая жена Ричмонда. Ее муж, вероятно, уже ушел, поздравив отца с новым браком. Юной супруге нет семнадцати, неуклюжий гейбл придает ей вид прилизанный и настороженный, глаза стреляют по сторонам. Она замечает его, локтем толкает Мег, опускает глаза, выдыхает:

– Кромвель.

Обе отводят взгляд, словно не желая его видеть. Фрейлинам Анны не по душе вспоминать, как они, поняв, что дни королевы сочтены, наперебой с ним откровенничали. Чем делились, какие показания давали. Кромвель сплутует, вложит нужные слова в ваши уста. С его обходительностью он заставит вас сказать то, чего вы вовсе не имели в виду.

Его опережает семейство новой королевы: ее мать леди Марджери и двое братьев. Эдвард Сеймур выглядит довольным, Том Сеймур – развязным, а одет с такой вызывающей роскошью, которую даже Джордж Болейн счел бы de trop[5]. Взгляд леди Марджери пронзает знатных вдов. Ни одной из них не удалось сохранить остатки былой красы, ни одна не сподобилась выдать дочку за короля. С прямой спиной она низко приседает перед Джейн, а когда выпрямляется, явственно слышен хруст коленных суставов. Поэт Скелтон однажды сравнил Марджери с примулой. Но сейчас ей шестьдесят.

Взгляд Джейн скользит поверх ее родных, затем она поворачивает голову, позволяя ему скользнуть поверх Кромвеля.

– Господин секретарь, – произносит она. Долгая пауза, пока королева преодолевает робость. Наконец она шепчет: – Хотите… поцеловать мне руку? Или что-нибудь еще… в таком роде…

Он опускается на колено, губы касаются изумруда, который ему уже доводилось лобызать на узкой руке покойной Анны. Короткими пальчиками другой руки Джейн гладит его по плечу, словно говоря, ах, нам обоим тошно, но мы переживем это утро.

– Ваша сестра не с вами? – спрашивает он Джейн.

– Бесс в пути, – отвечает леди Марджери.

– Все случилось так внезапно, – говорит Джейн. – Бесс никогда не думала, что я выйду замуж. Она еще в трауре по мужу.

– Довольно ей носить черное. Позвольте предложить свои услуги. Я знаю хороших итальянских портных.

Леди Марджери сверлит его испытующим взором. Затем отворачивается и взмахом руки велит вдовам отступить. На мгновение взгляды знатных старух

сцепляются с ее взглядом. Они втягивают воздух, словно от боли, приподнимают подолы и пятятся. Ничего не поделаешь – кому, как не прямым родственникам королевы, подвергнуть ее неделикатному допросу, столь естественному наутро после первой брачной ночи.

– Итак, сестра? – начинает Том Сеймур.

– Тише, Том, – говорит его брат Эдвард, оглядываясь через плечо.

Он, Кромвель, стоит непрошибаемой стеной между семьей и двором.

– Итак, – повторяет новая королева.

– Нам хватило бы словечка, – вступает ее мать. – Просто знать, как ты себя чувствуешь этим утром.

Джейн размышляет. Долго разглядывает свои туфельки. Том Сеймур ерзает. Кажется, он готов ущипнуть сестрицу, как некогда в детской. Джейн набирает воздух в легкие.

– Итак? – требует Том.

Джейн шепчет:

– Братья, миледи мать… мастер Кромвель… я скажу только, что совершенно не ожидала того, что попросит у меня король.

Братья смотрят на мать. Разумеется, девица в курсе, как мужчины совокупляются с женщинами? К тому же она уже не девица.

– Разумеется, – говорит леди Марджери. – Тебе двадцать семь лет, Джейн, простите, ваша милость.

– Да, – соглашается Джейн.

– Королю не следовало обхаживать тебя, как тринадцатилетнюю, – говорит мать. – Если он выказал нетерпение, то таковы все мужчины.

– Ты привыкнешь, – утешает сестру Том. – Это цена, которую приходится платить за все.

Джейн кивает с несчастным видом.

– Уверена, король не был груб, – заявляет леди Марджери.

– Нет, не груб. – Джейн поднимает глаза. – Дело в том, что он хочет от меня очень странного. Я и вообразить не могла, что жена такое должна.

Они смотрят друг на друга. Губы Джейн движутся, она словно проговаривает слова про себя, прежде чем произнести вслух.

– Впрочем, наверное… право, я не знаю… наверное, мужчинам это нравится.

Эдвард почти отчаялся. Том решает взмолиться:

– Господин секретарь?

Почему он? Разве он в ответе за вкусы короля?

Лицо леди Марджери застывает.

– Это что-то неприятное, Джейн?

– Наверное, да, – отвечает королева. – Хотя, конечно, я еще не пробовала.

Том делает страшное лицо:

– Я советую, сестра, делай все, что он просит.

– Дело в другом, – говорит Эдвард, – что бы там ни было… его капризы… его требования… они способствуют зачатию ребенка?

– Думаю, что нет, – отвечает Джейн.

– Вы должны с ним поговорить, – обращается к нему Эдвард. – Кромвель, вы должны напомнить ему, как надлежит вести себя христианину.

Он заключает ручки Джейн в свои ладони. Смелый жест, но ничего другого не остается.

– Ваша милость, отбросьте стыдливость и расскажите, чего от вас требует король.

Ее руки ускользают из его рук, бледная фигурка утекает, она раздвигает братьев, шаткой походкой продвигаясь к своему королю, своему двору и своему будущему.

Шепчет на ходу:

– Он хочет, чтобы я поехала с ним в Дувр осматривать укрепления.

Без улыбки Джейн преодолевает огромный зал. Все глаза обращены к ней. Держится надменно, бормочет кто-то. Не знай вы Джейн, можно подумать, это и впрямь так. Генрих протягивает ей руки, словно ребенку, который учится ходить, и горячо целует. На его губах вопрос, она шепчет ответ. Он склоняет голову, чтобы расслышать ее слова, лицо гордое, взволнованное. Шапюи толпится со знатными старухами и с их мужским потомством. И, словно делегат – делегат от них к Кромвелю, – посол отделяется от толпы и обращается к нему:

– Похоже, она надела на себя все украшения, как флорентийская невеста. Впрочем, для такой простушки держится неплохо. Ей идет в отличие от предыдущей, у которой чем богаче был наряд, тем меньше ее красил.

– Под конец. Возможно.

Он вспоминает дни, когда кардинал был жив и Анне не требовалось иных украшений, кроме ее глаз. Последние месяцы она таяла, а ее лицо

заострялось. Когда Анна сошла с барки у Тауэра, ускользнула из его рук, уперлась локтями и коленями в булыжную мостовую, он поднял ее, и она была не тяжелей воздуха.

– Итак, – говорит Шапюи, – пока ваш король в добром расположении духа, заставьте его признать принцессу Марию наследницей.

– Разумеется, вслед за его сыном от новой жены.

Шапюи кивает.

– Заставьте вашего господина поговорить с папой, – отвечает он послу. – Над моим господином висит булла об отлучении. Негоже угрожать королю в его собственном королевстве.

– Вся Европа желает залечить эту рану. Пусть король обратится к Риму с покаянным письмом и отменит закон, отделивший вашу страну от Вселенской церкви. Как только это будет сделано, его святейшество с распростертыми объятиями примет заблудшую овцу и возобновит взимание доходов с Англии.

– Полагаю, с процентами за выпавшие года?

– Разве это не обычная банковская практика? Кроме того…

– Как, это еще не все?

– Король Генрих должен отозвать своих послов. Нам известно, что вы ведете переговоры с лютеранскими правителями. Мы хотим, чтобы вы их прекратили.

Он кивает. Шапюи просит его зачеркнуть труды последних четырех лет. Вернуть Англию Риму. Признать первый брак Генриха законным, а его дочь от этого брака – наследницей престола. Разорвать дипломатические отношения с немецкими княжествами. Отречься от Евангелия, обнять папу и преклонить колена перед идолами.

– А чем в эти дивные новые дни заняться мне? – спрашивает он. – Мне, Томасу Кромвелю?

– Вернуться к кузнечному ремеслу?

– Боюсь, я утратил навык. Пожалуй, выберу дальнюю дорогу, как поступил мальчишкой. Пересеку море и предложу услуги пехотинца королю Франции. Как думаете, он будет рад меня видеть?

– Это не единственный вариант, – говорит Шапюи. – Вы можете остаться на своем посту и принять щедрый предварительный гонорар от императора. Он понимает сложности возвращения вашей страны к status quo ante[6]. – Посол улыбается ему, затем поворачивается, рука взлетает в приветствии. – Карю!

Плюшевый фасад, широкая грудь шита золотом. Неужто это сам Николас Кэрью?

Вельможа живо поправляет посла:

– Кэ-рью.

Ждет повторения.

Шапюи разводит руками:

– Мне это не по силам, сэр.

Кэрью не настаивает, обращается к государственному секретарю:

– Мы должны встретиться.

– Это честь для меня, сэр Николас.

– Принцессе Марии нужен эскорт, чтобы вернуться ко двору. Приезжайте ко мне в Беддингтон.

– Лучше вы ко мне. Я занят.

Сэр Николас сердится:

– Мои друзья ждут…

– Можете привести с собой ваших друзей.

Сэр Николас придвигается ближе:

– Мы заключили с вами сделку, Кромвель. И теперь рассчитываем получить по счету.

Он не отвечает, просто отодвигает сэра Николаса с дороги. Проходя мимо, прикладывает руку к сердцу. Может показаться, его срывает с места внезапная забота. Однако это не так, никаких срочных дел у него нет.

Его мальчики тут как тут.

Ричард спрашивает:

– Чего хотел сэр Николас Кара Господня?

– Получить по счету.

Прав был Ризли – это сделка. По версии Кэрью: мы, друзья принцессы Марии, поможем тебе свалить Анну Болейн, а потом, если будешь перед нами пресмыкаться, не станем тебя уничтожать. У государственного секретаря иная версия. Вы помогаете мне свалить Анну, и… и ничего.

Ричард спрашивает:

– Вы знаете, что король спал с женой Кэрью? До ее свадьбы и после.

– Нет! – говорит Грегори. – А мне не рано знать? А остальные знают? А Кэрью знает, что все знают?

Ричард ухмыляется:

– Он знает, что мы знаем.

Это лучше слухов, это власть: сведения о внутренней экономике двора, из счетных контор, где устанавливают меру обещаний и взвешивают монеты стыда.

Ричард говорит:

– Мне самому по душе Элиза Кэрью. Для холостяка…

– Нам это ни к чему, – замечает он.

– Когда это вас останавливало? Не далее чем две недели назад вы с женой графа Вустерского заперлись одни в комнате.

Добывал улики.

– А вышла она, улыбаясь, – говорит Ричард.

Потому что я заплатил ее долги.

Грегори замечает:

– К тому же она с пузом. И от кого ребенок, болтают разное.

– Пошли, – говорит Ричард, – пока не вернулся сэр Николас Кара Господня. Сейчас мы над ним посмеемся.

Однако тут из-за угла выскальзывает Рейф. Он от короля, и выражение его лица – если вы в состоянии его прочесть – смесь почтительности, осторожности и недоверчивости.

– Король зовет вас, сэр.

Он кивает:

– А вы, мальчики, ступайте домой. – В голову приходит мысль. – Ричард…

Племянник оборачивается.

Он шепчет:

– Загляни к Уильяму Фицуильяму. Узнай, готов ли он поддержать меня в королевском совете. Он знает, что у Генриха на уме. Знает не хуже прочих.

Именно Фицуильям пришел к нему в прошлом марте, рассказал, как ненавидят Болейнов, и дал понять, что эта ненависть способна объединить их врагов, сплотить вокруг общей цели. Именно он намекнул на готовность короля к переменам, намекнул со спокойной уверенностью человека, знающего Генриха с младых лет.

Ричард говорит:

– Думаю, он пойдет за вами, сэр.

– Выясни, на что он надеется, – говорит он. – И внуши ему, что его надежды оправданны.

– Сэр… – перебивает Рейф.

Он берет Рейфа под руку. Компания джентльменов оборачивается и смотрит на них. Рейф оглядывается через плечо, оставляя их за спиной, разодетых, словно собрались позировать Гансу: шелковые чулки, шелковистые бородки, кинжалы в ножнах черного бархата, алые книжечки в руках. Все они Говарды или родня Говардов, а один, младший единокровный брат герцога Норфолка, даже имя носит такое же. Томас Говард меньшой. Спутать их невозможно. Молодой Говард – худший поэт при дворе, старый в жизни не сочинил ни строчки.

Рейф говорит:

– Настроение у короля не такое радужное, каким кажется. Сегодня он сомневается в том, во что верил еще вчера. Спрашивает, справедлив ли был приговор? В виновности Анны он уверен, но как насчет джентльменов? Помните, сэр, с какой неохотой он подписывал бумаги? Как нам пришлось на него насесть? Теперь его вновь одолевают сомнения. «Гарри Норрис был моим старым другом, – говорит король. – Возможно ли, что он предал меня с моей женой? А Марк? Лютнист, мальчишка, неужто она согрешила бы с таким?»

Некогда жизнь короля протекала на виду у двора. Он обедал в огромном зале, говорил вслух все, что думал, испражнялся за одной тонкой занавеской и совокуплялся за другой. Ныне правители ценят уединение: их охраняют слуги в мягких туфлях, а в королевских покоях тишина. Министр, который спешит на доклад со шляпой в руке, вынужден приспосабливаться к новым порядкам, быть уступчивым и терпеливым. Обычно, когда требовалось успокоить королевскую совесть, он звал архиепископа. Однако сейчас это не поможет. С тех пор как осудили покойную королеву, Кранмер сам не находит покоя.

У дверей его встречают. В старые дни – и то сказать, всего месяц назад – бдительные королевские джентльмены преградили бы ему путь. Гарри Норрис, выскальзывая навстречу: «Сожалею, господин секретарь, его величество молится». И сколько он намерен молиться, Гарри? «О, без сомнения, все утро…» И Норрис, очаровательно посмеиваясь, испаряется, а из-за двери слышится хихиканье этой мартышки Фрэнсиса Уэстона.

Придворные недоумевают, неужели королева делила ложе с таким ухмыляющимся щенком, как Уэстон?

Нам остается только пожимать плечами.

Король обмяк в кресле, локти лежат на коленях. Прошел час с тех пор, как Генрих скрылся от глаз подданных, и изумрудное сияние потускнело. С ним Чарльз Брэндон, нависает над королем, словно часовой.

Он опускается на одно колено: «Ваше величество». Поднимаясь, вежливо бормочет: «Милорд Суффолк».

Герцог осторожно кивает.

Генрих спрашивает:

– Сухарь, вы слыхали историю о Екатерининой гробнице?

Суффолк говорит:

– Об этом болтают во всех тавернах и на всех ярмарочных площадях. Как только голова Анны упала с плеч, свеча рядом с гробницей вспыхнула сама по себе. – Герцог смотрит с беспокойством, словно и впрямь считает такое возможным. – Вам необязательно в это верить, Кромвель. Я вот не верю.

Генрих раздражен:

– Разумеется, верить необязательно. Откуда эти слухи, Сухарь?

– Из Дувра.

– Вот как. – Генрих явно не ожидал ответа. – Она похоронена в Питерборо. Что может быть известно в Дувре?

– Ничего, ваше величество.

Он намерен и дальше отвечать односложно, пока король не отошлет Брэндона восвояси.

– Если эта история родом из Дувра, – замечает тот, – значит ее выдумали французы.

– Порочишь французов, Чарльз, – говорит Генрих, – а от их денег не отказываешься.

Герцог оскорблен:

– Но я же этого не скрываю!

– Видите ли, ваше величество, – вставляет он, – милорд Суффолк берет также деньги у императора, так что одно уравновешивает другое.

– Знаю, – говорит Генрих. – Господь свидетель, Чарльз, если бы мои советники не брали денег, мне пришлось бы платить им самому, а Сухарю пришлось бы изыскивать на это средства.

– Сэр, – обращается он к королю, – что будет с Томасом Болейном? Возможно, не стоит отбирать у него графский титул?

– До того как я его возвысил, Болейн был небогат, – отвечает Генрих. – Однако он сослужил стране некоторую службу.

– К тому же, сэр, он искренне стыдится преступлений, которые совершили его дочь и сын.

Генрих кивает:

– Хорошо. Только он должен отказаться от этого глупого титула «монсеньор». И не попадаться мне на глаза. Пусть сидит в своих землях, подальше от меня. Как и герцог Норфолк. Я больше не желаю видеть никого из Болейнов, Говардов и их родни.

До тех пор, разумеется, пока французы или император не задумает вторгнуться в наши земли либо шотландцы не перейдут границу. Если запахнет войной, первым делом вы вспомните о Говардах.

– Болейн останется графом Уилтширским, – говорит он. – А вот должность хранителя малой королевской печати…

– С этим справитесь вы, Сухарь.

Он кланяется:

– И если вашему величеству будет угодно, я оставлю за собой также должность государственного секретаря.

Стивен Гардинер занимал ее, пока, как тонко заметил мастер Ризли, его не сместили. Он не желает, чтобы Стивен наушничал, выплескивая королю свои гнилостные измышления в надежде, что его вернут ко двору. И единственный способ этого не допустить – взять все на себя.

Однако Генрих его не слушает. На столе перед ним стопка из трех книжиц в переплете алой кожи, перевязанная зеленой лентой. Рядом его ореховая шкатулка для писем, еще времен Екатерины, украшенная ее вензелем и гранатом, ее эмблемой.

Генрих говорит:

– Моя дочь Мария прислала письмо. Не помню, чтобы я разрешал ей мне писать. Может быть, вы?

– Я бы не посмел.

Он был бы не прочь заглянуть в шкатулку.

– Кажется, она питает надежды, что может стать моей наследницей. Как будто считает, Джейн не сумеет родить сына.

– Она сумеет, сэр.

– Легко сказать, одна уже клялась, но не сдержала клятвы. Наш брак чист, говорила она, Господь вознаградит вас. Но прошлой ночью во сне…

Надо же, вы тоже ее видели: Ану Болену в кровавом воротнике.

Генрих спрашивает:

– Я поступил правильно?

Правильно? Непомерность вопроса удерживает его, словно рука на запястье. Был ли я беспристрастен? Нет. Был ли рассудителен? Нет. Хотел ли я блага моей стране? Да.

– Что сделано, то сделано, – говорит он.

– Как вы можете так говорить? Словно нет греха? Нет раскаяния?

– Не оглядывайтесь назад, сэр. Вперед – вот единственное направление, какое дозволяет Господь. Королева подарит вам сына. Ваша сокровищница наполняется, законы блюдутся. Вся Европа с восхищением смотрит на то, как вы противостоите ложным притязаниям Рима на власть.

– Смотрит-то смотрит, но без восхищения.

Пусть так. Они полагают, что Англия – низко висящий плод. Обессилевшая дичь. Добыча для чужеземных владык и их охотников.

– Наши крепости растут, – говорит он. – Форты. Никто не осмелится.

– Если папа меня отлучит, император и Франция получат благословение вторгнуться в Англию. По крайней мере, так скажет им папа.

– Они не развяжут войну ради благословения, сэр. Вспомните, как часто они говорили: «Мы пойдем крестовым походом на турок»? И где их обещания?

– Тот, кто завоюет Англию, получит отпущение грехов. Желающих найдется немало.

– Успеют нагрешить еще. – Он стоит над Генрихом – пришло время напомнить королю, ради чего была пролита кровь. – Каждый день я беседую с послом императора. Вы знаете, что его господин готов заключить с нами союз. При жизни Анны Болейн он был вынужден вам противостоять. Теперь вы устранили причину раздора. Имея союзником императора, мы можем не бояться короля Франциска. – (Хотя, думает он, с Франциском я тоже веду переговоры, постоянно.) – А если император подведет, у нас есть друзья среди немецких князей.

– Еретики, – встревает Брэндон. – А дальше что, Сухарь? Союз с сатаной?

Он раздражен:

– Милорд, немецкие князья не еретики и ничем не хуже наших правителей, они являют пример для своих подданных, отказываясь вручать их тела и души Риму.

Генрих обращается к герцогу:

– Милорд Суффолк, вы не могли бы нас оставить?

Чарльз выглядит недовольным:

– Как будет угодно. Но помни мои слова и не вешай носа, Гарри. В прошлом году жена родила мне здорового сына, а я старше тебя.

Герцог выходит. Король смотрит ему вслед с тоской, словно Брэндон отправляется в долгое путешествие.

– «Гарри», – повторяет он. Собственное имя в его устах звучит нежно. – Суффолк забывается. Но для него я всегда останусь мальчишкой. Его не убедить, что мы оба давно немолоды. – Рука короля незаметно поглаживает книжицы, ласкает мягкую алую кожу. – Вы знали, что у Джейн нет собственных книг? Только маленькая поясная, с драгоценным камнем, да и тот недорогой. Я подарю ей эти.

– Они ее обрадуют, сэр.

– Книги принадлежали Екатерине. Это духовные наставления. Джейн много молится. – Королю не по себе. Можно подумать, будто молитвы – его единственная надежда. – Сухарь, все может случиться. Что, если завтра я умру? Я не могу оставить королевство на дочерей, одна из которых наполовину испанка и не отличается добрым нравом, другая еще дитя, и обе рождены вне законного брака. Следующая в очереди на трон – дочь королевы Шотландии, но, зная мою сестру, – король вздыхает, – кто поручится, что Мег законнорожденная? Я спрашиваю себя: женщина, слабая телом и духом, способна ли она править, учитывая изъяны ее пола? И даже если она наделена твердостью характера и живым умом, наступит день, когда ей придется выбрать мужа, посадить на трон чужеземца или возвысить подданного, – кому она сможет довериться? Поставить женщину у власти – значит всего лишь отсрочить беды, и пусть десять – двадцать лет все будет идти своим чередом, однажды беды вас настигнут. Остается одно. Мы должны объявить наследником юного Ричмонда. Я поручаю это вам, но что скажет парламент?

Ничего хорошего, думает он.

– Я полагаю, они станут убеждать ваше величество довериться Господу и приложить все усилия, чтобы увенчать нынешний брак рождением наследника. А мы тем временем примем закон, который позволит вам выбрать наследника по вашему усмотрению. И необязательно объявлять свой выбор. Не стоит ни в ком возбуждать излишних надежд.

Кажется, будто Генрих слушает вполуха, – на самом деле это значит, что он весь обратился в слух.

– Ее библиотеку описали. – Покойной Анны, имеет в виду Генрих. – Там есть крамольные сочинения, почти на грани ереси. А также среди книг ее брата.

Превосходные французские тома: имена Джорджа и Анны рядом, черный лев Рочфордов и коронованный сокол, надпись его рукой: «Эта книга принадлежит мне, Джорджу Рочфорду». Он ждет. Король успокаивает свою совесть: убеждает себя, что Болейны и их присные – враги Божьи. Едва ли хоть какая-нибудь из этих книг покажется ему еретической. Впрочем, как и Генриху, когда его разум прояснится. Король поднимает один из алых томиков, заглядывает внутрь, высказывая наконец то, что тревожит его по-настоящему:

– Палата общин заявит, что я не вправе распоряжаться короной. – Жалкий икающий смешок. – Они укажут мне мое место, Сухарь.

– С них станется, – улыбается он. – Они могут даже обратиться к вам «Гарри», но я найду на них управу, сэр.

– Кто в эту сессию спикер?

– Ричард Рич.

– Понятно. Вы спите по ночам, Сухарь?

В вопросе нет подвоха – никакого скрытого смысла.

– Ибо, – добавляет Генрих, – хранитель малой королевской печати – высокий пост, к тому же вы мой викарий по делам церкви, и скоро епископы соберутся на собор, а еще, к моему удовольствию, вы остаетесь королевским секретарем. Кто еще способен нести такую ношу? Впрочем, в этом вы похожи на кардинала – трудитесь за десятерых. Я часто спрашиваю себя, откуда вы взялись?

– Из Патни, ваше величество.

– Это мне известно, я другого не понимаю: что делает вас таким, какой вы есть? Чудны дела Твои, Господи, – говорит Генрих, и на сем разговор завершается.

В кордегардии его ждет Чарльз Брэндон.

– Послушайте, Кромвель, я знаю, вы злитесь, что я не преклонил колени, когда этой потаскухе рубили голову.

Он поднимает руку, но остановить Чарльза – все равно что остановить несущегося на тебя быка.

– А вы не забыли, как она меня донимала? – орет герцог. – Обвиняла в том, что я сношаю собственную дочь!

Все головы в людном помещении поворачиваются к ним. Он лихорадочно перебирает в голове отпрысков Чарльза, законных и незаконных.

– Будто здесь Вулфхолл! – бушует герцог и тут же поправляется: – Не то чтобы я верил в клевету про старого сэра Джона. Это Анна Болейн утверждала, что он блудит с невесткой. А на самом деле отвлекала внимание от шашней с собственным братцем!

– Возможно, милорд, впрочем неудивительно, что она затаила на вас обиду. Именно вы рассказали королю про нее и Тома Уайетта.

– Да, я, и не отказываюсь от своих слов! Разве мог я спокойно стоять и смотреть, как моему старому товарищу наставляют рога? Гарри не понравилось, он вышвырнул меня вон, как собаку. Что ж, он король, а король всегда убивает гонца. – Герцог понижает голос. – Но я всегда, даже под страхом смерти, буду говорить ему то, что он должен знать, потому что я его друг. Я подсаживал его в седло, Сухарь, когда он был зеленым юнцом.

Подставлял плечо, когда он держал наперевес свое первое копье, готовясь ко встрече с настоящим противником, а не с размалеванной деревяшкой. Его рука в перчатке дрожала, и я сказал ему ни больше ни меньше: «Courage, mon brave!»[7] – специально выучил фразу по-французски. И после первых проб на турнирах не было никого храбрее, чем Гарри. Как опытный воин, я помог ему, вы же знаете, я был старше, тогда и сейчас. – Лицо герцога разглаживается. – Ваш малец Грегори тоже хорош на ристалище. Отличная выправка, лучшая сбруя и оружие, прямой, честный, почтительный. И ваш племянник Ричард крепкий малый, правда не так изящен, поздно начал, но мяса на костях хватает, – поверьте мне, они с Грегори из той породы, что не свернут с пути, только вперед! Страх им неведом. Голос крови. – С высоты своего роста герцог смотрит на него сверху вниз. – Это у вас в роду. Думаю, бывает жребий и похуже, чем родиться сыном кузнеца. Каким-нибудь дурачком, грызущим перо. А у этих в крови железо, а не чернила.

Отец Чарльза пал при Босворте, где был рядом с Генрихом Тюдором. Говорят, он нес тюдоровское знамя, хотя кто поручится, что в действительности было на поле боя? Если он пал рядом со стягом, рука живого подхватила древко; Тюдоры входили в силу, а с ними Брэндоны.

Он говорит:

– Мой отец был пивоваром, не только кузнецом. Варил отвратительный эль.

– Прискорбно слышать, – искренне сочувствует Чарльз. – А теперь слушайте, что я скажу. Гарри понимает, что поступил дурно. Сначала женился на вдове брата, затем его угораздило взять в жены ведьму. Он говорит, доколе мне искупать грехи? Ему известно, чем промышляют ведьмы – забирают мужскую силу. Заставляют твой корень усохнуть. Я сказал ему, ваше величество, хватит киснуть. Позовите архиепископа, очистите совесть и начните сначала. Мне не нравится, что эти мысли одолевают его, словно проклятие. Вы советуете ему идти вперед, не оглядываясь. От вас он это выслушает. Я что, он держит меня за дурачка. – Герцог протягивает ему мощную длань. – Итак, друзья?

Союзники, думает он. Что-то теперь скажет герцог Норфолк?

В Остин-фрайарз вечная толпа у ворот, люди выкрикивают его имя, суют прошения.

– Дорогу, дорогу! – Кристоф собирает бумаги. – Назад, крысы! Не лезьте к господину секретарю!

– Эй, Кромвель! – кричит кто-то. – Вместо того чтобы держать этого французского шута, взял бы на службу доброго англичанина!

Это подливает масла в огонь: половина Лондона хочет проникнуть за ворота и служить Кромвелю, и сейчас они выкрикивают свои имена, а также имена сыновей и племянников.

– Спокойно, друзья. – Его голос перекрывает крики. – Король может сделать меня великим, и тогда жду вас всех погреться у моего камелька.

Они смеются. Он уже стал великим, и лондонцы это знают. Его собственность огорожена высокими стенами, его дом полон людьми днем и ночью. Стражники салютуют ему, он минует двор и входит в дверь. Слева и справа от двери два отверстия. В них можно высунуть шпагу или дуло. Любой злодей будет заколот или пронзен пулей сразу с двух сторон. Терстон, его главный повар, как-то сказал:

– Я не военный, сэр, но по мне это слишком: прикончив врага у ворот, вы зарежете его еще раз в дверях?

– Никакая предосторожность не лишняя, – отвечал он. – В наши времена гость войдет в ворота другом, а по пути через двор превратится во врага.

Некогда Остин-фрайарз был невелик: двенадцать комнат, которые он снял для себя, своих писарей, Лиззи, дочерей и тещи Мерси Прайор. Ныне Мерси вошла в преклонный возраст. Она хозяйка дома, но по большей части сидит у себя с книгой на коленях. Она напоминает ему изображение святой Варвары, которое ему случилось видеть в Антверпене, – святая читала посреди стройки на фоне лесов и необожженного кирпича. Строителей принято ругать – за то, что затягивают работу и завышают расходы, за пыль и шум, но он любит грохот и стук, их болтовню и песенки, их тайные приемчики и секреты. Мальчишкой он вечно забирался на чужие крыши. Покажи ему лестницу – и он мигом влезет наверх в поисках обзора. Но что он видел с крыши? Только Патни.

В гостиной его ждет племянник Ричард. Стоя под шпалерой, подарком короля, он распечатывает собственноручное письмо королевской дочери.

Ричард говорит:

– По-моему, леди Мария решила, что возвращается.

Он идет к себе, отбиваясь от писарей, которые тащатся вслед за ним, нагруженные стопками бумаг, конторскими книгами, распухшими от статутов и прецедентов, пергаментами и свитками.

– Потом, мальчики, потом…

В его комнате резкий аромат можжевельника и корицы. Он снимает оранжевый джеркин. Окна закрыты ставнями от полуденной жары, и в полутьме ткань светится, словно в руках у него огонь. В дни темнее нынешних некоторые жалкие богословы утверждали, что если бы Господь пожелал, чтобы мы ходили в цветном, то создал бы цветных овец. Вместо этого Божественное провидение даровало нам красильщиков и материалы для их ремесла. В городе, среди грязно-серого и сизого, мышиного и цвета ослиного крупа, золото заставляет сердце биться чаще. Под серым обложным дождем, поливающим Лондон зимой и летом, промельк лазури напоминает нам о небесах. Как солдат на поле битвы поднимает глаза и видит трепетание ярких знамен, так и работник среди дневных трудов радуется королевскому пурпуру, серебру, пламени и оттенку зимородкова крыла на платье вельможи на фоне блеклых английских небес.

Ричард входит за ним, закрывает за собой дверь. Становится тихо. Он привычным жестом прикладывает руку к груди и вынимает из внутреннего кармана кинжал.

– Даже теперь? – удивляется Ричард.

– Особенно теперь. – Без привычной тяжести рядом с сердцем он не чувствовал бы себя собой.

– Я понимаю, на улице, – говорит Ричард. – Но при дворе? Не могу представить себе обстоятельства, при которых он вам понадобится.

Вот и я не могу, думает он. Именно поэтому мне нужен кинжал. Он трогает лезвие большим пальцем. Первый нож он сделал себе сам еще мальчишкой. Отличный кинжал, ему до сих пор не хватает того клинка.

– Ступай к Шапюи, – велит он Ричарду. – Кланяйся ему от меня и пригласи его на ужин. Если откажется, скажи, я внезапно почувствовал неодолимую страсть к дипломатии и хочу заключить сделку до заката. И если он не придет, придется позвать французского посла.

– Отлично придумано.

Ричард уходит, а он, без оранжевого джеркина и без кинжала, спускается во внутренний двор, на свежий воздух, идет на кухню навестить Терстона.

Он слышит повара раньше, чем видит: какой-то несчастный жалеет, что родился на свет.

– Я говорил тебе раз, – ревет Терстон, – говорил два, говорил три, а в следующий раз, если ты возьмешь для чеснока эту ступку, я собственноручно вытряхну твои мозги, разотру пестиком и отдам Дику Персеру накормить собак.

Он проходит холодную комнату, где с крюков свисают два павлина, горло перерезано, на шпорах гири. Заворачивает за угол, видит лицо мальчишки, которого распекают:

– Мэтью? Мэтью из Вулфхолла?

Терстон фыркает:

– Из Вулфхолла? Прямиком из ада!

Он удивлен, встретив мальчишку здесь:

– Я взял тебя в писари, а не на кухню.

– Да, сэр, я им говорил.

Бледный честный Мэтью каждое утро приносил ему письма, когда в прошлом году король посещал Сеймуров. Тогда он решил, что такому миловидному и смышленому мальчишке не стоит прозябать в провинции. Бледное личико озарилось, когда он спросил Мэтью, не хочет ли тот повидать мир.

– Этот мальчик не на своем месте, – говорит он Терстону. – Произошла ошибка.

– Отлично, забирайте, иначе я его покалечу!

– Снимай. – Он показывает на заляпанный фартук.

– Правда, сэр?

– Пришло твое время. – Он помогает мальчишке снять фартук, без которого тот выглядит очень тощим. – Как поживает твой приятель Роб? Есть от него известия?

– Да, сэр. Он делает, как было велено, держит ухо востро и честно записывает всех, кто бывает в Вулфхолле. Только я не могу добраться до вас, чтобы передать новости.

– Прости, что с тобой обошлись так сурово. Перейди двор, найди Томаса Авери и скажи, что я велел обучить тебя счетоводству. Если освоишь это ремесло, твои услуги могут пригодиться в других домах.

Мальчишка обижен:

– Но мне нравится у вас!

– Несмотря на этого грубияна? – Он показывает на Терстона. – Если я тебя куда-нибудь отошлю, ты все равно останешься на моей службе.

– И мне придется взять другое имя? – Мальчишка натягивает на плечи воображаемый джеркин. – Я вас понял, сэр.

Терстон говорит:

– Хорошо, хоть кто-то понял.

Вокруг две дюжины мальчишек тащат по каменному полу корзины с провизией, точат ножи для резки овощей, пересчитывают яйца, делают пометки в списках, ощипывают птицу. Дела в доме идут своим чередом без его участия. Здесь кровяные пудинги томятся на плите, чистится рыба; а через двор востроглазые писари сидят на табуретах, готовые строчить письма. Здесь жаровни и латунные кастрюли; там перочинные ножички, воск для печатей, ленты и шелковые шнурки, чернильные слова, что ползут по пергаменту, гусиные перья. Он вспоминает тот день во Флоренции, когда наверх позвали его. «Эй, англичанин, тебя зовут в контору». И как он неспешно снял фартук, повесил на гвоздь и навсегда оставил позади медные сковороды и тазы, ряды кувшинов для масла и вина в нише, каждый высотой с семилетнего мальчишку. Он прыгал через две ступеньки, а когда пересекал sala[8], слышал, как капли из фонтана в стене падали в мраморную чашу, тихий неритмичный барабанный бой: кап-кап… кап… кап-кап-кап. Мальчишка, которые скреб ступени, посторонился, давая ему дорогу. Он пел: «Скарамелла идет на войну…»

Он говорит Терстону:

– У нас ужинает Шапюи, только мы двое.

– А то как же. – Терстон просеивает муку, поднимая белые клубы. – Кто-то мне сказал, этот испанец, что вечно толчется в вашем доме, и твой хозяин сгубили королеву, потому что она мешала их дружбе.

– Шапюи не испанец, а савояр, не притворяйся, будто не знаешь.

Терстон одаривает его взглядом, в котором читается: не хватало еще различать чужеземцев между собой, это унизительно и бессмысленно.

– Я знаю, что император – король Испании и господин половины мира. Неудивительно, что вы хотите забраться к нему в постель.

– А что делать, – говорит он. – Прижму его к груди.

– Когда к нам снова пожалует король? – спрашивает Терстон. – Хотя откуда у короля взяться аппетиту? Кто стерпит, когда твои яйца открыто обсуждают при дворе?

– Откуда мне знать? Со мной такого не случалось.

– Весь Лондон слышал. – Терстону явно по душе тема разговора. – Конечно, что именно сказал Джордж, мы не знаем, он говорил по-французски, но мы думаем что-то вроде: у короля встает и он заправляет куда надо, но ненадолго, поэтому дама не получает удовольствия.

– Вот видишь, надо было учить французский.

– Суть я уловил. – Терстона не сбить с толку. – Если ты не ублажишь даму, она не понесет, а если понесет, то ребеночек не доживет до крещения. Вспомните королеву-испанку. В молодости она рожала дюжинами. И ни один не выжил, кроме малышки Марии, которая размером с мышь.

У его ног блестящие угри извиваются в корыте, сплетаясь друг с другом, словно ждут, что их забьют и замаринуют.

Он спрашивает Терстона:

– Что говорят на улицах? Про Анну?

Терстон хмурится:

– Никто ее не любил, даже женщины. Говорят, если она занималась этим с братцем, ясно, почему никто из ее детей не задержался в утробе. Ребенок от брата, или зачатый в пятницу, или когда суешь бабе сзади – все это против природы. Они сами вываливаются, бедные грешные создания. А ради чего им рождаться? Чтобы тут же отдать концы?

Терстон верит в то, что говорит. Кровосмешение греховно, мы все это признаем, но греховно и соитие в любой позе, кроме одобренной священниками. А равно соитие в пятницу, когда Христос был распят, в воскресенье, субботу и среду. Послушать церковников, так грешно входить в женщину во время Рождественского и Великого поста, а равно в дни почитания

святых, которыми пестрит календарь. Больше половины года следует воздерживаться по той или иной причине. Удивительно, что дети еще появляются на свет.

– Некоторые женщины любят быть сверху, – рассуждает Терстон. – Разве это угодно Господу? Вообразите, какие жалкие отродья от этого заводятся. Обычно им не протянуть и недели.

Послушать Терстона, так дети все равно что черствые булки или вянущий цветок – недели не протянут. Однажды они с Лиззи потеряли ребенка. Терстон сварил куриный бульон, чтобы поддержать ее силы, и молился за хозяйку, пока резал овощи. Это было на Фенчерч-стрит. В те дни он перебивался случайными заработками, Грегори держался за материнскую юбку, Энн еще не отняли от груди, а Грейс не было и в помине. Тогда Терстон был простым поваром, а не главным, под командой у которого армия помощников. Он помнит, как бульон поставили перед Лиззи, как слезы капали в тарелку и бульон унесли нетронутым.

– Так и будете стоять без дела? – спрашивает Терстон. – Или забьете для меня этих угрей?

Он смотрит на корыто с угрями. Сам он в бытность поваром держал угрей в их стихии, пока не закипит вода в кастрюле. Впрочем, что толку спорить? Он закатывает рукава.

– И шкуру с них спустите, – говорит Терстон.

– Студентом в Италии, – рассуждает посол Шапюи, – я на ужин довольствовался хлебом с оливками.

– Нет пищи здоровее, – соглашается он. – Однако английский климат не годится для олив.

– Изредка мог позволить себе немного зеленых бобов в стручках. Стаканчик vin santo[9].

Из уважения к гостю Грегори сам вносит льняное полотенце и таз. Пальцы посла теребят стебли сухой лаванды.

– Вы собираетесь охотиться летом, мастер Грегори?

– Надеюсь, – отвечает Грегори и опускает голову, а посол осеняет себя крестным знамением и произносит молитву перед едой.

Часто забывают, что Шапюи – духовное лицо. Интересно, как у него с женщинами? Блюдет ли посол обет безбрачия или, как и хозяин дома, не выставляет свои похождения напоказ?

Приносят угрей, приготовленных двумя способами: соленых, под миндальным соусом, и запеченных в апельсиновом соке. К угрю подают пирог со шпинатом, зеленый, как летний вечер, приправленный мускатным орехом и сбрызнутый розовой водой. Блестит серебро, салфетки сложены в форме тюдоровских роз,

полотенца, которыми накрывают хлеб и столовые приборы, расшиты серебряными веночками.

– Bon appetite[10], – желает он послу. – Я получил письмо.

– От принцессы Марии. И что она пишет?

– Вы знаете, что она пишет. А теперь послушайте, что скажу я. – Он подается вперед. – Принцесса, как вы ее называете, а вернее, леди Мария верит, что отец вернет ее ко двору. Она считает, что с новой мачехой ее беды остались позади. Вы должны ее в этом разубедить, или это сделаю я.

Шапюи двумя пальцами берет кусок угря.

– Все эти годы она винила в своих страданиях Анну Болейн. Считала, что именно конкубина разлучила ее с матерью и заперла в глуши. Она чтит своего отца и верит в его мудрость. Как и должно дочери, разумеется.

– Тогда ей следует принести присягу. До сих пор она увиливала, но теперь время пришло. Все подданные должны сделать это по требованию короля.

– Давайте уточним, чего именно вы от нее хотите. Она должна признать, что брак ее матери не имел законной силы, и хотя она старшая из детей короля, но трон не наследует. Она также должна будет признать наследницей малолетнюю дочь казненной Болейн.

– Клятву пересмотрят. Там не будет упоминания об Элизе.

– Отлично. Поскольку, как я понимаю, она дочь Генри Норриса. Или лютниста? Это восхитительно, – говорит посол про угря. – Итак, чего добивается Генрих? Мой господин не согласится признать наследником вместо Марии молодого Ричмонда. Как и король Франции.

– Парламент установит порядок престолонаследования.

– Серьезно? Не прихоть короля? – Посол хихикает. – Вы сказали об этом Генриху?

– Мария утверждает, что не хочет быть королевой. Говорит, что поддержит того, кого выберет отец. Однако не соглашается признавать его главой церкви.

– Верно, – кивает посол.

Старый епископ Фишер отверг присягу, и в прошлом году Генрих его казнил. Томас Мор отверг присягу и стал короче на голову.

Он говорит:

– Мария тешит себя иллюзиями. Неужто она думает, будто мы повернемся к Риму, потому что Анна Болейн мертва?

Шапюи вздыхает:

– Жаль, Томас, что в старые дни в Риме мы друг друга не знали. Каким удовольствием было бы разделять с вами трапезу! Там готовят такие крошечные равиоли с начинкой из сыра и трав. Легкие, воздушные, если повар знает свое дело. – Посол поправляет салфетку на плече. – Разумеется, император желает королю успеха в новом браке. Его печалит, впрочем, что ваш господин не счел нужным прислушаться к его советам относительно выбора невесты. Он мог бы получить в жены герцогиню Миланскую, прелестную вдову шестнадцати лет от роду. Но что сделано, то сделано, будем исходить из того, что есть. Император надеется, что, если мадам Джейн родит королю наследника, это будет способствовать миру и благоденствию. Вам, мон шер, я желаю, чтобы новый брак сделал Генриха более… – посол заводит глаза, – податливым. И что бы ни говорил о его трудностях в постели брат покойной королевы, мы должны пожелать королю… как там у Боккаччо? – «восстания плоти»?

Мальчик приносит телятину. Он, Кромвель, сам берет нож для нарезания мяса.

– Я полагаю, – Шапюи делает паузу, дожидаясь ухода слуги, – я полагаю, что в Германии сейчас недоумевают. Ваши друзья-еретики знают, что мадам Джейн была фрейлиной королевы Екатерины. Они спрашивают себя, неужто Кремюэль обезумел? Зачем погубил конкубину, такую же еретичку, как он сам, и привел на ее место верную дочь Рима? – Посол касается пальцем губ. – Не иначе, Кремюэль что-то замышляет. Однако, как я всегда говорю императору, Кремюэль всегда что-то замышляет. И, судя по событиям двухнедельной давности, его замыслы всегда успешны.

– Я не виновен в смерти Анны, – говорит он. – Она сама себя сгубила, она и ее джентльмены.

– Но в удобное для вас время.

Он кладет нож на стол, перламутровая ручка блестит.

– Едва ли я мог назначить время для их ссоры.

– Вы говорили, что не знаете, как от нее избавиться, но должны это сделать, иначе она избавится от вас. Говорили, что вернетесь домой и попытаетесь вообразить, как это могло бы случиться. Видимо, вы обладаете самым сильным воображением в Англии. По-моему, Генрих ужаснулся тому, что вскрылось при расследовании. – Шапюи вытирает пальцы. – Что за картину вы вложили в голову христиан! Королева Англии лежит на спине, задрав юбку: «Все сюда, все ко мне!»

– Эта картина заставляет вас ворочаться по ночам?

– Генри Норрис, лучший друг короля. Фрэнсис Уэстон, тщеславный юнец, которого угораздило проходить мимо, когда она была не одета. Сельский головорез с Севера Уилл Брертон. Мальчишка Смитон… выходит, не такая уж она гордячка, если легла с мальчишкой, которого наняли играть на лютне. Какая ненасытность! Неужто ей не хватало братца? – Шапюи кладет салфетку на стол. – Я все понимаю: Генрих устал от нее и возжелал малютку Джейн. «Кремюэль, – сказал он, – найдите способ от нее избавиться». Однако он был не готов к тому, что вскроется в результате вашего расследования. Возможно, мон шер, он не простит вам, что вы его выставили на посмешище.

– Напротив, он пожаловал мне титул.

– Когда-нибудь это вам аукнется. У Генриха долгая память. А сегодня примите мои поздравления. Вы стали милордом. Барон Кромвель…

– Уимблдонский.

– О нет, пощадите! Возьмите другое имя. Этого мне не выговорить.

– И теперь я лорд – хранитель малой королевской печати.

– Это высокий пост?

– Мне больше не нужно.

Посол берет ломтик телятины:

– А знаете, совсем неплохо.

– Предупреждаю вас, – говорит он. – Если Мария разозлит отца, его гнев докатится до ваших дверей.

– Если ваш повар захочет сменить место, пришлите к моим дверям заодно и его. – Шапюи берет со стола вилку, восхищаясь зубцами. – Мы оба знаем, что принцесса не станет приносить клятву, провозглашающую ее отца главой церкви. Она не может присягать тому, что считает неестественным. Может быть, чем подвергать гонениям, король отправит ее в обитель? И больше не будет подозревать в том, что она жаждет трона? Это станет достойным уходом от мира. Она может удалиться в один из великих монастырей, где впоследствии станет аббатисой.

– Шефтсбери подойдет? Или Уилтон? – Он опускает кубок. – Ах, оставьте, посол! Она готова удалиться в обитель не больше вашего. Если мир с его треволнениями так Марии безразличен, почему бы не присягнуть, и дело с концом? Тогда все от нее отстанут.

– Мария может отказаться от будущих притязаний, но не от прошлого. Она не признает, что ее родители не состояли в законном браке. Не смирится с тем, что ее мать назовут шлюхой.

– Никто не называл ее шлюхой. Вдовствующей принцессой. Вы не забыли, что после расставания Генрих относился к ней с почтением и не жалел расходов на ее содержание?

– Послушайте, Екатерина умерла! – с горячностью произносит посол. – Оставьте ее, пусть покоится с миром!

Однако она не желает покоиться с миром. Даже из могилы Екатерина тянется к дочери. Приходит по ночам, рядом с ней тощий старик, ее советник епископ Фишер, а в руках у нее свиток доводов в свою пользу. Когда пришло известие о смерти Екатерины, при дворе устроили танцы, но в день похорон у Анны Болейн случился выкидыш. Труп восстал из гроба и принялся душить

разлучницу, пока у той не застучали зубы; встряхнул ее так, что королевский сын выскочил из утробы.

– Посол, – он соединяет кончики пальцев, – позвольте мне заверить вас, что Генрих любит дочь. Однако он ждет от нее покорности, как отец и правитель.

– Более всего Мария почитает Отца Небесного.

– Но если ей суждено умереть, ее душа предстанет пред Господом, отягощенная грехом непокорности.

– Вы злодей, – говорит Шапюи. – Верны себе. Вместо того чтобы утешать, угрожаете. Генрих не станет убивать собственную дочь.

– Кто знает, что на уме у Генриха? Только не я.

– Так и передам императору. Подданные Генриха живут в страхе. Я уговариваю моего господина: ваш христианский долг – освободить Англию. Даже узурпатор Ричард Скорпион не был так презираем, как нынешний правитель.

– Мне не нравится выражение: «нынешний правитель». Граничит с изменой. Всякий, кто его употребляет, подразумевает другого претендента.

– Изменить может только тот, кто должен хранить верность. Я ничего не должен Генриху, за исключением формальной благодарности за гостеприимство, которое я могу назвать весьма символическим и не идущим ни в какое сравнение, – посол кланяется, – с вашим радушием. Вся Европа знает, как туманно его будущее. Только в январе…

Отложите вилку, думает он, хватит меня закалывать. Память о том дне жива до сих пор. Цепенящий холод и смятение. Его выдернули из-за письменного стола – увидеть несчастье своими глазами. Конь Генриха рухнул на ристалище. Генрих ударился головой, его принесли в шатер. Король лежал восковой, словно кукла, ни дыхания, ни пульса, мы решили, он умер. Он помнит, как положил руку королю на грудь и ощутил слабое биение жизни, – но неужели это он, как впоследствии рассказывали очевидцы, воззвал к Господу и, не боясь переломать королевские ребра, со всей силы ударил короля в грудину? Как он мог такое забыть? Генрих дернулся, захрипел, его вырвало, и король сел. Обратно в мир живых. «Кромвель, это вы? – сказал Генрих. – А я думал, что увижу ангелов».

– Хорошо, – говорит Шапюи, – не станем упоминать этот эпизод, если он лишает вас аппетита. Однако нельзя не признать, что в Англии есть люди, представители лучших семейств, которые остаются верными сынами Рима.

– Как такое возможно? – спрашивает он. – Все они принесли присягу. Куртенэ, Поли. Все признали Генриха не только своим королем, которому обязаны служить, но и главой церкви.

– Разумеется, – отвечает Шапюи. – А что им было делать? Какой выбор вы им оставили?

– Вероятно, вы считаете, что клятвы для них ничего не значат. И ждете, что они нарушат слово.

– Вовсе нет, – успокаивает его посол. – Уверен, они не пойдут против помазанника Божия. Я беспокоюсь, что, возмущенный попранием древних прав, какой-нибудь их сторонник нанесет королю смертельный удар. Хватит простого кинжала. Все может произойти и без человеческого участия. Чума убивает за день, потовая лихорадка – за несколько часов. Вы знаете, что я прав, и, если я прокричу это лондонцам с кафедры у стен собора Святого Павла, вы не посмеете меня повесить.

– Не посмею. – Он улыбается. – Но, к вашему сведению, бывало, что послов убивали на улицах. Я ни на что не намекаю.

Посол опускает голову. Ковыряется в листьях салата. Сладкий латук, горьковатый эндивий. Мэтью входит с фруктами.

– Боюсь, абрикосы снова не уродились, – сетует он. – Кажется, я не ел их уже несколько лет. Надеюсь, епископ Гардинер угостит меня абрикосами, если заглянет на огонек.

Шапюи смеется:

– Предварительно замочив их в кислоте. Вы знаете, что он уверяет французов, будто Генрих собирается вернуть страну в объятия Рима?

Он не знает, но подозревал.

– Вместо абрикосов мы заготавливаем персики.

Шапюи доволен.

– Вы готовите их по венецианскому рецепту. – Он зачерпывает ложку и лукаво смотрит на него поверх десерта. – Что будет с Гуйеттом?

– С кем? А, с Уайеттом. Он в Тауэре.

– Я прекрасно знаю, где он. Там, где вы можете за ним присмотреть, пока он сочиняет свои загадочные вирши. Почему вы его защищаете? Его место на плахе.

– Его отец был другом моего бывшего хозяина, кардинала.

– И просил вас покрывать преступные деяния сына? – смеется посол.

– Я дал ему слово, – сухо отвечает он.

– Выходит, это обещание для вас свято. Но почему? Когда ничто другое не свято? Я вас не понимаю, Кремюэль. Вы не боитесь, когда следует бояться. Вы как будто играете костями, залитыми свинцом.

– В игральные кости заливают свинец? Как интересно.

– Вы обманываете самых знатных людей королевства.

– Вы про Кэрью и прочих?

– Они знают, что вы в них нуждаетесь. Вам не выстоять в одиночку. Если новый брак короля продлится недолго, что тогда? Сегодня вы в фаворе, но что с вами будет, если Генрих лишит вас своей милости? Вспомните кардинала. Его не спасла даже принадлежность к духовному сословию. Если бы он не умер по пути в Лондон, Генрих отрубил бы ему голову вместе с кардинальской шапкой. И некому будет вас защитить. У вас есть сторонники. Сеймуры вам обязаны. Фицуильям помог вам избавиться от конкубины. Но за вашей спиной нет родословной. Вы были и остаетесь сыном кузнеца. И ваша жизнь зависит от следующего удара королевского сердца, а ваше будущее – от того, улыбнется он или нахмурится.

В январе, когда я думал, что Генрих умер, и когда все вокруг вопили не своим голосом, я вскочил и сказал: «Я иду, я рядом». Но прежде чем выйти из комнаты, я посыпал бумаги песком и взял со стола турецкий стилет с гравированным подсолнухом на рукояти, который лежал там для красоты. Теперь у меня было с собой два кинжала. Потом я нашел Генриха и заставил его воскреснуть из мертвых.

– Я помню те крохотные равиоли, – говорит он. – В доме Фрескобальди, когда кончался Великий пост, их начиняли рубленой свининой, а за столом посыпали сахаром.

– Похоже на банкиров, – фыркает Шапюи. – Никакого вкуса, одни деньги.

Ризли вплывает в Остин-фрайарз, когда они приходят с вечерней молитвы.

Ричард говорит:

– Здесь Зовите-меня, но вам на сегодня достаточно. Выставить его?

– Нет. Я хочу послать его к Марии.

– Вы доверите ему такое дело?

– Я пошлю с ним Рейфа, если король его отпустит. Однако Мария очень чувствительна к собственному статусу и может решить, что Рейф связан…

– С нами, – заканчивает фразу Рейф.

В то время как мастер Ризли происходит из семьи потомственных герольдов. Герольды имеют собственный статус и очень им дорожат. Зовите-меня входит с пергаментом в руке:

– Когда мы начнем обращаться к вам лорд Кромвель, сэр?

– Когда пожелаете.

– Я подумал… теперь, когда вам пожалован титул, не стоит ли вернуться к вашему происхождению? – Он разворачивает разноцветный свиток. – Это герб Ральфа Кромвеля из замка Таттершолл. Он был казначеем великого Гарри, завоевавшего Францию.

Сколько можно?

– Я не имею никакого отношения к лорду Ральфу, равно как и он ко мне. Вы знаете, кем был мой отец и откуда я родом. Если не знаете, спросите Стивена Гардинера. Он посылал своего человека в Патни выведать мои секреты.

Зовите-меня изнывает от желания спросить: и выведал? Но от темы не отклоняется:

– Вы должны пересмотреть свои взгляды на этот вопрос. Так будет удобнее королю.

Ричард говорит:

– Удобней, чем сейчас, ему уже никогда не будет.

– Однако если бы вы носили древнее имя, то пользовались бы большим уважением. Не только среди вельмож, но и среди простонародья, не говоря о чужеземных дворах. За границей говорят, будто Генрих вас прогнал, а на ваше место посадил двух епископов.

– Держу пари, один из них – Гардинер. – Он обожает эти умозрительные миры, что прорастают в складках правды. – А что еще говорят?

– Что любовников конкубины четвертовали, а ее заставили смотреть, прежде чем сожгли на костре. Считают нас такими же варварами, как сами. Говорят, все семейство под замком. Предвижу, ее отцу будет нелегко убедить людей, что он жив. Я полагаю, вы не тронули его, потому что… – Зовите-меня запинается. – Потому что он поступил так, как вы ему велели. Люди должны знать, что за это полагается награда.

Если можно назвать наградой такую жизнь, какая предстоит Томасу Болейну.

Он говорит:

– Я верю в экономию. Палачу нужно платить, Ризли. Думаете, он предлагает свои услуги gratis?[11]

Зовите-меня замолкает, моргает, набирает побольше воздуху и с искренним рвением продолжает:

– Говорят, что леди Мария уже вернулась ко двору и примерила драгоценности покойной королевы. Что король собирается выдать ее замуж за сына французского короля герцога Ангулемского и что герцог будет жить в Англии, готовясь взойти на престол.

– Я слышал, она не имеет склонности к замужеству.

– Так вы обсуждали с ней этот вопрос?

– Кто-то же должен поддерживать надежды французов.

Зовите-меня сомневается, – возможно, его дразнят? Он, лорд Кромвель, изучает герб другого лорда Кромвеля:

– Я предпочел бы корнуольских галок кардинала. Что сегодня из Кале?

В Кале злоба и междоусобицы знатных семейств заперты внутри городских стен. Эти крошащиеся стены, английская защита – бездонная яма для денег, кишащая слухами, подтачиваемая интригами. Кале – своего рода чистилище. Несчастный ждет не дождется, но не прощения, а попутного ветра. Все, о чем говорят в крепости, несется через море с шипением и грохотом волн, разбиваясь о стены Уайтхолла. Кале наша последняя опора на материке, его пределы – наша последняя территория. Управлять Кале должен самый стойкий и верный из слуг короля. Вместо этого там правит лорд Лайл. Он приходится Генриху дядей, один из бастардов короля Эдуарда, и Генрих обожает товарища по детским играм. Лорд Лайл уже хлопочет о том, чтобы его не забыли при дележке имущества Болейнов. Раньше, для того чтобы выбивать синекуры и поблажки, у него был Гарри Норрис, не позволявший королю о нем забыть. Прошли те времена, теперь Норрис кормит могильных червей.

Зовите-меня говорит:

– Это жена Лайла мутит воду. Она ведьма, к тому же папистка. Вы знаете, что у нее есть дочери от первого брака? Она вечно пыталась пристроить их в свиту Анны. А теперь рассчитывает на новую королеву.

– Мне кажется, у Джейн хватает фрейлин, – говорит он. – Зовите-меня, я попрошу вас с Рейфом поехать в Хансдон. Попытайтесь образумить Марию. Но будьте с ней ласковы. Она нездорова.

Письмо Марии по-прежнему лежит у него в кармане. Даже в собственном доме он не решается оставить его без присмотра. Мария пишет, что у нее слезятся глаза, ноют зубы, а по ночам она не может сомкнуть век. И только свидание с отцом способно ее утешить. Неверные друзья разлучили их. Когда они будут изгнаны или сокрушены мечом правосудия, когда ложные советчики будут сброшены в Темзу, тогда король, ее отец, обратится к ней, и пелена спадет с его глаз, и он увидит свою дочь и наследницу в истинном свете.

Однако сначала король должен призвать ее к себе. Позволить ей согреться в лучах его славы. До той поры она – дева в зачарованном саду. Ждет того, кто прорвется сквозь колючие заросли и разрушит чары.

– Поезжайте сами, сэр, – говорит Ризли.

Он мотает головой.

– Не желаете быть разносчиком дурных вестей?

– Она любит отца, – говорит он. – И ей придется ему поверить. Король не потерпит своеволия. Тем более от собственного дитяти.

Солнце садится, последний теплый луч ложится на стол. На столе «Декреталии папы Григория» с обширными примечаниями и монограммой: «ТС» – Thomas Cardinalis. В неверных сумерках, в которых тени словно текучая вода, он видит фигуру королевской дочери: она съежилась, ушла в себя, лицо бледное,

упрямое. Его зачаровывает осторожное смещение света, где она, живой призрак, выстраивает себя по частям. Она на него не смотрит – он смотрит на нее.

– Ризли, вы должны сказать ей: «Смирение, мадам, вот добродетель, которая вас спасет. Истинное смирение – это не раболепство, оно не унизит вас, не затронет вашу совесть. Скорее его можно назвать преданностью».

– Так и быть, – говорит Зовите-меня, – раз вы считаете, что я должен обращаться к ней, как вы обращаетесь к палате общин. Вероятно, следует упомянуть, что смирение снимает немалую долю ответственности.

– Думаю, это ее утешит. Но не говорите с ней как с малым ребенком. И не пытайтесь ее запугать. Она храбра, как ее мать, и способна дать отпор. Более того, она упряма, как мать, и может занять оборону. Если она разозлится, отступите и передайте слово Рейфу. Вы должны воззвать к ее женской природе. К ее дочерней любви. Скажите ей, как это ранит ее отца, – он прикладывает руку к сердцу, – ранит вот здесь, скажите, что ей следует думать не о мертвых, а о живых.

Фигура мастера Ризли расплывается: он теряет очертания, его окутывает ночь. Ему хочется, чтобы принцесса не исчезала, пока она не растает в пламени его воли, а это случится, если он найдет нужные слова, которые заставят ее усомниться в собственной правоте.

– Сэр, – говорит Ризли, – по-моему, вам известно то, что неизвестно остальным.

– Мне? Ничего я не знаю. Никто мне ничего не рассказывает.

– Это как-то связано с Уайеттом?

Рейф сказал, что стихи, обвиняющие Уайетта, полные зашифрованных обвинений и горьких шуток, имеют хождение между придворными в непосредственной близости от короля. Листок вкладывают в молитвенник, втискивают в перчатку, используют в игре вместо пикового короля.

– Все напуганы, – говорит Зовите-меня. – Все оглядываются через плечо. Гадают, не будет ли выдвинуто новых обвинений. Я беседовал с Фрэнсисом Брайаном, и, когда всплыло имя Уайетта, он потерял нить разговора и посмотрел на меня так, словно видит впервые.

– Фрэнсис? – смеется он. – Вероятно, был пьян.

– По-моему, дамы тоже боятся. Когда я доставил послание королеве Джейн, они встрепенулись, начали переглядываться, подавать друг другу знаки…

– Мой бедный мальчик! Вы входите – и женщины начинают переглядываться. Неужели с вами такое впервые? Расскажите мне, какие знаки они подавали друг другу, и я постараюсь их расшифровать.

Зовите-меня вспыхивает:

– Сэр, это не шутки. Королева – та, другая – заплатила за деяния, которые совершила, но этим дело не кончилось. Ты входишь в комнату, слышишь, как хлопает дверь, как кто-то шарахается при твоем приближении. И в то же время чувствуешь, что за тобой следят.

Следят, а ты как думал?

– Все решили, – продолжает Зовите-меня, – что Анну сгубило признание Уайетта, но никто не понимает, что заставило его так поступить, его считали храбрым и…

– Неразумным?

– Не совсем. Скорее галантным. Все гадают, чем Анна ему насолила и почему мед обратился желчью? Лучше бы их похоронили в одной могиле, чем…

Неудивительно, что ты запинаешься. Порой наши фантазии, словно танцоры, неожиданно и резко взмывают вверх. И мы видим ящик для стрел, узкий даже для одного тела.

– Они считают, что Уайетт должен был умереть ради любви, а сами ради нее не готовы перейти улицу.

Он думает об Уайетте в тюрьме. Сумерки наползают от ручейков и протоков Темзы, последний луч света скользит, словно шелк, всплывает на поверхность, уходит под воду. Свет движется, в то время как вода неподвижна. Он видит Уайетта издалека, словно отражение в зеркале или сквозь время.

Он говорит Ризли:

– Доброго пути. Запоминайте все, что скажет Мария. Как выйдете от нее, сразу запишите.

Он идет в спальню, Кристоф топает за ним.

– Этот чудной Мэтью, – говорит Кристоф. – Я слыхал, его повысили. Отошлите его обратно в Вулфхолл. Ему только свиней пасти, а не прислуживать лорду.

– Надо было мне самому поехать к Марии, – говорит он. – Вернулся бы прежде, чем об этом начнут судачить.

Он затворяет дверь, завершая день.

Кристоф говорит:

– Как раньше, когда мы ездили в Кимболтон, чтобы втайне повидать старую королеву. Когда мы остановились на постоялом дворе, женка трактирщика…

– Прекрати, хватит уже.

– …запрыгнула к вам в постель. На следующее утро вы велели мне заплатить по счету и дали свой кошелек. А в Кимболтоне мы остановились у церкви. Помните, я свистнул и появился священник?

Он помнит каменного дьявола, его змеиные объятия, зеленовато-голубые перья на крыльях архангела Михаила, его разящий меч.

– Мы решили тогда, вам нужно исповедаться. Надеялись послушать. Но вы не стали исповедоваться. И даже если мы раскаемся, прощения нам не видать, если мы намерены грешить снова.

Он видит себя в оконном стекле, раздетого до рубахи, яркий всполох белого. Без парчи и бархата он выглядит грузным – тяжелый отруб мясницкой туши. Его седеющие волосы коротко стрижены, и нечему смягчить черты, которыми наказал его Господь: маленькие рот и глаза, большой нос. Нынче он носит льняные рубахи столь тонкие, что сквозь них можно читать английские законы. У него есть бархатный зеленый джеркин, который сшили в прошлом году и прислали в Вулфхолл; есть пурпурный джеркин для верховой езды. От прошлой коронации у него остался темно-багровый, в котором, как сказала фрейлина Анны, он был похож на ходячий синяк. Если человека создает одежда, то он создан, но никто, даже в юности, не говорил ему: «Наш Томмазо сегодня красавчик». В лучшем случае: «Раненько надо проснуться, чтобы опередить этого дюжего английского ублюдка». Никто не скажет, что он хорошо смотрится в седле, – он просто садится на лошадь и едет куда надо. Он пускает лошадь неспешным шагом, но на месте оказывается раньше прочих.

Ночь теплая, но Кристоф развел слабый, потрескивающий огонь и поставил на него мисочку с ароматическими травами и ладаном – эта смесь убивает любую заразу. Толстые восковые свечи, ждущие прикосновения тонкой свечи, чернила, записная книга, открытая на чистой странице, в случае если он проснется и решит внести еще пункт в список завтрашних дел. Похоже, мне нужно выспаться, говорит он Кристофу, и Кристоф отвечает: посла давно след простыл, даже Зовите-меня убрался, мастер Ричард дома с женой, король читает молитвы или пытается ублажить королеву, птицы сложили головки под крыло, заключенные сопят в Тауэре, Маршалси, Клинке и Флите. Дик Персер уже выпустил сторожевых псов. Бог в своих небесах. Ворота на засове.

– А я наконец в собственной спальне, – говорит он.

Семь лет назад, когда Флоренция, осажденная войсками императора, умоляла французов о помощи, члены городского совета пришли в дом к торговцу Боргерини и заявили: «Мы хотим купить вашу спальню». Прекрасные расписные филенки, роскошные занавеси и прочее должны были растопить сердце короля Франциска. Но Маргарита, жена торговца, заупрямилась и прогнала просителей прочь. Не все в жизни продается, заявила она. Эта комната – сердце моей семьи. Вон отсюда! Если хотите забрать спальню, придется переступить через мой труп.

Он не готов жертвовать жизнью ради мебели. Но он понимает Маргариту и никогда не сомневался в правдивости этой истории. Наши вещи переживут нас, преодолеют потрясения, которые нас сломят. Мы должны быть достойны их, потому что, когда нас не станет, они будут свидетельствовать о нас. В этой комнате есть вещи тех, кто уже не может ими воспользоваться. Книги, которые подарил ему его хозяин Вулси. Одеяло желтого турецкого атласа, под которым он спал с Элизабет, своей женой. В сундуке лежит резной образ Пресвятой Девы, завернутый в стеганый чепец. Гагатовые четки свернулись в ее старом бархатном кошельке. Есть еще наволочка, на которой она вышивала

оленя, бегущего сквозь листву. Смерть ли оборвала работу, или Элизабет сама ее бросила, недовольная результатом, но иголка осталась в ткани. Позднее другая рука – ее матери или одной из ее дочерей – вынула иглу, но остались два прокола, и, если провести пальцем вдоль линии стежков туда, где они должны были продолжиться, почувствуешь два крохотных бугорка. У него есть сундучок фламандской работы, который перенесли из соседней комнаты, и в нем, переложенные пряностями, лежат ее рукава, ее золотая шапочка, ее юбки и чепцы, ее аметистовое кольцо и кольцо с алмазной розой. Если она войдет, ей будет во что одеться. Однако жену не сотворишь из чепцов и рукавов; сожми в ладони все ее кольца, но ты не сожмешь ее руку.

Кристоф говорит:

– Вы грустите, сэр?

– Нет, не грущу. Не могу себе позволить. Я слишком многого достиг, чтобы грустить.

Я был прав, говорит он, мне не следует ехать к Марии. Пусть все идет как идет, посмотрим, какие вести привезут Рейф и Зовите-меня. Вот кардинал, думает он, был мастером в подобных делах. Вулси всегда говорил: разберись, чего хотят люди, и, может быть, ты сумеешь предложить им именно это. И пусть ты ошибешься, но все может пройти легче, чем ты ожидал. С Томасом Мором не вышло. Мор вел себя словно утопающий, который отталкивает протянутую руку. Он предлагал ему руку снова и снова, неизменно встречая отказ. Для Генриха век уговоров позади – он закончился, когда Мор каплями стек на эшафот, утонув в крови и дождевой воде. Отныне настал век принуждения, и королевская воля – инструмент, который каждое утро затачивает кузнец: остроконечный, жалящий, он глубоко ввинчен в наш испорченный век. Ты увидишь, как Генрих, изощренный обманщик, берет посла под руку и пытается очаровать. Ложь доставляет ему глубокое и утонченное удовольствие, такое глубокое и утонченное, что он даже не осознает своей лжи, искренне считая себя правдивейшим из государей. Генрих считает, что он, Кромвель, недостаточно знатен, чтобы беседовать с чужеземными вельможами, поэтому ему остается только стоять у стены и не сводить глаз с королевского лица. Впоследствии они с послом перекинутся парой фраз: «Кремюэль, неужели на этот раз я должен ему верить?» Вы просто обязаны, посол, скажет он. «Вы считаете, я только вчера родился на свет? Сегодня он говорит одно, а что скажет через неделю?» Верьте мне, посол, готов поклясться, я прослежу, чтобы он сдержал слово. «Но чем вы поклянетесь, если выкинули вон святые реликвии?»

Он кладет руку на грудь. Моей верой, говорит он.

– Ах, господин секретарь, – скажет посол, – вы слишком часто прижимаете руку к груди. А ваша вера представляется мне весьма легковесной, способной меняться день ото дня.

После чего посол, оглянувшись через плечо, придвинется ближе:

– Нам нужно встретиться, Кремюэль. Давайте поужинаем.

Затем кости встряхивают в стаканчике, и уже не важно, знатен ты или нет. Он будет договариваться снова и снова, и посол, исполнившись доверия,

выложит ему свои беды. «Мой господин, мой господин император, мой господин король… в некотором смысле он очень похож на вашего… и, держу пари, мой дорогой Кремюэль, ваши заботы не слишком отличаются от моих». Посол будет лгать и выдавать правду за ложь, внимательно следя за реакцией. И когда Кремюэль наконец кивнет, они выберутся на твердую почву. Поднимая брови, усмехаясь, они продолжают торг, обмениваясь вынужденной ложью – легко, словно перепрыгивают через лужи. Его новый друг поймет, что правители не чета обычным людям. Правителям приходится прятаться от самих себя, чтобы их не ослепил собственный свет. И когда вы это осознаете, то можете возводить барьеры, скрывающие лицо, ширмы, чтобы за ними улаживать дела, потаенные углы, куда можно уединиться, открытые пространства, где можно развернуться и все переиграть. В этом есть своя прелесть, ты наслаждаешься собственной ловкостью, но есть и цена: привкус желчи во рту и усталость. Жан де Дентвиль однажды спросил его, вы не задумывались, Кремюэль, почему мы все время лжем? И не кажется ли вам, что, когда мы будем исповедоваться на смертном одре, сила привычки непременно заведет нас в ад?

Впрочем, и эти слова француза были уловкой, попыткой выведать что-то свое. В зале совета, в присутствии и в отсутствие короля, у них есть условные жесты и вздохи – словно контрапункт тому, что может быть сказано вслух. Но когда джентльмен из личных покоев сообщает, что его величество задерживается, все ерзают, скрывая облегчение. Советники гадают, что случилось: конная прогулка, несварение или лень, а возможно, король просто устал от наших лиц? Кто-нибудь непременно скажет: «Господин секретарь, может быть, вы начнете?» И, ведомые им, они запускают новый виток перебранок и ссор, однако над столом витает тайный дух товарищества, который негоже проявлять при короле, предпочитающем видеть своих советников разобщенными. Если советники хмурятся, король улыбается – неизменно великодушный правитель. Если лезут в драку – воздает зачинщикам должное. Если проявляют настойчивость, король смягчается, уговаривает, очаровывает. Это его советники, шайка отъявленных злодеев, которые берут на себя его грехи. Те, кто соглашается быть хуже ради того, чтобы Генрих стал лучше.

В июне ночи коротки, но, когда городские вороты запирают и гасят огни, он, Кремюэль, задергивает занавески и запирается наедине с заботами об Англии. За пределами этой спальни, этой кровати, тьма расползается до самого побережья, летит над волнами: к стенам Кале, через сонные поля Франции и темные заснеженные пики, через Италию к султанатам. Ночь укутывает Лондон одеялом, будто нас уже нет и над нами могильный покров, черный бархат и холодный серебряный крест. Сколько жизней мы проживаем, где спим и видим сны и где забытые языки снова вползают в рот. Когда он был ребенком, его звали Ножи-Точу, потому что отец точил ножи. Ему не исполнилось и двенадцати, а он уже выбивал мелкие отцовские долги: дружелюбный, улыбающийся, настойчивый. В пятнадцать скитался с приятелями где придется, вечно в бегах, в синяках, в поисках новых синяков и новых драк. Наконец, когда он подался в солдаты к королю Людовику, за синяки стали платить. Тогда он говорил на французском – арго бивуаков. Он говорил на любом языке, потребном для торговли или обмена – от холщовых мешков до статуй святых, скажи, что тебе нужно, и я это раздобуду. В восемнадцать две из его жизней были прожиты. Третья началась во Флоренции, во дворе дома Фрескобальди, куда он приполз израненный с поля сражения. Опираясь на стену, он мутным взором разглядывал новое поле битвы. Со временем хозяин взял его наверх – молодого англичанина, способного договариваться с

соотечественниками и впоследствии ставшего незаменимым: честного, неболтливого, почтительного к старшим, не привыкшего ныть, не знающего усталости, готового исполнить любое поручение. Он не похож на других англичан, хвастался его хозяин приятелям: не дерется на улицах, не плюется как дьявол, носит кинжал, но прячет его под одеждой. В Антверпене он начал сызнова писарем у английских купцов. Он итальянец, кричали они, весь ловкость и коварство и способен добывать прибыль из воздуха. Это была его четвертая жизнь: Нидерланды. Он говорил по-испански и на языке, который был в ходу в Антверпене. А потом оставил и эту жизнь – вдову Ансельму в ее домике, полном теней, выходящем на канал. Ты должен вернуться домой, говорила она, найти молодую англичанку с хорошим приданым, а я буду надеяться, что она сделает тебя счастливым в постели и за столом. В конце концов она заявила, Томас, если ты сейчас не уйдешь, я сама соберу тебе котомку в дорогу и выброшу ее в Шельду. «Садись на корабль», – говорила она, словно тот корабль был последним.

Следующую жизнь он прожил с женой, дочерями и своим хозяином – великим кардиналом. Это и есть моя настоящая жизнь, думал он, наконец-то я до нее добрался: но стоит так подумать, и снова пора собирать котомку. Его разум и сердце путешествовали вместе с кардиналом на север, в изгнание. Путешествие оборвалось на полпути, и его похоронили в Лестере, зарыли вместе с Вулси. Шестую жизнь он прожил государственным секретарем, слугой короля. Седьмая – лорда Кромвеля – только начиналась.

Для начала, думает он, нужно устроить церемонию – короновать Джейн. Для Анны Болейн я расставил на улицах говорящих святых и соколов в человеческий рост. Я размотал мили синевы, словно дорогу в рай, от дверей аббатства до трона. Я заплатил за каждый ярд, и вы, миледи, прошли по этому пути. Теперь все сначала: новые знамена, расписные полотнища с геральдическим фениксом; с утренней звездой, райскими вратами, кедром и лилией среди терний.

Он ворочается во сне. Ступает по синеве, по волнам. В Ирландии нужны большие луки, а хороший лук идет по пять марок за два десятка. В Дувре нужны деньги, чтобы платить за починку крепостных стен. А еще лопаты, совки и сорок дюжин землекопов, причем нужны были вчера. Сделать пометку, думает он, а еще разобраться, что тревожит фрейлин. Это заметил Зовите-меня, это заметил я. Тут что-то нечисто. Этим женщинам есть что скрывать.

В Кенте вдова Джорджа Болейна разбирается с делами и пытается взглянуть в лицо будущему: она написала ему, что нуждается в деньгах. Бет, жена графа Вустерского, со своим громадным животом удалилась в деревню. Ребенок не от него, что бы ни болтали при дворе. Если родится мальчик, граф расшумится, если девочка – пожмет плечами и примет дитя. Женщины могут ошибаться в расчетах. Повитухи могут ввести их в заблуждение.

Однажды в Венеции, думает он, я видел женщину, нарисованную на стене высоко над каналом, а позади нее были луна и звезды. «Подними факел, – сказал ему Карл Хайнц. – Видишь ее, Томмазо?» И на миг он ее увидел – она смотрела со стены Немецкого подворья на Кремуэлло, который шел к ней из самого Патни. Он был ее паломником, она – его святыней. Обнаженная, увитая венками, она приложила руку к своему пылающему сердцу.

На эшафоте Анне прислуживали четыре женщины. Они оскальзывались в ее крови. Их лица скрывали вуали, и ему не верится, что это те, кто был с ней в последние недели, те, кого он сам к ней приставил, чтобы записывали ее слова. Хочется думать, что король, вняв мольбам, позволил ей самой выбрать спутниц для последней прогулки по неровной земле, когда ветер трепал ее юбки, и она все оглядывалась через плечо, навстречу вестям, которых не дождалась.

Леди Кингстон, думает он, скажет мне, кто они. Но должен ли я знать? У них останутся воспоминания об этом дне. Возможно, они захотят ими поделиться.

Оставьте меня, говорит он им, я должен выспаться. Замрите под вашими вуалями по углам кровати. Плотнее запеленайте эту голову с отверстым в крике ртом. Вы знаете, на что способен взгляд Медузы. Нельзя смотреть ей в лицо. Уловите ее образ в полированной стали. Всмотритесь в зеркало будущего: незапятнанное, specula sine macula[12]. Мы украсим город для Джейн. На каждом углу будет райский сад с девой в беседке, оплетенной полосатыми ало-серебряными розами; змей обвил ствол яблони; певчие птицы, пойманные Адамом, сидят в клетках на суку.

Завтра он ответит на письмо вдовы Джорджа Болейна. Джейн хочет получить столовое серебро и вещи мужа. У нее всего сотня марок в год, а этого недостаточно для благородной дамы, которой больше не суждено устроить судьбу, – кто польстится на женщину, которая пришла к Томасу Кромвелю и обвинила собственного мужа в том, что он спал с сестрой и замышлял убить короля.

Нам не сбежать из этих недель. Они повторяются, всякий раз сызнова, всякий раз иначе, и никогда не кончаются. Когда Анну арестовали, каждый час приносил ему письма от Кингстона, коменданта Тауэра. Рейф изучал их, в каких-то делал пометки, какие-то оставлял для архива. «Сэр Уильям пишет, королева снова говорит, что король отошлет ее в монастырь. И тут же – что за свои добрые дела она отправится прямиком в рай. Пишет, что королева все время смеется. Отпускает шутки. Говорит, потомки запомнят ее как Анну без головы».

– Бедняжка, – заметил Ризли. – Едва ли потомки запомнят ее.

Рейф посмотрел на письмо:

– Я должен зачитать: «Эта дама черпает в смерти радость и удовольствие».

– По-моему, это выдает ее страх, – сказал Ричард Кромвель.

– Если так, – ответил Зовите-меня, – ей нужны капелланы.

– А еще, – продолжил Рейф, – она хочет сообщить господину секретарю, что через семь лет после ее смерти на страну обрушатся невиданные бедствия, но какие именно, она не уточняет.

– Хорошо хоть она дает нам отсрочку, – сказал он.

– Возможно, Анна обнаружит, что Господь не готов исполнять ее пожелания с таким рвением, с каким их исполняли мужчины. – Рейф распечатал еще письмо

и пробежал его глазами. – Джордж Болейн хочет вас видеть, сэр. Пишет, это вопрос его совести.

– Хочет исповедоваться? – Ризли поднял бровь. – Чего ради? Расследование завершено, а его преступления столь отвратительны, что даже милосерднейший из правителей не принял бы его покаяния. Думаю, избегни он кары, люди на улице побили бы его камнями или его поразил бы сам Господь.

– Избавим Господа от хлопот, – сказал Ричард. – Ему есть чем заняться.

Он заметил косой взгляд Ризли. Мальчишки сражались за влияние, за место рядом с ним.

– Лорд Рочфорд оставил долги, – сказал он. – Он хочет, чтобы я привел в порядок его дела.

– Не думаю, что его беспокоят долги, – заметил Рейф. – Похоже, мне недостает милосердия. Хотите схожу вместо вас, сэр?

Он мотнул головой. Джордж Болейн, мужчина, который возвысился благодаря тому, что обе его сестры раздвинули ноги перед королем. Сначала Мария, затем Анна. Но когда тебя зовет умирающий, ты должен явиться лично.

Позднее, ведя его в Мартинову башню, Кингстон сказал:

– Кроме вас, никто ему не поможет, господин секретарь. Он думал, у него есть друзья. – Комендант оглядывается. – Однако его друзья оказались в таком же положении.

Джордж читал молитвенник.

– Сэр, я знаю, вы мне поможете. – Он вскочил, слова путались. – У меня есть долги, а кое-кто должен мне…

– Не спешите, милорд. – Он поднял руку. – Послать за писарем?

– Нет, всё здесь. – Джордж перебирает стопку бумаг на столе. – А еще у меня есть труппа актеров. Вы дадите им работу? Мне бы не хотелось, чтобы их вышвырнули на дорогу.

Это он исполнит. Он как раз намерен развлечь лондонцев.

– Монахи и их жульничества, – сказал он. – Двор Фарнезе в Риме и его подхалимы.

Джордж воодушевился:

– У нас есть все необходимое! Тиара, посохи, епитрахили, а еще колокольчики, свитки и ослиные уши для монахов. Один из актеров, он играет Робина Доброго Малого, он выходит с метлой и метет перед актерами, а после еще раз выходит со свечой, показать, что представление окончено. Вот, сэр. – Джордж придвигает ему бумаги. – Король получит все, и мои долги тоже, но эти скромные люди, которые мне задолжали, я не хочу, чтобы их преследовали.

Он взял бумаги:

– Никогда не поздно проявить заботу о ближнем.

Джордж вспыхнул:

– Я знаю, вы считаете меня великим грешником. Таков я и есть.

Он видел, что Джордж в нелучшей форме. Под глазами синяки, выбрит плохо, словно во время бритья ему не сиделось на месте. Джордж опустился в кресло, сжал рукой подлокотник, чтобы унять дрожь, с удивлением всмотрелся в нее – и впрямь, пальцы выглядели непривычно голыми.

– Я отдал кольца на хранение. – Поднял другую руку. – Но обручальное не снимается…

Снимется, когда твои пальцы остынут. Кому достанутся украшения Джорджа? Вдова их продаст.

– Вы в чем-нибудь нуждаетесь, милорд? Кингстон делает все, что должен?

– Я хотел бы увидеть сестру, но вы не позволите. Пусть успокоится и приготовится к встрече с Господом. По правде сказать, господин секретарь, – Джордж хохотнул, – я не представляю себе встречу с Богом. По закону я уже мертв, но, кажется, этого не сознаю. Удивляюсь, что до сих пор дышу. Мне нужно записать это, объяснить, или… быть может, вы мне объясните, мастер Кромвель? Как я могу быть одновременно живым и мертвым?

– Читайте Евангелие. – Лучше бы я послал Рейфа, подумал он. Гордость не позволила бы Джорджу утратить перед ним самообладание.

– Я читал Евангелие, но не следовал ему, – сказал Джордж. – Думаю, я его не понимал. Потому что, если бы понимал, остался бы в живых, как вы. Жил бы себе в тишине, вдали от двора. Презирал свет и его соблазны. Сторонился суеты, забыл о честолюбии.

– Никто из нас на такое не способен, – заметил он. – Все мы читаем проповеди. И даже пишем их сами. При этом все мы тщеславны, честолюбивы и не умеем жить в тишине и покое. Мы просыпаемся утром, чувствуем, как кровь бурлит в жилах, и думаем, во имя Пресвятой Троицы, чью голову я должен снести с плеч сегодня? Какие новые миры завоевать? Или, по крайней мере, думаем: если Господь сделал меня матросом на корабле дураков, как мне убить пьяного капитана, чтобы отвести корабль в порт и не разбиться о скалы?

Вряд ли он сказал это вслух. Судя по лицу Джорджа, все-таки про себя. Джордж задал вопрос и ждал ответа, подавшись вперед.

– Том Уайетт сказал, что имел мою сестру?

– Его свидетельство не было публичным и не дошло до суда.

– Но оно дошло до короля. Не понимаю, как Уайетт мог сказать такое и остаться в живых? Почему Генрих не убил его на месте?

– С какого-то времени короля перестало заботить ее целомудрие.

– Хотите сказать, одним больше, одним меньше? – Джордж вспыхнул. – Господин секретарь, не знаю, как вы это называете, но я отказываюсь считать это правосудием.

– Я никак это не называю, Джордж. Или, если хотите, можно назвать это necessita[13].

Он почуял в углу ночной горшок Джорджа. Очевидно заметив его деликатное внимание, то, как вздрогнули его ноздри, Джордж сказал:

– Я мог бы вылить горшок сам, но меня не выпускают. – Он развел руками. – Господин секретарь, я не стану ничего оспаривать. Ни вердикт, ни обвинение. Я знаю, почему мы умираем. Я не такой дурак, каким вы меня всегда считали.

Он промолчал. Однако Джордж отпихнул кресло и последовал за ним к двери:

– Мастер Кромвель, помолитесь Господу, чтобы укрепил меня на эшафоте. Я должен показать пример, если, как я полагаю, в соответствии с моим положением, начнут с меня…

– Да, милорд, вы будете первым.

Виконт Рочфорд. Затем остальные джентльмены. Последним лютнист.

– Лучше бы первым шел Марк, – сказал Джордж. – Он простолюдин и, скорее всего, сломается. Но я не думаю, что король нарушит традиции.

И тут Джордж зарыдал. Раскинул руки, привыкшие к шпаге, – молодые, сильные, полные жизни – и обхватил Томаса Кромвеля, словно сцепился с самой смертью. Его тело сотрясалось, ноги дрожали, он съежился и зашатался, словно репетируя то, что не позволил бы увидеть миру, – свой страх, неверие, безумную надежду, что все это сон, от которого можно проснуться. От слез глаза стали как щелки, зубы стучали, руки слепо шарили по его спине, голова клонилась к его плечу.

– Храни вас Господь, – сказал он и поцеловал лорда Рочфорда на прощание, как равного. – Скоро ваша боль останется позади. – За дверью велел стражникам: – Бога ради, вынесите его горшок.

И вот он просыпается в собственном доме. Джордж ретируется, унося с собой привкус своих слез. В комнате затихают шаги. Он распахивает занавески: тяжелый бархат, вышитый листьями аканфа. Еще не рассвело. Я спал всего ничего, думает он. Иногда, когда размышляете над тем, как утекают и притекают деньги, вас может сморить сон: река намывает монеты, и вы подбираете их на берегу. Но затем в ваш сон вторгаются люди: «Сэр, если вам нужны писари для нового ведомства, мой племянник хорошо управляется с цифрами…» Не простое это дело – упразднить монастыри. Даже несмотря на то, что сейчас распускают только мелкие. У некоторых земли в десяти графствах.

Добавьте движимое и недвижимое имущество, деньги, что пойдут в королевскую казну… впрочем, из них еще придется вычесть долговые обязательства, пенсии, дарственные, ренту. Он учредил новую службу, которая займется проверкой расчетов, доходами и расходами. «Сэр, мой сын изучает древнееврейский и ищет пост, где пригодится его греческий…» Со времен Вулси у него остались тридцать четыре туго набитых сундука с бумагами. Нужно перевезти их. «Ваш сын способен таскать тяжести?» Может, Ричард Рич согласится хранить их у себя дома. Недавно он назначен канцлером палаты приращений, но места для нового ведомства нет – ему отвели в Вестминстерском дворце небольшой закуток, который приходится делить с мышами. Это не дело, думает он. Я построю для нас дом.

На мече палача из Кале слова молитвы. «Покажите мне», – просит он. Он помнит выгравированные слова, чувствует их под пальцами. Любовников Анны обезглавили, а после раздели. Пять льняных саванов. Пять тел. Пять отрубленных голов. Когда мертвые восстанут из могил, они захотят узнать себя. Какое кощунство приложить голову не к тому телу! Вы только подумайте, что сотворили эти неумехи из Тауэра! Когда подмокшую ношу сгрузили с телеги, без всяких знаков отличия, то обнаружили, что не могут определить, кто есть кто. Его с ними не было, он был в Ламбетском дворце с архиепископом, поэтому обратились к его племяннику Ричарду: «Сэр, что нам теперь делать?»

Я бы развернул саваны и посмотрел на руки, думает он. У Норриса на ладони был шрам, у Марка мозоли от струн, Уэстон в детстве лишился ногтя, Джордж Рочфорд… у Джорджа на пальце обручальное кольцо. Остается Брертон. Если, конечно, эти болваны по ошибке не срубили голову случайному прохожему.

Что мне нужно, думает он, так это люди, владеющие счетом. Способные сосчитать пять голов, пять тел и тридцать четыре сундука бумаг. Умеет ли ваш сын считать? Готов выйти из дома в любую погоду? Без устали скакать по зимним дорогам? Клерки, которые трудятся в палате приращений, честны и знают свое дело: Данастер и Фримен, Джобсон и Гиффорд, Ричард Полет, Скьюдамор, Арундель, Грин. Нанял ли он Уотерса и может ли представить его Спилмену? Его друг Роберт Саутуэлл, Боллз, Морис и… кто еще? Кого он забыл?

Когда Анну разрубили на две части, человек из Кале показал ему свой меч, и он провел пальцами по выгравированным словам. От прикосновения к стали пальцы немеют. Когда я похолодею, я сниму это обручальное кольцо. Он шагает к королю, всегда к королю, его руки – без колец, без оружия – распахнуты. Шелковые джентльмены из его сна поворачиваются и смотрят ему вслед. Лица Говардов накладываются на ухмылки Говардов. Томас Говард старший, Томас Говард меньшой. В полусне он спрашивает себя: чем занимается младший, на что тратит свое время? Это ведь тот, который плохой поэт. Его рифмы падают и шлепаются. Тебя-Любя. Ночь-Прочь. Розы-Грезы. Радость-Младость. Тяп-Ляп.

Зачем ты считаешь Говардов, думает он. Считай клерков. Бекуит, я забыл Бекуита. Саутуэлл и Грин. Гиффорд и Фримен. Джобсон и Стамп – Уильям Стамп. Кто способен забыть Стампа?

Я. Очевидно.

Все нужно записывать, наставляет он своих людей. Не доверяйте себе. Человеческая память изменчива. Вы чиновники палаты приращений. Двадцать фунтов в год плюс щедрая оплата издержек. Вы не сидите дома, вечно в пути, пересекаете королевство вдоль и поперек по делам службы. Вы будете загонять лошадей, если дело срочное. В каждом монастыре свои уставы, свои обязательства, свои монахи. Некоторые аббаты говорят: «Пощадите нас», и он говорит, возможно, пощадим. Заплатите в казну доход за два года, и мы подумаем, не сделать ли для вас исключение. Монастыри надо закрывать помедленней, чтобы монахи – те, кто пожелает, – нашли себе место в крупных обителях. Надо назначить аудиторов. Некоторые уже назначены, и троих зовут Уильямами. А еще есть Майлдмей и Уайзмен, Роукби и Бергойн. Но не Стамп. Прочь из моего сна, Стамп. Во времена Христа не было ни монахов, ни Стампа. Палате нужны гонцы и привратник. Кто-то должен сдерживать толпу просителей, но при этом открывать дверь. Плати ему per diem[14], остальное он доберет подношениями. Разве ты не хочешь, чтобы перед тобой распахивали дверь, если ты готовишься завоевать мир? Фортуна, твои двери отворены: Томас, лорд Кромвель, входи.

Ныне Остин-фрайарз превращается в дом влиятельного человека, фасад освещен эркерными окнами, городской садик прирастает фруктовыми садами. Он купил прилегающие угодья у монахов и своих друзей – итальянских купцов, которые живут неподалеку. Он владеет окрестными землями, и в его сундуках: ларе орехового дерева с резными лавровыми венками и шкафе размером выше Чарльза Брэндона – купчие, разложенные в строгом порядке. Это его права и свободы, древние печати и подписи мертвых, заверенные городскими чиновниками, олдерменами и шерифами, чьи цепи переплавлены на монеты, а тела покоятся под землей. Здесь – на Броад-стрит, Свон-аллей и Лондон-уолл – трудились портные и скорняки. Две сестры унаследовали сад и до того, как их мужья продали его монахам, бродили под сенью плодовых деревьев, розовощекие в вечернем, пропитанном яблочным ароматом воздухе. Пальцы Изабеллы лежат на локте Маргариты. Сквозь сплетение ветвей они смотрят в небо, их ноги в деревянных башмаках приминают траву. Виноторговец продает склад, торговец свечами уступает лавку, склад и лавка отходят аббатству, минуют века – его палец прилежно водит по строчкам, – и ныне они принадлежат мне. Осторожно, не размажь имена, чернила еще не высохли: Саломон Ле Котилье и Фульке Сент-Эдмунд. Вот их печати: кролики, львы, цветы, святые мученики, птенцы в гнездах; городские гербы, подкова, дикобраз и сердце Христово. История пишется на коже: шкурах давно забитых овец и нерожденных ягнят; мертвые вырезают землю у нас из-под ног, и, когда он спускается по лестнице в Остин-фрайарз, ступени под ним расступаются, ниже другая лестница, видимая только мысленным взором, ступени ведут все глубже, туда, где римские легионы оставили свой прах в земле, стекло в глине и кости в реке. Все глубже и глубже ведут ступени, в недра его души, через Францию, Италию и Нидерланды, сквозь низины и зыбучие пески, топи и заливные луга, через поймы снов, покуда, потрясенный, он не пробуждается навстречу новому дню. Лязг наковальни, несущийся из кузни, сотрясает солнечный свет в комнате, где он, беспомощное дитя, лежит спеленатый, плохо соображающий со сна, словно впервые ощущая биение собственного сердца.

В Тауэре Томас Уайетт сидит за тем же столом, за которым он его оставил, в том же луче света, словно не сдвинулся с места со дня смерти Анны. Перед

ним книга, и Уайетт не поднимает от нее глаз, не говоря о том, чтобы встать и приветствовать его, просто замечает вслух:

– Вам понравится, господин секретарь. Новая.

Он берет книгу. Стихи Петрарки, листает.

Уайетт говорит:

– В этом издании стихотворения расположены в порядке, который сообразуется с жизнью поэта. Они выстроены в связную историю. Или кажутся таковыми. Я всегда хотел иметь собственную историю, а вы? – Поднимает взгляд, голубые глаза блестят. – Выпустите меня. Я больше не выдержу и дня.

– Как раз сегодня король решил, что именно при французском дворе Анна рассталась с девственностью. Я хочу, чтобы он утвердился в этом мнении и не вспоминал об англичанах, которые могли оказаться у нее под рукой. Здесь безопаснее.

– Я вернусь в Кент. Не буду мозолить глаза. Уеду туда, куда скажете.

– Вам бы только куда-нибудь ехать, – говорит он. – Не важно куда.

Уайетт говорит:

– Я подбивал итог жизни – в этом году десять лет, как я впервые отправился во Францию с посольством Чейни. Мне сказали, что у меня молодые ноги и крепкий желудок, поэтому я был гонцом, болтался по волнам туда-сюда. Обливался потом, загонял лошадей, а Вулси спрашивал: «Где вас носило, юноша? Цветочки собирали?» Милорду кардиналу не было равных в скорости.

– Ему не было равных во всем.

– Теперь Болейны и их присные освободили для вас место. Вы можете приблизить к королю своих людей. Гарри Норрис, я понимаю, почему вы хотели от него избавиться. Брертон, Джордж Болейн – ясно, в чем ваша выгода. Но Уэстон совсем мальчишка. А Марк хоть и носил шляпу с брошью, но, ручаюсь, не нашел в карманах и двадцати пенсов, чтобы заплатить за саван.

– Бедный Марк, – говорит он. – Стоял на коленях перед Анной, а она смеялась над ним.

Он видит телегу, груженную телами, дерюга, которой тела прикрыты, пропиталась кровью, мальчишеская рука вывалилась наружу, словно в поисках поддержки.

Он говорит:

– Я собирался сделать Марка свидетелем. Но он сам себя выдал. Я его не пытал.

– Я вам верю. Но я такой один.

– Дайте мне несколько дней. Возможно, неделю. Когда вы выйдете отсюда, получите сотню фунтов из казны.

– Они мне не нужны.

– Поверьте мне, они вам нужны.

– Скажут, что это плата за то, что я предал друзей.

– Господи Исусе! – Он шлепает книгой о стол. – Друзей? Когда это они проявляли к вам дружеское участие? Уэстон, этот вечно скалящийся паяц, неспособный удержать в штанах свой уд? Или хвастун Брертон. Уверяю вас, теперь его родня на севере будет вести себя осмотрительнее. Они думали, что законы не про них. Но те дни миновали. Прошла пора мелких властителей. Закон един для всех, и это королевский закон.

– Осторожнее, – говорит Уайетт, – вы на грани того, чтобы объяснить свои мотивы.

Или просто на грани, думает он.

– Чтобы спасти вас, Том, мне пришлось трудиться до кровавого пота. Ваша жизнь висела на волоске.

Уайетт поднимает глаза:

– Я скажу вам, почему до сих пор жив. Не потому, что боюсь смерти или равнодушен к бесчестию. Есть женщина, которая носит мое дитя. Если бы не это, вам пришлось бы губить Анну как-то иначе.

Он изумленно смотрит на Уайетта:

– Кто она? – Он опускается на трехногий табурет. – Вы же понимаете, что рано или поздно признаетесь. – Внезапно до него доходит. – Только не говорите, что это дочь Эдварда Даррелла. Та, что последовала за Екатериной, когда король отправил ее в ссылку.

Уайетт опускает голову.

– А вы не пробовали влюбиться в женщину, которая принесет вам меньше хлопот?

– Я такой, какой есть. Понимаю, это плохая отговорка.

Он говорит:

– Я помню Бесс Даррелл ребенком в Дорсете. Бывал там по делам. Ее отец хранил верность Екатерине, он был ее управляющим, но теперь, после его смерти, дочь ничто не связывает.

– Думаете, ей было бы лучше в свите Анны Болейн?

Справедливое замечание.

– Лучше всего ей было бы в монастыре. Но я полагаю, вы поступили по-своему.

– По-своему, – печально соглашается Уайетт. – Я люблю ее, люблю давно. Мы сумели сохранить нашу любовь в тайне потому лишь, что она жила вдали от двора.

Когда я навещал Екатерину в Кимболтоне, думает он, не Бесс ли маячила в тени? Он вспоминает старых испанок. Они не доверяли поварам и готовили Екатерине в ее собственной комнате, их платья пропитались запахом дыма и вареных овощей. Они оскорбляли его на своем языке, спрашивая друг друга вслух, волосатое ли у него тело, как у сатаны? Он видит, как входит в покои Екатерины, видит ее, закутанную в меха, в воздухе пахнет нездоровьем. Краем глаза замечает движение – кто-то выносит таз. Он подумал тогда, что девушка несет рвоту своей госпожи прикрытой, словно гостию. Это могла быть дочь Эдварда Даррелла, золотистые волосы под чепцом служанки.

– Я убеждал ее, – говорит Уайетт, – что, если она не хочет оставить Екатерину, пусть хотя бы присягнет. Какая тебе разница, Бесс, что король провозгласил себя главой церкви? Я приводил примеры, искал доводы. Но она не позволила Генриху победить в споре. Она была с Екатериной, когда та умирала.

– Деньги? – спрашивает он.

– Ничего. То, что завещала ей Екатерина, так и не выплатили. Кроме меня, ее некому защитить. Она знает, что я женат, и с этим ничего не поделаешь. Она не может вернуться в семью с моим ребенком под сердцем. Я не могу отправить ее в Аллингтон – мой отец ее не примет. Не знаю, кто мог бы ее приютить, семья жены настроила против меня всех. Ничто не обрадует их сильнее, чем мои злоключения.

Уайетт по возможности не называет жену по имени. Он прижил с ней сына, но одному Господу ведомо, как он умудрился.

– Я бы выбрал Аллингтон. Поговорить с вашим отцом?

– Он болен. Я не хочу его тревожить. Я страшусь его презрения. И я знаю, что заслужил его.

Ему хочется возразить. Какое презрение? Отец любит вас и восхищается вами, но жизнь ожесточила его. В Тауэре Генри Уайетт сидел не в светлой, наполненной воздухом комнате, а в подвале, закованный в кандалы, прислушиваясь, не раздадутся ли шаги его мучителей и скрежет их ключей. Палачам не нужны специальные приспособления. Боль могут причинять самые простые предметы. Тюремщики закидывали голову Уайетта назад и вгоняли ему в рот конский мундштук. Вливали в ноздри горчицу и уксус, и, почти захлебнувшись едкой смесью, он извергал ее наружу, проглатывая то, что не сумел выплюнуть. Узурпатор Ричард приходил посмотреть на его мучения, убеждая отступиться от Тюдора, беглеца без средств и без будущего. «Уайетт, почему ты так глуп? Чего ради служить нищему изгнаннику? Оступись от него, переходи на мою сторону, и я сумею тебя вознаградить».

Он не отступился. И тогда его бросили на соломе в темноте. Зубы Уайетта были выбиты, внутренности он успел выблевать на грязный пол. Желудок был пуст, горло разъедала кислота. У него не было чистой воды, а когда он смог есть, ему не принесли хлеба.

Уайетт говорит:

– Эта забавная история о том, как кошка приносила еду моему отцу, я никогда в нее не верил, даже ребенком. Думал, ее придумали для детей глупее меня. А теперь я понимаю, что значит сидеть взаперти. Узники готовы поверить во что угодно. Кошка спасет нас. Томас Кромвель принесет ключ.

– Интересно, готова ли Бесс присягнуть сейчас? Екатерина мертва и не обидится.

– Я не спрашивал, – говорит Уайетт, – и не собираюсь. Не станет же Генрих ее преследовать? В тех, кто твердит ему, что он глава церкви и стоит ближе всех к Господу, нет недостатка. Мы надеемся, что, когда леди Мария вернется ко двору, она нам поможет. Она должна позаботиться о Бесс – девушке, которая осталась одна на белом свете и которая держала руку ее умирающей матери.

– Несомненно, – говорит он. – Однако, пока вы пребывали тут в обществе Петрарки, мир не стоял на месте. Король требует клятвы от самой Марии. И если она будет упрямиться, то вскоре окажется здесь, рядом с вами.

Уайетт отводит глаза:

– Тогда вам придется мне помочь. На кону моя честь.

Где была твоя честь, думает он, когда ты задирал юбки Бесс Даррелл? Он встает и отпихивает табурет ногой. Жалкое сиденье для королевского советника.

– Я поговорю с Бесс. Где-нибудь для нее найдется местечко. Возьмите королевские деньги, Том. Они вам нужны.

– Я подчинюсь вам, – говорит Уайетт, – как велел мне отец. Думаю, вам, как и всем людям, свойственно ошибаться, и одному Господу ведомо, не приведет ли ваш путь к пропасти. Впрочем, меня туда ведут все дороги. Я дошел до перекрестка, я бросил жребий, и теперь мне все едино – что трясина, что бездна, что лед. Поэтому я последую за вами, как гусенок за гусыней. Или Данте за Вергилием. Даже в преисподнюю.

– Сомневаюсь, что заберусь этим летом дальше южного побережья. Или острова Уайт.

Он поднимает книгу со стола. На переплете ни царапины, хотя кожа тонкая, как у женщины: отпечатано в Венеции, на титульном листе гравюра с изображением резвящихся путти, клеймо издателя в виде морского чудища. Представим, что кто-то сохранил обрывки Уайеттовых виршей – пастораль, нацарапанная на обороте счета от оружейника, стих, который женщина прижала к обнаженной груди. Если издатель возьмется напечатать жизнь этого поэта, у него выйдет история, способная погубить многих.

Уайетт говорит:

– Она меня не оставляет, Анна Болейн. Я вижу ее такой, как в последний раз, вижу здесь.

Я тоже ее вижу, думает он, в шапочке с пером, с усталыми глазами.

Он выходит:

– Мартин! Кто додумался принести Уайетту этот жалкий табурет?

– Он не жаловался, сэр. Джентльмен не жалуется.

– А я лорд, и я жалуюсь.

Как же я не заметил этот пакостный табурет, когда посещал узника в прошлый раз, думает он. Впрочем, я пришел сразу после того, как наблюдал фокус, проделанный палачом из Кале.

В Остин-фрайарз его ждет Грегори:

– Приходили от Фицроя. Зовут вас к нему.

– Я видел Уайетта, – говорит он.

– И? – Грегори встревожен.

– После расскажу. Негоже заставлять королевского сына ждать.

– Рейф думает, Фицрой попросит вас сделать его королем.

– Ш-ш-ш.

– Не сейчас, – поправляется Грегори. – Это не измена говорить, что все люди смертны.

– Нет, и все равно говорить такого не стоит.

Это сгубило Анну Болейн, думает он. Она принимала Генриха за обычного мужчину. А он, как все правители, полубог-полузверь.

Грегори говорит:

– Пришел Ричард Рич. Сочиняет обращение к королю. Посмотрим? Я люблю смотреть, как он работает.

Сэр Ричард роется в бумагах, как ворон в мусорной куче. Тюк-тюк-тюк – не клювом, а пером – крошит все, словно разбивает об камень раковины улиток.

– Здравствуйте, господин спикер, – говорит Грегори.

– Здравствуй, Сухарик, – рассеянно отвечает Рич.

Красивый и праздный, его сын наблюдает, как трудится сэр Ричард.

– Рич считает свою фамилию пророческой[15], – говорит Грегори. – Он умеет превращать чернила в деньги. У вас острый ум, не правда ли, Рикардо?

– Находчивый, – говорит Рич. – Цепкий. На большее не претендую.

Обязанность Рича – составление приветственного слова королю на открытии парламента.

– Не хотите послушать, сэр? Я кое-что набросал.

Он садится:

– Вообразите, что я король.

– Позвольте предложить вам другую шляпу, – говорит Грегори.

Рич говорит:

– С вашего позволения я готов.

Начинает читать.

Грегори ерзает:

– Помните шляпу посла Шапюи? Мы еще хотели нахлобучить ее на снеговика?

– Ш-ш-ш, – шикает он на сына. – Внимай господину спикеру.

– Интересно, что с ней стало.

Рич замолкает, хмурится:

– Вам не нравится начало?

– Думаю, королю оно понравится.

– Далее я сравниваю его в мудрости с Соломоном…

– С Соломоном вы точно не ошибетесь.

– …с Самсоном в силе и Авессаломом в красоте.

– Постойте, – говорит Грегори. – У Авессалома были роскошные волосы, иначе они не запутались бы в ветках. Волосы короля не столь… обильны. Он может решить, что вы издеваетесь.

– Никто не заподозрит в подобном господина спикера, – говорит он твердо.

– Тем не менее, – гнет свое Грегори, – Авессалом едва ли может служить примером достойного поведения.

– Отложите вашу речь, – говорит он Ричу, – идемте со мной к Фицрою.

Рич с радостью соглашается. На пороге их догоняет Кристоф:

– Не уходите без меня, сэр. Вдруг на вас нападут. Теперь, когда вы стали лордом, вы не должны ходить без охраны.

– Ты, что ли, охрана? – Рич смеется.

– Пусть идет, он старается быть полезным.

Со временем он научился ценить внешность Кристофа. Кто станет брать в расчет такого увальня? На улице он оправляет на Кристофе ливрею, стряхивает с нее пыль:

– Ты должен с меня пыль отряхивать, не я с тебя. Это ты ходил сегодня ночью в моей спальне?

– Ночью я сплю, – отвечает Кристоф. – Наверное, это был призрак.

– Вряд ли, – говорит Рич. – Никогда не слышал, чтобы призраки расхаживали в июне.

Похоже на правду. Дамы под вуалями – насколько он знает, они пока живы – пробыли с ним до зари, после чего растаяли в стене. Он помнит пятна на их платьях, темные мазки – там, где ткань впитала кровь королевы.

Король охотится, но его сын по совету врачей остался в Лондоне, в Сент-Джеймсском дворце, который недавно возвели на месте больницы. Место, затопленное рекой Тайберн, осушили и очистили, и теперь там красивый парк. Туда король с семейством удаляется, когда устает от многолюдного Уайтхолла.

Двор заставлен лесами, и сразу за воротами их встречают крики рабочих. Слышно, как откалывают и отбивают камень. При виде прибывших важных господ шум стихает, но эхо от звона металла о камень еще длится. Каменщик спускается с лесов и стягивает шапку:

– Мы сбиваем ГА-ГА, сэр.

Инициалы Генриха и покойной королевы, переплетенные любовно, словно змеи.

– Отдохните часок, пока я буду говорить с лордом Ричмондом.

Каменщик выбивает из шапки пыль.

– Никак нельзя, сэр.

– Слушай, что тебе говорят, – вмешивается Кристоф.

– Вам заплатят за это время, – убеждает он.

– Десятнику нужен письменный приказ.

Он пригибает голову каменщика рукой, теперь они стоят нос к носу.

– Чего ради я должен строчить любовное письмо твоему десятнику? Назови его имя, и я запечатлею его инициалы в своем сердце. – (От каменщика разит потом.) – Кристоф, сбегай на кухню, пусть принесут работникам хлеба, эля и сыра. Скажи, Кромвель велел.

Каменщик нахлобучивает шапку:

– Все равно сейчас обед. Как увидите короля Гарри, скажите, что мы пьем за новую королеву.

За приемной, в маленьком, обитом деревянными панелями кабинете герцог Ричмонд на правах больного принимает их в длинном халате и ночном колпаке.

– Ночью у меня была лихорадка. Доктор опять не разрешает мне выходить.

На стекле капли дождя.

– Сегодня не лучший день для прогулок, сэр. Оставайтесь дома.

– Главное, это не потница, – решает подбодрить больного Рич.

– Нет, – соглашается юноша. – Иначе я не стал бы вас звать, чтобы не заразить.

Они кланяются, благодарные, что с их здоровьем считаются, хоть они и простолюдины.

– И не чума, – добавляет Рич. – На расстоянии пятидесяти миль о чуме не слыхать. По крайней мере, пока.

Он громко смеется:

– Напомните, чтобы я не подпускал вас к своей постели, если мне случится захворать. Нашли чем приободрить его милость!

Рич неловко извиняется перед герцогом. Однако он удивлен: что здесь смешного?

Юноша говорит:

– Рич, я благодарен за вашу заботу, но не могли бы вы оставить нас с господином секретарем наедине?

Рич не намерен сдаваться:

– Со всем почтением, милорд, у господина секретаря нет от меня тайн.

Знал бы ты, как сильно ошибаешься, думает он.

Рич мнется, кланяется, выходит.

Фицрой говорит:

– Стук прекратился.

– Я подкупил их хлебом и сыром.

– Как бы они ни спешили, мне все мало. Я хочу, чтобы она исчезла. Эта женщина. Стереть все ее следы. По крайней мере, все видимые следы. – Юноша бросает быстрый взгляд в окно, словно кто-то зовет его с улицы. – Кромвель, бывают медленные яды?

Он вздрагивает:

– Храни Господь вашу милость.

– Я думал, возможно, когда вы жили в Италии…

– Вы подозреваете, что покойная королева вас отравила?

– Отец сказал мне, она бы отравила меня, если бы смогла.

– Милорд ваш отец был… – он подыскивает слова, – был в потрясении от открывшихся ему деяний покойной королевы.

– И они куда ужаснее тех, о которых нам сообщили, ведь правда? Милорд Суррей говорит, ему показали свидетельства, которые не огласили в суде. Все самое страшное от нас утаили. Я бы казнил ее еще более изощренным способом.

Интересно, каким, думает он. Что бы вы сделали с ней, сэр? Отпилили бы голову ржавым кухонным тесаком? Сожгли на костре из зеленых веток?

– И, кроме того, – говорит Ричмонд, – она была ведьмой. – Его беспокойные пальцы теребят завязки колпака. – Некоторые не верят, что ведьмы существуют, хотя про них упоминается у Фомы Аквинского. Я слышал, они могут заставить молоко скиснуть, а домашнюю скотину выкинуть. Могут наколдовать, чтобы лошадь споткнулась на дороге, всегда на одном и том же месте, и всадник получит увечья.

Если всегда на одном и том же месте, думает он, то что мешает всаднику держаться крепче?

– Ведьмы могут сделать так, чтобы у человека усохла рука. Разве узурпатор Ричард не страдал от этого недуга?

– Так он утверждал, однако после болезни его рука была такая же, как прежде.

– Иногда они вредят детям. Читают молитвы задом наперед. Или травят их ядом. Вы не думаете, что Анна Болейн отравила милорда кардинала?

Неожиданно.

– Нет, – честно отвечает он.

– Его смерть не была вызвана естественными причинами. Я слышал от джентльменов, заслуживающих доверия.

– Кто-нибудь мог подкупить его врачей.

Он вспоминает доктора Агостино, взятого под стражу в Кэвуде, его ноги связали под брюхом лошади. Куда он делся потом? Прямиком в подземелье Норфолка. Нельзя же сказать юноше, что если в деле и был отравитель, то, скорее всего, это его тесть.

Фицрой говорит:

– Когда я был маленьким – я вам уже рассказывал, – кардинал принес мне куклу – моего двойника в платье, вышитом гербами Англии и Франции. Я не знаю, где она сейчас.

– Я могу предпринять поиски, сэр. Возможно, она у госпожи вашей матери?

Юноше такая мысль в голову не приходила.

– Вряд ли. Это было после того, как мы расстались. У нее теперь другие дети, и едва ли она обо мне вспоминает.

– Напротив, сэр. Вы причина ее возвышения, ее нынешнего почтенного замужества и высокого статуса. Уверяю, она каждый день поминает вас в своих молитвах.

Первые шесть-семь лет мальчики живут с матерями, потом их без всяких разговоров отрывают от материнской юбки, стригут – и теперь уши постоянно мерзнут – и швыряют в угрюмый мир, где их за все ругают и наказывают, и дальше до самой женитьбы ни любви, ни ласки, кроме как за деньги. Разумеется, его воспитывали иначе. В пять лет он уже сидел в кузне, копался в куче железяк, в шесть болтался под ногами подмастерьев, привыкая к слепящим искрам, которые взмывали в воздух дугой, звенящей поверхности наковальни и неумолчному грохоту, застревавшему в голове, даже когда кузню закрывали на ночь. В семь, не научившись читать, но умея браниться, он бегал где придется, словно сын лудильщика.

Ричмонд говорит:

– Ребенком я не знал, что Вулси низкого рода. Он казался мне таким величественным. Увы, его кончина достойна жалости. Ему повезло не сгинуть на плахе. Мне говорили, его сердце разбилось в дороге, и это его убило.

Все возможно. Тем, кто не верит, что сердце может разбиться, повезло прожить жизнь без бед.

Ричмонд привстает в кресле:

– Как вы думаете, королева Джейн родит сына?

– Всей Англии известно, что она из рода, который славится плодовитостью.

– Но при дворе утверждают, что король не может удовлетворить женщину и не способен…

– Я советую вам, сэр, – я настоятельно вам советую – сменить тему.

Но Ричмонд – сын короля и несется вперед на всех парусах.

– Мой брат Суррей сказал, – герцог имеет в виду своего шурина, – что парламент поступил дурно, приняв билль о престолонаследии. Они предоставили королю право выбирать наследника, а должны были признать мое первенство.

Слава богу, у юнца хватило мозгов выставить Рича. Услышь он такое, все выложил бы Генриху.

– Я хочу быть королем, – продолжает Ричмонд. – Я готов. Суррей говорит, отец должен это признать. Если сегодня он умрет, я могу не бояться Элизы, она всего лишь дочь конкубины, если не подкидыш, найденный в канаве. Никто во всей Англии не поддержит ее притязания.

Он кивает, в целом все так и есть.

– А что до леди Марии, она такая же незаконнорожденная, как и я, но я англичанин, а она наполовину испанка. К тому же я мужчина. Говорят, она отказывается признать моего отца главой церкви. А значит, она изменница.

– Мария принесет присягу, – говорит он.

– Она может произнести слова присяги. Может подписать документ, если вы ее заставите. Но милорд отец видит ее насквозь. Мария недостойна трона, и она его не получит.

Когда он в последний раз беседовал с Ричмондом, тот был доволен своим положением. Кто стоит за этими нечестивыми притязаниями? Его тесть Норфолк? Если Норфолк что-то замышляет, ему хватит ума держать свои мысли при себе. Нет, это сын Норфолка, недалекий своевольный юнец, подталкивающий своего друга к трону, который еще не освободился.

Он говорит:

– Если милорд Суррей советовал…

– Я сам себе голова, – перебивает юноша. – Суррей мне друг и дает хорошие советы, но, когда я стану королем, я сам решу, как поступать, и никому не позволю морочить мне голову, как моему отцу. Я не позволю женщинам собой помыкать.

Он склоняет голову:

– Милорд, я не в силах изменить порядок престолонаследования. Нововведения выражают волю короля. Не вижу, чем я могу помочь.

– Придумайте что-нибудь. Все говорят, что вы верховодите в парламенте. А когда я стану королем, я вас награжу.

Когда ты станешь королем?

– Я не доживу.

– Доживете, – говорит Ричмонд. – С тех пор как в январе отец свалился с лошади, его нога воспалена. Мне говорили, что старая рана открылась и там свищ до самой кости.

– Если это так, то он переносит боль с удивительной стойкостью.

– Если это так, то рана не останется в чистоте. Она загноится, и он умрет.

Измена в каждом его выдохе, но Ричмонд себя не слышит. Он чувствует напряжение воли в теле мальчика, становящегося мужчиной. Прядь волос, которая выбилась из-под колпака, огненно-рыжая, цвет Плантагенетов. Его прадед Эдуард признал бы его. Дом Йорков поддержал бы его притязания. Если бы исчезнувшие в Тауэре сыновья короля Эдуарда были живы, они походили бы на Ричмонда с его блеском в глазах, словно отсвет на лезвии меча, с его тонкой кожей, которая то бледнеет, то краснеет, выдавая чувства, которые обуревают юношу.

Ричмонд говорит:

– Будь милорд кардинал жив, он посадил бы меня на трон. Он предлагал провозгласить меня королем Ирландии, разве нет? В нынешних обстоятельствах он непременно сделал бы меня королем Англии.

Он отворачивается:

– Вам следует отдохнуть, милорд, и ваше недомогание пройдет.

Львы иногда загрызают своих детенышей. Стоит ли этому удивляться, думает он.

– Сделайте это, – говорит Ричмонд ему вслед.

Он в немом изумлении, словно получил удар из воздуха. Лучше держаться подальше от монархов. Они думают об убийстве с утра до вечера. А еще и об отцеубийстве, словно в этом году было мало сюрпризов.

Рич, прислонившись к стене, сплетничает с Фрэнсисом Брайаном. При виде него они выпрямляются. Украшенная драгоценными камнями повязка на глазу Брайана хитро подмигивает.

– Вам привет из Франции. Епископ Гардинер шлет вам свою любовь и поцелуи. Я здесь только до ближайшего отлива. Привезти депеши. Пошептаться с

королем. Вас проведать. Гардинер не верит, что теперь вы барон. Говорит, когда-нибудь удача от вас отвернется.

– Правда? Поцелуйте его от меня.

– Непременно, – говорит Брайан. – Он удивляется, чего вы так носитесь с Екатерининой дочкой. Убежден, что вы покрываете Марию и это вас погубит. Он сказал: «Для дочери Генриха отрицать, что ее отец глава церкви, такая же великая измена, как отрицать, что он король». И добавил: «Поверьте мне, Фрэнсис, Кромвель зайдет слишком далеко и это его погубит».

– Спасибо, – говорит он. – Что бы я без вас делал, Фрэнсис.

Рич смущен. Государственный секретарь шутит? Ричу невдомек.

– Чего хотел Фицрой, сэр? Полагаю, он в долгах? – спрашивает Рич.

– Сколько? – Признанного мота Брайана радуют успехи многообещающих юнцов.

– Он говорил о кардинале. Думаю, у него приступ меланхолии.

Рич спрашивает:

– Если вы беспокоитесь о его здоровье, не стоит ли сообщить королю?

– У него лучшие лекари. К тому же король не придет его навестить, вы же знаете, как он боится заразы.

– Но король навестил вас, сэр, когда вы лежали с лихорадкой.

– Не раньше, чем я пошел на поправку. К тому же у меня была итальянская лихорадка.

Настоящая, пробирающая до кости трехдневная малярия, не чета простому ознобу, поражающему тех, кто не бывал южнее кентских болот.

– Особая честь, – замечает Рич с завистью.

Лихорадка вернется, думает он. И скорее всего, Генрих снова придет его навестить. Ему не верится, что король скоро умрет, хотя человек, на которого ополчится его единственный сын, все равно что покойник. Отец любит сына, но сын не любит отца. Сын хочет, чтобы отец умер, хочет занять его место. Так заведено. Так должно быть.

Он думает о кардинале в день ареста, люди Гарри Перси врываются в его покои, рука, прижатая к ребрам. «Мне больно. Холод словно точильный камень в груди». Если сердце кардинала разбилось, то кто в этом виноват? Сам король, кто еще?

– Вернуть рабочих? – спрашивает Рич.

Фрэнсис говорит:

– Мне сказали, что на потолочных балках Хэмптон-корта затесался один Екатеринин резной гранат. Сам я не могу разглядеть. Лекари утверждают, когда теряешь один глаз, второй начинает видеть хуже. Скоро я ослепну и стану просить подаяние на большой дороге, а добрый епископ Гардинер будет водить меня за руку.

Рейф Сэдлер и Томас Ризли возвращаются от Марии из Хансдона без подписанного документа, без присяги.

Ризли говорит:

– Зачем вы нас послали, сэр? Вы знали заранее, что мы ничего не добьемся.

– Как она выглядит?

– Болезненно, – отвечает Рейф.

– Король винит во всем тех, кто дает ей плохие советы, – говорит он.

– Если честно, – заявляет Ризли, – я не думаю, что виноваты те, кто ей советует. Всему виной ее собственное упрямство.

– Какая разница, – небрежно замечает он.

Ризли говорит:

– Сэр, не посылайте меня туда больше. – Он вспыхивает и выпаливает со страстью: – Если мастер Рейф не хочет рассказывать, я расскажу. Дом полон людей Николаса Кэрью, слуг семьи Куртенэ, слуг в ливреях Монтегю. Никто не разрешал им там находиться, и они бахвалятся, что, мол, Кромвель теперь ничто и им все позволено. Мария возвращается ко двору, власть папы будет восстановлена, и в мире воцарится порядок.

– Они называют ее принцессой, – вставляет Рейф, – не заботясь, что их могут услышать.

– Мы обратились к ней «леди Мария», – говорит Зовите-меня. – Она разозлилась. Думала, что мы назовем ее принцессой и преклоним колени. Когда мы передавали ей ваши пожелания, она прервала нас: «Расскажите мне, как она умерла». Она без конца проклинала Анну Болейн. Мы сказали, что она ушла с миром, а Рейф назвал ее…

– Образцом христианского смирения. – Рейф отводит взгляд, удивленный собственными словами: его даже не было на казни.

– Но она ничего не хотела слышать. Называла Анну «тварью», жалела, что ее не сожгли живьем. Спрашивала, какую молитву она читала, побледнела ли, задрожала… Я не предполагал, что девушка может быть такой жестокой, что одна женщина может так ненавидеть другую. Меня чуть не стошнило, клянусь. У нее черное сердце, и она этим кичится.

Рейф смотрит на Зовите-меня:

– Ш-ш-ш. Это было нелегко, но все уже позади. К тому же Мария не так тверда в своем решении, как считают ее люди. Она спросила: «Как, государственный секретарь не приехал?» Будто ждала именно вас. Чтобы принести присягу и никто ее в этом не обвинил. Она всем скажет, что вы ее заставили, что вы ей угрожали. Рим и Европа ей поверят.

– Я предпочел бы, чтобы она подчинилась добровольно. Что бы кто ни говорил.

– Подчинилась? – переспрашивает Ризли. – Я в жизни не видел никого, менее склонного подчиняться или уступать. О чем она думает по ночам? Изобретает новые пытки? Сэр, вы знаете, меня сложно выбить из колеи. Я многое повидал. Я был в Тауэре, когда вы подвесили монаха за руки…

– Никого я не подвешивал, – перебивает он.

– …и даже тогда я не дрогнул. Я понимал, что его вопли – это вопли гнусного предателя, который еще надеется себя спасти…

– Никого я не подвешивал, – повторяет он. – Рейф, скажи ему.

– Вы перепутали, – спокойно говорит Рейф. – Говорили о том, чтобы его подвесить, но на самом деле все это произошло только в вашем воображении.

– В воображении монаха, – говорит он. – В этом все дело. Я заставил монаха это вообразить.

– Так заставьте Марию, – говорит Зовите-меня. – Посмотрим, станет ли ей так же худо от того, что она вообразит, как мне от нее. Мария думает, ее кузен-император прискачет за море на белом коне и усадит ее перед собой в седло. Скажите ей, что никто за ней не прискачет, никто за нее не заступится, а отец силой заставит ее подчиниться своей воле.

Июнь. Герцог Ричмондский шагает в процессии вместе с палатой лордов. Вылитый отец, судачат в толпе, – мощные мышцы под душной тяжелой мантией. На раскрасневшемся лице предвкушение, словно в теплом ветерке юноша предчувствует будущее.

Кажется, Генриху пришлась по душе приветственная речь Ричарда Рича. Королю нравятся сравнения: царь Соломон, царь Давид. И он не помнит слов Авессалома: «Нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего».

Не только в Хансдоне верят, что со сменой королевы волна повернет вспять и Англия вернется к Риму. На это он, лорд Кромвель, дает обоснованный ответ: «Акт об аннулировании полномочий епископа Римского».

Заседает не только парламент, епископы собираются на конвокацию. Они суетятся и ворчат – старые, новые, – «мои епископы», как называла их Анна. До вечера спорят о таинствах, их именовании и количестве, какие обряды приемлемы, какие признать идолопоклонством, кому доверить чтение проповедей и на каком языке. Он, лорд Кромвель, возвышается над ними,

викарий короля по делам церкви, а ведь когда-то, во времена архиепископа Мортона, был последним из мальчишек, чистивших овощи на кухне Ламбетского дворца.

Грегори восклицает:

– Подумать только, мой отец над всеми епископами!

– Я не над ними, я просто… – хочет поправить он сына, но осекается. – А ведь и вправду над ними.

Всю неделю, прошедшую с казни королевы, архиепископ не высовывал носа. Сейчас, припертый к стене в задней комнате, Кранмер делает вид, будто углубился в бумаги, испещренные пометками.

– Епископ Тунстолл почеркал мой текст. А теперь, – Кранмер берет перо, – я почеркаю его текст.

– И правильно! – Хью Латимер похлопывает архиепископа по плечу. – Кромвель, как Ричарду Сэмпсону удалось стать епископом? От него так разит папизмом, что, мне кажется, передо мной сам епископ Римский.

Кранмер говорит:

– Он ускорил аннуляцию королевского брака, и это его награда. Мне хотелось бы, чтобы король… я предпочел бы, чтобы король выдержал некий период времени для раздумий между двумя… прежде чем снова… – Он запинается, отодвигает бумаги, трет уголки глаз. – Я этого не вынесу.

– Анна была нашей доброй госпожой, – говорит Хью. – Так мы думали. Нас ввели в заблуждение.

– Я принял ее последнюю исповедь, – говорит Кранмер.

– Кстати, да, – говорит он. – И что?

– Кромвель, вы же не думаете, что я поведаю вам ее слова?

– Нет, но я надеялся прочесть их по вашему лицу.

Кранмер отворачивается.

Латимер говорит:

– Исповедь не таинство. Покажите мне, где Христос ее установил.

Кранмер говорит:

– Короля вы не убедите.

Генрих любит исповедоваться и получать отпущение. Он всегда искренне раскаивается и намерен не повторять грех. Возможно, в данном случае. Искушение отрубить жене голову возникает не каждый год.

– Томас… – Архиепископ запинается, на лице внутренняя борьба. – Томас… поместье в Уимблдоне…

Хью с удивлением смотрит на Кранмера. Меньше всего он ожидал от архиепископа этих слов.

– Поскольку поместье отходит к вам вместе с титулом, – говорит Кранмер, – полагаю, вы захотите его забрать. Сейчас оно принадлежит мне, точнее, епархии…

– А также дом в Мортлейке, – говорит он. – Если не возражаете. Король вам возместит.

Хью Латимер говорит:

– Не спорьте, Кранмер. Вы должны Кромвелю деньги.

Епископы задумали изложить принципы единой веры, чтобы унять злопыхателей и положить конец заблуждениям глупцов, а также угодить немецким богословам, с которыми хотят достичь согласия, одновременно успокоив короля, который не доверяет новизне, и превыше всего немецкой. Они намерены выпустить официальный акт, даже если придется заседать до Пасхи. Учитывая разногласия, которые они намерены примирить, и количество сторон, которые хотят ублажить, едва ли им удастся это раньше, чем солнце погаснет, а земля остынет.

Нам бы не помешал совет мертвецов, говорит Хью Латимер. Если бы с нами был отец Томас Билни. Он учил нас пути и истине, он открыл наши ожиревшие сердца. Но Маленький Билни сожжен в Нориче, в лоллардском рву, а его кости выброшены собакам. И когда ты об этом вспоминаешь, то слышишь, как хихикает Томас Мор.

Именно Латимер, епископ Вустерский, открывает собрание проповедью. «Прежде всего определимся с тремя понятиями: что есть благоразумие, что есть век и что есть свет. И кто есть сыны века, и кто – сыны света».

От Латимера тоже несет гарью. Когда он идет, воздух вокруг него искрит.

Король, памятуя о том, как его дочь заботит собственный статус, велит герцогу Норфолкскому ехать в Хансдон и добиться ее подчинения. После молодого Ричмонда Норфолк – самый знатный вельможа в королевстве.

Норфолк заходит к нему пожаловаться на дурацкое поручение. Впрочем, по нынешним временам герцог рад любому поручению. Норфолк признает, что после казни племянницы не знал, куда бежать. И пусть он оправдал ожидания Генриха на суде, герцог уверен, что король отправит его в изгнание и отберет титул. Сейчас Норфолк в нетерпении меряет шагами комнату, бренча при ходьбе. На шее тяжелая золотая цепь – символы Говардов перемежаются тюдоровскими розами. Под рубашкой, в резной ладанке, святые реликвии, пучки поблекших волос и осколки костей. На правой руке толстый золотой браслет, украшенный сероватым алмазом, словно выбитым зубом.

– Я заявил Генриху, – возмущается герцог, – что мои манеры оставляют желать лучшего, и я не привык сюсюкать с юными кокетками. Если бы Мария была моей дочерью… но что толку об этом говорить? – Сдерживая себя, герцог сжимает кулак ладонью другой руки.

Герцогиня Норфолкская рассказывала ему, что когда Томас Говард захотел взять ее в жены – не важно, что в те времена у нее уже был жених, – то вломился в дом ее отца и пригрозил, что не оставит от него камня на камне. Девушке пришлось подчиниться, о чем она очень скоро пожалела. Возможно, так будет и с Марией?

Герцог не умолкает, предвидя отпор:

– …и тогда она заявит мне… а я ей в ответ… скажу, что все королевство считает ее упрямство и своенравие достойными самого сурового порицания, но король, известный милосердием и ангельским характером… стоит ли говорить «ангельским», Кромвель?

– Лучше «отеческим». Смысл тот же, но без ненужного преувеличения.

– Хорошо, – неуверенно соглашается герцог. – Так вот, известный милосердным, отеческим и так далее и тому подобное… характером, король полагает, что, будучи женщиной, существом слабым и изменчивым, она поддалась дурному влиянию, но тогда ей придется назвать тех, кто потворствует ее упрямству, и, хочет она того или нет, признать власть короля и подчиниться его законам, и это меньшее, Кромвель, из того, что король вправе требовать от подданных. А затем ей придется отказаться от попыток искать защиты в Риме? Так?

Он кивает – все споры следует решать дома, в Англии.

Юноша рядом с ним кланяется. Томас Говард меньшой. Ах да, вспоминает он, мне снились ваши стихи: слезы-грезы, борьба-судьба, очи-ночи.

Старший Томас не рад единокровному брату:

– Что заставило тебя вылезти из-под девкиной юбки, юнец?

– Сэр… милорд…

– Праздное поколение. – Норфолк поджимает губы. – Им бы все в игрушки играть.

– А что ваша милость предложит взамен? – спрашивает юноша. – Войну?

Он подавляет улыбку.

– Правдивый Том, – говорит он.

Юноша подскакивает:

– Что?

– Разве не так вы себя именуете? В ваших виршах. «Навеки ваш, Правдивый Том». – Он пожимает плечами. – Дамы обмениваются вашими стихами.

Герцог смеется, впрочем, смех больше похож на рычание.

– Мастер Кромвель знает, что замышляют дамы. От него ничего не утаишь.

– Обмениваться стихами не преступление, – замечает он. – Даже плохими.

Правдивый Том краснеет.

– Вас требует король, сэр.

– А меня? – спрашивает герцог.

– Нет, ваша милость, только лорда Кромвеля. – Молодой человек отворачивается от герцога. – Если позволите, король ударил шута Секстона. Тот неудачно сострил и теперь ходит с разбитой головой. Видит Бог, бедняга выбрал неудачный момент. Его величество получил письмо от кузена и начал вопить так, словно обжегся, а само письмо пришло прямиком из ада и подписано сатаной. И я не знаю – мы не знаем, – от какого кузена письмо. Их слишком много.

Слишком много кузенов. И мало кто из них верен и честен.

– Дайте пройти, – говорит он. – Я разберусь. Хорошего дня, милорд Норфолк. – И добавляет через плечо Правдивому Тому: – Поль его имя. Реджинальд Поль. Сын леди Солсбери.

Он шагает к королевским покоям, явственно ощущая, как пружинят подошвы башмаков. Говарды взволнованы – меньшой Томас схватил старшего за рукав и что-то шепчет. Чем бы это ни было, пусть себе секретничают.

В караульной, раскинув ноги, сидит Секстон, словно только что свалился на пол. Рана пустяковая, но шут держится за голову и скулит:

– Моя бедная головушка дала течь.

Он нависает над шутом:

– Что ты здесь делаешь, Заплатка?

Шут поднимает голову:

– А ты? Никак заришься на мой хлеб?

– Я решил, ты удрал. Говорили, в прошлом году король тебя прогнал.

– И прогнал, и побил, потому что я назвал его женщину бесстыжей. Из милосердия меня подобрал Николас Кэрью и держал у себя, пока мои шутки вновь не поднялись в цене. А они в цене, не так ли? Теперь весь мир знает правду про Нэн Буллен. Дешевка каких поискать. Такая ляжет с прокаженным под забором.

Он говорит:

– У короля теперь есть Уилл Сомер. Ты ему больше не нужен.

– Сомер, Сомер, только и слышишь про Сомера. А как же Секстон? Гоните в шею, его время прошло. Все говорят, Томас Кромвель, вот истинный благодетель для тех, кто лишился хозяина, – пригрел кардинальскую челядь. Да только не Заплатку, Заплатку вышвырнул в канаву.

– Моя воля, вышвырнул бы тебя в навозную кучу. Ты высмеивал кардинала, от которого видел только хорошее.

– Удивительно, почему я до сих пор жив? – говорит Секстон. – Четверо актеров, тащивших кардинала в ад, казнены. Как и Смитон, чья вина лишь в том, что сделал кукле старого Тома Вулси голову из свиного пузыря, пинал ее да горланил песенку, вытягивая колбасные кишки из кукольного нутра. Их всех казнили, как ты пожелал, и я слышал, ты похоронил их не с теми головами, и теперь, когда мертвые восстанут из могил, Смитон будет Джорджем Болейном, а пустая башка Уэстона достанется Доброму Норрису.

Нам есть чего стыдиться, думает он, но не этого.

– Головы рубить не шутка, неудивительно, что тебе не до Заплатки. – Шут задирает клетчатый джеркин и почесывается. – Лорд Том из Патни. Ты пустил шутов по миру. Сомеру не позавидуешь. Кому нынче нужны остроты, когда шутки расхаживают по дворцу, разглагольствуют обо всем на свете и называют себя баронским титулом?

Ему приходится перешагнуть через ноги шута.

– Запахнись и убирайся вон, Секстон. И чтоб я больше тебя здесь не видел.

Когда он предстает перед Генрихом, король любезно обращается к гудящей толпе:

– Не могли бы вы оставить меня наедине с лордом – хранителем малой печати?

Замешательство – Генрих впервые именует его новым титулом. Шарканье, топот, поклоны. Придворные, сметенные королевским взглядом, недостаточно проворны.

На столе лежит толстый фолиант. Генрих положил сверху руку, словно запрещая открыть книгу:

– Когда-то я мог рассчитывать на ваш совет… – Король запинается, смотрит в пустоту перед собой. – Поль. Из Италии пришла его книга. Мой подданный, мой вассал, Реджинальд Поль. Мой кузен, моя родня. Как он может спать по ночам? Единственное, чего я не в силах вынести, – это неблагодарности и вероломства.

Пока король перечисляет, чего он не в силах вынести, глаза его советника не отрываются от книги. Он знал, что Поль ее пишет. Его предупреждали. Его

удивляет лишь ее толщина. Не меньше трехсот страниц, и каждая пропитана изменой. Он знает, что внутри, однако это не остановит короля от пересказа – это история Полей, их обид и зависти. Бесконечная резня до Тюдоров, когда лучшие семьи Англии кромсали друг друга на полях сражений, казнили на рыночных площадях и развешивали части тел на городских воротах. События, которые привели к тому, что этим летним днем манускрипт оказался перед Генрихом на столе, начались задолго до нашего рождения: до того, как Генрих Тюдор высадился в Милфордской гавани и прошел через Уэльс под бело-зеленым знаменем с красным драконом. Это знамя победитель возложил на алтарь собора Святого Павла. Он пришел с войском, одетым в лохмотья, с молитвой на устах: пришел ради спасения Англии, с метлой, чтобы вымести обугленные кости, и тряпкой, чтобы стереть кровь.

Что осталось от старого правления после победы, после того как Ричарда Плантагенета сбросили в могилу нагишом? Сыновья старого короля Эдуарда пропали в Тауэре. Остались бастарды и дочери, а еще племянник не старше десяти лет от роду. Предъявив его народу, Тюдор убрал мальчика с глаз долой. Однако он никогда не отказывал ему в праве именоваться графом Уориком, в отличие от права угрожать новому правлению.

Генрих Тюдор славился плодовитостью, и теперь его детям надлежало продолжить династию. Невесту для старшего сына Артура искали среди европейских принцесс. Король и королева Испании предложили одну из своих дочерей, но с оговоркой. Они не желали отпускать Каталину в чужую страну, пока положение ее правителя оставалось шатким. Всю жизнь Генриха Тюдора преследовали мертвецы, претендующие на его корону. И хотя юный Уорик пребывал в заточении, это не останавливало самозванцев, собиравших армии под его знаменами. Поэтому претендент должен был умереть, но не заколот или задушен в темном углу – ему предстояло окончить дни при свете дня на Тауэрском холме от меча палача.

Был раскрыт заговор – попытка побега. Кто в это поверит? Юноша, с детства лишенный свободы, был чужд честолюбивых замыслов. Его не учили рыцарским доблестям, он никогда не держал в руках меча. Все равно что убить калеку, но Генрих Тюдор пошел на это, чтобы не упустить испанскую принцессу. Со смертью Уорика его сестра Маргарет оказалась во власти короля, и он обеспечил ее будущее, отдав в жены своему стороннику.

– Моя бабка выдала ее за Ричарда Поля, – говорит король. – Скромный, но достойный брак. Я вернул ей положение. Я почитал ее семейство за древнюю кровь и сожалел о его упадке. Я сделал ее графиней Солсбери. Что еще я мог ей дать? Вернуть брата? Я не умею воскрешать мертвых.

Испанская принцесса Каталина знала, что стоит за ее браком. Всю жизнь она пыталась примириться с Маргарет Поль. Доверила ей стать воспитательницей Марии, своей единственной дочери.

– Однако, как мне рассказывали, существовало проклятие.

Не упоминайте о проклятии, думает он. Упоминание только увеличивает его силу.

– Свадьба состоялась, и спустя несколько недель Артур умер. Что дальше, вы знаете…

Он думает о недоношенных детях Екатерины, слепых личиках и недоразвитых ручках, соединенных в молитвенном жесте.

– Не я погубил Уорика, – говорит Генрих. – И даже не мой отец. Виноваты родные Екатерины. Не понимаю, почему отец позволил испанцам запустить свои кровавые руки в дела королевства. Сколько мне еще страдать, чтобы успокоить совесть Кастилии? Что еще я могу дать семье Уорика? Мне они обязаны положением и богатством. Другие короли держали бы их в черном теле.

Это правда. Они играют на вашем чувстве стыда, думает он.

– Кто способен понять Маргарет Поль? Только не я.

Генрих говорит:

– Ее сын Монтегю никогда меня не любил. Честно говоря, я отвечал ему тем же. Его брат Джеффри не заслуживает доверия. Но в Реджинальда я верил – добрая душа, единственный, кто выглядел достойным моих забот, – по крайней мере, так меня уверяли. Я оплатил его учение, его путешествие в Италию. Я доверил ему отправиться в Сорбонну, представлять меня в деле об аннулировании брака.

Первом аннулировании.

– Я слышал, он справился блестяще.

– Я наградил бы его. Сделал бы архиепископом Йоркским. Вы знаете, он не рукоположен в священники, но ничего не мешало ему принять сан, а после Вулси как раз оставалась свободная епархия… но он отказался. Сказал, что слишком молод, что недостоин. Я тогда еще должен был догадаться, что он задумал. – Король ударяет кулаком по книге. – Все, о чем я просил, – одно слово из Италии, заявление, ученое суждение, нечто, что я мог предъявить миру как свидетельство, что его семья на моей стороне. Я сказал ему, мне не нужна книга, у меня их достаточно. Одно слово, объясняющее, как и почему я могу быть главой собственной церкви. И я ждал. Долго. А он все обещал и обещал. И всегда находилось оправдание. Жара, холод, внезапная болезнь, плохие дороги, ненадежные гонцы, необходимость поехать туда и сюда, свериться с редкой книгой или спросить совета ученого богослова. Что ж, теперь все позади. Вот она, эта книга. – Король выглядит изможденным, словно сам ее написал. – Стоило ждать так долго, ибо пелена упала с моих глаз.

Он тянется к манускрипту, но король прикрывает его рукой:

– Я избавлю вас от хлопот. Здесь есть предисловие, адресованное мне, холодное и оскорбительное по тону. И каждая следующая страница обиднее предыдущей. Я опаснее для христиан, чем магометане. Реджинальд называет меня Нероном и диким зверем. Советует императору Карлу вторгнуться в Англию. Утверждает, что с самого начала своего царствования я разорял подданных и бесчестил знать. И теперь они готовы взбунтоваться, лорды и простолюдины, и он убеждает их восстать и покончить со мной.

– Ваше величество должны были заметить…

– А еще я проклят, – говорит Генрих. – И ад разверзся подо мной. Так он утверждает.

– …ваше величество не могли не заметить, что бунт, к которому он призывает, не только может быть направлен против кого-то, но и сыграть кому-то на руку…

– Разумеется. Вы видите, как все взаимосвязано? Поль убеждает Европу выступить против меня в то время, как моя собственная дочь отказывается мне подчиниться. Скажите, почему Реджинальд до сих пор не принял сан? Раз уж его так влечет духовная стезя. Я скажу вам почему. Потому что семья задумала женить его на моей дочери.

Ловко придумано, если им удастся это провернуть. В жилах Марии Тюдор течет самая благородная испанская кровь. Соединить ее с кровью Плантагенетов – в этом и состоит их замысел. Поли с их кликой мечтают о новой Англии – на самом деле об Англии старой, – которой они будут править.

– Я думаю, – говорит он, – что леди Мария дорожит вашим расположением больше, чем благосклонностью любого жениха. Даже если его послали Небеса.

– Это вы так говорите. Вы вечно ее выгораживаете.

– Она женщина, она молода. Поверьте, ваше величество, она поймет, в чем состоит ее долг, и подчинится. Эти люди, которые именуют себя ее сторонниками, используют ее. Не верю, что она способна разгадать их интриги.

Король говорит:

– Я двадцать лет прожил с ее матерью, и поверьте, она была способна разгадать любые интриги. Вы сами сказали когда-то, что, родись Екатерина мужчиной, из нее вышел бы герой, подобный Александру.

Однажды он сказал Кранмеру, что сны королей не похожи на сны обычных людей. Во сне к королям приходят их предки, чтобы поговорить о войне, мести, законе и власти. Мертвые короли спрашивают: «Ты знаешь нас, Генрих? Мы тебя знаем». Есть места, где кипели древние битвы, и, когда ветер всегда дует в определенную сторону, луна убывает, а ночь темна, там можно расслышать топот копыт, скрип упряжи и вопли раненых. А если подкрасться ближе – вообрази себя духом, способным проскользнуть между травинками, – то услышишь хрипы и молитвы умирающих. И все они, души Англии, взывают ко мне, говорит ему король, ко мне и к каждому королю, ибо король несет бремя преступлений других королей, и былое по-прежнему вопиет о справедливости.

– Вы считаете меня суеверным, – говорит Генрих. – Вам не понять. Как бы ни оскорбляли меня Поли, я связан с ними нашей общей историей.

Путы истории можно ослабить, думает он.

– Если было преступление, это старое преступление. Если был грех, он давно утратил новизну.

– Вам не понять моих забот. Да и откуда?

И правда, думает он, откуда? Духи не преследуют Кромвелей. Уолтер не встает по ночам – в руке кружка с элем, чекан в поясе, – чтобы бражничать у причалов, показывая Патни свои сбитые кулаки. У меня нет истории, только прошлое.

– Но если я не в силах понять вас, что я могу для вас сделать, сэр?

– Ступайте к Маргарет Поль. Она в Лондоне. Выясните, знает ли она о книге своего жалкого сына. Знает ли его брат.

– Уверен, они станут отрицать.

– Я спрашиваю себя: что вам известно? – Глаза короля останавливаются на нем. – Вы не так потрясены, как я.

– Вспомните, ваше величество, за что в былые времена меня приблизил милорд кардинал. Не за мои познания в законах, законников вокруг было пруд пруди. А за мои связи в Италии. Я ценю моих итальянских друзей. Пишу им письма, а они пишут мне.

– Если вы знали, почему не остановили его?

– Я мог помешать Реджинальду отослать книгу вашему величеству. Но он был полон решимости изложить свои мысли. Помешать ему отослать книгу папе я не в силах.

Генрих отпихивает книгу от себя:

– Он клянется, что существует единственная копия, и она перед вами. Но почему я должен ему верить? Через два месяца книгу напечатают, и ее будут читать все, кому не лень. Возможно, именно сейчас ее читают папа и император.

– Думаю, Карла он должен был предупредить. Если ему предстоит возглавить вторжение, к которому призывает Поль.

– Они никогда не сойдут на английский берег, – говорит Генрих. – Я съем их живьем.

Все отступает, боль, сомнения и затаенная ревность, терзавшие Генриха последний час. Он ударяет по книге кулаком, и кровожадный огонек в глазах не дает забыть: псы едят псов, но никому не под силу поглотить Англию. Король встает с кресла, и ты думаешь, сейчас он велит принести Эскалибур.

Но дни великанов и героев миновали.

Он говорит:

– Людей в ливреях Полей видели в Хансдоне с посланиями для леди Марии, хотя мы не можем утверждать, что она их прочла. И Куртенэ тоже там, хотя леди Марии запрещено принимать…

– Куртенэ? Лорд Эксетерский собственной персоной? – Король потрясен.

– Нет, его жена. Думаю, леди Мария не могла не впустить ее в дом. Вы же знаете Гертруду Куртенэ.

– Ничего, видит Бог, я найду на нее управу. Она исчерпала мое терпение. Скажите Эксетеру, что он больше не состоит в совете. Мужчина, неспособный управиться с женой, не может править государством. – Генрих хмурится. Перед его мысленным взором мелькают лица. – Что скажете насчет Рича?

Он предпочел бы уменьшить число членов совета, но еще один советник, умеющий считать, не помешает.

– Отлично. Можете ему сказать.

Ричард Рич в королевском совете! Он видит Томаса Мора, который вертится в могиле, словно цыпленок на вертеле. Словно одержимый тем же видением, Генрих показывает на фолиант:

– Поль утверждает, что я погубил Мора и Фишера. Пишет, что не смел меня обвинять, его останавливала верность престолу, но, когда пришла весть об их смерти, он воспринял ее как божественное послание.

– Ему следовало счесть ее посланием от меня.

Генрих отходит к окну и говорит:

– Верните Реджинальда. – Фигура короля смутно отражается в оконных стеклах, разделенных свинцовым переплетом. Кажется, будто платье давит ему на плечи и он не в силах возвысить голос, упавший до шепота. – Обещайте ему что хотите. Дайте любые гарантии. Заставьте вернуться в Англию. Я хочу посмотреть ему в глаза.

В караульной перешептываются королевские советники. Он подходит ближе. Советники замолкают. Он обводит их взглядом:

– Надеялись, что он даст мне по голове, как Заплатке?

Слухи о книге Поля успели просочиться. Генриху книга не понравилась, в ней короля называют Нероном.

Уильям Фицуильям говорит:

– Поль не мог бы найти худшего времени. Все это ударит по Марии, если Генрих решит, что она причастна.

– А также по семье Полей, – добавляет лорд-канцлер Одли. – И всем знатным семействам. В том числе Куртенэ.

– Эксетер больше не в совете. Вы вместо него, Рич.

– Что? Я?

– Поддержите его, Фицуильям.

– Исусе! Спасибо! – восклицает Рич. – Спасибо, лорд Кромвель.

– Вас выбрал король. Думаю, ему понравилось то, что вы сказали про Авессалома.

– Что? – спрашивает лорд-канцлер. – Сына царя Давида? Который запутался волосами в ветвях дерева? Что сказал о нем Рич? Где сказал?

Кто-то отводит лорда Одли в сторонку, объясняет.

Рич выглядит изумленным.

Фицуильям говорит:

– Сухарь, вы знали об этой книге.

– Я влез в голову Реджинальду, словно червяк в яблоко.

– Когда? Когда вы узнали? – гадает Фицуильям.

Рич говорит:

– Неудивительно, что в последние недели вы держались так самоуверенно. С такой-то картой. Теперь не стоит опасаться, что король снова обратится к Риму.

– А юноша-то схватывает на лету, – замечает он Фицуильяму.

Он признает, что уже год наблюдает за Полем, который застрял в Италии. Истерзанный собственными словесными излияниями, Реджинальд пишет и зачеркивает. Вносит поправки, дописывает, делая еще хуже. Но наконец письмо подписано – чернила просушены песком, листы свернуты и перевязаны, посланец найден. Смерть Анны Болейн ускоряет развитие событий. Вероятно, Реджинальд размышляет так: «Ныне, когда решимость Генриха поколеблена, когда он готов раскаяться, я пригрожу ему проклятием и заставлю вспомнить о Риме». Возможно, он добился бы своего, если бы смягчил аргументы, но Реджинальд не понимает Генриха как человека и еще меньше понимает разум и волю правителя.

– Я с ним встречусь, с Полем, – говорит он.

Вспоминает молодого ученого, юношу не высокого и не низкого, не худого и не полного, вспоминает его приятное широкое лицо. Невзрачный облик Реджинальда не вяжется с замысловатым и бесполезным устройством его разума, заставленного полками и нишами, где хранятся сомнения и неуверенность.

– Однажды я над ним посмеялся, – говорит он.

Юноша разглагольствовал о том, что народами должна управлять добродетель. Согласен, заметил он тогда, но советую вам больше читать, чтобы возместить недостаток практического опыта. Итальянцы знают толк в подобных материях.

С тех пор Реджинальд его боится и неизменно отзывается о нем дурно: называет его дьяволом, не самый лестный отзыв. И тем не менее, когда к нему заходит путешествующий ученый или знатный молодой итальянец, который хочет усовершенствовать свой английский, Полю не приходит в голову спросить себя: «Возможно, его подослал сатана, он же Кромвель?» В былые времена Реджинальд склонялся к учению Лютера, мы помним, как он колебался то в одну, то в другую сторону. В былые времена он ставил под сомнение власть папы, и его сомнения записаны. Просчет Поля в том, что он думает вслух. Беспомощные фразы, составленные на манер Цицероновых, дрожат в воздухе – он уверен, что никто их не слышит. Затем берется за перо, уверенный, что никто не прочтет. Однако друзья Люцифера заглядывают в его книги. В сумерках он прячет манускрипт под замок, но у дьявола есть ключ. Демонам ведомы все его помарки и кляксы. Чернила предают его, бумажные волокна шпионят за ним. Когда он ложится в постель, английские лазутчики – конский волос в матрасе и перья в подушке – подслушивают, как уклончиво и обтекаемо он молится тому Богу, в которого верит сейчас.

Фиц говорит:

– Теперь вы можете разделаться с Полями. Со всем семейством.

– За исключением Реджинальда, – встревает Рич. – Он не в нашей юрисдикции.

Лорд Одли говорит:

– Дельное замечание, господин спикер. Но вы можете запереть в клетке одну певчую птицу, чтобы завлечь другую.

Рич говорит:

– Разве суть в этом, лорд-канцлер? Дела обстоят ровно наоборот. Это Поль находится на свободе, и его песня выманивает остальных. Налицо измена.

– Пожалуй, вы правы, – соглашается Одли.

Он говорит:

– Надо было разделаться с ними два года назад.

– Пророчица, – говорит Фиц, – Элиза Бартон, изменница. Как это похоже на них – прятаться за юбками безумной монашки, возомнившей, что с ней говорит Господь. Впрочем – поправьте, если я ошибаюсь, – кажется, Бартон ставила Куртенэ выше Полей?

– По-моему, она не отличала одних от других, – говорит Рич. – Думаю, господин секретарь прав. Пусть строят козни. А мы будем наблюдать. Они сами себя повесят.

– Клянусь Богом, готовый советник! – Фиц сдергивает с Рича шляпу и, отскочив на другой конец комнаты, подбрасывает к украшенному тюдоровскими розами потолку.

Неужто среди роз затесались инициалы «ГА-ГА»? Верный долгу, лорд-канцлер щурится и вытягивает шею.

Л’Эрбе, дом Полей. Когда он входит, графиня Маргарет поднимает глаза, но не произносит ни слова.

Чем она занята? Вышивает, как все старые дамы. Ястребиный профиль склоняется над вышивкой, словно клюет ее.

Сын Маргарет Генри, лорд Монтегю, при виде его морщится:

– Господин секретарь, прошу вас, садитесь.

Он предпочел бы стоять.

– Полагаю, вы знаете, о чем книга, более или менее? Король никому ее не показывает. Думаю, он не откажется прочесть вам избранные места, но хочет, чтобы вы написали брату в Италию и сообщили ему, что его величество не гневается.

Монтегю с изумлением смотрит на него:

– Не гневается?

– Ваш брат может вернуться в Англию и изложить свои соображения лично.

– Будь вы Рейнольдом, вы бы вернулись?

Рейнольд, так вот как зовут его в семье. Имя нежное и текучее, словно вода.

– Король даст ему охранную грамоту. А король всегда держит слово.

Монтегю говорит:

– Мы, его семья, поверьте, Кромвель, мы потрясены поступком моего брата. Полагаю, вам известно об этом деле больше нашего.

– Могу я передать королю, что вы от него отрекаетесь?

Монтегю с заминкой отвечает:

– Пожалуй, это слишком…

– Осуждаем, – говорит Маргарет Поль. – Можете передать, что мы осуждаем его книгу и пребываем в смятении.

– Или в изумлении, – предполагает он. – Глубоко скорбите и охвачены ужасом при мысли, что он осмелился осудить короля, оклеветать и опорочить своего правителя, угрожать ему вторжением и утверждать, что он проклят.

– Разве я сторож брату моему? – спрашивает Монтегю.

– Кому-то придется стать ему сторожем. Если не вам, то мне. Реджинальда следует запереть ради его собственного блага. Сейчас между вами и королевским гневом стою только я.

– Очень любезно с вашей стороны, – говорит Монтегю.

– Я также стою между королем и его дочерью. Вам следует понять, что до того, как король получил книгу, леди Мария была в опасности из-за собственной глупой гордости. А теперь ее положение ухудшилось, потому что король подозревает ее в соучастии. И именно ваше семейство виновато в этом.

Медлительного Монтегю непросто расшевелить, но Маргарет Поль откладывает вышивку и говорит:

– Мы помогли вам избавиться от Болейнов, которые вам угрожали.

– Я взял на себя ответственность, не вы.

– Вы должны нам, а платить не хотите. Вы знали, что книга пишется. Знали, к чему это приведет.

– Вы можете объяснить это Николасу Кэрью? Кажется, он не понимает. Я ничего ему не должен. Я ничего не должен вам, мадам. Напротив, это вы мне должны. Жизнь и смерть Марии от меня не зависят, но могут зависеть от вас. Я прошу вашей помощи для того, чтобы она и дальше пребывала среди живых, и, надеюсь, совершила бы еще немало добрых дел.

– Ее мать, храни Господь ее душу, поручила мне воспитание Марии, – говорит Маргарет Поль. – Могу ли я предать доверие Екатерины, посоветовав ее дочери поступить против совести?

Монтегю говорит:

– Не понимаю, Кромвель, в чем ваша выгода. Вы хотите спасти Марию от нее самой и от ее друзей, но вы же не думаете, что она это оценит?

– Если она станет королевой, – говорит Маргарет Поль, – а я молюсь, чтобы ее миновала эта напасть, то первым делом она…

Что? Посадит меня в Тауэр? Отрубит голову? Сделает лорд-канцлером?

– Миледи матушка… – предостерегает Монтегю.

– О, я помню Акт об измене, – живо откликается Маргарет. – Я вижу ловушку. Предвидеть будущее – преступление. Мы вынуждены жить одним днем.

– В предыдущие месяцы, – говорит он Монтегю, – вы уверяли императорского посла Шапюи, что Англия готова восстать против короля. – Он поднимает руку: не перебивайте. – А две-три недели назад на юго-западе видели вооруженных простолюдинов.

– Это земли Куртенэ, – говорит Монтегю. – Их и обвиняйте.

Вор у вора дубинку украл, думает он.

– Вам повезло, что все обошлось и там стало спокойнее. Но любое повторение – попытка нарушить покой короля в любой части королевства, – и вам будет сложно объяснить, что подстрекатель не вы.

– Но как вы докажете его вину? – спрашивает Маргарет. – Насколько я понимаю, это обязанность обвинителя.

– Это не составит труда. К тому же закон дает способ защитить страну от изменников. Я говорю про билль о лишении прав за измену, для которого суда не требуется.

Маргарет замолкает, втыкает иглу в ткань. Вспоминает горькую участь отца.

– Мадам, – говорит он, – не пытайтесь вашим упрямством, увертками и интригами развязать руки королю, который приложил все усилия, чтобы возместить вам причиненные страдания. Молитесь о примирении, как надлежит доброй христианке. И напишите леди Марии письмо.

– А вы его доставите? – спрашивает Монтегю.

– Передайте его вашему другу Шапюи. Чтобы юная леди не подумала, будто оно поддельное.

Маргарет говорит:

– Вы змий, Кромвель.

– Ах нет, что вы.

Я пес, мадам, и я иду по вашему следу. Он вклинивается массивным корпусом между Маргарет и светом. Графиня вышивает цветочный узор. Виола, символ ее рода, по-другому фиалка, или анютины глазки.

– Мои поздравления. Для такой тонкой работы нужен острый глаз.

Маргарет берется за ножницы.

– Теперь не то, что раньше. Я знавала и лучшие времена.

Он посылает племянника Ричарда в Тауэр освободить Томаса Уайетта. Прибытие книги Реджинальда, как только просочились слухи о ее содержании, вызвало такой переполох, что все и думать забыли про Уайетта. Никто не видел самой книги; придворные догадываются, что там, но не могут вообразить ее

горького многословия, ее безрассудного пренебрежения к покровительству живых и неуемного восхваления мертвых. Ходят слухи о новых арестах. Леди Хасси, некогда состоявшую при Марии, отправили в Тауэр. Он посылает Ризли поговорить с ней. Она признается, что когда на Троицу с милостивого позволения короля навещала Марию в Хансдоне, то называла ее принцессой.

– Клянется, что во всем виновата привычка, – говорит Ризли. – Что она и в мыслях не держала заявлять, будто Мария – законная наследница Генриха. Что сказала так, не подумав.

В комнату влетает Ричард Кромвель.

– Я велел Уайетту убираться в Кент и никогда не упоминать о мертвых. Сидеть там, пока не позовут. Комендант Кингстон спрашивает, нужны ли камеры для знатных узников, и если нужны, то сколько, а также желательно уточнить их ранг, пол, возраст и когда их ждать. Он хочет подготовиться.

– Как, Кингстон не готов? Удивительно!

– Сэр, – говорит Ризли, – я знаю, вы жалеете леди Марию, но пришло время отказаться от нее. – Он обращается к Ричарду: – Она выглядит скромницей, как любая девушка, говорит тихо, шарахается от мужчин, но, когда мы с Сэдлером приехали в Хансдон, клянусь, будь у нее в руке кинжал, она вонзила бы его в меня, когда я сказал, что палач из Кале чисто исполнил свою работу.

Ее трудно любить, только и скажет он, ничего больше.

Генрих занимает место за столом совета, упираясь кулаком в стол, чтобы удержать равновесие. Король двигается осторожно, избегая толчков и ударов. Вежливо благодарит нового советника, когда Рич отодвигает кресло, чтобы дать больше места перевязанной ноге.

– Принесли клятву, Рич? Отлично.

Король с тихим сопением опускается в кресло и хватается за стол, чтобы придвинуться ближе.

– Подушку, ваше величество? – предлагает Одли.

Генрих закрывает глаза:

– Спасибо, нет. Сегодня у нас один вопрос…

– Или кресло попросторнее?

Король осекается:

– …вопрос, не терпящий отлагательства… Спасибо, лорд Одли, мне удобно.

Он ловит взгляд лорд-канцлера и прижимает ладонь ко рту. Но Ричарда Рича так просто не уймешь.

– И вы здесь, сэр? – обращается Рич к Эдварду Сеймуру. – Я не знал, что вы приняли присягу.

– Так вышло… – начинает Эдвард.

– Так вышло, что мне нужен его совет, – говорит король. – По крайней мере в этом вопросе, который касается меня очень близко. Вам ясно, Рич?

Теперь Эдвард – родственник короля, разумеется, королю нужен братский совет. Однако Эдвард ерзает в самом конце стола, будто в суде, гадая, придется ли платить. Ему и сестре.

Ричард Рич никак не угомонится. Он наклоняется и шепчет: сэр, это точно заседание совета? Куда я попал? Он, Кромвель, отвечает тоже шепотом: сидите тихо и слушайте.

Фицуильям оглядывается:

– А где милорд Норфолк?

– Я велел ему не показываться мне на глаза, – отвечает Генрих.

Отличная новость для Фица. Его ссоры с Норфолком тянутся десятилетиями.

– Вам не стоило посылать его к Марии, сэр. Вы же его знаете. Он разговаривает с женщиной, словно с крепостной стеной, которую собирается проломить.

– Я не думаю, – говорит лорд-канцлер, – что следует именовать королевскую дочь «женщиной».

– А кто же она? – спрашивает Фицуильям. – Можете называть ее «леди», от этого ничего не изменится. Норфолк – последний человек на свете, способный ее убедить.

Генрих говорит:

– Я признаю, что мой выбор был нехорош. Она не из тех, кто подчиняется силе. – Ему показалось или в тоне короля мелькнула извращенная гордость? – Нам следует выбрать другого посланника. Возможно, милорда архиепископа с его даром мягко увещевать…

Фиц изумленно смотрит на короля:

– Она ненавидит Кранмера. И с чего ей любить его? Он развел вас с ее матерью. Кранмер называет ее плодом кровосмешения.

– И вполне справедливо. – Король склоняет голову. – То был великий грех – совершенный, разумеется, по неведению.

– Ваше величество, – говорит Эдвард Сеймур, – мы понимаем… нет нужды… избавьте себя…

– Простите, груз двадцати лет давит на плечи. – Генрих выглядит расслабленным и покорным, но он знает это опасное подергивание королевских губ. – Поскольку весь христианский мир вот уже целое поколение обсуждает мой брак во всех университетах, с каждой церковной кафедры, в каждом трактире, я не считаю зазорным повторить это еще раз. И хотя из Писания следует, что подобный союз незаконен, некогда я верил, что папа вправе его разрешить. Теперь я вижу, что ошибался. Моя дочь Мария – плод преступной связи. Если Екатерина не раскаялась в этом грехе при жизни, боюсь, ей суждено ответить за него там, где она сейчас.

В Питерборо, думает он.

– Мои же глаза открылись на мерзости и нечестивые притязания Рима, – продолжает король, – и я уже семь лет тружусь над тем, чтобы выйти из-под его ненавистной власти и повести мою страну истинной дорогой Христовой. Если я до сих пор не искупил свой грех, то уж не знаю, джентльмены, как и когда я его искуплю. Терпеть непослушание дочери, знать, что мои близкие родственники настраивают ее против меня, читать в собственном доме поношения от этого неблагодарного чудовища Поля, который называет меня еретиком, раскольником и иудой…

– Нет, сэр, – встревает Рич. – Иудой Поль называет не вас, а епископа Сэмпсона, который был вашим поверенным в деле о разводе.

– Наш новый советник любит точность. – Генрих разворачивается к Ричу. – А кем тогда он называет меня? Антихристом? Люцифером?

Денницей, думает он; светоносным.

– Предупреждаю, – говорит Генрих, – если я услышу хотя бы один голос в защиту этого заблудшего создания, моей дочери, я буду знать, что это слова изменника. Я готов выслушать ваши советы. Я созвал судей, чтобы решить, каким образом довести ее дело до суда.

Фицуильям хлопает ладонью по столу:

– До суда? Храни нас Господь! Вашу плоть и кровь? Умоляю, не спешите с решением. Вы будете выглядеть чудовищем в глазах всего света!

Он вставляет:

– Ваше величество, Мария больна.

– Король скоро и сам заболеет! – восклицает Рич. – Только посмотрите на него!

Эдвард Сеймур шепчет:

– Рич, помолчите.

Генрих поворачивается к нему:

– Скажите, Сухарь, а когда она не больна? Неужели я породил это болезненное создание? Ее братья и сестры умерли. Удивляюсь, что она до сих пор жива. Интересно, что Господь хотел этим сказать.

Фицуильям говорит:

– Если вы не знаете, Гарри, то кому тогда знать? Вы наместник Божий, разве нет? Вам ведомы все наши судьбы.

– Мне ведома ваша, – говорит Генрих.

Король бросает взгляд на дверь. Кивок – и сюда войдут стражники. Ричард Рич застыл, челюсть отвисла, пальцы сжимают перо. Эдвард Сеймур привстает с места:

– Простите, ваше величество. Простите господину казначею его грубую речь. Мы все… мы все переутомились…

Генрих вздыхает:

– Переутомились, изнурены, обессилены. Верно, Нед. Ступайте, Фицуильям, пока я не велел вас вывести, мое терпение не беспредельно, ни вы, ни моя дочь не можете испытывать его бесконечно. Итак, Сухарь, расскажите нам о ее болезни. Что на сей раз? Я слышал о коликах, лихорадке, головной и зубной боли.

– Боюсь, все вместе. Она пишет…

– Покажите мне ее письмо.

Письмо лежит у него в кармане.

– Я пошлю за ним, сэр.

– Некоторые из вас, моих советников, знают больше меня о том, что на уме у моей дочери. – И снова эта улыбка сквозь зубы – Генриху больно. – Господин секретарь обещал, что получит ее согласие – что заставит ее принести присягу, не выходя из Уайтхолла. Но и он подвел меня.

Фицуильям с порога оборачивается к советникам, прижимая бумаги к груди:

– Некоторые из ваших советников, ваше величество, пытаются спасти вас от себя самого. Вы бушуете оттого, что Поль вас оскорбил. Бросайтесь на врагов, но не обижайте друзей. А что до Марии, так заприте ее, заприте покрепче, туда, откуда она не причинит никому вреда. Но созвать судей, предать суду собственную дочь? И что дальше? Я скажу вам, она виновна. Зачем вам судья? Зачем присяжные? Она не станет приносить присягу и приведет свои доводы, но не так, как Томас Мор. Скажет, что она не приблуда, а принцесса Англии, а вы такой же глава церкви, как и я. И что вы сделаете? Отрубите ей голову?

Одли говорит еле слышно:

– Храбрец.

Сеймур бормочет:

– Мертвец.

Он, лорд Кромвель, встает, пересекает комнату, хватает казначея за джеркин, толкает к дверям. Двери мягко распахиваются, словно адские врата. Он сжимает казначейскую цепь, пытаясь сдернуть ее через голову Фица. Советник вопит, цепь извивается. Фиц продевает пальцы сквозь звенья, завязывается борьба.

– Руки прочь, Кромвель! – орет Фиц, пытаясь достать его другим кулаком, но он подтягивает цепь к себе, оказываясь нос к носу с казначеем.

– Угомонись, болван, – шипит он.

До Фица доходит, он разжимает кулак. Вскрикивает – пальцы застряли в звеньях, – и цепь свободна. Толчок в грудь, Фиц падает навзничь, двери захлопываются.

Он, лорд Кромвель, подходит к столу, кладет цепь на стол перед королем. Цепь звякает.

– Не стоило, – говорит Генрих. – Не стоило драться ради меня, если вы разделяете его мысли. – Его пальцы тянутся к цепи – золото еще хранит тепло бархата. – Впрочем, я аплодирую вам, милорд. Фица нелегко сдвинуть с места. – Король не смотрит на советников. – Приведите ко мне лорда Монтегю, хочу зачитать ему отрывки из письма брата. Позовите епископа Иуду, странно, но Сэмпсон – единственный, на кого я могу положиться. Вероятно, стоит вернуть Гардинера из Франции. Обычно он находит решения, которые не приходят в голову никому из вас. Напомните сэру Николасу Кэрью, что я запрещаю ему видеться с моей дочерью. Скажите Куртенэ, что для меня не тайна их поползновения и что я крайне ими недоволен. Фрэнсиса Брайана – в Тауэр, я слышал, он распускает по городу сплетни, что Марию содержат в черном теле и что я бессердечный отец.

– Вы же знаете Фрэнсиса, – говорит Эдуард Сеймур. – Это пустая болтовня. Он любит вас, ваше величество.

– А Фицуильям? – хмурится Одли. – Мы должны назначить нового казначея?

– Фицуильям, – мягко произносит король. – Не стоит судить его слишком строго. Он мой старый друг, и, думаю, вы согласитесь, что он понимает меня лучше, чем кто-либо из живущих. – Генрих с пугающей неторопливостью оглядывает притихших советников; их время полностью принадлежит ему. – Я знаю, о чем вы толкуете между собой, как пытаетесь мною управлять, как обсуждаете тех, кого я люблю и кого ненавижу. Единственное живое существо на свете, которому мужчина может доверять, – его незамужняя дочь. У нее не должно быть воли, кроме отцовской, не должно быть мыслей, кроме тех, что ему по нраву. Взамен отец защищает ее и заботится о ее благополучии. Но у господина казначея нет детей. Так распорядился Господь. Он не может чувствовать то, что чувствую я, не в силах понять, как я страдаю. Мои помыслы неизменны: Мария знает, какого признания я от нее требую, знает с тех пор, как была составлена присяга. Если она думает, будто мои права

всего лишь причуда недавно умершей женщины, то ее ввели в заблуждение, и если она еще питает надежду, что я готов на коленях ползти в Рим, то она глупее, чем я думал. Но чего вы не видите и не в состоянии понять, так это того, что я люблю мою дочь. Я думаю обо всех моих детях, умерших в колыбели, и о тех, кто умер, не увидев света. Если я потеряю Марию, что у меня останется? Спросите себя… в ком найду я утешение в этом мире, если не в ней?

В комнате тихо. У меня было чувство, признается потом Одли, что надо перекреститься и сказать: «Аминь». Даже новый советник не осмеливается заметить: «Как же, ваше величество, ведь у вас есть молодой Ричмонд». Или напомнить Генриху о рыжем поросеночке Элизе, повизгивающем где-то в глуши. Эдвард Сеймур хмурится: если у короля нет никого в этом мире, то как быть с его сестрой Джейн, как быть с семейством из Вулфхолла?

– Итак, достойный господин секретарь, – говорит король, – раз вы так любите меня и мою службу, будьте любезны, доведите это дело до конца. Здесь мы больше не будем это обсуждать.

Король упирается в стол рукой, помогая себе встать. Советники вскакивают, преклоняют колени. С колен не встают, пока король не выходит. И даже когда дверь за ним закрывается, все молчат.

Молчание прерывает лорд-канцлер:

– До конца? Какого конца?

– Бог его знает, – говорит он.

– Лучше бы я никогда не становился советником! – выпаливает Рич. – Лучше бы мне оказаться в Китае!

Сеймур бормочет:

– Лучше бы тебе оказаться в Утопии.

В письме, которое до сих пор лежит у него в кармане, Мария пишет: «Кромвель, дальше пути нет, я не уступлю ни пяди. Я не подпишу бумагу, порочащую королеву, мою покойную мать. Я никогда не соглашусь, что мой отец – глава церкви. Не позволяйте им меня подталкивать, не позволяйте им умолять меня, я поступлю так, как велит мне совесть. Вы мой лучший друг, моя опора. Вся моя надежда на Вас».

– Думаю, он хочет, чтобы вы ее убили, – говорит Эдвард Сеймур.

В былые дни кардинал любил смеяться над тем, как Генрих, выпростав ногу из-под шлафрока, демонстрировал французскому послу свою икру. «Разве у вашего короля такая нога? Скажите, такая? Господь не обидел короля Франциска ростом, но ему не сравниться со мной шириной плеч».

Ныне тот же король волочит ноги, а выходя из комнаты совета, запахивает шлафрок. Превосходная икра забинтована, лицо одутловатое и бледное. Генрих – средоточие боли, его тело очаг болезни, кровь, желчь и флегма. Его отяжелевшая недужная плоть – место, где все аргументы истощились.

В Тауэре Фрэнсис Брайан спрашивает его:

– Тут вы держали Тома Уайетта?

– Здесь много воздуха, не находите? – говорит он. – Моим друзьям всегда отводят лучшие помещения.

– Одного выпускаем, другого сажаем. – Фрэнсис сползает в кресле, оглядывает комнату. На одном глазу повязка, другой затуманен. – Домашнего ареста было недостаточно?

– Здесь безопаснее. Я говорил то же самое Уайетту.

– Я слыхал, теперь вы хранитель малой королевской печати. Вы лезете вверх с такой прытью, милорд, что скоро в королевстве не хватит лестниц.

– Зачем мне лестницы? У меня есть крылья.

– Так скорее летите во тьму, пока они не растаяли.

– Король полагает, что Мария бы так не упрямилась, если бы ее кто-то не убеждал. И прежде всего ваш зять Кэрью.

– Старина Кара Господня, – смеется Фрэнсис. – Возомнил себя верным рыцарем в черных доспехах. Обещает Марии сделать ее королевой.

Записывать некому. На столе только ин-фолио с бумагами лорда Кромвеля, рядом томик Петрарки: путти, морское чудище, переплет мягкий, словно кожа. Его руки неподвижны. Еще будет время, чтобы все записать.

– Значит, Кэрью. Кто еще?

– Клан лорда Эксетера. Маленький плакса Монтегю.

– Если король арестует их, вы дадите показания?

– Дам. Или я, или они. Почему я должен быть лучше Тома Уайетта?

– Никто и не думает, что вы лучше.

– Но вы ведь не захотите тащить их сюда? Предпочтете договориться.

– Мое природное человеколюбие останавливает меня от…

Фрэнсис фыркает:

– Вас ничто не остановит. Но вы не сможете погубить людей Марии, не затронув ее, а ее трогать вы не хотите. И вы не думаете, что сумеете и дальше управлять Генрихом, если он и дальше будет убивать своих близких.

Он вспоминает Фрэнсиса у эшафота, потеющего в кожаном джеркине, ждущего, когда можно будет помчаться к Сеймурам с вестью, что голова Анны слетела с плеч. Хотите скорости, обращайтесь к Фрэнсису Брайану. Ваши желания бурлят у него под кожей, готовые реализоваться. Если нужно кого-нибудь подкупить или очаровать, провернуть что-нибудь тайное или грязное, вы знаете, кто никогда вам не откажет. Хотите, чтобы кто-нибудь произнес вслух то, что больше никто не осмелится произнести, только кивните Фрэнсису.

– Я вас раскусил, Кромвель, – говорит он. – Считаете себя осторожным и предусмотрительным политиком. А вы такой же игрок, как и я.

– Такой, да не такой. Если вас отравят, вы все равно поползете к карточному столу. Если ослепнете, будете распознавать жезлы и кубки по запаху. Ощупывать пальцами точки на костях.

Фрэнсис говорит:

– Другой с вашим происхождением получил бы спокойное местечко и пересчитывал трофеи. Но не Кромвель. Он должен непременно всем заправлять. Если девчонка Сеймуров родит королю сына, кто займется его воспитанием, если не Кромвель? А если наследником объявят Фицроя, на кого ему положиться, если не на Кромвеля? Если Мария станет королевой, она никогда не забудет, кому обязана спасением.

– Поверьте, Фрэнсис, – улыбается он. – Так далеко я не загадываю. Мне бы пережить эту неделю.

– Вы не остановитесь, пока не станете герцогом. Или королем. – Фрэнсис сдергивает повязку, трет шрам. – Кстати, из вас выйдет неплохой король.

Он отводит взгляд от изуродованного лица Брайана. Тот хохочет:

– Вы видали лица и пострашнее.

Он идет к двери:

– Мартин? Принеси мне кресло. Почему этот жалкий табурет все еще здесь? Разве я не вышвырнул его за дверь?

Появляется тюремщик:

– Никак сам обратно приполз? Я спущу негодника с лестницы.

– Лучше порубите его на дрова, – предлагает Фрэнсис. – Покажите, кто тут главный.

– И кларет захвати, – велит он Мартину. – Запишешь на мой счет.

– У вас тут и счет открыт? Благослови меня, святая Агнесса.

– Я подумываю завести здесь собственного повара, кухонных мальчишек и кладовую для дичи. Я держу тут рубашки на смену и овчинный тулуп. А еще писарей.

– Никаких писарей, – говорит Фрэнсис. – Иначе я не открою рта.

– Если вы дадите обещанное признание, я отложу его до той поры, когда оно мне пригодится. Я сам запишу ваши показания, а остальным незачем знать, что они исходят от вас. Но чтобы хоть кто-нибудь из нас дожил до следующей недели, Кэрью должен написать Марии, что ей не стоит ждать помощи ни от него, ни от его друзей и, если она не поступит так, как я ей велел, ее ждет смерть. Я замолвлю за вас словечко перед Генрихом, – он трет глаз, как раньше Брайан, – и, когда все закончится, вы выйдете на свободу. Это не продлится долго. Марии придется выбирать: отец или папа.

– Отец или мать, – говорит Фрэнсис. – Вы не можете сражаться с мертвыми. Уступите им Марию. Один Бог знает, отчего вы решили связать с ней будущее. Даже если вы спасете ее теперь, она может умереть, с ее-то слабым здоровьем. А если король обратит свой гнев против вас, никто не позволит вам уйти тихо, обрезать яблони и слушать соловьев, как старине Генри Гилдфорду. Вспомните падение Вулси. Не справитесь – и Генрих посадит вас на мое место. Или куда похуже, где вы обрадуетесь и кривому трехногому табурету.

– Надо же, похоже, вас заботит мое будущее, – говорит он. – Советы раздаете.

– Что без вас эта страна? Я предпочту, чтобы вы благоденствовали. Ссужали мне деньги.

Входит Мартин, толкая перед собой кресло. Придется запастись терпением, думает он: даже если я добуду доказательства измены, могу ли я позволить себе извлечь их на свет? Брайан прав. Трудно низвергнуть два старинных семейства и их присных, не успев толком похоронить Болейнов, да еще не повредить при этом девушке, чьи интересы они якобы защищают. Генрих не может быть готов до того, как я буду готов: я должен сдерживать моего кровожадного короля.

– Это не все, Фрэнсис. Когда Кэрью напишет письмо, ваша сестра Элиза должна лично отвезти его в Хансдон и поговорить с госпожой вашей матушкой. Леди Брайан состоит при Марии с рождения. Полагаю, она принимает ее интересы близко к сердцу.

– К тому же, – говорит Фрэнсис, – госпожа моя матушка не такая безголовая дура, какой кажется.

– Пусть поговорят с Марией, мать и дочь, пусть дают любые обещания. Я доверяю всему вашему семейству быть моими посредниками.

– Что ж, – неприязненно замечает Фрэнсис, – если вам обязательно втягивать в это женщин.

– Они уже втянуты. Все это дело вертится вокруг них.

Фрэнсис смотрит в чашу. Он жадно осушил ее, словно хочет разглядеть судьбу в винном осадке.

– Одни говорят, Генрих не убьет свою дочь. Другие говорят, мы не верили, что он убьет жену. Но я… я всегда знал, что он уничтожит Анну Болейн. Если не собственными руками, то чужими.

Приходит тепло. Долгие дни, на протяжении которых, если слухи правдивы, леди Мария не берет в рот ни крошки. Короткие светлые ночи, которые она проводит, меряя комнату шагами, лицо распухло, глаза покраснели. Она утопает в горьких слезах. Слезы полезны молодым женщинам, особенно тем, у кого прекратилось обычное женское, или тем, кто жаждет мужской ласки, но вынужден обходиться без мужчины. Если королевская дочь перестанет плакать, возможно, ей станет хуже. Поэтому никто не утешает ее, когда ее рыдания доходят до рвоты. И когда она восклицает: «Пожалей меня, Господи!» – очевидно, Он ее не жалеет.

Юристы, чьего совета спросил король, постановили, что Марию следует снова привести к присяге, а стало быть, ей прекрасно известно, что ей предстоит. Разумеется, известно, говорит король. По этому поводу у нее не должно быть никаких сомнений. И все же, как месяцем раньше, имея в виду Анну Болейн, он добавляет:

– Кромвель, закон должен быть соблюден до последней буквы.

– Пригласи Шапюи, – велит Ричарду он, лорд Кромвель. – Он должен со мной поужинать. Посол скажет, что у него нет аппетита, однако ничто не мешает ему смотреть, как буду есть я.

Ричард говорит:

– Вам следовало решить этот вопрос две недели назад. С каждым днем вы подвергаете нас опасности. Почему вы не хотите сами навестить Марию?

– Потому что я могу действовать только на расстоянии.

Он вспоминает Виндзорский замок, палящую жару, лето от Рождества Христова тысяча пятьсот тридцать первое. Во дворах телеги со скарбом, король и его приближенные отбывают охотиться, устраивать танцы и прочие развлечения. Он, вынужденный обратиться в незаметную тень, поднялся по лестнице и миновал галерею пустых комнат с закрытыми ставнями, пока не нашел Екатерину в одиночестве, всеми покинутую, ожесточенную, сознающую, но не смирившуюся с тем, что Генрих ушел, не сказав ей ни слова прощания. Ее дочь Мария, хрупкая как тростинка, прислонилась к спинке материнского кресла. Мадам, сказал он, ваша дочь нездорова, ей лучше присесть. От судорожной боли девушка согнулась и вцепилась в позолоту. Екатерина сказала ей на кастильском: «Ты дочь Испании. Стой прямо».

В тот день он сразился за болезненное худенькое тельце и победил. У его ног табурет, на нем подушка, на подушке вышита русалка. Одной рукой он поднял табурет, другой – русалку. Выдержав взгляд испанской королевы, со стуком опустил табурет на каменные плиты пола. Солнце лилось сквозь цветные стеклышки: квадраты света, бледно-зеленого и алого, трепетали, словно флаги, на бледном камне.

Екатерина закрыла глаза. Еле заметно кивнула, словно сама испытывает страдания. Затем открыла глаза, посмотрела в сторону. Он заметил, что принцесса качнулась, шагнул вперед и подхватил ее. Он помнит ее тонкие косточки, трепещущее невесомое тельце, блестящий от пота лоб. Мария опустилась на табурет, он подал ей подушку, всматриваясь в ее лицо. Девушка прижала русалку к животу, обняла, согнулась, чтобы утишить боль. Через секунду со стоном выдохнула. Затем вскинула голову, посмотрела на него изумленно и благодарно. И тут же сделала бесстрастное лицо. Все произошло так быстро, будто и не было. Но до конца разговора, до того как он откланялся и вышел, Мария не сводила с него глаз.

После ужина, когда падает тишина и длинный летний день уступает место сумеркам, они с послом поднимаются на одну из садовых башен. Лондон притаился под ними в голубоватой дымке. На столе блюдо с клубникой, которую они должны доесть, пока не взойдет луна. Посол оставил бумаги у подножия башни. Ин-фолио белой кожи с императорским двуглавым орлом покоится на траве среди маргариток.

– Меня раздражает, – говорит он послу, – как свысока смотрят на Генриха европейские правители. Они могут сколько угодно разгонять парламенты, душить подданных налогами, взламывать церковные сундуки, убивать советников, но если они преклоняют колени перед Ватиканом, то могут служить образцами добродетели, и папа шлет им свое благословение, называя блистательными монархами. Кто из них годами терпел бы рядом бесплодную жену? Давно бы ее отравили. Кто смирился бы с непокорством собственного дитяти? Будь Мария дочерью кого-нибудь из этих правителей, ее бы заперли и забыли, а то и убрали по-тихому.

– Вы правы, – соглашается Шапюи, – но вы же не станете такое предлагать.

– Дело не в том, что я предложу. Эта история меня погубила. Я покойник.

– Вы говорили такое и раньше. Когда вас изводила конкубина.

– Говорил и снова повторю. В этом деле я зашел так далеко, что пути назад нет, – я заверил короля, что Мария подчинится. А Генрих не терпит тех, кто нарушает обещания.

Шапюи задумчиво водит пальцем по мраморным прожилкам столешницы:

– Как вы втащили это сюда?

– Лебедкой через окно. Вы же не думаете, что я помолился мощам епископа Фишера и он заставил стол взлететь?

Он арендовал дом у каноника церкви Святого Варфоломея в Смитфилде. Настоятель Уилл Болтон строил для короля, умело планируя и доводя до конца крупные архитектурные замыслы. Благослови меня, Болтон, говорит он порой, когда приезжает сюда и его лошадь ведут в стойло, а Кристоф втаскивает в дом дорожные сумы. Настоятель отдыхал и охотился здесь летом, и его ребус – бочонок (тон), пронзенный арбалетной стрелой (болт), до сих пор вмурован в стену. Дом маленький, по одной большой комнате на этаже, плодовые

деревья, беседки и садовые башни, установленные так, чтобы ловить летний ветерок и разглядывать город над верхушками деревьев.

– Настоятель Болтон в последние пять лет жизни охромел, – говорит он. – Он ни разу не поднимался сюда полюбоваться видом. Хотя стоит ли удивляться, каноник почил в возрасте восьмидесяти двух лет.

– Ну вы-то собираетесь жить вечно, – замечает Шапюи. – И вечно карабкаться вверх.

– Когда войдем в дом, я покажу вам глазурованные плитки в гостиной. Настоящая лазурь. Наверняка Болтон выписал их из Италии.

Приглушенные голоса, голуби устраиваются на ночлег, чистят перышки на голубятне – словно летние снежинки, перья уплывают в сумерки, он провожает их глазами.

Шапюи говорит:

– Меня не удивляет, что все в этой стране презирают Ватикан. Рим своей многолетней нерешительностью предал Екатерину.

– Ее все предали. Королева слушала горстку старух. Фишер, может быть, и святой, но ничем ей не помог. Полагаю, он советовал ей крепиться и надеяться на лучшее. А что до ее друзей за границей… что сделал для нее император? Издавал воинственные звуки?

Шапюи говорит:

– Мой повелитель воевал с турками. У него хватало забот поважнее, чем усмирять своевольного правителя маленького острова.

– А что сдерживает моего короля сейчас? Он в своем праве. И волен вести себя с собственной дочерью как пожелает.

– Я заранее извиняюсь за то, что скажу, – говорит Шапюи, – и да простят меня умершие, но, если император не предпринимал шагов ради спасения своей благородной тети, возможно, он просто не знал, что с ней делать. Она стала бы ему обузой. Королева привыкла жить на широкую ногу. И могла дожить до преклонных лет.

Человек, способный так открыто высказать то, что у него на уме, отринув условности, достоин уважения. Он всегда говорил, не стоит недооценивать Шапюи. Под маской показной учтивости страстный маленький человечек, коварный, но всегда готовый рискнуть.

– С Марией все иначе, – продолжает посол. – Даже если ей не суждено править самой, на трон могут претендовать ее отпрыски, и они способны развернуть мир в сторону, угодную императору. Вы сказали, Генрих в своем праве. Но какие бы заботы ни тревожили императора, он не допустит дурного обращения с Марией. Он пришлет корабли.

– Они никогда не пристанут к берегу.

– Вы видели карту этих островов? Мой господин правит морями. Пока вы будете защищать побережье Кента, он вторгнется со стороны Ирландии. Пока будете следить за юго-западом, нападет с северо-востока.

– Его капитаны сгинут на этих берегах. Король сказал, что съест их живьем.

– Я должен это передать?

– Как хотите. Вы понимаете и я понимаю, что император не в силах спасти Марию. Ее дело не терпит отлагательства.

В пролете винтовой лестницы возникает голова Кристофа.

– Господа, желаете цукатов? – Он со звоном опускает на стол серебряный поднос. – Здесь мастер Зовите-меня. – Кристоф бросает злобный взгляд на Шапюи. – Пришел заняться шифрами. Он может взломать любой.

Шапюи всплескивает руками. Он боится за бумаги, которые оставил у подножия башни. У посла ноют коленные суставы, и от мысли, что надо спуститься на три пролета и подняться обратно, Шапюи издает тихий стон.

– Попроси Зовите-меня подождать в тени виноградных лоз, послушать соловьев. Затем принеси бумаги посла. И не смей в них заглядывать.

Голова Кристофа пропадает из виду.

– Что за осел! – Шапюи берет с блюда ягоду и хмурится. – Томас, я понимаю, нелегко внушить невинной девушке, что мир не таков, каким она его воображает. Покойная Екатерина в присутствии дочери не позволяла и словом осудить короля. Во всем был виноват кардинал, совет, конкубина. Генрих был всегда прав. Естественно, Мария ожидала, что отец немедленно заключит ее в свои объятия, как только с Анной Болейн будет покончено. – Посол осторожно откусывает от ягоды. – Естественно, вы должны ее в этом разубедить.

Он кивает:

– Она не знает своего отца.

– Да и откуда? Она не видела его пять лет. Она была в заточении.

– В заточении? Ее содержали в роскоши.

– Но мы не должны говорить об этом ей, Томас. Лучше заверить ее, что она страдает, на случай если она считает, что страдала недостаточно. Мария хвасталась мне, что не боится топора.

– Не боится? Когда наступит ее последняя ночь на земле, которую она проведет без сна, и впереди останется только жалкий завтрак с палачом, поздно будет плакать и умолять меня ее спасти.

В последовавшем молчании он гадает, куда подевался Кристоф? Неужели читает бумаги посла? То-то будет скандал. Впрочем, это может быть полезно, если бумаги на французском. У Кристофа отличная память.

– Ее мать… – Посол осекается. В сгущающихся сумерках он опасается говорить о мертвых дурно. – Я думаю, она поклялась Екатерине, что не отступится. Живых переубедить можно. С мертвыми не договоришься.

– Она не хочет жить?

– Не любой ценой.

– Значит, такой ее запомнит история – внучкой испанских королей, которой не хватило ума или расчета, чтобы себя спасти?

Кристоф ухает снизу, заставляя посла, положившего в рот анисовый леденец, поперхнуться. Юноша врывается в башню, хлопает бумагами об стол – черный орел на фоне белого мрамора.

– Почему так долго, Кристоф?

– Из Ислингтона пришли вести, что надвигается ненастье. Коровы улеглись на поле. Умоляю, спускайтесь, как только начнется дождь. Если сюда ударит молния, вам конец. Только дурак будет торчать на башне в грозу.

– Я увижу по небу. Сначала гроза начнется над Лондоном.

Голова Кристофа скрывается из виду, сальный шар под шляпой набекрень. Он ждет, пока юноша окажется вне пределов слышимости, и говорит:

– Если ее отец умрет, Мария может стать королевой вне зависимости от желания Генриха или парламентского акта. А став королевой, наведет свои порядки. Вернет нас под власть Рима. Закует в кандалы. С радостью отрубит мне голову. Я не верю ни единому ее слову.

– Какому именно слову?

Он вынимает из кармана письмо и подталкивает к послу:

– Послать Кристофа за свечой?

– Я разберу, – говорит Шапюи. – Ее рука, – соглашается он и прищуривается. Арка позади него наполняется отраженным вечерним светом, бледным матовым сиянием. – Она полна решимости отвергнуть присягу. Однако называет вас своим другом, ближайшим после отца, храни Господь ее невинную душу, своим лучшим другом.

– Должен ли я ей верить? Думаю, она исполнена вероломства.

Он наслаждается собой. Послу придется меня уламывать, думает он. Я буду изображать ветреную наследницу, а ему придется прогонять мои страхи и задабривать меня обещаниями.

– Мария уже навлекла на меня неисчислимые беды, – говорит он. – Я утратил расположение короля, а что у меня есть, кроме этого? Даже если король меня пощадит, кому нужен отставной советник?

Посол не включается в игру, лишь мрачно замечает:

– Почему она считает вас другом? Должно быть, это идет от ее матери. Единственное объяснение. После всех трудов… – Шапюи резко обрывает себя, он разгневан и пристыжен. – Если она вам доверяет, придется и мне вам довериться. Что за наказание!

– Вам следует убедить ее подчиниться отцу и уладить все с императором. Он должен дать ей благословение.

– К несчастью, я не держу императора в кладовке, чтобы всякий раз спрашивать у него разрешения.

– Разве нет? Так повесьте там его портрет. Со временем вы научите его вам отвечать.

Ему кажется, внизу кто-то топает.

– Ш-ш-ш.

Он встает, кричит в пролет:

– Кто там?

Посол подбирается, готовый при любой опасности спуститься с башни. В окне нет стекла, меркнущий свет окрасил кирпичную кладку слабым румянцем.

Ответа нет. Настоятель Болтон не озаботился тем, чтобы выстроить высокую стену или укрепить изгородь. Злоумышленнику ничего не стоит согнуть иву или акацию, раздвинуть податливую лещину и проникнуть внутрь. Он кладет руку на сердце, нащупывая кинжал между шелком и льном.

– Оборонять башню нетрудно, – замечает он. – Даже садовую. Просто сбрасываешь всех сверху.

– Уверен, вам понравится, – говорит Шапюи. – Говорят, вы подрались с советником Фицгийомом. Томас, какой вы еще ребенок.

– Кристоф? – зовет он, его голос закручивается в каменной спирали. – Ты здесь?

Эхом приходит ответ:

– А где еще мне быть?

Кристоф удивлен. Юноша всегда настороже, не зря все детство провел среди воров. Когда Кристоф не исполняет его поручений, он садится на корточки, прислонившись спиной к стене, опускает голову и, кажется, дремлет, но уши держит востро и незаметно зыркает по сторонам.

– Никого нет, – успокаивает он посла, – только Кристоф.

Шапюи откидывается в кресле.

– Ешьте клубнику, – говорит он. – Напишите в Рим.

– Не доверяю я этому фрукту. Почему вы едите его сырым? – Шапюи хмурится. – Chez-moi[16] его запекают в тесте.

– Папа простит ее, если для нее это вопрос жизни и смерти. Скажите, что получите для нее отпущение грехов. Если беспокоитесь о цене, я сам улажу этот вопрос с Римом.

– Я больше беспокоюсь о том, что у меня случится несварение. И о том, что мои доводы ее не убедят.

– Отправляйтесь с утра, я выпишу разрешение. – Он наклоняется к послу. – Скажите ей, что, пока Анна Болейн была жива, Генрих никогда не восстановил бы ее в правах наследования. Но сейчас, если она готова к безусловному подчинению, фортуна может перемениться.

– Вы делаете Марии предложение? – Шапюи поднимает брови. – Я думал, Генрих предпочитает ей своего бастарда. Я думал, вы сами благоволите к Ричмонду. Что случилось?

– Нельзя посадить на трон Ричмонда, не вызвав ожесточенных споров. На ком бы ни был женат король – если он когда-либо был женат, – всему свету известно, что он никогда не состоял в браке с матерью Ричмонда. Что до новых наследников, то можно ли полагаться на живучесть младенцев? Скажите Марии: если она готова поступиться своими убеждениями, сейчас самое время позаботиться о будущем. – Он откидывается в кресле. – Да, после она будет себя презирать. Но такова цена. Скажите ей, время все залечит.

– Мне кажется, – говорит посол, – все ваши речи сводятся к одному: вы будете жить, если позволит Кромвель. Возможно, вы даже будете править, но только с позволения Кромвеля.

– Можете и так сказать. – Он начинает терять терпение. – Можете сказать что хотите. Я пришлю ей документ, который она должна подписать. Акт о повиновении. Ей необязательно его читать. Лучше не читать, тогда впоследствии она сможет от него откреститься. Но пусть его перепишут, король не должен видеть, что он составлен моей рукой.

– Разумеется. – Шапюи улыбается. – Она не глупа, вы же знаете.

– Скажите ей, что отныне я обещаю ей защиту. Она будет жить свободно как королевская дочь, и никто не заставит ее молиться так, как молюсь я, или отказаться от святых и обрядов. Но пусть знает: если не подчинится сейчас, она пропала. Я буду считать ее самой жестокой и неблагодарной из женщин. Я не стану препятствовать воле короля. И даже если случится чудо и она останется в живых, для меня она все равно что умерла. Я попрощаюсь с ней навеки. Никогда больше не появлюсь перед ней. Не взгляну на нее и не перемолвлюсь с ней ни словом.

Пауза.

– Ясно. – У посла язвительный вид. – Об этом лучше напишите ей сами. А я обещаю передать письмо.

– Спускаемся?

Вставая, Шапюи морщится и трет спину:

– Сначала вы, милорд. Мне потребуется время.

Он поднимает бумаги посла с мраморной столешницы:

– Позвольте мне.

Он спускается. На первом пролете бросает через плечо:

– Обещаю не заглядывать внутрь.

Кристоф на посту, в той самой позе, в какой он его воображал. Рядом в сумерках маячит тень.

– Добрый вечер, сэр, – мягко произносит тень. Это мастер Ризли с охапкой пионов в руках.

В гостиной с лазоревой плиткой, где пламя единственной свечи мерцает на синеве, он пишет первый черновик. Ему трудно вообразить себя королевской дочерью. На рассвете забирает черновик с собой в город и в первых солнечных лучах снова корпит над бумагой: робкий, дрожащий, покорный. Вероятно, черновиком следовало бы заняться в одиночестве, но не хочется слишком много о нем думать.

Он берет перо, проверяет острие:

– Это потребует самоуничижения.

Ричард Кромвель спрашивает:

– Мне привести кого-нибудь более способного?

– Ричард Рич знает толк в искусстве пресмыкаться, – говорит Грегори. – И Ризли умеет лебезить, если потребуется.

Он начинает: «Смиренно простираюсь перед вашим величеством…»

– А что, если так? «У ног вашего величества», – предлагает Грегори.

– Это слишком, – замечает Ричард.

– Возможно, но не грех и подольститься.

Он исправляет фразу:

– Только не вздумайте упомянуть, чем мы тут занимались, за пределами этой комнаты. Король должен думать, будто она сочинила сама. «Пишу вам, чтобы…» Чтобы что?

– «Чтобы открыть свое сердце… вручаю мою душу… всецело предаю мое тело… не желая иного положения, состояния, а равно статуса и способа существования, нежели тот, который ваша милость сочтет…»

– Словно учебник по праву, – говорит Ричард. – Одного, другого, третьего.

– Верно, не пойдет. Она же не судейский из Грейз-инн.

Он раздражен. Он не умеет писать, не учитывая все возможные обстоятельства, исключая любые лакуны, щели, крошечные просветы, которые позволят смыслу вытечь и ускользнуть. «Простить мои прегрешения… Я признаю, принимаю, выражаю согласие, отдаю должное, полагаю законным…»

– Короля не должно удивлять, что она обратилась к юристам, – говорит Грегори. – И поэтому в ее признании чувствуется их рука.

– «…признаю и принимаю право его королевского величества быть перед Господом верховным главой церкви Англии… И от чистого сердца, без всякого принуждения заявляю и признаю, что брак, ранее заключенный между его величеством и моей матерью, был по законам божеским и человеческим кровосмесительным и нелегитимным…»

– Кровосмесительным и нелегитимным, – повторяет Грегори. – Это охватывает все. Больше желать нечего.

– Если забыть, – замечает Ричард, – что фактически она не приносит слов присяги.

Он посыпает чернила песком.

– Пока никто не откроет Генриху на это глаза.

Пусть это будет ее собственное признание, сокрушительное и всеобъемлющее. Упоминая Екатерину, он называет ее «покойной вдовствующей принцессой», как надлежит верноподданным, но также «моей матерью», моей дорогой матерью, чьи руки бессильно опущены и вздрагивают внутри савана. Каталина, сегодня ты повержена, живое победило мертвое, Англия одержала верх над Испанией. Он и раньше писал письма за Марию, более жалобные и угодливые: «Я всего лишь женщина, и я ваше дитя». Они не имели успеха и не тронули сердце короля. Чтобы тронуть его сердце, вы должны дать ему все, чего он хочет, и в той форме, о которой он до поры до времени не догадывается сам. «Я вручаю мою душу вашему попечению и предаю мое тело на вашу милость».

– Пусть Рейф отвезет это в Хансдон, – говорит он. – И сегодня же получит ее подпись.

На дворе третья неделя июня. Анна умерла хмурой дождливой весной, но прошел месяц – и лето в разгаре. Жарким утром закрываете глаза, и на веках пылающий отпечаток золотистой ткани. Поднимаете руку, чтобы прикрыть лицо, и сияние становится пурпуром, словно епископы просвечивают сквозь пламя. С герцогами Норфолком и Суффолком он скачет в Хансдон, почтить юную леди,

раскаявшуюся, смирившуюся, униженную – и снова достойную называться дочерью короля.

Хертфордшир – графство богатое и многолюдное, в нем много зелени, а также усадеб джентльменов и придворных. Дом, построенный из кирпича на возвышенности, приспособлен для приема королевской семьи. Поместье старое, но нынешнему дому всего около восьмидесяти лет. Они гордятся древними грамотами с раскрашенными щитами и гербами давно забытых лордов: черная полоса наследницы Деспенсеров, серебряный лев Моубреев, королевский герб Эдмунда Бофорта с сине-серебряной составной каймой. Два года назад король потратил около трех тысяч на новую черепицу и перекрытия, а также прислал людей из мастерской Галейона Хоне украсить стекла главных покоев розами в полоску, любовными узелками, трепещущими белыми соколами и геральдическими лилиями. В то же самое время – как оказалось, весьма кстати – дом обзавелся новыми петлями, запорами, крючками, засовами и замками.

В пути челядь трех лордов едет отдельно во избежание ссор.

Норфолк посмеивается:

– Все знают, чем занимается Кромвель, когда забирается к северу от Лондона. Останавливается в каком-нибудь грязном кабаке, хватает судомойку и получает свое. – Мало того что герцог выражается куда грязнее, он сопровождает свои слова жестами: поднимает и опускает локоть, сжимает и разжимает кулак.

Чарльз Брэндон хохочет. Такие шутки ему по вкусу.

Он замечает, что Томас меньшой скачет рядом с Норфолком. О чем бы братья ни шептались, когда он оставил их одних, они шепчутся снова.

– Видите? – спрашивает он Суффолка.

– Вижу, – отвечает тот. – «Навеки ваш, Правдивый Том». Полюбил-Разлюбил. Блещут-Плещут. Птичьем-Девичьем.

Бедняга, думает он. Даже Суффолк понимает, как дурны его вирши. Он вспоминает потрясенное лицо молодого Говарда при словах, что дамы обмениваются его стихами. Словно Правдивый Том впервые об этом слышал. Словно думал, что после прочтения дамы съедают бумагу.

В доме их встречает леди Шелтон. Мария состоит под ее присмотром последние три года – должность, которой не позавидуешь. Входит Брэндон, леди Шелтон приседает:

– Милорд Суффолк. И Томас Кромвель, наконец-то.

Она горячо целует его, словно кузена. Томаса Говарда, который и впрямь приходится ей кузеном, спрашивает:

– Мы можем надеяться, что ваша милость не станет портить мебель? Согласно описи, шпалера, которую ваша милость разорвали, стоит сто фунтов.

– И что с того? – спрашивает Норфолк. – Я же не зад подтер вашей шпалерой. Где Джон Шелтон? Впрочем, не надо, я сам его найду. Чарльз, идемте со мной.

Герцоги выходят, криками требуя хозяина дома.

Он спрашивает:

– Норфолк набросился на шпалеру? Чем еще он успел вас удивить?

– Угрожал избить леди Марию, повредил кулак о стену. – Леди Шелтон прикрывает рукой улыбку. – Буянил, словно пьяный медведь. Я думала, Мария лишится чувств. Я сама чуть в обморок не упала. Но теперь, слава богу, вы здесь.

– Безобразнее прежнего, – говорит он. – А вот вы, миледи, от забот и тягот становитесь только краше.

Леди Шелтон не держит на него зла, хотя покойная королева приходилась ей племянницей. Она отмахивается от комплимента, говорит:

– Пресвятая Дева, мы вас заждались. Леди Брайан, как вам известно, вверены заботы о малышке, но поскольку она опекала Марию с тех пор, как ее отняли от груди, то считает нужным вмешиваться во все на свете и указывать Шелтону, как вести хозяйство, словно весь мир вертится вокруг леди Элизы. У нас нет никаких инструкций, запрещено только называть ее принцессой Елизаветой. Как вы считаете, король от нее отречется?

Он пожимает плечами:

– Мы не смеем спрашивать. Нога беспокоит Генриха, он не в духе, потому что не может с утра три часа ездить верхом, а после играть в теннис. С королем непросто сладить, когда ему недостает моциона. Но кто знает, теперь, когда леди Мария подчинилась, возможно, мы найдем способ к нему подступиться. Что вы думаете? Вы видите ребенка каждый день.

– Я думаю, она дочь Генриха. Никому не даст покоя своим ревом. У кого-нибудь из любовников Анны были рыжие волосы?

– Ни у кого из покойных джентльменов.

Леди Шелтон задумывается.

– Понятно… выходит, были и другие? Те, которых не судили? – Ее мысли кипят. – Уайетта можно назвать светловолосым…

– Уайетта можно назвать лысым.

– Вы, мужчины, так безжалостны друг к другу.

– Король полагает, Анна спала с сотней мужчин.

– Неужели? Мало ему быть простым рогоносцем. – Она оглядывается через плечо. – Это правда, Уайетта освободили?

Ему хочется сказать, земля приняла вашу племянницу, пора двигаться дальше.

– Никто больше не содержится в тюрьме по этому делу. Вы слыхали о письме из Италии?

– Рейнольд, да. Редкий дурак. Я решила, что он погубил Марию. А что дочь Джона Сеймура? Как держится, она ведь теперь хозяйка?

– Она подходит Генриху. Смиряет его норов.

– Для этого хватило бы и мокрой тряпки. Впрочем, я желаю ей успеха. Возможно, она не так проста, если сумела одолеть мою племянницу.

Леди Шелтон берет его под руку, ведет вглубь дома и велит принести вина.

– Я расскажу вам, как было, когда Сэдлер приехал с вашим письмом. Мы можем присесть. Шелтон просидит с герцогами не меньше часа, будет изливать жалобы на леди Брайан.

Ему нравится слушать леди Шелтон. Ее рассказу можно доверять.

– Ступай, Роб, – говорит леди Шелтон слуге.

Мальчишка – Мэтью из Вулфхолла – поворачивается к двери и ловит его взгляд. Он отводит глаза. Я же говорил ему, думает он, как бы одиноко тебе ни было – странный дом, чужое имя, – ты не должен подавать мне никаких знаков, особенно в присутствии женщин, которые порой видят то, что упускают мужчины.

– Мы с часу на час ждали ваше письмо, – говорит леди Шелтон, – и документ, который Мария должна подписать. Императорский посол Шапюи посетил нас два дня назад и просидел с ней три или четыре часа. Есть он не стал, но осушил большую кружку эля. Шелтон сказал тогда: «Надеюсь, бедняга не пожалеет об этой кружке. Когда молодая дама считает себя принцессой, как извиниться и оставить ее ради того, чтобы навестить ночной горшок?» Посол вышел от Марии с таким видом, словно речь шла о спасении его собственной жизни. Шелтон проводил его и пожелал счастливого пути, а когда вернулся в дом и стаскивал сапоги, Мария вбежала к себе, заперлась на засов и придвинула к двери сундук. Для нас такое не впервой. Обычно мы зовем крепкого детину, который рубит для нас дрова. Шелтон послал за ним и на этот раз, и, когда дровосек вышиб дверь, Мария как ни в чем не бывало читала молитвы.

Однако у нее был еще целый день, думает он, чтобы осмыслить предстоящее.

– Когда прискакал Сэдлер, давно стемнело, на часах было одиннадцать. Мария еще не спала, вытянулась на покрывале в сорочке, мы не смогли заставить ее лечь на простыню. Она сказала: «Если это джентльмен, я оденусь. Если письмо, то заявляю вам, что прочту его не раньше утра». Это Сэдлер, ответили мы и принялись гадать, как она поступит, потому что раньше она утверждала, что Сэдлер не джентльмен, хотя и приближенный короля.

Как с ней сладить, думает он.

– Но тут она воскликнула: «Сэдлер – слуга лорда Кромвеля!» – бросилась вниз по лестнице, не обувшись, и вырвала пакет у него из рук. Она сказала: «Отдайте его мне, и покончим с этим!» Прижала пакет к себе и унеслась наверх, крича: «Я подпишу! Я должна. Шапюи мне советовал, император мне велел, а папа простит меня, потому что меня заставили, и это не грех».

Леди Шелтон продолжает:

– Я в жизни так не удивлялась. Позднее она вышла из комнаты, брызгая слюной, и обратилась ко мне: «Шелтон, скоро вашей службе придет конец. Мой добрый отец призовет меня к себе. И вы никогда больше не будете за мной шпионить». – Леди Шелтон сжимает в руках кубок с вином. – К полуночи она подписала документ и заявила, что не желает, чтобы он оставался в доме. Велела мастеру Сэдлеру убираться в ночь. «Или письмо, или я. Я не останусь с ним под одной крышей». Какая глупость, ворота парка охраняются, она не одолела бы и пятидесяти шагов. Вообразите, все это время леди Брайан таскалась за ней с горячим отваром ромашки и вопила: «Моя дорогая, вы подхватите лихорадку!» А в детской не переставая ревел этот дьявольский ребенок – у нее все еще режутся зубы, – и тут Шелтон, который в обычных обстоятельствах держится учтиво, как заорет: «Прочь отсюда, леди Брайан! А вы, принцесса, живо пейте, если не хотите, чтобы я зажал вам нос и заставил выпить силком!» Простите его, что назвал Марию принцессой, но это самый быстрый способ заставить ее подчиниться. Затем мастер Сэдлер заявил весьма разумно и любезно: «Я не погнушаюсь соломенным тюфяком в беседке, а письмо заберу с собой. Думаю, это всех устроит».

Хороший мальчик. Он улыбается. Клянусь вам, сэр, говорил ему Рейф, чтобы убраться из этого дома, я провел бы ночь в гамаке, в хлеву или на траве. Так и вышло, ночь я проспал как убитый, во сне видел мою жену Хелен, а проснулся под пение птиц, прижимая Хелен к груди. Мне принесли хлеба и эля, а еще воды, чтобы умыться. Не побрившись и наскоро попрощавшись, я сел на лошадь и поскакал к вам. Поверьте, сэр, стоило провести ночь под звездами, чтобы, передавая вам пакет, увидеть, как просветлело ваше лицо.

Он отставляет кубок:

– Миледи, нам надо идти к остальным. Я защищу вас от Норфолка. Я не шпалера, меня так легко не порвать.

Мария Болейн однажды припала ко мне, приняв за стену. Норфолк ударит меня кулаком, но кулак отскочит.

Леди Шелтон спрашивает:

– Мы с Джоном гадаем, распустят ли ее двор?

– Не сейчас. – Он умолкает, потом говорит: – Король не примет Марию, пока весть о ее покорности не перелетит границу и он не удостоверится, что Рим и император знают.

– Разумеется. Иначе это будет выглядеть так, будто король передумал и решил не настаивать. Или испугался императора.

– Вы разумная женщина. Идемте. – Он подает ей руку. Все Болейны не чужды политике. – Можете смягчить условия ее содержания. Никаких посетителей без моего согласия, но она может прогуливаться в парке. И переписываться.

Леди Шелтон опирается на его руку:

– Я думаю, она только притворяется покорной.

– Леди Шелтон, – говорит он, – мне все равно.

Войдя к Марии, они преклоняют колени. Норфолку, как самому знатному, надлежит приветствовать ее от имени короля, могущественного и милосердного властелина, да продлятся дни его правления. Просить прощения за нанесенные обиды, за излишнюю настойчивость. Лишь страхом за ее жизнь можно оправдать резкость их предыдущих бесед, говорит Норфолк.

– Томас Говард, – отвечает Мария, – я удивляюсь вашей смелости.

Норфолк вскидывает голову, глаза вспыхивают.

– Милорд Суффолк, – Мария отворачивается к Брэндону, – на вас вины нет.

– Ну, раз так… – Брэндон пытается встать, один взгляд – и он снова опускается на колени.

– Вероятно, вы считаете женщин немощными созданиями, – обращается Мария к Норфолку, – если думаете, что они не способны помнить дольше недели. Я на память не жалуюсь. И не забыла, как вы преследовали мою мать.

– Я? – удивляется Норфолк. – О чем вы…

– Мне известно, что вы поощряли честолюбивые замыслы вашей племянницы Анны, затем отреклись от нее и довели ее до смерти. Полагаете, я не испытываю жалости к этой заблудшей женщине? – Мария берет себя в руки, понижает голос. – Я не чужда раскаяния.

Стоя на коленях, он рассматривает королевскую дочь. Ей двадцать лет, и, очевидно, она уже не вырастет. Мария выглядит такой же тощей и чахлой, как в Виндзоре пять лет назад. Болезненное бледное личико, мутные глаза, удивленные и наполненные болью. На ней корсаж и юбка цвета пижмы, который совершенно ей не идет. Волосы забраны под шелковую плетеную сеточку. Мария не носит гейбл, вероятно, чтобы не давил на голову, которая болит нестерпимо.

– Моя дражайшая леди, – говорит Чарльз. Голос непривычно мягок. Герцог повторяет фразу, но больше ему сказать нечего. – Что ж, здесь Кромвель. Все образуется.

– Образуется, как же! – огрызается она. – Когда милорд Норфолк все исправит. Вы собираетесь пользовать меня как свою жену?

– Что? – Герцог таращит глаза, губы трогает непрошеная ухмылка.

Мария вспыхивает:

– Я имела в виду, вы собираетесь меня бить?

– Кто сказал вам, что я бил жену? Кромвель, вы? Что наплела вам эта окаянная баба? – Герцог разворачивается, простирает к ним руки. – Шрам на виске, который она показывает, был у нее до нашей встречи. Она утверждает, что я стащил ее с кровати, где она рожала, и проволок по комнате. Клянусь Иоанном Крестителем, не было такого!

Мария говорит:

– Я не знала этой истории, теперь знаю. Вы не уважаете женщин, даже если Господь поставил женщину над вами. Ступайте. Я хочу поговорить с лордом Кромвелем наедине.

– Вот как? – Норфолк усмирен, но усмирен не до конца. – И что такого вы хотите ему сказать, чего не готовы сказать нам?

– Чтобы объяснить это вам, милорд, не хватит вечности.

Брэндон уже на ногах. Больше всего на свете ему хочется убраться восвояси. Норфолку подъем дается тяжелее. Нога подворачивается, он с силой наступает на камыш, которым устлан пол, кряхтит, рука молотит по воздуху. Чарльз подхватывает его под локоть:

– Держись крепче, Говард, я тебя подниму.

Норфолк отпихивает его:

– Отпусти меня! Это судорога. – Герцог не желает признавать возраст.

Он обходит герцогов – позвольте, милорд Суффолк, – обхватывает Томаса Говарда обеими руками сзади и небрежным рывком поднимает на ноги. Его сердце поет.

– Итак, – говорит Мария. – Я слышала, теперь вы хранитель малой королевской печати. А что случилось с Томасом Болейном?

– Король разрешил ему удалиться в Сассекс и жить в мире и покое.

Она презрительно фыркает, трет лоб, – кажется, даже сетка ее раздражает.

– Болейн, в отличие от Томаса Говарда, всегда был любезен с моей матерью. Никогда не оскорблял ее, по крайней мере в глаза. И все-таки он холодный и себялюбивый человек и водит компанию с еретиками. Король милостив.

– Некоторые говорят, даже слишком.

Это предупреждение. Она не слышит его:

– Вы стали таким влиятельным, лорд Кромвель. Возможно, вы были таким всегда, только мы этого не замечали. Кому ведомы замыслы Господа?

Только не мне, думает он.

– Я велел Кэрью написать вам. Полагаю, он написал?

– Да, сэр Николас дал мне совет.

– Который вас разочаровал.

– Который удивил меня. Видите ли, милорд, я знаю, что он принес присягу, несмотря на то что поддерживал мою мать. Я думаю, все, кто остался в живых, ее принесли.

Не все, думает он. Бесс Даррелл не принесла. Любовница Тома Уайетта.

– Миледи Солсбери подписала, и ее сын лорд Монтегю, лорд Эксетер и все Куртенэ. Покуда была жива Анна Болейн, им приходилось перед нею склоняться. Но я думала, после ее смерти им незачем скрывать свои истинные мысли. Почему не сказать прямо, что отец должен примириться с Римом? Почему не помочь мне вернуть отцовское расположение, а также мои права и титул? Я не знала, что король будет упорствовать в своих заблуждениях, не знала…

Что вокруг столько робких сердец? Столько соглашателей, честолюбцев и трусов?

– Они предоставили отдуваться вам, – говорит он. – А сами по привычке спрятались.

– С тех пор как я получила эти советы от моих друзей – такие отличные от того, что они говорили раньше, – я почувствовала себя очень одинокой, милорд.

Она идет к нему – он успел забыть, какая она неуклюжая, тычется, словно слепая. На низком столике стеклянный графин в серебре. Она замечает его, делает шаг вбок, хватается за столик, он наклоняется, плещется вино – багряная волна заливает белую льняную скатерть.

– Ой! – вскрикивает Мария, хватает графин, тот выскальзывает из ее пальцев…

– Оставьте, – говорит он.

Она в ужасе смотрит себе под ноги, шарахается от осколков:

– Это графин Джона Шелтона. Из Венеции.

– Я пришлю ему другой.

– Я знаю, у вас там друзья. Посол Шапюи мне сказал.

– Я рад, что он сумел объяснить вам опасность вашего положения. Последняя неделя была… – Он качает головой.

– Шапюи сказал: «Кромвелю пришлось применить все свои таланты и добродетели. Рискнуть всем. Он уже ощущал острие топора». – Подол ее платья пропитался кларетом, она безуспешно пытается стряхнуть влагу. – Больше никто из лордов за меня не вступился. Ни Норфолк, он не стал бы. Ни Суффолк, он бы не посмел. Мы этого не забудем…

Она запинается. Вот она и назвала себя во множественном числе, думает он. Уже.

– Посол говорит: «Кромвель еретик, но мы должны надеяться, что Господь направит его к истинной вере».

– Мы все на это надеемся, – замечает он набожно.

– Я часто спрашиваю себя, почему я не умерла в колыбели или в утробе, как мои братья и сестры? Должно быть, у Господа был особый замысел относительно меня. Возможно, вскоре я буду возвышена так, как не смею и мечтать.

Опасность возникает внезапно, словно удушливая вонь вспыхнувшей серы. Когда Мария движется, платье цвета пижмы отбрасывает бледный желтушный отсвет. Она, как и Ричмонд, думает, что Генрих при смерти.

– Какой у Господа мог быть замысел, кроме того, чтобы вы жили в довольстве и были доброй дочерью своему отцу? – спрашивает он.

– Я всегда буду послушна королю. Но у меня есть другой Отец, Небесный.

– Волю Отца Небесного порой трудно истолковать, воля же вашего отца предельно ясна. Поздно делать оговорки, Мария. Вы подписали документ.

Она поднимает глаза, во взгляде ярость. В следующий миг они уже вновь бесстрастно-голубые, как у Генриха.

– Да, я приложила к нему руку.

– Шапюи прав. Я не смог бы сделать для вас большего. И сомневался, хватит ли моих сил даже на это. Ваш отпор ранил вашего отца, его здоровье пошатнулось.

– Я верю, – говорит она. – Мое здоровье тоже пошатнулось. Итак, когда я могу вернуться ко двору? Вы могли бы забрать меня с собой уже сегодня. Пусть мне найдут лошадь. Мы будем в Гринвиче до темноты.

– Король в Уайтхолле. К тому же многое еще нужно устроить.

– Разумеется, но я неприхотлива. Я готова разделить ложе с прачкой, лишь бы быть рядом с отцом. – Она снова начинает ходить по комнате, давя осколки. – Я знаю, вы считаете меня хилой. Леди Шелтон говорит, труп и тот порумянее, и она права. Но я всегда была хорошей наездницей. Клянусь, я не отстану от вас в дороге.

– Леди Мария, вам придется набраться терпения. Король должен удостовериться, что весть о вашем решении разлетелась по стране и за ее пределами.

– Теперь об этом узнают все, – говорит она, – я понимаю.

– И мало кто усомнится, что вы поступили правильно.

– Шапюи рассказал мне о письме Рейнольда. Ко мне это не имеет никакого отношения. Я ничего не знала.

Я могу лишь пожалеть тебя, думает он, даже если не до конца тебе верю.

Он говорит:

– Ваши сторонники – Куртенэ, Поли, – забудьте о них. Они уверяют, будто чтут вашу древнюю кровь, но больше думают о своей. Возможно, они не прочь выдать вас за кого-нибудь из своих наследников, но взамен потребуют подчинения, ибо жена должна подчиняться мужу, будь она хоть королевской дочерью. И если вашему отцу, не приведи Господь, суждено умереть до того, как у него родится сын, они потребуют корону. Они могут выступать под вашими знаменами, но никогда не позволят вам править.

Мария отворачивается. В солнечном свете, что пробивается сквозь королевские гербы, сквозь желтую шкуру львов на стекле, она поднимает руки, теребит шелковую сетку чепца, стаскивает его. Опустив голову, трет виски и лоб, затем вынимает шпильки, распуская волосы.

Он смотрит на нее, онемев. На его памяти женщины проделывали такое только в одном случае. Да и то он знавал такую, которая, прежде чем приступить к делу, плотнее затягивала волосы в пучок на макушке.

Она говорит:

– Я так страдаю, мастер Кромвель, что думаю, Господь меня любит. Простите, я больше не в силах выносить эти путы. Голова болит, зубы ноют. Джон Шелтон сказал, может быть, лучше их вырвать, чтобы боль ушла. У меня течет из глаз и носа, а тут, – она подносит руку к щеке, – опухоль размером с теннисный мяч.

Она невинна, думает он. Сомнений быть не может. Как она сказала Норфолку: «Вы собираетесь пользовать меня как свою жену», не ведая, отчего он ухмыляется.

– Миледи, – говорит он, – позвольте мне вам помочь. Ваши глаза, голова, ваш разум, все ваши органы взбунтовались. Вы не можете переварить съеденное, ночной сон вас не освежает. Но теперь вы избрали правильный путь, поступили как все – мужчины и женщины, любящие Господа, – все, кто покорился и осознал свой долг перед страной. Вы прилагали все усилия, чтобы отвечать «нет». Теперь вы ответили «да». Выбрали жизнь, и вас ждет процветание. Вы думаете, только слабые люди подчиняются закону, потому что он их страшит? Только слабые люди исполняют свой долг, потому что не смеют отказаться? Это не так. Подчинение дает силу и спокойствие. И скоро вы их

ощутите. Поверьте, я не лукавлю. Это будет как солнечный луч посреди долгой зимы.

Она говорит:

– Я бы много отдала, чтобы снова сесть в седло. Но у меня нет лошади. Мне запретили ее иметь.

– Как только я доберусь до Лондона, я найду вам лошадку. И я скажу Джону Шелтону, что вы можете выезжать с сопровождающими когда захотите.

– Он боялся, что крестьяне при виде меня преклонят колени и признают меня принцессой.

Если такое случится, думает он, Шелтон найдет способ их усмирить. И едва ли посол Шапюи выскочит из канавы и похитит вас.

Он говорит:

– В моей конюшне есть прелестная серая в яблоках кобыла, очень умная. Ее можно доставить сюда очень быстро.

– Как ее зовут?

Жидкая рыжеватая прядь ее волос вяло свисает с плеч. Мария беспокойно тянет к ней руку. В это мгновение она выглядит вдвое моложе своих лет.

– Ее зовут Дусёр. Но вы можете назвать ее по-своему.

– Нет. Хорошее имя.

Она роняет чепец на столик, шелковые нити впитывают пролитое вино. Ему хочется поднять чепец, но сетка безнадежно испорчена.

– Ничего, возьму другую, – говорит она. Ее глаза следят за ним, в них горит алчный огонь. – Этот синий на вашем джеркине хорош. Мне нравится узор.

Он вспоминает Марию Болейн. «Мне нравится ваш серый бархат». Как давно это было, словно в другой жизни. Тогда внутри джеркина я был другим человеком. Тоньше? Возможно. Осторожнее? Наверняка.

Он говорит:

– Когда вернетесь ко двору, выберете любой шелк и дамаст, который только пожелаете. Король обсуждал со мной ваши нужды.

Мария подносит ладонь ко рту, издает тихий стон, и ее лоб прорезает глубокая морщина. В следующее мгновение влага начинает течь у нее из носа и глаз, слезы катятся по щекам – тяжелые холодные слезы, словно камни у входа в гробницу.

Он пересекает комнату. На высокой ноте, зажав рот пальцами, она голосит, словно споткнулась о труп. Раскачивается из стороны в сторону, мычит, и он

подхватывает ее, чтобы не упала. Ее мышиные косточки трепещут в его руках. Дверь открывается. Леди Шелтон окидывает взглядом разбитое стекло, багровое пятно, девушку с перекошенным лицом и обращается к ней строго, как к собственной дочери:

– Мария, хватит. Отпустите милорда хранителя. Наденьте чепец.

Вой прекращается. Лицо Марии пошло алыми пятнами, ее трясет как в лихорадке.

– Я не могу. Мой чепец испорчен. Я врезалась в стол и разбила графин сэра Джона, о чем сожалею, затем я…

– Не важно, – заявляет леди Шелтон. – Я никогда не слушала ваших объяснений, с чего бы мне теперь начинать. – Она собирает рыжие пряди, зажимает их в кулаке, словно собирается выволочь Марию из комнаты за волосы, затем, издав гневный возглас, отпускает ее. – Я отведу вас к леди Брайан, пусть приведет вас в порядок. Вытрите нос.

Он слышит мысли Марии, они такие громкие, словно шлепаются о стены: я английская принцесса, вы мне обещали.

– Мария, запомните, – говорит он. – Я сдержал обещание. Я отношусь к вам с почтением. Можете на меня рассчитывать. Но это все.

В глазах Марии смятение.

– Но вы сказали, что я буду… если что-то случится с королем… что вы поможете мне… разве вы не обещали послу?

– Я обещал то, что должен был обещать, – говорит он. – У меня не было выхода.

Дернув Марию за волосы, Энн Шелтон прекращает дальнейшие расспросы. Она обращается к нему поверх головы Марии:

– Вы обязательно должны перед отъездом увидеть Элизу. Леди Брайан настаивает.

То, что желает продемонстрировать им леди Брайан, представляет собой дергающийся ворох ткани, молотящие по воздуху красные кулачки, глотку, из которой вырывает пронзительный визг.

– А теперь, миледи, – леди Брайан подхватывает малышку, – покажите этим джентльменам, как хорошо вы умеете себя вести. Они прискакали издалека, чтобы поведать вашему милорду отцу, как вы поживаете.

Он в смятении:

– Она вопит так, словно увидела епископа Гардинера.

Брэндон фыркает. Томас Говард кисло улыбается.

– Не хотите сказать их милостям, как рады их видеть? – спрашивает леди Брайан у своей подопечной. – Песенку не споете?

– Позволю себе усомниться, – говорит Норфолк.

– «Ой-лю-лю, лю-лю, лю-лю, – выводит леди Брайан. – Дрозд строит храм на холме, зяблик на мельницу тащит мешок…» Нет? Не важно, милая. Держите. – Она достает кольцо из слоновой кости, перевязанное зелеными ленточками, дитя хватает кольцо и сует в рот. – Ее зубки растут очень медленно.

Суффолк взирает на ребенка с высоты своего роста:

– Слава богу, не то, боюсь, она бы меня покусала.

– Еще не все потеряно, мы можем вернуться позднее, – говорит он.

– Да, когда ей исполнится тридцать, – бормочет Суффолк.

Но герцог любит детей и не может устоять, чтобы не наклониться к ребенку и не скорчить рожицу. Девочка перестает хныкать, дотрагивается до герцогской бороды, гладит, с сомнением разглядывает свои пальцы.

– Ничего, не отвалится, – говорит ей герцог.

Черные глазки стреляют в него, затем дитя снова сует в рот кольцо, но больше не плачет.

– Никогда не видела, чтобы ребенок так страдал, – говорит леди Брайан. – Поэтому я порой слишком ее балую. Сэр Джон разрешает ей сидеть за столом, и она слишком мала, чтобы не озорничать. – Она оборачивается к нему. – Мастер Кромвель, а как поживает ваш малыш Грегори?

– На голову выше меня, подыскивает себе невесту.

– Как летит время! Кажется, совсем недавно вы привозили его… куда же…

– В Хартфилд.

– Мария чахла, – леди Брайан оборачивается к герцогам, – и, пока не появился Томас Кромвель, с ней не было сладу. Мы не могли заставить ее сесть за общий стол, потому что тогда ей пришлось бы сидеть ниже сестры, – тогда Элиза была принцессой. И сэр Джон сказал, помяните мое слово, дай волю одной, другая тоже захочет обедать у себя, повара будут сбиваться с ног, а расходы станут непомерными, – и он решил, или Мария будет садиться за стол с нами, или останется без обеда и ужина. Но мастер Кромвель велел лекарям сказать, что Марии для здоровья необходим кусок красного мяса с утра. Сэр Джон не мог отказать ей в завтраке, поскольку завтракаем мы у себя. Поэтому она исправно получала свою порцию оленины утром, пока были запасы, или солонины, когда запасы кончались.

Суффолк улыбается:

– Она завтракала, как Робин Гуд со товарищи, пирующие в лесу. Уверен, ей это пошло на пользу.

– Значит, Мария снова принцесса? – спрашивает леди Брайан.

Он говорит:

– Она остается леди Марией, королевской дочерью.

– А эту красотку, – добавляет Норфолк, – надлежит именовать леди Приблуда, пока не будет других указаний.

– Как не стыдно! – Леди Брайан возмущена. – Кем бы она ни была, она дочь джентльмена, и я не знаю, как дальше поддерживать ее статус. Дети растут, и за последний месяц она выросла из всех одежек, а сэр Джон заявил, что у него нет ни денег, ни указаний. Мы ставили заплаты и штопали, пока было можно. Ей нужны сорочки, чепчики…

– Мадам, разве я похож на няньку? – спрашивает Норфолк. – Обратитесь к Кромвелю, полагаю, он понимает детские нужды. Кромвелю не чуждо любое ремесло – дайте ему кусок батиста, и до ужина он обошьет вашу маленькую леди.

Герцог круто поворачивается и выходит из комнаты. Они слушают, как он велит Джону Шелтону распорядиться насчет лошадей.

– Напишите мне, – говорит он леди Брайан. Он собирается выйти вслед за Норфолком, не хочет оставлять его наедине с Марией.

Но леди Брайан не отстает, на лестнице шепчет ему в ухо:

– Кромвель, я с ней беседовала. Как вы велели. И моя дочь леди Кэрью тоже. – Она говорит еле слышно. – Мы сделали, как вы велели.

– Хорошо.

– Вы разрушили ее гордость. Это нехорошо.

– Я спас ей жизнь.

– Для чего?

Он ускоряет шаг:

– Пришлите мне список того, что нужно малышке.

Шелтон снаружи, с конюхами. Леди Шелтон, смеясь, говорит:

– Незачем спешить. Мария унеслась наверх. Думали, она побежит советоваться с вашими врагами? Похоже, вы считаете ее неверной любовницей.

Он замедляет шаг:

– Герцоги мне не враги. Мы все слуги короля.

– Кажется, вы внушаете Суффолку благоговейный страх.

И впрямь, думает он, Брэндон ведет себя как шелковый.

Он оборачивается и берет ее руку, но снизу доносится рев, словно охотничий клич:

– Кромвель!

Это Чарльз, стоит на пороге, закинув голову назад, и тычет вверх:

– Кромвель, вы это видите?

Ему приходится сбежать по ступеням, чтобы взглянуть с другого угла. Над ними в дымке алого цвета инициалы покойной Анны на глазурованном своде.

– Шелтон! – вопит герцог. – У вас «ГА-ГА». Разбейте их. Пока погода не испортилась. – Чарльз гогочет. – Позвольте леди Марии швырнуть в них кирпичом.

Мэтью держит его лошадь под уздцы.

– Так держать, – говорит он. И это не про лошадь.

Он взбирается в седло, и под скрип седла и сбруи мальчишка бормочет:

– Заберите меня домой, как только будет можно, сэр.

– Я передам Терстону, что ты по нему соскучился.

Мэтью отворачивается:

– Храни вас Господь, сэр.

Он подбирает поводья. Джон Шелтон стоит на пути, извиняясь за «ГА-ГА».

– Я уж думал, что извел все до единого.

Он говорит:

– В прошлом месяце Галейон Хоне прислал счет из Дуврского замка за витражи с гербом королевы в личных покоях.

– Что? – спрашивает Норфолк. – Теперешней или старой?

– Потрачены впустую, – говорит он. – Две сотни фунтов.

Брэндон присвистывает:

– Дьявол. С камня их можно сбить, с дерева срезать, забелить стену, распороть узор, но когда они сияют сверху, подсвеченные солнцем, что делать тогда?

Они выезжают на дорогу. Летние дни длинные, они еще успевают вернуться до темноты.

– Не отчаивайтесь, Кромвель, – говорит Норфолк. – Понимаю, вы предпочли бы где-нибудь заночевать, но не все потеряно. Смотрите по сторонам, может быть, разглядите в канаве девку с раздвинутыми ногами.

Норфолк скачет впереди со свитой, они с Брэндоном едут рядом, колено к колену. В Саутуорке, говорит герцог, где у его семьи был большой дом, а стекольщики держали лавки, все жили в страхе перед пожарами, которые вспыхивали, когда открывали печи.

– Хватит пучка соломы, – говорит Брэндон, – чтобы сгорел целый квартал.

Еще бы, при таком жаре, думает он. Кузня опасное место, и кузнецы вечно ходят черные и обгорелые, но им не пронзают сердце изделия собственных рук, и они не разбиваются насмерть, свалившись с колоколен, что почти каждый день происходит со стекольщиками.

На перекрестке с дорогой в Вэр Томас Говард останавливается и оборачивается в седле. Брат следует его примеру и, изогнувшись, смотрит на них.

– Видите, как корежит Говардов? – говорит он. – Не терпится знать, о чем мы беседуем.

Как ни странно, о стеклах.

– Знаете, Кромвель, – говорит герцог, – в юности я славился меткостью и перебил немало стекол. Полагаю, вы тоже. Или у вас не было случая?

– Было, милорд, в Патни тоже есть стекла.

– Милорд Норфолк! – кричит Чарльз. – Я рассказываю Кромвелю, что не бил стекол много лет.

В первую неделю июля король дает понять, что готов встретиться с дочерью. Нет, вернуть ее ко двору пока не готов.

– Королева меня торопит, – говорит Генрих. – И я думаю, вы могли бы устроить нашу встречу. Я оценил бы ее дочерние чувства. И еще, Сухарь, – добавляет король, – я не хочу ехать далеко.

Доктора не выходят от Генриха. Настроение короля испорчено ноющей болью в раненой ноге. Я начинаю подозревать, говорит Беттс, что задета кость. Будь это мясо, мы бы промыли рану – или отрезали ногу, если не будет другого выхода. Но кость либо заживет, либо нет. Молодой Ричмонд прав. Болезнь запущена. В следующем году Генрих может нас покинуть.

В Остин-фрайарз он заходит в комнату Мерси Прайор:

– Матушка, король хочет повидаться с дочерью. Думаю, мы могли бы предложить ему для этого наш новый дом в Хакни.

Комната Мерси выходит в сад, и она всегда может посидеть на припеке. Она поддерживает переписку с друзьями, многие моложе ее, есть ученые, некоторые лютеране. Иногда мистрис Сэдлер приходит почитать ей вслух. Теперь Хелен читает так свободно, словно ее учили этому с детства, и пишет разборчиво. Но сегодня Мерси сидит в одиночестве с Новым Заветом Тиндейла на коленях. Она уже не может разбирать слова, но любит держать книгу в руках. Мерси откладывает ее и некоторое время разглядывает, словно ребенка, чтобы убедиться, что ему удобно.

– Новостей нет?

Вот уже год с тех пор, как его арестовали в Антверпене, ученый богослов сидит в императорской тюрьме в Вилворде. Его время истекает. Тиндейл или отречется, или сгорит на костре. Или отречется и сгорит на костре. Император хочет создать прецедент, чтобы другим было неповадно, хочет держать Антверпен в страхе. Король Англии не намерен защищать своего подданного – Тиндейл выступал против его развода. Если вам не нравится папа, это не значит, что вы на стороне Генриха. Тиндейл, как и Мартин Лютер, всегда говорил, мы не признаем Рим и его власть, но не можем порицать ваш брак с Екатериной: он законен и его нельзя расторгнуть.

– Ты можешь замолвить за него словечко перед королем? – спрашивает Мерси. – Теперь, когда с ним новая королева и он успокоился… Ты говоришь, он готов примириться с дочерью. А другая сторона спора умерла.

Екатерина умерла и не умерла. Ее дело живет, пустив глубокие корни в кислую почву.

Мерси говорит:

– Я думаю о Тиндейле в темнице. Ты не вытащишь его оттуда до зимы? Это возможно?

– Ты имеешь в виду, возможно ли это для меня? Думаешь, я на это способен?

– Ты на все способен.

Для Мерси это не комплимент.

У него есть план крепости Вилворде. Он знает, где содержат Тиндейла. Но даже если удастся доставить его к побережью, куда Тиндейлу податься дальше?

– Я думаю, вскоре мы увидим Новый Завет в Англии. Генрих разрешит. В переводе Тиндейла. Но без его имени.

– Надеюсь, что доживу, – говорит Мерси. – Это все Томас Мор и его шпионское гнездо, оно живо даже после его смерти. Если бы я думала, что мертвецы способны испытывать боль, я выкопала бы его из могилы и пинала вдоль Чипсайда за те страдания, что он причинил мужчинам и женщинам, которые несравненно ближе к Господу, чем он.

– Блаженны кроткие, – говорит он.

– Да, так утверждают. Я вижу, куда это заводит.

В эти недели ему часто приходило на ум, что если сравнить дочь короля и Тиндейла – кто упрямее, кто более склонен к саморазрушению, – то неизвестно, за кем останется победа.

– Но ты же видишь, – говорит он, – Мария сдалась. Если мы привезем ее в Хакни и они не договорятся, королю будет легче отступить.

Весь год он перестраивает дом, переданный Генриху графом Нортумберлендским. Молодой Гарри Перси болен и сильно задолжал казне. Он предложил в частичную уплату долга дом со всей обстановкой. Генрих спросил его, почему бы вам, Сухарь, туда не переехать? Вместе с молодым Сэдлером, который строит летний дом напротив. Сможете присмотреть за тем, как ведутся работы. Король прислал им высушенные дубы из собственных угодий, и вместе с Рейфом они устроили производство кирпича, благо воду можно брать из ручья.

Мерси говорит:

– Пойми, Томас, как только тяжелые работы будут завершены, Генрих тебя выставит.

Но ведь, в конце концов, дом принадлежит королю. Он заложил сад, поручив послам присылать ему саженцы и семена растений, не произрастающих в Англии. Свет зальет старые комнаты. Никаких больше «ГА-ГА», никаких заносчивых стекольщиков Хоне – Джеймс Николсон справится ничуть не хуже, только запросит дешевле. Вместе со строителями он обошел участок, обсуждая трубы, объем резервуаров, скрытые родники, которые можно использовать для подачи воды. Даже в давние дни в Остин-фрайарз он обустроил ванную, но у воды, текущей из труб, слабый напор; если хотите накормить короля, воды на кухне должно быть достаточно.

– Ты со мной? – спрашивает он Мерси. – Все должно быть готово для ночлега двух королевских особ женского пола.

– Хелен Сэдлер справится. Стара я уже ездить. А поскольку ни я, ни она и близко не бывали при дворе, нам обеим пришлось бы гадать, чего они захотят. Впрочем, Мария такой же человек, как все мы, и ничем не отличается от других девушек.

А Джейн такая же королева, думает он, как и другие. Генрих представил ее послам, позволил вступить в беседу. Он удивлен – все вокруг удивлены – ее спокойствию и умению держаться. Однако потом она будто ушла в себя. В первую неделю ее глаза то и дело искали его или братьев, словно она хотела спросить, что дальше? Женщины в ее окружении до сих пор вздрагивают от каждого шороха. А чего вы хотели, Томас, спрашивает Фрэнсис Брайан. Всего несколько недель миновало с тех пор, как вы допрашивали их одну за другой, связывая их жалкие истории в узелки. Им нужно время, чтобы оправиться от страха.

Великий день настает. У Хелен в руках список. Мебель Гарри Перси была накрыта, чтобы уберечь ее от побелки и запаха краски. В парадной спальне с синего балдахина и золотой парчи спороли гербы. Под графским стеганым покрывалом золотого дамаста и синего бархата новые одеяла из плотной белой шерсти. Утром он просыпается с мыслью о Тиндейле в сырой темнице. Если его не прикончит палач, то доконает следующая зима. В Антверпене отпечатанные листы прячут между складок ткани в тюках, белое на белом. В тепле и покое Господь шепчет внутри каждого рулона. Его слово плывет по морю, выгружается в восточных портах, едет в Лондон на телеге. Он делает пометку: Тиндейл, поговорить с Генрихом, еще одна попытка.

Он посоветовал выделить для леди Марии самую теплую комнату в доме. Огромная пуховая перина готова, желтый бархатный балдахин, подушки желто-коричневого бархата и зеленого узорчатого атласа.

– Настоящая постель для новобрачных, – говорит Хелен.

Видно, какое удовольствие ей, девочке, выросшей в бедности, доставляет возиться с превосходными тканями и иметь под своим началом целую армию подушек.

Она говорит:

– Я передвинула большое пурпурное кресло в галерею для короля. Теперь нужно найти кресло пониже для королевы. Есть еще золотое парчовое креслице для леди Марии. Говорят, она маленькая и тщедушная. Я ее увижу?

Хелен замужем за доверенным лицом короля, почему бы ей не сделать реверанс леди Марии? Однако она не станет нарушать традиций.

– Когда вы пригласите их на ужин, я встану рядом со слугами. Не подзывайте меня, вы же знаете, это нехорошо.

Они разговаривают в галерее, Хелен смотрит на шпалеру, на белые шерстяные ноги бегущих фигур, на девушку со струящимися волосами:

– Я не знаю, кто эти люди.

На шпалере выткана горестная история Аталанты.

– Она тоже была дочерью царя, – говорит он.

– И?

Дочери правителя не суждено жить в покое. Вечное «и» или «но».

– Но царь хотел сына. И когда родилась дочь, он оставил ее умирать на склоне горы.

– Невинного младенца? – Хелен потрясена.

– Это было очень давно, в Аркадии, – говорит он. – Но она выжила, медведица выкормила ее своим молоком.

– Так это сказка. А что потом?

– Она стала охотницей, жила в глуши. Поклялась остаться девственницей.

– Ради чего?

– Думаю, она обещала это богам. Тогда еще не было пап. И Христа. Они верили в своих маленьких божков.

Шум со двора заставляет их выглянуть из окна. Прибыл Терстон в окружении свиты кухонных мальчишек. Дождливым английским летом приходится излучать собственное сияние. Терстон займется блюдами, требующими руки мастера: желе из розовой воды, трясущимся пудингом, корзиночками с творожным суфле.

Король одет в белое с золотом, королева – в белое с серебром.

– Сегодня получше, – говорит король.

Он не спешит навстречу дочери – или делает вид, будто не спешит, – гуляет по саду, рядом с ним Рейф Сэдлер, обозревает новые посадки.

– Поживу тут с неделю. Ближе к концу лета.

А ты выметайся, думает он. Рейф ловит его взгляд.

– Я загляну к тебе в гости, Сэдлер, – обещает король. – Мастер Сэдлер живет через дорогу, – объясняет он Джейн. – Ты знаешь, что он женился на нищенке?

– Нет, – отвечает Джейн, и снова молчок.

– Она пришла просить милостыню к дому лорда Кромвеля с двумя детишками, которые цеплялись за ее юбку. У нее не было никого в этом мире, но Кромвель, увидев, что она женщина добродетельная, взял ее в дом. – Королю нравится собственная история, на лице играет румянец, манеры просты и изящны, глаза горят ярче, чем в предыдущие несколько недель. – Мастер Сэдлер, видя, как она расцветает день ото дня, отдал ей свое сердце – и, несмотря на ее бедность, он на ней женился.

Джейн не проявляет должной отзывчивости – или королю кажется, что не проявляет.

– Разве это не высшее милосердие? – настаивает Генрих. – Мужчина, который мог выгодно жениться, выбирает женщину, стоящую ниже его, за ее высокие моральные качества?

Джейн что-то бормочет. Король наклоняется к ней:

– Разумеется, еще как встревожились! Кромвель, семейство Сэдлеров не в обиде? Кромвель их уговорил. Он сказал им, что нет преград для истинной любви. – Король поднимает руку Джейн и целует ее. – И он был прав.

Сигнал подан, момент приближается. Король озаряет комнату своей улыбкой:

– Этого дня мы ждали очень давно. Приведите ее, Кромвель. – Генрих оборачивается к Рейфу. – Лорд Кромвель обошелся с моей дочерью с таким тактом и заботой, словно он мой родственник, – кажется, король удивлен собственным словам, – что, разумеется, далеко от истины, но я собираюсь щедро вознаградить его и весь его дом. Леди Шелтон, вы сходите с ним?

Леди Шелтон прибыла из Хертфордшира в свите Марии вместе с сундуком новых платьев.

Когда они вместе поднимаются по лестнице, она говорит:

– Король весь светится. Можно подумать, Джейн сообщила ему добрую весть, хотя, я полагаю, еще рановато.

– Некоторые женщины знают с той минуты, когда понесли.

– Когда имеешь дело с королем, лучше перестраховаться.

На вершине лестницы он останавливается:

– Как она?

– Молчит.

– А как поживает ее корсаж цвета пижмы?

– Истреблен, как имя папы.

– И никогда не воскреснет?

– Из него сшили подушку и отдали в детскую. Будем надеяться, леди Элиза с ней разберется, как только у нее прорежутся зубки. Должна признаться, это я виновата. Король не поскупился на траурные цвета после смерти ее матери. Но мне показалось, вашей милости не понравится, если она будет в черном.

Тридцать два ярда черного бархата по тридцать фунтов восемь шиллингов. Сорок два шиллинга восемь пенсов новому главе гильдии портных за пошив. Четырнадцать ярдов черного атласа по шесть фунтов шесть шиллингов. Тринадцать ярдов черного бархата для ночной сорочки и подкладку из тафты. Девяносто черных беличьих шкурок. А еще нижние юбки, парлеты, корсажи, рукава, всякая всячина. Итого – одна тысяча семьдесят два фунта шестнадцать шиллингов шесть пенсов заплачено королем. Теперь Марии предстоит носить цвета поярче. Каждый день после его отъезда, точнее, с тех пор как король выразил свое одобрение, возы с щедрыми дарами тянулись из Бишопсгейта. Он говорил с итальянскими торговцами тканей, обсуждал с Гансом прекрасный изумруд – будущую подвеску в оправе из жемчуга. Меха

Екатерины придется переворошить и, если король сочтет нужным, отдать Марии на зиму.

Тиндейл, думает он. Помни о будущей зиме.

Когда они входят, Мария поднимает взгляд. Встречается с ним глазами. Красавица Элиза Кэрью избегает смотреть на него. Другая дама возится с подолом Марии. Это Маргарет Дуглас, рыжеволосая племянница короля.

– Со мной леди Мег, – говорит Мария, словно он мог ее не заметить. – Король решил… раз уж это семейная встреча…

Всякий раз, Мег, когда я вижу тебя, ты стоишь на коленях. Он хочет помочь ей. Не обращая внимания на его протянутую руку, Маргарет поднимается с пола, пересекает комнату и выглядывает в сад из окна. Жена Кэрью остается поправить шлейф.

– Миледи? – говорит он. – Вы готовы?

Мег понесет шлейф. Они выплывают из комнаты, в новом малиновом с черным платье Мария выглядит чопорно и зажато, а он жестом удерживает леди Кэрью:

– Спасибо.

– За что?

– За то, что помогли мне ее спасти.

– У меня не было выбора, меня заставили.

Женщины, лестницы, слова из-под ладони – неужели слугам императора тоже приходится этим заниматься? Ты задерживаешь дыхание, пока Мария отмеряет каждый шажок. Дочь английского короля, ребенок королевы Шотландии – такие мгновения кажутся созданиями мастера, задумавшего вышить их шерстью или цветами. Мария оглядывается, словно проверяет, на месте ли он. Мег дергает ее за шлейф. Кажется, будто она управляет Марией, бормоча и кудахтая, словно женщина, толкающая тачку. Когда Мария останавливается, леди Мег тоже останавливается. Неужели Мария в панике? Что, если именно сейчас она думает, нет, я не смогу? Однако, шепчет он леди Шелтон, я не слишком тревожусь за исход дела, если она передумает, то потеряет равновесие и приземлится бесформенной кучей прямо у ног отца.

– Мы старались как могли, – вздыхает леди Шелтон. – По-моему, ей к лицу более нежные оттенки, но она пожелала выглядеть царственно. Что такое с шотландской девчонкой? Вы ей не нравитесь?

– Бывает, – говорит он.

Их не предупредили, что королевских особ женского пола будет три: Мария, королева, Мег Дуглас. Они думали, королева возьмет с собой обычных камеристок. Но всадники еще не успели спешиться, а он уже окликнул Хелен, и она унеслась в дом. Совсем скоро Хелен вернулась: добавила красные

подушки золотого шитья, доложила она, постелила на пол ковер. Повесила шпалеру с историей Энея, – по крайней мере, Рейф так сказал. Надеюсь, думает он, Дидона вышита не в языках пламени.

У подножия лестницы Мария резко останавливается:

– Милорд Кромвель!

Мег злобно выдыхает:

– Мадам, король ждет!

– Я забыла поблагодарить вас за серую в яблоках. Очень спокойная лошадка, как вы и обещали. – Она обращается к Мег: – Лорд Кромвель прислал мне кобылу из своей конюшни. Ничто не обрадовало бы меня больше – я не сидела в седле пять лет, и теперь мое здоровье пошло на поправку.

– Она и впрямь выглядит лучше, – говорит леди Шелтон. – В лице прибавилось краски.

– Ее звали Дусёр. Мне нравится, но я придумала новое. Я зову ее Гранат. Это эмблема моей матери.

Леди Шелтон закрывает глаза, словно от боли. Мария у порога расправляет юбки. Двери распахиваются. Король и королева стоят против света: золотое солнце и серебристая луна. Мария глубоко и прерывисто вдыхает. Он становится у нее за плечом – а что ему остается?

Вечером король отпускает его, чтобы побыть с семьей. Расходятся рано, никаких бесед о политике, никаких бумаг на подпись.

Хелен говорит:

– Вы утомились. Не хотите перейти лужайку и часок посидеть с нами? Грегори и мастер Ричард уже там.

Вечер, словно голубка, устраивается на ночлег. Когда хроники нынешнего правления будут написаны нашими внуками или чужеземцами, далекими от этих тающих в дымке полей и мерцающего света, они придумают заново встречу короля и его дочери – речи, которыми они друг друга приветствовали, взаимные поклоны, обещания, благословения. Они не увидят, не запишут, как леди Мария, чуть не падая с ног, склонилась в поклоне и как король вспыхнул, пересек комнату и прижал ее к груди. Ее сопение и хныканье, когда она обнимала белую с золотом ткань его джеркина, его всхлипывания, несмелые ласки и слезы, брызнувшие из глаз. Королева Джейн робко стояла поодаль с сухими глазами, пока неожиданная мысль не заставила ее сдернуть кольцо с пальца:

– Вот, это вам, носите.

Мария перестает хныкать. Он вспоминает леди Брайан, сующую кольцо для зубов леди Приблуде.

– Ах. – Мария едва не роняет кольцо. Крупный алмаз удерживает полуденный свет в ледяном объятии.

Маргарет Дуглас берет ее запястье и надевает кольцо на палец:

– Слишком большое! – Мег в отчаянии.

– Его подгонят.

Король протягивает открытую ладонь. Камень исчезает в одном из кармашков.

– Ты щедра, милая, – говорит он Джейн.

Он, Кромвель, замечает блеск в глазах короля, когда тот подсчитывает стоимость камня.

– Вы великодушны, мадам, – говорит Мария королеве. – Я желаю вам того, что принесет вам утешение. Надеюсь, скоро вы родите сына. Я каждый день буду за вас молиться. Отныне я считаю вас своей матушкой. Словно так было задумано Господом.

– Но… – говорит королева. Обеспокоенная, она делает знак мужу, чтобы тот наклонил голову, шепчет ему в ухо.

Король говорит, улыбаясь:

– Королева сказала, даже Господу такое не под силу – она старше вас всего на семь лет.

Мария в изумлении смотрит на Джейн:

– Скажите ей, это выражение моего почтения. Общепринятая форма пожелания добра. Ее милость не должна…

– Она поняла, не правда ли, милая? – Генрих улыбается Джейн сверху вниз. – Мы идем?

Коленопреклоненные слуги ждут, когда мимо прошествуют августейшие особы. В комнату врывается Хелен с серебряным подносом, на котором лежат половинки лимонов, – и, поняв свою ошибку, пятится назад, отвешивая низкий поклон. Запах лимонов наполняет воздух. Джейн рассеянно улыбается Хелен. Мария ее не замечает, но хотя бы не сбивает с ног. Король замедляет шаг и готов заговорить, затем оборачивается к жене и дочери, которые замерли перед дверью.

– Я не пойду впереди вас, – говорит Джейн.

– Мадам, вы королева, вы должны быть первой.

Джейн протягивает руку, голую, без кольца. Звезда испускает лучи в кармане на животе короля.

– Давайте войдем как сестры, – говорит Джейн. – Никто не будет в обиде.

Генрих сияет:

– Ну разве сама она не драгоценность? Вы согласны, Кромвель? Идемте, мои ангелы. Попросим Господа благословить нашу трапезу и наше воссоединение. Молюсь, чтобы оно продлилось вечно.

Но позднее, когда молитва прочитана, король омыл руки в мраморном тазу, блюда расставили и король отведал артишоков, заметив, что любит их больше всего на свете, он замолкает и погружается в раздумья. Наконец выпаливает:

– Сэдлер, это ваша жена? Та, что поклонилась нам, когда мы вошли? – Он ухмыляется. – Если бы она пришла просить милостыню к моим воротам, я бы тоже на ней женился. И милосердие тут ни при чем. Какие глаза! Какие губы! – Король косится на Джейн. – И она уже подарила Сэдлеру сына.

Джейн не видит и не слышит. Она поглощена своим пирогом с форелью, ломтики огурцов разбросаны по тарелке, словно зеленые полумесяцы. Будто ее наставляет Блаженная Екатерина. Та, другая, сидя на ее месте, хохотала бы, замышляя месть.

Шагая по тропинке, Рейф удивляется:

– Гранат? – Он издает стон. – Я знал, что добром это не кончится.

Приносят клубнику и малину. Приходит Ризли под руку с Ричардом Ричем. Занимают места в беседке. Кувшины с белым вином стоят на земле в лохани с холодной водой. Окажись здесь Мария, думает он, непременно бы ее опрокинула.

Кубки Рейфа украшены изображениями учеников Христа.

– Надеюсь, это не Тайная вечеря, – говорит Рейф. – Держите, сэр. Этот ваш.

Он узнает святого Матфея, сборщика податей, поднимает кубок и произносит тост, который слышал от тосканских купцов: «Во имя Господа и барышей».

Тяжесть этого дня опускается на плечи. Голоса то громче, то тише, и он уходит в свои мысли. Думает о крыльях, которыми бахвалился перед Фрэнсисом Брайаном. Когда крылья Икара расплавились, тот беззвучно пролетел сквозь воздух и с шуршанием вошел в воду, а перья остались на ровной маслянистой поверхности моря. Почему мы упрекаем Дедала за падение Икара и помним только его неудачи? Он изобрел пилу, топор и отвес. Выстроил лабиринт на Крите.

Он приходит в себя. Из дома доносится детский плач.

Хелен подскакивает:

– Маленький Томас! Окно открыто! Ночной воздух вреден!

Они смотрят наверх: появляется лицо няни, ставни плотно закрываются, плач смолкает.

Рейф протягивает руку:

– Милая, успокойся. У него хватает нянек.

Они хотят, чтобы она посидела с ними подольше, ее красота словно благословение. Хелен садится и говорит:

– Иногда, когда он плачет, у меня болит грудь, хотя его уже забрали у кормилицы. Дочерей я кормила сама, но теперь я леди. Вот так-то.

Они улыбаются, все отцы, за исключением Грегори.

Рич поднимает святого Луку. Он никогда не забывает о делах.

– За ваш успех, сэр. – Рич опрокидывает кубок. – Хотя вы дотянули до опасной черты.

Грегори говорит:

– К тому времени, как мой отец выпустил из тюрьмы нашего друга Уайетта, тот успел выдернуть последние остатки волос. Отец не спешит, дабы показать свою власть.

– Не вижу в этом ничего дурного, – говорит Рич. – Если она у тебя есть. Милорд, сегодня Кристофер Хейлс принял присягу в качестве начальника судебных архивов. Он спрашивает, вы готовы съехать?

Он не собирался съезжать. От Чансери-лейн рукой подать до Уайтхолла.

– Скажите Киту, я найду ему другой дом.

– Жаль, вы не слышали короля, – говорит Рейф, – когда он сказал, сколь многим обязан нашему хозяину. Лорд Кромвель стал мне ближе, чем родственник.

– А потом вспомнил, что я из простых, – улыбается он. – Если бы не это, он был бы рад состоять со мной в родстве. – Он окидывает их взглядом. Все ждут. Он вспоминает слова Уайетта: вы на грани того, чтобы объяснять свои поступки. – Господь свидетель, я бы решил все давным-давно, но Мария должна была осознать, чего от нее хотят. Вы были на совете, Рич, когда король вышвырнул Фицуильяма…

– По-моему, вышвырнули его вы.

– Поверьте, так лучше. – Мне было тяжело вернуться к столу с цепью в руке, думает он. Затылком я ощутил холодок, словно моя голова отделилась от плеч. Но мне пришлось идти. Словно Иисусу по воде. Пришлось расправить крылья.

Мастер Ризли дотрагивается до его руки:

– Сэр, ваши друзья хотели, чтобы я сказал… они поручили мне сказать вам… они надеются, что доброе расположение, которое вы проявили к королевской дочери, вам не повредит. С одной стороны, достойно похвалы примирить отца с дочерью и заставить непокорное дитя подчиниться…

– Зовите-меня, возьмите клубники, – говорит Рич.

– …с другой стороны, у нас нет причин полагать, что благодарность воспоследует. Остается надеяться, что вам не придется жалеть о своей доброте.

– Гардинер будет рвать и метать, – говорит он. – Решит, что я хитростью добился преимущества.

– Но вы добились, – говорит Хелен. – Мария с вас глаз не сводила.

– Это другое, – говорит он. Она смотрела на меня, думает он, как на диковинного зверя: на что еще он способен? – Я обещал Екатерине за ней присмотреть.

– Что? – Рейф изумлен. – Когда?

– В Кимболтоне. Когда Екатерина была больна.

– И вы завалили в постель ту женщину на… – Грегори осекается. – Простите.

– На постоялом дворе. Но я не отравил ее мужа. Не измыслил преступления, за которое его могли бы повесить.

– Никто и не думал вас обвинять, – успокаивает его Рич.

– Епископ Гардинер обвиняет. – Он смеется. – Я видел ту женщину первый и последний раз в жизни.

Но я помню ее, помню, как на рассвете она пела на ступеньках трактира. Я помню комнату больной в замке и Екатерину, съежившуюся в горностаевом плаще. Ее лицо, отмеченное печатью пережитых страданий и страданий, которые еще предстоят. Неудивительно, что она не боялась топора. В тот день она назвала его «ничтожным». Он помнит юную женщину – теперь он знает, что это была Бесс Даррелл, – которая скользнула в тень с тазом в руках. Мастер Кромвель, спросила его Екатерина, вы исповедуетесь? На каком языке? Или вы не ходите к исповеди?

Он не помнит, что ей ответил. Возможно, сказал, что исповедовался бы, если бы чувствовал вину. Он уже уходил, когда: «Господин секретарь, постойте…»

Он подумал тогда – вечно одно и то же. Стоит повернуть к двери, сделать вид, что тебе больше нет до узника дела, – и он готов признаться, предложить взятку, назвать имя, которого ты ждал. «Вы помните нашу встречу в Виндзоре? – спросила тогда Екатерина и, не дрогнув, добавила: – В тот день, когда король меня бросил?»

Даже лебеди на реке застыли от жары, листья на деревьях поникли, собаки во дворе выводили свою собачью музыку, пока их звонкий лай не стих вдали, и

кавалькада величественных всадников двинулась через луга и поляны, королева упала на колени, молясь в полуденном свете, а король уехал на охоту и больше к ней не вернулся.

– Помню, – ответил он. – Ваша дочь была больна. Я заставил ее присесть. Не хотел, чтобы она потеряла сознание и расшибла голову.

– Считаете меня плохой матерью?

– Да.

– И все ж я верю, что вы мой друг.

Он посмотрел на нее с изумлением. Морщась от боли, вцепившись в ручки кресла, царственная дама встала. Горностаи соскользнули на пол, обнюхивая друг друга, сбившись в мягкую груду.

– Как видите, я умираю, Кромвель. Когда я больше не смогу ее защитить, не позвольте им причинить вред принцессе Марии. Я оставляю ее на ваше попечение.

Она не ждала от него ответа, только кивнула: вы свободны. Он ощутил запах кожаных переплетов ее книг, несвежего пота ее белья. Поклонился: мадам. Спустя десять минут он был в дороге – на пути к предстоящей задаче, туда, где обещания исполняются.

Грегори спрашивает:

– Зачем вы это сделали?

– Я ее пожалел.

Умирающую женщину в чужой стране.

Ты же меня знаешь, думает он. Должен был узнать. Генри Уайетт сказал мне, присмотрите за моим сыном, не дайте ему себя погубить. И я сдержал обещание, пусть ради этого мне пришлось его запереть. В дни кардинала меня называли псом мясника. Пес мясника силен и жилист. Я таков, и я хороший пес. Вели мне охранять что-нибудь, и я не подведу.

Ричард Кромвель говорит:

– Тогда вы не могли знать, сэр, о чем на самом деле просит вас Екатерина.

В этом смысл обещания, думает он. Грош ему цена, если ты заранее знаешь, во что тебе обойдется его исполнение.

– Что ж, – говорит Рейф, – вам удалось сохранить это в тайне.

– Я никогда не был открытой книгой.

– Мне кажется, зря вы согласились, – замечает Грегори.

– Что? По-твоему, не следовало мешать королю убить собственную дочь?

Ричард Рич спрашивает:

– Скажите, сэр, мне любопытно, насколько далеко простиралась ваша верность слову? Если бы Мария открыто выступила против короля, вы и тогда бы ее поддержали?

Ричард Кромвель отвечает:

– Мой дядя – королевский советник, который давал присягу. Его обещание Екатерине было не пустыми словами, но и не клятвой. Оно не связало бы его, если бы затронуло интересы короля.

Он молчит. Как сказал Шапюи, живых переубедить можно – с мертвыми не договоришься. Он думает: я связал себя. Почему? Почему тогда отвесил поклон?

Рич спрашивает:

– Мария знает об этом… как бы сказать… обязательстве?

– Никто не знает, кроме меня и вдовствующей Екатерины. Я никогда о нем не упоминал.

– Не стоит и впредь о нем распространяться, – продолжает Рич. – Пусть и дальше остается в тени.

Он улыбается. Все, произнесенное таким вечером в саду, покрыто туманом. В Аркадии.

Ричард Кромвель поднимает глаза:

– Не пытайтесь сделать из этого грязный маленький секрет, Рич. Это было проявление доброты, и ничего больше.

– А вот и Кристоф, – говорит Рейф. – «Et in Arcadia ego»[17].

Туша Кристофа заслоняет последние солнечные лучи.

– Шапюи пришел. Я велел ему оставаться в доме, пока не узнаю, расположен ли мой хозяин его принять.

– Надеюсь, ты изложил эту мысль вежливее, – говорит Рейф и встает.

– Я приведу его, – вмешивается Грегори.

Его сын видит, что Рейф не готов встретить посла. Рейф снимает шляпу и приглаживает волосы.

– Так ты выглядишь опрятнее, – замечает он, – но едва ли счастливее.

Рейф говорит:

– По правде сказать, Мария поразила меня, когда я привез в Хансдон бумаги. Сбежала с лестницы – мне не приходилось раньше видеть благородную даму необутой, только если на пожаре. Когда она выхватила письмо из моих рук, я решил, она хочет его порвать. А затем она с воплем унеслась, словно в руках у нее карта острова сокровищ.

– Этим сокровищем, – говорит он, – была ее жизнь.

– Я не поручусь за надежность этой дамы, – говорит Рич. – Боюсь, она может оказаться поддельной монетой.

Хелен поднимает глаза:

– Тише, наш гость.

Грегори говорит:

– Он не понимает по-английски.

– Разве? – удивляется Хелен.

Они смотрят, как посол пересекает лужайку, блестя, словно черный с золотом светлячок.

– Рад случаю вас приветствовать, – говорит Шапюи. – Мастер Сэдлер, какое наслаждение видеть вас в кругу семьи. Как буйно цветет ваш сад! Вам следует посадить виноградную лозу и обвить ее вокруг решетки, как у Кремюэля в Кэнонбери. – Посол берет руку Хелен. – Мадам, вы не говорите по-французски, а я по-английски, но, даже владей я вашим языком, слова бессильны. Таким прекрасным цветком можно лишь молча любоваться. – Посол поворачивается. – Итак, Кремюэль, мы пережили dies irae[18]. И все ваши мальчики здесь. Думаю, мы можем друг друга поздравить. До меня дошли слухи, что король пожаловал дочери тысячу крон, не говоря об алмазе, который стоит не меньше, и предоставил гарантии ее будущего. Поверьте мне, джентльмены, если Кремюэль сумел усмирить леди Марию, вскоре он спустится в ад и уговорит Сатану пожать руку Гавриилу. Поймите меня правильно, я не сравниваю молодую даму с дьяволом. Однако должен признать, его жалобы, что она самая упрямая женщина на свете, вполне обоснованны.

Надо же, думает он, она показала тебе billet doux[19], что я ей прислал. Они обнимаются. Он боится раздавить хрупкие кости посла. Шапюи с улыбкой оглядывается:

– Друзья, пусть это будет началом эры согласия. Никому не нужна ни еще одна мертвая дама, ни война. Ваш правитель не может позволить себе воевать, мой господин любит мир. Я всегда говорю, что войны начинаются в человеческое время, а заканчиваются во время Господне. Какой прелестный летний дом. – Посол ежится. – Простите, сырость. Мы не войдем внутрь?

– Что за ужасный климат, – замечает Рейф.

– Увы, – соглашается посол, следуя за хозяином дома. – Будете в Италии…

Хелен собирает кубки:

– Кристоф, забирай, но осторожнее со святым Лукой, – кажется, он треснул. Должно быть, Ричард Рич его грыз. Придется использовать для цветов.

– Шапюи смотрел на вас с вожделением, – говорит Кристоф. – Он сказал, когда я вижу мистрис Сэдлер, я сгораю от желания и жалею, что не говорю на ее языке. Я готов сразиться за нее с самим королем Генрихом!

– Ничего подобного он не говорил! – смеется Хелен. – Ступай в дом, Кристоф. – Она берет его за руку. – Вы не закончили историю, сэр. Про Аталанту со шпалеры.

Лучше бы это была другая история, думает он.

– Она была девственницей, – подгоняет его Хелен, – а ее отец… А дальше вы замолчали.

– Он хотел выдать ее замуж, но она питала неприязнь к супружеской жизни.

– Она вызывала женихов на состязание, – вступает Грегори. – Аталанта была самой быстрой бегуньей в мире.

– Если обожатель сумел бы обогнать Аталанту, ей пришлось бы стать его женой, но если побеждала она, то…

– Он лишался головы, – встревает Грегори. – И это доставляло ей большое удовольствие. Головы валялись повсюду, нельзя было сделать и шагу, чтобы из оливковой рощи тебе под ноги не выкатилась голова. В конце концов она вышла замуж за того, кто сумел ее обогнать, но ему помогла богиня любви.

Позднее, в тающем свете галереи Грегори аккуратно разворачивает ее к шпалере:

– Видите золотые яблоки? Венера дала их жениху, и, когда они побежали, он бросил яблоки под ноги Аталанте.

– Это яблоки? – Хелен разглядывает шпалеру, смеется, посасывая палец. – Я и не поняла, что они бегут. Решила, играют в шары. Видите ее руку? Я думала, она только что бросила шар.

Он видит, как рука хватает воздух. Понятно, почему Хелен ошиблась.

– Так что случилось? – спрашивает кто-то. – Она споткнулась о яблоки?

Голоса бормочут, гости расходятся, свет гаснет. Птицы устраиваются на ночлег под крышей. Вечерня и повечерие отслужены. Холодная роса выступает на траве. Ставни защищают дом от озерных и болотных испарений. Аталанта хватает золотое яблоко, сдается. Нельзя сказать, что она уступает намеренно, но ей ведомо, что ее ждет, если она собьется с пути.

– Возможно, она просто устала бежать, – говорит Хелен.

– Ей была не чужда корысть, – говорит он. – «Et in Arcadia»[20].

– Она вышла замуж? – Хелен оценивает героиню мифа – женщину с распущенными волосами, простертыми обнаженными руками. – Думаю, муж запретил бы ей бегать с голыми сиськами. Впрочем, возможно, в те времена мужьям не было до этого дела.

Он думает, я видел ее в Риме, высеченную в мраморе: сильные тонкие ноги, туника в складку, торс, прямой, как у мальчика. Некоторые мифы утверждают, что Аталанта была неравнодушна к плотской жизни. Она разделила ложе с супругом в храме языческой богини, а после обратилась львицей.

По крайней мере, думает он, этого можно не опасаться. Превращение в дикого зверя дочери Генриха не грозит. Когда-нибудь Марии придется выйти замуж, но пока у ее порога не толпятся женихи, заключившие договор с богиней любви. Завтра утром она возвращается в Хертфордшир. Король с королевой собираются провести вместе свое первое лето. Нанесут визит в Дувр. Когда закончится сессия парламента, отправятся на охоту. Кольцо, неожиданный дар, будет уменьшено. Но изумрудная подвеска достанется не Марии, цветущей ветви Арагона и Кастилии, а Джейн, дочери Джона Сеймура из Вулфхолла.

Возможно, вам доводилось видеть в Италии картину, которая изображает дом, у которого отсутствует четвертая стена? Художник хотел показать внутреннее убранство комнаты, где дева преклонила колени на prie-Dieu[21] в окружении ваз со спелыми плодами. Дева ушла в себя, лицо сосредоточенное, она скинула туфли и ждет благодати. Вы уже видите ангела, золотым пятном реющего на фоне неба над крышей. Горожане внизу спешат по своим делам, кто-то поднял голову, привлеченный колыханием воздуха. На соседней улице под аркой, ниже на лестничный пролет, хозяйка развешивает белье, кто-то восстает из мертвых. Белые пеликаны расселись на крыше в ожидании вести о пришествии Христа. Епископ в митре пересекает площадь, павлин сидит на балконе среди горшков с цветами, перистые облака растянулись рулонами шелка над городом – городом, который сам изображен на блюде в миниатюре, его перевернутые очертания мягко сияют на серебристой поверхности: шпили и башни, сады и колокольни.

А теперь вообразите Англию, ее столицу, где лебеди плавают среди речных судов, а ее мудрые дети наряжены в бархат. Широкая Темза – ползучая дорога, по которой королевская барка несет от дворца к дворцу короля и его молодую жену. Отдерните занавески, которые защищают их от нескромных взглядов, и увидите ее скромно сдвинутые ножки в крохотных парчовых туфельках, лицо опущено, королева внимает виршам, которые шепчет ей в ухо король: «Грущу, сударыня, похищен поцелуй…» Его мощная рука подбирается к ней, кончики пальцев вопрошающе замерли на животе. Руки короля в огне, на каждом пальце рубин. Внутри камней мерцает свет, мелькают серые и белые облака. Рубин веселит душу и защищает от чумы. Врачи рассуждают о его страстной натуре, подразумевая страстный нрав короля. Изумруд также обладает чудодейственными свойствами, но во время соития может расколоться. И все же его зелень не сравнится ни с какой другой земной зеленью – это арабский камень, его находят в гнездах грифона. Его зеленые глубины лечат утомленный ум и, если всматриваться в него не отрываясь, делают глаза зорче. Смотрите… улица расступается, стены распахиваются: перед вами королевский советник, поглощенный думами, на пальце бирюза, в руке перо.

В день середины лета стены Тауэра расцвечены стягами и вымпелами цвета солнца и моря. Потешные сражения разыгрываются посередине реки, а грохот пушечных выстрелов тревожит извилистые протоки устья и рыбу в ее глубинах. Во время торжеств и увеселений королеву Джейн показывают лондонцам. Она едет рядом с королем в здание гильдии шелкоторговцев на парад городской стражи. Две тысячи человек в сопровождении факельщиков проходят от собора Святого Павла до Вестчип и Олдгейта и через Фенчерч-стрит обратно на Корнхилл. На констеблях алые плащи и золотые цепи, сияет оружие, и лорд-мэр вместе с шерифом скачут в доспехах и багряных сюрко. Танцоры и великаны, вино, пироги и пиво, сверкающие во тьме фейерверки. «О Лондон, ты цветок средь прочих городов».

III

Обломки (2)

Лондон, лето 1536 г.

Знаете, почему говорят: «Нет дыма без огня»? Это не слова ободрения тем, кто любит огонь, а предупреждение об опасности дымоходов, но равно и королевских дворов – как и любых пространств, где спертый воздух не находит выхода. Случайная искра, сажа с треском воспламеняется, пламя с ревом взмывает в небеса, несколько минут – и дворец полыхает.

В начале июля grandi[22] играют тройную свадьбу, объединяя состояния и древние имена. Маргарет Невилл выходит за Генри Мэннерса, Энн Мэннерс за Генри Невилла. Доротея Невилл станет женой Джона де Вера.

Милорд кардинал как свои пять пальцев знал все их титулы, гербы и родословные, все родственные связи по вторым-третьим бракам, всех крестных и крестников, опекунов и их подопечных, все прибыли от поместий, приходы и расходы, судебные тяжбы, древние свары и неоплаченные долги.

Празднование почтил своим присутствием сын и наследник Норфолка Генри Говард, граф Суррейский. Юный граф намерен провести лето, охотясь с королем и Фицроем. С детства он был товарищем королевского сына, и Ричмонд смотрит ему в рот. Суррей везде поспел, ему нет равных ни в чем, играет ли он в карты или в кости, ставит на игроков или сам выходит на корт, гарцует на ристалище или танцует, исполняет песенки собственного сочинения или вписывает их в дамские альбомы, украшенные рисунками лент, сердец, цветов и стрел Купидона. Его брак с дочерью графа Оксфордского не помеха волокитству. Не будем строги к поэтам – мы не ждем, что Суррей исполнит все обещания. Он молод и долговяз: длинные ноги, длинные пестрые чулки. Суррей торит свой путь, возвышаясь над простыми смертными, как на ходулях.

Его презрение к лорду Кромвелю не имеет границ: «Я приму во внимание ваш титул, лорд Кромвель. Впрочем, для меня вы остались тем, кем были».

Тройная свадьба побуждает короля задуматься о других браках. Из-за близости к трону его племянница, шотландская принцесса, лакомый кусок. Если Джейн не преуспеет, а Фицрой не получит поддержки парламента, однажды Маргарет Дуглас может стать королевой. Никому не по душе идея посадить женщину на трон, но, по крайней мере, Мег хороша собой и не спесива. Она живет под покровительством короля с двенадцати лет, и Генрих любит ее, как родную дочь. Кромвель, замечает король, пометьте: мы должны найти для нее принца.

Однако король медлит, король откладывает. Вечно одно и то же, те же трудности были с Марией, бывшей наследницей, или с Элизой, другой наследницей, пусть и недолго. Выбери мужа будущей королеве, и ты выберешь английского короля. Жена подчиняется мужу: это долг любой женщины, даже королевы. Но как довериться чужестранцу? Англию может ждать судьба провинции, управляемой из Лиссабона, Парижа или с востока. Лучше выдать ее за англичанина. Но как только жених будет назван, подумай, что возомнит о себе его семейство. Подумай о зависти и злобе великих домов, чьих сыновей обошли.

Ты смотришь на королеву Джейн и спрашиваешь себя: да или нет? И если да, то когда? Женщины записывают дни своих регул. Вероятно, записывают и за другими, присматриваются опытным взглядом, готовые разнести добрые или злые вести. И двух месяцев не прошло после королевской свадьбы, но вы уже ощущаете нетерпение короля.

Вместе с Фицуильямом и Ризли он незаметно покидает гостей, чтобы заняться бумагами в задней комнате. На Фицуильяме цепь казначея. Король простил ему выходку на совете. Это сделано из любви к нам, сказал Генрих. Казначей сжимает цепь, гадая, прогрызают ли личинки тщеславия ходы в мозгу герцога Норфолка:

– Говорю вам, Сухарь, если бы молодой Суррей не был женат, отец домогался бы для него шотландской принцессы или, на худой конец, Марии, если ее восстановят в правах наследования. Покуда была жива его племянница Анна, Норфолк кичился тем, что трон достался Говардам, и не готов отказаться от честолюбивых планов.

Не очень-то она привечала дядюшку Норфолка, замечает он. Покойная королева ни с кем не считалась. Ни со мной, ни с вами, ни даже с королем. Впрочем, длинноногий уже женат, поэтому здесь дядюшке Норфолку ловить нечего.

– И даже будь Суррей свободен, – добавляет Ризли, – сомневаюсь, что Мария выберет Говарда. После того, как Норфолк обещал размозжить ей голову.

Король прибывает на празднования в Шордич. Он и его свита наряжены турками: бархатные тюрбаны, шаровары полосатого шелка, алые башмаки с кисточками. В конце пира король ко всеобщему ликованию снимает маску.

Молодой герцог Ричмонд уходит рано, разгоряченный вином и танцами. Уходит рано и Ризли, что куда более неожиданно.

– Я пойду в Уайтхолл, сэр, и как только…

Фиц смотрит ему вслед:

– Вы ему доверяете? Ему, выкормышу Гардинера? – Он трет щеку. – Впрочем, вы никому не доверяете, не так ли?

– Всем нам нужен второй шанс, Фиц. – Он подкидывает в ладони казначейскую цепь.

Всю прошлую неделю, завидев Кромвеля, лорд Одли в притворном ужасе хватался за свою.

Его обычные шуточки. Одли знает, что он, лорд Кромвель, не претендует на канцлерский пост. Государственный секретарь обладает любыми полномочиями, какие пожелает, и с утра до ночи рядом с королем, ловит каждый его знак.

К середине июля обустройство двора леди Марии идет полным ходом. После визита в Хакни – в дом, который отныне зовется «королевским», – она возвращается в Хертфордшир. После слез, обещаний, отцовских клятв, что отныне он ее от себя не отпустит, наступает период охлаждения: Генрих понимает, что должен отдалиться от дочери, чтобы подавить все домыслы, будто готов снова объявить ее наследницей. Леди Хасси, жену ее бывшего управляющего, держат в Тауэре после досадной оговорки на Троицу. Король требует уважения к собственной дочери, но не желает, чтобы ее именовали «принцессой». К тому же он хочет показать Европе: не он нуждается в Марии, а она в нем.

В Хакни она промолвила, так тихо, что расслышал только он: «Я вам обязана, лорд Кромвель, и буду молиться за вас до конца моих дней». Но случись что, и ему может потребоваться нечто большее, чем молитвы. Он зовет Ганса, хочет сделать ей подарок. Она молода и нуждается во внимании. Он намерен подарить ей нечто куда более ценное, чем скаковая лошадь. То, что будет напоминать ей о последних опасных неделях и о том, кто отвел ее от края пропасти. Он думает о кольце, на котором будет выгравирована похвала смирению. Смирение нас связывает, смирение каждого пред Господом. Благодаря Ему мы живем в человеческих домах и жилищах, а не прячемся в полевых норах и убежищах, словно дикие звери. Но даже звери покоряются льву, проявляя мудрость и благоразумие.

Граверы искусны, они могут вырезать молитву или стих мелко-мелко. Однако, предупреждает Ганс, кольцо все равно будет весить немало, – возможно, женщине с маленькими ручками оно не подойдет. Тогда пусть привесит его на цепочке к кушаку, рядом с миниатюрой, изображающей отца, – туда, где уже носит образки, которым молятся юные девы: святая Урсула и одиннадцать тысяч дев, Фелицитата и Перпетуя, съеденные живьем на арене.

У Ганса круглое лицо, деловитое и простодушное. Не скажет ни слова поперек, в его речах не бывает второго дна. Никогда.

– А почему бы не сделать подвеску? Медальон? И места больше, чтобы поместить добрый совет.

– Но кольцо это…

– Знак, – говорит Ганс. – Томас, как вы можете быть таким…

Посланцы от герцога Ричмонда. В последнее время его постоянно прерывают на полуслове, что в собственном доме, что в королевских покоях, в конюшне, часовне или в комнате совета.

– Уже иду, – говорит он и добавляет, обращаясь к Гансу: – Нужно подумать.

Он оставляет стол, заваленный набросками, – его идеи, исправления Гольбейна. Он должен снова повторить Марии то, что проговорил недостаточно ясно. Вы взвалили на себя ношу и несли ее в одиночку. А теперь взгляните, к чему это привело. Ваши плечи поникли, вы устали, согнулись под грузом прошлого, а ведь вам всего двадцать. Хватит. Пусть бремя ляжет на тех, кто сильнее, кто избран Господом нести тяжкий крест государственного правления. Оглянитесь вокруг, оторвите глаза от молитвенника. Улыбнитесь. Вы удивитесь, какую легкость вы почувствуете.

Разумеется, он не станет объясняться с женщиной в подобных выражениях. Поникли, согнулись, – чего доброго, Мария обидится. Иногда она выглядит в два раза старше своих лет, иногда кажется несформировавшейся девочкой.

В Сент-Джеймсском дворце люди Ричмонда увлекают его в комнату больного, закрытую ставнями от летней жары.

– Доктор Беттс, – кивает он и отвешивает поклон жалкому комку под грудой одеял.

При звуке его голоса молодой герцог шевелится и откидывает одеяла:

– Кромвель! Вы не исполнили того, что я вам велел. Я говорил, что парламент должен объявить меня наследником. – Он ударяет в подушку кулаком, словно та противится его законным правам. – Почему моего имени нет в билле?

– Потому что милорд ваш отец еще не решил, – отвечает он просто. – Билль позволяет королю выбрать того, кто будет ему наследовать. И вам известно, что ваши шансы велики.

Слуги сгрудились вокруг постели, под присмотром доктора они укладывают молодого герцога обратно на подушки, встряхивают одеяла, укутывают больного. Большая миска воды булькает на жаровне, увлажняя воздух. Ричмонд подается вперед, кашляет. Его лицо горит, сорочка в пятнах пота. Подавив приступ кашля, он откидывается назад, дотрагивается до груди.

– Болит, – говорит он Беттсу.

– Перевернитесь на больной бок, милорд.

Юноша отгоняет слуг. Он хочет видеть Кромвеля и не собирается отказываться от своего намерения. Ричмонд говорит что-то, но слова бессвязны, и вскоре

его веки начинают трепетать. По знаку доктора слуги убирают подушки и укладывают больного на бок.

Беттс жестом подзывает его, сюда, милорд.

– Обычно я заставляю его сидеть, чтобы облегчить дыхание, но ему нужен сон, и я прописал микстуру. Иначе он может вскочить и сделает себе только хуже. Его беспокоит яд, часто упоминает вас. – Доктор делает паузу. – Я не говорю, что он вас обвиняет.

– Некоторые люди постоянно думают, что их отравили. Я слышал про такое в Италии.

– В Италии, – говорит Беттс, – у них, вероятно, есть для этого основания. Я говорю ему, милорд, отравление обычно проявляется спазмами и ознобом, рвотой и помрачением сознания, жжением в горле и кишках. Но тогда он вспоминает Вулси, говорит, что перед смертью тот испытывал боль в груди.

Он бесцеремонно тянет доктора за полу. Есть разговоры, не предназначенные для чужих ушей. В покоях герцога не протолкнуться: слуги, те, кто пришел пожелать больному выздоровления, вероятно, кредиторы. Схоронившись в оконном проеме, он бормочет:

– Кстати, насчет Вулси. Не знаю, откуда у юного Фицроя такие сведения, но как вы считаете, это похоже на правду?

– Что кардинала отравили? – Беттс пристально смотрит на него. – Понятия не имею. Скорее, его подвело сердце. Напрягите память. Я восхищался вашим старым господином и делал все, чтобы примирить его с королем. – Беттс выглядит озабоченным, словно боится, что он, Кромвель, затаил обиду. – В конце жизни его пользовал доктор Агостино, не я. Говорят, он голодал и прочищал желудок, что нежелательно во время путешествия в зимнюю пору… к тому же вспомните, что ждало его в конце пути. Суд или лишение прав без суда, затем Тауэр. Страх способен многое сотворить с человеком.

Он говорит:

– Кардинал не боялся ни живых, ни мертвых.

– О чем не преминул вам сообщить, полагаю. – Ясно, что доктор недоумевает, к чему ворошить прошлое? – Не думайте, будто я придаю значение словам Ричмонда. Когда король болен, он убежден, что против него ополчится весь мир. Юноша весь в отца, невыносимый пациент. Когда его лихорадило, он заявил: «Это всё Говарды – Норфолк не испытывает ко мне отцовских чувств, он любит меня только потому, что я королевский сын. И если я не стану королем, я для него бесполезен. А теперь Норфолк во мне не нуждается – он нашел другой способ подобраться к трону, честный или бесчестный».

– Если задуматься, честных способов нет.

– Что до меня, я предпочитаю об этом не задумываться, – говорит доктор Беттс.

– Были свидетели его слов?

– Рядом стоял доктор Кромер. С Божьей помощью и посредством врачебной науки мы обуздали лихорадку, а с ней и разговоры об измене.

– Но если не яд, что тогда?

Помимо уязвленного самолюбия, думает он.

Доктор пожимает плечами:

– Июль. Мы должны быть за городом. Вы принимаете слишком много законов, милорд. Распустите парламент, и мы немедленно покинем Лондон. Говорят, города изобрел Каин, а если не он, то кто-то другой, столь же склонный к смертоубийству. – Доктор отворачивается, чтобы уйти, но медлит. – Милорд, насчет королевской дочери… Доктор Кромер поручил мне передать вам наше общее мнение. Вы справились лучше нас, эскулапов. Ее дух был так подавлен папистскими обыкновениями, что ее здоровье и разум истощились. Говорят, ваше присутствие в Хакни подействовало на нее, как зелье Асклепия.

Асклепий, бог врачевателей, обязан своим искусством змее. Он спасал тех, кто был на пороге или даже за порогом смерти. Аид, боясь лишиться притока покойников, возревновал.

– Здесь нет моей заслуги, – говорит он. – Приятная компания пробудила аппетит. Она держит пост. Словно ее плоть недостаточно истощена.

– Если бы король потрудился спросить нас, мы настоятельно рекомендовали бы выдать ее замуж. Мои коллеги показывали мне сочинения древних, в которых описана подобная немощь: юные девы, исполненные пылкости, усердия и одолеваемые фантазиями, склонны морить себя голодом, будучи принуждаемы к чему-либо помимо их воли. Их девственность – причина недуга, и, если не устранить ее, они начинают видеть духов и пытаются повеситься или утопиться.

– Я бы сказал, нам это не грозит.

Интересно, можно ли не видеть духов? Они ведь обычно являются незваными. Когда люди упоминают кардинала, он спрашивает себя: если бы я был с ним тогда, поддался бы он яду, страху, чему-то еще? Некоторые утверждают, что кардинал наложил на себя руки. Он вспоминает промозглый и темный конец тысяча пятьсот двадцать девятого года: Томас Говард и Чарльз Брэндон врываются в Йоркский дворец, как умеют врываться только герцоги, набивают сокровищами Вулси дорожные сундуки; бубнящие писари составляют описи серебряной посуды и драгоценных камней; от реки тянет холодом, с навеса барки капает, призрачные голоса глумятся во влажном тумане. В Патни, когда они пересекали пустошь, их нагнали лошади; Гарри Норрис, весь в мыле, соскочил с седла – передать невразумительное послание короля. Он видел, как вспыхнули глаза его господина, как прояснилось лицо. Вулси решил, что кошмар закончился, что Норрис отвезет его домой, и упал на колени – кардинал, коленопреклоненный в дорожной пыли.

Однако Норрис покачал головой и что-то зашептал ему на ухо, притворяясь расстроенным. Когда надежда испарилась, вместе с ней ушли силы Вулси, и словно под воздействием чар он мгновенно переменился: неуклюжий,

бормочущий старик. Слуги отряхнули пыль с его ладоней, усадили его в седло, вложили поводья ему в руки, словно ребенку. Без всякого почтения, для это не было времени, а еще этот мерзавец Секстон хихикал и выкидывал коленца, пока он угрозами не заставил его угомониться. Они приехали в Ишер, к холодному очагу и пустым кладовым, к низким лежанкам, освещая путь сальными свечками в оловянных подсвечниках. По крайней мере, погреб оказался полон, и вместе с Джорджем Кавендишем, человеком кардинала, они пили всю ночь – сказать по чести, были так напуганы, что не смогли бы уснуть.

Если бы я знал, чем все закончится, поступил бы я иначе? Впереди ждала суровая зима; голодный, нечесаный, в отчаянии, он ежедневно скакал через Суррей по лужам, в сумерках, доставляя своему господину вести из парламента: что было сказано и сделано против Вулси, колкости Томаса Мора и грубые измышления Норфолка. Ни еды, ни отдыха, ни молитвы, он приезжал и уезжал в темноте, взбираясь на дышащего паром жеребца. Зима туманов, влажной шерсти и дождя, ручьем стекающего с гладкой кожи. И Рейф Сэдлер, промокший и замерзший до дрожи, как щенок грейхаунда, одни ребра да глаза: изумленный, потерянный, не проронивший ни единой жалобы.

И все же спустя шесть лет он в Сент-Джеймсском дворце: барон Кромвель, солнце сияет. Над головами слуг мастер Ризли выкликает его имя. Протиснувшись в комнату, Ризли отчаянно размахивает шляпой с пером, на лице румянец, шнуровка на вороте распущена.

– Не ходите туда, – говорит он, торя путь из комнаты больного. – Иначе Фицрой объявит вас отравителем.

Доктор Беттс хихикает:

– Я вижу, вам не терпится поделиться новостями, юноша. Что ж, я вас покидаю. Но прислушайтесь к моему совету, каким бы срочным ни было ваше дело, никогда не спешите на жаре. И шляпу носите на голове, а не в руках, иначе солнце сожжет вашу бледную кожу. А воду лучше пить теплую – от холодной случаются колики. И ни в коем случае не прыгайте в реку.

– Не буду. – Ризли изумленно взирает на доктора.

Тот касается полей шляпы и удаляется.

Глядя ему в спину, Ризли спрашивает:

– Фицрой поправится?

Беттс безмятежен:

– Видал я и более безнадежные случаи.

Они выходят на солнцепек, спинами ощущая жар. Ризли обращается к нему:

– Сэр, я допросил слуг шотландской принцессы.

– С какой целью? И наденьте вы шляпу. Беттс дело говорит.

Молодой человек аккуратно надевает шляпу, хотя рядом нет зеркала, чтобы восхититься тем, под каким углом она надвинута, пристально смотрит на хозяина, словно пытается разглядеть в его глазах отражения маленького Зовите-меня.

– Я давно подозревал, с ней что-то не так, – неделями вертел эту мысль в голове, – ее виноватый вид в вашем присутствии, словно она боялась, что неприятная правда выйдет наружу, и…

– Вы думали, что дамы обменивались тайными знаками.

– Вы смеялись надо мной, – говорит Ризли.

– Да. Итак, что вы обнаружили? Надеюсь, не любовника?

– Я должен извиниться, сэр, что забежал вперед вас, – я понял на свадьбе, но не стал говорить, пока не добыл доказательства. Я допросил ее капеллана, слуг Харви и Питера, конюхов: не было ли у принцессы тайных свиданий? И они не стали скрытничать, все, за исключением капеллана, который боится.

Он начинает понимать:

– Как я мог быть таким наивным? Кто он? Кто знает? Кто из женщин, я имею в виду?

Мастер Ризли говорит:

– Женщин я оставляю вам.

Шорох мягких подошв, спешка, внезапное исчезновение бумаг, шиканье, шелест юбок, грохот дверей; затаенный вздох, косой взгляд, быстрый росчерк пера, невысохшие чернила; шлейф аромата и воска, которым запечатывают письмо. Всю весну мы следили за Анной-королевой, ее привычками и обыкновениями, ее стражниками и воротами, ее дверями и потайными комнатами. Мы наблюдали за джентльменами короля в гладком черном бархате, невидимыми, если только лунный свет не упадет на расшитую бисером манжету. Мы различали внутренним оком силуэт – там, где никого не должно быть. Мужчина, крадущийся вдоль пристани к лодке, терпеливый гребец, которому заплачено за молчание, и ничто не выдаст тайны, кроме легкой волны и мерцающей серебром зыби на реке, видавшей многое. Лодка качается, всплеск, широкий шаг, сапоги неизвестного мерят скользкий причал: он в Уайтхолле или Хэмптон-корте, куда бы ни ехала королева и ее фрейлины. Тот же трюк на твердой земле: монетка конюху, незапертая дверь или ворота, стремительный бросок вверх по лестнице в комнату, где дрожит пламя свечей. Что дальше? Поцелуи и преступные объятия, пуховая перина, на которой Мег Дуглас, племянница короля, раскинулась в ожидании запретных наслаждений.

Зовите-меня говорит:

– Это Томас Говард. Меньшой, конечно. Единокровный брат Норфолка.

– Томас меньшой.

– Навеки ваш, Правдивый Том. Завлек ее своими виршами, сэр. Совлек с нее покровы своим хитроумием.

Катастрофа, думает он. Всю зиму и весну мы не сводили глаз с Анны, а приглядывать следовало за другой. Правдивый Том на реке, Правдивый Том в темноте. Срывает с себя рубаху, срам выпирает через белье, шотландская принцесса лежит на спине, раздвинув округлые бедра. Для Говарда.

Он спрашивает Зовите-меня, как Мег умудрилась оставаться с ним наедине? При дворе столько остроглазых матрон. Взять ту же миледи Солсбери, Маргарет Поль. Она до сих пор состоит при новой королеве, поскольку король, пусть и взбешен поведением ее сына, предпочитает держать графиню перед глазами. Разумеется, чтобы сохранить лицо перед миром, мы делаем вид, будто никакого письма не было, будто проклятая книга все еще в Италии, где Поль сражается с непослушными фразами.

Мы предпочитаем многого не замечать. И вот характерный пример.

– Сначала поговорим с Мег.

Он представляет, как она бежит к ним, растрепанная и простоволосая, вылитая Аталанта, рот открыт, в горле замер протяжный вопль.

Поначалу она возмущена и все отрицает: какое право вы имеете вмешиваться в мою жизнь? Мне донесли… говорит он. Как, кто?

– Ваши собственные люди, – отвечает он и видит, как ранит ее это открытие, как она заливается слезами размером с яблочное семечко.

Ее подруга Мэри Фицрой, дочь Норфолка, стоит рядом.

– И что же такого особенного донесли вашей милости слуги? – Голос Мэри Фицрой сочится ядом.

– Мне донесли, что леди Маргарет уединялась с одним джентльменом.

Мэри Фицрой кладет руку на плечо Мег: молчи, ничего не говори. Но Мег вспыхивает:

– Что бы вы ни думали, вы ошибаетесь! И нечего так на меня смотреть!

– Как, миледи?

– Словно я шлюха.

– Господь покарает меня, если я хотя бы на миг…

– Так знайте, мы с Томасом Говардом женаты. Мы принесли друг другу обеты и свято их соблюдаем. Вы не сможете нас разлучить. Наш брак законен во всех смыслах. Вы опоздали, все кончено.

– Возможно, не все, – говорит он. – Будем надеяться, что нет. Когда вы сказали «во всех смыслах», что вы имели в виду? Я не понимаю. Посмотрите на мастера Ризли – он тоже теряется в догадках.

На столе перед ними эскизы кольца для леди Марии. Мастер Ризли сдвигает их в стопку, торжественный, как алтарный служка. Его взгляд задерживается на эскизах, где линии вьются и переплетаются.

– Простите, сэр, – бормочет он и кладет на листы книгу.

Тоже верно. Не хватало только, чтобы Мег взяла эскиз и высморкалась в него. Он спрашивает Мэри Фицрой:

– Вы не присядете?

– Мне и на ногах хорошо, лорд Кромвель.

– Итак, что мы имеем.

Мастер Ризли поднимает табурет, вопросительно глядя на Мег. Когда ее носовой платок промокает от слез, она комкает его и бросает на пол, и Мэри Фицрой подает ей новый: он вышит эмблемами Говардов, и Мег промокает щеки синеязыким львом Фицаланов.

– Кромвель, у вас нет права сомневаться в моих словах. Отведите меня к моему дяде-королю.

– Поверьте, лучше вам иметь дело со мной, миледи. Я могу доложить королю, но сперва нам следует решить, как преподнести ему эту новость. Разумеется, вы хотите сохранить ваше доброе имя. Это мы понимаем. Но ни вам, ни мне лучше не станет, если вы будете настаивать, что состоите в браке, поскольку вы с лордом Томасом принесли свои обеты без разрешения и согласия короля.

– И мы не станем вас выгораживать, – говорит Ризли, поднимая перо. – Итак, какого числа состоялась ваша помолвка?..

Новый поток слез, и новый носовой платок. Интересно, думает он, что будет делать Мэри Фицрой? Это платок точно последний. Задерет юбку и оторвет кусок ткани от исподнего?

Мег говорит:

– Какая разница когда? Я люблю лорда Томаса больше года. Поэтому вы не сможете и мой дядя не сможет утверждать, что мы действовали необдуманно. Вы не разлучите нас, ибо наши судьбы соединены пред Господом. Миледи Ричмонд подтвердит мои слова. Она все знала, и, если бы не ее помощь, мы бы никогда не познали блаженства.

Он поднимает глаза:

– Вы сторожили за дверью, миледи?

Мэри Фицрой съеживается. Угодить такой молоденькой в такую мясорубку…

– Вы подавали им сигнал, когда старшие уходили? – высказывает предположение Ризли. – Вы поощряли их свидания? Вы присутствовали при помолвке?

– Нет, – отвечает она.

Он оборачивается к Мег:

– Таким образом, свидетелей ваших слов нет. Заметьте, я говорю «слов», не осмеливаясь упоминать «клятвы» или «обеты».

Отрицай, шепчет он Мег еле слышно, отрицай все вместе и по отдельности и будь настойчива в своем отрицании. Никаких слов. Никаких свидетелей. Никакой помолвки.

Мег вспыхивает:

– Но свидетель есть. Мэри Шелтон стояла за дверью.

– Снаружи? – Он качает головой. – Это ведь не может считаться свидетельством, верно, мастер Ризли?

Ризли смотрит на него с яростью. Это ведь он раскрыл заговор и не хочет, чтобы дело замяли:

– Леди Маргарет, вы и ваш любовник обменялись подарками?

– Я подарила лорду Томасу свой портрет, украшенный алмазом. – Она с гордостью добавляет: – А он подарил мне кольцо.

– Кольцо еще не доказательство, – утешает он ее, взгляд скользит по наброскам. – Вот, смотрите, эскизы кольца, которое делают для леди Марии. Знак дружбы, не более того.

Мэри Фицрой перебивает:

– Это целебное кольцо, такие дарят друг другу знакомые, дешевенькое.

Ризли спрашивает:

– А теперь вы скажете, что и алмазик был крошечный?

– Такой крошечный, – отвечает Мэри Фицрой, – что я сперва его не заметила.

Ему хочется ей аплодировать. Она не боится Зовите-меня, хотя даже я его порой побаиваюсь.

– Никаких доказательств на бумаге? – спрашивает он Мег. – Я имею в виду, кроме…

Стихов, думает он.

Девушка говорит:

– Я не отдам вам мои письма. Я ни за что с ними не расстанусь.

Он смотрит на Мэри Фицрой:

– Покойная королева знала об этих делах?

– Разумеется. – В ее тоне презрение, но к нему ли, к его вопросу или к Анне Болейн?

– А ваш отец Норфолк? Он знал?

Мег перебивает:

– Мой муж, – она смакует слово, – мой муж решил, будем держать все в тайне. Сказал, если мой брат Норфолк узнает, он будет трясти меня, пока зубы не выпадут, поэтому станем скрывать, пока можно. Но после… – Мег закрывает глаза, – не знаю, вероятно, он ему рассказал.

Он вспоминает тот день в Уайтхолле, разговор с Норфолком и Правдивым Томом, прерванный призывом короля. Он сказал тогда: «Дамы обмениваются вашими стихами», и поэт неожиданно испугался. И когда он пошел к двери, схватил брата за руку, и Томасы Говарды яростно зашептались. Обернувшись, он заметил на лице старого герцога гнев и смущение: что, что ты сделал, мальчишка? Все сходится. Не похоже на Норфолка – задумать интригу с таким количеством рассыпающихся элементов ab origine[23], но, когда Правдивый Том обратился к нему за защитой, герцог, выбранив и прокляв брата, наверняка постарался обратить эту напасть во благо Говардов.

Он подается вперед над столом, ближе к Мег. Не будь она особой королевской крови, похлопал бы ее по руке.

– Вытрите слезы. Давайте начнем заново. Вы сказали, что лорд Томас посещал вас в покоях королевы. Многие бывали в покоях королевы, скажем так, забавы ради. Пели, смеялись. Приходили туда без задней мысли. Спустя много месяцев – там было всегда многолюдно – в случайном разговоре лорд Томас выразил вам восхищение, что неудивительно, и сказал: «Миледи, если бы вы не стояли так высоко…»

– Он – Говард, – говорит Ризли. – Думаю, он полагает, что на свете нет никого выше его.

Он поднимает руку. Сцена так великолепна, что жаль ее прерывать.

– «Если бы вы не стояли так высоко надо мной и не были назначены королем в жены какому-нибудь правителю, клянусь, я умолял бы вас отдать мне вашу руку».

– Да, – говорит Мэри Фицрой, – именно так все и было, лорд Кромвель.

– А вы ответили: «Лорд Томас, моя рука не для вас. Я сочувствую вашим страданиям, но не могу их облегчить».

– Нет, – говорит Мег; ее бьет дрожь. – Нет, вы ошибаетесь. Мы помолвлены. Вам нас не разлучить.

– И, будучи мужчиной, влюбленным мужчиной, и не в силах противиться вашей красоте и желанию обрести столь бесценный дар, он не удержался и посвятил вам стихи, ну и так далее. Но вы остались неколебимы и не позволили ему даже лизнуть вашу нижнюю губу.

Зря я так сказал, думает он. Следовало обойтись «поцелуем».

Мег встает. Носовой платок зажат в кулачке – усеянный перекрещенными серебряными крестиками Говардов, легкими, как летний снег.

– Я хочу поговорить с королем наедине. Как бы высоко он вас ни вознес, король не позволит вам допрашивать меня и заявлять, будто я не замужем, когда я утверждаю обратное.

Мастер Ризли спрашивает:

– Миледи, вы действительно не понимаете? Лучше бы вас соблазнили, опорочили и распевали о вас непристойные баллады на улицах, чем дать слово мужчине без согласия короля.

Мэри Фицрой говорит:

– Ради Христа, присядь, Мег, и постарайся понять, о чем толкует милорд. Он старается изо всех сил.

– Ему не разделить того, что соединил Господь!

Мэри Фицрой поднимает на нее глаза:

– Уверена, лорду Кромвелю уже говорили такое раньше.

Он улыбается:

– Мы должны спросить себя, леди Маргарет, что есть брак. Это не только обеты, но и постель. Если вы принесли обеты при свидетелях и разделили ложе, вы замужем по закону. Вы будете мистрис Правдивый Том, и вам придется столкнуться с крайним недовольством короля. И я не знаю, какую форму оно примет.

– Мой дядя не станет меня преследовать. Он любит меня, как дочь.

Мег запинается. Она произнесла это собственными устами, она слышит себя и только сейчас понимает: что есть любовь короля к дочери? Две недели назад тонкий лед трещал под Марией. И только Томас Кромвель отвел ее от полыньи.

Зовите-меня встает, словно хочет поддержать готовую упасть Мег. Но принцесса аккуратно опускается в кресло.

– Король скажет, что я поступила глупо.

– Или вероломно.

Мастер Ризли нависает над ней, теперь почти с нежностью.

Мег спрашивает:

– Мой брак – это ведь не преступление?

– Пока нет, – отвечает он. – Но скоро будет. Мы примем билль до созыва парламента.

Мэри Фицрой спрашивает:

– Вы примете закон против Мег Дуглас?

– Вы же понимаете, леди Ричмонд, дамы порой не сознают собственных интересов. Иногда не знают, как себя защитить. Теперь об этом позаботится закон. Иначе любой поэт не откажется заполучить такой трофей и, если ему улыбнется удача, обеспечить свое будущее. А если не выгорит, что он теряет, кроме уязвленной гордости? Согласитесь, это несправедливо.

– А сами вы стихов не пишете? – спрашивает Мэри Фицрой.

– Не люблю входить на поле, где и без меня тесно, – говорит он. – Мастер Ризли, вы не запишете?

Зовите-меня снова садится за стол и берет перо.

Он диктует:

– «Акт против того, кто, не имея на то королевского дозволения, женится или возымеет намерение жениться на королевской племяннице, сестре, дочери…»

– Может быть, добавить тетю? – спрашивает Зовите-меня.

Он смеется:

– Добавьте тетю. Итак, подобное деяние будет признано изменой.

Мэри Фицрой не верит своим ушам:

– Изменой? Даже если женщина согласна?

– Особенно если согласна.

– Тру-ля-ля, тра-ля-ля, – бубнит Зовите-меня, скрипя пером, – трам-парам-пам-пам, и будет наказан как за измену. Отдам Ричу, пусть сформулирует.

– К счастью, – говорит он, – в данном случае о согласии речи не идет. Я сомневаюсь, что леди Мег действительно может считаться замужней ввиду отсутствия консумации брака, как полагает мастер Ризли.

– Я? – Зовите-меня поднимает песочные брови и оставляет на бумаге кляксу.

Мэри Фицрой говорит:

– Мег, отношения между тобой и лордом Томасом никогда не переходили границы пристойности. Ты подтвердишь это и будешь на этом настаивать.

– Леди Маргарет, ваша подруга дает вам весьма ценные советы. – Он оборачивается к Мэри Фицрой. – Вы должны быть рядом с мужем. Я прикажу сопроводить вас в Сент-Джеймсский дворец.

Мэри говорит:

– Я не нужна Фицрою. Я ему даже не нравлюсь. Он не считает меня своей женой. Мой брат Суррей снабжает его шлюхами.

Прямолинейна, совсем как ее отец.

– Миледи, – говорит он, – вы немало поспособствовали этой интриге. Однако, поскольку мы еще не определили рамки нового билля, я не знаю, какое наказание грозит вам. Впрочем, едва ли король станет преследовать жену своего сына, если застанет ее у постели больного. Не тревожьтесь о леди Маргарет, в Тауэре она ни в чем не будет знать нужды. Но если не хотите последовать за ней, советую вам отправиться в Сент-Джеймсский дворец и оставаться там.

Мег снова на ногах, снова заливается слезами, цепляясь за спинку кресла. Мастер Ризли встает и берет дело в свои руки. Он тверд и холоден:

– Леди Маргарет, вас не бросят в подвал. Не сомневаюсь, лорд Кромвель устроит так, чтобы вас поместили в апартаменты покойной королевы.

Он собирает бумаги.

– Идемте, миледи, – умоляет Мэри Фицрой, – вспомните о вашем королевском достоинстве. Не заставляйте их выводить вас силой. И благодарите лорда Кромвеля – я ему доверяю, только он способен отвратить от вас гнев короля.

И направить его на Правдивого Тома, думает он. Генрих не простит ему. Он стоит у стены, пока женщины проходят мимо, не проронив ни слова. Но шотландская принцесса не унимается.

– Что плохого, если я расскажу правду? – слышится с лестницы ее звонкий голос, затем они уходят.

Зовите-меня говорит:

– Я думал, она не примет вашу протянутую руку.

– По природе она не глупа, просто влюблена.

– Хорошо, что мужчины от этого не глупеют. Посмотрите на Сэдлера.

А ведь правда. Влюблен в жену, но ничуть не утратил остроты ума.

Настроение мастера Ризли поднимается. Теперь, когда Мег в тюрьме, он доведет дело до конца.

– А вы были когда-нибудь влюблены, сэр?

– Обошлось.

Он вспоминает, как расспрашивал Рейфа: каково это? Хотя Уайетт предупреждал его о симптомах. Жаркие вздохи, холодная грудь. Или наоборот?

Он думает, нужно исхитриться помочь Бесс Даррелл. Я тут разбираюсь с новым коварством Говардов, а в ней тем временем дитя Уайетта растет.

– Мне нужен Фрэнсис Брайан. Он здесь или за границей?

– Хотите стребовать услугу за услугу? – Зовите-меня взволнован, нетерпелив, так что не развивает эту тему. – Кто сообщит королю, что Мег замужем?

Он вздыхает:

– Я.

– Не хотел бы я оказаться на месте Норфолка. Племянница опозорила его весной, брат – летом. Теперь вы легко его свалите. – Зовите-меня бросает на него косой взгляд. – Если захотите.

Я сам не знаю, чего хочу, думает он. Если Норфолк задумал этот мезальянс или просто скрыл его от короля, то дело серьезное. Однако не серьезнее прежних, которые я ему якобы простил.

– Допустим, шотландцы перейдут границу? Кто, если не Норфолк, даст им отпор?

– Суффолк, – отвечает Ризли.

– А если французы постучатся в другую дверь?

– Когда-то вы были солдатом, сэр.

– Много лет назад. – Я нес пику. Или прислуживал тому, кто ее нес. Мы сражались как единое целое. Я был мальчишкой. А сейчас мне пятьдесят. Пожалуй, я сумею постоять за себя в уличной драке, но предпочту уладить ссору миром. – Я так стар, что за мной нужен уход, Зовите-меня. Как вы заметили, все в прошлом. Но что толку было спасать королевскую дочь, если теперь он обратит свой гнев на племянницу и казнит ее?

– Но почему, если, как она уверяет, они давно любят друг друга, обеты были принесены только через год? Думаю, его страсть вспыхнула, когда малышку Элизу объявили незаконнорожденной и Мег стала ближе к трону.

– Или устал посвящать ей стихи без надежды. Думаю, после помолвки они разделили ложе.

– Определенно. Но неужели они не думали о последствиях?

Он пожимает плечами. Мег пришлось положиться на удачу. А еще бывает, что женщина теряет ребенка раньше, чем кто-либо еще узнает о ее беременности. И только потом, лет двадцать спустя, у нее развяжется язык.

Зовите-меня говорит:

– Король захочет, чтобы на нее надавили, захочет знать, когда именно это случилось, имена свидетелей.

– Тогда мы надавим на Правдивого Тома. Он уже думает, что мне известно больше, чем на самом деле.

– Так думают многие, – замечает Ризли.

– Том боится, что из его виршей всем понятно, куда ему удалось засунуть своего петушка. Однако у дочери Норфолка храброе сердце. Ей следовало бы заседать в королевском совете. Помните, как она не хотела пускать меня в покои Анны после коронации?

Ризли не помнит, да и откуда? Зовите-меня досталась бурлящая толпа, рев труб, стяги, фырканье лошадей и топот копыт. Анне, хрупкой, на сносях, пришлось выдержать три дня на палящей жаре под враждебными взглядами толпы. Цвет английской аристократии с неохотой нес ее шлейф. У алтаря под весом короны ее тонкая шейка согнулась. Ее лицо блестело, но не от пота – от сознания своей судьбы. Ее рука, которая давно чесалась, уверенно сжала скипетр. Архиепископ Кранмер помазал ей лоб миром.

После церемонии королева удалилась, подальше от взоров города и его богов, в покои, где сняла с себя торжественные одежды. Он последовал за ней. Он видел, что ее глаза остекленели от усталости, но ему надо было поднять ее и сопроводить на пир в Уайтхолл. Если бы это ему не удалось, пришлось бы срочно переговорить с королем, ибо слухи распространяются, как огонь по соломенной крыше: не появись Анна на публике, сказали бы, что у нее выкидыш.

У двери он наткнулся на дочь Норфолка, четырнадцатилетнюю упрямицу, возмущенную до глубины души: «Королева не одета!» Анна ответила ему раздраженным голосом, и он, отодвинув девушку, вошел. Королева лежала на громадной кровати, как покойница, тонкая сорочка обтягивала живот, тонкая рука словно успокаивала принца внутри. Волосы разметались вдоль тела, как черные перья. Он смотрел на нее с жалостью, изумлением и каким-то даже аппетитом, воображая, что у него самого есть сейчас женщина на сносях. Она повернула голову. Прядь волос упала с кровати. Под влиянием странного порыва – что это было, страсть к аккуратности? – он поднял прядь, задержал на мгновение между большим и указательным пальцем, затем уложил рядом с остальными и разгладил.

– Нет! Не трогайте королеву! – взвизгнула Мэри Норфолк.

Мертвая женщина сказала:

– Ему можно, он заслужил.

Она открыла глаза. Оглядела его и одарила странной, замедленной улыбкой. Тогда я понял (скажет он после), что Анна не удовлетворится королем, а поглотит еще многих мужчин: молодых и старых, богатых и бедных, благородных и простых. Но по крайней мере, она не поглотила меня.

Он вспоминает ее распухшие ступни, босые, с синими венами. Жалкие, беззащитные, ледяные даже среди июньской жары.

По велению короля для Правдивого Тома готовят помещение в Тауэре. Комендант Кингстон является лично, предлагает верхний этаж Колокольной башни, где хороший камин. Будем надеяться, говорит Кингстон, что король проявит милосердие и молодой человек доживет до зимы.

Он спрашивает Кингстона:

– Вы знаете Мартина, надзирателя?

– Знаю, один из ваших единоверцев.

– Пусть Мартин присматривает за лордом Томасом, – говорит он. – Он уважает стихотворцев.

Кингстон недоуменно смотрит на него:

– Они все писали стихи. Все покойные джентльмены.

– Джордж Болейн, несомненно, – говорит мастер Ризли. – Полагаю, Марк. Но вообразите Уилла Брертона, жонглирующего терцинами! Что до Норриса, он был занят подсчетами прибылей и активов.

Кингстон говорит:

– Они все баловались стишками. Я не судья. Но покойная королева говорила, что только Уайетт знал в этом толк.

– Сэр Уильям, попросите жену составить леди Маргарет компанию, как некогда покойной королеве. Я должен знать, о чем она говорит. – Он добавляет: – Я не утверждаю, что все кончится, как в прошлый раз. Пусть леди Кингстон поддерживает в ней веру, что впереди ее ждет долгая счастливая жизнь, если она осознает, в чем состоит ее долг.

– Говорят, вы хотите принять новый закон, – замечает Кингстон. – Это слишком жестоко – заставить их совершить преступление задним числом.

Они пытаются объяснить коменданту Тауэра, в чем суть. Правителя не сдерживают путы времени: прошлое, настоящее, будущее. Он не вправе извинять прошлое тем, что оно позади. Не может сказать: «былое не воротить», ибо прошлое просачивается сквозь почву, сочится ручейком, за которым не уследишь. Порой истинное значение событий раскрывается только задним числом. Воля Господа, к примеру, явлена в наши дни более искусными

переводчиками. Что до будущего, то желания короля меняются стремительно, и закону приходится за ними поспевать.

– Не забывайте, какое выдающееся предвидение проявил его величество во время суда над покойной королевой. Он знал, каким будет приговор еще до объявления вердикта.

– Все так, – соглашается Кингстон. – Палач уже пересекал море.

Кингстон давно в советниках. Он должен знать, как устроен королевский мозг. Если Генрих говорит: «Я так хочу», его желание все равно что уже исполнено. Король выражает свою волю и ждет, чтобы она осуществилась.

– Но вы же не собираетесь ее казнить? – спрашивает Кингстон. – Шотландскую принцессу! Что скажут ее соплеменники?

– Не думаю, что она им дорога. Они давно считают Мег англичанкой. Тем не менее я молюсь за благоприятный исход. Что до лорда Томаса, думаю, герцог Норфолк замолвит за него словечко.

– Норфолк? – удивляется комендант. – Генрих спустит его с лестницы.

Несомненно, думает он. Хотел бы я это видеть.

– Будьте готовы, сэр Уильям. Больше посоветовать ничего не могу. Не хочется, чтобы вы снова оплошали.

В конце концов, с казни королевы прошло уже два месяца. Вполне возможно, внутренняя машинерия, которой ведает Кингстон, успела заржаветь.

– В любом случае, – говорит Кингстон, – я полагаю, мы не станем приглашать его снова?

– Француза? Нет. Бог мой! Я не так богат.

Нет, только старый добрый топор. Говарды – приверженцы традиций. Чтобы умереть, им не нужны новомодные штучки.

– Следует отдать ему должное, – говорит Кингстон, – справился он превосходно. Отличный меч. Он мне показывал.

Мы все убили Анну Болейн, думает он. В любом случае все представляли, как это будет. Скоро я услышу, что король сам спрашивал у палача: «Господин палач, можно на пробу замахнуться вашим мечом?» Как сказал Фрэнсис Брайан, Генрих непременно убил бы Анну Болейн, но в данном случае это сделал за него другой.

Его руки помнят тяжесть, когда француз дал ему меч. Он видел, как свет играет на острие, прочел слова на лезвии, провел по ним пальцем. «Зерцало справедливости». Speculum justitiae. Моли Бога о нас.

В Остин-фрайарз все восхищены мастером Ризли: его упорством, его убежденностью, что не бывает дыма без огня. И Мег Дуглас повезло, что он не стал медлить.

– Вообразите, – замечает Ричард, – если бы кто-нибудь застал ее голышом в объятиях Правдивого Тома.

Ричард Рич говорит:

– Оскорбив короля подобным образом, я бы не рассчитывал прожить долго.

Рич трудится над новым законом. Новые статьи не помешают лицам королевской крови делать глупости, но пропишут формальный порядок действий, буде таковое случится. Нужно решить, кто замешан в преступлении Мег? Он запросил расписание дежурств: кто из фрейлин прислуживал покойной королеве в марте, апреле и в те дни мая, когда она была жива. Но надменные знатные старухи, ведающие этими делами, – леди Рэтленд, леди Сассекс – удивленно поднимают брови, намекая, что сие есть тайна. В то же время, по словам Рейфа Сэдлера, в покоях короля есть список: знаешь, кто там должен быть и когда.

Впрочем, это не обязательно работает. Нынешней весной все перемешалось.

Приближаясь к королю с дурными вестями, он находит Генриха в толпе архитекторов. Король вознамерился потратить деньги.

– Милорд Кромвель? Который?

В руках у Генриха макет фриза с ионниками – орнаментом из яиц и стрелок, который нравится ему чуть больше, чем лавровые венки.

– Венки, – говорит он. – Я должен кое-что вам рассказать.

Архитекторы сворачивают эскизы. Он глазами провожает их до двери.

Поняв, о чем речь, король начинает орать во всю глотку, что дело надлежит сохранить в тайне. Фриз до сих пор у него в руке; будь Мег Дуглас рядом, он бы разбил яйца о ее голову и утыкал ее стрелками.

– Я не желаю повторения того, что было в мае, – особа королевской крови перед открытым судом. Европа будет возмущена.

– Так что мне делать?

Генрих понижает голос:

– Найдите более тонкий способ.

Что касается Правдивого Тома:

– Предъявите обвинение в измене – пусть в обвинительном акте будет указано, что он действовал по наущению дьявола. Или это был милорд Норфолк?

Он молчит. Тем временем, как сказано в одном из Томовых виршей: «и как трава растет молва». Ходят слухи, что лорд Томас арестован, предполагают, будто он был одним из любовников покойной Анны.

В Колокольной башне они с Ризли идут к Правдивому Тому через нижнее помещение, где тень Томаса Мора сидит на корточках в темноте при закрытых ставнях. Он прикладывает ладонь к стене, словно надеется прочесть в дрожи каменной кладки, что произносил здесь Мор: шутки, истории и притчи, библейские стихи, афоризмы, банальности.

Кристоф шагает позади с доказательствами. Это не запятнанные простыни, а кое-что похуже. Стихи – Правдивого Тома и Мег в числе других – дошли до него в великом множестве: что-то нашлось, что-то передано через третьи руки. Листки загнуты по краям, некоторые многократно складывались, записаны одной рукой, прокомментированы другой, неразборчиво, с кляксами, они сомнительны с точки зрения поэтического мастерства, но не содержания. Я ее люблю, она меня не любит. Ах, она жестокая! Ах, я умру! Интересно, не затесались ли среди них стихи, сочиненные Генрихом? Покойным джентльменам вменяли, что они смеялись над королевскими виршами. К счастью, почерк Генриха не спутаешь ни с каким другим. Он узнает его даже в темноте.

В верхнем помещении Правдивый Том глядит в стену:

– Я все гадал, когда вы появитесь.

Он – лорд Кромвель – снимает джеркин.

– Кристоф?

Юноша подает бумаги. Они кажутся еще более помятыми, чем раньше.

– Жевал ты их, что ли?

Кристоф ухмыляется.

– Я всеяден, – сообщает он Тому.

Когда он, лорд Кромвель, расправляет листки, готовясь читать вслух, Том подбирается, как любой поэт, в ожидании вердикта, который вынесут его стихам.

Дни без нее уж сочтены,

Мои намеренья честны.

Ничто мое не скрыто от нее,

Ей сердце ведомо мое.

Он смотрит на Тома поверх бумаг:

– «Ничто мое не скрыто от нее»?

– Вы с ней сношались? – спрашивает мастер Ризли.

– О, бога ради, – говорит Правдивый Том. – Когда? Вы с нас глаз не спускали.

Всевидящий Аргус. Он держит бумаги на вытянутой руке.

– Вы не продолжите, мастер Ризли? Я не могу. Дело не в почерке, – обращается он к Тому. – Язык отказывается повторять.

Мастер Ризли берет бумаги за край:

О как мне счастье обрести,

И не обречь себя беде…

– Может, их лучше напеть? – спрашивает Ризли. – Не позвать Мартина с лютней?

Когда надежде нет пути.

И нету счастия нигде.

– Здесь остановитесь, – просит он Ризли. Он забирает бумаги, держа их большим и указательным пальцами. – Итак, вы открыли свои чувства, даже рискуя получить отказ. «Ничто мое не скрыто от нее». Она не была готова ответить на вашу страсть. Впрочем, это ведь обычная вежливость, уверять даму, будто ваша любовь куда сильнее, чем ее?

– Это проявление учтивости, – подтверждает Ризли.

– Однако она подарила вам алмаз – знак любви.

Правдивый Том спрашивает:

– Тогда зачем мне это писать?

– Вы забыли, – говорит он. – Как любой разумный человек. Хотя в пятой строфе вы пишете: «Навеки ваш Правдивый Том». К несчастью, «Том» рифмуется с «влеком».

Кристоф хихикает:

– Я и то лучше умею, хоть и француз.

– При дворе много Томасов, – отвечает обвиняемый, – и не все из них говорят правду, хотя утверждают обратное.

– Он смотрит в нашу сторону, – обращается он к Томасу Ризли. – Надеюсь, вы не станете утверждать, что это написано кем-то из нас?

Зовите-меня говорит:

– Всему свету известно, что это ваше прозвище, и вы от него не отказывались. Вы связали себя обетами, ее слуги признались.

Правдивый Том открывает рот, но он, продолжая листать, перебивает:

– Вы просите ее избавить вас от боли.

– В яйцах? – спрашивает Кристоф.

Взглядом он велит юноше замолчать, но не может удержаться от смеха:

– Вы были влюблены – «Я весь горю, горю давно», – затем принесли обеты. Ради чего, если не с целью убедить ее разделить с вами ложе?

Ризли говорит:

– Дама призналась, что есть свидетели вашего брака.

Когда молчание затягивается, он замечает:

– Я не заставляю вас отвечать в стихах.

Правдивый Том говорит:

– Я знаю, как вы действуете, Кромвель.

Он поднимает брови:

– Я действую, как велит король. Без его указания я и мухи не прихлопну.

– Король не позволил бы вам дурно обращаться с джентльменом.

– Вы правы, но не советую вам испытывать терпение лорда Кромвеля, – замечает Ризли. – Он как-то сломал человеку челюсть одним ударом.

Я? Он потрясен.

Он говорит:

– Мы готовы потерпеть. Со временем вы признаетесь, что замышляли недоброе, пусть и не достигли желаемого. Вы покаетесь перед королем в своей ошибке и будете молить о прощении. – Хотя сомневаюсь, что вы его получите, думает

он. – Я понимаю, что вас подвигло. Вы происходите из древнего рода, но младшие Говарды бедны. Как представитель столь знатного семейства, вы считаете зазорным марать руки любым трудом. Чтобы обеспечить свое будущее, вам приходится ждать войны или выгодно жениться. И вы сказали себе, вот я, такой неотразимый, и пусть мои карманы пусты и никто со мной не считается, только путают со старшим братом, я знаю, что делать, – женюсь-ка я на королевской племяннице. Авось когда-нибудь стану английским королем.

– А до тех пор буду жить в долг, – добавляет Ризли.

Он вспоминает строку из «Покаянных псалмов» Уайетта: «И без защиты немощен и чист». В стихах Уайетта борьба в каждой фразе. Стихи лорда Томаса беззубы, один гладкий идиотизм. Впрочем, надо отдать ему должное, держится он стойко. Не рыдает, не просит пощады. Просто спрашивает:

– Что вы сделали с леди Маргарет?

– Она здесь, в покоях королевы, – отвечает мастер Ризли. – Вероятно, ненадолго.

Они уходят, оставляя его размышлять над двусмысленным ответом. Безобидная правда в том, что Мег, скорее всего, переведут куда-нибудь еще, если король поспешит с коронацией, ибо по традиции Джейн должна провести ночь в Тауэре перед тем, как отправиться в Вестминстер. Король говорил о середине лета, но город полнится слухами о чуме и потовой лихорадке. Опасно собирать толпы на улицах и забивать людьми закрытые помещения. Сеймуры, разумеется, убеждают Генриха рискнуть.

Они спускаются по ступеням. Сражались как единое целое. Ему не хватает Рейфа справа. Но ничего не поделаешь, если король в нем нуждается.

Он спрашивает:

– Я? Сломал челюсть? Кому?

– Кардинал любил об этом рассказывать, – довольно замечает Ризли. Они выходят в солнечное сияние. – Иногда это был аббат, иногда мелкий лорд. Где-то на севере.

Когда все закончится – каким бы ни был конец, – он вернет стихи владельцам, хотя они не оставили имен. Он представляет, как в ветреный день швыряет их в воздух и стихи парят над Уайтхоллом, перелетают реку и приземляются в Саутуорке, где шлюхи, похихикав над ними, подотрут ими задницу.

Вернувшись домой, он говорит Грегори:

– Никогда не пиши стихов.

Бесс Даррелл присылает ему весточку: приходите в Л’Эрбе. Неудивительно, что Поли предложили ей свой кров, она – наследие покойной Екатерины. Но ей

придется скрывать, что она носит ребенка. Старая графиня не потерпит бастарда Уайетта под своей крышей.

Он находит Бесс и леди Солсбери мирно сидящими рядом, словно Пресвятая Дева и святая Анна из молитвенника. На коленях – отрез превосходного льна, украшенный райской вышивкой – цветущим летним садом. Он приветствует графиню изысканным поклоном – куда ниже, чем при предыдущей встрече. Замечает, что Бесс еще не расшнуровала корсаж. Она деликатного сложения; сколько ей удастся скрывать свою тайну?

Графиня показывает на вышивку:

– Я знаю, что вы в своей доброте всегда замечаете женское рукоделие. Видите, я нашла себе в помощь молодые глаза.

– Должен выразить вам восхищение. Хотел бы я, чтобы цветы в моих садах расцветали так же быстро.

– Ваши сады разбиты недавно, – сладко замечает леди Солсбери. – Господь не торопится.

– И все же, – говорит Бесс, – Он создал мир за неделю.

Он наклоняет голову, обращается к графине:

– Говорят, вашего сына Рейнольда вызвал к себе папа.

– Правда? Первый раз слышу.

Он и сам услышал только что, и это вполне может оказаться ложью.

– Интересно, что замыслил Фарнезе. Не стал бы он гонять Рейнольда в Рим, чтобы перекинуться в «Сдайся-смейся».

Графиня смотрит вопросительно.

– Это карточная игра, – объясняет Бесс. – Детская.

Графиня говорит:

– Мы знаем о планах моего сына не больше вашего.

– Меньше, – еле слышно выдыхает Бесс, теребя пальцами лепестки.

– А вам известно, что король требует его возвращения?

– Это дело Рейнольда и его величества. Я уже объясняла – и его величество принял мое объяснение, если вы не знали, – что ни я, ни мой сын Монтегю не знали заранее, что Рейнольд пишет книгу против короля. И нам неизвестно, где он сейчас.

– Но он написал вам?

– Написал. Его письмо глубоко задело мое материнское сердце. Он считает, что тем, кто соблюдает законы этого королевства и этого короля, не видать рая, даже если их принудили к подчинению обманом или угрозами.

– Но ведь вас не обманывали и не принуждали? Ваша верность происходит от благодарности.

– И это еще не все, – продолжает Маргарет Поль. – Мой сын просит меня не вмешиваться в его дела. Говорит, что я бросила его в детстве, что я в нем не нуждалась. Я действительно отослала его учиться. Но я полагала, что отдала его Господу. – Она поднимает подбородок. – Рейнольд разрывает родственные связи. Он считает, что мы прокляты из-за того, что покорились Генриху Тюдору.

Печально, что Рейнольд написал такое письмо, думает он. Впрочем, весьма удобно для всех. Графиня делает аккуратную петельку и втыкает иголку в ткань.

– Вы хотели поговорить с мистрис Даррелл. – Вставая, она перекладывает работу на колени Бесс и бормочет вопрос, не предназначенный для его ушей.

Бесс отвечает вслух:

– Нет, я доверяю милорду хранителю малой королевской печати.

– Тогда и я ему доверяю, – говорит графиня.

Он улыбается:

– Это обнадеживает.

Леди Солсбери подбирает юбки. Мое обаяние на нее не действует, думает он. Бесс Даррелл сидит, опустив голову, и не поднимает глаз, пока они не остаются одни. Дверь тем временем приоткрыта. Ее гейбл скрывает то, что имел возможность лицезреть Уайетт, волосы цвета чистого золота. Он воображал, что Уайетт преследовал только бегущую дичь, что его волновала погоня, а не добыча. Впрочем, Бесс выглядит не просто пойманной, но и укрощенной. Женщина в ловушке злой судьбы. Он смотрит вслед леди Солсбери:

– Можете судить, насколько она мне не доверяет. Даже дверь оставила открытой.

Бесс говорит:

– Она не думает, что вы повалите меня на пол и изнасилуете. Скорее, боится, что вы станете нашептывать мне на ухо плохие стихи, склоняя к замужеству.

Выходит, она знает о Мег Дуглас. Неудивительно, все только об этом и толкуют.

Он говорит:

– Я нашел для вас пристанище. Как и обещал Уайетту. Семейство Куртенэ просит вас составить компанию миледи маркизе.

– Гертруде? – Она складывает ткань на коленях, складывает снова и снова, пока не получается квадрат с иголкой внутри. – Но она вас не любит.

– Зато она у меня в долгу.

– Верно. Вы могли уничтожить ее семейство два года назад. А вы терпеливы. Думаю, вы отложили это до лучших времен. Королева Екатерина всегда говорила: «Кромвель держит слово, к добру или к худу». – Она отводит глаза. – Я знаю, что вы исполнили обещание присмотреть за Марией. Я была в Кимболтоне, когда вы его дали. Все, что я могу сказать, милорд, остерегайтесь благодарности.

Неудивительно, думает он, что Уайетт к вам так привязан. Загадочные колкости слетают с ваших уст с той же легкостью, что у него.

– А что до вашего положения, сами решите, как его объяснить. Куртенэ понимают, чем вам обязаны. Вы были с Екатериной в ее последние часы. Вытирали смертный пот с ее лба. Сейчас они бахвалятся тем, что для нее сделали, а на деле они не сделали ничего. Они не станут выпытывать имя мужчины. А если станут и им не понравится ваш ответ, придется смириться.

– Понравится, – говорит она. – Они обязаны Уайетту его признаниям. Он сотворил это. – Она разводит руками. – Страну, в которой мы живем. Англию без Болейнов.

– Уайетт ничего не сотворил. Его показания не понадобились.

– Как скажете. Вы любите утешать, милорд. Торите свой путь через поле сражения, с молитвой для раненых и водой для умирающих.

– Так и есть, – просто соглашается он. – Я вернул ему бумаги, и он может порвать их. Он рассказал мне о вашей связи, и я обещал найти вам убежище… Думал предложить свой дом, любой из своих домов, но мои советчики – домашние, которым дороги мои интересы, – решили…

Она смеется:

– Нет, лорд Кромвель, я не стану делить с вами кров. Незамужняя женщина, отвергнутая собственной семьей, – ваши враги только обрадуются такому подарку, а вы, викарий короля по делам церкви, будете выглядеть как похотливый епископ или римский кардинал.

Он говорит:

– Куртенэ не догадываются о моем участии в вашем деле. Пусть так и остается. За вас замолвил словечко Фрэнсис Брайан. Он ваш избавитель. Он любит Тома Уайетта и восхищается им.

– Думаю, Фрэнсису не впервой избавляться от женщин, – говорит она. – Нет-нет, во мне не сомневайтесь, я поступлю, как вы скажете. И буду вечно вам благодарна. Вы спасли Тома Уайетта, когда он сам бы себя не спас.

– Я просто отпер дверь, – говорит он, – но это вы заставили его выйти из темницы. Если бы не дитя, которое вы носите, он не стал бы бороться за жизнь. Мальчик или девочка, этот ребенок обладает великой силой. Он уже спас отца от плахи.

– Ребенок? – говорит она. – Кажется, я ошибалась.

– Так ребенка нет?

– Нет.

– И не было?

– Я не уверена.

– Уайетт знает, что вы его обманули?

– Он знает, что до сих пор дышит! – взрывается она.

Они молчат. Бесс разматывает ткань, белизна распускается цветами на фоне ее юбки. Найдя иголку, пробует острие указательным пальцем, словно хочет пустить кровь. Говорит:

– Вы понимаете, почему я пошла на обман.

– Мне нравится ваш обман, – говорит он. – Он поднимает вас в моих глазах.

– Вы правы, идти мне некуда. Я никому не нужна, кроме Уайетта, а он не может быть рядом. Я поклялась ему кровью своего сердца и считаю себя замужней, как любая женщина в Англии, только у него уже есть жена.

«Amor mi mosse», – думает он. Меня ведет любовь, я говорю любя.

– Возможно, вы захотите остаться здесь, с леди Солсбери.

– Здесь найдется и другая пара глаз. К тому же, думаю, в этом доме у вас уже есть шпионы. Что я должна буду делать у Куртенэ?

– Жить.

– Но чем мне отплатить вам, лорд Кромвель?

– Пишите мне. Держите связь через слугу, который сам к вам подойдет. Я даже пришлю вам бумагу.

– И что я должна буду писать?

– Кто навещает их. Кто в отъезде. Кто из дам задумал рожать.

– У меня нет денег.

Пару раз он уже оплачивал ее карточные долги. Набожная Екатерина даже в дни изгнания играла на крупные суммы и ждала, что приближенные заплатят.

– Я все улажу, если Уайетт не сможет.

Она говорит:

– Я буду следить за тем, что происходит в семействе Куртенэ, но не стану писать о личном, а лишь о том, что угрожает общественному благу. Обо всем, что может представлять для вас интерес.

– Спасибо. – Он встает. – Но имейте в виду, мои интересы весьма разносторонни и обширны.

– Прежде чем уйти, не хотите посмотреть вышивку?

– С удовольствием.

Она поднимает вышивку, показывает, как символ Полей – виола, или анютины глазки, сплетается по краю с цветами календулы.

– Это их способ поддерживать друг друга, они раздают эти вышивки своим сторонникам. Цветы вышивают на алтарных облачениях, делают украшения для шляп. На прошлой неделе такое украшение подарили послу Шапюи. Календула, или, как ее еще зовут, мэригольд, золото Марии, означает… – да, вижу, вы уже поняли – означает леди Марию, этот образец сияющей добродетели. А теперь смотрите, – она показывает острием иглы, – как они сплетаются. Так и Рейнольд обовьет ее тело и душу.

– Выходит, сегодня леди Солсбери солгала мне in toto[24] или только частично?

Она бросает взгляд на дверь:

– Рейнольд действительно написал ей письмо.

– Очевидно, они состряпали его всем семейством. Это уловка, способ отвести подозрения.

– Кажется, она потрясена до глубины души.

– Равно как и король. Он чувствует себя одураченным, смятенным, обманутым. Своими письмами Рейнольд добился, чего хотел. Удивляюсь, что он не написал мне. – Он дотрагивается до ее руки. – Благодарю вас.

Трудно представить, что Ричард Рич пишет билль против вышивания, но в этом нет нужды. Для того чтобы охватить все, что у Полей на уме, хватит существующих законов, особенно подойдет последний, направленный против тех, кто замыслил жениться на королевской дочери. Он не узнал о мечтах леди Солсбери ничего по-настоящему нового, однако лишнее доказательство, вышитое стежками на ткани, не помешает.

– Надеюсь, когда вышивка будет закончена, – говорит он, – ее спрячут подальше от света.

Как сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют.

Она говорит:

– Интересно, где сейчас Анна Болейн?

К такому вопросу он не готов. Он воображает, как Анна мечется по продуваемым сквозняками залам потустороннего мира, где стены сделаны из треснутого стекла.

Отправляясь к королеве Джейн, он берет с собой Ризли:

– На случай, если женщины вновь что-нибудь замышляют. Отныне я доверяю только вам. Если увидите, что кто-то вступил в непозволительный брак, тут же укажите мне на них. Не миндальничайте. Доколе мы будем терпеть?

Ясное летнее утро. Дамы только что вернулись с молитвы. Бесс Отред, вдовая сестра королевы, сидит рядом с Джейн. По другую руку – жена Эдварда Сеймура Нэн, до замужества Нэн Стенхоуп. Разумеется, это не та, что грешила со старым сэром Джоном. Та умерла, и ее имя никогда не упоминают в Вулфхолле. Шотландской принцессы словно и не было. Дамы трудятся над тем, что занимает их досуг уже много недель, – спарывают букву «А» с атласа и дамаста, заменяя ее на «Д», чтобы Джейн могла носить платья покойной королевы.

– Неужто эту прелюбодейку невозможно извести? – сочувственно мурлычет мастер Ризли.

– У нее было много платьев, – говорит Бесс Отред. – Я помню, как перешивала их. – Голос низкий и сосредоточенный, мелкие жемчужины дождем сыплются под ее ножницами в шелковую коробочку.

– Хвала Господу, припуски довольно большие, – бормочет Нэн. – Ее величество будет пошире старой королевы. – Она подбрасывает рукав Джейн. – А скоро, даст Бог, станет еще шире.

Джейн опускает голову. Нэн поднимает глаза, откладывает ножницы:

– Мы рады визиту любезного мастера Ризли.

Зовите-меня вспыхивает. Джейн обращается к сестре:

– Мастер Ризли теперь… этот, личной королевской печати. Я хотела сказать, хранитель. И разумеется, вы знаете государственного секретаря. Хотя теперь он лорд – хранитель малой печати.

– Вместо чего? – спрашивает Бесс Отред.

– Вместе со всем прочим, миледи, – кланяется он.

Джейн объясняет:

– Он отвечает за все в Англии. Я не понимала, пока мне не объяснил один посол. Его изумляло, что один человек может занимать столько постов и иметь столько титулов. Такого никогда не было. Лорд Кромвель и правительство, и церковь в одном лице. Посол сказал, когда-нибудь король загоняет его до того, что ноги у него подломятся, он рухнет в канаву и умрет.

Зовите-меня решает сменить галс:

– Миледи Отред, надеюсь, теперь вы будете жить при дворе?

Бесс мотает головой:

– Семья моего мужа хочет видеть меня на севере. Они не отпускают маленького Генри, хотят вырастить из него настоящего йоркширца. И как бы я ни желала видеть сестру в зените славы, мне не хочется, чтобы малыши меня забыли.

Джейн трудится над собственной вышивкой. У женщин свои правила, которых мужчинам не понять. Не подобает королеве отпарывать инициалы предшественницы. Джейн поднимает вышивку – орнамент из жимолости и желудей.

– Неплохо для деревенской простушки, – замечает она.

Прав Норфолк, думает он, скоро я научусь управляться с иголкой.

– Ваше величество, у меня есть просьба, но, возможно, вам она придется не по душе. Мне нужно встретиться с фрейлинами покойной королевы. Нам придется пригласить их ко двору. – Внезапно он чувствует страшную усталость. – Я должен расспросить их. Возможно, имело место недоразумение. Нам придется пересмотреть обстоятельства, о которых я надеялся забыть.

– Бедная Мег Дуглас, – говорит Бесс Отред. – Королю следовало давно найти ей мужа. Оставьте без присмотра нежное создание, и Говарды налетят, словно мухи.

– Кого вы хотите расспросить? – спрашивает Нэн.

– А вы как думаете?

– Мистрис Мэри Шелтон.

Шелтон была составительницей сборника, она решала, какие стихи оставить, какие выбросить, знала, что в них зашифровано.

– И, – продолжает Нэн, – вдову Джорджа Болейна.

– Леди Рочфорд дама весьма деятельная, – замечает мастер Ризли. – Она помнит все, что видела.

Дальнее, смутное воспоминание проплывает перед его мысленным взором: мягкой походкой Джейн Сеймур движется в покоях Анны, в руках – сложенные простыни. Анна еще не королева, но живет надеждой, и прислуживают ей, как

королеве. Он вспоминает белые сгибы, легкий аромат лаванды. Вспоминает Джейн, чье имя едва ли знал тогда, лавандовые тени на белом склоненном лице.

Нэн говорит:

– Думаю, именно леди Рочфорд была свидетельницей брака Мег. Ей в радость погубить другую женщину.

Бесс Отред удивлена:

– Но не она ее погубила. Не она их выдала.

Это правда. Но, как заметила другая Бесс – Бесс Даррелл, – настоящий, бесповоротный крах готовится долго и тщательно. Бесчестье Мег, раскройся оно раньше, стало бы бесполезной кодой к тому, что случилось с покойной королевой, – пропало бы зазря.

Нэн говорит:

– Мег, Шелтон и Мэри Фицрой вечно шушукались по углам. Мы-то думали, это все ради… – Она прикусывает губу.

Бесс говорит:

– Мы думали, они защищают тайны Болейнов. – Она серьезнеет. – De mortuis nil nisi bonum[25].

Он изумлен:

– Вы знаете латынь, мидели?

– В отличие от сестры я не пренебрегала уроками. Много же хорошего это мне принесло. Джейн поднялась высоко, а я бедная вдова.

Королева только улыбается. Она говорит:

– Я не против, если Мэри Шелтон вернется ко двору. Она не завистлива и не зла.

А еще, думает он, для короля она давно прочитанная книга, так что одной заботой у вас будет меньше.

– Но, Джейн, – говорит Бесс, – ты же не приблизишь к себе леди Рочфорд? Она издевалась над тобой вместе с Болейнами. И она жена изменника.

– Она в этом не виновата, – замечает мастер Ризли.

– И что с того? – Бесс возмущена. – Я удивлена, что король решился обратиться к Джейн с такой просьбой.

– Это не он, – говорит королева. – Король никогда не позволяет себе сделать что-нибудь неприятное. Лорд Кромвель старается за него. – Джейн поворачивает голову, бледные глаза словно брызги прохладной воды. – Я

уверена, леди Рочфорд будет рада вернуться ко двору. Лорд Кромвель в долгу перед ней за некий совет, в котором когда-то нуждался.

Нэн говорит:

– Если Рочфорд вернется, то уже навсегда. И мы никогда больше от нее не избавимся.

– Не важно, – говорит Джейн. – Вы будете ей достойной противницей.

Это комплимент? Нэн не уверена.

Бесс резко бросает:

– Сестра, не будь такой смиренной. Не забывай, что ты английская королева.

– Уверяю тебя, я об этом помню, – бормочет Джейн. – Но коронации еще не было, так что никто не знает.

– Все королевство знает, – говорит он. – Весь свет.

– О вас знают даже в Константинополе, мадам, – говорит Ризли. – Венецианцы отправили туда послов с новостями.

– А им что за дело? – спрашивает Джейн.

– Правителям важно знать, что происходит в семействах других правителей.

– У каждого турецкого султана по дюжине жен, – говорит Джейн. – Будь король их веры, мог бы стать мужем покойной королевы, упокой Господь ее душу, Екатерины, упокой Господь ее душу, и моим. А еще Мэри Болейн, Мэри Шелтон и матери Фицроя. И папа ничего бы ему не сказал.

Мастер Ризли робко замечает:

– Вряд ли король намерен стать турецким султаном.

– Много вы знаете, – говорит Джейн. – Если вы пойдете к нему прямо сейчас, то увидите его в любимом костюме. Королю показалось мало надеть его один раз на свадьбу. Притворитесь удивленными.

Нэн говорит:

– Лорда Кромвеля ничем не удивишь.

Джейн оборачивается к ней:

– Иногда, отрываясь от забот, лорд Кромвель приносил нам пирожные. Апельсиновые тарты в корзинках. Когда королева бывала им недовольна, она швыряла их на пол.

– Так все и было, – говорит он. – Но покойная королева делала много чего похуже. Впрочем, nil nisi… – Он встречает взгляд Бесс Отред и улыбается.

Когда они выходят из покоев Джейн, он замечает:

– Нэн ошибается. На свете еще есть такое, что может меня удивить. Например, вдова Отреда с ее латынью.

Он сухо называет ее «вдовой Отреда», словно никогда о ней не думал. Представляет себе сэра Антони Отреда, старого бравого воина, представляет свою покойную жену. Мертвые стесняют нас. Чем говорить о них дурно, лучше вовсе не поминать их всуе. Мы не говорим о них и не думаем, мы раздаем их одежду нищим, сжигаем их письма и книги. Когда они вышли от Правдивого Тома и спускались по лестнице, Кристоф шлепал ладонью по стене – хлоп-хлоп-хлоп, словно будил тени, чающие обрести мир. Два года минуло с тех пор, как епископ Фишер спустился по этой лестнице навстречу казни. Он был стар, тощ и слаб, его тело распласталось на эшафоте, как сухие водоросли.

У дверей на него обрушивается толпа просителей:

– Лорд Кромвель, на одно слово!

– Посмотрите сюда, сэр!

– Милорд хранитель малой королевской печати, вы должны это знать!

Ему пихают бумаги, хранитель личной королевской печати их собирает. Он видит слугу в ливрее Ричмонда, окликает его:

– Как здоровье милорда?

– Ему стало хуже. Мы не хотим говорить королю.

– Я ему скажу.

– Король должен навестить сына.

В тюрбане Генрих кажется очень высоким. Со времен тройной свадьбы он добавил на тюрбан самоцветов и перьев. На боку висит кривой кинжал, украшенный не полумесяцем, а тюдоровской розой.

Он, лорд Кромвель, преклоняет колени перед королем, Зовите-меня рядом. Они не выражают изумления его нарядом. И у притворства есть пределы.

– А я надеялся вас поразить, – с обидой замечает Генрих. – Вижу, королева вас предупредила.

Как быстро во дворце распространяются слухи.

– Она не хотела испортить вам удовольствие.

Раздраженный король велит им подняться:

– Вам не кажется, что я женился на дурочке? Она не в состоянии понять простых вещей.

Он колеблется:

– Она из тех смиренных душ, что не ведают своей выгоды. Ваше величество правит много лет, за что мы ежедневно благодарим Господа, королева же, в отличие от вас, неопытна в делах мирских.

Король поправляет серебряный пояс:

– Думаю, послы считают ее некрасивой.

– Им-то что? – Он раздражен. – Шапюи не знаток женщин.

– А равно и французы, – добавляет Ризли. – Они все прелаты – негоже им высказывать свое суждение по этим вопросам.

Кажется, им удается его успокоить. Зеркало полускрыто занавеской, Генрих бросает косой взгляд, довольный собственным отражением.

– Итак, – спрашивает король, – зачем я вас вызывал?

Он вынимает из кармана шелковый мешочек:

– Я хотел просить соизволения вашего величества подарить леди Марии вот это.

Генрих вынимает подарок из мешочка. Снова и снова вертит в руке, всматриваясь в резьбу. На случай, если король не разобрал надпись, мастер Ризли зачитывает вслух.

– В награду за смирение, – произносит Генрих. – Очень уместно. Думаете, моя дочь усвоила урок? – Не дожидаясь ответа, говорит: – Я заездил вас, Томас. Вы непременно должны поохотиться со мной этим летом. А еще я возьму с собой моего сына. Надеюсь, к тому времени он оправится и сможет держаться в седле.

Король любит называть Ричмонда «моим сыном».

Он говорит:

– Ваше величество, слуги герцога полагают, вам следует посетить Сент-Джеймсский дворец.

– А что вы посоветуете?

Он чувствует, как дрожь сотрясает хранителя личной печати, Зовите-меня трепещет всеми фибрами. Подобный совет влечет последствия. Ибо Генрих добавляет:

– Природа его недуга еще себя не показала. Если выяснится, что это заразно…

– Храни Господь, – вставляет мастер Ризли.

Генрих смотрит на кольцо, сжимает его в ладони.

– Оно мне нравится, поэтому я сам вручу его дочери. А вы найдете что-нибудь еще, не правда ли?

Он кланяется. Можно подумать, у него есть выбор. Король кивком отпускает их, его голубые глаза спокойны. Изумруд на тюрбане сверкает, как глаз ложного божества, а большие розовые ноги в бархатных туфлях похожи на поросят, бредущих на рынок.

Вероятно, дамы, которых отлучили от двора, сидели на тюках – никого не приходится просить дважды, и он заходит их поприветствовать. Мэри Шелтон напоминает ему резную деву работы Николауса Герхардта: белокожую, розовощекую, в ямочках, но взгляд резкий. Впрочем, она и не дева.

Когда Шелтон собирала рукописи, имевшие хождение среди рабов и обожателей покойной королевы, она сравнивала загадки, остроты и нечестивые молитвы, переписывала и порой сопровождала стихотворными комментариями или новыми загадками, решая, кому отвечать. Ее правка очень щадящая, иначе она вычеркнула бы все стишки Правдивого Тома до последнего. Он соглашается с покойной королевой: только Уайетт умеет писать стихи.

Он говорит ей:

– Уверен, ваша кузина знала про Мег и Правдивого Тома. Ей доставляло удовольствие, что еще один из Говардов возвысился?

– Нет. Но удовольствие она получала.

– Ей не приходило в голову предостеречь леди Мег?

– Зачем?

Он обдумывает ее ответ. Почему одна женщина должна помогать другой?

Мэри Шелтон говорит:

– Я согласна, это вина моей кузины Анны. Она научила нас думать только о себе и следовать своим желаниям. Amor omnia vincit[26]. Так она говорила.

– Возможно, на время.

– Любовь побеждает все? – Бедное нежное создание, она опускает голову. – При всем уважении, милорд, любовь не победит и гусенка, калеку с ног не свалит, яйца не разобьет!

Шелтон собиралась замуж за Гарри Норриса, пока Анна не сказала ей: «Если король умрет, Норрис женится на мне». Шелтон выстроила для своей любви маленький домик, а он рухнул от одной фразы, и теперь она живет на обломках.

Он спрашивает:

– А дочь Норфолка? Я знаю, она покрывала Мег. Она не живет с мужем, не правда ли? Ей никогда не позволят. У нее, случаем, нет любовника?

Шелтон качает головой:

– Слишком боится отца. А вы бы на ее месте не боялись?

– Если бы смог вообразить себя на ее месте, – смеется он, – боялся бы. А как в этом замешана Джейн Рочфорд?

– Она, как всегда, себе на уме. Спросите у нее сами.

– Я спрашиваю у вас.

– Не стану утверждать, что она была в спальне в первую брачную ночь Мег, но чистые простыни принесла она.

Он поднимает руку:

– Ни слова о простынях. Мег Дуглас невинна. Нетронута, как дочь Норфолка. Чиста, как будто только что из материнской утробы.

– Ясно, – говорит Мэри Шелтон. – Не забудьте оповестить Джейн Рочфорд. Пусть начисто сотрет свою память.

Почему непременно на белых простынях, думает он. Господь даровал вам для наслаждений целый мир. Почему не в парке у дерева?

Перед тем как вернуться ко двору, вдова Джорджа Болейна оговаривает условия. Уточняет, какие комнаты хочет, просит выделить стойла для двух лошадей, а также стол и кров для себя, двух служанок и слуги. Дайте леди Рочфорд то, что она требует, пишет он, но, как только она прибудет, пришлите ее ко мне.

– Что слышно про Бет Вустер? – Она с ходу завязывает разговор, словно и не было прошедших недель. В глазах блеск. – Сейчас она на седьмом месяце. Интересно, граф определился, чей ребенок?

– Король желает знать про Мег Дуглас.

– Нет, не желает. Много ли ему радости знать, что его племянница себя сгубила? А желает он, чтобы все знали, что ее подруг опросили, а стало быть, он сделал все ради установления правды. Его можно только пожалеть. Так и будет считать себя ничтожеством: друзья наставили рога, дочь непокорна, племянница вышла замуж без его ведома. Да и вы с ним не церемонились.

– Я?

– Генрих сказал: «Сделайте меня свободным». И вы сделали. Но он хотел быть свободным как принц, а не как нищий. Вы разнесли дворец его мечты и

оставили его нагим среди обломков. Вы раскрыли ему глаза, и оказалось, что жена лгала ему, а друзья притворялись. Вы всегда ждете от женщин предательства – грех Евы, как вы это называете, измена в женской натуре. Но предательство Норриса и Уэстона, которых он любил всей душой…

– Я дал королю то, о чем он просил.

Она говорит, как Шапюи, думает он. Считает, что Генрих никогда меня не простит.

– Но разве он знал, как над ним будут смеяться? – спрашивает леди Рочфорд. – Над его одеждой, стихами, мужской силой? Теперь ему с этим жить, а вам – с ним. Придется создавать ему новую репутацию. Вам и Сеймурам.

– Репутацию? Он король Англии.

– Он обычный мужчина. – Она усмехается. – Думаю, с бледной Джейн он управится. Много от него не требуется. Не завидую я ей. Анна говорила, обслюнявит тебя всю, как щенок мастифа.

Он прикрывает глаза.

– Говорят, коронация отложена, – замечает она.

– Ждут, пока спадет жара. Скорее всего, на Михайлов день.

Я надеюсь, что меня известят заранее: нужно время замазать черноглазых богинь, которых я заказал написать для Анны, заменить их танцующими англичанками с округлившимися животиками и поднятыми вверх розовыми руками.

Леди Рочфорд говорит:

– Думаю, он не коронует Джейн, пока она не убедит его, что наследник у нее в утробе.

– Убедит? Думаете, она может солгать?

– Всякое бывало.

Так не пойдет, думает; она хочет увлечь его туда, куда он ни ногой, – в заросли прошлого.

– Сеймур разыграет свою карту, – говорит она. – За ней наблюдают и ждут. Господь свидетель, совести у нее нет. В деревне мне пришлось терпеть бесконечные вздохи соседей: «Ах, наконец-то наш король обрел счастье, Англия обрела счастье, этот брак благословен!» Но откуда взяться благословению, если свадебный наряд шили из савана?

– Кто шил, миледи?

– Интересный вопрос. Вы, я, мастер Уайетт – кому принадлежит основная заслуга? Думаю, вам. Мы выкололи наш мелкий узор, но ткань кроили вы.

– В мае я предупреждал вас, подумайте, прежде чем говорить. Если вы дадите показания против собственного мужа, от вас станут шарахаться. Вас будут ненавидеть. Вы будете одиноки.

– Как мало вы знаете о нашей жизни, – говорит она. – О женской доле. Я одинока много лет.

– Отныне все изменится. Никто больше не вспоминает об Анне Болейн. Никто о ней не думает. Вы будете веселы, угодливы и постараетесь заслужить одобрение новой королевы, иначе вас отошлют от двора, и я не стану вас защищать.

– Джейн Сеймур никуда меня не отошлет. Я ее знаю. Я кое-что знаю про нее.

У него екает сердце. Шапюи спрашивал, как она умудрилась столько лет провести при дворе и остаться девственницей? Он думает, какой-то мерзавец ее обесчестил. Волна ярости, словно морской вал, едва не сбивает его с ног.

Джейн Рочфорд ухмыляется:

– Это не то, о чем вы подумали. Никто не зарился на бедную Джейн, в постели она холодна, как рыба. Мне известно кое-что другое – ее приемы. Я видела все, что она делала против Анны, служанка против госпожи. Помните, Анна нашла в кровати рисунок? Мужчина в короне, а рядом женщина без головы.

Доктор Кранмер потянулся, чтобы выхватить рисунок и разорвать, но она отвела руку и прочитала вслух: «Anne Sans tete»[27]. Анна сказала, это люди Екатерины, они за мной следят. «Кремюэль, – она стиснула его руку, – как им удалось добраться до меня в моей собственной спальне?»

Он говорит:

– Это не Джейн, она не говорит по-французски.

– Любой знает по-французски несколько слов, – смеется леди Рочфорд. – Я уверена, что все эти годы вы думали на меня.

– Неудивительно. Вы с Анной друг друга не любили.

Она говорит:

– Эти люди унижали меня с детства – Говарды, Болейны. Джордж Болейн разговаривал со мной так, словно я девчонка, которая разносит уголь, чтобы добыть пропитание, или прачка. Я родом из такой же знатной семьи. Чем Анна Болейн лучше меня?

Она похожа на голодного ребенка, думает он. Брось ей ломтик внимания, и она будет жадно глотать, пока не подавится. Он помнит Анну Болейн в тот день, но, кроме страха, в ее словах было презрение. «Пусть делают что хотят, все равно я стану королевой, пусть даже потом меня сожгут».

– По крайней мере, до этого не дошло, – говорит он. – До костра.

Джейн поднимает бровь:

– В этом мире, возможно. Думаю, дьявол свое дело знает.

Он собирает бумаги, хотя они не договорили. На самом деле, они даже не приступили к настоящему разговору.

– Так я свободна? – Леди Рочфорд встает. – Спасибо, что вернули меня ко двору. С тем имуществом, что досталось мне от Болейнов, и жалованьем от Джейн я сумею вести жизнь, достойную знатной дамы, если буду осмотрительна в тратах. Если нет, осмелюсь надеяться, вы меня выручите.

– Моя признательность имеет границы.

– По крайней мере, вы не сказали: «Мои сундуки не бездонны». Я бы рассмеялась вам в лицо. – Она поворачивается к двери. – Что до Мег Дуглас, должно быть, вы спрашиваете себя, могла ли я неверно истолковать то, что видела весной: ночные хождения, жаркие взгляды, томные вздохи…

– Миледи, если вы знали об этой интрижке, почему не пришли ко мне? Это позволило бы избежать большой беды, это помогло бы мне…

– В чем? Вы ни на миг не усомнились в виновности этих джентльменов. Вы сказали, накидайте грязи, авось что-нибудь прилипнет. И все равно не сомневайтесь. Это не было ошибкой, не было несправедливостью. Вы были правы насчет Анны Болейн.

– Верю вам на слово, – лжет он.

– Она была порочна до глубины души. Каковы бы ни были наши поступки, Господь видит не их, а наше сердце. Разве нет, господин секретарь?

Он говорит:

– Вам следует запомнить мой новый титул, мадам.

В Остин-фрайарз его встречает Ричард Кромвель.

– Мой привратник, – обращается он к Ричарду. – Никогда не впускай сюда женщин. Я не желаю ни видеть их, ни говорить с ними.

– Что, никогда-никогда? – спрашивает Ричард. – Никак вы собрались в монастырь? Но я слышал, в монастырях полно женщин, в том числе распутных. А если за вами пришлет королева, что мне придумать?

– Скажи, пусть напишет мне, и я отвечу ей письмом. В руки больше не возьму любовные вирши. Стихи, прославляющие военные победы. Стихотворные переводы псалмов. Все, что угодно, только не эти женские штучки.

Грегори замечает:

– Только на прошлой неделе вы тепло отзывались о леди Марии и сказали, что ей нужны подарки.

Его племянник говорит:

– Здесь Ричард Рич. И Зовите-меня.

– И Рейф, – добавляет Грегори. – Вид у них мрачный. Мы отправили их в сад.

– Рейф? Почему раньше не сказали?

Он спешит в сад. Дождь закончился с час назад, и теплый воздух напоен ароматами трав. Даже колышки, что подпирают юные деревца, как будто подрагивают от растительной силы. Молодые люди стоят на влажной утоптанной дорожке, их рукава касаются спутанных роз, колючий шиповник цепляет подолы. Они о чем-то беседуют приглушенными голосами, а при его приближении замолкают и смотрят на него настороженно, почти виновато.

Рейф говорит:

– Я не понимаю, как так вышло. Вероятно, кто-то похитил ваши письма или записи. Когда я следил за вашим письменным столом, такого не случалось.

– Я уверяю тебя, Сэдлер, – говорит Ричард Кромвель, – ничто тайное не покинет пределов этого дома. Ни слово, ни бумага.

– В любом доме могут завестись предатели, – замечает Зовите-меня.

Ричард Рич говорит:

– Мы никогда не распускали досужих слухов, порочащих вашу репутацию. И не пытались посеять раздор между вами и вашим царственным господином.

Мастер Ризли говорит:

– Ваши друзья всегда советовали вам жениться.

– Ради Христа! – восклицает он. – Что случилось?

– Шапюи получил некие сведения или сделал некие выводы. Он утверждает, что король обещал выдать леди Марию замуж. За вас.

– Господи, – говорит он после молчания, – а я сделал ей подарок. По крайней мере, пытался.

– Об этом толкуют везде, – говорит Зовите-меня. – Вести долетели до Фландрии, прокатились по Франции, перебрались через горы и вернулись к нам из Португалии.

– Король знает?

– Странно было бы, если б не знал, – говорит Рич.

Ризли говорит:

– Тон у ваших писем к его дочери весьма теплый. Кто-то их выкрал.

– Необязательно, – замечает он. Он по собственной воле показывал послу письма Марии, она в свою очередь показывала его письма Шапюи. – Мы не можем утверждать, что их похитили. Мы можем сказать, что превратно истолковали, с тем чтобы поднять шум.

– Друзья вас предупреждали, – говорит Зовите-меня. – Мы говорили вам в саду у Сэдлера. Вы дали ее матери обещание, сами признались. Теперь оно вышло вам боком.

Он видит лицо Генриха, как тот разглядывает кольцо на ладони. Я сам ей вручу, а вы найдите что-нибудь другое. Неужели король спасал его от него самого?

Он говорит:

– Королю в голову не придет отдать руку дочери своему советнику. А если придет, я откажусь. Он не может думать, что я ищу этого брака.

– До сих пор не мог. – Грегори выглядит потрясенным. – Но если поверит…

– Это мощное оружие, сэр, – говорит Рич, – если ваши враги задумают обратить его против вас. Многие убеждены, что муж Марии, кто бы им ни стал, когда-нибудь взойдет на трон. И любого, кто к ней посватается, можно обвинить в измене.

– Нечего повторять без конца одно и то же, Рич, – говорит Ричард Кромвель. – Это награда моему дяде за доброту. Он спас ее, а теперь утверждают, будто он думал только о себе.

Когда вспыхивает пожар, думает он, ты бежишь тушить его с ведром воды. Но губят тебя не дым и пламя, а кирпичи и бревна, которые разлетаются в разные стороны, когда взрывается дымоход.

Грегори говорит:

– Я знаю, что делать. Слухи не прекратятся, пока вы не скажете: «Я уже женат». Выйдите на улицу и предложите себя первой попавшейся женщине.

– Согласен, – говорит его племянник. – Старой или молодой. Любого сословия и положения.

– А если она уже замужем?

– Предоставьте это нам, – говорит Ричард. – Мы уберем его с глаз долой, верно, Рич?

Тень улыбки на лице Рича.

– Мы найдем способ от него избавиться. Большинство из нас вольно или невольно нарушают закон. Любого, если хорошенько покопаться, найдется за что наказать.

– Или просто прирежем муженька и сбросим в навозную кучу, – говорит Ричард. – Все равно все уверены, что мы только этим и занимаемся.

– Я сам прирежу посла, – говорит он, – как только его увижу.

Он находит Шапюи в саду, тот сидит под деревом и читает книгу. Он сам предложил ее послу: «Диалог между Законом и Совестью».

Он берет книгу и вертит в руках. Типография Джона Растелла.

– Могу одолжить вам вторую часть. Только она на английском.

– У нее есть продолжение? – удивляется посол. – Я думал, все уже сказано. Вопросы совести надлежит рассматривать в рамках закона. Отсюда следует, что нет нужды в особых законах, прописанных церковниками. – Он забирает книгу обратно. – А скоро англичане спросят, зачем вообще нужны священники, если каждый человек сам себе священник? Немцы уже так говорят.

– Похоже, придется мне жениться.

По крайней мере, Шапюи не пытается лгать. Он не делает вид, будто первый раз об этом слышит, просто машет рукой, отрицая, что был источником слухов:

– Мой дорогой Томас, и вы поверили, что я мог такое сказать? Благородные английские лорды уничтожат вас, и тогда мне придется иметь дело с Норфолком как с главным министром. Клянусь мессой, от одной мысли об этом я вяну с тоски.

– Думаю, вы пытаетесь меня погубить, – говорит он.

– Прошу вас, – посол делает знак своим людям, – бокал превосходного рейнского.

– Пропитайте им губку, – говорит он. – Выпью, когда буду висеть, прибитый к кресту над Лондоном.

– Не богохульствуйте, – мягко говорит посол, протягивая ему кубок. – Я только передал то, что слышал от честных и уважаемых людей. Что король якобы выбрал дочери в мужья англичанина и этот англичанин – вы. Однако я заверил императора, что, по моему мнению, Кромвель откажется. Он помнит, чей он сын, и еще не окончательно утратил разум.

– Едва ли я сумел бы отрицать, кто был мой отец.

Он вспоминает, как в конце дня Уолтер окунал голову в ведро с водой, а потом отплевывался и задыхался. Зачем? Едва ли от этого он становился чище.

– Разумеется, если король сделал вам это предложение, лицом к лицу, как вы могли отказаться? – спрашивает Шапюи.

– Король его не делал и не сделает. Это невозможно. Он предпочтет, чтобы Мария умерла. Гордость ему не позволит.

– Ах да, – говорит посол, – его гордость. Что касается моих собственных наблюдений, мне показалось, леди Мария краснеет при упоминании вашего имени.

– Она краснеет от гнева, – говорит он. – Размышляет, как прикончит меня, когда получит власть. Распятие будет милостью. – Он делает глоток рейнского. – А теперь она возненавидит меня еще больше. Кстати, отличная брошь. Какая искусная работа.

Он готов поклясться, что Шапюи бледнеет. Рука посла касается цветка календулы, лепесток украшен жемчужиной. Бывалого дипломата не смутить. Он снимает шляпу и начинает отстегивать украшение:

– Мон шер, это вам.

Он готов расхохотаться.

– Вы щедры. – Предательское украшение падает в его ладонь. Он кладет его в карман. – Я примерю потом, перед зеркалом.

Дома его ждет Рейф:

– Печально слышать такое про Шапюи. После нашей дружеской беседы в моем саду.

– Шапюи нам не друг.

Он спрашивает себя, показать ему брошь? Но не показывает.

– Что теперь? – спрашивает Рейф.

– Навестим французского посла и посмотрим, что он скажет.

– Монсеньора нет дома, – докладывает привратник. Затем, словно гость мог не понять, повторяет по-английски: – Нет его.

– Неужели? – Он снимает шляпу. – А он не притворяется? Не следит за мной из окна? А если я откину крышку того сундука, не окажется ли, что он сидит там, скрючившись?

Обязанности посла исполняет Антуан де Кастельно, епископ Тарба. Представив епископа в такой нелепой позе, привратник невольно улыбается. Впрочем, возможно, его любезность объясняется всегдашней щедростью Кромвеля.

– Милорд, у него другой ваш знакомый. Войдите…

Жан де Дентвиль сидит у пылающего камина. За окном птицы сомлели от жары, трава на лужайках сохнет, превращаясь в солому.

– Это вы! – восклицает он.

– Что за манеры, Томас! Вам следовало сказать: «С возвращением, посол».

– И надолго вы решили почтить нас своим присутствием?

– Нет, если это будет зависеть от меня.

– И что вас сюда привело? – У тебя нюх на несчастье, думает он. Иначе ты бы не приехал. – Прослышали о моем предстоящем бракосочетании?

Посол не улыбается:

– Мой король сказал, придется съездить, Жанно, лично поздравишь Кремюэля. Из уст старого друга поздравления особенно приятны.

Он фыркает:

– Ваш король предпочел бы увидеть меня скорее мертвым, чем женатым.

– Он живет надеждой.

– Если эти нелепые слухи пошли из Франции, я поручу нашему послу их опровергнуть.

– Определенно, епископ Гардинер не считает вас достойным супругом для принцессы. Он полагает, ваше дело – как он сказал? – подковывать лошадей. – Дентвиль обращает на него взгляд печальных темных глаз. – Вы обескуражены, Томас? Не привыкли к предательству? А чего вы ждали от Шапюи?

Он, Кромвель, отступает подальше от камина.

– Неужто вам и впрямь холодно? Никогда не поверю, – говорит он. – Не знаю, чего я ждал. Не этого.

Посол сердито ерзает в своих мехах:

– Вы думали, император и его люди будут вам благодарны, потому что вы исполнили обещание, данное Каталине? Они решили, это был хитрый трюк, который вы замыслили у постели умирающей королевы. Они полагают, у вас нет ни чести, ни совести. Кстати, так же они думают о Генрихе, поэтому не удивляются его поступкам. Впрочем, как и мы.

– Не знаю, что еще я мог для нее сделать, – говорит он. – Я поступил с девушкой честно. Генрих не пощадил бы ее. Я уберег короля от величайшего преступления.

– Не сомневаюсь. А теперь должны уберечь его от следующего. Я говорю о дочери шотландской королевы. Как вы поступите теперь? Если они думают, что вы спасли Марию для себя, что мешает им повторить те же домыслы? Мне доводилось видеть шотландскую принцессу. Лакомый кусочек, не то что королевская дочка, не так ли?

Он видит, как, задыхаясь от кашля, пробирается сквозь дым. Выносит девушку из пожара. Хрясь! Дом рушится. Его заваливает обломками.

– А вам никогда не хотелось выйти? – спрашивает он. – Проветриться, взбодрить кровь? Когда завершатся парламентские слушания, приглашаю вас за город.

– Поверьте, – отвечает француз, – для развлечения мне хватает дипломатии. – Он машет рукой на мясную муху, принявшую его меха за звериную тушу. Кислый запах плывет в летней духоте. – Держитесь веселей. Думаю, мой господин король Франциск готов сделать вам предложение. Я сказал ему, не стоит недооценивать Кремюэля, предложим ему больше. Мой король понимает, вы ничего не делаете даром. И он видит, что, хотя вы, возможно, еретик, вы удерживаете Генриха от войны. Если бы не вы, ваш господин и дальше воображал бы себя правителем Франции.

– Чего хочет ваш король?

– Кале.

– Ни за что.

– Отдайте Кале на ваших условиях, иначе скоро мы отберем его на своих. Если уступите нам, Генриху найдется чем заняться в своем маленьком королевстве. Его нога должна убраться с французской земли. Если он готов оставаться внутри собственных стен, мы не станем ему досаждать. Если не готов, кто знает.

За дверью Кристоф развлекает толпу соотечественников. На прощание кричит и показывает им кулак.

– Я сказал им, – довольно сообщает ему Кристоф, – что вы сильны как бык и готовы заделать леди Марии наследников. А они говорят, король выбрал Кремюэля, потому что хотел унизить внучку Испании. Говорят, если у вас появятся дети, Генрих заставит их скрести полы. Чтобы заработать на пропитание, они будут чистить нужники и при свете луны вывозить дерьмо на телегах.

Восемнадцатого июля заканчивается сессия парламента. Билль о лишении Правдивого Тома прав принят. То немногое, чем он владел, изъято в пользу короля, и ему осталось только ждать лютой смерти. Каждое утро он будет прислушиваться к шагам за дверью. Первым придет Кингстон или его заместитель, не позже девяти. Затем – священник.

– Отложить казнь? – спрашивает он короля.

Генрих говорит:

– Да, пусть ждет.

– А леди Маргарет? Вы же видите, сэр, она стала жертвой обмана. Невинная девушка оплакивает свою участь, живет надеждой на ваше милосердие.

– Я дам ей – им обоим – время осмыслить свою глупость и свои злодеяния, прежде чем воздам по заслугам.

Когда король с королевой отправляются в Дувр, французские корабли появляются вблизи побережья. В Лондоне, после месяца споров, епископы принимают исповедание веры в десяти статьях. Из Базеля приходят слухи, что Эразм умер. Ганс, у которого в Базеле знакомые, утверждает, что это правда.

Незадолго до отбытия из Уайтхолла король подтверждает его полномочия викария по делам церкви и посвящает его в рыцари. Так что теперь он сэр Томас, равно как и лорд Кромвель. Если Генрих поверил, что он пытался соблазнить, обольстить или совратить его дочь, то никак этого не показывает: любезно строит планы увидеться, как только дела позволят ему покинуть столицу. Ричмонд до сих пор болен, но король решает, что, если сидеть на месте, заразится весь двор.

– Обязательно пришлите Грегори, – говорит король на прощание.

Его сын нарасхват. От Сомерсета до Кента, от центральных графств до северных пустошей, замки и поместья соревнуются между собой, как развлечь его: приятного молодого человека, видного, знающего свое место, однако накоротке с великими мира сего, вежливого со слугами и щедрого к беднякам. Он музицирует на вёрджинеле и лютне, поет дуэты, говорит по-французски, готов сыграть в любую игру, требующую ловкости или удачи, в гостиной или на свежем воздухе. На охоте не знает ни устали, ни страха. Ежедневно, подавая пример другим, стреляет по мишеням – и только скромность мешает ему превзойти отца в стрельбе из длинного лука. Он, лорд Кромвель, не устает благодарить Господа за то, что по-прежнему хорошо видит вдали. Вблизи ему нужны очки. Неудобная штука, но Стивен Воэн прислал ему превосходные линзы из Антверпена. Иногда писари читают ему вслух, чтобы сберечь его зрение. Он говорит им: «Каждое слово, не общий смысл, не ваше изложение, а каждое слово». Если они запинаются, заставляет читать заново.

В Остин-фрайарз он просит Мэтью принести «Книгу под названием Генрих». Он надеется, хотя времени не хватает, записать то, чему был свидетелем с тех пор, как Анну Болейн отправили в Тауэр. Он хочет собрать все, чему учит королевских советников, особенно тех, кто принял присягу недавно. Их роль – побуждать в своем господине добродетель. Если Генрих думает о себе хорошо, то и поступает хорошо. Если ты смутишь его душу, сравнивая короля с правителями, безупречными нравственно и при этом удачливыми, не удивляйся, если он заставит тебя об этом жалеть.

Иногда он читает свою книгу, чтобы восстановить уверенность в себе. Надеется, что со временем выйдет целый том – недлинный, но исполненный мудрости.

Через день после отъезда короля он в Доме архивов на Чансери-лейн. Входит Ричард Кромвель, кладет бумаги на стол:

– Стихи из Кента.

Он подносит бумаги к лицу, воображая запах яблок. Узнает руку Уайетта, но, начав читать, спрашивает:

– Это его стихи?

– С его стола, сэр.

– Выходит, вы шпионите за Уайеттом? – с улыбкой спрашивает он.

Он читает имена умерших. Рочфорд. Норрис. Уэстон. «Проходят дни, печаль гнетет сильней».

– Сильней? – удивляется он. – С чего бы это? – Читает: – «И Брертон, прощай! Хоть так, как их, не знал тебя, друзей и ты имел». Скатертью дорога, Брертон.

Он шлепает бумаги на стол и водит пальцем по строчкам:

– Надо же, и Марк не забыт. «Ты из низов взобраться ловко смог». – Перед глазами землистое лицо мальчишки-лютниста. Обезумевший от ужаса, отчаянно колотящий в дверь чулана посреди ночи; уверенный, что его коснулся призрак с перьями вместо пальцев и дырами вместо глаз.

Ни формы, ни страсти, думает он. Некоторые строчки мог бы сочинить Правдивый Том, а не Том Уайетт. И все-таки они заставляют его увидеть тела, вперемешку сваленные на телеге: бледные английские руки и ноги раскинуты, головы в подмокшем от крови мешке. «Прощайте – всем от сердца я скажу. Упал топор…»

Он говорит Ричарду:

– Видишь, автор их не оправдывает. Он говорит, что они мертвы, но не говорит, что должно быть иначе. Упоминает о гордости Джорджа Болейна, пишет, что почти не знал Брертона. Чего убиваться?

– Потому что скорбь распространяется, как зараза. Растет день ото дня.

– До известной степени. – Он много знает о скорби. Читает вслух: – «Ах, Норрис, Норрис! Каверза судьбы смогла тебя и ближних погубить! Подумаю – не удержать слезы…» – Он останавливается. – Каверза судьбы? Заметь, он не говорит, что кто-то сгубил Норриса. Не говорит, что кто-то его направлял. Судьба вела его, обстоятельства.

Ричард говорит:

– Он верит в виновность Норриса. Это очевидно.

– Что ж. Я думал, что определил его судьбу, но, возможно, он справится сам. – Он подносит бумаги к свету: ни помарок, ни исправлений. Водяной знак в виде единорога.

Ричард говорит:

– Не стану утверждать, что их автор Уайетт, но он знал, о чем писать не стоит. Дама не упомянута.

А зачем, думает он. Анна и так всегда в его комнате.

Ричард замечает:

– Может быть, это действительно Уайетт. Писал другой рукой, левой.

Или другим сердцем.

– Это ничего не меняет, – говорит он. – «Упал топор – и вот он, ряд голов». Это мнение одного человека. И еще один удар по нашей вере в справедливость нашего правосудия. Мы сделали то, что сделали, – а могли бы сделать меньше, и пусть бы виновные говорили сами за себя.

Он смотрит, как Ричард собирает бумаги. «Уйми же плач и на молитву стань».

– Я еду в Мортлейк, в мой новый дом, – говорит он.

На новом месте ему не спится. До сумерек он бродит по саду, решая, с чего начать: выкорчевать старые пни или заняться новыми посадками. Ходит по комнатам, переделывая и расширяя их в голове: прихожая, большая гостиная, галерея, часовня, библиотека. А еще кухня, буфетные, чуланы; дровяной сарай и сарай для угля, кладовые для сухих припасов и для мяса, пекарня. Эта комната для Зовите-меня, если ему случится заночевать, угловая рядом для Ричарда, – наверное, стоит прорубить еще окно? После переделки Хэмптон-корта осталось достаточно материалов, можно будет переправить их сюда на барке. В главные покои ведет отдельная лестница – следует поставить там стражника.

Эти места знакомы ему еще со времен сестры Кэт и ее мужа Моргана Уильямса. У семьи Уильямс был дом на реке, почти под стенами особняка. Люди основательные, они любили строить планы: Томас, говорили они ему, голова на плечах у тебя есть, и, если уйдешь от Уолтера, чего-нибудь да добьешься. Можешь наняться писарем к кому-нибудь из наших друзей, экономом к какому-нибудь старику, закончив карьеру счетоводом у знатного человека. Он видит, как портной Моргана Уильямса шьет ему хороший джеркин на выход, такой же, как у шурина; в тридцать или в тридцать пять в этом джеркине он окунает своих детей в древнюю купель Буршье в приходской церкви. Особняк всегда принадлежал архиепископам. Некоторое время там служил на кухне его дядя, а половина знакомых мальчишек зарабатывала свои пенни, таская дрова, разгружая барки, чистя рыбные садки. Он и помыслить не мог, что когда-нибудь войдет в ворота особняка иначе чем работником, что будет разгуливать с чертежами в руках, оглядывая все вокруг оценивающим взглядом нового владельца. Впрочем, он никогда не думал становиться архиепископом.

Если вы удивляетесь свалившейся на вас удаче, лучше делать это в одиночестве – никогда не выставляйте своих чувств напоказ. Если вы хранитель малой королевской печати, ходите с важным видом походкой

избранника Божия. Так поступал Мор, когда был канцлером. Отделавшись от прежней жизни – Уильямсов с их планами, Уолтера с его тумаками и пинками, – он и подумать не мог, что снова вернется на эти улицы. Но нас всегда тянет к нашим корням, к земле нашей невинности. Шип-лейн всегда пролегала здесь, спускаясь с горы к верфям. Город, который он знал, был скопищем узких улочек и кривых переулков, состоял из воровских притонов со сломанными дверями, гниющих лодок, расползающихся пеньковых канатов, илистой грязи и склизкого гравия. Здесь, где река делала поворот, припала к земле его родина.

Он чувствует, что прихватил с собой из Лондона гостей: Норриса и Джорджа Болейна, молодого Уэстона, Марка и Уильяма Брертона. Он сходит с барки, и они следуют за ним. Стоят на берегу Стикса, ожидая переправы. Они умерли с разницей в несколько минут, но это не значит, что теперь они вместе. Мертвые бродят по переулкам иного мира, словно чужестранцы, заплутавшие в Венеции. Если они встретятся, о чем заговорят? Стоя перед судьями, они сторонились друг друга, словно боялись заразы. И каждый был готов обвинить другого, чтобы выгородить себя.

Прочь, говорит он им. Не думайте, будто можете здесь расхаживать. Заплатите перевозчику и убирайтесь. Сучка спаниеля вертится у него на руках, пока они шагают в сумерках, морда задрана, вислые уши настороже. И хотя для своей породы она мелковата, у нее нюх прирожденного охотника. Всегда есть некое ощущение пертурбаций, прежде чем все обустроится на новом месте: твоя собака найдет себе место у камина, застелют простыни, подадут говядину. В воздухе запах, который напоминает ему о прошлом, – пивное сусло, возможно, хмель, хотя в его детстве хмель был только привозной, и местные пивовары обходились корнем лопуха или календулой. Хмель травит собак, говорили они, когда чужестранцы хвастались тем, что их эль хранится дольше.

Он помнит, как стоял рядом с королем, когда в мае тот подписывал смертные приговоры, – молчаливый Рейф Сэдлер по другую руку, окно открыто, впуская внутрь свежий воздух, король, как малое дитя, которое впервые усадили за грифельную доску. Для Генриха это тяжкий труд, досадная обязанность – росчерком пера лишать жизни. И королевская рука медлит, взгляд изучает недописанные линии – словно те допишут себя сами, избавив его от непосильной задачи.

Генри Норрис, да. Ему хочется подтолкнуть руку Генриха. Уильям Брертон, да. Он чувствует – как если бы был королем – тяжелый взгляд Рейфа Сэдлера на королевском затылке. Лютнист Смитон, да, это легко, чернила стекают на бумагу, как масло, чтобы через день-два обратиться кровавой смертью. Как человека без рода и племени, Смитона должны придушить и, еще живого, выпотрошить на глазах толпы. Он обращается к Генриху:

– Будьте милосердны…

Король спрашивает:

– Почему я должен проявить милосердие к тому, кто совратил королеву Англии?

– Марк очень молод и до смерти перепуган. Никто, пребывая в страхе, не способен принять смерть достойно. А ему надо наконец осознать свои грехи и помолиться.

– Вы думаете, человек, которого ожидает встреча с палачом, может сохранять спокойствие?

– Я видел и такое.

Генрих закрывает глаза:

– Хорошо.

И снова замирает. И снова вы видите перед собой ребенка, ссутуленного детскими горестями: mauvais sujet[28], наказание для учителя, он вертится на месте, пиная табурет, выглядывая в окно, где гаснет погожий денек. Я должен быть там, на солнышке, думает мальчишка. Для чего я выписываю эти буквы, неужели учитель так меня ненавидит? Король со вздохом берет со стола перочинный ножик (с гладкой рукоятью из слоновой кости), чтобы очинить перо.

– Уэстон, – говорит он. – Вы понимаете, он так молод…

Они с Рейфом переглядываются над головой короля. Все, без исключения. Виновны все до единого.

Рейф протягивает руку, берет ножичек, очиняет королю перо, Генрих бормочет слова благодарности: его всегдашняя вежливость. Делает вдох и, согнув шею, спокойный, как бык, впряженный в свое будущее, принимается за дело: Фрэнсис Уэстон, да. Он, Кромвель, думает, я ведь уже такое делал? В какое-то другое время, некая сходная форма принуждения.

Рука Генриха, его вышитый каменьями тяжелый рукав, скользит по столу. Рядом с именем Уэстона возникает клякса, расцветает на бумаге, раскрываясь, как одинокий черный цветок, и сорок лет ускользают в чернильную тьму. Его лицо не меняется, в этом он уверен, но он снова ребенок: стоит, скрестив руки, расставив ноги в позе взрослого мужчины. Стоит в рассеянном сиянии, закатное солнце зажигает начищенные медные изгибы. Оловянные тарелки отбрасывают слабую рябь, резким отраженным светом вспыхивают лезвия кухонных ножей: для резки овощей, для разделки филе, для рубки туш. Это Ламбетский дворец, владения повара: эхо рассерженных голосов, среди них выделяется голос его дяди Джона.

Что там происходит? Кого-то хотят выпороть. Рука эконома хлопает по столу. Допущена оплошность: кто, что, почему. (Впрочем, никаких «почему», никого не волнует «почему».) Воровство, нарушение – правил или этикета, надломленная корочка пирога, расколотое блюдо: кухонный грех, буфетное преступление. Чем бы это ни было, дядя Джон должен примерно наказать виновного, вопли которого отражаются от холодных сводов, многократно повторяясь внутри головы. Мальчишка-рыбник сидит, согнув шею, прижав к глазам кулачки, под ударами эконома – тот самый рыжий мальчишка-рыбник, которого он, Томас Кромвель, только вчера чуть не утопил в кадке с водой.

– Это сделал я! – От сердитых слез кожа на лице пошла красными полосами, нос потек, глаза стали похожи на щелочки. – Отстаньте, уйдите от меня, хватит, это сделал я.

Он прячет улыбку – плохая выдалась неделя для бедняги.

И когда мальчишку уводят, чтобы наказать, а кучка любопытной прислуги рассеивается, дядя тихо говорит ему:

– Ты, чертенок, это же ты сделал.

– Я? Да меня и близко не было. Ты же слышал. Он сам признался.

– У него не было выбора. Бог весть, – Джон отворачивается, – почему ты не можешь ужиться с этим мелким негодником? Вы же оба городские.

– Уроженцы Патни друг друга не жалуют, сам знаешь.

– Тебя не поймаешь в ступе пестом, Томас. Интересно, чем ты кончишь?

Уайтхоллом, очевидно. Король откладывает перо. Трет кончики пальцев: дело сделано, deo gratias[29]. Рейф подхватывает листы. Каждый росчерк пера означает взмах топора. Как тот мальчишка-рыбник, они поймут, что если Томас Кромвель сказал: «Это сделал ты», значит так оно и было. Нет смысла спорить. Только лишняя боль.

За дверью он говорит Рейфу:

– Отвези это в Тауэр, пока он не передумал.

– Сэр?.. – Взгляд Рейфа удивленно скользит по его руке. Он сжимает в ладони – как он там оказался? – перочинный ножик короля, украшенный черными буквами «ГР».

Ах, вздыхает он, надо бы вернуть… Рейф предлагает, давайте я отнесу, нет, говорит он, лучше убедись, что бумаги попали Кингстону в руки, еще успеешь вернуться к Хелен до темноты.

Рейф уходит, напоследок оглянувшись через плечо, – бледный проблеск над черным водоворотом. Он, Кромвель, возвращается к своему господину, сжимая в ладони перочинный нож. Медлит в дверях, на губах слова: ваше величество, я случайно прихватил ваш ножик.

Но Генрих молится, стоя коленями прямо на каменном полу у стола. Его глаза закрыты, губы движутся: salve, regina[30]. Розоватый вечерний свет дрожит вокруг.

Он кладет на стол перочинный ножик и идет к двери. Не пятясь, как надлежит в присутствии короля, но уверенно, будто в собственном доме, прервав кого-то на полуслове, выходит, оставляя дверь открытой.

Вчера вечером Дик Персер спросил его:

– Хозяин, а королева и правда виновна? Неужели она правда кувыркалась со всеми этими молодцами?

Бесполезно объяснять, что ее судили не за это, а за измену. Миновал всего лишь месяц, а они помнят только про блуд и распутство.

– Хочешь знать, что я думаю? – Он провел рукой по глазам. – Видишь ли, Дик, для того нам и нужны суды, судьи и присяжные… чтобы защитить нас от тирании одного человека.

За дверью к нему устремляются королевские джентльмены, но он выставляет ладонь, не давая им приблизиться:

– Ступайте к нему, он молится, но, смею предположить, скоро велит принести ужин. – Он раздражен – если Генрих может внезапно опуститься на колени и воззвать к Пресвятой Деве, кто-то должен заранее подложить подушку для молитвы. – Разожгите огонь, уже выпали росы. Позже он позовет музыкантов…

Клеман Жанекен, его псалмы. Дуэты Франческо Спиначино, сальтареллы Дальца из Милана: pavane alla venetiana, pavane alla ferrarese[31], новая токката Капиролы, заученная по манускрипту, украшенному по краям обезьянами и скачущими зайцами. Гальярда, бас-данс, Chansons Nouvelles en musique a quatre parties[32]: четверо мертвы или все равно что мертвы, даже пятеро, если считать Джорджа Болейна. В иные ясные вечера музыканты неспешно соберутся у королевского порога: желе и фрукты, жаренные в меду, уносят, и, как только слуги удаляются, консорт в сборе, у одного из музыкантов в руках лютня: дрожащая нота, извлеченная струной, настроенной на серафический лад. Поскольку Норриса, Брертона и Уэстона больше нет, другие джентльмены, отобранные Томасом Кромвелем, займут их места в королевских покоях. Но им не сравниться со старыми слугами, ибо те знали, когда ты настроен петь, а когда молиться. Неужели и после смерти они будут вписывать в расписание дежурств свои имена: шесть недель на службе, шесть недель отдыха? К третьей неделе мая их головы на улице. Придет осень, дни станут короче, и тень Гарри Норриса вернется к своим обязанностям, раскачиваясь, словно паук на шелковой ниточке в темноте. В тайном углу воображения мальчишка-рыбник вечно ждет, когда его выпорют, Джордж Болейн вечно сидит в своей камере и вскакивает, когда ты входишь: мастер Кромвель, я знал, что вы придете. Джордж встает, протягивает руки, и этот образ шевелится у него внутри, повсюду: в любом замкнутом пространстве, и гаснет свет, как будто ставни закрыты до половины. Над ним тень, словно распахнутые ангельские крыла; кровь на губах, ее изгибы не перья, но камень – и холод, холод, пробирающий до кости. Каменная арка, подвал, крипта, где кто-то затаился во тьме, кто-то боялся боли так давно, что шагает ей навстречу, раскинув руки, почти радуясь, что она наконец-то пришла.

Он вспоминает себя восемнадцатилетним. Жалкий и изувеченный, он выполз с поля битвы и тащился по Италии, пока не остановился отдохнуть – или сделать привал – у ворот банкирского дома Фрескобальди. Тогда он не знал, чей это дом, знал только, что ему нужен кров. Он видел городского святого, намалеванного на стенах, – покровителя города: малыш Геркулес, сжимающий змею в кулачке, герой Геркулес, очищающий Авгиевы конюшни метлой и граблями. Когда на его стук ворота открылись, он вполз внутрь. «Как меня зовут? – сказал он привратнику. – Я Эрколе, и я могу работать».

Теперь, вспоминая беспомощного юношу на мостовой, он видит себя в саже, словно спасался из горящего дома. Он шагает по особняку в Мортлейке, лорд Кромвель на своей земле, шум прибоя знаком ему, как плеск вод в материнской утробе. Наконец он гасит свет, засыпает и во сне стоит, завернутый в черный плащ, в порту, где от горящих кораблей вспыхнули пристани.

Ближе к утру грохот в ворота будит домочадцев. Он встает, читает короткую молитву и спускается узнать причину. Это люди Ричмонда из Сент-Джеймсского дворца, молодой герцог умер.

Он спрашивает:

– Кто-нибудь поехал известить короля? – (В кои-то веки это выпало не ему – чтобы добраться от Мортлейка до Дувра, нужны крылья.) – Предупредите милорда архиепископа, он должен быть готов отправиться к королю.

Генрих скажет, думает он, это Господь его наказал за то, что позволил епископам составить новое исповедание веры. Позволил уменьшить число таинств.

– Убедитесь, что вести дошли до миледи Клинтон. Помните о материнских чувствах, скажите ей тихо, не стучите в ворота и не орите.

Семнадцать лет назад, когда родился королевский сын, его и близко не было при дворе, поэтому приходится доверять очевидцам. Фрэнсис Брайан приметил Бесси Блаунт, когда она только появилась в свите королевы, прекрасная, как богиня, и ей еще не исполнилось четырнадцати. Король не стал бы трогать ее в таком возрасте, самый снисходительный духовник затряс бы подбородками, не в силах в такое поверить. Год или два Генрих танцевал с ней, оглядываясь на Чарльза Брэндона, готового перехватить ее для себя. Затем королеве Екатерине пришлось смотреть, как ее маленькая фрейлина толстеет, округляясь, смеясь и мучаясь тошнотой каждое утро. Екатерина ничего не сказала, только похвалила свежий цвет ее лица. Ха, заметила она, думаю, наша малютка Бесси влюблена.

Бесси отослали от двора, не дожидаясь, пока ее живот стал заметен. Ее семейство оценило оказанную им честь и надеялось, что родится мальчик. Генрих больше ее не видел, разве что один раз, когда ребенок появился на свет. Он получил неискренние поздравления от послов: это доказательство того, что ваше величество способно зачать отпрыска мужского пола и вскоре Господь не откажет вам в утешении, даровав сына, рожденного в законном браке. Впрочем, все знали, что обычное женское у Екатерины прекратилось и она больше не родит.

Именно Вулси занялся обустройством младенца, нашел новоиспеченной матери достойного мужа, распределил земельные наделы и привилегии. Возможно, он присматривал за Бесси слишком рьяно. Десять лет спустя, когда власть ускользала из рук кардинала, его враги открыли свои пыльные, богом забытые сундуки, и оттуда выползла заплесневелая клевета. Они утверждали – приводя в пример Бесси Блаунт, – что все английские девицы мечтали стать

конкубинами. Шлюхи не давали королю прохода, уверяли они, надеясь на щедрую награду.

Похоже, замечал кардинал сухо, что мне следует добавить к моим прегрешениям разложение института брака, моральное развращение невинных дев и признание сводничества достойным ремеслом.

У английских королей не в обычае присутствовать на похоронах собственных жен и детей. Когда умер принц Артур, главным плакальщиком был предшественник герцога Норфолка, посему король решает, что Говарду надлежит продолжить традицию, взяв на себя заботы о погребении. А поскольку Фицрой находился на попечении нынешнего герцога и был женат на его дочери, пусть упокоится в Тетфорде, среди предков герцога. Велено перевезти тело в закрытой повозке и держать все в тайне.

– Что Генрих задумал? – спрашивает Шапюи. – Он же не собирается сохранять смерть сына в секрете?

Он говорит:

– Эсташ, мне нечего вам сказать о душевном состоянии короля. Меня держат для того, чтобы писать законы и наполнять казну. За остальное отвечает архиепископ.

– Этот сомнительный господин.

Он бросает на посла острый взгляд, пытаясь понять, как много тот знает.

– Еретик, – продолжает Шапюи.

А, только это. Какое облегчение. Посол возвращается к похоронам:

– Смерть Ричмонда на руку принцессе Марии. – Он ухмыляется. – Вашей нареченной.

Его друзья собираются в Доме архивов.

Зовите-меня спрашивает:

– Милорд хранитель, помните тот день, когда вы были в Сент-Джеймсском дворце с Ричардом Ричем? Когда Фицрой заболел? Рич рассказал мне, что вы велели ему выйти из комнаты. Что там происходило?

Сын замыслил измену против отца, думает он. Но теперь это не важно.

Ризли говорит:

– Ричмонд боялся, что его отравили. Я сам слышал его слова.

– Ради Христа, не начинай, – говорит Рейф Сэдлер. – Иначе я тебе вмажу.

– Если только влезешь на ящик, коротышка. – Зовите-меня решает не обижаться, слишком увлечен раскрытием очередного заговора. – Если Ричмонд был упомянут в очереди наследников на престол, подозрение падает на людей Марии. И даже если нет, зная ее характер…

Рейф перебивает:

– Ее характер – ее дело. Король примирился с дочерью. Это стоило нашему хозяину немалых трудов.

– Примирился? – фыркает Ризли. – Ее заставили встать на колени. Думаешь, она об этом забудет? Никогда.

– Друзья, – просит Грегори, – хватит ссориться. Никто никого не травил.

Он говорит Ризли:

– Думайте как хотите, но не распространяйте эти слухи в судебных иннах. Или куда вы там ходите.

– В бордели Саутуорка, – бормочет Рейф себе под нос.

– Правда? – Грегори не скрывает интереса.

Рейф спрашивает:

– Что мы скажем Генриху?

Единственный вопрос, который остается решить. Ему придется поехать в Кент и что-то сказать королю. Сорок пять лет на этой земле, двадцать семь – на троне, и все, что Генрих может предъявить, – это три незаконнорожденных отпрыска, один из которых мертв.

Он идет в Тауэр к Мег Дуглас, с последним образчиком ее виршей в кармане.

– Позволите мне прочесть?

Узнав собственный почерк, она вскипает:

– Откуда это у вас?

О, как мне нынче не скорбеть,

В темницу брошен мой поэт.

Но сердцу страсть не одолеть,

Ведь нас связал любви обет.

– Мне кажется, вы не понимаете, – говорит он. – Какой обет? Вы не можете позволить себе никаких обетов. Ваше положение было незавидным на прошлой неделе, миледи, но на этой оно стало еще хуже.

– Потому что Ричмонд умер. – Она поднимает глаза. – И теперь я ближе к трону. Он больше не стоит у меня на пути.

Храни ее Господь, она действительно думает, что это великое преимущество.

Он спрашивает:

– Вы способны вообразить скорбь короля? Говорят, от горя он утратил дар речи. За два дня не промолвил ни слова.

Она молчит. Он бросает бумаги перед ней. Стихи подписаны именем, которое она считает своим: Маргарет Говард.

– Я сказал королю, что вас ввели в заблуждение. Но теперь ваши глаза раскрылись, и вы безмерно сожалеете о содеянном. Вы отрекаетесь от Томаса Говарда и желаете одного – не видеть и не слышать о нем до конца жизни.

– Но это неправда.

– Со временем это станет правдой.

– Я не могу жить без лорда Томаса.

– Вот увидите, сможете.

– Откуда вам знать?

Ему хочется спросить, а чего вы ждали? Что Правдивый Том прискачет за вами с лирой, перекинутой через седло, и вы опустите ваши золотые локоны в окно башни? Когда Мэри Фицрой караулила под дверью, вы знали, что ваш кавалер овладеет вами, грубыми толчками заставив вас кровоточить? Знали, что он воспользуется вами и испортит вам жизнь?

Она говорит:

– Миледи матушка написала мне из Шотландии. Советует во всем слушаться моего дядю-короля. А если я поступлю иначе, она от меня отречется.

– Она его сестра, и она понимает короля. Вам не приходило в голову, что события прошлого лета заставили его с особым рвением относиться к собственной чести? Вас угораздило влюбиться в самое неподходящее время.

Вы не представляете, думает он, как усердно я тружусь ради вашего блага. Впрочем, как и леди Мария тоже не представляет. Ей следует выйти за меня только из чувства благодарности. Как и вам.

Снаружи его ждет комендант Кингстон.

– Сэр Уильям, – обращается он к нему, – я все еще надеюсь, что Джейн будет коронована этим летом. Поэтому переместите леди Мег в Садовую башню. Она будет находиться в заключении, пока я не склоню короля к милосердию, а это случится нескоро.

– Я бы прекратил обмен письмами, – говорит Кингстон. – Однако мне передали, это было ваше пожелание, чтобы Мартин исполнял роль Купидона. Зачем поощрять их переписку, если вы хотите смягчить сердце короля в отношении племянницы?

– Мне нужны их стихи для книги.

Вероятно, Кингстон думает, что он говорит о книге законов или псалмов.

– Книги стихов, – добавляет он.

Жаркие вздохи. Ледяная грудь. Лучше ледяная грудь, чем опасная оттепель.

Кингстон говорит:

– Лорд Томас сам по себе совершенно безобиден. – В манере коменданта Тауэра проступает робость: столько повидал на своем веку, а все пытается нащупать, куда дует ветер. – Будем молиться, что архиепископ найдет слова, которые утешат его величество после такого удара судьбы. Они настигают его так быстро один за другим, не знаю, как король это переживет.

В сумерках он входит в Сент-Джеймсский дворец. При известии о его прибытии челядь сбивается в стайки, перешептываясь и шикая друг на друга. Старшие слуги уже в трауре, младшие в желто-голубых ливреях повязали на рукава траурные ленты. Однако все краски меняют цвет, желтый выцветает синюшно-багровым, голубой сгустился до темно-синего.

Слуга обращается с нему с мольбой:

– Сэр, лорд Суррей в конюшне. Он отбирает для себя лучших лошадей, и мы боимся, что обвинят нас.

Он ускоряет шаги. Слуга бежит за ним:

– Что с нами будет? С герцогской челядью?

– Я возьму столько, сколько смогу. Король о вас позаботится.

В последнем он не уверен. Со стороны кажется, что Генрих испытывает не скорбь по умершему сыну, а ревнивую ярость, словно чувствует себя обманутым. Норфолк уже обращался к нему за советом:

– Кромвель, что мне делать? Закрытая повозка? Как это выглядит? Должен ли я поставить памятник за свой счет? Или Генрих хочет, чтобы я сбросил мальчишку в общую могилу, как крестьянина, который ходил в домотканой одежде и обедал вареным луком?

В конюшне он находит молодого Суррея, стоящего в сторонке, пока грум Колинз выводит вороную испанскую кобылу Ричмонда под черной бархатной попоной. Лошадь мускулистая, легконогая, шерсть лоснится.

При виде него глаза Суррея вспыхивают. Не утруждая себя приветствием, юноша говорит:

– Он хотел, чтобы кобыла досталась мне.

– Если желаете что-либо забрать, вам следует обратиться к королю. Впрочем, никто не станет возражать, если вы уладите этот вопрос с милордом шталмейстером.

– Джайлз не станет мне перечить, – говорит Суррей. – А кстати, где он?

– Наверное, он молится.

– Я думал, вы не верите в молитвы за усопших.

– Возможно, Джайлз Фостер верит.

Черный цвет еще больше удлиняет руки и ноги молодого человека. Когда он отворачивается – рука в красной перчатке лежит на лошадиной гриве, – на него падает закатный луч, и Суррей сверкает от макушки до пят, словно капли росы в паутине. При ближайшем рассмотрении оказывается, что он усыпан мелкими алмазами. Ему следовало бы накинуть плащ: какой бы благородной породы ни была кобыла, лошадиный запах не вывести. Суррей берет в руки уздечку:

– Вы уступите мне дорогу, Кромвель? Я хочу ее вывести.

Он не двигается с места.

– Вы могли бы проявить милосердие и, раз уж вы с милордом были как братья, забрать себе нескольких слуг.

– Сами-то уже выбрали? Ваша свита и так раздута до неприличия. В городе только и мелькает ваша ливрея. Вы нанимаете головорезов, Кромвель. Никогда не видел таких злобных рож и такой готовности лезть в драку.

Он действительно нанимает тех, кто из-за сомнительного прошлого едва ли найдет себе другого хозяина. Впрочем, он не в состоянии объяснить это Суррею.

Он говорит:

– Согласен, выглядят ребята грозно, но они не ввяжутся в драку без повода.

– А если дать им повод?

– Мне трудно судить.

Я могу переломить тебя напополам, юнец, думает он. Проводит рукой по блестящей шкуре кобылы, находит чувствительное местечко между ушами, трет. Суррей плачет, зарыв лицо в чепрак с шитым золотом гербом мертвого юноши.

– Он был моим другом, – говорит Суррей. – Но вам, Кромвель, этого не понять – дружбы, что возникает между людьми знатного происхождения и древнего рода.

Я понимаю, думает он, что ты хлюпаешь носом совсем как мальчишка-конюх.

– Вашему отцу не понравилось бы, что вы плачете. Примите это как христианин, сэр. Ричмонд теперь там, где его не коснется никакое зло и ничто не испортит его юной прелести. Он сын короля, но вскоре обретет Отца Небесного.

Лицо Суррея искажается: гнев, слезы.

– Лучше бы я умер, Кромвель, – говорит он. – Нет, не я, лучше бы вы умерли.

Он вспоминает разорение Йоркского дворца: грохот сокровищ в чужих сундуках, драки у реки. Он пригрел большую часть слуг Вулси, остальных забрали герцоги. Интересно, Чарльз Брэндон еще держит того недотепу, который отвечал за камины в Ишере? Ему нравится думать, что Суффолк каждую зиму с тысяча пятьсот двадцать девятого года коптится, как селедка, и будет коптиться до скончания века.

Королева Джейн просит его прийти, он находит ее с часословом на коленях. Я знаю этот томик, думает он, он принадлежал той, другой.

Джейн протягивает ему книгу:

– Это ее, Анны Болейн. Они с королем передавали его друг другу. Король сделал надпись здесь, под Мужем скорбей.

Он берет книгу. Христос стоит на коленях, окровавленный с головы до пят, каждая рана выписана тонкими мазками. Кайма из гороховых стручков и спелой клубники окаймляет картинку. Под ней король написал несколько строк по-французски.

– Леди Рочфорд мне перевела, – говорит Джейн. – «Навеки твой Генрих». А тут она ему ответила.

Он не видит.

– Под Благовещеньем, – поясняет Джейн. – В те дни она еще жила надеждой родить сына.

Наконец он находит: жеманная Дева с опущенным взором получает благую весть, ангел Господень за ее спиной.

Джейн читает:

– «Тебе скажу начистоту: дарю любовь и доброту». Вы думаете, она была к нему добра?

– Нечасто.

Ручка Джейн гладит обложку, словно книга – живое существо, которое нуждается в ласке.

– Иногда король – ну, как сказать – наносит мне визит, а после остается в моей постели. Но быстро просыпается, когда ему снится плохой сон. Тогда он становится на колени у кровати и молится. Выкрикивает: «Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa»[33]. И что-то добавляет по-латыни. А потом приходят джентльмены и уводят его.

– Надеюсь, мадам, вам удается выспаться?

Джейн кивает Мэри Шелтон, которая стоит рядом. Та приседает и выходит, бросив на него усталый взгляд.

– Все любят Шелтон, – говорит Джейн. – Король любит Шелтон. – Она ждет, когда дверь закроется. – Мои фрейлины считают, что, если женщина не испытывает удовольствия в постели, она не может зачать. Это так?

Джейн ждет. Кажется, она способна прождать весь день, понимая, что задает вопросы, на которые трудно ответить.

Он говорит:

– Наверное, вам стоит посоветоваться с вашей матушкой. Может быть, опытные дамы из вашей свиты подскажут? Например, леди Солсбери.

– Они давно состарились и ничего не помнят.

– Тогда ваша сестра. Я слыхал, у нее двое превосходных малышей.

– Бесс поддерживает меня. Она говорит, прочти «Аве Мария», Джейн, и король скоро извергнется. Бесс призналась, что видела мало радостей в супружеской постели. Отред действовал стремительно, как на маневрах.

Он хохочет. Иногда ты забываешь, что Джейн королева.

– Надеюсь, он не бил в барабан?

– Нет, но она всегда знала, когда он готов извергнуться. Бесс говорит, что не отказалась бы от резвого нового мужа. Лучше молодого и влюбленного, которого она научит всему. Но она считает, дети появляются без спроса, с удовольствием или без него, и не важно, что говорят лекари. – Она протягивает руку за книгой. – Забудьте. Мне не следовало спрашивать. А сейчас ступайте к королю. Сегодня он не в турецком костюме.

В покоях короля он с удивлением застает Рейфа:

– Ваше дежурство, мастер Сэдлер?

Паж ядовито замечает:

– У мастера Сэдлера свое расписание. Он вечно здесь торчит.

– Ругает милорда Норфолка, – говорит Рейф. – Послал за описью имущества Ричмонда…

– А Мег Дуглас?

– Миловать не настроен.

– Понятно.

Портной-генуэзец драпирует короля в черный бархат. Он приветствует портного, жестами веля ему удалиться.

Генрих говорит:

– Вы до сих пор практикуете этот итальянский язык.

И его варианты. Король достаточно знает по-итальянски, чтобы исполнять любовные баллады, но недостаточно, чтобы говорить о деньгах.

Портной удаляется, кланяясь, ткань черными складками свисает с рук.

– Я удивлен, – говорит король, – что герцог Норфолк так забылся, что не исполняет моих пожеланий. Я сказал, закрытая повозка. Я сказал, тайно. А теперь я слышу, что впереди скакали всадники в черном.

– Он не хотел унизить королевского сына.

– Он нарушил мой замысел.

– Он просто не понял его до конца.

Генрих смотрит на него: это не извинение.

– Скажите ему, что я посажу его в Тауэр.

– Я не посмею доставить такое послание.

Он удивляется сам себе: когда он произносит эту полезную ложь, на его устах улыбка.

Генрих обезоружен, как тот, кто, обнаружив смешной детский страх, находит способ его рассеять.

– Если вы боитесь Томаса Говарда, я избавлю вас от этого поручения. Я думал, вы никого не боитесь. Вам не следует бояться, милорд. За вами стою я.

– Тауэр переполнен, – говорит он. – Миледи ваша сестра пишет из Шотландии, умоляя пощадить ее дочь.

– Я владею Шотландией, – говорит Генрих. – После Флоддена мне следовало забрать ее назад.

У тебя не было ни людей, не денег, думает он. У тебя не было меня.

– Кардинал часто говорил, что браки надежнее войн. Если хотите завоевать королевство, сочините поэму, соберите букет, наденьте шапочку и ступайте свататься.

– Хороший совет, – говорит Генрих. – Для любого правителя, чье сердце принадлежит ему. Или того, кто распоряжается чужими сердцами. Но если принцессы начнут отдаваться первым встречным только потому, что им пришлись по душе их вирши, не знаю, куда покатится мир.

– Я склоняю вас к милосердию, – говорит он.

– Моя племянница опозорена и обесчещена. Она доверилась первому, кто обратил на нее внимание. Отдала ему то, чем мог распоряжаться только я.

Жалко, что здесь нет Кранмера, думает он. Это задача архиепископа – устраивать так, чтобы одни грехи были прощены, другие пересмотрены. Ему решать, что измена больше не измена, а убийство не убийство. У него хранятся ключи от сада за высокой стеной, от разума короля. Ему ведомы его тайные тропы, узкие аллеи и темные углы, куда не проникает солнечный свет.

– Я думаю, – говорит он, – что если обещание дано необдуманно, в спешке, юным созданием, не спросившим совета благоразумных друзей, под воздействием чувств, без понимания, каковы могут быть последствия… я спрашиваю себя, сэр, неужели Господь в своей мудрости не улыбнется подобному обещанию?

– С Господом не шутят, – говорит Генрих. – Как сказал нам апостол Павел, что посеет человек, то и пожнет. Будь ты хоть мужчина, хоть женщина. Принести клятву, не думая ее исполнять, – это богохульство. Если слова всего лишь дыхание, сотрясение воздуха… не узы, не оковы, не доброе имя…

– Я говорю о влюбленных, не о государях.

Король отворачивает лицо:

– Хорошо, разница есть. – Пауза. – Многие влиятельные лорды и безрассудные девицы должны быть вам благодарны, милорд Кромвель.

Он склоняет голову. Ризли удивится, думает он, что я снова дал Норфолку ускользнуть, когда тот был у меня на крючке. Он воображает, как кричит Томасу Авери, который заведует его бухгалтерией: выпиши ему счет, пусть заплатит, милосердие стоит денег.

Король показывает на связку бумаг – описи, как и сказал Рейф. Он принимается листать:

– Проследите, чтобы леди Мария получила серебряную посуду, золотую, разумеется, мне. – Он переворачивает страницу. – Соболей и овчину отдайте смотрителям моего гардероба. Шпалеры… Моисей в тростниках… казни египетские… Моисей, ведущий свой народ через Синайскую пустыню… Проследите, чтобы имущество моего сына не уплыло в руки людей его матери. Я щедро наградил Бесси, точнее, леди Клинтон, на большее пусть не рассчитывает. Да, и присмотрите за дочерью Норфолка – пусть ее имущество перепишут, и чтобы не вышло, что принадлежащее мне оказалось в ее распоряжении.

– Ей причитается вдовья часть, сэр. Она вдова милорда Ричмонда, даже если до сих пор девица.

Генрих фыркает:

– Девица? После того как она оказалась замешана в шашнях моей племянницы и запятнала свое доброе имя, я очень в этом сомневаюсь. Что может знать девица о тайных свиданиях, черных лестницах и смазанных запорах?

Вот, значит, как. Хочет использовать неразумное поведение вдовы, чтобы отобрать у Мэри Фицрой полагающееся ей имущество и обогатить казну. Можно сказать, она легко отделалась.

– Пусть отец отошлет дочь в деревню, – говорит Генрих, – и присматривает за ее поведением. Лучшим выходом будет определить ее в монастырь.

Он опускает глаза на опись. Атлас, отороченный серебром, зеленый бархат, чтобы весенней порой скакать по лесным тропинкам, когда кусты одеты изумрудной зеленью. Образ святой Доротеи с корзиной и венком; Маргарита Антиохийская, побивающая дракона; святой Георгий, также побивающий дракона, с мечом, пикой, щитом и страусовым пером на шляпе. Ложки, кубки, курительницы, ларцы, чаши для святой воды; золотые цепи с розами белой эмали, розы красной эмали с рубиновыми сердцевинами. Королю нравится зачитывать это вслух, словно он читает умершему сыну: я подарил тебе жизнь, я же даровал тебе все это.

– Маленькая солонка из берилла. – Генрих вздыхает. – Крышка украшена рубином, ножки – жемчужинами и камнями. Здесь не сказано какими. И я совсем ее не помню.

– Новогодний подарок от милорда кардинала. Не скажу, в каком году.

Король поднимает глаза:

– Не похоже на вас. Я так понимаю, Суррей увел черную испанскую кобылу.

– Вместе со сбруей.

– Скажите Джайлзу Фостеру, что я беру гнедую и саврасую.

– Сэр. – Он склоняет голову.

– Мэри Фицрой может забирать меринов и ездить куда пожелает. – Кислая ухмылка. – Вы считаете меня бесчувственным? Раздаю и прибираю к рукам,

когда мой сын спеленат, чтобы лежать среди чужих? Но как велит псалмопевец: «Placebo Domino in regione vivorum»[34]. Я буду угождать Господу на земле живых, ибо только здесь возможно какое-то действие. – Генрих смотрит вдаль. – Я слышал, моего кузена Реджинальда Поля вызвали в Рим. Папа благословил его на крестовый поход против меня. Теперь он едет ко французскому двору – побуждать французов к войне.

Интересно – как? Французские армии только что вошли в Савойю. Король нарушил два договора, теперь император жаждет его крови. Франциску есть чем заняться, вместо того чтобы выслушивать Рейнольда, когда тот ввалится к нему на порог с томами канонического права, блея о своих древних притязаниях.

Он говорит:

– Французы ничего для него не сделают. Да и папа не даст ему ни кораблей, ни денег, ни солдат.

– Но он укрепил его духовной силой. – Губы Генриха кривятся. – Наставил на путь.

Генрих кормил неблагодарного Поля, сейчас ощущает ядовитый удар Плантагенетова хвоста, укус змеиных зубов. Генрих подается вперед, будто задыхается. Почти чувствуешь, как бешено колотится его сердце, а лицо у короля красное, словно пасхальная телятина. Король бьет ладонью по подлокотнику кресла:

– Предатель. Предатель. Я желаю ему смерти.

Он ждет, когда приступ пройдет.

Говорит:

– Войны, которые вел ваш отец, еще не закончены. Но хочу вас заверить, сэр, в Италии найдут способы избавиться от предателя. Куда бы ни проследовал Поль, мои люди следуют за ним.

Генрих отводит глаза:

– Делайте что должно. Я уже говорил вам, что семейство Поль прокляло нас после смерти Уорика. Мой брат Артур умер в пятнадцать, мой сын Ричмонд – в семнадцать.

Раньше король объяснял нехватку наследников тем, что его брак был заключен незаконно. Теперь в этом виноваты Поли. Объяснение весьма удобное – то, первое, давно себя исчерпало.

– Вы виделись с Маргарет Поль, – говорит Генрих. – Во всяком случае, так мне донесли. Продолжайте бывать у нее. Наверное, мне не следует подозревать все семейство, и тем не менее я их подозреваю.

Король жестом отпускает его. Он кланяется и выходит.

Генрих произносит ему вслед:

– Dieu vous garde[35].

Он рад, что Генрих не порицает его за визит к Маргарет Поль. Ему не хочется признаваться, что ездил туда ради Бесс Даррелл. Не хочется, чтобы всплыло имя Уайетта. Король говорит, что простил кого-то, но на самом деле ничего не забывает: Уайетт по-прежнему в опасности, а значит, и его женщина тоже.

Графиня оставила его наедине с Бесс и ее вышивкой, но, когда он собрался уходить, путь ему преградил слуга:

– Миледи графиня хочет вас видеть.

Слуга отвел его в обшитую деревянными панелями комнату, личный кабинет графини. Сюда не долетал уличный шум: копыта по мостовой, крики извозчиков, стук и грохот из мастерских за стеной. Стол был накрыт для мессы дорогой парчой, алтарь из серебра, сияющие неразличимые фигурки живут своей благочестивой жизнью. Похожий был у Ансельмы, много лет назад в Антверпене. Впрочем, леди Солсбери одна из богатейших дам в Англии, и, вероятно, ее алтарь стоит куда дороже.

Маргарет Поль обернулась к нему:

– Надеюсь, вы не довели мистрис Даррелл до слез?

– С чего бы?

Она открыла шкатулку для писем:

– Держите.

– Это рука вашего сына?

– У него есть секретари. Вероятно, итальянцы. Я не знаю их имен.

Зато я знаю.

– Поверьте, мастер Кромвель, я не изменница. Как я могу предать Генриха, который все для меня сделал? Путь от унижения, когда моего отца Кларенса лишили прав, до нынешнего моего высокого положения был долгим и мучительным.

– Вы не можете помнить отца. Вам тогда и пяти не было.

– Даже ребенок понимает, когда кого-то уводят в тюрьму, откуда ему не выйти. Мой отец умер не от топора – бог знает как он умер, но я верю, что он исповедался перед смертью, у него был священник, он не умер без покаяния. Я с малолетства знала, что такое измена и чем она грозит. Я видела на своем веку четырех правителей: моего дядю короля Эдуарда, моего дядю-узурпатора, первого Генриха Тюдора и нынешнего короля, чье имя имею все основания благословлять.

Он начал читать письмо Поля. Жесткое, как она и сказала.

– Я едва знала моего бедного брата Уорика. Он был ребенком, когда Генрих Тюдор бросил его в темницу.

– Ради сохранения мира.

– Чтобы не потерять трон. Сказать по правде, наша ветвь куда ближе к трону, чем его.

– Но Тюдор выиграл сражение. Господь благословил его армию. Он завоевал Англию на поле боя.

– И никто из нас, – ответила она резко, – никогда не оспаривал его прав. Когда мой брат должен был взойти на эшафот, я была на сносях, но явилась ко двору, чтобы просить о милости. Я умоляла о дозволении надеть траур, совершить положенные обряды, которыми утешилась бы моя душа, – но за упокой изменника не молятся, по нему не носят черных одежд. Когда изменник умирает, всем надлежит смеяться.

– Вряд ли старый король на этом настаивал.

– Вы его не знали. В те времена никто не мог поручиться за свою жизнь. Когда нынешний Генрих взошел на престол, мы думали, что обрели землю обетованную. Он хотел уладить все несправедливости, вернуть отнятые права. К тому времени я вдовела уже несколько лет. Когда умер мой муж, мне пришлось занимать деньги на похороны. Генрих вернул мне состояние и титул. Он и Екатерина оказали мне несравненную честь воспитывать их дочь, их единственного ребенка, доверили вырастить из нее достойную супругу великому государю или подготовить ее к самостоятельному правлению. Генрих благоволил к моим сыновьям…

– И все они женились на богатых наследницах, – вставил он. – За исключением Рейнольда, который метит выше.

Она стояла к нему спиной, глядя во двор. Что бы там ни происходило, она явно находила это достойным пристального внимания.

– Я не понимаю моего сына. Я допускаю, что он проявляет неблагодарность, но ни в чем другом он не повинен. Он склонен к непорочности, к жизни в целомудрии. Он не испытывает желания вступить в брак.

– Даже с королевской дочерью?

– Не стоит судить всех по себе, Кромвель.

Она повернула голову, убедиться, что удар достиг цели.

– Все эти годы, – сказал он, – вы учились лицемерить. Сами сказали, что улыбались, когда хотелось плакать. Но ведь может быть и наоборот – вы плачете, когда хочется улыбаться? Так что, хотя вы вроде в замешательстве от поступка Рейнольда, как королю верить в вашу искренность?

Она разводит руками:

– Я лишь взываю к нашей общей истории. Я слабая женщина, никогда не носившая ни лат, ни кольчуги. На мне нет кирасы, только вера в Господа. Я беззащитна перед клеветниками, но верю в короля и его умение различать, кто достоин быть рядом с ним и служить ему.

– Однако на этом месте вы видите меня, – сказал он. – И задаетесь вопросом, разбирается ли Генрих в людях.

– Вы ему полезны. В этом я не сомневаюсь. И я не отказываю вам в праве именоваться новым титулом. Просто я стара и небыстро привыкаю к новому. Мы думаем о вас как о мастере Кромвеле.

– Что ж, – промолвил он мягко, – коли вы научились, как сами утверждаете, считать Тюдоров законными правителями Англии, уверен, вы научитесь думать обо мне как о лорде – хранителе малой королевской печати. А если я когда-нибудь забуду о своем низком происхождении, мне останется рассчитывать на нашу дружбу, мадам, и умолять вас указать мне мое место.

Это встряхнет тебя, подумал он. «Наша дружба» – тебе тошно это слышать. Да как он смеет, мальчишка из Патни!

Он сказал:

– Вы утверждаете, что у вашего сына нет намерения захватить власть. Однако хотеть этого могут другие. Другие могут строить заговоры в его пользу – в стране и за ее пределами.

Ее взгляд метался, словно птицы в лиловом полумраке гнезда.

– Вы говорите обо мне? Вы обвиняете меня?

– Знатным семействам не привыкать к переменам в своей участи. Десятилетиями они карабкаются вверх, враги сбрасывают их вниз, они низвергают врагов и приковывают цепями к своей триумфальной колеснице. Прежде было так, что, если вы цепляетесь за колесо Фортуны, оно вознесет вас так же высоко, как когда-то сбросило. Но тут появляюсь я и спихиваю вас на обочину. Имейте в виду, я могу это сделать.

– Есть такая пословица, – промолвила графиня, – справедливость которой освящена веками. «Чем выше заберешься, тем больнее упадешь».

– Мысль неглубокая, да и метафора подкачала. Ничего нового, колесо. Пришли новые времена. Ими управляют новые механизмы. Тем не менее, – он улыбнулся, – примите мои поздравления. Вы произнесли то, что хотел бы, но не осмеливается сказать вслух милорд Норфолк.

– Герцог – временщик, – промолвила она холодно. – Он забыл, что некогда на свете были лорды Норфолки, до того как этот титул перешел к Говардам.

– Однако на свете никогда не было лордов Кромвелей. До сегодняшнего дня. Вы надеетесь, что у нас нет будущего. Но в настоящем вам придется с нами считаться. Можете умолять или браниться, ваши женские чары на меня не действуют, равно как и приемы святых отцов. Если мужчин вашего семейства

не пугает открытое противостояние, обещаю, что буду денно и нощно отстаивать интересы Генриха перед изменниками и папистами.

Сжав руки, графиня неподвижно стояла против света, ее голос заледенел.

– Я рада, что мы говорим без обиняков. Одному Господу ведомо, что замыслил Рейнольд против короля, но я никогда не чувствовала такой горечи: ни когда умер его отец, ни когда умирали мои дети. Я непременно ему об этом напишу. Уверена, вы прочтете мое письмо – до того, как оно пересечет границу, или после, – поэтому я вас больше не задерживаю. Однако я дам вам совет и прошу к нему прислушаться. Вы говорите о новых временах и механизмах. Так знайте: эти механизмы заржавеют еще до того, как вы пустите их в дело. Не пытайтесь сражаться с благородными семействами Англии. Вы проиграете битву еще до ее начала. Кто вы? Одиночка. Кто следует за вами? Черные вороны и стервятники. Не останавливайтесь, не то они сожрут вас живьем.

Ее тихий вежливый тон не оставлял возможности для ответа. Склонив голову, она вышла из комнаты.

Поле боя осталось за ним. Ее шкатулка для писем стояла открытая, но она была права – ему незачем было туда заглядывать.

Снаружи ждал эскорт во главе с Ричардом Кромвелем. Его люди вооружены дубинками и кинжалами, готовы наброситься на любого, кто позволит себе косой взгляд. От Даугейт до Остин-фрайарз рукой подать, но письма с угрозами приходят каждый день, иногда в стихах. Лондонцы, которые пихают их локтями, лондонцы, чьи равнодушные глаза скользят по ним, видят уважаемого торговца, что спешит в сопровождении домочадцев на городское собрание или обед, который устраивает гильдия. Но есть те, в чьей памяти запечатлелось его лицо, – так они утверждают, когда угрожают его убить. Хвала Господу, внешность у меня незапоминающаяся, думает он. Грубые черты, выпирающее брюхо, как у отца в лучшие дни, – только одет я получше.

Он говорит Ричарду:

– Я не обольщаюсь насчет графини. Ее сын годами скармливал наши тайны императору. Молодой Джеффри Поль, его брат, так часто бывал у Шапюи, что Эсташ попросил его держаться подальше.

Звонят колокола церкви Всех Святых, им вторят колокола Святой Марии.

Ричард говорит:

– Понятно, почему король отказывается им верить. Он вернул им состояние, и ему не нравится, что его держат за дурака.

Звонят колокола церкви Иоанна Крестителя, за ними Святого Свитина и вдали – собора Святого Павла. Ричард кричит через улицу:

– Это Хемфри Монмаут или мои глаза меня обманывают?

Торговец, старый друг, приветствует его криком. Со своими спутниками он пробирается между двумя повозками, перешагивает ручеек лошадиной мочи. Он, Кромвель, обнимает друзей:

– Приедете поохотиться в Кэнонбери?

– Я буду охотиться с вами, – говорит Роберт Пакингтон. – А старый Монмаут может постоять в сторонке.

Монмаут пихает его локтем в бок:

– Старый! Кто бы говорил! Где они, твои сорок? А с вами, Томас, я охотно поохочусь с соколом.

Обычный разговор. Потом звучит имя Тиндейла, к чему он внутренне готов. Он отвечает, что по официальным каналам сделал все возможное, теперь ждет результата. Меняет тему, семья, все ли здоровы? Но Пакингтон упрямо возвращает разговор в прежнее русло:

– Гости из Антверпена были?

– Все те же, – осторожно отвечает Ричард.

– Никого нового?

Он говорит:

– Никого, кто сообщил бы нам то, чего мы не знаем.

Они тепло расстаются. Торговцы, оживленно болтая, удаляются. Они с Ричардом шагают молча.

Он спрашивает:

– Что?

– Такое ощущение, что они готовят сюрприз. Возможно, подарок?

Ему незачем говорить Ричарду, что он терпеть не может сюрпризов.

Ричард смотрит на него искоса:

– И что теперь? Убить Рейнольда?

– Не посреди улицы.

Это разговор для Остин-фрайарз, для его кабинета.

Он говорит:

– Пусть это будет Фрэнсис Брайан. Роль как раз для него. Сделает себе имя. Уверен, порой он задается вопросом, ради чего живет на свете?

– Брайан? – Ричард опрокидывает в рот воображаемый стакан.

– Да.

Много ли я найду других таких же отчаянных, думает он.

– Я это сделаю, – говорит Ричард.

Его охватывает страх.

– Нет.

– Мне понадобится помощь местных, но, судя по вашим рассказам, я легко найду компанию головорезов в любом итальянском городе. Есть джентльмены, с которыми можно уладить дело на расстоянии. Я хочу сказать, что мне необязательно самому втыкать кинжал. Но я могу присмотреть.

– Ты нужен мне здесь, Ричард, – говорит он. Господь свидетель, как ты мне нужен. – С этим мог бы справиться Том Уайетт. Король простил бы ему все прегрешения. И сделал бы графом.

Ричард медлит с ответом:

– Эти люди вокруг Поля… они способны переманить его на свою сторону. В Риме есть хитрецы. Я люблю Тома Уайетта, как никого другого, но он не устоит перед внезапным соблазном.

Он говорит:

– Когда мы поедем в Кент, ты и я, чтобы встретить двор, мы нанесем визит в Аллингтон, с королем или без него. Сэр Генри пишет, что совсем плох. Я его душеприказчик и должен с ним кое-что обсудить. А Том Уайетт будет рад тебя видеть.

Ричард вынимает из кармана листок:

– Смотрите, что пришло. – Он держит листок рядом с собой. – Еще одно стихотворение. Не краденое, отдали добровольно.

На сей раз он уверен: это Уайетт, и никто другой. И снова поэт скорбит об ушедших. Два с половиной месяца миновало – с мая до Ламмастайда, праздника сбора урожая. Мертвые гниют, но медно-зеленая плоть еще плотно сидит на костях. Стихотворение посвящено угасанию, превратностям фортуны, падению великих от рук великих: у трона гремит гром, circa regna tonat[36]; даже восседая под балдахином, король слышит его, чувствует дрожь каменных плит, раскаты в кости. Он видит молнии, которые швыряют вниз боги, и они несутся сквозь хрустальные сферы, где ангелы чистят крылья от блох, – пока, сталкиваясь и вращаясь, в реве белого пламени молнии не обрушиваются на Уайтхолл, воспламеняя крышу, сотрясая зубы скелетов в аббатстве, заставляя плавиться стекло в мастерских Саутуорка, поджаривая рыбу в Темзе.

И день и ночь передо мной,

Что видел я из окон башни,

Мой опыт горестный вчерашний…

Из окон Колокольной башни не разглядеть эшафот на Тауэрском холме. И при чем тут опыт? Он знал, к чему все идет. Не надеялся же, что они вернутся с головами на плечах?

Он думает, мне не нужно подниматься на Колокольную башню. Эта горестная процессия к смерти всегда у меня перед глазами.

В день казни Анны Грегори заметил в окне башни Уайетта, тот смотрел на него сверху вниз, не подавая никаких знаков. Видел ли он лань в последнем прыжке, ее сердечко трепетало, а копытца дрожали? Вероятно, взгляд Уайетта был обращен внутрь, взгляд, привыкший к пустоте: туда, где вскоре будет пустота. Он видит перед собой картину, но вызвана ли она смутными воспоминаниями или стихотворением? Уайетт сжимает в руках охапку роз, его израненные руки кровоточат.

А впрочем, думает он, это же Ризли. Я помню, в Кэнонбери он стоял у подножия садовой башни в угасающем свете дня, с охапкой пионов в руках.

Они в Кенте, и на рассвете король призывает его к себе: он входит, засовы дребезжат, освобождая его господина из-под гнета ночи. Генрих, в ночной сорочке, сидит на позолоченном резном табурете, а чудесный бледный рассвет сочится сквозь окна, и черты короля проступают из тьмы, словно Господь создал его специально для этого случая.

Король начинает без предисловия, как делает часто, словно они не договорили, словно их разговор прервало какое-то мелкое недоразумение: открылась дверь, искра вылетела из камина.

Генрих говорит:

– В те дни, когда я хотел ее, Анну Болейн, но не мог заполучить и мы были в разлуке – допустим, я в Гринвиче, а она в Кенте, – я представлял, что она стоит передо мной и улыбается, словно живая, – король протягивает руку, – реальная, как вы, Кромвель. Но теперь я знаю, что ее здесь не было. Что бы я ни воображал.

В комнате сладко пахнет лавандой и воском. Под окном за садом мальчишка поет:

Стучится рыцарь у ворот,

А даму любопытство жжет:

Генрих поднимает голову, прислушивается, подпевает:

Кто к нам пришел? Как имя вам?

«Желанье! Ваш слуга, мадам».

Он выступает на свет и видит, что Генрих плачет, слезы катятся по его щекам.

– Архиепископ привел мне одно изречение, чтобы меня наставить. Оно из Книги пророка Самуила: «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал: кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо? А теперь оно умерло; зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне».

Какой-то болван входит с кувшином горячей воды. Он машет на него рукой.

– Потерять ребенка – великое горе, сэр. Чувство такое, будто нам до конца жизни тащить за собой их тела. Однако лучше сложить вашу скорбь в безопасное и освященное место и двигаться дальше, в надежде на лучшие времена.

– Я думал, что наказан достаточно, – говорит Генрих. – Но, выходит, мне никогда не избыть вины.

– Сэр…

– Вы не можете меня понять. Вы теряли дочерей, не сына. Когда придет мой день…

Он ждет, не в состоянии угадать, что за этим последует.

– …вы понимаете мои желания, и, если вы меня переживете, я поручаю вам их исполнить. Я хочу покоиться в гробнице, которую кардинал построил для себя.

Он склоняет голову. Речь идет о саркофаге черного базальта, в котором кардинал никогда не лежал. Все части саркофага уцелели и хранятся в ожидании того, кто ценит себя в глазах Господа и людей и желает, чтобы его имя сохранилось в веках. Скульптора нашел Вулси. Бенедетто работал над саркофагом год за годом, но, стоило ему предъявить счета, у кардинала находились другие дела. Двенадцать бронзовых святых и путти несут щиты с гербом Вулси. Грустные ангелы держат колонны и кресты, кудрявые танцующие ангелы подпрыгивают и выкидывают коленца.

– Вас это должно порадовать, Сухарь, – говорит Генрих. – Вы любите экономить.

– Только если это во благо вашему величеству.

– Ангел, несущий кардинальскую шапку, – говорит Генрих, – может нести корону. Грифоны в ногах – полагаю, их можно увить розами. Золотыми розами.

– Я поговорю с Бенедетто.

Скульптор до сих пор не вернулся на родину. Возможно, ждал, что кардинал воскреснет из мертвых с новыми указаниями? У одного из прыгающих ангелов появилась трещина между пальцами левой руки. Бенедетто сказал, Томмазо, никто не узнает. Никто не заметит дефекта в позолоченном танцующем ангеле на верхушке колонны. Я буду знать, отвечал он.

Король произносит:

– Эразм умер.

– Я слышал.

– Впервые я встретил его ребенком в Элтеме. Вы могли столкнуться с ним в доме Томаса Мора.

Великий человек скользнул по нему, Томасу Кромвелю, взглядом и тут же забыл о нем.

Он говорит:

– Эразм просветил нас.

– И умер, не закончив начатого.

Кажется, будто Генрих боится себя самого, боится того, что способен сказать или сделать. Он выглядит усталым, как будто может перестать быть королем, выйти на улицу – и будь что будет.

Эту утрату боевого духа лучше утаить от придворных. Уильям Фицуильям ловит его за королевской дверью.

– Перед отъездом из Лондона, – сообщает ему Фиц, – он сказал мне, что у него, видимо, больше не будет детей.

– Ш-ш-ш, – говорит он. – Король стыдится себя. Он решил, что его дни сочтены, потому что уже не может преследовать дичь на охоте, как в былые дни.

Этим летом король не охотится верхом. Дичь выгонят прямо на него, а король будет стоять с натянутым луком. Он может ехать на лошади шагом, но только по ровной местности, чтобы не потревожить больную ногу.

– Мне кажется, – говорит Фиц, – в голове у него есть некий план, и, согласно этому плану, он унижает своих советников по очереди.

– Верно. И сейчас очередь Норфолка.

– На заседаниях совета он заходит сзади, топчется, словно карманник. Встреть я такого в Саутуорке, развернулся бы и свалил его с ног.

Он смеется:

– Интересно, что вы забыли в Саутуорке, Фиц?

– Когда он заходит сзади, нам приходится вскакивать, отпихивая табуреты, поворачиваясь к нему лицом, что сбивает с мысли, – к тому же, обращаясь к королю, следует ли нам стоять или опуститься на колени?

– На коленях безопаснее.

– Сами вы так не делаете, – обиженно говорит Фиц, – во всяком случае, если делаете, то нечасто.

– У нас с ним очень много дел. Он бережет мои ноги.

– Даже кардинал становился на колени.

– Он церковник, ему не привыкать.

Кардинал в бытность властителем королевства разговаривал с Господом, словно тот был советником в вопросах политики, консультирующим раз в квартал: нравоучительным, порой забывчивым, но отрабатывающим свой гонорар благодаря солидному опыту. Порой он посылал Господу особые запросы, которые для непосвященных могли сойти за молитвы. И всегда, до последних месяцев жизни кардинала, Господь исполнял все прихоти Тома Вулси. Но когда тот взмолился: дай мне смирения, Господь ответил: сэр, слишком поздно.

Его слуга Джон Гоствик проверил описи имущества герцога Ричмонда. Среди имущества обнаружилась кукла: не деревянный болванчик, с которым играют обычные дети, но живой образ принца.

«Большой младенец в деревянном ларце, одет в рубашку из белой ткани с серебряным шитьем и платье зеленого бархата, рубашка украшена маленькими золотыми галунами, парой золотых бусин, цепочкой и золотым воротником».

Гоствик зовет его посмотреть: он стоит, глядя на подобие мертвого юноши.

– Это подарок Вулси. Храните бережно на случай, если король захочет вспомнить сына.

В детстве Ричмонд не знал отца. Король дал мне титулы, говорил он, но кардинал подарил полосатый шелковый мячик.

Лето проходит. Королевская свита скачет по лесистым графствам. В дремучих лесах, куда король не суется, можно встретить коварные тени волков, вепрей и вымершие виды – оленя, у которого между рогами крест.

Он говорит Фицуильяму:

– Если он не может охотиться, мы должны научить его молиться.

В последний день июля они в Аллингтонском замке. Король спрашивает вслух, не пришло ли время посвятить Томаса Уайетта в рыцари? Его престарелый отец будет доволен. Прошлое забыто, и я уверен в его преданности.

Его поражает короткое молчание королевских джентльменов при упоминании имени Уайетта.

Генри Уайетт говорит ему:

– Томас, я сомневаюсь, что доживу до зимы.

Один за другим они уходят – те, кто служил отцу Генриха, кто помнит короля Эдуарда и дни Скорпиона. Израненные, изрубленные на полях сражений, потерявшие здоровье, голодавшие, познавшие опалу и изгнание. Те, кто со всеми своими земными пожитками стоял на пристанях чужеземных городов, принося страшные клятвы Господу. Те, кто на двадцать лет похоронил себя в сумрачных библиотеках и вышел оттуда обладателями неудобной правды об Англии. Те, кто заново учился ходить после того, как их растягивали на дыбе.

Когда они смотрят на нынешних, то видят нарисованных рыцарей, неспешно едущих по лужайкам изобилия, по пастбищам сорокалетнего мира. Разумеется, иное дело на шотландской границе, где набеги и распри никогда не прекращались, или в Кенте, где через пролив видна Франция и можно услышать боевые барабаны. Но в сердце страны покой, которого не знали наши предки. Посмотри, как плодится Англия, – войди в город, и лица, которые ты увидишь, будут лицами детей, подмастерьев и цветущих девушек.

Не оглядывайтесь, всегда говорил он королю, хотя и сам грешен, сам размышляет о прошлом в час, когда свет гаснет, зимой или летом, перед тем как вносят свечи, когда земля и небо сливаются, когда трепещущее сердце птицы на ветке замедляется, когда ночные звери просыпаются и потягиваются, когда кошачьи глаза сверкают во тьме. Когда цвета уплывают с рукавов и платьев в темнеющий воздух, когда страница мутнеет, а буквы тают, обретая иную форму, и старая история исчезает, а на ее месте растекаются причудливые и скользкие чернильные реки. Ты оглядываешься в прошлое и спрашиваешь себя: моя ли это история, моя ли земля? Моя ли это мерцающая фигура, силуэт, что движется по аллеям, избегая часа, когда гасят огни, уклоняясь от света дня? Или это жизнь моего ближнего, слившаяся с моей? Или жизнь, о которой я мечтал и молился? Моя ли это суть, дрожащая в пламени свечи, или я выскользнул за пределы себя – прямо в вечность, словно мед с ложки? Придумал ли я себя, сгубил ли, забыл ли? Должен ли обратиться к епископу Стивену, который расскажет, какие грехи меня преследуют, и заверит, что они непременно меня отыщут? Даже если я ускользну в сон, прошлое будет идти по моему следу, мягкими лапами по плитам, топ-топ: вода в алебастровой чаше, прохладная посреди жаркого флорентийского полдня.

Когда кардинал преклонил колени в пыли, он понял, что Вулси стар, хрупок и смертен. На пустоши в Патни Гарри Норрис изумленно смотрел на него сверху вниз, и его людям пришлось усадить Вулси на мула. Его сердце и воля отказали, и вместе с сердцем суставы. Заплатка стоял рядом, отпуская шутки, и он чуть не прибил его, он должен быть прибить наглеца, но как это

помогло бы кардиналу – имущество конфисковано, цепь сорвана с шеи, – а теперь и его шут валялся бы в суррейской грязи с проломленным черепом?

Когда они добрались до Ишера и вошли в пустой дом, он поднялся на надвратную башню, глянуть, нет ли погони. Построенный во времена, когда епископом Винчестерским был Уэйнфлит, усовершенствованный при кардинале, дом радовал душу и глаз, когда был населен и отдраен, когда огонь пылал в каминах, буфет ломился от золотой и серебряной посуды, постели были застелены, шпалеры развешены, мясо отбито и обжарено, фрукты нарезаны, надеты на шпажки и потушены в масле, а воздух наполнен ароматом сластей и жарки. Еще вчера никто не мог вообразить, что хозяина грубо выгонят из дворца, отправят в плаванье по реке, втолкнут в заброшенные комнаты, где печи на кухне остыли, в каминах пепел, а толстые стены не отражают, а впитывают холод, словно реликварии.

С вершины Уэйнфлитовой башни страна, распростертая во тьме, выглядела скорее воображаемой, чем настоящей. Скоро День Всех Душ, подумал он. Ему показалось, что время дрогнуло и встало, словно катастрофа, постигшая его хозяина и Англию, замедлила перемещение небесных светил. Моросило, на реке мелькали огни. Когда он спускался, голоса тех, кто внизу, поднимались к нему, невнятные, словно пение, но, когда кто-то произнес его имя: «Томас Кромвель», – ему показалось, что голос прозвучал прямо в ухе.

Особенность дома, подумал он тогда. Лестница была кирпичная, винтовая, и он уже видел ее при дневном свете, свежеокрашенную, стекающую с этажа на этаж. В темноте, куда не проникал свет факелов, кирпич был цвета запекшейся крови, но на каждом повороте, словно обещание, сияла полоска света. Спустившись к подножию, он, моргая, возник из тьмы, словно дитя, рожденное в жестокий мир.

Слуги нашли свечи, чтобы осветить нижний этаж.

– Кто приготовит мне ужин, Том? – спросил кардинал.

– Я, я умею.

– Идите сюда, на вас паутина. – Джордж Кавендиш, доверенное лицо кардинала. – Позвольте мне, Томас.

Он позволил Джорджу стряхнуть с себя паутину, пассивный, как животное, не сводя глаз с кардинала, покинутого всеми старика в одежде с чужого плеча. Стоял, прижавшись спиной к стене, чувствуя, как бьется сердце, в ожидании того, что сделает дальше.

Часть вторая

I

Приращение

Лондон, осень 1536 г.

Покойник выходит из «Колодца с двумя ведрами», тыльной стороной ладони вытирает рот, оглядывается по сторонам. Затем натягивает капюшон, проверяет, не смотрит ли кто, и шагает к массивным воротам Остин-фрайарз.

На воротах новый стражник, который кладет ему руку на плечо, просматривает сумку с бумагами:

– Нож?

Покойник вытягивает руки, миролюбиво позволяя себя ощупать. Выходит охранник постарше.

– Мы знаем этого джентльмена. Входите, отец Барнс. – Во дворе он говорит: – Его милость ждет вас.

Покойник поднимается на второй этаж.

Зимой тысяча пятьсот двадцать шестого года, десять лет назад, монах Роберт Барнс предстал перед Вулси по обвинению в ереси. Сумрачным морозным днем, свет льется только от замерзших луж, Барнс стоит в приемной, в черной сутане по обычаю своего ордена. Его плоть под сутаной леденеет от ужаса. Ему сказали, что кардинал готовится. Хотелось бы знать, к чему именно?

В прошлый сочельник в кембриджской церкви Святого Эдуарда на полуночной мессе отец Барнс проповедовал против роскоши и богатства церкви. Разумеется, это означает проповедь против роскоши и богатства кардинала.

Сейчас февраль: dies irae. Пока он ждет, человек кардинала приглядывает за ним, в жаровне едва тлеет огонь.

– Холодно, – замечает отец Барнс.

– А вы не захватили с собой дровишек?

Зрители хихикают. Барнс отодвигается от кардинальского прихвостня.

В кабинете Вулси пылает громадный камин. Барнс отступает от камина к стене.

– Отец Роберт, – говорит кардинал, – станьте там, где теплее.

Он чувствует, что они сговорились его мучить.

– Я не в суде, – выпаливает он. – Ваш слуга Кромвель за дверью насмехается, спрашивает, не прихватил ли я дровишек.

– Разумеется, вы не в суде. – Кардинал вежлив. Пурпурные шелка вспыхивают в воздухе, пропитанном смоляным духом. – Вас называют еретиком, хотя, вероятно, у вас нет разногласий с учением церкви. У вас разногласия со мной.

Снаружи колокольный звон пронзает морозный воздух. Входит слуга с подносом. Кардинал сам разливает вино с пряностями из кувшина, пышно глазурованного тюдоровскими розами.

– Чего вы хотите от меня, Барнс? Чтобы я отказался от прославляющих Господа пышных обрядов и церемоний и ходил в домотканом? Чтобы сидел за скудным столом и угощал послов гороховой кашей? Расплавил серебряные кресты и раздал монеты беднякам? Беднякам, которые все пропьют?

Пауза. Затем Барнс еле слышно отвечает:

– Да.

Кардинальский злодей Кромвель вошел вслед за ним и теперь стоит, прислонившись к двери.

Вулси говорит:

– Жаль, что ученый человек губит себя. Вам следует понять, что бессмысленно отвергать ересь только ради того, чтобы подстрекать к мятежу. Ополчитесь на церковь – вас сожгут в Смитфилде, ополчитесь на государство – удавят на Тайберне. Я здесь церковь и государство в одном лице. Впрочем, если раскаетесь, вы еще можете избежать как той, так и другой участи.

Отца Барнса начинает бить дрожь. Суровый взгляд кардинала заставляет его упасть на колени.

– Ваша милость, простите. Я не хотел причинить никому зла. Я даже кошку не обижу.

Кромвель смеется. Барнс вспыхивает, стыдясь собственных слов.

Кардинал говорит:

– Сегодня вас допросят четверо епископов. Все до единого обожают топить котят ради удовольствия. Что до меня, то я намерен поступить с вами мягко, доктор Барнс, – из уважения к вашему университету и лично к вам. За вас ходатайствовал мой секретарь Стивен Гардинер. Если вы удовлетворите епископов своими ответами – советую отвечать кратко и смиренно, – я наложу на вас епитимью, причем вам придется покаяться публично. Засим продолжительные посты и молитвы, но вы же не против? Разумеется, вы не сможете оставаться приором. Вам придется оставить Кембридж…

– Милорд кардинал…

Вулси поворачивает голову, мягко вопрошает:

– Что? Допивайте вино, доктор Барнс. И воспользуйтесь моим предложением. Другой возможности не представится.

Выброшенный обратно на холод, Барнс заливается слезами, словно женщина, и отворачивается к стене. Чтобы сломать его, Вулси даже не пришлось повышать голос. К нему подходит Томас Кромвель:

– Вытрите слезы. Для друзей можете придумать другую историю. Скажете им, что отвечали дерзко. Что нашли в себе смелость ему перечить.

Барнс съеживается, уходит в себя. Этот Кромвель ставит его в тупик. Вид у него такой, что впору служить вышибалой в таверне.

В Прощеный вторник монах кается на плитах собора Святого Павла, а Вулси взирает на него со своего позолоченного трона. Князья церкви в парчовых одеяниях, украшенных драгоценными каменьями, смотрят, как Барнс простерся на полу рядом с чужеземными купцами из Стил-ярда, у которых Томас Мор нашел еретические книги. Их доставили в собор на ослах, сидящими задом наперед. Прицепили им на грудь выдранные с мясом страницы из Лютеровых книг, которые болтаются, словно грязные лохмотья. На спинах вязанки сухих щепок для растопки – напоминание, что костер разведен и ждет их, если они посмеют отказаться от своих слов. Как и доктор Барнс, они принесли публичное покаяние, и, если вновь возьмутся за старое, их ждет публичные страдания и смерть, а их пепел бросят в выгребную яму.

У церкви собралась толпа. Лица размыты дождем, силуэты расплываются в тусклом зимнем свете. Люди сбились под просмоленным навесом, который словно лежит у них на плечах, превращая их в чудище со множеством ног.

– Посторонитесь, – велят толпе.

Большие корзины ставят посреди площади, вываливают на решетку содержимое. Стопка выходит внушительная. Один из помощников палача подносит факел. Его товарищ подпихивает книги металлическим прутом, сбивая в кучу. Под их умелым присмотром, несмотря на проливной дождь, страницы схватываются. Подозреваемых водят вокруг костра, достаточно близко, чтобы они вздрагивали от жара и отворачивали лица от летящих искр. Буквы вздыхают, когда страницы скручиваются, распадаются в безмолвную слякоть.

Доктора Барнса отправляют в монастырь, здесь, в Лондоне. Никто не собирается держать его в черном теле, ему даже дозволено принимать посетителей. Однажды к нему приходит Томас Кромвель:

– Я живу неподалеку. Приходите на ужин. – На скамье он оставляет потрепанный экземпляр тиндейловского Нового Завета. – Прибыло из Антверпена.

Барнс поднимает глаза. Кардинальский еретик, думает монах.

– У меня двадцать экземпляров. Могу достать больше.

Довольно скоро епископ Лондонский начинает подозревать, откуда берутся Новые Заветы. Еще один неприятный допрос, но Тунстолл по натуре мягок и не внушает Барнсу такого же благоговейного страха, как Вулси.

– Откуда у меня взяться книгам Тиндейла? Я никуда не выхожу, никого не вижу.

Барнс уверен, что имя Кромвеля не всплывет. Так и выходит. Тунстолл качает головой и вскоре отсылает его в Нортгемптоншир. Оттуда до любого порта путь неблизкий. И некуда бежать из-под юрисдикции кардинала. А если тебя вздумают навестить друзья-реформаты, об этом тут же узнает вся округа.

Однажды ночью Барнс сбегает из монастыря. На следующее утро в келье несчастного находят записку, адресованную кардиналу, в которой монах выражает намерение утопиться. На берегу реки лежит его сложенная ряса. Тела не находят, но намерения грешника достаточно ясны.

И это последние известия о Роберте Барнсе, до тех пор покуда не меняются времена и папа не утрачивает власть. Тогда он выныривает в новой, изменившейся Англии, где былые прегрешения забыты.

– Входи, старый призрак, – приветствует его кардинальский еретик. – Чудны дела твои, Господи. Всплыл из водяной могилы.

– Вам бы только шутить, – говорит Барнс.

– Но вы даже не замочили ног!

Барнс никогда и не был в реке. Он всплыл в Нидерландах, где обрел друзей, защитников и братьев во Христе. Шли годы, и он вернулся, отягощенный знанием множества языков. Мир изменился, и теперь Барнс – королевский капеллан и доверенный гонец короля, который отвозит его письма за границу.

– Тунстолл отправился в Дарем, – говорит хозяин дома. – Милорд кардинал умер. – Он откидывается в кресле. – А я стал лордом.

– Привез вам это. – Барнс кладет на стол гравюры. Толстый Мартин.

– Вы меня балуете, – говорит лорд Кромвель.

На старых портретах Лютер тощ и одухотворен, на последних толст. Тонзура исчезла много лет назад. Иногда он отращивает бороду.

Барнс говорит:

– Когда паписты жгут его книги, они кладут поверх портрет, словно сжигают его самого. Однако в Германии простые крестьяне верят, что его образ не горит в огне.

Палец лорда Кромвеля тычет в гравюру.

– Я вижу, он обзавелся нимбом.

– Это не он придумал. Он не считает себя святым. Но разве не удивительно, на что способны печатники? Вся Европа знает его в лицо. Самый забитый деревенский дурачок.

– Это хорошо?

– На его жизнь покушались неоднократно. Однажды, – Барнс улыбается, – его хотел убить лекарь, который умел становиться невидимым.

– А, этот. – Тайные наемники со скальпелями из воздуха. – Я опасаюсь невидимых убийц со времен Вулси. Успел обзавестись ушами, как у лисицы, и голова у меня на шарнире. Только запахнет папистом или йоркширцем, она мигом поворачивается к нему. – Он разглядывает гравюру. – Его нрав не смягчился?

– Я бы сказал, стал еще тяжелее. Тщеславен и обидчив, как женщина.

С тех пор как женился на монашке, Лютер раздобрел. Чего нельзя сказать о нашем архиепископе. В браке Кранмер сохранил худобу и бледность.

– Это потому, что он все время тревожится. Боится, что узнает король, – говорит Барнс.

– Король знает.

– Скорее всего, вы правы. Однако его еще не припирали к стене.

Наш государь яростный противник женатого духовенства. Кранмер женился в Германии, привез Грету в Англию и держит взаперти. Безбрачные священники – известные сплетники, многие были бы не прочь свалить архиепископа, если бы могли. Но и за ними водятся грешки, которые не терпят огласки: тайные любовницы, дети.

Он говорит:

– Мы разделяем это бремя, я и Кранмер. Архиепископ внушает королю, как быть хорошим, я втолковываю ему, как быть королем. У каждого своя епархия. Мы пытаемся убедить его, что великий правитель – добрый правитель и наоборот.

Барнс замечает:

– Лютер говорит с правителями честно. Резко, если потребуется.

– Но в конце концов уступает, и правильно. – Он изучает невзрачные черты Лютера, переворачивает гравюру. – Видишь ли, Роб, мы делаем то, что можем. Мы заключили договор, мы с Кранмером. Мы оставляем королю его обряды, он не мешает нам издавать Писание. По-моему, неплохая сделка.

– Мне кажется, – говорит Барнс, – что наш господин думает, будто назначение Писания – позволить ему и дальше менять жен. Вы говорите, что король разрешит печатать Библию, так почему он медлит?

Он сбивает гравюры вместе, словно колоду карт, и сует в шкатулку для писем.

– Томас Мор говорил, каждый переводчик видит свое, и если он не находит в тексте того, что жаждет обрести, то сам туда это вписывает. Король не позволит напечатать перевод Тиндейла. Нам пришлось отказаться от этой мысли, оставив ее осуществление другим.

– Если Генрих ждет перевода, заверенного отпечатком Божьего пальца, то ждать ему придется долго. Лютер трудился над каждой фразой по три-четыре недели. Я никогда не думал, что он закончит работу, но вот два года назад на книжной ярмарке в Лейпциге он уже продавал полный текст Библии меньше чем за три гульдена, и с тех пор она переиздавалась дважды. Почему у немцев есть слово Божие, а у англичан нет? Можно пялиться в текст, пока из глаз не потечет кровь, можно извести стопку бумаги выше шпиля Святого Павла, но я говорю вам: никакое слово не окончательно.

Это правда. Нет текста, не требующего правки. Однако можно оторвать его от себя, отослав печатникам. Нужно только, чтобы печатали в самый край листа. Особой красоты в этом нет, но заметки на полях не исказят смысл.

– Простите мое возмущение, – говорит Барнс. – Все эти годы я трудился ради блага короля, пытался создать союз, прийти к соглашению с немецкими государями и их богословами – а тут приходят вести из Англии, и вы выбиваете почву у меня из-под ног.

Отрубив голову королеве. На дворе осень, а Барнс все еще не может прийти в себя.

– Королеве, уверовавшей в слово Божие!

– Королеве из рода Говардов, – говорит он. – Вы знаете, во что верят Говарды. В себя.

– Кранмер не верит, что она виновна.

– Кранмер – как я. Он верит в то, во что верит король.

– Это тоже неправда. – Барнс бурлит, как горячий источник в Витербо. – Немцы знают, что Кранмер лютеранин, в чем бы он ни убеждал Генриха. Кранмер моя единственная карта. Я устал ждать от наших английских епископов того, что мог бы противопоставить папистским предрассудкам, и дождался – они выпустили десять статей, одной рукой давая, а другой отнимая. Каждое слово можно толковать двояко.

– Так и есть.

– Они пишут обо всем и ни о чем.

– Вы можете сказать немцам… как бы сформулировать? Что хотя эти статьи и представляют собой изложение нашей веры, его нельзя называть полным.

Барнс округляет глаза:

– Вы посылаете меня нагишом. Если вам нужны союзники, у вас должно быть что-то за душой для обмена.

Более пяти лет прошло с тех пор, как немецкие государи образовали лигу, которую называют Шмалькальденской, для защиты от императора, их сюзерена. Англии нужны друзья, те, кто готов вместе с ней противостоять папе, а кто лучше немцев подходит на эту роль? Как и Генрих, немецкие правители хотят вывести своих подданных из тьмы. Если евангелический союз одновременно станет дипломатическим, мы можем увидеть новую Европу, Европу с новыми правилами. Однако до сих пор мы играем по старым: настраиваем Францию против императора, стравливаем две могучие силы, полагая, что наша безопасность в их разобщенности, дрожим от страха, что они придут к согласию, украдкой пытаемся разрушить их договоры и посеять между ними недоверие, клевещем, предаем, вносим смуту. Это недостойно великой нации.

Барнс говорит:

– Ваша задача, милорд, убедить короля, что перемены необходимы и они во благо.

– Но король не любит перемен! – Теперь он злится. – Знаете, Роб, уж если нам удалось сохранить евангельскую веру в ваше отсутствие, позвольте нам самим судить, как именно поступать.

– Можно подумать, я путешествовал ради удовольствия. Я служил королю, и это была нелегкая служба. Народ в Германии верит, что приходят последние времена.

– Они ждут их вот уже десять лет, а может быть, и того больше. Если говоришь Генриху о последних временах, он думает, ты его запугиваешь. А из этого не выйдет ничего путного.

Трудно иметь дело с людьми, которые считают, что после недоразумения в райском саду у человека отшибло волю и разум.

– Король говорит, если, как полагает Лютер, наше спасение зависит исключительно от нашей веры в Христа, избравшего для жизни вечной одних, а не других, и если наши труды бесполезны в очах Божьих, не помогают нашему спасению, то зачем помогать ближнему?

– Труды следуют за избранием, – говорит Барнс. – А не наоборот. Это очень просто. Тот, кто спасен, доказывает это жизнью во Христе.

– Вы полагаете, я избран? – спрашивает он. – Я покрыт ламповой сажей, мои руки смердят монетами, и когда я смотрюсь в зеркало, то вижу грязь, – вероятно, так приходит мудрость? Что я человек падший, вынужден согласиться. Мне приходится иметь дело с пороком по делам службы. В благословенные времена земля давала нам все, в чем мы нуждались, но теперь нам приходится вгрызаться в ее глубины, рыть, взрывать этот мир, дробить, катать, вколачивать и размягчать. Надо готовить обеды, Роб. Нужно писать мелом на доске и чернилами на странице, копить деньги и заключать сделки. И мы должны дать беднякам возможность себя прокормить. Я знаю, что за границей магистраты строят больницы, содержат нуждающихся, ссужают деньги ремесленникам и торговцам на обзаведение мастерской и семейством. И мне

известно, что Лютер не оставляет нам надежды спастись добрыми делами. Однако горожане не нуждаются в монахах и их благодеяниях, если о них заботится город. И я верю, я действительно верю, что тот, кто трудится ради общего блага, исполняя свой долг, заслуживает спасения, и не верю, что… – У него захватывает дух – сколько на свете того, во что он не верит. – Я грешу, – говорит он, – каюсь, я опускаюсь все ниже, снова грешу и снова каюсь, надеясь, что Господь исправит мои изъяны и несовершенства. Я цепляюсь за веру, но не готов оставить свои труды. Мой господин Вулси учил меня: пробуй все. Не упускай ни одну из возможностей. Будь готов ко всему.

– Вы цитируете вашего кардинала? Сейчас?

– Признайтесь, – он смеется, – вы его боялись, Роб.

Барнс уходит. Глаза опущены в пол, что-то бормочет о Дунсе Скоте. Человек опытный и умный, Барнс теперь боится находиться в Англии, словно Англия – край света, Далекая Фула, где земля, воздух и вода смешались в студенистое варево, где ночь длится полгода, а люди разрисовывают себя синей краской. Некогда, до Вулси, европейские правители считались с Англией не больше, чем с этой студенистой страной, куда никогда не ступала их нога. Англия выращивала овец, овцы были ее опорой, однако говорили, что местные женщины развратны, а мужчины кровожадны, и если не убивают в чужих землях, то разбойничают в своих. Кардинал, проявив мудрость, нашел применение этой репутации. Он заставил считаться со своей страной: хитростью и подкупом, мудростью колдуна и уловками фокусника, умением создавать из воздуха армии и золотые слитки, ворожить мечи и пики из тумана. Я сохраняю равновесие, господа, говорил он: могу вмешаться в ваши мелкие дрязги, могу пройти мимо. У короля Англии, лгал он, сундуки ломятся от золота, а за его спиной могущественная армия: англичане так воинственны, что король спит в доспехах, каждый стряпчий держит при себе меч, писарь воткнет в вас свой перочинный нож, и даже кобыла, впряженная в плуг, воинственно бьет копытом.

Не прошло и двух лет, и теперь все спрашивали: что думает Англия? Как Англия намерена поступить? Франции приходилось ее упрашивать, императору умолять. А что до войн, то кардинал их избегал. Генрих на французской земле гарцует на своем жеребце, забрало опущено, доспехи сверкают золотом, но дальше этого не шло, если не считать нескольких жалких стычек в развороченной грязи под пение боевых труб. Если война – это ремесло, говорил кардинал, то мир – высокое и благословенное искусство. Его мирные переговоры стоили иных военных кампаний, а дипломатия заставляла вспомнить о Византии. Его соглашения составили славу западного мира.

Но когда Генрих затеял бракоразводный процесс, плюнув императору в глаза, все выгоды были упущены. Папская булла об отлучении висит над королем как меч, подвешенный на волоске. Если тебя отлучают от церкви, ты становишься прокаженным. Если булла будет подписана, король и его министры станут мишенью для убийц, которых благословил папа. Низложить Генриха станет священным долгом его подданных. Армии, которые вторгнутся в страну, заслужат отпущение грехов, неотделимых от любого вторжения, – насилия над женщинами и грабежей.

Каждое утро, просыпаясь в Остин-фрайарз, в дворцовых покоях, в Степни или в Доме архивов на Чансери-лейн, лорд Кромвель пытается измыслить способ

отвратить эту беду. На этой неделе Франция и император воюют друг с другом. Но что принесет нам следующая неделя? Обстоятельства меняются так стремительно, что новости не успевают пересечь пролив, по пути утрачивая свою новизну. Даже теперь – когда король дважды разведен и снова женат – наши люди в Риме держат двери приоткрытыми на узкую щелочку: все еще поддерживают диалог, подмазывают и подмигивают. Курия должна сохранять надежду, что Англия вернется в загон. Великое дело – не давать хода папской булле. Но следует помнить и о другом возможном исходе: Карл, или Франциск, или оба вместе вступают в Уайтхолл.

Люди делятся на тех, кто величает лорда Кромвеля его настоящим титулом. Льстецов, именовавших его милордом, когда он еще таковым не был. И завистников, неспособных вымолвить «милорд», когда он им стал.

Грегори идет за ним:

– Как вы думаете, будь матушка жива, ей бы понравилось именоваться леди Кромвель?

– Думаю, любой женщине понравилось бы. – Он останавливается, бумаги в руке, меряет Грегори взглядом. – А не стоит ли нам протянуть руку помощи герцогу Норфолку в его беде?

Бога ради, милорд, сделайте что-нибудь с королем, чтобы он вернул мне свою милость, просит герцог. Разве я виноват, что Ричмонд умер?

– Зовите-меня, – говорит он, – пошлите к людям Норфолка, дайте им понять, что, если они пригласят Грегори поохотиться летом, я не стану возражать.

– Меня?

Ричард говорит:

– Можно подумать, ты здесь чем-то занят.

Грегори переваривает услышанное:

– Я слыхал, в Кеннингхолле хорошие охотничьи угодья. Я бы поехал. Но прежде мне хотелось бы знать, когда я получу мачеху?

Он хмурится: мачеху?

– Вы обещали, – объясняет Грегори, – вы поклялись нам, что женитесь на первой встречной, чтобы никто не сказал, будто вы метите в женихи леди Марии. Вы готовы? Кто она?

– Вспомнил, – говорит он. – Это была племянница Уильяма Парра, Кейт. Ныне она леди Латимер, увы.

– Мы же согласились, что муж не препятствие, – возражает Грегори. – Разве она замужем не вторым браком? Меняет мужей, как только поизносятся. Как она ответила на ваши ухаживания?

– Пригласила на обед, – говорит Рейф. – Мы все свидетели.

– Взяла его за руку, – добавляет Ричард. – Отвела в сторонку, очень нежно.

– Я думаю, – включается мастер Ризли, – если бы мы не пялились, не пихались локтями, не приплясывали и не гримасничали, как обезьяны, она бы его поцеловала.

– Я приехала, – сказала леди Латимер, – чтобы увидеть новую королеву. Хочу представить мою сестру Энн Парр и попросить для нее место.

– Я рад, что вы вернулись ко двору, миледи. Если ваша сестра не уступает вам красотой, она его получит.

Сдавленное хихиканье со стороны его приближенных. Он делает вид, будто не слышит. Кейт Латимер миловидная курносая женщина двадцати пяти лет из семьи потомственных придворных. Мод Парр, ее мать, много лет служила королеве Екатерине, ее дядя Уильям – постельничий короля.

– Я замолвлю словечко за вашу сестру перед леди Рэтленд, но вряд ли Джейн может взять кого-то еще. Леди Лайл шлет мне письма с каждым новым судном. Если я не пристрою ее дочерей, ее гнев ураганным ветром обрушится на меня из Кале.

– Дочери Бассета. – Кейт прикусывает губу: присматривается к соискательницам, словно они прохаживаются перед ней. – Королева не обязана брать всех, достаточно и одной. Вы же замолвите словечко за мою сестру? И приходите на этой неделе обедать в Чартерхауз-ярд. Лорду Латимеру не терпится вернуться к летним забавам, а мне хочется разговоров, пока он не увез меня на север.

Он подозревает, что Латимер папист, впрочем пока хранящий верность королю.

– Вам нравится замок Снейп?

Она морщит носик:

– Как вам сказать, видите ли, это Йоркшир. – Она касается его рукава, кивает в сторону окна. – Кажется, мы забавляем ваших мальчиков.

– О, это сборище юных болванов. При виде хорошенькой женщины не могут держать себя в руках.

Спрятавшись за него, она опускает голову, словно они собираются обсудить ее бархатные туфельки, и шепчет:

– Тиндейл?

На мгновение ему кажется, что он ослышался.

– Еще жив, – отвечает он с заминкой.

– Но надежды нет, – кивает она. – Мы знаем, вы сделали все возможное. И сейчас он должен страдать, как страдают праведники. Пока не перейдут в лучший мир.

Он смотрит на леди Латимер другими глазами:

– Умоляю вас, не доверяйте никому при дворе.

– А вы в Йоркшире.

Он вдыхает аромат ее кожи: розовое масло, гвоздика. Оборачивается в сторону окна:

– Я никогда никому не доверяю.

– Если король задумал короновать Джейн, он должен сделать это в Йорке. Показать свою власть. Самое время. – Ради проходящих мимо она возвышает голос. – Известите нас, в какой из дней вам удобно. Нам хотелось бы принять вас со всем возможным радушием. – Оглядывается через плечо. – Пришлите одного из ваших юных болванов с запиской.

Кажется, леди Латимер уловила соль шутки, потому что у выхода из галереи она оборачивается и посылает ему воздушный поцелуй.

В августе он в Кенте, его дела следуют за ним. Юный Мэтью связывает его бумаги, как некогда в Вулфхолле, Кристоф едет рядом, с седла свисает дубинка, чтобы сокрушать наемных убийц.

– Вы слыхали о горшках с огнем? – спрашивает Кристоф, с деревьев капает. – Их заполняют горючей смесью и раскручивают пращой. Может такой горшок попасть в Гардинера? Перелететь через море и поджечь его?

Он задумчиво говорит:

– Когда я был молод, мы делали такие в Италии. Запечатывали серу свиным жиром. Вряд ли с тех пор придумали что-нибудь новое.

– Свиной жир – это вещь, – говорит Кристоф. – Когда начнем делать горшки?

Хозяин Аллингтонского замка совсем плох – вряд ли проживет больше нескольких недель.

– Это лето последнее, – говорит сэр Генри. – От мыслей, что мой мальчик в Тауэре, я не мог сомкнуть глаз. Я знал, вы не допустите, чтобы он страдал от дурного обращения, но государственные заботы не позволяли вам приглядывать за ним ежечасно. – Руки старика дрожат, капля вина падает на приходно-расходную книгу перед ним на столе. – Святое распятие! – Сэр Генрих пальцем вытирает вино со страницы.

– Позвольте мне.

Он убирает книгу от греха подальше.

Старик вздыхает:

– Я верю, что Том научился вести себя потише. Надеюсь, мирная жизнь придется ему по нраву и он проживет долго. – Сэр Генри закрывает глаза. – Станет хозяином Аллингтона после меня и оценит его прелести. Мои охотничьи угодья и леса. Мои цветущие луга.

Томас Уайетт просит отослать его за границу. Отправьте меня куда-нибудь по делам королевской службы. Куда угодно. Я хочу оказаться за пределами королевства.

Он откладывает бумаги и сидит рядом с задремавшим старцем. Lauda finem, думает он: восхвалим конец. Вспоминает львицу, которая подкралась к Тому Уайетту во дворе замка, где сейчас витает аромат вечерних цветов, а не ее смертоносное дыхание. Сэр Генри открывает один глаз и говорит:

– Он проиграет последнюю рубаху, если не приколотить ее гвоздями к спине. Продаст или заложит поместье в игорном доме. И будет просить у вас в долг, Томас Кромвель, не успеет остыть мой прах.

Во время путешествия он отписывает Рейфу эссекские имения, принадлежавшие ныне покойному Уильяму Брертону. В соответствии с волей короля перераспределяет владения молодого Ричмонда. Чарльзу Брэндону достались жирные куски. Чтобы подкрепить лояльность Генри Куртенэ, маркиза Эксетерского, и потрафить его жене Гертруде, маркизу отписана часть Дорсета. Земли в графстве Девон уходят Уильяму Фицуильяму, а также земли и строения аббатства Уэверли. Аббатство было первым пристанищем цистерцианцев в Англии, но местность подвержена наводнениям, сундуки пусты, и рассчитаться предстоит всего с тринадцатью монахами. Фицу дарованы поместья в Гемпшире и Сассексе, стоящие на почве потверже. Недавно он произведен в лорд-адмиралы и нуждается в поддержании своего высокого статуса.

И снова удар для герцога Норфолка. Некогда герцог уступил этот пост молодому Ричмонду, надеясь после его смерти получить обратно. Однако король сказал, Фиц полезнее, он предан мне и способен говорить правду в лицо.

Нельзя также обойти патентами и землями новую семью короля, ее тоже ждет приращение. Том Сеймур лавирует между дамами, разбрасывая улыбки, словно букеты. На нем гиацинтовый дублет и плащ фиолетового бархата. Эдвард Сеймур предпочитает общество облаченных в черное ученых мужей, учится приносить стране пользу. Все согласны, что новый шурин короля не идет ни в какое сравнение с предыдущим, хотя, как сказал Грегори, для того чтобы быть лучше Джорджа Болейна, достаточно не сношать собственную сестру.

Эдвард Сеймур приглашает его в свой городской дом и показывает картину, которая занимает целую стену. Это портрет всех Сеймуров, упомянутых в источниках со времен возникновения письменности; другие, воображаемые Сеймуры, продолжающие род в прошлое, ко временам Адама и Евы, расположены

сверху посередине. Дальновидные предки облачены в стальные доспехи, которые стали ковать значительно позже. Они держат в руках палаши, алебарды, боевые молоты и булавы, а их жены обозначены эмблемами своих семейств. С бородами и без них, все Сеймуры несут явные черты фамильного сходства и все похожи на Эдварда. Над всеми нависают гербы, словно укрытия от дождя.

Что до королевы, то Генрих не знает, как ей угодить, чем порадовать. Джейн дарованы замки, поместья, ренты, привилегии, свободы и права. Ее патентные грамоты написаны золотом и украшены изображениями короля – на них он моложе, свежее и чище выбрит, словно Джейн стерла с его лица последние десять лет. Генрих дотошно изучил ее тело и душу. Ему нравится, что никто из мужчин, за исключением брата или кузена, не может похвастаться тем, что целовал ее в щечку. Она исповедуется капеллану не более пяти минут. Ей настолько нечего скрывать, что она вполне могла бы стать прозрачной. И все свое внимание Джейн отдает королю. У Екатерины были обезьянки, у Анны спаниели, а у нынешней королевы есть только муж. Джейн обходится с Генрихом почтительно и так бережно, словно боится, что он сломается. В то же время рядом с королем Джейн всегда излучает бодрость, как и он, Кромвель. А главное, держится так, словно любое его желание естественно. И в благодарность за золото и драгоценные каменья медленно улыбается и моргает, словно девушка, которой ее возлюбленный протягивает дольку яблока на кончике ножа.

Прежде чем отложить перо, лорд Кромвель вспоминает леди Латимер в ее нортгемптонширском поместье.

Лето кончается, и Грегори возвращается домой, взъерошенный и загорелый.

– Милорд Норфолк был ко мне добр. Заметив меня с книгой, он говорил: «Грегори Кромвель, неужели ты еще не покончил с учебой?» Я отвечал ему: «Нет, милорд, я оставил „Грамматику“ Линакра и сейчас приступил к „Новому землевладению“ Литтлтона ради изучения права. А еще отец спросил меня, знаком ли я с семью греческими мудрецами? Я ответил, что незнаком, и тогда он велел мне заняться ими в сентябре». Милорд Норфолк на это сказал: «К дьяволу семерых мудрецов, я сроду про них не слышал и глупее от этого не стал. Отложи свою книгу, малый, и ступай проветрись, а с твоим отцом я это улажу».

Он кивает:

– Все улажено.

Думает, я не виню старого тощего развратника, он был добр к моему мальчику.

– Но его сын, – продолжает Грегори, – держался не слишком гостеприимно. Говорил со мной по-итальянски. Я не все понимал, но обычно чувствуешь, когда тебя оскорбляют.

– Это правда, особенно по-итальянски.

– Суррей называет вас секретаришкой. Еретиком. Вы говорите, что Бог не один, что их три. Говорите, Христос не Бог или Бог не Христос. Называет вас сакраментарием. Это те, кто считает, что не надо крестить младенцев. Суррей тоже притворяется евангелистом, но только ради того, чтобы позлить отца. Милорд Норфолк проклинает день, когда миряне начали читать Писание. «Блаженны кроткие! – говорит он. – Со всем уважением к нашему Спасителю, нельзя допустить, чтобы подобные мысли имели хождение в военном лагере». И чем больше он ненавидит Библию, тем больше Суррей ее почитает.

Он кивает. Отцы и сыновья. В возрасте, когда лордов подсаживают на робких пони, он играл в кузне, уворачиваясь от копыт. «Получит копытом в лоб, – говаривал Уолтер, – может, пойдет ему впрок». Он получил копытом в лоб, но не уверен, что это пошло ему впрок.

Грегори говорит:

– Мэри Фицрой в Кеннингхолле с семьей. С утра до вечера бранится из-за наследства. У нее записано все, что причитается ей как вдове Ричмонда. Герцог удивлен, до сих пор он едва удостаивал ее взглядом; милорд Норфолк не из тех, кто считает, будто отцы должны разговаривать с дочерями. Она говорит: «Если вы не истребуете у короля мое наследство, я обращусь к лорду Кромвелю, который славится добротой к вдовам».

Мастер Ризли подавляет смешок. Но когда Грегори уносится прочь, заходит за ним в кабинет и говорит:

– Вы хотите женить Грегори. А вы никогда не задумывались о Мэри Фицрой? Заручились бы поддержкой герцога на веки вечные.

– Странно слышать это от вас. Разве не вы говорили, что я должен его погубить?

У мастера Ризли покаянный вид.

– Я не понимал ваших методов.

Теперь Норфолк зависит от него, он его защита перед королем. Генрих взвивается при одном упоминании герцога. Правдивый Том, смерть Ричмонда, его нищенские похороны… у Генриха накопились обиды. Норфолк уже видит себя в Тауэре. Клянусь решеткой святого Лаврентия, я не заслужил подобного обращения, восклицает герцог. Разве я хоть в чем-то чинил ему препятствия, разве когда-нибудь шел поперек его воли? Я всегда был верен Генриху. И все мои труды, мои деньги, слуги и молитвы в его распоряжении. «Я весь, весь, весь исхожу желчью и гневом», – пишет герцог. Читая это письмо, так и видишь, как из головы Норфолка вырываются языки пламени.

Что до его дочери…

– Это не про нас, – говорит он Ризли. – Норфолк метит выше. Говарды не думают о будущем. Вернее, думают не так, как мы. Они надеются, что будущее повторит прошлое.

Итак, семь мудрецов, говорит он Грегори: вот их изречения. Умеренность во всем, никаких излишеств (по сути, это одно и то же, но мудрую мысль не

грех повторить). Познай себя. Познай свои возможности. Смотри вперед. Не пытайся достичь невозможного. И наконец, Биант Приенский: ???????? ???????? ????? – худших везде большинство.

Этим летом палата приращений усердно превращает монахов в монеты. Распущены только небольшие обители: палата готова трудиться усерднее, буде Генрих того пожелает. В Вестминстере, куда переехали чиновники, есть сад, где они могут передохнуть, слушая пение птиц и вдыхая пряный аромат лекарственных трав. Тысячелистник и ромашка укрепляют трудолюбивых, засидевшихся допоздна над таблицами. Буквица прогоняет головную боль, огуречная трава утешает сердце. Настойкой девясила, или Христова ока, хорошо промывать глаза тем, кто проводит долгие часы над книгами, аромат кустов розмарина улучшает память.

Епископ Латимер говорит ему, плохо, если бедняки ничего не получат от закрытия монастырей. Однако непохоже, что нищий преклонит голову там, где раньше почивал аббат. Скорее, джентльмен снесет дом аббата и построит на его месте дом побольше из камней аббатства. Это мудрая политика – не все доходы отправятся в королевскую казну. Имя папы можно изъять из богослужебных книг, но прихожане вклеят его обратно, в надежде, что Рим вернет свое влияние. А вот если раздать земли, ни один подданный не захочет вернуть их церкви. Можно переписать молитвы, но не арендные договора. Сердца еще могут обратиться к Риму, но не деньги.

Даже если Генрих умрет, думает он, наше дело не пропадет. Спустя поколения имя папы окончательно выветрится из головы и никто не поверит, что мы молились деревяшкам и штукатурке. Англичане увидят Господа при свете дня, а не в дыму благовоний, услышат слово Божие из уст того, кто стоит к ним лицом, и больше не будут смотреть в спину священнику, бормочущему на чужом языке. Вместо полуграмотных монахов, сидящих на корточках в грязи, подобрав рясы, монахов, которые играют в бабки на фартинги и заглядывают женщинам под юбки, у нас будут священники, живущие в довольстве, которые станут направлять невежественных и помогать неимущим. Мы забудем идолов, жеманных святых дев с изнуренными лицами, Христа с раной в боку, разверстой, как промежность шлюхи. Верующие будут славить Господа в сердце своем, вместо того чтобы пялиться на его лик над головой, словно на трактирную вывеску. Мы разобьем раки, говорит Хью Латимер, и учредим школы. Выгоним монахов и купим буквари и дощечки с азбукой для маленьких рук. Мы отделим живого Бога от его фальшивых изображений. Господь не есть его хитон, гвозди или шипы. Он не заперт в драгоценных ковчегах и витражных стеклах. Господь обитает в человеческом сердце. Даже в сердце герцога Норфолка.

Когда дни становятся короче, Норфолк пишет ему, прося стать его душеприказчиком. Герцог не думает о смерти, хотя, разумеется, sic transit gloria mundi[37], и скоро ему стукнет шестьдесят пять, хотя он недоумевает, куда делось время. Он ищет встречи, в удобное лорду – хранителю малой печати время. Хочет поговорить о Мэри Фицрой:

– Какая жалость, что Ричмонд не умер на несколько недель раньше. Тогда Генрих мог бы жениться на моей дочери, в жилах которой течет самая благородная кровь в королевстве, а не на дочке Джона Сеймура. Моя девочка

невинна, как в день, когда ее крестили, потому что я не подпускал к ней Ричмонда.

Именно потому, что брак не был консумирован, король утверждает, что вдове не полагаются выплаты. Однако герцог пребывает в таком благодушном настроении, что он решает до поры до времени ему об этом не говорить.

– Знаете, кто меня навестил? – спрашивает Норфолк. – Императорский посол. Умолял об аудиенции. Предлагал деньги. Теперь, – добавляет герцог милостиво, – все улажено. Я привык получать деньги от императора, пока моя племянница не вмешалась и все не испортила.

– Значит, ваша милость вернули себе то, что полагалось вам по праву, – замечает он рассудительно.

Герцог смотрит на него:

– Уж не вас ли я должен за это благодарить?

Он отмахивается:

– Шапюи ценит ваш благородный род и ваш неоценимый опыт. Он понимает вашу значимость для короля и государства.

– Возможно, – говорит Норфолк, – но куда больше он ценит ваши обеды. Думает, что вы заправляете всем. Кремюэль то, Кремюэль сё. И все же вы оказали мне услугу. Я это ценю. – Герцог ковыляет прочь на своих коротеньких ножках.

Он просит мастера Гольбейна зайти. Тот приносит с собой следы своих занятий: ароматы льняного семени и лавандового масла, сосновой смолы и кроличьего клея.

– Теперь, когда вы стали лордом, я должен снова написать ваш портрет?

– Я доволен прежним. – Если портрет может считаться попыткой что-то скрыть, то предыдущий прекрасно справляется, это тайна между ним и Гансом. – Я хотел бы целую стену портретов. Портретов древних королей.

Ганс жует губу:

– Насколько древних?

– Задолго до короля Гарри, завоевавшего Францию. До его отца Болингброка.

– Вы хотите портреты убитых королей?

– Если хватит места.

Ганс распластывается по стене, измеряя ее размер раскинутыми руками:

– Возможно, вам придется построить новую комнату. – (Под окном топот каменщиков, леса складывают, в воздухе повисла пыль.) – Напишите имена. А портрет Генриха хотите? Вы стоите рядом, нашептывая ему в ухо суммы.

Он понимает, на что намекает Ганс. Если в нынешнем году будут писать портрет Генриха, художник хочет получить этот заказ.

– Он теперь редко садится в седло и не играет в теннис. Поэтому стал таким. – Ганс хлопает себя по животу.

– Верно. Король прирастает.

Ганс шагает по галерее, раздвинув ладони, намечает расположение для каждого короля:

– Когда будете возвращаться домой, короли будут вас приветствовать. Они скажут: «Благослови тебя Бог, Томас», словно ваши дядья. Вы придумали это, потому что у вас не осталось родных.

И снова он прав.

– Жалко, что вы не написали мою жену.

– Почему? Она была красавицей?

– Нет.

Если бы в те времена, когда его жена и дочери были живы, он мог позволить себе нанять Ганса, тот написал бы их как на портрете семьи Томаса Мора, вместе со спаниелями и другими питомцами. Он держал бы в руках книгу, Грегори забавлялся бы с игрушечным мечом, а дочери перебирали коралловые бусы. Он почти видит картину перед мысленным взором, взгляд следует за фигурами на холсте: вот Ричард Кромвель прислонился к спинке его стула, справа Рейф Сэдлер с пером и счетами, дверь открыта, готовая в любое время впустить Зовите-Меня. Он пытается воскресить в памяти лица дочерей, но ничего не выходит. Приемы запоминания не помогают. Дети растут быстро. Грейс менялась каждый день. Даже лицо Лиз теперь не более чем смутный овал под чепцом. Он воображает, как говорит ей: «Немец придет писать наш портрет, нас удвоят, словно в зеркале». Когда ты приходил в Челси, то отвешивал поклон хмурому и важному лорд-канцлеру на стене. Затем бочком выходил настоящий, в ветхом шерстяном шлафроке, с синеватыми небритыми щеками, потирая замерзшие пальцы и давая понять, что ты оторвал его от важных дел. Томас Мор глядел на тебя дважды – и оба раза с неодобрением.

Он говорит:

– Ганс, я не жду, что ты сам это напишешь. Пришли подмастерьев. Не важно, какие у королей будут лица, все равно никто не знает, как они выглядели.

Они ударяют по рукам. Нет ничего предосудительного в воссоздании мертвых, если они выглядят благообразно. Он, лорд Кромвель, даст приют двум подмастерьям, пока короли не высохнут и не будут повешены на стену, а художник возьмет за материалы плюс символическую стоимость работы, «но с

наценкой, как для богачей», добавляет Ганс. Художник тычет пальцем в плюшевый живот заказчика и, присвистывая, уходит.

К нему обращается шут Антони:

– Сэр, где это видано, чтобы у шута самого лорда – хранителя малой королевской печати не было серебряных колокольчиков?

– Отличная идея, – откликается Ричард Кромвель. – Будешь звенеть всякий раз, когда решишь пошутить, чтобы мы понимали, когда смеяться.

– Может быть, я и самый печальный шут на свете, – возражает Антони, – но я не разношу по тавернам ваши секреты и обхожусь вам дешевле, чем королевский шут Уилл Сомер, к которому приставлен слуга. За мной не нужно приглядывать, если только по весне, когда я пребываю в меланхолии и кто-то должен следить, чтобы я держался подальше от острых ножей, а также ручьев и прудов, где мне хочется утопиться.

Горбун Уилл Сомер засыпает на ходу. Сидит за столом и внезапно с грохотом роняет голову в тарелку. На улице с ним и вовсе беда: если бы за ним не ходил специальный человек, он угодил бы под колеса первой же повозки. Он может шлепнуться на землю, перелезая через изгородь, ноги разъезжаются, волосы в грязи. Для него все едино, что день, что ночь, и, когда он укладывается на землю, королевские спаниели подбегают к нему, блестя глазками, машут хвостиками и лижут ему уши. Сомер безобиден, невинная душа. Но шут Секстон, или Заплатка, живет в доме Николаса Кэрью, где, как говорят, не перестает рассказывать басни про бывшую королеву, называя ее шлюхой и прирастая монетами за каждую грубую шутку. Этот бессовестный дурак порочит также кардинала, клевеща на бывшего хозяина.

Он говорит Антони:

– Скажи Томасу Авери, пусть выделит тебе деньги. Сам купишь себе колокольчики.

Сообщают, что в речном порту Севильи пришвартовались три огромных корабля, выгрузив несметные богатства, привезенные из Перу, в сундуки императора, чьи войска продвигаются в Пикардию, на территорию короля Франции. Король Генрих предлагает себя в качестве посредника и заявляет, что намерен сохранить нейтралитет.

– Это означает, – говорит Шапюи, – что он перейдет на сторону того, кто пообещает ему больше, запросив меньше. Вот что Генрих понимает под нейтралитетом.

Он спрашивает:

– Когда это правители поступали иначе? Они всегда ищут выгоду.

– Но Генрих только и толкует что о своей чести.

– Помилуйте, все они одинаковые.

Венецианский посол синьор Дзуккато заглядывает к нему, сияя от удовольствия. Сенат выделил ему пятьдесят дукатов на покупку лошадей – привилегия, которой пользовались все предыдущие послы, но которой он был лишен по необъяснимому недоразумению. Теперь венецианец сможет скакать легким галопом вслед за королем и madamma Джейн в клочьях утреннего тумана. Годами было принято охотиться par force[38]: пока джентльмены нежатся в постелях, обкладчики ищут подходящего оленя-самца, который просыпается на опушке, потягивая ноздрями воздух нового дня. Когда зверь найден, по следу выпускают гончих: серых, палевых, желтых, рыжих, белых. Найдя покинутое место лежки, охотники ощупывают траву: теплая или успела остыть. На восходе охота начинается. Олень может вилять, лететь как стрела, бросаться в ледяной поток, но гончие не отстанут, пока не загонят его, лаем выкрикивая оскорбления на понятном зверю языке, называя его мошенником и супостатом, а охотники кричат: ату его, ату! хо-муа-си-ва! хо-сто-мон-ами! са-си-аван-со-хо! И когда меч входит в сердце, олень падает на спину, рога касаются земли, и охотничий рожок, который играл сбор и трубил, что след взят и зверь поднят, поет смерть. Когда олень разделан, гончим бросают хлеб, смоченный в его крови, а часть костей оставляют, называя их вороньей долей. Голову же, насадив на пику, несут домой, впереди, как если бы перед ними шествовал живой олень.

Однако в этом году, чтобы не заставлять короля скакать по оврагам и позволить ему наслаждаться обществом нежных дам, оленей выгоняют прямо на охотников, которые стоят под деревьями, в шелковисто-зеленом, с луком в руках. Генрих, принужденный таскать свой новый вес, быстро устает, порой морщится от боли в ноге, которую слуги каждое утро бинтуют так плотно, как может выдержать король. Наматывают и наматывают бинты на участок поврежденной плоти, где рана добралась до кости. Королева стоит рядом, не сводя с оленя спокойных глаз. Если олень отклоняется вправо или влево, от охотников требуется сноровка, чтобы случайно не задеть друг друга. Если зверя нельзя пристрелить сразу, лучше позволить ему оторваться от загонщиков и выпустить стрелу перед ним. Если выстрел был неточен, охотник станет преследовать раненую добычу, понимая по густоте и цвету крови, как долго продлится погоня. Говорят, что охотники живут дольше прочих, потому что, трудясь до седьмого пота, остаются тощими и поджарыми. Когда вечером они падают в постель, то не чуют под собой ног, а когда умирают, отправляются прямиком в рай.

II

Пять Ран

Лондон, осень 1536 г.

Слухи о смерти Тиндейла просачиваются по Европе, словно дым сквозь солому. Джентльмены короля говорят, что Генрих запросил императора – как государь государя, – действительно ли этого англичанина казнили. Однако подтвердил

ли император новость или опроверг, на стол лорду – хранителю малой печати не легло никаких бумаг.

– Я думал, мы получаем все новости, – с обидой говорит Зовите-меня.

Когда наши люди за границей пишут королю, они делают копию хранителю малой печати – зачастую с запиской, в которой дельного порой больше, чем в самом письме. Генриху нравится беседовать с иностранными монархами по-братски. «Сухарь, – говорит король, – дома я полностью на вас полагаюсь, но есть материи, которые способны обсудить между собой только государи, и я не могу просить моих венценосных друзей вести переговоры с вами, потому что… – Король смотрит вдаль, вероятно, пытается вообразить Патни. – Разумеется, это не ваша вина».

Некоторые утверждают, что Тиндейл жив и тюремщики пытками вынуждают его к публичному покаянию. Однако наши антверпенские источники молчат. Возможно, мы что-то упустили и новость была зашифрована между цифрами счетов?

Зовите-меня говорит:

– В Венеции есть люди, которые с утра до ночи трудятся над шифрами. И чем дальше, тем больше набивают руку.

– Можем устроить вам такое расписание, – говорит Ричард. – Лорд Кромвель заставит вас трудиться per diem, вы не сможете получать жалованье хранителя личной королевской печати, и что тогда скажет мистрис Зовите-меня? Она не станет выражаться шифром – будет браниться так, что ее услышат в Кале.

Генриху не сидится на месте: он хочет продлить это лето, таская Джейн из поместья в поместье. Он старается, чтобы рядом с королем всегда был или он, или Рейф.

Он говорит Шапюи:

– Эти переговоры с шотландцами – до них дело не дойдет никогда. Генрих не решится забраться дальше Йорка. Он предвидит дурную еду, разбойников и отсутствие ванны. А шотландский король никогда не продвинется глубже на юг – по тем же причинам.

Они в Уайтхолле. Шапюи присоединяется к нему в оконной нише. Свита посла держится поодаль, но он чувствует, что за ним наблюдают.

– Это правда, что Тиндейла сожгли?

– А разве Генрих вам не сказал? Ему известно, как вы преданы этому еретику.

– Я терпеть не мог Тиндейла, – говорит он. – Его все терпеть не могли.

Впрочем, мы не собираемся приглашать Тиндейла на ужин или играть с ним в шары. Он нужен нам ради благополучия наших душ. Тиндейлу ведомо слово Божие, и он освещает нам дорогу сквозь топи толкований, чтобы мы не

сбились с пути – как выражается он сам, – словно странник, которого заманил в чащу, раздел и разул Робин Добрый Малый.

Шапюи не сказал прямо, что Тиндейл мертв, – просто согласился с тем, что ты упомянул о нем в прошедшем времени.

Он посещает монастырь в Шефтсбери как частное лицо в свите сэра Ричарда Рича, канцлера палаты приращений, Кристоф, в свою очередь, сопровождает его. Испросив аудиенцию у дамы Элизабет Зуш, он готовится ждать в приемной. Так и выходит.

– Забавно, – мрачно заявляет Рич. – Вы второе лицо в церкви, да и я человек не последний.

– Это аббатство основал король Альфред Великий, – говорит он Кристофу. – Они разбогатели, потому что у них хранятся мощи Эдуарда Мученика.

– И какой трюк они с ними проделывают? – спрашивает Кристоф.

– Самые обычные чудеса, – отвечает Рич. – Может быть, мы станем свидетелями одного из них.

Обустроив лошадей, Кристоф юркает в кухню в поисках молоденькой сестры, которая накормит его хлебом и медом. Они с Ричем остаются в приемной, разглядывают полотно с изображением святой Екатерины, мучимой на колесе. Прислушиваются к звукам дома и города за стенами аббатства, пока сгустившаяся тревога в воздухе не выдает, что их замысел разгадан: раздаются быстрые шаги, дверь распахивается, кто-то зовет: «Дама Элизабет? Мадам?»

В Шефтсбери двенадцать церквей, слишком много для его обитателей. Когда звонят колокола, улицы содрогаются.

– Итак, – говорит аббатиса, – вы явились лично, лорд Кромвель.

– Вы знаете меня в лицо, мадам?

– У одного из здешних джентльменов есть ваш портрет. Он выставляет его на всеобщее обозрение.

– Надеюсь, что так. Не в подвале ж ему висеть. Вы посещаете многих джентльменов?

Она бросает на него быстрый взгляд:

– По делам аббатства.

– Художник изобразил меня достоверно?

Она разглядывает его:

– Скорее, он вам польстил.

– Это была копия с копии, и каждая следующая версия хуже предыдущей. Мой сын думает, на портрете я похож на убийцу.

Аббатиса довольна:

– Мы ведем тихую и праведную жизнь, и едва ли мне есть с кем сравнивать. – Она встает. – Полагаю, вы спешите. Вы приехали повидать сестру Доротею.

Ведя его за собой, аббатиса спрашивает:

– Почему с вами Ричард Рич? Хвала Господу, мы богаче любого аббатства в королевстве. Я думала, сэр Ричард занимается небогатыми монастырями.

– Мы хотим проверить ваши расходы.

– Я состою здесь аббатисой уже тридцать лет и готова ответить на любой вопрос.

– Ричу нужны бумаги.

– Я предупреждаю, – говорит дама Элизабет. – И можете передать это королю. Я не отдам вам монастырь. Ни в этом году, ни в следующем, покуда жива.

Он поднимает руки:

– У короля нет подобных намерений.

– Сюда. – Она толкает дверь. – Дочь Вулси.

Доротея делает попытку встать, он жестом велит ей сидеть.

– Как поживаете, мадам? Я привез вам подарки.

Они одни в темной комнатке. Он позволяет себе единственный долгий взгляд. Доротея не похожа на кардинала. Вероятно, пошла в мать? Смотреть на нее приятно, но выдавить улыбку она не в состоянии. Наверняка думает, где ты был все эти годы?

Он говорит:

– Я видел вас однажды, когда вы были маленькой девочкой. Вы меня не помните.

Доротея не берет подарки, поэтому он кладет их ей на колени. Она развязывает узел, смотрит на книги, откладывает в сторону, но платок превосходного льна подносит к свету. Платок вышит тремя яблоками святой Доротеи, венками, цветками, побегами, лилиями и розами.

– Одна их моих родственниц вышила это для вас. Жена Рейфа Сэдлера, – возможно, ваш отец упоминал о молодом Сэдлере?

– Нет. Кто это?

Он вынимает из кармана письмо Джона Клэнси, джентльмена, состоявшего при кардинале, который сыграл роль отца Доротеи, когда ее помещали в монастырь. Письмо это у него давно, и он привык не то чтобы везде таскать его с собой, просто не забывать, где оно.

– Клэнси пишет, что вы хотели бы остаться в монастыре. Однако, мне кажется, вы были слишком молоды, когда приносили обеты.

Она склонила голову, изучает вышивку:

– Значит, я могу быть свободна?

– Вы вольны идти куда пожелаете.

– Куда?

– Вас с радостью примут в моем доме.

– Жить вместе с вами? – Лед в ее голосе заставляет его отпрянуть, даже в такой крохотной комнате. Она складывает платок вышивкой внутрь. – А как поживает мой брат Томас Винтер?

– Здоров и обеспечен.

– Вами?

– Это меньшее, что я могу сделать для кардинала. Когда ваш брат вернется в Англию, я устрою вам встречу.

– Нам нечего сказать друг другу. Он ученый, я бедная монашка.

– Я бы с радостью предложил ему кров, но его ученые штудии заставляют его жить за границей.

– Сыну кардинала нет места в Англии. Говорят, в Италии его бы приняли с распростертыми объятиями.

– В Италии он стал бы папой.

Она пожимает плечом. Довольно шуток, думает он.

– Когда Анне Болейн пришел конец, – говорит она, – мы решили, что истинная вера будет восстановлена, но прошло лето, и мы засомневались.

– Никто не отказывался от истинной веры. У вас нет возможности наблюдать жизнь короля, оттого вы думаете, будто она состоит из танцев и маскарадов. Уверяю вас, это не так. Каждый день король слушает три мессы, блюдет все церковные праздники. Держит пост. Мы ничего не упускаем.

– Говорят, церковные таинства упразднят, а всех монахов и монахинь распустят. Дама Элизабет уверена, что в конце концов король доберется и до нашего монастыря. Что с нами будет?

– Таких намерений у короля нет, – говорит он. – Однако, случись подобное, вам выделят пенсию. Думаю, ваша аббатиса будет яростно торговаться.

– Но что мы будем делать вдали от сестер во Христе? Мы не можем вернуться в семьи, если наши близкие умерли. – Она вспыхивает. – Или если не захотят нас принять.

Придется быть терпеливым.

– Доротея, не плачьте. Ваши страхи воображаемые, эти беды вас не коснутся.

Он спрашивает себя, должен ли я обнять ее? Королевская дочь плакала на моем плече – или плакала бы, стой я смирно.

– Я хочу заверить вас в моих добрых намерениях, – говорит он. – Это место – единственное, которое вы знали, но впереди у вас жизнь.

– Клэнси привез меня сюда и оставил под своим именем. Я не хочу оказаться на улице и просить подаяние.

О женщины, думает он, им обязательно разыгрывать сцены, чтобы выжать слезу. Я ведь уже предложил ей свой дом.

– Я выделю вам ежегодную ренту.

– Я отказываюсь.

Вздор, все так говорят, думает он.

– Или найду жениха, если вы не возражаете против замужества.

– Замужества? – удивляется она.

Он смеется:

– Вы слыхали об этом блаженном состоянии?

– Замужество для меня? Незаконнорожденной дочери? Дочери опозоренного священника? Невзрачной дурнушки?

Хорошее приданое, думает он, сделает из вас красавицу. Впрочем, едва ли это те слова, которые она хочет услышать.

– Поверьте мне, вы миловидная молодая женщина. До сих пор ни один мужчина не подносил зеркало, чтобы вы увидели себя его глазами. Если вас украсить и приодеть, вы будете желанной партией. Я знаком с лучшими торговцами, мне известны фасоны, которые носят при французском дворе и в Италии. Я одевал… – Он запинается. Я одевал двух королев.

Она смотрит на него вопрошающе:

– Уверена, вы знаете, о чем говорите.

– А если вы не погнушаетесь мною, я мог бы, я готов…

Он в ужасе замирает. Куда его занесло?

Она смотрит на него в изумлении. Такие слова нельзя взять обратно.

– Я женюсь на вас, мистрис, если вы того пожелаете. Да будет вам известно, я давно овдовел. И пусть я лишен внешней привлекательности, остального у меня в избытке. Я богат и буду еще богаче, поэтому мне не нужно ваше приданое. У меня много хороших домов. Я щедр и забочусь о моих близких. – Он слышит, как расписывает свои достоинства перед этой испуганной девушкой, словно рекомендует слугу. – У меня нет детей, которые стали бы вам обузой, за исключением Грегори, который давно вырос и скоро сам станет мужем. Я хотел бы еще детей. Впрочем, это зависит от вас. Если захотите носить мое имя формально, чтобы обрести статус и положение, ради вашего отца я готов… – Он запинается.

Она подходит к оконцу, глаза мечут молнии. Снаружи нет ничего, кроме стены.

– Формально? Я вас не понимаю. Вы зовете меня замуж или нет?

– Вы одиноки в этом мире, как и я. Ради вашего отца обещаю холить вас и лелеять. Возможно, вы меня полюбите. Если нет, никто не отнимет у вас дом и защитника, но я не стану требовать большего.

– Это потому, что у вас есть любовница?

Он не отвечает.

– И не одна, – говорит она про себя. – Да, у вас есть все желаемые достоинства, будь вы покупателем и будь я товаром. Благодаря моему отцу, который возвысил вас, вы можете купить что угодно.

Вам не понять, мадам, думает он, откуда он меня возвысил. Он чувствует опустошение, обиду, холод. Почему она так ожесточена против него? Той долгой зимой в Ишере он улаживал кардинальские долги. За что-то можно заплатить из собственного кармана, но кого там только не было: мясники, лодочники, крысоловы, а еще те, кто ставит припарки лошадям, составляет гороскопы и солит рыбу. Не говоря о расходах, которых не найдешь в конторских книгах, например, чтобы перекупить шпионов, которых под видом слуг приставил к кардиналу Норфолк.

– Ваш отец был великодушным господином, – говорит он. – То, чем я обязан ему, не измерить деньгами. Он научил меня служить королю. Объяснил, как делаются дела, не на словах, а в жизни. Не то, что принято, а что происходит на самом деле.

– Он привлек к вам внимание короля. И вот результат.

Ей не по душе мое предложение, думает он, явно не по душе. Мне не следовало ей этого говорить, я нутром чувствую, что был не прав. Я стар для нее, я был слишком близок ее отцу, и теперь она считает меня родственником, словно мы брат и сестра.

Он говорит:

– Доротея, скажите, что принесет вам покой и довольство? Забудьте о моем сватовстве. – Против воли он улыбается, все еще пытается ее очаровать. – Хотя мне хочется верить, что для меня не все потеряно, пусть мое лицо и кажется вам уродливым.

– Ваше лицо не уродливо, – говорит она, – по крайне мере не так уродливо, как ваша душа и ваши дела.

Он все еще улыбается:

– Вам не нравится то, как я поступаю с монахами, и я могу это понять.

– Многие из моих сестер готовы снять рясу. Если монастырь распустят, они уйдут на следующий день. Дама Элизабет никогда не отзывалась о вас дурно. Говорит, вы ведете дела честно.

– Тогда… возможно, вас смущает моя вера. Я сторонник евангельского учения. Ваш отец меня понимал.

– Он все понимал, – говорит она. – В том числе, что вы его предали.

Он смотрит на нее, разинув рот. Он, лорд Кромвель. Которого ничем не удивишь.

– Когда моего отца сослали на север, он в тщетной надежде обрести милость короля писал письма, в которых просил французского короля вмешаться. А еще обращался к королеве, тогдашней королеве, Екатерине, умоляя забыть разногласия и не лишать его своей дружбы.

– Верно, однако…

– Вы сделали так, чтобы эти письма попали к герцогу Норфолку. Вы раздули из этого зловещий заговор. Норфолк передал письма в руки короля, и судьба моего отца была решена.

Некоторое время он не может вымолвить ни слова.

– Вы не представляете, как вы ошибаетесь.

Ее трясет от гнева.

– Вы станете отрицать, что на севере вы окружили моего отца своими людьми?

– Они служили ему, они ему помогали… Мадам…

– Они шпионили за ним. Побуждали его к необдуманным поступкам и словам, которые ваш хозяин-герцог толковал как измену.

– Господи Исусе. Вы считаете Норфолка моим хозяином? Моим хозяином был Вулси, и никто другой.

Успокойся, говорит он себе. Не будь торопливым садовником, который выпалывает траву, оставляя корни в земле. Он спрашивает ее:

– Кто вам это сказал и как давно вы в это верите?

– Я всегда в это верила. И буду верить, что бы вы ни придумали в свое оправдание.

– А если я представлю вам доказательства, что вы ошибаетесь? Письменные?

– Я слышала, вы мастер создавать подделки.

– Вы слишком много слышали. Вы говорили не с теми людьми.

– Вы злитесь. Невиновный спокоен.

Только не надо говорить мне о невиновности. Я погубил тех, кто оскорблял вашего отца, чтобы другим было неповадно. Можете назвать невиновными их. Я выдернул их из-за карточных столов, стащил с теннисных кортов и вытолкал из танцевальных зал. Я поженил каждого из них со злодеянием, о котором они едва ли задумывались, и отправил на утренний свадебный пир с палачом. Я слышал, как молодой Уэстон умолял сохранить ему жизнь. Обнимал Джорджа Болейна, когда тот рыдал и призывал Иисуса. Прислушивался к хныканью Марка за дверью. Я думал, Марк неразумное дитя, я должен спуститься и освободить его, а потом сказал себе, теперь его черед страдать.

– Если вы убеждены в своей правоте, – говорит он, – я больше не стану вам досаждать. Если, вопреки логике и доказательствам, вы продолжаете упорствовать в своем заблуждении, что мне остается? Я мог бы поклясться и с радостью сделал бы это, но вы решите…

– Я решу, что вы клятвопреступник. Те, кому я доверяю, сказали мне, что у Кромвеля нет ни чести, ни совести.

Он говорит:

– Когда те, кому вы доверяете, отступятся от вас, приходите ко мне, Доротея. Я никогда вас не прогоню. Для меня ваш отец стоял рядом с Господом, и любое дитя его плоти, любая душа, сохранившая ему верность, может на меня рассчитывать. Нет такой цены, опасности или усилия, которые покажутся мне чрезмерными.

– Заберите это, – говорит она, протягивая ему платок. – И книги, мне все равно, о чем они.

Он забирает подарки и оставляет ее в одиночестве. Стоит, прислонившись к двери, взглядом упершись в картину: страдалец припал к дереву, его голова, руки и сердце кровоточат.

Подбегает Ричард Рич:

– Сэр?

На лице Кристофа беспокойство.

– Хозяин, что она сказала?

– Мне кажется, я не плакал с Ишера, – говорит он. – Со Дня Всех Душ.

Рич говорит:

– Неужели не плакали? Вы меня удивляете. Тяжкие злоключения короля не выжали из вас ни слезинки?

– Нет. – Он пытается улыбнуться. – Когда король рассержен, он плачет за двоих, так что мои слезы без надобности.

– Но что заставило вас плакать? – спрашивает Рич. – Если мне дозволено…

– Лживое обвинение.

– Обидно, – замечает Рич.

– Ричард, вы же не думаете, что я предал кардинала?

Рич моргает:

– Мне это в голову не приходило. Вы же его не предавали, нет?

Он думает, предай я Вулси, Рич не стал бы меня винить. Какая польза от падшего властелина?

Он говорит:

– Если бы не я, кардинала погубили бы еще в дни первой опалы или заставили бы его побираться, как нищего. Ради него я подверг опасности свою жизнь, свой дом и все, чем владел. И если я имел дело с Норфолком, то лишь ради моего господина. Я никогда не жаловал Томаса Говарда, не жалую и теперь, никогда не был его человеком и никогда им не стану. И я не взял бы его на службу, даже если бы он пришел наниматься ко мне на кухню чистить кастрюли.

– И я, – говорит Кристоф. – Я вышвырнул бы его в канаву.

– В тот день в Ишере я плакал – незадолго до того умерли моя жена и дочери, пепел застыл в очаге, ветер задувал во все щели, – и души умерших вышли из чистилища, летали по дворам, дергали ставни в попытке проникнуть в дом. В те дни мы верили в это. Многие верили.

– Я и сейчас верю, – говорит Кристоф.

– Я думал, что выплакал все слезы, – говорит он, слушая собственный голос. – Вы знаете, что, когда Вулси был на севере, ко мне пришел агент торговцев тканями: «Кардинал задолжал нам больше тысячи фунтов». Я велел ему быть

точным. «Одну тысячу пятьдесят четыре фунта и несколько пенсов». Я спросил: «Ради любви к нему сбросите пенсы со счета?» А он ответил: «Мои хозяева все сбрасывают да сбрасывают, снабжая его святейшество тканями для облачений и не получая прибыли, а речь идет о золотой парче».

Я всеми силами пытался спасти моего господина, думает он: увещевал, молился, а когда потерпел поражение, пустил в ход деньги. Рич смотрит с изумлением, но его уже не остановить.

– Агент сказал мне: «Кардинал уже семь лет должен торговцу Кавальканти восемьдесят семь фунтов за самую дорогую золотую ткань по тридцать шиллингов за ярд, итого триста одиннадцать с половиной ярдов, и за ткань попроще, итого сто девяносто пять с половиной ярдов. Заказ доставили в Йоркский дворец, у меня есть накладная. Кардинал клянется, что король заплатит, но я полагаю, скорее наступит Судный день».

– Сэр, – говорит Кристоф, – присядьте на сундук, вот платок.

Он смотрит на зеленые листочки, с любовью вышитые Хелен для того, чтобы порадовать неизвестную ей девушку.

– И я сказал ему: «Хорошо, я признаю долг за вычетом пятисот марок – торговцы клялись, что пожертвуют эту сумму кардиналу ради его дружбы, – и нет никаких сомнений, что на Страшном суде им это зачтется». А он ответил мне: «Эта сумма уже списана, вы не можете получить ее дважды». И мне пришлось уступить.

Он садится на сундук.

Кристоф говорит:

– Сэр, не плачьте. Сами же сказали, что больше не станете.

– После того как Гарри Перси прибыл в Кэвуд с ордером, у кардинала не было времени заплатить долги. Аптекарь пришел ко мне со счетом за лекарства – бесполезные, больной умирал.

– Аптекарям платят не за результат, – замечает Рич.

– Когда он умер, налетели шакалы. Торговец рыбой Басден клялся, что ему должны три тысячи за вяленую рыбу. Это за сколько же лет, спросил я.

– Сэр… – пытается перебить его Рич.

– Тоже и соль. Где это видано, чтобы соль продавали по марке за бушель? – Он оглядывается. – Девица права, все было: и черная неблагодарность, и нечестные сделки, и ложные свидетельства, и клевета, и воровство. Но видит Бог, я не предавал Вулси.

Звонит колокол. Слышно, как монашки зашевелились, собираясь на молитву.

– Мне следовало быть в Йоркшире вместе с ним, сидеть у его смертного одра. Я не должен был позволять королю встать у меня на пути.

– Милорд, – тихо замечает Рич, – король не может встать у нас на пути, он и есть наш путь.

Он говорит:

– Я вернусь к Доротее. Попробую объясниться.

Кристоф возражает:

– Вы не переубедите ее, она верила в это годами. Оступитесь.

– Хороший совет, – замечает Рич. – Милорд, звонят к вечерне. Если мы не хотим здесь заночевать, пора в дорогу. Мы с аббатисой расстались друзьями – она показалась мне разумной женщиной, хорошо подкованной в вопросах права. Женщины не перестают меня удивлять. Мне показали все цифры. И если вы закончили, то я готов.

– Я закончил, – говорит он. – Allons[39].

Он вспоминает лжепророчицу Элизу Бартон, которая уверяла, что за небольшое пожертвование отыщет ваших мертвых. Пророчица обыскала рай и ад, но нигде не было Вулси, пока наконец она не обнаружила его в месте, которому нет названия, среди нерожденных.

В Лондоне он вертит в руках вышитый платок.

Входит Рейф.

– Можешь отдать его Хелен.

– Я слышал, – говорит Рейф, – вас плохо приняли.

– Ты советовал мне, – говорит он, – ты вместе с моим племянником, вы мне советовали отступиться от кардинала. Не важно, последовал ли я вашему совету, моего хозяина у меня отняли. Но я не думал, что он уйдет от меня так далеко, как сейчас. – Он обводит рукой пространство комнаты. – Я привык к его визитам. Я вижу его мысленным взором. Я спрашиваю у него совета. Он умер, но я заставляю его трудиться.

– Он вернется, сэр, когда будет вам нужен.

Он качает головой. Доротея переписала его историю. Сделала его чужим себе самому.

– Кто мог сказать ей, что я предал ее отца, если не он сам?

Рейф говорит:

– Столько времени, добрых дел, столько молитв… он должен знать, как вы ему преданы.

Он надеется, что это так. Живых переубедить можно – с мертвыми не договоришься.

– Я вижу, что должен был расспросить ее подробнее. Ваш хозяин – герцог, сказала она. Господи, я скорее бы нанялся в услужение к Заплатке!

Рейф подносит палец к губам:

– Не забывайте, что говорил кардинал. У стен есть глаза и уши.

Можно подумать, что-то угрожает ему в собственном доме. Впрочем, Сэдлер всегда был гораздо осторожнее, чем он.

А Рич? Рич разнес его историю по всему Линкольнз-инн, Вестминстеру и домам членов гильдий в Лондоне: ему передали, что Рич им гордится. «Все цифры лорд Кромвель держит в голове. Сколько стоит соль, вяленая рыба, да все, что угодно. Но даже он был поражен в самое сердце, когда дочка Вулси его оскорбила. Его опорочили самым возмутительным образом, и неизвестно, кто за этим стоит, ведь у лорда Кромвеля столько врагов! И все-таки он выдающийся человек, – в голосе Рича почтение, – выдающийся. Если стереть все документы, уничтожить все протоколы, он сохранит их в своей голове, все английские законы, статьи и прецеденты. Мне повезло быть ему другом и немного укрощать его нрав. Да, повезло. Хвала Господу, я каждый день у него учусь».

Вернувшись из Шефтсбери телом и душой, он распечатывает письмо Гардинера из Франции, в котором сообщается, что умер дофин: лихорадка свела его в могилу за три дня. Генрих, тоже недавно потерявший сына, желает проявить сочувствие, и двор облачается в черное. Никаких затруднений для лорда Кромвеля – он всегда в черном. Как придворному, ему приходится присутствовать на различных торжествах, но он не хочет, чтобы его братья в городе говорили: «Кромвель в эти дни весь в багряном» или «Облачился в пурпур, словно епископ».

Вскоре новости уточняются: не то чтобы дофин воскрес, но его смерть не была естественной. Но ради чего, спрашивается, было травить мальчика? У Франциска есть и другие сыновья.

Французское посольство хранит молчание. Антони расхаживает по Остин-фрайарз, звеня новыми серебряными колокольчиками, и выкрикивает: «Хвала Господу, на одного француза меньше!» Звук гаснет за закрытыми дверями, замирает наверху в дальних галереях. «Ух-ох, кабы сдох».

Звук отдается эхом: ух-ух-ух, словно уханье совы, ох-ох-ох, будто лают гончие. Остин-фрайарз прирастает, становясь дворцом. Строители грохочут с самого рассвета. Ричард Кромвель входит с чертежами в руках:

– Наш сосед Стоу позорит вас на весь Лондон. Вы знали, что у него был летний домик? Наши строители поставили его на бревна и откатили на двадцать футов назад. Стоу говорит, что мы украли его землю. Я послал мастеру Стоу письмо с вопросом, можем ли мы посмотреть его землемерные планы?

Он поднимает глаза:

– Я знаю свои границы. Он выдвигает серьезные обвинения, и мне это не по душе.

– Пошлите его к черту, – предлагает Кристоф.

Он не заметил, что Кристоф в комнате, сидит на корточках в углу, словно горгулья, упавшая с церковной стены. Он помнит, как юноша сказал ему на пути в Кимболтон: «Я убью для вас Поля. Убью его для вас, когда скажете».

Он думает, если Кристоф сумел пробраться незамеченным в мой кабинет, то что ему стоит проникнуть в дом Реджинальда?

Говорит Ричарду:

– Пришло время с ним разобраться. Остановить его.

– Стоу? – Ричард удивлен. – Хватит и сурового письма.

– Поля. Рейнольда. Как ты и сказал, кинжал сгодится.

Впрочем, он не желает, чтобы Кристоф окончил дни в какой-нибудь адской дыре, поджариваемый итальянскими палачами. Французы тоже любят выбивать признания через боль, говорят, без нее правды не вытянешь. Ходят слухи, что они схватили отравителя и пока уговаривают его по-хорошему выдать того, кто ему заплатил. Иногда полезно проявить мягкость. Однако любой расследователь только посмотрит на Кристофа и решит, что с таким бесполезно миндальничать.

– Кристоф, – говорит он, – если когда-нибудь… – Он трясет головой. – Ничего, не важно.

Если когда-нибудь я решусь поручить Кристофу убийство, дает он себе зарок, велю ему, пока его не начали поджаривать или растягивать на дыбе, орать во всю глотку, что я-де человек Кромвеля. Почему бы нет? Я готов принять вину. Список моих прегрешений так длинен, что у ангела, ведущего записи, кончились таблички, затупилось перо, так что он сидит в углу и с плачем рвет на себе кудри.

– Идем, – говорит он. – Надевай джеркин. Мы отправляемся утаптывать нашу границу и выставлять метки для каменной стены высотой в два человеческих роста. А наш приятель Стоу пусть себе сидит за стеной и подвывает.

Вот уже три недели в Линкольншире, что на востоке Англии, ползут слухи, что король умер. Пьяницы в трактирах клянутся, что советники держат это в тайне, дабы именем короля взимать налоги и проворачивать темные делишки.

Рейф спрашивает:

– Кто-нибудь сказал Генриху, что он умер? Думаю, он должен знать, и пусть это исходит от кого-нибудь повыше меня.

Рейф зевает. Он пробыл с королем в Виндзоре всю неделю и ни разу не ложился до полуночи. Генрих задерживает бумаги, которые получает из рук Рейфа с утра, а обсудить их зовет после ужина, заставляя Рейфа стоять рядом, пока он хмурится над депешами. Ходят слухи о волнениях в Вестморленде. Не сомневайтесь, говорит Генрих, все, что происходит на границе, шотландцы обернут в свою пользу. Шотландский король снарядил корабль во Францию за невестой, но ветер прибил корабль обратно к берегу. Тем временем император предлагает Генриху выступить совместно против короля Франции. Карл снаряжает флот. От Генриха требуется звонкая монета.

Он говорит Шапюи:

– Неудивительно, что ваш господин пришел с протянутой рукой. Почему у него никогда не бывает свободных денег? И он платит такие огромные проценты.

– Ему следовало бы нанять вас – разобраться с его финансами, – отвечает Шапюи. – Ну же, Томас, постарайтесь. Мой господин платит вам пенсион. За свои деньги мы хотим результата.

– То же самое говорят и французы. Как мне угодить и тем и этим?

Шапюи машет рукой:

– Я бы не отказывался от их щедрот. Теперь, когда вы стали лордом, ваши расходы многократно возросли. Но мы знаем, что в душе вы человек императора. Помните о привилегиях, которых лишатся ваши торговцы, если император против них ополчится. Не забывайте о потерях, которые вы понесете, если император закроет для англичан порты.

Он улыбается. Шапюи вечно угрожает ему блокадами и разорением.

– Беда в том, что мой господин больше не доверяет вашему. Некогда император пообещал моему господину свергнуть Франциска и отдать Англии половину его земель. И Генрих, наивная душа, поверил. И пока мы оттачивали наш французский, чтобы обратиться на нем к новым подданным, Карл за нашими спинами договорился с французами. Мы не позволим одурачить себя дважды. Теперь, прежде чем выложить на стол хотя бы пенни, мы потребуем серьезных гарантий.

– Давайте заключим брачный союз, – убеждает его Шапюи. – Леди Мария говорит, что не стремится к браку, но, думаю, она будет рада воссоединиться с родственным семейством. Мой господин предлагает ей в жены собственного племянника, португальского принца. Дом Луиш – прекрасный юноша, лучше ей не найти.

– У короля Франции есть сыновья.

– Мария не пойдет за француза.

– А мне она говорила другое.

Король по-прежнему держит новообретенную дочь на расстоянии. Предполагается, что после коронации Джейн королевскую дочь с соответствующей торжественностью вернут ко двору. Тем временем сама она вроде бы вполне спокойна, заказывает новые платья, скачет по зеленым полям на Гранате и других лошадках, которых прислал ее друг лорд Кромвель. Ей хватает денег на личные расходы – и снова благодаря тому же другу, – и ее как будто устраивают встречи с отцом по предварительной договоренности, то здесь, то там, за ужином, во время короткой прогулки по саду, чтобы палящие лучи не повредили нежную девичью кожу. Генрих умоляет ее открыть ему свое сердце: «Скажи мне правду, дочь. Когда ты признала меня тем, кто я есть, – главой церкви, тебя кто-нибудь заставлял, подталкивал, убеждал сказать не то, что у тебя на уме? Или ты решила сама?»

Лучше бы король не задавал дочери подобных вопросов, которые побуждают Марию увиливать и дальше. Шапюи посоветовал ей просить у папы прощения за декларацию, сделанную в угоду отцу. Я поступила так, не соглашается Мария, потому что меня заставили.

Однако в Риме считают, и вполне обоснованно, что, поскольку заявление Марии было публичным, публичным должно быть и отречение. Она должна заявить в лицо Генриху, что отныне думает иначе.

И что ее ждет тогда? Смерть.

Мастер Ризли говорит, милорд, вы должны на нее надавить. Вам известно, кому она верна: Риму и покойной матери. Невежественные простолюдины хранят рабскую покорность итальянскому князьку, вообразившему себя наместником Божьим, но разве это простительно для королевской дочери? Теперь, когда мир разбил оковы ее воспитания и вывел ее на прямую дорогу к здравому смыслу?

Однако он не спорит с Марией. Просто напоминает: мадам, ваше спасение в покорности. Будьте тверды в вашем решении, и эта твердость принесет вам желанный душевный мир.

Аминь, отзывается она. Выглядит печальной. Просто дайте мне знать, лорд Кромвель, чего хочет мой отец, и я исполню его волю.

– Мария утверждает, – говорит он Шапюи, – что выйдет за португальского, французского или любого другого принца, которого выберет отец. Но имейте в виду, Эсташ, она ни разу не сказала: «Если бы я могла выбирать, то вышла бы за лорда – хранителя королевской печати».

Посол хихикает – ржавый сухой хруст, словно ключ поворачивают в замке, – и разводит руками: что поделаешь, виноват.

К счастью для Шапюи, слухи – не преступление.

Когда приходят первые вести о волнениях, он с королем в Виндзоре. Дни стоят теплые, солнечные. Наступает Михайлов день, и по стране идут процессии с хоругвями Святой Девы, ангелов и святых. Все лето для усмирения горячих голов действовал запрет на проповеди. Ради праздника

запрет отменили. Из Лута, что в Линкольншире – графстве, ничем не примечательном, – сообщают о толпах, которые собираются после мессы и не расходятся до темноты.

Известное дело – эти вечера в ярмарочных городах. Мелочишка бренчит в карманах, и старые приятели в обнимку шатаются по улицам. Молодежь горланит под луной, подбивая друг друга перепрыгнуть через канаву или вломиться в пустой дом. Если идут дожди, все укрываются под крышей, но погода держится, и после наступления темноты на рыночной площади по-прежнему многолюдно. Кожаные фляжки идут по рукам. Застарелые обиды выплескиваются наружу. Кто-то утирает рот рукавом и плюет под ноги. Подмастерья задирают друг друга. В дело пускают дубинки и ножи.

Девять вечера, в воздухе ощущается осенняя прохлада. Мастера, плечом к плечу, вооружившись палками, выступают навстречу драчунам:

– Эй, ребята, завтра будете мучиться похмельем. Расходитесь по домам, пока вас носят ноги.

Прочь с дороги, отвечают подмастерья, не ровен час, проломим башку.

Мастера почти печально вопрошают, думаете, мы никогда не были молодыми? Ладно, мерзните, дело ваше.

В темноте горожане слышат шум с рыночной площади: какие-то недоумки дуют в трубу и бьют в барабан. Солнце встает над заблеванной мостовой. Мародеры потягиваются, мочатся на стену, обчищают лавку булочника, а к десяти утра уже цедят вино из бочонка в сложенные ковшиком ладони.

Прошлой ночью они украли трещотку ночного сторожа, самого сторожа избили и теперь разгуливают с трещоткой по улицам, распевая балладу о добрых старых временах. Когда жены были непорочны, а торговцы все честны, когда розы зацветали на Рождество, а в горшках томились жирные каплуны, от которых не убывало, сколько ни съешь. И если новые времена отличаются от старых, кто виноват? Уж наверное, лондонцы. Члены парламента. Епископы-реформаты. Люди, говорящие с Богом по-английски.

Слухи разносятся по округе. Батракам с окрестных ферм по душе отлынивать от работы. Они чернят лица, некоторые натягивают женские юбки и устремляются в город, прихватив косы и другой острый инструмент. С рыночной площади видишь, как они идут, поднимая клубы пыли.

Старики по всей Англии могут немало порассказать о пьяных подвигах после жатвы. Мятежные баллады наших дедов в больших изменениях не нуждаются. Пока не сдох – плати налог, плати налог – и все им мало, тебя надуют, обойдут, времен подлее не бывало.

Фермеры запирают амбары. Магистраты начеку. Горожане, заперев склады, прячутся по домам. На площади, завидев надвигающиеся толпы селян, какой-нибудь негодяй влезает на трибуну: «Верьте мне – меня зовут Капитан Бедность!» Звонарей тычками и угрозами отправляют на колокольни бить в набат. И по этому знаку мир переворачивается вверх дном.

Утро приносит Ричарда Рича, который прискакал из Лондона в Виндзор с вестями, что на чиновников палаты приращений напали.

– Наши люди были в Луте, сэр, оценивали сокровища церкви Святого Иакова, которая славится пышным убранством.

Он мысленно видит трехсотфутовый шпиль, подпирающий небо Линкольншира, облака, словно развешенное белье. Отсюда до Лута два дня пути, если не жалеть ни лошадей, ни всадников. Пока Рич говорит, внизу слышны крики новых посланцев: деревенские остолопы, на башмаках налипла глина. Как они попали в замок? Раздаются крики: правда ли, что король помер?

Он спускается по ступеням:

– Кто вам сказал?

– Так говорят на востоке. Преставился в день середины лета. А на кровати лежит кукла в короне.

– А кто правит страной?

– Кромвель, сэр. Он собирается снести приходские церкви, переплавить распятия на пушки, чтобы перебить всех бедняков в Англии. Налоги будут по десять пенсов с шиллинга, и любой, кто положит в котел курицу, заплатит налог. До следующей зимы народ будет питаться хлебом из бобов да гороха и скоро от такой еды весь перемрет. Люди будут валяться в полях, раздутые, как овцы, и не будет священников, чтобы их исповедовать.

– Вытрите ноги, – советует он им, – и я отведу вас к мертвому королю, и вам придется на коленях вымаливать у него прощение.

Посланец пугается:

– Я повторяю то, что слышал.

– Так и начинаются войны.

Неподалеку кто-то затягивает песню, голос эхом отражается от камней:

Избавь нас, Господи, от срама —

От Крома, Кранмеля и Крама,

Святой Лука, спровадь их в ад,

Пускай в огне они горят!

Это точно Секстон, думает он, а я-то надеялся, паразита давно извели.

– Каков из себя Кромвель? – спрашивает он посланцев. – Как выглядит?

Да разве вы не знаете, господин, удивляются они. Сущий дьявол в обличье плута. А на голове у него шляпа, а под шляпой рога.

Когда волнения распространяются от Лута по всему графству, король безуспешно требует к себе сэра Топотуна и лорда Потаскуна, а также лорда Бормотуна и шерифа Хлопотуна. Еще не кончился охотничий сезон, и они не доберутся до короля раньше чем за три-четыре дня. Сначала должен прибыть гонец и рассказать о беспорядках, а они удивятся: «Линкольншир бунтует? Что за черт?» После чего им предстоит раздать указания управляющим, расцеловать жен, распрощаться с родными и соседями…

– Придется вам ехать, кузен Ричард, – говорит король. – Мне нужна поддержка семьи. Мне не на кого больше положиться.

Он, Томас Кромвель, мог бы сказать: а я вам говорил. В прошлом году я говорил: если мы решили распустить монастыри, надо разбираться с каждым приходом в отдельности, а не пугать народ парламентским биллем. Но Рич настаивал, нет, нет и еще раз нет, закон необходимо принять. Лорд Одли сказал тогда: «Кромвель, прошли времена кардинала. Если делать, как вы предлагаете, нам до конца жизни с этим не разобраться». Он закрыл глаза: «Милорд, я предложил подходить к каждому монастырю со своей меркой, а не распускать их по одному. Это разные вещи».

Однако его не послушались. Объявили о своих намерениях во всеуслышание – и вот результат. Королю в Виндзоре хочется видеть вокруг знакомые лица. Его мальчики теснятся на скамьях, где раньше сидели первые лица королевства. Когда в дорожной пыли прибывает Кранмер, долго не могут найти кресло, достойное архиепископа.

– Зачем вы приехали? – спрашивает он, впрочем довольно вежливо. – Вас не звали.

– Из-за песенки, – отвечает Кранмер. – «От Крома, Кранмеля и Крама». Они имеют в виду вас, милорд, меня или кого-то третьего, составленного из нас двоих?

– Сие есть тайна. Как Троица.

Судя по всему, волнения не только в дальнем графстве.

Кранмер говорит:

– По Ламбету развешены воззвания. Я не чувствую себя спокойно в собственном доме. Хью Латимер напуган. Я слышал, в Линкольншире напали на слуг епископа Лонгленда.

Джон Лонгленд – осмотрительный, суровый, никогда не улыбающийся, помог королю с первым разводом. За это его не жалуют ни в собственной епархии, ни в королевстве. Все еще хуже, чем думает Кранмер. В Хорнкасле – и тому есть свидетели – одного из епископских слуг забили дубинкой до смерти,

местное духовенство злорадствовало, когда он испускал дух, а некто, называющий себя Капитаном Сапожником, разгуливает теперь в одежде убитого.

– Милорд архиепископ, вы должны знать, что обо мне тоже слагают песни, – говорит Ричард Рич. – Я слышал, как они трепали мое имя.

– Очень может быть, – замечает Ричард Кромвель. – Ваше имя хорошо рифмуется. Сыч, кирпич, паралич.

Он обращается к Кранмеру:

– Может быть, стоит уехать на неделю-другую в деревню?

– Едва ли там спокойнее, – бормочет Кранмер. – Боюсь, паписты есть среди моей челяди. Если они путешествуют вместе со мной, куда мне от них скрыться? Но за Лондон отвечаете вы, милорд. Если эта зараза распространится, вам придется ею заняться.

– Тычь, хнычь, приспичь, – не унимается Ричард.

– Тсс, – шикает на него Фицуильям. – Здесь король.

За королем следует мастер Ризли, на нем новый атласный дублет цвета морской волны, в котором он сияет, как венецианец. Ризли деликатно отодвигает перья и перочинные ножики советников попроще, расчищая место для себя. Хмурый Рейф Сэдлер, в старом дорожном джеркине, сдвигается к краю скамьи.

– Милорд архиепископ! – восклицает король. – Нет-нет, встаньте! Это я должен преклонить колени.

– С чего бы? – шепчет Ричард Кромвель. – Когда это он успел нагрешить?

Он подавляет улыбку. Король и прелат вступают в борьбу, Кранмера поднимают с пола.

– Итак, джентльмены, – говорит король, – вести неутешительны. Однако, если оскорбления короне и порча собственности прекратятся, я склонен проявить милосердие. – Он вздыхает, Генрих Великодушный. – Бедняги, они боятся зимы. Убедите их, что всего в достатке и никто не собирается на них наживаться. Если придется, установите цены на зерно. Учредите комиссию отслеживать тех, кто вздумает его придержать. Лорд – хранитель печати знает, что делать, он помнит, как с подобными трудностями справлялся кардинал. Предложите мятежникам прощение, но только в том случае, если они разойдутся сейчас.

– Я предостерег бы вас от излишней снисходительности, – говорит Фицуильям. – Если волнения достигнут Йоркшира и пограничных земель, нам всем угрожает опасность.

Он подается вперед:

– Могу я известить милорда Норфолка? Он соберет своих вассалов и успокоит восточные графства.

– Пусть Томас Говард держится от меня подальше, – говорит король.

– При всем уважении, ваше величество, – вступает Рич, – мы хотим послать его навстречу мятежникам, в противоположную от вашего величества сторону.

Король раздражается:

– Полагаю, я могу рассчитывать на тех, кто представляет там королевскую власть. Если потребуется, у милорда Суффолка есть все полномочия.

Ризли поднимает со стола письмо:

– Тут утверждается, что, где бы они ни собирались, они кричат: «Хлеба или крови». Приносят клятвы. Какие, – он сверяется с бумагой, – нам еще не сообщили.

Фицуильям говорит:

– Сожалею, что приходится об этом упоминать, ваше величество, но причина волнений не только в желании набить брюхо. Они хотят, чтобы им вернули монахов.

– Монахи никуда не делись, – говорит Ричард Рич. – Хотя, видит Бог, лучше бы делись, а мы бы нашли применение доходам от крупных монастырей.

Под столом он, лорд Кромвель, пихает Рича в лодыжку.

Фицуильям продолжает:

– Они просят вернуть старые праздники. И главенство папы.

– Все, о чем они просят, осталось в прошлом, – замечает Ризли. – Господь свидетель, даже милорд кардинал не умел поворачивать время вспять.

– Но их святые вне времени, – возражает Фицуильям, – по крайней мере, они так считают. И хотят их вернуть, хотят, чтобы мы отменили запреты. Просят обратно святого Вильфрида. Криспина и Криспиана, святую Агату, Эгидия и Свитина и всех святых времени жатвы. Для них праздник важнее зерна в амбарах, и они предпочтут шествовать с хоругвями, а не сажать озимые. Они верят, что если убрать пшеницу в дни почитания святых, то руки отсохнут. Возможно, когда-нибудь Англии предстоит наслаждаться плодами просвещения, но, позвольте заметить, до этого еще далеко.

Кранмер говорит:

– Я слышал, они жгут книги.

– У бедняков должны быть главари, – вступает он. – Никогда не поверю, что их нет.

На свет извлекаются письма. Печати сломаны. Король читает, перебирает листы, передает одно письмо дальше:

– Вот здесь, Ризли. Милорд Кромвель должен знать.

Зовите-меня читает из-за плеча короля:

– Вы правы, лорд Кромвель, нашлись джентльмены, которые встали во главе этих каналий. У нас есть имена.

– Небось клянутся, что их заставили?

– Вытащили посреди ночи из постели, – отвечает Ризли. – В ночных колпаках.

– Неудивительно, – замечает он.

Жена плачет, крестьяне с факелами в руках угрожают поджечь амбары, если джентльмен не сядет в седло и не поведет их к королю. Все смуты во все века начинаются одинаково и заканчиваются тоже одинаково. Знать получает прощение, бедняки болтаются на суках.

Вслух он говорит:

– Я пошлю гонца к лорду Тэлботу. Пусть соберет как можно более сильное войско и выступит в Ноттингем. Будет удерживать замок и оттуда, при необходимости, через Мэнсфилд двинется в Линкольн или в Йоркшир, если…

– Сэдлер, – велит король, – пошлите в Гринвич за моими доспехами.

Поднимается шум: нет, сир, нельзя рисковать вашей священной особой. Ради Линкольншира? Не приведи господь.

– Если народ считает, что я умер, у меня нет выбора.

Кранмер говорит:

– Мятежники метят в ваших советников, а не в вас. Они утверждают, что верны вашему величеству, впрочем, все мятежники так говорят. Я знаю, они хотят моей крови, и, если дойдут сюда, гореть мне на костре.

– Их главное требование – голова лорда Кромвеля, – говорит Ризли. – Они считают, милорд обманул или околдовал короля. Как до него кардинал.

Он говорит:

– Я оскорблен за моего господина, которого они считают неразумным дитятей.

– Клянусь Богом, я и сам оскорблен, – говорит Генрих. Он еще раньше прочел все новости, но только теперь до него начинает доходить. Король вспыхивает, ударяет кулаком по столу. – Мне не по душе, что мне смеют указывать жители Линкольншира, одного из самых диких и отвратительных графств. У них хватает наглости диктовать мне, кого к себе приближать. Я хочу, чтобы они усвоили раз и навсегда. Если я назначаю советником простолюдина, он больше не простолюдин. На кого мне опереться, если не на лорда Кромвеля? На этих мятежников? Колина Косолапого и Питера Ссыкуна? Вместе с папашей Чурбаном и его козой?

– Конечно нет, – бормочет архиепископ.

– А Робин Побирушка соберет налоги? – спрашивает король.

– А Саймон Простак напишет закон? – не в силах сдержаться, восклицает Рич.

Генрих одаривает выскочку суровым взглядом. Его голос обретает мощь:

– Я создал моего министра, и, клянусь Богом, я от него не отрекусь. Если я говорю, что Кромвель – лорд, значит лорд. А если я скажу, что наследники Кромвеля будут править Англией после меня, Господь свидетель, так тому и быть, или я вылезу из могилы и разберусь с теми, кто посмеет ослушаться.

Наступает молчание.

Король встает:

– Сообщайте мне обо всех новостях.

Мастер Ризли отступает с пути короля, в глазах изумление.

– Я буду стрелять из лука, – говорит Генрих и удаляется вместе со своими джентльменами на стрельбище под окнами королевских покоев. – Чтобы сохранить остроту зрения. – Его голос струится вслед за ним, замирая в полуденном мареве.

Совет расходится, остаются архиепископ, Фицуильям, Ричард Рич, который застрял за столом, хмурясь и листая бумаги, и Ризли, который навис над Ричем и что-то шепчет тому на ухо. Решено, что Чарльз Брэндон, бросив все дела, отправится восстанавливать порядок в Линкольншире. Чарльз скор на расправу, и мы надеемся, что он не проявит излишней суровости к беднякам. Лорд-канцлер Одли, который выехал в Виндзор, должен вернуться в свои земли на случай, если искра перекинется и пожар разгорится в Эссексе.

– Каково это, Сухарь? – спрашивает Фицуильям. – Ощущать себя наследником престола?

Он отмахивается от шутки.

– Но король выбрал вас! – не унимается Фиц. – Сэр Ричард Рич, вы свидетель.

Неуверенное бурчание со стороны Рича, который с головой зарылся в бумаги.

Фиц говорит:

– После принятия закона о престолонаследии король может выбрать наследником вас. Парламент может провозгласить вас королем, вы согласны, Рич?

Предположим, парламент выпустит билль, провозглашающий меня, Ричарда Рича, королем? Если Рич и слышит дальнее эхо из дней Томаса Мора, то виду не подает.

– Рич не поднимет головы, – замечает Фиц. – Вероятно, я ошибаюсь, но чего от меня ждать, я же не правовед. Впрочем, мои уши меня не обманывают. Он назвал вас следующим королем, Сухарь. И мне показалось, в последнее время юный Грегори смотрится юным принцем.

– После того, как вернулся из Кеннингхолла, – отвечает он, – где провел лето с Норфолком.

– Если мятежники не угомонятся, – говорит Фиц, – придется выпускать дядюшку Норфолка, хочет того Гарри или нет. У него есть силы на востоке, да и на севере его побаиваются.

Рич замечает, продолжая скрипеть пером:

– А никого нельзя отозвать из Ирландии?

– Мы с трудом удерживаем Пейл, – отвечает он. – Я бы оставил это проклятое место, но наши враги в Европе немедленно разобьют лагерь у нас на пороге. Милорд архиепископ, – оборачивается он к Кранмеру, – вы должны вывезти жену из Лондона и спрятать в каком-нибудь скромном доме…

Архиепископ издает вскрик – приглушенный, словно Иона из чрева кита.

Рич решает не церемониться:

– Перестаньте, милорд архиепископ. Мы знаем, что вы женаты.

– Все до одного, – говорит Фиц.

– Никто не собирается вас выдавать, – продолжает Рич. – Король вас глубоко почитает, и если он предпочитает не знать, и мы не станем вмешиваться.

– Я молю Господа, – говорит архиепископ, – чтобы Он смягчил сердце короля, внушил тому, что супружеские узы – благо, которое никому нельзя запрещать.

– Он ценит супружеские узы, – замечает Фицуильям. – Странно, что отказывает в них другим.

– Дайте ему время, – говорит он. – Я знаю, Рич, вы и ваши клерки из палаты приращений рветесь в бой, и я сожалею, что пнул вас ногой под столом, но король не должен думать, будто мы подталкиваем его к решению, которое он не хочет принимать.

– Но у нас же есть план распустить крупные монастыри? – спрашивает Рич.

– У нас всегда есть план.

Зовите-меня выпрямляется, отрывается от бумаг Рича: заметив в стекле свое отражение, изучает нечеткий силуэт, поправляет угол шляпы.

– Милорд архиепископ, успокойте жену, все обойдется. Я слыхал, она не говорит на нашем языке. Должно быть, она вздрагивает от каждой тени. Мятежники сюда не доберутся.

– Вы так думаете? – спрашивает Кранмер. – Легко вам говорить, Ризли. Нельзя недооценивать наше положение, мы не готовы отразить угрозу. Я не верю, что мы имеем дело с жалкими одиночками, и подозреваю происки императора. Среди окружения его величества есть те, кто видит будущее без него. Дай им волю, они сделают Марию своим знаменем, и тогда не миновать войны. Не нужно меня успокаивать, мастер Ризли. Мне доводилось видеть, на что способны люди по отношению к своим братьям и сестрам. В Германии я был на поле боя. Я не всю жизнь просидел в Кембридже.

Он отворачивается от архиепископа и подходит к окну. Внизу, в лучах низкого солнца, король со своими джентльменами стоит у мишеней. На другом берегу реки, невидимые за деревьями, ученые мужи в Итоне зубрят свои книги и возносят молитвы в часовнях и молельнях во славу своего основателя, блаженной памяти Генриха Шестого.

Рич присоединяется к нему, молча становится рядом. Внизу, в тающем свете полудня, мелькает серебристый, словно спинка лосося, проблеск: королева, в сером с серебром платье, вышла к лучникам.

– Кажется, она… округлилась, – замечает Рич.

– Любит поесть, ничего больше. Она еще не понесла. Леди Рочфорд докладывает мне, когда у нее начинается обычное женское. На свете не найдется мужа более внимательного, чем я.

– Та, другая, в конце была кожа да кости. Тощая старуха.

Король поднимает глаза, словно почувствовав, что за ним наблюдают. Машет рукой: лорд Кромвель, не хотите отвлечься?

Он трясет только что пришедшим письмом, чешет голову, показывая, что занят. Солнечное сияние меркнет, от реки наползает зеленоватый свет. Купаясь в нем, король вытягивает губы, изображая капризного ребенка. Затем сдергивает шляпу и показывает в сторону Датчета: я постреляю до темноты.

Как, уже октябрь? Как быстро пролетело лето!

Хелен вышила другой платок, взамен того, что он возил в Шефтсбери. Изобразила лавр, что живет вечно, и плющ, что вечно зелен.

В лондонские гильдии приходит приказ: собрать и вооружить людей. За рекой Гумбер видны сигнальные огни мятежников. Определенно Йоркшир готов восстать.

– Лорд Кромвель их утихомирит, – улыбается Фицуильям. – В Йоркшире ценят его доброе слово.

Король поднимает бровь. Он вынужден объясниться, чего терпеть не может:

– В прежние времена, ваше величество, там угрожали убить меня.

Мастер Ризли добавляет:

– Йоркширцы ненавидели милорда хранителя печати за его службу кардиналу.

– Сэр, – спрашивает Рич, – не стоит ли прислушаться к словам архиепископа и спрятать леди Марию?

– Что вы предлагаете? – спрашивает он. – Заковать ее в цепи?

Король смущен:

– Никогда не поверю, что мятежники используют против меня мою дочь. Присматривайте за ней.

– За ней присматривают.

В Лондоне запрещены все сборища, включая воскресные развлечения. Лошади реквизированы, гарнизон в Тауэре усилен. Пусть торговцы пополняют запасы шерсти и готовой материи, давая работу эссекским надомникам и своим подмастерьям: мы помним, на что способны праздные руки. Хозяевам надлежит присматривать за слугами. Всем священникам и монахам следует сдать любое оружие, которое у них имеется, за исключением ножичков для нарезки мяса за столом.

К нему приходит Ризли: вам велено забрать в Тауэре королевские золотые блюда и переплавить их в монеты, после чего как можно скорее вернуться в Виндзор.

Он отвечает, я собираюсь встретиться с Шапюи.

Ходят слухи, что одного из его доверенных чиновников по имени Беллоу схватили и ослепили. Затем замотали в шкуру свежеубитого быка и спустили на него собак.

Он вспоминает Беллоу, каким тот был. Вероятно, теперь его не признал бы собственный отец. Только Господь узнает Беллоу, восстановит его черты, когда будет воскрешать мертвых.

Он думает, откуда они знали, что собаки достаточно голодны? Посадили их в загон и морили голодом? Даже его собственные сторожевые псы не стали бы есть живого человека.

Посол говорит:

– Мне известно, что герцог Норферк в Лондоне и жаждет вас увидеть. «Ну где же, где же Кремюэль?» Можно подумать, герцог влюбился.

– Он думает, я сумею вернуть ему доверие короля.

– Генрих считает, что герцог оказал недостаточное уважение останкам бедного Фицроя, – говорит посол. – Король просил похоронить его тихо, а герцог погрузил умершего бастарда на телегу.

– Должно быть, вы изрядно повеселили этой историей императора. В своих депешах.

– Я полагаю, Норферк разозлился на юношу за то, что он умер. Как поживает мадам Джейн? Еще не наскучила Генриху?

– Судите сами, как несправедливо судят о моем господине, – отвечает он. – Непостоянство ему несвойственно, даже вам придется это признать. Он прожил с Екатериной двадцать лет, семь лет ждал Болейн.

– У него были конкубины. Впрочем, у кого из правителей их нет? Мать Ричмонда, сестра Болейна, с которой король делил ложе до Анны. При дворе гадают, кто следующая? Говорят, Норферк проталкивает свою дочь. Должен же бы от нее хоть какой-то прок, и кто знает, может быть, Генрих захочет позабавиться с вдовой сына?

– Эсташ…

– Я гляжу, вы не в настроении шутить.

– В воздухе висит запах измены. От него у меня глаза слезятся, а зубы скрежещут.

Шапюи бормочет что-то печальное.

– Если ваш господин собирается послать помощь нашим мятежникам, пусть не спешит.

– Вы называете их мятежниками? А я думал, это кучка подвыпивших болванов. Какое дело до них моему господину?

– Никакого. Если он не прислушивается к дурным советам, которые получает из ваших всегдашних дурных источников.

Он воображает, как переворачивает Монтегю и других Полей вверх тормашками и лупит по пяткам, пока тайны не изливаются у них изо рта. Воображает, как складным ножом вскрывает сердце Николаса Кэрью, точно устрицу. Как трясет Гертруду Куртенэ, пока измена не осыпается с нее, словно осенняя листва. Как рассекает череп ее мужа, маркиза Эксетерского, и тычет указательным пальцем во мрак его зловещих замыслов.

– Я не стану жалеть об этих волнениях, если благодаря им изменников удастся вывести на чистую воду, – говорит он.

Шапюи потрясен:

– Вы же не принцессу имеете в виду?

– Мария должна сообщать мне обо всех попытках на нее повлиять. Любое письмо она обязана передать мне прямо в руки.

– Кстати, – замечает посол, – я слышал, Куртенэ пригрели любовницу Томаса Гуйетта. Это проявление милосердия.

– Это долг. Бесс Даррелл была с Екатериной до конца.

– Ангельское личико, – замечает посол, – и ангельский нрав. Ах, Томас, всегда находятся женщины, которым на роду написано страдать. Нежные создания, защищать которых Господь доверил нам.

– Я сказал Марии, я сделал для нее все, что мог. Малейшее проявление сочувствия к бунтовщикам – и я снесу ее голову с плеч.

– Неужели, Томас? – Посол улыбается. – Мы же давно играем в эту игру, не правда ли? Ваш долг приходить ко мне и похваляться могуществом вашего короля и тем, как обожают его подданные. А мой долг восклицать, Кремюэль, вы держите меня за дурака! Вы заранее знаете, что я вам скажу, а я знаю, что услышу от вас. Почему бы нам для разнообразия не перейти к сути?

– Извольте, – говорит он. – Вы услышите нечто новое. Если ваш господин попытается свергнуть моего короля в его собственной стране, я найду способ отплатить, заключив союз между моим господином и немецкими правителями, которых император считает своими подданными.

– Сомневаюсь, мон шер, – мягко замечает посол. – Все эти разговоры ни к чему не ведут. Хоть Генрих и ненавидит папу, но Лютера он ненавидит еще сильнее. Да вы и сами как-то признались мне, что терпеть его не можете. Я полагаю, вы склоняетесь к швейцарским еретикам, для которых облатка всего лишь кусок хлеба.

– Вы решили меня исповедовать?

– У вас слишком много тайн. У вас и у вашего архиепископа.

Он думает: если Шапюи знает о жене Кранмера, он прибережет это знание про запас и пустит в ход, когда сможет принести наибольший вред.

– Хлеб может быть не только чем-то одним, – говорит он. – Как и все остальное.

– Если Генрих покарает вас за вашу ересь, это будет… – Шапюи задумывается, – это станет трагедией, Томас.

– Придете в Смитфилд посмотреть, как меня сжигают.

– Это будет тяжкая обязанность.

– Черта с два. Купите себе новую шляпу.

Шапюи смеется.

– Простите меня, – говорит посол, – но я вам сочувствую. Сейчас вы наверняка острее чувствуете ваше низкое происхождение, о котором в иные времена, – вежливый кивок, – можно забыть. Ваши соперники при дворе могут

собрать войско из арендаторов и вооружить его из арсеналов, которыми владеют с незапамятных времен. У вас арендаторов нет. Конечно, вы можете потратить часть своих богатств. Хотя содержание даже одного солдата, особенного конного, в это время года, при нынешних ценах на фураж… Я не решусь оценивать, но вы умеете это не хуже меня. Разумеется, вы можете сами взять в руки оружие…

– Дни, когда я был солдатом на поле боя, миновали.

– Но никто за вами не последует. Даже лондонцы. Они потребуют командиров из знатных господ. В Италии углежог или конюх может основать благородный дом и оставить потомкам славное имя. Но в Англии такое не пройдет.

Ни молитва или библейский стих, ни ученость или острый ум, ни жалованная грамота с печатью или писаный закон не сделают из виллана знатного человека. Никакая ловкость или коварство не превратят его в Говарда, Чейни, Фицуильяма, Стенли или Сеймура. Даже в годину бедствий.

Он говорит:

– Посол, я должен вас оставить и переправиться через реку к Норфолку. Иначе его сердце будет разбито.

Шапюи говорит:

– Он рвется в гущу событий. Хочет стать героем, схватить славу за хвост. Перебить кого-нибудь, пусть даже простых дубильщиков или кровельщиков. Я слыхал, герцог воодушевлен. Надеется, что эта напасть вас погубит.

Отправляясь в цитадель Норфолка в Ламбете, он берет с собой Рейфа Сэдлера и Зовите-меня. Надеется, что присутствие Грегори сгладит углы.

Большой зал во дворце герцога напоминает лавку оружейника, а Томас Говард, расхаживающий туда-сюда, выглядит более изнуренным и мосластым, чем обычно. Словно пережевывает и переваривает себя изнутри.

– Кромвель! Нет времени на разговоры. Я здесь, чтобы отдать приказы лично и выдвигаться в путь. На север или восток, куда велит король. У меня шесть сотен вооруженных всадников и пять пушек. Пять, и все мои! У меня артиллерия…

– Нет, милорд, – произносит он.

– И я могу собрать еще полторы тысячи. – Герцог ударяет Грегори по плечу. – Отлично! Ты при оружии и в седле? Смышленый малый этот ваш Грегори, Кромвель. Какое лето мы провели! Он гонял лошадей в хвост и в гриву. Надеюсь, с женщинами будет помягче.

А что до женщин… нет, про герцогиню скажу потом, решает он. Сначала развеять его иллюзии.

– Грегори останется дома, – говорит он. – Однако король велел выступить моему племяннику Ричарду. Он возьмет пушку из Тауэра. Генрих объявил сбор в Бедфордшире, у Ампхилла.

– Туда я и отправлюсь, – говорит герцог. – Гарри перебрался в Тауэр?

– Нет, остался в Виндзоре.

– Возможно, он прав. Мне рассказывали, что в старые времена чернь вытащила архиепископа Кентерберийского из Тауэра и снесла ему голову. А Виндзор выстоит против любой напасти, за исключением Божьего гнева. Выстоит против этих дурней, если каждый джентльмен исполнит свой долг. Скольких готовы выставить вы, Кромвель?

– Сотню.

Ему хочется провалиться сквозь землю.

– Сотню, – повторяет герцог. – Небось все писари?

Он посылает строителей из Остин-фрайарз и поваров. Повара славятся драчливостью и в бою стоят двух. Но для того чтобы их вооружить, ему придется обратиться к лондонским оружейникам и заплатить, сколько скажут.

Он говорит:

– Все, чем я владею, принадлежит королю.

– Надеюсь, что так, – говорит Норфолк. – Учитывая, что вы обязаны ему всем. Не хочу вас обидеть, милорд, но все знают, что ваш отец был побирушкой.

– Не побирушкой, милорд, а пьяницей и гулякой. Он нуждался не столько в деньгах, сколько в душевном спокойствии.

Герцог фыркает:

– Вы умеете обращаться с оружием. Я слыхал, вам случалось убивать.

– Всем случалось.

За его спиной Зовите-меня застыл в тревоге.

– Полагаю, не без причины, – заключает герцог. – А поскольку Господь наградил вас не только талантом убивать, но и другими талантами, следует использовать их во благо государства.

Норфолк изо всех сил старается быть вежливым. Напрягает каждую мышцу, расхаживая взад-вперед, дергаясь и замирая, чтобы проорать команду. Однако от него явственно веет враждебностью – и герцог ничего не может с этим поделать, как навозная куча не может не вонять.

– Можете передать от меня королю, что, если он отведет войска слишком далеко на север, ему будет тяжело усмирять восточные графства.

– Вот потому-то королю и угодно… – начинает Ризли.

Герцог разворачивается к нему:

– Я разговариваю с Кромвелем. Ему, в отличие от вас, сэр, доводилось бывать на поле боя.

– Мы наслаждаемся сорокалетним миром, – говорит Ризли, – благодаря правлению мудрейшего из королей.

Норфолк бросает на него яростный взгляд:

– И чтобы и дальше им наслаждаться, каждый джентльмен должен служить примером для своих арендаторов, отстаивать свой титул и свои права, что мы и делаем, и да хранит Господь наше правое дело. Помяните мое слово, скоро мы узнаем, кто замышляет измену.

Его глаза встречаются с глазами герцога: двумя безднами, извергающими пламя.

– Я слыхал, эти дурни поминают Марию, – говорит герцог. – Одному Богу известно, кто подталкивает их к измене, хотя нетрудно догадаться. Если она проявит к мятежникам хотя бы малейшую благосклонность, я не скажу ей больше ни слова и не намерен ее защищать.

– И я, – говорит он.

– Если придут шотландцы… – герцог жует губу, – нам пригодится каждый здоровый мужчина, каждый мерзавец, умеющий держать дубинку в руках, каждый джентльмен, способный сидеть в седле. Генрих не намерен выпустить из Тауэра моего племянника?

– Правдивого Тома? Нет.

– Надеюсь, король знает, что я непричастен к его авантюре.

Это еще вопрос, но он уходит от него и говорит герцогу:

– Королю угодно – как уже пытался объяснить вам мастер Ризли, – чтобы вы не задерживались ни в Лондоне, ни в его окрестностях, но вернулись в ваши владения и обеспечили там мир и покой…

Огненная бездна вспыхивает.

– Что? В моих владениях нет мятежей!

– Вот и проследите, чтобы их и дальше не было, – вступает Рейф Сэдлер. – А королевское войско возглавит милорд Суффолк.

– Брэндон? Этот конюх? Клянусь святым Иудой, – произносит герцог. – А меня оттерли в сторону? Меня, обладателя самой древней крови в королевстве!

– Какая разница, милорд, – говорит Рейф. – Я про кровь. У всех у нас одни прародители, если заглянуть вглубь.

– Любой священник вам об этом расскажет, – торжественно произносит он.

Герцог вскипает. Он знает, что они правы. Впрочем, он бы предпочел, чтобы Говарды вели род от собственных Адама и Евы.

– А мой сын? – спрашивает он. – Как насчет Суррея? Допустим, я оскорбил его величество, но Генрих же не откажется от услуг моего сына?

– Он сказал, что подумает, – говорит Зовите-меня.

– Подумает? – Герцог еле сдерживается. – Мне следовало самому поехать в Виндзор и встретиться с моим сувереном лицом к лицу. Не сомневаюсь, что вы извращаете его речи.

Зовите-меня открывает рот, но герцог его опережает:

– Еще одно слово – и я выпотрошу вас, как оленя, Ризли. Король знает, что во всей Англии у него нет преданнее слуги, чем Томас Говард.

– Милорд, я советую вам, если вы способны прислушаться к…

Но герцог не способен:

– Я всегда и во всем повиновался слову Тюдора и собираюсь поступать так и впредь, помоги мне Господь. Но что я получил взамен? Монастыри упразднены, и все мелкие проходимцы и жулики успели поживиться. А где моя награда?

– Если вы хотите аббатство, – говорит Грегори, – вы должны обратиться к Ричарду Ричу, канцлеру палаты приращений.

– Обратиться? – плюется герцог. – Почему я должен обращаться за тем, что полагается мне по праву?

– Кстати, – говорит он, – я получил письмо от миледи герцогини. Она пишет, что прошло четыре года с тех пор, как вы живете раздельно.

– Это были лучшие годы моей жизни.

– Она жалуется на скудное содержание.

– Никто ее не неволил.

– Вы не хотите, чтобы она вернулась, но отказываетесь ее содержать?

– Пусть ее семья о ней позаботится.

– Сэр, как вам не стыдно! – вспыхивает Рейф. – Простите, но я не могу молчать, когда слышу, что с женщиной дурно обращаются.

Герцог резко придвигает лицо к лицу Рейфа:

– Все знают про вашу женщину, Сэдлер. Вы купили ее в борделе такой потасканной, что больше пенса ей никто не давал.

Рейф говорит:

– Не будь вы стариком, я бы вас ударил.

Он, лорд Кромвель, встает между ними.

Герцог произносит:

– Я сам вас ударю, Сэдлер. Проткну, как курицу вертелом.

– Милорд, – говорит он, – верьте мне, я всеми силами стараюсь вернуть вам расположение короля.

Чертыхнувшись, герцог отступает:

– А вы знаете, что на севере вами пугают детей? А ну не реви, а то позову Кромвеля.

– Неужели? Лорда Кромвеля, если быть точнее.

– Ваш титул для них в новинку, к тому же они тугодумы. Говорят, он помрет раньше, чем мы привыкнем.

Когда они плывут через реку на барке, дождь сыплет в лицо, а флаг с его гербом плещет о флагшток. Статуя Бекета на стене епископского дворца почти скрылась за струями дождя, но рулевой Бастингс все равно приветствует святого.

– Когда-нибудь я сниму оттуда этого изменника, – говорит он.

– Но, сэр, речной люд считает, он приносит удачу.

– Лучше бы вам рассчитывать на себя.

Они сидят под навесом.

– Не нашел ничего умнее, – спрашивает он Рейфа, – чем сцепиться с герцогом?

– В жизни я совершил лишь один глупый поступок, – отвечает Рейф. – В смысле, когда женился на Хелен. И поскольку с тех пор все, кто видит ее, понимают, что я оказался истинным мудрецом, даже этого я не могу записать на свой счет. Так что, пока я еще молод, я ищу опасности. Хочу узнать, каково это.

– Поскольку мы люди мирные, – смеется Ризли, – мы должны использовать каждый случай испытать свое мужество.

– В следующий раз предупреди меня заранее, – говорит он. – И держись подальше от дядюшки Норфолка.

Он размышляет. Он готов выставить против людей Норфолка любого из своих: поваров, писарей, каменщиков. Он и сам готов сразиться с герцогом один на один. У Норфолка есть арендаторы, зато у него – полные карманы звонкой монеты. У герцога древняя кровь, у него – крепкий желудок. Если герцог – неприступная крепость, то он – осадный механизм, Божья катапульта, «Боевой Волк». Он требушет и мангонель, мечущий в стену огромные камни и швыряющей через нее изуродованные тела. Ему скажут, что в герцогских стенах невозможно пробить брешь, как в стенах Кайерфилли или Мейнута. Но он-то знает, что нет крепости, которую нельзя взять, подведя под нее сапу или подкупив кого-нибудь из защитников. Ему не нужен мертвый Норфолк. Герцог нужен ему живым, довольным. И вечно благодарным.

Он говорит Ризли:

– Скажите Ричу. Пусть обсудит с герцогом его требования. Выяснит, на какое аббатство он нацелился.

– Я-то думал, он исповедует старую религию, – отвечает Ризли. – Слышал, герцог ненавидит евангельскую веру. А выходит, он не прочь нажиться на монашеских бедах.

– Когда-то Говарды были торговцами, – замечает он.

– Похоже, все мы когда-то были торговцами.

– Я слышал, – говорит Рейф, – что в Линкольншире монахи с алебардами возглавили мятежников. Король сказал, обеты их не спасут и, когда беспорядки улягутся, он повесит их прямо в рясах.

Они причаливают. Ступени до половины под водой, она норовит залиться в башмаки. Ричарду повезет, если он доберется до Энфилда и его пушка не увязнет в грязи. Мятежники уже идут на Линкольн. Ходят слухи о десяти тысячах вооруженных всадников и тридцати тысячах пехотинцев за их спинами. И каждый день число мятежников увеличивается на пять сотен.

– Отпустите меня с Ричардом, – умоляет Грегори. – Сразиться за честь нашего дома. Или с Фицуильямом, он возьмет меня в свой обоз. Фицуильям рвется в бой, говорит, что съест мятежников с солью.

– Твое дело, мастер Грегори, заниматься науками, – говорит Ричард. – Сначала доучись. И присматривай за отцом.

Ему надо возвращаться в Виндзор к королю. Правительство не может бездействовать, даже если мы собираем армию. Генрих хочет лично ехать на место сбора в Ампхилле, и мы должны его отговорить. Следующие несколько недель – кто знает, возможно, вечность – он, Томас Кромвель, проведет на раскисших дорогах к западу от Лондона или на вздувшейся реке, пока его плотники, мальчишки, вращающие на кухне вертела, и стекольщики будут сражаться на севере и востоке в местных болотах. Он думает обо всех дорогах королевства, обратившихся в непроходимые топи и трясины.

Он идет попрощаться с Терстоном. Повар исполнен решимости вместе с мастером Ричардом задать перцу изменникам, но, когда он полирует нож и свет играет на лезвии, в глазах у него стоят слезы.

– Помню, как ваша маленькая Энн пришла ко мне за яйцом, чтобы его покрасить. Я и дал ей коричневое из-под бентамки. А она мне и говорит: «Терстон, нет, мастер Терстон, я хочу нарисовать кардинала в красной шапке, а вы даете мне коричневое яйцо. По-вашему, голова у него размером с ноготь большого пальца, а цвет лица как у мавра? Не скупитесь. Только крупное яйцо с молочно-белой скорлупой». Я и сам бы не сумел так выразиться. – Терстон вытирает нос фартуком. – Упокой ее Господь. С молочно-белой скорлупой.

Теперь, когда он думает о дочерях, то видит их крохами, которые цепляются за материнскую юбку. Он отпускает их от себя – туда, где живут мертвые. Сидит в одиночестве, над головой недавно расписанный звездами синий потолок, в комнате, какая и приличествует главе дома, – величественной, просторной, не душной. Он опускает ставни, подсаживается к камину. Он знает эти города на востоке. Хорнкасл, Лут, Бостон, где в молодости часто бывал по торговым делам, однажды представлял в Риме их благочестивую гильдию. В Линкольне остались те, кто снабжает его новостями, и у него уже есть предварительный список требований из лагеря мятежников. Он вспоминает, как Норфолк сказал однажды: «Дайте недоумку копье, и он будет опаснее величайшего военачальника, потому что ему нечего терять». Если его осведомители не лгут, мятежники пишут список требований. Они хотят – кроме возврата к золотому веку – ни много ни мало поправок к некоторым законам о наследовании, касающимся завещаний. Такие заботы не тревожат простой люд. Что может оставить после себя Хоб или Хик, кроме безнадежных долгов и старых башмаков? Нет, это требования мелких землевладельцев и тех, кто не желает платить налоги. Тех, кто хочет быть царьками в своих угодьях, кто хочет, чтобы женщины приседали, когда они проходят по ярмарочной площади. Я знаю этих презренных божков. Насмотрелся на таких в Патни. Они есть везде.

За стенкой скрежет и царапанье. Спаниелиха у его ног вскакивает и отряхивается, ее нос дергается, глазки загораются. Мартышка завозилась в своем ящике, и собака надеется, что она оттуда выберется. Он вспоминает серый ноябрьский вечер: Анну Болейн, ее недовольную гримаску, то, как она отдернула рукав от крошечной ищущей лапки. «Кто это прислал? Заберите сейчас же. Если Екатерина их обожает, это не значит, что мне они по нраву». Кто-то жалостливый сшил обезьянке крошечную шерстяную курточку, и, словно боязливый проситель, она теребит сукно, вздрагивая под недобрым взглядом Анны. «Я заберу ее себе, – сказал он. – Со мной ей будет хорошо. У меня в доме всегда тепло». – «Правда? Как вы этого добиваетесь?» Анна дрожала, даже закутавшись в горностаевый мех. «Маленькие комнаты, мадам, вам не понравится».

Она поморщилась. Кранмер как-то обмолвился, что порой Анну пугает то, что она затеяла. «Возможно, мне придется сдаться. – Она оттянула мех на манжете, нежно, словно показывая, что потеряет. – Быть может, король никогда на мне не женится, и глупо с моей стороны на это рассчитывать. Быть может, Кремюэль, мне надо отказаться от этой мысли и поселиться вместе с вами в вашем теплом доме».

Беверли – первый город к северу от Гумбера, присоединяющийся к мятежникам. Томас Перси, брат графа Нортумберлендского, привел с северо-востока пять тысяч повстанцев. Одноглазый правовед по имени Аск возглавил простолюдинов Йоркшира. Поначалу он уверял, что его заставили, впрочем, так говорят все эти ловцы удачи. Именно Аск называет восстание паломничеством к королю, иногда Благодатным паломничеством. Он дает мятежникам их символ, поднимая знамя Пяти Ран. Так умер Христос: двумя гвоздями к кресту прибили его руки, двумя – ноги, сердце пронзили копьем.

Паутина измены липнет к ладони, оставляя кровавые пятна: пьянчуги на мостовых Лута, их толстые пособники с севера, аббаты, промокающие салфетками жир и поднимающие кубки с кровью; шотландцы, французы, Шапюи мон шер, Гардинер, строящий козни в Париже, Поль, преклоняющий колени на пыльном prie-Dieu. Когда все закончится, кто будет хозяином, кто слугой? Он видит Норфолка, полирующего доспех: герцог усердно трет пластину, пока на ней не начинает проступать его отражение. Спутники короля готовы выступить. Такие надушенные и манерные: шелка шелестят, бесшумно ступают мягкие туфли. Но они знают одно ремесло – проливать кровь. Словно мясников на бойне, их для этого растили. Мир для них всего лишь промежуток между войнами. Никаких больше масок, никаких интерлюдий. Не время для танцев. Надушенная ручища подхватывает меч. Лютня умолкает, бьет барабан.

К середине октября королевская длань опускается на Линкольншир. Ричард Кромвель пишет из Стамфорда, куда прибыли Чарльз Брэндон со своим войском и Фрэнсис Брайан с тремя сотнями конных. Простолюдины умоляют о прощении и сдают своих главарей. С Капитана Сапожника сдергивают одежду убитого. Но следует ли нам послать Чарльза дальше на север, навстречу новым сражениям? Только если мы хотим, чтобы в его тылу вновь вспыхнули беспорядки.

Тем временем потрепанный штормами шотландский король высадился на французский берег. В сумерках короля видели в Дьеппе в окружении его приближенных, но он держится так просто, что и не угадать, кто король, а кто подданный.

– Вряд ли, – говорит Генрих, – у кого-нибудь возникли бы сомнения на мой счет, и, даже если бы мне пришлось скрываться, – король смеется, – я едва ли сошел бы за простолюдина, если бы только не переоделся, но и тогда…

Шотландские корабли стоят на якоре в бухте, а Яков едет в Париж с намерением жениться на французской принцессе и тем досадить своему английскому соседу.

Жаль, что Яков не задержался в Дьеппе. Это могло бы его убить. Горожане жалуются на чуму, завезенную из английского города Рай. Чиновники акцизного ведомства не в силах остановить заразу и ложные слухи.

Ризли спрашивает:

– Епископ Гардинер просит указаний: как ему держаться, если в качестве нашего посла он встретится с шотландским королем?

– Он должен поздравить Якова с тем, что тот счастливо избег опасностей, которые сулит морская пучина, – замечает он. – Ему пришлось долго пробыть в море.

Генрих говорит:

– Передайте Гардинеру, пусть не оказывает Якову излишних знаков внимания. Как всем известно, законный правитель Шотландии – я.

За спиной короля он делает знак Зовите-меня: этого можете Гардинеру не писать.

– А если французы спросят о беспорядках в наших владениях, – говорит король, – пусть Гардинер заверит их, что моя армия способна разбить любого европейского правителя и у нее еще останутся силы на второе и на третье сражение.

Он воображает, как пожмет плечами, сморщится и закатит глаза Франциск, услышав такой ответ. «Хотя Тюдор бахвалится, будто в его распоряжении сотни тысяч солдат, на самом деле их гораздо меньше. К тому же он не может доверять собственным военачальникам, а если доверяет, то не тем».

И если подумать, скажет Франциск, много ли потребовалось пятьдесят лет назад, чтобы вторгнуться в Англию и свергнуть Горбуна? Хватило двух тысяч наемников под предводительством человека без имени.

Генрих говорит:

– Можете сказать Гардинеру и любому, кто спросит, что я обрушусь на мятежников всей мощью английского оружия и изничтожу любого. Наследникам придется ползать по земле с лупой, чтобы разглядеть их останки.

А чем займется он? Будет договариваться.

В Виндзоре король листает итальянский песенник. Осенний дождь бьет в стекло, мертвые листья кружатся в воздухе. «A la Guerra, a la Guerra, Ch’ amor non vol pi?u pace…»

Король спрашивает:

– Где Томас Уайетт?

– В Кенте, сэр. Собирает своих арендаторов.

– Скольких он может привести?

– Сто пятьдесят. Возможно, двести.

«A la Guerra…» Любовь больше не хочет мира.

– А как поживает сэр Генри Уайетт?

– Умирает, сэр.

– Он оставит мне что-нибудь?

– Своего сына, сэр. Его последнее желание, чтобы ваше величество не лишали его своего расположения.

Тома Уайетта: его пылкость и верность, его стихи.

Король спрашивает:

– Лорд Монтегю приведет арендаторов?

– Ему нужен день на сборы, сэр.

Интересно, поедет ли Монтегю сражаться сам, думает он.

– А где его братец Реджинальд?

– Только что выехал из Венеции.

– Куда? – Король завершает свою мысль: – Полагаю, в Рим. Там они торжествуют надо мною. «Questa Guerra e? mortale», – поет король. – Кромвель, я забыл слова.

Io non trovo arma forte

Che vetar possa morte…

Что за оружие защитит меня от смерти? Он листает манускрипт, разрисованный живокостью, винными лозами и прыгающими зайцами. «Я дерево, что гнется под ветром, ибо лишено корней…» И Скарамелла идет на войну, в башмаках и латах, с копьем и щитом.

Пять Ран. Жена. Дети. Мой господин. Доротея, вонзившая иглу промеж ребер. Пятой пока нет? Ты можешь выжить, если раны распределены равномерно и если знаешь, откуда придет следующий удар.

Король спрашивает:

– Скольких приведет Эдвард Сеймур?

– Две сотни, сэр.

– А Куртенэ? Милорд Эксетер?

– Пятьсот, сэр.

– Ричард Рич?

– Сорок.

– Сорок, – повторяет король. – Впрочем, он всего лишь адвокат.

– Я велел всем прибрежным районам тщательно следить за вражескими кораблями.

Король щиплет струну. «Perche? un viver duro e grave, Grave e dur morir conviene…» Моя жизнь тяжка, а смерть горька, подобна кораблю, что разбивается о скалы.

Предсказатели – а их у нас пруд пруди, хотя лучшие их пророчества делаются задним числом, – уверяют, что в этом году воды Альбиона окрасятся кровью. Закрывая глаза, он видит не поток, что шумит и выплескивается из берегов, не реку, что гремит по камням, а маслянистый, багровый, липкий, бурлящий ручей, который сочится неспешно и неостановимо.

В Йоркшире поют старую жалобу времен Джона Болла:

В цене сейчас гордыня.

За мудрость – алчность ныне,

Распутству, грязи нет конца.

Коварство – доблесть подлеца.

Находит зависть оправданье,

А лень встречает почитанье.

Спаси нас, Боже, пробил час[40].

III

Подлая кровь

Лондон, осень-зима 1536 г.

Аск – мелкопоместный джентльмен, однако Генрих сразу его вспоминает: троюродный брат Гарри Перси, родня Клиффордам из Скиптонского замка. Мастер Ризли, которому в новинку обыкновения короля, дивится, что Генрих держит в голове родственные связи самых ничтожных семейств. Называя мятеж паломничеством, Аск придает ему оттенок святости. Цель Паломников, как провозглашалось ими неоднократно, – выкачать из королевского совета подлую кровь, место нынешних советников должна занять английская знать. Чтобы

блюсти Божьи законы, исцелить раны (как именуют их Паломники), нанесенные церкви. Аск принуждает к присяге всех, кто встречается у него на пути.

Он шапочно знаком с Робертом Аском. Аск состоит в Грейз-инн, бывает в Лондоне по делам семьи Перси. Будучи юристом, Аск должен сознавать, в какие игры играет. Требовать присягу именем короля – это слишком. И поскольку наверняка листал исторические хроники, знает, чем это заканчивается: какого рода лужа, в которой он плавает и в конце концов утонет.

Мы все выросли на историях о Джеке-Соломинке и Джоне Всеисправителе – в те славные дни простолюдины захватывали Лондон, убивали судей и чужеземцев. Мочились в кровати богачей, раздирали сборники стихов, подтирались алтарным облачением. Их предводителями были мелкие писари и несостоявшиеся священники – Стро и Миллер, Картер и Тайлер; никто из них не звался своим настоящим именем. А Всеисправитель бессмертен и, как зеленый росток, выстреливает из братской могилы везде, где начинается смута. Мятежники громили дворцы и штурмовали Тауэр. Били все, что билось, – в те времена зеркала были диковинкой. В Чипсайде поставили плаху и потребовали головы пятнадцати королевских советников, включая лорда – хранителя малой королевской печати. Если им не удавалось схватить того, за кем охотились, они вывешивали его одежду и выпускали в нее стрелы.

В те времена король Англии был ребенком. Страной правили из рук вон плохо. Законы были немилостивы к работникам и ремесленникам, каждый получал твердое жалованье, сколько бы ни стоило зерно. Они платили подушный налог – неудивительно, что им захотелось насадить на колья головы тех, кто это придумал. И все они, как и Роберт Аск, называли себя верноподданными и орали: «Боже, храни короля!»

С тех пор прошло сто пятьдесят лет. И восемьдесят минуло с тех пор, как Джек Кэд назвался Капитаном Кента и повел чернь на Лондонский мост. Но для rustici[41] все едино: что прошлая Пасха, что времена до Нормандского завоевания. Они говорят, что не станут платить налоги, и выступают против податей, которых никто не вводил. Как сказал ему король: где вы видели налоги, столь необременительные и приятные, что каждый с радостью бросится их платить?

В Англии простолюдины пробавляются сказками, песнями и прибаутками в тавернах. Потратив последний пенс на свечу перед образами святых, они живут и дрожат в темноте. Скажем, теленок уродился мертвым. И вот уже за полем пошли слухи, что теленок о двух головах. Вскоре за ручьем божатся, что теленок о двух головах читает латинские тексты задом наперед, а один монах берется за шиллинг дать защиту от этой напасти. За полдня выкидыш обратится Антихристом, и почему-то, за исключением священников, все становятся беднее. Попы грозят своей пастве: если не платить Риму подати, деревья начнут ходить, а урожай сгниет на корню. Пугают их огнем чистилища, жгущим до костей. Спрашивают, неужто вы способны смотреть, как горят ваши дорогие покойники, как ваша престарелая матушка или умершие дети корчатся в муках, умоляя за них помолиться?

Людям тяжело смириться с евангельской вестью: нет чистилища, только суд Божий. Бог не ярмарочный торговец, продающий милости на вес. Нельзя купить спасение, нельзя поручить монаху отмолить вашу душу.

– В Линкольншире верят, – говорит Ризли, – что папа собственной персоной идет к ним на помощь.

Король фыркает:

– Скорее на помощь к ним явится жираф. Они понятия не имеют, кто такой папа.

Вероятно, они также понятия не имеют, кто такой король. Их предводители говорят им, что Генрих объявил себя Богом. Теперь от Труро до Ньюкасла, если ребенок захворает, винят короля. Если колодец высох, масло прогоркло, а ведро прохудилось – во всех бедах, будь то град или боль в шее, виноват двор и королевский совет. Их горести, словно ручейки, просачиваются из-под земли от шотландской границы до Дувра, пока бессмыслица не затопит всю землю. Как получается, что обличительные песенки про Кромвеля, которые распевают на улицах Фалмута, назавтра уже поют в Честере? Чем дальше от Лондона, тем Кромвель причудливей. В Эссексе он жулик, богохульник и выкрест. К востоку от Линкольна – отравитель. В долинах Йоркшира – чернокнижник в плаще со звездами и Луной, в Карлайле – упырь, крадущий детей и пожирающий их сердца.

Он, лорд Кромвель, едет в Лондон, чтобы взять управление в свои руки. У мятежников нет пушек, однако нынешние городские стены одно название, их можно свалить злобным взглядом. Паломники бахвалятся, что обдерут Лондон до нитки и растащат всю его позолоту в свои пещеры. Лондон боится севера. Старики помнят, как узурпатор Ричард привел своих босоногих и востроглазых дикарей. Их речь была груба, а их поступки и того хуже: они разжигали костры приходно-расходными книгами и могли зарезать гуся прямо на хозяйском заднем дворе.

В Доме архивов и в Остин-фрайарз он принимает именитых горожан, успокаивает их страхи и побуждает их к действиям. В Тауэре достает королевское оружие и переплавляет золотую посуду на монеты. Затем спешит обратно в Виндзор, разбирать правдивые и лживые новости и возглавлять совет. Кто бы ни председательствовал, повестку пишет он. Если новость свежа, то она лжива. Если нет, вероятно, правдива, но бесполезна. Каждый приказ короля сам себя отрицает: если это случится, делайте так, но, если промедлите или будете введены в заблуждение, поступайте эдак, однако в любом случае пишите и спрашивайте нас. Не мешкайте, но и не гоните. Будьте смелее, но не слишком разбрасывайтесь деньгами. Поступайте по своему разумению, но не принимайте решений без нашего согласия. Военачальники в Линкольне, Ампхилле и Йоркшире пытаются залезть в головы советникам, те же, в свою очередь, тянут шею, силясь разглядеть далекие ручьи и болота, лощины и скалы, широкие колеи и козлиные тропы – места, где им не доводилось бывать даже во сне.

К счастью, лорд Кромвель был везде. Он знает восточные порты и замки на вересковых пустошах. По делам кардинала ему доводилось бывать в Дареме. Он мог бы сам отправиться на север, увидеть все своими глазами и сопроводить королевскую казну для выплаты войску.

– Вообразите, что будет, если вас схватят? – спрашивает мастер Ризли. – Что, если они потребуют выкуп?

– Интересно, сколько готов заплатить за меня Генрих? Ему придется взвесить мою ценность и то, сколько я приношу в казну.

Ричард Рич хмурится:

– Пусть не забудет посчитать то, что еще принесете, милорд, если Господь даст вам долгую жизнь.

Зовите-меня подавляет улыбку.

– Чему вы усмехаетесь, Ризли? – спрашивает Рич.

– Не всякий мятежник способен оценить лорда Кромвеля.

Рич разворачивается к нему:

– Они не складывают про вас песен? В безвестности есть свои преимущества.

– Они возненавидят вас, Зовите-меня, как только узнают, – ободряюще произносит Грегори.

Он говорит:

– Я уверен, вы заслужили их ненависть. Они просто не могут найти нужную рифму, потому что сочиняют стихи еще хуже, чем Правдивый Том.

Армия нуждается в снабжении. Вместе с солдатами в поход идут кузнецы и шорники, оружейники и те, кто поставляет котлы для супа, тетивы, одеяла, ведра, треножники и заклепки. И чтобы им вовремя заплатили, нужны писари, вести учет, а писарям нужны чернильницы, пергамент и воск. И все, кто на поле боя, нуждаются в эле или пиве, свинине и говядине, соленой рыбе и сыре, не слишком старых сухарях, горохе или фасоли, чтобы варить их в соленой воде, и котле для варки. И чтобы заполучить все это, нужны деньги. На войне никто не верит обещаниям.

К тому же жизнь королевства не останавливается, если какие-то бездельники из дальних графств решили помахать вилами. Браки заключаются, дети рождаются, растут и требуют новой одежки, вещей и воспитателей. Дочь Анны Болейн начинает учить первые буквы. За неимением собственных детей леди Мария пытается полюбить единокровную сестру. Дитя не отвечает за грехи матери, говорит она. Младенческие черты заостряются, и Элиза уже не поросеночек, а все больше напоминает короля. Никто больше не говорит, что она Норрисова приблуда. Ребенок не может вечно плавать между двумя отцами. Разумеется, Элиза считается незаконнорожденной, но даже незаконнорожденная королевская дочь имеет цену на брачном рынке, если отец ее признает. Поэтому и воспитать ее надлежит как принцессу.

Он выбивает содержание молодой женщине Кэт Чемпернаун, известной добрым нравом, к тому же хорошей латинистке. Надеется, что когда-нибудь Элиза оценит его хлопоты. Важно, чтобы первая наставница была по-матерински ласковой, – тогда ребенок не будет бояться ошибок. Посмотрите на Грегори, который ныне подает большие надежды. Его первой учительницей была Маргарет Вернон, настоятельница Малого Марлоу – монастыря, который закрыли этим

летом. Она посетила его в Лондоне, поохала над своим учеником, его ростом, пригожестью и манерами.

– Куда ушли годы? Кажется, только вчера он учил Патерностер.

Неправда, будто он ненавидит монахинь или монахов. Со многими он дружен. В прежние времена он ездил в Малый Марлоу по делам. Его теща Мерси спросила:

– Какая она, эта Маргарет Вернон?

Он понял, о чем она спрашивает:

– Немолодая.

Грегори было хорошо под ее присмотром. Теперь пришла ее очередь. Он делает пометку: перевести Маргарет Вернон в Моллинг, Кент. Моллинг – солидный монастырь, ей будет там неплохо, пока монастырь не распустят.

Он думает о Доротее. Рисует чудище на полях черновика. Думает о докторе Агостино и его снадобьях. Если в смерти кардинала и была какая-то тайна, он не приблизился к ее разгадке. Вероятно, разгадка спрятана в королевском сердце.

В личных покоях Джейн, куда они заходят с Рейфом и Зовите-меня, он находит королеву среди фрейлин. Сегодня все шьют, никто не поет. Шейку Джейн украшает золотое колье, с которого свисают крупные жемчужины в форме слезинок.

– Ваше величество, – спрашивает он, – почему бы вам не попросить короля пригласить леди Марию сюда?

– Это нас развеселит, – говорит Джейн Рочфорд. – Она славится своим остроумием.

Женщины прячут улыбки.

Он говорит:

– Мне кажется, здоровье леди Марии улучшится в приятном обществе.

– Вы так думаете? – откликается леди Рочфорд. – Жалко, если, молясь, она сотрет колени до крови. Сидя в деревне, все теряют привлекательность.

– Леди Рочфорд рассуждает по собственному опыту, – замечает жена Эдварда Сеймура.

Рочфорд говорит:

– Если Мария будет с нами, мятежники ее не украдут. И она не сможет к ним убежать.

– Ни о чем подобном она не помышляет, – говорит он. – Леди Мария присягнула.

Рочфорд с улыбкой складывает руки на груди.

Джейн-королева говорит:

– Я буду рада ее компании. Я попрошу короля. Только он мной недоволен. Потому что я еще не…

– Беременна, – уточняет Джейн Рочфорд.

Королева говорит:

– Я слышала, помогают агаты. Если носить их на коже.

– Уверен, у смотрителей королевского гардероба они есть, – говорит Рейф. – А если нет, раздобудем. В Корнуолле агаты можно выковыривать из мощеных улиц.

Королева выглядит удивленной:

– В Корнуолле? У них есть улицы?

Зовите-меня выступает вперед:

– Вы позволите, милорд хранитель печати? Мы должны сочинить ее высочеству достойную речь. Прежде всего следует возблагодарить его величество.

Разумно, думает он. Почему бы не попробовать.

– «Сэр, – начинает он, – вы подняли меня в заоблачные выси».

– Так и есть, – говорит Джейн. – И я от всей души рада за вас, лорд Кромвель.

– Нет, ваше высочество, – объясняет Джейн Рочфорд. – Это говорите вы, а не Кромвель. «Сэр, вы в своей доброте возвысили меня над всеми женщинами Англии».

– «Меня, недостойную», – предлагает Ризли.

– «Меня, недостойную», – повторяет он, – отлично. «Вознесли меня, недостойную, в заоблачные выси. Кто может стать мне здесь утешением? Рядом со мной нет дамы моего положения, которой я могла бы довериться».

– Затем продолжайте, – говорит Рейф. – «Сэр, ваша щедрость, великодушие и отеческое сердце не позволят вам отказать мне в нижайшей просьбе вернуть ко двору леди Марию, дабы я обрела в ее обществе радость и утешение».

– Давайте я сама, – говорит Джейн и делает глубокий вдох. – «Сэр, ваша щедрость…» Это его щедрость или его что-то другое?

– «Щедрость» красиво звучит, – убеждает ее Ризли.

– Тогда попробуем со щедростью, – соглашается Джейн, – и посмотрим, что из этого выйдет. Лорд Кромвель, мне хотелось бы с вами переговорить… – Она

кивает фрейлинам. Те, переглянувшись, уходят. Рейф и Ризли также отступают назад. Мгновение королева молча смотрит, как ее двор ретируется. Затем вынимает из кошелька на поясе флакон с розовой водой. – Он очень древний. Король дал мне его. Сказал, римский.

Стекло, легкое как воздух, темнеет в ее руке.

– Возможно.

– Некогда в нем содержалась священная реликвия. Он не сказал, какого святого. – Словно предвидя его вопрос, она поясняет: – Я не спросила. Жду, когда сам скажет.

– И я.

– Король пересказывает мне свои сны, – говорит она с неожиданным страхом. – Вспоминает детство.

– Женщины любят слушать рассказы о детстве мужчин. – Он не думал об этом раньше, но ни одна женщина на его памяти не отказалась выслушать старую историю, не важно, насколько правдивую.

– Потому что женщины хотят их любить, – говорит Джейн. – Невозможно любить мужчину всегда, но женщины надеются полюбить в нем ребенка.

Он смущен. Флакон всего лишь предлог. Чего она хочет?

– Король был очень красивым ребенком, – говорит он. – Так говорят.

– Леди Рочфорд, – обращается к фрейлине королева, – вы не могли бы отойти? Нет, еще дальше. Вместе с остальными дамами. Благодарю вас. – Ее лицо, повернутое к нему, распускается, как цветок. – Король говорит о своем брате Артуре. Он думает, что убил его.

Он так потрясен, что может сказать только:

– Король его не убивал. Артур умер сам.

– Он убил его завистью – потому что хотел ему зла. Даже когда Генрих был молод, когда был герцогом Йоркским, он хотел стать королем, необязательно Англии. Говорит, что хотел завоевать Францию и чтобы потом Артур отдал ему эту страну в награду.

– Ваше величество, желания не убивают.

– А молитвы? – спрашивает Джейн. – Грех молиться о том, чтобы обрести выгоду в ущерб другому. Но мы не всегда властны над тем, что приходит нам в голову.

Он говорит:

– Должно быть орудие. Аркебуза, кинжал, болезнь.

– Генрих говорит, что потом вообразил все беды, которые могут приключиться с ним на французской войне. Понос, распутица, голод.

– Мудро для столь молодого человека.

– Однако он не переставал надеяться, что станет королем. Господь прочел это в его сердце. И Артур умер, а Генрих унаследовал все его титулы и женился на его вдове Екатерине.

– Хотел жениться, – говорит он, ощущая усталость. – Теперь доказано, что брак не имел силы.

– И Артур не вернулся домой, – говорит Джейн, – а остался лежать в Вустерском соборе, где его похоронили среди зимы. И Генрих ни разу не навестил его могилу.

Спустя мгновение она спрашивает:

– Милорд? Вы так и будете стоять молча?

Он спрашивает:

– Почему сейчас?

Мы с Кранмером считали, что победили его, – одна зимняя ночь убеждений и молитв развеяли Артура в воздухе. Кажется, Генрих что-то от нас утаил. Мы сочли его беспомощной жертвой внезапного явления призрака, не подозревая, что мертвеца из могилы поднял стыд.

– Если король спросит, я скажу ему, что это детская фантазия и ему не стоит забивать этим голову.

– Спасибо. Я рассказала об этом моему брату, лорду Хертфорду, но он сказал, фу, сестрица, что за суеверия.

– Так и сказал? – смеется он.

– Вы можете идти, – говорит королева. – Если вас спросят, о чем мы беседовали, скажите, что я показывала вам флакон и спрашивала про древних римлян. Я не верю всему, что говорит король.

Рейф и Зовите-меня выходят вслед за ним, дрожа от любопытства.

Зовите-меня спрашивает:

– Думаете, она наберется смелости и попросит за Марию?

Рейф говорит:

– Надеюсь. Если Мария будет под присмотром, никто не станет спрашивать, с кем она встречается и кому пишет.

– Вот видите? – Леди Рочфорд тут как тут. – Даже ваши люди не доверяют Марии. Ничего, скоро она себя покажет. Лорд Кромвель, говорят, она по вам сохнет.

Он берет ее за руку, заставляя посторониться. Нравится ему или нет, она его союзница.

– Вам следовало бы обращаться со мной повежливее, – резко бросает леди Рочфорд. – Впрочем, и королеве не помешало об этом бы помнить.

Он уходит. Джейн Рочфорд потирает руку, словно ее ударили. Он думает, если бы желания вызывали смерть, мои услуги не понадобились бы. В разное время Генрих ненавидел обеих своих жен, что не мешало им жить ему назло, пока Господь не прибрал одну, а французский палач не позаботился о другой. Несмотря на все свое могущество, Генрих был не в силах от них избавиться. Только мне это удалось. Мне, который диктует ему, на ком жениться и с кем разводиться, кого взять в жены потом, а кого лишить жизни.

Впрочем, какая разница? Скоро придут йоркширцы и поубивают нас всех.

Королева решает обратиться к Генриху перед всем двором. На ее лице тревога, головка скромно опущена.

– Сэр, – начинает она, – пусть я и недостойна, а вы славитесь – чем? – щедростью. Я нахожусь в высях. Пожалуйста, призовите леди Марию ко двору. Я обрету в ее обществе утешение.

Генрих взирает на нее с нежностью и изумлением:

– Ты одинока, милая? Разумеется, я ее призову, если это тебя обрадует.

– Да, обрадует, забыла слово, – говорит Джейн без улыбки и оседает на пол, сгибаясь внутри жесткой парчи и атласа. – Выслушайте меня.

Что еще она задумала? Он пытается поймать взгляд Рочфорд, но двор не сводит глаз с королевы.

– Мое сердце, сэр, огорчено тем разладом между вашими подданными и вашей священной особой.

Ропот ужаса среди придворных. И это Джейн? Ее ли это речи?

Генрих пристально смотрит на жену:

– Я воспринимаю ваши слова в их прямом значении. На королеву возложено двойное бремя. Как жена она должна быть чуткой к душевным заботам мужа. Как королева обязана хранить верность своему государю.

– Я только женщина, – говорит Джейн, – и не смею притязать на мудрость, которой обладает ваша милость. Но мое сердце уязвлено тем, что почтенные и благочестивые обычаи, что соблюдались испокон веков, ныне забыты. Нам следует беречь их, как сын или дочь заботятся о престарелом отце.

Генрих хмурится:

– Какие обычаи?

– Нэн! – обращается он к жене Эдварда. – Нэн, скорее!

Леди Сеймур выступает вперед:

– Мадам…

Джейн продолжает:

– Ваши подданные хотят римского папу. Хотят статуи, которые помнят всю свою жизнь, и освященные свечки, и праздники.

Нэн Сеймур:

– Мадам…

– Пусть говорит, – произносит Генрих. – Ей следует преподать урок, и кому надлежит это сделать, если не мне? Как такое возможно, что среди всех священников, призванных разъяснять смысл королевской супрематии, после всего, что было сказано и написано, кто-то по-прежнему не понимает, что епископ Римский всего лишь чужеземный правитель, стремящийся подчинить себе другие земли? Мадам, я не позволю никому вмешиваться в мои дела, и предателю не укрыться за Христовым крестом.

Джейн говорит:

– Они думают, вы заберете их серебряные кресты и превратите в монеты.

Генрих говорит:

– Простые люди могут так думать, но кто их направляет? Что это за пастыри, что за священники и аббаты, которые нарушают присягу, данную своему королю, и с мечом в руках бросаются в гущу сражения?

– Они молились бы за короля, – похоже, Джейн торгуется, – если бы могли молиться за папу.

Он думает, придется вмешаться, если король не в состоянии ей ответить.

– Мадам, не существуют двойной юрисдикции. Либо король, либо Рим.

– И это не обсуждается, – отзывается Ризли.

Генрих говорит:

– Ее высочеству следует удалиться.

Джейн начинает трясти:

– Они задавлены налогами.

Король подается вперед:

– Бремя налогов никогда не лежало на плечах работников и землепашцев. Богач знает и всегда знал, как выдать свои интересы за интересы нищего Лазаря.

Джейн пристально смотрит на короля:

– Наверное, вы правы. Я ничего не смыслю в государственных доходах. Но, милорд, будьте осмотрительнее в мыслях, а равно в деяниях. То, что вы скажете ночью, не оставит вас днем, а то, от чего откажетесь днем, вернется ночью.

Нэн Сеймур берет ее под одну руку, Джейн Рочфорд – под другую. Они поднимают королеву на ноги.

Король говорит:

– Джейн, ты должна понять: душой и телом я принадлежу моим подданным. Правитель отвечает за свои деяния перед суровым небесным судом, и, когда он покидает этот мир, его судят по другим меркам, чем простого человека. Господь наделяет его добродетелями, наделяет мудростью, дальновидностью и рассудительностью, но этими дарами ему приходится распоряжаться по собственному разумению. Я – земной пастырь Божьих овец. Правителю надлежит заботиться не только о знатных, но и о ничтожных, не только об ученых и магистратах, но и о необразованных и бедных, обо всех своих подданных – равно их телесных и духовных нуждах. – Генрих кротко добавляет: – Это мой долг, и мир увидит, как я его исполняю.

– Аминь, – говорит мастер Ризли.

Придворные складывают ладони, ожидая кивка короля, чтобы зааплодировать.

– Какое красноречие, сэр, – бормочет лорд-канцлер.

Сэмпсон, епископ Чичестерский, бурчит что-то одобрительное. Граф Оксфордский, лорд-казначей, вздыхает, словно деревенская девица на пуховой перине.

Король говорит:

– Мы рассмотрим любые законные петиции. Мы готовы сохранить любые обряды и образы, если они безвредны. Однако. – Взгляд короля устремлен выше головы Джейн. – Когда вы затяжелеете, тогда мы и выслушаем ваши просьбы.

Женщины уводят Джейн, он резко велит Рейфу и Зовите-меня расступиться. Хочет, чтобы толпа рассеялась. Так бывает, когда телега опрокинется посреди улицы и констебль разгоняет толпу. Проходите, не на что тут глазеть.

Ризли хватает его за руку:

– Это Кэрью? Или Куртенэ ей нашептал?

– Думаю, – отвечает он, – это идет от ее нежного, смятенного сердца. Ей некому довериться. Хорошо бы ее сестра Бесс Отред приехала с севера.

Рейф предупреждающе хлопает его по руке – леди Рочфорд на расстоянии меча.

– Надеюсь, вы не думаете, что это я.

Он говорит:

– Мне это в голову не приходило, но теперь, когда вы сами об этом упомянули…

Почему нет? Погубила одну королеву, погубит и другую.

Ричард Кромвель пишет из Линкольна, который отбит королевскими войсками у мятежников. Джентльмены разочарованы, что враг рассеялся. Они прибыли проливать кровь, а не играть в кости. Ричард и сам разочарован. Роль привратника при дяде недостаточно воинственна для его натуры.

Чарльзу Брэндону, чтобы не потерять Линкольншир, придется какое-то время держать войско на поле боя.

– Что там устроил Чарльз? – спрашивает король. – Надеюсь, он не слишком мягок. Ему следует хорошенько проучить этих скотов. Их женщины будут на коленях молить его о пощаде. Чарльз не вынесет женских слез.

– Никто из нас не вынесет, – говорит он.

Король смотрит на него неодобрительно.

Невозможно подсчитать точное число королевских подданных. Лишь ангелам ведомо, скольких крестили, а скольких похоронили. У нас есть старые списки: сколько лучников и пикейщиков, пеших и конных может предоставить каждая местность. Сколько шлемов, кольчуг, копий, боевых топоров, бердышей и мечей. Кто из джентльменов поведет войско, ветераны или зеленые новички. Однако мы не можем заглянуть внутрь сердец, чтобы понять, кто нам верен. Враг не один, не в одном месте. Стоит срубить ему голову, и он, как гидра, отращивает другую. Бунтуют в Камберленде и Уэстморленде, вплоть до Дербишира на юге. В городах на севере Йоркшира собралось десятитысячное войско. Из Дарема выходят со знаменем святого Катберта, размахивая алыми и белыми шелками. В Камберленде четыре капитана идут в процессии следом за святыми реликвиями. У них есть трубачи, глашатаи выкрикивают их прозвища: Капитаны Сострадание и Милосердие, Нужда и Вера.

Ему известны их подлинные имена: Роб Маунси и Том Бербек, Гильберт Уэлпдейл и Джон Бек. Капитан Сапожник, знаменитый изменник из Лута, – и впрямь сапожник, но, когда придет время, ответит за свои деяния под настоящим именем Николас Мелтон. А пока, опираясь на надежные и ненадежные источники, мы можем оценить численность мятежников на севере в пятьдесят тысяч. У короля нет армии, способной разбить, перехитрить или остановить такое войско.

А значит, пришло время договариваться. Но король не захочет иметь дела с мятежниками. Ему не важно, справедливы ли их требования. Он говорит: я их государь, они не вправе выдвигать условия.

У себя в Кеннингхолле герцог Норфолк рвет и мечет, распаляя себя, как сигнальный костер. Он пишет по нескольку писем в день. Герцог рвется в бой: отпустите его на север, он выступит сей же день, бога ради, его никто не удержит! Он готов служить под началом Брэндона, только отпустите. В Виндзоре молодые люди с усмешками передают друг другу его письма: все они слуги лорда Кромвеля, его discepoli[42], прибывшие с ним из Лондона. Провожают с ним день, пьют, едят, говорят о божественном и человеческом, пока не догорят свечи. Встречают день тоже с ним, рьяные, словно собачонки, что скребутся в вашу дверь с первыми солнечными лучами.

Погода не благоприятствует охоте, поэтому дворцовые слуги не вскакивают задолго до шести утра, а встают как обычно, в одно и то же время, ибо, если король не болен и не охотится, каждое его утро расписано по минутам. Слуги будят личных пажей короля, которые убирают свои тюфяки, умываются, одеваются и вносят королевское исподнее. Именно они слышат первые слова Генриха после пробуждения, его первые молитвы и передают его первые указания, чтобы лорд Кромвель не терял времени даром. Однажды Генрих просит сонным голосом:

– Позовите Норриса.

Слуги ошалело переглядываются. Все они утратили дар речи. Король нетерпеливо отпихивает одеяло.

– Сэр, – решается один из слуг, – Норриса нет в живых.

Король зевает:

– Что?

Ноги короля касаются пола, и он тут же забывает сказанное со сна.

Однако слуги выбегают из королевских покоев, лепеча:

– Милорд Кромвель…

– Вероятно, король толком не проснулся. Впрочем, если он снова позовет Норриса, сообщите мне.

Мастер Ризли смеется:

– Вы собираетесь вернуть ему Норриса?

– Вы не умеете воскрешать мертвых, – говорит Рич.

– Не умею? Я просто не пробовал.

Он кивает пажам, те кланяются и спешат к Генриху с духами и льняными тряпицами. Им выпала честь натирать королевскую персону, пока кожа не

станет нежной и розовой, затем откинуть крышки кедровых сундуков и вытащить рубахи, мягкие, как апрельский ветерок. Давно уже нет тех одеяний, которые Екатерина вышивала по белому черными испанскими стежками, – над нынешними львами и лавровыми венками трудились искусные руки наемных швей.

За дверью, со списком в руках, мнется хранитель королевского гардероба. Паж вносит шкатулку с драгоценностями, чтобы король мог выбрать. Однако прежде Генрих усаживается на бархатный табурет, отдавая себя в руки брадобрея. Когда борода и волосы приведены в надлежащий вид, заходят королевские лекари, сбиваясь в черный клубок со своими тазиками и склянками для мочи. Они принюхиваются к королевскому дыханию, как его величеству спалось, какие его посещали сны?

Бедный работник владеет своим сном и своим стулом, а мочу может продать сукновалу, в то время как королевские стул и моча – собственность всей Англии. И любая фантазия, потревожившая его в ночные часы, хранится в книге снов, которая пишется в облаках, что плывут над полями и лесами его королевства. Каждая похотливая мысль, каждое пробуждение в страхе. Если у короля запор, ему дают микстуру, если понос, содержимое ночного горшка уносят в тазике, накрытом вышитой тканью. О том, что у короля внутри, можно лишь гадать по тому, что выходит наружу: жаль, что он не стеклянный.

Затем из комнаты в комнату передается сигнал, приносят кувшин с горячей водой, саржу и мягчайшую корпию: клацают в тазу ножницы, и самый ловкий паж очищает и заново перевязывает больную ногу. На глазах короля выступают слезы. Отвернувшись, он изучает шпалеру или потолок. «Все-все-все, сэр», – успокаивают его, будто ребенка.

Король нетерпеливо вскакивает: Кромвель здесь, есть новости? В гардеробной становится на prie-Dieu, его капеллан ждет за решеткой. Король молится на латыни, кулаком бьет себя в грудь: голова опущена, ибо все мы грешники, мы грешим каждый миг. Почему, когда глаза увлажняются от боли, рот наполняет вкус слизи и крови? Почему слезы, даже когда их сморгнешь, щиплют глаза? С деревянным скрипом король встает, оставляя священника в личном облаке ладана. Как только Генрих уходит из внутренних покоев, прачка забирает вчерашние рубахи и окровавленные бинты, королевскую постель перестилают, простыни бросают на пол, бархатное покрывало встряхивают и складывают. Теперь спальню будут чистить и драить, чтобы ни пылинка не попалась на глаза королю, притаившись в перышках резного ангела, в гипсовых локонах дикаря или между пальцами ног мраморного божества.

Как только король покидает внутренние покои и входит в личные апартаменты, его тело соединяется с государством: здесь его одевают, чтобы предъявить миру дородного свежевыбритого мужчину, пахнущего розовой водой. Когда повстанцы бесчинствуют на севере, члены бунтуют против главы, мятеж или гражданская война разражается в королевском теле.

Лекарь останавливает его:

– Лорд Кромвель, вы не могли бы повлиять на нашего государя, убедить его пораньше вставать из-за стола?

– Только не я, – отвечает он.

Когда мужчина перестает проводить много времени в седле, он толстеет. Да хоть на него посмотрите. На кардинальской службе он мог проскакать сорок миль сегодня, сорок завтра и еще сорок послезавтра: много лошадей и всего один Кромвель. Сегодня он избалован челядью, которую гоняет куда захочет. Мне пятьдесят, говорит он, и даже в тридцать я не отличался стройностью. В отличие от короля, он не считает, что его брюхо оскорбляет Господний замысел, не горюет о тех днях, когда совершал подвиги в седле. После мессы король сидит с Грегори и разбирает судейские листы старых турниров. Голова к голове, они беседуют тихо и увлеченно, разбирая пометы: рыцарские поединки записывают как музыку, гимны удали и страсти.

– Видишь, где он промахнулся. – Палец Генриха тычет в черточку. – И не потому, что не хватило опыта, а потому, что метил в голову.

– Это рискованно, сэр, – говорит его сын.

– А здесь взял ниже и начал отыгрываться. Два попадания, на третьем сломал копье. Atteint, atteint[43] – и преломлено о тело.

Турнир не его способ вести государственные дела. Противник не должен видеть, что ты приближаешься. И меньше всего тебе нужен шатер и флаг. Мастер Ризли жалуется, что королевское время переводится впустую:

– Я вижу, ему нравится производить впечатление на малыша Грегори. Но у короля есть дела поважнее.

Король откладывает записи:

– Я мог бы зарабатывать себе на пропитание, разъезжая по Европе с турнира на турнир, если бы меня не звали дела правления. – Рука Генриха мнет плечи его сына. – Только посмотрите, какие мышцы отрастил этот юноша. – Король ерошит волосы Грегори. – Ежедневные упражнения, вот мой совет. Если не выходишь на ристалище, все равно носи доспехи хотя бы час. И скоро они станут не тяжелее шелкового джеркина.

– Даже по воскресеньям, сэр? – спрашивает Грегори.

– Спроси у отца, – подмигивает король. – Он у нас стоит над церковью. Известный нечестивец, подбивает счета в день субботний да знай щелкает счетами в свое удовольствие. Так почему бы тебе не заняться упражнениями? Носить доспехи – лучший способ сохранить стройность и силу. Внутренний жар сгоняет излишки веса, как жир топится на вертеле.

Некоторые верят – вероятно, король принадлежит к их числу, – что здоровье страны зависит от здоровья ее правителя и его красоты. О простом человеке скажут, что его лицо уже ничего не спасет, но королю придется спасать лицо. Если он уродлив, таким же будет и его королевство. Болен король – больно королевство. Старики расскажут вам, как дед нынешнего короля Эдуард в зрелые годы размяк и не пропускал ни одной юбки, оделяя своим вниманием всех женщин при дворе моложе тридцати, замужних и девиц. Пока он валялся в кровати, лаская податливую женскую плоть, его братья строили против него козни, а когда один из них умер, второй продолжил плести интриги. Так выдающегося правителя, удачливого на поле боя, благословенного Господом,

испортили леность и пренебрежение своим долгом. Ты или держишь руку на пульсе государства, или теребишь киску. Даже его сыновей выдернули из земли, словно стебельки, и их тела выбросили бог весть куда.

Он говорит врачам:

– Вы забываете, что король недавно женился. Если мужчина хочет произвести на свет сильное потомство, овощная диета ему не подходит.

Это так, соглашаются врачи, но и наедаться, как в былые дни, когда король каждый день упражнялся, негоже. Иначе не миновать дисбаланса гуморов, застоя в органах, вялости пищеварения и ожирения печени.

Вечер: он сидит с королем в библиотеке. Книги стоят в огромных шкафах, переплетенные в вышитый бархат и надушенную кожу, с позолоченными королевскими гербами или эмблемами бывших владельцев. Когда наши предки под началом Славного Гарри разбили французов, мы морем перевезли сюда их манускрипты. То были зерцала для государей, книги об искусстве правления – написанные для того, чтобы их читали короли.

– Славный Гарри был не просто воином, – говорит король. – Он брал с собой в поход арфу. Сочинял песни, но ни одна из них не сохранилась.

В королевском молитвеннике изображен царь Давид, играющий на арфе. Переверни страницу: Давид изучает псалтирь – это миниатюрное издание тома, которым владеет король. Рыжая борода курчавится, плащ распахнут, царь Израиля спокойно сидит, держа в руке ту самую книгу, в которой изображен.

– Не стесняйся, Грегори, – говорит король. – Ты любишь истории про Мерлина. У моего отца было много книг о нем. Выбирай и читай.

– Вы не боитесь? – спрашивает Грегори. – Его пророчеств?

– Нисколько, – отвечает король. – Мерлин убивает меня уже десять лет. Мои кости давно сгнили, голова покрылась язвами. А что до Лондонского моста, то я и не упомню, сколько раз он рушился, и самый замок, в котором мы сидим, смывало в море рекой. Теперь, когда я слышу его пророчества, я склонен сомневаться.

– Колдуны такие же, как все остальные люди, – говорит Грегори. – Предложите Мерлину аббатство. Это не повредит.

– Передайте канцлеру палаты приращений, – смеется король. – Мне хотелось бы видеть лицо Рича.

Странно, что король не сжигает подобные книги. У Мерлина есть поклонники, что неудивительно. Он предсказал, что придет день, когда церкви сровняют с землей, а монахов заставят жениться. Когда немецкие язычники сядут за стол с королем, а знатных вельмож прогонят умирать с голода. Впрочем, Мерлин также пророчествовал, что воды реки Аск вскипят, медведи вылупятся из яиц, а земля будет так плодородна, что люди забросят пашни и будут любиться с утра до вечера.

Ученый Джон Лиланд, королевский антиквар, ездит по монастырям в поисках книг для королевской библиотеки. Он сам, путешествуя по делам Вулси, спрашивал монахов про книги, но чаще всего натыкался на каменный взгляд: «Сэр, сожалею, но этот текст утрачен много лет назад». Или: «Ах, мастер Кромвель, боюсь, его давно пожрали черви».

Он говорит:

– Монахи боялись, что я заберу их книги для кардинала.

– Кардинал был известным стяжателем, – говорит король.

Он отводит глаза. Иногда король хвалит Вулси. Иногда нет.

Генрих спрашивает:

– Что случилось с магическими книгами кардинала?

– Я их не помню, сэр.

– Вероятно, их забрал милорд Норфолк, – говорит Грегори. – Он много всего забрал.

Король спрашивает:

– Это правда, что Вулси несколько лет служил дух Оберона?

– Я не доверяю подобным историям, ваше величество. Их сочиняют, чтобы выманить деньги из наших карманов.

– Я сам доверяю им лишь отчасти, – говорит Генрих. – Но Оберон очень силен. – Король замолкает, чешет ногу, встает. – Гулять.

Их сопровождают мастер Ризли и Ричард Рич. Король не может разгуливать по дворцу в одиночку. Дежурные стражники выстраиваются в шеренгу вдоль его пути. Где королева? В своих покоях в окружении фрейлин. Впрочем, обида, нанесенная королю, прощена.

– Она жалеет бедняков, – говорит король. – Женщинам свойственна жалость. За это я ее и полюбил. И она ненавидит любые разговоры о войне. Боится за меня. По большей части это из-за нее я не поехал на север.

Он видит, как Ризли и Рич переглядываются.

Рич говорит:

– Ваше величество ведь никогда не были на севере? Тем более незачем сейчас ехать к неблагодарным, которые почитают своих леших больше, чем Господа.

Король говорит:

– Я правлю страной двадцать восемь лет, не давая себе и дня отдыха, и, казалось бы, вправе полагаться на своих вассалов. Из северных лордов я не

доверяю лорду Дакру, и не только ему. Я считал, что могу положиться на лорда Дарси, однако даже он, говоря о своей верности, жалуется на грыжу и больные суставы. – Король смотрит вниз из окна на новую террасу. – Будем надеяться, он натрется целебными мазями и все-таки выступит, но теперь он говорит, что в Понтефракте не хватает солдат, пушек нет, прокормить всех он не в силах, а стены осыпаются. Зачем говорить мне это, если не из желания ослабить мой боевой дух? – Дождь стучит в оконное стекло. – А граф Дерби? Всем известно, что в его свите есть недовольные и они ненавидят вас, Кромвель, а кроме того, все Стенли перебежчики, вечно ждут, чья возьмет, и только потом вступают в бой. Теперь Генри Клиффорд…

– Наша опора на границе, – вставляет Рич.

Король хмурится:

– Его арендаторы ропщут даже в тучные годы, подчинятся ли они ему сейчас?

– Клиффорд человек жестокий, – говорит он. – Даже Норфолк так считает, однако на Клиффорда можно положиться. А еще лорд Тэлбот с его огромным войском…

– Наш главный оплот, – замечает Рич.

Наш?

Король говорит:

– Тэлбот тоже дряхлый старик, впрочем, он всегда был мне верен. – Умолкает, морщится. – Я разрешаю Норфолку отправиться на север.

В семьдесят отец Норфолка рубил шотландцев при Флоддене. Нашему герцогу осталось семь лет, чтобы сравниться в славе с отцом.

– Норфолк не посрамит вас на поле боя, – говорит он. – Он упивается битвой, даже если враги – простые крестьяне. Считает, мы слишком долго жили в мире.

– Я скажу вам, что значит верность Говардов. – Генрих хромает и, чтобы отдышаться, опирается на лорда – хранителя малой печати. – Джон Говард, дед нынешнего герцога, заявил как-то, что готов защищать вязанку дров или каменный валун, если парламент провозгласит его королем.

– Что свидетельствует о его уважении к парламенту, – бормочет Ричард Рич.

– Но он сражался против моего отца! – Король оборачивается к Ричу. – Вы этого не понимаете, болван? Признавал королем Ричарда Плантагенета!

Рич сжимается, словно в объятиях Скевингтоновой дочки, бормочет извинения, но он, лорд Кромвель, обрывает их. Молодые, а Рич достаточно молод, не понимают, что по сей день ничто в королевстве не ценится так, как поведение ваших предков при Босворте.

– Тогда Говарды допустили серьезную ошибку, и она стоила им герцогства. – Мастер Ризли так спешит отойти подальше от провинившегося Рича, что встает по другую сторону от короля и чуть ли не цепляется за его рукав.

– Нынешний Говард об этом помнит, – говорит он, – и не станет идти вам наперекор.

– Но он пошел мне наперекор, – говорит Генрих. – Я чувствую, Рич, вы не сознаете, что такое король. Королем делает Бог, а не парламент, который провозглашает его титул, утверждает, – но где в Писании упомянут парламент? Contra[44], там множество указаний на обязанность подданных повиноваться государю и на то, что нет власти аще не от Бога. Если бы Паломники и впрямь держались истинной веры, как уверяют, они бы это знали. И, на коленях вымолив прощение, разошлись по домам.

– И вы бы простили их, сэр? – спрашивает мастер Ризли.

– Отойдите подальше, Зовите-меня! – рявкает король. – Не люблю, когда на меня напирают.

У Ризли отвисает челюсть. Зовите-меня? Неужели шутливое прозвище вышло за пределы домашнего круга? Генрих рассержен, знаком велит им оставаться на месте и в одиночку хромает в сгущающиеся сумерки.

– Я чувствую, у вас чесались руки взять бумагу и перо, – говорит он Ричу. – Однако, сказав раз, он повторит еще.

Кое-чего король не произнес вслух, но наверняка подозревает: за знаменами Пяти Ран полощутся другие, невидимые знамена, вышитые эмблемами Куртенэ и Полей. Джентльмены из древних родов встали на сторону Тюдора, но за их словами и делами нужен глаз да глаз. Некоторые пленные мятежники не скрывают надежд, что папа пришлет им другого короля по имени Реджинальд Поль, который женится на принцессе Марии и отправит ее отца побираться. Паломники утверждают, что затеяли крестовый поход ради чистой и непорочной Девы. Однако, умышленно или нет, они служат гордыне Гертруды Куртенэ и Маргарет Поль – молодой женщины, которая хочет стать английской королевой, и старухи, которая уже воображает себя королевой.

– Сэр, – Ричард Рич тянет его за рукав, – мне дали понять… то есть мне нужно… мне посоветовали поехать в Йорк, где я буду полезен и смогу себя показать…

– Так не медлите. В Йорке спокойнее, чем здесь.

Середина октября. В Линкольне Ричард Кромвель стоит лагерем вместе с Фицуильямом и Фрэнсисом Брайаном. Его зовут на все советы, и за это нам следует благодарить Фицуильяма. Другие лорды предпочли бы держаться от него подальше, но Фицуильям твердо стоит за нас, пишет Ричард: никто при нем не смеет дурно отзываться о Кромвелях. Он пишет также, что Брайан надеется встретить Аска в бою: двое одноглазых потягаются за славу, как в старых преданиях. Ричард скучает по дому: «Утешьте мою бедную жену».

Он думает, должен ли взять под свою крышу Франсис? Крыш у него хватает: жену Ричарда можно поселить в Степни или в Мортлейке. Если мятежники ворвутся в Лондон, первым делом они нападут на Остин-фрайарз. Бог знает, что они рассчитывают там найти. Груды сокровищ – конфискованные потиры, подмигивающие самоцветами. Бесценные реликвии вроде веток неопалимой купины или сундука с манной, упавшей с неба на израильтян в пустыне.

Он пишет Ричарду собственной рукой: дома все здоровы, хоть и невеселы, мистрис Ричард ждет не дождется твоего возвращения, как и я, но королевская служба требует терпения. В часы отдыха в ожидании битвы не позволяй товарищам втянуть себя в игру на деньги. Если откажешься, они станут насмехаться над тобой, посмотрите на Кромвелева племянничка, в карманах у него пусто. Если поддашься, найдут способ объявить тебя мошенником. Мы разрешили Норфолку с сыном присоединиться к кампании, но, если столкнешься с молодым Сурреем, отойди в сторонку, иначе он постарается тебе навредить. Не слушай, что говорят обо мне. Когда все вокруг ходят с оружием, недолго поддаться на провокацию.

Он заканчивает день, погребенный под горой депеш. Чем больше новостей, тем меньше он понимает. Сражайся Аск на вашей стороне, вы называли бы его хорошим военачальником и достойным человеком, поскольку он велит платить крестьянам за то, что забирают у них солдаты. Однако исполняют ли солдаты его приказ или творят что хотят? Джентльмены, верные королю, бегут с севера в Лондон; они рассказывают, как обстоят дела. Если Аск говорит, подождем – его сержанты велят выступать. Аск не велит звонить в колокола – солдаты звонят. Не зажигайте сигнальных огней – зажигают. Родные братья его оставили, предпочтя отсидеться в укромном месте. И все равно говорят, что его приход был предсказан в пророчестве. Север долго ждал своего одноглазого мессию. Где он потерял глаз? Никто не ведает.

Генрих спрашивает:

– Почему эти мятежники кричат о подлой крови? Всегда были люди, вырастающие словно грибы после дождя. И мой отец, и мой дед говорили, что незнатный человек иногда полезнее герцога. У человека скромного рождения нет собственных интересов – только желание служить господину, которому он обязан всем.

Он говорит:

– Будь здесь милорд Норфолк, он сказал бы вашему величеству, что у людей без родословной нет и чести. Они без колебаний пойдут на все.

– Однако они думают о спасении, – говорит король. – Так что не на все. Вы знали Реджинальда Брея? Он взялся из ниоткуда. Школа классической грамматики в Вустере, если я не путаю. Однако он был мудрым и опытным советником моего отца. Великие лорды добивались его расположения, потому что боялись тех слов, которые он мог нашептать в ухо королю.

Брея нет в живых уже добрых лет тридцать, если не больше, как он может его знать? Но расчеты правителей выходят за положенный смертным срок.

Он говорит:

– Я знаю, где его могила, сэр.

Брей похоронен в Виндзоре, в часовне Святого Георгия, построенной на его щедрые пожертвования. (Впрочем, там же похоронен и Джон Шорн, священник, загнавший дьявола в башмак.) Он видел эмблему Брея высоко на алтаре, его ребус в камне и стекле. Нужно найти эмблему на полу и преклонить на ней колени, думает он. Брей отвечал за королевскую казну и себя не забыл – сумел сколотить состояние.

Генрих говорит:

– Трудящийся достоин награды. Брей сражался с корнуольскими мятежниками и достойно себя показал.

Для писаря, думает он. Предлагает ли ему король отложить перо и взяться за меч? Несмотря на все, что было сказано до того.

– Вы помните корнуольцев, – говорит Генрих.

Он кивает:

– Я был ребенком.

– Отец спрятал нас в Тауэре. Он был уверен, что крепость устоит, даже если город разграбят.

Не только северяне ненавидят налоги. На окраинах Англию не воспринимают единой страной, за охрану границ которой мы все обязаны платить. Когда корнуольцы восстали, они говорили, что не будут платить за защиту севера от набегов шотландцев, которых в глаза не видели. Их предводителями были адвокат Томас Фламанк и кузнец Ан Гоф, что и означает «кузнец». Они прокатились по стране до самого Лондона, собирая союзников, а впереди шел великан по имени Болстер. А может, не впереди, а охранял тылы, ибо никто его не видел: он был либо дальше, либо где-то сзади.

В доме Уильямсов в Мортлейке, где он за еду исполнял мелкие поручения, великанов презирали и с хохотом рассказывали про одного из корнуольских приятелей Болстера. Одинокий грустный великан по воскресеньям метал кольца на колышки вместе со своим единственным другом, шустрым малым по имени Джек. Как-то великан хлопнул Джека по макушке и проткнул тому череп, словно корочку от пирога. От плача великана содрогнулся небосвод, а мозги Джека тем временем стекали по щекам, как подливка.

Он сказал сестре Бет:

– Великаны происходят от Каина, который убил своего брата. До Потопа их было великое множество, но все утонули. Они были высокими, но не настолько, чтобы держать голову над водой.

Бет промолчала.

– Троянец Брут сразился с выжившими и всех их перебил. Это был могучий воин, который придумал Лондон.

Бет снова промолчала.

– Болстер? Неужели его и вправду так зовут? Смешное имя.

– И ты готов повторить ему это в лицо? – спросила Бет.

Чем дольше Болстер оставался невидимым, тем больше страху наводил. Ростом он был десяти или двенадцати футов, с ручищами словно крылья ветряной мельницы и ножищами в кованых башмаках, которыми мог расплющить голову, словно виноградину. Их дома в Патни стояли на пути мятежников, и он, мальчишка двенадцати-тринадцати лет, готовился поколотить колени великана.

В это беспокойное время Уолтер неплохо заработал на починке и перепродаже приятелям видавших виды доспехов. Сам он говорил, что не боится корнуольцев, потому что знает, как они варят эль. Двадцать четыре часа кряду, на каждом привале. Потом хлещут его ведрами, шипящий, светло-коричневый, валящий с ног, как никакой другой напиток. А наутро не могут проблеваться.

У Блэкхита армия короля разбила мятежников. В тот день многих посвятили в рыцари на поле боя. Ан Гофа и адвоката повесили и четвертовали, а окровавленные части тел выставили напоказ у них на родине. Однако Болстера не повесили. На свете не нашлось бы такой виселицы. Он затерялся в большом мире. Возможно, затаился на морском дне, дышит через жабры, словно рыба, пока не всплывет на поверхность и не начнет все сначала. Великан не привык бездействовать. Как и лорд – хранитель печати. В эту пору, когда облетают последние листья и ударяют первые морозы, постоянная тревога и невозможность самому ничего изменить заставляют его вспоминать раннее детство, когда никакого Болстера не было в помине. До того, как он поставил ногу на ступень лестницы, ведущей вверх, до того, как узнал, что есть такая лестница. Дни, когда другие распоряжались его судьбой, до того, как он узнал, что существует судьба. Когда он думал, что в мире есть только кузница, пивоварня, причалы, река, и даже Лондон казался ему далеким, хотя, честно говоря, тогда он еще понятия не имел о расстояниях. Когда ему еще не было семи и отец с дядей все за него решили, не дав ему вставить слова.

Дядя Джон сказал:

– Вот что я тебе скажу, братец. Томас тебе пока без пользы, только под ногами вертится. Чего б тебе не отдать его мне в учение?

Они на пороге пивоварни, окутанные запахами. Он подходит к Джону сбоку. Отец возится внутри, в полутьме, ворочает какие-то ящики. Что-то ищет. Интересно что?

– Так и будешь торчать на пороге, братец? – спрашивает Уолтер. – Пока я тут спину надрываю.

Джон говорит:

– Сделай милость, выслушай меня.

Уолтер опускает ящик на пол:

– Чего надо?

– Отпусти Тома со мной в Ламбет. Тамошний эконом мой старый приятель.

– Хочешь сделать из него повара? В моем семействе не будет тупорылых и широкомордых.

– Это его ни к чему не обязывает, – говорит Джон. – Вреда от этого никакого.

– Надеюсь, он принесет мне кружку поссета в старости. Потушит курочку. Ладно. – Уолтер смеется, уверенный, что никогда не постареет. Думает, всегда будет зубатым. – Слушайся дядю, Том, иначе тебя запекут в пироге.

– Но сначала покрошат, – добавляет Джон и, скрепляя сделку, хлопает его по затылку.

Уже тогда в нем было что-то твердое – все так и норовили отвесить ему оплеуху или подзатыльник. Возможно, людям нравился звук.

Впрочем, на пути от дома Джон говорит:

– Тебе нужно ремесло, Том. Ты же не хочешь стать похожим на отца, который только и умеет, что наживать неприятности.

Он говорит:

– У него под кроватью сундук с тремя замками.

– Не сомневаюсь, сундук набит золотом, – говорит Джон. – Знать не хочу, откуда он его взял. Да вот только за пределами прихода что с ним будет? В Патни все знают, что с ним лучше не связываться. А попробуй он выйти отсюда без своих закадычных дружков, никто его не испугается.

Надо же. Впервые он видит Уолтера глазами равнодушного чужака: небритый приземистый крепыш. Похабник и буян, ищущий случая подраться. И долго искать не приходится. Потому что весь мир против Уолтера: всяк норовит сделать ему пакость, стянуть его добро. Опереди их, укради сам – вот его девиз, и вот как он преуспевает. Шлепает по жизни на звук чужих страданий: вынюхивает слабых и сбитых с толку, чтобы сделать им еще хуже.

Он говорит Джону:

– В Мортлейке все знают моего отца. В Уимблдоне. Когда он помрет, мне достанется кузница.

– А с чего бы Уолтеру помирать? – спрашивает дядя. – Если только его не повесят. Будешь горбатиться на него до тридцати. Я не могу научить тебя его ремеслу, но могу научить своему. Ремесло за плечами не висит. Даже в заморских странах повар всегда пригодится.

– Я не знаю заморских блюд.

– Научишься смешивать соусы, тебе везде будут рады, – фыркает Джон. – Хотел бы я посмотреть, как Уолтер приготовит сливочный соус. Да тот свернется от одного его взгляда!

Он думает, дядя завидует. Мой отец признанный боец, а он только и умеет, что возиться с мукой.

Однако вслух говорит, дядюшка, я хочу обучиться твоему ремеслу, когда начнем?

Середина месяца: лорд Клиффорд осажден в Карлайле. Герцог Норфолк в Ампхилле, с ним Генри Куртенэ, маркиз Эксетерский. С маркизом (о чем тот не подозревает) человек, приставленный лордом Кромвелем. Норфолк получил что хотел – войско за спиной, королевский приказ в седельной суме – и все равно продолжает брюзжать в каждом письме. Письма открывает мастер Ризли и пересказывает их содержание королю.

Мятежники движутся на Йорк, мэр считает, что город расколот и не выстоит. По слухам, архиепископ Йоркский уже сбежал. Роберт Аск призвал мятежников с севера Йоркшира. Они обещают восстановить монастыри там, куда доберутся. А я вам говорил, восклицает мастер Ризли. Я говорил, когда монахи уйдут, монастыри надо сровнять с землей.

Он, Томас Кромвель, перемещается между Виндзором и Лондоном, туда-сюда, по реке или дороге, исполняя приказы короля. Плохо спит, мало ест – с тем же успехом он мог бы жить с войском в чистом поле. Даже в пути он ощущает себя в замке, запертым в королевских часах и днях. Король недоволен, когда его нет, – он все еще государственный секретарь, и все делается через него. Однако в первую очередь королю нужны монеты. Блюдами и потирами придется пожертвовать, тяжелые золотые цепи больше не вернутся в хранилище. Он, Кромвель, никогда не считал, что металл должен тускнеть или гнуть шеи вельмож, напротив, назначение золота – обращаться и приумножаться. Впрочем, говорит он Зовите-меня, этой осенью я бы не отказался от знакомства с толковым алхимиком или принцессой, умеющей прясть золотую нить из соломы.

В Виндзоре город подступает к замковым стенам, и там, где при короле Эдуарде были торговые ряды, теперь теснятся к замковому рву убогие жилища, похожие на гномьи норы. Улицы кишат торговцами, ищущими, что продать двору, ибо в пределах замка нет ни огородов, ни домашней скотины, ни даже пруда с карпами. Повозки с грохотом вползают на холм по мощеной дороге и въезжают в громадные ворота, так что благородные господа должны прижиматься к домам, пропуская возчиков. Он слышал, что в городских церквях проповедники возносят Паломникам хвалу. Он платит мальчишкам, которых сам выбрал, чтобы слушали, о чем болтают в торговых рядах, просачивались в таверны, толкались среди клиентов портовых шлюх. А после шли к священнику, проверяли, какую исповедь тот хочет услышать, а после спрашивали напрямик: эти мятежники святые? Должны ли мы пополнить их ряды, святой отец?

Намерзнув и вымокнув в пути, он просыпается разбитым. Сны его тягостны: он видит себя на пристани, другой берег реки теряется из виду. Река набухает, серая масса воды растекается вширь, полированное олово отражает серебро небес: берега не видать, потому что берега нет, потому что вода стала вечностью, потому что его плоть растворилась в ней, потому что все его истории смешались, все воспоминания стали одним.

Дядя Джон говорит, запомни, юный Томас, если задумал учиться, нечего шататься вверх и вниз по реке – ты должен всегда быть под рукой. Потому что, если к архиепископу Мортону – ныне кардиналу Мортону – прибудут гости из Рима, они не насытятся тарелкой дробленого гороха, им подавай язычки певчих птиц, сбрызнутые медом. И мы не можем сказать им, монсеньоры, к сожалению, мальчишка, который ловит жаворонков, сбежал домой в Патни, потому что его отец сегодня участвует в состязании, кто кого запинает, а сын держит его рубаху и принимает ставки.

Оставить Патни нелегко. Его тянуло назад, ему свистнуть – и вот он, легок на помине. Шайка воров, задумав ограбление, позвала его влезть в дом через окно и открыть дверь изнутри.

– Нет, – ответил он.

– Почему? – удивился вор.

– Боюсь Господней кары.

– Боялся бы ты лучше моего кулака, – сказал предводитель шайки, предъявляя кулак.

И потом, сказали они, с чего ты взял, что Господу есть до тебя дело? Не все ли Ему равно, если ты влезешь в окно Милдред Дайер, богатой вдовы, у которой всей защиты – комнатная собачка, и эту шавку мы запросто отпихнем или сломаем ей шею?

Он подумал, Богу есть дело до малых птиц. Запомнил наизусть эту строчку из проповеди. Господу есть дело до Милдред Дайер. Господу есть дело до ее собачки Пиппина.

Он сказал:

– Я вас презираю. Вы даже лужу не перепрыгните, не надравшись для храбрости, и когда-нибудь вас повесят, а мои друзья будут смотреть и хохотать, глядя, как вы болтаете ногами.

Тогда предводитель пустил в ход кулак: прижал его к стене и лупил по голове.

– Угомонись, Эдвин, он того не стоит!

Он не помнил боли, может, потому, что ее не чувствовал. Зато помнил, как воняло изо рта обидчика.

– Кто это сделал? – спросил Уолтер, когда он пришел домой побитый, а выслушав его историю, заметил: – Силы небесные! В следующий раз, когда тебя позовут на дело, откажись как положено. Скажи, что занят, – это простая вежливость.

Подрастая, он становился осмотрительнее. До определенной степени. Грешил, грешил тяжко, но знал, когда грешить. Он видел, как насиловали женщину, но не вмешался. Видел, как выдавили глаза одному малому, видевшему то, чего видеть не следовало: Исусе, не проще ли было отрезать ему язык? Однажды он спросил Уолтера по поводу особо мерзкой затеи, в которой не желал участвовать:

– Отец, ты отличаешь добро от зла?

Лицо Уолтера потемнело. Впрочем, ответил он довольно мягко, учитывая обстоятельства:

– Сынок, вот что я отличаю: добро – это когда ты схватил свое и был таков, а зло, когда тебе успели навалять. Чему и тебя вскоре научит жизнь, если не желаешь учиться на примере отца.

Покуда он посасывал костяшки пальцев, вор Эдвин сказал:

– Это тебе подарочек от меня, малый. Можешь приходить за наукой: ради тебя дьявол не станет марать лапы.

Шестнадцатого октября мятежники берут Йорк – второй город в королевстве. Англия рушится, словно соломенная хижина.

Когда доставляют новости, он в Лондоне, пытается наскрести десять тысяч фунтов для Норфолка – заплатить солдатам. От Ризли приходит весть: король хочет его видеть как можно скорее. Еще одна записка, и еще одна…

Когда он прибывает в Виндзор, его обступают угрюмые советники. Король молится. У себя? Нет, сегодня он взывает к Господу из величественной часовни Святого Георгия.

Епископ Сэмпсон говорит:

– Кромвель, он ждет вас.

– Но вы ему сказали? Что Йорк взят? – Только сейчас до него доходит, что они могли оставить эту новость ему.

Но нет, королю сообщил Рейф, который сейчас с ним.

Оксфорд говорит:

– Вряд ли король очень сильно винит вас, милорд.

За то, что Йорк пал? Он-то здесь при чем? Но кто-то же должен быть виноват…

Лорд Одли говорит:

– В последние недели даже Вулси едва ли сумел бы изменить направление ветра.

Вы уверены? Вулси не сбежал бы из Йорка, как нынешний архиепископ.

Он говорит:

– Ни один мятежник не посмел бы высунуть носа на расстоянии в сто миль от милорда кардинала. А если бы посмел, получил бы достойный отпор.

Теперь в часовню. Он проталкивается среди советников:

– Идемте, Зовите-меня.

Шагая за ним, Ризли спрашивает:

– Смерть сделала кардинала неуязвимым, сэр?

– Похоже на то.

Впрочем, больше Вулси с ним не беседует. С самого возвращения из Шефтсбери он лишен компании и совета. Кардинал перепрыгивает с облачка на облачко, там, где мертвые праведники хихикают над нашими просчетами. Умершие увеличиваются в наших глазах, мы же, напротив, кажемся им муравьями. Они смотрят из тумана, словно мистические звери со шпилей, реют над нами, словно флаги.

Король в часовне, высоко над скамьями рыцарей Подвязки. Он поднимается по узкой винтовой лестнице, и его сердце сжимается. Он знает, что отсюда король смотрит на своих предшественников, на убитого короля Генриха – шестого из носивших это имя – в его гробнице.

Он ныряет под низкую притолоку. Король стоит на коленях, спина прямая, и, очевидно, молится. Сзади, насколько возможно далеко, преклонил колени Рейф. На лице просительное выражение; когда он, лорд Кромвель, проходит мимо, Рейф надвигает шляпу на глаза.

На полу подушка, все лучше, чем голые доски. Некоторое время он молча стоит на коленях за спиной своего монарха.

Во Флоренции, вспоминает он, я играл в кальчо – многолюдную игру, больше похожую на рукопашную. Юноши из хороших семейств выставляли два-три десятка самых дюжих слуг. Его, бешеного англичанина, извиняло лишь то, что, плохо зная тосканский, он не понимал правил.

Он слышит королевское дыхание, король вздыхает. Генрих знает, что он здесь, его выдает дрогнувшая мышца на загривке.

Спустя десять минут ты в крови, мяч в соплях и песке, ты задыхаешься, ноги дрожат, ступни превратились в клей, кто-то выдрал из твоей головы клок волос, но, если ты схватил мяч, остальное не важно. Ты бросаешься вперед, прижимая мяч к себе, гул одобрения с крыш, но ты не успеваешь пробежать и десяти шагов, как тебя подрезает такой же вопящий безумец.

Генрих кладет руку на темя, словно прихлопывает комара. Его священная голова полуоборачивается, взгляд настороженный.

– Сухарь?

Звучит как начало молитвы, хотя вряд ли из этой молитвы выйдет прок.

Он ждет. Король глубоко вздыхает. Стонет.

Матерь Божья, как все болит после игры, но на поле не чувствуешь ничего.

Генрих крестится и пытается встать. Интересно, примет протянутую руку или укусит?

– Йорк? Как Йорк мог пасть? – Когда король обращает к нему лицо, в глазах отчаяние. Словно кто-то разрубил его пополам и в расщелине обнажился мозг.

Рейф в полумраке встает с колен.

Он хватает подушку с пола, на ней золотом вышито на темно-красном: «ГА-ГА». Henricus Rex. Anna Regina[45].

Рейф выдергивает у него подушку, словно горячий пирожок.

Будь мы во Флоренции, я пинком зашвырнул бы эту подушку выше Санта-Кроче, словно мяч. Вместе с памятью о ней.

Король говорит:

– Сегодня я обедаю в главной зале.

– Ваше величество.

– Я должен предстать во всей… – король запинается, – во всей красе, понимаете? Где «Зеркало Неаполя»?

– В Уайтхолле, сэр.

Он думает, Генрих скажет, вызовите стражников и доставьте сюда. Короля не волнует погода и расстояния. Он хочет блистать перед своими подданными в огромной жемчужине и алмазе из сокровищницы Франции.

– В Уайтхолле? – переспрашивает Генрих. – Ладно, не важно. – Кажется, ему достаточно вспомнить об этой драгоценности, чтобы ощутить подъем.

Когда французский король просит вернуть алмаз, Генрих всегда отвечает: «Передайте Франциску, что мои притязания на Францию сильнее его. Однажды я потребую больше, чем драгоценности».

– Пусть играют трубы. – Голос Генриха теряется в пространстве часовни. – Рейф, где вы прячетесь? Мой долг и моя любовь отданы королеве. Если она наденет рукава с моей монограммой, которые Ибгрейв прислал в июне, я буду в парном дублете.

Внизу под ними – в зеркале времени – рыцари ордена Подвязки рыдают на своих скамьях, их черепа громыхают в украшенных перьями шлемах. Однако король расправляет плечи, задирает подбородок. Позже Рейф скажет: «Достойно восхищения, как он принял весть о падении Йорка. Можно подумать, получил тысячу фунтов, а не зуботычину».

Его одолевают посланцы, и он вынужден просить Рейфа шепнуть королю на ухо, что обед он пропустит. Говорят, мэр Йорка вывез городскую казну, но сумеет ли он ее сохранить? Теперь Паломники станут грабить богатых горожан. В Йорке сорок приходских церквей и дюжина больших монастырей, не тронутых палатой приращений. Он давно знал, что это место кишит папистами, но где был бы ваш Йорк и другие большие города, чье богатство основано на торговле шерстью, если бы он не умасливал императора, уговаривая не закрывать порты, и не защищал вас перед Ганзейским союзом? Если он встретит Аска, обязательно спросит, неужто в интересах севера грозить тому, кто несет вам благосостояние?

Он говорит Рейфу:

– Хорошо, что шотландский король во Франции. Иначе он непременно вмешался бы.

Из Парижа доносят, что Яков еще не женился, но делает много покупок.

Рейф говорит:

– Яков оставил вместо себя королевский совет. Наверняка они обдумывают такую возможность. Не знаю, отважатся ли объявить нам войну.

Им не нужно ничего объявлять. В кальчо никто не объявляет войну. Однако потери неминуемы: поле, усеянное зубами и (он про такое слышал) глазами. Никто никого не хочет зарезать, но порой игрокам случается напороться на чужой нож.

Письма дописаны. Он присыпает бумагу песком. На сегодня довольно.

– Я голоден, Зовите-меня. Возможно, еще не поздно присоединиться к нашему государю.

В углу главной залы, где слуги бахвалятся друг перед другом, он видит Кристофа, который усердно мелет языком. Якобы его хозяин был в Константинополе, где давал советы султану. В его дворце, спрятанном в извилистых переулках столицы, надушенные опахала разгоняли воздух, а пышнотелые одалиски возлежали на оттоманках в чем мать родила, не

утруждаясь никакой работой, а лишь наматывая локон на пальчик в ожидании, когда Мустафа Кромвель явится домой потребовать свой шербет и своих девственниц.

В Виндзоре за окнами тусклый свет, а вокруг короля его ближайшие советники в мехах: лорд-канцлер Одли, Джон де Вер, граф Оксфордский, епископ-другой. По правую руку королевы леди Мария. На него не смотрит, только слегка поджала губы. По другую руку королевы сидит маркиза Эксетерская Гертруда Куртенэ. В ее обязанности входит подавать королеве чашу для омовения рук, буде таковая понадобится, а леди Мария должна держать салфетку. Оглядев залу в поисках свиты Гертруды, он ловит взгляд Бесс Даррелл.

Он подходит к королю. Вместо «Зеркала Неаполя» на шее Генриха алмаз грубой огранки размером с крупный грецкий орех. На дублете темно-алого атласа – инициал королевы в золоте и жемчугах. Рукава Джейн, такого же цвета, сверху донизу расшиты инициалом Генриха: «Г. Г.», снова «Г».

Не глядя на него, Генрих протягивает руку за депешами. Король поглощен невероятной историей, которую – кровь Христова, а этот откуда взялся? – с присущей ему развязностью излагает мастер Секстон, шут.

– Я думал, вы запретили ему бывать при дворе.

Генрих настороженно улыбается:

– На самом деле я надрал ему уши. Но бедняге больше нечем зарабатывать на хлеб. Уилл Сомер болен, у него колика. Я посоветовал ему масло горького миндаля. Вроде бы итальянское снадобье?

Секстон гарцует по полу, напевая:

Наш славный Вилли приболел,

Теперь бедняжка не у дел.

Король говорит:

– Вы еще не обедали? Прошу за стол.

– А руки он вымыл? – орет шут. – Твое место ниже, Том. Где тут стол для стригалей? Где стол для сыновей кузнецов? Ступай, не задерживайся, пока не доберешься до Патни.

– Мастер Ризли, – говорит король, – мой писец. Садитесь.

– Кто, Ризли? – вопит Секстон. – Моя чернильница, мой пачкун, моя клякса? Леди, приголубьте его петушка, и он выпустит струю чернил. Скажи-ка, Пачкун, где твой дружок Рич? Как его кличут, сэр Кошель? Сэр Мошна или сэр Мошонка?

Зовите-меня краснеет. Занимает место за столом. Сейчас король остановит зарвавшегося шута, Генрих не любитель подобных скабрезностей, особенно когда рядом жена и невинная дочь. Разумеется, дамы не поймут шутку. Грегори называл Рича «Кошелем», но Грегори был тогда ребенком и не имел в виду ничего неприличного. Хочется верить.

Секстон подкатывает к ним:

– Что, Кошель нынче среди Паломников? Возможно, мы его больше не увидим, хотя это вряд ли заставит тебя рыдать, не правда ли, Пачкун? Нет, Пачкуну не нужны соперники – он будет счастлив, если мятежники сварят и сожрут Кошеля и выплюнут то, что не смогут переварить. Всем известно, что он предал Томаса Мора. Удивляюсь, что джентльмены с ним разговаривают. – Он оглядывает честную компанию – Удивляюсь даже, что Кромвель с ним разговаривает.

Кто-то необдуманно прыскает от смеха. Король хмурится. Но мастер Секстон разошелся не на шутку:

– Ваше величество, народ просит хлебушка. Почему бы не отдать им Сухарика?

Королева прикрывает рот рукой. На рукаве вспыхивают инициалы: «Г. Г. Г.». Леди Мария прилежно всматривается в скатерть, словно та нуждается в штопке.

Генрих говорит:

– Этот наглец невыносим, но вы не должны принимать его слова всерьез, милорд.

– Паломники тебя схрумкают! – орет Секстон. – Будут пережевывать, пока ты не превратишься в муку.

Король говорит:

– Не отвечайте, это его только раззадорит.

– А если придет император, тебя покрошат и зажарят. Будешь шкварчать, как еретик Тиндейл.

Невозможно ослушаться короля, но он не выдерживает:

– Мы не знаем наверняка, что Тиндейла сожгли.

– Да я отсюда чувствую вонь, – говорит Секстон.

При свечах Бесс Даррелл словно невесомый дух. Мысленно он расставляет ей платье, чтобы поместить в утробу ребенка, которого никогда не было.

– Милорд хранитель печати, – приветствует она его. – Ночной порой крадется мимо дамских опочивален.

– Смотрите на меня как на государственного секретаря. В этом качестве для меня нет запретных мест.

Она смеется:

– Итак, ваш друг при дворе. – Она говорит о Марии. – Опасно иметь таких друзей.

– В каком смысле?

Он притворяется недалеким, хочет услышать последние сплетни.

– Она считает, что однажды вы сделаете ее королевой. Что вы заключили соглашение. Разумеется, не на бумаге.

Едва ли это можно назвать соглашением, невозмутимо замечает он, но Бесс возражает:

– Не отмахивайтесь от подобных слухов. Они принесут вам уважение в глазах Полей и Куртенэ, а оно вам когда-нибудь пригодится.

– Они решили, что Тюдорам пришел конец? Говорили об этом?

– При мне никогда. Однако моя хозяйка Гертруда надеется, что король уступит советам и передаст управление в руки честных людей. Если бы оскорбление лорда Кромвеля считалось изменой, вы могли бы повесить ее завтра.

– Я мог бы перевешать половину знати. Хорошо, что ваша маркиза при дворе, под нашим присмотром. Хотя я предпочел бы кого-нибудь поприятнее.

– Кого же? – поддразнивает она. – Мег Дуглас?

– Разумеется. Мне так нравится Мег, что я предпочитаю держать ее под замком. Но скажите, Мария секретничает с вашей хозяйкой?

– Мария ни с кем ни о чем не разговаривает. Выжидает.

На очаровательном личике Бесс написан интерес, глаза горят. Ждет, что он заговорит о правах Марии и погубит себя? Он не исключает, что эта молодая женщина ведет двойную игру.

Он отворачивается:

– Куртенэ вас не обижают? Не попрекают Уайеттом?

Она кладет ладонь на живот:

– Нет никаких доказательств, что он здесь был. Куртенэ не упоминают его имени.

Он думает, куда им, разве они могут вообразить себе Уайетта?

Бесс говорит:

– При дворе ходят стихи, способные его погубить. Потому что весной он был с вами, а не с Болейнами.

Хожу с улыбкой напускной,

Когда на сердце боль и злость;

Я в дождь укрылся с головой,

Другие ж вымокли насквозь.

– Кровь, – продолжает она. – В наши дни кровь льется с неба. Они думают, он бросил друзей умирать. Интересно, где сейчас эти пятеро джентльменов? И кстати, где сейчас Уайетт?

– С армией короля. Не могу сказать точнее, мы словно две планеты, сошедшие с орбит. Но я слышал, он и его кентские молодцы не посрамили себя на поле брани. Разве он вам не пишет?

– Пишет. Но вы же его знаете. Не ставит даты, не указывает места, не хочет себя к ним привязывать. Никогда не добавляет обычного: «Кланяйтесь моим друзьям» или «Вы навеки владеете моим сердцем».

– Не сомневайтесь, владеете. Кто не даровал бы вам грамоту на владение?

Она бросает улыбку через плечо и растворяется в темноте так же стремительно, как появилась. Он трет пальцы, словно пытался схватить ее за край одежды, а поймал паучью сеть.

Он почти успевает дойти до собственной двери, но навстречу выступает другая женщина со свечой в руке. Джейн Рочфорд строга и бодра, словно спешит к заутрене.

– Кромвель? Где вы ходите? Она хочет вас видеть.

– Королева? В такой час?

– Леди Мария. – Рочфорд смеется. – Вылитая дочь своего отца. Если ей не спится, почему другие должны спать?

На Марии отороченный мехом халат из темно-красной парчи.

– Надеюсь, вас держат в тепле, – говорит он. – И хорошо кормят.

Он велел слугам искоренить сквозняки и не жалеть дров: хлеб, вино и вареное мясо приносят Марии каждый день на рассвете.

Она говорит:

– Теперь мне не нужен сытный завтрак. Если помните, я не могла обедать вместе со всеми в большой зале и сидеть ниже маленькой Элизы. В те дни, когда я была лишена титула, а Элизу называли принцессой.

Она не предлагает ему сесть, да он и не собирался.

Он говорит:

– Мы так долго трудились вместе, что я успел забыть некоторые из наших проказ. Я должен спросить, миледи, никто не пытался склонить вас на сторону мятежников?

– Мятежники могут выступать с моим именем на устах, но я им позволения не давала.

Что означает, да, пытались. И когда он подается вперед – он, лорд Кромвель, – она не двигается с места, только рывком соединяет полы халата, пряча белизну ночной рубахи, и тут же убирает руку, словно поняв, как нелепо выглядит ее жест. Он так близко, что может коснуться ее халата, но, разумеется, этого не делает.

– Вижу, вам с королевой пришелся по душе этот темно-красный. Он из Генуи?

– Да. Королева послала своего брата Эдварда в Хансдон привезти мои платья. Я сказала, что благодаря щедрости моего отца у меня хватает платьев, но он умолял сказать, чего бы мне хотелось. Эдвард Сеймур – истинный джентльмен. Какая жалость, что он еретик.

– Эдварда, как и всех нас, направляет король.

Господи помилуй, думает он, она изнемогает. Жаждет прикосновения, но ее положение не позволяет ей поддаться слабости.

Она говорит:

– Я слышала, совет обсуждал мое замужество. С молодым герцогом Орлеанским.

– Его обсуждают французы – вряд ли этим занят совет.

Французы не примут Марию, если Генрих не сделает ее наследницей. Чего, разумеется, король делать не намерен. Однако, если компромисс будет достигнут, брак с французом навсегда отдалит ее от императора и испанцев. Поэтому мы договариваемся.

Он говорит:

– Полагаю, вам хотелось бы жениха-испанца.

Она медлит с ответом.

– Отец так добр, что никогда не выдаст меня замуж против моей воли.

Отвечай на вопрос, думает он. Она, словно невзначай, оборачивается к нему спиной.

– Ваша забота обо мне была поистине отеческой.

Он видит ее лицо в зеркале, но она этого не замечает. Кто-то убедил ее, что мы связаны, пусть только молвой. Она меня предостерегает. Что ж, думает он, а я предостерегаю ее.

– А вам не хотелось бы выйти за англичанина?

– За кого? – выпаливает она.

Она смотрит на него сквозь зеркало. У нее перехватило дыхание. Вот пусть и не дышит некоторое время.

Нет ничего хуже, чем беспокойный ужин. Он слышит, как дождь стучит по свинцу. «Другие ж вымокли насквозь…» Еда камнем лежит в желудке, он идет к письменному столу – прибыли свежие новости из Йоркшира, – но обнаруживает, что думает о своей роскошной кровати. Король пожаловал ему пурпурные покрывала и занавески с серебряным шитьем, украшенные королевским гербом. Словно любовник, Генрих говорит ему: ты мой, бодрствуешь ты или спишь. На эти деньги можно содержать кавалерийский отряд, но Генриху нравится думать, что он достоин королевского дара. Он зажигает вторую свечу и зовет Кристофа развести огонь в камине. Он уже использовал свою долю дров и угля, выделяемую всем придворным, но плевать на расход, скажи им, что это для меня, а кто будет против, можешь с ними не церемониться.

Кристоф ухмыляется. Прислать Рейфа, чтобы с вами поговорил? Или хотите, чтобы вам спели? Он отвечает, нет, нет, нет, дела не ждут, но затем кладет голову на руки и, кажется, клюет носом. Он не здесь и не там: только что его освещал неверный отсвет камина, и вот солнечные лучи заливают Темзу у Ламбета, сорок лет назад, но что такое сорок лет в жизни реки?

Я отложил для тебя, говорит дядя Джон. Есть надо теплым. Слишком горячее или слишком холодное – и ты не почувствуешь истинного вкуса. Повар должен учиться. Нельзя вечно учиться на объедках.

На белой тарелке ароматный заварной крем. Он уже видел крыжовник, маленькие пузырьки зеленого стекла, кислые, как монах в постный день. Нужны свежие яйца и кувшин сливок, и только князь церкви может позволить себе сахар.

Дядя стоит над ним. Крем колышется, сладкий и пряный.

– Мускатный орех, – говорит он. – Мускатный цвет. Душистый тмин.

– А теперь попробуй.

– И розовая вода.

Улыбка Джона как благословение.

– На свете нет ничего зеленее английского лета, Томас. О нем англичане тоскуют на чужбине. И видят такую миску во сне.

На шелковом пути; в опаленных зноем степях, где за три дня не сыщешь ни источника, ни ручейка; в укрепленных городах варваров, где яичницу можно жарить на раскаленных солнцем камнях; во дворцах на краю карты, где линии расплываются, а бумага махрится. Клянусь Матерью Божьей, восклицает путешественник, клянусь девственностью святой Агаты, хотел бы я оказаться в Ламбете с тарелкой крыжовенного крема и ложкой!

Он трясет головой. Крему кое-чего недостает… Он представляет себя спустя сорок лет на месте, где стоит Джон. Он главный повар, облачен в бархат и даже не подойдет к мешку с мукой или раскаленному маслу. В руке бумаги, он раздает указания, и под его присмотром мальчишка, очень похожий на него, стряхивает миндальные лепестки в латунную сковороду, чтобы затем посыпать ими крем.

Потом можно сбрызнуть его парой капель ликера из цветов бузины.

У мальчишки, как у него, кудрявая голова, ободранные костяшки, ноги мерзнут на каменных плитах пола. На нем залатанный джеркин невнятного цвета. Под джеркином отпечатки отцовских пальцев: синяки меняют цвет от темно-фиолетовых осенних ягод бузины до ее бледных желтоватых цветков.

Все его тело пестрит синяками. Уолтер такой, говорит Джон, не может не драться. Весь в нашего папашу, упокой его Господи.

Если встать утром в конце июня, когда солнце высушит росу, можно сорвать лучшие соцветия бузины с верхних веток, орудуя палкой с крючком, или позвать знакомого великана. Дома высыпаешь их горстями на выскобленный стол. Вдыхая медовый аромат, перебираешь кончиками пальцев, выискивая самые красивые кисти. Мажешь каждый лепесток яичным белком. Если затем обмакнуть цветки в сахар, который у слуги богатого господина всегда под рукой, можешь хранить их до следующего года. И тогда безрадостным ноябрьским днем, когда кажется, что лето не вернется никогда, укрась торт засахаренными лепестками, пятиконечными звездочками – верный способ заставить вспыхнуть глаза леди или возбудить пресыщенное королевское нёбо.

Девятнадцатого октября мятежникам сдается Гулль. В Донкастере мэра и видных горожан насильно приводят к присяге. В виндзорской часовне мертвые рыцари на скамьях ордена Подвязки съеживаются от стыда в приступе колики, которую не излечить никаким миндальным маслом: внутри шлемов стонут графы Ланкастерские и графы Марки, Богуны и Бошаны, Моубреи и де Веры, Невиллы и Перси, Клиффорды и Тэлботы, Фицаланы и Говарды, и сам великий слуга государства Реджинальд Брей. Мертвых больше, чем живых, почему они не могут сражаться?

Когда опускается вечер, сизый свет растворяется в северных окнах, реку втягивает в темноту, словно во всемирный океан. Южные окна закрыты

ставнями, дворы опустели, стража сменяется у подножия лестницы. Вносят свечи; отражаясь в зеркалах, канделябры дробят мерцающий свет. Внутренние покои короля сияют, словно шкатулка с драгоценностями.

Король говорит:

– Я помню, как умер мой отец… Епископ Фокс подошел ко мне на вечерней службе: «Король, ваш отец, скончался. Боже, храни ваше величество». Я спросил, когда отлетела его душа? Фокс не ответил. Я догадался, что отец лежит неприбранный, остывая в смертном поту, пока его советники беспрепятственно строят козни. Еще два дня министры делали вид, будто он жив.

И были правы, думает он. Готовились к плавному вступлению на престол нового короля.

– Подумайте, как им пришлось притворяться, – говорит король, – расхаживая по Гринвичу с каменными лицами. – Я бы так не смог, я человек прямой, чуждый притворства. Видите, милорд, даже готовясь передать мне власть, мои советники уже лгали мне. Как только вы становитесь королем, больше никто не говорит вам правды.

– Я мог бы…

– Вы могли бы смягчить правду. Сказать то, что, по вашему разумению, я способен вынести. Хотя я не скажу: «Милорд, я хочу знать неприкрытую правду». Такого я не потребую. Как любому человеку, мне свойственно тщеславие.

Он боится, что Грегори прыснет со смеху.

Генрих говорит:

– Мне оставалось два месяца до восемнадцати, поэтому мою бабку назначили регентшей. Но уже в день середины лета нас с Екатериной короновали вместе.

Сегодня в покоях короля поют по-испански: мальчишка завел песнь о войне с маврами, скорее меланхоличную, чем воинственную. Мавританскому королю доставляют послания: храни вас Господь, ваше величество, плохие вести. «Las nuevas que, rey, sabras no son nuevas de alegria…» [46]Нотная запись непривычная, партия певца прописана алыми чернилами.

Генрих говорит:

– Когда ребенок сидит на стуле, его ножки болтаются в воздухе. Вы улыбаетесь и жалеете кроху. Вообразите, что вы юноша, севший на трон… вы чувствуете себя так, словно ваши ноги болтаются, как у того ребенка…

Он видит, что Грегори улыбается. Думает о Хелен, тогда еще не жене Рейфа, как она привела своих деток и усадила на скамью в Остин-фрайарз и их ножки торчали вперед.

Король говорит:

– Мой отец говорил, самым явным знаком того, что Господь благословил его правление, было рождение принца вскоре после его женитьбы на моей праведной матушке. В январе они сочетались браком, в сентябре Артур уже лежал в колыбели. Вы же понимаете, не грех разделить ложе, если вы помолвлены, а если и грех, за него легко получить отпущение. Господь наградил их многочисленным потомством. Я помню нас всех в Элтеме в большой зале, когда нас посетил Эразм.

– Упокой Господь его душу, – говорит Грегори. Он надеется, что Эразм не восстанет из мертвых, не напишет еще книг.

Король осеняет себя крестным знамением, драгоценные камни ловят свет.

– Я был тощим восьмилетним мальчишкой, склонным к наукам. Сидел под балдахином, справа сестра Маргарита, десяти лет, уже обрученная с шотландским королем. По другую сторону моя сестра Мария, белокурая, как ангел. Эдмунд был еще младенцем, – вероятно, его держала на руках какая-нибудь знатная дама. Была еще одна сестра, Элизабет, но она умерла в три года, я совсем ее не помню, но говорили, красотой она не уступала Марии. Очень жаль, ее брак мог принести выгоду королевству. Эдмунд ненамного ее пережил. И Мария умерла. И Артур. Остался только я. И Маргарита, далеко за границей.

Трудно сказать, жалуется король или поздравляет себя. Его губы измазаны сладкой и крепкой мальвазией, король выпил не один кубок, он вытирает рот салфеткой, взгляд устремлен вдаль.

– Никто не может представить, какая тяжесть лежит на плечах короля, – говорит Генрих. – Всю жизнь быть государем, знать, что на тебя смотрят как на государя, быть образцом добродетелей, сдержанности, усердия в науках. Иметь ум живой и в то же время обладать мудростью Соломона. Радоваться тому, чем другие стараются тебя радовать, иначе прослывешь неблагодарным. Смирять желания, забыть, что ты человек, и помнить лишь о том, что ты король. Ни минуты праздности, дабы меня не увидели праздным. Вечная готовность доказать, что я достоин, что я заслуживаю места, на которое поставил меня Господь… Однажды в юности я бахвалился перед послом своей ногой: «Разве у французского короля такие икры?» И мои слова ему передали, и вся Европа смеялась надо мной, тщеславным мальчишкой, и, несомненно, смеется до сих пор. Но в молодости я часто задавался вопросом: если Господь создавал Франциска с большим тщанием, чем меня, к кому из правителей Он более благосклонен?

Томас Мор однажды спросил, можно ли быть другом королю? Он думает, когда я впервые увидел Генриха, это было как в басне «Лев и Лиса». Я затрепетал от одного его вида. Однако во второй раз я подобрался чуть ближе и присмотрелся. И что я увидел? Его одиночество. И, как Лиса, шагнул вперед, и вступил в разговор со Львом, и никогда больше не оглядывался.

Король говорит:

– Я не получил никакой выгоды от брака моей сестры Маргариты с шотландцем. Сплошные заботы и вечные расходы. И дочь выросла под стать матери, затеяв интрижку с Правдивым Томом.

Он надеялся, что король смилостивится над Мег Дуглас и переведет ее из Тауэра в не столь строгое заточение, но, очевидно, сейчас не время поднимать эту тему.

– На севере говорят, вы хотите на ней жениться.

Грегори захвачен врасплох:

– Что?

– Нет надобности отпираться, – говорит король. – Я всем говорю, что Кромвель на такое не осмелится. Даже в мечтах.

Он чувствует, что должен поддакнуть:

– Я и впрямь не осмелюсь.

Король спрашивает:

– Знаете, говорят, будто прежний шотландский король не пал при Флоддене. Люди верят, что он покинул поле боя и уплыл паломником в Святую землю. Его видели в Иерусалиме.

– Только в фантазиях, – отвечает он. – Разве лорд Дакр, знавший короля, не видел его обнаженных останков? Да и милорд Норфолк скажет вам, что в дыры плаща, куда короля поразили мечи, можно было просунуть кулак.

Генрих говорит:

– Тогда я побеждал во Франции, поэтому ничего сказать не могу. Однако я гадаю, умирают ли правители так же, как простые люди. Я чувствую, отец смотрит на меня.

– В таком случае, сэр, он видит ваши трудности и восхищен вашей решительностью.

– Откуда мне знать? Если мертвые могут нас видеть, их не радует, как изменился мир, который они знали. Как и то, что их власть больше не в почете. Отец Норфолка считал своей заслугой победу при Флоддене, но в Дареме за победу благодарят святого Катберта. А теперь идут за его знаменами.

Король машет рукой лютнисту:

– Спасибо, оставь нас.

Мальчишка запихивает ноты в сумку и убирается восвояси. Король берет свою лютню. О сияющая луна, свети мне до утра… Ay luna tan bella, освети мне путь к сьерре. Генрих говорит:

– Я любил Екатерину. Вы знали? Что бы ни случилось потом.

Он думает, если Генрих забудет слова, здесь я ему не помощник. Хотя, скорее всего, луну скроют облака. Дамы смотрят с башен Альгамбры. Всадники

гарцуют внизу на белых жеребцах с позолоченными копытами, на копьях плещут вымпелы. Вся труппа, мавры и христиане, вереницей исчезает в древней тьме золотым проблеском на фоне ночи: города подвергаются осаде и сдаются, воины вспыхивают и сгорают в любовных кострах.

Генрих поет: «Я смуглянка молодая, роза без шипов». Говорит:

– Екатерина клялась, что любит меня. Почему же она пыталась меня погубить?

Он не отвечает. Он научился молчать, но с лучшим результатом, чем Мор.

Король останавливает на нем взгляд:

– Дети, умершие в ее утробе, думаю, они не хотели рождаться, приходить в этот недобрый мир. Но куда они ушли? Говорят, нет спасения для некрещеных. Некоторые считают, Господь не способен на такую жестокость. Бог не так жесток, как люди. Бог не зашьет человека в коровью шкуру и не спустит на него собак.

Оказывается, Джон Беллоу выжил. Ричард Кромвель видел его, подлатал и снова приставил к службе. Он и вправду попал в плен, где с ним не церемонились, и в Луте был посажен в колодки. Но никто Беллоу не ослеплял и не травил собаками. Он надеется, никто не рассказал Беллоу, какой смертью тот якобы умер. Услышав такое, недолго утратить веру в ближнего.

Советники прежнего короля, думает он, знали торговлю и закон. Брей умер в своей постели, но его протеже Эмпсона и Дадли схватили до того, как они узнали о смерти старого короля. В апреле, на рассвете выдернули из дома и протащили в тюрьму по Кэндлуик-стрит и Истчип. Якобы они стягивали в столицу войска, замышляя взять в плен молодого Генриха. Вздорное обвинение. Их сгубила человеческая ненависть. Эти двое были недобрыми ангелами короля, но, Бог свидетель, наполняли его казну.

Порой, исполняя свои обязанности, он ощущает приступ острого ликования – он, Кромвель, лорд – хранитель малой печати. Однако никогда не признается в этом: ему непременно напомнят о переменчивости фортуны. Взять его собственную жизнь – разве нужны другие примеры? Он говорит Рейфу, из тщеславия мы делаем вид, будто можем предвидеть каждый наш шаг. Но когда кардинал пал, я стоял перед лордами Англии, как голенький младенец, ожидая, что меня выпорют. Я послал тебя подмазать Норфолка. «Если мастер Кромвель получит место в парламенте, он сможет сослужить вашей светлости хорошую службу». Господи, говорит Рейф, я думал, он даст мне пинка и я буду лететь до самого Ипсвича.

Есть время для молчания. Есть время, когда надо выговориться. Он увидел, в чем нуждался Генрих, и удовлетворил его нужду, однако правитель не должен знать, что в тебе нуждается, – ему не понравится быть в долгу перед своим подданным. Подобно министрам прежнего короля, он денно и нощно трудится во благо своего господина. Итальянец Никколо говорит, что государь, имея такого слугу, должен относиться к нему с уважением и добротой, оказывать ему почести и осыпать его богатством. Возможно, когда книгу переведут на английский, наш король ее прочтет.

В Сиене есть фреска: на стене изображена аллегория Доброго правления, и каждый может видеть, как выглядит Мир. Это женщина, светловолосая, с косами. Головой она оперлась на руку, повернутую так, что видна нежная кожа на внутренней стороне. Платье на ней из такой легкой ткани, что, соскользнув с груди, струится вдоль тела, собираясь в изящные складки там, где тайна скрыта между расслабленными, раздвинутыми ногами. Ее ступни босы – умные, словно руки.

На противоположной стене Дурное правление схватило Мир за волосы, и та с криком упала на колени.

Он вспоминает громадные кувшины во Флоренции, их прохладный изгиб под рукой. Они как будто переговаривались промеж себя, незаметно подвигаясь друг к другу и издавая звон. Масло и вино в гулких кувшинах; хлеб и вино, тело Господне; разломленные белые пшеничные буханки на столах богачей, в то время как бедняки едят ячмень и рожь. В Виндзоре джентльмен приносит еще свечей, их отблеск пробегает по потолку, словно вторжение херувимов. Король сверяется с песенником. Он поет, что сгорает непрестанно; он прекрасная горянка, мучимая неразделенной любовью, дева из Эстремадуры.

Они с Рейфом переглядываются. Рейф, который хорошо знает испанский, озадачен, как и он. Генрих говорит:

– Сухарь, вы беседовали с моей дочерью? Знаете, что французы ее сватают?

– Их предложения неискренни и к тому же оскорбительны. Французы считают, что у вашего величества не будет сыновей, хотя они у вас наверняка будут.

– Напишите Гардинеру, пусть скажет Франциску, что мы не заинтересованы. – Генрих вновь склоняет голову над лютней. – Хотя, возможно, нам стоило бы выдать ее замуж, пока она совсем не увяла. Мария пошла не в мать. В ее годы Екатерина была красавицей.

Зовите-меня говорит:

– Должно быть, у французов есть шпионка среди фрейлин королевы. Клянусь, они знают, когда у нее женские дела.

– Джейн Рочфорд, – говорит он.

– Вы это знаете, сэр?

– Нет, – отвечает Рейф. – Но лорд Кромвель человек азартный.

На ужин пироги с миногой, мерланг, суффолкский сыр и фазаны, добытые их соколами. Встаешь из-за стола, и тебе кажется, что ты пировал у сказочного волшебника. Думаешь, что пробыл в королевских покоях два часа, а выйдя, обнаруживаешь, что минуло семь столетий.

На третьей неделе октября лорд Дарси сдает мятежникам Понтефракт. Знатных вельмож, которые там укрывались – среди них сэр Уильям Гаскойн, сэр Роберт

Констебль, а также Эдмунд Лир, архиепископ Йорка, – заставляют принести присягу Паломника.

Ему поступают известия из Европы. Французские советники папы убеждают того воспользоваться ситуацией и обнародовать буллу об отлучении. И тогда любой подданный Генриха будет волен примкнуть к повстанцам. Он говорит Рейфу:

– Скажи джентльменам короля, и пусть передадут друзьям: если я обнаружу, что кто-нибудь пишет в Рим, то буду считать это изменой, без дальнейших расследований. Остается надеяться, что епископ Римский не станет вмешиваться, потому что не понимает, что происходит на севере. Куда ему. Мы и сами понимаем мало. А если он слушает Поля, то едва ли отличит Понтефракт от страны Кокань.

Король посылает ланкастерского герольда в Понтефракт с воззванием. Роберт Аск не дает тому зачитать послание короля, но вежливо предлагает убираться из замка и из города. Говорит, что его Паломники не намерены отступать и пойдут на Лондон.

Норфолк перебирается из своего дома в Кеннингхолле в Кембридж, затем из Кембриджа на север. Утверждает, что от всего сердца скорбит о поступке лорда Дарси, который в родстве со знатнейшими семьями севера и вроде бы перешел на сторону мятежников. Наверняка какое-то недоразумение. Следует оставить этому вельможе путь к отступлению, дабы впоследствии он мог заявить, что его неправильно поняли.

Дарси изображает прямодушного старого воина, но по натуре двуличен. Кардинал к нему благоволил – он предал кардинала, составив список обвинений, которые распалили королевский гнев. Он клянется в верности, но последние три года только и делал, что выспрашивал у Шапюи, можно ли надеяться на императорские войска.

Престарелому лорду Тэлботу, увенчанному хвалами его верности, расточаемыми хранителем малой печати, велено отправляться в Донкастер. Пришло время дать мятежникам отпор, хотя прямых столкновений следует избегать, уклоняясь от битв доколе возможно. Важно удерживать мосты и дороги, не пропустить мятежников южнее Трента. В Виндзоре он вместе с Генрихом обдумывает, как улестить врага. Ему, злодею Кромвелю, предстоит смягчить слова короля. Обещайте что угодно, лишь бы мятежники разошлись. Посейте между ними разлад. Настройте джентльменов против слуг, крестьян против монахов. Их ничего не связывает, кроме знамени, а что такое знамя? Размалеванный кусок ткани.

Норфолк пишет, что ест и спит только в седле. На час преклонил голову, так его трижды будили, и всякий раз это были болваны с противоречащими друг другу известиями. «Не судите меня за те обещания, которые я дам мятежникам… ибо я не буду их выполнять…»

Я буду лгать, говорит герцог, ради Англии. Со следующим посыльным пришлите мне указания, как именно мне лгать. Снарядите самого быстрого гонца.

Возле Донкастера Паломники делают остановку. Герцог со своим жалким войском следует их примеру. Он плачется, что его сердце разбито: ему бы хотелось сокрушить предателей, а приходится с ними договариваться. Герцог

встречается с предводителями восставших, выслушивает их жалобы, выдает охранные грамоты двум Паломникам, джентльменам, чтобы те подали королю петицию.

Итак, перемирие. Временное, непрочное… И все же я верю, говорит он своим мальчикам, что Аск дрогнет. Сердце в его груди – не сердце воина, и оно трепещет при мысли о кровопролитии. Стоит Паломникам согласиться на переговоры, и они утратят то, что толкало их вперед, – уверенность в своей грубой силе. Ноябрьские ветра продуют их шатры, местность вокруг будет все враждебнее, людям и лошадям перестанет хватать корма, за ночь вода в ведрах начнет покрываться льдом, башмаки прохудятся, порядка будет все меньше, а болезней все больше. В конце концов, наши карманы глубже, наши доводы убедительнее, наши пушки лучше. Мы станем тянуть время, придет зима, и все закончится.

За несколько часов до того, как король отправляется почивать, паж зовет четырех хранителей королевской спальни, и четыре хранителя королевского постельного белья приносят простыни. Прежде чем застелить чехол, соломенный матрац во всех местах протыкают кинжалом, не забывая молиться за короля, которому желают преодолеть все испытания предстоящей ночи. Когда ткань натянута, один из хранителей садится на кровать, со всевозможным почтением заваливается назад, подтягивает необутые ноги и прокатывает поперек кровати, а затем обратно. Если джентльмены не обнаруживают ничего колющего или торчащего, поверх чехла застилают перины и начинают колотить по ним что есть мочи – раздаются глухие удары кулака в пух. Все восемь хранителей, ступая в ногу, туго натягивают простыни и перины и, подворачивая их по углам, осеняют кровать крестом. Далее следуют меховые покрывала, мягкое шуршание и шорох, затем балдахин задергивают, и паж садится охранять постель.

Долгий день завершается. Если Генрих решает посетить королеву, до ее двери короля в ночном одеянии сопровождает эскорт. Днем король так увешан драгоценностями, что на него, как на солнце, больно смотреть. Но когда он снимает вышитый жемчугами халат, то похож на призрака в белом, и под льняной рубахой только кожа. Чтобы плодить новых королей, он должен обнажиться и проделать то, что проделывает любой бедняк или кобель. За дверью джентльмены короля ждут, когда он справится. Они стараются не думать о юной неопытной королеве, о ее румянце и вздохах и о возбужденном короле, который кряхтит и потеет. Помолимся, чтобы у него получилось. Он должен оплодотворить целую нацию. Если король не способен зачать ребенка, беда грозит каждому англичанину, и вскоре чужеземцы явятся к нам посреди ночи и наставят нам рога.

Когда король возвращается к себе, ему приносят кувшин с водой, зубной порошок, ночной колпак. В зеркале он в последний раз за день видит себя, его приветствуют смазанные черты молодого короля, которым он был когда-то, – король наших сердец, защитник веры. Теперь перед зеркалом стоит обрюзгший мужчина средних лет: «Господи, я работаю над этим и работаю над самим собой: я стал сам для себя землей, требующей тяжкого труда и обильного пота».

Грегори говорит:

– Отец, когда король разрешил мне поискать книги про Мерлина, я открыл сундук, и что же я там увидел? Три тома, на обложке соколы и буквы: «АБ». Я спрашиваю себя, знает ли об этом король?

Он подносит палец к губам.

Грегори говорит:

– Это как с женой Кранмера. Он и знает, и не знает. Все мы можем так делать, но король делает это лучше всех.

Им тоже пора в постель, но у него осталась еще одна забота.

– На кухню, – говорит он.

– Ты не наелся? – Грегори не верится.

Наверху они встречают Рейфа с бумагами в руках и завтрашними заботами в глазах.

– Я думал, ты давно дома с Хелен, – говорит он.

Рейф трет переносицу, прогоняя сон:

– А сами-то, хозяин, еще одно любовное свидание?

– Нет, но у меня есть billet doux. Норфолк пишет каждый час.

Рейф говорит:

– Вечером король сказал, если это остановит мятежников, Норфолк может пообещать, что Джейн коронуют в Йорке. Это принесет городу выгоду, поэтому они согласятся. И в крайнем случае Норфолк может предложить им парламент на севере.

– Они хотят выбить меня из колеи. Думают, за пределами Лондона Кромвель сразу ослабеет.

Рейф говорит:

– По-моему, королю не больше вашего хочется ехать в Йорк. Однако каждая неделя, которую Норфолк выигрывает обещаниями, приближает нас к зиме.

Неужто мятежники клюнут на обещания? На их месте я бы подождал их исполнения.

Рейф зевает:

– Зовите-меня составил список джентльменов, которые присягнули Паломникам. Вы знаете, что среди них лорд Латимер? Возможно, король повесит его и вы женитесь на Кейт Парр. Как ей обещали.

– Стыдись! – говорит он. – Ты же знаешь, я помолвлен с леди Марией и Маргарет Дуглас. Мне подавай невесту королевского рода.

За дверями королевской спальни выставлена ночная стража, но перед уходом из спальни джентльмены кладут у королевского ложа меч и оставляют зажженную свечу. Если враги преодолеют и этот рубеж, королю придется защищать себя самому.

В Виндзоре никогда не хватало места для кухонь, поэтому дворы утыканы временными пристройками, которые ветшают и пропускают дым со времен, когда Адам был молод. Он хочет убедиться, потушен ли огонь, чисты ли кастрюли, хочет удостовериться собственными глазами. Что толку защищать короля от мятежников, если тот сгорит из-за нерадивого слуги, который ворочает вертел? Иногда по ночам он внезапно устраивает проверки – как днем нежданным является на монетный двор Тауэра и требует взвесить золотые монеты.

Поднимается туман, он трет замерзшие руки. Ему знакомы все задние дворы, во всех королевских дворцах он знает все забытые и неохраняемые закоулки. В углу, в свете факела, он видит шута Заплатку, который кидает в стену замшевым мячом.

– Секстон? Почему ты не у себя?

Шут подхватывает мяч:

– В Заплаточном городе нет комендантского часа.

– Нечего шататься рядом с кухнями.

Шут прижимает мяч к груди:

– Никогда не знаешь, где найдешь новую шутку.

Он выхватывает у шута мяч, подкидывает вверх, ловит:

– Твоя голова, Заплатка.

Перекидывает мяч через стену, не на шутку перепугав случайного прохожего, – из темноты доносится визг.

Вернувшись, он видит стражника под своей дверью. Доброй ночи и храни вас Господь, говорит тот. Силуэты остальных стражников виднеются во всех альковах и нишах.

Кристоф ждет его возвращения. Его спаниель сопит, его мармозетка что-то лепечет, сгорбившись у очага. Когда он впервые ее принес, король сказал: «Осторожнее, лорд Кромвель, у моего отца была обезьянка, так она зубами и когтями разорвала в клочья одну из его памятных книжек. Обрывки склеили, но никто не мог понять, что там написано. Вот и вышло, что некоторые

джентльмены живут в богатстве, вместо того чтобы попрошайничать на улицах, потому что отец не потребовал с них налогов, а те, кого следовало упрятать в тюрьму, сидят себе в тепле и уюте, потому что обезьянка изменила их судьбу».

– Грегори уже улегся, – зевает Кристоф и рассеянно целует его в щеку. – Не засиживайтесь, сэр.

Кристоф топает к своему тюфяку, почесываясь, стягивает джеркин. В одиночестве он – лорд Кромвель – вынимает из-под рубахи кинжал. Если какой-нибудь великан-людоед с севера влетит вверх по лестнице, защитит ли он своего сына, или сыну придется его защищать? Как говорит король, Грегори обещает стать жилистым и крепким, с острым глазом атлета и челюстью бойца, привыкшего к тяжести шлема. Но сейчас он по-детски шепчет в темноте:

– Король увидел бы книги Анны, если бы захотел. Короли способны видеть сквозь каменные стены, способны слышать слова, сказанные во времена Утера Пендрагона. Они чувствуют острее, чем обычные люди, – как паук чувствует палец, прежде чем его коснешься. Король больше зверь, чем человек, но никому не передавай моих слов, иначе их могут неверно истолковать.

Грегори падает головой на подушку.

– Могут? – переспрашивает он. – Возможно, тебе следует осмотрительнее выбирать темы для беседы. Людям рубили головы и за меньшее.

Думаешь, будто правитель живет в особых сферах, выше и чище прочих людей. Но возможно, прав Грегори и правитель вовсе не человек? Если подвести итог, получится ли человек в сумме? Правитель собран из осколков и фрагментов прошлого, пророчеств и снов его рода. Волны истории бьются внутри его, поток грозит унести его с собой. Его кровь не принадлежит ему одному – это древняя кровь. Его сны не его сны, это сны Англии: сумрачный лес, одинокая пустошь, шелест листьев, отпечаток драконьей лапы, над озерной водой появляется рука. Предки врываются в его сон, чтобы упрекнуть, предостеречь, разочарованно покачать головой. Во время коронации Бог преображает государя, его человеческие слабости исчезают, а достоинства растут; но этой вспышки света должно хватить на всю его жизнь. Мгновенное излияние благодати должно поддерживать его тридцать, сорок лет, до скончания смертных дней.

Он лежит без сна: барон Кромвель, лорд – хранитель малой королевской печати. Разум несется через долины и реки, туда, где мятежники в своих походных шатрах ворочаются во сне и проклинают его имя. Все дальше, дальше на запад, через реку Теймар, туда, где сыны Корнуолла мерно дышат в холодном поту и эль бурлит в их жилах. Где Болстер в своей пещере пускает громадные пузыри в подводных глубинах и видит во сне, как всплывает на поверхность, как меряет громадными ступнями долины и горы, переходит вброд реки, пятой обрушивает мосты. Как входит в Лондон, чтобы набросить сеть на королевских министров, свернуть им шеи и перемолоть их, как специи, для своей овсянки.

Великану не под силу вообразить, что значит быть обычного роста, не понять, каково это. Никогда не торговаться, не обманывать – зачем ему, если все расступаются, стоит хрустнуть пальцами?

В детстве думаешь, что великана надо убить, но с возрастом умнеешь. Представь, что встретил его случайно: ты собираешь хворост или проверяешь кроличьи силки, а он гуляет у входа в пещеру или лезет в гору – вырывать с корнем громадные дубы. Великаны одиноки, они не знают других великанов. Иногда им нужен кто-то вроде Джека, чтобы развлекал их, был на побегушках и учил своим песням.

Пересиль страх, не упусти удачу. Если знаешь, как разговаривать с великанами, ты можешь его околдовать. Чудовище станет твоим созданием. Он думает, ты служишь ему, а на деле ты служишь себе.

Он вертится без сна – он, лорд Кромвель. Встает, открывает ставни. Дождь. Он заслоняет ладонью свечу. Поднимает голову к потолку. Он не великан – скорее развеселый Джек. Ты оставляешь дом и направляешься на восток, пересекаешь море и думаешь, что Болстер позади, а он впереди. Куда бы ты ни прибыл, он уже там. Здесь, в Виндзоре, где набухшая Темза вздымается под твоими стенами, дождевая вода журчит в трубах и водосточных канавах, здесь после всех лет сливаются реки и соединяются дороги.

В свободные минуты он совершенствует свой греческий. Старый епископ Фишер начал изучать этот язык после семидесяти, и ему не хочется уступать мертвому прелату. Через пару лет он надеется обсуждать с богословами тончайшие оттенки смысла в переводах. На этой неделе он читает сборник писем древних философов и воинов, хотя странно, что у Александра хватало времени на письма. Наш король не любит писать сам; долгие мучения – и никакого результата. Вместо этого Генрих правит чужие рукописи и делает странные пометки на полях. Возможно, великий македонец поступал так же – отложив лиру, бормотал рабу суть послания, и раб, Томас Ризли тех дней, записывал, сидя в шатре жарким безветренным днем, и аромат ладана прогонял вонь боевых слонов.

Давным-давно в Венеции он купил эту книгу, веря, что когда-нибудь у него найдется время для учебы. Она напечатана в типографии Альда Мануция, с маркой-дельфином: чистенькая, только на одной из страниц отпечаток пальца предыдущего владельца. Иногда он размышляет, кто был этот человек и почему расстался с таким сокровищем. Возможно, умер, и наследники продали книгу, отпечаток пальца и все остальное. Возможно, утратил интерес к Античности, занялся делами и завтра утром выйдет на пьяццу с корзиной и уличным мальчишкой-носильщиком и будет выбирать оливки и тыквы, кедровые орехи и чеснок.

В детстве Томас боялся реки, высокого прилива, когда вода подкрадывалась к лодыжкам. Боялся, что река выйдет из берегов и расплещется, словно небеса над нами, – он никогда не видел моря, поэтому представлял себе это именно так. Он думал, реку следует огородить стенами или поднять берега, чтобы прохожие могли ходить по улицам, не замочив ног, и смотреть, как река поднимается. Вообразите, что он почувствовал, попав в Венецию. Внутри него встрепенулся и заплакал ребенок: «Глядите, глядите, что эта вода наделала! Я предупреждал!»

В Венеции при свете факела он видел нарисованные небеса и высоко над каналом лицо женщины в пространстве между планетами. Он вернулся разглядеть фреску при свете дня и увидел на стене целый мир с чешуйчатыми континентами и синими морями, лесами, где олени выпрыгивают из укрытий, а нимфы с птичьими головами распевают на ветках. Он видел скачущего вдаль разодетого всадника, подковы его лошади были повернуты к смотрящему. Подковы задержались в памяти, а всадник растаял среди поваленных колонн, уменьшившись до точки и пропав из виду.

Иногда Генрих спрашивает:

– Все еще читаете письма древних, лорд Кромвель? Что выучили сегодня?

Он отвечает:

– Я выучил ars longa vita brevis[47]. Как это будет по-гречески.

– Это Гиппократ, – говорит Генрих. – Жизнь коротка, а наша задача так велика, что мы умрем, прежде чем успеем…

Король осекается. Для подданных считается изменой рассуждать о смерти короля или предрекать ее, но Генрих говорит сам о себе, хотя выглядит смущенным, словно и в его устах это преступление.

– Жизнь коротка, искусство вечно, случай шаток и переменчив, опыт опасен, суждение затруднительно. Я думаю, суть в этом.

Он кланяется:

– Благодарю за науку, сэр.

Каждый божий день ты должен упражняться в придворной науке, а каждую ночь – в искусстве правления и никогда не достигнешь совершенства. Как сказал на своем языке Чосер: «Столь мало жить, столь многому учиться»[48].

В понедельник, тринадцатого ноября, в начале шестого утра, купец и член парламента Роберт Пакингтон вышел из своего дома в Сити на раннюю мессу. Туман накрыл одеялом улицы вокруг Чипсайда, колокола звонили со всех окрестных церквей. Пакингтон направлялся к церкви Святого Фомы Аконского и внезапно упал на землю. Поденщики, которые собираются на Соупер-лейн в ожидании работы, впоследствии будут утверждать, что слышали грохот, треск или негромкий взрыв, словно кулак великана вонзился в подушку.

Другие прихожане, шедшие сзади, бросились к упавшему, закричали, к ним присоединились поденщики, шум привлек местных жителей, которые, зевая, выскочили на улицу со светильниками в руках, в ночных чепцах и одеялах. Когда подошли к Пакингтону, тот был уже мертв. Тени в тумане, женский визг: «На помощь! Убили!» Мужчины побежали за стражей.

Собралась толпа. Пакингтона опознали – не последний человек в ливрейной компании торговцев тканями, один из наших видных горожан. Прибыл лекарь, который установил огнестрельную рану. Стрелявшего никто не видел.

На часах еще нет семи, а его, лорда Кромвеля, уже осаждают в Остин-фрайарз. Мне нечего вам сказать, повторяет он, пробираясь сквозь толпу членов гильдий, нужно выслушать свидетелей. Откуда пришел убийца? Куда направлялся? И как в таком тумане разглядел Пакингтона? Потому что именно Пакингтон был его целью – никто не станет стрелять в мирных прихожан, спешащих к мессе.

– Позовите Стивена Воэна, – просит он.

Он поручил старому другу приглядывать за монетным двором, работа как раз для него, как и любая другая, требующая твердости и острого глаза. К тому же Воэн – старый приятель Пакингтона. Является коронер со своими чиновниками. Новость сообщают братьям покойного. Лорд-мэр объявляет награду за сведения об убийце. Друзья Пакингтона увеличивают сумму. Тем временем работники заносят тело в дом, кто-то заплатил им, чтобы оттерли кровь. Пакингтон не понял, что в него выстрелили. Лекарь говорит, он ощутил только полет, когда Вестчип приподнялась и приняла его в свои объятья. Умер, не успев прочесть «Отче наш».

Никто не видел на улице чужака. Ни вспышки в тумане – как бывает при выстреле из аркебузы. Ни свертка, в котором могла быть завернута аркебуза. Злоумышленник мог стрелять одной рукой из пистоля, который спрятал в плаще. И более того, из оружия с колесцовым замком, которому не нужен запал. Такого оружия в Лондоне немного. Оно запрещено в некоторых странах, но это не остановит злодея. Если пистоль еще при нем, он себя выдаст. Если он его спрятал, то скоро оружие найдут. Если бросил на дно реки, что вернее всего, то искать нечего – но в таком случае негодяй денег не считает.

Пакингтон был евангельской веры и все эти годы перемещался между Англией и Фландрией не только по делам торговым, но и реформатским. Он нес домой слово Божие, когда за это полагалась смерть.

– Он видел Тиндейла прямо перед… – начинает торговец тканями, но он поднимает руку:

– Я не могу слушать то, что вы мне говорите. Если вы сами знакомы с Тиндейлом, я не должен этого знать.

Я ваш брат во Христе, думает он, но я также слуга короля.

К полудню он посещает вдову Пакингтона, она из гильдии скорняков. Они с Робом усыновили двоих детей, не считая его пятерых от первого брака, и теперь город хочет знать, что с ними будет. Главный судья Болдуин, отец первой жены Роберта, выражает желание стать их опекуном.

– Берегите себя, Кромвель, – говорит ему судья. – Не сомневаюсь, что этот убийца выслеживал вас, а вы его не замечали.

– И что мне делать?

– Носите кольчугу.

Он носил ее под придворной одеждой во время волнений в городе. В кольчуге было жарко, а к вечеру она обручем стягивала ребра, теснила грудь. Такое же чувство испытываешь, когда стоишь перед королем, в руках список дел, и все неотложные, а его величество решает поговорить о целебных свойствах лилий. Тебе кажется, ты сейчас задохнешься, тебе больно оттого, что ты привязан к письменному столу, когда твой племянник на востоке, Уайетт на севере, а Норфолк в далеком шатре решает судьбу государства. А теперь говорят, что отныне ему не видать покоя ни на собственных улицах, ни в собственном доме, ни в собственной постели, где у кроватного столбика стоит Уолтер, с ухмылкой тыча пальцем в пурпурные с серебром королевские занавески.

От того места, где убили Пакингтона, до Остин-фрайарз рукой подать. Он сидит в гостиной женщины, которая первой позвала на помощь. Слушает, как она пересказывает все события того утра – с тех пор, как открыла глаза, до того, как выбежала на улицу. Впрочем, ясно, что она не видела ничего, за исключением сна две-три ночи назад, когда город предстал перед ней, объятый пламенем. Снаружи бурлит неспокойная толпа; если бы убийца заявился сейчас и выстрелил снова, они бы точно разглядели все. Поденщики с Соупер-лейн меняют показания. Теперь они вспомнили высокого мужчину, который что-то сжимал под плащом и бормотал себе под нос, когда переходил улицу.

Судья Болдуин огорчен утренними событиями:

– Высокий мужчина в плаще? Что нам это дает? Вы же не думали, что его застрелил голый карлик?

– Но, лорд Кромвель, – умоляет поденщик, – он был похож на итальянца!

– А как, по-твоему, выглядит итальянец в густом тумане?

Поденщики мнутся, шаркают ногами. Он дает им несколько монет за старание.

– Нечего их баловать, – замечает Болдуин, но он говорит, помилуйте, судья, они всего лишь мальчишки, они занесли тело в дом и, проявив себя неравнодушными горожанами, потеряли дневной заработок.

– Послушайте, Кромвель, вы не завоюете любви низших, разделяя их заботы и раздавая монеты направо и налево. Хотите, чтобы вас уважали, ведите себя так, словно вам нет до них никакого дела и в животе у вас никогда не урчало от голода.

– Такого я вообразить не могу.

– Я не говорю вам, как поступать. Я говорю, как все устроено.

Воэн замечает:

– Милорд не нуждается в советах, как подобает вести себя человеку его положения. Великие люди щедры.

Работники следуют за ними, продолжая развивать свои предположения: вероятно, злодей был из Йоркшира.

– Мы придем на похороны, если нам выдадут черную одежду и четвертак. Какая жалость, что его пристрелили по пути в церковь, – куда лучше, если бы это случилось на обратном пути, мигом оказался бы в раю и сейчас поглядывал бы на нас сверху.

Никакого чистилища для Пакингтона. Ему суждено покоиться с миром в ожидании конца времен, когда последняя лодка отнесет его к Создателю. Обидно, пережив столько морских путешествий, гонения Томаса Мора и еле сдерживаемую ярость лондонских попов, найти смерть на пороге собственного дома. Нет времени для слез, хотя убитый много лет был его другом. К десяти туман рассеивается, и бледное солнце проглядывает в чистом небе. Когда колокола призывают читать «Ангел Господень», снова наползают тучи, но целый час в воздухе мерцают золотистые пылинки, словно небеса славят мертвого Пакингтона. Похороны через два дня, говорят семье, в крайнем случае через три. Служить будет отец Роберт Барнс. Так хотел покойный.

Это ошибка. Проповедь Барнса так смела, что приходится упрятать его в тюрьму. Лучше под моим присмотром, чем в темнице епископа Лондонского, говорит он. Горожане не забыли историю Ричарда Ханна. Это случилось лет двадцать пять назад, но городу стыдно до сих пор. Благочестивого торговца, которого заперли в Лоллардской башне, нашли повешенным, вот только пол и стены были забрызганы кровью. Власти утверждали, что он повесился сам, в отчаянии перед собственной ересью. Табурет, на который он якобы влез, сильно не доставал до его ступней.

В Виндзоре он стоит с Генрихом в оконной нише и смотрит на дождь. Ветер завывает в дымоходе. Кажется, что свет в комнатах истончается, словно каждое окно – это хитроумный механизм, который по капле выдавливает его наружу.

Король говорит:

– Вроде просвет? На западе? Вам не кажется?

– Вроде бы не вижу.

Генрих вздыхает:

– Главное верить.

Он ловит себя на том, что отвечает королю рассеянно, словно ребенку или домочадцу. Генрих раздражен, его разум неспокоен, а когда он в таком настроении, лучше пригнуть голову, как делают птицеловы.

– Знаете, что этим летом мне запомнилось больше всего? – спрашивает король и тут же поправляется: – Нет, прошлым. Вулфхолл. Порой любому правителю хочется отложить заботы и пожить годик как простому джентльмену. Ибо тот живет в довольстве, танцует в громадном амбаре, украшенном гирляндами, наблюдает за сбором урожая и знает каждого жнеца по имени.

Он молчит. В Уилтшире у него есть мальчишка по имени Роб, который докладывает ему о тамошних гостях. Не то чтобы он не доверял Сеймурам, но лишний источник не помешает.

Король говорит:

– В те дни я был наивен. Не понимал Болейнов и их злоумышлений. А когда понял, вышвырнул их прочь и думал, теперь все наладится. И вот я перед вами, еще одно лето прошло, скоро зима, мой сын Фицрой умер, я лишил права наследования обеих дочерей, наследника нет и, как я понимаю, не предвидится. Мои подданные взбунтовались, мои сундуки пусты, как и моя колыбель. Вот и скажите мне, Томас, стало ли лучше? Лучше, чем в прошлом году? Тогда моих подданых хотя бы не убивали на улицах.

Он по-прежнему не отвечает. Ждет, когда приступ жалости к себе пройдет. Так и происходит. Генрих распрямляет спину:

– В город прибывают тридцать тысяч верных мне людей. – Король имеет в виду Понтефракт. – Не бойтесь, милорд, скоро он снова будет в наших руках.

Генрих кладет руку ему на плечо. В руке помазанного правителя содержится vertu[49]. Королевская длань исцеляет. Только почему он не чувствует себя исцеленным?

Когда они откланиваются, мастер Ризли замечает:

– Что-то вы на себя не похожи, сэр. Не промолвили ни слова.

Он говорит:

– Оставьте короля в покое, и он сам себя развеселит. Нельзя на него напирать, Зовите-меня. Он же вам об этом сказал.

Он идет к Барнсу в Тауэр без кольчуги: кинжал она остановит, но разве кольчуга спасла бы Пакингтона? А значит, и ему она без надобности. Никакой кирасы, кроме Христа, и Томас Авери в качестве писаря. Еще один туманный день, но к полудню туман не рассеивается – дождь прекратился, но воздух так влажен, словно полдень натерли улитками.

Барнс читает, но, когда ключ поворачивается в замке, вскакивает в тревоге: книга соскальзывает с колен, он пытается ее поднять и выпрямляется с покрасневшим от натуги лицом.

– За вами подглядывают?

Барнс падает на табурет:

– Всякий раз, когда я слышу шаги в коридоре, мое сердце… – Он выбивает по столу рваный ритм. Замечает, что лорд Кромвель не один. – Кто это?

– Добрый христианин. Успокойтесь.

– Успокоиться? – усмехается Барнс.

Авери говорит:

– Вас взяли под стражу ради вашей же безопасности.

– Думаете, это меня надо оберегать? А как же Кромвель? Может быть, нам всем следует посадить друг друга в тюрьму?

– Как только милорд успокоит город, вас освободят.

Барнс вновь становится самим собой, раскладывает бумаги на столе:

– Мало кто прислушался бы к вам, но ваш господин говорил то же самое, когда сажал в тюрьму Уайетта: скоро вас освободят. И сдержал слово. Хотя не понимаю, что заставляет его числить среди друзей таких наглецов. Уайетт не из тех, кому дорого слово Божие.

– Но он и не папист, – говорит Авери. – Насмотрелся на них в Италии.

– Теперь у папы развязаны руки, – говорит Барнс. – И это только начало. Где этот неблагодарный Поль? Или вы потеряли его из виду?

– Он все еще в Риме. Говорят, Фарнезе поселил его над своими покоями и хочет сделать кардиналом.

– Он должен отказаться, – говорит Барнс.

– Кто-нибудь отказывался стать кардиналом?

Барнс говорит:

– Я думал, вы найдете способ разделаться с ним несколько недель назад, когда он был в Сиене. Если Томас Мор сумел дотянуться до Тиндейла из могилы, вам с вашей решительностью и быстротой не составит труда убить Реджинальда.

Он говорит:

– Мне есть чем заняться, отец Барнс, кроме того, как замышлять убийства. И сердце Реджинальда не всегда было изъязвлено.

Стоит ему распутать заговор этих людей – привычной рукой, намеренно глядя в другую сторону, – как они снова все запутывают, свистом и криками привлекая его внимание. Маргарет Поль, мать изменника, сейчас в своем замке в Уорблингтоне – слишком близко к побережью, и его это тревожит. Он воображает ее в башне, она зеркалом сигналит кораблям, которые пристают и высаживают на берег вражеское войско. Если потребовался один убийца, чтобы застрелить члена парламента, то и для короля одного хватит. Его сердце разорвется так же, как сердце простого человека. Место, где убили Пакингтона, в пяти минутах от дома Маргарет Поль; вполне возможно, что там и спрятали убийцу.

Барнс говорит:

– Я слышал, на встрече с делегатами Паломников Генрих держался смело, но в глубине души до смерти перепуган.

На самом деле он сделал все, чтобы Генрих не извинялся перед посланцами, которые прибыли в Виндзор и с охранными грамотами поедут назад. Король заявил, что, вопреки их утверждениям, ныне среди его советников столько же знатных вельмож, сколько было в начале правления, и предложил перечислить их – графа за графом, барона за бароном, северяне сами могли посчитать. Едва ли из этого выйдет толк, подумал он, однако по желанию короля удалился, оставив государя расточать обаяние.

Он говорит Барнсу:

– Король верит, что подданные его любят. Благородное сердце мешает ему вообразить, что они замышляют измену.

– А вы пытаетесь его переубедить?

– Только глупец видит заговоры там, где их нет. Любое преступление может быть непреднамеренным, совершенным под влиянием ярости или неумеренной выпивки. Но восстания так не делаются. Никто не станет замышлять мятеж в одиночку. Для этого нужен предварительный сговор. Сама природа мятежа требует тайного умысла.

– В таком случае Генриху следует прислушаться к тому, что подсказывает ему сердце, – говорит Барнс. – Если, конечно, вы не подтолкнете его в объятия наших немецких друзей. Или швейцарских пасторов. Томас, все их усилия впустую. Они устали от бесконечных разговоров. Объединение возможно, если мы придем к согласию относительно доктрины. Но без протянутой руки помощи Англия обречена.

Вообразите Альбион – одинокий корабль в океане, ноги его матросов вечно в воде. Ветер дует в лицо, бушует шторм, устья портов перегорожены цепями. Невежественные северяне называют Генриха Кротом, королем прошлого и грядущего. Ему тысяча лет, он грубый и чешуйчатый, холодный, как морское чудище. Подданные изгоняют его, и он тонет в своих приливных волнах. Когда думаешь о нем, страх отзывается в утробе, это старый страх, сродни боязни драконов, страх, идущий из детства. Он обращается к Авери:

– Вы не могли бы нас оставить? Это ради…

– Моей безопасности, я понимаю, – кивает Авери и закрывает за собой дверь.

– Славный молодой человек, – говорит он Барнсу. – Я доверил бы ему жизнь, но некоторых вещей ему лучше не слышать.

– О нашем внушающем трепет и ужас государе? – спрашивает Барнс. – Он внушает вам ужас? Мне внушает. Когда я думаю, сколь многого он не делает и сколь многое мог бы сделать. Когда думаю о его медлительности, которая нас губит.

– А я думаю, что сумел продвинуться. Когда я только начинал служить ему, он называл наших друзей из Цюриха богохульниками, которые едят колбасы в

пост. Лютера считал сыном демона, у которого изо рта идет пена, когда служат мессу. Но не следует забывать, что короля учили почитать священников и просить прощения за все. Вы можете прогнать духовников и сказать ему, что он оправдан, все равно он будет держать священника в голове.

– Должно быть, он на вас злится, – говорит Барнс без обиняков.

– Злится, хотя пытается это скрыть. Его раздражает, что ему приходится защищать меня за мою подлую кровь. Но он не отдаст меня им. Тогда получится, что мятежники диктуют ему, как поступать.

– Слабая защита. Думать, что вы сохраняете положение благодаря им.

– Другой у меня нет, Роб. – Он встает, потягивается. – А теперь я должен зайти к Правдивому Тому.

– К этому блуднику, – говорит Барнс. – Я слышал, он предлагает непомерные суммы тюремщикам, чтобы отвели его к Маргарет Дуглас и оставили на час. Но те только смеются над ним. Они не доверяют его деньгам.

– Мне следовало бы упрятать под замок себя, – говорит он. – Может быть, наберусь ума-разума.

– Не говорите так. – Барнс касается своего распятия. – Благословить вас?

– Стоит ли утруждаться?

Он хохочет: ему легко без кольчуги, без железных ячеек, под рубахой только кинжал. Он поместил Маргарет Дуглас в Сионскую обитель под надзор аббатисы. Вероятно, ее любовник об этом не ведает.

Старый приятель Мартин ждет, чтобы отвести его к заключенному.

– Лорд Томас считает себя поэтом, Мартин. Что скажешь?

– У него нет и одной десятой Уайеттова остроумия. И усердия.

– Ты заводишь знакомства среди знатнейших вельмож королевства.

– Среди которых я числю и вас, – почтительно говорит Мартин. – Хотя надеюсь, пройдет много дней, прежде чем я увижу вас здесь.

– Почему бы не надеяться, что этого не случится никогда? – спрашивает Авери.

Мартин обескуражен:

– Я не имел в виду ничего дурного. Я благодарен его милости.

Томас Авери передает тюремщику монеты для крестной дочери лорда Кромвеля.

Правдивый Том, с трехдневной щетиной, не готов принимать гостей и не знает, плюнуть в него или облобызать ему колени. Ему доводилось смущать и более достойных людей.

– Садитесь, – говорит он. Авери заглядывает в папку и передает ему листок бумаги. – От леди Маргарет. Прочесть?

Пусть разлучила нас судьба,

Но в сердце образ твой живет.

Назло врагу моя любовь

Во мне вовеки не умрет.

Правдивый Том бросается к нему. Он выпрямляется и отталкивает его.

– Отдайте! – Том снова на ногах.

Схватив его за грудки, он пихает его обратно на табурет.

Так покорись им —

И тогда пойдем по жизни не скорбя.

И сердце бедное мое

Не разорвется без тебя.

Он возвращает листок Авери:

– Надо полагать, под «врагом» она подразумевает меня? Надеюсь, что нет, потому что я спас ей жизнь. Она сказала мне, что между вами все кончено, но, кажется, это не так.

Лорд Томас подскакивает. И снова он возвращает его на место:

– Не спешите, у меня есть ваш ответ.

Мое сокровище земное,

Тревоги все свои забудь.

Когда послание благое

Укажет нам отсюда путь.

Он поднимает бровь:

– Путь? Вы куда-то собрались?

Правдивый Том задыхается. Удар в живот был силен.

– Допустим, «путь» здесь ради рифмы.

– Король меня выпустит. – Том с трудом берет себя в руки. – Учитывая, как идут дела на севере, ему нужны воины.

– Которым он может доверять.

– Йоркширцы обратят вас в бегство. Их аббаты проклянут вас.

– Их проклятия на меня не действуют – я их ни во что не ставлю. Могут проклинать, пока не воспламенятся.

Правдивый Том говорит:

– Мой брат Норфолк замолвит за меня словечко перед королем.

– Уверяю, герцог про вас и думать забыл. Он занят с мятежниками. Не сражается – договаривается.

– Он? Договаривается? – Правдивый Том обескуражен.

– Мятежники превосходят нас числом. У него не было выбора.

– Он не станет держать слово, данное простолюдинам, – говорит Том. – Он им ничем не обязан. И король не будет считать себя обязанным вам, Кромвель. Чем сильнее вы свяжете его своими деяниями, тем сильнее он станет вас презирать. Мне вас жалко – впереди у вас пустота. Король будет ненавидеть вас за ваши успехи не меньше, чем за ваши неудачи.

Да, по всему, Правдивый Том много размышлял, сидя в заточении.

Он говорит:

– Я стараюсь, чтобы мои успехи были успехами короля, а неудачи – моими собственными.

– Но вы не обойдетесь без Говардов, – продолжает Правдивый Том. – Нужна благородная кровь. И мой брат Норфолк предпочел бы сражаться с равными…

Он перебивает:

– Когда вас убивают, вам не до церемоний. Ваш брат это понимает. А вас задушат ваши собственные плохие стихи. Мне не придется даже пальцем пошевельнуть. Некоторым узникам я запрещаю давать писчую бумагу. Могу запретить вам. Ради вашей же пользы.

Он встает. Авери отступает, давая ему дорогу. У двери на него выпрыгивает призрак: Джордж Болейн обнимает его, утыкается головой в плечо, слезы пропитывают ткань, оставляя соленые дорожки, которые ощущаешь на груди, пока не поменяешь рубаху.

К первой неделе декабря всякая жалость к мятежникам, жалость к их невежеству, которую он сохранял, улетучивается. Их заявления на мирных переговорах – сплошной поток тошнотворных оскорблений и угроз. Пришлось убрать с переговоров Ричарда Кромвеля, потому что мятежники не желают сидеть с ним за одним столом. Всех Кромвелей следует извести под корень. У парламента нет права распускать монастыри, и потом, что это за парламент? Королевские прихвостни и подлипалы.

И они еще хотят, чтобы их простили! Разумеется, мятежников простят – их слишком много. И даже не посмотрят, что они не щадят самого короля, напоминая ему, что правитель, не приверженный добродетели, должен быть смещен, – а какой добродетели вы ждете от того, кто привечает Кромвеля? Мятежники напоминают о судьбе Эдуарда Второго и Ричарда Второго – королей, убитых своими подданными за излишнюю любовь к фаворитам – бесчестным властолюбцам, лишенным моральных устоев. Сравнить лорда Кромвеля с Пирсом Гавестоном… когда этот издевательский пассаж зачитывают вслух, некоторые советники прикусывают губы и отводят глаза. Ибо неразумно смеяться, когда у короля от гнева белеет лицо.

Ричард Рич шепнул ему, что именно по этой причине королю стоит предстать перед своими подданными на севере. Они сразу поймут, что он не из тех, кто спит с мальчиками. А даже будь он таким, то не выбрал бы для этих целей лорда – хранителя печати.

Он говорит, Гавестона ненавидели не за его противоестественные наклонности, а потому, что король сделал его, простолюдина, графом. А еще богачом, нарядил в шелка. Впрочем, королевский фаворит даже не был англичанином, что немаловажно для этих невежд.

Не стоит смеяться над Рикардо Ричем. По крайней мере, в лицо. Он достойно держался перед той ненавистью, что обрушилась на него в последние недели. Он понимает, что есть грехи, которые правители могут, а возможно, и должны совершать. Заповеди, написанные для подданных, не для них. Государь должен лгать ради блага государства. Мы это понимаем и без перевода с итальянского.

Мятежники называют его, лорда Кромвеля, лоллардом. Старое слово, хотя во времена его детства женщин и мужчин за такое сжигали. Он слышит в воздухе женский голос, словно ветерок из прошлого: «Это те, кто говорит, что Господь на алтаре – просто кусок хлеба».

Он мал, его желудок пуст, он далеко от дома. Она по-матерински сжимает его руку, пока они пробираются сквозь толпу: «Держись со мной рядом, миленький». Женщина стучит по черной стене из спин, и она расступается перед ней. «Сестра, осторожнее, а то ненароком задавят мальчонку».

«Пропустите нас, – говорит она, – он пришел издалека. Покажем ему, как подыхает богомерзкая тварь, враг Господень, чтобы вспоминал, когда вырастет».

Некоторые детские воспоминания его забавляют. Джон на кухне, даже Уолтер в кузне, вечно в дыму. Но когда из глубин памяти всплывает это воспоминание – самое страшное из всех, – он прихлопывает его, словно крота лопатой.

Наслаждаясь моментом, король заявляет своим советникам:

– Я намерен пригласить нашего главного Паломника провести со мной Рождество.

Аска? Раздаются возгласы удивления – поддельные, ибо лорд Кромвель успел подготовить советников. Сказать по правде, это его замысел.

– Аск пользуется наибольшим доверием мятежников, – рассуждает король. – Я испытаю его сердце и желудок. И он увидит, что я монарх одновременно щедрый и справедливый.

Единственная опасность – но о ней мы не распространяемся, – что Аск увидит также, что Генрих уже не тот могучий воин, каким был десять лет назад, и отнесет эту весть в Йоркшир. Король хочет, чтобы его помнили как Генриха Зерцало Справедливости, но, возможно, ему суждено остаться в веках Генрихом Хромоногим.

И все же игра стоит свеч, и мы ничего не теряем от встречи с предводителем Паломников. Во времена наших отцов мятежника Джека Кэда помиловали и дали ему погулять на воле, прежде чем четвертовать и отправить по частям в родное графство. Король будет нянчиться с Аском как с малым дитем. Солидные подарки, солидные обещания: золотая цепь и пунцовый дублет. Король внушит ему благоговейный страх – уж это он умеет. То, как вы держитесь рядом с королем, скажет нам, чего вы стоите, выставит напоказ все ваши слабости и ваше тщеславие. Вы думаете, вас ничем не смутить, вы заранее отрепетировали вашу речь, но появляется король, и вас охватывает священный трепет, и вы не в состоянии вымолвить ни слова.

– А что делать мне, сэр? – спрашивает он. – Я не должен встречаться с Аском.

– Отпразднуйте с вашими домочадцами. – Король добавляет: – Будьте у себя в Степни. Если вы мне понадобитесь, сможете добраться до Уайтхолла за час.

Он, лорд – хранитель малой печати, дает указания епископу Гардинеру во Франции – опровергать слухи, которые ходят среди чужеземцев. Генрих не осажден в Уайтхолле. Ни его самого и никого из Кромвелей не закололи в Лондоне, на Чансери-лейн. Напротив, Кромвели готовятся к празднику. Ричард

возвращается с севера, обласканный своими командирами Норфолком и Фицуильямом.

К середине месяца армии повстанцев рассеиваются. Аск должен прибыть ко двору по охранной грамоте. Приходит известие, что шотландский король заключил брачный договор с дочерью французского короля. Они с Мадлен поженятся в соборе Парижской Богоматери в первый день нового года. Этот брак станет доказательством сердечного согласия между Шотландией и Францией, что для нас весьма огорчительно.

– А что я могу? Только пожелать ему счастья, – говорит король. Он диктует письмо, отмахнувшись от предложения составить для него черновик: – «Будучи наслышан… о Вашем решительном и непреклонном желании вступить в брак… с дочерью нашего дражайшего брата и неизменного союзника короля Франции… и так далее, и так далее… поздравить Вас… пожелать, чтобы Всемилостивейший Господь наградил Вас многочисленным потомством, – голос короля сочится презрением, – что послужит Вам к радости, а равно процветанию, благополучию и спокойствию Вашего королевства».

– Браво, сэр, – замечает Ризли. – Какие отточенные и решительные фразы!

Король говорит:

– У Якова уже девять бастардов, и это только те, о ком я знаю.

Эдвард Сеймур:

– Ваше величество, вряд ли он дождется наследников от Мадлен. Я слышал, она умирает.

– Тогда зачем она Шотландии?

Никто не отвечает. Возможно, чтобы заполучить дочь, любую дочь великого короля. И сотню тысяч крон в придачу – больше, чем Яков видел за всю жизнь.

Король говорит:

– Посмотрим, как ей понравится путешествие в Каледонию и тамошние грубые манеры. – Однако в голосе короля сочувствие. – Говорят, она очень хороша собой…

– Должно быть, Яков пленил ее сердце драгоценностями, – говорит он, – ведь он не знает ни слова по-французски. Все эти покупки были неспроста.

– Возможно, Мадлен говорит по-шотландски? – спрашивает Генрих. – Едва ли. Разве вам не захочется иногда поговорить с женой? Побеседовать по душам. Впрочем, хотя бы в постели ему ее наставления не нужны. Судя по всему, он и сам неплохо справляется.

В Степни ягоды боярышника и падуба, точно скромные самоцветы, – яркие, как капли крови. Стены украшены сосновым лапником, а венки такие большие, что

их пришлось вешать двум работникам. Венки плетут осенью, когда ветки еще гнутся. Цветы из сушильни связывают в пучки, золотят и перевязывают лентами, и, когда наступают морозы, на рассвете и закате обшитые панелями комнаты млеют в сизом мареве. Он ждал, когда дела позволят ему проследить за обрезкой яблонь, и теперь выходит в сад вместе с садовниками.

– Осторожнее с лестницей, сэр. Лучше отойдите и посмотрите со стороны, какую форму мы им придадим.

Середину мы называем кроной. Мы убираем ветки, которые мешают друг другу или растут вбок и в стороны. Прореживаем новые побеги, придавая деревцу форму кубка. Затем прищипываем побеги выше почек, обращенных наружу. К трем пополудни пот льется градом внутри джеркинов, руки в перчатках застыли, словно мерзлые комья земли, а голоса в воздухе еле слышны, словно пение птиц из далекого райского сада. Мы говорим, дело сделано, ребята, и идем под крышу греть руки о кружки с горячим пряным элем. Мы прожили непростые дни, говорят садовники. Бог даст, наши строители и повара вернутся домой к празднику, а с ними и мастер Ричард, покрывший себя славой на поле боя.

Мы поднимаем чаши за воинов, торящих путь на юг через перепуганные графства. Потом затягиваем песню, осеняем себя крестным знамением и молимся за яблони. Дома мы открываем рождественскую комнату с костюмами водяных, волхвов и говорящих зверей. Расправляем концы огромной звезды, которую вешают в зале.

Что осталось от прошлого года? Сад Рейфа в середине лета, здоровый ор маленького Томаса из открытого окна, нежное личико Хелен. Посол в садовой башне в Кэнонбери, растворяющийся в сумерках. Ночь падает на камни Виндзорского замка, словно на горный склон.

В боковых улочках, менее чем в ярде от того места, где умер мученик Пакингтон, матросы втридорога продают мускатные орехи, украденные из корабельных трюмов, по ценам в три раза выше ноябрьских, которые уже были непомерны. Демонстрируя праздничное рвение, шайка лондонских мерзавцев нападает на французов из посольства, которые бражничают в «Петухе и ключах» на Флит-стрит. Они гонятся за французами, выкрикивая: «Бей французских псов!» В итоге один из французов убит, второй выжил, но получил много колотых ран.

Возы с подарками толпятся у его дверей: жирные лебеди, куропатки, фазаны. А еще посол Шапюи посмеивается над бедами французов. Он приглашает гостя на скромный ужин, избегая вопросов о положении дел на севере. На самом деле Эсташ, благодаря связям с Дарси и прочими скользкими личностями, знает об этом больше него.

– Итак, – говорит посол, – составители альманахов утверждают, что следующий год будет годом великих тайн.

Он хмыкает:

– Великих трат.

– Генрих ест свой рождественский ужин из оловянной посуды. Все его золотые блюда переплавлены в монеты.

Он пожимает плечами:

– Нам приходится содержать огромное войско. Мы за короткое время собрали пятьдесят тысяч бойцов.

Шапюи не верит, что у короля пятьдесят тысяч солдат, но удержаться не может – начинает подсчитывать расходы.

– Видите ли, Эсташ, – говорит он, – вас ввели в заблуждение относительно англичан и их нрава. Вы разговариваете не с теми людьми. Поли и Куртенэ понятия не имеют, что происходит. А я имею. Император Карл бахвалится, что приведет сюда свою армию. Но это пустые слова, потому что, если один правитель помогает подданным другого бунтовать, – это дурной прецедент, который внушает его собственным подданным мысль о бунте.

– Если вам от этого спокойнее, продолжайте так думать, – говорит Шапюи.

В тишине они задумчиво поглощают ужин: пряная оленина, чирок, куропатки, кружочки апельсина, тонко нарезанные, словно солнечные блики. Сноп света пробивается сквозь падающий снег, торя дорогу в грядущий год. Двор скачет через Вестминстер и дальше на восток, в Гринвич, движущийся темный отпечаток на белом. Темза – мерцание льда, дорога среди замерзшей пустыни, тропа к нашему будущему, большак, что ведет нас к нашему Господу.

Когда посол уходит, на часах три пополудни, а кажется, что гораздо позже. Он сидит в сгущающихся сумерках, просматривает свои памятные книги, составляет повестку первого в новом году заседания королевского совета. Кристоф приносит ему вино в бокале венецианского стекла.

Он говорит:

– Это кардинальский. Я выкупил его у герцога Норфолка.

Он покупает вещи кардинала, где только увидит: портьеры, тарелки и книги из кардинальской библиотеки. При виде него новые владельцы смущаются и не смеют отвергнуть его оскорбительно невыгодные предложения. Если вещи не продаются, он находит иной способ их раздобыть. Посмотрите на эту шпалеру, под которой он сидит нынче. Шпалера изображает царицу Савскую, вышитую разноцветными нитями и золотом. Ее нежное лицо напоминает ему лицо женщины, которую он некогда знал. Шпалера принадлежала Вулси. Когда кардинал пал, король забрал шпалеру себе, а однажды в приступе щедрости отдал ему. Или, как он считает, вернул законному владельцу.

– Иногда, – говорит он Кристофу, – я, как ты, воображаю другие жизни, которые мог бы прожить.

Если у Генриха есть царственный двойник, то, возможно, есть и у него, живет себе в Константинополе, где куда безопаснее. В сравнении с Генрихом султан – сущий агнец.

– Я мог бы быть французом, как ты, – говорит он Кристофу. – Или голландцем.

Кристоф смотрит на стену:

– Если бы женились на этой шерстяной даме.

Он имеет в виду не царицу Савскую (помышлять о браке с ней еще возмутительнее, чем о браке с принцессой Марией), а Ансельму, антверпенскую вдовушку, чьи черты вытканы на шпалере. Может, в этом нет ничего удивительного. У художника должны быть модели. Вероятно, тот, кто придумал узор, разминулся с ней на улице, когда она спешила на пристань или выходила после мессы из церкви Онзе-Ливе-Фрау. Разминулся и подумал, интересно, что это за пухленькая вдовушка вышагивает под руку с английским чурбаном?

Он просит Кристофа:

– Принеси «Книгу под названием Генрих». Мне хочется записать мои мысли. И будь добр, побольше света.

– Не пропустите ужин, – говорит Кристоф.

Он видит, как его домочадцы о нем заботятся. Носятся со мной, словно крестные.

Он берет перо. Господи, благослови.

Ты не можешь предугадать или до конца понять короля. Томас Мор этого не понимал. Поэтому я жив, а он мертв.

Такую книгу не отдашь в печать. Она для глаз немногих.

Твои враги будут непрестанно чернить тебя, обвиняя в чужих злодеяниях и неудачах. Не трать слов – оправдываться всегда поздно. Не ослабляй себя сожалениями и не позволяй им ослаблять короля. Порой королю приходится действовать, опираясь на ложные сведения, и впоследствии санкционировать свои порывы.

Он думает, что, если я заболею и буду лежать при смерти? Что делать с книгой?

Не бойся просить о чем угодно. Просите, и дано будет вам; но прежде прикинь цену. Король хочет выглядеть великодушным и при этом не сильно потратиться. Разумная для правителя точка зрения.

Я могу оставить книгу Грегори, моему племяннику или Рейфу Сэдлеру. Но я не оставлю ее Рикардо или Зовите-меня. Вряд ли я могу их чему-то научить. И вряд ли они способны научиться.

Король верит, что, не будь он королем, он все равно был бы велик. Потому что Господь его любит.

Король хочет нравиться и быть правым. Но более всего он нуждается в том, чтобы его выслушали очень внимательно.

Никогда не пытайся его переспорить.

Не льсти ему, лучше похвали за его настоящие заслуги.

Задавай только те вопросы, на которые знаешь ответы. Никогда не задавай иных.

Этот год был похож на прочие – один длинный королевский день от пробуждения короля до того, как он уснет. Впрочем, весь год можно свести к единственному мигу, подобно тому как стекло фокусирует солнечные лучи. Время, сжатое до единственного биения сердца – секунды, которой хватило для удара: отточенным движением француз взмахивает мечом. Затем женщины протягивают руки, их пальцы скрючены от страха прикоснуться к мертвой плоти, они наклоняются над телом, уносят его, щеки залиты слезами.

В старых сказках огромное зеркало ставят перед королевским дворцом. Оно широкое, как небо, и три тысячи воинов охраняют его. К зеркалу ведут двадцать пять ступеней из порфира и серпентина. Даже ночью стражники охраняют зеркало, в котором отражается лишь укутанное тьмой королевство и, возможно, бледный звездный след.

Держи глаза открытыми. Помни, прежде всего он король, а потом уже человек. В этом и была ошибка Анны. Она решила, что он всего лишь человек.

Он поднимает голову. В комнате никого, кроме тех, кто не считается. В такие минуты обычно входил призрак Вулси, заглядывал ему через плечо, подсказывал, что писать, пухлые белые руки кардинала, унизанные сверкающими перстнями, давят ему на плечи.

Иногда ему нужно представить себе, что было бы, ворвись корнуольцы в Патни с бессвязным ревом, расшвыривая все на своем пути. Отец Шона Мадока сказал ему: «Они забирают мальцов вроде тебя и поджаривают на вертеле». Он

засмеялся и ответил: «Я сам поджарю им задницы». В своем черном сердце он жаждал их, хотел услышать их топот. Услышишь его и перестанешь воображать. Пусть над холмом покажется лицо их великана или хотя бы макушка, и больше не надо будет о нем думать, рисовать его мысленным взором, потому что ты знаешь худшее: пройди с ним одну алую милю, пока он рвет на части твоих соседей, швыряя их руки и ноги в канавы.

А что потом? Либо он убьет тебя, либо ты в числе немногих будешь собирать в корзины остатки Патни.

Не поворачивайся спиной к королю. И этикет тут ни при чем.

Он готов закрыть книгу, но обмакивает перо в чернильницу и дописывает последнюю фразу:

Постарайся не унывать.

Часть третья

I

Белильные поля

Весна 1537 г.

Когда вы становитесь влиятельным, у вас объявляется родня, о которой вы не догадывались. Незнакомцы толпятся у ваших дверей, утверждая, что знают о вас больше, чем вы сами о себе знаете. Говорят, что ваш батюшка однажды помог им в беде – ну, это вряд ли – или что ваша матушка, царство ей небесное, хорошо знала их матушку. Порой уверяют, что вы должны им деньги.

Поэтому, увидев в толпе просителей смутно знакомую женщину, он решает, что она тоже из Кромвелей. На следующий день замечает, что она без провожатого, и велит впустить ее.

Крепкая, серьезная девушка. Хорошее сукно, думает он, оценив платье. На нее он старается не смотреть – оттого, что он смотрит на женщин, обычно случаются неприятности.

– Простите, что вам пришлось прийти дважды. Сами видите, у этих дверей половина Англии.

– Мне пришлось ждать больше, чем вы думаете, сэр. – Она свободно говорит по-английски, с антверпенским акцентом. – Я прибыла из-за моря от мейстера Воэна.

– Вам следовало сказать сразу, вас впустили бы немедленно. Вы привезли письмо?

– Нет.

Обычно бумаге не доверяют дурные вести. Однако она держится невозмутимо: глаза скользят по гербу на стене и картинам, написанным подмастерьями Ганса.

– А это кто?

– Правители Англии.

– Вы помните всех?

Он смеется:

– Они давно умерли. Мы придумали их заново.

– Зачем?

– Как напоминание, что люди становятся прахом, а государство вечно.

– Вам нравится размышлять о старых временах?

– Нравится. – Я предпочитаю историю страны, думает он, в моем времени и моей истории некоторых тем приходится избегать.

Она задает простые вопросы, манеры свободные, и, очевидно, ее новости не стоят выеденного яйца – мелкие антверпенские сплетни, ради которых не стоит отправлять гонца. И все же зачем-то она их привезла.

– Кристоф, вина для юной дамы. Не хотите имбирных вафель, изюма? Яблоко?

– Когда человек съел яблоко, он познал грех.

Впрочем, говоря это, она улыбается, а сев, смотрит вверх, на царицу Савскую за его спиной, где та в скромной диадеме радушно подает чашу мудрейшему из царей.

Незнакомка бросает на него быстрый взгляд, она явно потрясена:

– Откуда у вас эта шпалера?

– Наш король подарил ее мне. В благодарность за службу.

Она снова переводит взгляд на шпалеру:

– А он ее где взял?

– У моего покровителя Вулси.

– А он?

– В Брюсселе.

Она явно пытается прикинуть цену:

– Стало быть, ее купили не вы?

– Мне это было не по средствам. Я не всегда был богат. Это Соломон и царица Савская. Полагаю, вы знаете Священное Писание.

– А еще я знаю мою мать.

Кубок у него в руке замирает на полпути.

Она говорит:

– Я дочь Ансельмы. Не знаю, почему она выткана на этой шпалере, но когда-нибудь разберемся.

Он встает:

– Добро пожаловать. Я не знал, что у Ансельмы была дочь. Я тоже спрашивал себя, откуда она взялась на этой шпалере. Из-за Ансельмы я всегда хотел ее заполучить. Смотрел и смотрел на стену, пока король не сказал: «Томас, мне кажется, эта дама должна жить у вас». – Он улыбается. – Стало быть, ваш отец…

Он знает, за кого вышла Ансельма, когда он оставил ее и вернулся в Лондон. Знает его банк и семью. Но его имя всегда застревало у него в глотке.

Она говорит:

– Я знаю, о ком вы говорите. Моя мать вышла за него после моего рождения.

Он хмурит брови:

– Выходит, он не ваш отец?

– Нет, – отвечает она. – Вы мой отец.

Он опускает кубок.

– Посмотрите на меня, – говорит она. – Разве сами не видите?

Ее разрезанное на дольки яблоко лежит на тарелке, он разглядывает зеленую кожуру, тарелку, сине-белую, итальянскую, рисунок наполовину скрыт. Мысленно он дорисовывает недостающее.

Она говорит:

– Я пришла, потому что узнала от мейстера Воэна, что у вас беспорядки и вам угрожают некие паломники. Я хотела с вами повидаться.

Он думает о своей дочери Энн, которая поднимается за ним по ступенькам, ее крепенькая фигурка раскачивается, пухлые ручки протянуты к нему.

Он говорит:

– Мои дочери умерли.

– Знаю.

От Воэна, конечно. Что еще он ей рассказал? И что не рассказал?

Он спрашивает:

– Как так вышло?

– Тайну можно сохранить.

– Я вижу.

Его опыт говорит, что нельзя. Возможно, та плоская водяная страна протекает меньше, чем эта.

Она говорит:

– Моя мать не хотела, чтобы вас тревожили после вашего отъезда из Антверпена. Когда я спрашивала, где мой отец, она отвечала, что он уплыл за море. В детстве я думала, вы из тех моряков, что открывают новые страны и привозят оттуда сокровища.

Он отводит взгляд. Смотрит на шпалеру, словно видит впервые: как если бы ему поручили распороть ее и соткать заново. Обычно на картинах царица смотрит на Соломона. Ганс, к примеру, написал царя в платье нашего короля и с лицом Генриха, а царица обращена к зрителю затылком. Но Ансельма смотрит вам прямо в лицо, отвернувшись от израильтянина, скрывая скуку за улыбкой.

Она говорит:

– Вам кажется, что я не похожа на мать.

Скорее ты похожа на меня, бедная девочка.

– Поймите, до сегодняшнего дня я не подозревал о том, что вы есть.

– Я потрясла вас, простите.

– Вы должны дать мне время, чтобы осмыслить… Ваша мать понесла до того, как я уплыл за море, и не сказала мне ни слова?

– Так она решила.

– Но почему не написала, если уже знала? Чего ради воспитывать ребенка в одиночку? Разумеется, – вздыхает он, – вы не можете мне ответить. С детьми о таком не говорят. Но я бы мог вернуться, женился бы на ней. Скажите ей…

– Моя мать умерла. Простудилась этой зимой.

В тишине он прислушивается к собственному сердцу: ничего, только слабый скрип пера, которое пишет в Книге жизни судьбу. Судьбу женщины, которую он некогда знал в чужой стране. К тому же давно не юной.

Ее дочь говорит:

– Матушка всегда хорошо о вас отзывалась. Хотя вспоминала редко. Она говорила, Женнеке, я не хочу, чтобы он считал тебя ошибкой, за которую должен платить. Он был молод, далеко от дома, я овдовела, нам обоим была нужна компания. Но, как вы говорите, при детях такое не обсуждают, поэтому я решила прийти сама и увидеть, какой вы на самом деле. Вы мне не рады?

– Я потрясен, – говорит он. – Как я мог не знать, что у меня есть дочь? Как вашей матери удалось скрыть свое положение?

Она пожимает плечами:

– Как делают женщины? Она уехала. Я родилась в другом городе.

– А потом вышла за банкира.

– Для нее это была хорошая партия. Он был добрым мужем, ни в чем ее не упрекал, но у него были сыновья от первой жены, и ему не нужна была английская дочка. Меня воспитывали монахини, и они были добры ко мне. Затем мать отвела меня к Стивену Воэну. Научи ее английскому, сказала она, на всякий случай.

Вот случай и представился.

– Как мог Стивен знать и ничего мне не сказать?

С каждым ее словом его изумление растет. Хотя ему доводилось слышать о подобных случаях. С его братом такое случается: если ты много путешествуешь и не отличаешься святостью поведения, рано или поздно на твоем пороге возникает призрак: угадай, кто я. Кардинал любил шутить, что он наплодил бастардов повсюду. Стоило приземистому бродяге попасться Вулси на глаза, тот говорил: «Смотрите, Томас, один из ваших».

Шутки кончились.

Он спрашивает:

– Вы знаете, что Стивен Воэн в Лондоне?

– Он будет браниться, – говорит она. – Он сам хотел выбрать подходящее время, чтобы рассказать вам. Говорил, Кромвель теперь большой человек,

пользуется доверием короля, он защитник истинной веры, оберегает наших братьев и сестер, и потому не стоит подкидывать дров в огонь. Враги чернят его как могут и, если узнают о тебе, Женнеке, назовут еще и распутником.

– И назовут.

– А потом он сказал, тебе не надо становиться монашкой, Женнеке, с монашками покончено, а значит, пора замуж. И твой муж должен знать, чья ты дочь, иначе мы не найдем тебе хорошую партию. Ты незаконнорожденная, но ты другим не чета. Мы должны подготовить милорда твоего отца. А затем начались эти беспорядки. И я не стала ждать.

Когда он протягивает к ней руки, она остается сидеть все с тем же выражением на лице – и его это восхищает. Он ищет в ней Ансельму, а находит себя. Почему же ты не пришла раньше, думает он. Когда я был другим человеком. Когда был привязан к дому и взбегал по ступенькам с песней на устах. Даже в прошлом году я был другим – до того, как встретил дочь Вулси. Она задела меня за живое, и рана затянулась, но остался шрам.

Он спрашивает:

– У твоей матери были еще дети? От банкира?

– Нет, но она ни в чем не знала нужды. Как и я. Монашки научили меня всему, что потребно женщине. Позднее многие из них – те, кто были умны, прочли книги Эразма, его Новый Завет и стали еще умнее. Вы знали его?

– Нет, только его книги. Хотя он был в Лондоне и жил у Томаса Мора. Загостился, говорила леди Алиса.

– У Мора была жена? – Она переваривает услышанное. – Я думала, он был вроде монаха.

Она ставит на стол тарелку. Большую часть яблока она съела, и теперь на тарелке проступает синий на белом городской пейзаж: колокольни, башенки, мосты через бурные речки. Он упомянул Мора неосознанно – в эти дни его имя у всех на устах, словно он до сих пор жив. И, слушая эти пересуды, невольно ожидаешь встретить его, шагая вниз по Чип.

– Ты евангельской веры?

– Меня посвятили.

– И тебе известно – прости, я не знаю, говорил ли тебе Стивен, – что мое дело, мое главное стремление…

– Издать Евангелие на английском. Да, я знаю, – говорит она. – Мейстер Воэн рассказал мне, что ваш отец был пивоваром, торговал шерстью и состоял в родстве с добропорядочным семейством Виллемсов, которые занимались правоведением.

– Уильямсы. Мы произносим это так. – Он задумывается. – Все это правда.

И хватит об этом. Нечего ей знать про Уолтера.

– Это они помогли вам сделать карьеру? Уильямсы?

Она схватывает на лету. Уже сейчас она выглядит не такой чужестранкой, как в первое мгновение, когда вошла.

Он говорит:

– Мне помог Вулси. Вероятно, Стивен рассказывал тебе, кто такой Вулси?

– Мудрый прелат. Он умер.

– Видишь герб на стене? Эти черные птицы называются галки. Они были эмблемой кардинала.

– И ваши враги не злятся, когда их видят?

– Злятся. Конечно злятся. Но вынуждены сжать зубы и сдержать проклятия. Они склоняют головы и говорят: «Надеюсь, вы в добром здравии, лорд Кромвель». Им приходится выдавить улыбку и преклонить колено.

– Вы гордый. – Она смотрит на него во все глаза. – Вы мне нравитесь, и мне по душе ваш дом. Мне говорили, твой отец первый человек в Лондоне. Я не верила, а теперь верю. Я побуду с вами рядом пару дней. Хочу присмотреться и вынести собственное суждение.

Что ж, разумно.

– Я рад, что ты решила зайти.

– Кто бы не соблазнился заглянуть в такой роскошный дом? Особенно если там живет твой отец.

Он чувствует, что должен что-то сказать, извиниться – изобрести длинное объяснение, почему все не так, как кажется, – но за дверью слышны шаги и голоса, его домочадцы решили, что эта юная особа и так уже отняла у него слишком много времени.

Он говорит:

– Когда служишь Генриху Тюдору, ты не выбираешь, как выглядеть. Приходится быть придворным, а не писарем. А простым людям за воротами ты должен показать, что такое королевская милость. Им недосуг разбираться. Если не задирать перед ними нос, они перестанут тебя уважать.

Ему хочется сказать, я был счастлив в черном адвокатском платье. Но так ли это? Он думает, оно служило мне для маскировки. Это не значит, что я не желал ничего другого. Разве я не завел пурпурный дублет задолго до падения кардинала?

Дверь открывается. На пороге Томас Авери, удивленно смотрит на гостью:

– Силы небесные, Женнеке, что ты здесь делаешь?

– Томас Авери, это моя дочь.

Молодой человек стоит, прижав к груди ин-фолио и не сводя глаз с Женнеке:

– Знаю.

Когда Женнеке уходит, он зовет Авери, приглашает присесть. Если бы тот хотел, он предложил бы ему яблоки, хорошие, из Чартерхауза.

– Я не сержусь, – говорит он. – Говори, Томас Авери, ты же из Патни, моя родня знала твою, нам незачем кривить душой.

– Это не довод, – осторожно отзывается Томас Авери. – В Патни живут такие же негодяи, как везде. Даже хуже.

– Я имел в виду, мы можем быть откровенны друг с другом.

Во взгляде Авери читается: вы сами-то верите в то, что говорите?

– Ты встретил ее в доме Стивена, когда я отослал тебя обучиться его ремеслу, не так ли? Ты вернулся и рассказывал мне о ней. Женнеке. Ее имя так часто слетало с твоих губ. Я решил, что ты влюбился.

Авери молчит. Руки праздно лежат на столе.

– Я подумал, поможем Авери, даже если она сирота и бесприданница, мы со Стивеном все устроим. Но ты больше о ней не упоминал, и я решил – Господи прости, – что она умерла, и не стал спрашивать. Я ждал, что скажешь ты. А теперь…

Он чувствует, что близок к разгадке, но что-то мешает. Мертвое оказалось живым: словно Ансельма одна из тех статуй, что показывают монахи, – тех, что вращают глазами и протягивают деревянную руку, чтобы поправить лазурное облачение.

Авери говорит:

– Сэр, когда я вернулся из Антверпена, Женнеке стояла у меня перед глазами как живая, и в этой самой комнате я смотрел на вас, изучал ваше лицо, и снова пересек море, и снова смотрел на Женнеке. Вы же сами заметили сходство, и от меня оно не ускользнуло. Я спросил мастера Воэна. Он отвечал, ты прав, Авери, но сохрани это в тайне. Я понял, что случайно раскрыл чужой секрет. Воэн сказал, я не стану просить тебя принести клятву, ибо это можно делать лишь в самых серьезных случаях, и надеюсь, когда-нибудь правда выйдет наружу, но не через тебя.

– И ты хранил мою тайну. О которой я не подозревал. – Он изучает Авери. – Что ж, сумел сохранить один секрет, сумеешь и другой.

Юноша встает, тянется к бумаге, но он поднимает руку:

– Сиди тихо и слушай. Я скажу тебе, где мои деньги.

Авери удивлен:

– Сэр, я веду дела с вашими сборщиками и землемерами. Ваши писари мне доверяют. Если они что-то утаили, я бы знал.

– Я ценю твое усердие, но есть еще кое-что.

– Вот как. – Авери задумывается. – За границей?

Он кивает.

– Зачем?

– На всякий случай.

– Но разве король не сказал – простите меня, сэр, но об этом толкует весь город: «Я не расстанусь с моим лордом – хранителем печати ни за что на свете».

– Так он сказал.

Авери опускает глаза:

– Мы знаем, его величество любит вас. Плоды этой любви мы наблюдаем ежечасно. Но мы боимся, что страна снова поднимется, и кто знает, чем это обернется? Не то чтобы мы сомневались в нашем государе и его слове, но кто мог сравниться с милордом кардиналом во дни его славы?

– Его пример всегда передо мною. – Но не его призрак, который с возвращения из Шефтсбери так и не появлялся. – Поэтому если герцог Суффолк или герцог Норфолк вломится в этот дом, срывая замки и круша мои сундуки, словно варвары на развалинах Рима, ты, Томас Авери, беги отсюда со всех ног, не потрудившись спросить, что происходит. Не останавливайся даже для того, чтобы проклясть их, просто беги. А как только сможешь отправить письмо за границу, напиши тем, чьи имена я тебе назову. Генрих наложит руку на мое имущество и решит, что забрал все, но на самом деле будет… не скажу «обманут», я не стал бы обманывать моего короля, – скажем так, он получит не полные сведения. – Он наблюдает за Авери. – Справишься? Или эта задача слишком тяжела?

Юноша кивает.

– Отлично.

Потому что Ричард слишком горяч для подобного посмертного поручения. Рейф в курсе всех моих дел, но я не хотел бы испытывать его верность, ибо он слуга короля и отвечает перед Генрихом.

Он говорит:

– Грегори еще слишком юн. Ему нужна поддержка. А теперь мне придется заботиться еще об одной девушке.

– Куда она пошла, сэр?

– Искать Воэна. Интересно, что она ему скажет.

Он был бы рад породниться с Авери, но тот несвободен, обручен с дочкой эконома Тэкера. Они стараются держаться вместе, мальчишки из Остин-фрайарз. Возможно, среди них найдется жених для его дочери. Однако что-то в поведении Женнеке говорит ему, что она здесь не останется. Она удовлетворила любопытство, своими глазами взглянув на знаменитого отца. Возможно, в детстве она высматривала в водах Шельды его корабль, но те дни миновали, ее детство давно позади.

Охранная грамота Аску действует до Двенадцатой ночи. В Гринвиче на Рождество король просит главу мятежников составить отчет о беспорядках на севере: от первых признаков волнений осенью до зимнего похода под флагом перемирия.

Отчет занимает у Аска два-три дня. Он трудится в натопленной комнате, подкрепляясь лучшей говядиной и кларетом. Готовый отчет доставляют лорду – хранителю печати, который проводит праздники, разбирая письма из Кале. Население города приросло за счет французов, которые перебираются на английскую территорию, стремясь стать англичанами. Этой зимой запасы зерна оскудели, четыре сельди стоят пенни, и нужно придумать, как прокормить город. На губернатора надежды никакой. Лайл не сумеет сварить яйцо.

Милорд хранитель печати откладывает письма и читает повесть о Паломниках, написанную Аском.

– Удивительная книжица, – говорит он наконец. – Странно, что адвокат так хорошо владеет пером.

Аск пишет о себе как о персонаже: «вышеуказанный Аск». Он говорит, чем занимался среди восставших, но не говорит почему.

– Аск повидался с королем, – замечает милорд хранитель печати. – Король повидался с Аском. Он сделал свое дело. Пусть возвращается в Йоркшир.

Аск должен ехать немедленно вместе с обещанием королевского прощения, чтобы подавить слухи, будто его повесили или, того хуже, посулили ему высокий пост. Ни один подданный не откажется провести Рождество с королем. Однако этот визит подрывает доверие к Аску – йоркширцы скажут, что он продался. Так или иначе, не стоит думать, что Аск в одиночку может командовать городами и графствами. Знамя Пяти Ран видели даже в Корнуолле, куда его доставили Паломники, которые прошли через всю страну к Уолсингемской часовне, что в Норфолке.

Разве не в этом суть паломничеств? Милорд хранитель печати считает, незачем идти для молитвы в другие графства. Что мешает делать это дома? Дешевле обойдется. Тебя не ограбят на большой дороге, ты не разнесешь заразу и не притащишь ее в дом. А кроме того, Уолсингемская часовня бесполезна, говорит король. «Я ездил туда молиться за нашего с Екатериной сына, но он прожил два месяца. Впрочем, Джейн все равно захотела поехать. У женщин свои капризы, и они доверяют святым местам. Она молилась, чтобы ее утроба понесла… И что? И ничего».

Чтобы подкрепить свои мирные намерения, король задумал посетить север. В Йорке на Троицу он откроет парламент и коронует Джейн. В крайнем случае, на Михайлов день. В Йорке же будет заседать конвокация, дабы северные церковники высказались, как нам молиться Богу, а не внимали молча указаниям из Кентербери. Впереди короля поедет герцог Норфолк – наведет порядок и расправится с любыми нарушителями новообретенного мира. Норфолк получит титул королевского наместника и прибудет не во главе войска, а со свитой. Тем временем джентльменам, вставшим на сторону мятежников, добровольно или под принуждением, приказано одному за другим предстать пред королевские очи, дабы объясниться и получить прощение.

Когда север лишается своих предводителей, вперед протискиваются кожевники и мясники, пишут воззвания и прибивают их к церковным дверям. Граф Камберлендский сообщает, что опасно отправлять гонца с письмом, адресованным Кромвелю, – его убьют, не разбираясь, что в письме. Война бушует на церковных кафедрах и в печати, в ратушах и на рыночных площадях: оскорбления, прокламации, драки. На королевских гонцов и даже герольдов нападают без всякого уважения к их званию. Поскольку король согласился исполнить насущные требования Паломников, перемирие сохраняется. Но всему есть предел – повернуть время вспять нельзя, не стоит и пытаться.

Король тревожится о доходах казны в этом году, и он, лорд – хранитель малой печати, пытается оценить недобор на севере, где налоги не платили с прошлого сентября. В середине января Рейф Сэдлер отправляется в Шотландию – встретиться с королевской сестрой Маргаритой, которая жаждет аннулировать третий брак. В пути он видит, как непрочен порядок в стране. В Дарлингтоне сорок человек с дубинками выстраиваются вокруг постоялого двора с недобрыми намерениями.

– Вот и Рейф нашел себе наконец опасности, – замечает милорд хранитель печати. – Не будет жаловаться, что его жизнь слишком спокойна.

Рейф обращается к осаждающим из окна, дрожа на пронизывающем ветру: под окном он сжимает кинжал. К счастью, им невдомек, что Рейф – названый сын Кромвеля, иначе его вытащили бы на улицу и тут же прикончили. Он боится, что в Шотландии будет еще хуже. Впрочем, опыт учит: даже сорока вооруженным йоркширцам не сравниться с Генрихом, когда тот не в духе.

– Посмотрим, что они запоют, когда к ним приедет король, – с облегчением вздыхает милорд хранитель печати, но в глубине души не уверен, что это случится.

Нас беспокоит судьба друзей на севере. Когда лорд Латимер едет в Лондон дать отчет о своем участии в событиях последнего года, толпа мятежников захватывает замок Снейп и берет в заложники его жену Кейт. В Доме архивов и в Остин-фрайарз молодые писари округляют глаза и пихаются локтями: «Наш хозяин поскачет ей на помощь – ему придется, ведь она его нареченная».

Впрочем, если верить северянам, его нареченная – королевская племянница Маргарет Дуглас и он ждет, что король объявит его своим наследником.

Он спрашивает:

– Интересно, женитьба на Маргарет Дуглас отменяет брак с принцессой Марией? Или мне придется жениться на обеих? Мятежники считают меня еретиком, но они же не думают, что я магометанин, чтобы иметь в каждом городе по жене?

Грегори говорит:

– Я не отказался бы выбрать себе мачеху, но кто меня спрашивает. Все эти дамы не намного меня старше. И кстати, – удивленно вопрошает Грегори, – почему эти люди считают, что милорд мой отец переживет Генриха и будет править после него? Они не слишком высокого мнения о докторе Беттсе и его врачебном искусстве.

Новость о незаконной дочери отца Грегори принимает спокойно. Он рад, что у него снова есть сестра.

– Когда мой отец станет королем, – говорит Грегори, – и женится на Кейт, жене Латимера, а также на Мег Дуглас и Марии Тюдор, ты станешь принцессой, Женнеке, и мы с тобой будем править золотой колесницей, запряженной белыми конями, и, подобно Фебу, проноситься по Уайтхоллу, разбрасывая народу булочки, а народ скажет, с виду они неказистые, но посмотрите, как сияют их лица! И будут жевать булочки и славить нас, пока мы будем проноситься мимо. Ты же останешься? Что может дать тебе Антверпен по сравнению с этим?

Когда ему удается выкроить вечер, он сидит с дочерью, а в окна кабинета сочится отраженный от снега свет.

– Эти книги? – спрашивает она.

– Книги по юриспруденции.

Она кивает:

– Это было вашим ремеслом.

Он спрашивает:

– Как Антверпен? Я пытаюсь представить его. Слышал, в Онзе-Ливе-Фрау был пожар, рухнула крыша.

– Это была катастрофа, – отвечает она. Ему приятно, что она знает слово. – Началось с единственной свечи. Рухнули все балки трансепта, разрушили нижний ярус. Некоторые из нас говорили, это Господь сокрушает идолов.

– Когда я вернулся сюда, то первое время скучал по Антверпену, – говорит он. – Я привык к тамошней жизни и остался бы без особых уговоров. Поверь – знай я, что твоя мать носит под сердцем дитя, я бы ее не бросил. Я бы не потащил ее в Англию, – понимаешь, я возвращался после многих лет на чужбине, у меня не было ни покровителя, ни надежных средств к существованию.

Он видит себя: молодой холеный итальянец, лицо сосредоточенное, взгляд зоркий. Что осталось от того юноши? В любом помещении он по-прежнему отмечает про себя, где выход. Не любит, когда кто-то стоит за спиной. Сейчас, садясь в кресло, он откидывается на спинку. Руки – еще недавно занятые перочинным ножиком и пером, писанием писем чужим людям – расслаблены и сложены вместе: правый кулак в левой ладони. Можно подумать, он молится, но легкое движение плеч, подбородок опускается – и вот уже кажется, будто он готов броситься в драку.

Он говорит дочери:

– Я прощаю Стивена Воэна, делать нечего, он хотел как лучше, хотя для меня было бы утешением твое присутствие. Так бывает. Непонимание. Расставания.

– Стивен Воэн рассказывал мне о вас, – отвечает она, – с тех пор, как я была неразумным дитем. Он не стал бы восхищаться человеком слабым и недалеким. Вы для него – второй после Господа.

– В Антверпене знают, чья ты дочь?

– Догадываются. Вас помнят в городе.

Он сомневается. Английские торговцы говорили, иди, Томас, принеси нам последние сплетни. Расскажи, о чем говорят соседи. Когда собираются в кружок и толкуют на местном говорке, что они хотят от нас скрыть? В те времена с лица у него не сходило выражение дружелюбного изумления; молодой человек, жадный до новых знаний. «Что может дать тебе Антверпен?» – спросил Грегори Женнеке. Некогда он и сам задавался этим вопросом. В Италии думаешь, здесь есть все, что мне нужно: туманная даль, что открывается с бельведера или с башни, эта синева, это золото. Жара пробивается сквозь листву, свет скользит по мозаике, с которой на меня смотрят древние глаза. Да, кое-что, связанное с Италией, он предпочел бы забыть. Чему можно научиться у голода и боли, нужды и бегства? Он помнит дни, когда его единственной заботой было найти укрытие, чтобы не замерзнуть ночью на улице. Однако во Флоренции его судьба переменилась. Именно там – а еще в Венеции, в Риме – он научился коварству и уклончивости, научился всегда быть начеку, всегда быть готовым оскорбиться или сделать вид, что оскорблен. А еще отвечать мягко, если соотношение сил не в твою пользу. В Италии он научился красться ночами, шептать на ушко, кланяться знатным. Намекнуть или подать совет в нужное время – тихим голосом, чтобы вельможа мог приписать заслугу себе.

Со временем его начало снедать беспокойство. Он думал, что дальше? И когда высадился в Антверпене, решил, что можно узнать больше. Небо такое широкое, земля такая ровная, и все дороги открыты. В Италии учишься хитрости, в Антверпене – гибкости.

А какие там товары! Выходишь за дверь, и покупай себе алмаз или метлу, а хочешь ножи, подсвечники и ключи, скобяные изделия, что угодят самому придирчивому взгляду. Там делают мыло и стекло, коптят рыбу, торгуют квасцами и долговыми расписками. Можешь купить перец и имбирь, семена тмина и аниса, шафран и рис, миндаль и инжир. А еще бочки и горшки, гребни и зеркала, хлопок и шелк, алоэ и мирру.

У него уже были друзья в городе. В тот день, когда он впервые отплыл из Англии, судьба свела его с суконщиками, которые заметили на его лице ссадины от отцовского башмака. Мы тебя не забудем, сказали они, и, когда бы ты ни оказался в нашем городе, тебя всегда будет ждать постель. Прошли годы. «О господи! – воскликнули братья, когда он постучался в их дверь. – Неужто Томас? Как он вырос! Теперь он итальянец!»

В Антверпене ты тем успешней, чем больше языков знаешь. Если ему не хватало фраз на одном, он переключался на другой, и его рвение возмещало недостаток слов. Как и в Италии, он искал общества рассудительных и немолодых, чья застольная беседа отличалась изяществом. Тех, кто делился мудростью с молодым чужестранцем, который восхищался ими, засыпал их вопросами и почтительно выслушивал ответы. Таким солидным людям всегда нужны те, кто умеет хранить секреты, как и те, кто доставит тайное послание и вернется с ответом, не успеешь моргнуть глазом. Зато тебе придется довольствоваться их мирным укладом: никаких тебе кальчо, в лучшем случае добропорядочная стрельба из лука по воскресеньям. Сукно продают под открытым небом, но все равно в этих дворах никуда не деться от запахов жира, чернил и готовки, пропитавших темную зимнюю одежду; он выходил прогуляться и в тени замка Стен с его складами вдыхал речной воздух и воображал широкий мир. Несколько сотен его соотечественников (англичан то есть) жили внутри и вокруг Английского подворья бок о бок с кастильцами, португальцами и немцами, но поскольку они хорошо платили городу за свои привилегии, то были в почете. Когда прибывали корабли, англичан первыми обслуживал портовый кран, приводимый в движение человеком в ступальном колесе.

Однажды он спросил у антверпенца:

– У крана есть имя?

Изумленный взгляд.

– Мы зовем его краном.

Он думал, если у пушки есть имя, если у колокола есть имя, почему бы не быть имени у крана?

– Это не лишено смысла.

Фламандец рассмеялся:

– Можешь называть его Томасом, если хочешь.

– Кстати, – заметил он, отходя, – колесо будет работать гораздо лучше, если крутить снаружи, а не изнутри.

Нечего и думать поколебать предрассудки этого чужого города. Но он из тех, кто думает о подъеме тяжелых грузов, о балках и шкивах, о стыках и о том, как уменьшить трение.

Конечно, они перемывали ему кости, когда он поселился у Ансельмы. Она показала ему страну, познакомила с теми, кто мог ему пригодиться, с родными. Однажды в Генте они зашли помолиться в церковь Иоанна Крестителя.

Громадные алтарные створки, за которыми к Агнцу стекались толпы ангелов и пророков, открывали только по праздникам. Вместо этого они увидели только донаторов на внешней стороне створок. Оба в летах, она морщинистая, он лыс, но, несомненно, исполнены благодати. Он подумал тогда, лет через тридцать мы будем такими же. Я забуду английский и стану настоящим фламандцем, дородным бюргером, и буду гонять молодых и быстроногих на пристань вместо себя или забираться повыше – разглядеть в море свои корабли.

В церкви было многолюдно и шумно, но они слышали шепот друг друга: их головы сблизились, ее пальцы скользнули в его ладонь. Их дыхание смешалось, она оперлась на него, мягкая и теплая.

– Господи, сделай меня хорошим, но не сейчас.

Она рассмеялась, и он сказал:

– Это не я, а Блаженный Августин.

Но придет день, и она скажет ему: «Время отправляться за море, Томас. Теперь ты мое прошлое, а я – твое».

Он идет в Тауэр допросить Роберта Кендалла, викария Лута, зачинщика волнений в Линкольншире: таким, как он, не видать королевского прощения. Тучи нависают над городом, словно синевато-серые воздушные крепости, ветер молотит их, будто канонада. С ним мастер Ризли. Ему не хватает Рейфа, но тот едет в Ньюкасл, где будет ждать охранной грамоты на пересечение границы.

Реджинальд Поль уехал из Рима в новой кардинальской шапке. Теперь, когда заключили перемирие, Поль упустил шанс вторгнуться в Англию, хотя шотландцы и обещали ему помощь. Когда лорд Кромвель узнает, что Поль на пути в Париж, Фрэнсис Брайан пересекает пролив с требованием об экстрадиции. Реджинальд прибывает в столицу, но короля нет на месте. Разочарованный и обиженный неласковым приемом, загнанный в угол, он бежит на территорию императора, однако наш человек в Брюсселе уже убедил императорскую наместницу не принимать его.

Родные нового кардинала – мать леди Солсбери, брат лорд Монтегю – по-прежнему утверждают, что не поддерживают его глупую выходку. Их единственное желание, чтобы Реджинальд был доволен и верен Тюдорам, как и все они. Послушать их, так, встретив Реджинальда в алой шапке, они немедленно сорвут ее у него с головы и оплюют.

Господин Поло зовут его испанцы, что неизменно смешит лорда – хранителя малой королевской печати.

– Я слышал, у вас была гостья, Кромвель, – говорит императорский посол.

– Правда? Почему бы вам не рассказать мне об этом, Эсташ?

Посол машет рукой:

– Неудивительно, что ваши соседи судачат. Не каждый день увидишь дочь царицы Савской с дорожным мешком.

Приносят обед: по случаю холодов это густое рагу из барашка и пирог с говяжьими языками, щедро сдобренный мускатным цветом.

– Ca va, Christophe?[50] – спрашивает посол, но Кристоф только ворчит, гадая, сколько пирога ему достанется. – Жалко, что сейчас не весна, – говорит Шапюи. – Я, словно еврей в пустыне, тоскую по египетским дыням и огурцам. – Он вздыхает. – Мон шер, не вините меня в том, что ваши любовные похождения волнуют всю Европу. До сей поры наблюдатели удивлялись вашему благоразумию.

– Это старый грех, – говорит он. – Если его можно назвать грехом.

Шапюи накладывает себе немного рагу. Аромат сушеного шалфея наполняет комнату.

– Думаете, ваш лютеранский Бог поймет?

– Я устал повторять вам, что я не лютеранин.

– Не трудитесь, я все равно не поверю, – добродушно замечает посол. – Вы определенно принадлежите к какой-то секте. Может, к той, что против крещения младенцев?

Не сводя глаз с посла, он некоторое время жует. Эти слухи распространяет молодой Суррей и другие недоброжелатели. Верный способ подорвать доверие короля к нему, и Шапюи об этом знает.

– Кристоф, – спрашивает он, – где каплуны? – Откладывает салфетку. – А что, похоже? – спрашивает он посла. – Могу ли я исповедовать такую ересь и оставаться слугой христианского государя? Сектанты выступают против налогов, отказываются давать присягу. Не признают книг, грамоты, музыки.

– Тем не менее ходят слухи, что секта окопалась где-то в Кале. И лорд Лайл бессилен с ней справиться.

Кристоф несет каплунов. Мясо, нарезанное кубиками, томленное в красном вине, в соус для густоты добавлены хлебные крошки.

– Сколько мяса! – замечает Шапюи. – Однако на вкус лучше, чем на вид.

– Скоро пост, и вы еще поплачетесь о котлах египетских и даже не вспомните о дынях и огурцах.

Посол шлепает себя по губам:

– Что вы будете делать с новообретенной дочерью? Думаю, потихоньку выдадите замуж, дав богатое приданое. Вы собираетесь признать ее перед миром?

– Будет тяжело скрыть правду, если вы кричите о ней на всех углах.

– Это чудо, – говорит Шапюи. – Словно воскрешение Лазаря. Хотя кто знает, обрадовало ли это событие его родных?

Он тоже об этом думал. Обрадовались ли они, когда его увидели, или решили, что он зазнался, нарушив всеобщий закон?

– Что ей было нужно на самом деле? – спрашивает Шапюи.

– Хотела меня увидеть. Говорит, что не останется.

– Вернется в свое убежище еретиков?

– Заботами вашего императора, это не про Антверпен.

– Как я понимаю, этот город – настоящие катакомбы. Туннели и подвалы, целый подземный город, незаметный сверху. Впрочем, вы ведь бывали там в молодые годы?

– Разумеется. Это просто склады. Ничего больше.

Шапюи говорит:

– Если хотите удержать дочь в Англии, соблазните ее дарами. Отоприте ваши сундуки и потратьтесь. Ни одна женщина на свете не устоит перед ниткой жемчуга или драгоценной каймой.

В Антверпене вы открываете дверь, которая, как вам кажется, ведет в соседнюю комнату. Вместо этого у вас под ногами лестница, уходящая в глубину. Вы таращитесь в темноту, вы ползете, как улитка, задевая стены плечами, нащупывая край ступеней подошвами. Впрочем, спустя неделю вы резво носитесь вниз и вверх, а ноги сами находят дорогу.

Но только в вашем собственном доме. В соседнем снова берегите шею.

Остин-фрайарз, январь. Его дочь в потоке расщепленного света листает часослов, принадлежавший Лиззи Уайкис:

– Какой она была, ваша жена?

Что ей ответить? Мы были людьми практичными и старались делать друг другу добро; она умерла, я по ней скучал. Ее любовь была глубокой и суровой, а когда она отчитывала детей за проступки, то могла сказать: «Я говорю это тебе ради твоего же блага». Выходя в люди, надевала модный гейбл, но дома носила простецкий чепец. Она вечно составляла списки, вела учет припасов; слуги так безалаберны, за всем нужен глаз да глаз. Она держала список его грехов в кармане фартука, а порой вынимала и сверялась с ним.

Когда пошли дети, дом превратился в женское царство. У Элизабет хватало родственниц. Они знали его семью, его историю и, вероятно, никогда не

думали, что он способен подняться выше. Они были очень добры к нему, очень мягки. Однажды он слышал, как двоюродная сестра сказала Лиз: «Твой муж правда старается». Он не расслышал тихого ответа жены. Вполне может быть, что она сказала: «Старается, да все без толку».

Когда они поженились, он сказал, я могу обещать одно – ни одна моя женщина не будет бедствовать. Он надеялся стать хорошим мужем, бережливым, верным. Он был очень бережливым и по большей части верным. К тому времени, как родилась Грейс, он работал на Вулси не покладая рук. Родственницы Лиз смотрели на него настороженно: где ты пропадал? Словно он пропадал в каком-нибудь нечестивом месте. Они ждали, когда он проявит свою волчью сущность и папаша Уолтер вырвется наружу.

К его возвращению из Антверпена Уолтер стал значительным человеком. Некогда он расширял свои угодья, выдергивая соседские межевые столбы, но теперь владел честно купленными акрами, вкладывался в пивоварню и даже переманил из-за моря голландца – обучиться его секретам пивоварения, в котором, как известно, голландцы большие доки.

Его шурин Морган сказал ему:

– Томас, сходи как-нибудь в Патни. К отцу. Увидишь, какой он живот отрастил, в какой шляпе ходит. Теперь он церковный староста.

– Если ты советуешь, – ответил он, – пожалуй, взгляну.

И этот день настал. Не успел он взглянуть на Уолтера, как его заметили соседи. Слух быстро облетел всю округу. Какой-то зевака сказал:

– Да это ж чертов малец Ножи-Точу! Интересно, где его носило?

Он не счел нужным отвечать.

– И не стыдно ж сюда являться, – сказала женщина. – Думает, его тут забыли.

Ему было нечего на это сказать.

– А мы думали, ты помер! – воскликнул кто-то.

Он не стал поправлять.

Потом поднял глаза и увидел идущего навстречу Уолтера. Шляпы тот не прихватил, зато прихватил пузо. Оно его не смягчило. Уолтер был трезв и побрит, но по-прежнему выглядел так, словно готов сбить с ног первого встречного.

Кузница никуда не делась, хотя Уолтер в ней больше не работал: когда он протянул руку, она была розовая и чистая, а ожоги почти сошли.

Он, Томас, огляделся. Инструменты на подставке, кожаный фартук на крюке, до сих пор пахнущий дубильной мастерской. Впрочем, возможно, ему это все почудилось: пот, соль, дерьмо – ароматы его детства.

Уолтер сказал:

– Опись составляешь? Я еще не помер.

Он не ответил.

– Решил вернуться? – спросил Уолтер.

– Нет.

– Мы для тебя недостаточно хороши?

– Да.

Люди вечно внушают тебе: прости и забудь. Вечно убеждают себя, делай, как отец, – будь таким, как он. Молодые клянутся, что мечтают о переменах, о свободе, но на самом деле свобода смущает их, а перемены вгоняют в дрожь. Оставь их на большой дороге с котомкой и свежим ветром, дующим в спину, – не одолев и мили, они заплачут без хозяина: им нужен кто-то, кого они будут слушаться.

Он предпочел стать исключением. Прошел не одну милю. Впрочем, возможно, он не так сильно отличается от других. Мальчишкой, до того как сбежать, он хотел быть Уолтером, только почище. Думал, придет день, старик откинется и его закопают, и тогда я, Томас, стану хозяином пивоварни и овцеводом, а в кузне будут работать подмастерья, которых я выучу, потому что везде не поспеешь. Чем-то (своим теплом) кузня зимним днем привлекает бездельников со всей округи, и они толпятся рядом, чешут языками, пока свет в небе не погаснет, оттенки от алого и вишнево-красного до бледно-соломенного не сменятся черным, не сменятся луной, истоптанной ногами припозднившихся гуляк. День прошел, и что он может ему предъявить? Гвозди и штифты, крючья, вертела, скобы, шкворни, прутья, засовы.

Во Флоренции и позже в Антверпене Уолтер преследовал его во сне. Он просыпался, скрючившись от боли, пылая от ярости. И все же вернулся в Патни. Когда Уолтер преставился, соседи оплакали потерю: нового, исправившегося Уолтера. Тогда он еще верил в чистилище и, хотя заплатил священнику, чтоб молился за отцовскую душу, надеялся, что засовы там крепкие. Он не считает нужным, чтобы внуки Уолтера поминали того в молитвах.

Энн из тех детей, что вечно капризничают и орут, не закрывая рта, сводя с ума няньку. Лиз зовет ее жадиной. Она вечно чего-то хочет, но никто не знает, чего именно. Все мы рождены во грехе, наши души уже запятнаны, и Энн тому доказательство. Невыносимый ребенок. Раскидывает и разбрасывает все, до чего дотянется. Будет сидеть на ступеньках под дверью его кабинета, пока он не сдастся и не посадит ее под стол к собаке, где она немедленно начнет крутить Белле уши и бубнить себе под нос.

– Бога ради, дочка, ты бы лучше книжку почитала.

– Рано еще, – говорит она. – Вот будет мне шесть.

– А тебе сколько? (Он сбился со счета.)

– Не знаю.

Хороший ответ. Откуда ей знать, если он сам не знает? Он вынимает дочку из-под стола и обещает, что научит ее читать.

– Только должна тебя предупредить, мне нельзя давать в руки книжки. – Продолжает маминым голосом: – Этой девчонке что ни дай, все испортит. Можно подумать, она выросла на помойке. Только посмотрите, что с собой сделала.

Когда Энн берется за иголку, на ткани остаются кровавые пятнышки. Лиз говорит, ей больше подошло бы сапожное шило, вот только сапожники не болтают без умолку. Он не позволяет жене отшлепать Энн – усердия ей не занимать, а за остальное, он считает, наказывать не стоит.

– Думаю, она это перерастет, – говорит Лиз.

Как Грегори перерастет свои ночные кошмары, в которых демоны, живущие на южном берегу, подкупали стражников, чтобы их впустили на мост. Или переправлялись на лодках, оставляя от лодочников кровавые следы на причале. Или переходили темные воды вброд и крались по улицам на мягких перепончатых лапах, выглядывая Грегори Кромвеля, чтобы сжевать его и проглотить.

Когда Грегори требует сказку, он просит рассказывать одну и ту же, пока не запомнит ее, не получит в собственность. Теперь ее можно тихонечко рассказывать себе самому: храбрые рыцари Гавейн и Галахад, великаны Грох и Вад. Однако Энн недовольна: «Мы убили чудище вчера, там нет никого пострашнее?» Что дальше, спрашивает она, что дальше? У нее в руках все горит. Она постоянно чего-то добивается, ее личико вечно сосредоточенно: женщины говорят ей, не морщись, Энн, а то такой и останешься и никто не возьмет тебя замуж.

Перед Рождественским постом он смастерил для Грейс крылья из павлиньих перьев, орудуя перочинным ножиком и тонкой кисточкой, приклеивая перья к ткани с помощью клея из луковиц колокольчиков. «Тяжело мастерить такое при свече», – заметила Лиз. Но дни коротки, и у него не было выбора, если он хотел поспеть к рождественскому спектаклю. Он молился, чтобы его не вызвали по делу, пока не закончит работу; он был вечно в дороге, добывал деньги для кардинала. Он хотел бы объяснить Грейс, что обеспечивает ее будущее, но как ей понять, если его вечно нет дома, а если он и приходит, то в ту пору, когда огни погашены, а добрые люди видят десятый сон? Порой он стоял у двери в комнату, где его дочки спали вместе с молоденькой служанкой, сплетясь на кровати, словно щенята. Раз, только раз за все ночи Грейс подняла голову и посмотрела на него из темноты, а в ее широко открытых глазах отражалось пламя свечи. Возможно, она решила, что он ей снится, как она снилась ему. На ее лице не было выражения, ничего, что осталось бы в памяти, – он помнил только занавески, словно изгиб темноты, сияние белой простыни, бледное личико и пламя в ее зрачках.

Женнеке говорит:

– Вам тяжело пришлось, ваши дети умерли такими маленькими. Я спрашиваю себя, почему вы не завели новую семью?

– У меня был Грегори.

– Но вы могли жениться.

Он и сам не знает почему. Возможно, не хотел ни перед кем отчитываться, признаваться, что у него на душе. Во времена Лиззи это не имело значения – в его мыслях не было ничего тайного. Иные могут завернуть прошлое в аккуратный сверток – и с глаз долой, но это не для него. Однако, глядя на Женнеке, он не в силах удержаться от фантазий. Пожени они с Ансельмой, были бы у них еще дети? Возможно, он оказался бы плодовитее банкира. Но тогда не родился бы Грегори. Его душа до сих пор скиталась бы неприкаянной в поисках тела. Энн и Грейс тоже не были бы зачаты. И этот дом не был бы его домом. В его памяти не было бы дня, когда ему сказали, что его жена умерла. И другого, когда его дочерей зашили в саваны и отнесли на кладбище: двух маленьких невесомых девочек, ничем не владеющих, почти не оставивших по себе воспоминаний.

– И как вы обходились потом? – спрашивает дочь. – Без женщин?

– Ты очень прямолинейна.

– Англичанка бы не спросила?

– В лицо – нет. Гадала бы про себя. Слушала сплетни, добавляла к ним свое. Придумывала бы что-нибудь.

– Лучше говорить правду. Конечно, – добавляет она, – женщину можно купить. Уж наверняка ваши люди все вам устраивают. Они вас боятся.

– Я и сам себя боюсь, – говорит он. – Никогда не знаю, что сделаю завтра.

Он идет ко двору: в его суме чертежи военных механизмов. В этом деле лучше вести дела с королем, чем с Норфолком, который живет прошлым.

Однако его останавливают пажи: у короля шесть французских торговцев, чьи сундуки ломятся от материй и готовых платьев, – они угадали все королевские мерки.

– Он примеряет весь их товар, – предупреждают пажи. Их лица явственного говорят: остановите его, лорд Кромвель, иначе он потратит цену замка или нескольких пушек.

День сырой и холодный, из окон льется металлический свет, но в королевский покоях пылают громадные камины, аромат сосны и амбры плывет к нему теплым облаком.

– Входите и согрейтесь, Томас. Взгляните-ка, что у них есть. – Лицо короля светится от невинного удовольствия.

Торговцы бормочут и кланяются. Они откинули крышки дорожных сундуков и разложили товар: не только вышитые одежды, но также зеркала и драгоценные камни. Показывают королю кубок на ножке – обнаженный мальчик на крышке оседлал дельфина. Разворачивают вышивку длиной в четыре фута и выстраиваются в ряд, прижимая ее к себе. Глаза Генриха скользят слева направо, разглядывают Сусанну, которая собирается искупаться, и старцев, подглядывающих за ней из-за кустов. Торговцы предлагают детскую шапочку, украшенную золотыми пуговками в форме сияющих солнечных дисков. Король улыбается и расправляет ее на пальцах:

– Будь у меня ребенок…

Мастер Ризли глазами делает ему знак: пожалуйста, отвлеките короля.

– Надо же, у вас есть ошейники! – восклицает он, словно у него нет иных забот.

– Давайте посмотрим, – говорит король. – Ах, вот этот в самый раз для малютки Тыковки!

Это собачка моей жены, почти стыдливо сообщает король французам, лорд Кромвель привез ее из Кале.

Торговцы немедленно выписывают счет на бархатный ошейник, шесть шиллингов, и продолжают метать товары из мешков, извлекают распятия и часы, кукол и маски, перстни с топазами и чаши из черепахового панциря. Опускаются на колени, предлагают браслеты с эмалевыми знаками зодиака, картину, на которой Пресвятая Дева стоит на ковре из лилий, на одной руке бессмертный Младенец, в другой скипетр. Торговцы вынимают шахматные фигурки и ящички с ножами, и король тянется к ним – то ли расставить фигуры на доске, то ли проверить остроту лезвий. Из льняной ткани французы извлекают остроумную диковинку, jeu d’ esprit – изумрудно-зеленые рукава с вышитыми темно-красными земляничинами, на каждой ягоде капля росы, алмаз чистой воды.

– Ах! – Король отводит взгляд, не в силах сдержать умиления. Даже порозовел от желания. – Но я для них слишком стар.

– Что вы! – хором восклицают французы.

К ним присоединяется Зовите-меня. Он молчит. Король прав: такие рукава впору нежным юношам вроде Грегори или покойного Фицроя. Но у короля текут слюнки.

Внезапно французы замолкают. Он понимает, что это знак, – сейчас они предъявят свой лучший товар. Старший делает знак самому молодому. Тот склоняется над сундуком, ключ щелкает в замке, пауза – и француз подкидывает в воздух нечто, напоминающее дымку в вечернем небе, или тысячу павлинов, или облачение архангела. Мурлыча от удовольствия, они расправляют и гладят удивительную материю.

– Специально для вас, ваше величество. Мы не знаем другого правителя в Европе, достойного такого одеяния.

Король заворожен:

– Я примерю, раз уж вы забрались так далеко от дома. – По его лицу пробегает рябь цвета морской волны.

– Мы называем это pavonazzo[51], – говорит француз, встряхивает запястьем, и ткань влажно переливается, меняя цвета от зелени морских волн до небесной голубизны и от небесной голубизны до сапфира.

Король сияет, как Левиафан, восставший из морских глубин. Разглядывает себя, затаив дыхание.

Французы называют цену. Король смеется, не веря. Но он уже на крючке. Мастер Ризли, смелый человек, предостерегающе покашливает. Голубые глаза короля вспыхивают, затем он морщится, изворотливый, как все старые скряги:

– Перед вами король-бедняк, господа. Я потратил все свои деньги на войну.

– Не может быть, ваше величество. – Французы переглядываются. Наверняка среди них есть парочка шпионов. – Мы полагали, это всего лишь мелкие недоразумения, – говорит старший. – Эти волнения на дальних рубежах для вашего величества все равно что комариный укус.

– По крайней мере, – добавляет другой, – так преподносит это всему свету мсье Кремюэль.

Произнося его имя, хитрый француз продолжает вытаскивать товары из кожаной сумки, мягкой, словно вздох девственницы. У него мелькает мысль, что в дни Гарри Норриса французов не допустили бы до короля, не получи Норрис свой процент.

Выглянуло солнце, осветив утро сквозь бледную дымку. Это вдохновляет торговцев; они вынимают зеркала и ходят с ними по комнате – и когда зеркала ловят отражение короля, тот всякий раз ослеплен собственным великолепием.

И все же Генрих сомневается.

– Смелее, ваше величество, – умоляют французы. – Мы даем вам право первого выбора. Что, если ткань купит кто-нибудь из придворных? Любой правитель счел бы себя униженным.

Короля охватывает воодушевление.

– Вы знаете, что мой флагман «Мэри Роуз» был перестроен? Я хочу, чтобы он нес больше пушек, хочу построить еще два или три корабля. Полагаю, в сумке, которую принес милорд хранитель печати, лежат чертежи.

Мастер Ризли ухмыляется. Военные корабли: теперь весть о них точно дойдет до Франции.

– Сами видите, я не могу позволить себе много тратить на украшение своей особы, – говорит король. – Дела королевства прежде всего.

Торговцы начинают что-то лепетать. На лбах блестит пот. Он понимает, что старшему придется отвечать перед хозяином и он не может привезти товары обратно. Если король Англии не в состоянии приобрести их, кто следующий? Император, султан? Добавьте накладные расходы. И то, что товары утратят свежесть, поизносятся в дороге.

В его сумке, кроме чертежей, лежит вдохновенное воззвание с севера, призывающее Паломников к новым подвигам: «Посему пришло время подняться, сейчас или никогда, и продолжить наше Благодатное паломничество…»

Он выступает вперед.

– Милорд Кромвель? – говорит король.

Он шепчет Генриху в ухо: caveat emptor[52], сэр, и, кстати, предоставьте этих торговцев мне.

– Понимаю, – произносит Генрих громко, – хорошо.

Но, Томас, шепчет он ему на ухо, я хочу все. Сусанну со старцами, шахматы, кукол, земляничные рукава. И я никогда себе так не нравился, как в этом pavonazzo.

– Смотрите и учитесь, – шепчет он Ризли и выходит вслед за французами.

За закрытой дверью он позволяет себе не стесняться в выражениях: за кого они его держат? Решили обвести вокруг пальца одного из величайших христианских государей? Есть у них совесть подсовывать такой хлам? Господь наш Иисус Христос выгнал бы их взашей из храма, вышибив им зубы. А поскольку Его нет с нами, он с радостью пересчитает им зубы самолично.

– Помилуйте, милорд Кремюэль, – стонут французы.

– Ваше великолепие, одолжите королю денег! – умоляет один.

От страха и усталости они снижают цену.

– Я хочу полный расчет, – говорит он. – Пять экземпляров, пожалуйста.

Французы белеют. Решают, что он хочет выписать им вексель, который они должны будут предъявить к оплате и ждать следующего дня квартальных платежей.

– Мы не вернемся без наличных, – говорят торговцы. – С нас сдерут шкуру живьем.

– Наличными, значит, – роняет он с безразличным видом. – Но сбросьте треть цены.

Французы воодушевляются, благодарят.

– Мы хотели бы преподнести это вам, милорд, – багряный атлас очень освежит ваш цвет лица.

Он задумывается. Хорошо быть не красномордым, как старый Дарси, не желтушным и потасканным, как Фрэнсис Брайан. Да, соглашается он, пожалуй, цвет неплох.

– Осторожнее сэр, – говорит Зовите-меня.

Он думает, Ризли имеет в виду, осторожнее с красным.

Ему хочется развернуть рулон, посмотреть, как свет играет на ткани, но здесь не место.

– Можете прийти ко мне домой, – говорит он. – И показать те безделушки, которые не показали королю. Мастер Ризли, у вас мой листок с напоминаниями? Мы должны вернуться, у нас десяток вопросов, которые надо рассмотреть, прежде чем мы позволим его величеству наслаждаться утром. И разумеется, мы должны обсудить военные корабли.

Когда после вечерни он возвращается к королю с бумагами на подпись, то признается, сколько денег ему сэкономил.

– Неужели? – спрашивает Генрих. – Я думал, это я заключил сделку, а оказывается, вы. – Лоб короля разглаживается. Он выглядит лет на пять моложе, чем до визита французов, ради этого стоило потратить деньги. – Я хочу обновить гардероб, потому что думаю о новом портрете. Предупредите мастера Ганса.

– С радостью, – говорит он и выходит с улыбкой на лице – наконец-то хорошая новость.

Прежде чем покинуть двор после рождественских празднеств, мятежник Аск получает от короля пунцовый дублет, который ему не к лицу, особенно когда он вспыхивает от гордости. Отправляясь домой, Аск оставляет дублет в гостинице «Кардинальская шапка» вместе с остальными тяжелыми вещами. Возможно, не хочет, чтобы его грубые соратники в шкурах увидели его разряженным, словно танцующая обезьянка. Генрих знает, что ваша внешность показывает миру ваше нутро, и если это знает король, то насколько же лучше знает мастер Ганс. Он рисует оболочку и не лезет липкими пальцами в душу. Когда он делает набросок, то записывает цвет вашего платья крохотными буковками, напоминающими стежки. Ганс ждал большого заказа, а вот и он: как говорили Болейны, le temps viendra[53].

Мятежники пишут: «Посему пришло время подняться, или мы будем повержены. А значит, вперед, вперед, только вперед! Вперед вопреки смерти, сейчас или никогда».

Его дочь говорит:

– Я хочу рассказать вам о Тиндейле. О том, как он умер.

За окном вечереет. Они сумерничают вдвоем в нише окна.

– Ты видела своими глазами?

– Тиндейл хотел, чтобы были свидетели. Те, кто не отведет глаз. Вы когда-нибудь видели, как сжигают на костре?

Он говорит:

– На королевской службе, да, к сожалению.

Генрих следит, куда ты смотришь, ты не смеешь менять угол зрения.

– Я видел, как сжигали женщину. – Он чувствует стеснение в груди. – Это было очень давно. Она умерла за книгу Уиклифа. Старую Библию. Таких, как она, называли лоллардами, многие из них были бедны и не умели читать, поэтому заучивали Писание наизусть. Но та женщина – та еретичка, как ее называли, – не была бедной и одинокой. Просто она была босая, в одной рубахе, и я, ребенок, глядя, как с ней обращаются, решил, что она нищенка.

Она перебивает:

– Вы были ребенком? Кто вас туда отвел?

– Сам пришел. Шлялся по городу, добрел до Смитфилда. Там пустошь, где людей мучают до сих пор. Моим родным было все равно, где я. Моя мать умерла.

Ее английский хорош, но не безупречен, поэтому он старается изъясняться простыми фразами. Это урок для меня, урок для всех нас – разговаривать с Женнеке. Все начинает казаться простым и ясным, никаких полутонов, один чистый полуденный свет.

Она говорит:

– Стивен Воэн рассказал мне, как познакомился с Тиндейлом. Вы ему поручили.

– В те времена я надеялся, что Тиндейл вернется в Англию. Помирится с королем.

– Они не хотели встречаться в четырех стенах, – рассказывает Женнеке, – у стен есть глаза и уши. Поэтому уходили в поля – не schuttershoven, где стреляют из луков, а raamhoven… белильные поля?

– Ах да, понимаю, – говорит он, – поля, где материю растягивают на колышках для просушки.

Но ей хочется, чтобы он запомнил Тиндейла таким: шагающим в полях, где земля растворяется в бледном сиянии, а городские стены шепчутся, окутанные испарениями. Его неуступчивый соотечественник в истертом платье преображается, и мейстер Воэн рядом с ним, капюшон опущен на лицо, тайные инструкции прижаты к сердцу.

– Тиндейл жил у торговца по имени Пойнц, – говорит она. – Жил тихо, как бедные апостолы, работал над своей Библией и не просил платы за свои великие труды. Купцы его кормили, давали ему немного денег, и из них он

умудрялся подавать милостыню. Он не доставлял никому неприятностей, и городские власти были довольны.

– Ваши правители, безусловно, знали о нем.

Имперский двойной черный орел реет над городскими стенами, Антверпен не свободный город, хотя в нем живут свободные люди.

Она говорит:

– Он был осторожен, не привлекал внимания. По-английски в городе мало кто понимает, и его не знали в лицо. А потом явился этот человек, Филлипс, – тот, кто его предал.

– Гарри Филлипс, – произносит он.

– Вы его знаете?

– Я знаю, кто ему заплатил. Все знают.

– Мастеру Пойнцу он сразу не понравился. Он предупредил, осторожнее с ним, мы не знаем его намерений. Но Тиндейлу была чужда подозрительность. Он думал только о своей книге. Те, кто его знал, никогда бы его не предали. Только чужестранец, которому заплатили. Филлипс изучил его привычки, где он бывает, с кем он разговаривает. Спрашивал, далеко ли продвинулись его праведные труды? Затем донес на него в Брюссель. Советники поначалу не хотели его слушать, но у него были деньги для подкупа. Он принес им бумаги, которые выкрал у Тиндейла, его письма, которые перевел на латынь, чтобы советники могли прочесть. Убеждал, что император оценит и вознаградит их усердие. И тогда они решили схватить Тиндейла. Дождались дня, когда квартал опустеет и все торговцы отправятся на Пасхальную ярмарку в Берген. Не хотели поднимать шум и устраивать суматоху на улице.

– Пойнц был в отъезде, – говорит он. – И все остальные.

– Вам скажут, его взяли у Английского подворья. Не верьте. Его взяли у дома Пойнца.

– Свежие новости всегда ложные, – замечает он.

– Филлипс привел солдат, и они преградили ему путь. Филлипс показал на него: «Вот еретик, хватайте его». Достойный человек пошел с ними, как агнец. Даже солдаты его жалели.

Узкая улочка, он легко может нарисовать ее перед мысленным взором. Он и сам некогда жил в лабиринте таких улочек. Он видит Тиндейла – маленького озлобленного человечка, – зажатого между воротами и стеной.

– Вернувшись из Бергена, английские торговцы пытались протестовать, но ничего не могли сделать.

– Томас Мор заплатил за смерть Тиндейла, – говорит он. – Поклялся, что найдет его хоть на краю света. Он задумал это, сидя в тюрьме, у него было много времени, король был терпелив с ним, как и я. Не думай, что Мора

держали в черном теле. Друзья присылали ему обеды. У него было хорошее вино, хороший огонь в камине и хорошие книги. Его навещали. Он получал и отправлял письма.

– Я бы содержала его в большой строгости.

– Мы были беспечны, теперь я это вижу. Смерть Томаса Мора ничего не изменила, потому что деньги уже лежали в кармане мерзкого плута Филлипса.

Быстро темнеет. Он встает, зажигает свечу, закрывает ставнями ночь и металлический блеск звезд. Глаза дочери следят за каждым его движением. Она будет хорошим свидетелем, думает он.

– Томас Мор при жизни написал свою эпитафию, – говорит он. – Таким он был человеком.

Слова, слова, просто слова.

– Он хотел, чтобы на камне вырезали: «Был беспощаден к еретикам». Гордился тем, что делал. Считал, если позволить людям читать слово Божие, христианский мир рассыплется. Не станет правительств, кончится правосудие.

– Он и вправду в это верил?

– В то, что вредно просвещать невежественных? Да, верил.

– Он был не слишком высокого мнения о людях.

– Впоследствии – видишь ли, ты не знала его, тебе будет трудно понять – грехи придавили его тяжкой ношей. Думаю, в конце он утратил веру в собственные доводы. Эти люди – его последователи, но он не узнал бы себя в размалеванном паписте, в которого они его превратили. Я помню времена, когда он не жаловал пап. А знаешь, что чертов ищейка Стоксли по-прежнему на своем посту? Стоксли, епископ Лондонский. А его протеже был викарием Лута, это на востоке, где начались недавние волнения. И причиной всему Мор.

Она хмурится. Слишком много имен, слишком много. Слишком много названий, топография чужой земли.

– С его смертью ничего не закончилось, – говорит он. – Все только началось. Когда он был жив и назывался лорд-канцлером, Стоксли помогал ему, врывался в дома, уводил мужчин и женщин в тюрьмы.

– Прогоните этого епископа. У вас есть власть.

– Моей власти недостаточно.

– Могу я его увидеть?

– Стоксли? – Он удивлен. – Если хочешь. Он буйный. Нечего на него смотреть. Я покажу тебе епископов поприличнее. И благородных дам. И господ.

– Могу я увидеть Генриха на троне?

Он медлит с ответом.

– Расскажи мне о Тиндейле. После ареста.

– В тюрьме он не страдал, я уверена. Они уважают ученых мужей и пытались его увещевать. Обходились с ним как с христианином.

Мор наверняка оскорблял бы его и стегал плетью, думает он.

– Он много писал в свою защиту. Они выставили против него худших людей. – Она выплевывает имена: – Дуфиф, продажный адвокат. Таппер. Дуа. Жак Массон. Все видные паписты Лёвена.

– Они хотели разбить его доводами, – говорит он. – Признаюсь, я и сам бы того же хотел. Если бы он уступил королю в главном вопросе – я разумею его женитьбу, – то был бы в безопасности и, возможно, сидел бы сейчас рядом с нами. Я пытался его спасти, но кто я такой? Я даже не был лордом Кромвелем. Император не внял бы моей просьбе.

– Ваш король мог спасти его, – говорит она, – но не стал. Кое-кто спросил бы, если ваши уши открыты Евангелию, почему вы служите такому хозяину?

– А кому еще мне служить? Человеку нельзя без господина.

Дверь открывается. На пороге юный Мэтью. Письма.

– Оставь здесь.

– Они ждут ответа, сэр.

– Оставь. Скажи, что я занят с дочерью.

– Так и сказать? Как вам угодно, сэр.

Мэтью удаляется.

Она говорит:

– Мой рассказ почти закончен. Тиндейл не отступился. Не дрогнул. Все эти долгие месяцы он молился за своих тюремщиков, и, я надеюсь, скоро мы услышим, что некоторые из них пришли к Христу.

– Это будет благая весть. – Скорее всего, думает он, они обчистили камеру, едва его увели, не погнушавшись ветхой одеждой и огарками свечей. – Говорят, он пытался работать даже в тюрьме.

Он воображает, как слово Божие, влажное и вязкое, соскальзывает со страницы и собирается лужицей на каменных плитах.

– Не понимаю, как такое возможно.

Она говорит:

– Он оставил в тайниках в городской стене свои рукописи.

– У кого они? Я бы их выкупил.

– Не могу сказать. Король их у вас отберет.

Верно, думает он.

– Мы думали, его сожгут сразу после суда, но ему дали время, видимо, для того, чтобы он мог отречься. Потом мы думали, его сожгут в тюремном дворе, но это произошло на площади. Его приковали к столбу и надели ему на шею петлю. Они называли это милосердием – задушить приговоренного до того, как до него доберется огонь. В столбе делают отверстие – слыхали о таком? – и продевают веревку. Палач стоит сзади, а когда пламя займется, тянет за веревку – и добрая душа отлетает. Но разумеется, палач так делает далеко не всегда.

– Я слышал, он был жив, когда до него добралось пламя. Что он сказал из пламени: «Господи, открой глаза королю Англии».

– Он ничего не говорил. Да и как он мог говорить? Он задыхался. Он дергался и кричал от боли. – Она выпаливает со злостью: – Кто такой король Англии, чтобы занимать его последние мысли? И что такое Англия? Королевство, которое от него отвернулось?

Они сидят в молчании. Тиндейл оставил после себя Новый Завет и немного Старого: Закон и Пророков, хронику страшных войн Израиля, бесконечных кампаний Создателя против избранного народа.

– Король видит… – начинает он, но снова замолкает. Дым – вот что он видит сейчас, слышит далекий рокот толпы. – Он видит, что английской церкви нужна Библия. Мы долго трудились, чтобы его в этом убедить. Мы согласились, что перевод будет тиндейловский, раз он у нас есть, но под чужим именем. Хотим поместить на титульный лист портрет Генриха. Пусть увидит себя там. Пусть разрешит издание и отправит Библию во все церкви, чтобы ее читали все грамотные. Тираж должен быть таким, чтобы книгу нельзя было отозвать или уничтожить. Когда люди ее прочтут, больше не будет вооруженных убийц, зовущих себя Паломниками. Они своими глазами увидят, что в Библии нет ничего про епитимьи, пап, чистилище, монастыри, четки и освященные свечи, про ритуалы и реликвии…

– И даже про священников, – говорит она.

Даже про них. Хотя мы не заостряем на этом внимание Генриха.

– Женнеке, – говорит он, – ты приехала в такую даль принести свидетельство. Твоя задача исполнена, но ты же меня не оставишь? Сейчас это место кажется тебе чужим, но ты привыкнешь. Мы найдем тебе мужа, если ты сможешь полюбить англичанина.

Иногда должны пройти годы, прежде чем мы поймем, кто герой, а кто жертва. Мученики не просчитывают последствий. Да и как им просчитывать, если все их мысли о том, чтобы вытерпеть боль? Спустя месяц после ареста Тиндейда

торговца Пойнца арестовали по слову Гарри Филлипса. Обвинили в том, что он лютеранин, и хотели сжечь, но он бежал и сейчас в Лондоне. Его жена Анна отказалась за ним последовать. Почему она должна оставить привычную жизнь и родной язык ради человека, чье имя опозорено, человека, который оставил ее с детьми без средств к существованию?

Что до Филлипса, то после смерти Томаса Мора он искал другого хозяина. Был в Риме и, как передает наш человек Грегори Казале, пытался добиться расположения папы, выдавая себя за родственника Мора. Говорят, сейчас он в Париже, ищет следующую жертву. У него благообразная внешность, остроумный, беспринципный молодой человек, легко сходится с людьми. За плечами мешок неудач и сокровищница имен со времен Оксфорда, которыми он любит козырнуть. Легко представить, как он умеет втереться в доверие, всегда готовый помочь, свободно владеющий несколькими языками.

Он говорит:

– Не уезжай, дочь. Нас ждут тяжелые времена. Антверпен утратит свои свободы. Магистраты думают, что власть принадлежит им, но это не так. Аресты еще будут. Печатники должны быть осторожны.

В Антверпене печатается больше книг на английском, чем в Лондоне, но тех, кто печатает незаконно, клеймят, им выкалывают глаза и отрубают руки. Шпионы везде. Даже среди наших торговцев.

Он говорит:

– Твоя мать…

– Царица Савская? – улыбается она.

– …она знает, что Остин-фрайарз ее дом. Я никуда ее не перевожу. А если закрываю дом на лето, скатываю шпалеру в рулон и убираю.

Шерстяная Ансельма никогда не постареет. Однако он боится, что, если часто перевозить шпалеру, черты ее лица затрутся и станут нечеткими. Она появилась в его доме после смерти жены. Он не из тех, кто живет с несколькими женщинами или, как Томас Мор, женится, не дожидаясь, пока после старой жены остынут простыни.

Камин догорает, он подбрасывает дрова.

– Мать моей жены, Мерси, состарилась. В доме нужна хозяйка. Обо мне вечно толкуют, что я собираюсь жениться, но это не так.

Он представляет, как Мег Дуглас стремительно перешагивает через порог его дома. Или Кейт Латимер, что больше похоже на правду, если старый Латимер умрет. Мария Тюдор спотыкается, взмахивает руками, как в Хансдоне, ее крошечные ножки крошат его венецианские кубки.

– Ты могла бы жить в доме Грегори, – говорит он.

– У Грегори есть дом?

– Будет. Я собираюсь женить его в этом году.

– Грегори знает?

– Нет, – отвечает он коротко. – Я скажу ему, когда найду невесту.

– А как быть со мной? Вы тоже найдете мне англичанина, за которого я должна буду выйти замуж?

Он поднимает глаза:

– Разумеется, ты выберешь сама. Грегори мой наследник, это другое. Я дам тебе приличное содержание.

Она говорит:

– Я как бедняжка Анна Кальва, жена Пойнца. Она не согласилась жить среди чужестранцев.

– Вспомни библейскую Руфь. Она приспособилась.

Его дочь смеется:

– Вы путаете давние времена с нашими. Мы живем в последние дни, они жили на заре мира.

Значит, она из тех, кто считает, нет смысла жениться и выходить замуж, поскольку настали последние времена.

Он думает о дочери Вулси, о том, как она его подкосила. Он не уверен, что сумел встать на ноги.

– Я вас оставлю, – говорит его дочь. – Но только до завтра. Я не уеду, не попрощавшись.

Она пришла, чтобы рассказать историю; с этим покончено. Чтобы увидеться с отцом – теперь и эта задача исполнена. Большее ее ничто здесь не удерживает.

Лазарь, разумеется, умер дважды. Второй раз навсегда. Путешествуя по банковским делам на востоке, он посетил его вторую, и последнюю гробницу. Ее охраняли свирепые монахи, которые тычут тебе под нос чашу для подаяний, заставляют вывернуть карманы, чтобы ты увидел всего лишь доказательство того, что чудеса не длятся вечно. Хромой встает, но, дважды обойдя церковный двор, падает, молотя руками и ногами по воздуху. Слепой прозревает, но лица, которые он знал в юности, изменились, и когда он просит зеркало, то не узнает в нем себя.

После ухода дочери заглядывает мастер Ризли:

– Вы узнали от нее что-нибудь новое о Гарри Филлипсе?

– Я вижу, он человек полезный. И легок на подъем.

– Можно было бы натравить его на Поло. Вряд ли Филлипс папист, что бы он ни говорил. Такой будет работать на кого угодно.

Он кивает:

– Но, боюсь, Поло остановит только смерть, а люди вроде Филлипса не любят пачкать руки. – Он замолкает. – Впрочем, неплохо бы расспросить его, заинтересовать. Никогда не знаешь, когда пригодится такой человек.

– Вы же пользуетесь услугами доктора Агостино, несмотря на…

– Да, – перебивает он.

Несмотря на то, что подозревает его в неверности кардиналу. Доктор Агостино путешествует по Европе и сообщает массу ценных сведений.

Он думает о Тиндейле на белильных полях, его человеческие грехи смыты, его голос доносится из дымного марева. Думает о реке в Рождественский пост, скованной льдом. Есть поэт, который пишет о зимних войнах, где все звуки застыли. В почву под снегом вмерз топот ног, звон сбруи, мольбы пленников, стоны умирающих. Когда первые весенние лучи отогревают землю, страдания оттаивают. Стоны и крики вырываются наружу, и прошлогодняя кровь отравляет воды.

Ныне Тиндейл облачен в доспехи из света. В последний день он воскреснет в серебристом тумане вместе с замученными и сожженными, мужчинами и женщинами, встающими из груды пепла. С Маленьким Билни, юным Джоном Фритом, законниками, учеными и теми, кто, не умея читать, только слушал. С Ричардом Ханном, которого повесили в Лоллардской башне, и теми мучениками, жившими до нашего рождения, кто распространял книгу Уиклифа. Он пожмет руку Джоанне Боутон, которую сожгли дотла на глазах у него, лорда – хранителя печати, когда он был ребенком. В эти благословенные дни просияет все мироздание, но до тех пор мы видим сквозь тусклое стекло, не лицом к лицу.

Где-то (а возможно, это место – Нигде) обществом управляют философы. У них чистые руки и непорочные сердца. Но даже в метрополии света есть свалки мусора и навозные кучи, кишащие мухами. Даже в республике добродетели нужен кто-то, кто возьмет лопату, чтобы разгребать дерьмо, и где-то написано, что Кромвель его имя.

II

Образ короля

Весна-лето 1537 г.

Ганс не любит pavonazzo. Не дело, чтобы король был лиловый с одного ракурса, синий с другого и зеленый с третьего, чтобы он влажно мерцал и переливался, будто нарочно ускользая от художника. Держитесь пунцового цвета, сэр; это мой горячий верноподданический совет.

Король еще не решил, какой именно хочет портрет. Может заказать что угодно, от картины во всю стену до миниатюры, которая поместится на ладони. Однако на пунцовый согласился. Каждый рубин – крохотный огонь.

В кухне Дома архивов лорд – хранитель малой королевской печати держит в руке белую миску с лужицей зеленого масла, в которую окунает куски хлеба и раздает мальчишкам – попробовать. Мэтью, подбегая за своей порцией, оглушительно чихает.

– Чума небось, – замечает Терстон.

– Рановато для чумы.

– Тогда я виню рацион. Англичане не созданы есть рыбу. От нее мозги просаливаются. Немец может питаться овощами и тем, что у них зовется «краут». Француз жрет коренья и листья, так что, когда оголодает, может обойтись травой. А вот англичане выросли на мясе и беконе.

– И зачем англичанам Великий пост? – дивится Мэтью. – Папу мы прогнали, вроде бы можно теперь каждый день есть требуху.

– В этом году поститься будет легче, – говорит он. – Король разрешил яйца. И сыр.

– Все только желтое и белое, – замечает Терстон.

Император и французы сражаются на суше и на море. Из-за войны рыбы стало мало – лишь поэтому король и ввел послабление. Кранмер жалуется, что при дворе даже незначительные церковные праздники отмечают с прежними суеверными церемониями. Как убедить простых людей работать в праздники, а не пить эль под забором, пахать и сеять, а не играть в кегли?

– Сговорчивых мясников хватает, – говорит Терстон. – Можно купить мясо даже в Страстную пятницу, если есть деньги и немного ума.

Он поднимает ладони:

– Если бы я знал имена сговорчивых мясников, то мне бы пришлось закрыть их лавочки.

– Наш хозяин – второй после Бога, – с набитым ртом говорит Мэтью. – Первый король, Божий наместник, затем наш хозяин, наместник короля. – Облизывает пальцы. – Сэр, говорят, французы сделали вам роскошный подарок. В смысле, не льва подарили или боевого скакуна, а деньги.

Он благоговейно дожевывает последний кусочек хлеба: перец, пряные травы. Масло прислал Шапюи.

– Король не против того, чтобы мы себя обеспечивали. Так повелось. Мы запугиваем французов, они платят нам деньги. Король и сам получает от них пенсион, еще со времен старого короля Эдуарда. Впрочем, платят они неаккуратно.

Лоб Мэтью разглаживается.

– А, ну тогда хорошо. Будь это клевета, нам бы пришлось их отлупить. – Мэтью ударяет себя кулаком по ладони и, шмыгнув носом, уходит.

– У меня нет сил кого-нибудь побить, – говорит Терстон. – И от яиц силы не прибавится. Мне нужны говяжьи ребрышки. Я бы Христа убил за то, чтобы подержать во рту кусочек ветчины. Думаю, в этом и был Евин грех – не за яблоко она преступила заповедь, а за жирный ломоть бекона.

– Прекрати, – говорит он, – не то я сейчас заплачу.

И все-таки невольно задумываешься, кто это придумал: стремительный пробег от Христова дня рождения, через мокрый снег, до Сретенья, потом недели покаяния, тоскливые голодные дни до Пасхи. В середине марта деревья оденутся листвой и защебечут птицы, но красотой сыт не будешь. Терстон говорит:

– Его святому величеству все нипочем, он обжирается сахаром. Хлещет мальвазию и заедает медом.

В мгновение ока, быстрее, чем можно прочесть Аве Мария, он оказывается в другом месте: в аббатстве Лонд, по кардинальскому делу. День одуряюще жаркий, молодой человек хохочет с монахами в саду. Аббатство, где он ел мед, приправленный тимьяном, стоит в сердце Англии, далеко от опасных соленых вод. Оно утопает в лесах и полях, летом и зимой воздух напоен благоуханием. Он приезжал по делам кардинала и, разумеется, садился проверять счета, однако на здешнюю благодать невозможно было смотреть сквозь колонки и строки приходно-расходных книг. Сейчас он думает: когда монахи отдадут Лонд в казну, я заберу его себе. Построю дом, буду жить там в старости, вдали от двора и совета. Пора мне сделать что-нибудь и для себя.

Надо бы снова поехать в Чартерхауз, лондонский картезианский монастырь, еще разок поспорить с монахами; они молчальники, непривычные к речам, но красноречивые в своем неприятии того, что называют посягательством короля на свою духовную жизнь. Генрих всего лишь человек, говорят они, а он отвечает: а кто такой епископ Римский, если не человек, да к тому же дурной?

Он умолял короля не закрывать Чартерхауз. Там нет злоупотреблений и непотребств, монахи не едят мяса даже и раз в году, но питаются плодами и травами, которые выращивают сами. Я мало-помалу перетяну их на нашу сторону, убеждал он. Однако ничего не получается. Когда он думает о слепоте этих рьяных монахов, ему хочется плакать. Когда он думает о Фарнезе, нынешнем папе, – кардинал Мандюк, называли его римляне, – ему хочется пересечь море и схватить того за горло.

На третьей неделе февраля двор присутствует на крестинах дочери Эдварда Сеймура. Это его первый ребенок от нынешней жены. В честь украшения семьи ее назовут Джейн. Королева приглашена крестной. По обычаю король не может участвовать в торжестве, и вид у него потерянный.

– Верните мне мой алмаз в целости и сохранности, милорд.

Удивительный обычай, запрещающий королю веселиться вместе со всеми. По какому закону на коронации королевы государь должен находиться в молельне, высоко-высоко над толпой? Подданные кричат gloria in excelsis[54], монарх наблюдает за ними в щелочку.

Генрих звонко чмокает королеву, и та спускается по ступеням пристани – бледная кукла, закутанная в соболя. Вторая восприемница – леди Мария. Восприемник – хранитель королевской печати. Под навесом королевиной барки он светски беседует с дамами, оставляя без внимания попытки Одли устроить импровизированное заседание совета, – с лорд-канцлером можно поговорить и в другое время.

Они не успевают устроиться в барке, как уже надо высаживаться на пристани у Честер-плейс. Лондонцев заранее не извещали, и все равно собралась толпа. Леди Марию приветствуют криками. На Джейн смотрят равнодушно, выкриков в ее адрес, одобрительных или осуждающих, не слышно. Народ знает, что она не Анна Болейн. Однако она и не покойница, которую они по-прежнему называют королевой Екатериной. Впрочем, он раздал деньги женщинам в толпе, и когда те кричат: «Боже, благослови королеву Джейн», остальные подхватывают. Люди будут орать что угодно, думает он, лишь бы кто-нибудь первый начал. Наверняка так было и в Линкольншире. Какой-нибудь олух выкрикивает: «Идите за крестами!» – и вот уже все графство охвачено беспорядками.

В толпе его узнают. Кричат: «Холодно, Том?» Он солидный крестный, укутанный в черную овчину и рысий мех. Не сказать, что лондонцы его любят, однако они знают, что он много сделал для обороны города и поклялся на свои деньги купить оружие для их защиты. Уж конечно, в их глазах он лучше йоркширского грабителя. Одинокий голос в толпе выкрикивает:

– Кромвель, король Лондона!

У него обрывается сердце, голова идет кругом.

– Друг, если любишь меня, спой что-нибудь другое.

Музыканты с трубами встретили их у пристани и провожают до дверей. Гирлянды роз выводят к галерее. Гости разглядывают написанных на стенах предков Сеймура. Новорожденную тоже со временем сюда поместят – может быть, у ног родителей, где ее красное сморщенное личико будет словно цветок на лесной траве.

Всю недолгую поездку на барке Мария молчала. Ее лицо под тяжелым гейблом выглядит осунувшимся. В доме она снимает плащ, и он видит сделанное Гансом

украшение у нее на поясе – для перстня оно оказалось слишком тяжелым. У купели, когда они стоят бок о бок, она трогает украшение:

– Как видите, я ношу ваши стихи во славу послушания. Хотя подарок вручил мне отец, я знаю, от кого это на самом деле.

Он склоняет голову:

– Мадам.

– И спасибо вам за подарок на День святого Валентина. Вы чрезмерно ко мне добры.

– Вы сегодня прекрасно выглядите, – врет он. – Полагаю, пунцовый цвет – ваш любимый?

Она шепчет:

– Не умаляйте значение того, что вы для меня сделали.

Умалишь тут, думает он, ведь это чуть не стоило мне жизни.

– Вы спасли меня, милорд, когда я утопала в безумии. Когда почти уже погибла безвозвратно. – Она старательно произносит заготовленную благодарность, однако глаза бегают, смотрят куда угодно, только не на него.

Честер-плейс – древнее епископское владение, и Сеймур сейчас увяз в тяжбе из-за прав аренды. Будет жалко, если Эдварду придется отдать дом после того, как он расписал стены портретами предков и за свои деньги поставил в часовне новые витражи. Зимний свет сочится через оперение сеймуровского феникса; тлеющий под перьями огонь такой алый, что хочется погреть руки в его сиянии. Стеклянные ангелы воркуют и порхают, в руках у них тамбурины и гобои, бичи и терновые венцы. Некоторые держат гвозди и молоток – прибить Бога к кресту. Грядет Пасха, и Муж скорбей должен истечь кровью.

Маленькая мистрис Джейн орет в купели как резаная. Дамы говорят, это знак, что дьявол изгнан.

– Женщины чего только не удумают, – с нежностью произносит Эдвард Сеймур.

Его жена принимает гостей в постели: те целуют ее, вручают подарки, дают деньги няньке и повитухе за то, что Нэн разрешилась благополучно, затем угощаются вафлями и вином.

Все разговоры о наследниках и новорожденных. У сэра Ричарда Рича приращение – после множества дочерей наконец-то сын. В год, когда все мальчики Генрихи, Рич проявил независимость, назвав младенца Робертом, и говорит о нем взахлеб – малыш-де крепкий и, скорее всего, будет жить. То, насколько благодушно настроен Рич, касается всех. Из-за предательства некоторых северных аббатов их монастыри будут закрыты, и распределять изъятое предстоит сэру Ричарду. Тем временем из Кале сообщают, что леди Лайл беременна и родит в конце весны – начале лета. Лайлы так долго были бездетными, что это воспринимается как чудо. Лайл, конечно, старик, но у

Хонор семеро детей от первого мужа, хотя, когда она вышла за того замуж, ему было уже пятьдесят.

Сеймуры известию не радуются – у них с Лайлами давние судебные тяжбы. Однако благородные дамы пишут Хонор нежные письма о том, как будут счастливы рождению маленького Плантагенета. Пусть Артур Лайл и бастард, в его жилах течет кровь старого короля Эдуарда.

Среди гостей мелькает порученец лорда Лайла.

– Шпионите, Хуси?

– Я привез крестильный подарок, сэр. От милорда и миледи из-за моря.

Он немного сочувствует Джону Хуси. Леди Лайл гоняет его со списком покупок и ни за что не хочет платить, так что бедолага вечно выпрашивает товары в долг. Он вспоминает молодость, когда маркиза Дорсетская посылала его за восточным жемчугом, а денег давала, как на устриц.

Появляется лорд-канцлер:

– А, Хуси! Говорят, в Кале теперь веселье дни напролет, а Лайл отплясывает, будто и не знал никогда, что такое подагра.

Хуси кланяется:

– Я объясняю милорду хранителю печати, сэр… я должен узнать, что было для родов у леди Бошан, и добыть для миледи все то же самое.

– А, ясно, – говорит Одли. – Она хочет не меньше шпалер, золотой посуды и прочего.

– Миледи думает, не вернуться ли ей сюда, когда подойдет срок, дабы ребенок родился на английской земле, – говорит Хуси.

Он, лорд Кромвель, возводит очи горе:

– Кале – английская земля. И супруга наместника должна бы это понимать.

Хуси поворачивается к нему:

– Но если ей предстоит разрешиться там, она хотела бы получить серебряную купель из Кентербери. Не могли бы вы дать такое распоряжение, милорд?

– Я отправлю архиепископа лично отвезти купель, если только Лайл немного пошевелится. Мне доносят, что два священника проповедуют на улице измену, а губернатор смотрит в другую сторону и бездействует. Скажите ему, пусть выловит их, погрузит на корабль и пришлет мне в Тауэр.

Он думает: если приедет Кранмер, с купелью или без, Хонор запрет перед ним дверь. Окропит порог святой водой и бросит в глаза архиепископу освященную соль.

– Я слышал, у леди Бошан есть горностаевый чепец, – говорит Хуси. – И если я раздобуду рисунок вышивки на ее ночной сорочке, миледи будет мне признательна.

Очевидно, в этом году мы ничего в Кале не добьемся. Артур Лайл во всем подчиняется жене и уж тем более теперь, когда она брюхата.

Он говорит:

– Хуси, серьезно говорю, передайте своему господину – либо он отловит мне этих священников, либо сам приедет за них отвечать. Мое терпение не безгранично. Быть может, ваша госпожа подстрекает его не исполнять свои обязанности, но передайте, что я за ним слежу. Будет держать меня за дурака – выдерну из кресла на виселицу.

Хуси закусывает губу:

– Я передам.

– Королева! – предостерегает Одли и отступает на шаг, прижимая шапку к груди, будто Джейн – сорвавшаяся с узды лошадь. – Мадам, мы говорили о леди Лайл. О ее великой надежде родить наследника.

– Чудесно, не правда ли? – равнодушно произносит Джейн.

– Бог даст, и вы во благовремении станете счастливой матерью. Ваша невестка подала замечательный пример.

– Правда? – удивляется Джейн. – Едва ли я стану счастливой матерью, если рожу девочку. Думаю, меня отошлют в Вулфхолл в корзинке, словно курицу, не проданную в базарный день. А вы как думаете, лорд Одли?

Она отворачивается. У Одли отвисает челюсть.

Он оглядывается:

– Миледи Рочфорд, уделите мне минуточку?

Голос нарочито спокойный. Неужели он неправильно понял Джейн? Женщина, носящая под сердцем дитя, обычно не соглашается стать крестной чужого ребенка, слишком опасается за свое будущее. Он отводит леди Рочфорд в сторонку.

– Да, обычное женское у нее не началось, – шепчет Джейн Рочфорд. Как и Мария, она избегает смотреть ему в лицо, следит взглядом за гостями. – Груди набухли. Говорить не станет, пока не будет уверена. Будем надеяться, она выносит.

Он смотрит на королеву:

– Предупредите меня, когда она соберется сказать Генриху.

– Да, – говорит Джейн Рочфорд, – чтобы вы точно оказались рядом. Он будет в настроении оделять всех милостями. Может пожаловать вам… чего вам не хватает. Хотя такого не особо много, правда же, милорд хранитель печати?

За пять минут слух разлетается по дому. Эдвард Сеймур берет сестру под локоток:

– Как я понимаю, ты можешь надеяться. Ваше высочество.

– Все мы можем надеяться, – вкрадчиво отвечает Джейн.

У Эдварда такое лицо, будто сейчас он влепит ей оплеуху – шутки вздумала шутить в такую минуту!

– Мы достаточно долго ждали, сестра.

– Ох, Эдвард, – вздыхает она. – Ты так жаждешь повышения.

– Когда ты сможешь сказать?

Он, Кромвель, вмешивается:

– Ваше высочество, зачем откладывать?

– Потому что… – Королева задумывается, отчего так поступает. – Потому что как только у короля появится надежда на сына, какая у него останется причина молиться?

Они с Эдвардом переглядываются. Джейн права. Всякий раз, как какая-нибудь королева беременела, король был твердо убежден, что она ждет мальчика. Если у него будет наследник в утробе, если он вновь сможет сказать: «Я угоден Богу», что остановит короля от следования любому своему капризу? Он может выпустить всех узников из Тауэра. Или отправиться на войну. Из Европы сообщают, что Франциск сам руководит сражениями: продумывает осаду, выдвигает орудия. Генрих, говоря об этом, сопит и краснеет. Нога у него болит, и Терстон прав: чем королю хуже, тем больше он ест сладкого.

Он кладет руку Эдварду на плечо:

– Послушайте свою сестру. Не говорите пока ничего.

На досуге он продумывал пирог, который презентует королю на Пасху: огромный марципановый, украшенный золочеными шарами. Может, стоит отложить это до тех пор, как новость перестанет быть тайной.

Глаза у Джейн – словно глубокие озера в безветренный день.

Ранними зимними сумерками он снова в Доме архивов, пишет письма во Фландрию. Говорят, Поль растратил все свои деньги и папа отказывается ему помогать, но Реджинальд все равно пыжится и в качестве папского легата убеждает европейских монархов напасть на Англию. Лорд Дарси да и, без

сомнения, другие северные бунтовщики ему писали; даже не читая их писем, мы знаем, что мятежники считают Поля своим королем в изгнании.

Теперь ему через тайные каналы сообщили, что Поль хочет с ним побеседовать. Реджинальд предлагает ему отправиться в Кале, затем встретиться на землях императора. Обоим выдадут охранные грамоты. Он, лорд Кромвель, счел за лучшее вытащить все на свет, а в итоге на совете вышел из себя и стал кричать, что если окажется в одном помещении с предателем Полем, то лишь один из них выйдет оттуда живым.

Король наблюдал за ним, склонив голову набок, как будто не веря в искренность его бурного гнева. Чтобы подкрепить свои слова, лорд – хранитель печати погрозил кулаком в сторону Дувра. Ричард Рич ошалело раскрыл рот, а лорд-канцлер от неожиданности выронил перочинный нож.

Он посыпает бумагу песком. Надежда на рождение наследника, думает он, станет для Поля ударом в сердце. Впрочем, если Джейн в счастливом ожидании, это меняет наши планы. Король захочет быть подле нее все лето. На север не поедет. Коронации в Йорке не будет.

Заходит Кристоф, говорит:

– Мэтью чихает. Если он заболел, вы не сможете являться ко двору.

Король и в обычное время боится заразы, а теперь, конечно, надо быть стократ осторожнее.

Кристоф говорит:

– Зовите-меня явился ужинать.

Он думает, Мария смотрела на меня так, будто не знает, кто я такой.

На ужин щука с розмарином и жареным луком. Зовите-меня говорит:

– Я слышал, Рейф закончил дела в Шотландии и отправляется во Францию.

– Я попытаюсь прежде залучить его сюда. Хелен говорит, что стосковалась. Ей осенью рожать.

– Наверное, она уже знает по признакам, – говорит Зовите-меня. – Судя по всему, Рейф шотландцам полюбился?

– Кому бы Рейф не полюбился? Теперь он едет во Францию с посланием к королю Якову. Яков что-то не спешит оттуда домой.

– В Париже Рейфу не избежать встречи с епископом Гардинером. Тот просит, чтобы его отозвали.

Он тычет вилкой в рыбу:

– Да простит меня Бог, но хотелось бы знать, зачем Он сотворил щуку?

Мастер Ризли вытаскивает из рыбы косточку:

– Полагаю, возвращению епископа вы бы обрадовались примерно как цикуте в салате.

Он вздыхает:

– Эх, когда еще будет салат. Из Франции сообщают, что вишни созреют не раньше июля.

Кристоф приносит миндаль и сушеные фрукты.

– Я вижу, леди Мария постоянно обращается к вам за деньгами и услугами. Леди Рочфорд утверждает… – Ризли улыбается, – что Мария избегает смотреть вам в лицо от большой к вам любви. Вы ослепляете ее девичьи очи.

– Мы должны быть признательны леди Рочфорд, – говорит он. – Без нее король с королевой могли бы не пожениться. Королевой по-прежнему была бы Анна Болейн.

А наш наследник так и не был бы зачат. По всему, Ризли, несмотря на свой чуткий слух, еще не слышал главной сегодняшней новости, поскольку хочет говорить только про Кале.

– Лайл беспечен. Вы правильно предостерегаете его, сэр. Он не только папистов привечает, но и сектантов, как говорят. Сакраментариев.

– Я слышал это от Шапюи. – Он задумчиво жует инжир. – Я бы лучше лег в постель со скорпионом, чем с Хонор Лайл.

– Я тоже, – поддакивает Кристоф, внося сыр. – Я бы ее башмаком раздавил. Опять будете всю ночь писать свою книгу про короля?

Зовите-меня смотрит на него с любопытством, однако вопроса не задает.

Когда северные лорды принесли извинения за свои прошлогодние бесчинства, король отпустил их по домам. Каждый увозил на одежде эмблему святого Георгия: король постановил, что всякий, кому есть к чему приколоть алый крест, должен носить его в знак верности государю, а если не крест, то хотя бы алую ленту или алую нить. Ибо, хотя мятеж подавлен и оружие изъято, в войне слов перемирие не заключено. Юг называет север изменническим, север клеймит юг еретическим. Север говорит, вы угнетали нас тысячу лет, мы для вас лишь защита от шотландцев, стена трупов, которая их замедлит, чтобы вы успели спрятать под замок жен, дочерей и золото.

Южане говорят, вы когда-нибудь бывали в Дувре? Смотрели с обрыва на огоньки французского побережья и думали, насколько узок пролив, как многим мы рискуем и как много мы платим, чтобы уберечь вас от работорговцев и пиратов, совершавших набеги на наши берега, сколько они существуют?

Он говорит королю, северяне не чтут королевские законы, они хотят чинить убийства без помех. Если Норфолк не сумеет их подавить, они впадут в прежнюю дикость, при которой глаз, рука и сама жизнь оценивались выкупом за кровь. Во времена наших пращуров жизнь дворянина стоила в шесть раз больше, чем жизнь землепашца. Богатый мог убивать сколько хочет, пока у него есть деньги платить виру, а бедному и одно убийство за всю жизнь было не по карману. Мы отвергаем это варварское право, мы говорим, что убийца не может остаться безнаказанным из-за того, что судья его родич, ровно так же как богатый грешник не может искупить свои грехи, построив монастырь. Перед Богом и законом все равны.

Нужно поколение, говорит он, чтобы замирить головы и сердца. В каждом графстве англичане привержены тому, чему учили их няньки. Они не хотят слишком напряженно думать, не хотят менять ту картину мира, что у них в голове, они не примут перемены, если те не облегчают им повседневную жизнь. Однако грядут новые времена. Дети Грегори – и, поспешно добавляет он, те дети, что родятся у вашего величества, – вырастут в стране, свободной от старого римского обманщика. Они не будут верить в кости и зубы мертвых, в святую воду, пепел и воск. А когда они смогут сами читать Библию, Бог станет для них близким и родным. Они будут говорить на Его языке, а Он – на их. Они увидят, что назначение государя не сидеть в шлеме с плюмажем на коне, а – как всегда говорит ваше величество – телом и душой печься о своих подданных. Писание учит покоряться земным властям, так что мы будем неколебимо преданы государю. Мы не станем отвергать часть его политики. Мы примем его целиком, будем считать, что он – помазанник Божий и Господь за ним присматривает.

А до этих благословенных дней, говорит он, будем сохранять мир. Мир дешевле войны. Все согласны, что севером нужно управлять лучше, но кого туда назначить? Томас Кромвель считает, что нам нужны толковые люди, а герцог Норфолк – что родовитые.

Когда вспыхивает новый мятеж, во главе восставших оказывается человек, который должен лорду – хранителю печати много денег. Зовут его Фрэнсис Бигод. Бывший паж Вулси, выпускник Оксфорда, до последнего времени ратовавший за Писание, приятельствовал с нашим архиепископом, Хью Латимером, Робертом Барнсом, был в наилучших отношениях с милордом Кромвелем. Что это значит, что это может значить, если такой человек разъезжает на коне, произносит дикие речи, размахивает мечом, клянется отбить Гулль, намерен захватить Беверли и порт Скарборо? Он устал от вопросов, что это значит и как могло случиться. Вы поссорились? Как будто это он виноват, что Бигоду пришла в голову кровавая блажь.

Он может лишь отвечать, Бигод в последнее время задавал мне странные вопросы. Спросил, как король может отвечать за наши души. Как будто здесь, на земле, есть на это другие кандидаты, получше. Спросил, может ли он, Бигод, проповедовать с кафедры, как священник. Когда я ответил, нет, он спросил, можно ли ему принять сан? Хотя он женат?

Наверное, Бигод повредился в уме. Однако его безумие погубит других, отправит их сражаться в то время года, когда лишь новичок затевает военную кампанию. А Бигод не настолько умопомешанный, чтобы не отвечать за свои поступки. Король помиловал бунтовщиков один, и только один раз. Дальше – суд без всякого снисхождения.

К нему приходит Ганс:

– Он решил, что хочет фреску.

– Это труднее?

Ганс трет бороду. Хочет выговорить себе условия: жить и столоваться в Уайтхолле за королевский счет все время работы над портретом. Просит жалованье тридцать фунтов в год – тогда он откажется от всех других заказов и будет зваться живописцем английского короля.

– Тридцать? – Он хмурится.

Однако, как-никак, Гансу надо кормить любовницу и двух детей, не говоря уже о семье за морем.

Ганс говорит:

– Есть место на стене в личных покоях. Я измерил, там тридцать два фута.

– В личных покоях? Он хочет, чтобы портрет был там?

– Едва ли я самовольно решил бы его там разместить.

– Я думал, он захочет портрет в зале для приемов. Чтобы повергать в священный трепет весь мир.

– Нет. Он хочет повергать в священный трепет вас. И своих джентльменов. И, наверное, тех бедных иноземцев, которых приглашает в личные покои.

Разумеется, личные покои вовсе не такие личные, как может показаться из названия. Король не рассчитывает оставаться там один. Чтобы уединиться с одним-двумя приближенными, у Генриха есть в каждом доме укромные уголки: боковая комнатка, где он настраивает лютню, тайная библиотека, куда ведет винтовая лесенка.

– Меня не огорчит, что мало кто увидит портрет, лишь бы это были кто надо. Я собираюсь поместить его голову примерно сюда. – Ганс поднимает руку чуть выше собственной головы. – Не будет беды, если я добавлю ему дюйм-другой.

– В высоту, – говорит он. – Не в ширину. Или вы имели в виду другое?

Ганс хмыкает:

– Я напишу его в распахнутой мантии, чтобы мир видел это диво. Щедро подложенный гульфик.

– Какого он будет размера? Портрет, я хочу сказать.

Ганс разводит руки, затем поворачивается, показывая в пространстве:

– Он спрашивает, не могу ли я написать еще и его отца.

– На той же картине?

– Это осуществимо.

И мать, почему бы нет. Череду королей и королев, уходящую в туманную даль. И нерожденное дитя, словно тень птицы на траве.

– Мне нужно будет делать с него наброски. Подробные. Они займут много времени. После я займусь фигурой. Для этого он мне не нужен, только его наряд.

– Когда вы писали меня, то не делали мне такой поблажки.

– Но вы мне не удались, – отрезает Ганс. – Вас следовало писать другому художнику, покойному, ибо, видит Бог, лицо у вас было как у покойника. Знаете такого Антонелло из Мессины? Он бы вытянул из вас хоть какое-нибудь выражение.

Он видел работы Антонелло. На портретах венецианских вельмож тот запечатлевал скептически поднятую бровь или недобрую усмешку. Однако венецианцам его работы не нравились – он слишком много про них знал.

– Кстати, – спрашивает Ганс, – как ваша дочь?

– Уехала на родину. – Ему не хочется говорить больше.

– Ей не понравилась Англия? Или вы?

Он думает: Ганс наверняка знал про Женнеке долгие годы. Это объясняет некоторые странные намеки, косые взгляды исподтишка.

– Ганс, – говорит он, – не задавайте вопросов, если не знаете, что делать с ответами.

Март тысяча пятьсот тридцать седьмого года. День за днем в Тауэре и в Доме архивов лорд – хранитель малой королевской печати распутывает события прошлого года. Сидя перед свидетелями, перед допрошателями, вместе с писарями и мастером Ризли, он имя за именем обнажает механизм мятежа.

– Так вы говорили, вас втянули насильно? Вы присягнули против воли? Пожалуйста, назовите мятежников, которые к вам обратились, и скажите, когда это произошло. Вам угрожали? Вы говорите, ваших лошадей свели, ваш дом подожгли, вашу жену оскорбили. У вас есть свидетели? Вы утверждаете, что бунтовщики спалили ваше имущество, в том числе движимое, общей стоимостью… У вас нет описи? Какие меры вы приняли в связи с угрозами? Послали за помощью к друзьям? А они вам не помогли? Почему? Чем вы их против себя настроили?

Мастер Ризли в соболях, которые прислал ему в подарок наш человек в Брюсселе. Кристоф затапливает камин. Он, лорд – хранитель печати, теперь

держит в Тауэре собственный запас вина. У него есть отдельная комната, где запирают на ночь протоколы допросов, чтобы в них ничего не вписали между строк. Приходят и уходят помощники – люди из палаты приращений, его родственник Джон ап Райс, священник по имени Эдмунд Боннер – суетливый коротышка, сплетник и дамский угодник, но все же очень полезный человек. Епископы по-прежнему готовят новое исповедание веры и каждый вечер шлют ему тяжелые кипы документов: от жалких узников Тауэра он ежевечерне возвращается домой к числу таинств. Расследование идет всю весну. На каждый ответ у него шесть новых вопросов. Он не прочь прибегнуть к пытке, если ничто другое не помогает, хотя угрозы действуют лучше, и он считает, что потерпел неудачу, если вынужден требовать цепи и каленое железо.

У Ризли нет его терпения, но Ризли молод и желает хотя бы иногда видеться с женой. Трогает его за плечо:

– Сэр, час поздний, а перед нами строптивый мятежник, такая слабая боль его не проймет. Думаю, он выдержит пытку посильнее.

Однако он думает, нет, никто из нас ничего выдержать не может. Поскреби нас, найдешь все того же орущего младенца.

Он говорит:

– Старайтесь слушать. Только так можно что-нибудь узнать.

– А если он молчит?

– Тогда вслушивайтесь в его молчание.

Думайте, что можете ему предложить, чтобы он заговорил, а не что можете отнять. Возможно, он знает, что умрет, однако казнь казни рознь. На что человек согласится, чтобы избежать холощения? Вы можете предложить ему быструю смерть от топора, лужу крови вместо долгого ужаса, когда осужденного вешают не до смерти, а затем потрошат заживо. Все дело в предвкушении, объясняет он Ризли. Дайте ему ради чего жить или предложите непостыдную смерть. Скажите, что независимо от того, ответит ли он на наши вопросы, король заплатит его долги и позаботится о сиротах, – от такой доброты арестант может разрыдаться, и это сломит его волю.

Ни в какой другой стране такое невозможно. Во владениях Франциска и Карла не бывает перемирий, торга, допросов, которые тянутся от Рождественского поста до Троицы. Знатных людей возьмут под стражу и после пыток казнят, простых – перебьют и оставят лежать под открытым небом. Он говорит, если нельзя избежать суровых мер, надо смягчать правосудие милосердием. Тем, кто сохранил верность королю, возместить разграбленное имущество. Честно послуживших наградить. Смутьянов наказать быстро и публично. На севере Норфолк вешает нарушителей перемирия на деревьях. В цепях, когда может добыть цепи, однако железо дорого, так что, на худой конец, сойдет и веревка. Вдовы приходят ночью снимать повешенных мужей, однако король велел сурово за это наказывать – хочет, чтобы трупы висели до Пасхи и тепла, как кишащую червями ворону вешают на огороде в острастку другим птицам. В Лондоне головы казненных выставляют на мосту, руки изменников прибивают к воротам. Однако в холодную погоду они разлагаются медленно, и горожанам тошно на них смотреть.

В середине февраля молодого Бигода взяли в плен и его сподвижников тоже. Их ждет Тайберн, но не сейчас. Спешить некуда. Лето расчистит скопившиеся за зиму трупы. Томас Кромвель не получит назад отданные в долг деньги. А Генрих не усвоит, что мертвых надо хоронить.

Он посылает за Томасом Уайеттом – просит того прийти в Дом архивов. Как все верные королю джентльмены, Уайетт сражался с мятежниками, однако теперь для него есть другая задача. Он давно просил отправить его за границу, и теперь его назначают послом при императоре. Это значит гоняться за Карлом по Европе летом и зимой – идеальная должность для непоседы. Для нее нужна честная сила, вкрадчивая речь и некоторая готовность напускать туман, сообщая о намерениях английского короля, а поскольку Уайетт сам говорит, что любая истина не абсолютна, место как раз для него.

Император по-прежнему уговаривает выдать Марию за брата португальского короля и рекомендует дома Луиша как мудрого, сдержанного и заботливого. К тому же дом Луиш согласен жить в Англии, чтобы не увозить принцессу из ее родных краев.

– Уайетт, – говорит он, – спросите императора, сколько он готов заплатить нам за Марию. Задайте вопрос мягко, но не обманывайтесь, если он назовет большую сумму, – выясните, каким будет обеспечение долга. Король не отдаст ее за одни лишь обещания.

– Вы не хотите этого брака, – замечает Уайетт.

– Важнее, что она его не хочет.

– А чего хотите вы?

– Всего лишь защитить ее.

– Королю нужен друг в Европе, – говорит Уайетт. – А такого рода дружба достигается только браком.

– Король может заполучить кучу друзей в Швейцарии, а также среди немецких князей. Всего-то и нужно, что согласиться по основам вероисповедания, и мы станем союзниками. – Он хмурится. – А если брак так уж необходим, то лучше выдать не Марию, а Элизу.

– Вы смотрите далеко вперед, милорд. Юной даме в этом году исполнится четыре, если не ошибаюсь.

– Значит, брак нельзя будет осуществить в ближайшие десять лет. Двенадцать, если мы сошлемся на ее хрупкое здоровье. То есть брак будет ненастоящий, и, если он окажется нам не на пользу, мы сможем его расторгнуть.

– Вы охраняете девственность Марии, – говорит Уайетт.

Он пожимает плечами.

– Вы были ее Валентином. Ризли всем рассказывает, как доставил ей ваш подарок.

На ежегодном придворном празднике – как Уайетту прекрасно известно – тянут жребий, чтобы ни одна дама, молодая или старая, не осталась без Валентина.

– Про Кремуэлло никогда ничего не поймешь, – говорит Уайетт. – Помню слухи, что вы ухаживали за некой мистрис Сеймур, которая теперь стала нашей королевой.

– С чего они это взяли? – ледяным голосом спрашивает он.

– Она была бы счастливее.

– У королевы все хорошо.

– Вы бы лучше ее понимали, милорд. Вы знаете о женщинах много такого, что сокрыто от нас, остальных. Вы знаете, как подступиться к женщине. Как ее уничтожить.

Значит, прошлое лето истрепало его душевный мир; Уайетт избег петли, но по-прежнему мусолит веревку, рвет пальцами волокна.

– Уайетт, – говорит он, – такие разговоры меня погубят. Этого ли вы хотите?

– Поставьте себя на мое место. В каждом нашем разговоре за последние двенадцать месяцев я вынужден был спрашивать себя, пытается он меня спасти или утопить? Я ценный груз или меня намерены выбросить за борт?

– Что ж, чтобы оценить пудинг, надо его съесть, – говорит он. (И пусть поэт делает с этим образом что хочет.) – Вы до сих пор дышите.

– И ваш до последнего вздоха. – Уайетт встает и потягивается. – Я последовал бы за вами до края христианского мира. Что и сделаю сейчас, гоняясь за Карлом.

Уайетт находит себя в зеркале. Легким касанием неуловимо поправляет перо на шляпе.

– Приглядывайте за Бесс Даррелл, пока я буду в отъезде.

Он устраивает себе день отдыха и гуляет по земле Остин-фрайарз под руку с Мерси Прайор в сопровождении садовников. Садовая беседка мокрая на ощупь, стены обросли толстыми подушками мха. Колья, подпирающие молодые деревца, словно трепещут от собственной, зеленой внутренней жизни.

Он приглашает Ричарда Рича на ужин, спросить, что делать с другой Бесс – леди Отред.

– Муж оставил ей скудные средства. Ей потребуется собственный дом.

– Семейство Сеймуров заслужило королевскую щедрость, – говорит Зовите-меня. – Рич, найдете для нее какое-нибудь аббатство?

Рич говорит:

– Она рассчитывает на новый брак. Я удивлен, сэр, что ваши знакомые дамы вам еще не насплетничали. Она будет метить высоко и правильно сделает. Упоминают графа Оксфорда.

Джон де Вер – старый вдовец, двух жен уже уморил. Пятнадцатый граф. Вообразите, говорит он, каково быть пятнадцатым кем-то.

Терстон приготовил новое блюдо из трески – с шафраном, чесноком, фенхелем. Все только белое и желтое, как он говорил; выглядит блевотиной.

– Я слышал, вы получите аббатство Кворр, – говорит он Зовите-меня. – Усадьбы дадут вам хорошую ренту. И лес стоит не меньше ста фунтов, верно?

В Кворре десять монахов, все хотят сохранить обеты. В услужении у них тридцать восемь человек. Белый камень, вид на море, пятьдесят пять фунтов долга; монастырь небольшой, но в течение полугода, после погашения обязательств, к Ризли перейдут земли в Девоне.

– Сам я подумываю о Лонде, – говорит он.

Рич говорит:

– До Лонда очередь еще не дошла. Его доход четыреста фунтов в год.

– Я готов подождать.

Он смотрит, как уносят блюдо с рыбой. Ему пришла в голову удачная мысль, и она не имеет никакого отношения к аббатствам.

Он просит встречи с королевой.

– Когда ваша сестра Бесс вернется ко двору? В следующие месяцы она вам будет нужна.

– Да, наверное. – Джейн считает на пальцах. – До октября вроде еще так далеко.

Легкий шелест распространяется от того места, где она сидит, через комнату, по всему двору, по всей Англии, за море. Новость наконец перестала быть тайной.

– Милорд Бошан, поздравляю все ваше семейство, – говорит двор.

Красивое лицо Эдварда расплывается в улыбке; он кланяется и проходит дальше, словно в сияющем облаке, шлет письма в Вулфхолл и брату Тому, который сейчас с королевским флотом.

Теперь пространство вокруг королевы священно. Любые неприятные звуки и запахи надлежит изгнать. Студенистое существо в ней вздрагивает от резких слов или яркого света, так что Джейн следует от них беречь, как от палящего солнца и сквозняков. Кожи ее должны касаться лишь тончайшие ткани, обоняния – лишь нежные ароматы летней травы и легкое пряное благоухание лепестков. Комнатным собачкам моют лапы, прежде чем они запрыгнут ей на колени. Придворным, которые чихают или кашляют либо знают кого-нибудь, кто чихает или кашляет, запрещено приближаться к ее особе. Взору королевы должно представать только прекрасное, хотя, как говорит он ей: «Со мной, мадам, ничего поделать нельзя».

Когда король приходит в совет, джентльмены ликующе молотят по столу кулаками.

– Великий день для Англии! – кричат они. И: – То-то император опешит! – И: – Король Франции вывихнет свой длинный нос!

– Нет надобности сообщать простонародью, – сдавленно произносит Генрих. – По крайней мере, прямо сейчас.

– Думаю, все уже знают, – отвечает Фицуильям. – Каждый англичанин и англичанка желают вашему величеству здоровья и всякий вечер на коленях молятся, чтобы королева подарила вам крепкого мальчика.

Генрих говорит:

– Будь с нами кардинал… – И прикусывает язык.

Он, Томас Кромвель, не поднимает глаз от документов. Совет встает. Воздух по-прежнему гудит от поздравлений.

– Фиц, останьтесь, – говорит Генрих. – Кромвель?

Гул затихает. Снизу и сверху доносится смех, – возможно, кардинал аплодирует откуда-то из-за примум мобиле. Мертвые смотрят на нас, болеют сердцем за то, чем занимались при жизни.

Король говорит:

– Джейн хочет совершить паломничество к гробнице Бекета.

Хмурится. Кентербери напоминает о неприятном: именно там пророчица Элиза Бартон схватила короля за руку и предрекла тому скорую смерть.

Однако Бартон повесили. А Генрих процветает. Бог опровергает лжепророков!

– Конечно, мы поедем, – говорит Генрих. – Королева должна ехать куда пожелает, пока еще может путешествовать. Даже в Вулфхолл, если у нее будет такая прихоть. Но, милорд… милорд хранитель печати?

Ему хочется положить руку королю на плечо. Он обливается потом в холодной комнате – советники унесли с собой тепло и веселье, а редкие лучи весеннего солнца, дрожащие на стене, не согревают.

Король говорит:

– Я… мои надежды… после стольких лет… я хочу быть уверен…

Фиц поднимает брови.

– Когда я женился на королеве… то есть до того, как я на ней женился… нет надобности напоминать вам обстоятельства, но не сомневайтесь, что я, хоть и спешил, постоянен в моих привязанностях…

– Говорите, сэр, – просит Фицуильям.

– Правда ли мы женаты? – спрашивает Генрих. – Когда я вступил в этот брак, для него не было никаких помех?

– Вы имеете в виду, – говорит он, – ничего такого, связанного с королевой, что вам следовало бы знать?

– Я убежден, у вас не было причин сомневаться в ее девственности, – растерянно произносит Фицуильям.

Генрих слегка краснеет:

– Ни малейших. Но точно ли вы, как мои советники, сделали все, что требовалось? Навели самые подробные справки? Вы убедились, что она абсолютно свободна?

– Никаких помолвок не было, – говорит Фицуильям, – если это то, что тревожит ваше величество.

– Но ведь к ней когда-то сватался Уильям Дормер?

– Это было пустое, – говорит Фицуильям.

– Ничего не было, – добавляет он.

Фиц говорит:

– Попросту говоря, сэр, семейство Дормеров сочло Сеймуров недостаточно…

– …богатыми, – заканчивает он.

– Так вы думаете, между ними ничего не было? – Король встает. – Если вы уверены. Потому что я должен быть уверен. Потому что я не могу снова начать надеяться, меня это убьет. Я потерял Ричмонда. У меня никогда не было законных сыновей. Я должен знать наверняка, что на сей раз все правильно. Что никто не усомнится в его законности. Я был терпелив. Воистину Господь теперь меня вознаградит.

В глазах блещут слезы. Он, Кромвель, отворачивается, и Фицуильям отворачивается, чтобы не видеть, как они прольются. Однако король говорит:

– Мне бы уже следовало вас знать, да, Сухарь? Уж если кто проверяет все досконально, то это вы.

Генрих стискивает его плечо. В королевском прикосновении появилась новая магия. Через него передается видение Англии, какой она могла бы быть. Перед тобой Лондон, где по улицам разгуливают пророки, а на крышах теснятся ангелы; выходя из дома, смотришь вверх и слышишь в воздухе биение их крыл.

На первом сеансе король едва может ступать под весом драгоценностей.

– Как это лучше сделать, мастер Гольбейн? – Лицо серьезное, внимательное.

Ганс машет рукой в сторону джентльменов, пажей, прихлебателей: стирает их с полотна.

Комната пустеет. Место вокруг короля расчистилось.

– Можно мне остаться? – спрашивает он.

Генрих говорит:

– Можете посидеть со мной, милорд Кромвель, но в разговоре я не нуждаюсь.

Он улыбается:

– Я останусь, если ваше величество уделит мне пять минут после того, как Ганс закончит.

Генрих не отвечает: смотрит в пустоту с таким видом, будто размышляет о Боге. Он, государственный секретарь, уходит к окну, садится на табурет и углубляется в бумаги. Его спаниель плюхается у ног. В комнате ни звука, кроме тихого собачьего сопения, кроме каждого вдоха и выдоха короля, кроме шуршания одежды, словно она дышит вместе с королем, запаздывая на долю мгновения. За тишиной проступают другие звуки: шаги наверху, шарканье за дверью, ветерок, трогающий стекла в оконном переплете. То и дело он поглядывает на короля – не нужно ли чего. Через некоторое время король устает от Бога и начинает смотреть на своего министра:

– Удивительно, что вы можете читать при таком свете.

– Мне повезло.

– Мм, – говорит король. – Вам нужно промывать глаза отваром руты.

Ганс, рисуя, оттопыривает губы и цыкает зубом. Закусывает губу. Гудит себе под нос. Когда отходит от работы и выдыхает, то слышен присвист.

Король говорит:

– Может быть, стоит пригласить музыкантов.

– Мастер Ганс вполне их заменяет, – отвечает он.

– О чем вы хотели со мной поговорить, милорд хранитель печати?

– О шотландском короле, с вашего дозволения. Как вам известно, он по-прежнему во Франции, никак не отплывет на родину с молодой супругой. Отец боится отпускать ее в морское путешествие. Говорят, она совсем хрупкая и прозрачная.

Генрих фыркает:

– Это шотландец боится. Весь дрожит. Хвастал, что Франциск вышибет из-под меня трон, а теперь должен считаться с последствиями. Ему страшно, что мои корабли захватят его, как только он выйдет из порта.

– Да, но теперь он обращается к вашему величеству как джентльмен – хочет сократить путешествие по морю, высадиться в Дувре и просит охранную грамоту на проезд через ваши владения.

Генрих говорит:

– Чтобы его свита съедала все на своем пути и сеяла крамолу? Чтобы они проехали через северные графства под своими флагами? Он меня дураком считает?

Ганс перестает гудеть себе под нос. Кашляет.

Что ж. Была возможность примирить двух монархов, дядю и племянника. Теперь она упущена.

Король кладет руку на рукоять кинжала. Спрашивает Ганса:

– Так?

– Идеально, – отвечает Ганс.

Генрих чуть опускает плечи и сгибает колени. Когда позируешь, мышцы деревенеют, ноги перестают слушаться, локти кажутся чьими-то чужими. Чем сильнее король старается стоять неподвижно, тем больше переминается. Говорит:

– Мне написали из Ирландии. Хотят, чтобы вы туда поехали, лорд Кромвель. Думают, вы сумеете навести там порядок. И наверное, вы сумели бы.

– Так мне туда ехать?

– Нет, там вас могут убить.

Ганс начинает гудеть себе под нос.

Король переступает с ноги на ногу:

– Так когда епископы что-нибудь наконец скажут?

С начала года епископы трудятся над новым исповеданием веры. Лишь в прошлом июле приняли Десять статей, и те породили многомесячные споры. Король надеется, что новое исповедание всех объединит. Однако всякий раз, как епископы присылают Генриху текст, тот пишет поверх, превращая документ в бессмыслицу. Потом все возвращается к Томасу Кранмеру, и тот правит королевские правки, а заодно и королевский синтаксис.

Ганс говорит:

– Не соблаговолит ли ваше величество повернуться лицом? Не к лорду Кромвелю, а ко мне.

Генрих подчиняется. Смотрит на художника и говорит министру:

– А человек Лайла ведь здесь был? Я хотел бы знать, родила ли леди Лайл. Вроде у нее уже срок подходит.

– Ваше величество узнает первым.

Ганс говорит:

– Если она родит мальчика, лорд Лайл прикажет палить из пушек, так что в ясную погоду в Дувре услышат и тут же отрядят гонца. Надеюсь, стены Кале не рухнут.

– Сударь, – шепчет он, – вы забываетесь. Занимайтесь своим делом.

Иногда, сидя рядом с королем – время позднее, они устали, он работал с первого света, – он позволяет своему телу слиться с телом Генриха, чтобы их руки утратили форму и затуманились, будто талая вода. Он воображает, что их пальцы соприкасаются, его разум проницает королевскую волю, чернила текут на бумагу. Иногда король задремывает. Он сидит, почти не смея дышать, чуткий, словно нянька над капризным младенцем. Потом Генрих вздрагивает, просыпается, зевает, говорит, словно обвиняет его: «Уже полночь, сударь!» Прошлое отсохло, отвалилось; король забыл, что он «милорд», забыл, кем его сделал. На заре и в сумерках, когда свет перламутров, а затем еще раз в полночь тела меняют форму и размер, словно кошки, что выскальзывают через окно на крышу и пропадают во тьме.

Однако сейчас нет и десяти; утро ранней весны, свет нежный, как лепестки примулы.

– Обедать еще не пора? – спрашивает король. И сразу: – Какие известия от Норфолка?

– Он простужен. Страдает желудком. Каждый день понос.

Король смеется:

– До чего хрупкая натура. Прямо как принцесса Мадлен.

Ганс цокает языком:

– Серьезное выражение, если ваше величество не затруднит? И глаза на меня? Если милорд Кромвель сделает что-нибудь, на что стоит посмотреть, я скажу вашему величеству.

Вновь тишина. Во Флоренции, думает он, художник отлил бы всего человека в форму. Раздеваешь его донага, натираешь жиром и ставишь в ящик высотой до подбородка. Заливаешь гипсом, а когда тот схватится, долотом вскрываешь ящик, как орех. Достаешь человека, красного с ног до головы, моешь и обещаешь снять слепок головы в другой раз. Однако у тебя есть его форма, можешь отливать в ней сатиров, святых или греческих богов.

Внизу, в королевской кухне, жарят на обед ржанок. Спаниель просыпается и начинает возбужденно бегать кругами, принюхиваясь к дивному запаху. Король смотрит на собаку. Ганс хватает ее в охапку и отдает слуге со словами:

– Заберете ее позже, милорд.

За следующий час в комнату врывается все больше звуков: стук подков по мостовой, выкрики из далеких дворов, звяканье труб – это музыканты идут упражняться, – так что наконец кажется, что здесь с ними весь двор. Между тем выражение королевского лица мало-помалу меняется, как будто луна прибывает; к тому времени, как Ганс заканчивает, Генрих как будто светится изнутри. Встряхивается, поправляет одежду. Говорит:

– Думаю, со мной на портрете должна быть королева.

Ганс стонет.

Король говорит:

– Кромвель, зайдите ко мне попозже.

– Насколько попозже, сэр?

Ответа нет – Генрих уже вышел стремительным шагом. Подмастерье Ганса собирает наброски. Голова короля повернута так и эдак, лоб нахмурен и разглажен, глаза пустые или враждебные, но рот всегда одинаковый: маленький, плотно сжатый.

– Хватило времени, Ганс?

– Да вроде. Мне была нужна только его голова.

– Надо будет в следующий раз позвать лютниста.

– В одну комнату с вами? Вы дня них опасны.

Марк Смитон отказывается уходить в забвение. Впрочем, еще и года не прошло. Он говорит:

– Еще раз повторяю, я не трогал Марка.

– Мне говорили, когда он вышел из вашего дома, глазные яблоки висели у него на щеках.

Ганс говорит без возмущения, скорее с любопытством, как будто воображает, что делает анатомический рисунок.

– Свидетели видели, как он поднимался на эшафот. Живой и здоровый. Не испытывайте мое терпение. И не испытывайте терпение короля.

Ганс отвечает:

– С Генрихом просто. Он не смотрит так, будто хочет оказаться в другом месте. Считает, что позировать для портрета – его долг. Разве вы не видите? Его лицо сияет от восхищения самим собой.

К концу мая ребенок в животе у королевы начинает шевелиться. Te Deum[55] Троицына дня восхваляет не только надежду в ее утробе, но и закрытие военного сезона. Приходские церкви звонят в колокола, в Тауэре палят пушки, на мостовые выкатывают столько бочонков дармового эля, что даже нищие подхватывают: «Бог да благословит нашу добрую королеву Джейн!» В окнах вывешены флаги, на крышах плещут вымпелы, дрозды заливаются, форель выпрыгивает из ручьев, а покойники на лондонских кладбищах дребезжат костями.

Джейн отказывалась позировать для портрета, говоря:

– Мастер Ганс будет на меня смотреть.

Однако она все же уступила королю, оговорив только, что на сеансах будет присутствовать лорд Кромвель; она как будто боится, что художник станет кричать на нее на чужом языке. Он представляет Ганса королеве и отходит, чтобы не закрывать ее.

– Сюда? – спрашивает Джейн.

Она встает на указанное место. Леди Отред, теперь фрейлина своей сестры, наклоняется расправить ей юбки. Джейн окаменела, словно тело на катафалке. Стоит, сцепив руки поверх ребенка, будто просит его не шалить.

– Дышать можно, – напоминает Ганс. – И безусловно, ваше высочество может сесть, если пожелает.

Джейн устремляет взгляд в пустоту. Выражение отрешенное и чистое. Ганс говорит:

– Не может ли ваше высочество поднять подбородок?

Вздыхает, переминается с ноги на ногу, обходит королеву, гудит себе под нос. Ганс недоволен: лицо у нее пухлое, он не видит костей.

Джейн заговаривает лишь раз:

– Леди Лайл еще не родила?

– Это должно быть уже скоро, – отвечает он со своего места у окна.

– Все будет в Божье время, – говорит леди Отред.

Мысли отвлекаются, утекают. Он вынимает из кармана молитвенник и перелистывает страницы, однако образ воды, дневного света на воде мерцает и струится между глазами и книгой. Он видит женщину, сидящую в скомканных льняных простынях, ее голую грудь, руки, по которым скользит солнечный луч. Вспоминает себя ночью, на скользкой мостовой у Немецкого подворья в Венеции; они выходят из лодки, и его друг Хайнц спрашивает: «Хотите посмотреть нашу богиню на стене? Эй, сторож, подними факел».

Джейн еле заметно вновь опускает подбородок. Ганс подходит к нему, шепчет, не важно, будет она стоять, сидеть, встанет на колени, все, что ей угодно; руки, позу, все это я могу изменить потом, мы сможем нарядить ее в другое платье, если захочет, или написать другие рукава, можем немного сдвинуть чепец назад, а что до драгоценностей, они будут моего изобретения, это ведь послужит к моей славе, вы согласны, Томас? Однако мне нужно ее лицо, вот только на один этот час. Так уж уговорите ее – пусть уделит мне взгляд.

– Король захочет увидеть ее такой, какая есть, – предупреждает он. – Без лести.

– У меня нет привычки льстить.

– Я уверена, когда он на ней женился, она не так сильно походила на гриб, – говорит ее сестра.

Теперь уже вся Европа знает, что королева в счастливом ожидании. Сеймуры на седьмом небе. Пришло время ему, Кромвелю, напрямую поговорить с Эдвардом.

– Госпожа ваша сестра, – говорит он. – Вдова Отреда.

– Да?

– Ее следующее замужество.

– Да?

– Полагаю, вы ведете переговоры с графом Оксфордом? Вам известно, что он старше меня?

– Правда? – Эдвард хмурится. – Да, наверное.

– Разве Бесс не предпочла бы молодого?

Эдвард смотрит так, будто он намекает на что-то непристойное.

– Она знает свой долг.

– Вы считаете честью породниться с де Верами. Однако Сеймуры – не менее древний род. На мой взгляд, такой же древний и такой же хороший, хотя до последнего времени и не так взысканный королевскими милостями. У Веров больше власти, но уважаемы они не больше.

– Так что вы хотите сказать? – настораживается Эдвард.

– Вам не нужен Оксфорд, чтобы добиться возвышения. Вы уже возвысились. И я уверен, что невеста будет счастливее за другим.

– Как неожиданно. Так вы… – Эдвард закрывает глаза, как будто молится. – То есть вы желаете…

– Мы желаем, – отвечает он.

– И готовы? Разговаривать о деньгах?

– Это моя любимая тема для разговора, – отвечает он.

Мы, грубые Кромвели, да? Эдвард выдавливает улыбку.

– Право, Эдвард, это было бы великолепно, – говорит он. – Мы скрепили бы наше единство в совете узами крови. Пусть вас ничто не смущает. С вашей стороны – любезное согласие, с моей – все грубое и материальное. Я построю Бесс новый дом. До тех пор она тоже не останется без крыши над головой. Мортлейк значительно расширен, а есть еще Степни с домом, который хорош в любое время года, и, разумеется, Остин-фрайарз – вся моя собственность будет в ее распоряжении, а если ей приглянется какой-нибудь из королевских домов, я уверен, его величество в своей доброте позволит нам его арендовать. У нее будет все, что я смогу дать для ее счастья.

Эдвард говорит:

– Я слышал, некоторые джентльмены говорят, что Томас Кромвель вовсе не низкого рождения. Что вы побочный сын некоего знатного человека.

Ему смешно.

– А говорят какого?

– Они считают, иначе ваш талант к управлению не объяснить.

Уолтер управлял кулаками, думает он.

– Что ж, как бы то ни было, – говорит Эдвард, – я побеседую с сестрой и узнаю ее мнение. И мнение королевы, разумеется. Не знаю, что я скажу графу Оксфорду…

– Я с ним поговорю.

– Да? – радуется Эдвард и, обнимая его, говорит: – Мы с вами прошли долгий путь, милорд, с того дня, как впервые приветствовали вас в Вулфхолле.

Он возвращается домой и говорит Грегори:

– Я нашел тебе невесту.

– Замечательно, – отвечает Грегори. – Буду терпеливо ждать, когда вы назовете мне ее имя.

Он спешит прочь. Его ждут шесть епископов и делегация из французского посольства. Однако в эту ночь милорд хранитель королевской печати спит крепко, под балдахином лилово-серебряной ткани, под потолком, усыпанным золочеными звездами.

В День святого Георгия в часовне ордена Подвязки король выбирает на освободившееся место графа Камберлендского в обмен на его пост по охране шотландской границы. Это, как надеется милорд хранитель печати, первая из негласных сделок, которые освободят должности на севере для людей помоложе, верных не знатным родам, а ему и королю. И этих людей выберет он сам.

Деда графа Камберлендского прозвали Мясником, и семейство с тех пор отнюдь не смягчилось. Жестокость из поколения в поколение обозлила арендаторов, и не диво, что они во время последнего мятежа поднялись против хозяина. Однако таких владетелей, как граф, даже в наши дни лучше задабривать наградами. А Подвязка – древнейший рыцарский орден Европы, величайшая честь, какую может пожаловать король.

К нему бочком подбирается мастер Ризли:

– Сказать ли вашей милости, о чем говорят герольды?

Он ждет.

– Они говорят, король огорчен, что вынужден отдать Подвязку Камберленду. Он предпочел бы наградить того, кто ближе его сердцу.

Тому, кто близок королевскому сердцу, недолго томиться. Гарри Перси попросил на время свой старый дом в Хакни, хочет умереть там. Врачи говорят, до конца лета он не протянет, а со смертью Гарри Перси освободится еще одно место в часовне ордена. А когда казнят лорда Дарси, освободится и второе. Мастер Ризли застенчиво поднимает взгляд:

– Вам стоит заказать себе мантию, сэр.

Мантию лазурного бархата; небесно-голубую, отороченную белым дамастом. Ганс уже рисует эскиз нового, улучшенного орденского знака – никогда не упустит случая продать свой талант.

– Я вам не враг, вы знаете, – говорит Ганс, – хоть и написал когда-то ваш портрет.

Джейн распускает шнуровку. Ей хочется вишен и зеленого горошка, но они еще не поспели. Она просит перепелов, и Лайл шлет их из Кале, в ящиках. На корабле птиц кормят, а в Дувре забивают, чтобы сохранить как можно более жирными, но все равно в дороге они тощают, и Джейн жалуется, что хочет еще и пожирнее. Она ест их натертыми пряностями и запеченными в меду, разгрызает и высасывает тоненькие косточки.

– Она набрасывается на них, будто они ее обидели, – говорит Грегори, – хотя с виду такая, будто может есть лишь простоквашу и творог.

Король говорит:

– Мне нравится, когда у женщины аппетит. Покойная Екатерина, когда мы поженились… когда мы думали, что поженились, – поправляется он, – могла умять уточку. А потом… – он отводит взгляд, – она начала соблюдать особые посты. Более строгие, чем предписано. Это все ее испанская кровь.

Он думает, она молилась за нас. Приносила свои голодные боли как жертву за Англию.

Джон Хуси доставляет перепелок в семь утра. Джейн из своих покоев распоряжается: половину изжарить на обед, остальных мы съедим за ужином.

Он спрашивает у Хуси:

– Ребенок еще не родился? Королю не терпится узнать. Он обрадуется, если у Лайла будет сын и наследник.

Хуси мотает головой. Вид смущенный, впрочем у Хуси он всегда смущенный.

– Быть может, Хонор ошиблась в подсчетах, – говорит Фицуильям. – Что советуют врачи?

– Они советуют хранить терпение.

Фицуильям говорит:

– К рождению он будет знать грамоту, сумеет разгрызть мозговую кость и потребует деревянный меч.

За перепелов и вишни, когда те наконец поспевают, Джейн соглашается взять фрейлиной одну из дочерей леди Лайл. Джейн просит прислать двух, а ту, которую не возьмет, обещает пристроить в свиту какой-нибудь другой знатной дамы. Она любезно говорит, что девушки могут носить свои французские платья, хотя английская мода за этот год изменилась.

Однако, когда девицы прибывают, Джейн смотрит на них и говорит: «Ой, нет, нет, нет. Я возьму эту, только уведите ее и переоденьте поскромнее».

Энн Бассет нужны льняные сорочки, такие тонкие, что сквозь них просвечивает кожа. Нужен чепец-гейбл и пояс, плотно расшитый жемчугом. Когда она вновь предстает перед королевой, на ней платье миледи Сассекс, волосы упрятаны, а голова плотно стянута чепцом.

Когда он в следующий раз видит Хуси и окликает, тот поспешно направляется в другую сторону.

Уайтхолл. Он вместе с Грегори является к покоям леди Марии. Ожидается приход кого-то чрезвычайно важного. Приближенные обступают его, спрашивают: «Кто это будет, лорд Кромвель?» Белошвейка Марии принесла корзину. Пришел музыкант настроить ее верджинел. Карлица по имени Джейн семенит по комнате: «Добро пожаловать, все и каждый».

– Додд! – приветствует он церемониймейстера Марии. – Сегодня к вам большая особа. – Он говорит громко, чтобы все слышали. – Испанский джентльмен, присланный императором в подмогу Шапюи – ухаживать за леди Марией.

У одной из королевиных дам, Мэри Маунтигл, в руках кошелек с деньгами – королева вчера проиграла в карты и теперь прислала долг. Мэри сопровождает другая фрейлина, Нэн Зуш, как будто ее могут ограбить по дороге. Обе повисают у него на локтях.

– Испанский джентльмен? Разве дом Луиш не португалец?

– Хотя это одно и тоже, – замечает Нэн Зуш. – Все они кузены императору.

Маунтигл спрашивает:

– А дом Луиш говорит по-английски? Если нет, лорду Кромвелю придется стоять на коленях рядом с брачным ложем и переводить.

– Я не знаю португальского, так что придется им обойтись, – говорит он. – А леди Мария всегда забирает свой выигрыш?

– Всегда, – говорит Нэн. – И она такая азартная! Как-то в игре в шары поставила на кон свой завтрак.

Маленькая женщина говорит:

– Надеюсь, посол не привез ей засахаренные фрукты. У нее зубы болят. – Показывает свои. – А я так орехи могу разгрызать.

Великие люди входят под звук хихиканья. За новым послом, доном Диего де Мендосой, идет Шапюи, за Шапюи – его фламандский телохранитель. Дон Диего из тех, кому нужно много свободного места. Шапюи суетится, отступает в сторону, чтобы новый посол мог покрасоваться плюмажем и черным бархатом. Мендоса почтительно несет в руках письмо, перевязанное черной лентой. На письме – печать с двуглавым орлом.

– Лорд Кремюэль, – говорит посол, – я о вас наслышан.

– А у меня, – любезно отвечает он, – такое чувство, будто я с вами знаком. Вы ведь, наверное, родственник тому Мендосе, что был послом во времена кардинала.

– Имею честь.

– Кардинал его запер.

– Нарушение всех принятых законов дипломатии, – говорит Мендоса. В голосе такой холод, что мог бы выморозить виноградник. – Я не знал, что вы были тогда при дворе.

– Я и не был. Поскольку я был кардинальским слугой, я унаследовал его заботы.

– Но не его методы, – поспешно добавляет Шапюи.

Заметно, что Эсташ стремится к успеху этой встречи.

– У вас много общего, господа. Дон Диего бывал в Италии. В университетах Падуи и Болоньи.

– Вы там бывали, Кремюэль? – спрашивает Мендоса.

– Да, но не в университете.

– Дон Диего знает арабский, – сообщает Шапюи.

Он сразу навостряет уши:

– Много ли надо времени, чтобы его выучить?

– Да, – отвечает дон Диего. – Годы и годы.

Он спрашивает:

– Привезли ли вы миледи портрет дома Луиша?

– Только это. – Посол демонстрирует письмо.

– Я думал, возможно, у вас с собой его миниатюрный портрет, который вы носите у сердца.

Что-то у дона Диего с собой точно есть, о чем он и на миг не забывает, как невозможно забыть о каленом железе под рубашкой. Без сомнения, это второе письмо, возможно шифрованное.

– Разумеется, есть подарки. Их везут на муле, – говорит Мендоса.

– Потому что они большие, – добавляет Шапюи.

– Это хорошо. Леди Мария любит все дорогое. Потому-то отец и взял ее ко двору. Слишком накладно было содержать ее отдельно. Каждую неделю она снова просит денег.

– Она щедра при своих скудных средствах, – говорит Шапюи. – Творит дела милосердия.

– Полагаю, она живет, как пристало принцессе? – спрашивает дон Диего. – Вы же не ждете от нее иного?

– Обычно, – замечает Шапюи, – если вы именуете ее правильным титулом, лорд Кремюэль наступает вам на ногу. Ее называют просто именем, Мария. Но смотрите-ка, когда ее предлагают как невесту, мы называем ее принцессой, и внезапно… – он ухмыляется, – Кремюэль совершенно не против.

Открывается дверь, выходит капеллан Марии, беседуя с ее врачом, испанцем.

Капеллану он говорит:

– Добрый день, отец Болдуин. Как миледи?

С доктором здоровается на лучшем своем кастильском – утритесь, Мендоса.

– Я дам вам четверть часа, посол, затем, к сожалению, вынужден буду вас прервать.

Шапюи возмущен:

– Они не успеют даже помолиться вместе.

– О, они будут молиться? – Он улыбается.

Церемониймейстер Додд проводит Мендосу в комнату приемов.

– При ней есть ее фрейлины? – спрашивает Нэн Зуш, и обе дамы, обменявшись взглядами, проскальзывают вслед за послом.

Дверь закрывается.

Шапюи что-то бормочет себе под нос. Кажется: «Безнадежно».

– Что вы сказали, посол? – спрашивает он.

– Думаю, эти дамы, что сейчас ворвались к леди Марии, ваши приятельницы.

Мэри Маунтигл – дочь Брэндона от одного из его многочисленных прежних браков, и да, насчет приятельниц Шапюи не очень отклонился от истины. Нэн Зуш – в ту пору Нэн Гейнсфорд – сообщила ему сведения, пригодившиеся против Анны Болейн.

– Как королева? – любопытствует Шапюи. – Король, наверное, очень тревожится.

– Она не дает оснований для тревоги.

– И тем не менее. Учитывая его прошлые утраты. Говорят, Эдвард Сеймур уверен, что родится принц, и его всего распирает, словно дрожжевой хлеб. Конечно, если будет мальчик, братья Сеймуры возвысятся и могут потеснить вас.

Он не может представить Томаса Сеймура в должности хранителя малой королевской печати.

– Мне следует этого опасаться, да?

– Однако я уверен, они будут осторожны, памятуя, как вы поступили с братом другой королевы. Я бы на их месте сбежал в Вулфхолл и затаился, чтобы про меня забыли. – Шапюи хихикает. – Им надо податься в пастухи или что-нибудь в таком роде.

Он говорит:

– Дон Диего не слишком любезен. Мне казалось, это обязанность посла?

– Он брезглив, – признает Шапюи.

Он смеется. Молчание. Голоса из-за закрытой двери такие тихие, что ничего не разобрать. Шапюи говорит:

– Вы очень полагаетесь на мастера Зовите-меня.

– Да, он становится значительным.

– Он вскрывает ваши письма.

– Кто-то должен их вскрывать. В одиночку со всеми не справиться.

– Он был человеком Гардинера, – говорит Шапюи.

– Гардинер остается во Франции.

– А служат тому, кто ближе, – говорит Шапюи. – Понятно.

Он оглядывается через плечо:

– Хотите полслова? Умному достаточно.

Посол подходит ближе.

– Аск вас изобличил.

– Что?

– На допросе. И у нас есть ваши письма лорду Дарси. За три года.

– Протестую, – быстро говорит Шапюи.

– Вы утверждаете, что они поддельные?

– Я ничего не утверждаю. Я вообще о них не говорю.

– Я знаю, что происходит, Эсташ. Вы приходите ко мне, ужинаете, говорите мне, мир. Идете домой, зажигаете свечу и пишете своему государю, война. –

Пауза. – Ваше счастье, что я добрее кардинала и не стану вас запирать. – Он указывает на закрытую дверь. – По-моему, десять минут прошло.

Сказано – сделано: он открывает дверь ногой, словно пьяный конюх. Грегори и посол входят следом за ним. Входя, они слышат вопль. Большой зеленый попугай раскачивается на жердочке. Когда они резко поворачиваются к птице, та разражается хохотом.

– Это подарок, – говорит Мария. – Приношу извинения.

– Он говорящий?

– Боюсь, что да.

Он отметил, что Мария не предложила дону Диего сесть. Посол выпячивает грудь:

– Милорд, выйдите, мы не закончили.

Попугай раскачивается и кричит – звук словно скрип несмазанного колеса.

Он говорит:

– Я пришел напомнить, что у вас срочные дела.

Испанец уже почти открыл рот, но тут Шапюи прочищает горло. Момент уходит.

Дон Диего говорит:

– Мадам, мы вынуждены расстаться до другого раза.

– Нет, не преклоняйте колени, – говорит Мария послу. – Поспешите, лорд – хранитель печати держит для вас дверь. – Она протягивает руку для поцелуя. – Благодарю вас за добрый совет.

Он уступает Грегори обязанность держать дверь и делает шаг в комнату. Посол выходит с недовольной миной, Шапюи, выскакивая следом, корчит смешную рожу. Он закрывает дверь. Попугай по-прежнему верещит.

– Не любит испанцев, – говорит он.

– Вы тоже, – отвечает Мария.

Он подходит к птице и видит, что та прикована к жердочке золотой цепочкой. Попугай переступает лапками и угрожающе вскидывает крылья.

– У меня в детстве была сорока. Я сам ее поймал.

Мария говорит:

– Не могу вообразить вас ребенком.

Он думает, я тоже не могу. Не могу себя вообразить.

– Я думал, научу ее говорить. Но она улетела при первой возможности.

Правда, прежде сказала: «Уолтер – подлец».

Он поворачивается к Марии:

– Так что тут было?

Ей не хочется рассказывать.

– Он спросил, была ли я искренна.

– Вообще? Или в чем-то конкретном?

– Вы прекрасно знаете. – Мария вспыхивает, будто кто-то поддувает ее мехами. Однако в следующий миг она покорно опускает глаза, сникает, голос вновь становится монотонным. – Он спросил, была ли я искренна, когда признала, что мой отец – глава церкви и они с моей матушкой не были по-настоящему женаты. Я сказала, да. Я сказала, что последовала совету моего дяди-императора, переданному мне послом Шапюи. Я сказала ему, что вы, Кромвель, действовали как мой друг. И если он не поверил, я не виновата.

Он говорит:

– А вы упомянули, что писали папе, взяли свои слова назад и просили об отпущении грехов?

Она испуганно поднимает глаза.

– Не важно, – говорит он. – Это еще один случай, когда я оставил ваш проступок без последствий. Я упоминаю о нем лишь в качестве предостережения.

Ее голос дрожит от испуга.

– Чего вы хотите?

– Хочу? Миледи, я хочу одного: чтобы вы обо мне молились.

– Я молюсь, – говорит Мария. – Но знаете, что я обнаружила? Власть короля огромна, однако у него нет власти узнать меня, только то, что я говорю и делаю.

Попугай склоняет голову набок, как будто прислушивается.

Он говорит:

– Прежнему Мендосе не позволяли оставаться наедине с госпожой вашей матушкой. Ради ее безопасности.

– Полагаю, скорее для безопасности страны.

– Все наши усилия только для этого. Без королевских законов мы были бы в лесу с дикими зверями. Или в океане с Левиафаном.

Он отходит чуть подальше. Зуш и Маунтигл скользят к стене; могли бы вплестись в шпалеры – вплелись бы. Попугай поворачивает голову и следит за ним взглядом.

– Полагаю, посол обещал вывезти вас отсюда.

Мария смотрит на свои ноги, как будто они куда-то собрались без ее ведома.

– Если не обещал, то пообещает. Он думает, мы насильно выдадим вас замуж во Францию.

– Я надеюсь, господин мой отец так со мной не поступит.

– У меня самого такого намерения нет. Я не могу дать гарантий, воля короля превыше всего, но вам лучше положиться на мои усилия, чем лезть в ночи по веревочной лестнице и пускаться по морю в решете.

Она отворачивается.

– Дайте мне письмо, – говорит он. – Письмо посла.

Она берет со стола пухлый пакет с лентой и протягивает ему. Печать сломана.

– Быть может, вы желаете его прочесть и затем передать королю?

– Другое письмо, – говорит он.

Мария колеблется, но лишь мгновение. Молча, не глядя ему в лицо, вынимает письмо из книги и протягивает. Оно без печати. Но прочитать его она не успела.

– Что у вас за книга?

Он переворачивает и смотрит. Это Травник. На фронтисписе дикарь и дикарка, оба покрытые густой шерстью, держат щит с инициалами печатника.

– У меня такой есть. Книга издана десять лет назад, ей не помешали бы поправки. – Он листает страницы, смотрит гравюры. – Но скоро у нас будет другое чтение. Архиепископ Кранмер отправляет мне новый перевод Писания.

– Еще один? – вяло спрашивает она. – Это, должно быть, третий за нынешний год.

– Кранмер говорит, он правильнее предыдущих, и уверен, что господин ваш отец разрешит его печатать.

– Я не против Писания. Не думайте так.

– Я велю прислать вам книгу из первого тиража. Вам стоит изучить заповеди. Чти отца. Поскольку мать скончалась.

Екатерина, прости ее Господи. Екатерина, которую Бог упокоил. Екатерина, которая не могла доносить детей до срока, однако выродила это жалкое существо, что сидит, опустив распухшее от зубной боли лицо, не поднимая на него тусклых глаз.

Он думает про ее испанскую бабку в сверкающей кирасе, зерцало участи неверных. Изабелла выезжает на поле; Андалузия трепещет.

В канун Троицына дня, после так долго откладываемого плавания, шотландский король сходит на родной берег. У молодой жены-француженки лицо такое, будто ее всю дорогу выворачивало наизнанку. Свидетели рассказали, что она упала на колени, нагребла в ладони литской земли и поцеловала.

В Тауэр заключили некоего Уильяма Даливела, последователя Мерлина и короля Якова. Он распространял пророчество, что шотландский король придет, изгонит Тюдоров и будет править двумя королевствами. Еще он утверждал, что видел ангела.

В прежние времена его бы сочли счастливцем, но в наши дни Даливела вздернули на дыбу.

Корнуольцы просят вернуть им святых, разжалованных по недавним постановлениям. Без праздников верующие оторваны от календаря, дрейфуют в океане одинаковых дней. Он думает, что просьбу можно удовлетворить: это древние, малопочитаемые святые, деревяшки с облупившейся краской и бесформенные каменные столбы, не досадившие королю ни словом, ни делом. Не то что всякие Бекеты, чьи гробницы распирает от рубинов, гранатов и карбункулов, словно их кровь пузырится из-под земли.

Июнь, второй сеанс.

– Король будет стоять на этом ковре, – постановляет Ганс.

Слуги раскатывают ковер перед их ногами – его башмаками кордовской кожи, изящными красными башмаками мастера Ризли, почтенной обувью лорда Одли и сэра Уильяма Фицуильяма. Ковер из числа кардинальских; он, лорд Кромвель, наклоняется развернуть угол.

– Что, все они? – спрашивает лорд-канцлер. – Вместе на этом ковре? Король, королева и его августейшие родители?

Ганс награждает его убийственным взглядом:

– Отца я помещу за ним. Августейшую матушку – за нынешней королевой.

Он спрашивает:

– Какими вы напишете старых короля и королеву? В каком возрасте?

– В вечности у них нет возраста.

– Полагаю, есть другие портреты, которыми вы сможете руководствоваться.

– Разве мы не создали вам галерею? – спрашивает Ганс. – Целую комнату утраченного.

Да, но это больше похоже на игру, думает он, игру в королей, их лица – подсказки. Никто не может сказать, что они выглядели так или не так. Слишком давно они жили и умерли.

Ганс начинает шагами размечать сцену. Отец здесь, ближе к центру, но на переднем плане Генрих. Между двумя родителями я помещу колонну, говорит мастер Гольбейн, либо мраморный постамент…

– Вроде алтаря? – предлагает лорд Одли.

– Он захочет, чтобы там были слова, Ганс. Восхваляющие его.

– Слова пусть придумает лорд Кромвель.

– Мастер Ризли, – говорит он, – запишете для памяти?

Однако Зовите-меня уже набрасывает варианты.

Входит король, и все поворачиваются в его сторону. Ему надо пройти через всю галерею, и его словно немного шатает, как будто пол под ногами мягкий.

Фиц что-то шепчет. Он на него шикает.

– А, Кромвель, – говорит Генрих. – Лорд-канцлер. До меня дошел слух, что Франциск умер.

– Боюсь, слух неверный, – говорит он.

Лицо у короля бледное, одутловатое. Он не решается спросить, мучает ли того нога. Генриху не понравится, что низшие, такие как Ганс, услышат вопрос, а тем более ответ.

– Сегодня тут света побольше, – говорит король. – Норфолк мне написал, что в Йоркшире каждое утро заморозки. А у нас розы цветут!

Зовите-меня говорит:

– Где Норфолк, там всегда заморозки.

Генрих улыбается:

– Зефиры его не овевают. А молодой Суррей, он пишет, страдает от упадка духа. Сам я всегда считал, что действия прогоняют меланхолию, и уж вроде бы Говардам есть чем себя занять…

– Герцогу лучше остаться в Йоркшире, – говорит Фицуильям. – Северяне принимают его лучше, чем кого-либо другого.

Томас Говард говорит, что еще одна зима его убьет. Однако до сентября ему придется потерпеть. Не хочет же он оказаться в Лондоне в разгар чумы? На прошлой неделе похоронили сто двадцать человек.

– А что слышно про Гарри Перси? – Король задумчиво чешет нос; он ждет, когда графский титул Перси вернется короне. – Пошлите молодого Сэдлера глянуть, как он там умирает.

Ризли всем видом беззвучно возмущается: не его, ваше величество, отправьте меня!

– Если только вы сами не хотите его навестить, милорд хранитель печати? Впрочем, граф боится вас с давних времен, не хочу обвинений, будто вы напугали его до смерти.

– Я не делал графу ничего дурного, – говорит он.

Перед глазами возникает картинка: Зовите-меня у смертного одра, снимает верхнее платье, засучивает рукава, берет подушку…

Король зовет:

– Ганс, где вы? Мы готовы. Сегодня надо закончить наброски, иначе вам придется за мной гоняться. Я не стану мешкать в Уайтхолле, когда могу быть на охоте…

Король говорит весело, будто старается подбодрить себя и художника. Ганс насвистывает сквозь зубы и перебирает листы. Собранные вместе, они покроют всю стену. Советники отступают, освобождая место. Фиц бормочет:

– Что с ним сегодня? Что-то случилось.

Он думает: это началось в прошлом октябре, просто накапливалось, так что мы заметили только сейчас. Мятежники подкосили Генриха, и он уже никогда не будет прежним. Король стоит один на турецком ковре, попирая ногами синие звезды. Говорит громко, словно хочет втянуть их в свои планы:

– Этим летом вы будете охотиться со мной, милорд Кромвель. – И вдруг начинает заваливаться.

Он успевает метнуться вперед и ухватить короля за плечи. Фиц в полушаге от него. «Стул королю!» – кричит Одли. Далекие взволнованные возгласы – как быстро разлетаются новости! – затем топот ног, вбегают слуги и придворные. «Прочь!» – Фиц размахивает руками и орет, словно на поле боя. Ризли аккуратно вдвигает табурет монарху под колени. Они бережно усаживают болящего. Тот сидит, раскрыв рот, лицо кривится, будто вот-вот заплачет. Они с Одли поддерживают короля с двух сторон. Лицо у Генриха блестит от пота. Он вынимает носовой платок. Они обступают короля, загораживая его от остальных.

– Вам больно, сэр? – спрашивает Одли. – Где болит?

– Дайте мне дышать, – говорит король.

Они пятятся. Генрих хватает его за рукав. Вытирает платком лицо.

– Милорд, это не первый раз, когда нас шатает. Нам в ноги попал гумор. Слабость. Нет, доктора знают не больше нашего. Но это обязательно пройдет.

Короля трясет от тихой ярости на себя.

– Отошлите всех. Скажите Гансу, пусть придет завтра. Скажите всем, это просто… нет, не говорите ничего. Пусть уйдут.

Он думает, король совсем плох. Выпрямляется, однако Генрих по-прежнему держит его за рукав.

– Кромвель, что, если это девочка?

У него падает сердце.

– Тогда следом родятся мальчики.

Король отпускает его рукав. Жалобно спрашивает:

– Где Фиц? Мне нужен Фиц, отошлите всех остальных прочь.

Он оборачивается. Никто не смеет подойти.

– Идемте, – говорит он.

Одли пристраивается рядом, Ризли наступает им на пятки. До самого конца галереи все молчат. Одли бросает взгляд через плечо:

– Надо сохранить это в тайне.

Мастер Ризли говорит:

– Конечно, милорд.

– Не удастся, – говорит он.

Художник отошел вместе с ними.

– Мастер Гольбейн? Дайте ваши рисунки. Лицо короля. Покажите мне.

Ганс свистит подмастерью, тот перебирает листы с королевским лицом, находит вариант, который художник готов показать. Он, Кромвель, прикладывает большой палец к королевскому лбу, словно совершает миропомазание:

– Поверните голову. К нам. Пусть он на нас смотрит.

– Боже Всемогущий, – говорит Ганс, – это будет жутко. Развернуть торс и все остальное?

Мрачное лицо и мощные плечи. Жирные бока, подложенный гульфик. Ноги точно столпы, удерживающие земной шар. Эти колени не подогнутся, эти стопы не уклонятся с верного пути.

В июле с севера приезжает лорд Латимер и бесконечно изводит всех жалобами на то, как пострадал от Паломников; он предпочел бы вовсе не видеть Йоркшира, но знает, что должен будет вернуться туда по королевским делам, однако в остальное время предпочтет жить в своем Першорском имении; и то же самое говорит его жена Кейт.

Лорд Латимер не может понять, отчего молодые люди прячут ухмылки. Что смешного в его жене Кейт?

Из Шотландии сообщают, что принцесса Мадлен умерла. Ее торжественный въезд в Эдинбург так и не состоялся. Знамена сворачивают, украшения улиц разбирают, серебряные трубы прячут в футляры.

Генрих говорит:

– Наверняка Яков снова будет сватать француженку, но вряд ли Франциск отдаст ему младшую дочь, везти в холодную Шотландию. Есть герцогиня Вандомская. Правда, Яков ее однажды отверг, так что ее родные, наверное, оскорбились.

– Умер герцог де Лонгвиль, – говорит он. – Говорят, его вдова очень красивая, замужем была всего три года, тем не менее у нее уже сын и еще один младенец под сердцем. Яков будет свататься к ней.

Однако неизвестно, думает он, удастся ли сватовство. Родня Марии де Гиз настолько высокомерна, что, возможно, и не знает, где эта Шотландия. Так или иначе, Яков будет какое-то время соблюдать траур. К принцессе Мадлен прилагался пенсион, тридцать тысяч франков в год. За покойницу их платить не будут.

Мадлен не дожила месяца до семнадцати лет. Надо отдать французам справедливость, они советовали Якову выбрать невесту покрепче.

Погожим вечером он гуляет с леди Отред по личному саду королевы. Бесс идет с ним под руку.

– Так когда свадьба? – спрашивает она.

– Как только пожелаете. Но, – он поворачивается и смотрит ей в лицо, – вы этого хотите?

– О да. – Она поднимает на него ласковый взор. – Понимаю, некоторые подумали бы…

– Конечно, брак будет не совсем равный, я обсуждал это с вашими братьями, ничего не утаивая.

– Что ж, меня тоже нельзя назвать неопытной девицей. Я вдова.

Он не совсем понимает, к чему она это говорит, но с какой стати ему понимать молодых женщин?

– Миледи, позвольте спросить… дело, быть может, слишком личное…

– Каким бы оно ни было, послушание велит мне вам ответить.

– В таком случае… я хотел бы знать, вы до сих пор оплакиваете мужа?

Она говорит:

– Я не жаловалась на Отреда. Он был добрым мужем, я сожалею о его кончине. Однако вы не сочтете меня бессердечной, если я скажу, что могла бы быть счастливой с непохожим на него человеком. – Леди Отред с жаром поднимает к нему лицо; он чувствует, что она изо всех сил старается ему угодить. – И я вполне готова проверить.

– Когда умерла моя жена, – говорит он, – я о ней тосковал безмерно. При том, какой была моя тогдашняя жизнь… вечные разъезды по стране, в Антверпен несколько раз за год, вечерами допоздна у кардинала, на обедах в гильдиях, на заседаниях в Грейз-инн… иногда я возвращался домой, а она говорила: «Я Лиззи Кромвель, вы не видали моего мужа?»

– Лиззи, – повторяет она. – Хорошо, что я теперь Бесс. Со всеми Элизабет так: как ни назови, мы отзываемся.

Он улыбается:

– Я вас не спутаю.

– Мы с Джейн догадывались, что вы очень любили свою жену, поскольку так и не женились снова. Джейн говорит, вы были дружны с Марией Болейн и она бы за вас пошла, если бы вы позвали.

– О, это была просто ее причуда, – говорит он. – Она хотела досадить родным. Позлить дядю Норфолка. И сочла, что я для этого гожусь. У Марии доброе сердце, и, говорят, она стала хорошей женой Стаффорду. Но мне она казалась… прости господи, потасканной.

Бесс встревожена:

– Но вы же не против вдовы?

– Моя первая жена была вдовой.

– Если бы вы женились на Марии Болейн, то породнились бы с королем.

– В некотором смысле.

– Теперь вы тоже с ним породнитесь. Просто большее время спустя.

Он думает, какая она заботливая, какая деликатная. Упомянула старый слух про Марию Болейн, но обошла молчанием более свежий про Марию – дочь короля.

Он останавливается, берет ее руки в свои. Вокруг благоухает сад.

– Давайте не будем говорить о покойниках. Я предпочел бы говорить о вас. Нам надо вас одеть. Заказать шелк и бархат. И, наверное, изумруды?

– Когда Джейн так внезапно возвысилась, я на время уступила ей мою шкатулку с драгоценностями. Теперь, когда я выхожу замуж, она их, наверное, вернет.

– Я поговорю с людьми в Антверпене. Можно действовать через королевского человека, Корнелиуса, но я знаю замечательных ювелиров, и вам будет приятнее носить свое, а не то, что носила ваша сестра.

Она опускает глаза:

– Джейн сказала, что вы умеете быть очень щедры.

– Позвольте мне вам угождать. У меня нет дочерей. Впрочем, это неправда. У меня есть дочь, вы о ней узнаете.

– Ваша антверпенская дочь.

– Но она не носит драгоценностей.

Бесс улыбается, потупившись; сейчас она робеет совсем как ее сестра.

– Милорд, вы можете угождать мне, а я буду угождать вам, однако я едва ли буду вам дочерью.

Он отвечает мягко:

– Я очень надеюсь, что мы с вами будем как отец и дочь.

– Ой, но… – Она кладет руку ему на локоть. – Это будет так? Я не знала. Конечно, как вам угодно, но вы еще не такой уж старик, и я надеялась родить вам детей.

– Мне?

Он потрясен, шокирован. Он, побывавший в Риме! Побывавший, честно говоря, везде.

– Бесс, – говорит он, – нам надо вернуться в дом.

– Зачем?

Эти Сеймуры, думает он, они словно герои древнегреческих легенд. На них падет проклятие. Мы знаем, что старый Джон Сеймур спал с невесткой, но не думает же Бесс, что во всех семьях так?

– Поздно, вы устали, и уже холодно, – говорит он. – И нам не следует оставаться наедине.

– Почему?

– Это может привести к… – Он проводит рукой по лицу. К чему это может привести? – К недоразумениям. Люди могут неправильно понять.

Она говорит:

– Времени всего девятый час, вечер теплый, а я полна сил, как молочница поутру.

– Идемте, – повторяет он.

– В остальном я согласна. – Голос у нее ледяной. – Думаю, произошло недоразумение. Я обещала себя лишь одному Кромвелю, тому, за которого выйду замуж. Но за которого из Кромвелей я выхожу?

Его мысль устремляется к разговору с Эдвардом, опускается легко, как муха, и начинает ползать по каждой сказанной фразе, по каждому умолчанию. Назывались ли имена? Вероятно, нет. Мог ли Эдвард предположить… мог ли Эдвард ошибиться… да, вероятно, мог.

Он шумно выдыхает:

– Что ж. Я польщен, Бесс. Что вы готовы были об этом хотя бы задуматься.

Она отвечает твердо:

– Моей вины тут нет.

– Ни малейшей.

– Виноваты вы. Я выслушала брата. Ни словом не возразила. Не стала спрашивать, сколько лет Кромвелю и не сын ли он ремесленника. Я просто сказала, да, Эдвард. Ради семьи, Эдвард. За кого велишь, Эдвард.

– Понимаю, – говорит он. – Начинаю понимать.

– Знаю, вы человек занятой. Но вы могли бы найти минутку, чтобы объяснить толком, и Эдвард объяснил бы мне. А без истолкования я заключила…

– Но почему? Притом что Грегори – молодой человек, которому пора жениться?

– Наверное, милорд, вы не знаете, как много говорят о вашем холостяцком состоянии. Как весь двор ждет, что вы женитесь. Как все, мужчины и женщины, строят догадки о великой и опасной чести, которая вас ожидает.

– Это всего лишь сплетни, – говорит он. – И вы правы, они опасны. Опасны для меня, оскорбительны для леди Марии.

– Тогда вам стоит определиться самому. На ком вы женитесь. На ком не женитесь.

– Не говорите Грегори. Он думает, вы добровольно согласились за него выйти. – Внезапно он пугается. – Вы же согласны выйти за него? Поскольку, Бесс… миледи… вы ведь рады, что все оказалось не так, как вы думали?

Молчание, потом:

– Милорд, я не отвечу, рада я или нет. Гадайте сами. Впрочем, полагаю, вам недосуг гадать.

– Грегори будет куда лучшим мужем, – жалобно оправдывается он, – и вы сможете им гордиться. Он добрый, ласковый, прекрасно танцует, на турнирах выступает не хуже джентльменов, на чьем щите соединены шестнадцать древних гербов, король его любит и скоро сделает бароном, так что вы вновь получите титул. Он во всем лучше меня…

Меня, думает он, так замаранного в житейских боях, покрытого шрамами, никому не нужного и холодного.

– Замолчите, – говорит она. – Сперва слишком мало слов. Теперь слишком много.

– Но вы согласны? Вы пойдете за Грегори?

– Скажите мне когда и где. Я приду в подвенечном наряде и выйду за того Кромвеля, который там будет. Я покладистая женщина. Хотя и не такая покладистая, как вы подумали.

Она уходит прочь по зеленой тропинке. Впрочем, идет неспеша. Голова опущена, как будто в молитве. Он думает, она будет простой мистрис Кромвель, чего не ожидала. Огорчилась ли она? Не пустяк узнать, что ты не только выходишь за младшего, а не за старшего, но и лишаешься титула. Однако, уж конечно, она предпочтет сына, у которого впереди блестящее будущее, отцу, у которого… что ж, думает он, у меня тоже кое-что впереди. Без сомнения, Ризли прав насчет ордена Подвязки. Кажется, что с сыном Уолтера такого просто не может быть. Однако уже столько всего произошло, во что не поверил бы и самый доверчивый ребенок.

В детстве он ходил от двери к двери, предлагал наточить ножницы и залатать котелки. Он мог почистить курятник, отдраить оловянную посуду или разрубить мясо, если хозяйке вдруг досталась половина свиной туши. Ко всем этим женщинам он обращался «миледи», и они расцветали на глазах. Иногда одно это слово приносило ему яблоко или полпенса, а раз даже поцелуй – и все это сверх платы за работу.

Отцовские друзья работали на реке лоцманами и перевозчиками. Так что он тоже работал на реке. Голодный неграмотный мальчишка. Чего ради ему была нужна дощечка с азбукой? Как только ему понадобилось разбирать слова, он стал читать. Когда требовалось записывать, кое-как записывал. Он искал в прибрежном иле сокровища и часто находил. Шляпа, которую ветер сорвал с джентльмена, может кормить семью целую неделю; продаешь не вымокший бархат, а пряжку. Это мог быть золотой Бекет или Христофор, цветок с эмалевыми лепестками, драгоценный крест с гранатом на месте Божьей головы. Он научился прятать находки от Уолтера и оставлять деньги себе.

Как-то вечером пьяный Уолтер, хлопнув себя по груди, сказал ему: «Эта лодка все идет и идет, Томас. Я гребу, чтобы не помереть».

В конце июня Кромвели посещают Сеймуров в Твикенхеме. Обмениваются подарками, катаются на лодке, допоздна слушают музыкантов; затем при свете и запахе восковых свечей он обсуждает условия с Эдвардом Сеймуром, главой семьи. Эдвард согласен, что молодым надо будет побыть вместе без надзора старших. Свадьбу назначили на первые числа августа, когда у него, лорда – хранителя печати, ожидаются два свободных дня в расписании; два дня, когда, мы надеемся, европейские государи будут не воевать, а сидеть в тени и слушать дремотное журчание воды в мраморных фонтанах.

Если Эдвард Сеймур и заблуждался так же, как его сестра, то сейчас об этом не упоминает. Сыплются поздравительные письма, в том числе даже несколько искренних. Зовите-меня говорит, кто бы подумал, что Грегори окажется вам так полезен – свяжет вас с семьей короля. Я всегда предсказывал, от него будет толк. После того как документы подписаны, брак все равно что заключен, а ночи впереди короткие, напоенные летними ароматами, так что не будет беды, если молодые разделят ложе прямо сейчас. Постарайся сделать ее счастливой, наставляет он сына, такой счастливой, какой не сделал бы ее старик, будь он хоть сто раз граф, чтобы она никогда не пожалела о своем замужестве, не сказала, а я ведь могла стать графиней Оксфордской.

Для первого дома Грегори он заказал майоликовую посуду в Венеции, у мастеров, украшавших церковь Святого Варнавы, и теперь мечтает, как будет вскрывать ящики, гладить рукой глазурь. Он велел изобразить богов и богинь: Данаю и Зевса, посетившего ее в образе дождя. Дождь не простой: молодая блаженствует под изливаемым на нее золотом, слитки катятся по ее голым рукам и бедрам, громоздятся у ног. Ни одна девица так не прирастала богатством, да к тому же золотой ливень не оставляет синяков. Бесс Сеймур узнает Данаю и, без сомнения, дружески ей кивнет.

Его неловкая оплошность, судя по всему, забыта. Бесс незачем о ней рассказывать, это значило бы выставить себя дурой. Ему хочется зазвать Женнеке из Антверпена; он напишет, и Грегори напишет, но неизвестно, захочет ли она приехать. Весь дом готовится к свадьбе. Наконец-то испекут большой пирог с шарами из золоченого марципана, тот самый, который он намечал на Пасху. Они будут есть венецианские пирожные с новых тарелок; одни с кедровыми орешками и миндалем, другие с фиалковым сиропом.

К середине лета все Паломники повешены или обезглавлены, а с ними и все те, кто помогал им, оправдывал их либо поддерживал словом или деньгами. Бигод, лорд Дарси и сам Капитан Сапожник, главарь бунтарей из Лута, приор аббатства Джерво и бывший приор Фаунтинского аббатства. Кого-то казнили на Тайберне, кого-то в Тауэре, кого-то в Йорке и Гулле. Говорят, старый Дарси все последние дни, вместо того чтобы молиться, проклинал Томаса Кромвеля. Непокорных монахов из лондонского Чартерхауза заковали в цепи и бросили в Ньюгейт; меньше чем за неделю пятерых забрала чума, остальные при смерти, как будто Господь сам их поразил.

Гарри Перси не дожил до конца июня. Рейф был у его смертного одра; Перси лежал без движения, желтый, как шафран, со вздувшимся брюхом. Вы бы его пожалели, сэр, говорит Рейф, а он отвечает, да уж конечно. Вспоминал ли он свою жену Мэри Тэлбот?

В некотором роде, отвечает Рейф. Когда ему напомнили, что он не позаботился о ее содержании, он кивнул, мол, знаю, но она мне не жена, никогда не была моей женой, я был женат на Анне Болейн. Все это Перси показал, объясняет Рейф, отталкивая все бумаги, какие ему протягивали, и отрицательно водя рукой по расшитому покрывалу; ладонь, мокрая от смертного пота, скользила по геральдическим знакам Перси, синему льву и золотым ромбам.

Он говорит:

– Раз он помнит Анну Болейн, значит болезнь не отбила ему память. Интересно, помнит ли он, как пришел арестовать кардинала?

Благородный род Перси пресекся. У Гарри детей нет, ему наследует король. Брат Гарри, Томас, умер раньше него, обезглавлен за измену во время недавних беспорядков, другой брат, Ингрем, в Тауэре, ждет казни.

И Роберт Аск на том свете. Казнью руководил Норфолк. Аска повесили на стене Клиффордского замка в Йорке. Где теперь его платье желтовато-коричневого шелка с бархатной опушкой, где пунцовый атласный дублет? По-прежнему в Лондоне, в «Шляпе кардинала». Аск молил, чтобы его потрошили уже полностью мертвым, и король даровал осужденному эту милость.

На этом королевское милосердие исчерпалось. Среди привезенных в Лондон мятежников есть некая Маргарет Чейн, известная как жена сэра Джона Балмера, но на самом деле его любовница. Неприлично прилюдно раздевать женщину догола, чтобы вытащить ей внутренности, поэтому за государственную измену их сжигают на костре. Он идет к Генриху. Обязанность просить о быстрой смерти для осужденных перешла к нему от кардинала. Для Анны Болейн он вымолил не только быструю смерть, но и умелого палача из Кале; ее тоже должны были сжечь.

Он говорит:

– Сэр, женщину Балмера казнят в Смитфилде. Знаю, род казни определен, но его обычно смягчают…

Генрих сопит.

– Учитывая, сэр, что она признала свою вину.

– Ей ничего другого не оставалось, – говорит король. – Нет, милорд, тут ничего изменить нельзя, пусть помучается – будет пример другим женщинам, если те склоняются к папизму и мятежу.

Маргарет Чейн красавица. Он ее видел. Молодая и нежная. Он говорит:

– Ваше величество, дозвольте привезти ее сюда, чтобы вы на нее поглядели.

Ее красота может растрогать короля. Генриха возможно смягчить. Мы такое видели.

– Я не желаю видеть мятежников. За исключением Поля. Вот на Поля мне хотелось бы взглянуть, но вы его никак не поймаете.

Он кланяется и выходит. Поражение, двойное поражение. Он думает, возможно, мы с Кранмером, если бы мы вдвоем на коленях молили отменить сожжение… Да только Кранмер в отъезде. В прошлом о милости к женщине могли бы просить ближайшие родственницы короля. Однако он сам строго наказал леди Марии не заступаться ни за кого из бунтовщиков, а королеве, вероятно, то же самое посоветовал брат.

Он прислоняется к стене личных королевских покоев. Думает, крепитесь, господин секретарь. Поборите свою слабость, милорд хранитель печати. Барон Кромвель, будьте тверды. Сейчас не время размякать.

Подходит юноша:

– Дозвольте предложить вам помощь, милорд.

– Том Калпепер, – говорит он.

Дублет шелковый, речь елейная; какой-то Говард. Неужто им нет переводу?

Юноша отвечает вкрадчиво:

– Известия из Кале, милорд.

– Леди Лайл наконец-то разрешилась?

– О нет, ее срок еще не пришел.

– Тогда не беспокойте короля. Он ждет не дождется известия, что у Лайла сын.

Он протискивается мимо Калпепера, прижимая к груди ин-фолио с бумагами. Нельзя проявлять слабость, думает он. Врагов надо давить без жалости. Нельзя сплоховать еще раз. Нужно принести королю хорошие новости, выловить их откуда угодно. Генрих внешне спокоен, но не спокоен внутренне, когда просыпается ночами от боли в ноге.

Король отозвал Фрэнсиса Брайана из Франции, сказав: «Что проку? Неблагодарный Поль все время от нас ускользает». Трудность не в том, как захватить этого человека, а в том, где это сделать. В Нидерландах земли разных государей так близко, что можно за день несколько раз перейти из Франции в Империю и обратно, а территории такие спорные, что граница может сдвинуться, пока путешественник слушает мессу или дремлет после обеда. Поль не висит в воздухе; он все время в чьей-либо юрисдикции. Любая стычка при его задержании будет считаться враждебными действиями на чужой земле: предлог для войны.

Но куда Поль отправится дальше? Франция и Нидерланды его не примут, но и не выдадут. Он говорит Ризли, Поль сбежит в Италию; с нашими бунтовщиками у него не вышло, он переберется в теплые края, где восторгаются его родословной и где он будет разъезжать с другими прелатами в алой одежде, а бедные крестьяне станут бросать деньги под копыта его белому мулу.

И это наш случай его убить. Ибо в Италии ночь не принадлежит никому.

Он говорит:

– Вот бы найти человека, который застрелил Пакингтона. Будь он самый отъявленный папист, я бы его перекупил и отправил убить Реджинальда.

В Чартерхаузе, теперь пустом и разоренном, ночами появляются огни. Паписты сеют слух, будто там разгуливают привидения.

– Скорее всего, воры, – говорит он Ризли. – Велите поставить надежную стражу. Все монастырское имущество принадлежит королю.

Однако дозорные видят, кто держит факелы: это умершие от чумы монахи бродят по клуатрам в зловонных саванах. Судя по всему, призраки доставляют депеши с того света; они видели умученного епископа Фишера, восседающего одесную Господа.

– А как насчет Томаса Мора? – спрашивает он. – Его кто-нибудь видел?

Доход лондонского Чартерхауза составлял 642 фунта, 0 шиллингов и 4 пенса. У Рича есть все цифры. Взять все картезианские монастыри вместе, и можно ожидать годового дохода примерно в 2947 фунтов.

– И пятнадцать шиллингов четыре пенса и фартинг, – добавляет Ричард Рич.

Он говорит:

– Мне думается, сэр Ричард, вы много потрудились для страны. Можете взять фартинг себе и прокутить.

Порученец Лайла, Джон Хуси, вечно толчется у дверей с другими просителями, просит уделить ему десять минут. Когда Ричард Кромвель его наконец впускает, Хуси входит с кипой землемерных карт и приходно-расходных книг, однако лицо у него – как у побитого спаниеля.

– Сэр, – говорит Хуси, – лорду Лайлу обещали аббатство, и он с нетерпением ждет подписания бумаг.

– Я сказал, что займусь этим, и я займусь. Отдайте бумаги мастеру Ричарду.

– Прошу прощения, милорд, но вы обещаете этим заняться с прошлого ноября. Кредиторы осаждают милорда со всех сторон, и вы не поверите, насколько он

в отчаянном положении. А сэр Ричард Рич чинит препоны на каждом шагу. Бесплатно Рич ничего не делает, а милорду его ставки не по карману.

– Сядьте, Хуси, – говорит он. – Хотите вина, подкрепить силы?

Хуси садится, но ерзает на табурете:

– Аббатство… милорд надеется, что получит ренту за все время ожидания…

Он вздыхает:

– Я поговорю с Ричем. Обещаю, проволочек больше не будет. Но вот что, Хуси. Я всегда знал вас как честного человека, так дайте мне честный ответ. Не далее как сегодня утром за ранней мессой королева спросила меня, как миледи в Кале, стала ли она матерью? По моим подсчетам, сказала она, у младенца уже должны прорезаться зубы.

К его изумлению, глаза Хуси наполняются слезами. Тот говорит:

– Милорд, я не смею вам сказать.

– Ребенок умер в родах?

– Нет. – Хуси затравленно озирается. – Исчез.

Он говорит:

– Знаю, за этот год в Кале видели много чудес. Однако такого, чтобы ребенок исчез до рождения, еще не бывало.

Ричард спрашивает:

– Живот у нее втянулся?

– Нет. – Хуси трет глаза. – Вид у нее как на сносях. Но ребенок не выходит и не выходит, и теперь повитухи говорят, что ошиблись.

– Мы думали, она носит какое-то сказочное чудище, – говорит Ричард. – А она и не зачинала, да?

Слеза падает на карту новых владений Лайла.

Он подается вперед:

– Скажите лорду Лайлу, мы будем молиться о выздоровлении его супруги.

– Надеюсь, она выздоровеет, – говорит Хуси, – потому что если она умрет, как нам уладить ее долги? Она пролила океан слез. Милорд так рассчитывал получить наследника. Однако он добрый джентльмен и меньше любить ее не станет, только просит, чтобы она перестала горевать. Если я сообщу, что аббатство передано лорду Лайлу, это ее подбодрит.

– Хуси, ступайте прочь, – устало говорит Ричард.

– Я уйду, мастер Ричард. Но ради всего святого, не забудьте про аббатство.

Дверь закрывается.

– Господи, – говорит Ричард. – Кто скажет королю?

– Этот счастливец сидит неподалеку от тебя. – Он берет верхний лист из кипы, которую оставил Хуси. – Если Лайл хочет получить аббатство, то должен найти деньги на оплату клерков, они не станут работать в долг. – Чешет подбородок. – Хотел бы я заполучить Хуси к себе на службу. В гарнизоне Кале он получает всего восемь пенсов за день, и я уверен, Лайл ни разу его не вознаградил. На редкость упорный малый.

Ричард говорит:

– Известие сразит Генриха наповал.

Он тяжело встает. Ноги как будто не хотят идти.

– Я заранее попрошу его сесть и проверю, чтобы рядом было кому помочь.

У Генриха не подкашиваются ноги, он просто медленно багровеет и наконец спрашивает:

– Исчез? Куда исчез? Святой Гавриил, направь и вразуми нас.

– Я никогда о таком не слыхал, – говорит он, – и врачи, наверное, тоже.

– Не слыхали? – Голос короля звенит от ярости. – Не будь у вас коротая память, вы бы знали, что Екатерина так же меня обманула. Да покарает Господь женщин, этих змей!

– Я не знал, – говорит он. – Меня здесь не было.

Он чувствует себя мальчиком с пальчик, в дюйм высотой.

– Мы тогда только что поженились, – говорит король. – Что я знал о женщинах и женской хитрости? Она выкинула ребенка, но говорила, что носит его близнеца. Пока ее обман не вскрылся.

– Ваше величество, разве это не была честная ошибка?

– Женщины – начало всех ошибок. Почитайте богословов, у них все сказано. – Генрих поворачивается к нему. – Вечно вы, Кромвель, с дурными вестями.

Мальчик с пальчик угодил в мышеловку. Его запекли в пудинг. Его проглотил какой угодно зверь, и теперь жди, когда выйдешь наружу с пометом.

– Но зато никто другой правды не скажет, – говорит король. – Так как теперь леди Лайл?

– Плачет.

– Есть о чем. Бедный мой дядюшка. – Пауза. – Отправьте туда моих врачей.

Он с облегчением кланяется:

– Лорд Лайл будет перед вами в долгу.

Генрих говорит:

– Я хочу знать, что у нее внутри. Некоторые женщины носят в себе мертвую плоть, это называется крот, он не живой и не может родиться. Но иногда он вываливается, и видно, что у него черты ребенка-уродца, волосы там или зубы.

Король смотрит на фреску, написанную Гансом, и ничего не говорит. Не дело монарху благодарить простого живописца. Однако он расцветает – раздается вширь и ввысь.

Королева стоит рядом, и король кладет руку ей на живот, будто проверяя, что там. За последние дни он делал это снова и снова; она всякий раз замирает, гадая, в чем дело. По совету брата, фрейлин и врачей новости из Кале от нее скрыли. Джейн научилась не пятиться, а стоять ровно, с безмятежным лицом, словно мраморная Мадонна. Если сейчас она немного сжимается и отводит глаза, то не от мужа, а от короля на стене, от его упертого в бок кулака, от руки на рукояти кинжала, от грозного взгляда, от расставленных ног и мускулистых икр, от его усыпанного самоцветами гульфика с бантом наверху.

Джейн видит себя в алом и светло-коричневом, ее нарисованные глаза смотрят за пределы рамы. За ней королевская матушка в старомодном чепце с длинными полосами ткани по бокам. А на алтарь с хвалами его сыну опирается бледный захватчик, пронесший свои знамена от моря к алтарю Святого Павла, узколицый, узкоплечий, теребящий одежду; его рука полускрыта горностаевой опушкой широкого рукава. Сын, стоящий перед ним, кажется в четыре раза шире; он мог бы затолкать себе под дублет и отца, и мать, мог бы заглотить их целиком.

– Клянусь всеми святыми, вы были правы, – шепчет Ганс, – когда сказали развернуть его лицом к нам. – Собственное творение как будто приводит художника в трепет. – Матерь Божия. Такое чувство, будто он сейчас выпрыгнет из рамы и растопчет тебя.

– Жаль, Франциск этого не видит, – говорит король собравшимся. – Или император. Или шотландский король.

– Можно сделать копии, ваше величество, – смиренно произносит Ганс.

Зеркала его живого образа: еще больше, еще выразительнее.

– Идем, Джейн. – Генрих отрывает взгляд от фрески. – Здесь наши дела закончены. Пора уезжать из города.

Словно простой крестьянин, король берет жену под руку и целует в губы. Моя разлюбезная, я в Ишер, ты в Хэмптон-корт. Мне забавы, тебе мученья, но еще не сейчас.

Август. Леди Мария попросила себе борзую – хочет охотиться вместе с королем и его спутниками. Так что он приводит ей собаку: чисто белую, стройноногую, с маленькой гордой головкой, в ошейнике из сплетенной зеленой и белой кожи. Он сам, его племянник Ричард, его сын Грегори – будущий счастливый муж, и Эдвард Сеймур, лорд Бошан, будущий счастливый шурин. Их сопровождают Дик Персер, псарь, молодой Мэтью в кромвелевской ливрее и еще десятка два слуг.

Лорд Бошан смотрит на Мэтью и хмурится:

– Ты же вроде служил у меня в Вулфхолле?

– Да, сэр. Но я отправился искать счастья и нашел его.

– Моя вина, – говорит он. – Я вытащил мальчика из его сельской простоты.

– Сельская мышь в гостях у городской крысы. – Дик Персер толкает Мэтью в спину.

– Прекратите дурачиться, – одергивает он. – Сделайте серьезные лица. Сюда идет сын Норфолка.

Яркий солнечный день, молодой лорд в оранжевом атласе. Суррей идет к ним, длинные ноги вихляют, глаза скошены, руки рассекают воздух, будто он отмахивается от облака комаров; при дворе роятся слухи про его отца, и все они жалят.

– Сеймур! – кричит молодой лорд.

Я заговорю первым, думает он, образец учтивости:

– Милорд, вижу, вы покинули Кеннингхолл…

– Вы не ошиблись, – говорит Суррей.

– …и осчастливили своим присутствием двор.

Суррей наступает на них. Норфолк прав, думает он, молодой человек выглядит нездоровым: лицо осунулось, щеки запали.

– У меня дело к лорду Бошану. С вами мне обсуждать нечего.

Эдвард Сеймур говорит:

– Суррей, стойте, где стоите.

– Либо сделайте шаг назад, – добавляет Ричард Кромвель. – Искренне вам советую.

– Я остановлюсь где захочу, – говорит Суррей. – Не указывайте, где мне останавливаться.

– Вооружен, как мужчина, – замечает Ричард, – а говорит, как трехлетний ребенок.

Суррей все же делает шаг назад, как будто хочет лучше их видеть: слуг в серых ливреях, Грегори, Ричарда и Сеймура в павлиньих шелках и лорда Кромвеля, его дородное тело под мягкими складками темно-синего платья. Борзая отступает бочком, ворчит и скалится; Дик Персер тянет ее за поводок из опасений, что цапнет; наверное, ляжка Суррея очень аппетитна, молодое мясцо под пламенеющим шелком. Суррей указывает пальцем на него, хранителя малой королевской печати:

– Сеймур, вы так влюблены в деньги этого мужлана, что готовы вывалять семейное имя в грязи? Когда мне рассказали, кто женится, я не поверил своим ушам. Такого я не ждал даже от вас.

– Он про меня, – говорит Грегори. – Это я женюсь.

– Про вас, про вас, недомерок подзаборный. – Суррей дергается, длинное тело блестит, словно гадючье. – Какой бес дернул вас отдать сестру этим стригалям, этим овцепасам… я вас спрашиваю, что за поношение вашему фамильному гербу, имени покойного Отреда, столь достойного мужа…

– Отред умер, – говорит Грегори. – Умер и похоронен со всеми своими достоинствами.

– Он вас видит! – визжит Суррей.

– А я вижу вас, выродок несчастный. – Ричард Кромвель делает шаг вперед. Суррея не трогает, но пригвождает взглядом.

Он, лорд Кромвель, хлопает себя по груди; там кинжал, однако здесь нельзя обнажать оружие. Лицо Суррея перекошено злобой.

– Суррей, вы не в себе, – говорит он и за локоть тянет Ричарда назад. – Ваш батюшка сказал мне, вы до сих пор оплакиваете молодого Ричмонда, упокой Господи его душу.

– Уже год, – говорит Суррей, – как мой друг гниет в могиле в Тетфорде, а мерзавцы вроде вас по-прежнему ходят по земле. Я приехал сюда, а весь двор гудит, как мухи над навозной кучей. Два десятка мерзавцев задумали уничтожить Говардов. Их так гложет зависть, что они готовы переломать себе обе ноги, чтобы сгубить нас.

– Вы сами себя погубите, если не сдадите назад, – говорит Ричард.

– Мой отец мог бы стать королем севера. Все великие семейства его поддерживают. Однако он засвидетельствовал свою верность. Он отказался от всех предложений переметнуться…

– Правда? – спрашивает Эдвард. – И кто же ему это предлагал?

– И какова награда? Разве он не заслужил больше наград, чем все остальные подданные? А вместо этого мы, люди благородного рождения, должны стоять и смотреть, как подлецы отнимают имения у тех, кто владел ими спокон веков, и намерены смешать свое семя с лучшей кровью этой земли. Как король терпит подле себя воров и мошенников? Вышвыривает из совета родовитых людей…

Он берет Суррея за плечо, но тот отбрасывает его руку:

– Кромвель, вы задумали извести всех дворян. Вы будете рубить нам головы, пока в Англии не останется только подлая кровь, и тогда вы станете править единовластно.

– Это моя ссора. – Эдвард Сеймур делает шаг вперед и кладет руку воина на оранжевый атлас и серебряную бахрому.

Суррей, рванувшись вперед, хватается за кинжал. Собака испуганно лает. Мэтью кричит:

– Спрячь оружие, Оглобля!

Лорд – хранитель печати рычит:

– Живо все опустили руки!

Они испуганно подчиняются, однако Суррей замахивается, Мэтью выставляет ладонь и в следующий миг приваливается к хозяину. На плиты брызжет алая кровь.

Суррей смотрит в ужасе. На лице пот мешается со слезами. Ричард выдергивает кинжал у него из руки: это было все равно что ребенка обезоружить, скажет он позже. Ему запомнится, какие были у Суррея пальцы: холодные, синие, безвольные.

Мэтью уже выпрямился и яростно сосет рану на ладони. Борзая облизывает плиты: подлая кровь.

– Царапина, – говорит Мэтью, но по подбородку у него течет алая струйка.

Грегори достает носовой платок:

– Держи.

Появился встревоженный Калпепер, по галерее и со стороны кордегардии бегут другие джентльмены.

– Сухожилие цело? – спрашивает Ричард.

– Калпепер, бегите за врачом, – распоряжается Грегори.

Среди гвалта он отмечает, как спокоен его сын.

Эдвард говорит:

– Еще дюйм, Суррей, и вы рассекли бы ему вену. Юноше, не сделавшему вам никакого зла.

– Ну, Мэтью назвал его Оглоблей, – вставляет Грегори. – И я тоже называю.

Суррей трет лицо и в ярости смотрит на Грегори:

– Встретимся с вами в полях, Кромвель… хотя нет, я не стану с вами драться, вы мне не ровня. Найдите дворянина, который выступит за вас, если сумеете, и я его проткну, а вы приходите забирайте труп.

– Никого вы не проткнете, – говорит Ричард. – Даже собственный обед. Вы и в носу поковырять не сможете, ведь у вас не будет правой руки.

– Что? – спрашивает Суррей.

Эдвард говорит:

– При дворе запрещено проливать кровь. Любое такое действие – угроза королю.

– Его здесь нет, – отвечает Суррей, как дурак.

– Однако здесь королева, – говорит Ричард, – с ребенком в утробе. И королевская дочь-девица.

Он произносит спокойно и строго:

– Милорды, джентльмены, вы все свидетели. Был нанесен один удар, и нанес его милорд Суррей.

– Суррей, вы знаете, какова кара, – говорит Эдвард.

Собака усердно вылизывает плиты у их ног. Суррей разглядывает свою правую руку, держа ее перед лицом; она безвольно поникла, как будто уже ему не принадлежит.

– Я не хотел его ранить, только напугать. И он ведь не сильно пострадал?

Мэтью начинает соглашаться, однако Суррей поворачивается к нему:

– Мэтью… тебя так зовут? Я уверен, что знаю тебя под другим именем.

Без сомнения, думает он. Вы видели его в каком-то неблагонадежном доме, где Мэтью подавал на стол или таскал уголь, выполнял белую работу или черную ради безопасности королевства.

Ричард говорит:

– Даже будь у него столько имен, сколько у евреев для Бога, это бы ничего не изменило. Вы причинили ущерб не слуге, а королевской законности.

Суррей тянется к кошельку:

– Я заплачу слуге возмещение.

– Предложите это возмещение королю. – Эдвард так суров, будто уже председательствует в суде. – Ваш отец придет в ужас, когда услышит о случившемся. Он знает, какое положено наказание, а вы, Говарды, всегда говорите, что старые обычаи следует блюсти.

Для наказания требуется десять человек. Старший костоправ со своими инструментами, старший по дровяному двору с плахой и деревянным молотом. Главный повар – он приносит мясницкий нож; старший кладовщик, знающий, как разделывать мясо, старший коваль с железом, чтобы прижечь рану, йомен из свечного хранилища с вощеной тканью, йомен из буфетной с миской углей – калить железо, и миской воды – охлаждать, старший виночерпий с вином и элем, старший хранитель столового белья с тазом и полотенцами. И главный птичник с петухом. Ноги у птицы связаны, она бьется и кричит, когда ее кладут на плаху и отсекают ей голову.

После жертвоприношения птицы виновному приказывают оголить и опустить на плаху правую руку. Мясник приставляет нож к суставу. Читают молитву. Затем кисть, способную держать меч, отсекают, рану прижигают, а бесчувственного преступника заматывают в ткань и уносят прочь.

Он, как и обещал, на два дня освобождает себя от дел: первого августа оставляет короля в саннихиллском охотничьем доме и приезжает в Мортлейк второго, накануне свадьбы, чтобы пятого вновь быть с королем в Виндзоре. Церемония скромная, они не гонятся за знатью, но на жениха и невесту светит солнце, и гости веселятся от души.

– Где Зовите-меня? – спрашивает Грегори.

Ему приходится отвести сына в сторону.

– Дома. Малютка его умер.

– Господи помилуй. Король знает?

Он думает: Грегори придворный, таким я его сделал. При самом грустном известии первая мысль – о короле.

Он говорит:

– Незачем сообщать королю. Монарх обычно не спрашивает о наших сыновьях и дочерях. – (Например, не упоминал Женнеке, хотя наверняка от кого-нибудь о ней слышал.) – Вряд ли он знает, сколько у Ризли детей, и не дело, если про Уильяма он услышит первый раз в связи с его смертью.

Они в Мортлейке; Кромвели празднуют в своих родных краях. Что сказал бы Уолтер, узнай он, что его внук стал свояком королю? Хотя именно Уолтер всегда утверждал, будто Кромвели не простого рода. Обещал документы показать, потом сказал, их крысы съели. Уолтер говорил, твоя мать из хорошей семьи, стратфордширской, дербиширской, откуда-то с севера; они не нищие. Это, может, и правда. Однако те незнакомые люди, что пишут ему,

набиваются в родню – что бы они сказали, приди он к ним в детстве? Небось спустили бы его с лестницы. Оторвали бы его пальцы от железной решетки своих ворот.

Грегори говорит:

– Суррей арестован по тяжкому обвинению. Может быть, король его освободит в качестве свадебного подарка мне?

– Три возражения, – говорит он. – Во-первых, я надеюсь, король подарит тебе аббатство. Во-вторых, оскорбленная сторона не ты, а корона, это дело не личное. И в-третьих, мне казалось, ты ненавидишь Суррея.

– Нет, это он меня ненавидит, – отвечает Грегори. – Хотя ведь я не недомерок, верно?

– Ни в коей мере, – говорит он. – Ты счастлив? Вы с Бесс вроде ничуть друг друга не робеете.

– Да, я счастлив, – отвечает сын. – Мы оба счастливы. Так что, пожалуйста, не глядите на нее. Разговаривайте с ней в присутствии других и не пишите ей. Я об этом прошу. Я никогда не просил многого.

У него падает сердце. Значит, Бесс ему рассказала.

– Грегори, я себя не оправдываю. Мне следовало выражаться яснее. – Он смотрит на сына и видит, что этих слов недостаточно. – Когда она думала, что жених я, то согласилась только из чувства долга, потому что уж точно не предпочла бы меня молодому красавцу, а что до путаницы, так ты сам знаешь, какой Сеймур торопыга. Один джентльмен недослушал другого, такое бывает.

– Бывает и не такое. Но я этого не допущу.

У него вспыхивают щеки.

– Я человек чести.

Грегори может сказать: какой чести? Той, что в Патни?

– Я хочу сказать, – добавляет он, – я человек слова.

– Столько слов, – говорит Грегори. – Столько слов, клятв и дел. Когда в грядущем люди станут об этом читать, они усомнятся, что такой человек, как лорд Кромвель, и впрямь ходил по земле. Вы все делаете. Всем владеете. Вы вообще всё. Так что прошу вас, уступите мне дюйм вашей земли, отец, и оставьте мою жену мне.

Грегори уходит, но потом оборачивается:

– Бесс говорит, что не могла съесть завтрак.

– Для нее это большой день, много волнений.

– Она говорит, это значит, она понесла. Так у нее было раньше, с обоими детьми.

– Поздравляю, Грегори. Ты времени даром не терял.

Ему хочется встать и обнять сына, но, возможно, не стоит. До сегодняшнего дня они не сказали друг другу ни одного резкого слова, а сказанное сейчас не столько резко, сколько печально. Печально, что сын дурно думает об отце, будто тот – чужой, от которого неизвестно чего ждать, прохожий, который может ободрить тебя приветливым словом, а может ограбить, убить и бросить в канаву.

– Грегори, я рад от всего сердца. Не говори Бесс, что я знаю, она может обидеться.

– Еще что-нибудь? – спрашивает Грегори.

– Да. До зимы никому знать не обязательно. А пока это еще одно, чего не следует говорить королю.

Генрих подумает, почему для некоторых все так просто? Почему дети настолько дешевы, что младенцев подбрасывают к порогу, откуда их потом собирают и растят на приходские средства, а король Англии вымаливает у Бога одного-единственного сына? Почему другим все настолько легко, что жаркий поцелуй в садовой беседке ведет к купели и крестильной рубашечке, а наше законное супружество еще не принесло желанного плода?

– И еще, – говорит он, – нам не нужны разговоры, что сын Кромвеля не дотерпел до церковного благословения брака.

– Так и есть, – отвечает Грегори. – Я в нем не нуждался. В гробу я видел церковное благословение. Что священники знают о браке? Король запрещает им жениться, вот пусть и не лезут в нашу семейную жизнь. Они тут все равно что безногие на состязании по бегу.

– Не спорю. Хотя предпочел бы, чтобы у них было по две ноги.

– Ах да, вы дружите с архиепископом, – говорит Грегори. – Любопытно, что будет Кранмер делать в раю, где ни женятся, ни выходят замуж. Ему нечем будет себя занять.

– Не говори про жену Кранмера.

– Знаю, – отвечает Грегори. – Это отправляется в огромный сундук тайн, на крышке которого сидит великан-людоед.

Ребенок родится в конце весны, думает он. Я стану дедом. Если мы протянем эту зиму.

– Иди к молодой жене, – говорит он. – Ты слишком надолго ее оставил. – И тут же добавляет: – Грегори, ты хозяин своего дома, глава семьи, и никто в этом не усомнится.

А я – скиталец Одиссей, просоленный, обветренный, ищу в тумане дорогу к своему дому, полному крикливыми чужаками. Когда я вижу впереди простое человеческое счастье, горизонт кренится, и мне предстает что-то иное. А теперь я, как дряхлый старикашка, бурчу: «Если мы протянем эту зиму». Как будто я дядя Норфолк и ною, что сырость меня доконает.

Для следующего дела он берет с собой Фицуильяма; они скачут вдогонку Генриху и застают того скучающим под крышей в дождливый день. Даже сидя, король выглядит почти точь-в-точь как на фреске в Уайтхолле – не так богато разодет, но взгляд такой же грозный. И все равно он им рад:

– Томас! Я думал, вы будете охотиться со мной. Ждал вас. А теперь вот погода испортилась.

Он открывает рот, чтобы сказать королю о кипе бумаг у себя дома. Генрих говорит:

– Что такое мы слышим, будто император и Франциск перестали воевать? Неужели это правда?

– На следующей неделе снова начнут, будьте покойны, – заверяет Фицуильям. – Однако, ваше величество, мы здесь по поводу молодого Суррея. Вы же не можете отрубить ему руку, сами понимаете.

Король говорит:

– Полагаю, Томас Говард вам написал? Молил о снисхождении?

Так и есть. Можно было видеть пятна, проступающие сквозь бумагу: пот, слезы, желчь. Добрый лорд Кромвель, удружите мне, потрудитесь для Томаса Говарда, вашего пожизненного должника, ежедневно возносящего за вас молитвы. Пусть моего дурака-сына накажут как угодно, только не увечат, Говарду невозможно жить без руки, держащей меч…

– Норфолк думает, вы мной вертите, – говорит король. – Что вы скажете, то и сделаю. Думает, я у вас на побегушках, милорд хранитель печати.

Он не может придумать ответа. По крайней мере, безопасного.

Генрих говорит:

– Почему мне нельзя наказать Суррея по обычаю? Послушаем ваши доводы.

Потому что, отвечает Фицуильям. Потому что изувечить дворянина почти что хуже, чем убить. Это попахивает варварством или, в лучшем случае, чужими обычаями.

Он, Томас Кромвель, подхватывает: потому что Суррей молод и опыт умерит его гордыню. Потому что ваше величество мудры, дальновидны и милосердны.

– Милосерден, а не мягкосердечен. – Генрих сердито ерзает в кресле. – Я знаю Говардов. Они ждут наград, когда должны ждать взысканий. Я сохранил

Правдивому Тому жизнь, хотя мог отрубить ему голову за вероломное поведение с моей племянницей.

Он говорит:

– Мой совет, сэр, подержите Суррея в страхе. Такой урок он не забудет. И останется у вас в долгу.

– Да, но вы всегда так говорите, Кромвель. Мол, пощадите их, они станут лучше. Три года назад жена Эдварда Куртенэ поддержала лжепророчицу Бартон, и вы сказали, простите ее, она всего лишь слабая женщина. А теперь она наверняка вновь строит козни.

Фицуильям говорит:

– Я уверен, что жена Куртенэ не замешана в нынешних беспорядках. А если замешана, Кромвель это скоро выяснит, у него в ее доме осведомительница.

– А семейство Полей, которое я поднял из нищеты и бесчестья? Чем они мне отплатили? Реджинальд разъезжает по Европе, называя меня Антихристом.

Он говорит:

– Возможно, нужна другая политика. Однако умоляю ваше величество, не надо для начала отрубать руку Суррею.

Фиц добавляет:

– Прошу, не проливайте без надобности древнюю кровь.

– Древнюю кровь? – смеется король. – Разве первый Говард не был стряпчим в Линне?

– Да, ваше величество, был.

Два с половиной века назад – и что это, если не мгновение в стране, где над деревьями торчат головы великанов?

Он вспоминает их: Болстера, Вада, Гроха. Смотрит на Генриха. Тот готов сдаться и пощадить мальчишку, но Суррей должен об этом знать. Король как хищный сорокопут, что подманивает безобидных птах, подражая их пению, а затем насаживает жертву на шип и съедает на досуге. Он говорит:

– Если исключить ваше величество, все мы, копни глубже в прошлое, были стряпчими. В Линне или где-нибудь еще.

– А еще раньше мы все были дикими зверями. – Генрих улыбается, но улыбка быстро меркнет. – Отправьте мальчишку в Виндзор. Скажите, ему запрещено покидать пределы замка. Может гулять в парке, но предупредите, что за ним будут следить. Когда мы приедем туда, он не должен к нам приближаться, пока мы сами не разрешим. – Он смотрит в пространство. – Милорд Кромвель, доброе дело примирить великие семейства. Но вы же не думаете, что Норфолк когда-нибудь станет вашим другом?

– Не думаю, – отвечает он. – И о милосердии прошу не для того, чтобы ему угодить.

– Ясно. Не для того, чтобы ему угодить. Однако, мне сказали, вы говорили с ним о большом приорате в Льюисе? Говардовские края и ваши, если не ошибаюсь?

Король совещался с Ричардом Ричем, спрашивал, какой джентльмен хочет какое аббатство и почему. Лайл, например, пытался заполучить Болье, Саутуик и Уэверли, прежде чем согласился на более скромный монастырь в Девоне. Он, Кромвель, покупает земли в Сассексе, где намерен теснить Говардов, подбираться к их границам.

– Я подумал, когда аббатство Льюис будут сносить, если ваше величество не возражает, дом приора можно будет перестроить для моего сына.

Королевский гнев улегся. Он вспомнил, что должен быть Генрихом Великодушным.

– Грегори и его жена могут ждать от меня всех возможных милостей. Только, милорд, в Льюисе ведь очень большая церковь, на ее снос уйдет несколько месяцев?

– Я не буду ее сносить, я ее взорву.

– Правда? – Король смотрит уважительно.

– Я знаю одного итальянца, он считает, это возможно.

– Приходите ко мне после ужина, принесите планы. – Генрих оживился, как ребенок.

Капитул ордена Подвязки собирается у короля в Виндзоре. Генрих проглядывает список и объявляет:

– Одно место мы оставляем для принца, который, Божьей милостью, скоро у нас родится. Второе мы отдаем лорду – хранителю печати.

Приглушенный то ли ропот, то ли гул. Джентльмены гудят, но не находят в себе сил сразу зааплодировать. Они знали, что так будет, и все равно в ужасе. Сын пивовара. Такое надо переварить.

Он преклоняет колено перед королем и рассыпается в красноречивых благодарностях. Генрих надевает на него цепь, тридцать унций золотых звеньев-узлов и эмалевых роз. На цепи висит знак ордена Подвязки, изображение святого Георгия, золотой всадник на золотом коне.

– Встаньте, милорд, – шепчет король.

Недостает лишь дракона; тот не убит, думает он, а лежит, свернувшись, на припеке. Сестра Кэт рассказывала ему про дракона, который съедал по семь женщин каждую субботу, даже Великим постом.

Генрих говорит:

– Вы вступили в священное братство. Все, что нужно знать о предстоящих ритуалах, вам расскажет милорд Эксетер. Либо Николас Кэрью или кто-нибудь еще из моих достославнейших собратьев. Все они любезны моему сердцу, как и вы, дорогой Томас. Желаю вам прожить долгие годы в вашем новом рыцарском достоинстве.

Рыцари выражают одобрение ревом и грохотом. Генри Куртенэ, маркиз Эксетерский, присоединяется к остальным с опозданием. Церемония состоится в конце августа. В Европе по-прежнему мир. Король говорит, Писание можно дать народу, новый перевод годится; епископы ставят подписи на разрешениях и отправляют их печатнику.

Накануне церемонии он едет в Виндзор, где каноники встречают его приветливо, однако он видит, что они смущаются, боятся его обидеть. Милорд, мягко советует один, сегодня вечером вам нужно подумать о своих грехах и, если захотите, исповедаться. Завтра вы должны быть безупречны, ибо завтра вы вступите в орден, в котором, соберись всего его члены, вы бы оказались в одной процессии с королями Франции и Шотландии и даже с самим императором Священной Римской империи Карлом.

Знаете ли вы, говорит ему служитель гардеробной, что король по-прежнему хранит здесь орденские одежды юного Ричмонда? Они висят на прежнем месте. Если бы тот спустился с небес, то мог бы шагнуть прямиком в них.

В доме одного из каноников стену завивает написанная листва с тюдоровскими розами и огромными гранатами. Это единственное дозволенное изображение этих плодов, объясняет каноник, а почему дозволенное? Потому что, видите, здесь над дверью нарисован Артур, принц Уэльский, когда тот женился на испанской принцессе, а вот и она сама, на нее указывает колесо, символ мученичества ее святой покровительницы Екатерины. И мы, каноники, всегда говорили, что это прекрасная живопись, и мы можем ее сохранять без страха, ведь наш король, хоть и отрицает, что был женат на принцессе Арагонской, никогда не отрицал, что она была женой его брата.

– Но все это было очень давно, – замечает он.

– Вы так думаете? – удивляется каноник. – А мне кажется, не так уж и давно.

Здесь с незапамятных времен располагалась певческая школа. Высматривая изображение старой королевы, он слышит, как дети разучивают мотет, и звук выводит его на яркое солнце под древними стенами. Он видел их в классе, гнездо певчих птичек, тесно прижатых тельцами, их пение взмывало над обстоятельствами их жизни; что с ними будет, когда голоса начнут ломаться, придется ли им жить в бедности? Они станут учителями музыки, будут учить игре на верджинеле балбесов с толстыми пальцами и девчонок-ломак, тянущих шею и ловящих свое отражение в стекле. Они будут петь в воскресенье в церкви, быть может, стихи из новой Библии. У него такие же дети в собственном доме, хоть не столь вымуштрованные, как у короля. В певческой

школе ноты нарисованы на стене, чтобы весь класс зубрил их одновременно. Когда дети выучатся, ноты замажут побелкой. Однако песни не исчезнут. Они уйдут глубоко в штукатурку, навсегда поселятся в стене.

Завтра все должно пройти без заминки, поэтому лорд Эксетер и Кэрью проводят с ним репетицию; Фицуильям тоже здесь, ободряет его своим присутствием. Все лежит под рукой: его лазурная мантия, шляпа с белым плюмажем. Он выставил королю счет на восемнадцать ярдов темно-красного бархата и девять ярдов белой тафты. Все готово и для украшения его почетного места: шлем, подушка, знамя, как предписано уставом. Рыцари прошествуют в часовню Святого Георгия, где в зале Ордена с него снимут плащ, облачат его в сюрко и вручат меч. В сопровождении двух рыцарей он с непокрытой головой пройдет к хору, положит руку на Библию и принесет клятву. Дальше, объясняют ему, вы подниметесь на почетное место, и герольд Подвязки – он будет стоять вот здесь, запомните, пожалуйста, – передаст мантию сопровождающим рыцарям, и те опустят ее вам на плечи. Затем они возьмут цепь и – приготовьтесь – наденут ее на вас. После этого будет прочитано благословение, молитва святому Георгию, дабы тот направлял вас в бедах и благополучии сего мира.

Вот что нам нужно, думает он: помощь в благополучии. Мы можем собраться с силами, чтобы преодолеть семь лет тощих, но, когда придут тучные годы, будем ли мы готовы? Мы не умеем жить хорошо.

Я упустил Женнеке, думает он. Получил ее и не удержал. Мне вручили драгоценный сосуд, а я от неожиданности выронил его из рук. Прошлое не подготовило меня к такому дивному дару, я был целиком занят тем, что белил мою стену для грядущего.

Маркиз Эксетер спрашивает резко:

– Вы меня слушаете, милорд? Когда читают благословение, вы берете в руку книгу устава. Потом надеваете шапку. Кланяетесь алтарю. Кланяетесь королевскому трону. После чего занимаете свое место среди достославных рыцарей.

Присутствующих и отсутствующих. Живых и мертвых.

Эксетеру трудно называть его «милорд», слово застревает в аристократическом зобу. Четыре года назад, думает он, я спас тебя и твою жену Гертруду, а теперь король подозревает меня в попустительстве, считает, я ищу вашей дружбы. Вы с лордом Монтегю зашли слишком далеко. Еще шаг – и вы увидите, правда ли я к вам благоволю.

В ту ночь он пораньше читает молитвы и укладывается спать. Я не болен, говорит он Кристофу, не пугайся. Ему нужно пространство – наблюдать, как будущее принимает очертания, пока туман стелется по реке и парку, скрадывая древние деревья; там есть соловьи, но больше мы их в этом году не услышим. Завтра все глаза будут устремлены не на то рыцарское место, которое займет он, а на пустое, где еще нерожденный принц потянется к книге устава и склонит незрячую головку в плодной оболочке. Почему будущее ощущается так похоже на прошлое, его склизкое и холодное касание, шорох

брачных простыней или савана, потрескивание огня в запертой комнате? Как туман от дыхания на стекле, как отзвук соловьиной песни, как еле ощутимый аромат ладана, как пар, как вода, как топоток ног и смех в темноте… он со злостью убеждает себя спать. Однако он устал от попыток проснуться в другом настроении. В сказках некоторые люди, если увидеть их на рассвете либо закате на влажной открытой местности, колеблются в воздухе, словно духи, или выпускают кожистые крылья. Он не из этих волшебников. Не змея, способная сменить кожу. Он – то, что отражает зеркало, заново собирая его каждый день: славный Том-весельчак из Патни. Или вы можете предложить что-нибудь получше?

Наутро перед церемонией он просыпается рано. Думает, надо лежать недвижно, как надгробное изваяние, и ждать ритуала. Вместо этого он встает. Зажигает свечу, потом она становится не нужна; он открывает ставни и впускает бледный рассвет. Рыцарь ордена Подвязки начинает день, как любой другой человек: мочится, потягивается, трет щетину на подбородке. Если слышишь суету слуг, трудно спать после восхода. Звуки умолкают лишь в самые темные часы; замок высится над городом, и телеги, доставляющие провиант, постоянно грохочут по булыжнику. Когда идешь по Виндзору, эпохи сталкиваются, как будто монархи в доспехах налетают друг на друга; стена, выстроенная одним из Генрихов, утыкается в стену, которую воздвиг один из Эдуардов. Все эти святые короли давно обратились в прах; время рушит их труды, словно осадные машины, и, спустившись на ступеньку, идешь по другому уровню прошлого.

Ему хочется пройтись, быть может, обменяться пожеланием доброго утра с живым человеком, который рассеет его сны. Кухни и кладовые просыпаются, готовясь принять доставленный провиант. Люди трут заспанные глаза, движутся вслепую, будто плывут по серому морю; никто не говорит, все только моргают и сторонятся его, словно он скользит через их сны или наоборот. Наконец он слышит на лестнице решительные шаги и устремляется за ними, вниз, вниз, до помещения с мощеным полом, через которое идет глубокая сточная канава. Вода в канаве бурая и журчит, как ручей.

Ребенком в Ламбете он видел, как рубят привезенные туши, говяжьи, свиные и бараньи. Он научился не вздрагивать, когда рядом свистит острая сталь. Научился ценить людей, уверенно держащих мясницкий нож, вонзающих вертел в податливое мясо, раздирающих крюками суставы. Он видел, как туши расчленяются и становятся едой, как кухонное начальство сгребает положенные ему части, шею и корейку, подбедерки и голяшки, свиные ножки и требуху, говяжью голову, баранье сердце. Он научился выметать кровавые опилки, отмывать от плит ошметки легких и печенки, сгустки запекшейся крови. Научился делать это, не чувствуя рвотных позывов, спокойно, отрешенно. Рубят туши на рассвете или на закате, свет один и тот же, сумеречно-серый; мясники проходят мимо него, не видя, смотрят прямо перед собой, взгромоздив свою ношу на плечи.

Он отступает к стене, чтобы не мешаться под ногами. Мясники не обращают на него внимания – видимо, приняли в полутьме за учетчика. Они идут и идут, волоча на себе туши размером с человеческие; идут, опустив голову, глядя в пол из-под капюшона, безмолвные, неостановимые, давят башмаками кровавые ошметки, вниз по винтовой лестнице и, на звук журчащей воды, во тьму.

III

Преломлено о тело

Лондон, осень 1537 г.

Что есть жизнь женщины? Не думайте, будто слабый пол не сражается. Спальня – ристалище, где женщина показывает свою доблесть, комната, где она рожает, – ее поле брани.

Она знает, что может не выйти живой из этой кровавой битвы. Перед родами разумная женщина улаживает свои дела. Если она умрет, ее оплачут и забудут. Если она выживет, то должна будет прятать свои раны. Это тайна, которую ее сестры обсуждают вполголоса. Это Евин грех рвет ее изнутри. Мы благословляем старого солдата и даем ему милостыню, жалеем его, слепого или безногого, но не славим женщин, изувеченных в родовых схватках. Если она искалечена настолько, что не может больше рожать, мы жалеем ее мужа.

Долгими летними днями, до того как придет ее срок, Джейн прохаживается по личному саду королевы. Все следы Анны Болейн, занимавшей прежде эти покои, уничтожены. Новая галерея с видом на реку соединила комнаты Джейн с королевской детской. Ее беременность совсем не такая, как у леди Лайл. Ребенок в ней пинается и ворочается, почти слышно, как он сетует: я здесь зажат у матери под юбкой, когда снаружи деревья стоят зеленые и живые гуляют по траве.

Когда приходит ее время, женщина отдаст состояние за нитку из пояса Богородицы. В схватках она прикалывает к рубахе молитвы, испытанные ее бабками и прабабками. Когда рубаха замарается кровью, повитуха приложит пергамент к животу роженицы или привяжет ей на запястье. Роженица будет пить воду из кружки, над которой ее друзья прочли литанию святым. Матерь Божия поможет ей, если не поможет повитуха. Ева нас погубила, но Мария своими радостями и скорбями ведет нас к спасению; жемчужина бесценная, роза без шипов.

Когда Мария родила своего и нашего Спасителя, страдала ли она, как другие матери? Богословы расходятся во мнениях, но женщины считают, что страдала. Они думают, и она тоже переживала эти мучительные часы. В рождестве и по рождестве дева, она стала источником, из которого пьет весь мир. Богородица защищает от чумы, учит жестокосердых плакать и сострадать, жалеет моряка, смытого соленой волной, спасает от наказания даже воров и блудников. Она является нам за час до смерти и предупреждает, чтобы мы успели помолиться.

Однако по всей Англии мадоннам приходит конец. Богородицу Ипсвичскую надо сбросить на землю. Богородицу Уолсингемскую надо увезти на телеге. С Богородицы Вустерской сняли мантию и серебряные туфельки. Фиалы с ее молоком разбили – в них оказался мел. И теперь мы знаем, что когда она

двигала глазами и проливала кровавые слезы, то была кровь животных, а глаза двигались на веревочках.

Есть большая книга, в которой изложено, что делать, когда рожает королева. Книга эта написана рукою писца, но пометы на полях оставила Маргарита Бофорт, матушка старого короля. Она была при дворе короля Эдуарда, присутствовала при рождении его десятерых детей и твердо считала, что Тюдоры должны блюсти тот же порядок.

– Ох уж эта святая карга, – говорит Генрих. – В детстве я боялся ее до дрожи.

– И все же, сэр, мы должны выполнить ее предписания. Дамы не любят перемен.

Его новая дочь Бесс рассказывает ему обо всем, что происходит в покоях королевы. Грегори не хотелось расставаться с молодой женой, однако это время особенное, к тому же он уже осуществил мечту каждого молодожена – заделал ей ребенка. У Эдварда Сеймура лицо заостряется с каждым днем – сказывается напряжение. Он уезжает охотиться в Вулфхолл и пишет оттуда: дичи в этот год на удивление много, жаль, вы не со мной, дорогой Кромвель.

Лето выдалось тревожное. Из страха перед чумой двор королевы сократили. Король живет отдельно в Ишере, тоже с уменьшенной свитой. Гонец по имени Болд, ежедневно сновавший между Рейфом и Кромвелями, слег с неизвестной болезнью и должен оставаться в карантине, пока не поправится или не умрет. Рейф давал указания Болду лицом к лицу, так что король велел и ему удалиться от двора, но скоро об этом забывает и спрашивает раздраженно: «Где молодой Сэдлер?»

Бога ради, пишет Сэдлер, не дайте королю меня забыть, а не то на мое место проберется какой-нибудь соперник. Вы растили и ободряли меня с младых ногтей, не допустите, чтобы я сейчас потерял все.

В эту пору, когда по утрам стелется холодный туман, король не желает обходиться без Кромвеля. Приезжайте и будьте подле меня, говорит Генрих. Проводите со мной дни. Может быть, только, ради приличия, ночуйте под другой крышей. Он подчиняется. Не забывает каждый день упоминать молодого Сэдлера, как тот горюет без света королевского лица. Пишет Эдварду, что визит в Вулфхолл придется отложить. Король зовет его Томом Кромвелем. Зовет Сухарем. Он идет по Ишерскому саду, обнимая советника за плечи, и говорит:

– Я надеюсь на этого ребенка. Будь у меня, как в сказке, три желания, я бы пожелал принца, милого и славного, и пожелал бы себе дожить до того, чтобы направлять его в пору возмужания. Вы думаете дожить до старости, Кромвель?

– Не знаю, – искренне отвечает он. – В Италии я подцепил лихорадку, и, говорят, она ослабляет сердце.

– И вы слишком много работаете, – говорит Генрих, будто не сам задает ему работу. – Если я умру прежде срока, Сухарь, вы должны…

Давайте же, думает он. Составьте документ. Назначьте меня регентом.

– Вы должны… – Генрих осекается, выдыхает в зеленый воздух. Говорит: – Такой чудесный вечер. Как бы я хотел, что бы всегда было лето!

Он думает, напишите прямо сейчас. Я схожу домой за бумагой. Приложим ее к стволу и набросаем черновик.

– Сэр? Я должен… – напоминает он.

Печатью можно будет скрепить позже.

Генрих поворачивается и смотрит на него:

– Вы должны за меня молиться.

Они ездят верхом и охотятся: Саннихилл, Истхэмпстед, Гилдфорд. Нога у короля получше, он может проехать пятнадцать миль в день. Утром до охоты Генрих слушает мессу. Вечерами настраивает лютню и поет. Шлет жене подарки в знак своей любви. Иногда вспоминает детство, умерших братьев. Потом снова веселеет, смеется и шутит, как добрый малый в кругу друзей. Поет застольную песню, которую когда-то горланил Уолтер: «Ах-ах, я даже эль пролил…»

Где Генрих мог ее слышать? В королевской версии девицу не насилуют и слова не похабные.

Шестнадцатого сентября Джейн удаляется в свои покои отдыхать и ждать. Доктор Беттс тоже ждет, однако врачей позовут, лишь когда начнутся схватки. Чем там женщины занимаются между собой, мы спрашивать не смеем. Как разъяснили наши богословы, мы не запрещаем статуи матери нашего Господа, как и направляемые через нее молитвы. Она наша посредница при небесном дворе. Только помните, что она не богиня, а человек, женщина, которая драит кастрюли, чистит овощи и загоняет скот. Застигнутая ангельской вестью, она тяжело несет непорожний живот; она измучена предстоящей дорогой, ночами, когда не знаешь, будет ли где остановиться на ночлег.

Из-за папистской девы в серебряных туфельках выступает другая, бедная, с босыми мозолистыми ногами, с запыленным смуглым лицом. В животе ее – наше спасение, и от его тяжести у нее ноет спина. Ее согревают не соболиный и горностаевый мех, а теплые бока домашнего скота, среди которого она сидит на соломе; схватки у нее начинаются в лютый ночной мороз, под небом, истыканным белыми звездами.

Двое его лучших людей, доктор Уилсон и мастер Хит, отправляются в Брюссель к предателю Полю; опытные переговорщики, они должны растолковать тому предложение короля: если он вернется в Англию и будет жить как честный подданный, его еще могут помиловать. Он, лорд – хранитель печати, не

знает, долго ли будет действовать предложение и что это такое – приступ великодушия или беззастенчивый обман. Однако он передает послам наставление, которое получил сам: не называть предателя титулом и обращаться к тому просто «мастер Поль».

Он спрашивает Вулси: «Как вам это нравится? Выскочка зовет себя кардиналом Англии?» Однако покойнику нечего ответить.

Королева рожает два дня и три ночи. На второй день торжественная процессия именитых горожан направляется в собор Святого Павла вознести за нее молитвы. Народ стоит на улице с четками. Кто-то молится на коленях, кто-то просит Бога простить короля за то, что он отрекся от нашего святейшего отца в Риме; некоторые говорят, он – Крот и детей у него не будет, а некоторые – что леди Мария законная наследница трона, потому что рождена настоящей принцессой. Самых ярых крикунов забирают дозорные. Впрочем, почти всех их выпустят еще до ночной стражи. На этой неделе не будут ни бить кнутом, ни отрезать уши.

Не все верят, что в таких случаях помогает молитва. Почему Господь пощадит одну женщину, а не другую? Однако, когда идут третьи сутки родов, что остается, кроме молитвы? Если ребенок умрет, никто не убедит короля, что это случайность. Короли подвластны судьбе, не случаю. С ними не приключаются несчастья, их настигает рок. Грегори говорит, если король останется недоволен исходом, он может снова поссориться с Богом. Может порвать собственные указы, и Библия, которая сейчас в типографии, не увидит свет.

Будь лорд – хранитель печати подле королевиной спальни, он бы расспрашивал входящих и выходящих врачей. Однако гонец Болд умер, и он не смеет являться ко двору, чтобы не занести заразу.

Он занимается монашескими пенсионами, а также пишет Уайетту, который сейчас с императором. Уайетта уличили в промахе. Он не вручил императору письма от леди Марии, в которых та расписывала свое безграничное счастье и подчеркивала, что всегда будет верной слугой отца. Странное дело, говорит Ризли, ведь Уайетт же не допускает промахов? Во всяком случае, простых.

Непонятно, как такое произошло. Однако они с Ризли прикрыли Уайетта, и Генрих ничего не знает. Нам важно, чтобы Уайетта не отозвали. Уайетт лучше любого другого разгадает намерения императора. Карл и Франциск вроде бы собрались заключить мир – нужен ли им посредник? Лучше обратиться к английскому королю, чем к папе. Нам как-то нужно в это влезть.

Вне зависимости от того, подпишут ли мирный договор, император и Франциск в этом году больше воевать не будут – скоро зима. Не будет и восстания на севере.

Хотя гидра никогда не воюет честно. Она прячется в пещерах, и убить ее можно только при свете дня.

Джейн разрешается двенадцатого октября в два часа ночи. Гонец прискакал во весь опор, и его будят известием. «Мальчик или девочка?» – спрашивает он. Ему говорят. К восьми знает уже весь Лондон. В девять в соборе Святого Павла поют Te Deum. Сегодня канун святого Эдуарда, в его честь и назовут младенца. Он составляет официальное письмо королевы, написанное так, будто она сама взяла перо и вывела: «…милостью Всевышнего… принц, зачатый в наизаконнейшем браке… радостная весть… процветание, мир и покой всего королевства…»

Покой? В Тауэре весь день палят из пушек, будто хотят продырявить облака. В каждом закоулке пиршество. Щедрые купцы из Стил-ярда допьяна поят нищих пивом. Рожки, волынки и барабаны не смолкают и после наступления темноты. Он думает, надо сказать Рейфу, пусть напечатает слова «наизаконнейший брак» большими красными буквами, особенно в тех экземплярах, которые, обмотанные шелковыми шнурами с тяжелыми печатями, отправятся к папскому двору, во Францию и к императору. «Прочесть вслух, милорд кардинал?» – спрашивает он в воздух, поскольку неизвестно, умеют ли призраки читать. Кардинал молчит, даже не хмыкнет. В пустом воздухе не ощущается никакого движения.

Все лорды королевства скачут разделить торжество. Они направляются на крестины в Хэмптон-корт, однако свиту вынуждены оставить дома. В Кингстоне и Виндзоре чума. Проезд ограничен. Даже герцог должен обходиться шестью спутниками, в число которых входят телохранители и слуги. Чужих не пускают. Возчиков разворачивают назад, едва они доставят груз, и королевскую детскую предписано мыть дважды в день.

Женщины говорят, королева уже сидит в постели. Она потеряла много крови, но глаза у нее сверкают. Она спрашивает: «Есть перепелки? Я очень проголодалась». Только легкая пища, уговаривают ее. Джейн пытается встать с кровати, нащупывает белыми ногами ковер. Нет, нет, нет, говорят женщины, укладывая ее обратно, вам надо лежать еще много дней.

Поговаривают, что король раздаст графские титулы. Что он сам станет графом Кентским либо Хэмптонским: для Честного Томаса возродят старый титул или создадут новый. В день крестин королеву выносят из личных покоев в кресле. Сами крестины по традиции еще одна церемония, в которых нельзя участвовать королю и королеве, – они поблизости, но не у купели. Я устал от этих традиций, думает он. Пора выставить их за дверь. На спуске с Шутерс-хилла традиционно грабят путников – это тоже считать похвальным обычаем?

Вечером Генрих на троне, Джейн рядом, принимают поздравления, дары и молитвы вассалов. Он, Кромвель, заносит подарки в опись и передает хранителю гардероба либо в сокровищницу либо отмечает, что такую-то золотую чашу или цепь надо отправить на монетный двор, взвесить и определить пробу. Английская знать с молитвами и свечами идет в королевскую часовню. Джейн закутали в меха и бархат; уходя с процессией, он видит, как королева отдергивает одежду от горла, будто та ее душит. Ей положили на колени молитвенник, но она в него не смотрит. Время от времени она что-нибудь говорит королю, и Генрих наклоняется, чтобы расслышать. Она переводит взгляд от блеска свечей на окно, как будто предпочла бы оказаться снаружи в осенней ночи.

Он в процессии, в жарком дыхании и аромате трав. Гертруде Куртенэ доверили честь держать младенца у купели. Ее муж, маркиз Эксетер, стоит рядом, и герцог Суффолк тоже. «Отлично, Сухарь», – говорит герцог. Он повторяет это каждому, словно вся Англия участвовала в зачатии. «Отлично, Сеймур». Маленькая леди Элизабет едет у Эдварда Сеймура на руках, держа драгоценный сосуд с миром; она оглядывается по сторонам и, когда ей что-нибудь интересно, силится привстать и пинает Сеймура в ребра. Николас Кэрью и Фрэнсис Брайан стоят у купели с церемониальными полотенцами; одноглазый Брайан подмигивает развратным зеленым глазом. Том Сеймур держит над младенцем парчовый покров, расшитый геральдическими знаками принца Уэльского. Сам принц – орешек в скорлупе, надо принять на веру, что он здесь, среди ярдов оборок и мехов. Наверное, он тяжелый, потому что Гертруда в какой-то миг чуть не падает, – Норфолк подхватывает ее под локоть и придерживает головку младенца. В движении чувствуется разом опыт и нежность. Затем Норфолк глядит на остальных, скаля в улыбке желтые зубы: господа, видите, мое изгнание позади? Рождение наследника примирило все ссоры.

Купель установлена на пьедестале. Великие мужи королевства со своими дамами почти ничего не видят; младенца заслоняет от них балдахин и спины еще более великих. Он в числе этих избранных; леди Мария, восприемница, стоит подле него. Она шепчет:

– Я всем сердцем радуюсь за отца. У меня словно гора с плеч упала. Никогда мне не было так легко.

Без сомнения, она думает, я никогда не стану королевой. Принц крепенький и, скорее всего, будет жить, а Джейн наверняка родит нам и принца Йоркского, и еще множество принцев. Мария говорит елейным голосом, и непонятно, насколько она искренна.

Он наклоняется, чтобы она расслышала его за музыкой, и говорит:

– Вы знаете, что у нас новый французский посол?

Звук труб оглушает. Мария что-то говорит, слов не слышно, мотает головой.

– Луи де Перро, сеньор де Кастильон. Как только прибудет, явится засвидетельствовать вам почтение. Он намерен снова сватать вас за герцога Орлеанского.

– Но Мендоса по-прежнему здесь! – говорит она. – Сватает меня за дома Луиша.

– Мендоса не вправе ничего решать. Ваш отец сказал ему, что он даром теряет время.

Мария отводит взгляд. Процессия перестраивается. Уже почти полночь. Следуя за свечами, они совершают обратный путь по двору и расходятся, возвращаются на свои орбиты, графы и графы, герцоги и герцоги, по комнатам, где собственные слуги уложат их в постель. Через два дня становится известно, кого король наградил. Его обошли. Эдвард Сеймур станет графом Хертфордским. Тома Сеймура возведут в рыцарское достоинство

и включат в число королевских джентльменов. Фицуильям станет графом Саутгемптоном. Кромвель останется Кромвелем.

Почему Фицуильям, в обход его? По старой дружбе, без сомнения. Фицуильям умен и рассудителен, говорит просто и по делу. Однако без писаря он все равно что Брэндон, не может дни недели написать без ошибки. Как таким тягаться с людьми вроде Гардинера, вроде Поля, наторевшими в софистике? А вот он, лорд – хранитель печати, хоть и не учился в университете, может прочитать любой текст и сделать выжимку. Вели ему сказать речь – произнесет ее экспромтом. Поручи ему составить закон, и он не оставит ни единой лазейки.

Мастер Ризли говорит:

– Вы огорчены, сэр? Если бы вас ценили по заслугам, вы были бы герцогом.

– И в конце концов, – подхватывает Ричард Рич, – доходы у вас вполне герцогские.

– Вы получили орден Подвязки, сэр, – говорит Рейф. – Разумному человеку этого должно быть довольно.

Он припоминает все последние разговоры с королем и приходит к выводу: дело в Поле. Я не убил его, как обещался, и не приволок, связанного и скулящего, к ногам Генриха. Король видит все, что делает и чего не делает министр; как судья или рьяный зритель на турнире, отмечает, когда удар пришелся мимо противника и когда копье преломлено о тело. Король наблюдает за советом, точно со сторожевой башни за началом кровавой битвы. Он дает министрам свободу, но ставит вокруг них незримую ограду своих ожиданий, колючую, как терновник. Ее не заметишь, пока не наткнешься на шипы.

Через два дня после крестин сообщают, что у королевы жар и тошнота. Доктора снуют туда-сюда, а когда они уходят, их сменяют священники. Мы думали, когда младенец родился, ожидание кончилось, но оно наступает сейчас.

Генрих собирался вернуться в Ишер, теперь не знает, ехать или оставаться. Королева ослабела, и ее соборуют. Генрих говорит, это не значит, что она умрет; таинство совершают, дабы укрепить ее силы. Вне себя от волнения, он меряет шагами комнату, молится и говорит. Да, его мать, родив последнюю дочь, проболела неделю и скончалась. Однако его сестра Маргарита после родов девять дней лежала при смерти, но оправилась и еще нас всех переживет. Суеверные говорят, это потому, что ее муж, шотландский король, совершил паломничество к мощам святого Ниниана на Галлоуэйском побережье; якобы он прошел пешком сто двадцать миль. Я пошел бы пешком в Иерусалим, говорит Генрих, однако паломничества бесполезны; Господь убережет Джейн, если я не уберег.

Некоторые духовные лица в окружении короля записывают его слова с датой и временем: король собственными устами сказал, что, хотя паломничества бесполезны, соборование – таинство. В прошлом году число таинств сократили с семи до трех, теперь их снова семь, – похоже, четыре потерянных нашлись.

Так написали епископы в своей книге. Или не написали? Трудно сказать. Ее постоянно возвращают в типографию с поправками и дополнениями. В народе ее называют «Книгой епископов», но скоро, ворчат миряне, у каждого епископа будет своя книга. Прежде ты знал, что делать и сколько платить, чтобы обеспечить себе вечное блаженство. А сегодня пост от праздника толком не отличить.

Ему, лорду – хранителю печати, нечего делать на королевиной половине, и даже найди он предлог туда пойти, никто бы не сказал ему, что происходит. Так что он возвращается в Сент-Джеймс, в дом, который сдал ему в аренду король, подальше от заразных толп. Позже невестка ему скажет, в последние дни Джейн не всегда нас узнавала. По временам она не понимала, что мы говорим, пыталась сесть; мы давали ей вина для поддержания сил, но она больше проливала, чем выпивала.

Больной говорят, что малыш хорошо сосет кормилицыну грудь. Он теперь не только принц Уэльский, но и граф Корнуольский. Она кивком показывает, что рада.

Когда он жил во Флоренции, Портинари показывали ему Рождество, написанное для них в Брюгге лет за двадцать до того. Это картина с дверцами, которые открываются в зиму. В ней время исчезает и одновременно происходит много такого, чего не бывает в обычной человеческой жизни. На картине присутствует прошлое и будущее происходит сейчас. Мария не знала мужа, но однажды, и сейчас, и всегда над ней стоит ангел, святой дух касается ее сердца и утробы. А в центре лежит на голой земле новорожденный младенец, белый и беззащитный, и пастухи с ангелами расступаются перед молодой матерью, в то время как на холме все еще беременная Мария здоровается со своей родственницей, святой Елизаветой, а на другой возвышенности, далеко в будущем, Мария, Иосиф и ослик бредут в Египет.

Кто, поглядев на эту картину, поверит, что Пресвятая Дева мучилась родами? Она благоговейно смотрит на младенца, которого произвела на свет. Перед ней, в красном, Маргарита Антиохийская, покровительница рожениц, а у ног Маргариты дракон, который во время оно ее проглотил. Здесь же Магдалина с сосудом благовоний и святой Антоний с колокольчиком. На крестьянских лицах пастухов – умиленное изумление. Все наше будущее заключено между их сжатыми ладонями. Ангелы немолоды. Вид у них умудренный, крылья переливаются павлиньими глазками. Три волхва переваливают через холм. Их путь почти закончен, но они еще этого не знают.

Все это ложь, думает он: безболезненные роды, мирная жизнь в Египте, благочестие коленопреклоненных донаторов, врисовавших себя в историю. Король наверняка мечтает вскочить на быстрого скакуна, унестись по тем же горам туда, где незримо занимается новый день, где прошлое не повторяется вновь и вновь, свиваясь петлей, удавкой. Он бросил Екатерину в Виндзоре, уехал на охоту и не вернулся. В Гринвиче с Анной он встал с турнирной скамьи, сел на коня и ускакал в Лондон, прихватив Генри Норриса, – ни разу не глянул в сторону жены, никогда ее больше не видел. Он оставляет королев, пока они его не оставили.

Небольшая охотничья свита Генриха готова к отъезду, однако он остается. Надежды уже нет. В восемь часов двадцать четвертого октября он идет в спальню королевы и смотрит на нее в последний раз. Она дышит с трудом.

Врачи уходят, их искусство бессильно. Что есть жизнь женщины? Апрельская роса на траве.

В Сент-Джеймсе, очень поздно, ему приносят письмо.

– Это от Норферка, – говорит Кристоф. – Написано сегодня вечером, сказал гонец.

Кристоф роняет письмо на стол, словно оно испачкано.

Потом ломает печать. «Молю вас приехать как можно раньше, дабы утешить нашего доброго государя, ибо как в жизни нашей госпоже не было равных, тем горестнее…»

Он тоже роняет письмо. Потом снова берет в руки и отдает Мэтью – убрать к другим документам. Мысли переносятся к дороге, к реке. Раскисшая грязь, снег на земле, Темза, взбухшая от воды, вышла из берегов; кардинал в Ишере, парламент готовится его уничтожить, а он, никто в шерстяном платье, силится удержать шапку на склоненной голове, в то время как черный северный ветер рвет его и лупит, как разбойник, каждую ночь норовя скинуть в канаву.

– Который час?

Кристоф смотрит на него с жалостью:

– Вы не слышали полуночного звона?

Он думает, если бы Джейн вышла за меня, она была бы сейчас жива; я бы управился лучше.

Вернувшись ко двору, он проходит в свой кабинет и молча садится за стол. Мастер Ризли говорит:

– Вы как будто злитесь, сэр?

Зовите-меня вошел бесцеремонно, бросил шляпу на табурет и принялся искать в сундуке какие-то бумаги.

Рейф говорит:

– Кто бы не злился, что умерло такое чудесное создание? Милорд считает, виновато окружение королевы. Ее не уберегли от сквозняков и позволяли ей есть все, что захочет.

– Я жалею, что меня не было в Хэмптон-корте, – говорит он. – Надо мне было никого не слушать и остаться там.

Ризли говорит:

– Возможно, сэр, вы жалеете, что женили Грегори, а не дождались более выгодного случая. Как дядя принца, он будет иметь некоторое влияние, но

если бы королева осталась жива и родила королю еще сыновей, то вы и ваше семейство возвысились бы на веки вечные.

Зовите-меня складывает документы в стопку и выходит, кивнув на прощанье. В дверях оборачивается и говорит:

– Я напишу Тому Уайетту. Пусть исполняет свои обязанности, потому что я не могу исполнять свои, если буду его все время покрывать. И я скажу, что от его депеш у меня голова раскалывается, – не обязательно каждый пустяк писать шифром.

– Верно, – говорит Рейф. – Оставить шифры для большой лжи?

Ризли отвечает:

– Уайетт создает себе сложности на ровном месте. Для него все интрига.

Рейф говорит:

– Закройте дверь.

Они молчат, пока шаги Ризли удаляются по лестнице.

– Мы должны его простить. Воображаю, как бы ему было, если бы умерла его жена, а не сын.

– Он как будто состарился на несколько лет. Или мне кажется?

– Мне очень его жаль. Я помню, как умер мой первый Томас. И все равно…

Ризли на государственной службе, где нельзя выплескивать личное горе раздражением, даже с просителями, женщинами и подчиненными, а уж тем более с лордом – хранителем печати. Он пожимает плечами и говорит:

– Я благодарю Бога, что Хелен разрешилась благополучно. И надеюсь, твой новый сын будет служить принцу, как ты служишь королю, так же хорошо и счастливо.

Рейф вновь занял место подле короля, который лишь кивнул и спросил: «Дома все хорошо, Сэдлер?» А ведь Генрих сам, беспокоясь за будущую мать, присоветовал Рейфу отправить Хелен в Кент, подальше от заразы, теперь же забыл о ней осведомиться. У Рейфа родился сын, которого назвали Эдвардом, но король так радуется наследнику, что не ставит всех прочих Эдвардов ни во что. Он стоит над колыбелью и дивится Божьему дару. Потом вспоминает королеву – пустую оболочку, выпотрошенную бальзамировщиками. Вокруг ее гроба день и ночь горят свечи, немолчно звучат молитвы, заунывная скороговорка, печали и радости Пресвятой Девы, ее восхваление и прославление.

Двор Джейн уже распущен. Броши и браслеты, драгоценные пуговицы, пояса, золотые шарики для благовоний, оправленные миниатюры забирают обратно в королевский гардероб или раздаривают ее друзьям. Усадьбы и дома, леса, охотничьи угодья и парки вернутся к королю, ее ими одарившему, а тело после торжественного прощания – к Богу, ее творцу. Много времени прошло с

тех пор, как я впервые ее увидел, лилию среди роз, говорит король, и считаю потраченным впустую все время до того, как она стала моей женой.

Лишь два лета минуло с тех пор, как король держал ее за руку в саду Вулфхолла и ее крошечная лапка тонула в его ручище; два лета назад он, лорд – хранитель печати, встретил ее в зыбком утреннем свете, скованную и робкую в новом платье с гвозди`ками. Нынешней зимой он вновь увидит ту же ткань на жене Грегори, когда та распустит шнуровку на растущем животе. Бесс говорит, что не боится. Она говорит, Джейн была счастливица и несчастливица. Счастливица, потому что стала королевой Англии, несчастливица, потому что из-за этого умерла. Про нее всегда будут слагать баллады, говорит Бесс. И король выстроит Джейн великолепную гробницу, чтобы со временем лечь рядом с ней. Однако, я считаю, лучше быть живой, говорит Бесс, чем прославленной, а вы как думаете, лорд Кромвель?

Грегори спрашивает:

– Милорд отец, на ком вы позволите королю жениться теперь?

Часть четвертая

I

Нонсач

Зима 1537 г. – весна 1538 г.

Милорд! – говорит мальчик-слуга. – Могильщик пришел.

Он поднимает глаза от бумаг:

– Скажи ему, пусть вернется за мной через десять лет.

Мальчик растерян:

– Сэр, он мешок принес. Я его к вам провожу.

Соседи по Остин-фрайарз уверены, что он отвечает за все, будь то законы, просевшая крыша в погребе или засор в сточной канаве. Идите к городским землемерам, говорит он, а они в ответ: Да, сэр, только, может, глянете сами? Это тут близко, за углом. Потому что, Богом клянусь, мой межевой камень передвинули, фундамент дома треснул, солнце мне заслоняют.

Сегодня будут жаловаться, что много покойников скопилось, земля как камень. Лучше не умирать в середине зимы. Продержись сезон марципана и подогретого вина с пряностями – а там, глядишь, и до весны доживешь.

Посетитель снимает шляпу, оглядывается. Видит огромный, тускло освещенный кабинет, пустой, если не считать небритого лорда Кромвеля за столом и царицы Савской у него за спиной. Потолок расписан орбитами звезд, на столе зимним солнцем пламенеет сушеный апельсин.

Могильщик не закрыл за собой дверь, слышен гул голосов внизу.

– Ты, что ли, всю улицу с собой привел? Что у тебя в мешке?

Могильщик прижимает мешок к груди. Хочет изложить всю историю, от начала до конца.

– Милорд, я проснулся в четыре утра. В животе так бурчало…

Лорд Кромвель, сопя, как жирный котище, устраивается поудобнее, кутается в меха. Мысленно разворачивает в голове утро могильщика. Как тот просыпается на соломенном тюфяке и нехотя сбрасывает одеяло. Острый запах утренней мочи. Пригоршня ледяной воды в лицо. Бормотание молитв себе под нос. Salve, Regina[56], и Боже, храни нашего короля. Рубаха, джеркин, латаный плащ. Глоток разведенного эля. И вот он выходит, с лопатой в руках, долбить землю в морозные предрассветные часы.

На кладбище собрались соседи, человек десять. «Давай сюда!» – кричат они. В дрожащем свете единственного факела пономарь силится вытащить сверток, до половины присыпанный мерзлой землей.

Могильщик торопливо подходит и в два движения лопатой откапывает что-то, завернутое в грязную рваную простыню.

– Мы думали, это новорожденный, милорд, – говорит посетитель. – Зарытый кое-как.

– Это ж не младенец у тебя в мешке?

Посетитель кладет мешок на стол, на пол сыплются комья земли. Развязывает веревку и, словно ведьма-повитуха, извлекает младенца, голого и холодного на ощупь. Младенец в натуральную величину и сделан из воска.

Лорд Кромвель встает:

– Дай-ка глянуть.

Он ведет ладонью по округлости младенческой головки. Лицо – гладкая поверхность, будто все черты срезаны. Трогает беспалые ладони, стопы, похожие на копытца. Пониже живота грубо вылеплены пипка и яйца. Там, где были бы сердце и легкие, вбиты железные гвозди – глубоко, так что вокруг шляпок остался крошащийся ободок.

Могильщик напуган:

– Переверните, сэр.

На спине куклы тот, кто ее сделал, выдавил розу Тюдоров.

– Это принц, – страшным голосом произносит могильщик. – Его изображение. Сделано, чтобы его извести.

– Так ты знаешь колдунов?

– Нет, сэр. Я человек честный.

Он идет к двери:

– Кристоф! Мастер Ризли уже встал? Передай, что я прошу его пойти с этим малым на кладбище и разобраться, кто сделал и закопал куклу.

Он прикрывает младенческую головку краем мешка. Говорит могильщику:

– И никому больше ни слова.

Входит Кристоф:

– Пол-Лондона уже знает. Слышите этих каналий внизу, они воют, будто у них мамаши померли.

– Угости их хлебом и элем, потом скажи, пусть возвращаются к своим делам.

– А мне можно на чудище глянуть? – Кристоф заглядывает в мешок, корчит гримасу.

Он, лорд Кромвель, подходит к окну, открывает ставни. За стеклом чуть другая серость; светом ее не назовешь.

– Кристоф? – зовет он. – Скажи мастеру Ризли, пусть оденется потеплее.

Меньше чем за два года Англия похоронила двух королев, однако при обстоятельствах, исключающих обычные церемонии. Придворного погребения не было с тех пор, как скончалась королевская матушка, то есть уже лет тридцать пять. По счастью, его бабка Маргарита Бофорт оставила нам подробнейшие указания на все случаи жизни: свадьбы, крестины, похороны. Надзирать за траурными обрядами поручено герцогу Норфолку, ему помогает герольдмейстер ордена Подвязки. Король облачается в белое, придворные – в черное.

Накануне Дня Всех Душ, когда королева Джейн еще лежит в гробу посреди церкви, из Тауэра приходит известие о смерти лорда Томаса Говарда. Тюремщики говорят, лорд Томас отчаялся и оттого подхватывал любую хворь. Леди Мег Дуглас, его возлюбленной, король разрешил на время траура вернуться ко двору. Если всю первую неделю ноября она будет ходить опухшей от слез, нам необязательно думать, что она по-прежнему любит покойного

лорда Томаса; мы можем считать, что она скорбит о нашей доброй госпоже. Для бдения у гроба, в черном, со склоненными головами, нужны все придворные дамы, сколько их есть. Они преклоняют колени на шелковых подушечках, опущенные ресницы трепещут, вокруг струится благовонный дым. Изредка они прикладывают два пальчика к груди или осеняют крестным знамением лоб и губы; в остальное время их ладони сложены. Какими словами они молятся об усопшей королеве, никто не спросит. Покойница никогда не остается одна. Днем молитвы возглавляет леди Мария. Ночью дам сменяют священники.

К тому времени, как Джейн увозят в Виндзор для погребения, по Англии уже гуляют слухи, будто король велел разрезать ее, еще живую. Она не могла разродиться, и король приказал: «Спасайте моего сына!» От Дарема до Корнуолла о ней поют баллады. Как малютка и его отец здравствуют, а мать лежит в сырой земле.

В первый день траура король, как и положено королю, затворился и не принимает никого, кроме духовников и архиепископа, который приходит молиться вместе с ним.

Совет заседает без короля. Всем хочется задать один вопрос, задать срочно, поэтому на всех лицах – благородное напряжение, как будто они изо всех сил стараются не пернуть. Наконец один не выдерживает:

– Милорд Кромвель, когда наш государь, учитывая опасное состояние вопроса о престолонаследии…

– Отлично, – говорит он. – Мне пойти и спросить, да?

Он тяжело встает. Просит Эдварда Сеймура присмотреть за его бумагами. Берет Зовите-меня в качестве телохранителя и отправляется в личные покои короля. Рядом вышагивает герцог Норфолк, сзади – герцогский сын Суррей, еще более долговязый из-за черной одежды; ноги как будто умножились, словно у огромного паука.

– Итак, Кромвель, – говорит Норфолк, – ваше дело его через это протащить. Протащить и вытащить снова женатым. Со всем уважением к нашему господину принцу, все мы знаем, как легко мрут младенцы. – Герцог хмурится. – У вас есть список?

– Конечно есть, – говорит Зовите-меня. – Однако лорд Кромвель не так непочтителен, чтобы этот список доставать.

Суррей наступает отцу на пятки. Его, как и Мег, вернули ко двору с началом траура.

– Не говори с лордом – хранителем малой печати, – приказывает Норфолк сыну. – Даже не смотри в его сторону, не то я рассержусь.

Суррей возводит глаза к золоченым розам на потолке. Вздыхает, переминается с ноги на ногу, теребит кинжал в ножнах. Всеми способами демонстрирует

свое присутствие, только что срамной уд не вытаскивает и не поводит им из стороны в сторону.

– Нам представляется, – говорит мастер Ризли, – что король не готов обсуждать новую женитьбу. Как заметила ваша светлость, дело это ложится на лорда Кромвеля, так что пусть он сам выберет время.

– Главное, чтобы поскорее, – буркает молодой Суррей. – Не то мой отец сам все скажет.

– Я что тебе говорил? Молчать! – Норфолк грозно зыркает на сына. – Король скорбит. Прелестная молодая дама, кто бы из нас не скорбел? Однако император и Франция вот-вот заключат нежелательный для нас договор, а что их рассорит верней, чем женитьба? Пусть Генрих возьмет невесту из Франции. Мы можем поставить условием не только большое приданое, но и военную помощь против Карла, если он на нас нападет. – Герцог теребит кончик носа. – Конечно, нам всем очень жаль королеву. Но оно, может, и к лучшему. Все само идет в руки, Кромвель.

– Но не в ваши, – замечает Суррей.

– Молчать! – ревет Норфолк.

– Лорд – хранитель малой печати предпочел бы… – начинает Ризли.

Норфолк перебивает:

– Мы знаем, что он предпочел бы. Женить короля на дочери какого-нибудь евангелиста. Но этому не бывать, и знаете почему? Потому что умалило бы нашего государя. Генрих – самодержец. Над ним никого нет. А лучшие из немок – княжеские дочери, и, что бы из себя ни строили, у них есть сюзерен – император.

– Король волен выбрать даму любого звания, – говорит мастер Ризли. – В том числе из своих подданных. Такое уже бывало.

Он говорит:

– Я не стану ничего предлагать, если меня не поддержат совет и парламент.

– О, еще бы, – говорит Норфолк. – Я уверен, что вы не станете предлагать от собственного имени, лорд – хранитель малой печати.

– Или ваша голова слетит с плеч, – вставляет Суррей.

– Милорд… – он топчется на месте, – мне надо идти к королю.

– Возьмите меня с собой, – говорит герцог.

– Представить вас внезапно? – спрашивает он. – В качестве приятной неожиданности?

– Скажите, я прямо за дверью. Скажите, я готов предложить отеческое утешение и совет.

– Батюшка, – говорит Суррей, – не давайте этим людям вставать у вас на пути…

Он досадливо упирается ладонью Суррею в грудь:

– Как видите, я могу и без клинка.

Они уходят. Он пожимает плечами:

– Я человек.

– Конечно. – Ризли произносит это как похвалу. – Что сообщают из Клеве?

– Восторгов по поводу дамы и ее внешности не высказывают. Но я не отчаиваюсь. Никто ее толком не видел, там женщин держат почти что взаперти. Говорят, она добрая. Возраст подходящий. И клевские советники, как я слышал, заинтересованы.

Настолько заинтересованы, что подождут сватать ее за другого. Анна. Двадцать два года. Замужем не была.

Король ждет: лицо опухшее, глаза красные, голову поворачивает так, будто это тяжелое усилие.

– А, вот и вы, Сухарь.

– Норфолк желает аудиенции. Грозится поговорить с вами по-отечески.

– Да? – Генрих выдавливает улыбку. – Будем надеяться, я окажусь лучше молодого Суррея. Постараюсь его не позорить.

– Он говорит, что ваш долг – жениться снова.

Король смотрит в стену:

– Я бы хотел провести остаток дней в целомудрии.

– Парламент тоже обратится к вашему величеству с такой просьбой.

– Что ж, тогда мне следует поступиться собственными желаниями. Наверное. – Король вздыхает. – Как там вдова, мадам де Лонгвиль? Я чувствую, что если и могу заинтересоваться женщиной, то только ею. Благородному дому Гизов польстит такое сватовство.

Ему описывали Марию де Гиз: рыженькая, живая, веселая, двое маленьких сыновей, полгода как вдовеет.

– Говорят, она очень высокая.

– Я и сам очень высокий.

Он думает: отправим Ганса написать ее портрет, а заодно и рост измерить.

– Есть затруднение, ваше величество. К ней сватается король Шотландский.

Генрих, ледяным тоном:

– Я не назвал бы это затруднением.

– Семья может упереться насчет приданого.

– Что, торговаться со мной? – Король раздосадован. – Есть и другие француженки. И вообще, я еще не сказал, что снова женюсь. Такого сокровища, как Джейн, мне больше не сыскать. – Трет глаза. – Вернитесь к этому разговору через неделю, милорд. Возможно, я сумею дать вам более удовлетворительный ответ.

Дорогу ему заступает Джейн Рочфорд, только что от бдения у гроба, на негнущихся ногах, усталая и злая.

– Мне нужны указания.

Он останавливается. Медленно улыбается:

– А вы их исполните?

– Мы, дамы, не знаем, как нам быть без госпожи. Нам уезжать или оставаться?

Двор королевы распущен, леди Мария намерена уехать в Хансдон или куда-нибудь еще. Если не будет новой королевы, то фрейлины не нужны.

– Но если нас всех отошлют, – продолжает леди Рочфорд, – то что нам делать, если внезапно появится новая королева?

– Смотрите на старших, – отвечает он. – Леди Сассекс, леди Рэтленд.

– Когда я стану настолько старшей, чтобы со мной считались? – язвительно спрашивает она. – Я служила уже трем королевам и надеюсь послужить четвертой.

– Дядя Норфолк хочет женить короля на француженке.

Она смеется:

– Не иначе как французы его подкупили. Я думала, он предложит очередную Говард. У вдовствующей герцогини в Ламбете полный дом девиц.

– Может, ни одна еще не достигла брачного возраста?

– Король наверняка женился бы на Бесс Сеймур, не выйди она за вашего сына. Он никогда не останавливался на одной женщине в семье. У Джейн нет других сестер? Знаю, Библия не разрешает. Но король теперь – глава церкви. И мы

знаем, как он относится к Писанию. «Читайте дальше, господа, где-нибудь точно написано наоборот!»

– У вас чересчур острый язык, – говорит он. – Я не всегда смогу вас спасать.

– Спасать меня? Вы этим занимаетесь? – Джейн Рочфорд встряхивает черными юбками, трет ноющую спину. Иногда он видит в ее глазах сосредоточенность, будто она силится понять, где ошиблась поворотом. Оставляешь за собой след из хлебных крошек, их съедают вороны. Бросаешь вишневые косточки, из них вырастают деревья. – А как ваши молодожены? Счастливы? Бесс ходит с загадочным видом. И у нее наметился второй подбородок. Если я не ошибаюсь, вы скоро станете дедом.

Он в тех летах, когда теряешь старых друзей. В ноябре проводили Хемфри Монмаута. Он хотел пройти с погребальной процессией, но Рейф сказал:

– Поберегитесь, сэр. Монмаут когда-то покровительствовал Тиндейлу. Не сердите короля, не рискуйте ради покойника.

Те, кто был на кладбище, рассказали, что хоронили рано утром, еще до рассвета, очень просто. Согласно воле покойного не было ни свеч, ни других папистских атрибутов. Хемфри просил обойтись без колокольного звона, но звонарям все равно заплатить. Очень в духе Монмаута с его всегдашней заботой о бедных.

Он, лорд – хранитель малой королевской печати, убрал серебряный кубок, завещанный ему Монмаутом, и поехал в Мортлейк к Грегори и невестке, заранее известив, что в следующие две недели не принимает ни по какому делу, кроме королевского. До сих пор Кромвель на любую работу бросался, как собака на мясо, но сейчас он удручен, и не только смертью королевы, но и тем, что не может добраться до Рейнольда.

Генрих говорит:

– Вы обещали мне покончить с Полем. Вы сказали: «Когда он доберется до Италии, мои люди подкараулят его на выходе из дома или на дороге».

– Ваше величество, я не знаю, как подкараулить человека, который никогда не добирается туда, куда едет. Мои люди его ждут, а он падает с лошади, и его уносят в гостиницу, и там он три дня лечит ушибы. Мы подстерегаем его в следующем городе, потом узнаем, что он сбился с пути, дал кругаля и вернулся туда, откуда выехал. Он так глуп, что его не убить.

Генрих говорит:

– Вам придется самому научиться быть глупым, а, Сухарь?

На Рождество, даже если ему не полегчало, надо быть в Гринвиче. Придворных немного, все по-прежнему в черном. Акробат, мастер Джон, пытается их

веселить. Вместо музыки и танцев – пьесы, призванные возбудить у короля интерес: маски с фантастическими замками, в которых томятся принцессы. Король следит взглядом за Маргарет Скипуит, бойкой молоденькой фрейлиной. «Он же такого не сделает? – спрашивает лорд-канцлер. – Не подарит леди Марии мачеху младше ее самой?»

Лорд-канцлер щебечет:

– Энн Бассет просто загляденье. Дочка леди Лайл.

– Она получила французское воспитание, – отвечает он. – Как Анна Болейн.

Одли хмурится:

– Зато вроде не строптивая. Я видел, как он на нее смотрит. И на английском она неплохо говорит.

– Но не умеет на нем писать, да и на французском пишет с грехом пополам.

– Что? – Одли таращит на него глаза. – Вы читаете ее письма? Маленькой Энн Бассет?

Конечно, он читает ее письма. Ему надо знать все, что пишут в Кале или из Кале. В надежде, что они что-нибудь неосторожно сболтнут, он готов читать, о каких кружевах и пуговицах мечтает мистрис Бассет и какие ленты или целебные кольца отправляет ей леди Лайл.

Он говорит:

– Что бы король ни думал, он не будет счастлив с шестнадцатилетней. Ему нужна постарше, потолковее, такая, что энергично возьмется за деторождение и сумеет его расшевелить.

Он вновь обращает взгляд на актеров. Играют молодые люди из Итона, а также труппы Чарльза Брэндона и лорда Эксетера. Иногда Гордость и Безумие говорят, будто они люди; Смирение и Благоразумие отвечают им в стихах.

У простонародья, что собирается во дворах и амбарах, есть свои пьесы. Любая деревня может похвалиться своим королем Артуром на деревянной лошадке или Робин Гудом. «О смелом парне будет речь, он звался Робин Гуд»[57]. Он носит платье цвета листвы и умеет красться по лесу бесшумно, как дух. Он женится на деве Мэрион; они дают друг другу слово под сенью деревьев. Он подстерегает свернувших с большой дороги монахов, чует их по запаху дешевого вина и непотребных женщин, которым от них разит за милю; у монахов полные сумы денег, вытянутых у бедняков якобы за прощение грехов.

Робин Гуд, совершая подвиги, распевает баллады о себе. Сотни раз он избегает петли и меча. Наконец он умирает от потери крови, обманутый вероломной аббатисой. Его кровь впитывается в землю, алая в зеленое, и новый Робин занимает его место, надевает его куртку, забрасывает за спину колчан со стрелами.

Тот, кто играет Робина, должен быть широк в плечах. Должен говорить грамотно, не бормотать, как Артур-Сапожник. Если он хорошо играет в родной деревне, его позовут в соседнюю, а там и в город, где можно прославиться.

Есть и другие разбойники, чьи деяния хранит молва: Клим из Клу, Адам Белл, Вилл Скарлет, Рейнольд Гринлиф и Малютка Джон. Старые истории можно переписать. Хорошо бы поставить этих молодцов на службу королю. Кроме людей в зеленом, мы завербуем рыцарей древности, таких как Бэв из Амптона и Гай из Уорика, – они разъезжают по равнинам на разумных конях, которые иногда говорят человеческим языком.

У каждого из них была причина оставить родимый дом. Иногда их выгоняют оттуда враги или злая мачеха-ведьма; иногда их облыжно обвиняют в преступлении. Оклеветанные, они стремятся очистить свое имя, преданные, не останавливаются, пока не отомстят. В своих странствиях они сражаются с великанами. Их продают в рабство пиратам. Сажают под замок, но они выбираются из темницы. Прячутся в пещерах с отшельниками. Ведут армии против Рима. Иногда сходят с ума, что немудрено. Они завоевывают возлюбленных и вновь их теряют, либо на брачном ложе девушка оборачивается зверем или рассыпается пеплом.

Однако в историях всегда торжествует справедливость. Если дьявол сбивает нашего героя с ног, тот встает. Изгоя восстанавливают в законных правах. Младший брат, которого зовут дурачком, становится самым богатым. Вилланы пируют нежным оленьим мясом, свинопас возводит хрустальный дворец.

Он зовет Джона Бойла, язвительно-красноречивого кармелита, который сбросил клобук и женился. Спрашивает, не мог бы тот написать пьесу про гнусного архиепископа Томаса Бекета? Как тот пошел против короля и понес заслуженную кару: три доблестных рыцаря пристукнули его, точно телка.

– Пьесу на английском?

– От латыни нам проку мало.

Бойл просит время подумать. При дворе труппа королевы Джейн дает последнее представление перед роспуском.

На Сретенье двор снимает траур. Говорят об имперской невесте: Кристине, герцогине Миланской, племяннице императора. «Очаровательная юная вдова», называет ее Шапюи. В двенадцать она вышла за Франческо Сфорцу, сейчас, в свои шестнадцать, вдова и, как полагают, все еще девственница.

Отец Кристины был прежде королем Дании, но сейчас он низложен. Нынче в Дании король-лютеранин, который уже озаботился переводом Библии и связан династическими союзами с немецкими князьями. Император пытается его свергнуть и, возможно, посадить на престол Кристину. Хотя жаль терять союзника в борьбе с папой, через Кристину Англия получит не только Данию, но и Швецию с Норвегией – заснеженные поля, ледяные берега с множеством гаваней, воды, где тысячи китов могут пировать треской и угощать тысячу друзей, и все равно назавтра рыбы станет больше, чем было вчера. И леса,

которые, мы слышали, тянутся меж голых гор: леса, богатые корабельными соснами и другим деревом для строительства судов.

К тому же, говорят, она приятна в обхождении, и король с ней поладит.

– Я бы налегал на приятность в обхождении. Остальное – домыслы, – говорит Фицуильям и щиплет себя за переносицу. – Прощупайте почву, Сухарь.

Иногда король, играя в шахматы, замирает с фигурой в руке и прокручивает в голове череду фантастических ходов, которые никогда не осуществит в жизни. Играя против него, надо всего лишь ждать – Генрих куда менее склонен к риску, чем хочет казаться. После долгих раздумий он разве что сдвинет слона-епископа или бросит в бой пешку.

Теперь королевские переговорщики готовы, знатоки канонического права и языков, богословы и счетоводы. В десятках городов Нидерландов и Франции они встретятся с такими уже учеными мужами, чье черное платье украшено единственной тяжелой золотой цепью. Каждого будут сопровождать писари с картами и хартиями, генеалогическими деревьями и схемами очередности наследования. Если переговоры застопорятся, из Англии отправят посланников с новостями о крепком здоровье короля и его расположении к обсуждаемому браку.

Он, министр, должен действовать на всех фронтах – перебегать от доски к доске, двигать шесть королев разом. За два часа фигуры могут смахнуть на пол – в иностранном канцлерстве сменятся люди, и договоренности пойдут прахом. Или девица помрет, как раз когда ты подписываешь денежные соглашения. Иногда посланец возвращается и говорит: «Езжайте сами, лорд Кромвель, вы сумеете ускорить дело». Но он решительно против. Его появление в любом иностранном городе наделает слишком много шума и приведет к завышенным ожиданиям, придаст одним переговорам больше веса за счет других.

В феврале король отправляет во Францию Филипа Хоуби. Хоуби – один из королевских джентльменов, евангелист, умный и пригожий, получивший самые подробные указания от самого лорда – хранителя малой королевской печати. Генрих все еще надеется заполучить мадам де Лонгвиль, хотя шотландский король и утверждает, что они помолвлены. Впрочем, невредно будет взглянуть и на ее сестру, Луизу. Есть третья сестра, Рене; по слухам, ее отдают в монастырь. Быть может, она согласится оторваться от четок ради английского престола?

И раз уж Хоуби за морем, пусть заодно нанесет визит дочери герцога Лотарингского. Не волнуйтесь, говорит он своим помощникам, вам не обязательно помнить каждую из дам по отдельности, во всяком случае, пока король какую-нибудь не выберет. Они все между собой в родстве, в основном папистки и зовутся по большей части Мариями или Аннами.

Герцогиня Кристина в Брюсселе у тетки, наместницы своего брата-императора. В начале марта он, лорд Кромвель, поручает Гансу отправиться вместе с Хоуби и написать ее портрет. Двенадцатого марта она три часа позирует Гансу.

– Думаю, – говорит Генрих, увидев рисунок, – сегодня вечером мы можем немного помузицировать.

Кристина высокая, статная, ясноглазая. Когда я закончу портрет, пишет Ганс, вы увидите, какая она юная, словно цветок в росе. Она серьезная, сосредоточенная, но в лице угадывается улыбка. Легко вообразить, как она откладывает перчатки, которые теребит в руках, и вкладывает теплую ладошку в вашу ладонь. По словам нашего посланника Хаттона, она знает еще три языка, кроме латыни. На всех говорит мягко, приятно, чуть-чуть пришепетывая.

Джентльмены короля не сомневаются, что Генрих ее вожделеет. Говорит, мы должны молиться о ней, как если бы она уже была нашей королевой.

Впрочем, Генрих говорит и другое:

– У мадам де Лонгвиль рыжие волосы. От этого у меня чувство, будто мы уже знакомы, будто мы члены одной семьи. И она уже доказала свою плодовитость. – Король снова смотрит на рисунок Кристины. – Даже и не знаю, какую из дам полюбить.

– Эта Кристина похожа на мою племянницу Мэри Шелтон, – говорит Норфолк.

– Думаю, с него хватит ваших племянниц, – замечает Чарльз Брэндон.

Однако Шелтон все еще не замужем. Генриху она всегда нравилась. Он мог бы жениться на ней прямо сейчас. Томас Болейн возвращается ко двору, быть может, как раз с целью склонить короля к этому браку: обе семьи очень близки между собой, очень алчны. Болейн, несмотря ни на что, остался графом Уилтширским. Он сильно поседел, исхудал настолько, что это тревожит врачей. Носит орден Подвязки и золотую цепь, но поверх скромного платья джентльмена, не занимающего придворных должностей. Ни он сам, ни кто-либо из его скромной свиты не бахвалится, не задирает нос, не затевает ссор с челядинцами Сеймуров. С хранителем малой королевской печати Болейн говорит тихо, доверительно, точно со старым другом:

– Мы видели такие времена, лорд Кромвель, памятуя, сколько всего произошло в Англии с восшествия моей покойной дочери на престол, видели столько событий за одну неделю, что в обычное время их хватило бы на хронику десяти лет.

Чтобы не терять времени, он, лорд Кромвель, берет быка за рога:

– Ваше величество, вы подумываете о мистрис Шелтон?

Генрих улыбается:

– Быть может, ей пора замуж. Хотя не обязательно за меня.

Он откланивается. Король не в настроении подтверждать или отрицать. Он думает, у покойного Гарри Норриса вроде была дочь? Она, должно быть, в том возрасте, когда девиц представляют ко двору. Бесполезно писать ей: оставайтесь дома, храните себя в чистоте. Девицы бегут, как глупые овцы на заклание, как мученики на арену, едва заслышат рычание львов.

Ко двору является новый французский посол, Кастильон, честный малый из тех, кто вечно показывает открытые ладони: смотрите, мол, на мою честность.

Он оглядывает посла с головы до ног:

– Мсье, полагаю, ваш союз с императором не более чем перемирие на зиму?

Мсье Кастильон вздыхает:

– Надо стремиться к постоянному миру, когда представляется возможность. Мой господин хочет показать всему свету, что он – христианский король.

– Мой тоже, – говорит он. – Однако Франциск мог бы проявить больше заинтересованности в нашем браке с француженкой.

– Вы сами не против этого? Лично.

– Я хочу одного: чтобы мой король был счастлив.

Кастильон говорит:

– Вашему королю следует очень четко изложить свои предложения.

– Можете поговорить со мной. Деньгами заведую я.

– Но я о пакте, о военном союзе…

– Поговорите с Норфолком. Армией заведует он.

– Норферк к нам куда дружественнее вас.

– Может быть, потому, что вы платите ему больше.

В торгах с французами ему всегда не хватает совета Вулси. Французы страшились кардинала. Называли его le cardinal pacifique [58]в надежде, что он их не уничтожит.

С нового года по богатым и плодородным землям Кента гуляют слухи о смерти короля. Ими обмениваются за столами в кентерберийском «Чекерсе», их разносят от двери к двери торговки рыбой. Говорят, король умер от поноса, от лихорадки, от кашля, и жаль, что не умер семью годами раньше. Еще говорят, что введут налог на рогатую скотину и подушную подать на ее владельцев – высокую, чтобы обогатить Томаса Кромвеля и поставить честных фермеров на колени.

Тех, кто сеет лживые слухи, прибивают за ухо к столбу на базарной площади, но узнать, кто их пустил, обычно не удается. Не нашли и того, кто изготовил воскового младенца. Мастер Ризли прошел по цепочке имен, но она

вела либо в пустые разрушенные дома, либо к людям, которые в ответ на вопросы несут такую белиберду, что от них вылетаешь с головной болью от бессмысленно-мудреных слов и ртутных паров. Лондонские колдуны в обиде на лорда Кромвеля, и немудрено. Он приглядывает за ними со смерти кардинала. Он конфисковывает их перегонные кубы и реторты, змеиную кожу и тайные колбы с гомункулами, мантии, хрустальные шары и волшебные палочки. Он изымает их Clavicula Salomonis[59] для вызывания мертвых и читает их тексты в зеркальном отражении; он отдает дешифровщикам их альманахи на неведомых языках. Любой желающий может открыть его сундуки и осмотреть плащи-невидимки, которые он, по словам колдунов, забрал для собственного употребления.

В конце зимы на севере тихо, но затем приходит отчет о некой Мейбл Бригг, наводящей на короля порчу. Она вдова тридцати двух лет, такая крепкая, что каждый Великий пост соседи ей платят, чтобы за них постилась. Она может поститься за благое дело, например за выздоровление ребенка. Однако Бригг умеет держать и черный пост, изводящий жертву. Сейчас она постится против короля и герцога Норфолка. Каждый час, который Бригг проводит без еды, король и герцог спадают с тела.

– Против меня она не постится? – спрашивает лорд – хранитель малой печати. Он удивлен.

Однако его доносчики объясняют:

– Герцога она видела лицом к лицу. Считает, он ей знаком. Она говорит, что он обманщик. Что он разграбил север.

Узнав об этом, герцог скачет на север – лично повесить Бригг. Король дороден, ему никакие вдовы не страшны, а у Норфолка каждая унция на счету. Вы же знаете мое завещание, пишет Норфолк, то, что я передал вам в шкатулке? Пришлите его мне, Сухарь, я должен его переделать. У меня так мало денег, что придется продавать свои кровные земли. Бога ради, запишите на меня какой-нибудь монастырь.

Он, лорд Кромвель, от злости чуть не рвет письмо. Разве он не уговорился с герцогом на аббатство Касл-Акр? Что за ненасытная утроба?

Февраль приносит шторма, в Дувре рушится западный пирс. В дальних краях готовятся к войне: император и венецианцы под громкое одобрение папы снаряжают поход против турок. Однако, когда в воздухе Англии начинает пахнуть весной, к лорду Кромвелю возвращаются былые силы. В совете он излучает спокойствие, хотя король по-прежнему все делает наперекор. Генрих говорит: «Я открою вам свои мысли» – и тут же убирает свои мысли в окованные сундуки, словно прячет имущество от воров. Говорит: «Не бойтесь высказываться начистоту», а на самом деле заносит ваши слова в список обид, который когда-нибудь предъявит. Грегори замечает: «Он как-никак король, думает не как мы, не знает того, что мы знаем. Вот вы, отец, с ним спорите, а я бы поостерегся, чтобы Господь меня не убил».

Я спорю, говорит он, чтобы Генрих спорил в ответ, чтобы высказал свои мысли и желания. Семь лет я стою рядом, когда король прокладывает курс. Я

видел его на мели, когда не стало кормчего, кардинала. Тогда король остался без доброго наставления, изводился похотью, досадовал на советников, бился в путах собственных законов. Я наполнил его казну, укрепил его монету, избавил его от старой жены, чтобы он женился на своей избраннице; и все это время я умасливал его и забавлял шутками. Если бы я, подобно сказочной принцессе, мог сплести младенца из соломы, я бы год трудился ночами. Теперь он получил своего принца. Да, дорогой ценой, но за все приходится платить. Пора ему это понять; пора ему повзрослеть.

К тому же есть повод радоваться. Даже если король выразил желание побыть в одиночестве, он зовет к себе лорда Кромвеля обсудить библейский текст или покидать кости. Королю сейчас неугодны советники, которые улюлюкают, словно на охоте, или говорят со скорбящим одиноким вдовцом, будто обращаются к войску; ему нужен тихий собеседник, внимательный слушатель. Король хочет рассказывать, какие страдания причинили ему женщины, и ждет сочувствия.

Если вы гадаете, успешлив ли лорд Кромвель, смотрите, как прирастает он сам и его люди. Мастер Ричард конфискует аббатства в графстве Хантингдон. Он намерен обосноваться в Хинчингбрукском приорате, разумеется, когда все там перестроит, и утвердиться в графстве, дабы подавать там пример верности королю, а мастер Грегори тем временем поселится в восточном Сассексе.

Аббатство Льюис – это множество зданий и земельных участков. Грегори станет мировым судьей и получит всякую помощь и поддержку на время, пока будет осваиваться в роли одного из первых джентльменов графства. Цель – принять летом короля, так что с перестройкой надо торопиться. Джованни Портинари собирает помощников – будут взрывать церковь. Он, лорд Кромвель, мысленно видит, как осыпаются лепестки с яблонь и голуби взлетают с голубятен; каменные головы ангелов и демонов отскакивают, словно сбитые пушечным ядром, их осколки сыплются под ноги. Один только металл от колоколов потянет на семьсот фунтов.

В марте рождается его внук Генри. Младенца крестят в старинной купели в Мортлейке. Что ж, мастер Грегори, говорит король, быстро же вы стали отцом! Младенец здоровенький, мать бодра и весела, крестная – леди Мария. Она не приехала в Мортлейк лично, но прислала золотой кубок и подарки повитухе и нянькам.

Леди Брайан окружила нашего принца всей возможной заботой, он спеленат парчой так плотно, что никаким гвоздям их не пробить, никакой булавке не войти между его ребрами. Мы надеемся, что когда Эдуард станет королем Англии, с ним рядом будет двоюродный брат, Генри Кромвель.

В марте император соглашается начать переговоры насчет Кристины. Два императорских посла, Шапюи и Мендоса, приглашены в Хэмптон-корт. Они навещают принца, свидетельствуют почтение леди Марии и леди Элизе. Леди Мария играет на лютне, на просьбу о личной беседе отвечает вежливым отказом. Леди Элиза пискляво декламирует латинский стишок, которому ее научила Кэт Чемпернаун, его ставленница.

На следующий день Шапюи шлет ему в подарок две сотни сладких апельсинов. Он отправляет половину в Сассекс внуку и сыну, остальные раздает в Уайтхолле. С епископом Тарбским, только что прибывшим во французское посольство, они встречаются в благоухании апельсиновой кожуры.

– Не притворяйтесь, будто рады мне, Кромвель, – говорит епископ. – Я знаю, что имперцы шлют вам дорогие подарки…

– Они прислали мне апельсины.

– Я слышал, что за прошлый год вы значительно обогатились отнятым у монахов – вы, ваш сын и ваш племянник мастер Ричард. Вы в Англии пишете законы для грабителей.

Посол Кастильон кладет ладонь на руку епископа – помягче, мол. Затем оборачивается, радуясь предлогу сменить тему:

– Милорд Норферк!

Норфолк кивает на дверь в королевские покои:

– Он там, Кромвель? Впустите меня к нему.

Он говорит французам:

– Милорд сейчас как бедный найденыш. Вечно канючит: «Впустите меня, впустите меня».

Норфолк подпрыгивает, будто его укололи булавкой:

– Вы так забавляетесь, Кромвель? Чините мне препятствия, чтобы довести меня до разлития желчи?

– Вы сами себя доводите до разлития желчи, – холодно отвечает он.

– Кто вы такой, чтобы советовать королю невесту? Всего лишь старый вдовец, не можете найти себе женщину, потому что вам принцессу подавай, никак не меньше.

Он уголком глаза видит, как переглядываются французы.

– Король должен выслушивать брачные советы от человека, который бьет жену?

На лбу у Норфолка выступает пот. Вот до чего они дошли после всех заверений в дружбе прошлой осенью – обмениваются оскорблениями перед дверью в королевские покои.

– С дороги, с дороги! – кричат привратники.

Выходит Генрих. Смотрит на герцога. Тот опускается на одно колено. Король не обращает на герцога внимания:

– Мсье, милорд Кромвель, входите.

Начинается все неплохо. Кастильон намекает, что у него неожиданная новость:

– Предложение касательно леди Марии, которое, полагаю, будет очень приятно вашему величеству.

– Я весь внимание, – отвечает Генрих. – Лорд Кромвель тоже весь внимание.

– Ваше величество, – говорит Кастильон, – наш дофин уже женат, однако не могла бы леди Мария выйти за второго сына моего господина?

Генрих стонет:

– Ваш господин хотел гарантий, что леди Мария унаследует престол.

Кастильон кланяется:

– Теперь у вас есть сын и наследник. Однако добродетели леди Марии известны всему христианскому миру. Что может быть лучше двойной свадьбы, отца и дочери? Король почтет за честь выдать за вас любую французскую даму по вашему выбору.

– Не исключая его дочь Маргариту? – спрашивает король.

Посол готов к вопросу:

– Если подождать год или два до ее шестнадцатилетия, то, возможно…

– Мне сорок шесть, – говорит Генрих. – Я не ищу спутницу для моей старости. Если я женюсь, то должен жениться скоро. Мадам де Лонгвиль меня устраивает. Я не верю, что она и впрямь собирается замуж за шотландского короля. Он тупой, нищий прощелыга…

Кастильон даже опешил:

– Яков женится на ней еще до начала лета. Обещание крепко.

– Но добровольное ли оно? – спрашивает Генрих. – Сердце нельзя неволить. Милорд Кремюэль вам скажет. Он всегда ратует за браки по любви.

Епископ Тарбский говорит:

– Постарайтесь понять. Мой король смотрит на Якова как на родного сына. Он не нарушит обещания, скрепляющего старинную дружбу двух государств.

– Почему бы вам не подумать о герцогине Вандомской? – предлагает Кастильон.

Он, не дожидаясь королевского ответа, вмешивается в разговор:

– Яков ее видел, и она ему не понравилась. С какой стати она понравится нам?

– Я не хочу жениться на даме, которую не видел. Это слишком важное и личное дело. – Генрих поднимает палец и кладет точно под ключицей, там, где белая рубаха выступает над краем желтого камзола. – Быть может, она и некоторые другие дамы приедут в Кале? Тогда я переправился бы через пролив и поглядел на них сам.

– Что? – Кастильон уже не в силах сдерживаться. – По-вашему, это конская ярмарка? Мы должны провести перед вами благороднейших дам Франции, как кобыл? Может, ваше величество и прокатиться на них хочет, прежде чем сделать выбор?

Он торжественно произносит:

– Если они приедут в Кале девственницами, то девственницами и уедут. Клянусь.

– Извините, – говорит епископ.

Послы отходят переговорить между собой. Лица у обоих красные. Теперь он жалеет, что Норфолк не здесь и не видит спектакля.

Послы возвращаются.

– Нет, – говорит епископ. – Встречи не будет.

– Жаль, – отвечает он, – поскольку мы с королем так и так едем в Кале. Оттуда мы отправимся в земли императора, встречаться с Кристиной и ее советниками. Мы намерены взять с собой леди Марию. И леди Элизу, если воспитательницы сочтут, что путешествие ей не повредит.

Он ловит на себе взгляд Генриха: что, правда?

– Тогда я желаю вам счастья с герцогиней Миланской, – говорит Кастильон. – Я слышал, она очень боится того, что ее ждет, и молит императора выдать ее куда угодно, только не в Англию. Ваше величество не задумывались, что вам будет вообще трудно сыскать невесту?

– Почему? – спрашивает король.

– Потому что вы убиваете жен.

– Возьмите свои слова назад, – говорит он.

Он, как и послы, стоит. Думает: вас двое, но я убиваю великанов.

Кастильон поворачивается к Генриху, его голос дрожит:

– Вы говорите, ваша первая жена умерла от естественных причин, но многие считают, вы ее отравили. О вашем втором браке все сожалели, но никто не думал, что он закончится отсечением головы. Теперь говорят – даже Кремюэль, и особенно он, – что ваша третья жена скончалась из-за плохого ухода после родов.

– Мне не следовало так говорить, – возражает он.

– Да, не следовало, – кротко произносит Генрих. – Мои дорогие послы, вам не понять, вы не знакомы с нашим двором и с нашими обычаями. Кремюэль очень много сделал для моего брака с Джейн. Все королевство у него в долгу. Сын Кремюэля женат на сестре королевы. Она для него была как родственница. От горя и потрясения у него вырвались неподобающие слова. За королевой ухаживали как нельзя лучше.

– Мы стоим на… – начинает епископ.

– Вы будете стоять на корабле, если немедленно не принесете извинения, – говорит он.

Генрих поднимает руку:

– Не будем ссориться. Послы в чем-то правы. Меня преследуют несчастья. – Король склоняет голову, смотрит из-под бровей. – Однако в невестах у меня недостатка нет.

Он говорит:

– Заверяю вас, господа, с герцогиней Миланской почти все слажено.

– Все слажено? – Кастильон в ярости. – Кремюэль, почему вы не соберете вещи и не явитесь к императору как его верный слуга? Вы служите ему лучше, чем королю Англии.

Генрих произносит сухо:

– Меня все устраивает.

Он говорит:

– Если мой король не женится на Кристине, он возьмет жену из Португалии. А мужем леди Марии станет принц дом Луиш. Что может быть лучше двойной свадьбы?

Трудно понять, указали послам на дверь или они удаляются сами. Однако на пороге Кастильон произносит с вызовом:

– Император и мой господин намерены продлить перемирие до середины лета. Мария потеряет свой шанс. Дом Луиш женится на дочери моего господина – от которой, уверяю вас, он будет в восторге.

Послы уходят. Дверь за ними закрывается. Король говорит:

– Им не следовало меня запугивать. Я на троне почти тридцать лет – они могли бы усвоить, что угрозы на меня не действуют.

Они беседовали по-французски и продолжают на том же языке. Шаги за дверью затихают.

– Итак, Кремюэль, – говорит Генрих, – надеюсь, вы не сбежите к Карлу, а останетесь со мной.

Генрих смотрит на собственный портрет. Он, лорд Кромвель, советуется глазами с изображением своего господина.

– Что мне в императоре, будь он хоть императором всего мира? Ваше величество – единственный государь. Зерцало и свет других королей.

Генри повторяет фразу, как будто смакует ее: зерцало и свет. Говорит:

– Знаете, Сухарь, я могу время от времени вас укорять. Принижать. Даже говорить с вами грубо.

Он кланяется.

– Это все для видимости, – продолжает Генрих. – Пусть думают, будто между нами разлад. Но вы знайте, что это не так. Что бы вы ни услышали здесь или за границей, я по-прежнему всецело на вас полагаюсь. – Король улыбается. – Когда говоришь по-французски, невольно произносишь «Кремюэль». Трудно удержаться.

– И Норферк, – говорит он. – И Гийом Фицгийом.

Мертвые королевы подмигивают ему из-за своих разбитых зеркал.

Слышали когда-нибудь о святом Дерфеле? Если не слышали, стыдиться нечего. Он звался «могучим» или «доблестным», был в числе рыцарей короля Артура, построил в Уэльсе множество церквей, потом ушел в монастырь и умер в своей постели.

В одной из церквей епархии Святого Асафа стоит его статуя: крашеный деревянный великан верхом на огромном олене. Дерфель – сборная статуя, ее деревянные глаза подвижны и могут моргать. Валлийцы верят, что он способен возвращать души из ада, и в апреле на его праздник народ стекается толпами со скотом, лошадьми, женщинами и детьми, чтобы все они получили благословение. Монахи гребут деньги лопатой.

Хью Латимер предложил жечь статуи перед собором Святого Павла, или на Тайберне, или в Смитфилде. Однако с Дерфелем случай особый: легенда гласит, что, если его поджечь, сгорит лес. Ради спокойствия лучше просто его порубить, но не на глазах у местных жителей.

Он отправляет с этим поручением своего человека, Элиса Прайса. Элис знатного валлийского рода; во времена кардинала он, Кромвель, работал с отцом Элиса. Просто привезите мне Дерфеля, говорит он, олень пусть останется там.

Монастыри в этом году закрываются один за другим. Больше. Бэттл. Робертсбридж. Уоберн и Чертси. Лентон, где приора казнили за измену. Монахи клянутся, что бедствуют, ходят в латаной одежде, сидят без еды и

дров. Дрова они, разумеется, продали, как и зерно, и, если недосмотреть, заложат или закопают свои сокровища.

Изъятые ценности шлют ему: печати с лицами аббатис и бородатых полководцев, жезл с навершием слоновой кости, изображающим лик Христа, требники и травники, монеты с портретами удельных королей, невесть сколько лежавшие под спудом. Он оставляет себе карту мира с четырьмя львами по углам – на память о Земле, какой она была раньше.

Ему привозят компендиумы суеверий, книги о привидениях, составленные монахами. Их читают вслух после ужина в Остин-фрайарз (или где еще он оказывается нынешней весной); вечера светлые, так что даже самые боязливые не пугаются слишком уж сильно. Его эти истории смешат. Привидение в виде копны сена? Привидение помогло бедняку донести мешок бобов?

Цель историй, по большей части, запугать простой люд, чтобы платил за молитвы и обереги. Он читает о человеке, который в паломничестве по Испании встретил сына – мертвого недосформированного младенца, шестимесячный выкидыш. Паломник своего ребенка не узнал, а ребенок – нечто бледное в саване – не только признал отца, но и мог с ним беседовать.

Он скатывает пергамент и говорит, уничтожьте этот рассказ. И давайте возблагодарим Бога, что у нас наконец-то есть живой принц.

Думает о Дерфеле, его способностях. Зачем вытаскивать проклятых из ада? У Бога были причины их туда отправить.

В конце апреля лейб-медики просят беседы с некоторыми королевскими советниками: двумя графами и лордом – хранителем малой печати.

– Это насчет его увечной ноги? – спрашивает Фицуильям.

– Насчет раны его величества, – поправляет доктор Беттс. – Мы стараемся держать ее открытой, чтобы не скапливался гной. Но она все время затягивается.

– Это в ее природе, – поясняет доктор Кромер. – Мы тревожимся. У нее внутри омертвение.

– Что вы советуете? – спрашивает Эдвард Сеймур.

Врачи переглядываются.

– То же, что всегда. Надо разжижать его кровь. Ему следует быть умеренным в еде. Разбавлять вино водой. Не утомлять себя излишними движениями.

– Безнадежно, – отвечает Фицуильям. – Сейчас охотничий сезон.

Король собирается разъезжать по стране. Эссекс, затем на север до Хансдона, повидать принца.

– Ему нужно лежать с поднятой ногой, – говорит доктор Кромер. – Лорд Кромвель, не могли бы его убедить? Все говорят, вы имеете на него влияние.

– Говорят. – Правда ли в голосе Фицуильяма звучит обида, или ему померещилось?

Он произносит:

– Один профессор в Падуе разработал рецепт долголетия.

– Полагаю, рецепт не включает скачки по Эссексу, – замечает Кромер.

– Надо есть мясо гадюки, легкое и питательное. И пить кровь.

– Кровь животных? – брезгливо кривится Эдвард Сеймур.

– Нет, человеческую. И пенный кубок крови посыпать молотыми драгоценными камнями, как молоко посыпают мускатным орехом. Профессора выписали в Константинополь, и там…

– Он дожил до ста двадцати и стал султаном? – предполагает Фицуильям.

– Увы, нет. Одно из его лекарств не помогло от болезни, и турки распилили его пополам.

– Святой Лука, защити нас! – восклицает доктор Кромер.

Он думает: я должен быть готов к смерти Генриха. Как быть к ней готовым? Ума не приложу.

В отсутствие короля он занимается новыми обязанностями. По всему королевству за`мки обследуют и чинят. Король проезжает по десять миль, а мысль его министра пролетает в тридцать раз больше. На ремонт укреплений нужны деньги, и он должен их найти.

К нему приходит Томас Кранмер:

– Два дела, Томас.

– Как вы? – спрашивает он.

Вид у архиепископа по-прежнему такой, будто его терзает головная боль.

Кранмер кладет ин-фолио на стол: никакой вступительной болтовни.

– Во-первых, Мэри Фицрой. Ее супруг Ричмонд умер год назад, а она так и не получила вдовью долю. Король сказал мне: «Послушайте, милорд архиепископ, вы же знаете, что брак не был осуществлен. Так что они с моим сыном не были по-настоящему женаты и я не должен ей платить».

– А вы что сказали?

– Я сказал: «Конечно, они были женаты – перед Богом и людьми. Вам следует выплатить ей вдовью долю, и побыстрее». Ну и он сразу надулся. – Кранмер

открывает ин-фолио. – Говорят, его батюшка под старость думал только о деньгах. Генрих тоже становится скупым.

Даже кардинал кое в чем обольщался касательно Генриха. Кранмер, похоже, не обольщается совсем и все же способен нести на себе груз Генриховой совести – бремя, которого хватило бы на целую коллегию епископов.

– Дело второе. Отец Форрест, – говорит Кранмер. – Духовник Екатерины, когда она была королевой. Восхваляет папистские обряды, в проповедях прямо противоречит Писанию. Испытывает королевское терпение уже больше пяти лет. Боюсь, придется его сжечь. Я велю доставить его к собору Святого Павла. Хью Латимер просит разрешения прочесть Форресту проповедь. Надеется обратить грешника ко Христу. И если мы увидим признаки исправления, мы его отпустим. – Кранмер говорит четко, сухо, но руки дрожат. – Надеюсь, он отречется от своих заблуждений. Ему почти семьдесят.

Он наблюдает за Форрестом многие годы.

– Король не поверит в его раскаяние. Если вы его не сожжете, я его повешу.

Кранмер говорит:

– Совет должен будет присутствовать на его казни. Чтобы послы обратили внимание и в Риме почувствовали запах дыма. Вам придется там быть. И епископу Стоксли.

– О, епископ Лондонский будет, – говорит он. – Не сомневайтесь. Закроет глаза и будет вдыхать дым, воображая, что на костре я, вы или Роберт Барнс. Я доверяю ему не больше, чем Стивену Гардинеру.

Гардинер возвращается в Англию – он так оскорбляет французов, что мы не смеем оставлять его своим послом. Свары великих людей подхватывает парижская улица. Слуг Гардинера дразнят, стоит им выйти за порог: «Зовете себя бойцами? Да вы трусливей мышей! Пришли к нам с армией, и вас девчонка вышвырнула».

– Да, – кричат англичане, – а мы захватили вашу ведьму Жанну и сожгли, и все ваши победы не спасли ее от костра.

Деву Жанну сожгли в тысяча четыреста тридцать первом. Казалось бы, можно вспомнить что-нибудь посвежее. Однако даже на рынке женщины честят наших послов и швыряют навоз в их лучшие одежды.

Стивену надо учиться не замечать оскорблений, говорит он. Я вот считаю их комплиментами. Норфолк зовет меня подлой кровью. Северяне – вором и еретиком. Мальчишка-рыбник в Патни обзывал меня: «Ах ты жалкий висельник, ах ты баранья голова, ах ты объедок, ах ты сухарь; твоя мать померла, лишь бы на тебя не смотреть».

Как сказал бы герцог Норфолк, старые оскорбления самые лучшие.

«Ах ты ирландец, – визжал мальчишка-рыбник, – ах ты сажа из чертовой печки, я тебе яйца отрежу, я тебя выпотрошу и на филе разделаю, я тебе волосы подпалю!»

А он молчал. Ни разу в жизни не крикнул: «Я тебя на вертел насажу, я тебя ножом пырну, я твое поганое сердце из груди вырежу!»

Он просто это делал. Рано или поздно.

Король еще на севере, когда приходит известие, что с ним беда. Он, Кромвель, берет сопровождающих и выезжает без промедления.

Разумеется, мелькает мысль: ехать к побережью, пока порты не закрыли. Если Генрих умер, на кого надеяться? Куда ни поверни, тебя могут остановить на дороге. Куртенэ, собирающие войска для Марии, если будут достаточно проворны. Маргарет Поль, ее сын Монтегю. Норфолк, чьи люди уже скачут во весь опор.

Мы через это проходили: король умер или при смерти – турнирное поле в Гринвиче, январь тысяча пятьсот тридцать шестого, с Генриха снимают доспехи, раненая лошадь ржет, крики и молитвы, поток обвинений и кляуз. Он вновь чувствует под грудиной булавочный укол паники.

Однако на месте к нему выходит лишь один человек: Беттс, полуживой от усталости.

– Еще жив, – говорит врач.

– Господи Исусе. – Он выпадает из седла.

Беттс вытирает руки льняным полотенцем, расшитым по краю орнаментом из барвинков.

– Его величество встал из-за обеда и рухнул под стол. Мы его вытащили. Лицо черное, дыхание слабое, учащенное. Он стал кашлять кровью, и я думаю, это его спасло, потому что он задышал глубже. Вам к нему нельзя. Он слишком слаб.

– Пустите меня, – говорит он.

Над королем склонился лощеный бездельник Калпепер, рядом теснятся врачи и капелланы. Он помнит, как Генрих однажды спросил: «Почему как беда, так рядом всегда кто-нибудь из Говардов?»

Юнец произносит лукаво:

– Вы нужны были здесь раньше, лорд Кромвель. Я слышал, что в Гринвиче два года назад вы воскресили короля из мертвых.

– Имел честь, – коротко отвечает он.

Рядом с королем пахнет мазями и ладаном. Генрих полулежит на груде подушек, перевязанная нога выпирает под дамастовым покрывалом. Щеки запали, лицо землистое. Он моргает:

– Кромвель, вот и вы. – Голос слабый. – В ваше отсутствие мы, боюсь, не устояли на ногах.

Королевское «мы». Больше никто в этом не участвовал.

– Уайетт вам что-нибудь пишет? – Король сбрасывает одеяла. Нога замотана толстым слоем бинтов. – Я на этой неделе ничего не получал. И от Хаттона в Брюсселе тоже. Кто-то перехватывает наших гонцов или теперь они едут прямиком к вам? Кто из нас король, вы или я?

Наш монарх вновь стал собой, думает он. Час давился и задыхался, теперь грозен; зерцало государей, еле-еле мерцающее в свете майского утра.

Генрих говорит:

– Кромвель, я помню Гринвич. Когда я… Когда вы… – Королю трудно говорить о своей смерти. – Не помню падения. Только черноту. Думал, я скончался. Чувства исчезли. Кажется, я видел ангелов.

Он думает: а тогда говорили, что не видели.

Король лежал в шатре, вытянувшись во весь рост, бледный как полотно. Генри Норрис читал заупокойные молитвы. Герцог Суффолкский выл, как младенец, у которого режутся зубы. Снаружи Болейны выкрикивали свои имена, а дядя Норфолк рычал, что он теперь главный: «Я, я, я».

– Вчера, – говорит король, – вы были далеко, и я думал, что умру в одиночестве.

Ему вспоминаются вопли слуг и придворных, собственный окрик: «Тихо!» – его ладонь на груди короля, стук своего сердца. Затем под стеганой курткой из конского волоса – легкая дрожь, мышиный топоток. Через мгновение Генрих охнул, застонал, зашелся в кашле и наконец выговорил: «Томас Кромвель». Потрясенные лорды завыли: «Лежите, лежите!» – но Генрих сел и обвел взглядом все вокруг. Оживший король глядел на Англию. Видел ее темные долины и зеленые поля, ее широкие серебристые реки, ее соловьиные леса. Видел ее справедливые законы, ее свободных жителей, слышал их молитвы.

Вернулся доктор Беттс со склянкой мочи:

– Ваше величество, вам сегодня нельзя думать о делах.

– Нельзя? – спрашивает король. – А кто будет править?

Вроде бы просто вежливый вопрос, но врач пятится.

– Мы говорили о моем падении в Гринвиче. Предавались воспоминаниям, – буркает король.

Беттс говорит:

– Господь да хранит ваше величество.

– Он и сохранил, – отвечал Генрих. – Мне сказали, что все в шатре поверили в мою смерть, кроме одного лишь Кромвеля. Он склонился надо мной и ощутил биение моего сердца, когда остальные считали меня мертвым.

Он думает: я не мог допустить вашей смерти. Кто бы стал нами править? Мария, папистка, которая отправила бы всех министров на плаху? Элиза, в колыбели? Нерожденное дитя у Анны в утробе? И в лучшем ли мы положении сейчас? У меня по-прежнему нет плана, нет выхода, нет тех, кто меня поддержит. Нет войск, нет прав, нет полномочий. Он думает: Генриху следует назначить меня регентом. Прямо сейчас. Подписать и скрепить печатью; снять многочисленные копии.

Король говорит:

– Полагаю, посольства уже трезвонят на весь мир, что я снова умер.

– Если здесь без меня можно обойтись, я готов ехать в Вестминстер. Лично обойду послов и заверю, что своими глазами видел ваше величество живым.

– О да, вам они поверят. – Король снова заходится в кашле.

Беттс говорит:

– Милорд хранитель малой печати, на сегодня довольно.

– Ядовитые испарения от раны ударили мне в голову, – говорит король. – Но им скажите… не знаю… скажите, у меня была мигрень. Что я через несколько дней снова буду в седле.

Генрих отпускает его взмахом руки. Версии множатся при каждом пересказе. Ему ли не знать, как все было: в Гринвиче королевское сердце трепетало, слабое, как дыхание бога на хрустальном шаре. Он помнит, что молился, но другие помнят, что он молотил короля по груди, кулаком с размаху, чуть ребра тому не сломал. А Кристоф, бывший рядом с ним в те роковые минуты, говорит, он вздернул короля на ноги, ухватил за уши и заорал тому в лицо: «Дыши, сволочь, дыши!»

Приходит май. Король думает о династии:

– Если я заполучу мадам де Лонгвиль, уверен, она наплодит мне сыновей, что станет большим подспорьем для Англии, если с Эдуардом, не дай бог, что-нибудь случится. Наш первый с ней сын будет герцогом Йоркским. Следующий – герцогом Глостерским. Третий, думаю, герцогом Сомерсетским.

Фицуильям говорит:

– Вы забыли, что она просватана в Шотландию?

Генрих ничего не забывает. Но иногда думает, что королевская прихоть может изменить реальность.

Французский король, по слухам, едет в Ниццу на встречу с императором. Есть лишь один способ их рассорить – породниться с одним и тем оскорбить другого.

Советники предостерегают:

– Не спешите, ваше величество. Сделав выбор, вы теряете преимущество. Вы можете жениться лишь на одной.

– Правда? – тихонько произносит Фицуильям. – Речь как-никак о Генрихе.

Генрих говорит:

– Кромвель, примите у себя посла Кастильона. Вы угрожали сбить его с ног. Пришло время загладить урон. Угостите его на славу, умаслите. Если нужно что из моих погребов, только скажите.

Последнее время он изводит Терстона проектом механического вертела, приводимого в движение системой блоков за счет тяги от огня. «Вуаля!» – говорит он, насаживая на вертел курицу. Однако Терстон упрямится: в доме полно мальчишек, зачем какой-то механизм?

У мальчишек что-то подгорает, что-то недожарено, говорит он. Здесь можно регулировать скорость: чем жарче огонь, тем быстрее вращается вертел. Притушите огонь, и…

Не годится, хозяин, возражает Терстон. Для этого куренка механизм чересчур велик.

Кастильону и королевским советникам подают тюрбо, печеную цесарку, кресс-салат в масляно-уксусной заливке. Семгу зажарили с апельсиновой цедрой, из молодой птицы вытащили кости и запекли ее в том, что англичане зовут ломбардскими пирогами, хотя в Ломбардии о таких не слыхивали.

Как только они остаются наедине, посол бросает на стол салфетку, словно отшвыривает белый флаг:

– Его нога никогда не исцелится. В другой раз ему так не повезет. И вам.

Он не отвечает. По всему, Кастильон принимает его молчание за знак согласия и в следующий раз держится с королем словно собутыльник в таверне, предлагает мадам Луизу, сестру мадам де Лонгвиль.

– Возьмите ее, ваше величество, она красивее сестры. К тому же старшая – вдова, а младшая – девица. Вы первый в нее войдете и проложите ход по вашей мерке.

Генрих фыркает. Хлопает посла по плечу. Отворачивается от француза, стирает улыбку с лица.

– Не выношу скабрезностей, – шепчет король. Бросает через плечо: – Извините, посол, я вас оставлю. Капелланы зовут меня на мессу.

Через день-два король вновь уезжает охотиться. Рейф с Генрихом, Ричард Кромвель ездит с письмами и сообщениями, которые нельзя доверить бумаге. В Уолтеме Ричарду говорят, что у короля французский посол и придется подождать; затем к Генриху вызывают различных советников. Наконец сообщают, что король примет его только назавтра.

Рейф с извинениями забирает у Ричарда письма, обещает сам вручить их королю. Ричард говорит:

– Не извиняйся за него, Рейф. Твой вины тут нет. Какая муха его укусила?

Прежде не было случая, чтобы кромвелевским делам чинили препоны.

Наутро Ричард скачет назад с ответами на письма.

– Но мне очень все не понравилось, сэр, – рассказывает он. – Норфолк был с Генрихом, важный, словно актеришка, играющий короля. И Суррей с ним, хер собачий. Оба говорили, как король вами недоволен, тем, что вы за императора. Норфолк ходит под ручку с французами. Им бы скрипача, они бы пустились в пляс.

Что задумал Генрих? Я могу время от времени вас укорять, сказал он. Принижать. Это все для видимости. Я по-прежнему всецело на вас полагаюсь.

Он берет «Книгу под названием Генрих». (Которую держит под замком.) Думает сыскать там какой-нибудь совет. Но увы, там все больше пустые страницы.

На сожжении отца Форреста, помимо него и Томаса Кранмера, присутствуют лорд-мэр Лондона, лорд-канцлер Одли, Чарльз Брэндон, герцог Суффолкский, Томас Говард, герцог Норфолкский, Эдвард Сеймур, граф Хертфордский, и, разумеется, епископ Стоксли. Форреста привозят из Ньюгейта на волокуше из связанных кольев. На нем францисканская ряса. Его ставят на помост, и Хью Латимер обращается к нему с проповедью.

Хью говорит час, но с тем же успехом мог бы мочиться против ветра. Форрест находит силы отвечать, говорит, я монах с семнадцати лет и католик с крещения, а Латимер не католик, ибо лишь те, кто покорен папе, входят в Божью вселенскую семью; толпа ревет. Дальнейших слов Форреста не разобрать, по сигналу приставы стаскивают его с платформы и волокут к столбу. Он обвис мешком, шепчет молитвы.

Под фанфары и барабанный бой на арену вступает валлийский идол Дерфель. Его несут восемь человек – больше, чем нужно, но так впечатление сильнее. В насмешку над якобы силой идола его связали веревками. Толпа смеется и поет. Говорят, Дерфель может сжечь лес[60]; посмотрим, сожжет ли. По команде идола ставят стоймя. По другой команде его глаза моргают,

деревянные руки молитвенно вздымаются к небесам. «К черту его!» – орет толпа. Приставы разбирают Дерфеля на части, берут топоры и рубят его на дрова.

Отец Форрест утратил все шансы на снисхождение, предложенные ему королем, Кранмером и Хью Латимером. Томас Мор говорил, невелика храбрость сгореть, когда тебя привязали к столбу. Он, лорд Кромвель, кричит: «Форрест! Проси королевской милости!»

Ибо Форрест так этого и не сделал. Всякий осужденный просит королевской милости, даже если считает себя неповинным. Так он облегчает участь родных, дабы король пощадил их, не лишал имущества.

Однако Форрест монах. У него нет сыновей и дочерей либо есть, но о них никто не знает. Всего имущества – ряса, сейчас изодранная, кожа, мясо, кости и жир.

– Проси короля о помиловании! – кричит он; он, Кромвель. Неизвестно, слышит ли его Форрест.

Он думает, теперь уже ничего не изменить. Мученик может гореть на сильном огне или на слабом. Дрова могут быть сухие и сложены высоко, так что осужденный скрыт от толпы и умирает в реве окутавшего его пламени. Однако, поскольку Форрест не произнес и слова покаяния, жечь будут медленно. Монаха вздергивают на обвязанной вокруг пояса цепи, костер разводят под его ногами.

Он смотрит бесстрастно от начала до конца, не позволяя себе коситься на других советников. Думает, наверняка мы могли в чем-то с Форрестом сторговаться, что-то предложить в обмен, чтобы тот в чем-то уступил и таким образом избавил себя от мучений. Ему не хочется верить, что сделка была невозможна. Всякий чего-нибудь хочет, хотя бы прекращения боли.

Жар подбирается к Форресту, и тот поджимает босые ноги. Извивается, кричит, однако вынужден опустить ноги в огонь. Снова подтягивает их, крючится в цепях, истошно орет; Дерфель весело потрескивает, и все продолжается бесконечно долго, языки пламени тянутся вверх, человек в цепях бьется все слабее и наконец обвисает. Тело охватывает огонь. Монах воздевает руки (они не связаны), как будто карабкается на небо. Мышцы сокращаются, скукоживаются, руки скрючивается помимо воли. Значит, то, что выглядит молитвой папистскому Богу, на самом деле знак скорой смерти: по команде палачи подходят, длинными шестами сдергивают горящее тело с цепи и бросают в огонь. Зрители вопят, пламя взвивается. Конец отцу Форресту, конец валлийскому идолищу Дерфелю – он обратился в золу. Кранмер шепчет в ухо:

– Кажется, всё.

У Эдварда Сеймура лицо такое, словно он сейчас сблюет.

– Не видели прежде? – спрашивает он, Кромвель. – Я вот насмотрелся.

Официальные лица расходятся. Чем занять себя до конца дня? Работой, конечно.

– Жестокая смерть, – замечает член гильдии.

А он отвечает:

– Жестокая жизнь, брат.

Когда он смотрел, как жгли старуху, ему было… сколько? восемь? Он убежал из дому или, по крайней мере, так себе говорил; добирался из Патни пешком и на телеге, один раз ночевал под изгородью. На следующий день выпросил у черной двери хлеба и молока, уговорил лодочника подвезти его до верфей под Тауэром. Хотел наняться на корабль и стать моряком, но, увидев празднично разодетые толпы, забыл, чего хотел.

– Это Варфоломеевская ярмарка? – спросил он.

Мужчина расхохотался, но женщина сказала:

– Он еще маленький, Уилл. – Глянула на него. – Пресвятая Дева, какой же ты чумазый!

Он не стал говорить, что спал под изгородью. Уилл спросил:

– Как тебя звать?

– Гарри. – Он протянул руку. – Я кузнец. А ты, Уилл?

Мужчина стиснул ему руку. Он запоздало понял, что Уилл хочет его помучить, просто для смеха. Думал, кости треснут, но в лице не изменился. Уилл брезгливо отбросил его руку, сказал, крепкий малый.

Женщина продолжала:

– Пошли с нами, юный мастер Гарри. Держись со мной.

Цепляясь за ее фартук, он стоял в толпе. Женщина похлопала его по плечу и не убрала руку – как будто она его крестная и заботится о нем. «Идут!» – заорал кто-то. Запела труба, появилась процессия: важные люди с жезлами, у каждого на груди золотая цепь. Он никогда таких не видел, кроме как во сне. Перед ним плыли хорошая шерсть и бархат. Пронесли золотой крест; за крестом шел епископ, сияя, как солнце.

– Видел когда-нибудь повешенье? – спросил Уилл.

– Сто раз, – соврал он.

Уилл сказал:

– Так вот, это не повешенье.

Когда притащили старуху, избитую и связанную, он поглядел крестной в лицо и спросил:

– Что она сделала?

– Гарри, ты должен увидеть, как она горит, – сказала его крестная. – Она лоллерка.

Уилл резко поправил:

– Лоллардка. Говори правильно.

Крестная, не слушая, продолжала:

– Она служит дьяволу. Восемьдесят лет старухе, вся погрязла в грехе.

И закричала, перекрикивая рев толпы:

– Пустите мальчика поближе!

Некоторые расступились: благое дело – показать ребенку сожжение. Толпа все густела. Кто-то молился, кто-то ел. От доброй женщины у него за спиной пахло уже не глаженым льном, а волнением и жаром. Он протиснулся обратно к ней. Хотелось зарыться головой ей в живот, обнять ее руками. Он знал, что придется терпеть, иначе Уилл сожмет ему шею, как сжимал руку. Увидев, что он повернулся, и решив, будто мальчишка задумал сбежать, Уилл толкнул его вперед:

– Да этот малый – язычник! Ты из какого прихода?

Из осторожности он соврал:

– У меня нет прихода.

– У всех есть приходы, – фыркнул Уилл.

Но тут толпа начала громко молиться. А громче всех кричал проповедник. Он кричал, что земной огонь – лишь касание перышка, майский день, материнская ласка по сравнению с муками в адском пламени.

Когда костер вспыхнул, толпа понесла его вперед. Он звал свою крестную, но голос тонул в общем реве. Он видел чужие спины, но чувствовал запах горящего человеческого мяса. Приходилось им дышать, пока ветер не переменился. Некоторые слабые люди выли, кто-то блевал себе под ноги.

Когда волнение улеглось, когда лоллерка превратилась в кости и сажу, важные люди ушли, и обычные зрители начали расходиться по своим делам. Пьяные держались за руки и пошатывались, размахивали руками и орали, как на бое быков. Другие, трезвые, переговаривались, сбившись в кучки. У всех у них был дом, куда идти. У него не было. Патни казался далеким, как в сказке. «В городе у реки жил-был мальчик Томас Кромвель с отцом Уолтером и собакой. Однажды он ушел искать счастья в чужие края…»

Он гадал, сколько времени займет дорога назад. Патни на другом конце Лондона. Не всегда можно надеяться на удачу, не всегда тебя подвезут; а

если станет известно, где он был и что видел, то, уж конечно, каждый мужчина и каждая женщина будут его ругать.

Ему подумалось, что под помостом для важных людей можно устроиться и жить там, как в доме. Никто его не прогнал. Никто его не увидел. Под дощатым потолком он сел, скрестив ноги, на сырой земле. Шло время. Он заметил людей, которые стояли в сторонке, как будто ждали, когда все уйдут. У одного была миска, у другого – корзина. Они не подходили, как будто чего-то боялись. Вернулись приставы, насвистывая, и разбили ломами оставшиеся кости.

Из своего убежища он наблюдал за ними, как будто издалека. Он замерз и задубел. Рука, которую Уилл чуть не раздавил, пульсировала. Пошел дождь, приставы бросили свои ломы и укрылись где придется. Вода капала между досками над головой. Он считал капли. Ловил их в сложенные ладони и пил. Чувствовал, как они текут внутри его и замерзают в лед.

Раздробив кости, приставы вытерли ломы о траву, надели капюшоны и ушли. На ждавших с корзиной и миской они не смотрели, но один бросил через плечо:

– Всё ваше, братья.

Те, кого назвали братьями, принялись шарить в золе. Он выбрался из-под помоста, назвал им свое имя – мастер Гарри, кузнец – и рассказал, что тут произошло. Мы знаем, сказали они, мы видели. Они сказали, эта женщина умерла за слово Божие, Гарри, а мы пришли собрать ее останки. Они провели на его руке длинную черту жирной золой. Сказали, помни этот день, сколько Бог даст тебе прожить.

Он изложил им полученные от священника сведения, что земной огонь – лишь приятный ветерок по сравнению с бушующим внизу пламенем. Закатал рукав и показал ожог, который получил в кузнице. Тебе, наверное, было очень больно, миленький, сказала женщина. Он ответил, мужчине шрамы не страшны. У моего отца их много.

– Иди домой, сынок, – сказал один.

Он ответил:

– Я не знаю, как туда добраться.

Они ушли. Он вернулся в свое убежище под помостом. Дурнота отпустила, захотелось есть. Он знал, что когда-нибудь придется сделать вылазку и что-нибудь украсть, но сейчас надо сидеть тихо, потому что вдруг придут разбирать его дом? Его могут вытащить и сказать: «Это мальчишка-лоллер». Разведут новый костер и бросят его туда, как бросают последний тюк на телегу.

Никто не пришел. Темнело. Он не боялся призрака старухи, но ощущал, что рядом кто-то есть. В так и не рассеявшемся до конца дыму различались приникшие к земле тени. Лондонские псы подбирались ближе.

Нетрудно было угадать по виду их историю. Наверняка ни у одного нет клички, конуры и хозяина. Они были шелудивые, хромые и скрюченные. Небось

много часов ждали в сторонке, положив морду на лапы, и пускали слюну. Пока приставы занимались работой, псы не смели приблизиться, боясь что в них швырнут камнем и выбьют глаз. Они тряслись от страха, но голод и запах жареного мяса придали им храбрости.

Они ползли сперва на брюхе, затем – на полусогнутых лапах. Они поднимали морды и нюхали воздух. Облизывались. Они были все ближе. Псы боялись важных людей и приставов, но не боялись его, мальчишку-оборванца. Круг сужался. При каждом звуке они припадали к земле и замирали. Но с каждым мгновением они приближались.

Лоллардка была тощая, жиру, как в иголке. Когда псы сообразят, что от нее не осталось ничего, кроме запаха, набросятся ли они на него? Кусище патнемского мяса; можно перегрызть ему горло и лизать кровь.

При его росте под досками можно было выпрямиться. Он набрал в грудь воздуха и бросился вперед с криком:

– Пшливонпадлычтобвамсдохнуть!

Псы вздрогнули. Попятились. Но не убежали. Сели и стали на него смотреть. Затем вновь поползли к нему, приникая к земле, вытянув морды к столбу. Уилл спросил его: «Как тебя занесло так далеко от дома, малец?» Священник сказал: «Господь видит сердце праведного; Он приведет нас в Сион».

Он раскинул руки, заорал. Выбрался из-под помоста, размахивая руками, потом выставил правую вперед, словно благословлял собак, и пальцами сложил дулю.

Он повернулся и пошел прочь от прошедшего дня, на запад, потому что знал: вчера солнце было у него за спиной, пока мир не качнулся, толпа не понесла его впереди, а крестная не взяла его за руку и не сказала: «Пропустите мальчика вперед, пусть видит, как она мучается, и вырастет святым».

То было не первое преступление, которое он видел, но первое наказание. Много позже он узнал, как звали старуху: Джоанна Боутон. Она была вовсе не нищенка, как ему тогда показалось, а женщина образованная, родственница лорд-мэра.

Ничто не защитит тебя в последний час, ни звание, ни родство. Ничто не оградит от огня.

До Патни он шел дня два и в первый (но не в последний) раз ночевал под открытым небом. Дома о нем не соскучились. Отец побил его, но это было не в новинку. Про ту провинность, из-за которой он сбежал, забыли; добавили к следующей, которую он вскоре совершил, потому что не умел не грешить; по словам отца, свет еще не видывал такого негодника. Он не дожидался, когда священник добавит что-нибудь еще: в ушах стояли крики Уолтера.

Прошли годы, прежде чем он понял: из Смитфилда вернулся не тот мальчик, что уходил из дому. Маленький Томас по-прежнему сидел под помостом, настороженный, как псы, ловил в ладони холодные дождевые капли. Он так и не сходил забрать себя оттуда. Он видит скрюченную фигурку на другом конце времени, чувствует, как вздымаются ребра от беззвучного плача. Видит и

чувствует, но жалости к ребенку не испытывает, только подозревает, что ради чистоты улиц надо бы его забрать и отослать домой.

Близится лето. Французский посол говорит ему:

– Хромаете, лорд Кремюэль?

– Старая рана, полученная давно в вашей стране. Нога меня иногда подводит.

Кастильон замечает:

– Интересно, не думает ли ваш король, что вы его передразниваете. Смеетесь над ним.

Предоставьте это шотландскому королю. Во вторую неделю июня мадам де Лонгвиль сходит с корабля в Файфе, где ее встречают Яков и его придворные. Она мила и свежа; путешествие далось ей легче, чем принцессе Мадлен. Под благословения и приветственные крики шотландцев и французов они с Яковом едут венчаться.

Император тем временем охладел к проекту нашего брака с Кристиной. Король велит нашим людям в Брюсселе не жалеть денег. Однако англичанам говорят, король был женат на Екатерине Арагонской, близкой родственнице Кристины, а значит, нужна диспенсация от папы. В таких вопросах, замечает посол Мендоса, легко обнаружить, что устроил себе неприятности.

Архиепископ Кранмер говорит, хватит заниматься дипломатией, гонять Ганса по четырем ветрам, трепать почем зря имена порядочных женщин и девиц. Королю нужно жениться на той, кого он знает и сумеет полюбить. Потому что Генрих считает, нельзя вступать в брак без любви. Во времена Екатерины он распевал: «Я законы храню, обид не чиню, верен супруге своей одной».

Однако советники говорят, если король женился по любви раз в жизни, можно считать, ему повезло. Нельзя рассчитывать, что так будет снова и снова.

За неимением жены король занялся строительством. Новый дворец будет в Суррее, неподалеку от Хэмптон-корта. Задумано создать охотничьи угодья протяженностью во много миль. Поначалу казалось, что хватит и обычного охотничьего домика, но король вознамерился сотворить чудо света. Нанял итальянских зодчих, забрал весь строительный камень из взорванного аббатства Мертон. Сносит усадьбы с амбарами и конюшнями, древние приходские церкви. Скупает соседние поместья. Заказывает тысячи подвод с лесом, строит печи для обжига кирпича.

Томас, лорд Кромвель, викарий короля по делам церкви и хранитель малой печати, уже не надзирает над королевским строительством. Он присоветовал, кого из итальянцев выбрать, но во главе работ король поставил Рейфа Сэдлера. Со всем, что делает для короля Кромвель, справятся Сэдлер и Томас Ризли. Он их обучил, вдохновил, написал их как версии себя; Рейфа – открытым текстом, Ризли – шифрованным.

Чудо строят летом тысяча пятьсот тридцать восьмого. Когда король женится, он поместит королеву туда, как алмаз в оправу. Тем временем европейские дамы, отделенные от нас Ла-Маншем, смотрят на мглистые земли через хрустальные зеркала; по вьющимся меж цветов дорогам скачут королевские гонцы на белых конях. В сказках принцессы не бывают чересчур старыми, или чересчур молодыми, или папистками. Они терпеливо дожидаются принца семь и более лет, покуда он совершает подвиги, и прядут свои судьбы в единую нить, отращивая той порой длинные золотые волосы.

Иногда король плачет о покойной жене. Где мы сыщем даму столь кроткую, смиренную и пригожую, как Джейн? Поскольку найти такую нельзя, Генрих забавляется строительством нового дворца, какого еще не видел свет; дворец зовется Нонсач, то есть Несравненный.

II

Corpus Christi[61]

Июнь – декабрь 1538 г.

Уайетт последовал за императором с берегов Испании в Ниццу, где Карл встретился с папой и французским королем. Эта встреча подобна зловещему сочетанию светил, которое мы можем предсказать, но не в силах предотвратить. Начало июня, Уайетт в Англии, расхаживает по комнате в Сент-Джеймсском дворце. Лорд – хранитель малой королевской печати, сидя в квадрате слабого света из окна, следит за ним взглядом.

– Я видел Фарнезе, – говорит Уайетт. – Так близко, что мог бы в него плюнуть. Кардинал Поло опирался папе на плечо и шептал тому на ухо. Я мог бы ткнуть его кинжалом и привезти домой ломоть его жира.

Куда бы ни ехал император, Уайетт следует за ним со свитой из двух десятков молодых придворных; все они при оружии, все сочиняют стихи, все повесы, все игроки. Из Ниццы император отправил его на родину с заманчивым предложением: если леди Мария выйдет за дома Луиша, то им достанется Милан – Милан, за который Карл и Франциск сражались много лет.

– Но Милан он не отдаст до Страшного суда, – говорит Уайетт. – И они требуют за Марией несусветного приданого. Королю следует предложить две трети.

Разумное правило на все случаи жизни: сбрось треть и посмотри, что тебе ответят. Уайетт говорит:

– Впрочем, я не знаю, намерен ли король вообще отдавать Марию замуж. И хочет ли жениться сам или просто ведет со всеми игру да обеспечивает Ганса заказами.

Он пожимает плечами, я, мол, ничего не знаю.

– Ненавижу Испанию, – говорит Уайетт. – Худшая камера в Ньюгейте и то лучше. И я не понимаю императора. Не могу прочесть его ни на каком языке. Слышу слова, которые он произносит, но ничего за ними. Его лицо никогда не меняется. Иногда он принимает меня каждый день. Иногда я приезжаю, а его слуги гонят меня прочь. Я думаю, нарушил ли я чем-нибудь этикет? Прилично ли ждать за порогом аудиенц-залы два дня или три или пока меня не выметут с мусором? Если мне велят убираться из страны, надо ли заплатить долги и нанести прощальные визиты или надо запрыгивать на лошадь в чем есть?

– Это хитрости правителей, – говорит он. – Генрих три дня кряду дает французскому послу личную аудиенцию. Потом неделю не допускает его до своей особы.

– Когда он меня к себе не допускает, я пишу депеши. Перевожу Сенеку. Коротаю время не с женщинами, что бы вам ни рассказывали, а с бурдюком плохого вина и Евангелием. В Испании женщин держат взаперти. Мужья убивают вас по малейшему подозрению. Будь граф Вустер испанцем, вы с его женой гнили бы в могилах.

– Я никогда не волочился за женой Вустера, – устало произносит он. – Но это как говорить, что я не лютеранин. Никто не верит.

– Инквизиторы в Толедо считают всех англичан лютеранами. Пытались внедрить в мой дом шпионов. Предлагали деньги моим слугам. Крали мои письма.

– Я вас предупреждал: запирайте на ключ все, что пишете. В стихах или в прозе.

Уайетт немного смущен:

– Поначалу я думал, это вы.

Он не отрицает: у него есть человек в доме Уайетта, как есть люди в доме Гардинера. Он вздыхает:

– Это в не меньшей мере для вашей же защиты. Мои агенты не станут красть ваши письма, только прочтут их у вас на столе. Я удивлен, что император позволяет инквизиторам творить что пожелают. Не давайте им повода. Вам надо ходить к мессе.

– О, я бью лбом перед алтарем не хуже самых ревностных католиков, – говорит Уайетт.

Инквизиция утверждает, что ересь не знает границ; мы можем допрашивать любого путешественника из любой страны. И что делать королю Англии, если его посла бросят в застенок? Генрих может заявлять протесты, но за это время нашему послу проткнут иголкой язык или вырвут ногти.

Входит писарь со стопкой бумаг:

– От сэра Ричарда Рича, милорд. Он сказал, не бойся, входи сразу, лорда Кромвеля обрадуют эти бумаги.

Он говорит Уайетту:

– Я прирастаю землями. Мне обещано аббатство в Мичелеме. Мы с Грегори пишем свои имена на меловых холмах Сассекса. Вы тоже получите награду.

Пусть даже посмертно, думает он.

Уайетт провожает взглядом выходящего писца. Садится:

– В прошлом году во Франции – Генрих этого не знает – ко мне обратился Поль. Прислал подарки. И письмо, обернутое вокруг бутыли доброго вина.

– И?

– Я прочел письмо. Вино выпил Фрэнсис Брайан.

– А, Фрэнсис. Как ему Ницца?

– Он играет, – говорит Уайетт. – Как всегда. Город воняет адски и до отказа набит папистами, но Фрэнсису это все не помеха. Он играет на большие ставки с советниками важных людей, с их креатурами, спит с их женщинами. Без него я бы не преуспел. Ничего бы не выяснил. – Уайетт не знает, продолжать ли. – Мне думается, что я мог бы подобраться к Полю. Условиться о встрече.

Он кивает:

– Но помните, никто не давал вам на это полномочий. Я не давал. Король не давал.

Уайетт чертыхается:

– Когда я лицом к лицу с возможностью, должен ли я от нее отворачиваться? Что мне делать – посылать в Вестминстер за указаниями? Неужто Генрих не полагается на мои суждения? Если ему нужен посол, пусть отправляет того, кому доверяет, и доверяет тому, кого отправил. А если ему нужны слова, а не дела, пусть выберет кого-нибудь другого. Я убью Поля, как только увижу.

– Что ж, на этом ваше посольство, безусловно, закончится. – Он отводит взгляд. – А так Генрих отправит вас назад, как бы вы ни упирались.

– Тогда сделайте мне одно одолжение, – говорит Уайетт. – Отзовите этого недомерка Эдмунда Боннера. Он потащился за мной из Испании во Францию, и клянусь, в следующий раз, как мы окажемся на корабле, я вышвырну его за борт.

Толстый коротышка-священник – новый любимец короля.

– Мы отправили Боннера помогать вам в спорах с богословами. Думали, он усилит ваше посольство. Мы хотели как лучше, клянусь.

– Я бы лучше жил с крысами в подполе, чем с ним. Ни разу не видел человека, который так легко оскорбляется и оскорбляет. Я вечно за него краснею. Не понимаю, что вы с королем нашли в этом свечном огарке.

Он оставляет вопрос без ответа.

– Не хотите вместо Испании поехать во Францию? Сменить Гардинера. Я желал бы отправить туда послом кого-нибудь из друзей.

Уайетт улыбается как будто растерянно:

– Я ваш друг?

В дверь стучат. Это Дик Персер. Снимает шляпу:

– Хозяин, привезли подарок из Данцига.

Он хлопает ладонью по столу:

– Живой?

– Три живых. Надо надеяться, не все одного пола. Никто из нас не захотел брать их в руки и разглядывать срамные части.

– Я иду, – говорит он. Затем Уайетту: – Мы все обсудили?

– Знали бы вы, сколько долгих пустых дней я разговаривал с вами мысленно…

– Тогда оставайтесь ужинать.

– И долгих пустых ночей, – говорит Уайетт.

Подарки из Данцига – жалкие меховые комки и трясутся как в лихорадке, глазки сверкают злобой.

– Выпустите их в пруд, – в отчаянии говорит он.

Уайетт всматривается внимательно:

– Кто это? Бобры?

– Их не видели со времен наших дедов. Хочу их здесь развести. Рыбаки будут против.

Он пожимает плечами. Люди вечно хотят вернуть прошлое, да только не то, что нужно. Бобровые плотины замедляют реки, склонные к разливу. Человеку не угнаться за бобрами в инженерном искусстве; жаль, что на них вообще охотились.

Уайетт спрашивает:

– Кого еще вы хотите завезти обратно? Волков?

Нам не нужно больше хищников. Не нужны дикие кабаны, хотя охотиться на них увлекательно. Однако нам надо удерживать реки в руслах, надо сажать деревья, если мы намерены рубить их с теперешней скоростью: на купеческие дома, на дворцы знати, на корабли, что дадут отпор папе, императору и всему миру, объединившемуся против нас.

Долгие сумерки. Уайетт говорит:

– В Испании я кое-что узнал. У них есть яд такой сильный, что одна капля делает наконечник стрелы смертельным. Возможно, я сумею добыть его для наших целей.

– Я предпочел бы честное убийство, – говорит он. Ему видится Поль, зарубленный на большой дороге, спутники удирают, как поросята от мясника. – Я думаю рассечь кардинальскую шапку пополам. Раскроить ему башку, как Бекету.

За окном встает английская луна, желтая, словно ломоть банберийского сыра. Уайетт говорит:

– Я должен поехать в Аллингтон и заняться моими делами. У меня нет вашего умения выбирать себе помощников. Моему сыну пятнадцать, и, случись худшее, что я ему оставлю?

– На бумаге вы богаты.

– А, на бумаге… Думаю, не через змея зло вошло в мир, а через бумагу и чернила. На меня так клевещут, шифром и без шифра, что я жду, на этот раз Томас Кромвель выставит меня за дверь. А вы не выставляете.

Он молчит. Уайетт произносит резко:

– Я хочу увидеться с Бесс Даррелл.

– Если Куртенэ у себя в Хорсли, вы можете оказаться там по королевским делам. Она умна и придумает, как вам увидеться днем или ночью.

Уайетт ни разу не упомянул фантомное дитя, спасшее ему жизнь. Но оно ощущается легкой дымкой за плечом Уайетта, там, где прячется ангел-хранитель.

Он встает:

– До вашего отплытия мы больше не увидимся. Желаю вам быстрого плавания. Поминаю вас в своих молитвах.

Они вместе выходят в теплый туманный вечер. У ворот с привратниками сидит Антони. Вид у шута невеселый: грудь впалая, голова опущена, тощие ноги торчат вперед.

– Антони, я думал, ты в Степни. – Потом Уайетту, без всякой надобности: – Это мой дурак.

На Антони профессиональный полосатый наряд с заплатками. Уайетт скользит по нему взглядом. Шут приветственно вскидывает руку, звенят серебряные бубенчики.

Уайетт пускается в обратный путь вскоре после праздника Тела Христова. Двадцать первого июня он пишет из Хита: ветра такие, что ни одни корабль не может покинуть порт. Дуло весь день, и явно будет дуть всю ночь, но назавтра, говорят моряки, ветер уляжется. Надеюсь, рано утром отплывем.

Он, лорд Кромвель, вспоминает их расставание. Глаза Уайетта молили, скажите, что мне не надо возвращаться в Испанию, что вы убедите короля, я сделал все, что мог. Однако Генрих ответил бы: «Это мне судить». Король знает способности Уайетта, умение читать знаки, угадывать противоположное сказанному. Его слово такое, каким и должно быть слово дипломата: прозрачное, как стекло, и зыбкое, как вода.

Уайетт мнит себя искушенным в людских делах, но не понимает, что такое дружба в нынешнем значении слова. Дружба клянется в своей нерушимости, но при смене погоды люди меняют платье. Не каждый продается за деньги; кто-то предаст тебя за ласковое слово большого человека, другие отвернутся от тебя потому, что ты захромал, или оступился, или разок замялся. Он говорит Рейфу и Зовите-меня: обдумывайте каждый шаг, но обдумывайте его быстро.

Император и Франциск в отсутствие английского посла заключили то, что зовут Десятилетним перемирием. Он, Кромвель, добывает копию документа только в июле, и тогда они с другими советниками видят: Англию не ставят ни во что. Уайетт пишет: «Нашего короля оставили позади тележного зада». Он хохочет, воображая Генриха снопом, который забыли на поле.

Мы делаем вид, будто не поверили в перемирие. Зовем его «Десятиминутным перемирием», не десятилетним. Генрих говорит:

– С чего Карл взял, будто Франциск не обманет его, как обманул меня? Он нарушил все древние договоры между нашими королевствами. Французский и английский короли всегда выдавали друг другу мятежников. Почему он не выдает нам Поля?

Он, лорд Кромвель, вздыхает:

– Гардинер плохо защищает наши интересы в этом вопросе. Пора его отозвать.

– Когда вернется, отправьте его в епархию, – говорит король. – Мы не хотим его видеть рядом со своей особой.

Все мои послы меня подвели, сетует Генрих. Знают же, что перемирие угрожает нашим интересам, но не сумели его предотвратить.

– Фрэнсис Брайан обещался убрать Поля. Но он нас разочаровал. И вы тоже, Кромвель.

Если перемирие сохранится, мы в опасности. Карл всегда видел себя завоевателем Константинополя. Однако куда проще завоевать Англию, а с поддержкой Франции это будет быстро и дешево. Только вспомнить, сколько друзей лишь и ждут высадки императора: древние роды, Плантагенеты с их армиями вооруженных вассалов, Поли, Куртенэ.

Император обвел вокруг пальца Уайетта. Император и Франция обвели вокруг пальца Англию. Генрих в ярости. Утешить его может лишь богословие.

Приезжает делегация от немецких князей в надежде на дружбу и компромисс, который объединит наши церкви против дьявола и папы. Среди королевских переговорщиков Роберт Барнс. Барнс знает немцев; они частенько угощаются вместе. Однако среди переговорщиков и Катберт Тунстолл, епископ Даремский; его вытащили из северной епархии, дабы усилить тех, кто говорит: «Помедленнее, помедленнее, иногда лучше ничего не менять».

Тунстолл – ушлый малый. Больно видеть, как король к нему благоволит, советуется с ним, переезжая из поместья в поместье; немцы немцами, но охота важнее. Беттс говорит, мы позволим королю ездить верхом, пока может. Однако Беттс отправляет врача в каждый дом, где король намерен остановиться.

Лютеране говорят Генриху, ваше величество знает, что мы объединились в лигу. Это не для того, чтобы на кого-нибудь напасть, только для защиты от императора. Если вы в нее вступите, то станете нашим главой, мы объявим вас протектором конфедерации.

Все лето идут переговоры, Рейф Сэдлер ведет протоколы и показывает их королю. Он сам, Томас Кромвель, держится в стороне от неуспешной затеи. Король никогда не согласится, что священникам можно жениться или что миряне должны причащаться и хлебом, и вином. Мы не можем прийти к согласию о природе Христова Тела, что факт, а что аллегория, что человеческое, а что божественное. Можно ли запечь Бога в хлеб? Почему мы не слышим хруста Его костей, когда едим облатку? По-прежнему ли он Бог, когда переваривается в наших кишках? А если его съест собака, будет ли он по-прежнему Богом?

Тело Христово – чудо. Таинство. Освященная облатка содержит твоего Бога, живого, вино – его кровь. Не надейся понять, но ты должен в это верить. А если не веришь, молчи, иначе заплатишь жизнью.

Немцы недовольны, жалуются, что в доме бегают крысы, а спальня рядом с кухней, так что одежда пропахла дымом и паленым жиром. Он мог бы поселить их у себя, но не станет этого делать, потому что с братом Мартином далеко не уедешь. Он посылает молодых людей учиться в Цюрих, к тамошним ученым богословам. Хью Латимер говорит, английский Бог совершает все, а Томас Кромвель – Его орудие. Однако он думает о главном – об английской Библии. Через нее Бог говорит с тобой, как говорили отец, мать и нянька, а если не умеешь читать, тебе ее прочтут на том же родном и близком языке.

Король дал разрешение; осталось только напечатать и распространить. Библия должна быть в каждом приходе, там, где всякий сможет ее прочесть. Нужны не десятки, нужны тысячи экземпляров. Его друг Майлс Ковердейл взялся вносить поправки, думая печатать Библию в Париже. Французские печатники самые быстрые. Однако инквизиция действует и там.

В прежние времена он напечатал бы тираж в Антверпене, но это земли Карла, а у Карла приступ кровожадности. Сидишь с его послами, Мендосой и Шапюи, за вкусным ужином, за музыкой и разговорами о книгах. Однако не забывай: в Империи закапывают женщин живьем.

Когда в сентябре уезжают немецкие богословы, король на прощанье всячески восхваляет их ученость и благочестие. Ждем вас снова, говорит Генрих, двери открыты. В этом месяце он, королевский викарий, вводит новый церковный устав. Запрещает паломничества. Запрещает звон «Ангел Господень», под который люди преклоняли колени в полях. Запрещает жечь свечи перед статуями и живописными изображениями. Сами изображения остаются, кроме идолов, которым крестьяне подносят ячменные лепешки и эль, и размалеванных красногубых Богородиц, которые носят серебряные туфельки, когда простые женщины ходят босиком.

Той же осенью он вводит счет людей. В каждом приходе должны появиться книги для записи крещений, свадеб и похорон. Отныне его соотечественники будут знать, кто они и где родились, кто их двоюродные братья и как звались их деды. У дядюшки Норфолка и других пэров есть геральдисты, которые расскажут им родословную. У Полей, Куртенэ и Веров есть гербы и девизы. Их предки похоронены под собственными изваяниями, и даже до того, как дворяне научились читать, прикормленные священники записывали историю их жизни. Однако мясник и пахарь, пастух и подмастерье башмачника знают о предках не больше, чем если бы выросли в лесу, как поганки.

Друзья спрашивают, есть ли новости из Антверпена, от вашей дочери?

Он меняет разговор, не хочет говорить о Женнеке. Думает, я, может, и не ахти какой отец, но Женнеке знает, как меня найти. И если она мне напишет, письмо до меня доберется – люди Воэна отправят его кратчайшей дорогой. Однако имя Кромвеля ей не защита, скорее наоборот, а ее вера – если она верит, что близок конец света, – опасна и для него, и для всей его родни.

В разгар лета он сопровождает короля в поездке по Кенту. В Дувре они встречаются с лордом Лайлом – тот приехал выпрашивать у Генриха аббатства.

– Поговорите с Ричем, – устало говорит король.

– С Ричем?! – восклицает лорд Лайл. – В жизни не встречал человека с такими бездонными карманами! Он хочет шиллинг за то, чтобы сказать тебе «доброе утро»!

– Он юрист, – отвечает король, – а как им иначе заработать свои шиллинги?

Король накоротке с Лайлом, которого помнит добрым дядюшкой времен своей юности. Однако годы выбелили плантагенетовскую рыжину Лайла, и сам он потускнел от времени.

– Ну, Кромвель, – Лайл охлопывает себя, будто ищет для него шиллинг, – я получаю ваши письма каждый день, а видимся мы нечасто, да?

– Увы, – отвечает он. – Надеюсь, здоровье ее милости восстановилось?

Лайл выдавливает скорбную улыбку:

– Живот наконец втянулся. Бедняжка, она так убивалась.

– Я хочу купить ее земли в Пейнсуике, – говорит он. – Предложу хорошую цену.

Лайлу забавно это слышать.

– Вы решили прихватить и кусок Глостершира, да? Сассекса вам мало. Ваше величество, неужто этих выскочек ничто не остановит?

– Надеюсь, – отвечает король. – Я на них рассчитываю.

Лайл покачивается на каблуках:

– Я не знал, что мы продаем те земли.

Король по-мальчишески хохочет:

– Вы много чего не знаете, дядюшка!

Генрих настроен миролюбиво, хоть и собирается строить форты. Говорит, я готов беседовать с кем угодно, разговоры ничего не стоят, если только это не встреча королей, и даже в таком случае, предлагает Генрих Франциску, можно устроить все скромно: почему бы нам не встретиться неподалеку от Кале? Король по-прежнему рвется смотреть французских невест. Может, Франциск привезет с собой нескольких на выбор?

Франциск сухо отвечает, что не видит смысла во встрече. Генрих говорит:

– Кромвель, Франциск нарушает договор. Он задолжал мне пенсион за четыре года. Скажите французам, если они не заплатят, я к ним вторгнусь.

Встревоженные советники бегут за ним:

– Кромвель, не говорите им ничего подобного!

На следующий день король требует к себе Шапюи. Обсуждаются многочисленные браки: если Мария выйдет за дома Луиша, мы не только дадим в придачу Элизу, но и согласимся выдать леди Маргарет Дуглас за кого-нибудь из союзников императора – может быть, в Италию. Еще король предлагает Мэри Фицрой, вдову своего покойного сына. Шапюи и Мендоса приглашены в Ричмондский дворец провести день с леди Марией. Мария вновь играет на лютне. Шапюи докладывает: «Она тепло отзывается о своем друге Кремюэле» – и шепотом, с улыбкой добавляет: «Она убеждена, что вы спасете ее от любого нежеланного жениха».

С этим визитом дела Мендосы в Англии закончены. Король дает для посла прощальный обед.

– Император оплатил ему лондонские издержки, – ворчит Шапюи. – И, без сомнения, щедро его вознаградил. А я месяцами не получаю ни пенса и вынужден влезать в долги.

Однако теперь имперские и французские послы встречаются и сравнивают наблюдения. И не только о скупости своих владык, но и об играх английского короля и его министров. Они говорят, наши государи теперь союзники, так почему же нам не объединиться?

– Нам сообщили новости о принце Эдуарде, – говорит Кастильон. – Сказали, у него четыре зуба. Кремюэль, мы напуганы.

Король говорит, скажите послам, что я начинаю переговоры с герцогом Клевским по поводу его сестры. Давайте немного расшевелим их, напугаем. Путь видят, Кромвель, что брак с Клеве сулит мне большие выгоды.

Нашему принцу скоро год, пора назначить ему воспитательницу. Покончив с этим, он садится с мастером Ризли распределять королевские доходы. Ему нужно двадцать тысяч марок на ремонт портов и укреплений. Ради бедных и больных Генрих должен взять на себя попечение о бывших монастырских больницах – это еще десять тысяч марок. И он хочет попросить пять тысяч марок на починку дорог – дать подкормиться тем, кто без работы.

– Вы от этой мысли не отказываетесь, – замечает Ризли.

Он уже предлагал это парламенту и не получил поддержки. Король настроен более благожелательно. Государю пристало заботиться о бедняках, о том, чтобы те могли жить честно. Хотя, возможно, говорит он мастеру Ризли, король Артур себя таким не утруждал. В те дни замки ремонтировались сами, а каждый нищий был переодетым Христом.

Наш человек в Брюсселе, Хаттон, скончался. Король говорит, пусть мастер Ризли поедет туда, поможет вдове уладить дела и вернуться в Англию, а сам постарается войти в доверие к императорской наместнице, королеве Венгрии. Наместница любит пригожих мужчин, а мастер Ризли и пригож, и красноречив. И Гансу пора вновь собираться в дорогу. С ним отправляется Филип Хоуби, один из королевских джентльменов, изображать влюбленного от имени своего монарха. Он должен расписать достоинства Генриха: щедрость, милосердие, миролюбивый нрав. Достаточно ли Хоуби подготовлен? Он, Кромвель, отводит его в сторонку:

– Филип, когда будете беседовать с дамами – французскими, имперскими, не важно, – делайте вид, будто от первого взгляда на их красоту утратили дар речи. Отводите глаза, будто ошеломлены, растеряны, затем медленно, медленно, точно скованы робостью, поднимайте взор.

– Ясно, – говорит Филип Хоуби.

– И тут же снова отводите взгляд. Но на сей раз с великой неохотой. Опустите глаза, Филип, гляньте на свои башмаки и глубоко вздохните.

Филип невольно вздыхает.

– Затем вы, запинаясь, произносите положенные учтивости. И снова теряетесь. Охлопываете себя – «Ах, вот оно!» – и трепещете всем телом. Достаете письмо. Пальцы у вас не гнутся. Вы читаете: «Мой господин говорит…» – и так далее, «Наш совет полагает…».

– Все время теряю нужную строчку, да?

– Затем отбрасываете презренную бумагу. Выпаливаете: «Мадам, я должен сказать. Люди говорят о блеске ваших глаз, о прелести ваших губ, о безупречности вашего юного лица. Однако их слова и в малой степени не передают того очарования, которое я сейчас имею честь лицезреть». И тут вы прикладываете руку к груди. Она должна почувствовать: «Ах, посол в меня влюблен!» Она улыбнется вам. Пожалеет вас. Смущайтесь, но говорите со всей искренностью: «Увы, мэм, мне, смиренному, нельзя о вас даже мечтать, однако я утешусь, если увижу вас королевой Англии – супругой столь благородного, столь могущественного, столь кроткого государя». Покуда она очарована, действуйте быстро. Пусть согласится позировать для портрета.

– И зову Ганса, – говорит Филип. – Понятно.

Он хлопает Филипа по плечу:

– Я в вас верю.

Рейф говорит:

– Теперь, когда я знаю, как обстряпываются такие дела, мне удивительно, что у вас самого жены нет. Что у вас нет тысячи жен.

Под конец лета он едет в Льюис навестить Грегори и внука. Из-за чумы король не смог погостить у Грегори, да и сам Грегори с домочадцами вынужден переселиться из аббатства. Впрочем, в округе хватает просторных и тихих усадеб. Малыш здоров. Брак, насколько можно судить, счастливый. Бедняжки Джейн нет, однако ее сестра сохраняет свое значение. Юному принцу нужны хорошие дядья и защитники: Эдвард Сеймур по-прежнему советник, его брат Том состоит при короле.

Если Грегори и думает про недоразумение из-за молодой жены, то никак этого не выказывает. Отец и сын по вечерам катаются верхом, солнце висит над холмами идеально круглым малиновым шаром. Небо – зеркало, по которому скользит солнце, свет без теней, как на заре мира. Болтовня Грегори затихает; скрип седел и дыхание лошадей как будто приглушены, так что они едут в тишине, четкие на фоне серебра, высокие на фоне неба; холмы тают в дымке; он едет в никуда, в пустоту, где нет ничего, кроме воспоминаний. Он думает о знакомых, умерших на костре, как об упавших в солнце. Маленький Билни, упрямый и угрюмый Тиндейл, молодой и нежный Джон Фрит.

Когда они возвращаются ужинать, сумерки уже сизые, как голубиное крыло. Он оставляет лошадь слуге и делает лицо для посторонних. Надо принимать эссекскую знать и утром, и вечером. Бесс – опытная хозяйка, она исполняла

эту роль еще при первом муже. Грегори оживлен, разговорчив, но по-прежнему хочет слушать и учиться, часто задерживает взгляд на отцовском лице.

– Жаль, Ричарда здесь нет, – говорит Грегори.

Однако Ричард, приросший несколькими аббатствами, занят обустройством дома в Хантингдоншире. Ближе к ноябрю, думает он, Ричард понадобится мне самому, помогать в Тауэре.

В конце августа он берет под стражу Джеффри Поля, младшего в роду. От Джеффри ждут неприятностей все – семья, государь, он сам.

Он не торопится допрашивать Джеффри. Того разместили в Тауэре со всей роскошью, приличествующей королевскому родственнику. Уж наверное, Реджинальд Поль угадает, что говорит ему этим Кромвель. У Реджинальда еще есть время спасти близких – вернуться в Англию и предстать перед Генрихом лицом к лицу.

Он тем временем сверяется с бумагами и с памятью. Читает донесения близких к Полям людей – капелланов, слуг, гонцов. Перебирает документы тех времен, когда в Кенте объявилась лжепророчица и Куртенэ ее привечали. Прочесывает записи своих разговоров с Фрэнсисом Брайаном, сделанные два года назад, когда Брайан сидел в Тауэре. Брайан – сокровищница намеков, малейшее его слово – кладезь подсказок для подозрительного ума.

Он задумал уничтожить два древнейших и знатнейших английских рода. У них земли по всем южным и западным графствам. Если император вторгнется, то посадит на трон кого-нибудь из них: либо Монтегю, брата Поля, либо Генри Куртенэ, маркиза Эксетерского. Если они решат сделать королевой Марию, то ради ее матери; выдадут ее за кого-нибудь из членов семьи, превратят в марионетку, танцующую между ними.

Английские вельможи возводят свой род к императорам и ангелам. Для них Генрих Тюдор – сын валлийского конокрада, выскочка и самозванец. Присягу, данную такому человеку, нарушить не грех.

В начале июля в Кентербери они с королем смотрели новую пьесу о Бекете, написанную его человеком, Джоном Бойлом, и поставленную труппой лорда Кромвеля. Некоторые актеры в ней из бывшей труппы Болейна. Есть и молодые актеры, которые не боятся новых сюжетов; они неподвластны суевериям, им не страшно вложить новые слова в уста мертвых.

Бекет – английский святой, более родной и близкий, чем святой Георгий. В отличие от некоторых уничтоженных этим летом святых он жил на самом деле, был лондонцем, уроженцем Чипсайда. Накануне его рождения матери приснилось, что сквозь ее тело протекает Темза. Во сне она видела, что младенец уже родился и лежит на пурпурном одеяле, смотрит в потолок; одеяло развернулось само собой, заполнило всю кровать, заполнило всю комнату; мать пятилась, держа его за край, пока не оказалась на краю вселенной, среди луны и звезд.

Некоторые говорят, мать Бекета была сарацинская царевна, но, скорее всего, она была дочерью суконщика. Ее сын, никто по рождению, милостью короля стал лорд-канцлером, а затем и архиепископом. Однако, возвысившись, он запрезирал государей, веря в старую ложь, будто папы выше мирских владык, а священники выше закона. Когда король возмутился, четыре верных рыцаря отправились в Кентербери указать Бекету на его ошибки.

Эти рыцари оставили оружие под смоковницей и вошли к архиепископу с пустыми руками. Однако тот принял их заносчиво и не внял убеждениям. Рыцари ушли и вернулись с оружием, гремя латными башмаками по каменным плитам. Бекет мог бы укрыться на колокольне или в крипте, но остался стоять у алтаря святого Бенедикта, ожидая смерти.

Один из рыцарей ударил его мечом плашмя и велел убираться с освященной земли. Однако Бекет, воздев руки и возведя очи к небесам, поклялся, что умрет на этом месте. От первого удара потекла кровь, и архиепископ вытер ее рукавом. Второй удар рассек голову. Архиепископ рухнул на колени и упал лицом вниз. Ричард де Бретон мечом снес ему верхнюю часть черепа, а сэр Хью де Морвиль, поставив ногу на шею умирающему, выгреб его мозги и размазал по плитам с разумными словами: «Теперь-то он больше не встанет».

Как только горожане узнали про убийство, они сбежались в собор, голося и осыпая рыцарей проклятьями. Монахи уложили тело в каменный гроб и спешно похоронили, однако отметили место, где умер Бекет. Чудеса начались через два дня. Сухие руки задвигались, калеки пускались в пляс. Жаркое, словно дьяволов пердеж, слово понеслось по Европе, будто негодяй – мученик за на нашу святую матерь церковь, хотя на самом деле он был мучеником собственной гордости. Через два года папа объявил его святым. Начался спрос на реликвии. Кровь Бекета, разбавленную так, что от нее остались одни воспоминания, продавали по всему известному миру. Место, отмеченное монахами, стало святилищем. Даже вши из его власяницы считались чудотворными. Через пятьдесят лет после убийства мощи Бекета поместили в новый роскошный реликварий за высоким алтарем. Вскоре верующие оковали ящик золотом и украсили драгоценными каменьями. Французский король пожертвовал рубин размером с куриное яйцо. Королева Екатерина часто совершала паломничество в Кентербери. Император Карл молился перед этими костями.

Что до рыцарей, они явились в Рим с покаянием. Папа отправил их в Святую землю, зная, что живыми они оттуда не вернутся. Бекет был мстительным при жизни и остался таким после смерти. В кентском городке, где над ним смеялись, целое поколение детей родилось с хвостами. В другом месте, где о нем отозвались уничижительно, исчезли соловьи, и по сей день никто там не слышит их пения, ни влюбленные, ни поэты.

Каждый год кентерберийцы разыгрывают смерть Бекета в монашеской версии, поскольку другой до сих пор не было. На улицах собираются толпы, взволнованные, как будто на сей раз события будут развиваться иначе. Торговцы продают горячие пирожки. Идет процессия с дудками и барабанами, затем начинается действо. Актеры, играющие рыцарей, получают два пенса и пиво, а тот, что играет святого, – целый шиллинг, поскольку ему приходится туго: рыцари швыряют его на каменные плиты, как швырнули старика-

архиепископа. Когда Бекет взывает к Богу, спрятанный за алтарем мальчишка брызгает на сцену свиной кровью. Актера уносят. Потом все напиваются.

Сентябрь. Он сам, лорд Кромвель, приезжает в Кентербери и собирает наиболее влиятельных горожан. Времена для вас непростые, джентльмены, однако вы должны понимать, что король ненавидит вашего святого. И если вы хотите сохранить привилегии, то в доказательство своей верности не допустите беспорядков. Да, вы потеряете доходы, потому что паломничества прекратятся. Но, джентльмены, развивайте торговлю; нечего рыдать у меня на плече, ваши края дают прекрасную шерсть, и у вас близко порты. Вы не можете сохранять этот возмутительный позор только из-за того, что тысячи заморских паломников являются на него глазеть.

Город полон. Он остановился у приора, однако все гостиницы – «Морская свинья», «Дельфин и митра», «Солнце», «Корона» и «Чекерс» – забиты до отказа. В «Быке» заняты даже самые плохие задние комнаты, выходящие на убожество Батчери-лейн. Монахи вняли предостережениям и не противятся. Они рады и тому, что приорат не закроют, вернее, король учредит его заново. Гробница Бекета – не первая вскрытая рака. Процедура уже отработана: ободрать драгоценные металлы и камни, оценить, организовать их доставку в королевскую казну. Затем перезахоронить якобы святого в приличном, но неприметном месте.

Погожая осенняя ночь. Приор Голдуэлл попросил избавить его от участия в эксгумации и ушел спать. Викарий короля по делам церкви и его спутники сидят у камина до раннего утра. Когда заканчивается всенощная и должны начаться часы перед обедней, он кивает своему порученцу, доктору Лейтону.

Молодой монашек ведет их короткой дорогой к месту погребения. За ними запирают замки, опускают засовы. Впереди огромный неф, черное гулкое пространство, где он поставил людей с собаками. Слышно, как те часто дышат и скребут когтями, натягивая поводки. Это мастифы, их челюсти внушают ужас. Если кто-нибудь сюда проникнет, псы сразу повалят его на пол. «Махач! – кричат псари. – Крепыш! Алмаз! Джек!»

Монахи, вошедшие первыми, зажгли у гробницы факелы. Он идет на свет. Пересчитывает свидетелей: писари Лейтона, избранные горожане. Важно, чтобы все были на виду, не жались по темным углам.

– Спустите собак.

В мгновение ока темнота наполняется рычанием.

– Господи Исусе, – говорит Кристоф, – они как неприкаянные демоны.

Он в темноте берет мальчишку за плечо:

– Держись ближе ко мне.

Даже француз знает легенду об этом святилище. А теснящиеся рядом горожане – представители гильдий, олдермены – и вовсе с детства слышали истории о

тех, кто проявил неуважение к мощам святого и был поражен чумой или проказой, а то и умер в муках на полу, удавленный незримой веревкой.

– Мы готовы, – говорит он.

Подходит монах, и он замечает отблеск металла. Рука тянется за пазуху, к кинжалу. Однако, когда монах выходит на свет, становится видно, что это не оружие, а череп Бекета. Монах кутает его в свою одежду, словно мерзнущего щенка.

– Давай сюда, – говорит он.

Раздробленные кости черепа соединены серебряной шапочкой. Губы тысяч паломников лобызали эту реликвию, однако он – клиент проститутки, которому некогда целоваться. Он подносит Бекета к лицу, заглядывает в пустые глазницы. Поворачивает в руке, смотрит на то место, где череп отрублен от хребта. Нигде не записано, что рыцари отрубили Бекету голову. Это сделали позже его почитатели.

– Поглядим на остальное? – спрашивает доктор Лейтон.

Теперь, когда золото и драгоценные камни сняты, на плитах стоит железный сундук, какими наши предки пользовались спокон веков. Он проводит рукой по крышке – обычная ржавчина.

– Господи, Лейтон, – говорит он, – монахи упустили такую возможность. Могли каждый год соскребать ржавчину и продавать ее дороже порошка из единорога.

– Подержите фонарь, – говорит Лейтон.

Сундук запечатали свинцом.

– Проверим, цела ли пломба.

Работник наклоняется и проводит пальцем по запечатанному шву. Доктор Лейтон садится рядом на корточки:

– Могу поклясться, что его не открывали много лет, милорд.

Они боялись, что какой-нибудь непокорный монах украл кости, что их отправили с гонцом в Рим или упрятали в чью-нибудь частную мощницу до возвращения старых времен. Но если сундук не вскрывали…

– Я мог бы остаться на своей пуховой постели.

– Я бы ни за что не упустил возможность увидеть все самому, – говорит доктор Лейтон.

Работник выпрямляется:

– Снимать крышку, господа?

Монах шепчет:

– Господи, спаси и помилуй.

Часть зрителей пятится.

– Далеко не уходите, не то собаки вас разорвут, – предупреждает он.

Работник – каменщик и принес свои инструменты. Он думает: их изготовил кузнец. Какой-то безымянный кузнец три века назад расплавил свинец и сделал пломбу, которую мы сейчас сломаем. Он говорит, дай нам долото. Берет инструмент, пробует пальцем острый конец, возвращает. Некоторые кузнецы не умеют делать долота и резцы – их приходится править после каждой работы. Уолтер говорил, жди, жди, жди, пока цвет из вишневого не станет пепельным. Все решают последние три удара молотом.

Каждый удар отдается звоном. Раз, два, три. Он бы сам вскрыл сундук, но должен хранить достоинство королевского викария по делам церкви, Кромвеля Уимблдонского, лорда – хранителя малой королевской печати. Рыцаря ордена Подвязки.

Каменщик выдыхает и встает. Он обходит сундук и опускается на колени, командует:

– Еще факел.

Пламя колышется, за спиной кто-то кричит: «Наверху!»

Он разворачивается черным вихрем мехов и бархата. Псы оглушительно лают. Высоко над головой в воздухе колышется тень. Виден край крыла – очертания огромной птицы или летучей мыши.

Монахи в капюшонах бросаются на колени. Кто-то падает и грохается головой о плиты. Он требует еще света. В нефе мечутся фонари. Псари плетками отгоняют собак. Кристоф чертыхается. Высоко под куполом, на лесах, каменщик забыл куртку. Она плещет рукавами, будто плывет в черном воздухе.

Упавшего хлопают по щекам и ставят на ноги. Он трясется. Его уводят двое других свидетелей, которые теперь много лет будут развлекать знакомых этой историей. Кто-то неуверенно смеется.

– Надеюсь, это не твоя куртка? – спрашивает Лейтон у каменщика.

Тот мотает головой. Не будь в руке долото, перекрестился бы.

– Клянусь святой Варварой, оно двигалось, – восклицает монах.

Он мягко произносит:

– Господа, как вы видите, там всего лишь одежда.

И это англичане? Победители при Азенкуре? Страх блохами скачет по коже. Кто-то приносит лестницу и тычет в куртку длинным шестом, словно в повешенного.

Он говорит каменщику:

– Продолжай, любезный.

Еще три удара. Каждый отдается во всем теле, так что екает сердце.

Сдвигают крышку. Из-под нее бьет вонь, смрад, точно из чумной ямы. Это как удар дубиной по голове. Все пятятся. У него в кармане фляжка аквавита. Он делает глоток и передает фляжку Кристофу. Мальчишка отпивает, давится кашлем.

– Обжигает, – с благодарностью говорит Кристоф. – Почему вы не давали мне этого раньше?

– Я готов, – произносит каменщик. – Поможете мне, господа?

Раз-два-три: они с каменщиком сдвигают крышку и кладут на пол. Доктор Лейтон заглядывает ему через плечо. В темноте монахи топчутся, шмыгают носом и молятся вслух.

В сундуке человек бы не поместился. Ребер нет – если только ребра не тот прах, что сыплется сейчас между его пальцами. Длинные кости – берцовые, бедренные, локтевые и плечевые – сложены квадратом. А в центре квадрата – череп.

Каменщик восклицает:

– Боже милостивый! Я, сэр? Или вы?

– Ты, – говорит он. – Подними так, чтобы все видели. Если это сделаю я, мне не поверят. Скажут, это ярмарочный фокус.

Каменщик поднимает череп над головой. Свидетели ахают. Собаки рычат. Их силуэты мелькают в темноте. «Лежать, лежать!» – кричат псари. И только курточный человек парит с прежней невозмутимостью.

Что ж, говорит Лейтон, либо оправленный в серебро череп Бекета, либо этот. Не бывает двухголовых святых.

Смрад понемногу рассеивается, а может, растворяется в общей вони: холодного пота, кислого утреннего дыхания. Он готов поклясться, что кто-то из монахов обмочился – или, скажем, кто-нибудь из псов в нефе. Он уже различает их упругие мускулистые тела, открытые пасти и вываленные языки. Вертит череп в руках, ощупывает макушку, продевает пальцы в раздробленные глазницы.

– Так откуда эта вторая реликвия?

Если это череп Бекета, то кто безымянный бедолага в серебряной шапочке, целованный после смерти больше, чем в жизни? К чьей голове прикладывались губами принцессы? Умер ли он от лихорадки? Подавился сливовой косточкой? Как все было? Монахи сказали: «Он ничей, сделаем из него Бекета»? Потом вытащили труп во двор и порубили топором?

Он кладет череп в сундук между скрещенными костями и замечает вслух: все здесь сплошной обман. Мы даже не знаем, Бекета ли эти кости. Может, тут смешаны несколько скелетов.

Как же похолодало: будто год перемахнул разом от листопада к Рождественскому посту. Лейтон трет замерзшие руки:

– Мы закончили, милорд? Я опишу все, что мы обнаружили. Я видел это собственными глазами.

Колокол звонит к ранней обедне. Когда они выходят наружу, видны морозные облачка дыхания. В небе бледнеют звезды.

– Милорд Кромвель, – говорит один из монахов, – мы приготовили…

– Другая могила не понадобится. Король велел отвезти кости ему.

Монах вытаращивает глаза, и только монастырская выучка не дает ему разрыдаться от отчаяния.

– Его не перезахоронят здесь?

– Снимите серебро с черепа, – говорит он. – Взвесьте и внесите в опись. Остальное положите в сундук вместе с другим черепом и прочими черепами, какие тут объявятся; я не удивлюсь, если у подлого изменника было шесть голов. Сундук я сегодня заберу с собой. Отдайте его мсье Кристофу. Запечатывать не надо.

Собак уводят – они скулят и ворчат, но все-таки виляют обрубками хвостов. После ночи они ждут не дождутся завтрака. Мы тоже, если сумеем откашлять ядовитую вонь.

– А дайте мне еще хлебнуть? – просит Кристоф.

Он протягивает фляжку, говорит: «Можешь не возвращать». Затем тянет Кристофа к себе и шепчет ему в ухо:

– Кости отвезешь в Остин-фрайарз. Если кто-нибудь спросит, где они, скажи, их погрузили на телегу и больше ты их не видел.

Он думает, кости надо держать под рукой, чтобы вытащить сразу, как потребуют. Сейчас король ненавидит и презирает Бекета, однако может передумать и вновь объявить злодея святым. Печально, но в такое время мы живем.

В этом месяце король одобрил новые постановления. Надо читать Библию, люди должны учить заповеди и Символ веры, священник должен мало-помалу наставлять их каждую неделю.

– Но, милорд Кромвель, – говорит король, – не лишайте моих людей привычной церкви. Оставьте те образы, что достойны почитания. Сохраните все достойные обряды. Не пугайте моих подданных новыми чуждыми порядками.

Немцы говорят: «Кромвель, мы знаем, что вы на нашей стороне, пусть даже вы осторожничаете». Хью Латимер говорит: «При вас за пять лет назначили на важные должности больше честных людей, чем за предыдущие сто». Томас Кранмер говорит: «Вы отдали ради Евангелия все, рисковали всем, что у вас есть». Роберт Барнс говорит: «Что, если король испугался?»

Их голоса эхом отдаются в голове. Он уходит, чувствуя себя бесконечно усталым и разбитым. Где-то сегодня моя дочь Женнеке? Ощущение, будто он сам осушил фляжку. Вспоминается давний-предавний день: он на заре идет в Патни. Видит себя будто с качающихся древесных крон, маленькую фигурку в бледном свете, с привкусом рвоты на языке.

Октябрь приносит Стивена Гардинера; тот прикатил из Дувра со всеми пожитками и знает, что король на него гневается. Бесс Даррелл по разговорам, подслушанным в папистских домах, доносит, что кто-то в нашем французском посольстве весь прошлый год извещал Реджинальда Поля, где того подстерегают. Хорошо бы оказалось, что предатель сам Стивен. Епископ неизменно отстаивал верховенство короля в церкви. Однако все, знающие Гардинера, убеждены, что тот говорит одно, а думает другое.

Хорошо, что удалось три года удерживать Стивена Гардинера вдали от Англии. Теперь он поручает Боннеру, нашему новому послу, перебрать бумаги Стивена на предмет измены. Боннер рьяно берется за дело. Чтобы придать ему веса, его сделали епископом Херефордским, и он едва верит своему счастью. Шлет из Франции ликующие письма, пересыпанные тем не менее обидами и жалобами в таких цветистых выражениях, что лорда – хранителя малой королевской печати разбирает смех. Мой предшественник, пишет Боннер, затягивал передачу дел и оставил после себя список посольских гостей, из которого видно, что он привечал папистов. А за обедами часто говорил, как король примирится с Римом, не теряя лица, и как он, Стивен Гардинер, епископ Винчестерский, этому поспособствует.

– Смотри! – Он протягивает Рейфу письмо от Боннера.

Какие же эти люди гусеницы, сжирающие все на своем пути, жиреющие на королевских милостях, прогрызающие дыры в общественном благе! Они закукливаются в пыльных углах и когда-нибудь выберутся из коконов во всей кричащей пестроте католических облачений.

Боннер жалуется и на Уайетта. Уайетт был груб с ним в Испании, невыносим в Ницце. Держался скрытно. Проявлял беспечность в опасности. Уайетт ведет расточительный образ жизни, к нему постоянно шастают шлюхи. И еще, утверждает Боннер, Уайетт не простил королю своего заточения в Тауэре два года назад и часто высказывает свою обиду вслух.

Он склонен этому верить. Он находит это естественным. Чернильной крысе Боннеру не понять такого, как Уайетт, свободного в делах и поступках. Ричард Рич говорит, я всегда удивлялся, что Уайетта назначили послом; он как будто из былых времен, когда кавалеры напропалую сорили королевскими деньгами и никто не требовал с них отчета.

Фрэнсис Брайан вернулся в Англию при последнем издыхании. Король вычеркнул его из числа своих джентльменов, хотя Брайан и клянется, что предавался излишествам исключительно по долгу службы. Родственники увезли его в провинцию, откуда он пишет лорду Кромвелю слезные просьбы о заступничестве.

– А ведь вам будет его не хватать, – замечает Ричард Кромвель. – Всякий раз, как вы не знаете, что делать, вы говорите: «Взять под стражу сэра Фрэнсиса Брайана!»

Он ничего против самого Фрэнсиса не имеет и Наместником Сатаны называет его любя. Гадко, что люди просят места Брайана, хотя тот еще не умер. Он пишет Брайану письмо с пожеланиями выздороветь и просит доктора Лейтона отправить тому превосходных груш, которые доктор Лейтон выращивает в своем ректорате в Хэрроу-на-Холме.

Мастер Ризли по пути через Антверпен отвез Женнеке его письмо. Ответа нет, чему он нисколько не удивлен: если она видит опасность, то не станет рисковать. Он думает о ней, видит ее сидящей под шпалерой, на которой выткана ее мать; яркая картинка на странице, в то время как Ансельма – выцветший текст. Ее приезд отмечает место в книге его жизни – книге, рассыпающейся на листочки. Печатники умеют читать в зеркальном отражении. Это их работа. У них ловкие пальцы и острое зрение. Однако открой любую книгу, и увидишь, что некоторые буквы перевернуты, некоторые перепутаны местами.

Ноябрь. Праздники Всех Душ и Всех Святых. За последние три дня Уильям Фицуильям шесть раз посещал Джеффри Поля в Тауэре. Фицуильям не пытал Джеффри, однако намекнул на такую возможность. После первого допроса арестант как-то раздобыл нож и пырнул себя в грудь.

Племянник Ричард едет к арестанту. Присоединяет свои уговоры к уговорам Фицуильяма. Просто расскажите нам все, облегчите душу и молите короля о милости. Не ждите, когда сюда приедет мой дядя.

Наконец приезжает он сам, лорд Кромвель:

– Как сегодня Джеффри?

Тюремщик Мартин отвечает:

– Для человека с раной в груди вполне сносно.

Врача пригласили сразу, тот сказал, рана пустяковая, через неделю и следа не останется. Вызвали жену Джеффри, леди Констанцию. На обратном пути в лодке она рыдала и твердила, что Джеффри погубит всю семью. Фицуильям сказал: «Надо допросить Констанцию в совете, она определенно много знает. Но пусть с ней прежде побеседует лорд – хранитель малой печати, он знает подход к женщинам».

Все эти недели никто Джеффри не оскорблял, все обращались к нему почтительно. Однако с началом допросов его привилегии урезали. В камере

чувствуется запашок. Джеффри не ест, щеки запали. При виде посетителя он кое-как поднимается с постели. Вежливость или испуг?

– Кромвель, – говорит Джеффри.

– Я слышал, вы себя порезали. – Он качает головой. – Господи, Джеффри, о чем вы думали? Вам надо снова лечь, или можете сидеть?

Джеффри с сомнением глядит на табурет, словно подозревая подвох. Мартин помогает ему сесть.

– Приходил Фицуильям, – говорит Джеффри. – С пятьюдесятью девятью вопросами. Кто составляет пятьдесят девять вопросов? Почему не шестьдесят? У него был заранее подготовленный лист, на котором надо писать между строк. Я сказал себе, это какая-то хитрость Кромвеля.

Надо же, разграфленной бумаги испугался. Для Джеффри это такая же загадка, как гептаграмма или другая магическая фигура.

– Так делают просто для удобства писарей, – объясняет он и садится напротив Джеффри, подбирая полы одежды. – Помогает вписывать дату и место, имена тех, кто присутствовал при изменнических разговорах или совершал изменнические действия. Для нас это удобно, если речь идет о крупном заговоре. Особенно если злоумышленники между собой в родстве и носят одну фамилию. Помните святую девственницу? Мы записывали ее допросы на таких же листах.

– Бартон? Вы до сих пор мусолите ту историю? Бартон повесили.

Наконец-то Джеффри вышел из оцепенения. Руки на столе дрожат.

– Да, она благополучно в могиле, – говорит он. – Бедная деревенская простушка, которая и не думала бы об измене, не соблазни ее кентерберийские монахи. Она пророчила смерть королю и тогдашней королеве. Мне тоже пророчила. Мы все прокляты и умрем, говорила она, – я, мои племянницы, девушка, приносившая ей обед, когда она жила у меня, даже спаниель, который ночами согревал ей ноги, лежа на одеяле.

– Она жила у вас? – Джеффри потрясен. – Не знал. Что вы с ней сделали?

Он подается вперед:

– Вам и вашим родственникам повезло, что вас не повесили вместе с ней. Вы увязли в кознях Бартон по самую маковку, вы и Куртенэ. Король пощадил вас из уважения к древности вашей крови. Но вы знаете, что я об этом думаю. Я уважаю вашу кровь не больше, чем ваше дерьмо. – Он поднимает голову. – Мартин, принеси, пожалуйста, две свечи.

Вечер ранний, ясный, и, хотя окошко маленькое, снаружи еще довольно светло.

Джеффри вздрагивает:

– Не жгите меня!

– Восковые, Мартин, – говорит он. – Маленькие.

Чтобы жечь человека, сгодились бы сальные. Джеффри, сжавшийся было в комок, немного распрямляет плечи.

Он говорит:

– Я думал, мы с вами друг друга понимаем.

– Кто вас поймет, Кромвель?

– Я много лет платил вам денежное содержание и теперь вижу, что пустил деньги на ветер. Я платил вам, чтобы вы следили за родственниками, а теперь выясняется, что вы ничего не знаете. Это нерадение или глупость или вы меня нарочно водили за нос? – Когда Джеффри не отвечает, он добавляет: – Считайте это шестидесятым вопросом.

Мартин вносит две свечи и подсвечник.

– Джеффри, – говорит он, – у французских купцов есть обычай, который они называют vente a la bougie[62]. Допустим, у вас есть что-то на продажу. Может, тюки с шерстью, может, книга, а может, замок. Собираются заинтересованные стороны, пьют вино, обсуждают условия, а затем начинают предлагать ставки… и предлагают, пока горит первая свеча. Мартин, зажги свечу, пожалуйста.

– Я ничего не знаю об этом обычае, – говорит Джеффри. – Никогда о нем не слышал.

– Потому-то я вам его и объясняю. Когда свеча догорела, ставки прекращаются. Однако кто захочет заключать поспешную сделку? И продавцу, и покупателю нужно время подумать. Зажигают вторую свечу. Ставки могут повыситься. Когда догорает вторая свеча, сделка заключена.

Хриплый смех.

– Они так нерешительны, ваши друзья-купцы?

– О, они мне не друзья, – отвечает он самым невинным тоном. – Просто какие-то французы. Я с ними лично не знаком. Однако знаю, как это бывает. При второй свече ставки растут сильнее. Каждый за столом думает: я предложил больше всех… и тут же видит, что покупка от него уплывает. Он шарит по карманам, просит у друзей взаймы – и обнаруживает, что заплатил намного больше, чем собирался. Так вот, вы предложили нам несколько жалких пенсов. Я думаю, с вас можно получить добрую тысячу фунтов. Покопайтесь в своих закромах и найдите, чем сможете меня убедить.

– И что я получу? – спрашивает Джеффри.

– Caveat emptor, – отвечает он. – Это-то самое увлекательное. Вам придется делать ставки вслепую.

Он принес бумаги. Пока свеча горит зазря и Джеффри обливается потом, он выкладывает на стол стопку документов. Мартин приносит чернила, затем песок, и всякий раз, как тюремщик уходит за дверь, Джеффри провожает того глазами, как будто присутствие Мартина дает какую-то защиту.

– Извините, – говорит он, – я воспользуюсь свободным временем. Мне надо ответить на письмо епископа Латимера. Он в Хэйлском аббатстве, разбирается с их мошенничеством. С тем, что зовется Святой Кровью.

У Джеффри Поля дергается рука – при упоминании столь чтимой реликвии ему хочется осенить себя крестом, но осторожность берет верх.

– Латимер говорит, это какая-то смола, но, когда ей показывают монеты простых людей, она становится жидкой. – Он возвращается к письму Хью. – Не бойтесь меня отвлечь, как будете готовы сделать ставку.

Следующая бумага в стопке должна была бы отправиться Ричарду Ричу в палату приращений – речь идет о роспуске женского монастыря в Моллинге. Однако к листу приколота адресованная ему собственноручная записка аббатисы. Это Маргарет Вернон, наставница Грегори, заботливо учившая его писать свое имя и читать «Аве Мария». Я буду у вас, пишет она. Буду в пятницу. За один день мне из Кента и обратно не доехать. Я старею. Мне придется остановиться у вас на ночь.

– Мартин, – говорит он, – я нутром чую, что мой друг скоро захочет мне что-нибудь рассказать. Принеси записи милорда Саутгемптона, чтобы они были у меня под рукой.

– Саутгемптон, – кривится Джеффри. – Он разозлился, когда я назвал его просто Фицуильямом.

– Понимаю. Если меня сделают графом, я буду ожидать от вас обращения соответственно моему титулу.

– Вас? – хмыкает Джеффри. – Сказочка про края, где рыбы посуху гуляют.

– А деревья распевают, – соглашается он. – Теперь я начну задавать вопросы. Вы будете отвечать. А я решу, могу ли принять ваши ответы.

– У вас нет доказательств! – взрывается Поль. – Вы вменяете мне слова, слова, слова. Однако вы не можете подтвердить, что они вообще были произнесены.

– У меня есть письма.

– Мой брат жжет свои письма.

– Ваш брат Монтегю? Почему, интересно? Кучка пепла может быть красноречивой.

За окном темнеет. Он проглядывает заметки Фицуильяма, дает тишине время созреть. Чувствует на себе взгляд Поля. Первая свеча догорела, и Мартин, взглядом испросив у него дозволения, зажигает вторую от огарка.

– Это то, что называется le dernier feu[63]. Пока свеча горит, я принимаю ставки.

– Я не играю в ваши игры.

– Уверяю вас, это серьезная сделка. Я по-прежнему предлагаю торг. Помогите мне заполнить графы. Часть уже заполнена, но, как видите… – он поднимает бумагу, – есть еще пробелы. Я предлагаю вам жизнь. Вы будете жить на моих условиях, не на ваших, тем не менее это будет ваша жизнь. Тихая жизнь. Вдали от двора. Я не жесток. Вы будете получать содержание. Достаточное для джентльмена.

Пусть Поль это обдумает. Он возвращается к письму Маргарет Вернон. Она хочет заключить сделку. Давайте я продам одну из монастырских усадеб. Из этих денег я выплачу пенсион сестрам и рассчитаюсь со слугами. Оставшееся будет моей долей. Одинокой женщине хватит. Я знаю людей, у которых смогу поселиться.

Он думает, у меня не выходит помогать женщинам. Доротее. Моей дочери. Леди Рочфорд. Они приносят мне свою боль и терзания. Говорят, что растеряны, сиротливы, утратили надежду. Я даю им деньги. Либо, в случае королевской дочери, лошадь, драгоценный камень, совет.

Солнце зашло. Le dernier feu горит оранжевым светом.

– Говорите, Джеффри. Когда последний огонь догорит, станет темно. Тогда я переломаю вам ноги. И это будет только начало.

Поль вскакивает с табурета. От резкого движения пламя пригибается. Он, лорд – хранитель малой королевской печати, хватает подсвечник – дешевый, оловянный:

– Не дергайтесь! Не сокращайте свое время. Вы еще можете поторговаться. Нет? В таком случае, Мартин, неси станок.

– Станок? – спрашивает Джеффри. – Что это?

– Нечто вроде тисков, куда мы зажимаем руку или ногу, чтобы сломать.

Мартин не трогается с места.

– Я уверен, – говорит тюремщик Полю, – что вы не хотите утруждать милорда.

– Смотрите на свечу, – советует он.

– Матерь Божия, спаси меня.

– Не спасет, – устало говорит он.

Снаружи всходит луна. Его мысли постоянно возвращаются к Маргарет и ее письму.

– Знаете, – говорит он Джеффри, – мне все это надоело. Мартин, принеси заодно молоты.

Он возвращается к бумагам. Просьба Маргарет Вернон необычна, однако вполне разумна. Условия указаны точно – эта женщина кое-что смыслит в законах, – цифры на первый взгляд выглядят достоверными. Джеффри на табурете пытается сжаться в струнку. Голова втянута в плечи, глаза закрыты. Если тронуть, почувствуешь, что каждая жилка в теле дрожит.

Входит Мартин:

– Это то, что вы просили, сэр? Станок скоро принесут.

Он представлял себе деревянный молоток на короткой ручке, чтобы забивать клинья, фиксируя руку или ногу в станке. Мартин принес боевой молот с трехфутовой рукоятью.

– Этим можно шотландцу башку раскроить, – любовно говорит он. Встает, забирает молот у Мартина. – Больше не нашлось? Ладно, пока сгодится.

Боек тяжелый и холодит ладонь. Он взвешивает в руке молот целиком, держа боек под прямым углом к плитам, затем на пробу делает замах. Ощущение славное. Приятно развернуться всем телом, почувствовать миг равновесия, когда орудие тебе послушно, затем нарастающий рывок. В этом есть что-то пьянящее, как с женщиной, когда достигаешь точки невозврата.

Звук, с которым молот ударяет в стену, мог бы разбудить мертвого. Джеффри вскакивает, роняет табурет:

– Господи!

Пламя свечи подрагивает, в ушах еще стоит звон. Он говорит:

– Можем начать без станка. Вероятно, он сейчас нужен в другой камере. Мартин, тебя не затруднит забрать бумаги? Это королевские документы, я не хочу забрызгать их кровью.

Правой рукой он сжимает молот, левой гасит фитиль.

Позже, за дверью, Мартин обессиленно прислоняется к стене:

– Вы сказали, принеси станок. Матерь Божия, подумал я, что ему нужно, я не знаю никакого станка.

– Такие бывают. Я их видел. Не здесь. В других тюрьмах.

– Могу представить, какие они, – говорит Мартин.

– Вот и Джеффри представил.

В камере рыдает арестант; руки-ноги у него целы, даже не поцарапаны.

– Но вы бы это сделали? – спрашивает Мартин.

Единственный факел на стене почти не рассеивает тьму. Где-то капает вода, точа камень. В таких местах хуже всего запахи – затхлый воздух, металлический душок свежей крови, резкая вонь мочи.

– Я хочу сказать, – говорит Мартин, – вы могли бы переломать человеку ноги, а затем вернуться домой, к ужину и семье?

– У меня нет семьи.

– Извините. Знаю, что нет.

– Хотя, – вспоминает он, – я теперь дед.

– Я видел, как арестантов подвешивали, – говорит Мартин.

– Рано или поздно все случается увидеть.

Он ощущает в груди тупую тяжесть, будто от головки молота. Ему хочется вернуться в прошлое, в мгновение до того, как Джеффри заговорил. Хочется снова размахнуться молотом. Рукоять была большая и гасила удар, так что тот почти не отдавался в руке.

– Когда человека вешают за запястья, его тянет вниз собственный вес, – говорит Мартин. – Можно сказать, он сам себя истязает.

Кандалы дают нужный результат за двадцать минут. Холодный пот хлещет у подвешенного изо лба, как из крана. Если время поджимает, можно привесить к ногам гири. Вы сидите в другом конце комнаты, держа перо над бумагой, – незачем нюхать чужую вонь. Когда вы запишете первые слова признания, свежие, как молодая весенняя листва, тюремщики подойдут и сотрут слезы, сопли, дерьмо, сползающее по ногам.

– У нас есть дыба. – Мартин указывает движением головы. – Мне случалось проходить коридором, когда ее пускали в ход, так что я слышал, как это бывает.

Хороший вопрос. Позволять ли арестанту вопить? Некоторые палачи говорят, от собственных криков узник пугается еще больше и быстрее ломается. Другие считают, что крики неприятны остальным присутствующим – писарям, судейским. На этот случай есть способы заглушить звуки так, чтобы допрашиваемый не задохнулся. Он говорит:

– В Испании, когда жгут тех, кого там называют еретиками, их ведут по улицам. Одевают в белое, выбривают им головы, а иногда и брови, чтобы походили больше на кукол, чем на людей. Заставляют каждого нести свечу, будто он сам зажжет свой костер. Тащат босым по мостовой, так что остается кровавый след. И у каждого к одежде приколота бумага с перечислением его ереси, а сзади идут монахи с серебряными крестами и распевают псалмы. И народ выстраивается на улицах, на ярмарочных площадях, чтобы на это поглазеть. Но когда весь город насмотрелся на осужденных, их жгут в тюремном дворе, без свидетелей, с кляпом во рту.

– Вы бывали в Испании, сэр?

– Нет, но Томас Уайетт мне рассказывал, а когда Уайетт рассказывает, это все равно что увидеть своими глазами.

– Если ваша милость помнит, я имел честь служить мастеру Уайетту, когда он был под стражей последний раз. Добрый и щедрый джентльмен, – уважительно произносит Мартин.

– Чересчур щедрый, – замечает он. – Вот что, Мартин. Не давай Джеффри больше себя увечить. Выверни его одежду наизнанку, убедись, что у него даже булавки не осталось. Больше с ним затруднений не будет. Король не станет истязать представителя древнего рода. Насколько я помню, в его правление такого не бывало. Однако могут ли они на это рассчитывать? Король делает много такого, чего прежде в заводе не было.

– Он не допрашивал узников, – говорит Мартин.

И не подтирал затем полы. И не отчищал прижаренное мясо от цепей на месте казни.

– Что понудило тебя стать тюремщиком?

– Надо чем-то кормиться.

– Ты мог стать честным фермером.

– И резать свиней?

Он имел в виду: сеять. Жать. В невинном и чистом мире люди питаются яблоками, молоком и хлебом, таким белым и мягким, точно ешь свет. Он говорит:

– Сюда направляется Уильям Фицуильям. И Ричард Рич, и мой племянник Ричард. Теперь, когда Джеффри заговорил, они смогут заполнить графы. И тогда мы возьмемся за его родичей. Удачный день.

И всего-то делов – грохнуть молотком по стене.

– Когда они закончат, отведи Джеффри наверх, – продолжает он. – Принеси ему ужин, если сможет есть. Мясо ему нарежь сам.

Вид у Мартина пристыженный.

– Когда мы забрали у него нож, он угрожал повеситься на потолочной балке.

Вряд ли у Джеффри хватит на такое решимости.

– Этого я бы не опасался. А если и повесится, ничего страшного. Лишь бы не оставалось сомнений, что он сделал это сам.

– Вы хотите, чтобы я дал ему веревку?

– Так далеко я бы не заходил.

Вскоре прибывает подмога в сопровождении своры писарей с чернильницами и бумагой.

– Оставайтесь на свежем воздухе, ребята, – советует он писарям. – Или идите с Мартином, он угостит вас элем. Ричард Рич все для нас запишет, ведь так, Ричард? У меня к Джеффри еще шестьдесят два вопроса. Если мы устанем, мы вам свистнем.

Писари радостно уходят. Он провожает их взглядом, пока они идут по коридору и поднимаются по винтовой лестнице. Он говорит:

– Джеффри будет вас путать. «Клянусь, это было в октябре, хотя, возможно, в марте» и «Полагаю, это было в Сассексе, хотя, может, и в Йоркшире», «То ли это была моя матушка, то ли Батская Ткачиха». Заставьте его говорить об угрозах самому королю – угрозы королевским советникам не новость, мы знаем, что Монтегю нас ненавидит. Шапюи один из главных заговорщиков, это тоже не новость. Однако я предполагаю, что Франциск вовлечен глубже, чем пристало монарху.

– Если французы к нам вторгнутся, – говорит Ричард Кромвель, – думаю, он посадит на трон короля Шотландского.

– Да. Но люди Эксетера этого не знают. И Поли тоже. Они так гордятся своими особами. Считают, что все станут королями.

– Боюсь, у нас слишком мало свидетельств против Эксетера, – говорит Фицуильям. – Он осторожен и заметает следы. Джеффри расскажет нам довольно о своих родных, но…

– И тем замарает Эксетера, – говорит Ричард Рич. – Все знают, что эти два рода заодно.

– Не забывайте, у меня есть женщина в доме Куртенэ, – говорит он.

– Какая-нибудь прачка? – спрашивает Рич.

Фицуильям смеется:

– Пусть Кромвель действует своими методами.

Рич говорит:

– Не представляю, как на сей раз выгородить леди Марию. Уж если они собирались посадить ее на трон, то, уж наверное, не без ее ведома?

– Какая жалость, – замечает Фицуильям. – Погубить принцессу из-за одного лишь подозрения.

Он говорит:

– Они злоупотребили ее доверием. Она не пошла бы против родного отца.

– Мы это уже проходили, – говорит Рич. – Вы чересчур мягки. Не видите ее истинную натуру, сэр.

– Что вы сделали с Джеффри? – спрашивает Фицуильям.

Он сует бумаги под мышку. Они перевязаны бечевкой, записка Маргарет Вернон вместе со всем остальным. Он перебирал в голове ее выкладки, покуда Поль давал признания.

– Пошумел немного, – говорил он. А про себя думает: страх поселился у него под ложечкой. Когда я делал что-либо еще?

Через неделю ему расскажут, что лондонцы говорят: Джеффри Поля пытали в Тауэре. Привязали к решетке и поджаривали, как святого Лаврентия. И сделал это Томас Кромвель.

При виде Маргарет Вернон он только что не вздрагивает. Непривычно видеть ее в наряде обычной горожанки, хотя он сам рекомендовал монахиням отказаться от черных одежд. Мода меняется. Женщины снова не прячут волосы. У Маргарет они седые. Он спрашивает:

– Какого цвета они были раньше?

– Неопределенного. Псивые.

Он в гостиной Остин-фрайарз. Она его ждала. Он чувствует, что следовало бы сменить платье, как будто на нем кровь, хотя в Тауэре не пролилось и капли крови. Джеффри сознался, что хотел бежать за границу к брату Реджинальду с отрядом воинов. Рассказал о сговорах в закрытых комнатах и садовых беседках, интригах за ужином и после мессы. Передал подслушанные сомнительные разговоры: родных Томаса Мора, епископа Стоксли. С каждой произнесенной шепотом фразой круги расходятся все шире. Подписывая сегодняшние показания, Джеффри молит короля о милости. Выводит под страницей: «Ваш смиренный раб, Джеффри Поль».

Маргарет говорит:

– Вы располнели, Томас. У вас такой вид, будто вы совсем не бываете на воздухе.

– Иногда я пытаюсь поохотиться с соколами, – говорит он. – Однако король может потребовать меня в любую минуту. Знаете, венецианцы рисуют на кораблях линию, чтобы их не перегрузить. У меня нет такой линии. Или есть, но король ее не видит.

– Вам не хватает помощников? Все эти молодые люди…

Он думает: никто мне не поможет. Есть только Генрих и Кромвель, Кромвель и Генрих.

– Как-то я хотел отдохнуть в Михайлов день, потому что он у юристов выходной, однако король не разрешил – у него, мол, выходных нет, он правит каждый день. Я отвечаю, но, ваше величество, вы – помазанник Божий, вам

дана особая благодать, и потому вы никогда не устаете. Он говорит, меня короновали тридцать лет назад, благодать, видимо, исчерпалась.

– Вам следует жениться.

– Что ж, найдите мне жену. Если знаете хорошую женщину, отправьте ее ко мне. Ей необязательно быть очень умной, не обязательно быть молодой, я не ищу приданого, так что она может быть без гроша. Лишь бы она не была паписткой и не внесла разлада в мой дом.

Маргарет смеется:

– Жаль, потому что скоро из нашего монастыря выгонят много девиц, но, боюсь, некоторые из них держатся римской веры. Я – нет. Я присягнула королю, и присягнула искренне.

Он говорит:

– Думаю, король не позволит женщине выйти замуж, если та была монахиней. Если она приняла постриг.

– Так где мои сестры будут жить? В Саутуорке, в домах терпимости?

Ему хочется сказать, не сердитесь. Вокруг меня столько сердитых людей.

– Вам надо повидаться с Грегори. Если вам негде жить, он возьмет вас к себе. Я уверен, он будет рад, если вы станете учить его сына, как учили его.

Она мотает головой:

– Я поселюсь с несколькими сестрами. Мы будем необузданные женщины, без господина.

– Пойдут сплетни.

– Мы для этого слишком старые. Люди будут жалеть нас, оставлять яблоки перед дверью. Будут приходить к нам за снадобьями и амулетами. И все же, – ее лицо мягчеет, – мне бы хотелось увидеть моего мальчика.

– Моя жена Элизабет к вам ревновала.

– В этом не было нужды, – спокойно отвечает Маргарет.

Он думает: если можно постановить, что Екатерина Арагонская была не жена, если можно постановить, что Анна Болейн была не жена, нельзя ли постановить, что Маргарет Вернон не монахиня? Не сыщется ли в бумагах какая-нибудь ошибка? Тогда она будет свободна.

Но что толку? Она умрет и оставит меня одного. Или я умру и оставлю ее одну. Не стоит оно того. Никто такого не стоит.

В первую неделю октября он берет под стражу лорда Монтегю и маркиза Эксетерского. А также Констанцию, жену Джеффри, и маркизу Гертруду. И еще нескольких старых друзей короля. Он отправляет Фицуильяма в сассекский замок Маргарет Поль с наставлением, если потребуется, допрашивать ее день и ночь.

Однако Фиц не может ничего от графини добиться. Она отвечает охотно, пылко и четко. Отрицает какие-либо дурные поползновения или намерения. Когда Фицуильям называет ее сына Реджинальда неблагодарным ублюдком, она говорит: нет, он не ублюдок; я всегда была верна господину моему супругу, всегда была безупречной женой.

Она признает, что выражала радость, когда Реджинальд избежал ареста; как-никак, она его мать. Да, ей известно, что он презирает ее за верность Тюдорам. Известно ли ей, что Реджинальд обещал ее растоптать? Она поджимает губы. «Знаю и должна с этим смириться».

Фицуильям велит Маргарет Поль собирать вещи – хочет перевезти ее на носилках к себе. Ваше имущество будет описано, говорит Фиц, и она понимает: судьба от нее отвернулась. По словам Фица, в этот миг на лице Маргарет Поль впервые проступило отчаяние. Но куда сильнее отчаяние леди Фицуильям, когда та узнает, что графиня Солсбери переезжает к ним на неопределенный срок.

Сам он допрашивает в Тауэре старшего сына Маргарет. Монтегю держится надменно, часто отказывается отвечать.

– Милорд, свидетели показали, что вы с детства не любили короля.

Монтегю пожимает плечами: мол, это моя привилегия.

– Из вашего дома исходили лживые слухи, будто приказано снести приходские церкви. Вам известно, что именно такие слухи побудят простой люд взяться за оружие. Почему вы не вмешались?

– Трудно остановить слухи, – говорит Монтегю. – Если вы умеете это делать, научите меня. Заверяю вас, не я их распускал.

– Говорили ли вы… – он сверяется с бумагами, – что король убил первую жену недобрым обращением. Что затем он женился на шлюхе и родил незаконную дочь?

– Бабьи разговоры.

– Говорили ли вы, что турецкий султан – лучший христианин, чем наш король?

– Это вам Джеффри сказал? – Монтегю смеется.

Он продолжает: обсуждал ли Монтегю с лордом Эксетером, какое войско вы сможете собрать вдвоем? Говорил ли тот, что мало убить королевских советников, надо добраться и до их главы? Разве это не прямая измена?

– Полагаю, такие слова и впрямь были бы изменой, – отвечает Монтегю.

Он идет к маркизу Эксетерскому. Тут у него козырей куда меньше, и Эксетер это знает. Однако и Поли, и Куртенэ в последние годы увольняли любого слугу, заподозренного в приверженности новому учению или в чтении Библии, и тем вырыли глубокий колодец недовольства, откуда он может теперь черпать. Нужно только не полениться и раздобыть ведро.

Он говорит:

– Лорд Эксетер, вы присутствовали при разговоре, когда короля назвали скотом.

Эксетер закатывает глаза:

– Это все, что бедняжка Джеффри смог вам сказать?

– Вы говорили, что король и Кромвель друг друга стоят, оба губят страну ради собственных вожделений.

Эксетер возводит очи горе.

– Разве вы не говорили: «Все притязания короля на божественную власть бессильны исцелить его раненую ногу»? Разве вы не сказали: «Рана в ноге когда-нибудь его убьет»? И разве вы не сказали: «Когда Генрих умрет, то прощай, господин Кромвель»?

Эксетер не отвечает.

– Разве вы не сказали: «Да, у нас есть принц, но он скоро умрет, весь тюдоровский род проклят».

Эксетер вскидывается:

– Я не призываю проклятья ни на чью голову.

– Да, – говорит он. – Бабьи разговоры. Может, ваша жена призывает?

В разговор вступает Ричард Кромвель. Принимал ли лорд Эксетер монастырские земли?

Да.

Принимал ли он их по доброй воле?

Да.

Оправдывал себя, говорил, Господь его простит, потому что со временем это все вернется монахам?

Молчание.

– Как такое может случиться? – спрашивает Ричард.

– Если король покается и решит их вернуть, – говорит Эксетер.

– Или вновь подчинится Риму?

– Вы не можете этого исключить.

Он бьет кулаком по столу:

– Могу, поверьте.

Он говорит с Гертрудой, женой Эксетера. Она по-мужски энергична и предприимчива, делает все для блага семьи, в которую вышла замуж. Ее мачеха была испанка, одна из фрейлин Екатерины. Немудрено, что ее тянуло к обществу императорского посла Шапюи. Немудрено, что они делились друг с другом сокровенными мыслями.

Гертруду смутить непросто. До сих пор он ее не трогал, так что она считает его мягкосердечным.

– Я молю короля смилостивиться. Видит Бог, миледи, в вашем случае он явил большое снисхождение. Сам я всегда верю, что люди исправятся. – Он печально смотрит на Гертруду. – И часто бываю разочарован.

Выйдя от нее, он говорит своим людям:

– Надо взять под стражу мальчика. Сына Эксетера.

Все смотрят на него ошарашенно.

Он говорит:

– Король никогда не причинит вреда ребенку. Но все равно привезите его.

Ричард Кромвель поясняет:

– Мы не можем допустить, чтобы сына Эксетера вывезли за границу и собрали вокруг него сторонников.

– И сына Монтегю тоже привезите, – добавляет он. – Генри Поль примерно того же возраста.

Это катастрофа. Все древние семейства падают, словно кегли в игре великанов; летят с полок, как горшки во время землетрясения.

Бесс Даррелл привозят в Тауэр. Никто не удивлен, поскольку допрашивают всех дам Гертруды. Бесс, как всегда, выглядит ангелом: золотые волосы, глаза-васильки. Она передает ему все записанные факты и скопированные письма. Рисунки изменнической вышивки: фиалку Поля, календулу Марии. Однако в конце разговора она спрашивает:

– И что дальше? Мне вернуться и жить с этими людьми? Как отвечать на вопрос, что я сказала Кромвелю?

– Ответьте, что рассказали мне свои сны.

В этом семействе придают огромное значение снам. Постоянно записывают их, запечатывают и шлют друг другу с курьером. Судя по всему, им часто снится, что король умер. Иногда – что Джейн Сеймур является в саване, говорит королю, что ненавидит его и он проклят.

– Вы не можете вернуться к Куртенэ, потому что их больше нет. Отсюда вы поедете в Аллингтон, – говорит он.

Бесс поднимает голову:

– И что я буду там делать?

– Жить тихо.

– Вы вернете Уайетта в Англию?

Он кивает:

– Хотя не могу сказать когда.

– Говорят, король им недоволен.

– Он всеми нами недоволен.

Он думает: мы даже не знаем, жив ли еще Уайетт. Но я верю в его умение чуять опасность и уходить от нее. Или замирать, если так лучше: Уайетт стоял неподвижно, пока львица к нему подкрадывалась.

Бесс Даррелл говорит:

– Лорд Монтегю называет Англию тюрьмой. Твердит, что последние шесть лет был за решеткой.

– Но так и не попытался сбежать, – говорит он. – Как же они мне противны. Жалкие трусы. Сбеги он за море к Реджинальду, я мог бы его хотя бы уважать. Он бы показал себя мужчиной, с которым не стыдно сразиться.

– Это упростило бы вам задачу, поскольку было бы явной изменой. Но помимо того, что вы получили от меня, у вас есть только лепет Джеффри и пересуды кухонных мальчишек. Монтегю и Эксетер не скажут того, что вам нужно, если вы не вырвете из них измену силой, а этого вы не можете.

– Я весьма изобретателен, – тихо произносит он. – И ваши показания мне очень помогли.

– Но подумайте, милорд. Если считать изменой любые неодобрительные слова о короле или его делах, кто останется в живых?

– Я, – отвечает он. Генрих и Кромвель. Кромвель и Генрих.

– Эксетер думает, все переменится. Он знает, что Генрих боится отлучения. Думает, угроза заставит короля вернуться под власть Рима.

– Этого не будет, – говорит он. – Слишком много сказано и сделано в Англии. Король не сможет противостоять переменам, даже если захочет. Если я проживу еще год-два, то сделаю так, что никакая земная сила не обратит наши свершения вспять. И даже если Генрих отступится, я не отступлюсь. Я сам выйду сражаться за правое дело. Даже в мои годы я еще в силах держать меч.

– Вы поднимете оружие на Генриха? – Она не в ужасе, ей скорее забавно.

– Я этого не говорил.

Бесс смотрит на свои руки, на кольцо Уайетта у себя на пальце.

– А мне думается, сказали.

Середина ноября. С наступлением серых слякотных дней можно наблюдать, как кембриджец, священник, совершает медленное прилюдное самоубийство. Один человек бросил вызов королю: один боец, ростом с хлебную крошку, вооружен соломинкой, вышел против исполина.

Его зовут Джон Ламберт, хотя от рождения он был Николсоном. Ламберт – рукоположенный священник; Маленький Билни обратил его в евангельскую веру. Он отправился в Антверпен, был капелланом у английских купцов, встречался с теми, с кем встречаться опасно, в том числе с Тиндейлом. Говорит, Томас Мор обманом заманил его обратно в Англию. Старый архиепископ Кентерберийский, Уорхем, привлек Ламберта к суду за ересь, предъявил ему сорок два обвинения. Ламберт все их отверг. Да, он читал книги Лютера и убежден, что стал от этого лучше. Да, он согласен с утверждением Лютера, что священникам можно жениться. Вопрос свободы воли, по его мнению, для простого человека слишком сложен. Однако он верит, что только Христос, а не священники может отпускать грехи. Нам довольно одного Писания; правила, выдуманные Римом, не нужны.

В середине слушаний Уорхем умер. Дело заглохло. Но за пять лет Ламберт осторожнее не стал. В Остин-фрайарз – без писарей, без записи – Томас Кранмер пытался его урезонить. Он, Томас Кромвель, яростно с ним спорил. Роберт Барнс стоял рядом с перекошенным от страха и ненависти лицом и наконец заорал:

– Вы, как бы вы там себя ни называли, Ламберт, Николсон, вы нас всех погубите!

Кранмер сказал:

– Мы не спорим с вашими взглядами…

– Нет, спорим, – возразил Барнс.

– Хорошо, спорим… но, главное, будьте осмотрительны. Наберитесь терпения.

– Что, ждать, пока вы до меня доползете? Будьте мужчиной, Кранмер, встаньте за правду. Вы ее знаете, в душе.

Барнс говорит:

– Ламберт, вы ставите под сомнение само крещение.

– Крещение есть в Евангелии. Но не крещение младенцев.

– …и ставите под сомнение таинство евхаристии. И если вы так говорите, если вы говорите так открыто, я не могу и не буду вас защищать, и он, – Барнс указывает на архиепископа, – тоже не будет, и он, – Барнс указывает на хранителя малой печати, – тоже.

– Я скажу вам, что я сделаю, – отвечает Ламберт, – я избавлю вас от терзаний. Обращусь через вашу голову к самому королю. Он – глава церкви. Пусть Генрих меня судит.

Король – пусть никто не удивляется – принял вызов. Он будет публично дискутировать с Ламбертом в Уайтхолле. «Кромвель, придут ли послы?»

Европа называет Генриха еретиком – так пусть Европа увидит и услышит, как он защищает нашу общую веру. Поль утверждает, будто король уступает в учености блаженной памяти Мору и Фишеру. Генрих докажет обратное. Для зрителей расставлены ряды скамей.

– Дай Бог, чтобы король не опозорился, – говорит Рейф Сэдлер. – Ламберт знаток языков. Может цитировать Писание на древних языках и на новых.

– Я всегда говорил королю, что довольно английского, – скорбно произносит он, а про себя думает: за каждое очко, которое выиграет Ламберт, достанется мне.

Он всячески отговаривал короля от публичного диспута. Вам незачем отвечать Ламберту, у вас есть для этого епископы. Однако Генрих не слушает. Лишь за день до дебатов король замечает беспокойство своих советников:

– Что, вы за меня боитесь? Я в силах дать отпор любому еретику. И я должен нести факел веры высоко, чтобы видели и друзья, и враги.

Он спрашивает, а когда ваше величество начнет его нести?

– Около полудня, – отвечает Генрих. – И к полуночи мы управимся.

Рано утром перед дебатами он принимает жену Лайла, приехавшую из Кале. Меньше ее он хотел бы видеть до завтрака только Стивена Гардинера.

Леди Лайл его не любит и дает понять, что речь и манеры выдают в нем лакея. И тем не менее она весело щебечет об условиях, на которых продаст свое глостерское имение. Можно подумать, в Кале все замечательно; как будто нет доносчиков, которые являются в его дома, иногда прямо с корабля, зеленые от морской болезни. Леди Лайл не упоминает тех, кто сейчас в Тауэре, хотя наверняка состоит с ними в родстве, – все эти семейства между собой связаны. Только говорит:

– Слышала, вы очень заняты, лорд Кромвель. Впрочем, занятость не мешает вам находить время для покупки земли? Я сказала мужу, не сомневайся, Кромвель меня примет. У меня есть то, что ему нужно.

– Как поживает милорд Лайл? Джон Хуси говорит, он в меланхолии.

– Его ободрила бы награда за долгую службу.

– Король предложил ему двести фунтов в год.

– Меня бы устроило четыреста.

Он прячет улыбку:

– Я спрошу. Ничего не обещаю.

– Если король преуспеет в споре с еретиком, то будет сегодня вечером в хорошем расположении духа. Что ж, – она встает, – мне пора. Чем скорее я вернусь в Кале, тем больше обрадуется мой муж. Он говорит, что охотнее расстался бы со ста фунтами, чем со мной на неделю.

– Будь у него сто фунтов, – брякает он, не подумав.

– Это от вас зависит. Вы же постараетесь, господин Кромвель? – Она смеется. – Я должна была сказать «милорд».

– Да, – говорит он. – Пора бы уже запомнить.

– Я не хотела вас унизить. Кем вас король сделал, тот вы и есть. Но мудрено ли, что мой супруг несчастен? Он говорит, ничтожества богатеют, а мы еле сводим концы с концами.

Леди Лайл не может найти себе прислугу, настолько она требовательна. Однако старый Лайл ее любит – свою самовлюбленную и властную молодую жену.

Одиннадцатый час. В Вестминстере ждут епископы, члены королевского совета, приближенные джентльмены, мэр, олдермены, старшие члены гильдий. Кристоф, подавая ему джеркин, напоминает:

– Там с вами будет епископ Гардинер. Уж сегодня он потешит душу, ведь бедного Ламберта же точно сожгут? Как можно отрицать крещение? До того как святого Христофора крестили, он был людоедом с песьей головой и звался Страхолюд. После крещения он стал человеком и смог молиться, а до того умел только лаять.

Он говорит:

– Знаю, что Кристоф не настоящее твое имя. У тебя было другое. Фабрис, да?

– Кристоф было мое имя в Кале. На Кокуэлл-стрит. До Фабриса, еще совсем маленьким, я был Бенуа. Но не важно, как меня крестили. Я забыл.

Он думает, Ламберта погубит не крещение, а corpus Christi, Тело Христово.

Стивен Гардинер входит стремительно; он замедляет шаг, оба останавливаются, разворачиваются грудью, одновременно снимают шляпы – безукоризненная учтивость. Однако Стивену учтивости хватает лишь на миг.

– Не знаю, что вы тут творили в мое отсутствие, – говорит Стивен. – Не понимаю, почему вы терпели анабаптиста. Если вы не сам такой.

В воображении он сбрасывает джеркин, закатывает рукава и бьет Стивена в нос. Какая досада! Стивена не было три года, а желание двинуть ему в морду ничуть не ослабело.

– Да неужто похож? – говорит он. – Те, кого вы называете анабаптистами, не присягают. Не служат королям. Не трудятся на общее благо, не подчиняются магистратам, а главное, не дают детям книг. Они любят невежество. Считают, что мы живем в последние времена, так зачем чему-нибудь учиться? Зачем сеять и жать? Урожай не понадобится.

– Что же, – замечает Гардинер, – разумно, если верить, что Христос придет скоро. Я в это не верю, но полагал, что, возможно, верите вы.

– Вам известно, что я не имею ничего общего с этой сектой.

– Быть может, и не имеете. – Стивен улыбается. – Во всяком случае, вы, очевидно, думаете о завтрашнем дне. Собираете себе сокровище на земле, не так ли? Собственно, вы почти ничем больше не занимаетесь.

– Теперь вы вернулись в Англию и увидите, чем я занимаюсь.

В полдень под звуки труб выходит король. День пасмурный, но Генрих в белом с головы до ног, похож на сказочную ледяную гору.

Король садится на помосте под балдахином. Ярусы скамей заполнены зрителями. Духовенство сидит по правую руку от короля, дворянство – по левую. Залу богато украсили флагами и штандартами, принесли из гардеробной шпалеры, так что теперь на собравшихся смотрят библейские фигуры: Даниил, Иов, Соломон без царицы Савской.

Он, викарий короля по делам церкви, садится. Епископ Тунстолл вежливо ему кивает. Епископ Стоксли обжигает его взглядом. Барнс сидит как истукан. Кранмер как будто съежился. Хью Латимер то вскакивает, то садится, подбегает к одному, к другому, хлопает по плечу, шепчет на ухо, передает записочки.

Он говорит Кранмеру:

– Хью Латимер дал королю наставления?

– Мы все дали ему наставления. – Кранмер удивлен. – А вы разве нет?

– Я не посмел бы. Он ближе к Богу, чем я.

Вводят Джона Ламберта. Тот ступает твердо, лицо решительное. Однако, когда он озирается по сторонам, видно, что величие зала его ошеломило. Он смотрит на короля, на сияющую ледяную гору, и не знает, преклонить колено или отвесить поклон.

Он, Томас Кромвель, видит, что доктор Барнс улыбается. Слышит, как Стоксли поудобнее устраивается на скамье. Оборачивается в негодовании:

– Чуточку милосердия?

– Тсс, – говорит Кранмер.

Для Ламберта воздвигли помост, чтобы его было видно всей зале. При виде помоста он замирает, будто конь, заметивший между деревьями тень. Ему говорят подняться, и он вползает по ступеням, будто на эшафот. Поворачивается к королю. Косится на залу, ищет в тусклом полуденном свете знакомые лица, но, разыскав их, натыкается на каменные выражения.

Генрих подается вперед. У диспута нет прецедентов, а значит, нет и правил, но король решил вести себя как в суде:

– Ваше имя?

Джон Ламберт привык защищать свои взгляды в тесных комнатушках; он смел, но ему не по себе на этих высотах, где король чувствует себя господином.

Голос звучит слабо, будто долетает из другой эры:

– Я родился Джоном Николсоном, однако известен под именем Джон Ламберт.

– Что? – изумляется король. – У вас две фамилии?

Ламберт пятится. Встает на одно колено.

Гардинер шепчет:

– Умно, приятель.

Король говорит:

– Я не доверял бы человеку с двумя фамилиями, будь он хоть мой брат.

Ламберт оторопел от того, как просто говорит король. Чего он ждал – высокоученой речи? Это еще впереди, но Генрих безошибочно движется к предмету их разногласий:

– Тело Христово. Присутствует ли оно в таинстве?

Говоря «corpus Christi», король благочестиво касается рукой края шляпы.

Ламберт примечает этот жест, и его плечи опускаются.

– Ваше величество столь учены, столь мудры…

– Ламберт, Николсон, – перебивает король, – я пришел сюда не выслушивать лесть. Просто отвечайте.

– Святой Августин говорит…

– Я знаю, что говорит Августин. Я хочу услышать ваш ответ.

Ламберт морщится. Он стоит на одном колене и не знает, когда можно встать. Такую пытку он устроил себе сам. Король смотрит на него в упор:

– Ну? Что вы скажете? Это Тело Христово, Его кровь?

– Нет, – говорит Ламберт.

Стивен Гардинер легонько хлопает себя по колену. Епископ Стоксли говорит:

– Можно складывать под ним костер. Чего тянуть?

У короля вспыхивают щеки.

– А как насчет женщин, Ламберт? Позволено ли женщине учить?

– В случае нужды, – отвечает Ламберт.

Епископы стонут.

А слово «пастор», спрашивает король, как Ламберт его понимает? Слово «церковь»? Слово «покаяние»? Нужна ли верным устная исповедь священнику? Считает ли он, что духовным лицам можно вступать в брак?

– Да, – говорит Ламберт. – Каждый человек должен жениться, если он не чувствует призвания к безбрачию. Апостол Павел ясно об этом говорит.

Роберт Барнс тихонько просит его извинить. Встает, идет по ногам ученых богословов.

– Милорд архиепископ, – говорит король, – докажете ли вы Ламберту, или Николсону, его неправоту?

Кранмер встает.

Катберт Тунстолл подается вперед:

– Милорд Кромвель, почему у Ламберта две фамилии? Кажется, это смутило короля не меньше еретических взгля-дов.

– Полагаю, он сменил фамилию, дабы избежать преследования.

– Хм… – Тунстолл вновь опускается на скамью. – Лучше бы он сменил взгляды.

Кранмер на ногах, растерянный:

– Брат Ламберт…

В задних рядах кричат, что его не слышно.

Возвращается Роберт Барнс. Снова идет по ногам. Извините меня, милорды, извините. Лицо зеленое, как будто его вывернуло. Может, и правда вывернуло. Кранмер говорит:

– Брат Ламберт, я приведу некоторые цитаты из Писания, которые, я полагаю, доказывают вашу неправоту, и если вы признаете, что тексты эти убедительны, то, полагаю, должны будете согласиться с мнением короля и моим. Если же нет…

Стивен Гардинер ерзает, комментирует себе под нос каждое слово Кранмера. Епископ Шакстон на него шикает. Хью Латимер мечет в него гневные взгляды. Стивену нет дела ни до кого; он вскакивает еще до того, как закончил Кранмер.

Катберт Тунстолл говорит:

– Милорд Винчестер, следующим, кажется, выступаю я?

Гардинер скалится.

Тунстолл взглядом ищет помощи:

– Джентльмены?

Кранмер оседает в кресло.

Хью Латимер говорит:

– Быть может, следующим выступит викарий по делам церкви?

Он, Кромвель, поднимает ладонь: не я.

Епископ Шакстон размахивает списком:

– Гардинер, вы шестой. Сядьте!

Епископ Винчестерский не слушает никого. Говорит и говорит, задает вопросы, заманивает Ламберта в ловушку, в пламя, где тот будет вопить, обливаясь кровью.

Два часа. Король поучает; его слова искусны, порой убийственно метки, порой смиренны. Он не хочет убивать Ламберта, ему это неинтересно. Он хочет победить в споре, чтобы в конце Ламберт уничиженно признал: «Сир, вы лучший богослов, чем я; вы меня наставили, просветили и спасли».

Франциск не дискутирует с подданными лицом к лицу, да ему это и не по силам. Император не бьется за спасение одного жалкого подданного. Они бы вызвали инквизиторов и пытками вырвали у Ламберта покаяние.

Он, Кромвель, думает о турнире, о счете, о записях: «…преломлено о тело». Каждый раз король придерживает коня и опускает копье, предлагая Ламберту пощаду. Я дарую тебе жизнь – если отступишь, покоришься и будешь молить. На вопрос, верит ли он в чистилище, Ламберт отвечает:

– Я верю в воздаяние. Через чистилище можно пройти в земной жизни.

– Это хитрость, – бормочет Латимер. – Король и сам не верит в чистилище.

– Ну, сегодня не верит, – говорит Гардинер.

Три часа. Перерыв справить нужду. Цитировали Оригена, святого Иеронима, Златоуста, пророка Исаию. За дверью Гардинер говорит:

– Не понимаю, отчего прежние обвинения против Ламберта сняты. Смена архиепископа не оправдание. Вы должны были за этим проследить, Кромвель.

Стоксли говорит:

– Вы как будто бы не слишком заинтересованы делом, лорд – хранитель малой печати.

– Любопытствую почему, – говорит Гардинер. Замечает Латимера. – А вы? Пошли вам на пользу королевские доводы?

Хью рычит, как терьер на быка.

Участники долго рассаживаются, кашляют, устраиваются поудобнее. Затем все взгляды обращаются на него, королевского викария по делам церкви. Он встает:

– Ваше величество, выслушав ваши доводы и доводы епископов, я не имею ничего добавить и полагаю, что все нужное уже сказано.

– Вот как? – произносит за его спиной Гардинер. – Не имеете ничего добавить? Давайте, Кромвель, изложите свои доводы. Нам всем хочется вас послушать.

Король смотрит недовольно. Гардинер вскидывает руки, словно прося прощения.

Теперь черед Ламберта говорить. Все соблюдали очередность – кроме Стивена Гардинера. Ламберт поднялся с колен, однако прошло уже четыре часа, а стула ему не предложили. Сумерки; плечи Ламберта опущены. Вносят факелы, отблески дрожат на лицах епископов. Король говорит:

– Итак, Ламберт, вы слышали доводы всех этих ученых мужей. Что вы теперь думаете? Сумели мы вас убедить? Избираете вы жизнь или смерть?

Ламберт говорит:

– Я предаю мою душу в руки Божьи. Тело – в руки вашего величества. Я покоряюсь вашему суду и уповаю на вашу милость.

Нет, думает он. Милости не будет.

Генрих говорит:

– Вы считаете евхаристию кукольным балаганом.

– Нет, – отвечает Ламберт.

Король поднимает руку:

– Вы говорите, это видимость. Лишь образ или фигура речи. Вас опровергает единственный священный текст, слова Христа: «Hoc est corpus meum». Самый простой и понятный текст. Я не буду покровительствовать еретикам. Милорд Кромвель, зачитайте приговор.

Он берет документы – в таких случаях их готовят заранее. Стоксли говорит, что единолично сжег пятьдесят еретиков, и даже если просто бахвалится, процедура вполне отработана. Он встает.

– Читайте громко и четко, – говорит Стоксли. – Дайте нам наконец вас услышать, милорд Кромвель. Пусть у несчастного не останется сомнений касательно его участи.

Эдикт зачитан, стража уводит Ламберта. Король склоняет голову; смиренное благочестие доброго прихожанина, каким он сегодня был. А когда поднимает, на лице – торжество.

По сигналу в зал входят трубачи. Король выходит под фанфары. Шесть трубачей. По шестнадцать пенсов каждому. Восемнадцать шиллингов из казны. Король хочет создать новую церемониальную гвардию, отряд благородных копейщиков, с новой ливреей. Если так пойдет дальше, трубачи ему будут нужны каждый час.

Еще только шесть, но снаружи темная ночь. Зима держит город железной хваткой.

– Грустно, – говорит Рейф.

– Бедняга, – соглашается он.

Рейф говорит:

– Я не о Ламберте. Он сам себя погубил.

– Думаю, его погубил Гардинер, – со злостью возражает он. – Гардинер вернулся в Англию, и это случилось. Подозреваю, он говорил с королем у

меня за спиной. Мол, французы в ужасе от нашей реформации, император негодует, докажите им, что в душе вы добрый католик. Как будто это детская ссора, которую можно уладить за две недели и пустить работу семи лет псу под хвост…

– Поздно уже заводить такие речи, – говорит Рейф.

Его телохранители ждут, готовые вести его домой. Толпа рассеивается. Фанфары умолкли, трубачи идут прочь. Он окликает их, лезет в карман, дает им на выпивку. Они благодарно козыряют. Он снова поворачивается к Рейфу:

– Надеюсь, это не выглядело так, будто я презираю королевские доводы, что неправда. Он рассуждал очень хорошо.

Рейф отвечал:

– Это выглядело так, будто вы не знаете, что делать.

Он думает, я знал. Знал, но не сделал. Я мог бы вступиться за Ламберта. Или, по крайней мере, уйти.

– Барнс тот еще лицемер, – говорит он. – Если бы не милость Божья, он сам стоял бы на месте осужденного.

Рейф говорит:

– Роб был сегодня донельзя осторожен.

Остальное Рейф недоговаривает. Они выходят на холод. Он думает, я мог бы привести тот текст, привести этот. Иначе зачем все мое чтение?

Он обнимает Рейфа за плечи. Рейф так и не нарастил мясца – не охотится, не играет в теннис, хрупкий и щуплый, как мальчишка.

– Не бойся, – говорит он. – У нас все будет хорошо, сынок.

Мороз щиплет кожу.

До сожжения не так уж много времени. Он шлет Ламберту еду и вино, слова утешения и сочувствия, но спрашивает себя: как-то Ламберт их примет? Он знает, что я за него не вступился. Я сидел рядом с хищниками, жаждущими крови, и не шевельнул пальцем. Не возвысил голос, кроме как когда читал приговор. Но если король не пожелал меня слушать, что я мог сделать? Во всей «Книге под названием Генрих» нет такого прецедента.

Ламберта казнят торжественно. В Смитфилде поставлены трибуны для официальных лиц, украшенные государственными эмблемами. Присутствуют все советники, за исключением тех, кто действительно прикован к постели болезнью; у каждого на шее золотая цепь, у высших – лента ордена Подвязки. Места, откуда вид лучше всего, отведены для главных послов – Кастильона и Шапюи.

Весь день – фиеста боли. Он никогда не видел таких страданий. Зритель не может сделать себя незрячим. Может лишь изредка закрывать глаза. Он думает, слава богу, что Грегори в Сассексе. Грегори не мог смотреть, как казнят Анну Болейн, а ведь это длилось мгновение, даже меньше.

Ламберт умирает час. Рядом с лордом – хранителем малой печати стоит мальчик, Томас Кромвель, он же Гарри, сын кузнеца. У него на руке нарисованная пеплом полоса, тело под джеркином сплошь в синяках.

В час, когда на небе загораются звезды, к нему приходит Кранмер. Пасторский визит.

– Вам худо?

В этом он не сознается:

– Сижу с бумагами допоздна. Все наш архипредатель Поль, из-за его интриг столько писанины.

Архиепископ и сам выглядит затравленным, изможденным. Он, лорд Кромвель, требует вина и еды для гостя – крылышко каплуна, сливы. Кранмер ерзает в кресле. Сморкается. Говорит:

– То, что мы насадили, не принесет плода за одно поколение. Вам за пятьдесят. Мне немногим меньше.

– Гардинер спросил, считаю ли я, что мы живем в последние времена.

Кранмер быстро поднимает на него взгляд:

– Но вы же так не думаете. Разумеется. – Архиепископ прикусывает губу, будто иголкой вынимает себе занозу.

– Я понимаю, почему добрые люди верят в скорое пришествие Христа. Мы хотим Его правосудия, когда людское правосудие чересчур запаздывает.

– Вы считаете, Ламберта осудили несправедливо?

Он внимательно смотрит на Кранмера. Это не ловушка.

Он говорит:

– Когда служишь государю, нельзя быть разборчивым. Иногда можно смягчить ущерб. Но здесь нам это не удалось.

Кранмер говорит:

– Нам не следует повторять ошибку Мора. Он думал, что может указывать совести Генриха.

Открывается дверь. Кранмер вздрагивает:

– А, Кристоф…

Кристоф ставит на стол поднос:

– Хозяину нужно отдохнуть.

– Это не в моей власти, – слабым голосом произносит Кранмер. – В детстве я думал, архиепископ может все, что захочет. Думал, он может творить чудеса.

– Я никогда о таком не задумывался, – говорит он. – Кристоф, принеси фрукты.

Архиепископ смотрит на жареного каплуна. Говорит:

– Не могу есть мясо. Сегодня не могу.

Он говорит:

– Вы когда-нибудь видели, как сокол продолжает убивать, хотя жертва уже мертва?

Кранмер ежится:

– Нет. Думаю, король… он меня удивил… он был рассудителен почти… по-отечески.

Рвет когтями и клювом, в глазу ярость. Пьет кровь из тельца и вновь принимается рвать.

– По-отечески, – говорит он. – Да, именно так.

Он думал, после казни Джоанны Боутон я вернулся домой к своей маленькой жизни и не знал, правда ли это было или мне приснилось. Я гадал, не видел ли ее на улице, старушку, идущую на рынок с корзинкой – купить яблок и гвоздики для пирога.

Кранмер говорит:

– Но что нам оставалось? Ламберт сам выбирал ответы. Он мог сказать иначе.

– Сомневаюсь.

Кранмер обдумывает его слова. Чтобы заполнить паузу, он задает вопрос:

– Как ваша жена?

– Грета? – переспрашивает Кранмер, как будто у него не одна жена. – Грете страшно. И она устала таиться. Когда я вез ее в Англию, то обещал, что короля удастся убедить и мы будем жить открыто, как обычная супружеская чета. Но…

Кранмер не договаривает. Мы живем в заемное время, в маленьких комнатах, наши вещи всегда сложены для побега, мы чутко вслушиваемся даже во сне, а в иные ночи и вовсе не можем уснуть.

Он говорит Кранмеру:

– И что теперь? После этого? Если король может сжечь его, то может сжечь и нас. Что мне делать?

– Оставайтесь у власти сколько сможете. Ради Евангелия я буду делать то же самое.

– Что пользы в нашей власти, если мы не можем спасти Джона Ламберта?

– Мы не могли спасти Джона Фрита. Однако вспомните, сколько мы сделали с тех пор, как сгорел Фрит. Мы не сумели спасти Тиндейла, но спасли его книгу.

Верно. Мертвые трудятся. Их дело не проиграно. Они прилежно работают, скрытые от нас завесой дыма.

После ухода Кранмера домашние приносят ему свечи и вино, плотно затворяют дверь. Говорят приглушенными голосами, ходят так, будто на ногах войлочные туфли. Он берет чистый лист и выводит: «Любезнейшему другу сэру Томасу Уайетту, рыцарю, королевскому послу при дворе императора».

Он пишет: «Его величество король, его высочество принц, госпожи королевские дочери и весь его совет веселы и в добром здравии».

В молодости, думает он, мне требовались все мои силы. Жалость была роскошью, которую я смогу однажды себе позволить, как мягкий белый хлеб или книгу, надежный кров над головой, свет янтарного или голубого стекла, перстень на палец, вышивку жемчугом, лютню, березовые дрова и верного слугу, который затопит камин…

«XVI дня сего месяца…»

Ориген говорит, для каждого человека Господь составляет свиток, который скатывает и прячет в его сердце. Господь пишет пером, тростинкой, костью…

«…его королевское величество из благоговения перед таинством евхаристии…»

Он думает добавить, наш государь был в белом. Сиял с головы до ног. Как зеркало. Как свет. Он пишет: «Желал бы я, чтобы европейские государи видели и слышали, как упорно он старался обратить этого несчастного…»

Рука скользит по листу, чернила соединяются с бумагой. Дрожит огонь в камине, пламя свечи клонится и трещит. Он вспоминает, как ехал с Грегори по меловым холмам под серебристым небом; свет без тени, как при Сотворении мира.

Будь эти государи сегодня со мной, пишет он, они бы подивились учености Генриха. Они бы видели его правосудие, его мудрость; они бы узрели в нем… он на мгновение отрывает перо от листа… «зерцало и свет всех прочих королей и государей христианского мира».

В бумагах у него по-прежнему лежит строфа, написанная рукой Правдивого Тома. Она выпала из поэмы, но он помнит ее наизусть.

Но с той поры, как навсегда

С глаз прогнала она меня,

Влачусь из тени в тень, когда

Друзья гуляют в свете дня.

Даже у худших поэтов случаются удачные строки. Можно видеть мерцание, когда человеческая фигура вступает из света в тень и обратно. Он оглядывает комнату. Тусклое поблескивание турецкого ковра. Книги в переплетах телячьей кожи. Серебряное блюдо, отражающее ему его – зерцало и свет всех советников христианского мира.

Он откладывает перо. Думает, письмо не годится, завтра я заполню пробелы, хотя вряд ли, завтра мне нужно в Тауэр. Он слишком измучен, слишком истерзан ужасом и отчаянием, чтобы в подробностях описывать суд и тем более последний день Ламберта. Он пишет: «Не сомневаюсь, некоторые ваши друзья располагают досугом и подробно вам все изложат…»

Пусть излагают. Он закрывает глаза. Что видит Бог? Кромвеля на пятьдесят четвертом году жизни, солидного, закутанного в меха и шерсть? Или мерцание, иллюзию, искорку под конской подковой, плевок в океане, перышко в пустыне, облачко пыли, фантом, иголку в стоге сена? Если Генрих – зеркало, то он – бледный актер, вращающийся в отраженном свете. Если свет погаснет, его не станет.

В Италии, думает он, я видел Мадонн, нарисованных на каждой стене, на каждой фреске видел кровавый пурпур Христовой ризы. Видел искусителя, вьющегося по древу, и лицо Адама во время искушения. Я видел, что змея – женщина и ее лицо обрамляют серебряные кудри, видел, как она свивается кольцами на зеленой ветке и та колышется. Я видел плач небес по распятому Христу, ангелов, рыдающих в полете. Видел ловких, как танцоры, мучителей, побивающих камнями святого Стефана, видел утомленное лицо мученика в ожидании смерти. Видел мертвое дитя, отлитое в бронзе и стоящее над собственным телом; все эти изображения и образы я вобрал в себя как некоего рода пророчество или знамение. Однако я знал мужчин и женщин лучше меня, ближе к благодати, которые размышляли о каждой щепке Креста, пока не забывали, кто они и где, и не видели кровь Спасителя, текущую в древесных волокнах. Тогда они уже не видели себя узниками бед и гонений, несчастными жертвами в чужой стране. Они прозревали в Кресте Христовом древо жизни, и в них раскрывалась истина, и они спасались.

Он посыпает бумагу песком, откладывает перо. Я верю, но недостаточно верю. Я сказал Ламберту, что буду о нем молиться, но под конец молился только о себе, чтобы не принять такую же смерть.

III

Наследие

Декабрь 1538 г.

Народ недоволен введением приходской регистрации. Записи крещений, говорят люди, позволят королю облагать нас налогами с младенчества. Записи венчаний позволят ему получать сбор с каждого жениха и невесты. Узнав о похоронах, агенты Кромвеля явятся забрать медяки с век усопшего.

Кромвель, говорят они, замышляет украсть у нас наши дрова, наши ложки и наших кур. Он хочет обложить налогом наши жернова, наши котлы и горшки, испортить пекарские весы, изменить меры жидкости в свою пользу. Он – хорек, съедающий в день, сколько весит сам. Не увидишь, как подкрадется, – он умеет уменьшиться так, что пролезет в обручальное кольцо. Глаза у него открыты всю ночь. Он танцует, чтобы задурить жертву, а потом высасывает ее мозг. Он устраивает себе нору в логове побежденных и устилает ее мехом.

Посол Шапюи просит встречи.

– Томас, вы знаете, что говорят в Риме? Будто, вскрыв гробницу Бекета, вы достали кости и выстрелили ими из пушки. Ведь это же неправда?

– Посол, если бы я только додумался…

Шапюи говорит:

– Вам повезло, что вы не служите тому Генриху, при котором убили Бекета. В хрониках пишут, что он катался по полу от ярости и пускал пену, как бешеный пес.

В Ламбетском дворце была статуя Бекета на внешней стене со стороны реки. Кранмер велел ее убрать, и теперь там пустое место. Кормчий его барки говорит:

– Я кланялся этому негодяю с раннего детства.

– Вот и хорошо, что больше не будешь, Бастингс.

– И мой отец. И дед. Привычка.

Бастингс сплевывает за борт. Мальчишкой в Патни он думал, лодочники плюются на удачу. Однако дядя Джон объяснил: так они напоминают о себе богам, которые смотрят из воды на днища лодок и видят еще не возникшие течи.

В четырнадцать все его мысли были о реке. Когда с неба лило, он думал, хорошо, больше воды, чтобы унести меня в море.

Темза вздулась; в такую погоду река размывает кладбище Святого Олафа и уносит трупы. Дома, в тепле и сухости, он отпирает ящик, где держит молитвенник покойной жены. Находит изображение Бекета и вырезает страницу – аккуратно, ножичком с тонким лезвием. Листает молитвенник, разглядывает все картинки. Видит мертвую Марию, погребальную процессию, евреев, норовящих толкнуть носилки и растоптать розовые гирлянды плакальщиков. Видит бичуемого Христа, его белое, рыбье тело извивается под ударами.

Подвалы Остин-фрайарз полны реликвиями. Здесь есть стопка платков, аккуратно подрубленных Пресвятой Девой, и кусок веревки, которой удавился Иуда. Мадонн приносили дюжинами, некоторых потом жгли, других рубили топором. Богородица Кавершемская толкает в бок святую Анну Бакстонскую, у них за спиной хихикает святая Модвенна. Ему это напоминает дни до падения Анны Болейн, когда дамы сбивались в кучки, шептали накрашенными губами опасные мысли и закатывали накрашенные глаза. Есть шкатулка с двухдюймовым куском хряща – ухом первосвященникова раба Малха, которое Петр отсек мечом при аресте Спасителя. Кости Бекета лежат в простом сундуке. Лишь знающий врач сумеет сказать, кости это мученика или животного, да и то не наверняка.

Маргарет Поль, чьих родственников допрашивают в Тауэре, по-прежнему живет под надзором Фицуильяма. Когда Фиц уезжает из дома, его жена Мейбл требует брать ее с собой – не хочет оставаться одна под холодным взглядом старухи из рода Плантагенетов.

При тщательном обыске в Уорблингтонском дворце Маргарет находятся бумаги, которые она, вероятно, предпочла бы сжечь.

– Не сомневаюсь, что найдутся и другие, когда у вас возникнет нужда, – игриво замечает Кастильон.

Шапюи говорит:

– Кремюэль будет рад, если к суду подоспеют доказательства.

– Маргарет Поль не под судом, – сухо отвечает он.

Она – глава рода. На свободу ее больше не отпустят, но от этой обузы нас избавит время; ему вовсе не улыбается объяснять послам, зачем король отправил на эшафот старуху. Констанции, жене Джеффри, обвинения предъявлены не будут. Он не включил в обвинительное заключение епископа Стоксли и семью Томаса Мора, по крайней мере сейчас. Сеть раскинулась широко, но по краям тонка, как паутина.

Рич говорит:

– У нас против них ничего нет. Никаких действий. Только слова. Но мы это уже проворачивали. По статуту.

Наш закон об измене обширен, включает слова и дурные умыслы. Мы дали Томасу Мору себя погубить, и Болейнам тоже. Жертва ли тот, кто сам идет на нож? Неповинен ли тот, кто себе навредил?

– Спасибо, Рич, за вашу уверенность, – говорит он. Однако, как всегда, его дело – проследить, чтобы король не совершил того, в чем потом раскается.

Генрих говорит:

– Лорд Монтегю и лорд Эксетер семь лет плели против меня интриги. Привлекли на свою сторону мою дочь Марию. Лишь ваши усилия, лорд Кромвель, – король наклоняет голову, – уберегли ее от беды.

Он ждет, давая королю время провести судебное разбирательство в голове. Наконец спрашивает:

– Джеффри Поль, сэр? Без помощи Джеффри мы бы не довели дело до суда.

– Думаю, что помилую его. Пока пусть остается в Тауэре.

Он делает пометку. В исходе суда сомнений нет.

– Проявит ли ваше величество милосердие в выборе казни?

– Благородная кровь, – говорит Генрих. – Я не могу отправить их на Тайберн, хотя, бог весть, проявил бы Франциск столько же милосердия. Позволил бы император смеяться над собой так, как позволял я. Они ведь смеялись надо мной, над раной в моей ноге. Говорили, она меня убьет. А если бы не убила, они бы поторопили природу. Я спрашиваю себя, как бы они поступили с моим сыном Эдуардом? На крестинах Гертруда Куртенэ держала его на руках. Прижимала к своему сердцу. Как она могла, если в ее сердце столько злобы? Видит Бог, она достойна смерти.

– Нет, сэр, – твердо отвечает он. – Женщин мы пощадим. Сами по себе они ничего не могут. Гертруду можно поселить в Тауэре рядом с комнатой ее сына. Он еще в нежных летах. А Генри Полю нет и десяти.

– Им будет веселее вместе, – говорит Генрих. – Пусть гуляют в саду. Пусть у них будет мишень для стрельбы из лука. Возможно, когда-нибудь их можно будет освободить. Впрочем, надеюсь, мой сын не будет настолько мягкосердечен, не станет десятилетиями кормить злодеев. Надеюсь, никто из моих наследников не будет таким жалостливым, как я.

Когда держишь в заточении детей, их надо иногда показывать свидетелям, чтобы не говорили, будто они сгинули, как дети короля Эдуарда. Впрочем, тех принцев сгубило наследие. Хотя он, Томас Кромвель, ничего против наследия не имеет. Имя его внука Генри уже появляется в бумагах на владение землей и домами, а ведь у мальчика еще не прорезался первый зуб.

В начале декабря в Тауэр летит приказ: доставить обвиняемых. Генри Куртенэ, маркиза Эксетерского, и лорда Монтегю приговаривают к смерти. Их выводят на эшафот под проливным дождем.

Джеффри Поля выпустят еще до весны. Король его простил, сам он себя – нет. На четвертый день Рождества он пытается покончить с собой, съев подушку. Однако перья его не задушили.

Праздники король, как всегда, проводит в Гринвиче. Реджинальд Поль возит по Европе буллу об отлучении от церкви; для человека, обреченного аду, Генрих проводит время на удивление весело. Из Брюсселя наш посол мастер Ризли пишет, что видел Кристину, – он не думал, что может быть женщина с него ростом, но ей это к лицу, и он слышал, что король не против высокой жены. Когда Кристина улыбается, на щеках и на подбородке у нее появляются ямочки. Мастер Ризли думает, она станет улыбаться чаще, когда для этого появятся причины. На вопрос, хочется ли ей стать королевой Англии, Кристина ответила, что, увы, это решает не она.

Генриху показывают портрет. Все, кто его видит, улыбаются.

– С виду вроде добрая, – мечтательно произносит король. – Что, если кожа у нее не такая белая, как у Джейн? Джейн была бела, как стаффордширский алебастр.

Все души должны совершить эту переправу, говорит нам Данте. Они толпятся на берегу, ожидая, когда наступит их черед; смиренные, беззащитные, переправляются в бледном свете.

В последний день тысяча пятьсот тридцать восьмого года берут под стражу сэра Николаса Кэрью, королевского шталмейстера, Кару Господню, старого героя турниров. Письма, найденные у Гертруды Куртенэ, позволили установить, что он не только поддерживал заговорщиков, но и много лет нарушал доверие короля, пересказывая слышанное в монарших покоях.

Генрих произносит печально:

– Кардинал всегда предостерегал меня насчет Кэрью. Я не слушал. Надо мне было слышать моих советников, да?

Не ему на это отвечать.

– Кэрью всегда был на стороне моей жены. Я хочу сказать, Екатерины. Потом на стороне Марии, отстаивал ее права. – Генрих задумывается. – Жена Кэрью все еще хороша собой.

Он чуть не роняет бумаги. Воображает, как из него вытягивают слова: ваше величество, да, в молодые годы у вас были амуры с Элизой Брайан, но вы не можете казнить человека, а потом жениться на его вдове. Царь Давид отправил Урию в бой, где того убили, взял в жены Вирсавию, и первый их ребенок прожил всего несколько дней.

Он думает, пусть кто-нибудь другой это скажет. Лорд Одли. Фиц. Я довольно предостерегал его от бед, хлопал по рукам, как нянька.

Король говорит:

– Я дарил леди Кэрью алмазы и жемчуга, но никогда их на ней не видел. Наверное, Николас прятал их в свои сундуки.

Он говорит:

– Теперь его сундуки опустеют. Все вернется к вам. С дозволения вашего величества я отправлю мастера Корнелиуса сделать отдельную опись.

– Да, отправьте. – Генрих смотрит вдаль. – Они ведь были друзьями моей юности. Кэрью, лорд Эксетер.

Он кланяется, ждет, затем начинает отступать к дверям. Нет больше Круглого стола, думает он. Генрих говорит:

– Реджинальд называет меня врагом рода человеческого.

К нему приходит юный Мэтью:

– Милорд, старуха принесла соловья в клетке. Я дал ей марку.

Кристоф говорит:

– Марку за певчую птичку? Олух деревенский. Милорду надо отослать тебя обратно в Уилтшир. У вас там в Вулфхолле небось других забав не было.

Николас Кэрью под стражей, приговор отложен до Валентинова дня. Король больше не упоминает его имени.

Ou sont les gracieux galans

Que je suivoye ou temps jadiz,

Si bien chantans, si bien parlans,

Si plaisans en faiz et en diz?[64]

Ах эти певцы и плясуны, насквозь лживые в словах и поступках; когда наш государь отправлялся на охоту, они перешептывались: «Скоро ли уже Тюдор сломает шею?»

Тюремщик Мартин говорит, Кэрью начал читать Евангелие. Раскаивается в той жизни, которую вел, хочет стать новым человеком.

– Вы что-нибудь для него сделаете, сэр? Теперь, когда он с нами?

До сожжения Ламберта он бы постарался спасти брата-евангелиста, зная, что совесть не успокоится, пока не сделаешь все возможное. Но теперь это в прошлом.

Говорят, у кардинала в пору его власти была восковая фигурка короля, с которой тот разговаривал и которую подчинял своей воле. Он держит воскового Генриха в уголке воображения, ярко раскрашенного, в золоченых башмаках, однако не разговаривает с ним – боится, что тот ответит.

Часть пятая

I

Вознесение

Весна-лето 1539 г.

Зовите-меня просит отправить ему с ближайшим кораблем портрет короля, – говорит Рейф. – Показать Кристине.

Знает ли Зовите-меня свое дело? Опасно создавать зазор между девичьими грезами и мужчиной не первой молодости. А с другой стороны, те, кто хочет избавить Кристину от иллюзий, наверняка уже описали ей Генриха на словах.

Он сидит с Рейфом и перебирает стопку рисунков. Иногда в королевских глазах проглядывает ребенок – мальчик, ждущий от мира подарков. У Генриха больше ста зеркал. Будь у них память, мы отправили бы Кристине отражение принца, когда тот был одних с ней лет: густые кудри, широкие плечи, атласная кожа.

Генрих едет в Уолтем повидать сына. Ручки и ножки у Эдуарда пухлые и крепенькие. Никакие чародейские заклятья ему не повредили. Цвет лица от матери, робкие голубые глаза и острый подбородок – тоже. Курточки у него алые и коричневые, зимнее платье оторочено горностаем. Принц вовсю забавляется рождественским подарком старого графа Эссекса – трещоткой с колокольчиком. Граф Эссекс глух как пробка.

Каждая депеша от Ризли уверяет нас, что да, тот знает свое дело. Зовите-меня посещает Кристину в ее покоях, завешенных дамастом и черным бархатом. Там, в тишине, наш посол нашептывает ей, что нрав у короля от природы добрый. За все годы царствования почти никто не слышал от него резкого слова.

Кристина заливается краской, пишет Ризли. Лицо такое, будто ее щекочут.

Ваше величество, советует он, берите ее на любых условиях: лучше вам не найти.

Однако Зовите-меня досадует, что придворные в Брюсселе не верят в его знатность, – дескать, всякий, кто служит Кромвелю, сам низкого рода. Ризли заверяет, что горд ходить за лордом – хранителем малой печати, носить его перья, чернильницу и бумагу. Пишет, меня не задевают их уничижительные намеки.

Рейф говорит: «Это неправда». Зовите-меня обидчив и гордится знатностью рода. Впрочем, новый год начался для него удачно: он заполучил драгоценного шпиона, Гарри Филлипса.

Как так вышло? Филлипс сам явился в посольство с повинной. Умолял Генриха простить его за все преступления против Англии и англичан. Теперь он готов рассказать про себя всю правду и вывести нас прямиком к архипредателю Полю. После допроса, полагает Ризли, Филлипса можно отправить обратно в Европу исполнять нашу волю – входить в доверие к врагам короля, затем предавать их в руки палача.

Не успели в Вестминстере прочесть депешу Ризли, как тот вынужден писать новую. Гарри Филлипс бежал из-под стражи, прихватив с собой мешок посольских денег.

Зовите-меня четыре месяца отирался в прихожих и глотал оскорбления, а теперь плут обвел его вокруг пальца. Он будет умирать от тревоги и стыда, пока не узнает, как отнеслись к случившемуся король и совет. Конечно, он виноват. Однако другие участники посольства просят за него в письмах: Бога ради, лорд Кромвель, утешьте его, он заболеет, если вы не напишете ему доброе слово. Никогда сын не хотел так угодить отцу, как мистер Ризли стремится угодить вам.

Может быть, это послужит ему уроком, говорит Рейф. Пусть не воображает себя самым проницательным умом Европы, пусть видит, что может быть таким же дураком, как любой из нас.

Зима выдалась холодная. Только закончились наводнения, как нас засыпало первым снегом. В теплом Толедо император и французский король ратифицируют свой договор. Они утверждают, что это союз до конца их дней, и клянутся не заключать с Англией соглашений – брачных или военных – без одобрения другой стороны. Которая, разумеется, своего одобрения не даст. Кто станет вести дела с королем, отлученным от церкви? Ни один христианин не подаст ему хлеба, если он будет умирать с голоду, а уж тем более не захочет с ним породниться.

Подданные Генриха теперь не должны ему подчиняться. Папа напоминает, что по отношению к сектантам и раскольникам обычные правила отменяются. Можно нарушить заключенный с ними уговор, захватить их товары. Все англичане за границей, будь то студенты, купцы или послы, живут под угрозой ареста. Война не объявлена, но ощущение такое, будто она уже началась. Король

Шотландии охорашивается, думает, если Франция захватит Англию, то страну разделят и ему отдадут север, а то и всё.

Окружение короля живет ради того, что эти люди называют честью: воинской доблести, ратного искусства. Им мало подавить восстание на севере, положить конец приграничным распрям. Норфолк называет войну «делом». «Если у нас будет дело с французами…» или «Если случится дело с Карлом…». Теперь церковные колокола переливают на пушки, орала перековывают на мечи, Крест Христов становится палицей – разбивать вражеские головы. Чернила в Уайтхолле обращаются кровью на границе, судебные закорючки – убийствами на улице. Монашеские благословения сменились проклятьями, за смехом придворных наступает тревожная тишина. Каждый следит за соседом, высматривая измену, высматривая слабость. Если с утра ты недостаточно свиреп, к вечеру тебя уничтожат.

Не в нашем английском обычае держать постоянную армию. На бывшие церковные доходы мы можем ее создать. Но тогда Генрих захочет пустить ее в дело, пожелает воевать за морем, как другие монархи, а этого, говорит государственный секретарь, я никогда не позволю. Если придется оборонять страну, мы сумеем быстро собрать войско; деньги – лучшая смазка. В каждую область назначены отборные люди, они составляют списки, строят маяки, вербуют пушкарей, командуют артиллерией. Могут ваши друзья в Клеве, спрашивает король, прислать сотню опытных канониров?

На Темзе стоят королевские корабли: «Иисус» и «Иоанн Креститель», «Петр», «Миньон», «Примроуз», «Свипстейк», «Лев», «Троица», «Валентин», «Мэри Роуз» и «Мария Болейн». Королевский стол завален планами и чертежами. Генрих рисует форты и блокгаузы, а он, Кромвель, посылает землемеров составлять карту побережья. Все карты отправят королю. Он мечтает разложить их в Вестминстер-холле, образ наших островов.

Послание миру таково: мы устоим перед внезапным нападением, мы выдержим долгую войну. Он, Кромвель, пишет письма в Европу, объясняет недавние казни. Каждый государь поймет, что покойники были претендентами на престол; Генрих стремится обезопасить свою линию наследования. Через год Англия станет огромной крепостью, наставившей пушки на морские пути; больше замком, чем страной.

Замок – это мир в миниатюре. Все внутри должны трудиться сообща. Если замок падет, то из-за измены внутри стен. Герцог Норфолк скачет на север, давить крамолу там, где королевская власть слабее всего; ворчливый старик пускается в путь по зимним дорогам. «Не спешите», – советует он; он, лорд Кромвель.

– А что мне еще остается? – буркает Норфолк, затем, смилостивившись, добавляет: – Послушайте. Когда будете писать на мое имя, не обязательно обращаться «ваша светлость». Как-то это неуместно. При том, кто вы теперь.

Он кланяется. Уж не король ли Норфолку намекнул?

– Смиренно благодарю вашу милость за снисхождение.

Однако, думает он, я не стану называть вас «Том». При виде герцога с мечом на боку он всякий раз представляет, как тот пропарывает его насквозь. «Извините, лорд Кромвель, я, кажется, задел ваше сердце».

Король говорит:

– Спросите немецких князей, чем они смогут нам помочь в случае войны. Попросите их прислать саперов. Если они непременно хотят отправлять к нам богословов, мы их примем, однако нам нужны бойцы.

Солдат, разумеется, можно нанять. Отец короля нанял армию, и та выбила трон из-под Горбуна. Наемники будут сражаться, пока им платят или дают грабить, но не сдвинутся с места, пока не услышат звона монет. Он, Кромвель, шлет вербовщиков в Италию и Германию. Ему не нужны вшивые ирландцы или шотландцы, только опытные вояки из народов, для которых война – это наука.

Зимой совет заседает каждый день. Председательствует король, если только не уезжает лично инспектировать порты. В опасный для страны час в Генрихе пробудились новые силы, новая резвость. «Милорды, мне надоело читать длинные письма. Делайте мне из них выжимки. Если только они не от моих собратьев-монархов – эти я буду читать целиком».

Король Шотландии шлет свои приветствия и просит льва. Льва!

– Вот наглец! – восклицают советники. – Какая самонадеянность!

– У меня в тауэрском зверинце, должно быть, много львов, – кротко произносит король. – Я не откажу ему в просьбе. Милорд Кромвель, займетесь этим?

Кто-то смеется и сразу подавляет смех. Про необычные поручения король всегда говорит: это дело для Кромвеля. Так оно и есть.

Королевский совет уменьшился. Только нужные люди, никаких довесков. Однако все они упрямы, и у каждого свои интересы. Король хочет от советников единства, но и сам не может идти прямо – кренится то в одну сторону, то в другую – и нуждается в крепкой руке, которая его будет направлять. Советнику необходима сдержанность; все мы видели, как Гардинер вылетел от короля с перекошенным лицом, рот съехал набок, нижняя губа оттопырена – ну точно камбала.

Не секрет, отчего король так раздражителен. Астрологи говорят, на расположение его духа влияет Луна в созвездии Овен, однако истинная причина – его нога. Иногда она болит больше, иногда меньше, но нет дня, когда она бы не болела совсем. Как замечают врачи, монархи живут на виду и оттого их хвори кажутся незначительными. Они наследуют трон, но не только трон. Когда император говорит, слова камешками громыхают в чрезмерно выступающей челюсти. Франциск платит за собственные грехи: из-за лечения ртутью он утратил столько зубов, что не говорит, а плюется, а срам у него изъязвлен так, что последняя шлюха отшатнется в ужасе.

Он сам в ужасе от Франциска. В Париже его новые Библии конфисковали, а печатников припугнули. Он-то думал, что подмазал всех, кого нужно, и может не опасаться инквизиции. Может, теперь они ждут выкупа за тираж? Не исключено, что он и правда заплатит, как уже столько платил. Он заглядывает в гости к послу Кастильону и спрашивает, не согласится ли Франциск в качестве услуги выпустить из-под ареста непереплетенные листы? Возможно, придет день, когда Франциску потребуется ответная услуга.

В письмах на родину Кастильон просит его отозвать. Посол боится, что в случае военных действий Генрих и Кромвель его убьют. Он пишет «король и его милорд», как будто в Англии всего один милорд.

Тем временем он, викарий короля по делам церкви, учреждает типографию в Грейфрайарз, куда сам сможет заглядывать хоть каждый день. Это будет надежнее, хотя и медленнее. За одну неудачную неделю, говорит он Рейфу, труд твоей жизни может погибнуть.

Незадолго до Сретенья, заходя к королю, он застает того сидящим в сумерках за книгами. Генрих поднимает голову и смотрит на него растерянно, как будто впервые видит. Затем, словно очнувшись, говорит:

– Томас, у вас замерзший вид, идите к огню. Я тут раздумывал, что иногда нам следовало бы молиться вместе. Как вы молитесь, милорд? Начинает ли вы с Патерностер, или читаете псалом, или обращаетесь к Богу своими словами?

Он пристально смотрит на короля и видит, что вопрос не ловушка. Говорит:

– Я благодарю Бога как кормчего нашего корабля. Никакая буря нас не потопит.

Король разрешил некоему алхимику, Джону Мисслдону, вернуться в Англию из-за моря. Тому дозволено практиковать свое искусство при условии, что он не будет прибегать к черной магии. «Рано или поздно, – предупреждает он короля, – такие люди отчаиваются и обращаются к некромантии».

И я тоже, думает он. Сижу каждый день за столом и жду, что кардинал шепнет мне на ухо совет.

Еще до конца февраля наше положение становится критическим. Это видят все, кроме лорда Лайла. Джон Хуси является прямо с корабля, весь в соленых брызгах.

– Хуси, – говорит он, – с тех пор как Эдвард Сеймур побывал в Кале, я понимаю, насколько ваш господин не справляется со своими обязанностями.

– Он нездоров, – мямлит Хуси.

– Настолько нездоров, что его пора отстранить?

– Нет-нет, пожалуйста… – говорит Хуси.

Он, сжалившись, говорит:

– Я пришлю моего племянника Ричарда ему в помощь.

– Если позволите, – возражает Хуси, – и лорда Эдварда, и мастера Ричарда можно назвать евангелистами…

– Лорду Лайлу это не по душе?

Если случится война, первый удар противник нанесет по Кале. Мне надо отправиться туда самому и взять дело в свои руки, думает он. Только если уехать, король может с перепугу отозвать Норфолка с границы или посадить на мое место камбалу.

Император и Франциск сообщают, что отзывают своих послов. Шапюи приходит к нему частным порядком, весь как на иголках. «Бога ради, не считайте это враждебными действиями. Император отзывает меня лишь потому, что я знаю ваши английские обычаи и смогу посоветовать герцогине Кристине, как ей себя вести, когда она прибудет в Англию на коронацию».

Когда он, лорд Кромвель, пересказывает это советникам, все взрываются хохотом. Только Зовите-меня да, может, еще король верят, что Кристина за него выйдет. Официально переговоры продолжаются. Однако император ставит условия, исключающие этот брак. Слуги Кристины теперь посещают Ризли только в сумерках.

Он говорит:

– Император хочет вернуть Шапюи, чтобы тот рассказал о наших военных приготовлениях. Но прежде чем отпускать посла, мы должны вернуть Ризли.

– Заложники! – говорит лорд-канцлер. – О Матерь Божья! А что насчет Уайетта в Испании? Я слышал, к нему подбирается инквизиция.

Письмо Уайетта у него в кармане. Наш посол пишет: «Я прижат к стене. До марта не продержусь».

Он отправляется домой. Нога болит, и ему сделали особую скамеечку, на которую ее класть.

– Развалина, – говорит он племяннику Ричарду.

Видит себя со стороны. Миниатюра на пергаменте: лорд Кромвель в преклонных летах. Пол из фламандской плитки, сине-белая шахматная клетка, красная бархатная мантия, а внутри – сгорбленный калека. Ричард наклоняется, кладет руку ему на плечо:

– И что, если вы уже не юноша? Хотел бы я в ваши годы быть таким же крепким!

Кристоф говорит:

– Посмотрите на короля! На милорда адмирала, он болеет с Рождества. На Норферка, он скукожился, как сухой стручок.

– Кристоф, имей уважение к первым людям страны! – одергивает того Ричард.

Кристоф говорит:

– Страшно за нашего Зовите-меня. Что, если его убьют? Или бросят в подземелье?

Ему приходила в голову такая мысль. Ризли могут запереть в Вилворде, где держали Тиндейла. Ричард Кромвель говорит:

– У вас были планы того замка. Отправим ли мы войско его освободить?

Они переглядываются и отводят взгляд. Вряд ли.

Он, хромая, отправляется в Тауэр, где в большой удобной комнате, у горящего бледным пламенем камина беседует с Гертрудой, вдовой Куртенэ. Для женщины, у которой только что казнили мужа, она на удивление хорошо держится: не плачет, ест миндаль с блюда.

– Без сомнения, вы укрепляете себя молитвой? – спрашивает он. – Это не могло стать для вас неожиданностью. Вы знали всё, что милорд Эксетер говорил и делал против короля. Вы были его ближайшей советчицей.

– Женщина должна сама заботиться о своей душе, – говорит Гертруда. – Муж этого за нее не сделает.

– Вы знаете, что предатель Поль сейчас в Испании?

Она предлагает ему миндаль.

– Откуда мне знать?

– Он с императором, убеждает того пойти крестовым походом на Англию, на свою родину. Затем отправится во Францию, призывать к тому же. Он вертится ужом, запутавшись в измене.

Она переводит взгляд за его плечо, будто стена интереснее.

– Наш посол в Испании умоляет его отозвать, но ему говорят: «Повремените, мастер Уайетт». Инквизиция начала против него процесс. Вы бы не пожелали оказаться на месте Уайетта.

– Почему бы я оказалась на его месте? Я не еретичка.

– Тот, кого задержала инквизиция, не может ответить на обвинения, поскольку ему не сообщают, в чем они состоят. Не сообщают ему и имени доносчика. Его пытают… не буду рассказывать как. В Кастилии сейчас каждый живет в страхе.

– Им нечего страшиться Святой палаты, – отвечает Гертруда, – во всяком случае если они честные люди и ходят к мессе.

– Они боятся соседей. Старые враги сводят счеты.

Она переводит взгляд на него. Видит королевского советника, доброжелательного, уверенного в себе. Она не видит другого, которого он держит прикованным к стене: того, для кого забывать – изнурительная работа, кому снятся застенки, казематы и ублиетты. Такие люди подвержены приступам ночных страхов; когда они напуганы, то смеются.

– Милорд, – спрашивает она, – где Бесс Даррелл?

Судя по тону, Гертруда не знает, что показания Бесс сгубили ее семью.

Он говорит:

– Она в более счастливом месте.

Гертруда хватается за горло:

– Да простит вас Бог… вы же ее не убили?

– Вы считаете меня чудовищем?

Ему интересно услышать ее ответ.

Она говорит:

– Я гадаю, почему до сих пор жива. Мне твердят, что вы не убиваете женщин, но вы убили Анну Болейн.

– За это же вы на меня не в обиде?

– Если вы думаете обменять меня на мастера Уайетта, то, боюсь, император не…

– Быть может, вас и Маргарет Поль? – говорит он. – Ваша правда, вы не много потянете на весах. Ваш сын стоит куда дороже.

Гертруда поднимает голову:

– Умоляю, не разлучайте меня с ним.

– Мы надеемся, что император, определяя свою политику в отношении Англии, будет учитывать благополучие вас и вашего сына. Он говорит, что всегда печется о древних английских семействах.

Она говорит:

– Пророчица… вы ее помните? Вы по-прежнему меня вините за то, что я к ней ездила. Я клялась и клянусь снова, что не желала дурного.

Она начинает плакать. Он подает ей платок.

– У меня умирали маленькие дети. Милорд супруг винил меня: «Такие хилые наследники в такие трудные времена, одного сына мало». Пророчица обещала передать мою просьбу Пресвятой Богородице. Она уверяла, что ее молитвы исполняются.

Он вспоминает Бартон у позорного столба, ее широкое деревенское лицо, красное от ветра, толпу лондонских зевак. Вспоминает Мора подле себя, как тот кутался в плащ и тер заледеневшие руки; зима, наверное, была как в этом году. Говорит мягко:

– Они же не исполнились, да? Но спасибо, что сказали. Король может изменить свое к вам отношение. Материнское сердце. Он поймет.

Она сморкается. Он говорит:

– Если вам есть что мне сказать еще, советую облегчить душу покаянием. Про Томаса Мора, например. Про епископа Фишера.

– Зачем? Их нет в живых.

– В Риме о них говорят так, будто они только что вышли из комнаты.

Им приносят вино в серебряных кубках, как пристало их рангу. Он вежливо откланивается. Тюремщик берет его под локоток и ведет по винтовой лестнице туда, где сидит на соломе монах-ирландец. Его перехватили в море с письмами к императору, и теперь узник ждет, когда начнутся муки чистилища. Если придут захватчики, ирландские подданные короля впустят их с черного хода.

Он спрашивает тюремщика:

– Узник говорит?

– Уверяет, что знает только ирландский.

– Отправьте его в Остин-фрайарз. У нас есть переводчики.

Он набирает в грудь воздуха и идет к узнику, держа в руке изъятые у того письма. По счастью, монах не успел выбросить их в море.

Ризли бы взломал шифр за десять минут. Уайетт – еще быстрее. Но пока те в руках императора, проще ломать людей.

По приказу из Брюсселя в нидерландских портах задержаны английские суда. Однако испанские купцы покидают Лондон, а он знает, как быстро среди торговцев распространяется паника. Они говорят на разных наречиях, но язык денег понятен им всем.

Король говорит, если они конфискуют мои суда, я конфискую их; я задержу все испанские корабли в наших водах.

Есть другой способ, говорит он, не лучше того, что предлагает ваше величество, просто в дополнение. Издать указ, по которому с проживающих здесь иностранцев снимаются дополнительные налоги и пошлины, – теперь они будут платить не больше англичан. Это, надеется он, убедит их пересидеть нынешнюю бурю в гавани, а не грузить жен и пожитки на ближайший корабль.

Зовите-меня передает слух: будто бы агенты Рима отравили молодого герцога Клевского. Бога ради, пишет мастер Ризли, уговорите нашего государя быть внимательнее к своему окружению. И вы, сэр, тоже будьте осторожны.

Посол Шапюи сильно хромает.

– Я. Вы. Ваш король, – говорит он. – Можно подумать, это нация калек, Томас. Все дело в климате.

– В Брюсселе такие же дожди.

Эсташ соглашается:

– Я не смогу доехать до Дувра верхом. Мне придется нанять конный паланкин.

– Давайте я этим займусь. И вашим багажом тоже.

Посол кланяется. Они садятся за великопостную трапезу. Шапюи еле притрагивается к еде. Быть послом в Англии не великая радость – варварский язык и, как сказал Шапюи, погода, но, по крайней мере, он рассчитывал по окончании срока отбыть торжественно, с королевскими дарами.

– Что слышно про молодого Ризли? – спрашивает Шапюи. – Я пишу слезные письма… и, Томас, сейчас я говорю правду, я убеждал Брюссель: «Бога ради, не обижайте этого молодого человека, он в большом фаворе у английского короля и милорда Кремюэля». Надеюсь, там вняли моим словам и мы с вашим молодым другом скоро будем в пути.

Зовите-меня должен въехать в ворота Кале, когда корабль Шапюи войдет в порт. В какой-то миг эти двое, невидимо друг для друга, разминутся, направляясь в противоположные стороны.

– Лишь бы вы не ускользнули под покровом ночи, – говорит он. – Мне бы не хотелось ставить перед вашим домом стражу.

Шапюи вскидывает ладони:

– Я не сидел бы здесь, если бы задумал подобное. И я не хочу уезжать, пока мой преемник не вступил в должность. Это чревато всевозможными недопониманиями.

Шапюи должен сменить епископ Камбре, славный малый, грубоватый и бесхитростный. Он наверняка ничего не поймет и уж точно не будет понимать короля.

– Я часто жалел вас, Кремюэль, – говорит Шапюи. – Генрих – великий человек, ему недостает лишь последовательности, благоразумия и здравого смысла. Но вы хотя бы встречаетесь с ним лицом к лицу. Видите, как он воспринимает ваши слова. Я, вдали от моего повелителя, всегда боюсь, что меня превратно поймут. Или что те, кто приближен к императорской особе, извратят мои слова. У вас нет старых друзей. Я хочу сказать, из старинных фамилий. Я не так низок по рождению, но знаете, как это бывает, – я всегда должен был слать деньги домой. В чем-то мне везло, и я трудился не покладая рук. Однако я невольно чувствую, что пробился в жизни примерно как вы, Томас. – Он складывает салфетку. – Случайно.

Кристоф и Мэтью приходят забрать тарелки. Шапюи удивленно смотрит на Мэтью:

– Не мог ли я видеть тебя в Хорсли?

– В Хорсли?

– В доме Куртенэ, в Суррее. Я хорошо тебя помню.

– Я взял Мэтью из Вулфхолла, – говорит он.

– Меня больше занимает, где он побывал с тех пор. И почему обычный слуга говорит по-французски, пусть и с таким деревенским акцентом, что я еле его понимаю.

– Мэтью быстро учится, – небрежно отвечает он. – Скоро я отправлю его в Кале, там он немного подшлифует произношение.

Мэтью так потрясен, что наступает Кристофу на ногу.

– Мужлан, – бормочет Кристоф. – Скатертью дорожка.

– Вы хотите сказать, что отправляете его в Кале шпионить за лордом Лайлом, – вздыхает Шапюи. – Что ж, мне пора…

Посол крестится, шепчет латинскую молитву. Встает, морщась от боли, кутается в мантию, словно от сквозняка.

Он, лорд Кромвель, протягивает руку:

– Надеюсь, на другой стороне пролива вы не будете жаловаться на то, как с вами обходились?

Он вспоминает Эсташа в садовой башне Кэнонбери, ненастный вечер, когда они мало-помалу, шажок за шажком, отвратили леди Марию от погибели к спасению. Кристоф сидел тогда на корточках у основания башни с ножом в руке.

Входит Ричард Кромвель:

– Посол, пришли ваши слуги.

Шапюи замирает в нерешительности:

– Мон шер, не знаю, когда я вернусь. На случай, если мы больше не увидимся…

– Не надо так говорить. Мы оба крепки духом, Эсташ, даже если слабы ногами.

Они обнимаются. Посол уходит, по пути одаривая домашних деньгами.

Он садится за стол, берется за письма. Элиза, вдова Кэрью, просит помочь ей разобраться в делах. Он перед ней в долгу: смерть Кэрью открыла вакансии для его людей. Надо будет спросить Ричарда: «Хочешь место при короле, племянник? Король снова посылает Рейфа в Шотландию, а мне нужны люди подле него».

В дверь заглядывает писарь:

– От Ризли никаких вестей.

– Сегодня их и не будет.

Такую ненастную ночь гонец будет пережидать в тепле. Мы надеемся, что Зовите-меня в дороге. Сидит в гостинце: сальные свечи, холодная постель, незнакомые лица. У дверей – императорские стражники.

– Мне жаль Шапюи, – говорит он Ричарду. – Ушел под такой дождь.

К сердцу как будто привесили гирю. Не большую, просто свинцовый грузик, и она тянет. Он возвращается к бумагам. Надо учредить новый совет, Совет Запада, для управления областями за Бристолем. Он говорит Вулси – le cardinal pacifique – положитесь на меня, ваше преосвященство, я буду всячески стремиться к миру. Выторгую для короля союз с немцами и жену.

Уж конечно, старый призрак отзовется? Но кардинал будто и не слышал. Даже не спрашивает, что с герцогом Вильгельмом Клевским? Умер ли тот от папского яда, как писал нам Ризли?

Не умер. Жив и готов к переговорам.

Герцогство Клеве-Марк-Юлих-Берг лежит на обоих берегах Рейна. Его правитель, двадцатидвухлетний Вильгельм, претендует также на земли и побережье Гельдерна; император эти претензии не признает. Герцог Вильгельм – человек независимых взглядов, реформат, но не лютеранин. Он сам возглавляет свою церковь. Через его владения проходят важные торговые пути.

Он, Кромвель, излагает королевским советникам некоторые факты. Знакомит их с веществом под названием квасцы, без которых мы не сможем красить ткани.

В дедовские времена мы покупали квасцы у султана, который никогда не довольствовался одними деньгами – требовал еще и оружие: готовился к войне с христианами на их же средства. Шестьдесят лет назад нашли залежь в Тольфе, неподалеку от Рима, такую богатую, что ее хватит до Судного дня.

Ватикан передал ее Медичи и ввел новый тяжкий грех: торговля квасцами без лицензии. Позже монополия перешла к Агостино Киджи, этому князю банкиров, и вы бы видели, какую виллу он построил на берегу Тибра.

Теперь папа отлучил нас от церкви. Нам нужен источник квасцов. Они требуются для крашения, и в изготовлении стекла, и для лечения ран. У испанцев есть небольшие залежи, но там квасцы плохие, да к тому же испанцы не станут продавать их еретикам. Однако правитель Клеве, у которого две сестры на выданье, владеет, кроме прочего, залежами лучших квасцов, таких чистых, что их огромные прозрачные кристаллы подобны исполинским алмазам.

Квасцы, быть может, и не залог супружеской любви, но члены королевского совета согласны: разум на вашей стороне, лорд Кромвель.

А что насчет самих юных дам? Они ведут род от королевского дома Франции и от нашего Эдуарда II. Они хорошие девицы, которых матери жаль будет отпускать. Да, наши послы не видели их лиц. Обычаи Клеве требуют скромности; на встречах с послами сестры сидели молча, под густыми вуалями.

На входе в королевские покои он сталкивается с врачами. Первый несет склянку с мочой – торжественно, точно святой Грааль.

– Заходите, – говорит король. – Я устал с дороги, милорд.

Поверх вышитой ночной сорочки на короле подбитый овчиной джеркин. Ночной колпак заколот большой шпинелью, красным камнем с мягким бархатистым блеском. Подле локтя стоит таз с его кровью. Король косится на таз, затем виновато на советника. Генрих, вероятно, предпочел бы не видеть кровь, но он, Кромвель, спокоен, как мясник.

– Объявлены выборы в парламент, сэр. Я прослежу, чтобы он был покладистым.

Он достает бумаги и пакет. У Генриха вспыхивают глаза.

– Что вы мне принесли?

– Это труд под названием «Утешение государей», написанный советником одного из саксонских князей.

Генрих вертит книгу в руках:

– Жена стала бы утешением.

– Если она принесет нам надежных союзников, сэр.

Король углубляется в книгу, но он говорит:

– Мои друзья из банка Фуггера говорят, Карл собирает деньги.

– На солдат?

– Да. Но пошлет их на Берберийское побережье. Говорят, сам он останется в Испании. Императрица ждет ребенка, и он о ней тревожится. Как известно вашему величеству, она подвержена лихорадкам.

Король молчит. Без сомнения, мыслями он в прошлом, с роженицами: Екатериной, Анной, Джейн. Наконец произносит:

– Вы слышали, что умер граф Уилтширский?

Томас Болейн.

– Упокой Господь его душу. Говорят, он умер как добрый христианин. – Пауза. – Ваше величество передаст его титул кому-нибудь другому?

– Что ж, сыновей у него не осталось. – Король, хохотнув, закрывает книгу. – Джордж Болейн забыт.

Только не мной, думает он. Иногда Джордж снится мне таким, каким я последний раз видел его в Мартиновой башне: по щекам текут слезы, руки, такие голые без колец, дрожат. Он говорит:

– Герцог Клеве согласен прислать вам портреты молодых дам. Однако их придворный живописец болен, так что возможна задержка. Насколько я слышал, немудрено, что леди Анна прячет лицо под вуалью. Говорят, красотой она затмевает герцогиню Кристину, как золотое солнце – серебристую луну.

– Не увлекайтесь, – со смехом говорит король.

– Думаю, если мы отправим туда новых послов, дамы покажут лица.

– Я отправляю доктора Карна. И Николаса Уоттона.

Он удивлен – не знал, что король уже все продумал. Никто не может считать себя королевским другом. Генрих наблюдает за ним.

– Я очень рад, сэр. Они будут беспристрастны. На их мнение мы можем положиться.

Он умолкает, потому что входит молодой Калпепер, навострив говардовские уши.

– С позволения вашего величества, меня прислали врачи, – говорит Калпепер. – Можно мне забрать таз с вашей кровью?

Снаружи его ждет Джейн Рочфорд:

– Скоро ли у нас будет королева? – Она держит в руках пакет. – Это вам. От милорда моего отца.

– Книга?

– Конечно книга. Что мой отец когда-либо дарил, кроме книг?

– Мог бы прислать мне пирог с дичью. Чем старше я становлюсь, тем больше ненавижу Великий пост.

Принимая подарок, он смотрит ей в лицо, на ее недовольно поджатые губы. Она говорит:

– Мы хотим знать, которую из сестер он выберет. Если только он не намерен жениться на обеих.

Джейн Рочфорд ждет. Он листает страницы. Это книга Никколо Макиавелли, а внутри записка от лорда Морли с предложением показать ее королю; лорд Морли пишет, что отметил самые интересные места.

– Итак? – спрашивает она.

– Я читал ее много лет назад, еще в рукописи. Разумеется, я напишу вашему отцу и поблагодарю его.

– «Итак?» было не про книгу, а про принцессу. Которую он выберет? Говорят, одна с каштановыми волосами, другая белокурая.

– Надеюсь, от меня не потребуют вынести суд Париса.

– Я советую выбрать белокурую.

Он отдает книгу Кристофу.

– Его вкусы могли измениться.

Она смотрит на него как на дурачка:

– Не думаю, что белокурые вышли из моды. Кстати, Говарды прислали молоденькую девицу Кэтрин, спрашивают, не возьмем ли мы ее в свиту новой королевы. Пухленькая, налитая, и, я думаю, ей нет еще и пятнадцати.

– Отошлите ее обратно.

– Как пожелаете. Хотя, думаю, вам легко будет переманить ее от дядюшки Норфолка – довольно будет подмигнуть и подарить яблоко. В жизни не видела такой простушки. Ротик – приоткрытый розовый бутон, как у младенца, сосущего грудь. Что передать Говардам?

– Передайте отказ. Пусть не суется ко двору, пока я не получу подписи на брачном контракте.

– Я слышала, герцог Клевский попросил портрет леди Марии. Пора ей принести какую-нибудь пользу. А насколько я понимаю, самое полезное, что она может сделать, – это выйти замуж за немца.

– Мы не отправляем за границу портреты наших принцесс. Это не в нашем обычае.

Джейн Рочфорд склоняет голову набок:

– Вы очень легко изобретаете обычаи.

Он кланяется, как будто она ему польстила. А что еще остается – не может же он влепить ей пощечину. Он говорит:

– Послам герцога Вильгельма известны добродетели леди Марии. Они ее видели.

– Но не когда она мается зубной болью, – весело отвечает Рочфорд.

Он сует подарок лорда Морли под мышку. Король ничего не узнает из книги Никколо. Однако она поможет скоротать время, когда король будет мучиться болью в ноге.

На вопрос, хочет ли она выйти за герцога Клевского, Мария отвечает, что поступит, как велит отец, но предпочла бы остаться в родной стране и не выходить замуж. Безупречно скромный ответ.

Дома его ждет Ричард Рич.

– Рикардо, – говорит он, – мне нужна ваша помощь в подготовке к выборам. Будем каждый день работать допоздна.

– А когда мы работали меньше? – отвечает Рич так, будто ему не терпится приступить к делу. – Я слышал, Ризли будет представлять Гемпшир?

– Думаю, он это заслужил своими трудами за границей. Я каждый день жду его приезда.

– Жаль, что он не преуспел и не привез королю жены. А в Гемпшире у короля епископ Гардинер. Появление соперника его обозлит.

Он кивает: этого мы и добиваемся.

– А молодой Грегори… вы считаете, он справится? Извините, но ваши недоброжелатели обязательно укажут, что он чересчур молод.

– Трудное дело. Долгие заседания. Я не считаю это занятием для стариков.

Рич протягивает бумаги:

– Глянете? Это пенсионный список для Шефтсбери. Вы всегда говорили, что аббатиса будет биться до последнего. Однако мы нашли деньги, чтобы ее подкупить.

Нам нечего обижаться. Монастырь богатый. Он проводит сухим пером по списку. Вот имя, которое он ищет: Доротея Клэнси.

– Вам известно, что дамы решили по поводу своего будущего?

– Не наше дело, сэр, – отвечает Рич и тут же с чувством добавляет: – Я очень тепло вспоминаю нашу поездку в Шефтсбери. Пробыть день в вашем обществе, милорд, величайшее удовольствие и величайшая привилегия. Очень поучительно видеть, как ваша милость ведет дела с людьми самого разного звания. Мне это всегда на пользу.

Удовольствие и польза. Что еще нужно Ричарду Ричу? Тут распахивается дверь и влетает Кристоф с криком:

– Смотрите кто!

– Зовите-меня! – Он раскрывает объятия.

Путник, в грязи Дуврской дороги, падает ему на грудь.

– Мы потеряли вас из виду. – Он крепко обнимает Ризли. – Шапюи написал мне из Кале – вероятно, хотел сообщить, что вы в море, однако соленая вода смыла его слова.

– Как и мои. – Красной сафьяновой перчаткой Зовите-меня смахивает слезу, срывает шляпу со страусовым пером и бросает на стол. – Сэр, я не в силах выразить, как счастлив видеть ваше лицо. Дважды или трижды я считал себя покойником. Не знал, чего и желать: чтобы король влюбился в Шапюи и задержал его до моего приезда или чтобы выпнул его из страны и я смог двинуться в Англию.

– Страшнее всего промежуточное время. – Рейф стоит на пороге. – Когда ты ни здесь, ни там, ни на небе, ни на земле. – Он идет через комнату и целует героя в щеку. – Добро пожаловать домой, Зовите-меня.

Рич смотрит оторопело, будто они индейцы на своем дикарском празднике.

– О, и еще мерзавец Филлипс! – восклицает Зовите-меня, как будто сразу должен это сказать. – Сэр, вы не можете корить меня сильнее, чем я корю себя.

– Успокойтесь, – говорит он. – Такие, как Филлипс, оскорбляют Бога и разум. Будь я в ваши лета главой посольства, я бы тоже поддался на обман из ревностного желания послужить своей стране.

Рич ворчливо замечает:

– Милорд больше порадовался бы возвращению Уайетта. Тому есть что рассказать.

– Да? – спрашивает Ризли.

– Планы, как всколыхнуть всю Италию, – говорит Рич. – В Толедо у него нет отбоя от послов, и он крутит их, как волчок. Венецианский посол выходит с черного крыльца, феррарский входит с парадного, мантуанский тем временем прячется под столом, а флорентийский – в каминной трубе. Пишет, что у него уже раскалывается голова от интриг. Но он ничего не расскажет, кроме как лично милорду.

– Ой, – говорит Ризли.

Вбегает Ричард Кромвель, улюлюкая, как псарь. Двигает Ризли кулаком в плечо. Зовите-меня отвечает тем же, пока Рейф не говорит:

– Ризли, идите домой к жене.

– Да, вы правы. – Зовите-меня заливается краской. Сияет. Берет со стола шляпу, взмахивает ею в воздухе, отвешивая поклон, и задевает свечу страусовым пером.

Ричард Рич делает шаг вперед, гасит вспыхнувшее перо и смущенно бормочет:

– Железные пальцы.

Бумаги из Шефтсбери лежат на столе. Когда мальчишки уходят, он склоняется над списком, ведет указательным пальцем до имени кардинальской дочери. В воздухе пахнет жженым пером. Он ставит подпись под документом.

Через неделю он узнает, что мастер Ризли подкупил или запугал кого-то из младших шифровальщиков и добыл ключ к письмам Уайетта. Ему об этом рассказывает Рейф, вполголоса, стыдясь того, что сделал Зовите-меня. Он сам почти не злится; ему скорее смешно. Пусть попытается распутать клубок итальянских политических интриг. Уайетт говорит, запалите пожар у папы на заднем дворе. С помощью ваших денег и опыта раздуйте искры раздора между государствами, и пусть Рим тушит огонь. Он думает: замысел может сработать. А может ударить по нам.

Он говорит Рейфу:

– Во времена кардинала, когда я был его порученцем, а Стивен Гардинер – его секретарем, я бы вскрывал письма Стивена, если бы мог.

А когда мог, то и вскрывал, думает он. И по-прежнему вскрываю.

Он заходит к Гансу:

– Напишите леди Марию. Мне надо отправить ее портрет герцогу Клевскому.

– Вы хотите этого брака? – спрашивает Ганс.

– Безусловно.

– Послушайте, я не льщу.

– В моем случае так точно. Однако Томас Мор у вас вышел приятным человеком.

– Я не льщу, потому что не смею. Король мне доверяет. Но если я напишу нашу мышку честно, Вильгельм испугается. Посему я не вижу для себя выгоды в этом заказе.

– Вы же не откажетесь написать королевскую дочь? Вы что-нибудь придумаете.

– Люди говорят, когда никто не возьмет леди Марию в жены, она выйдет за Кромвеля.

– Чепуха. – Он думает: она меня ненавидит, неужто Ганс этого не видит? – Вы говорите так, будто она старуха. Сколько ей? Двадцать два, двадцать три?

– С лица больше. Ее гнетет собственное будущее. – Ганс смеется.

И впрямь, постороннему будет нелегко угадать, сколько Марии лет. Иногда она выглядит хилым ребенком, иногда старухой. И лишь изредка, в какие-нибудь полчаса обычным вечером, она выглядит собой.

На Пасху в Гринвиче он наблюдает за Марией; знает, что весь двор смотрит, как он смотрит на нее. Она недавно купила сто жемчужин и потратила триста фунтов на праздничный наряд. В желтом дамасте и лиловой тафте, она забавляет маленького принца. Играет в карты, играет на верджинеле, судачит со своими дамами, а с наступлением тепла начинает выезжать верхом.

После ареста Полей и Куртенэ король велел допросить ее слуг. От нее потребовали письма Шапюи, и она через некоторое время отдала целую стопку; там не оказалось ничего существенного. Посол написал их специально, по его совету, и проставил разные даты. Скажи Мария, что ничего от посла не получала, король заподозрил бы, что она эти письма сожгла. Как, он уверен, оно и было.

Такая игра Марии по силам. Однако в неделю казни король отправил к ней доктора Беттса, и тот нашел у нее сильнейшую слабость.

Без сомнения, она будет скучать по Шапюи. Впрочем, сейчас весна, и король окружил Марию заботой. Он, лорд Кромвель, ведет ее смотреть игру в теннис и мимоходом замечает:

– Я слышал, герцог Вильгельм очень красив.

– Для меня это ничего не значит.

– Да, но лучше красавец, чем урод. К слову, не позволяйте людям внушать вам, будто он лютеранин.

Мячи летают через двор.

– Милорд Кромвель, – отвечает она, – я никому ничего не позволяю мне внушать.

Пасхальное благочестие короля удовлетворило бы любого паписта. В Страстную пятницу Генрих полз к Распятию на коленях. Немецкие послы в ужасе. Если король так ведет себя на Пасху, то что будет на Вознесение? Когда Христос плотью возносится на Небеса, велит ли ваш король поднимать его на веревке

с блоком? Будет ли он нежиться на потолке с богинями, чтобы на Троицу сойти в виде голубя?

Он, лорд Кромвель, готовит собственное Вознесение. Он изобрел новое местничество, которое парламенту предстоит утвердить. Отныне ваше место определяется не знатностью и не древностью рода, а тем, какую должность вы занимаете при короле. Королевский викарий по делам церкви – то есть он – стоит выше коллегии епископов. Королевский викарий, возведенный в баронское достоинство, превосходит всех других баронов. Если лорд – хранитель малой печати родился простолюдином, он все равно сидит выше герцога. Кристоф говорит: «Если счесть все ваши чины, надо поставить на кресло лестницу, а на нее еще лестницу, а на нее трон, чтобы вам оттуда плевать на Норферка и других врагов».

Томас Говард ничего не теряет при новом порядке, но все равно будет недоволен возвышением других. «А что до Гардинера, – говорит Кристоф, – который всего-то епископишка, он просто захлебнется желчью».

Под расписным потолком, под жестким мраморным небом, он составляет повестку для парламента. Мы распустим последние монастыри, король начнет учреждать на их месте школы и кафедральные соборы. Нужны меры для помощи бедным, для защиты границ и для единства веры – он не особо понимает, каким будет это единство, но такова воля короля.

Дочь наконец-то написала. В Антверпене дела все хуже, примете ли вы меня в Англии, если я должна буду бежать? Он пишет, обратись к Стивену Воэну, он поможет. Хотя наши послы вернулись домой, Воэн по-прежнему в Антверпене как старшина английских купцов. Он переправит тебя в Англию.

Здесь она не будет в безопасности и может навлечь беду на него. Король дал понять, что некоторых сектантов в своей стране не потерпит. Можно призвать ее к осторожности. А сказать ей: «Затаись»? Другим он так говорит. Если Кранмер прячет жену, уж конечно, я сумею спрятать дочь, думает он. У него много домов, и число их все время растет. Глядя на него в эти дни, думаешь о Юпитере, планете расширения.

Как-то утром после Пасхи он просыпается с тяжелой головой, шея как деревянная. Не может есть, идет в совет на пустой желудок. Короля сегодня не будет – он уехал в свое поместье в Оутлендсе, которое намерен перестроить. Оттуда, наверное, поскачет в Нонсач глянуть, как движутся дела у Рейфа.

Советники ждут. Он бросает бумаги на стол:

– Без меня начать не могли?

Фицуильям говорит:

– Мы не смеем.

– Вы не в духе, милорд Саутгемптон. Ваша гостья вас извела? Верю, что с леди Солсбери непросто. Обещаю забрать ее от вас в Тауэр.

– Я об этом прошу с Рождества. И вам нечего гадать, отчего я не в духе. Я не женщина, можно просто спросить.

Может, Фиц завидует его новой должности? Губернатор острова Уайт. Коннетабль Лидского замка. А может, кто-нибудь льет ему в уши отраву: лорд Кромвель-де сомневается в вашей приверженности Евангелию.

Лорд Одли говорит:

– Перейдем к повестке дня? Доставили письма от милорда Норфолка…

Покуда Одли перечисляет очередные жалобы герцога, он пристально смотрит на Фицуильяма. Вроде бы тот не обойден почестями: граф и лорд-адмирал. Может, думает он, Фиц завидует, что у меня есть сын, которого я могу отправить в парламент, а у него нет.

Под его взглядом Фиц нервничает и роняет бумаги. Мальчишке-писарю приходится встать на колени и по-кошачьи ползать у них между ногами. Гардинер хохочет. Он цедит:

– Рад, что вам весело, милорд Винчестер.

В голове стучит. Когда все встают, Одли говорит:

– Не опаздывайте больше, милорд. Вы же знаете, что все мы рыцари Круглого стола, а ваше кресло – Гибельное Сиденье. Оно стояло пустым десять тысяч лет, пока не пришел лорд Кромвель.

На следующее утро он не может встать с кровати. Пытается прочесть молитвы, но может вспомнить лишь проповедь Хью Латимера жарким июльским днем, должно быть в лето казни Анны Болейн. Но Бог придет, Бог придет, Он не станет долго медлить. Он придет в день, которого не ждем, в час, которого не ведаем. Он придет и рассечет нас на куски.

К тому времени как приходит Беттс, он уже способен говорить связно. Он был у Сэдлера, а там дети заболели корью, неужели это она?.. Старухи говорят, ею второй раз не болеют.

Беттс хмурится:

– Если у вас корь, мы скоро узнаем, но до тех пор ко двору не приезжайте.

Эта зараза убивает детей, но он не думает, что она убьет его. Велит принести бумаги. К полудню уже сидит за столом. На следующее утро готов выйти, сопровождающие ждут, бумаги в руках. Потом садится и чувствует, что больше не встанет. Зачарованно смотрит, как из тумана выступает старинный недруг. Казалось бы, можно было уже узнать итальянскую лихорадку.

– Парламент соберется на заседание, – говорит он, – и я должен…

Сил закончить фразу нет. Слабость тепловатой водой разливается по жилам. Он протягивает бумаги Ричарду:

– Отправишь послание королю? Нет, поезжай лично. Скачи туда, где король сейчас. Скажи, я скоро у него буду.

Начинается озноб. Он в постели, диктует писарю. Озноб такой, что приходится сжимать зубы, и тем не менее между приступами он все равно диктует.

Анна Болейн говорила ему: вы болеете только по собственному желанию. Как же она ошибалась!

Во время первого приступа лихорадки за дверью прячется Джордж Болейн. Слышен тихий разговор насекомых, – быть может, муха не может вылететь и бьется головой об оконное стекло: ж-ж-ж, ж-ж-ж. Он видит, что дверь приоткрыта. Джордж может в нее проскользнуть; проскользнет и уткнется незрячим заплаканным лицом в мокрую от пота подушку.

Врачи говорят:

– Вы знаете, как лечиться, милорд. Лежать в постели и пить слабое пиво.

И горькие микстуры, от которых нет никакого прока, но их глотаешь, чтобы успокоить домашних.

– Мне нужен Ризли. Где он?

– Уехал в Гемпшир, сэр, готовиться к выборам.

– Норфолк вернется к открытию парламента. Будет произносить речи. Что мне делать?

– Сэр, эта лихорадка существовала задолго до того, как появились парламенты.

Эта лихорадка существовала до того, как написали Библию по-английски, по-латыни или по-гречески. До того, как стол стал Круглым, до пожара Трои. Она губила людей до Потопа, напала на первых людей, когда тех изгнали из рая. Авель был слаб после приступа, потому-то Каин его и одолел.

Все тело ломит. Перед глазами плывет. Вокруг скрипят доски, словно на корабле под парусом. Он думает, что лежит в Остин-фрайарз и его жена жива. Кажется, будто он часами летит сквозь тьму и собирает себя на кровати, как, говорят, дом Пресвятой Девы перелетел в Италию и заново отстроился среди тех, кто будет его чтить.

Однако приходит утро, слуги открывают ставни – свет режет глаза, как нож, – и говорят, нет, сэр, вы по-прежнему в Сент-Джеймсском дворце. Но если вам что-нибудь нужно из Остин-фрайарз, мы принесем.

Он думает: где я был? Я путешествовал всю ночь.

Садится:

– Я буду работать.

Сегодня лихорадка трясет его, назавтра ослабевает, послезавтра возвращается с новой силой. Скоро он пройдет весь цикл. Он может сидеть за столом, но не тешит себя иллюзиями – худшее еще впереди. Надо бы уничтожить бумаги на случай моей смерти, думает он, однако, если я выживу, они мне понадобятся. Уж конечно, смерть предупредит меня заранее. По старой дружбе.

Врачи спрашивают:

– В случае крайности кого бы вы предпочли?

Он смотрит непонимающе, переспрашивает.

– Епископа Вустерского? Архиепископа Кентерберийского?

– А, понимаю. Духовника. Только не Гардинера. Если он увидит меня на смертном одре, то спихнет оттуда, и мне придется умирать на полу.

Он работает с удвоенной скоростью. Указания мастеру Сэдлеру, которого скоро отправляют в Шотландию. Письмо Уайетту – сообщить, что король назначил ему преемника. Зовет к себе своего французского секретаря.

– Не было ли сегодня писем из Парижа? От Эдмунда Боннера?

Просит таз, аккуратно блюет. Смотрит на то, что изверглось из его тела.

– Какие известия от венецианцев?

По последним сообщениям, флот вышел в море: готовился напасть на турок. Немецкие князья собрались во Франкфурте – есть ли депеши оттуда?

Сэр, говорят они, мы принесем вам все письма, как только их доставят, только ложитесь сейчас в постель.

Мальчиком в Патни он собирал в прибрежной глине монетки. Они были тонкие, сточенные, с полустертыми лицами монархов. Их нельзя было потратить как деньги – они даже в руке не звякали, – только сложить в коробку и раздумывать о них. Если столько монет выносит на берег, сколько же река таит в своей глубине? Сокровищница государей, каждый щурится в полутьме единственным глазом, как Фрэнсис Брайан. Он поднимает голову:

– Как Фрэнсис? Жив еще? Я забыл.

– О да, милорд, – отвечают ему. – Сэр Фрэнсис по-прежнему с нами, он оправился и от болезни, и от королевской немилости. И мы надеемся, вы тоже оправитесь.

Немилости! Я уверен, что король мною недоволен, думает он. Как злился в тот день, когда я попросил об отдыхе. Как бил ногой землю и закатывал

глаза. Так Генрих поступает с людьми. Берет от них все, что они могут дать, и больше. Сам раздается вширь, а они хиреют и умирают.

Он не знает, вслух это сказал или про себя. Но знает, что он на барке, под своим флагом. Барка качается; Бастингс куда-то его везет. В бреду ему кажется, что в нише Ламбетского дворца вновь стоит Бекет. Бастингс говорит, я предупреждал вас, он вернется. С детства я кланялся ему, проходя, как и мой отец до меня.

Чепуха, говорит он, Бекет в подвале, в сундуке. Если я умру, выстрелите моими костями из пушки. Хотел бы я видеть физиономию Гардинера!

На следующий день он шлет учтивое послание новому французскому послу, Марильяку. Кастильон вернулся во Францию, а новый посол уже посетил короля в Гринвиче. Он беспокоится, что произошло за время его болезни, а к тому же хочет узнать новости из Персии и с Востока; французы всегда получают их раньше нас.

В дни, когда лихорадка ослабевает, считаешь часы и живешь в ужасе: она вернется, она возвращается, неумолимая, как ночь. Обессиленного, в ознобе, его укладывают на кровать, и тут как раз приносят известие, что прибыли послы из Клеве; они в Лондоне, просят принять их прямо сейчас. Он горит в жару, словно в оружейной мастерской; он в горне, он – зола. Его отец Уолтер заходит и кричит, ах ты безмозглый мальчишка, отчего не починил мехи, как я буду раздувать огонь?

Безмозглый отец, кричит он, по-твоему, такого жара мало?

Но после Италии никогда по-настоящему не согреться. Английское солнце светит вполсилы, прячется, когда меньше всего этого ждешь, а там уже и осень с теплыми дымными дождями.

Как-то он был по кардинальским делам в аббатстве Лонд. Оно стоит среди зеленых лугов, тишина, слышно лишь жужжание пчел над грядками пряных трав да гул молитвы. Лето, он сидит в беседке, разговаривает с братией. Брат Урбан держит в руке левкой, рассуждает о Святом Духе. В небе плывут курчавые облачка.

Теперь он в Лонде зимой. С ясного неба светит холодное солнце, деревья стоят в серебре. Он идет к аббатству, с ним брат Томас Фрисби, снег хрустит под ногами, кровь поет в жилах. Птицы и мелкие зверюшки оставили вокруг россыпь следов, будто некий шифр или утраченный алфавит. Бог видит их, две черные фигуры под эмалевым небом.

И тут Фрисби с воплем исчезает. Барахтается в яме, и он, кардинальский порученец, бросается на помощь. Кричит, тянет, земля уходит из-под ног, снег летит пухом из перины. Фрисби проваливается все глубже, сутана распростерлась на снегу, руки раскинуты, ноги сучат, ища опору, пыхтит, ругается; наконец он, Томас, ставит монаха на ноги, тот щурится на солнце, нос красный, смех звенит в воздухе. Они обнимаются, стряхивают с плащей снег, радость течет по жилам, как аквавит, покуда они тащат друг дружку к аббатству на звон колоколов.

Перед ним приор Лонда с лицом доктора Беттса: «Клянусь мессой, да он холодный, как покойник». Еще минута, и он будет в глыбе льда. Он думает: меня можно убрать в подвал и все лето откалывать по кусочку. Добавлять меня в мятую клубнику с ежевичным вином.

Он приходит в себя. Осторожно проводит рукой по одеялу. Здесь вовсе не Лонд. На него навалили столько одеял, что он стал похож на блокгауз или фортецию. Я могу остановить турок, бормочет он.

Он садится. Знаком просит пить. В комнате горят свечи. Он думает: интересно, что сталось с Фрисби? Тому ведь не так уж много лет. Я заберу Лонд себе, как только аббат передаст монастырь королю. Поселюсь там, когда все кончится. Буду лордом Кромвелем у себя дома. Летом буду сидеть в беседке, зимой гулять по льду.

Приносят письмо от Меланхтона, затем еще одно, от герцога Саксонского. Потом приходят и говорят:

– Милорд, мастер Грегори здесь, прискакал во весь опор из Сассекса.

Грегори входит, встает в изножье кровати, смотрит на отца.

– Господи! – вырывается у него.

Он говорит:

– Господи помилуй, Грегори, не говори, что я исхудал и осунулся. Уж не приступу малярии свести меня в могилу. Тебя зря побеспокоили.

Грегори отвечает:

– Я бы все равно приехал. На заседание парламента.

Он говорит:

– Ричард Рич был прав. Ты слишком молод.

– Он так сказал? – удивляется Грегори.

Он говорит:

– Грегори, после смерти Джейн ты спросил меня, на ком я разрешу королю жениться.

Наша милая Джейн. Слеза катится по его щеке. Слуги разбегаются в панике. «Милорд плачет!» Ну да, прежде они такого не видели.

Он утирает слезу.

– Мне пришли письма из Германии. Мои писари сейчас их переводят. Князья выражают одобрение нашему браку с Клеве, королю. Принеси мне перо и бумагу.

– Вы не сможете писать, отец.

Он говорит:

– Грегори, я должен пользоваться временем. У меня меньше двадцати четырех часов.

Пока за мной не приплыл мой кормчий и не окунул меня в реку Стикс.

Однако проходят еще ночь, день и ночь, прежде чем он находит в себе силы вернуться к делам. За это время он успевает побывать в Патни. Ему лет четырнадцать-пятнадцать. Тогда он какое-то время болтался в доме Уильямсов в Мортлейке. Сестра Кэт вышла замуж в уважаемую семью, и ее новые родственники говорят:

– Юный Томас – толковый мальчуган, аккуратно пишет, хорошо считает, знает подход к лошадям, да и не гордый – может и дров наколоть, и двор подмести. Кто угодно возьмет его в подмастерья и не прогадает.

Они говорят так, будто он – товар.

– Бедняжка, – замечает одна из женщин. – Уолтер его лупит. Ну да вы все знаете Уолтера.

Уильямсы ничего не смыслят в правилах его здешней жизни, им неведомы хитросплетения кровной мести в Патни. Они не знают про долг драться и побеждать, которым он опутан с тех пор, как научился ходить. У тебя есть честь не хуже, чем у любого герцога, и ее надо защищать. Уильямсы – хорошие люди, и это оберегает их от потребности, которая гложет тебя: получить все, чего у тебя нет и в чем они никогда не нуждались.

Уильямсы говорят:

– Мы пристроим Томаса. Есть такой Артур Как-его-бишь в Ишере. Ему нужен мальчик.

Только не это! Он не хочет быть мальчишкой Артура в Ишере. Он хочет быть другим мальчишкой, перед которым весь Ишер будет дрожать.

Пока он у сестры, отец не может его лупить, но за это время мальчишка-рыбник вооружил свою шайку. Они враги с семи лет. Он не помнит, с чего началась вражда, но помнит, как окунул мальчишку-рыбника головой в бочку и держал, так что гаденыш чуть не захлебнулся.

Теперь он вразвалочку идет домой, а мальчишка-рыбник с дружками уже дожидаются.

– А! – кричат они. – Ножи-Точу!

Они так его дразнят, потому что Уолтер точит ножи. Завидев его, они поют:

Целых десять лет в Ньюгейте —

Это многовато.

Кандалы все ноги стерли,

Малость жестковаты.

Они кричат:

– Ирландский ублюдок в лысой собачьей шкуре!

Уолтер уверяет, что он не ирландец, а на самом деле черт его знает.

Они кричат:

– Ты убил свою мать! Она как выродила тебя, так со страху перерезала себе горло!

Его сестра Кэт говорит:

– Не слушай их. Все было не так.

Он кричит:

– Ты, говняшка чертова, рыбник, тебе жить надоело?

Мальчишка-рыбник орет:

– Я тебя отлуплю, обалдуй!

– Когда? – спрашивает он.

– В субботу вечером!

– Я тебя освежую, посолю и зажарю на сковородке!

Так что ничего другого ему тогда не оставалось.

В субботу вечером ты гонишься за ним вверх по дороге. Но к этому времени ты успел запугать его угрозами, переданными через приятелей. Если мальчишка-рыбник задумался (а у него было на раздумья несколько дней), то вспомнит, что во всех ваших драках побеждал ты. С прошлым не поспоришь, поэтому он бежит. А что еще ему делать? Он может встать на дороге, протянуть руку, но тогда Томас Обалдуй отрежет ему пальцы.

Мальчишка-рыбник думал спрятаться от тебя у своего дяди на складах. Думал, юркнет мимо сторожа в ворота, а тот преградит тебе путь: «Эй, Кроммель, куда намылился?»

Но сегодня сторожа там нет, как тебе прекрасно известно. Когда ты уходил, Уолтер с друзьями уже час заливали глаза крепким элем. Уолтер варит мерзкое пойло, но для приятелей у него всегда лучшее. И сторож Уилкин как раз высунул в дверь пьяную рожу:

– Выпьешь с нами, Томас?

Он ответил:

– Я иду в церковь.

Уилкин отступил. Из-за двери донеслось разухабистое пение: «Вот сука, я аж эль пролил…»

Ты идешь под ущербной луной и только при виде мальчишки-рыбника переходишь на легкий бег – так можно бежать сколько угодно и не запыхаться. В складском дворе его не видно, однако ничто не мешает тебе спуститься за ним во тьму, в погреб, где под низкими сводами, среди сундуков и ящиков с гербами чужих городов и торговых гильдий схоронился мальчишка-рыбник.

Ты думаешь про свой дом. Уолтер и его приятели умеют растягивать эту песню с ее припевом на час с лишним – интересно, на каком куплете они сейчас? Уолтер любит петь за девицу, взвизгивая, когда ее припирают к стене: «А ну сейчас же отпусти!»

И тогда хор подхватывает: «Не уходи! Куда спешить?» – и показывают руками, будто спускают штаны.

По счастью, при женщинах они такого не поют.

В подвале твои глаза привыкли к темноте. Тебя разбирает смех. Ты слышишь, как хрипло дышит мальчишка-рыбник. Идешь к нему, давая понять, что знаешь, где он спрятался. Кричишь:

– Ты б еще флагом мне помахал!

Останавливаешься. Если постоять дольше (и если тебе хватит терпения), он начнет плакать. Умолять.

«А ну сейчас же отпусти!»

А если простоять еще дольше, он может умереть со страху, и тогда никому потом не придется мыть пол. Ты достаешь нож. Видит ли он тебя? В подвале одно зарешеченное окошко, и света оттуда почти нет. Что проку его дяде от решетки на окне, если Уилкин уходит и оставляет дверь нараспашку? Ты говоришь это вслух.

– Ну же, – кричишь ты, – согласись со мной!

Он дышит так, будто там три кота в мешке.

Мальчишка-рыбник храбрый, только когда с ним братья, родные и двоюродные.

– А теперь обосрись, – говоришь ты, его спокойный наставник.

Когда ты отодвигаешь ящик (ты сильный, вот и Уильямсы так говорят), то видишь его лицо, белое, как натянутое полотно. Оно, видать, светится собственным бледным светом, потому что ты видишь его глаза. Ты удивлен их выражением. «Рад мне, что ли?» – спрашиваешь ты. Он делает шаг вперед, словно для приветствия, и насаживается мягким животом на нож.

Ты поражен, во-первых, внезапным жаром, во-вторых, хлынувшей на пол кровью. Ты выдергиваешь нож. Вместе с лезвием вытаскивается что-то еще: кишки. Твоя первая мысль о лезвии. Ты вытираешь его о джеркин умелым движением: раз-два. Вниз не смотришь, но чувствуешь его у своих ног, мокрую груду. И произносишь короткую молитву.

Ты нагибаешься с усилием, как старик. Возможно, ты слишком легко принял мысль, что он мертв, но ты зажмуриваешься и тянешь руку в темноту – мягко, как девушка трогает спелый плод. Если лужа крови кажется маленькой, то лишь оттого, что она в основном под телом. Но когда ты переворачиваешь его, видно, как аккуратно сделан надрез.

Позже ты не сможешь себе объяснить, почему решил его вытащить. Может, думал, он не умер, а дурит тебя? Хотя как надо притворяться, чтобы держать глаза так плотно закрытыми?

Позже ты вообще ничего не можешь объяснить. Руки и ноги Томаса Обалдуя действовали независимо от души. Так что ты волочешь мальчишку-рыбника, его рыжая голова бьется о ступени. Ты ступаешь медленно-медленно. «Не уходи! Куда спешить?» Снаружи теплее, чем в погребе. Улица пуста, потом ты видишь сторожа. Он идет как пьяный, который изо всех сил старается казаться трезвым; спроси его, он скажет, что качается шутки ради.

– Тверезый, как… – кричит старый пьяница и тут же умолкает, не может вспомнить, как что. – Ножи-Точу! Поздновато ты гуляешь.

Он забыл, что видел тебя раньше. Что звал присоединиться к его хоровой школе.

Уилкин моргает:

– Кто там у тебя?

– Мальчишка-рыбник, – отвечаешь ты. Без толку врать.

– Ну и набрался! Домой его несешь? О друзьях надо заботиться. Помочь?

Уилкин наклоняется и блюет себе под ноги.

– Убери, – говоришь ты. – Давай, Уилкин, убери, не то я ткну тебя туда харей.

Внезапно тебя разбирается злость, как будто нет ничего важнее чистоты улиц.

– Проваливай, – говорит Уилкин и, глядя перед собой стеклянными глазами, идет прочь.

Ты смотришь ему вслед. Он идет примерно к складу. Ты, не удержавшись, кричишь ему в спину:

– Дверь не забудь запереть!

Ты можешь с помощью приятеля бросить мальчишку в реку. Если мертвый, то утонет, если живой… то утонет. Все еще темно, от реки не доносится ни звука, ты чувствуешь, он соскользнет с берега легко, как по маслу, и бесшумно уйдет в Темзу. Ты видишь, как это будет; волна скользнет по нему, словно скучающий взгляд.

Но ты не можешь этого сделать. Дело не в совести, просто силы тебя оставили. Ты достаешь нож. Еще раз вытираешь о рукав. По лезвию и не сказать, что оно было в деле. Убираешь обратно в ножны. Больше всего хочется лечь рядом с мальчишкой-рыбником и заснуть.

Когда ты возвращаешься, Уолтер и его дружки все еще распевают. Ты изумлен. Ты думал, уже три утра. Думал, будет темно, ставни закрыты, двери на замке. Но они по-прежнему тут, по-прежнему горланят: «Целуй меня! Нет-нет! Пусти!»

Дверь открывается.

– Томас? Где ты был?

Ты не отвечаешь.

В голосе Уолтера столько же злости, сколько было в твоем, когда Уилкин заблевал улицу.

– Не смей поворачиваться ко мне спиной!

– Да я и не думал, – говоришь ты. – Тот, кто повернулся бы к тебе спиной, был бы дурак и недолго прожил.

Уолтер замахивается, но тут же отступает. Может, потому, что нетверд на ногах, а может – увидел что-то в твоих глазах. Кричит:

– Сейчас вернусь, ребята!

Они дошли до той части песни, в которой насилуют девицу. Им нужен Уолтер – изображать ее вопли. «Меня ты к полу придавил…»

Глаза Уолтера налиты кровью.

– Ну, погоди до утра, Томас.

– Как скажешь.

Нож подле твоего сердца; можно пустить в ход. А можно лечь и уснуть. Или упасть к его ногам: «Отче, я согрешил…»

– Уолт! – кричат пьяницы. – Вернись!

Косоглазый прощелыга выкатывается из двери, тянет отца за шиворот. Дверь хлопает. Он смотрит на место, где нет отца. Из-за двери несутся вопли – девица зовет мать.

Однажды он станет неодолимым. Однажды он вытащит Уолтера на дневной свет и бросит на всеобщее обозрение, пусть добрые жители Патни смотрят, а если из Мортлейка и Уимблдона тоже придут, то не пожалеют.

«Я готов, отец, – говорит Ноев сын в пьесе. – Видишь, вот он, мой топор, пуще всякого остер. Я топорик навострил, рубанул – как откусил».

Потом Ной и его сыновья строят корабль. И уплывают по Божьим волнам.

В бреду ему кажется, будто пришел архиепископ Кентерберийский. Кранмер, не Бекет: и все равно, ему, наверное, приснилось. Когда он садится на постели, ему говорят: «Джон Хуси ждет в прихожей». Он стонет. Покупкой собственности Лайла в Пейнсуике занимаются его люди. Лайл блеет, что у них нет ни стыда ни совести, но чего он ждал? Они же юристы.

Лайл ждет особого обхождения и от знатных, и от простых. Он задолжал королю за десять лет. Он должен своему бакалейщику Блэггу. Мануфактурщики Джаспер и Тонг тоже больше не отпускают ему в долг. Жители Кале жалуются ему, Кромвелю, на долги лорда Лайла, будто это он должен их платить.

Помогите мне встать, говорит он. Садится в кресло, кутается от апрельского холода.

– Сообщите всем, что мне лучше. Вернулся ли Норфолк к открытию парламента? А Суффолк? Заходил ли мастер Ризли? Здесь ли Грегори?

– Мастер Грегори заходил и снова ушел.

Он пропустил День святого Георгия, когда собираются рыцари ордена Подвязки. После недавних казней в ордене освободились места. Ему сообщают, что новым рыцарем стал Уильям Кингстон, давно заслуживший эту честь.

Он спрашивает, как там епископ Гардинер? Рассорился с королем или сблизился за те несколько дней, что я болел?

– Что знает епископ Гардинер, сэр? – любопытствует Кристоф.

– Меньше, чем думает.

– Сегодня вы в разуме, – говорит Кристоф, – а в жару стонали и говорили: «Стивен Гардинер знает».

Стивен Гардинер ездил в Патни. Ковырялся в грязи. Сказал: «Кромвель, я знаю о вас больше, чем ваша мать. Знаю про ваше прошлое больше, чем вы сами».

– А Томас Болейн правда умер? – спрашивает он. – Или мне это приснилось?

– Умер и теперь такой же мертвый, как его дочь.

В жару он видел Анну-королеву, идущую на эшафот под пронизывающим ветром. Слышал ее последнюю молитву. Видел, как женщины помогают ей встать на колени перед палачом, а затем отступают, подбирая подолы.

Грегори приходит сразу, как узнает, что он очнулся. Грегори Кромвель, член парламента: зеленый бархат и закрученное черное перо на шляпе. Говорит:

– Отец, новый французский посол и новый имперский посол видятся через день. Ходят под ручку, воркуют, как голубки. Однако, насколько нам известно, предатель Поль встретил у императора холодный прием.

Реджинальд Поль не может взять в толк, отчего Карл не считает завоевание Англии первостепенной задачей. Карл устало говорит ему, я всего лишь человек. Я всего лишь один. И не могу вести больше одной армии одновременно. Мне постоянно надо быть готовым к войне с турками.

Но турки – внешний враг, Англия – внутренний, убеждает Поль. Разве не следует прежде уничтожить внутреннего врага?

Карл отвечает:

– Бог с вами, мсье Поло. Если мы завтра проснемся, а турки у ворот Вены, скажете вы, что враг внутри или снаружи?

На этом заседании парламента мы примем билль о лишении прав Гертруды Куртенэ и матери Поля. Их без суда объявят виновными в государственной измене. Он, лорд – хранитель малой печати, идет, хромая, в здание парламента и предъявляет расшитое облачение, найденное среди вещей Маргарет, герцогини Солсбери. На нем герб Англии с фиалкой Поля и календулой леди Марии, означающими их союз; между ними растет Древо Жизни. Это, заявляет он, нашли при обыске в сундуках Маргарет. Он говорит, я всегда знал, что вышивка доведет ее до беды.

Маргарет Поль переводят в Тауэр. Королю угодно пощадить ее жизнь – до поры до времени. Он вспоминает, сколько раз Маргарет отказывалась называть его полным титулом, обращалась к нему просто «господин Кромвель». Пусть знает, кто тут господин.

Ему снится, что он бестелесно бродит в густом лесу. Между деревьями расставлены зеркала.

Когда он с бумагами в руках доползает до короля, то обнаруживает, что Гардинер его опередил. Тот говорит:

– У вас очень нездоровый вид, Кромвель. Прошел слух, что вы умерли.

– Что ж, – смиренно отвечает он. – Как видите, Стивен.

Король говорит:

– Мне самому гораздо лучше. Как вы думаете, ваше недомогание уже позади?

Лихорадка, он хочет сказать: приступы тошноты, ломота во всем теле, нестерпимая головная боль.

– Ваше величество, у меня новости из Клеве.

Он ждет, что король велит Стивену удалиться. Однако Генрих лишь спрашивает:

– Да?

– Епископ Винчестерский, без сомнения, очень занят. Может быть, ему пора вернуться к делам?

Однако Генрих не дает знака. Стивен раздувается, как жаба.

Он демонстративно отворачивается от Гардинера и обращается к королю:

– Герцог Вильгельм хотел бы знать размер вдовьей доли для своей сестры… того, что ей достанется, если она переживет ваше величество.

– Почему он думает, что это случится? – спрашивает Гардинер.

Он смотрит только на короля:

– Такое прописывается в любом брачном договоре. Как ни мало вы знаете о браке, про это наверняка слышали.

Стивен говорит:

– Полагаю, если такое случится, дама будет вне себя от горя и скорбь об утрате короля вытеснит у нее всякую мысль о земных благах.

Он косится на Генриха: король зачарованно слушает Стивена.

– Потому-то родня невесты и уславливается об этом заранее, чтобы вдова за слезами не лишилась своих прав.

Генрих говорит:

– Я известен своей щедростью. Герцогу Вильгельму не на что будет жаловаться.

– Есть еще один вопрос, – нехотя говорит он. – Наш человек Уоттон пишет вашему величеству. Чуть более десяти лет предполагалось заключить брак между леди Анной и наследником герцога Лотарингского. Сейчас…

– В прошлом году это уже обсуждали, – говорит Генрих. – При помолвке сторонам было десять и двенадцать лет. Ни один договор не имеет силы, пока стороны его не подтвердят, достигнув брачного возраста. Посему я не вижу тут помехи для нашего союза. Зачем было вытаскивать старую историю? Я вижу за этим происки императора. Он не хочет, чтобы я женился.

– И все равно нам лучше посмотреть документы, – замечает Гардинер.

– Мне думается, – говорит он, – что Вильгельм не предложил бы нам сестру, не будь она совершенно свободна.

Гардинер стоит на своем:

– Я хотел бы посмотреть пункт об аннуляции.

– Насколько я понимаю, договор о помолвке входил в более общий документ, который не аннулирован, поскольку составляет часть договора о дружбе и взаимопомощи… – Он закрывает глаза. – Я попрошу кого-нибудь записать это для вас, Гардинер.

– И покажете всему совету. Без этого опасно переходить к следующим шагам.

– Опасно? – Генрих пристально сморит на Стивена, будто оспаривает выбор слова.

– Неразумно, – сдается Гардинер.

– Так или иначе, – говорит он, – хотя король предпочитает леди Анну, как старшую и более приличествующего возраста, в случае затруднений остается леди Амалия. И – хорошая новость – они могут прислать портреты.

Гардинер говорит:

– Интересно, откуда они их взяли, ни с того ни с сего. Вроде говорили, Кранах болен.

– Может быть, он умеет выздоравливать, – говорит он, – как и я.

– Сколько им лет?

– Принцессам?

– Портретам, – говорит Гардинер.

– Меня заверили, что они свежие.

– Но если наши послы не видели дам, как они могут поклясться, что портреты не лгут?

– Они их видели, – говорит он. – Только под вуалями.

– Почему, хотел бы я знать?

Генрих восклицает:

– Вот видите? Разве это не обрадовало бы императора? Несогласие между моими советниками? Разлад и вражда?

Они с Гардинером смотрят друг на друга. Епископ здесь не для того, чтобы обсуждать королевский брак, а по Божьим делам, во всяком случае, так он сам уверяет. Король желает парламентским актом искоренить разномыслие, то есть запретить людям выражать свои мнения. Гардинер приехал навязать королю шесть статей вероисповедания, которые будут представлены коллегии епископов и ученых, – утянуть того на сторону Рима окончательно и бесповоротно.

Без сомнения, его болезнь сильно повредила евангельскому делу – собратья по вере напуганы и разобщены, без него они не смогли дать дружный отпор. Норфолк протащил на спикерское место своего ставленника. В палате лордов герцог сражается за шесть статей и вещает о них с апломбом, хотя в богословии смыслит не больше воротного столба. Гардинер собрал епископов, верных древней доктрине, и они сговариваются с завтрака до ужина, вещают как отпетые паписты и поднимают тосты за возвращение старых времен. Покуда лорд – хранитель малой печати обливается потом на одре болезни, покуда он пишет письма по всей Европе, выискивая нам друзей и союзников, покуда он занят тем, как найти почти полторы тысячи фунтов в день на плату и провиант морякам для наших кораблей в Портсмуте – враги его обошли и к концу парламентской сессии получат свой Шестистатейный статут.

Король говорит:

– Милорд Кромвель, у вас всё?

Он откланивается. Калпепер выскальзывает вслед за ним:

– Вам нужно сесть, милорд? Вина?

Ему нужно кого-нибудь ударить. Он отмахивается – ничего, мол, не надо. Когда добирается до дома, его трясет от усталости. Надо же, он забыл, сколько же сил уходит на стычку со Стивеном Гардинером! Бросает бумаги на стол:

– Попросите немецких гостей зайти ко мне. Я задам пир. Позовите сюда Терстона.

Он говорит так, будто недуг уже позади, но знает, что лихорадка еще вернется. Лишь бы она слабела с каждым приступом! Этим летом ему важно быть рядом с королем, значит нужны силы для долгих дней на охоте. За каждый день вдали от Генриха он теряет преимущества. Если государь тебя не видит, он тебя забывает. Даже если ничто в королевстве не делается без тебя, король думает, будто все делает сам.

И все же, говорит он себе, я викарий по делам церкви. Я, а не Стивен, государственный секретарь и хранитель малой печати. Я ближайший советник короля, меня Генрих ценит больше всех, я пущу папистские корабли ко дну. Сегодня каждый день – Вознесение. Пусть Томас Говард ненавидит Писание, скоро Библии будут в каждом приходе, и я стану их раздавать, стоя подле

короля. А что до Гардинера, разве тот понимает мысли и настроения государя? Что ему известно о доходах? О защите страны?

Погожим майским днем, собравшись на заре, мощь Лондона проходит перед королем в Уайтхолле. Шестнадцать тысяч человек в полном вооружении, каждый десятый снаряжен за его счет. Он собирался ехать впереди всех, но слабость задержала его в Сент-Джеймсском дворце, так что он наблюдает за процессией из задних ворот; впрочем, король прислал ему в компанию Джона де Вера, графа Оксфордского, лорда – великого камергера. Грегори и Ричард едут рядом на белых конях; лица строги, доспехи блистают, флаг Кромвеля плещется на ветру.

Он думает: в Италии, в бытность солдатом, я на спор взял в руки змею. Мои товарищи медленно считали от одного до двадцати. Змея извернулась у меня в руке и вонзила жало глубоко в запястье. Однако я сжимал ядовитую гадину, пока сам не пожелал ее отпустить. Яд меня не убил. Свидетели набили мне карманы деньгами. И будь проклят тот, кто скажет, будто я получил их незаслуженно.

Когда дни ясные и воздух после вечерни приятно свеж, король катается по реке на барке, показывается народу: на шее золотой лоцманский свисток, лицо сияет улыбкой; следом на второй барке его музыканты, звучат флейты и барабаны. Люди выстраиваются по берегам и приветствуют монарха криками. Троицу в этом году справляют пышно, как при папистах. Ричард Рич проводит праздничный день за составлением длинного списка королевских долгов.

Из Испании приходит известие, что императрица умерла и ее новорожденный ребенок тоже. Король объявляет полный придворный траур. Собор Святого Павла завешен черными полотнищами и флагами Священной Римской империи. Герцоги Норфолк и Суффолк возглавляют церемонию. Он держится настолько далеко от Норфолка, насколько может это делать, не упуская того из виду и не теряя места по старшинству.

Служат десять епископов во главе со Стоксли. Тот выглядит больным, а ведь должен бы, как старый приспешник Мора, взбодриться и помолодеть от шести тлетворных статей. Все лондонские церкви звонят по императрице, чужой женщине, которая здесь в жизни не бывала. Трезвон не умолкает до полуночи. Летучие мыши и демоны кружат в воздухе.

Уайетт пишет из Толедо, что его вещи уложены, а инквизиторы, пусть неохотно, согласились с ним расстаться. Однако император затворился в монастыре и оплакивает жену, так что придется ждать, – он хочет уехать официально, а не сбежать, как невежа, по уши увязший в долгах. «Хотя такой он небось и есть, – замечает Рейф. – В смысле, по уши в долгах».

Бесс Даррелл пишет из Аллингтона: Кромвель, где Уайетт? Каждый час кажется мне годом.

Из Италии сообщают, что в одну ночь видели две кометы. Допустим, одна означает кончину императрицы; что еще припрятал для нас в рукаве Создатель луны и звезд?

Приходит Кранмер. Говорит:

– Я потрясен, что парламент обратил вспять дело истинной религии. И впрямь пути Господни неисповедимы, коли Он попустил вам заболеть именно тогда.

– Что ж, Гардинер удачно подгадал время, – говорит он. – И Томас Говард…

– Не знаю… – мнется Кранмер. – Нельзя целиком винить…

– Вы не хотите винить короля, да?

Лучше винить Норфолка, епископа Гардинера, Стоксли и Сэмпсона, чем гадать вслух, малодушен Генрих, лицемерен или просто не способен понять собственной выгоды.

– Наши немецкие друзья в ужасе, – говорит Кранмер. – Мне пришлось защищать перед ними моего господина.

– И как вам это удалось? – любопытствует он.

– Как лорд Одли такое допустил? Открывал и закрывал рот, точно деревянный идол на веревочках. И Фицуильям – я числил его вашим другом.

Он больше не доверяет лорд-канцлеру Одли. Не доверяет лорд-адмиралу Фицуильяму. Пересчитать епископов, и едва ли десять окажутся надежными. Так король смог провести билль, который, помимо прочего, под угрозой виселицы требует от женатых священников расстаться с женами. Закон вступает в силу через две недели, чтобы дать время для прощаний.

– Что будете делать вы с Гретой? – спрашивает он.

– Расстанемся. Что нам еще остается?

– А ваша дочь?

– Грета заберет ее с собой в Германию.

В других обстоятельствах это сочли бы грехом – разве можно разлучать семьи?

Кранмер говорит:

– Мы умоляли короля задать вопрос университетам, умоляли почитать Писание и найти, где мужчине запрещается имеет спутницу жизни. Я не понимаю его. Он сам говорит, брак – величайшее таинство, существующее от начала мира. Тогда почему он стольким из нас в нем отказывает? И еще, когда билль будет принят, никто из нас не посмеет проповедовать о таинстве евхаристии, о его природе. Мы не отважимся. Не будем знать, что безопасно говорить, чтобы не подпасть под обвинение в ереси.

И это король называет согласием: вынужденное молчание. Епископы Латимер и Шакстон прямо выступили против короля; им придется уйти с кафедр. Кранмер говорит:

– Я тоже думал подать в отставку. Какой от меня прок? Возможно, мне надо сложить вещи и отправиться вместе с Гретой.

– В подобном же случае вы сказали мне мужаться и смотреть далеко вперед.

– Насколько далеко? – Кранмер от горя не выбирает слов. – До его смерти? Поскольку если после всех десятилетних трудов Генрих от нас отвернется, то уже навсегда.

– Он непоследователен в своих ошибках. То, что написано на пергаменте, может и не воплотиться в жизнь. Любой указ, любое постановление я могу придержать, могу… – он умолкает, не сказав «похоронить», – могу с этим работать. Вокруг новых статей вероисповедания есть много обходных путей, и можно протоптать их в одном или другом направлении…

– За исключением одного, – говорит Кранмер. – Мои жена и дочь не поддаются двоякому истолкованию. Они либо здесь, либо в Нюрнберге. Они не могут зависнуть посередине.

– Возможно, вы снова увидитесь с Гретой. Если я женю короля, наши позиции в Европе укрепятся.

– Я сомневаюсь, что этот брак состоится. Мы отталкиваем наших друзей.

Он пожимает плечами:

– У меня закончились невесты. А герцог Клевский не лютеранин. Возможно, он смирится с новым порядком вещей.

– А как насчет вашей дочери? – спрашивает Кранмер. – Она ведь теперь не может сюда приехать? Если сохранит свою веру?

Архиепископ Кентерберийский не ждет ответа, но на глазах у королевского викария по делам церкви начинает себя переубеждать. Сейчас Кранмер будто человек, отступающий от обрыва: в отчаянии он хотел броситься на острые камни, потом ощутил ветер, толкающий его к гибели, ощутил воздух в легких, увидел внизу чаек, и его отбросило от края, словно перышко; он цепляется за чахлые кустики и, зажмурив глаза, держится изо всех сил.

– Я не скажу ни слова против короля.

– Никто вас и не просит. – Его знобит. Хочется уронить голову на стол.

– Я не верю, что он руководствуется дурными намерениями или желает зла своим подданным. Наверняка его сомнения искренни, и они мучают его сильнее, чем нам кажется.

– Возможно, – отвечает он.

– На совести короля лежало бремя. Он отводил глаза. Щадил меня, например.

– Наши правители ведут счет нашим оплошностям, – говорит он. – Они могут промолчать, но записывают все в тайную книгу.

– Мы знаем, чего требует от нас Христос, – продолжает Кранмер. – Мы знаем, что такое милость, что такое послушание, мы знаем Его заповедь: блаженны миротворцы. Как меня ни печалят последние события, я вижу, что король стремится к миру. И добрые подданные должны идти за ним.

– Конечно, – отвечает он. – Либо понести наказание.

Его недоброжелатели говорят, что Хью Латимера повесят еще до Рождества. Он намерен этого не допустить. Однако жена Кранмера сядет на корабль в ближайшие дни, и ему нечем ее обнадежить.

Чтобы исключить недопонимание – на случай, если какой-нибудь дурак сочтет короля папистом, – мы устраиваем Речной триумф. Жарким июньским днем, тепло закутавшись, он стоит рядом с новым французским послом и объясняет спектакль. На глазах у короля и двора английские моряки берут на абордаж набитые папистами галеры. Кардиналов бросают в Темзу, они бултыхаются и вопят, барабанщики выбивают победную дробь. Солнце пляшет на воде, трубы заливаются, на волнах подпрыгивает папская тиара.

– Клянусь святым Иудой! – восклицает Марильяк. – Надеюсь, они умеют плавать?

– Их специально отбирали, – говорит он, – по моей просьбе. – Вздыхает. – В каждую мелочь приходится вникать самому.

Король из-под балдахина кричит «ура». Герцоги рукоплещут и топают ногами. Придворные бросают в Темзу монеты.

– И все же хорошее представление, – великодушно произносит посол. С барки выуживают из воды участников битвы. – Костюмы, боюсь, испорчены безнадежно. – Смешок. – Впрочем, Генриха такое не заботит. Вы ведь его обогатили, да?

– Вы увидите, как строится наш флот, – говорит он. – Погода сейчас получше, так что, если пожелаете, я сочту за честь провезти вас по южным портам.

Дипломатическая пауза. Он искоса разглядывает нового посла. Тот еще не разменял четвертый десяток, но, как утверждают, умен и дальновиден – несколько лет назад, когда пошел слух о его приверженности лютеранству, догадался уехать из Франции. Отправился на Восток с братом, послом при дворе султана, а теперь и сам назначен посланником в Англию… Считает ли он свои реформаторские взгляды юношеской блажью? Или Франциск выбрал его именно за них, полагая, что так послу будет легче поладить с Кремюэлем?

Он говорит:

– Нам, англичанам, пришлось устроить для вас пышное представление. Мы не хотим выглядеть бледно по сравнению с местом вашего прежнего посольства.

Придворные кавалеры уходят вслед за королем. Они собираются на другой берег, в Саутуорк, смотреть медвежью травлю.

– Вас в Константинополе помнят, – замечает Марильяк. – Говорят о вас.

Он прячет изумление. Это был какой-то другой английский бродяга, тоже Томас.

– Кстати, – говорит Марильяк, – официально меня здесь нет. Я не пришел в знак протеста.

– Понимаю. Я и сам частенько бываю в двух местах сразу или нигде. И я согласен, зрелище малопристойное, хоть и забавное. Знаете, я скучаю по вашему соотечественнику Дентвилю, он часто бывал так мрачен, что меня разбирал смех. Думал, ваш король снова пришлет его. – Он торопливо добавляет: – Разумеется, мы очень рады, что прислали вас.

Марильяк изумленно оборачивается к нему:

– Вы не слышали? О великом позоре?

Он вспоминает, как отравили покойного дофина.

– Насколько я понимаю, распространялась некая клевета – но семья ведь полностью от нее очистилась?

– О да, насколько такое возможно. Но с тех пор был новый скандал. Весь род погублен. Содомия, боюсь.

У него падает сердце.

– И где теперь Дентвиль?

Марильяк пожимает плечами: не все ли равно?

– В Италии, кажется.

Сперва убийство, затем содомия. Похоже на то, что мог бы измыслить Гардинер, дабы уничтожить врага. Он вспоминает посла в мехах, каким написал его Ганс: порванная струна на лютне, булавка с черепом на шляпе Дентвиля.

– Будь он с нами сейчас, ежился бы от холода и сразу поспешил домой к жаркому камину и вину с пряностями.

Марильяк смеется:

– Нас погода не страшит. Итак, переправимся через реку глянуть на медведя?

После закрытия парламента и до того, как двор разъедется, король велит устроить обед. Кранмер соберет гостей в Ламбетском дворце. Будут Норфолк и Стивен Гардинер. Кранмер в своей роли архиепископа должен всех помирить, усадить за стол и накормить вкусностями.

Лето обещает быть жарким и куда более сухим, чем в прошлые годы, – не будем говорить засушливым, дабы не искушать небеса и они нас не затопили. Порою кажется, дожди шли беспрерывно с тех пор, как кардинал впал в немилость.

Не успели они просидеть за столом и часа, как Гардинер обвиняет его в убийстве. Разговор зашел о Риме, об увядающей славе города, памятниках и площадях.

– Вы были там, когда умер кардинал Бейнбридж, – объявляет Гардинер, вытирая рот. – Занятно. – И добавляет, обращаясь к гостям в целом: – Считается, что кардинала отравил кто-то из слуг.

Он подается вперед:

– А у вас другие сведения?

Вдоль всего стола гости кладут ножи, перестают жевать и прислушиваются. Гардинер поворачивается к Ризли – тот молод, не слышал этой истории.

– Арестовали священника, некоего Ринальдо. Сжимали ему ноги, пока не выступил костный мозг, что бросает некоторую тень на достоверность его признания.

Он – хранитель малой печати – откидывается на стуле и разглядывает Гардинера. Знает, что тот хочет его поймать, и потому не заглатывает наживку.

– Стивен, это было двадцать пять лет назад. Большинство тех, кто что-нибудь помнил, умерли.

– Бейнбриджу стало плохо за обеденным столом, – говорит Гардинер. – Ему подсыпали порошка в суп.

– Да, – поддерживает Норфолк. – Так и епископа Фишера отравили. Его повара сварили живьем.

По столу пробегает недовольный ропот.

– Вы нам аппетит отобьете, – возмущается лорд-канцлер.

– Порошок был куплен в Сполето, – продолжает Стивен. – Я знаю эту лавку.

Он смеется:

– А лавка вас знает?

Норфолк говорит:

– Интересно, сколько тогда в Риме платили за убийство? Ведь этот священник, Ринальдо… его же кто-то подкупил?

– Естественно, – отвечает Гардинер. – Епископ Джильи.

Видно, как герцог с натугой вспоминает. Жует имя, будто пережаренное мясо: Джильи. Сильвестро Джильи.

– Епископ Вустерский, – выпаливает наконец Норфолк. – Ставленник Вулси.

– Вот именно, – говорит Стивен. – Человек Вулси в Риме. После устранения Бейнбриджа Вулси открылась дорога к тому, чтобы стать следующим английским кардиналом.

Тишина. Он нарушает ее, прося слугу подлить ему вина.

– Половина города желала Бейнбриджу смерти. Французы его ненавидели. Флорентийцы его ненавидели. И он был в долгах.

– Вы видели долговые записи? – спрашивает Гардинер. – Кто вас к ним допустил?

Приносят каплунов, слуги принимаются их резать. В Риме, за папским столом, особый слуга держит мясо на вертеле и отсекает от него ломти на весу – это придает драматизма даже самой мирной трапезе. Он, лорд Кромвель, ставит кубок и, повернувшись к гостям, с улыбкой разводит руки:

– Я всегда считал, что Бейнбриджа убил папский церемониймейстер. Он ненавидел кардинала за то, что тот англичанин, вечно преклонял колени не в том месте или являлся не с тем жезлом. Курия считала его варваром.

Кранмер, во главе стола, беспокойно ерзает:

– Как вы оказались в Риме, милорд Кромвель?

– По личному делу. Тогда я еще Вулси не знал.

– Вы всегда знали Вулси, – злобно произносит Гардинер.

Был праздник Тела Господня, пятнадцатое июня, когда Бейнбридж съел свой суп и у него начались рези в животе. Доктора поставили ему клизму и дали рвотное, так что он оправился и к вечеру смог сесть за ужин. Уж конечно, ему не хотелось пропустить критское вино и черную икру в доме кардинала Карретто.

На следующий день Бейнбридж, как обычно, бушевал и раздавал пинки слугам. Только четырнадцатого июля он слег и умер. Священника Ринальдо арестовали, потому что Бейнбридж прилюдно его ударил и все знали, что он затаил злобу.

После трех дней пыток в папских застенках Ринальдо как-то раздобыл нож и пырнул себя в живот – неумело, но все же не так неумело, как Джеффри Поль. Он умирал день или два, потом римляне вывесили труп на общее обозрение. До того как тело четвертовали, он видел, как оно болтается, – он, Кремуэлло, oltramarino, giovane inglese[65]. К ногам Ринальдо были привязаны таблички

с указанием его вины. Он сознался, что Джильи заплатил ему за убийство хозяина пятнадцать дукатов, но эта подробность на табличках не упоминалась – она пробила бы брешь в стене, ограждающей ватиканские тайны. Епископы и кардиналы убивают друг друга, а за их преступления карают простолюдинов.

То лето было жарким даже по римским меркам. По ночам сами камни будто исходили потом, выдыхая в воздух накопленную за день ложь. Сам он бродил по раскаленным улицам спокойный, молчаливый, уверенный. После укуса змеи что-то от ее природы вошло в его кровь, и он научился свиваться кольцами и ждать своего часа.

Норфолк говорит:

– Я никогда в Риме не был. Бейнбриджа, конечно, знал. Желчный был тип.

– Да и немолодой, на шестом десятке, – добавляет Кранмер. – А к тому же вечно сам распалял свой гнев. Для таких людей жара губительна. И я слышал, что священник перед смертью отказался от сделанного под пыткой признания.

– Так кто убийца? – спрашивает Стивен.

– Вы всерьез обвиняете милорда Кромвеля? – уточняет Зовите-меня.

– Он тогда не был милордом, – говорит Норфолк.

Да, не был. Сейчас он видит себя в сумерках на Пьяцца Навона. Заполучив красную шапку, Бейнбридж всерьез возомнил себя будущим папой и дом себе завел соответствующий: арендовал дворец Франческо Орсини, откуда близко и до Ватикана, и до Английского странноприимного дома, где живут его соотечественники. Величественный фасад, лоджии, террасы – Бейнбридж занял деньги на убранство дворца у банкиров Саули, а еще он в долгу у Гримальди. Многие могли бы нанять Кремуэлло следить за черным входом Бейнбриджа, а некоторые и наняли; он распределял добытые сведения между заказчиками, упирая на то, что они хотят услышать.

Стоя здесь, он разговорился с уличной девицей. Она высветлила волосы, но они уже отрасли на ладонь. Твои смоляные локоны ничуть не хуже, сказал он. Для англичан это в новинку, девиц с копной сена на голове у нас своих хватает. Ты англичанин? – спросила она. Господи, а и не скажешь. Так вот почему ты следишь за домом кардинала. Соскучился по пьяным крикам земляков? Подожди, скоро кто-нибудь из них выйдет и сблюет на улицу.

В ту ночь она ему сказала: послушай, римляне, тосканцы, французы, англичане, немцы – все любят блондинок. Для меня и моих сестер по ремеслу беда родиться с волосами не того цвета. Я бы их снова высветлила, да если это делать часто, они выпадут, а ни один мужчина, какого бы он ни был роду-племени, не захочет лысую.

Она зевнула. Было хорошо, сказала она, а хочешь теперь в другой позе? Кстати, если тебе нужна работа во дворце среди земляков, могу тебя устроить. У меня двоюродный брат там на кухне.

По одежде она приняла его за нищего писаря. Он повернулся к ней, обсудил новую позу и сколько та будет стоить. И откуда у него брались силы, в такую-то жару? Впрочем, когда молод, от нее страдаешь куда меньше.

– Милорд? – спрашивает Ризли.

– Извините. Милорд епископ, я забыл, что вы сказали?

– Вулси, – медленно произносит Гардинер, – почти не потрудился скрыть свое участие в убийстве. Они с епископом Джильи были в тесной дружбе, пока не разругались из-за облачений покойного Бейнбриджа. Вулси хотел, чтобы их упаковали и отправили ему в Лондон. В бытность его секретарем я видел переписку в архиве.

– Знаете, что я думаю? – говорит Норфолк. – Нам куда лучше вообще без кардиналов и прежних гордых прелатов. Вот наш архиепископ… – герцог показывает большим пальцем на Кранмера, – по крайней мере держится смиренно. По нему видно, что он проводит время в молитве, а не строит козни против дворян, не придумывает, как их извести и погубить, чем постоянно занимался Томас Вулси.

– Милорд Норфолк, – говорит он.

– Да, и еще назначал проходимцев на ответственные посты, выманивал взятки, подделывал купчие, запугивал знать, якшался с чернокнижниками и вообще крал, лгал и хитрил…

Он встает.

– …на погибель страны и на позор королю.

Он хватает герцога за плечи. Держит на вытянутых руках, так что может дернуть к себе и подножкой сбить с ног.

Кранмер вскакивает с места:

– Как вам не стыдно, Томас, он же старик.

Архиепископ тянет Норфолка за одежду, будто тот щука на остроге, а он хочет выпустить ее в реку.

Лишь когда по лицу архиепископа начинает катиться пот – а может, слезы, – он, Кромвель, разжимает хватку. Томас Говард ругается на него страшными словами, как пушкарь.

Входят слуги и уносят мясо. Все садятся и злобно смотрят друг на друга поверх имбирных цукатов.

– Что ж, – говорит Стивен, – ни одними мирными переговорами я не наслаждался так, как нынешними.

Пришло время королю уезжать из Лондона на лето – он отправится сразу после закрытия парламента. Сперва свита остановится в Беддингтоне, в уютном доме, которым прежде владел Николас Кэрью. Затем седьмого июля переберется в Оутлендс, оттуда в Уокинг.

Месяцами, годами лорд Кромвель не вспоминал юность; он затолкал прошлое во двор и запер ворота. Сейчас его тревожит не вопрос Гардинера об Италии; Италия умеет хранить секреты. Его преследует Патни, далекое, но близкое. За время лихорадки он ослабел, прошлое вырвалось на свободу, и теперь он беззащитен перед воспоминаниями. Они являются когда вздумают: в зале совета слова пробиваются сквозь сырой туман его детства. Он – монах, сошедший с ночной звезды, по-прежнему окутанный снами, так что шарканье других советников звучит шорохом листьев в лесу его младенческих лет, и, подобно чудищу в куче листьев, его разум ворочается, не находя покоя. Он пытается удержать мысли (здесь, сейчас, на этом месте), но они убредают к запахам прелой соломы и затхлой воды, горячей копоти в кузне, конского пота, кожи, травы, браги, свечного сала, меда, мокрой псины, пролитого пива, к улицам и пристаням его детства.

Он берет перо. Король проведет в Уокинге дней шесть; возможно, там он, лорд Кромвель, и присоединится к Генриху. Затем в Гилдфорд…

Луна на ущербе. Он чувствует запах реки и вонь обосравшегося мальчишки-рыбника. Мальчишка лежит у его ног, сил тащить эту тушу дальше уже нет. Томас Обалдуй не знает, что делать. На него накатила смертельная слабость, апатия растекается от головы к ногам. Так что Обалдуй в растерянности приплелся домой.

Уолтер пил с дружками, пока не захрапел под козлами, но отчего-то проснулся ни свет ни заря и протопал на второй этаж. А ведь должен был прохрапеть, обливаясь потом, до полудня. Может, Томас Обалдуй на это рассчитывал и намеревался, пока добрые люди спят, пойти к реке и проверить, живой там мальчишка-рыбник или мертвый. Глянуть, лежит он, где я его бросил, или кто-нибудь нашел его и скормил свиньям.

А впрочем, бог весть что он тогда думал. Проснулся он потерянный, без единой мысли и плана. При дневном свете еще раз протер нож, но оставил наверху, когда пошел во двор пивоварни.

Надо ж было так просчитаться, недооценить злобу и хитрость Уолтера. Первый удар пришелся по голове и оглушил. Кровь залила глаза, дальше Уолтер мог бить его как захочет. Уолтер бил ногами и кулаками, пока он, Томас, не превратился в кровавый студень на булыжниках, а отец стоял за ним и орал: «А ну вставай!»

Какое-то движение воздуха. Лорд – хранитель малой печати поднимает голову от плана королевских разъездов. Зовите-меня впорхнул в комнату, а теперь падает в кресло и требует эля. Обмахивается шляпой.

– Гардинер, – говорит Зовите-меня. – Боже правый! Обвинить вас в убийстве! Хотя, если вы и впрямь избавили мир от одного кардинала, что с того? Это было в другой юрисдикции и давным-давно.

Он говорит:

– Я устраню Стивена. Смотрите – и увидите.

Зовите-меня смотрит ему в лицо:

– Верю.

– Я этим занимаюсь. Извините, мне надо закончить. – Он возвращается к бумагам. После Гилдфорда Фарнхем. Прежде чем король въедет в тот или иной город, нужно точно убедиться, что там нет чумы. При малейшем подозрении маршрут придется менять, так что нужны дома про запас, чтобы там заранее начистили серебро и проветрили перины. – Сколько от Фарнхема до Петуорта?

– Напрямик миль двадцать, – отвечает Зовите-меня. – Но больше, если пойдут дожди и придется ехать в объезд.

Двадцать миль король сейчас в силах проехать верхом.

– Не знаете, намерен ли король посетить Вулфхолл?

Зовите-меня задумывается:

– Дом маловат для его свиты.

– Сеймуры съедут. Эдвард это предусмотрел. – Ему видится, как тень Джейн гуляет по саду молодой госпожи; она жива там под зелеными деревьями, в своем новом, расшитом гвозди`ками платье.

Он хмурит брови над бумагами:

– Допустим, он поедет из Петуорта в Каудрей, к Уильяму Фицуильяму? Затем в Эссекс… А, вот и Мэтью.

Мэтью вносит миску со сливами и почтительно ставит ее на стол.

– Плоды успеха, – с улыбкой замечает Ризли. – Поздравляю вас, сэр.

Он считал, что сливы в этой стране недостаточно хороши, поэтому улучшил их, привил черенки на подвой. Теперь в его садах сливы зреют с июля до конца октября, размером с грецкий орех или младенческое сердце, пятнистые и полосатые, мраморные и крапчатые, кожица у них от лимонной до горчичной, от розовой до пунцовой, от лазурной до черной; есть гладкие, а есть опушенные, словно зверьки, лиловым или белым пушком; есть круглые янтарные плоды с серыми пятнышками цвета его ливреи, а есть тонкокожие багряные в серебряной сетке; мякоть у одних твердая, у других тающая во рту, сахарная или пьяная, а любимый его сорт – пердригон; у самых светлых кожица желтая с белым бочком и алым румянцем, они поспевают к концу августа, а следом и упругие сентябрьские плоды, темно-синий пердригон и его черный собрат, любящий восточную сторону сада, – их мясистая желтовато-зеленая мякоть легко отходит от косточки. Они хранятся всю зиму – можно есть на десерт, а можно просто любоваться в свободную минуту: золотые плоды в оловянной миске, или черные, как тень, или алые, как кардинальская мантия.

Он говорит Мэтью:

– Помнишь, как мы охотились в доме твоего прежнего хозяина? В тот день, когда король потерял шляпу?

Мэтью ухмыляется. Разве можно забыть тот день, когда охотники вернулись красные, словно поджаренная ветчина?

Если ветер срывает с джентльмена шляпу, его спутники тотчас снимают свои. Учтивый человек говорит, наденьте шляпы, не страдайте из-за меня. Однако король, хоть и не пожелал принять чужую шляпу, не сказал им покрыть голову, так что они вернулись с охоты обгорелые до волдырей. Он говорит:

– Надо было видеть Рейфа Сэдлера. У него глаза сварились.

Мэтью говорит:

– Мой друг Роб повел нас на поиски шляпы, но мы так ее и не нашли. Он сказал, на шляпе пряжка со святым Губертом, глаза – настоящие сапфиры, уж точно бы мы получили награду, если бы ее принесли.

Он берет перо. Возвращается к королевскому лету. Король поедет в Сэнстед, оттуда в Бишопс-Уолтем, дальше в Трекстон; затем оставит Гемпшир позади и поскачет на запад. В Севернейке щурится на землю Губерт, запутанный в ветвях. В разгар лета мы будем проезжать по тем же тропинкам, и он увидит, какими мы стали: талия шире, грехов больше.

«Середина августа, – пишет он. – Пять дней. Вулфхолл».

II

Двенадцатая ночь

Осень 1539 г.

Ганс сворачивает невесту, везет ее в Англию и ставит к стене.

– Я спешил, – говорит Ганс. – Как высохла, так сразу и поехал. Амалию я тоже привез, младшую. Но честно сказать, Амалия не особо.

– Покажите мне прежде Анну, – говорит он.

Отступает на шаг – полюбоваться сияющей принцессой, в которой металла больше, чем плоти. Одежда – словно латы античной богини и, судя по виду, могла бы стоять сама по себе. От блестящей кирасы переводишь взгляд на лицо. Это мягкий овал, голый, беззащитный. Оно не такое юное и свежее, как у Кристины, но в нем есть смиренное очарование. Нежные глаза, затуманенные – Пресвятая Дева, размышляющая о нежданно выпавшей ей судьбе.

– Генриху понравится, – говорит художник. – Мне нравится. Вам нравится. Хорошая картина. Не угадать, сколько я над ней потел.

– Покажите мне Амалию, – говорит он.

Если герцог Вильгельм умрет, не оставив потомства, Анна, старшая, унаследует больше. Амалии надо быть исключительной красавицей, чтобы восполнить этот изъян.

Он разглядывает ее. Смуглее. Лицо более длинное. Брови четче.

– Она напоминает мне другую. Болейн.

Ганс поворачивает Амалию к стене.

Генрих стоит перед портретом невесты, и его взгляд, как и взгляды советников, движется от середины вверх. Время течет: песок сыплется в часах, река бежит в море. Генрих кивает:

– Прекрасно. Я смогу больше услышать про нее от посла доктора Уоттона, не так ли? – Умолкает, губы трогает чуть заметная улыбка. – Скажите мастеру Гансу, все хорошо.

Из Вулфхолла написал Эдвард Сеймур. Он счастлив, что король его посетил, – это знак, что семья не утратит влияния при новой королеве. Пишет, что королю следует жениться на принцессе Клевской, нам нужны союзники, а она, судя по всему, приятная дама и подарит ему еще детей; думаю, лучше ему не найти.

Герцог Суффолк возвышает голос в совете: хорошо и правильно нашему государю взять жену из королевского дома. Сеймуры, без сомнения, древний род, говорит Чарльз, но этот брак не принес королю уважения за границей. Что до правящего дома Клеве – они ведь плавают по Рейну в лодках, запряженных серебряными лебедями?

Он улыбается:

– Быть может, так было в прежние времена, милорд Суффолк.

Доносят, что императору чрезвычайно не по душе этот брак. Франциск недоволен, шотландцы рычат. Наш король охотится. По большей части он держится молодцом. Врачи сообщают о лихорадочном ознобе, о запоре, но на следующий день Генрих снова в седле, с Фицуильямом и дамами, и они привозят десяток оленей. Едут из Графтона в Ампхилл, оттуда в Данстейбл и дальше через Бедфордшир, король впервые за много лет весел и приятен в обхождении. Генрих Возлюбленный, жених с пером в шляпе.

Он, Кромвель, ведет учет королевской дичи, поскольку он главный судья и смотритель лесов и охотничьих угодий к северу от Трента. Учет начался в первых числах июня в Шервудском лесу, и к сентябрю его люди насчитали 2067 благородных оленей и 6352 лани; клерки записывают их в пергаменную книгу о

шестидесяти восьми страницах. Они прочесали чащи и знают тайны подлеска, но не нашли Робин Гуда и молодцов в зеленом, которые стреляют из лука и пируют с предводителем у костра.

За неделю-две Ганс написал невесту еще раз, по памяти и с большого портрета; чтобы король мог возить Анну с собой, Ганс заключил ее в миниатюру на слоновой кости. «Смотрите, милорд Норфолк, – говорит король, – ведь правда мила и пригожа?»

Норфолк сопит и косится, ожидая, что он, Кромвель, заговорит.

От примирительного обеда они оправились, но искусство быть вместе в одном помещении пришлось осваивать заново. Он уничиженно извинялся, Норфолк сопел, Фицуильям хлопал их по спине: «Пожмите друг другу руки, как добрые христиане».

Он тронул костлявую мозолистую ладонь герцога: выказал добрую волю. Хотя у него нет уверенности, что Норфолк вообще христианин. Молится на предков. До монашеских земель охоч не меньше кого другого, но говорит, что не позволит закрыть Тетфордский приорат: там родовая усыпальница Норфолков. Вернее, намерен преобразовать монастырь в коллегию священников, дабы те молились за души его пращуров. Герцог объясняет, идя рядом с ним:

– Будут молиться за них, Кромвель, до конца света.

– Это очень много молитв, – вежливо отвечает он.

Уоттон прислал отчет. Как посланник короля, он посетил Анну дома в присутствии ее матери. Вдовствующая герцогиня Мария – суровая католичка и дочерей воспитала в благочестии и простоте. В Клеве не считают нужным обременять девиц книгами и учителями. Соответственно, Анна не знает ни одного языка, кроме родного.

– Кромвель сумеет с ней объясниться, – говорит король. – Он знает все современные языки.

– Боюсь, что нет, – отвечает он. – По-немецки лучше объясняется мастер Сэдлер. Я научился этому языку в Венеции, по большей части от нюрнбергских купцов. Это не тот язык, на котором говорит леди Анна. Да я и не сумею вести разговор, интересный даме, поскольку знаю лишь слова, нужные при покупке и продаже.

– Честно скажу, – говорит Норфолк, – я вообще не понимаю, о чем можно беседовать с женщинами. Они не любят ничего из того, что любят мужчины.

Он говорит:

– Моя жена не знала иностранных языков, зато знала всех в суконной торговле. Могла вести счета не хуже любого писаря, а когда я возвращался из путешествий, посылала на Ломбард-стрит и записывала в столбик все обменные курсы. Она всегда могла сказать, монета какой страны дорожает.

Они проходят мимо королевской стражи.

– Сдается мне, вам нравится ваше низкое рождение, – говорит Норфолк. – Вы им бахвалитесь, Кромвель. Тем, что были торговцем.

Их встречают королевские слуги, кланяются. Где бы король ни остановился, в охотничьем домике или во дворце, его окружают знакомые лица и опытные руки; стульчак с монограммой и лайковым сиденьем, стопка белых льняных подтирок для многострадального королевского зада, чаша со святой водой, большие восковые свечи, яркие, как свет дня, бархатный балдахин над кроватью. Но сейчас Генрих улыбается и моргает на солнце – летний король.

Герцог бросается в бой:

– Ваше величество! Вы могли бы отправить в Клеве моего сына Суррея. Посол благородного рода добавит нам уважения, не правда ли?

Он, Кромвель, хмурится:

– Не думаю, что нам надо завоевывать уважение. Это пройденный этап.

– Верно, – весело говорит Генрих. – И все советники Вильгельма согласны. Нам незачем утруждать вашего сына. Я знаю, он занят строительством наших укреплений на ваших землях. Не хотелось бы его отвлекать.

Норфолк сводит брови:

– А что с деньгами? Какое приданое?

Он отвечает:

– Вильгельм даст за сестрой сто тысяч крон. Однако они останутся на бумаге.

– Что, он их не выплатит? – Норфолк возмущен. – Они нищие?

Генрих говорит:

– Мы согласны отказаться от того, что нам причитается. Герцог молод, и у него много забот. Как вы знаете, он вошел в Гельдерн, на который имеет все права. Однако император грозит ему войной.

Он, лорд – хранитель малой печати, сказал Клевским посланцам: «Мой король ценит добродетель и дружбу выше звонкой монеты». Немцы с облегчением воскликнули, Боже, какой благородный джентльмен! Но мы меньшего и не ждали.

– Договоренность должна оставаться в тайне, – говорит Генрих. – Если о ней прознают, это будет позор для Вильгельма. Скоро я назову герцога братом, так что желаю уберечь его от неловкости.

– А как насчет путешествия? – спрашивает Норфолк. – Переезд принцессы стоит дорого.

– У нас есть корабли, – отвечает Генрих.

Герцог ощетинивается:

– Есть препятствия? Кровная близость? Они родственники?

– Анна – восьмиюродная сестра короля.

– Ну, это вроде не страшно, – говорит Норфолк. – Значит, разрешения от папы, слава богу, не требуется.

Король говорит:

– Сознаюсь, для меня новость, что у нас нет общего языка. Впрочем, послы говорят, что она умна и наверняка выучит наш язык, как только за это возьмется. К тому же все немножко говорят по-французски, даже те, кто уверяет, будто не говорит. Не правда ли, милорд Кромвель?

– Советники Вильгельма говорят по-французски, – отвечает он. – А вот дама…

Король его перебивает:

– Когда Екатерина приехала из Испании, чтобы выйти за милорда моего брата, она не знала ни английского, ни французского, а он не говорил по-испански. Мой отец-король подумал, не важно, она, как говорят, хорошая латинистка, сумеют объясниться так. Только выяснилось, что он не понимает ее латынь, а она – его. – Король смеется. – Однако у них было стремление поладить, которое вскоре перешло в чувство. И конечно, мы сможем вместе музицировать. Пусть она не знает английских песен, она наверняка поймет их на других языках.

Он говорит:

– Насколько мне известно, в Германии знатные дамы не учатся музыке. Там считают, что петь и танцевать неприлично.

У короля вытягивается лицо.

– Чем же мы будем заниматься после ужина?

– Пить? – предполагает Норфолк. – Немцы – известные пьяницы.

– Про англичан тоже так говорят. – Он бросает на герцога яростный взгляд. – Леди Анна пьет только сильно разбавленное вино. И музыка у них вовсе не запрещена. Герцогиня Мария слушает арфу. Герцог Вильгельм путешествует в сопровождении музыкантов.

Все это правда. Однако наши люди в Клеве писали ему, что при дворе герцога царит скука. К девяти вечера все расходятся по своим комнатам и не выходят до рассвета. Кубок вина не нальют, пока не побеспокоишь какого-нибудь высокопоставленного сановника с ключами.

– Мы с женой будем охотиться, – говорит король. – Услаждаться радостью ловитвы.

– Она вроде бы умеет ездить верхом, ваше величество.

– Еще бы не уметь. Не пешком же она ходит, – говорит Норфолк.

– Но я не знаю, стреляет ли она из лука. Впрочем, если нет, то научится.

Король озадачен:

– У них дамы не охотятся? Целый день вышивают?

– И молятся, – отвечает он.

– Богом клянусь, – говорит Норфолк, – она будет благодарна вам, что вы ее оттуда забрали.

– Да. – Генрих видит все в новом свете. – Да, несладко ей жилось. И своих денег у нее, полагаю, не было. Она увидит, что у нас другие порядки. Однако я надеюсь… – Он осекается. – Кромвель, вы уверены, что она умеет читать?

– И писать, ваше величество.

– Что ж, хорошо. В качестве нашей супруги она найдет себе достойные развлечения по вкусу. В конце концов, нам нужна жена, а не ученый доктор для нашего наставления.

Генрих отводит его в сторонку и, обернувшись, убеждается, что Норфолк далеко.

– Что ж, милорд, – неуверенно говорит король, – мы проделали большой путь. Я думал, ни одна не согласится за меня выйти. – Он смеется, показывая, что пошутил. Не согласится выйти за короля Англии? – Я только грущу о герцогине Миланской и буду зол, если узнаю, что ее просватали за другого. И мне огорчительно, что я не увидел ее своими глазами. Мое сердце склонялось к ней.

– Сожалею, что с ней ничего не вышло. Зато так вы ничем не обязаны императору.

– Короли не вправе выбирать, кому отдать свое сердце, – говорит Генрих. – Я вижу, что мне придется полюбить другую. Но можете сказать мастеру Гольбейну, что он угодил мне портретом герцогини Кристины. Мне кажется, она стоит в комнате и вот-вот со мной заговорит. Передайте Гансу, что я не расстанусь с этим портретом. Оставлю у себя и буду на него смотреть.

– Конечно, – говорит он. – Хотя, возможно, не на виду у новой королевы, сэр.

Король говорит:

– Плохо же вы обо мне думаете, милорд. Я не варвар.

Он отправляется в Тауэр. Проходит через апартаменты, где английские королевы проводят ночь перед коронацией, где провела свои последние дни Анна Болейн. Джейн до коронации не дожила – мы собирались короновать ее в Йорке, но опасались бунтовщиков, а в итоге так и не успели. Эссекский лудильщик, напившись в «Колоколе» неподалеку от места, где он сейчас стоит, смущал добрый народ на Тауэрском холме, крича, что Джейн убил собственный сын. Эдуард будет губителем людей, орал бродяга, таким же как его отец.

Конец истории предсказуем. Пришла стража и забрала лудильщика. Что с таким делать, кроме как высечь его у тележного задка или повесить? Лорд Кромвель стоит перед портретом покойной королевы, нетвердой рукой намалеванным на стене. Видит круглое бледное лицо, волну белокурых волос. Думает, сойдет ли за Анну? Или придется писать поверх новый? Жаль закрашивать такую добрую госпожу. Под слоем штукатурки, прожигая ее насквозь, горят черные глаза Анны Болейн.

Он думает, вот бы двор называл Анну Клевскую Анной, не произносил ее имя на английский манер. Однако женщины получают новое имя, таков их удел, у них нет родины – они едут к мужу, туда, куда их отправят отец и братья. Путь через улицу порой так же далек, как путешествие через море. Джейн Рочфорд как-то об этом говорила. Меня сбыли с рук, точно борзого щенка, сказала она, только раздумывали еще меньше; сгубили мое будущее. (А ведь ее отец, лорд Морли, такой серьезный и кропотливый ученый.)

В Тауэре он заодно навещает Маргарет Поль. Без молитвенника, без рукоделия, она сидит в прямоугольнике света, озаряющего длинное плантагенетовское лицо. Похожа на какую-нибудь из своих прародительниц на витраже.

– Миледи? – говорит он. – Надеюсь, вас хорошо устроили? Вам предстоит тут жить долго.

– Это лучше, чем умереть, – отвечает она. – Или король надеется, что нынешняя зима меня убьет? Я понимаю, для вас это стало бы облегчением.

– Если у вас есть жалобы, изложите их в письменном виде.

– Я знаю, почему вы сохраняете мне жизнь. По-прежнему верите, что мой сын Рейнольд явится меня спасать. Думаете, он предаст себя в руки короля из любви ко мне. – Она задумчиво смотрит на него. – Вы бы так поступили из любви к матери, господин Кромвель?

Он, с каменным лицом:

– Если вам что-нибудь нужно, изложите это в письменном виде.

– Скоро вы поймете, что слишком хорошо думали о Рейнольде. Он улицу не перейдет, чтобы спасти женщину, пусть даже она его выносила.

– Гипсовая статуя ему и то дороже, – подсказывает он.

– На самом деле он мне завидует. Считает, у меня есть шанс снискать мученический венец.

– Тем, что грубите мне? Можете говорить что угодно, мадам. Я все это слышал прежде. Можете обращаться ко мне «Кромвель» или называть меня мужланом. Это не изменит моего поведения.

– Я заметила, – говорит она, – что простые люди часто любят своих матерей. Некоторые даже и жен любят.

В первую неделю сентября в Дюссельдорфе подписывают брачный договор. В тот же день послы Вильгельма выезжают с документами в Англию. Все радуются, кроме архиепископа Кранмера, который говорит:

– Мне страшно, милорд.

Ему хочется ответить: «Разве вам не всегда страшно?»

– Когда нет общего языка, это не пустяк. Поверьте, я знаю.

– Мне казалось, вы были счастливы с Гретой.

– Был. Но я сам ее выбрал. Нас связывало знакомство. Мы не могли говорить, кроме как через других, но мы чувствовали, что нам вместе хорошо, а это залог счастливой семейной жизни.

Он озорно замечает:

– Милорд Норфолк говорит, незачем беседовать с женщинами, супружеский долг можно исполнять и без того.

– Норфолк? – (К ним подходит Фицуильям с другими советниками.) – Он умеет только завалить девку и взгромоздиться на нее.

– Да уж, – говорит Чарльз Брэндон. – Не знает правильного обращения с дамами.

Кранмер говорит:

– Очень хорошо, вам угодно надо мной смеяться. Но я не считаю, что король должен оставлять выбор своей невесты другим. Разве он не говорил французам: привезите ваших дам в Кале, чтобы мне с ними поговорить? Разве он не сказал: не хочу полагаться на чужой выбор, это слишком близко меня касается?

– Он хотел жениться на Кристине, не видев ее, – резонно возражает Чарльз Брэндон. – Поверил портрету и словам Ризли, что у нее ямочки на щеках.

Фицуильям говорит:

– Он уже выбирал сам. Выбрал Болейн. Исключительно по собственной воле. Его прискорбная ошибка, которую нам пришлось исправлять.

Кранмер открывает рот, но он, Кромвель, говорит:

– Полагаю, вам не следует высказываться по вопросам брака. Какое до них дело епископам?

Кранмер поднимает затравленный взгляд. Он делает знак рукой, молчите, мол.

Все лето совет гоняется за королем по кровавому следу убитых оленей. Епископ Гардинер довольно скоро ухитрился поставить себе подножку. После того как парламент принял Шестистатейный статут, Стивен возомнил себя всемогущим. Когда в совете упоминают Роберта Барнса, Гардинер фыркает, начинает недовольно шуршать бумагами, потом грохает ин-фолио по столу – раз за разом, пока он, лорд Кромвель, не спрашивает: «В чем дело?» – а король не добавляет: «Говорите уже, Винчестер».

– Еретик, – объявляет Гардинер.

Он говорит:

– Доктор Барнс – королевский капеллан и последние месяцы завоевывает нам друзей в Дании и среди немцев.

– Знаю, – отвечает Гардинер. Епископский нос – клюв, глаза под нависшими веками блестят, страдалец угрюмо смотрит с наперсного креста. – О человеке можно судить по его друзьям. Если Барнс и не еретик, он очернился еретической смолой.

– Однако он мой посол, – отвечает Генрих. – Если я в нем уверен, то и вы не сомневайтесь. Я не позволю указывать мне, как и в чем я отошел от католической доктрины или где в этой стране практикуют ересь.

– Я вам скажу где, – отвечает епископ. – В домах лорда – хранителя вашей печати. За его столом.

Одли говорит:

– Но я слышал, как лорд Кромвель желал Лютеру смерти.

Гардинер багровеет:

– Однако с тех пор Лютер его хвалил!

– Я не просил его похвал.

Гардинер поворачивается к королю, ведет лапищей по столу, будто сбрасывает на пол игральные кости:

– Я не утверждаю, что он лютеранин. Мои претензии не в этом.

– А кто он в таком случае? – спрашивает Брэндон.

Гардинер поворачивается к герцогу:

– Вы спрашиваете, милорд Суффолк, какие еще ереси доступны для подобного человека? У лорда Кромвеля есть друзья в Швейцарии – станет ли он отрицать? – и, подобно Лютеру, они все восхваляют его как свою великую надежду. Мы знаем, во что они верят. Святое причастие не свято. Тело Христово – кусок хлеба и продается в любой лавчонке.

– Я не сектант, – говорит он.

– Да?

– Я не сакраментарий.

Гардинер подается к нему:

– Может, вы соблаговолите сказать, кто вы такой, а не только, что про себя отрицаете?

Лорд Одли говорит:

– У этих сектантов, Стивен, у них же общее имущество? – Ухмыляется. – Не хотел бы я быть болваном, что попробует обобществить имущество лорда Кромвеля! Богом клянусь, он получит трепку!

Король подается вперед, голос его дрожит:

– Винчестер, покиньте нас.

– Покинуть вас? Почему?

У короля ощетинивается борода. Генрих сейчас похож на свиную колбасу, на которой вот-вот лопнет шкурка. Он, Кромвель, советует:

– Милорд епископ, уходите, пока не пришла стража.

Гардинер встает, но не может преодолеть искушение пнуть табурет. Позже он говорит Ризли: только Стивен мог так выйти от короля, грубо, вызывающе, возможно, бесповоротно?

– Однако теперь он будет плести интриги невидимо для нас, – отвечает Зовите-меня. – Не знаю, что лучше.

Зовите-меня стоял у дверей, слышал, как король кричал на епископа. Гардинер, выходя, оттолкнул его и бросил:

– Прочь с дороги, Ризли, гнусный предатель!

Выходит Одли:

– Клянусь мессой, джентльмены, после очередной такой вспышки Гардинер окажется в Тауэре. Он совсем не умеет читать короля.

Ризли оправляет шляпу и плащ:

– Милорд, вам сообщили про епископа Стоксли? Он очень болен.

Все взгляды обращаются к нему.

– Вряд ли доживет до утра, – добавляет Ризли.

– Господи помилуй, – набожно и серьезно произносит он.

Все лучше и лучше. Стивена выгнали из совета, Стоксли при последнем издыхании. Небо проясняется.

Он едет в Кент. В Лидском замке, под стеной у рва, разговаривает с сыном Грегори, вода и воздух окутывают их, бегущие облака отражаются в синеве, весь мир течет и мерцает.

– Я жду гонцов из Клеве. Как только здесь подпишут договор, Анна может выезжать. Мне бы не хотелось, чтобы Анна в это время года совершала долгое путешествие по морю. Если Вильгельм получит для нее охранную грамоту, я отправлю ее в Кале сушей. В тот миг, как она ступит на английскую почву, ты должен засвидетельствовать ей почтение от моего имени.

– В Кале? Мне туда плыть? – Глаза у Грегори расширяются, как будто он смотрит на море.

– А твоя Бесс сразу войдет в число ее фрейлин. Пусть Анна привыкает обращаться к нам за всем, что ей потребуется, – за обществом, за советами…

– За переводчиками, – говорит Грегори. – Надеюсь, в Кале моего французского хватит.

– Ты скажешь мне спасибо и за латынь. За то, что я заставлял тебя сидеть над книгами.

– Ох, книги, – говорит Грегори. – Они меня пугали. Мне казалось, вы хотите отпечатать все на свете и затолкать мне в голову.

Он смотрит на сына. Ветер ерошит Грегори волосы, морщит воду, плавучий мусор – ветки, мертвые листья – длинной змеей бьется о каменную стену.

– Знания лишними не бывают. Я делал это для твоего блага.

– Я вас боялся.

Ну разумеется, думает он, сыновьям положено бояться отцов, так заведено спокон веку.

– Я старался быть мягким отцом. Ни разу тебя не ударил.

– Вам некогда было.

– Я мог бы кому-нибудь это поручить, – говорит он. – Ладно, пошли, а то ветер усиливается.

Слева, за двумя высокими стрельчатыми арками, ива и небо с бегущими облаками. Они с Грегори ныряют в арку, поворачивают вправо и поднимаются

по лестнице в большой зал. Из часовни можно глядеть, как вода меняет оттенок: вот она голубая, вот серая, вот снова голубая. Это зеркало всех изменений погоды. Верхние этажи с широкими окнами и большими каминами надстроил сэр Генри Гилдфорд, земля ему пухом, до того как Анна Болейн лишила его всех постов и выгнала домой – чахнуть и умирать. От старых дней остались несколько гранатов – Грегори ему показывает – и барельефы башенок, которые, как объясняет он сыну, символизируют Кастилию. Шесть королев жили в Лидсе, а теперь тут растут правнуки кузнеца: маленький Генри в платьицах топочет по дому, маленький Эдвард лежит спеленатый в колыбели.

– Тут есть требник, – говорит Бесс, – он, говорят, принадлежал королеве Екатерине.

Она приносит требник из запертого сундука. Он листает страницы, проверяет, нет ли надписей.

Из Лидса едет в Хантингдоншир навестить племянника Ричарда. В конце концов, следующий отдых у него будет только в эти же дни следующего года. Все лето лорд Лайл присылал из Кале евангелистов с просьбой допросить их в Лондоне, поскольку самому ему с ними не разобраться. Гардинер тут же рьяно принимался за арестантов, заставлял их поклясться в верности каждой статье нового статута. Стивен не в совете, однако власти у него не убавилось. Где он черпает столько безграничной злобы? Его шпионы в доме Гардинера доносят: «Винчестер старается вытянуть у людей из Кале что-нибудь против вас, лорд Кромвель. Запугивает, требует назвать ваше имя, признаться, что вы им покровительствуете. Даже если они просто были в одной с вами церкви, слушали одну проповедь, Гардинер что-нибудь из этого раздует».

И что делать? Половина его работы – защищать друзей-евангелистов от самих себя. У рьяных братьев будут нелады с новым парламентским статутом. И тогда начнутся вопли: «Добрый лорд Кромвель, выручи нас из тюрьмы!» Что, если он не сможет их выручить? Если он смело вступится за евангелистов из Кале, то повредит себе и не поможет им; значит, надо по возможности исподволь исправлять ущерб от того, что творят Гардинер и его присные.

Он рад уехать из Вестминстера, где каждый пристально наблюдает за каждым. Ричард строит себе новый дом в Хинчингбруке. Здесь с незапамятных времен был маленький женский монастырь, теперь закрытый. Работники, вскрывавшие старые полы, в отчаянии прибежали с кирками в руках: «Мастер Ричард, смотрите, что там…»

Он идет смотреть. Работники на коленях молятся, пока из-под пола поднимают кости. Скелета два, полагает Ричард, но это не монахини, как можно было бы ожидать: у одного массивная нижняя челюсть и плечи победителя великанов. Работники уже рассказывают про них истории: это-де влюбленные лорд и леди, бежавшие вместе. Ревнивый граф, или эрл, или удельный король догнал беглецов. Стоя рука в руке, они пали под ударами меча и навеки соединились в смерти.

– Работники считают, они очень древние, – говорит Ричард. – Мы, скорее всего, никогда не узнаем их имен. Но я подумал, нехорошо закапывать их на кладбище монахинь.

Он представляет, как маленькие девственные скелеты шарахаются от мужа героического телосложения.

– И что?

– Я положил их на прежнее место, – говорит Ричард. – Мне они под полом не мешают и вряд ли будут выходить и гулять по ночам. Я разрешил молиться за их души, потому что иначе работники побросали бы инструменты. Однако я не позволю им нарушать мои планы строительства.

В округе уже и без того верят, что утопившаяся в реке монахиня стенает в доме, оплакивая свои грехи, и ищет дитя, прижитое в постыдной связи. Кап-кап, является она в сумерках, волоча мокрый подол рясы по каменному полу. Он говорит Ричарду, может, она вовсе и не утопилась, а оставила записку и убежала к новой жизни, как Роберт Барнс.

Прибывают немцы – люди герцога Вильгельма и саксонские послы, – а король все еще на охоте. Он, лорд Кромвель, пишет, что оставит все другие дела и будет в их распоряжении. Однако к третьей неделе сентября Генрих уже в Виндзоре и сам их принимает. Королевские представители готовы поставить свою подпись на договоре: герцог Суффолк, Кранмер, Одли, Фицуильям и Катберт Тунстолл, епископ Даремский. Такой выбор должен удовлетворить всех, кроме Норфолка и епископа Винчестерского, уверенных, что они везде должны быть главными. Курфюрст Саксонский, зять Вильгельма, непреклонен: он не заключит дипломатического союза с Англией, пока действуют шесть статей, идущих вразрез с Писанием.

– Но мы уверены, лорд Кромвель, – говорит посол, – что теперь, когда вы здоровы, вам удастся образумить Генриха. В конце концов, будь вы на ногах и в парламенте, статьи бы не прошли. С приездом леди Анны жених станет мягче, податливее, и вы его убедите.

Говорят, сам Меланхтон написал королю письмо с просьбой отозвать новый закон. Государю незазорно менять решения.

На вопрос королевских юристов о старом договоре Клеве с сыном герцога Лотарингского – том самом, который заключили, когда жених и невеста были еще детьми, – послы отвечают, что документов при них нет. Он, лорд Кромвель, думает, что бумаги, скорее всего, затерялись; такое случается. «Моя невеста может привезти их с собой», – говорит король; не хочет откладывать свадьбу. Император во Франции, бывший враг принял его на своей земле. Карл едет в Нидерланды карать: жители Гента подняли мятеж, и он намерен лично подавить восстание. Проще было бы добраться морем, но Карл боится английских вод. Наши корабли могут атаковать его флот. Шторм может прибить его к нашим берегам.

«Плох был бы тот ветер», – говорит имперский посол; ему нечего предложить, кроме поговорок. От Марильяка ничего не добьешься: «Ничего не знаю, милорд. Постараюсь выяснить». Или: «Это не в моей компетенции, прошу правильно меня понять». Если бы Марильяк нашел способ расстроить свадьбу, он бы уж расстарался, но сейчас только обедает с испанцами и хвастается: «Вся Европа ликует, видя согласие наших государей».

– Надо бы снова впрячь Уайетта в работу, – говорит он королю. – Отправьте его к императору, пока тот едет через Францию. Если кто-нибудь и может посеять между ними раздор, то это Уайетт.

Уайетт провел лето в Аллингтоне с возлюбленной, так что наверняка вполне отдохнул. Его итальянские интриги закончились ничем – король не желает отправлять английские войска в чужие земли. Уайетт огорчен, но король говорит:

– Ваш друг, я имею в виду лорда Кромвеля, всегда убеждал меня, что такие затеи обходятся слишком дорого и никто не знает, каким будет окончательный счет.

Пятого октября, рано утром, в Хэмптон-корте подписывают договор. Кранмер разрешил обойтись без оглашения, так что теперь дело только за первой брачной ночью. Король вручает кольцо представителям Клеве, хотя с улыбкой отказывается надеть его на палец кому-нибудь из послов, как делалось в прежние времена. Он говорит:

– Когда моя сестра Мария выходила за короля Людовика, упокой Господи их души, его представлял герцог де Лонгвиль, а мы все были свидетелями в большом зале Гринвича. Они принесли обеты, Лонгвиль надел Марии на палец кольцо и поцеловал ее, они расписались в книге, а потом ее отправили переодеваться в ночное платье… – тут король немного краснеет, – и они вместе легли на кровать. Лонгвиль раздвинул верхнее платье, высунул волосатую ногу, голую, и тронул ее. Позже я думал об этом – а ведь там присутствовали юные девицы – и считаю, что такое противно и разуму, и приличиям. Однако так пожелали французы.

Французы – грубый народ, говорят немцы. Вечно хотят настоять на своем.

Король пошлет невесте подарки и письмо. Смотрит робко, как будто хочет попросить: напишите за меня, Сухарь.

– На каком языке мне писать?

– На французском или на латыни, ваше величество, все равно. Герцог Вильгельм изложит ей содержание.

– Да, но я не знаю, что писать. Обычные комплименты, наверное. В конце концов, – он слегка приободряется, – ей прежде не писали любовных писем. Мне радостно сознавать, что она до сих пор не смотрела на мужчин. Как Джейн. Джейн никого не любила, пока не узнала о моем честном чувстве. Но даже и тогда ее было непросто завоевать. Таких безупречных дам в наше время не бывает. Но сдается, вы сумели разыскать еще одну.

К двадцатому октября клевские послы возвращаются в Дюссельдорф. Император выписал Анне охранную грамоту для проезда через его земли. Как ни мало Карлу нравится этот брак, он не может препятствовать даме, едущей к

жениху; его сестра, наместница Нидерландов, требует принимать принцессу Клевскую со всеми почестями и даже снабжает ее эскортом.

Терстон говорит ему:

– Помните кота? Вы его привезли в кармане из Ишера, в кардинальские времена, а мастер Грегори невзлюбил и назвал Марлинспайком? Так вот, я его третьего дня вроде бы видел на стене, с куском кролика под лапой. Но я сказал себе, коты же столько не живут?

Он отвечает:

– Кардинальский кот вполне может быть чудом природы. Наверное. Какой он был с виду?

– Ободранный, – говорит Терстон. – Но мы ведь все не молодеем.

Этой зимой король принимает передачу больших аббатств с их усадьбами и обширными акрами, с их реками, прудами, пастбищами, скотиной и зерном в амбарах; каждое зернышко взвешивают, каждую овчину заносят в опись. Если сколько-то гусей улетело на рынок, бычки забрели на бойню, деревья сами себя повалили, а монеты прыгнули мимо кармана… это прискорбно, но королевские комиссионеры вынуждены заранее извещать о своем приезде, и монахи успевают прибрать кое-что к рукам. Будь с королем честен, и он тебя не обидит. Когда в казну передают аббатство Святого Варфоломея и тамошние колокола увозят в Ньюгейт, приор Фуллер получает земли и пенсион. В освобожденные здания переезжают чиновники палаты приращений; дом аббата станет городским особняком Ричарда Рича. На севере аббат Брэдли из Фаунтинс будет получать годовой пенсион в сто фунтов. Сговорчивый аббат Уинчкома получит сто сорок. В казну переходит Хэйлс, где показывали кровь Господню в стеклянном сосуде. Намечено закрыть большую Сионскую обитель, и он напоминает себе про Лонд, где приор Ланкастер сидел на своем месте тридцать лет – чересчур долго. На любые вопросы приор отвечал omnia bene, все хорошо, но то была неправда: церковная крыша текла и к монахам вечно шлялись женщины. Теперь эти безобразия позади. Он заново отстроит дом, по собственному вкусу в тихом зеленом сердце Англии. В ненастье он мечтает о садовой беседке, о летящих по воздуху лепестках роз, перламутрово-белых и румяно-палевых. Мечтает об анютиных глазках и о синих звездочках барвинков, из которых наши девушки вяжут «узелки влюбленных»; в Италии из них плетут венки для осужденных.

В ноябре он записывает в список дел: «Рединтского аббата судить и казнить». Обвинение известно, в вердикте сомнений нет – так зачем притворяться, будто исход не предрешен? Время великих аббатов умерло с мятежом на севере. Король больше не станет мириться с недовольными, с людьми, которые в своих уютных домах мечтают о Риме. Тысячи акров Англии переходят в казну, а тех, кто с них кормился, перераспределяют по приходам либо по университетам, если они люди ученые; а если нет, пусть ищут себе ремесло. Аббаты и приоры по большей части получат ренту, но если потребуется, то веревку. Он арестовал Ричарда Уайтинга, аббата Гластонбери, и того после суда протащили на волокуше по городу и повесили вместе с казначеем и ризничим на холме Святого Михаила. Уайтинг был старый глупец, изменник и к тому же плут – спрятал свои сокровища в стене. По крайней мере, так сказали комиссионеры. Такие проступки можно простить,

если за ними нет злого умысла, отрицания, что король – глава церкви, а значит, хозяин всех потиров, дарохранительниц, распятий, облачений, подсвечников, хрустальных реликвариев, расписных алтарных преград, витражей и золоченых образов.

Ни один правитель не избежал смерти, кроме короля Артура. Некоторые говорят, он уснул и восстанет в час нашей беды, например, если император пойдет на нас войной. Однако в Гластонбери давно утверждали, что Артур – смертный, как вы и я, и у них хранятся его кости. Когда-то, если аббатству не хватало денег, монахи отправлялись в путь с заплесневелой головой Иоанна Крестителя и щепками от вифлеемских яслей. Однако, когда и это не наполнило сундуки, что монахи разыскали под полами? Останки короля Артура, а рядом с ним скелет золотоволосой королевы!

Кости оказались долговечными. Они пережили пожар, уничтоживший большую часть аббатства. За годы они привлекли столько паломников, что Кентербери оставалось только исходить завистью. Свинцовый крест, хрустальный крест, остров Авалон – они выманивают денежки у благочестивых и доверчивых. Некоторые говорят, будто сам Господь ступал по здешней земле, и горожане этот слух поддерживают; в таверне «Святой Георгий» показывают след Христовой ноги, за деньги его можно обвести и забрать бумагу с собой. Утверждают, что в Гластонбери побывал Иосиф Аримафейский со святым Граалем. Он привез обломок Голгофы, часть ямы, в которой стояло основание креста. Он воткнул в землю свой посох, на котором расцвел боярышник и продолжает цвести, в тучные года и в тощие, покуда Эдуарды и Генрихи правят, умирают и рассыпаются в прах. Теперь в прах отправятся все гластонберийские реликвии, два святых по имени Венигн и два короля по имени Эдмунд, королева по имени Батильда, полукороль Ательстан. Бригита и Крисанта и рассыпавшийся череп Беды Достопочтенного. Прощайте, Гутлак и Гертруда, Хильда и Губерт, два аббата по имени Сеифрид и папа по имени Урбан. Адье, Одилия, Айдан и Альфедж, Вента, Вальбурга и Цезарий-мученик вместе с вашими невнятицами и перевранным написанием, стуком ваших костей и громыханием черепов. Давайте раз и навсегда зароем их с глаз долой, мышиные скелеты вперемешку со святым прахом, обрывки ваших одеяний, ваши власяницы с запекшейся кровью, обрывки и обрезки, три обгорелых хитона трех отроков, вышедших невредимыми из пещи огненной. Увяла лилия, которую Дева держала в руке, когда ей явился ангел. Погасла свеча, озарявшая гроб Спасителя. Холм Святого Михаила вознесся над Гластонбери больше чем на пятьсот футов. Оттуда видно на много миль. Если поглядеть с вершины, увидишь новую страну, где все новехонькое, свежепокрашенное, выбелено и оттерто дочиста.

Король выбирает драгоценности для невесты. Они хранятся в шкатулках из перламутра и слоновой кости. Странно видеть сплетенные буквы «Г» и «А» после того, как их так старательно уничтожали. Король говорит, выпишите мне к приезду королевы музыкантов из Венеции. А если те привезут новые инструменты, то тем лучше.

Принцесса Клевская приедет в боголюбивую страну. Его Библии печатают все быстрее. Мастер Ризли спрашивает его: «Сэр, а что, французы прислали вам изъятые листы? Как вы их убедили?»

Он не отвечает. Мастер Ризли делает обиженное лицо: ему не доверяют.

– Боннер помог, – говорит он. – Нашел подходы к нужным людям. Он не такой растяпа, как вы полагаете.

Когда Эдмунд Боннер вернется из Франции, его назначат епископом Лондонским. Это облегчит положение наших проповедников. Да, епископ Стоксли теперь кормит червей, но ведь и Мор тоже. Их вонь так и не развеялась, их рьяные приспешники норовят согнать евангелистов с кафедр.

– Я знаю, что Боннер ваш человек, – недовольно говорит Ризли. – Но он долго не продержится, французы его не любят.

– Они меня не любят, – говорит он.

Выигрываешь одно очко, проигрываешь другое, выигрываешь и проигрываешь.

Ко двору съезжаются дамы – встречать новую королеву. Верховодят почтенные леди Сассекс и леди Рэтленд, они указывают, кому какие обязанности исполнять и как одеваться. По титулу старшая Маргарет Дуглас, принцесса Шотландская. Из деревни вызвали ее подругу Мэри Фицрой. Места в свите будущей королевы получили родственницы хранителя малой печати – жена Эдварда Сеймура Нэн, жена Грегори Бесс. В списках будет леди Клинтон, мать Ричмонда, но не будет леди Латимер. Молодые люди в Остин-фрайарз расстроены. Как лорд Кромвель будет за ней увиваться, спрашивают они, толкая друг дружку в бок. Мы знаем, он пишет ей длинные письма, но она так давно вдали от двора, что забудет, насколько лорд Кромвель неотразим.

Главной фрейлиной личных покоев Анны станет Джейн Рочфорд. После смерти Томаса Болейна она не нуждается в деньгах, могла бы уехать в Норфолк и жить в своем бликлингском доме, но чего ради? Несмотря на все, чего она навидалась в жизни, ей лишь немногим больше тридцати. «Как вам новые фрейлины?» – спрашивает она, когда те щебечущей стайкой проходят мимо. Их французские чепцы сдвинуты назад, сколько дозволяют приличия, короткие вуали плещут за спиной.

Он улыбается:

– В этом году они кажутся очень молодыми.

– Это вы стареете. Фрейлины обычного возраста.

– Вон та мне вроде бы знакома.

Джейн Рочфорд заходится смехом:

– Еще бы! Это внучатая племянница Норфолка. Кэтрин Кэри, дочь Марии Болейн. Вы когда-то ухлестывали за ее матушкой.

Он потрясен: маленькая дочка Марии Болейн – девица на выданье.

– Я никогда не ухлестывал за леди Кэри.

– А луна сделана из сыра, – отвечает леди Рочфорд. – Кале помните? Гарри Норрис сказал мне, Томас Кромвель и Мария Болейн в саду вместе, и я не думаю, что они просто совершают моцион, а вы? Я ответила, нет, Гарри, они гуляют, а он засмеялся. О господи, сказал он, как бы она не нагуляла от него маленького Кромвеля.

– Я не отрицаю, что мы были в саду.

Леди Рочфорд смеется ему в лицо:

– На следующее утро Мария ходила с блаженным лицом и синяками от поцелуев на шее. Гарри Норрис сказал ей, Кромвель хорошенько вас отделал, теперь будете знать, каково иметь грубого любовника, надеюсь, на эту ночь у вас с ним вновь назначено свидание, потому что никто другой вас не захочет, вы вся в пятнах, как испорченная рыба.

Он думает, Норрис был джентльмен и никогда бы такого не сказал. А впрочем, как все джентльмены в окружении покойной Анны, он оказался не таким, как мы думали.

– Уильям Стаффорд тоже был в саду, – говорит он. – Тот, за которого Мария после вышла замуж. Видимо, ей понравилось его любовное обхождение. Моего она не знала.

– Как скажете. Однако, насколько я слышала, вы и прогнали его, угрожая кинжалом, а потом затащили свою жертву в дом.

Часть сказанного правда. Стаффорд подошел к нему сзади в темноте, и он подумал, это убийца. Он помнит, как Стаффорд уворачивался из его хватки.

– Что ж, как бы то ни было, это очаровательное создание – дочка Марии. А крошка, с которой она идет под ручку, Мэри, дочь Норриса.

Он смотрит на дочку Норриса и не видит в ней сходства с отцом. Ее мать он почти не помнит – та умерла молодой.

Ему неспокойно.

– Воспитанница дяди Норфолка, если я не ошибаюсь? – говорит он.

– Уж дядя Норфолк своих протолкнет, будьте покойны, – отвечает Рочфорд. – Его воспитанница Норрис, его племянница Кэри – и у него есть еще племянница, из выводка брата Эдмунда.

Эдмунд Говард, упокой Господь его душу. Это был бедный джентльмен, единокровный брат Норфолка: пятеро своих детей и пять пасынков и падчериц в придачу. Эдмунд как-то заявил кардиналу, что, не будь он лордом, зарабатывал бы на хлеб собственными руками, пахал землю, однако титул обрекает его на нищету.

– А вот и Норфолк, – говорит Рочфорд. Норфолк вышагивает под руку с крохотной девчушкой. – Это Кэтрин Говард, которую вы отослали назад, потому что она выглядела на двенадцать. Однако они присягнули, что ей больше, и вот она снова здесь.

Он слышит, как девушка звонким детским голосом произносит: «Дядя Норфолк…» Тянет старого мерзавца за руку, хочет тому что-то показать.

– Что за куколка! – говорит Ризли. – Я бы стоял и любовался на нее, а вы, милорд?

– Вряд ли, – отвечает он. – Я бы опасался, что тень дяди Норфолка ляжет между нами.

Девочка поворачивает лицо, словно цветок на стебельке, принимается щебетать. Дядя Норфолк слушает с плохо сдерживаемым нетерпением – высматривает, не появится ли король. Девочка забыла про дядю, отпускает его руку, оглядывается по сторонам. Взгляд равнодушно скользит по мужчинам, но исследует женщин с головы до пят. Она никогда не видела столько знатных дам и сейчас изучает, как они стоят, как движутся.

– Оценивает соперниц, – говорит он. Бесхитростное существо ничего не умеет скрыть.

– Бедняжка росла без матери. Осиротела еще в младенчестве.

Он косится на Рочфорд:

– Вы можете о ком-то говорить с нежностью, миледи.

– Я не чудовище, милорд.

Мэри Норрис и Кэтрин Кэри смотрят на новую фрейлину. Рочфорд говорит:

– Вы назвали бы ее блондинкой? Или рыжей?

Он никак бы ее не назвал. Он уже на нее не смотрит.

– Интересно, кто заплатил за то, что на ней надето, – говорит Рочфорд. – Ткань точно не из гардероба вдовствующей герцогини. А эти рубины – разве они не принадлежали Анне Болейн?

– Если принадлежали, их следовало вернуть в королевскую сокровищницу. Как они оказались у Норфолка?

– А, хоть что-то вас в ней заинтересовало! – говорит Джейн Рочфорд.

Двадцать шестого ноября Анна трогается в сторону Кале. С ней эскорт в двести пятьдесят человек, а также ее фрейлины, так что по временам они делают в день не больше пяти миль. Впереди шагают барабанщики и трубачи, а едет она в золоченой карете, расписанной лебедями и гербами Клеве-Марк-Юлих-Берга.

Грегори приезжает в Остин-фрайарз за последними наставлениями.

– Сейчас я еще раз тебе их повторю, – говорит он. – Отпиши домой сразу, как увидишь Анну. Представься так, чтобы она поняла, кто ты такой. Будь добр. Будь терпелив. Заботься, чтобы ее кормили тем, что она любит. Вручи ей кошель с деньгами на личные расходы. Перед возвращением домой убедись, что все долги ее свиты оплачены. Погода может вас задержать. – Он вспоминает, как шесть лет назад король застрял в Кале с Анной Болейн. – Знай, что чем дольше вы там пробудете, тем больше французские купцы будут искушать ее свиту. Кстати, веди собственные счета.

– Вы знаете, что говорите со мной так, будто я – Уайетт?

– Да, – отвечает он. – И ты польщен.

Грегори улыбается.

Снизу раздается крик:

– Милорд, можно вас побеспокоить?

Судя по шуму, все выбегают наружу. Грегори спускается на первый этаж, а через несколько мгновений взлетает по ступеням:

– Вы должны это видеть.

Во дворе телега, с ней четыре возчика. На телеге огромный ящик, зарешеченный спереди. Первое впечатление, будто возчики охраняют тьму, но тут в ней что-то шевелится. Он видит пятнистую шкуру и примятую морду, которая отворачивается от света. Леопард. На коже засохший помет и блевота, по крайней мере, если судить по запаху.

Он плотнее кутается в одежду. Домашние смотрят на животное, потом на него. Ему хочется перекреститься. Леопарда везли издалека, из Китая наверно; как он не сдох?

– По-вашему, он голодный? – спрашивает Терстон. – В смысле, голодный прямо сейчас?

Решетка прочная, однако домашние держатся на расстоянии. Леопард прижимается мордой к прутьям. Ему неоткуда знать, что он прибыл на место назначения, он думает, это какая-то промежуточная остановка в череде тесных зловонных дней.

Возчики озираются в ожидании платы. Они англичане, груз забрали в Дувре, как было велено, всю дорогу боялись, что зверь вырвется и напугает жителей Кента. Следовательно, намекают они, заплатить бы надо побольше обычного. Это не штабель бревен забрать, объясняет один.

– У кого вы забрали его в Дувре?

Возчик отвечает, чуть враждебно:

– У кого всегда.

– Бумаги у вас есть?

– Нет, сэр.

Другой в порыве вдохновения добавляет:

– У нас были бумаги, но он их съел.

Откуда зверя переправили в Дувр, они не знают и знать не хотят.

– Да где такие водятся, кроме как в языческих краях? – замечает один. – Может, вам стоит позвать попа, окропить эту животину святой водой.

– Сдается мне, попа он бы съел, – замечает Терстон и хмыкает.

Что ж, по всему имя дарителя затерялось где-то в дороге. Он воображает неведомого владыку в тюрбане, ждущего благодарности. Что ж, поблагодарим всех. Напишем, спасибо за диковину.

Грегори первым высказывает разумную мысль:

– Не королю ли это подарок?

Возможно; в таком случае леопард лишь пройдет через его дом, очередной пункт в длинной описи. Дик Персер стоит рядом.

– Дик, – говорит он, – до перевозки в Тауэр зверю понадобится смотритель. Нельзя отправлять его королю в нынешнем виде. Он останется здесь.

Надо отдать Дику должное, тот не говорит, нет-нет, только не я, сэр, а лишь сдергивает шапку и запускает пятерню в жесткие волосы.

Раздается крик:

– Смотрите, шевелится!

До сих пор зверь лежал бревном в тесном вонючем ящике, теперь встает и потягивается. Делает шаг вперед – ровно столько свободы дозволяет ему клетка – и смотрит на него; глаза упрятаны глубоко в складках пятнистого меха, и не различить, что в них: страх, уважение или ярость.

Тишина. Дик неуверенно произносит:

– Он узнал своего хозяина.

Точно стрела свою цель. Он чувствует, как зверь пронзает его взглядом, хотя сам тощий, шкура на костях. Первым делом надо снять его с телеги.

– Заплатите этим людям, – говорит он.

Зверю придется оставаться в передвижной тюрьме, пока не построят клетку побольше, но вонь можно уменьшить, если смыть помет. И надо подкормить его, чтобы нарастил на кости мясца.

– Ну, что скажешь? – спрашивает он Дика Персера. – Хватит тебе отваги?

Дик подрастает на глазах. Грегори говорит:

– Со всем уважением, милорд отец, вы всегда говорите такое людям, от которых хотите чего-то для них невыгодного и неполезного.

– Ага, – подхватывает Терстон. – Настоящий вопрос, Дик Персер, хватит ли тебе дури?

Дик говорит:

– Если мне надо будет смотреть за зверем, помимо собак, то мне нужен помощник, чтобы я его обучил.

– Будет тебе помощник.

– Зверь станет съедать по полбыка в день.

– Закажи, чтоб тебе приносили. Расходы потом просчитаем.

– Одно условие. – Дик оглядывает собравшихся. – Я его единственный смотритель. Никто не тычет в него палкой. Вообще никто к нему не подходит без моего разрешения. Не беспокоят, когда я его успокоил. Не ходят мимо с собаками, не дразнят его.

Грегори говорит:

– Дивлюсь, что Господь такое создал.

– Что Господь вообще такое измыслил, – отвечает он.

Только подумать о тех, кто его сюда доставил, – не только о возчиках, но и о тех, кто охранял его на всех этапах пути, просовывал в клетку мясо и воду. Не следует жаловаться, что зверь в плохом состоянии, если вспомнить, что в любой миг они могли вогнать ему копье в горло и продать шкуру задорого.

Зверь до сих пор не издал ни звука. Не издает и сейчас, только смотрит пристально, смотрит на лорда Кромвеля, лорда Кромвеля Уимблдонского, хранителя малой королевской печати. Думает, как одним движением мощной лапы содрать с того кожу и меха. По расчетам оголодавшего зверя, он должен тянуть на две половины бычьей туши. Грегори говорит:

– Что, если он ест живую добычу? Дику Персеру придется изловить оленя.

Дик делает шаг к клетке, будто хочет произнести приветственную речь. Однако зверь по-прежнему глядит на него. Как будто видит пространство между ними. А прутьев не видит.

Он возвращается к себе за стол. Просматривает пенсионный список для Сент-Олбанса. По бумагам скользят пятна света и тени, словно рисунок леопардовой шкуры.

По зрелом размышлении он исправляет мысленный образ владыки в тюрбане. Быть может, леопарда прислал какой-нибудь вельможа из-за Ла-Манша. Увидел такую диковинку и решил, это поможет мне снискать расположение лорда Кромвеля, говорят, у того ненасытная страсть ко всему дорогому, ко всему, чем можно пускать пыль в глаза.

На входе в залу совета он рассказывает про зверя Уильяму Фицуильяму. Фиц сочувственно стонет:

– Мне какой-то болван прислал тюлениху. Три ведра рыбы каждый час, и все равно она не наедалась. В конце концов я дал указание жене, и та пустила тюлениху на пироги.

С Фицуильямом в Кале едет Томас Сеймур, брат покойной королевы, бывалый дипломат Фрэнсис Брайан и другие, хорошо знакомые с французскими берегами, в том числе Уильям Стаффорд, муж Марии Болейн. Некоторых укачало, а меня нет, пишет Грегори. Он улыбается, читая письмо мастеру Ризли. Странная вещь наследственность. Никто не знает, что мы получим от отцов.

– Хорошо, если я передал Грегори способность переносить качку, – говорит он. – У моего отца желудок тоже был крепкий, иначе он бы не мог так набираться элем.

– Иногда мне кажется… – начинает Ризли и умолкает.

– Что?

– Я согласен с дядей Норфолком. Чем выше вы поднимаетесь на королевской службе, тем чаще поминаете свое низкое происхождение.

– Тем чаще другие его поминают, вы хотите сказать. Я не стыжусь его, Зовите-меня. Отец многому меня научил. Он научил меня гнуть металл.

Он человек занятой, ему некогда читать все присланные записки, но эту он читает: «Вы правильно меня устыдили. Я исправлюсь».

Наша делегация болтается в море, аббат Колчестерский болтается в петле. Колчестер признал королевскую супрематию и подписал присягу. А потом сдал назад, принялся шептать, Мор-де и Фишер мученики, как мне их жалко! На требование передать аббатство казне заявил, что у короля нет такого права – то есть что королевская воля и законы ничтожны. Генрих не мирской владыка и не духовный, он вообще не король, а парламентские законы – не законы. Согласно аббату.

Он уверен, что это последнее повешение. Они заражали друг друга, Колчестер, Гластонбери и Рединг. Теперь противление сломлено. Со всеми другими аббатами удастся поладить: не будет больше крови, веревок и цепей. Новые примеры не потребуются, знамя мятежников, изображавшее Пять Ран, повергнуто в прах. Суеверные жители севера говорят, что вдобавок к главным ранам Христу нанесли еще пять тысяч четыреста семьдесят. Что Томас Кромвель каждый день наносит Ему новые раны.

Нигде не написано, что великие люди должны быть счастливы. Нигде не сказано, что в число наград за служение государству входит душевный покой. Он сидит в Уайтхолле на изломе года, видит тень своей руки, свой кулак, который никуда не спрячешь, и в тишине дома слышит шелест пера по бумаге, как будто написанное шепотом ему отвечает.

Можно ли создать новую Англию? Можно написать новую историю. Можно написать новые тексты и уничтожить старые, можно вырвать страницы из Дунса Скота и пустить по четырем ветрам. Можно писать по Англии, но всё написанное раньше проступает снова и снова, высеченное на камнях, несомое половодьем, встающее со дна глубоких колодцев. Не только святые и мученики претендуют на эту землю, но и те, кто был до них: гномы, зарытые в канавах, духи, поющие в шуме ветра, демоны, замурованные в дренажных трубах и погребенные под мостами, кости у тебя под полом. Невозможно их счесть и обложить налогом. Они продержались десять тысяч лет и еще десять тысяч до того. Их не сгонят с места новые арендаторы или клерки, заверяющие купчие на поместья. Они пузырями лезут из земли, размывают побережье, сеют плевелы меж колосьев и заваливают камнями рудники.

Одиннадцатого декабря Анна прибывает в Антверпен. Английские купцы во главе со Стивеном Воэном встречают ее в четырех милях от города. Они несут шестнадцать десятков факелов, пламя лижет и целует сумерки. Воэн пишет, весь город вышел ее встречать, больше, чем когда приезжал император. Пишет, Анна приятна в обхождении, добра и степенна, закована в странные блистающие одежды. С ней дамы, одетые так же, но нет ни одной краше ее.

Воэн ничего не пишет о Женнеке, не сообщает, видел ли ее. Впрочем, почте такое доверять опасно.

Уже почти темно. Эскорт принцессы на лошадях под черными бархатными попонами возникает как будто из ниоткуда. При их приближении со стен начинают палить пушки, так что Анна и ее свита подъезжают к Фонарным воротам в сплошном дыму.

Теперь, когда брак короля устроен, он берется за леди Марию. В Англию приехал герцог Баварский, со скромной свитой, как посоветовал король. Холостяк и весьма достойный человек. Герцог заверил короля, что не будет требовать приданого и женится на Марии исключительно ради дружбы, дабы усилить немецкую лигу против императора и Рима.

Он посылает мастера Ризли к леди Марии – подготовить ее к встрече. Зовите-меня теперь его всегдашний посланец. Мария хорошо относится к Ризли, даже вышила тому атласную подушку с фамильным гербом.

Сейчас он, хранитель малой печати, обсуждает с церемониймейстерами окончательную подготовку к торжественному приему королевы. Он отвел почетную роль леди Марии, однако король говорит, нет, Сухарь, не стоит. В Клеве могут остаться недовольны. Пусть шотландцы выставляют напоказ незаконных детей, а мы не будем.

Он отвешивает поклон. Признает, что дамам и впрямь лучше будет встретиться с глазу на глаз. Падчерица младше мачехи всего на год. Быть может, они станут гулять под ручку, как Мария гуляла с Джейн.

Зовите-меня он говорит: передайте Марии новое предложение, но ждите всегдашнего ответа: я предпочла бы остаться незамужней, однако покорюсь отцу. Выслушайте и удалитесь; перечислите достоинства герцога Баварского, только не убеждайте ее слишком настойчиво. Потому что после вашего отъезда она станет кричать, что не пойдет за лютеранина и пусть ее лучше бросят на растерзание диким зверям.

Герцог Филип пришелся Генриху по душе. Тот ведет гостя в свои уайтхоллские покои показать Генриха на стене. Если король и видит расхождение между монархом кисти Ганса и человеком, который его показывает, то ничуть этим не смущается.

– Посмотрите на мою покойную королеву, – говорит он. – Превосходнейшая из женщин.

Они беседуют по-латыни. Филип кланяется портрету.

– Посмотрите на моего отца. – Король переходит на английский: – Знаете ли вы, что у него было всего семь кораблей, из них только пять исправных? А я отрядил в Кале пятьдесят кораблей для того лишь, чтобы доставить сюда вашу кузину, принцессу Клевскую.

Старый король за спиной у сына немного съеживается.

– Поздравляю вас, – отвечает Филип. Он не говорит по-английски, но общую суть улавливает. – Доблестнейшего из государей, – добавляет герцог.

Король отводит гостя в сторонку. Филип воевал против турок, когда те осадили Вену. Король хочет послушать рассказы о сражениях. Они проводят вместе остаток дня.

Через день или два он вместе с Рейфом отправляется в Энфилд – лично побеседовать с леди Марией.

– Сам ваш приезд покажет, что ее отец хочет этого брака, – говорит Рейф.

Генрих уже обсуждает условия. Попросил составить черновой договор.

Мария заставила его ждать, но он видит, что она наряжалась: черное бархатное платье, розовый атласный лиф.

– Как дорога, милорд?

– Ужасная, – отвечает он. – Однако проехать можно. Мы сумеем отвезти вас в Гринвич, если вашему батюшке угодно будет так распорядиться. Ваши новые покои в Уайтхолле почти готовы. Я как раз досушиваю лепнину. На прошлой неделе говорил с мастерами витражей.

– «ГА-ГА»? – спрашивает она.

– Да. И геральдические знаки королевы.

– Мне это странно, – говорит Мария. – Называть ее королевой. Хотя мы ее еще не видели. И все же. Я поздравляю милорда отца. Разумеется.

– Герцог Филип прекрасно сложен, – говорит он. – Белокур. Глаза голубые. Цвет кожи примерно как был у госпожи вашей матушки.

Она смотрит в окно.

– Я подумал, мастер Ризли мог этого не упомянуть.

Она кладет руки на колени и тихонько напевает: «Увидите, что дрозд строит храм на холме…»

– Чего бы мы не хотели, так это вашего отказа на позднем этапе, – объясняет он. – Вы говорите да, да, да, а потом в последнюю минуту говорите нет. Поскольку это поставит короля в неудобное положение.

– Да, – отвечает она. – Нет.

Он ждет.

– Да, это поставит его в неудобное положение. Нет, я так не поступлю. Я сказала, что покорюсь.

– Король – любящий отец и не вынудит вас к браку с тем, кого вы не сможете полюбить.

Мария поднимает бровь:

– Однако он вынудил Мег Дуглас отказаться от брака с тем, за кого она готова была умереть.

– А, Правдивый Том, – говорит он. – Он не стоил того, чтобы ради него умерла принцесса.

– Любовь слепа, – отвечает Мария.

– Не обязательно. Вам следует увидеть его. Филипа.

Рейф говорит:

– Вы же хотите вернуться ко двору? Я уверен, что хотите.

– Мастер Сэдлер, почему вы говорите со мной как с маленькой?

Рейф в досаде хватает шляпу. Он, хранитель малой печати, отвечает:

– Потому что вы нас вынуждаете.

Он проходит через комнату, берет Марию за руку:

– Умоляю вас, миледи. Ведите себя не как ребенок, а как взрослая женщина. Позвольте судьбе вас вести, не дожидаясь, когда она потащит вас силой.

Снаружи Рейф говорит:

– Она с ним увидится. Ей любопытно, я чувствую. А что посоветовал бы Шапюи, будь он здесь? Сказал бы, не гневите короля.

Он кивает. Он забыл разыграть карту Шапюи. Впрочем, мысли его заняты более крупной игрой.

В Лондоне он садится за стол с епископом Тунстоллом, и они прорабатывают условия. Филип может увезти Марию с собой за собственный счет.

– Хорошо, – говорит епископ. – Вы уже однажды получили ее подпись под документом, милорд. Бог весть как вы принудили ее к покорности, но ведь принудили же.

Он бросает перо:

– Но если придется на руках нести ее под благословение, я этого делать не стану. Пусть король сам ее тащит.

– Меня он не попросит, – сухо замечает Тунстолл. – Мне шестьдесят пять. У преклонного возраста есть свои привилегии. Как вы убедитесь, милорд, если Господь, как я Его молю, дарует вам долгую жизнь.

После лета отдыха, после осени в лесах и полях король выглядит нездоровым: лицо осунувшееся, бледное, как непропеченный хлеб. Они сидят над письмами из-за границы, света мало, воздух черновато-серый, цвета разведенных чернил. За окном воображаемая страна, залитые пастбища и мокрые рощи, затопленные леса и поля, глинобитные стены и соломенные крыши, церкви и крестьянские усадьбы.

Уайетт по пути в Париж нагнал короля Франциска. Последовал пустой обмен комплиментами: Уайетт поздравил Франциска, что тот долго сохраняет дружбу с императором, а Франциск, приложив руку к сердцу, поклялся в неизменной любви к своему английскому собрату Генриху.

Затем Уайетт пустился вдогонку императору. Тот же бессмысленный обмен учтивостями; но затем кто-то упоминает Гельдерн, территорию, которую молодой герцог Клевский объявил своей. Карл выходит из себя. Пусть Генрих даст новому шурину совет: подчиниться сюзерену и отказаться от притязаний на Гельдерн. Иначе его накажут, как наказывают молодых и дерзких. Пусть поостережется.

Уайетт изумлен. Карл сдержан и немногословен. Почти никогда не высказывается открыто, действует исподволь. Так что означает этот внезапный гнев? Пошлет ли император войска против нашего нового союзника?

Император встретился с Франциском. Говорят, они будут вместе праздновать Рождество и пробудут в Париже до Нового года. Даже папа боится их тайных

переговоров. Уайетт находит агентов Рима, прячущихся по углам. Говорит: я узнаю для вас, о чем совещаются государи, а вы найдите для меня предлог бывать в их обществе каждый день.

– Их якобы согласие, – говорит Генрих. – Ни один не смеет повернуться к другому спиной. Оттого-то они и в одном городе. Это не дружба, а ее противоположность.

– И все равно, – отвечает он, – их союз длится дольше, чем мы предполагали.

– Вулси бы его разрушил.

Он смотрит на Генриха долгим пристальным взглядом:

– Без сомнения.

– У нас есть во Франции люди, которым мы платим, однако они продадут нас за полпенни. У нас мало друзей при обоих дворах. – Король закусывает губу. – Особенно у вас. У вас, Кромвель, мало друзей.

– Если я навлек на себя их злобу, то считаю себя счастливцем. Ибо все это ради вашего величества.

– Вы уверены? – с деланым любопытством спрашивает Генрих. – А я думаю, дело в вашей натуре. Они не знают, с какого бока к вам подступиться.

– Вероятно, да. Ваше величество, – говорит он, – поймите, они хотят меня сместить, дабы лишить вас доброго совета. Потому-то и клевещут вам на меня. Рассказывают самые дикие небылицы.

– Так если мне сообщают, что вы превысили полномочия, или не исполнили моих повелений, или поступили вопреки им, вы советуете мне оставить этот слух без внимания.

– Прежде чем чему-либо поверить, поговорите со мной.

– Хорошо, – отвечает Генрих.

Он встает. Волнение не дает усидеть на месте. Это на него не похоже. Обычно он в силах изобразить спокойствие, даже если король, как сегодня, угрюм и раздражен.

Генрих говорит:

– Знаете, мне кажется, вы так меня и не простили. За то, что я расстался с Вулси.

Расстался? Боже милостивый.

– Я думаю, вы вините меня в его смерти.

Он подходит к окну. В парке деревья сочетаются браком с темнотой. Не различишь, где кончается дождь и начинаются тени.

– Мы подбиваем предварительные счета по Вестминстерскому аббатству, – говорит он. – В новом году они передадут имущество казне. Сейчас у Рича слишком много документов по передаче, иначе они не заставили бы ваше величество ждать.

Генрих говорит:

– Помните Джона Айслипа? К тому времени, как он стал аббатом, Вестминстер был в сильном упадке.

– На грани разорения, сэр. Впрочем, это было лет сорок назад.

Айслип проверил приходно-расходные книги и поднял плату арендаторам. Как только он заново отстроил гробницу Эдуарда Исповедника, доходы повысились.

– Айслип был умен, – говорит Генрих. – В детстве отец водил меня к нему, в его дом на Тотхилл-филдс. Дорога была ужасная – грязь у пруда, истоптанная скотом. Там рылись свиньи, валялись дохлые собаки и всякая падаль.

– Когда лопнули сточные трубы, сэр, стало еще хуже. Но сейчас я там все осушил.

Кто, если не Кромвель? Ваш попечитель речушек и сточных канав, кладбищ и мусорных свалок.

– А когда он умер, – продолжает Генрих, – помните, как его хоронили? Это было скорее триумфальное шествие, чем похороны. По Уиллоу-уок с развевающимися флагами. Процессия поющих монахов. Никогда не видел такого облака благовоний, стены аббатства как будто таяли. И поминальный пир. Вы знаете, что минуло всего шесть лет? А кажется – целая жизнь.

Когда в прошлом сентябре умер Стоксли, мы завесили церкви черным, все церемонии были соблюдены. Однако Айслип умер в католической стране.

Генрих говорит:

– Отец хотел, чтобы Гарри Седьмого канонизировали, и это тоже обогатило бы аббатство. Однако когда узнал, сколько запросил Ватикан, то долго чертыхался.

– Ненасытная алчность Ватикана превосходит воображение. – Он предпочел бы сказать что-нибудь менее избитое, но говорит королю то, что тот желает услышать.

– Отец посылал Айслипу вино, – вспоминает Генрих. – А монахи в ответ присылали пудинг из костного мозга. Думаю, отец ел его в бытность бедным изгнанником. Любимое кушанье у него было.

– У моего отца тоже, – говорит он и сам удивляется, что вспомнил.

– Такой пудинг можно купить за пенни. – Генрих улыбается. – Нашим отцам легко было потрафить.

– Погляди сейчас Господь с небес, что бы Он увидел? Двое стареющих мужчин говорят в сумерках о прошлом, потому что у них его так много. – Ему хочется потянуть эти мгновения. Однако скоро принесут свечи.

Генрих говорит:

– Том, много времени прошло с тех пор, как я вас впервые увидел.

– Больше десяти лет, – соглашается он. – С тех пор я получил привилегию бывать в вашем обществе…

– Почти ежедневно? – говорит Генрих. – Да, почти ежедневно. Помню… я знал вас в лицо, но помню наш первый разговор. Суффолк не знал, что о вас думать. А я знал. Видел ваши маленькие проницательные глаза. Вы сказали мне не начинать войну. Никогда не воюйте, сказали вы, вам это не по карману. Сидите дома, как больной ребенок, это будет на пользу казне. И я подумал… клянусь святым Элигием, смелости этому малому не занимать.

– Надеюсь, вы не обиделись.

– Обиделся. Но преодолел это чувство.

Королевский голос все слабее, как и гаснущий свет.

– Айслип был другом Вулси. Так что я сделал его моим советником, хотя сам расположения к нему не питал. У него был нюх на ереси. Вулси посылал его к вашим друзьям, ганзейским купцам. В Стил-ярд.

Король проводит рукой по лицу, будто смахивает Айслипа, аббатство, еретиков, их логово.

– Я обиделся, но простил вас. Так должно поступать правителю. За десять лет я очень сильно изменился. Вы – не очень сильно. Вы не изумляете меня, как прежде. Вряд ли вы сумеете меня удивить, памятуя, что вы сказали и сделали за это время, а я не стану отрицать, Том, что вы свернули горы. Вы работаете за десятерых обычных людей. Но мне все равно недостает кардинала Йоркского.

Выходя, он чувствует, как бьется жилка на шее. Ризли ждет у дверей.

– Генрих от меня устал, – говорит он весело. – И не скрывает этого. Призрак кардинала меня обставил.

Зовите-меня говорит:

– Я гадал, что там происходит, в потемках. Он дал кардиналу шанс материализоваться?

В гробовых пеленах. С черепом, закутанным в саван. Мертвые преданнее живых. К добру или к худу, они тебя не бросят. Даже в самую долгую ночь они с тобой до утра.

Невесту задержали в Кале противные ветра, и они коротают время за турнирами, переездами из дома в дом, масками и спектаклями. Неподалеку от Булони разбилось купеческое судно, груз – шерсть и кастильское мыло – выбросило на берег. Он воображает, как пенится океан, пузырясь на гребнях волн. Дай Бог Анне добраться поскорее; король не находит себе места. Фицуильям шлет ему таблицу приливов. Кардинал, желчно замечает он, уже повелел бы ветрам задуть в нужную сторону.

Все, кто видел новую королеву, от нее в восторге. Леди Лайл пишет своей дочери Энн Бассет, одной из новых фрейлин; Энн с низким реверансом вручает письмо королю.

Король читает вслух:

– «Служить и угождать ей легко и приятно». Что может быть лучше? У вас будет ласковая госпожа, у меня – ласковая подруга.

Энн краснеет. Слово «подруга» показалось ей нескромным. Быть может, ей неприятно думать о короле в постели. Как все изменилось! Десять лет назад она бы запрыгнула к нему под одеяло.

В Кале Анна живет в покоях королевы. Фицуильям пишет, что она пригласила английских лордов на ужин. Анна привыкла трапезничать на людях и не знает, что английские короли отказались от этого обычая. Однако намерения у нее добрые – увидеть новых соотечественников за столом и узнать их обычаи. Держится она царственно, сообщает Фицуильям. Они с Грегори час учили ее любимым карточным играм короля. Мысль ее собственная, удачная.

Ветер меняется. Двадцать седьмого декабря Анна высаживается в Диле, ночью под дождем. Ее везут к берегу на лодке – принцесса является из моря. Из Дила она поедет в Дувр, затем из Кентербери в Рочестер и на первой неделе нового года въедет в Лондон с востока. Король встретит ее в Блэкхите, проводит в Гринвичский дворец, и они сочетаются в Двенадцатую ночь.

III

Величие

Январь – июнь 1540 г.

В Диле, в новом замке короля, королева умоется с дороги и укрепит силы кубком вина перед путешествием в Дувр. Ее сопровождают Чарльз Брэндон и Ричард Сэмпсон, епископ Чичестерский, молчаливый прелат, которому не впервой заключать и расторгать королевские браки.

Брэндон взял с собой молодую жену. Она милая, живая – хорошо, что смущенную невесту встретит улыбчивая юная герцогиня, которая будет угадывать ее желания. Чарльзу невдомек, что нужно женщине, епископу Сэмпсону тем более. Зато Чарльз, старый вояка, выглядит внушительно, а Сэмпсон сядет в уголке и займется бумагами.

В Дувре Анну нагонит ее багаж. На следующий день она – вместе с капелланами, секретарями, музыкантами и фрейлинами – двинется в Кентербери, где ее встретит архиепископ. Ей нужны будут деньги на личные расходы, и он, Кромвель, передал для нее золотую чашу с пятьюдесятью соверенами. В Рочестер ее сопроводит Норфолк с большой свитой джентльменов. Встреча с епископом Винчестерским не предусмотрена. Это испытание повременит. Как говорят молодые люди лорда Кромвеля, она бы с перепугу бросилась обратно в морские волны.

Погода ужасная, однако невесту не укачало в море, и она готова ехать навстречу ветру и граду. Церемониймейстеры вздыхают с облегчением: они готовят большой прием в Блэкхите, на подъезде к Гринвичскому дворцу, и если Анна опоздает, это повлечет большие расходы. Он, лорд Кромвель, ждет, что соберется вся округа. По его приказу улицы Гринвича очистили от мусора и посыпали гравием, а вдоль берега поставили ограду, чтобы зеваки не сталкивали друг друга в Темзу.

Всю зиму в Остин-фрайарз он запасал мускатель и мальвазию для торжества. В пекарне готовят штрицели для Анны и ее фрейлин, дом благоухает гвоздикой, корицей и апельсиновой цедрой. Когда жива была Лиззи, в Двенадцатую ночь они угощали соседей. Разыгрывали поклонение волхвов; наряды трех восточных царей расшивали лоскутками парчи, обрезками, которые самый бережливый портной не сумел бы пустить в ход. Все женщины, от мала до велика, садились за шитье, а Лиззи, орудуя иголкой, подбадривала их шутками. Один год Энн Кромвель была кошкой с хвостом из кроличьего меха, а Грегори – рыбой в серебряной чешуе и поблескивал в зимних сумерках.

Он гадает, как там его дочь Женнеке и когда он снова ее увидит. Не говорит себе «увидит ли», потому что склонен верить в удачу. Странно думать, что Лиззи так с ней и не познакомилась. Она бы приняла его незаконную дочь, поскольку знала, что выходит за человека с прошлым.

Много лет минуло с тех пор, как женщины обрядили его дочерей для погребения. Он давно привык к той стесненности в груди, которую ощущает в праздники: на Пасху, в Иванов день, Петров день, Михайлов день, Дни Всех Душ и Всех Святых.

Тысяча пятьсот тридцать девятый год близится к завершению. Идя в Гринвич с кипой документов, он рассчитывает застать короля за игрой на арфе, или за раздумьями о том, что ему подарят на Новый год, или за складыванием дротиков из бумаги, но в любом случае неготового к серьезным делам. Однако в личных покоях суета, и молодой Калпепер выходит со словами:

– Ни за что не угадаете, сэр! Его величество едет в Рочестер встречать королеву!

Он сует Калпеперу бумаги:

– Ризли, идите со мной.

Генрих, нагнувшись, смотрит в сундук, присланный из гардеробной. Выпрямляется, говорит весело:

– Милорд, я решил поспешить и самолично встретить невесту.

– Зачем, сэр? До ее приезда всего день-два.

Генрих отвечает:

– Я хочу подогреть любовь.

– Ваше величество, – говорит мастер Ризли. – Со всем почтением, разве это не обсудили на совете? Ваши советники горячо молили ваше величество избавить себя от тягот пути и встретить невесту в Блэкхите. И вам угодно было согласиться.

– Ризли, разве я не могу изменить решение? В Блэкхите будут музыка, пушечный салют, шествия и толпы, мы не успеем словом перемолвиться, как надо будет скакать сюда, а здесь пройдут часы, прежде чем мы окажемся наедине. Я хочу явиться нежданно, обрадовать ее и приветствовать как следует.

– Сэр, если вы послушаете моего совета… – начинает он.

– Не послушаю. Признайте, Кромвель, вы ничего не смыслите в ухаживаниях.

Да. Он был женат всего один раз.

– Сэр, она только что с корабля. Вообразите, как стыдно ей будет предстать перед вами неприбранной, в дорожном платье.

Мастер Ризли добавляет:

– И разумеется, она может оробеть при виде вашего величества.

– Потому-то мне и надо ехать! Я избавлю ее от волнений. Она готовится к пышной церемонии. – Генрих улыбается. – Я поеду переодетым.

Он закрывает глаза.

– Так поступают короли, – объясняет ему Генрих. – Вам неоткуда знать, Кромвель, вы не придворный от рождения. Когда моя сестра Маргарита выходила замуж в Шотландию, король Яков и его охотничья свита встретили ее в Далкитском замке. Жених был в куртке алого бархата, с лирой за плечом.

Он об этом наслышан. Молодой удалец с горящим взором преклоняет колено, невеста, тринадцати весен от роду, заливается стыдливым румянцем и трепещет всем телом.

Мастер Ризли говорит:

– Дозволено ли мне спросить, кем ваше величество желает нарядиться?

Они переглядываются. Когда королевой была Екатерина, ее вечно подстерегал Робин Гуд или аркадские пастушки. Затем они сбрасывали маскарад, и – гляньте-ка! Это король и Чарльз Брэндон; Чарльз Брэндон и король.

– У меня для нее соболя, – говорит Генрих. – Может, мне нарядиться русским купцом в огромных меховых сапогах?

Мастер Ризли говорит:

– Если не известить заранее, боюсь, ваше величество напугает собственную стражу. Это может привести к…

– Тогда пастухом. Или одним из волхвов. Мы легко найдем наряды для двух других. Пошлите за Чарльзом…

– Или, может быть, сэр, – говорит он, – вы поедете просто как джентльмен?

– Английский джентльмен, – задумчиво произносит Генрих. – Безымянный. Да, – он опускает взор, – очень хорошо, я исполню волю лорда Кромвеля, раз уж иностранцы говорят, что он мною правит.

И король, чуть помолчав, добавляет благодушно:

– Да, милорд, я помню, что мы уговаривались о другом. Однако у жениха могут быть причуды, а маскарад – это всегда весело. Вдовствующая принцесса Екатерина, – обращается он к Ризли, – притворялась, будто не узнает меня. Разумеется, она мне подыгрывала. Короля узнают все.

Томас Калпепер выходит следом за ними:

– Ваши бумаги, джентльмены?

Ризли забирает документы. Он, лорд Кромвель, идет прочь. Чертыхается.

Калпепер говорит:

– Вы сделали, что могли.

Он думает: я говорил с ним как подданный с государем. Что, если бы я набрался смелости и сказал: «Генрих, говорю с вами как мужчина с мужчиной, откажитесь от этой затеи»?

– Чего вы боитесь? – спрашивает Калпепер. – Все превозносят ее до небес. Вас тревожит, что его постигнет разочарование?

– Перестаньте тянуть меня за рукав.

Калпепер улыбается:

– Она так точно увидит не того, кого ей обещали. Мы сознаем, что вы слегка приукрасили факты, лорд Кромвель, однако, надеюсь, вы не расписывали его как бога? Ждет ли она Аполлона?

– Она ждет официальной придворной встречи. К этому ее готовили. – Он поворачивается к Ризли. – Срочно пошлите кого-нибудь в Рочестер, пусть ее предупредят. Король отправится по реке с небольшой свитой. Анне следует быть готовой. Никаких герольдов, никаких церемоний – он войдет в ее покои, и она должна изумиться.

– Так вы испортите ему неожиданность? – смеется Калпепер. – Ей следует сперва не узнать его, потом узнать? Ее счастье, если она сумеет сыграть правильно.

– Следовало ли мне настоять, что я поеду с ним? – спрашивает он Ризли.

Зовите-меня отвечает:

– Все могло быть еще хуже, сэр. По крайней мере, он не нарядится турком.

Генрих намерен присоединиться к королеве на Новый год и остаться в Рочестере на ночь; даже если король отрядит гонца с известием, как она ему понравилась, тот будет скакать в Гринвич много часов.

Он заключает, что в Остин-фрайарз новость доберется немногим позже, поэтому отправляется домой – встретить тысяча пятьсот сороковой год под собственной крышей.

За стол садится рано, убеждая себя, что получил в распоряжение лишний день, однако отодвигает стопку писем из Кале, берет книгу. Это Ролевинк, история, где все даты до Рождества Христова напечатаны вверх ногами. Ее прислал отец Джейн Рочфорд, который никогда не позволит тебе просто читать, пишет: «Mirabilia!»[66] – рядом с каждым особо понравившимся местом.

Он листает страницы, разглядывает картинки: Антиох, Иерусалим, храм Соломона, Вавилонская башня. Ролевинк начинает историю с 6615 года (вверх ногами). Читает про интронизацию папы Иннокентия, которая произошла более или менее в год его рождения. Тут в дверь с лаем влетает спаниель Белла. Снизу доносится: «С Новым годом, мастер Грегори!»

Белла носится кругами. Он кричит:

– Грегори! Зачем ты приехал?

Грегори врывается в кабинет и, не поздоровавшись, говорит:

– Как вы могли такое позволить? Почему не остановили его?

– Остановить его? – говорит он. – Как? Он сказал, что хочет подогреть любовь.

– Вы должны были это предотвратить. Вы его советник.

– Грегори, вот, выпей, согрейся. Я думал, ты с королевой.

– Я приехал вас предупредить. Генрих провел там ночь, теперь скачет обратно.

Один из мальчишек Терстона вносит тарелку пирогов и сдергивает с нее салфетку:

– Мясо и смородинное желе. Щука и редис. Изюм и сливы.

– Видишь, зачем я вернулся домой, – говорит он. – При дворе еду тебе несут полмили, и она успевает остыть.

Другой мальчишка вносит чашу с теплой водой и полотенце. Грегори вынужден молчать, пока они вновь не остаются одни. Белла встает на задние лапы, требует внимания. Он вспоминает сцены, которые разыгрывал с Джорджем Кавендишем, приближенным кардинала. Тогда он говорил: «Покажите мне, как это было, Джордж, кто где сидел, кто заговорил первым». И Кавендиш изображал короля.

Он может мысленно нарисовать помещение, где встретились жених и невеста: старый зал в Рочестере, огромный камин с резными эмблемами – папоротник, сердце, валлийский дракон с шаром. Может войти вслед за королем и его веселыми спутниками; они неплотно прижимают маски к лицу, потому что уверены – их узнают через секунду. И впрямь, когда они проходят, слуги новой королевы преклоняют колени.

– Анну предупредили? – спрашивает он. – Она была готова?

– Ее предупредили, но она была не готова. Король ввалился, но она смотрела в окно – во дворе травили быка. Она бросила взгляд через плечо и тут же вновь отвернулась.

Он видит сцену глазами Грегори. Массивная фигура короля заслоняет свет. Туманное очертание королевы на фоне окна: простой овал лица, быстрый взгляд черных глаз и в следующий миг – ее затылок.

– Думаю, она не поверила, что государь может приехать тайно. Может, герцог Вильгельм везде ходит с трубачами и барабанщиками.

Даже чтобы подогреть любовь. Говорят, император предложил Аннину брату герцогиню Кристину, если тот без боя вернет Гельдерн. Он думает, будь я герцогом Клевским, я бы не отдал мое морское побережье за ее ямочки на щеках.

– Король низко поклонился, – Грегори отпивает вина, – и заговорил с ней, но она не обернулась. Думаю, она приняла его… не знаю… за какого-то весельчака, нарядившегося к празднику. Так что он стоял, со шляпой в руке… тут вбежали ее дамы, одна дама крикнула: «Мадам!» – и еще что-то, чтобы ее предупредить… – Голос у Грегори дрожит. – И тогда она обернулась. И поняла, кто он. И, Господь мой Спаситель, надо было видеть ее взгляд! Я

его никогда не забуду. – Грегори падает на стул, как будто ноги больше его не держат. – И король тоже.

Он берет Беллу на руки, скармливает ей пирог, кусочек за кусочком.

– Почему она изумилась? Я ее не обманывал.

– Вы не сказали ей, что он старик.

– Я старик? Это ты вспомнишь первым, если станешь описывать Кромвеля? «Ой, он старик».

– Нет, – нехотя признает Грегори.

– Она знала, когда он родился. Знала, что он дороден. Довольно придворных ее брата побывали у нас. И Ганс. Ганс мог ей его описать. Кто сумел бы лучше?

– Но Ганс не стал бы этого делать.

Верно.

– И что король?

– Попятился. Как будто его ударили. Она отшатнулась от него. Он не мог этого не заметить.

– И?

– Тут она взяла себя в руки. Притворилась исключительно хорошо. Он тоже. Она сказала по-английски: «Добро пожаловать, мой король и повелитель».

Это королю следовало говорить: «Добро пожаловать».

– Продолжай.

– Она присела в реверансе, очень низко, как будто ничего не произошло. И король с улыбкой ее поднял. Сказал: «Добро пожаловать, милая».

Это и значит быть монархом, думает он.

Грегори добавляет:

– Его рука дрожала.

В его воображаемом рочестерском зале смеркается. Под окном беззвучно орут участники травли. Собаки висят, вцепившись зубами в бычий бок. Кровь медленно капает на булыжники.

– А королевские джентльмены. Что они?

На самом деле он спрашивает: они видели?

Антони Брауни был позади, нес соболиные меха для королевы. Однако Генрих знаком велел ему отойти. Он смотрел даме в лицо и все время говорил.

– Грегори, – спрашивает он, – честно ли Ганс ее написал?

– Он не посмел бы написать ее нечестно.

– И она красива?

– Сбоку – нет. У нее нос длинный. Но у Ганса не было времени писать ее со всех сторон. Она миловидная. Лицо чуть рябое от оспы, но я это заметил лишь раз, на ярком солнце. Король не мог этого видеть, он отвернулся.

Значит, она миловидна в сумерках. И когда смотрит прямо на тебя.

Его почти разбирает смех.

– Он разочарован?

– Если и разочарован, то не показал этого. Взял ее под руку, они отошли в сторонку и сели с переводчиками. Он спросил, нравится ли ей Англия, она ответила, очень нравится. Он спросил, как ее принимали в Кале, она ответила, принимали очень хорошо. Он поздравил ее с тем, как мужественно она перенесла путешествие, и спросил, бывала ли она прежде в море. Когда ей перевели, она растерялась.

Он представляет короля. Как тот потеет от натуги, ищет глазами, на что бы перевести разговор.

– Король потребовал музыки. Музыканты заиграли «Пусть белая прекрасная рука исцелит мои печали». Она слушала очень мило, потом сказала, через переводчика, что хотела бы научиться играть на каком-нибудь инструменте. Король сказал, в юности учиться проще. Она ответила, я еще не так стара и пальцы у меня ловкие от вышивания. Король спросил, умеет ли она петь, она ответила, умею петь хвалебную песнь Богородице и святым. Он спросил, не споет ли она, она сказала, при лордах не буду, но спою вам наедине. И покраснела.

– Весьма уместная скромность, – говорит он. Вспоминает Анну Болейн: та запела бы на улице, лишь бы привлечь к себе внимание.

– Мы говорим, что любим скромниц. – Грегори берет пирог, и Белла трогает лапой его колени. – Однако на самом деле нам нравятся девицы, не скрывающие свою приязнь. Прежде чем начать ухаживать, мы хотим знать, что нас примут благосклонно. Я бы не посмел заговорить с Бесс, если бы вы с Эдвардом Сеймуром мне не помогли. Если мы боимся, что женщина нас презирает, то будем ее избегать.

А когда мы решаем к ней подступиться, думает он, то не хотим увидеть ужаса на ее лице.

– Так ты думаешь, ущерб непоправим?

– Не знаю, как ей исправить то первое мгновение, будь она хоть царица Савская. – Грегори откусывает пирог. Белла с обожанием приникает к его ноге. – Они сели ужинать. Она была очень внимательна, ловила каждое его слово. Начало получилось неудачное, но, притом что никто не может с ней говорить, мне она очень понравилась, да и всем остальным тоже. Фицуильям сказал, король не нашел бы никого лучше, прочеши он хоть всю Европу.

– Он всю Европу и прочесал. Я, вернее. Что ж… он подумает и поймет, что она просто напугалась от неожиданности. И, как ты говоришь, потом у них все было хорошо. – Его взгляд падает на книгу лорда Морли. – Нам надо отмотать время назад. Как будто король моргнул и прожил то мгновение заново.

Грегори говорит:

– Но разве время можно отмотать?

По мере того, как исчезают пироги, проступает рисунок блюда. Fatto in Venezia[67], оно изображает гибель Трои: деревянный конь, вопящие женщины, запрокинутые головы, башни, охваченные огнем.

Удивительно, как они столько всего там уместили.

Он приезжает в Гринвич почти сразу после короля.

– Милорд, его величество в библиотеке.

Генрих сидит между ящиками книг.

– Это из аббатства Тьюксбери. – Король тяжело поднимается с кресла. – Кромвель, документов о помолвке с Лотарингией так и нет. Мне твердо обещали, что дама привезет их с собой, но она не привезла. Даже наименее подозрительный человек спросил бы себя, отчего их по-прежнему скрывают.

Он начинает говорить, но король поднимает руку:

– Я не могу двигаться дальше. Я не могу на ней жениться, пока не буду знать наверняка, что она свободна от любых прежних обязательств.

Король стискивает ладонью сжатый кулак:

– Дама вовсе не так хороша, как ее описывали. Фицуильям из Кале превозносил ее до небес. Лайл тоже. Отчего?

– Я не видел ее, сэр.

– Да, вы ее не видели, – говорит король. – Вы, как и я, полагались на чужие слова, так что винить вас не в чем. Однако скажу вам: когда я вчера ее увидел, то еле сумел взять себя в руки. Огромный диковинный чепец с крыльями по бокам… при ее росте и фигуре, мне показалось, будто передо мной Майский столб. И она накрасила губы, что воистину мерзостно.

– Чепец можно сменить, сэр.

– У нее желтый цвет лица. Я вспоминаю Джейн, белую, как жемчужина.

Золотистый свет волнами пробегает по потолку, по алым лепным розам, зеленым листьям, кровавым шипам.

– Это с дороги. Утомительное многомильное путешествие с обозом, ожидание погоды, затем качка на корабле. – Он думает про град в лицо по пути из Дувра. – Что до бумаг, ума не приложу, отчего послы их не привезли. Однако нас заверили, что дама свободна. Мы знаем, что брачного договора не было. Мы знаем, что стороны были малолетними. Вы сами говорили, сэр, что это не важно.

– Очень важно, если я думаю, что женат, а окажется, что нет.

– Завтра, – обещает он, – я поговорю с людьми королевы.

– Завтра я встречаю ее в Блэкхите, – говорит король. – Выезжаем в восемь.

Сорок лет прошло с тех пор, как здесь встречали невесту из далеких краев: инфанту Каталину, которая привезла с собой из Испании мавританских рабынь. Ее свадьба с Артуром была пышной и публичной. На сей раз брачные торжества должны уступить место церковному празднованию Крещения. А значит, все зависит от публичной встречи, которую он для Анны подготовил.

В Гринвиче он лежит без сна, слушает ветер.

За что один лежу всю ночь?

Вздыхаю, плачу, спать невмочь,

Моя постель гранит точь-в-точь.

За что мне это?

Он гадает, где-то сейчас Уайетт. Уж точно тот сейчас не один.

От горьких жалоб изнемог,

Свалялись простыни в комок.

За что мне это?

Только буря отменит завтрашнюю встречу. Король может отложить свадьбу, но не может оставить невесту за порогом. Не может обмануть ожидания людей, когда герольды уже раструбили о церемонии по всему Лондону.

Трижды он встает и открывает ставни. Ничего не видно, кроме глухой беззвездной тьмы. Однако перестук дождя затихает, заря расцвечивает небо охристыми полосами, солнце на ощупь выбирается из-за облачной гряды. К девяти утра, когда он верхом въезжает в Блэкхит, на полях лежит белая дымка; в этой дымке свободный народ Англии. От реки, где собрались сотни на самых разных лодках и лодчонках, доносится рев голосов, самодельные флаги поникли в недвижном воздухе. Горожане, украшенные вязаными розами, бьют в барабаны, дудят в дудки, горланят песни. Некоторые бредут по берегу в картонных замках, головы торчат над зубцами, другие изготовили из парусины исполинского лебедя, который поворачивает шею из стороны в сторону и вышагивает на десятке пар ног в рабочих башмаках, еле видных под его перьями. Звенят колокольчики на упряжи. Люди и лошади выдыхают облачка пара. Он обливается потом под бархатной одеждой и злится даже на самого себя, разъезжая на лошади взад-вперед и раздавая ненужные указания: встаньте здесь, пройдите туда, опуститесь на колени!

Чарльз Брэндон приподнимает шляпу:

– Погода делает вам честь, лорд Кромвель!

Затем пришпоривает лошадь и скачет к другим герцогам.

Капелланы, советники, высшие сановники двора выстраиваются рядами: джентльмены личных покоев, епископы в лиловом атласе, пэры, лорд-мэр, герольды, герцог Баварский с орденской цепью Золотого руна, сам король на могучем жеребце, в парче и пурпуре, одежда в разрезах и буфах, подбита и подложена, украшена полосами драгоценных камней так плотно, будто Генрих в доспехах, выкованных для Зевса.

Королева ждет в шелковом шатре. Он молится, чтобы ветер не поднялся и не сдул шатер в реку. Анна одета по лучшей моде своей страны, чепец венчает шапочка, плотно расшитая жемчугами, платье понизу круглое, без шлейфа. Она сверкает, когда ее усаживают на лошадь, в дамское седло, лицом налево, как принято в Англии. Никто не знал, чего ждать от немки. Испанские дамы сидят на лошади лицом вправо. Лорд-канцлер говорит, удачно, что она не напомнит ему испанку. Он сухо замечает:

– Удача тут ни при чем, милорд. Я поговорил с ее шталмейстером.

К полудню – барабаны, пушки, несколько переодеваний – небо темнеет, воздух становится сырым и зеленым. Подъезжает на лошади Гардинер:

– Как вы сумели оттянуть дождь?

– Я продал душу, – спокойно отвечает он.

– Я слышал, в Рочестере он был неприятно удивлен.

– Вы знаете больше меня.

– Да. Хорошо, что вы это наконец признали. – Гардинер, усмехнувшись, едет прочь.

Французский посол останавливает лошадь рядом с ним:

– Кремюэль, я в жизни не видел в одном месте столько толстых золотых цепей. Поздравляю, нелегко собрать и выстроить пять тысяч человек. Хотя, честно сказать… – посол хмыкает, – в целом это не сравнится даже с обычным церемониальным выездом моего короля. А их у него бывает десятка два в год.

– Правда? – удивляется он. – Двадцать таких торжеств? Немудрено, что ему некогда править.

Лошадь под Марильяком переступает ногами.

– Что вы думаете о даме? Она не так молода, как ожидали.

– Не хочу противоречить вам, но ей ровно столько лет, сколько ожидали.

– Она очень высокая.

– Король тоже.

– Верно. Потому-то он хотел жениться на мадам де Лонгвиль, не так ли? Жаль, что он так и не добился своего. Я слышал, весной она подарит королю Якову ребенка.

Он говорит:

– Мы все рассчитываем, что эта дама родит королю много детей.

– Конечно. Если сможет разбудить в нем желание. Будем честны, она не великая красавица.

Он признается:

– Я еще ее толком не видел.

Как будто все сговорились не подпускать его к Анне. Он видит лишь прямую, яркую фигуру вроде раскрашенной королевы на кабацкой вывеске. Она проехала навстречу королю с полмили, лошади под обоими в таких роскошных попонах, что почти не видно копыт. За королевой едет Мег Дуглас, потом Мэри Фицрой, следом – придворные дамы в веренице экипажей. На жене Грегори – годовые доходы от двух поместий, но ему это в радость. Впервые за долгие годы ему есть кого наряжать, и он говорит Марильяку:

– Посмотрите на жену моего сына, разве не красавица?

– Она делает вам честь. – Марильяк указывает хлыстом: это ведь шотландская принцесса? А за ней дочь Норфолка, миледи Ричмонд? – Нового мужа ей еще не нашли?

В прошлом году поговаривали о ее браке с Томом Сеймуром, но ничего из этого не вышло. Ее брат не одобрил жениха. В глазах Суррея Вулфхолл – свиной хлев, а Сеймуры – крестьяне, живущие охотой на кроликов.

Он гадает, что Марильяку до дочери Норфолка? Присмотрел ли он ей мужа-француза? Французы платят Норфолку пенсион, но, может, не прочь с ним еще и породниться?

Бесс глядит в его сторону. Он поднимает руку – медленно, чтобы не подумали, будто он дает сигнал к какому-то демаршу. В следующей карете едут фрейлины: дочь леди Лайл Энн Бассет, Мэри Норрис (она, кажется, замерзла) и пухленькая племянница Норфолка Кэтрин – эта пялится вокруг, как в церкви.

Дорогу расчистили, чтобы король и королева подъехали прямо к воротам дворца. Они вместе въезжают во внутренний двор. Здесь спешиваются, и король под руку ведет невесту во дворец. Шляпа с огромным плюмажем у короля в руке, и он делает широкий жест: все это ваше, мадам, все, что вы видите. Музыка с реки сопровождает их и затихает лишь тогда, когда он, лорд Кромвель, проходит за ними в зал, где уже зажгли приветственные факелы.

Тут он впервые видит ее вблизи. Он заранее напрягся, придал лицу нейтральное выражение. Однако пугаться нечему. Совсем наоборот: у него такое чувство, будто они знакомы. Да, цвет лица у нее не очень, но, как сказал Грегори, она миловидная; такая женщина могла бы выйти за кого-нибудь из твоих друзей-купцов. Можно вообразить, как она ногой качает колыбель, обсуждая, почем на рынке свинина.

Она смотрит на него:

– Вы – лорд Кромвель. Спасибо вам за пятьдесят соверенов.

Одна из дам что-то говорит ей в ухо, и она добавляет:

– Спасибо вам за все.

Воскресное утро. Он сообщает представителям Клеве, что жених хочет отложить свадьбу. Они в растерянности и недоумении:

– Лорд Кромвель, мы считали, что вопрос решен. Мы предоставили копии всех нужных документов.

Он держится сухо и вежливо: не хочет показать, что он в таком же ужасе, как и они.

– Король требует оригиналы.

Мы объясняли много раз, говорят они, что не знаем, где оригиналы. Помолвка входила в более общий договор, который много раз менялся, и потому…

– Советую вам их добыть. – Он садится и, хотя время еще раннее, жестом требует кувшин вина. – Господа, в ваших силах устранить это препятствие.

Не все гости из Клеве хорошо понимают по-французски. Они тычут друг друга в бок: что он сказал?

– Позвольте сослаться на прецедент. Когда королева Екатерина… я хотел сказал сказать, покойная Екатерина, вдовствующая принцесса Уэльская…

Да, говорят они, первая жена Генриха…

– …когда ее мать Изабелла выходила за ее отца Фердинанда, потребовалась диспенсация от папы, но документ задержался…

Да, мы понимаем, говорят они. Рим вытягивал еще деньги, ведь так?

– Однако все остальное было готово, и приближенные Фердинанда изготовили все, что требовалось, включая папские печати.

Так что вы советуете, спрашивают они.

– Я не смею советовать. Но сделайте все, чтобы удовлетворить желания короля. Поищите в своих вещах. Загляните между страницами ваших Библий.

Нам нужно посовещаться, отвечают они.

– Поспешите, – говорит, входя, Уильям Фицуильям.

О да, мы поспешим, обещают они. Промедление губительно для всех. Пойдут слухи. Вообразите, что скажут французы, какую ложь начнут сеять люди императора. Скажут, она ему не понравилась. Или что она, увидев, какой он старый и грузный, отказалась за него выходить.

– После обеда вы можете прийти в совет, – говорит он, – и объяснить, как опасны такие слухи. Король присоединится к нам, когда они с королевой придут от мессы.

Они с Фицем идут в залу совета. Фиц дергает его за рукав:

– Ничего уже нельзя поправить? Генрих кипит. Я его знаю.

Да, думает он, вы его знаете. Он вышвырнул вас из совета, сорвал с вас цепь. Ваше счастье, что королевский гнев смягчился, вернее, что я его смягчил.

– Бумаги не более чем предлог, – говорит Фицуильям. – Она ему не понравилась, или он ее боится, не знаю. Но запомните, Кромвель, я не хочу нести вину лишь потому, что ездил за ней в Кале.

– Никто не сваливает вину на вас. Если кто тут и виноват, то он сам. Что помчался к ней сломя голову, будто пылкий юнец.

Советники уже собрались. Кранмер сидит, словно обессилел, начинает подниматься и снова падает на стул. Епископ Даремский наклоняет голову:

– Милорд хранитель малой печати.

Тон благоговейный, будто епископ что-то освящает или держит в руках нечто хрупкое, готовое рассыпаться.

Он кивает:

– Ваше преподобие.

Тунстоллу известно, что хранитель малой печати не первый месяц роет под него подкоп: выпытывает, что он делает в Дареме и во что по-настоящему верит. Так что последнее время епископ сидит с опаской, словно ждет, что из-под него выдернут стул.

Врывается Томас Говард. Глаза сверкают, как будто есть повод что-то отпраздновать.

– Итак, Кромвель. Я слышал, он хочет отвертеться.

Он садится, не дожидаясь, когда сядет герцог:

– Император и французский король вместе встречают Новый год. Так близки они на нашей памяти не были. Они подобны планетам, господа, их сближение притягивает море и сушу, определяет нашу судьбу. У них есть флот и деньги, чтобы на нас напасть. Наши форты еще недостроены. Ирландия против нас. Шотландия против нас. Чтобы устоять этой весной, нам нужен союз с немецкими государями – они либо пришлют людей на подмогу, либо будут отвлекать противника, пока мы его не разобьем или не заключим мир. Король должен на ней жениться. Этот брак нужен Англии.

Чарльз Брэндон обводит их скорбным взглядом:

– Он согласился. Он подписал договор. Он не может теперь увильнуть.

– Что случилось в Рочестере? – спрашивает Норфолк.

– Не знаю. Меня там не было.

Норфолк дергает носом:

– Что-то между ними произошло. Что-то ему не понравилось.

Лорд Одли говорит:

– Я согласен с милордом Суффолком. Король зашел слишком далеко и не может без очень веских оснований нарушить слово. Раньше он не сомневался, что она свободна. И, на мой взгляд, она достойная женщина.

– Быть может, вы не понимаете, что нужно монархам, – говорит Норфолк.

– Вот как? – Одли награждает герцога взглядом, который мог бы облупить яйцо. – Если она не удовлетворяет королевским требованиям, ваша светлость, моей вины тут нет.

– Кромвель считает, король должен винить самого себя, – говорит Фиц. – За то, что поскакал в Рочестер.

– Винить себя? – переспрашивает Тунстолл. – Король? С каких пор? Можно подумать, Кромвель с ним не знаком.

Он с тяжелым сердцем произносит:

– Возможно, я сумею отложить свадьбу.

– И какой от этого прок? – спрашивает Фиц.

Он думает, время может сгладить воспоминания о тягостной встрече. Генрих может забыть ее взгляд. Однако он не знает, видел ли это Фиц, и потому молчит.

Кранмер, добрый христианин, не говорит: «Я вас предупреждал», а произносит кротко:

– Я согласен с вашими доводами, милорды. Однако совесть короля не успокоится, пока он не увидит требуемые документы. Его обманывали в прошлом. Ему не следует вступать брак иначе как с полным душевным согласием.

Кранмер чересчур хорош для нашего грешного мира – забыл о собственных тревогах и думает только о Генрихе. Он обращается к архиепископу через голову Норфолка:

– Послы Клеве только что сделали мне предложение. Двое из них останутся в качестве поручителей, до тех пор пока не прибудут документы.

Норфолк говорит:

– Кормить их до Пасхи? Ну уж нет, клянусь мессой!

– Я не вижу в этом нужды, – говорит Кранмер. – Мы не сомневаемся, что в Клеве добросовестно все проверили. Я даже не сомневаюсь, что дама свободна. Однако мы должны учитывать сомнения короля.

Дверь открывается. Они преклоняют колени.

– Ну, – говорит Генрих, – что вы придумали, чтобы меня освободить?

– Ничего, сэр, – отвечает Кранмер.

– Что ж, по крайней мере честный ответ. Я уже начал подозревать, что мои советники не вполне честны, а друзья и союзники не вполне искренни. – Генрих поворачивается к Суффолку. – Чарльз, ты ведь был в Виндзоре в прошлом сентябре? Когда люди герцога Вильгельма клялись, что привезут документы целиком и полностью?

– Да, клялись, – отвечает Брэндон. – Иначе мы не подписали бы договор. Однако, – мягко продолжает герцог, – по-моему, дело сделано бесповоротно.

– Мы можем оттянуть свадьбу, – говорит Фиц. – Кромвель так считает. Хоть я не вижу смысла.

– Мне дурно служат, – говорит Генрих. – Можете встать, джентльмены, я не вижу смысла с вами заседать. Кромвель, прогуляйтесь со мной.

– Ну, теперь вы ее видели, – говорит Генрих. – Ведь я же был прав?

Он отвечает:

– Все согласны, что она очень милая дама. И мне представляется, что у нее царственные манеры.

Король фыркает:

– Мне судить, что царственное. – Берет себя в руки. – Насчет ее губ я, возможно, ошибся.

Свежие, как вишня. Алые от природы. Он решает не говорить этого вслух. Обнадеживает, что Генрих готов признать ошибку хотя бы в мелочи.

Другие советники отстали, но королевские стражники идут близко и вынуждены затворить уши.

Он осторожно произносит:

– Вы считаете, она не такая, как на портрете, сэр?

– Я не виню Ганса. Он нарисовал ее так хорошо, как мог, учитывая… – король прикладывает руку к груди, – броню. Она такая высокая и деревянная.

– Рост придает ей величия.

– Вы не разглядывали ее туфли? – спрашивает король. – Думаю, они на высоких подошвах. Скажите ее женщинам, у нас в домах навоза нет. Не знаю, зачем ей это.

Одежду и обувь можно сменить, говорит он, а король отвечает:

– Вы все мне это твердите. Но знай я заранее то, что знаю сейчас, она бы не вступила в мое королевство. Это вопрос…

Король качает головой. Похлопывает по одежде, как будто нащупывает сердце.

Понедельник, пятое января. Двое приближенных Анны, Олислегер и Гохштеден, приходят в его покои в северной половине дворца и торжественно клянутся, что Анна свободна от других брачных обязательств и не позднее чем через три месяца все нужные документы будет найдены. Их предложение остаться в Англии Генрих отверг, добавив, что свита Анны чересчур велика и они могут

забрать часть соотечественников с собой. Все видные свитские джентльмены, решившие уехать, получат на дорогу по сто фунтов.

Соглашение составлено, и они ставят свои подписи со стороны Англии: Кранмер, Одли, он сам, Фицуильям, епископ Тунстолл.

Кранмер с осунувшимся лицом идет в покои королевы, за ним переводчик несет Библию. В Библии, если заглянуть, есть картинка, на которой король раздает Писание народу. Подданные толпятся в нижней части страницы и кричат «Vivat Rex!» [68]и «Боже, храни короля!» – причем низшие сословия явно предпочитают английский.

Король хмуро смотрит на советников и удаляется в личные покои. Входят музыканты, настраивают инструменты, начинают играть.

Возвращается Кранмер, говорит, Анна без колебаний присягнула, что совершенно свободна от каких-либо брачных обязательств.

– Она сказала, что делает это с радостью, и, благодарение Богу, присягнула быстро и уверенно, чуть не вырвала книгу у меня из рук, так хотела угодить вашему величеству. Она желает сочетаться с вами браком без промедления.

Он думает, она боится родственников. Того, что те скажут, если ее отошлют назад.

Генрих стонет:

– Так ничего не исправить? Неужто я должен совать голову в ярмо?

Он правильно угадал, что по эту сторону Ла-Манша невеста получит новое имя. С корабля она сошла Анной, но здесь ее между собой называют Нэн, как ту, другую, будто у короля со всеми его сокровищами нет в запасе лишнего слога.

Утро вторника, дождь, заседание совета назначено на семь часов. Сам он обычно начинает работать в шесть, но сегодня велел не пускать просителей и приносить только срочные депеши из-за границы.

Мастер Ризли сидит на краешке стола, смотрит, как он облачается для свадьбы.

– Каких депеш вы ждете, сэр?

Кристоф надевает ему через голову рубаху.

– Я памятую, что император – вдовец. – Он просовывает голову в ворот. – Не исключаю, что на этой неделе он объявит о браке с француженкой.

Если это случится, то подогреет аппетит Генриха к молодой жене.

– Упаси бог! – восклицает Зовите-меня. – Там с императором Уайетт, его дело такого не допустить.

– Пусть похитит даму, – предлагает Кристоф. – Прочтет ей сонет. Покувыркается с ней в придорожной гостинице. Вернет императору порченый товар.

В королевских покоях советники говорят приглушенными голосами, словно у ложа умирающего.

Уильям Кингстон:

– Милорд, это же неправда? Будто наш король невзлюбил даму с первого взгляда?

Он подносит палец к губам. Он только что выписал Анне первую из дарственных грамот, которые в дальнейшем обеспечат ей доход. У нее будет свой двор, такой же, как у короля. Ее гофмейстер – граф Рэтленд. У нее будут прелаты и пажи, прачки и пирожники, виночерпии и хлебоносцы, лакеи и конюхи, счетоводы и землемеры. Когда прибудут представители Клеве, он намерен подробно это все изложить, потому что вчера они ясно видели недоброжелательство в каждом взгляде и жесте англичан. Он надеется, что не даст истолковать это как оскорбление, которое они передадут нашим союзникам.

Входит Фиц:

– Полагаю, нам по-прежнему нужны, как их, квасцы?

– Да, – отвечает он. – И друзья. Друзья нам нужны, как никогда прежде.

Осенью он говорил советникам, что квасцы добывать очень трудно. Нужно вгрызаться в недра гор, подпирая выработки крепями. Теперь он объясняет Фицу: нужны тяжелые молоты и железные кирки. Проще всего – пускать в дело взрывные устройства.

– Рудокопы называют их «патерностеры» – потому что, когда такое устройство взрывается, вы подпрыгиваете и кричите: «Боже Отче Вседержителю!»

Однако Фиц не слушает – ловит звуки из соседней комнаты.

Наконец выходит король в мантии золотой парчи, затканной серебряными цветами.

– Где милорд Эссекс? Он должен сопровождать невесту. Он опаздывает, что она подумает?

– Позвольте мне? – нехотя предлагает Фиц.

Король говорит:

– Это должен быть неженатый мужчина. По какому-то обычаю ее страны, который она непременно желает соблюсти. – Взгляд Генриха останавливается на нем. – Идите вы, лорд – хранитель печати.

– Я недостоин, – отвечает он.

Генрих говорит:

– Достойны, милорд, коли я так говорю.

Распахивается дверь. Прихрамывая, входит Генри Буршье – старый Эссекс. Озирается:

– Что такое?

– ВЫ ОПОЗДАЛИ! – орут придворные.

– Светает поздно, – говорит Эссекс. – Слуги полусонные, дорога заледенела, кто бы не опоздал? Зачем подвергать себя опасности?

– Нам желательно получить ее до того, как она выйдет из детородного возраста, – шепчет мастер Ризли. – Предпочтительно в ближайшие десять лет.

Эссекс озирается:

– За ней идет Кромвель? Ваше величество, она не оскорбится? Наверняка ей известно, что он когда-то был простым стригалем.

– Даже не стригалем, – отвечает он. – Я гонял на рынок гусей и щипал из них пух на теплые перины для графов.

– Ой, бросьте, – говорит Генрих. – Давайте быстрей, Кромвель, невелика важность, кто это сделает.

Джентльмены личных покоев в ужасе переглядываются.

– Сэр, – говорит Уильям Кингстон, – в таких случаях все важно.

Кто-то разумный по-прежнему держит дверь открытой. Эссекс, прихрамывая, выходит. Король поворачивается к нему, говорит с тихой злобой:

– Знайте, милорд, что, если бы не страх толкнуть ее брата в объятия императора, я бы ни за что на свете на это не пошел. – Поднимает голову. – Идемте, джентльмены.

Они степенным шагом идут к покоям принцессы, давая ей время прибыть первой; таковы монаршие порядки, король никогда никого не ждет. Кранмер стоит наготове с требником в руках, в полном архиепископском облачении:

– Где она?

Брэндон хохочет:

– Наверное, Эссекс помер по дороге!

Король делает вид, будто не слышит, держится торжественно, как пристало жениху: те никогда не слышат дружеских шуточек о счастье, которое ждет их в темноте. Поверх сверкающего платья на короле мантия темно-синего атласа,

опушенная мехом. Свет играет на складках. Губы движутся, словно читают молитву.

Появляется Анна. Платье у нее расшито цветами, как у короля, только не серебряными, а жемчужными. Белокурые волосы распущены и доходят до талии, венчик на голове оплетен розмарином. Она уже не похожа на жену бакалейщика. Это принцесса, чье детство прошло в высокой башне на скале, откуда видно на много миль.

Церемония простая и короткая. От нее требуется лишь стоять столбом и выглядеть бодрой. Спрашивая, знает ли кто-нибудь о препятствиях к браку, архиепископ озирается, словно предлагает выступить любому желающему. Все молчат. Кранмер кивает – как будто пригибается. Король приносит брачные обеты, затем, по жесту архиепископа, берет королеву за локоть и целует в щеку. Она неловко поворачивает голову; король, уворачиваясь от крыльев чепца, целует ее в другую щеку. Алые губки ждут поцелуя, но ничего не происходит.

Кранмер говорит, «Deo Gratias»[69], король с королевой выходят под руку. Звучат фанфары. Придворные кричат: «Gaudete!» [70]Советники вслед за новобрачными отправляются на пир.

Вопреки обыкновению, он не замечает, что ест. Обычно после такого парадного обеда королевские советники собираются в уголке и беседуют об охоте, но сегодня, когда начинает играть музыка, герцог Норфолк идет танцевать со своей племянницей Кэтрин.

Фиц мрачно на них смотрит:

– Полагаю, стоило встать с постели, чтобы такое увидеть?

– Вы не будете танцевать, лорд Кромвель? – спрашивает Калпепер. – Если можно милорду Норфолку, то можно и вам.

Мастер Ризли отвечает:

– Только если появится леди Латимер. Тогда милорд начнет выкидывать коленца.

– Вам не следует повторять эту шутку, – добродушно говорит он. – Лорд Латимер младше короля. И здоров, насколько я знаю.

Здоров и процветает. Брат леди Латимер Уильям в прошлом году стал бароном Парром. А ее сестра, служившая покойной Джейн, теперь в числе фрейлин новой королевы.

Племянница Норфолка хихикает над тем, как отплясывает ее дядя. Вскоре она уже с другими девицами, щеки раскраснелись от быстрого танца. Молодые люди выписывают ногами кренделя. Король наблюдает со снисходительной улыбкой. Когда все встают из-за стола, король подает королеве руку и ведет ее к портрету, полученному от Ганса в подарок на Новый год. Советники идут за ними гуськом. Отдергивают занавес. На портрете принц Эдуард в золоте и

багрянце. Под высоким младенческим лбом, под шапочкой с плюмажем, сверкают глаза. Одна рука ладонью вперед, другая сжимает драгоценную погремушку, как скипетр.

– Его написал мастер Гольбейн, – говорит король; это королева понимает.

– Какой прелестный принц, – говорит она. – Когда я его увижу?

– Скоро, – обещает король.

– А ваших дочерей?

– В скором времени.

– А леди Мария выходит замуж?

Переводчики торопливо перешептываются. Король резко мотает головой, и Анна жалеет, что задала этот вопрос. Король поворачивается к послам Клеве и говорит по-французски:

– Общество герцога Баварского нам приятно, посему спешить некуда и обсуждать пока нечего.

Он, лорд Кромвель, переходит на итальянский, который Олислегер немного понимает. Рубит рукой воздух: не надо об этом.

Король продолжает, показывая на сына:

– Эдуард мой наследник. Дочери не наследницы. Она понимает? – Снова поворачивается к картине, лицо смягчается. – Маленький подбородок у него от Джейн.

Король и королева с поклоном расходятся, она идет в свои покои. Переводчики и представители Клеве сбиваются в кучку, что-то обсуждают, толкая друг друга локтями. Он направляется прочь. Его догоняют: королева желает говорить с лордом Кромвелем.

Анна все еще в подвенечном платье. Племянница Норфолка на полу, держит в пальцах королевин подол, в другой руке иголка с ниткой, на коленях – гирлянда розмарина. Клевские дамы хихикают в уголке. Джейн Рочфорд приветствует его кивком. Королева снимает обручальное кольцо и показывает ему. На кольце выбранный ею девиз: «Господь да хранит меня». Какой болван ей это присоветовал? Надо было: «Господь да хранит его».

– Спасибо за рулеты, – говорит королева. – Они нам очень понравились. Вкус родины. Вы бывали на моей родине?

Он выражает сожаление, что не бывал.

– В Кале я ждала писем, но мне ничего не пришло.

Бедняжка тоскует по дому.

– Почта в это время года ходит очень плохо, – отвечает он. – Я сам жду известий от наших послов во Франции.

– Да, – говорит она, – мы все их ждем. Узнать, сохраняется ли союз. Дурно желать раздора, когда мы все с детства молимся о мире. Но мой брат Вильгельм вздохнет с облегчением, если император и французский король вцепятся друг другу в глотку.

Она смеется.

– Война между ними – мир для нас, – говорит он, – их разлад – наша гармония.

А она довольно осведомлена и вполне способна выразить свои мысли, более того, он в целом ее понимает, хоть и не решается отвечать без посредника – боится недоразумений, неверно понятых слов. Эта опасность велика и при лучших переводчиках.

– А где молодой Грегори? – спрашивает она по-английски. – Он так прекрасно развлекал меня в Кале. Такой милый юноша.

Дамы удивлены и восхищены:

– Прекрасно сказано, мадам!

Кэтрин Говард поднимает глаза от работы:

– Не могу воткнуть иголку. Ткань жесткая, как кожа. Тут нужно большое шило.

Раздается смешок. Мэри Норрис краснеет, догадываясь: это что-то негодное для девичьих ушей. Джейн Рочфорд говорит:

– Снимите с нее это платье. Она не будет его носить, пока его не перешьют на английский фасон.

Джейн наклоняется и дружески поднимает юную Говард на ноги.

Он откланивается, но Анна зовет его назад. Она переживает из-за пятидесяти соверенов, как будто он рассчитывает получить их обратно. Она разменяла часть монет на более мелкие и раздала. Женщины выходили из домов, объясняет она, это было в…

– Ситтингбурне, – подсказывает Джейн Рочфорд.

– …и угощали меня сладостями.

Он говорит через переводчиков:

– Скажите ей, что при каждом появлении на людях ей следует иметь при себе – вернее, кто-нибудь должен за ней нести – монеты подходящего достоинства. Ими надо одаривать прохожих, не дожидаясь, когда те поднесут дары. Будьте щедры, особенно к детям, и тем копите народную любовь на будущее.

Джейн Рочфорд следит за губами Анны, как будто читает по ним слова. Она умница, думает он, просто не находила приложения своему уму, – возможно, теперь наступил ее час. Вскоре знатные дамы, включая Бесс Кромвель, разъедутся по домам, к детям и хозяйству, а Рочфорд будет помогать леди Рэтленд в повседневных делах, приглядывать за молоденькими фрейлинами, следить за порядком и благочестием.

Один из переводчиков спрашивает его:

– Милорд, что дальше?

– Вечерня, – отвечает он. – После нее к нам присоединится французский посол, и мы увидим вторжение Цезаря в Британию под волынки и барабаны. Затем акробаты и фокусники, а дальше ужинать и в постель.

В сумерках актеры разыгрывают Британию непокоренную. Королева сидит очень прямо и внимательно смотрит на сцену, а переводчик объясняет ей, что происходит: британцы дали отпор римлянам, отказались платить дань. Британского короля играет один из актеров Джорджа Болейна.

Генрих хочет показать Анне ее новых соотечественников: их не поработить силой, не обмануть хитростью. Монарх времен Цезаря вооружил саму Темзу – вбил в дно острые колья с железными наконечниками, дабы пропороть дно римских судов. Когда уцелевшие легионеры выбрались на берег, британцы их перебили.

Хронисты говорят, до нынешнего короля у нас было девяносто девять монархов. Он подозревает, что они выстригли из нашей истории куски, чтобы Генрих стал сотым.

– У вас на родине, полагаю, ничего подобного нет, – говорит король Анне.

Ей старательно переводят.

Да, отвечает она. К сожалению. Вид у нее оторопелый.

Актеры с обнаженными мечами произносят свои стансы и угрозы. Чинно разыгрывают бой, затем «римляне» падают на колени и, убедившись, что пол чистый, растягиваются ничком. Фрейлины хихикают, толкая друг дружку в бок. Король улыбается, как будто что-то припомнил. Говорит жене:

– Британские короли завоевали Рим.

Он, лорд Кромвель, все время находит предлоги встать и пройтись, поговорить то с одним, то с другим. Он смотрит на королеву в разных ракурсах, при разном освещении. Некоторые выражения ее лица не требуют перевода. Он видит, что она настроена принять любые события сегодняшнего вечера. За бойцами на сцене стоит павильон из двадцати шести отделений, с окошками, как в доме. Он был расшит вензелями «ГиЕ», но их спороли. Стены – золотая парча и пурпур с оторочкой из зеленого дамаста, что придает павильону весенний вид.

– Кто угодно может выйти из такого шатра, – говорит он. – Сам король Артур им бы гордился.

Начинается интерлюдия, все садятся. Первой разыгрывают маску о влюбленных. Выходят два скорбных джентльмена с лирами, их платья расшиты ракушками гребешка. Объявляют, что они – паломники любви.

– Других паломников теперь нет. Даже Уолсингемская обитель закрыта, – говорит Норфолк и кривится. – По-моему, метафора устарела. Распорядитель празднества решил сэкономить денежки.

– Всецело одобряю.

Из шатра выходят две девицы и утешают влюбленных. Все четверо танцуют джигу.

– Это моя племянница Кэтрин, – говорит Норфолк. – Дочка Эдмунда.

– Знаю.

– Как она вам?

У него нет никакого мнения на ее счет. Влюбленные убегают под ручку, появляются монахи – брат Трах-Трюх и брат Жих-Жух, пытаются обчистить зрителям карманы, пока на них не спускают пса. Пса зовут Пачкун, он тянется к угощениям, которые ему предлагают, псарь тянет его назад. Под капюшоном псаря знакомое лицо.

– Это Секстон? Я же вышвырнул этого мерзавца раз и навсегда.

Мальчишка Калпепер отвечает:

– Он к кому-нибудь устроился. Николас Кэрью взял его к себе, но Кэрью нет в живых.

Секстон оставляет пса наскакивать на монахов, уходит и возвращается в другом наряде, пурпурном, с огромными рукавами вроде парусов и непомерно выпяченным брюхом. Говорит, что он лорд – хранитель малой королевской печати, человек низкого рода; отца и матери стыдится, поэтому прячет их в рукавах.

Гнев прокатывает по нему волной. Он говорит сидящему рядом Марильяку:

– Это затасканная шутка, когда-то так говорили про кардинала.

– Ах да, вашего прежнего господина, – говорит Марильяк. – Меня предупредили, чтобы я не произносил его имени, однако вы поминаете его свободно. Странно, что из-за него до сих пор ссорятся. Сколько лет уже прошло, десять?

Он указывает на Секстона:

– Видели бы вы, как этот малый голосил, когда кардинал решил подарить его королю. Нам пришлось его связать и бросить на телегу.

Секстон набрасывает на шеи Трах-Трюха и Жих-Жуха удавки. Монахи шатаются и высовывают языки. Он кричит:

– Секстон! Поостерегись! Быть может, у меня в рукаве найдется веревка и для тебя.

Секстон смотрит прямо ему в лицо.

– Том, Тайберн не шутка. Для него шутка, – указывает на короля, – и для нее, и для меня, а для тебя – нет.

Пачкун присаживается справить большую нужду. Король сжимает губы. Он жестом велит псарю увести пса, да и монахов заодно. Секстон бежит, высоко поднимая колени, как будто прыгает через лужи.

Под гром аплодисментов вновь появляются бритты, несут на руках свернутую Темзу. Лорд Морли подается вперед:

– Увидим ли мы боевые машины императора Клавдия? Веспасиана и осаду Эксетера?

– Клянусь, у нас, советников, был сегодня утомительный день, милорд, – говорит Норфолк. – А король захочет уединиться с королевой, не так ли?

– Должны быть великаны, – замечает Грегори. – Гогмагог был двенадцати футов ростом. Он выдергивал с корнем дубы легко, будто цветочки срывал. Был еще один великан, Ритон, с огромной бородой из бород убитых врагов.

– Как у Брэндона? – спрашивает Норфолк и заходится упоенным смехом; в кои-то веки ему случилось пошутить.

Актеры разворачивают синюю, сшитую из кусков Темзу. Девицы хватают ее за концы и начинают колыхать. Лорд Морли говорит:

– Боюсь, значительная часть истории пропущена. В Британии были короли до воплощения Иисуса Христа. Это все вы найдете у Гальфрида Монмутского, в его книге.

Он говорит:

– Милорд, я читал, что не все эти правители были удачливы и мало кто из них отличался мудростью.

Король Гумбер утонул в реке, которая с тех пор зовется его именем. Бладуд полетел над Лондоном на самодельных крыльях; его пришлось отскребать от мостовой. Риваллон был добрый король, во всяком случае миролюбивый, но в его правление падал кровавый дождь, а полчища мух сжирали англичан заживо. А если отправиться дальше в глубь времени, страну основал убийца: троянец Брут, отец нас всех, убил собственного отца. Якобы случайно на охоте, но, может, на самом деле намеренно. Стрелы, которые сворачивают в полете, обычно знают свою цель.

Грегори говорит:

– Гальфрид Монмутский был отъявленный лжец. Готов поспорить, что он родился не в Монмуте. Готов поспорить, он в жизни там не бывал.

Королева встает, то ли по чьему-то невидимому знаку, то ли по внутреннему зову. Дамы вскакивают и сбиваются в кучку вокруг нее. Маленькую Говард приходится дергать за рукав – она засмотрелась на красивые ноги лютниста. Вечер движется к завершению. Музыканты будут играть в личных покоях короля, затем уберут свои тимпаны и скрипки. На лице Генриха никакого выражения, кроме усталости. Мастер Ризли, нагнувшись, шепчет ему в ухо:

– Хотели бы вы прочесть его мысли, сэр?

– Нет.

Джентльмены из личных покоев встают и уходят вслед за королем. Духовенство выстраивается в процессию и идет благословить ложе. Королевские простыни кропят святой водой ежевечерне, однако сегодня Генриху нужно особое попечение Небес: забота ангелов и святых о его детородном уде. Калпепер бросает на ходу:

– Теперь ему осталось только влезть на нее и заделать ей герцога Йоркского.

Королю изготовили новую кровать, украшенную искусной резьбой. Ему, лорду Кромвелю, не лежится на своей старой, и он бродит по дворцу. Все тихо. Огонь в каминах погашен. Никого, кроме стражников, которые его приветствуют, да двух развеселых молодых лордов в красно-желтых маскарадных колпаках: один пляшет, другой хлопает в ладоши. При его появлении танцор врастает в пол, хлопок замирает меж ладоней его приятеля.

– Идите в свои колыбели, – говорит он. – Если вам повезет, утром я не вспомню ваших имен.

Они пристыженно отдают ему колпаки, будто не знают, что с ними делать:

– Это шапки, чтобы изображать татар, милорд.

Они должны быть с лентами или шнурками, говорит он. Иначе ветер сорвет их в скачке по заснеженным просторам.

Юнцы уходят, держась за руки. Он кричит вслед: «Молитесь за меня!» С лестницы доносится их смех.

Он идет обратно в свои покои, закрывает дверь. Дай человеку татарскую шапку, и тот ее примерит, даже если поблизости нет зеркала. Но ему не хочется. Он оставляет шапку на лежанке Кристофа и оттого, проснувшись, подумает, что еще спит. Всю ночь в обрывочных снах его соотечественники бьются с легионами Цезаря: медленно, словно увязая в болоте.

На рассвете он у себя в покоях обсуждает с Ричардом Ричем передачу Малвернского аббатства. Рич зевает:

– Хотел бы я знать… – и не договаривает фразы.

– Может, сосредоточимся на цифрах?

Входит Кристоф с двумя кружками слабого пива. На нем татарская шапка, и Рич спрашивает:

– Почему он в…

Ни одну фразу закончить не может, как будто слова теряются в тумане.

Вбегает гонец, прямо в дорожных сапогах, нос синий с мороза, одежда забрызгана грязью.

– Срочно, милорд. Из Йорка, в ваши собственные руки.

– Господи помилуй, – говорит Рич. – Неужто снова бунтуют?

– Думаю, для этого еще холодно.

Печать уже сломана; хотелось бы знать почему. Он читает: Йоркский казначей угрожает закрыть казначейство, если не получит две тысячи фунтов к концу недели и еще столько же в ближайшее время. Пришли счета за Бридлингтонскую гавань, а северные лорды требуют заплатить им ежегодные пенсионы.

Врывается Норфолк:

– Кромвель? Видели, что пишет Тристрам Тэш?

Он смотрит на Норфолка, затем на гонца; тот прячет глаза.

– Клянусь Богородицей, – говорит Норфолк, – Тэшу надо было взять баронов за шкирку и вытрясти из них душу. Будь я на его месте, они бы у меня ждали денег до Благовещенья.

За Норфолком входит Фицуильям, смурной и небритый:

– Если он с ними не рассчитается, некоторые могут перейти на сторону шотландцев. Или взыскать требуемое грабежом.

Входит мастер Ризли:

– От Уайетта, сэр. – Ризли уже вскрыл письмо. Франциск с императором по-прежнему в мире и согласии между собой. – Уайетт говорит, при каждом упоминании нашей страны император мрачнеет, как туча.

– Немудрено, – отвечает он. – Наш король удачно женился и без его помощи.

Он идет в королевскую присутственную залу, в руках куча прошений с письмами и счетами. Отдает их обратно Ризли и Рейфу. Жаль, что ни Рейфа, ни Ричарда Кромвеля не было вчера в личных покоях; тогда бы он точно

получил надежные сведения. Может, стоило этим озаботиться? Я не могу думать обо всем, говорит он себе и слышит голос короля: это почему же?

Представители Клеве его опередили. Они бодры, преисполнены надежды и говорят, что уже были у мессы.

– И, – говорят они, – у нас подарок для вас, лорд Кромвель, в честь этого счастливого дня.

Курфюрст Саксонский, зять Вильгельма, прислал ему в подарок часы. Он принимает их с восхищенным шепотом. Они в форме бочонка и такие миниатюрные, что помещаются в ладони, – самые искусно сделанные и, возможно, самые маленькие, какие ему доводилось видеть. Английские джентльмены передают часы из рук в руки, когда входит король.

– Сэр, презентуйте их ему, – шепчет Рейф.

Немцы огорченно кивают; им понятно, что иногда необходимы такие жертвы. Король не глядя забирает часы, продолжая говорить одному из джентльменов:

– …отзовите Эдмунда Боннера, как я обещал, и отправьте моему брату – французскому королю более учтивого и скромного посланника.

Умолкает, поворачивается к клевским послам:

– Господа, вам приятно будет узнать…

– Да, ваше величество? – Они ловят его слова.

– Я отправил королеве morgengabe, так, кажется, вы это называете, утренний дар в соответствии с обычаем вашей страны. Мы передадим вам точное исчисление цены.

Они надеялись услышать больше, однако король затворил уста. Даже о часах ничего не сказал. В другой день Генрих восхитился бы такой игрушкой, разглядывал бы механизм, попросил бы другие такие же, на сей раз с его портретом на крышке. Однако сейчас король лишь смотрит на них со вздохом, натужно улыбается и отдает часы придворному.

– Спасибо, милорд Кромвель, у вас всегда что-нибудь новое. Хотя не всегда такое новое, как хотелось бы.

Короткая пауза. Король кивает ему:

– Пропустите.

Он смотрит в растерянности. Что пропустить? Затем спохватывается и уступает дорогу:

– Ах да, конечно.

Идет за королем.

Иногда с Генрихом лучше держаться весело, запросто, словно вы сидите в «Колодце с двумя ведрами» за пинтой испанского вина. Он думает, я бы сейчас пропустил кубок-другой, будь передо мной испанское вино. Или рейнское. Аквавит. Уолтерово пиво.

– Как вам понравилась королева?

– Она не нравилась мне раньше, а теперь не нравится еще больше.

Генрих оборачивается через плечо. Никто к ним не приблизился. Они одни, как в пустыне.

Король говорит:

– У нее отвислые груди и дряблый живот. Когда я их потрогал, мне не захотелось остального. Я не верю, что она девственна.

Что за нелепица!

– Ваше величество, она никогда не отходила от матери…

Он пятится. Ему хочется сбежать ради собственной безопасности. Краем глаза он видит, что вошли доктор Чамберс и доктор Беттс в скромных врачебных шапочках и длинных мантиях. Король говорит:

– Я побеседую с моими врачами. Никто не должен услышать об этом ни слова.

Никто не слышит от него ни слова, когда он отступает, давая королю дорогу. И никто с ним не заговаривает, все расступаются, пока он идет через присутственную залу, через кордегардию и прочь с глаз.

Первыми к нему приходят врачи. Он читал письмо Уайетта и теперь откладывает его вместе со сценами, которые оно вызвало в воображении, далекими, но явственными. Уайетт рядом, даже когда в чужих краях, особенно когда в чужих краях. Его письма – подробный рассказ о дипломатических встречах. И все же, как бы ты ни вникал в написанное, чувствуешь: что-то от тебя ускользает; затем придет другой и прочтет то же самое иначе.

Беттс прочищает горло:

– Милорд Кромвель, нам, как и вам, король запретил говорить.

– А что тут можно сказать? Мы обсуждали бы девственность королевы. Если такие разговоры и уместны, то лишь с духовником в исповедальне.

– Что ж, – говорит Беттс. – Вы знаете, я знаю и король знает, что в таких неудобосказуемых вопросах ему случалось ошибаться. Он считал девственной вдовствующую принцессу Екатерину, хотя она была замужем за его братом. Позже он изменил свое мнение.

Чамберс добавляет:

– Он считал Болейн непорочной, потом обнаружил, что она утратила целомудрие еще во Франции.

Беттс говорит:

– Он знает, что грудь и живот ничего не доказывают. Однако сегодня утром он в подавленном состоянии духа, потому что стыдится. Другой раз у него, возможно, получится, и тогда все будет иначе.

Чамберс хмурится:

– Вы так думаете, собрат?

– Всем мужчинам случается потерпеть неудачу, – говорит Беттс. – И не смотрите так, будто это для вас новость, лорд Кромвель.

– Меня тревожит, чтобы он не повторил свое обвинение, будто она не девственница, – отвечает он. – Потому что в таком случае мне придется действовать. Впрочем, если он говорит, что она ему не нравится, неприятна…

– Так он говорит.

– …если он признает, что потерпел с ней неудачу…

– …то у вас затруднение иного рода, – заканчивает Беттс.

– Не думаю, что он поделился с кем-нибудь, кроме нас, – говорит Чамберс. – Может быть, с одним-двумя своими джентльменами. Капелланом.

– Но мы опасаемся, что новость вскоре станет общим достоянием, – говорит Беттс. – Посмотрите на его лицо. Кто-нибудь скажет, что это счастливый новобрачный?

И еще хотелось бы знать, говорила ли с кем-нибудь Анна?

– Мне стоит его ободрить. – Из головы нейдет необходимость отправить деньги в Йорк. Он думает, я не хочу быть сейчас с Генрихом, но оставлять его на других опасно. Я должен ходить за ним по пятам, как демон. Вслух говорит: – Что мне сказать клевским послам?

– А им надо что-нибудь говорить? Пусть королева сама даст им отчет.

Чамберс говорит:

– Вряд ли она станет жаловаться на короля. Она слишком хорошо воспитана. И, возможно, наивна.

– Или, – добавляет Беттс, – понимает, что дурное начало еще можно исправить. Я посоветовал королю сегодня остаться в собственной спальне. Воздержание усиливает аппетит.

– В прежние времена наутро показывали простыню, – говорит Чамберс. – Хорошо, что теперь так не принято.

Однако по королевскому лицу все видно без слов. Только подумать, сколько людей толпилось в Рочестере, когда он прискакал подогреть любовь. Увидев Анну, король сразу увидел себя в зеркале ее глаз. И в тот же миг стало ясно: не будет между ними любви и нежной дружбы. С того мига короля не занимало, что обнаружится у нее под одеждой: просто груди и щелка, волосатые складки кожи.

Он идет к Джейн Рочфорд:

– Мы думаем, ничего не произошло.

– Что говорит Анна?

– Анна ничего не говорит. По-вашему, мы должны были утром вызвать переводчиков?

– Есть женщины, которые могут переводить.

Он сам их нашел.

Джейн говорит:

– Думаю, и нам, и ей разумнее помалкивать. Если у него не получилось, лучше никому этого не знать. На что годятся такие сведения?

– Вы правы, – говорит он. – Они ничего не стоят. Так что имейте в виду – сведения больше не имеют цены.

Рочфорд поворачивается к нему спиной, как будто сдается. Говорит:

– Мы считаем, он на нее лег. Думаю, он засунул в нее два пальца. C’est tout[71].

Собрался совет. От королевы никаких известий. Немецкие приближенные, и дамы и господа, посетили ее и вышли по виду совершенно спокойные. Очевидно, мы живем в двойной реальности, какую опытные придворные умеют поддерживать. Много лет, уж и не упомнить сколько, английский король был прекрасным юношей. После долгих лет брака выяснилось, что он все это время был холост, а покойники мучились в чистилище и лепные святые двигали глазами. Теперь советники несут двойное бремя: знают, что король потерпел неудачу, и притворяются, будто тому всегда и во всем сопутствовал успех.

– Не будем отчаиваться, – предлагает епископ Даремский. – Подождем. Природа свое возьмет.

Норфолк делает удивленное лицо: Тунстолл же не друг «немцам»?

Тунстолл говорит:

– Я не нахожу в даме никаких изъянов. Во что бы ни верил ее брат, сама она не лютеранка. И быть может, ради блага Англии пора закончить наши споры и объединиться вокруг королевы.

Норфолк говорит:

– Если бы Генрих днем проводил время на воздухе, он лучше бы показал себя ночью. Сидение с книгой у камина тут не подмога.

– Разве что книга скабрезная, – замечает Фицуильям.

Эдвард Сеймур говорит:

– Во дни моей сестры у него таких затруднений не было.

– Или вы о них не знали, – говорит Норфолк.

– Но ее король любил, – тихо произносит Кранмер.

Норфолк фыркает. Сеймур говорит:

– Да. Тот брак был по любви, этот ради политики. Однако я согласен с епископом Тунстоллом. Мне нечего против нее сказать.

Рич говорит:

– Кроме того, что она ему не нравится.

Епископ Сэмпсон говорит:

– Памятуя, каков наш король, вы затеяли рискованную игру, лорд Кромвель.

Он сухо отвечает:

– Я руководствовался благими побуждениями и действовал с его полного согласия и одобрения.

Кранмер говорит:

– Возможно… и это всего лишь мои личные мысли…

– Не заставляйте нас их из вас вытягивать, – говорит Фицуильям.

– …некоторые полагают, что всякое соитие – грех…

– Вряд ли король входит в их число, – благодушно замечает Тунстолл.

– …хотя грех, который Бог по необходимости простит, но приступать к соитию следует не только с желанием зачать дитя…

– Которое у короля, безусловно, есть, – вставляет лорд Одли.

– …но и ради чистого слияния сердец и душ, происходящего из добровольного согласия…

– Ничего не понял, – признается Суффолк.

– И значит, если у него или у нее есть некие опасения в душе или в сердце, то для щепетильной натуры могут возникнуть преграды…

– Какие преграды? – перебивает Одли. – Вы про ту давнюю помолвку?

Кранмер шепчет:

– Король много читал Отцов Церкви…

– Поздних комментаторов, – возражает Сэмпсон. – Которые не всегда на пользу, ибо обсуждают, как именно и чем грешит мужчина, соединяясь с женщиной. Но грешит всегда.

– Что, даже с женой? – изумляется Суффолк.

Сэмпсон отвечает с мрачным ехидством:

– Возможно, да.

– Чушь собачья! – восклицает Норфолк. – Кромвель, в Писании это есть?

– Почему бы вашей светлости не почитать его самому?

Одли откашливается. Все советники поворачиваются к нему.

– Просто для ясности. Его неспособность…

– Или нежелание, – добавляет Кранмер.

– …или нежелание – как-то связано с бумагами из Клеве? Или нет?

– Сомнения бывают разного рода, – неопределенно отвечает Кранмер.

– Так если добыть бумаги, это исправит дело? – спрашивает Рич.

– Хуже точно не будет, – говорит Сэмпсон. – Конечно, пока они придут, наступит Великий пост. А он не станет спать с ней Великим постом.

– Нам не следует вести подобные разговоры, – строго говорит Суффолк. – Мы мужчины, а не кумушки. Это неуважение к нашему государю.

Фицуильям хлопает ладонью по столу:

– Вы знаете, что он винит меня? Говорит, я должен был остановить ее в Кале. Я написал ему, что у нее царственные манеры, и это правда. Больше ничего не обсуждалось. Я что, должен был ощупать ее груди и отправить свое о них мнение с гонцом?

Открывается дверь. Это Зовите-меня, и лицо у него такое, будто он ступает по раскаленным камням.

– Прочь! – рычит Норфолк. – Вы прерываете совет!

Зовите-меня говорит:

– Король. Он идет сюда.

Они встают, скрипя ножками стульев. Генрих обводит их взглядом:

– Спорили?

– Да, – печально отвечает Брэндон.

Он перебивает:

– Ваше величество справедливо ценит согласие. Однако я никогда не приду к согласию с теми, кто дает дурные советы.

Чарльз Брэндон говорит:

– Но очень хорошо, что вы к нам присоединились, сэр. Мы вас почти не ждали. Мы очень рады вас видеть. Мы…

– Довольно, Чарльз, – отвечает Генрих. – Надо поговорить о герцоге Баварском и его сватовстве.

– Дай ему Бог здоровья, – говорит Брэндон; как будто молодой герцог болен.

– Милорд хранитель малой печати, – говорит король, – вы ведь с герцогом Баварским посещали леди Марию? А затем ее перевезли в замок Бейнард, где они с герцогом могли немного пообщаться, в сочельник, если не ошибаюсь?

Король говорит так, будто это некая загадка, которую надо распутать. Он согласно кивает: да, все так. Филип хотел подарить Марии большой крест с алмазами, но советники не разрешили. Ведь если до свадьбы не дойдет, такой дорогой подарок придется вернуть? Это сложный вопрос дипломатического протокола. Ювелирам велели изготовить крест подешевле.

Леди Мария гуляла с герцогом Филипом по зимнему вестминстерскому саду, где вся жизнь съежилась, втянулась в корни. Они беседовали: частью через переводчика, частью на латыни.

Когда Марии подарили крест, она его поцеловала. И Филипа. В щеку.

– Добрый знак, клянусь Богом! – говорит Брэндон. – Никого из нас она не целовала.

– Вы недостаточно знатны, – говорит король. – Последним, чья знатность такое позволяла, был предатель Эксетер. Как ее кузен.

Епископ Сэмпсон подается вперед, сводит брови:

– Филип же ей не кузен? А если кузен, то насколько близкий?

Он делает себе мысленную пометку: проверить.

Генрих говорит:

– Мне представляется, что этот брак очень укрепит нашу дружбу с Германией.

Молчание. Король чуть заметно улыбается; умение изумить советников – предмет его гордости.

– Я жертвую собой ради Англии, так отчего моей дочери не поступить так же? Если я могу плодиться в интересах страны, то может и она. Кромвель заверил меня, что в Баварии ей будет хорошо. Он вечно дает мне заверения, только из них пока ничего не вышло. Епископ Сэмпсон, может, съездите к Марии, подготовите ее к свадьбе?

Сэмпсон стискивает губы и через силу кивает.

Он, Томас Кромвель, говорит:

– В Европе утверждают, что брак уже заключен, причем против воли дамы. Воэн пишет, весь Антверпен об этом судачит. Марильяк в этом уверен либо притворяется, будто уверен. Франциску уже сообщили.

Генрих говорит:

– Они считают, я ее принуждаю?

– Да.

Генрих смотрит на него:

– И?

– И я полагаю, со всем почтением к вашему величеству, что вам лучше отказаться от своего решения и отправить герцога восвояси. Иначе вы сделаете ровно то, чего ждут ваши враги, а это неудачная политика.

Эдвард Сеймур прикрывает рот. Слышен смешок.

Генрих поджимает губы. Потом говорит:

– Очень хорошо. Я сделаю для Филипа что-нибудь еще. Возможно, награжу его орденом Подвязки. – Трет переносицу. – Не стоит разрушать его надежды. Скажите, что он может вернуться в Англию. Скажите, я всегда буду рад видеть его в какую-нибудь еще не назначенную дату.

– Государь, ваша дочь никогда не выйдет замуж, – говорит Норфолк. – Кромвель разрушает все предлагаемые ей браки.

Король встает. Одной рукой придерживается за стол, другой трет грудь. Они все тоже на ногах, готовы преклонить колени; иногда Генрих этого ожидает, иногда – нет.

Норфолк говорит:

– Хотите опереться на мою руку, государь?

– Зачем? – говорит король. – Скорее я поддержу вас, Томас Говард, чем вы меня.

Перед королем распахивают дверь. Зовите-меня входит и замирает. Только тут они видят, что герцог Суффолк по-прежнему сидит, раскачиваясь взад-вперед.

– Бедный Гарри, бедный Гарри, – стонет герцог. Слезы бегут по его щекам.

Седьмого января король спит один, как предписали врачи. В следующие две ночи джентльмены сопровождают его в спальню королевы.

Приходит доктор Беттс:

– Лорд Кромвель, по-прежнему ничего. Я сказал его величеству не заставлять себя.

– Во избежание вреда для монаршего здоровья, – добавляет Чамберс.

– Он сказал, что все равно будет посещать ее опочивальню каждую вторую ночь, – добавляет Беттс. – Чтобы не пошли слухи.

Чамберс говорит:

– Он утверждает, что от нее дурно пахнет. Возможно, вам стоит поговорить с ее служанками. Сказать, чтобы мыли ее хорошенько.

Он отвечает:

– Поговорите с ними сами, если желаете. – Ему видится, как Анну замачивают и намыливают, трут в Темзе и бьют ею по камням, полощут ее и отжимают. – Я ручаюсь жизнью, что она девственница.

– Об этом он вроде больше не упоминал, – говорит Чамберс. – Теперь лишь повторяет, что она ему омерзительна. Однако, по его словам, он по-прежнему мужчина. Во всяком случае, способен излить семя. Если вы намерены женить его снова, вас это должно утешить.

Доктор Беттс шепчет:

– У него были… вы нас поймете… duas pollutiones nocturnas in somne[72].

– То есть он считает, что смог бы с другой женщиной, – добавляет Чамберс.

– У него кто-то на примете?

Он думает: я как Чарльз Брэндон, мне стыдно за такие разговоры.

На следующем заседании совета лорд-канцлер говорит:

– Если король и королева любезны друг с другом днем, это поможет унять слухи. И тут, я думаю, на них обоих можно положиться.

– Когда он был женат на другой и у него с ней не получалось, он винил ведьм, – говорит Фицуильям.

– Суеверие, – отвечает Кранмер. – Он больше в такое не верит.

– Итак, Кромвель? Что делать? – спрашивает Норфолк.

Он отвечает:

– Я всегда заботился лишь о его благе.

Он краем уха ловит, как молодой придворный – Говард, разумеется, мальчишка Калпепер, – говорит другим:

– Если король не справится с новой королевой, за него это сделает Кромвель. А почему нет? Все остальное он за короля делает.

Молодые люди смеются. Его встревожила не насмешка, а то, что они и не думают приглушить голос.

У него чувство, что пол в зале совета надо посыпать песком – чтобы впитывал кровь. Это как champ clos на турнире, место, огороженное, дабы отделить бойцов от зрителей. Король смотрит с высокой башни, оценивает каждое их движение.

Поздно вечером он пишет Стивену Воэну. Рассказывает то же, что и другим заграничным друзьям: король и королева веселы, все за них радуются.

Я лгу даже Воэну, думает он.

Ричард Рич спрашивает:

– Какие новости от вашей дочери в Антверпене?

– Никаких, – отвечает он.

Рич говорит:

– Может, оно и к лучшему. У короля острый нюх на ереси. Вы столько путешествовали по свету, милорд, что у вас могут быть и другие, неведомые вам отпрыски. Вы когда-нибудь об этом думали?

– Да, Вулси раз или два об этом упоминал.

Он думает: если Женнеке захочет ко мне приехать, неизвестно, смогу ли ее принять.

Он выпроваживает Рича, и сразу входит красный от смущения Ризли – видно, что подслушивал.

– У этого человека нет никаких чувств, одно честолюбие.

То же самое говорит про тебя Рич, думает он. Однако, покуда я у власти, вы оба стараетесь для меня изо всех сил. Я должен на вас полагаться, даже если не вполне вам доверяю. Я не могу работать в одиночку. У Сеймуров собственные интересы, что естественно. В это странное время Суффолк – мой доброжелатель, но Суффолк тупица. Рассчитывать на поддержку Фицуильяма я не могу, он борется за себя и перекладывает обвинения на меня. Кранмер боится, он всегда боится. Латимер в опале. Роберту Барнсу я не доверил бы его собственную жизнь, не то что свою. Книги советуют нам опасаться слабых людей больше, чем сильных. Однако перед лицом короля мы все слабы, даже Томас Уайетт, не испугавшийся льва.

У главного советника в королевстве должны быть великие замыслы, однако он час за часом корпит над будничными делами. В городе полно немцев – официальных и неофициальных посланников, – уверенных, что он сделает короля достойным союзником Лютера. Лорд Кромвель, говорят они, мы знаем, это вы день ото дня смягчаете законы прошлого лета.

– Мы знаем, что вы желаете более полной реформации. Вы верите в то же, что и мы.

Он указывает на короля, стоящего в отдалении:

– Я верю в то же, что и он.

В Остин-фрайарз он идет навестить леопарда. Это самка. Дик Персер знает ее привычки, ее угрюмые повадки и опасную игривость.

– Дик, – говорит он, – не думай, будто можешь с ней подружиться. Не думай, что она тебя пощадит.

Он смотрит на леопардицу, та смотрит на него. Золотые глаза моргают. Она зевает, но каждый миг думает об убийстве – это выдает подергивание хвоста.

Дик спрашивает:

– Как вы думаете, что бы она сказала, если бы могла говорить?

– Ничего такого, что мы сумели бы понять.

– Когда вы забрали меня из дома Мора, у меня и мысли не было, что я буду смотрителем такой зверюги.

Он обнимает юношу за плечи. Дик Персер – сирота; Томас Мор и епископ Стоксли выследили его отца, поставили к позорному столбу, ославили как еретика; их жестокое обращение, он уверен, и свело несчастного в могилу. Томас Мор гордился тем, что взял мальчика в дом, гордился и тем, что поркой выбивал из него ересь. Сэр Томас хвалился, что ни разу не ударил собственных детей, даже перышком. Однако на чужих детей его доброта не распространялась.

Он сам, вне себя от ярости, заявился к Мору. Не отправил слугу, не стал дожидаться в прихожей, когда Мор соблаговолит его принять.

– Я пришел за сыном Персера. Отдайте его мне, или я подам на вас жалобу за побои.

– Что? – удивился Мор. – За то, что я наказал провинившегося ребенка у себя в доме? Вас поднимут на смех, мастер Кромвель. Так или иначе, негодник сбежал. По счастью, он прихватил лишь то, что на нем было. Иначе пришлось бы его арестовать.

– Я слышал, он прихватил с собой ваше благословение. Следы видны.

– Наверное, он убежал к вам, – сказал Мор. – Где ему искать убежища, как не под кровом у еретика?

– Я могу вчинить вам иск о клевете, – ответил он; один юрист другому.

– Вчините, – сказал Мор. – Факты выйдут наружу. Ваши связи с контрабандой книг. Ваши сомнительные знакомства. Антверпен, все такое. Нет… идите домой, найдете мальчишку у себя под дверью. Куда еще ему идти?

В порт, думает он, в доки. Наняться на корабль. Как я когда-то. Не худший выбор. А может, и худший.

Теперь он платит Дику Персеру двенадцать фунтов в год. И четыре пенса в день за попечение о леопардице.

Он идет к лорду Рэтленду, гофмейстеру королевы. Разговаривают обиняками, но лорд Рэтленд ясно дает понять, что не вмешивается в постельные дела.

Он предлагает лорду Рэтленду поговорить со своей женой. Леди Рэтленд беседует со старшей из немецких фрейлин. На следующий день Анна снимает немецкий чепец и появляется во французском арселе, который изящно обрамляет ее лицо, открывая прекрасные белокурые волосы надо лбом.

Он спрашивает Джейн Рочфорд:

– Есть способ сделать цвет ее кожи посвежее? Король постоянно вспоминает Джейн.

– У Джейн цвет кожи был не свежий, а мертвенно-бледный, будто она живет под алтарной пеленой. Не то чтобы она была такая уж святая. Она запугивала Анну Болейн.

Мэри Фицрой говорит:

– Королеве не с чего сиять, милорд. Она слышит, что король несчастен, и чем больше английских слов узнает, тем больше будет требовать объяснений.

– Вряд ли она будет что-нибудь спрашивать, – встревает маленькая Кэтрин Говард. – Ей рассказали, что с первой женой король развелся оттого, что та громко по-латыни молила Господа его простить. И казнил Анну Болейн за то, что она сплетничала и кричала. А третья жена была любимая, потому что почти не открывала рта. Так что она старается быть как Джейн. Только не умереть.

Рочфорд говорит:

– Может, вы хотите сами вымыть ее и одеть? Мы поставим ее перед вами голой, а дальше вы сами.

Он говорит:

– Если она доверит вам свои мысли, скажите мне.

Через переводчиков он узнает, чего Анна ждет от брака. Ее родители женились не по любви, но стали любящими супругами. Они писали друг другу стихи. Ей известно, что король в юности сочинял стихи, и она гадает, когда он напишет что-нибудь ей.

Клевские послы спрашивают:

– В прошлом, когда ваш король был без жены, заводил ли он любовниц?

– Наш король добродетелен, – отвечает он.

– Не сомневаемся, – отвечают послы. – Хотя возможны и другие причины.

Он говорит Фицуильяму:

– Посоветуйте королю проявить нежность на людях.

– Лучше вы, – отвечает Фиц.

– Нет, вы.

Фиц стонет.

Позже в тот же день, в присутствии всего двора и немцев, король требует к себе королеву и берет ее за руку:

– Идемте, дорогая мадам. – Смотрит на советников; те хотят, чтобы он продолжал.

Он привлекает ее к себе. Лоб Анны упирается в его грудь, расшитую драгоценными камнями. Генрих держит крепко, как если бы она противилась. Сжимает хватку, как если бы она вырывалась.

Тело Анны напряжено, распластано. Рот – глубоко в его мехах. Она пытается сдвинуться в сторону, чтобы дышать. Сжимает опущенную руку в кулак. Запрокидывает голову, охает. Затем, спиной к зрителям, затихает.

Грегори шепчет:

– Может, он ее задушил?

Ризли говорит:

– Ваше величество… не лучше ли…

– Что? – Генрих отпускает королеву. Отступает на шаг, точно говоря: вы видели, я старался.

Анна пятится, будто ноги плохо ее держат. Скользит взглядом по Фицуильяму, по Грегори, по лицам тех, кого знает, затем неуверенно делает к ним шаг, протягивая руку, обмякшую, словно пальцы переломаны. На щеке красным клеймом отпечаталась золотая королевская цепь.

В конце января Уайетт исполнил приказ, который слали ему из Лондона с каждым гонцом, с каждым кораблем: заронил семя раздора между императором и Франциском.

На торжественном приеме Уайетт предстал перед Карлом и спросил: почему вы не держите обещаний? У нас есть соглашение о выдаче преступников, однако английские изменники беспрепятственно проезжают через ваши земли к чудовищу Полю. Вы настолько неблагодарны после всего, что сделал для вас наш король?

– Я? Неблагодарен?

Первый дворянин христианского мира багровеет от ярости. Потрясенные советники сбиваются в кучу и перешептываются. Один выступает вперед:

– Быть может, мы неверно вас поняли, мсье Гуйетт? Или вы употребили не то слово? В конце концов, французский вам не родной.

– Я прекрасно владею французским, – отвечает Уайетт. – Однако, если желаете, повторю по-латыни.

Карл подается вперед. Как смеет ваш господин употреблять такое слово, «неблагодарен»? Как смеет посол жалкого островка еретиков и овец обвинять в неблагодарности императора? Король, низшее существо, не должен ждать благодарности. Император Священной Римской империи стоит высоко над обычными королями. Их место – у его ног.

Уайетт отступает на шаг:

– Все сказано, сударь.

Желая оскорбить Генриха, император оскорбил всех государей, включая своего французского союзника.

Когда приходит письмо Уайетта, мастер Ризли зачитывает его вслух.

– Чисто пьеса! – восклицает Уильям Кингстон.

Советники неуверенно улыбаются.

Между Франциском и Карлом есть старые счеты, которые могут полыхнуть от малейшей искры. Как только огонь разгорится и спалит их соглашения, англичане вздохнут свободно.

– В таком случае, Кромвель, – говорит Норфолк, – нам не понадобятся ваши немецкие друзья. Ваш друг Уайетт действует вопреки вашим целям. – Герцогу определенно нравится эта мысль. – Если он преуспеет, то выставит вас дураком.

В Валансьене, на берегу Шельды, Карл и Франциск разъезжаются в разные стороны. Император с войском направляется на восток.

– И Уайетт с ним, – говорит он Генриху. Рядом, чтобы язвить и досаждать.

День или два проходят без новых известий. Потом становится ясно, что император идет на мятежный Гент. Горожане знают, чего ждать. Карл уже казнил одного из их предводителей, семидесятипятилетнего старика, разорвал его на дыбе. Предварительно тому сбрили волосы на голове и на теле, так что он стал голый, точно новорожденный младенец.

Генрих говорит:

– Император любит воевать. Из Гента он пойдет на Гельдерн. Тогда герцог Вильгельм попросит меня о помощи, и я не смогу ему отказать. И если меня втянут в войну, это случится не по моему желанию, милорд, а – удивительное дело – по вашему.

Ричард Рич приходит посоветоваться насчет пенсионного списка для Вестминстерского аббатства. Аббат, по собственным словам, при смерти, но может, это хитрость, чтобы выманить пенсион побольше? Аббатство станет кафедральным собором, аббат (если доживет) – настоятелем. Генрих не станет разрушать священное место, где коронуют монархов. Не станет тревожить отца и мать, лежащих в бронзе над полом и в свинце под землей; каждый день вокруг них горят толстые, словно колонны, свечи, озаряя их вечным зеленоватым светом. Мощи святых из аббатства заберут, но образы и статуи оставят. Фома неверующий преклоняет колени, чтобы вложить персты в кровавую рану на груди Спасителя. Святой Христофор несет Бога, котенком примостившегося у него на плече. На стене капитула святой Иоанн отплывает на Патмос – скорбный изгнанник, чей взор затуманен слезами. Труженики-верблюды бредут по пескам пустыни, косуля тонкими копытцами попирает траву, патриархи и девственницы стоят плечом к плечу с исповедниками и мучениками, таращат бусинки глаз. Надгробия покойных монархов тянутся друг к другу, будто их кости совещаются между собой, а мозаичный пол из оникса, порфира, зеленого змеевика и стекла рассказывает нам в пророческих надписях, сколько простоит мир.

– Зачем им знать? – спрашивает он Ричарда Рича. – Я удивляюсь, как хоть кто-то из монахов доживает до четвертого десятка.

Монастырский устав запрещает мясную пищу в трапезной, поэтому у них есть вторая столовая, где они утоляют свой аппетит к жареному и вареному мясу. На главные церковные праздники они готовят блюдо под названием Великий Пудинг. На него идет шесть фунтов коринки, триста яиц и огромные куски околопочечного жира. Ему как-то торжественно показали, как этот пудинг поспевает: жирная булькающая масса, подушка, вся в черных точках, будто облепленная мухами.

– Аббатство стоило уничтожить, – говорит он, – пусть только ради того, чтобы уничтожить пудинг.

Он, Томас Кромвель, смотрит вверх на веерные своды новой часовни:

– Клянусь, свисающие конусы смещаются. Когда я был здесь в первый раз, они выглядели ровнее.

– Просто здание дает усадку, – говорит монах. – Обычное дело, милорд.

Есть особая индульгенция для тех, по кому здесь служат заупокойные мессы, – прощение грехов, которое всем нам когда-нибудь понадобится, – и зовется она Лестницей на Небеса. У святого Бернарда было видение, как души по ступенькам карабкаются в вечность; ангелы подают им руку, когда они прыгают с последней перекладины в райское блаженство. Лезть вверх легко. Труднее решить, что делать, когда доберешься до верха. Пока мы взбираемся, бес дергает нас за ногу; перекладина может сломаться, или вся лестница уйдет в болотистую почву.

Он говорит Ричу:

– Как по-вашему, в чем изъян: в природе лестниц или в природе тех, кто по ним лезет?

Однако канцлер палаты приращений не задумывается над такого рода вопросами.

В конце месяца Эдвард Сеймур отправляется в Кале, Рейф Сэдлер – в Шотландию. Если король Яков хочет одолжений, говорит он Рейфу, пусть задабривает своего дядюшку Генриха, а не связывается с Франциском, который превратит Шотландию в вассальное государство. И если Рейф приметит разногласия между Яковом и папой, то пусть их усилит. Надо объяснить шотландскому королю преимущества главенства над собственной церковью, напомнить о богатстве монастырей; каждому правителю нужны деньги, а тут довольно протянуть руку.

Отъезд Рейфа задерживается – король хочет отправить с ним коней в подарок племяннику.

– Пиши мне, – говорит он, – при любой возможности.

Отсутствие Рейфа – как холодный ветер за воротник.

Двор переезжает в Вестминстер по реке, с музыкантами, в сопровождении купеческих судов. В Тауэре палят пушки. Горожане на дрожащих от выстрелов берегах кричат: «Ура!»

В Вестминстере король по-прежнему посещает королеву каждую вторую ночь. Немцы спрашивают: «Ваше величество, когда будет коронация?» Он, Кромвель, напоминает совету, что коронацию назначили на Сретение, однако Сретение уже прошло. Норфолк говорит:

– Мы знаем, зачем вы хотите ее короновать. Считаете, если король раскошелится на торжество, то уже не отошлет ее обратно.

– Обратно? – Возмущение приходится разыгрывать.

На королевиной половине тишина. Женщины, хмурясь, пробегают мимо него – они вечно куда-то спешат. Он должен задать Анне вопрос, но не знает какой; а может, ей нужно получить его ответ. В сказках, когда встречаешь в лесу даму, закутанную с головы до пят, она загадывает тебе загадку. Угадаешь – ее одежды спадут, она скользнет в твои объятья, ее свет сольется с твоим светом. Но если не угадаешь, она обернется старой каргой, положит руку на твой уд, и тот съежится до размеров горохового стручка.

Он привозит Чарльза Брэндона в Остин-фрайарз, показывает леопардицу, от которой Чарльз приходит в восторг, и доверительно сообщает: король признался, что никогда не полюбит королеву и потому не может исполнить супружеский долг.

– Не может, не хочет – для государства это едино.

Суффолк мрачнеет:

– Не будет больше и пытаться? Не знал. А Томас Говард знает? А епископы? Любому, кроме него, вы могли бы посоветовать…

Он в полном недоумении, что скажет Чарльз.

– Вы могли бы посоветовать, попробуйте думать о другой женщине. Но если Гарри будет думать о другой женщине, он захочет на ней жениться. И что тогда будет с вами?

При дворе он изучает племянницу Норфолка. Когда кто-нибудь из мужчин на нее смотрит, что случается очень часто, она распушает перышки, словно упитанная курочка.

Король намерен отправить Томаса Норфолка во Францию; хочет проникнуть в мысли Франциска и думает, это задача для знатного вельможи.

– Тут нужен кто-то уровня милорда Норфолка, – говорит король.

Молодой Суррей говорит своим прихлебателям:

– Лишь милостью Небес у короля еще остался дворянин, которому можно доверить посольство. Дай Кромвелю волю, он бы истребил нас всех.

Ризли идет за ним по пятам:

– Сэр, вы видите, как Норфолк рвется ехать? А раньше, если его отправляли за границу, всегда волочил ноги. И я боюсь, он плохо говорит по-французски.

– Может, будет молчать и сойдет за умного.

Ричард Рич говорит:

– Вам, Зовите-меня, это бы тоже не помешало.

Норфолку придадут в помощь сэра Джона Уоллопа. Он назначен постоянным послом; французы называют его Валлоп. Это опытный дипломат, но Кромвель бы его не выбрал – хотя бы из-за дружбы с лордом Лайлом. Мэтью сейчас в Кале и доносит обо всем, что происходит в доме наместника. Осталось дождаться, когда на столе его милости, а может, в рукодельной шкатулке ее милости обнаружится предательское письмо – Реджинальду Полю либо от Реджинальда Поля.

Перед отплытием Норфолк побывал у Гардинера в Саутуорке.

– Немудрено, что милорд захотел получить совет, – благодушно говорит он, когда ему об этом сообщают. – Ведь Гардинер долго был нашим послом во Франции.

– Не в этом дело, – говорит Ризли. – Они вдвоем что-то замышляют.

– Да. Хорошо. Я тоже что-то замышляю.

После сюрприза, что я готовлю Норфолку, тот никогда не высунет нос из дома.

Великий пост тысяча пятьсот сорокового года соблюдают по всей строгости, как в старые времена. За этим следят Гардинер и его присные. Даже к лучшему, что они получили волю в мелочах, это усыпит их бдительность. Терстон поддерживает его и домашних шафрановым хлебом, луковыми пирожками с изюмом, печеным рисом с миндальным молоком и новым соусом для рыбы из чеснока и грецких орехов.

На День святого Валентина вспыхивает война проповедников. Гардинер против Барнса, Барнс против Гардинера. Оба непреклонны, но Гардинеру терять нечего, а Барнс рискует жизнью. Барнс сломается, как прежде сломался перед Вулси. Подведет не слабость веры, а слабость характера. Он не Лютер. На том стоит – покуда Гардинер не собьет его с ног.

Лондонцы слушают их проповеди, толкаясь под навесами из просмоленной холстины или пригнувшись под самодельными укрытиями, щурятся из-за дождя, волосы прилипли к голове, вода затекает в уши. Однако старухи говорят, лето будет жаркое. А сейчас, как сказал поэт, ни зелени, ни плодов, одни

шипы. В день, когда он идет просить Генриха о милости, земля скована морозом.

– Вы по поводу Роберта Барнса? – спрашивает Генрих. – По всему выходит, я сильно в нем обманулся. Гардинер говорит, он отъявленный еретик. Только подумать, я доверял ему дела Англии за границей! Вы близки с этим человеком, вы виновны в недосмотре, что не узнали и не обличили его мнения. Полагаю, вы о них не знали?

– Я не по поводу Барнса. – Он мысленно выходит из помещения и заходит снова. – Я по поводу Гертруды Куртенэ, сэр. Ее можно было бы выпустить. Отправить свидетельства в архив. Она повинна в доверчивости, что женщине нельзя ставить в вину, и в верности покойным, что ваше величество вполне поймет.

– Екатерина ведь так и не умерла по-настоящему? – устало говорит Генрих. – И кое-кто никогда не признает, что она не была моей женой.

– Леди Эксетер потребуются средства для жизни, так что, если милосердие вашего величества позволит, я назначу ей ренту с земель ее супруга.

– Будь он проклят, – говорит Генрих. – Ладно, женщину отпустите, младшего Эксетера оставьте под стражей; нечего изменническому отродью разгуливать по моему королевству.

Он делает пометку. Генрих говорит:

– Кромвель, вы могли бы зачать сына?

От неожиданности он не находится с ответом.

– Думаю, могли бы, – говорит Генрих. – Вы из простонародья. Простые мужчины крепче.

Королю невдомек, как рано они теряют силы. Работник в сорок лет сгорблен и немощен. Его жена иссыхает к тридцати пяти.

– Я думал, в этом браке у меня будет еще сын, но, сдается, Господь судил иначе. – Король оседает в кресле, перекладывает несколько документов. – Мы можем сейчас написать в Клеве. Будете писать под мою диктовку, как встарь.

Он говорит:

– Зрение у меня не то, что раньше.

Такое вот здоровье простолюдина.

– Но вы по-прежнему пишете письма, – отвечает Генрих. – Я знаю ваш почерк. Я хочу спросить у самого Вильгельма, где бумаги о том, замужем ли его сестра, потому что… – Король упирается локтями в стол, опускает голову на руки. – Кромвель, не можем ли мы от нее откупиться?

– Да, мы можем предложить ей ренту. Не знаю, сколько нам придется наскрести, чтобы умиротворить ее брата. И не знаю, как спасти репутацию

вашего величества, если вы расторгнете законный брак. Вам трудно будет высоко держать голову в кругу других правителей. Или найти новую жену.

– Я могу найти ее завтра, – резко объявляет король.

Дверь осторожно приоткрывается. Это слуги со светом.

– Несите свечи сюда, – говорит он.

Однако король как будто забыл про письмо. Генрих ждет, когда они снова останутся одни, но не заговаривает даже после того, как слуги выходят. Теплый свет рассеивается по комнате, и наконец король произносит:

– Помните, милорд, как мы ехали в Уилд? Поговорить с литейщиками, узнать новые способы отливать пушки?

Окна запотели. Алмазы на одежде Генриха, когда тот шевелится, похожи на бусины или на те семена, что упали на каменистую почву. Он ждет, положив пальцы на перо.

– То были более светлые дни. Джейн не могла ехать, она носила под сердцем моего наследника. Ей не хотелось меня отпускать, но она знала, что мы давно задумали эту поездку, и при занятости вашей милости и многочисленных обязанностях короля она понимала, что просьба повременить будет неуместной. Я встал рано. Дело было около Иванова дня, рассвело задолго до разрешенного часа мессы, и Джейн спросила: вы дождетесь капеллана? И я задержался, потому что страхи женщины в таком положении следует уважать. Я сказал, что вернусь скоро, через две-три ночи, хоть мы и поедем неспешно. Мы будем слушать пение птиц и скакать по лесам, как рыцари Камелота. Будем радоваться солнечному свету. – Генрих ненадолго умолкает. – Куда подевался солнечный свет?

– Господь сотворил февраль, сэр, как и июнь.

– Вы говорите, точно епископ. – Генрих поднимает голову. – Вам с Гардинером надо помириться.

Мы уже пробовали, думает он.

– На Пасху сядьте вместе и помиритесь.

– Клянусь честью, я попробую.

Молчание. Он думает, наверное, этого мало.

– Я помирюсь с ним, если сумею.

Слуги не закрыли ставни. Он встает и подходит к окну.

Генрих говорит:

– Не закрывайте, пусть будет хоть такой свет.

За стеклом проносятся чайки, словно перепутали вестминстерские башни с береговым обрывом.

Генрих наблюдает за ним. Большие руки бессильно лежат на коленях. Говорит:

– Но когда я думаю об этом, Кромвель… Мы ведь так с вами и не поехали.

– В Кент? Да. Но собирались…

– Собирались, да. Но каждый раз нам что-нибудь мешало.

Он садится напротив короля:

– Давайте считать, что мы съездили, сэр. Не будет вреда, если мы это вообразим. – Зеленое сердце Англии, далекий колокольный звон, тень деревьев средь полуденного зноя. – Давайте скажем, что литейщики приняли нас радушно и показали нам все свои секреты.

– Еще бы, – говорит Генрих. – Бесполезно таить от меня секреты. Я все равно их узнаю.

Он выходит и, держась рукой за стену, шепчет молитву. В «Книге под названием Генрих» нет для него совета.

Король оставил родные края и словно переселился туда, где причина не связана со следствием; не стремится он и открыть душу, как прежде. Вспомнить только падение Болейнов. Тогда король написал пьесу о чудовищном распутстве Анны Болейн. Носил в книжечке на груди и пытался всем показывать.

В январе король сказал, Кромвель, вы не виноваты. Теперь слышишь, как Генрих думает: одного я хотел, одного, и он не уважил мое желание.

Он думает: расторгнуть новый брак трудно, но возможно. Это станет победой Норфолка и его присных, радостью для папистов и концом новой Европы. Часто ли выпадет шанс перекроить карту? Может, раз в два или три поколения; и теперь этот шанс ускользает. Уайетт и время рассорят Франциска с императором, и мы вернемся к старым приевшимся играм, которые я вижу всю свою жизнь.

Потом Генрих захочет жениться, бог весть на ком. Вспоминается песня, – наверное, Уолтер ее пел:

Я ее целовал, она меня;

На коленях лелеял мое дитя.

Потом король выберет себе папистку, и мне захочется оказаться где-нибудь очень далеко. Останься я в Италии, у меня был бы дом в холмах, белый дом под красной черепичной крышей. Колоннада у входа, балкончики с навесами от солнца, сад, дорожки среди цветов, фонтаны и виноградник; библиотека, расписанная зверями и птицами, как в капитуле аббатства.

На виллу Фрескобальди девушка каждый день приносила корзинку пряных трав. Стучишь по сосудам с оливковым маслом и по звуку определяешь, сколько его осталось. Когда кухонные мальчишки перестали его задирать, он научил их английским стишкам. Под синим итальянским небом они распевали о мглистых утрах, о ясенях и дубах, об утрате девственности в месяце мае.

Однажды хозяин вызвал его в контору, и он повесил фартук на крюк. После этого он сделался доверенным помощником Фрескобальди. Сдружился с молодыми людьми в семье Портинари. Никто не говорил, это сын кузнеца, гоните его взашей. После банка Фрескобальди он отправился в Венецию. Там работал в конторе, где стоял длинный сундук с резьбой, изображавшей утыканного стрелами святого Себастьяна. Каждый вечер он запирал туда приходно-расходные книги, а ключ прятал в карман и ни разу не глянул на мученика. Как же так вышло, что он видит его сейчас? С одной стороны были лучники, с другой – арбалетчики. Себастьяна пронзили стрелами со всех сторон. Он идет прочь от королевских покоев. Я ее целовал, она меня…

В следующие дни он обнаруживает, что его терпение на исходе, а запасы доброты иссякли. Когда пойманный шпион отказывается говорить, он не едет в Тауэр хитростью и посулами выманивать у того показания; время не ждет. На дыбу его, говорит он, и пусть трое записывают. Завтра с утра жду вас с известием, что задержанный сознался во всем.

Пока Норфолк был во Франции, он вторгся в герцогскую вотчину – закрыл Тетфордский приорат, где лежат пращуры герцога. Триста лет в Тетфорде происходили чудеса – с тех самых пор, как там собрали множество аккуратно подписанных реликвий, в том числе камни с Голгофы, часть гроба Богородицы и кусочки яслей, в которых лежал младенец Иисус. Теперь явилось величайшее чудо: Томас Кромвель, мальчишка из Патни, который считает, что время не облагораживает подделки и не придает благолепия лжи.

Что будет с досточтимыми покойниками? Здесь похоронен Джон Говард, который при Босворте был ранен стрелой в лицо и умер еще до того, как рухнул с коня на землю. Здесь же лежит отец герцога, Томас Говард, который рубил шотландцев при Флоддене и усеял поле их отсеченными руками и ногами. И здесь же недавно похоронили молодого Ричмонда, королевского бастарда и герцогского зятя.

Придется ли семье строить новые гробницы? Это оскорбление имени Говардов, вопит герцог, да к тому же непосильные расходы. Приходит к нему с вопросом:

– Кромвель, вы меня ни во что не ставите? Поберегитесь. Я вам кишки выпущу.

– Воинственная речь, – замечает он, – у нас не было таких разговоров со времен кардинала.

– За моего отца надо молиться! – ревет герцог. – Если не в Тетфорде, значит где-то еще.

Рич говорит:

– Вы же не хотите сказать, что за счет милорда?

Он думает: почему вы не махнете на него рукой, на своего старого папашу? Не предоставите того собственной участи?

– Его называли Флодденский Норфолк, – говорит герцог. – Отец, получивший прозвище в честь битвы. Как вам такое, Кромвель?

Норфолк уходит, чертыхаясь; он чертыхается с самого приезда из Франции. Там ему посоветовали завязать дружбу с любовницей Франциска и через нее войти в доверие к королю, и он до сих пор злится, что вынужден был заискивать перед женщиной.

Ризли говорит:

– Он так гордится своими предками, что не простит вам закрытия приората. И я не думаю, что он рассказал обо всех своих сделках с французами или хотя бы о большей их части.

Ричард Рич говорит:

– Французы вас ненавидят. А Норфолк их в этом поощряет.

Ризли говорит:

– Разве я не дал вам совет, сэр, когда пали Болейны? Уничтожьте Норфолка, сказал я, пока есть такая возможность.

Роберт Барнс приходит в Остин-фрайарз; и вновь это утопленник, которого прибило волнами ко входу в дом. Знай он, что Барнс придет, велел бы не впускать.

Барнс говорит:

– Винчестер считает, что, погубив меня, погубит и вас.

Он кивает; все так и есть.

– Вы можете бежать, – говорит он.

– Нет, – отвечает Барнс, – я слишком устал. Вы всегда советовали быть осторожным. Осмотрительным. Сколько Господу дожидаться, чтобы Англия приняла истинную религию?

– Еще десять лет, – отвечает он. – По Его меркам – недолго.

Барнс смотрит на него во все глаза:

– Вы хотите сказать, до смерти Генриха? А что, если принц так и не взойдет на престол? Что, если будет править Мария?

– Тогда нам всем конец, – отвечает он.

Двенадцатого марта граф Эссекс, Генри Буршье, падает с лошади, ломает шею и умирает на месте.

– Господи, прости меня, – говорит Чарльз Брэндон, – на королевской свадьбе я пошутил, что ему недолго осталось жить.

– Милорд, – отвечает он, – вот уж вы никак в его смерти не повинны.

Куда отправится старый Эссекс? Прямиком на Суд? Или будет тихонько лежать в могиле до конца света? Будет ли он полмиллиона лет искупать свои грехи в чистилище или уже добрался до места назначения – верхней ступени Лестницы на Небеса либо адского рва, уготованного для графов?

Большая часть придворных такими вопросами не задается. Кроме как по воскресеньям или в тяжкой болезни споры Гардинера и Барнса им безразличны. Их занимает лишь, что будет с титулом Эссекса. У графа не осталось наследника. На титул надеется его зять, но никто не знает, кого выберет король.

На Вербное воскресенье приходит известие о смерти Джона де Вера, пятнадцатого графа Оксфорда. Оно никого не потрясло – Вер болел уже несколько месяцев. Его сын совершеннолетний и станет шестнадцатым графом; предполагают, его же назначат на отцовское место великого камергера, обер-гофмаршала королевского двора.

– Не обязательно, – говорит Ризли. Его отец и дед были герольдмейстерами, и он такие вопросы знает как свои пять пальцев. – Вера назначили на это место в тысяча сто тринадцатом, при первом Генрихе, и с тех пор было очень мало великих камергеров не из этой семьи. Однако должность не наследственная. Король может назначить кого пожелает.

Ему некогда обсуждать будущего великого камергера. Надо принимать нового посланника. Клеве наконец-то отправило к нам постоянного посла. Его зовут доктор Карл Харст, и раньше он представлял герцога Вильгельма в Испании. Документов он не привез, по-английски не говорит, жить ему негде, содержание у него мизерное, одевается и выглядит непрезентабельно.

Он говорит Ризли:

– Жаль, что они не прислали нам кого-нибудь получше; боюсь, двор будет над ним смеяться.

– Над его ожиданиями уж точно, ибо они совершенно ошибочны, – отвечает Ризли.

До Вильгельма должно было уже добраться письмо от сестры. На родном языке Анна сообщила брату, что не желала бы лучшего мужа и благодарит семью за свое счастье.

Джейн Рочфорд сказала ему:

– Она не знает, как быть. Делает вид, будто все хорошо, но, как галка, ждущая, когда созреют смоквы, питается надеждой. – Рочфорд смеется. – Пост кончился, и ни один человек, сколь угодно благочестивый, не может отказываться от жены. Мы ее спрашиваем: «Мадам, что он делает? После того, как гаснет свеча?» Она отвечает, он целует меня и говорит: «Спокойной ночи, милая». А утром встает и говорит: «До свиданья, дорогая». Мы сказали ей, мадам, если ничего больше не происходит, то нескоро мы дождемся герцога Йоркского.

– Потише, Джейн, – говорит он.

– Все это обсуждают. Сколько вы надеетесь скрывать от немцев правду?

Позади шаги: одна из фрейлин.

– Вы как будто бы повсюду, мистрис Говард.

Кэтрин поднимает на него глаза:

– Да.

Он оценивает ее:

– Новое платье?

– Подарок дяди Норфолка.

– Вы пришли что-нибудь сообщить или только поразить мой взор?

Она склоняет голову:

– Королева и леди Мария желают прогуляться с вами по галерее. Милорд.

По окнам стучит дождь; свинцовые люди на кровле изливают воду из глоток.

Дамы из личных покоев Анны уже рассказали ему, что ее встреча с леди Марией прошла неудачно. Вопреки всем свидетельствам Мария считает Анну лютеранкой, а той ее люди сказали, что Мария шпионит для императора.

В галерее он гуляет, держа дам под руку; Анна по-весеннему в желтом, Мария в своем любимом темно-алом.

– Снова дождь, – говорит Анна, показывая свои успехи в английском.

– Боюсь, что да, – отвечает он.

Генрих сказал ему, поговорите с ней, Кромвель, вы же можете с ней поговорить? Он ответил, я не смею, а Генрих сказал, почему, если я вам разрешил? Он подумал, потому что не знаю, чего вы желаете от этого разговора. Вам нужна женщина, которую вы сумеете полюбить, или женщина, которую вы сможете отвергнуть?

Мария говорит:

– Я слышала, вашего друга Барнса скоро арестуют. И других ваших друзей-проповедников.

Она умолкает, давая ему возможность сказать: Барнс мне не друг. Однако он молчит. Анна идет рядом в счастливом неведении, ее пальцы лежат на его рукаве. Чувство такое, будто лютеранские часы по-прежнему у него на ладони, тиканье механизма сбивает ему пульс. Их корпус изготовил ювелир, шестерни – оружейник.

– На что Барнс рассчитывает? – говорит Мария. – Сперва он утверждает, что покаялся. Затем повторяет свои ошибки. Вы его слушали?

– Да, мадам. Слушал его проповеди день за днем.

– Пришлите мне их записи, – говорит она. Как будто он ее писарь.

Он кланяется. Мария продолжает:

– Я слышала, в Кале дела совсем плохи.

– Лорда Лайла ждут на празднестве ордена Подвязки. Несомненно, с него потребуют отчет.

– Странные времена, милорд. Умерли два великих лорда.

Галерея увешана новыми шпалерами, сценами из жизни апостола Павла. Королева, дочь короля и сын пивовара прошли, ослепленные светом, по дороге в Дамаск, переплыли Средиземное море. Теперь они останавливаются перед эфесскими чародеями, жгущими свои книги. Ему хочется протянуть руки в сплетение нитей и спасти книги из огня.

В доме у Гардинера подают каплунов с инжиром, ломбардские кростаты и рубленую куриную печень с крутыми яйцами, сабайон и говяжий холодец. Он, Кромвель, здесь по велению короля и смотрит на свой обед, потому что не хочет смотреть на епископа Винчестерского. И на Томаса Говарда тоже. Он даже не был уверен, что придет сюда, пока его барка не пристала к берегу.

Входя, он говорит:

– Почему вы здесь, милорд герцог? Мне казалось, у вас дома чума. Вам не следует быть подле короля.

– А я и не подле короля, – отвечает Норфолк. – Я подле вас.

Гардинер, как добрый хозяин, источает миролюбие:

– Насколько я понял, умер слуга, но милорд был от него в четырнадцати милях.

– Он не умер, и это была не чума, – говорит Норфолк. – Больше никто в доме не заболел. Уверяю вас, я совершенно здоров. В это время года я ем пудинг с соком пижмы, чтобы очистить кровь.

– Вы всегда очень к себе внимательны, – говорит он. – И вы, милорд епископ.

Они садятся. Слуги наливают вино.

Он поворачивается к Норфолку:

– Помню, когда Стивен был секретарем милорда кардинала, мы оба отправились в Ипсвич, где должен был открыться колледж милорда. Я сам вешал шпалеры, потому что работники ползали как мухи, и таскал столы и скамьи, а вот этот мой добрый товарищ стоял рядом, отдавал мне указания и заботливо уговаривал меня не надорвать спину.

Гардинер с улыбкой произносит:

– Я утруждаю себя лишь для благих целей.

Норфолк грохает кубком о стол:

– Ипсвич? – Никто не умеет так выплевывать слова, как герцог. – Чтобы добыть средства на этот клятый колледж, Вулси упразднил монастырь в Феликстоу – а это был мой монастырь. Когда колледж закрыли, я ликовал. Надеюсь, он лежит в развалинах. Господи, почему в этом королевстве столько несправедливости? Если не Вулси меня обирает, так его последователь. Вулси был вашим Богом, Кромвель. Вашим Богом-мясником.

– Вынужден согласиться. – Гардинер откладывает нож. – Меня изумляет, Кромвель, что вы до сих пор не видите истинную суть Вулси. Он был честолюбив и бесчестен. Вы сами знаете, что он, впав в опалу, просил о помощи иностранных государей. Без ведома короля, через голову короля договаривался с ними, будто он сам монарх. Как мы называем такого человека? Мы называем его изменником. Если бы вам показали факты без имени, вы бы сами его осудили.

– Да, – говорит Норфолк. – Ничуть не утруждаясь. Впрочем, хорошо, что такой человек, как вы, не чужд благодарности. Кем вы были, когда явились ко двору? Даже рубашка на вас и та принадлежала Вулси. А теперь потрудитесь выказать благодарность королю, сделавшему для вас много больше. Заберите своих немцев и вышвырните их вон.

Подходит слуга с кувшином вина. Стивен хмурится, и слуга отступает к стене. Не то чтобы Томас Говард хмелел с нескольких капель, но герцог, по

всему, до выхода из дома опрокинул целый бурдюк. Наверное, для храбрости, и, видит Бог, она ему потребуется.

Он сжимает кулак. Грохает по столу. Тарелки подпрыгивают.

– Весь совет одобрил этот брак. Вы, Томас Говард, подписали договор в точности как и я. И король с нетерпением ждал невесту.

– Нет, клянусь всеми святыми, это вы связали его и захомутали, – говорит Норфолк. – И я скажу вам, почему он хочет освободиться. Не видели, как он смотрит на мою племянницу? Он пленился Кэтрин с первого взгляда.

– Если хотите власти, – говорит он, – добивайтесь ее по-мужски. Разыгрывая Пандара, вы позорите свои седины.

– Будьте вы прокляты! – Герцог вскакивает, отталкивая стул, срывает с груди салфетку. Салфетки у Гардинера большие, и кажется, будто Норфолк силится вылезти из шатра. – Я не буду слушать, как меня называют сводником!

Как только герцог вскочил, встал и он. Слуги вжимаются в стену. На краю зрения вспыхивает будто красный огонь. Кинжал здесь, у сердца: холодный под одеждой, готовый к действию, и рука сама метнулась к рукояти, точно по собственной воле.

Однако Гардинер встает между ними:

– Сегодня без кулаков, милорды.

Он думает: без кулаков? Вы меня не знаете. Я мог бы зарезать его, как гуся, раньше чем вы поднялись с места.

Улыбаясь, словно дамам, играющим в кегли, Гардинер вскидывает руки:

– Что ж, милорд Норфолк, мы понимаем, что у вас спешные дела и вам пора ехать. – Снова улыбается. – Ваш обед мы отдадим бедным.

Герцог шумно выходит, на ходу зовя телохранителей и гребцов. Они вновь садятся, и Гардинер, протянув руку через стол, похлопывает его чуть выше локтя.

– Скажите это, Стивен, – мрачно говорит он. – «Кромвель, вы забылись, мы сейчас не в Патни».

Стивен жестом требует кувшин с вином.

– Оскорбления – тонкое искусство. Я на миг задумался, знает ли он, кто такой Пандар. Не слишком ли утонченным был ваш намек?

– Нет, сегодня мне не до утонченности, – говорит он. – Извините. Мы и сами должны сделать шаги навстречу друг другу. Я могу приложить к этому больше

усилий – и приложу. Наверняка у меня есть что-то, что нужно вам, а вы могли бы оказать мне ответную услугу…

– Вы хотите, чтобы Барнса выпустили на свободу, – говорит Гардинер. – Думаете, он исправим? Мне всегда жаль отправлять кембриджца на костер. Если помните, я заступался за него еще много лет назад, когда он предстал перед Вулси.

– Коли вы так говорите.

– Иначе он отправился бы прямиком в Тауэр. Что, полагаю, сберегло бы время. Я не вижу, чтобы он принес Англии что-либо доброе, сколько ни разъезжал с посольствами. Король раскаивается, что вообще взял Барнса на службу.

Приносят моченую зелень, груши в сиропе и айвовую пастилу.

Гардинер говорит:

– Норфолк чрезмерно горяч, но он прав. Разве вы не чувствуете, что ветер меняется? Вы уверяли короля, что вся его надежда только на немцев. И это было правдой. Но как только союз рассыплется, император с Франциском вновь начнут обхаживать Генриха.

– Не понимаю, с чего Норфолк взял, будто может видеть будущее. Обычно он видит не дальше своего носа.

– Вы забываете, что он всего несколько недель как из Франции. Полагаю, Франциск делал некие авансы – не то чтобы тайно, но с глазу на глаз. И герцог о них знает, а вы – нет.

Допустим, говорит он.

– Знаю, у вас свои люди среди слуг каждого, здесь и за границей. Знаю, вы шпионите, снимаете копии, роетесь в сундуках и крадете ключи. Я страдал от такого в моем собственном доме.

– И я, Стивен. Со стороны ваших людей.

– Однако вы не всеведущи. Не вездесущи. А вы думаете, что да? Вы считаете себя Богом?

– Нет, – отвечает он. – Божьим соглядатаем.

– Тогда поглядите на факты, – говорит Стивен. – Раз король считает, что не нуждается в дружбе герцога Клевского, то, учитывая его неприязнь к даме, остается лишь один путь – расторгнуть этот брак.

Он отодвигает кубок. Как и Норфолк, только менее торопливо, освобождается от салфетки. Гардинер не дурак. Демон, но не дурак.

– Вкусная пастила, – говорит он. – Рецепт леди Лайл, если не ошибаюсь. Король часто хвалил ее пастилу.

– Она присылает ее нам всем, – отвечает Стивен, как будто оправдываясь.

– Всем, кому хочет угодить. Оборачивает ли она ее посланиями?

Гардинер смотрит на него уважительно:

– Клянусь Богом, от вас ничто не ускользает. Даже пастила. – Вздыхает. – Томас, мы оба знаем, что такое служить королю. Знаем, что это невозможно. Вопрос, кто лучше способен сносить невозможное. Вы никогда не были в опале. Я был много раз. И все же…

– И все же вы здесь. Рассчитываете вернуться в совет.

Стивен провожает его к выходу, на свежий воздух.

– Вы знаете, чего хочет король. Чтобы мы ради службы к нему забыли о своих разногласиях. Объявили себя друзьями и единомышленниками.

Они холодно соприкасаются ладонями. Он сбегает по ступеням к пристани, и Стивен кричит ему в спину:

– Кромвель! Поостерегитесь!

День зябкий, но солнечный свет дробится на воде уже по-весеннему. Его барка идет против течения, флаг поднят, черные птицы трепещут на ветру – кардинальские галки танцуют вокруг флагштока.

Кормчий говорит:

– Мы увидели герцогскую барку и сказали промеж себя, клянусь мессой, бедный милорд, там и Гардинер, и Норфолк, оба два.

Он отвечает:

– Государь в моих глазах подобен Христу, распятому между двумя разбойниками.

Снимает перчатку, сует руку за пазуху, вытаскивает кинжал:

– Кристоф, забирай, теперь это твое. Постарайся не пускать его в ход.

Кристоф вертит кинжал в руках:

– С ним я чувствую себя будто выше ростом. А почему вы решили его отдать?

– Потому что я сегодня чуть не зарезал Норфолка.

Гребцы негромко кричат «ура».

– Можешь сказать мастеру Сэдлеру, что я отдал его тебе.

Он думает: Рейф советовал мне повзрослеть, пока не состарился.

Бастингс спрашивает:

– Вы сами его сделали, сэр? Когда были кузнецом?

– Нет. Тот, что сделал, я… потерял. А этот мне подарила молодая особа в Риме. Он был у меня довольно давно.

– Бьюсь об заклад, вы не раз пускали его в ход, – восхищенно произносит Бастингс. – Сэр, вам кое-что следует знать. Девчушка Норфолка, я слыхал, она порченая. Один из людей старой герцогини хвалился, что щупал ей манду. Говорит, в темноте щупал и отличит среди сотни других.

– Кто тебе такое рассказал? Лодочники? – Он кутается в плащ и думает: даже если это правда, что я могу поделать? Коли Генрих влюблен, он растопчет любого, кто попробует встать между ним и его удовольствиями. Вслух говорит: – Бастингс, выбирай себе в друзья тех, чьи мысли более целомудренны.

Он думает: надо это забыть. Плывет в барке по Темзе, старательно забывая услышанное. Отличит среди сотни?

Я ее целовал, она меня;

На коленях лелеял мое дитя.

Вся моя радость только с ней:

Как сладко щелкает соловей.

Дома его дожидается мастер Ризли. Он говорит:

– Можете написать послам, что я отобедал с епископом Винчестерским. Что мы достигли полного взаимопонимания.

– Добавить что-нибудь вроде «все прежние неудовольствия позабыты»? – спрашивает Ризли.

– На ваше усмотрение, мастер Ризли.

Порой кажется, что с Крещенья мы так и не двинулись вперед. В его снах римляне и бритты по-прежнему бьются на мечах. Наступают, отступают, вновь идут в атаку. Режут, колют, уворачиваются от ударов; медленно поднимают закованные в броню руки и рубят, рубят, рубят.

В Кале заседает новая комиссия по выявлению еретиков. Норфолк создал ее проездом; запалил огонь, сел на корабль и уплыл. Он говорит королю:

– Не лучше ли выявлять изменников? Сорок вооруженных французов возьмут Кале за час. Там все прогнило изнутри, и я не о горожанах, а о тех, кто облечен вашим доверием.

Король болезненно морщится:

– Лорд Лайл очень мне дорог.

– Я не стану тревожить лорда Лайла, – говорит он. Пока не стану, начну с его друзей. – Мне нужно добыть кое-какие бумаги. Уайетт рассказал мне, что искать. Он знает о Кале все.

– Ах, Уайетт. Он говорит не то, что думает, а думает не то, что говорит.

Впрочем, сейчас его непосредственная цель – Сэмпсон. Он взял епископа под стражу, изъял его бумаги и теперь ищет в них намек на связи с Полем, любой намек, что кто-то из окружения Сэмпсона был в сношениях с Полем. На вопрос короля, какие у вас доказательства, он отвечает, это хитрая работа, сэр. Все равно что выложить мозаичный пол в аббатстве. У вас есть треугольники и круги, прямоугольники и квадраты. Есть мрамор и порфир, змеевик и стекло. Вы должны верить в то, что делаете. Сторонний наблюдатель не увидит узора, пока тот не сложится.

Наконец-то весна. Каждый ясный день – награда за пережитую зиму. Зяблики стайкой летучих роз проносятся над неподвижным озером. Его соколы смотрят на пляшущие пылинки, будто солнечный луч – живой, их добыча.

Генрих зовет его к себе:

– Я должен изложить вам одно дело. Довольно важное. Пройдемте со мной в комнату и закройте дверь.

Окно распахнуто. Снаружи кто-то поет. Он думает: сюда ли привели меня мои ночные пробуждения, мои тревожные сны?

От страха дрожь меня берет,

Горю и превращаюсь в лед,

Виски болят, и сон нейдет.

За что мне это?

Он идет за королем. Что еще остается, кроме как, по совету Цицерона, жить бодро, умереть храбро?

Дома его ждет встревоженный Ризли с документом в руке:

– Сэр, вам стоит прочесть это прямо сейчас.

Документ – что греха таить – копия, тайно снятая с письма Марильяка Франциску.

– Марильяк пишет, что король намерен взять под стражу Кранмера и отправить его в Тауэр вместе с Барнсом.

Зовите-меня устроил своего человека в свиту посла.

– Это вы молодец, – говорит он, беря письмо.

Бумага кажется горячей.

– Дальше еще хуже, сэр. Марильяк пишет, что король хочет забрать у вас малую печать и передать ее Фицуильяму. И что он снимет вас с должности викария по делам церкви и назначит на нее Тунстолла.

Он говорит:

– Я только что был с королем. Да, он переменчив, но не успел бы так перемениться за полчаса. Я прямиком от него и принес новости. Надеюсь, они вас обрадуют.

Он хочет сказать, позовите Рейфа, но Рейф уже входит и первым делом смотрит на письмо Марильяка:

– Сэр, можно прочесть? Зовите-меня не дал мне даже взглянуть.

– Забудьте про это письмо, – говорит он. – Посол сидит у себя дома и сочиняет сказочки. Недостает лишь Секстона с ослиной головой и Уилла Сомера в наряде испанской шлюхи.

Рейф и Зовите-меня переглядываются. Рейф говорит:

– Оригинал письма едет сейчас в Дувр. Желаете ли вы, чтобы с гонцом в пути случилась беда?

– Он может потерять письмо в луже, – предлагает Ризли.

Предложение настолько миролюбивое, что его разбирает смех.

– Пусть едет, – говорит он. – Чем больше Франциск обнадежится, тем приятнее будет его разочаровать. Он мечтает, что меня отстранят, а королю будут служить мальчишки и глупцы.

– Мы мальчишки или глупцы? – спрашивает Ризли.

– Не те и не другие. Вы – избранные. А теперь помолчите и выслушайте меня – не пожалеете. С тех пор как я стал государственным секретарем, я старался быть с королем лично, однако мое присутствие постоянно требовалось в Вестминстере. Вы это знаете и знаете, каково мне приходилось.

Долгие дни от зари до зари. Виски болят, и сон нейдет…

– С дозволения короля я разделю мои обязанности. Я и раньше с ним это обсуждал, а теперь пришло время.

Мастер Ризли пытается встрять, но он продолжает:

– Каждый из вас станет государственным секретарем. Вы распределите время и обязанность так, что один будет в Вестминстере, другой – с королем. Я создам механизм, чтобы ваша работа плавно переходила от одного к другому.

– Чудо природы, – потрясенно говорит Рейф. – Два тела с одной головой.

– Одно спит, другое бодрствует, – добавляет Ризли.

– Вы оба станете рыцарями. Оба войдете в совет. Будете заседать в палате общин, а я – в палате лордов. – Он хлопает их по плечу. – Вы знаете, какой, милостью Божьей и короля, я сделал эту должность. Она включает все. Нет ничего, что было бы вне ее пределов. С вас все начинается. И вами все заканчивается.

Он садится.

– И сверх того…

– Это еще не все?

Он поднимает руку. Внезапная радость ошеломляет, как резкая боль, оставляя по себе пустоту и головокружение. В такие мгновения – если вообще доживаешь до таких мгновений, если удача благоволит к тебе, как благоволит она к храбрецам, – теряешь ощущение собственных границ и становишься легким, как воздух.

– Я получу должность Оксфорда, стану лордом – великим камергером. Титул, как и положено, перейдет сыну, но, поскольку у бедного Эссекса не осталось прямых наследников, его титул получу я.

Он думает: песчинки времени сыплются, убегают через трещины в сверкающей чаше возможностей, которую он держит в руках.

– Теперь все идет на лад, – говорит он.

– Поздравляю вас, сэр, от всего сердца! – восклицает Зовите-меня.

Он говорит:

– Король объяснил, что я – часть его величия. Сказал: «Не каждому правителю дано разглядеть способности за происхождением. Бог дал вам таланты, Кромвель. И определил вам родиться в такое время в таком месте, где вы можете мне ими послужить».

– И вы не утратили самообладания?

– Да, так что попрошу и вас держать себя в руках. Король справедливо себя поздравляет. Он думает о принятых законах и полученных деньгах. Будь я государем и будь у меня Кромвель, я почитал бы себя избранником Небес.

– Интересно, почему сейчас, – говорит Зовите-меня. – По справедливости ему следовало сделать это давным-давно. Однако он знает, что многие возмутятся.

– Зато другие возрадуются, – говорит Рейф. – Расскажите домашним. Пошлите за мастером Ричардом. Сообщите Грегори. Клянусь Богом! Будет ли теперь Грегори именоваться лордом Грегори? Получит ли он титул?

С первого этажа доносятся ликующие вопли. Влетает Томас Авери, обнимает его:

– Сэр, они все теперь ждут прибавки к жалованью.

– И правильно, ведь они будут служить графу.

Комната заполняется людьми, все лица сияют. Он отводит Авери в сторонку:

– Помнишь, что я тебе говорил? О моих деньгах за границей.

Авери изумлен:

– Да, сэр.

– Так ты знаешь, что делать?

Авери хмурится:

– Извините, ваша милость, но вы говорите так, будто фортуна от вас отвернулась. Будто вас постиг удар судьбы, а не величайшая честь.

– Разыщи мою дочь, – говорит он. – Сделай так, чтобы она могла получать деньги.

Деньги мои ей пригодятся, даже если она не нуждается в моей любви.

– Когда я вышел от короля… – начинает он и останавливается.

В те мгновения он стоял на пороге и думал: все, кому я хочу рассказать, умерли. Я хочу рассказать моему доброму хозяину Фрескобальди и моим товарищам по кухне. Слуге, который мыл лестницу, когда я поднимался по ступеням. Хочу рассказать Ансельме, моей жене и дочерям, девице в Риме, что подарила мне кинжал. Хочу петь «Скарамеллу»: Скарамелла пошел на войну, бомборетта, бомборро. Хочу рассказать Вулси и получить его благословение. Хочу рассказать Уолтеру и увидеть его лицо. Новость облетит Патни: Ножи-Точу стал графом. Ему хочется рассказать мальчишке-рыбнику, хочется, чтобы тот был жив, чтобы можно было пойти в Патни, вытащить его из кабака, вколотить новость ему в башку.

В Остин-фрайарз сторожевые псы получают по лишней косточке. Леопардица – лишнюю тушу. Шут Антони ходит по дому с важным видом, звякает серебряными колокольчиками.

Погожим весенним деньком его повышение обнародуют. Новые секретари приступили к работе. Сэр Зовите-меня-Ризли зачитывает грамоту о даровании ему графского титула. Сэр Рейф Сэдлер провозглашает его лордом – великим камергером.

Когда Марильяк в следующий раз приходит ко двору, то при виде его вздрагивает и сворачивает в другую сторону. Ему жаль посла: Марильяк сообщает своему королю то, что Франциск хочет услышать, и даже на расстоянии чувствует пожелания больного. Говорят, Франциск не в силах проехать и полумили. Говорят, он умирает. Однако слухи хоронили его уже много раз. Подобно нашему королю, он всякий раз воскресает.

Генрих говорит:

– Посол Марильяк объявил, что больше не может вести переговоры в присутствии Кремюэля. Он считает вас шпионом императора.

– Это определенное затруднение.

– Вовсе нет. Я могу беседовать с ним наедине.

Он кланяется. Генрих всегда полагал, что государь беседует с государем, а простые подданные жмутся в сторонке. Генрих говорит:

– Нам нужно задобрить Франциска. Если он оправится от болезни, то может заключить со мной договор. И к императору нам тоже стоит подольститься.

Он понимает, что хочет сказать король: ведите двойную игру, Кромвель. Как мы вели ее всегда.

Иногда, говорит он Ризли, самое разумное сгрести свои бумаги и убраться с глаз долой.

Со стороны французского двора – никакого отклика на его возвышение, во всяком случае такого, чтобы доверить бумаге. Со стороны императорского двора – тоже молчание. Зато доставляют поздравление от Эсташа Шапюи, который дожидается во Фландрии, когда Карл вновь отправит его в Англию послом, что, по словам Шапюи, император сделает, как только окончательно уладится разлад между странами.

В Лондоне ходят упорные слухи, что Анну коронуют на Троицу. Он их не опровергает. Они разойдутся за пределы страны и будут способствовать умиротворению. Доктор Карл Харст посещает королеву, но что она ему говорит – неведомо. Харст ничего не делает, только бесконечно одолевает его невразумительными просьбами касательно протокола. Он, граф Эссекс, очень занят, поскольку скоро начинается парламентская сессия, а он приготовил много законопроектов. Король рассчитывает, что он повысит налоги. Деньги от монастырских земель не спешат течь в казну; как он некогда объяснял кардиналу, непростое это дело – превратить акры в звонкую монету.

Он выступает в палате лордов, но говорит не про налоги, а про Бога. Объясняет, к чему стремится король: к гармонии. У него такое чувство, что никогда еще он не говорил так хорошо и не сказал так мало.

После первого заседания парламента к нему приходит государственный секретарь Рейф:

– Ричард Рич недоволен. Считает, что его тоже должны были повысить.

Куда же еще? Чего может желать канцлер палаты приращений? У Рича поместье в Эссексе и один из самых больших лондонских приоратов, Святого Варфоломея. Однако Рейф говорит:

– Он затаил обиду, сэр. Потому что вы любите его меньше, чем Томаса Уайетта.

– Уайетт скоро вернется, – говорит он.

Да как Рич вообще может себя с ним сравнивать?

– Это лишь показывает… – Он не договаривает фразу. Это показывает, какие причудливые чувства люди таят в сердце и отнюдь не выказывают на лице.

Рейф говорит:

– Помните вашего соседа Стоу? Когда он подал жалобу, что вы якобы прирезали к своей земле часть его сада?

– Я не прирезал себе его земли. У Стоу ограда стояла неправильно.

– Мы в Остин-фрайарз все это знаем. Вы сказали, мне известно, где мои границы. Однако Стоу ходил по городу и поливал вас бранью. Его родные сетуют, и все им верят.

Он понимает, о чем говорит Рейф. Он ничего не украл у семьи графа Оксфорда. Однако де Веры так долго занимали камергерскую должность, что вообразили, будто она их на веки вечные.

Гардинер при встрече с ним говорит:

– Мои поздравления, Кромвель.

– Эссекс, – поправляет он. – Я теперь Томас Эссекс.

– Вы обескуражили французов, – говорит Гардинер. – Они были убеждены, что клевское фиаско вас добьет. А если не оно, то еретики в Кале, указавшие на вас как на собрата. Знаете, был такой прорицатель Калхас, который пережил предреченный ему час и умер от смеха.

– Но был еще и поэт Петрарка. Однажды он пролежал как мертвый почти целый день. Близкие молились за упокой его души, а когда собрались его хоронить, он сел – и прожил после того тридцать лет. Тридцать лет, Стивен.

Съезжается двор – самый большой за последние годы. Он видит, как Джейн Рочфорд беседует с Норфолком. Оба оживлены – герцог определенно выказывает ей почтение, чего за ним раньше не водилось.

Позже он подстерегает ее и спрашивает игриво:

– Что вам рассказывал дядюшка Норфолк?

– То, что мне пристало знать.

Она раздраженно, заносчиво отворачивается от него. Он думает: я ее упустил. Когда это случилось?

К нему приходит невестка:

– У меня новости о рукоделии. Знаю, вашей милости будет любопытно узнать.

Он склоняет голову набок: слушаю, мол.

– Мне поручили работу. С этим вполне справилась бы служанка, но вещицу отдали мне. Вещицу Джейн. Джейн, моей сестры, королевы. Это была ее поясная книжица, ее молитвенник. Сказали, спори отсюда инициалы. Я сказала, не буду. Я мистрис Кромвель, а не горничная.

– Леди Кромвель, – напоминает он.

– Мне надо было сказать так, да? Я забыла. У меня титул совсем недавно.

Она готова разрыдаться от злости. Ему хочется обнять ее, но лучше не надо. Бесс надо не шить и распарывать, а заправлять в походном лагере, руководить осадой.

– А дальше я вижу Кэтрин Говард с этой книжицей на поясе. И это не первый ее подарок из вещей дамы, которой она в подметки не годится. Король хочет затащить Кэтрин в постель и проверить, получится ли у него. А родственники говорят ей, не уступай, даже не смотри в его сторону. – Лицо у нее каменное. – Мы, Сеймуры, сами это проделали и не вправе жаловаться – а все равно жалуемся. Говарды считают, он на ней женится. И кто скажет, что этого не случится?

На него наваливается усталость.

– Что говорит Анна? Она наверняка знает. – Он видел, как она держится: хмуро, безучастно. – Она не должна давать королю поводов для недовольства. Если бы я мог ей посоветовать…

– Но вы не можете. Вы с ней не видитесь.

Если бы он мог давать ей советы, то посоветовал бы проявлять терпение. Все восхищались вдовствующей принцессой Екатериной, когда та с улыбкой высиживала многочасовые придворные церемонии подле короля, которого считала своим мужем. Никто не видел слезинки на ее щеке, не видел, чтобы она хмурилась.

– Да, – говорит Бесс, – Екатерина являла собой образец женского поведения. Она умерла, всеми оставленная и забытая, разве нет?

Первого мая Ричард Кромвель должен биться на турнире в Гринвиче. Бои, спектакли и увеселения продлятся пять дней. Ричард в команде зачинщиков, которая зовется Джентльмены Англии, вместе с отважным красавцем Томасом Сеймуром; в числе их противников юный граф Суррей – он впервые выступит на турнире.

Грегори, безусловно, будет участвовать на следующий год – его уже и сейчас приглашают противником для учебных боев. У него нет того веса, что у Ричарда, но есть изящество и бесстрашие, лучшие доспехи, лучшие кони.

– Том Калпепер, – объясняет Грегори. – Мы смотрим, что он будет делать. Он королевский фаворит, на него ставят деньги. Ричарду выпал жребий биться с ним в пешем бою. В конном бою он против него не выступает.

Пеший бой – самое жестокое из всех турнирных игрищ. Тут ты лицом к лицу с противником. Спрятаться некуда.

– Калпепер далеко пойдет, – говорит он. – Пригожий юноша.

– Подождите, я ему красоту попорчу, – говорит Ричард.

И Суффолк, и Норфолк являются к началу состязаний и приветствуют друг друга с всегдашней нелюбезной учтивостью. Суффолк говорит, что ради такого события восстал бы из мертвых, поскольку первенствовал на турнирах: я и король, говорит герцог, всегда Гарри и я. О боги, да, мы в свои дни были удальцы хоть куда.

Если сидеть рядом с королем, под балдахином с гербами Англии и Франции, то чувствуешь, что все его тело напряжено, мышцы сжимаются, будто он сам в седле. Генрих видит, отмечает, оценивает каждое движение, а когда поединок заканчивается, оседает в кресле и выдыхает. Победитель и побежденный снимают шлемы, показывая лица толпе, взмыленные лошади идут боком и выкидывают коленца.

Юный Суррей выехал семь раз; особо не отличился, однако из седла себя выбить не дал. Норфолк, надо думать, предпочитает настоящие бои. Говардовская свита подбадривает Суррея громкими криками, но герцогу довольно того, что сын не посрамил фамильную честь, а тонкости боя его не занимают. Норфолк не из тех, кто тоскует по рыцарским временам; дай ему волю, он бы выкатил пушку и смел противника с лица земли.

Между поединками играют музыканты. Поют «Радуйся, Англия», на открытом воздухе их голоса звучат слабо и нестройно. Потом играют «Медвежий танец» и «Монтарский бранль», так что дамы вскакивают и начинают отбивать ритм, а все, кто не в латах, хлопают в ладоши. Королева сидит, чинно сложив руки, но завороженно следит за всем круглыми от изумления глазами; она ждет от короля знака, когда аплодировать, а когда огорчаться.

Он, Эссекс, входит и выходит, потому что то и дело прибывают гонцы. «Вести из Ирландии», – коротко поясняет он королю. Покуда трубят трубы и трепещут

шелковые флажки, он продирается через кусты и болота, преследуя О’Конноров и О’Нилов, Каванов и Бринов: разбойников, грабителей и поджигателей, готовых открыть порты кораблям Поля.

В первом же бою Ричард копьем выдергивает противника из седла – лучший удар за много лет. Видели, как деревенский мальчишка втыкает нож в хлеб и поднимает его на острие? Так поднимают противника на копье, а его лошадь бежит дальше без седока. Удара, с которым он грохается на землю, почти не слышно, поскольку придворные орут, словно пьяные на медвежьей травле.

Ричард поворачивает коня. Его оруженосцы бегут к концу барьера. Ричард показывает зрителям пустую латную перчатку, будто те не знают, что его копье разлетелось в щепки. Генрих на ногах, в блеске золотой парчи, смеется и плачет от восторга. Все машут Ричарду, чтобы тот подъехал к королю, но он через узкую прорезь шлема не видит сигнала; наконец оруженосец берет лошадь под уздцы, и та, в клочьях пены, идет, фыркая и позвякивая сбруей. Король снимает с пальца алмазный перстень, что-то говорит; Ричард латной рукавицей принимает дар.

Следующий день – воскресенье. Ричард преклоняет колено и встает сэром Ричардом. Генрих целует его. Говорит:

– Ричард, вы мой алмаз.

Третьего мая зачинщики и защитники сражаются верхом, но уже не копьями, а затупленными мечами. Фицуильям, лорд-адмирал, сидит рядом с ним и говорит, перекрикивая лязг:

– С границы сообщают, что шотландцы собирают флот. По словам посла, Яков намерен отплыть во Францию с визитом к родне. Однако наши лазутчики говорят, его цель – Ирландия.

Он косится в сторону Норфолка:

– Лучше бы шотландцы наступали сушей. Милорд мечтает повторить ратные подвиги отца. Наше время не дает ему случая покрыть себя славой.

Фицуильям говорит:

– Мне нужно двадцать кораблей. Я должен поспеть к ирландскому побережью раньше Якова и отогнать его в открытое море.

Он кивает:

– Я прослежу, чтобы вы их получили.

Толпа оглушительно вопит: еще один рыцарь вылетел из седла на зеленую упругую землю, грохнулся тяжелыми доспехами и перекатился кубарем. Победитель снимает с него шлем, зрители рукоплещут. «Кромвель!» – кричат они.

– Вы сегодня популярны, – коротко замечает Фицуильям.

– Они приветствуют не меня, а моего племянника. Надо будет послать Ричарда вместо себя в совет объяснять мои траты.

Приходят счета за путешествие королевы по суше и по морю. Одни только ее тринадцать трубачей обошлись нам почти в сто фунтов. Не далее как сегодня утром он выписал сто сорок фунтов на возведение королевской гробницы – что нечестно, ведь Генрих никогда не умрет.

– Торжественные проводы герцога Баварского обошлись нам в две тысячи марок, – жалуется он.

Лорд-адмирал говорит:

– Для вас ведь это выгодное вложение? Даже если бы вы заплатили из своего кармана.

Он не просит Фицуильяма растолковать эти слова. Он думает о гробнице: сто сорок два фунта одиннадцать шиллингов и десять пенсов. Видели когда-нибудь Раненого в учебниках по хирургии? Под стопой у него железный шип, голень проткнута копьем, между ребер торчит стрела с переломленным древком. В плече тесак, в животе меч, в глазу кинжал. Он истекает деньгами. Вот только что убедил парламент выделить королю двухлетнюю субсидию. В провинции эту меру не одобрят. Однако надо строить форты и снаряжать корабли. Он никогда не верил в дружбу между императором и Франциском, но убежден, что они отложат свои разногласия ради более насущной цели – вторжения в Англию. Он говорит Фицу:

– Они высадятся в Ирландии и оттуда нападут на нас, вместе или порознь. Генрих говорит умасливать обоих, но король – глупец, если верит хоть одному их обещанию.

– Передать ему ваши слова?

Внизу плещет на ветру вышитый герб Кромвелей. Для Ричарда это величайшие дни жизни. Важнее свадьбы, рождения сыновей, дарованных земель, королевских поручений, весомей благополучия и процветания – мгновения, когда мышцы, кости и глаз воина нераздельны, когда заходится сердце, взор ослеплен, а время будто растягивается во все стороны и ты утопаешь в нем, как в сугробе или перине. Он вспоминает, как брат Фрисби лучезарным серафимом барахтался в снегу у аббатства Лонд.

Ричард упорен. Знает, что такой способ одержать победу труден, дорог, несовременен. Однако он, как все Кромвели, хочет пробиться в жизни. Его дед был тюдоровским лучником. Отец – стряпчим. Теперь он рыцарь. Что выражает лицо Суррея под шлемом, можно только гадать.

– А вы когда-нибудь облачались в латы и шлем, милорд? – спрашивает Фиц.

Господи, да нет, конечно, думает он. У нас, пикинеров, не было денег на латы. Мы надевали на себя дубленую кожу и укрепляли ее молитвой. Мы шли в бой в чужих башмаках.

Уайетт, только что с побережья, врывается в дом и говорит с порога:

– Боннер – епископ Лондонский? Вы думаете, вам это на пользу?

– Да. И так я думал. Теперь сомневаюсь.

Боннер розовый, пухлый, выглядит глуповатым, а на самом деле его ум остер, как заточенный гвоздь. Вернулся из Франции, поставлен епископом и наводит на подозрения в двурушничестве. Его, Эссекса, не легко обмануть, но сейчас те, кто вступают в твои ворота друзьями, в двери входят врагами.

– Я думал, он из наших. Быть может, он служит и нашим, и вашим. И все же… – говорит он. – Боннеру многое известно. О Гардинере, о его французских интригах.

– Не следовало давать ему место за то лишь, что он ненавидит Гардинера. Это небезопасно. – Уайетт меряет шагами комнату. – Я слышал, вы обедали.

– Обедали. У Стивена было такое лицо, будто он глотает головастиков.

– Ваши люди говорят, к вам приходил Суффолк. Поостерегитесь. Случись что, он от вас отступится.

– Вы с Брэндоном в ссоре уже десять лет. Из-за чего – забыл.

– Я тоже. И он. Но это не значит, что мы помиримся.

– Езжайте домой к Бесс Даррелл, – говорит он. – Езжайте в Аллингтон и наслаждайтесь летней погодой. Бесс мне помогла. А теперь я в свой черед могу помочь вам.

– Вы ничего мне не должны. Это я ваш должник. Я терзался, не зная, что вы обо мне подумаете. Выполнял ваши указания. Вы сказали мне поссорить императора с Франциском. Я сделал, что велено, но, боюсь, сослужил вам дурную службу.

– Их вражда настолько давняя, что вы напрасно приписываете всю заслугу себе. Они просто вернулись к привычной неприязни. Так или иначе, вы следовали указаниям. Что еще вам оставалось? Будьте покойны, мне это не повредило.

– Кроме того, что вы лишитесь королевы.

Итак, Уайетт знает все. Волны Ла-Манша шуршат, как простыни, шепча Европе о бессилии Генриха.

– Да, верно, без нее плохая игра.

Входит Ризли:

– Уайетт? Я так и думал, что это вы.

Они обнимаются, как боевые товарищи.

– Вы нам объясните, что здесь происходит, – говорит Ризли.

– Но я был за границей, – отвечает Уайетт.

– Это ничего не значит. Здесь ли, за границей, мы не ходим по земле, не плывем по воде и не летаем по воздуху, не знаем, в какой мы стихии. Близится лето, но у короля, как в апреле, то дождь, то вёдро. Люди меняют религию, как плащи. Совет принимает решение и через минуту его забывает. Мы пишем письма, а слова растворяются. Мы играем в шахматы в темноте.

– На доске из студня, – добавляет он.

– Фигурами из сливочного масла.

Уайетт говорит:

– Ваши сравнения меня огорчают.

– Так придумайте нам лучше, дражайший, – говорит Ризли.

Когда они обнимались, он видел глаза Зовите-меня над плечом Уайетта. Они были как глаза Уолтера в тот день, когда он обжегся о горн. Молча ушел сунуть руку в холодную воду, не чертыхнулся, не ругнул себя, только пот выступил на лбу и колени подогнулись.

В тот год дела не дают ему принять участие в церемонии ордена Подвязки. Надо заменить наместника Ирландии, причем срочно. Лет пять назад он назначил на эту должность Леонарда Грея и тоже ошибся. Некоторые советники говорят, что есть лишь одно решение: извести ирландцев под корень и заселить остров англичанами. Однако, он думает, ирландцы забьются в норы, где и крысам-то жить невозможно.

Он говорит Одли:

– Ходят слухи, что армия Поля высадилась в Голуэе. Или в Лимерике. Вряд ли Рейнольд различает их между собой или может сказать, в Ирландии он или в земле Нод. Если судить по тому, как он плутал в прошлом, на нас он двинется через Мадрид.

Одли смотрит недовольно: как можно шутить? Сам лорд-канцлер – воплощенная серьезность с тех пор, как стал рыцарем Подвязки, получил на грудь цепь и Святого Георгия.

Лорд Лайл счел разрешение покинуть Кале и приехать на церемонию ордена Подвязки знаком королевской милости и как же удивился, когда его вызвали в совет и подвергли допросу! Ни для кого не секрет, что приближенные Лайла оставляли дела и ездили в Рим. Мэтью привез толстую кипу свидетельств, да и не только Мэтью. Однако хранитель малой королевской печати так и не получил желаемого – хоть одной бумажки, доказывающей связь Лайла с Полем.

Рейф говорит:

– При таких затруднениях мы обычно берем под стражу Фрэнсиса Брайана. Когда не можем получить нужные ответы на вопросы.

Он улыбается. Да, Брайан знает про Кале все и мог бы пустить ко дну лорда Лайла, а может быть, и посла Валлопа. Но кто поверит Фрэнсису? Наместник Сатаны опрокинул слишком много кубков, слишком много карточных партий сыграл, слишком со многими рассорился; если вы думаете, что in vino veritas, посмотрите на Фрэнсиса. Однако он знает секреты каждого и чуть ли не со всеми в родстве. У него друзья в каждом казначействе, соглядатаи в каждом порту.

Рейф дергает плечами, словно поправляет неудобно уложенный груз. Мы, слуги короля, должны привыкать к играм по правилам, которых нам не объяснили. В них нельзя выиграть, а только ценой непомерных усилий свести их вничью. Мы получаем указания, полные ловушек и капканов, означающих, что, выигрывая, мы проигрываем. Мы не знаем, как идти дальше, но каким-то образом идем, и очередная ночь застает нас в Гринвиче, в Хэмптон-корте, в Уайтхолле.

Король гадает вслух, что делать, если рыцарей ордена Подвязки уличают в измене, как было с Николасом Кэрью? Надо вычеркивать их имена из книг с историей ордена, но не загубит ли это красоту страниц?

Решают, что имя опозоренного останется в книге, но на полях напишут: «Ах! Вероломец», дабы заклеймить его на веки вечные.

Ах! Он вспоминает Гардинера, как тот силится откашлять головастиков, однако испорченный разум раздул их настолько, что отрыгивать придется лягушек.

– Ему нужен святой Элред, – говорит Грегори. – Как-то святой встретил раздувшегося человека, который держался за живот, и сунул тому пальцы в горло; больной вместе с лягушками изблевал семь пинт желчи.

Он говорит сыну:

– У меня для тебя новости. И должен сознаться, это удар.

Вместе с титулом король даровал ему двадцать четыре поместья в Эссексе помимо владений в других графствах. Однако взамен Генрих требует Уимблдонское поместье и дом в Мортлейке.

Грегори моргает:

– Почему, отец?

– Говорит, что больше не может долго сидеть в седле. Хочет соединить большие парки между собой, чтобы ехать на запад от Лондона, не покидая своих владений.

Он, не заглядывая в расходные книги, помнит, сколько потратил на мортлейкский дом, который считал своим пожизненно.

Грегори говорит:

– Вы же не будете тосковать по старым стенам?

Грегори с детства приближен ко двору. Патни – поля и выгоны, за которые Уолтер цапался с соседями, – для него ничто.

Грегори говорит:

– Мужайтесь, милорд отец. Святой Элред помогал не только от боли в животе, но и от поломанных костей. Он исцелял немых, и те начинали говорить.

– И что они сказали? – спрашивает он.

Рассудив, что приспело время, он отправляет стражников к Лайлу: десять человек, ночью, вытащить того из кровати и отвезти в Тауэр. Туда же он прикажет доставить Сэмпсона. Удобно будет получить их признания одновременно, поскольку речь об одних событиях и людях. Незачем отдавать епископа под суд, довольно запереть его и не допускать в совет и до кафедры. В соборе Святого Павла вместо Сэмпсона будет служить Кранмер: пора любящим слово Божие брать дело в свои руки. Для остальных епископов арест Сэмпсона станет предостережением. У него в списке пять имен, и он не делает из этого тайны, но сами имена не раскрывает.

Лайла тоже можно подержать в Тауэре, пока не будут получены все нужные показания, а в Кале заменить его кем-нибудь более деятельным и толковым. Он думает про Уайетта: а почему бы нет? Французы боятся мсье Гуйетта. Хотя, как кто-то сказал, англичане боятся его еще сильнее.

Наутро после ареста Лайла Джон Хуси еще до рассвета является к нему с мольбами. Он говорит:

– Хуси, держитесь подальше от этого всего. Вы были хорошим слугой и заслуживаете лучшего хозяина.

Хонор Лайл по-прежнему в Кале. Мастер Ризли говорит:

– Если подумать, сэр, нам следовало взять ее под стражу вместе с мужем. Из них двоих она более ярая папистка.

– Ее можно поместить под домашний арест, – говорит он. – Проследите за этим, будьте любезны.

И внезапно впервые понимает: для сэра Томаса Ризли я недостаточно жесток.

Теперь он говорит Хуси:

– Если у леди Лайл есть письма, ей разумнее их отдать, чем сжечь. Я очень хорошо умею читать по пеплу.

Король, дав разрешение на арест своего дяди, уходит молиться. Однако с лордом Лайлом не видится, как тот ни просит. Из Шотландии сообщают, что новая супруга родила королю Якову сына.

– Надо было мне на ней жениться, – говорит король. – Однако мои советники не проявили ни расторопности, ни желания.

В славном городе Генте император сидит в завешенном черным зале и вершит судьбы. Он лишает гильдии привилегий, налагает штрафы, изымает оружие, сносит часть городских стен и главное аббатство, говоря, что построит крепость, в которой разместит испанский гарнизон. Он прогоняет самых именитых горожан по улицам босыми, в одежде кающихся, с веревками на шее. Казни длятся месяц.

Раньше казалось, что если выбирать, с кем лечь в постель, с Франциском или с Карлом, то Карл хотя бы менее гнусен. Но как выбирать теперь? Оба равно омерзительны, оба сочатся гноем.

– Нашего короля называют убийцей, – говорит он Брэндону, – но когда я сравниваю…

– Господи, да как они смеют! – восклицает герцог. – Если вспомнить, сколько он натерпелся от мужчин и от женщин, от бунтовщиков, изменников и вероломных советников, то он просто святой.

Норфолк и Гардинер вновь встречаются, как перед отъездом герцога во Францию. Соглядатаи доносят: «Норфолк привез с собой племянницу Кэтрин. В доме Гардинера играли маску. „Величие“. Сэр, ее играли против вас».

Это старая вещица Скелтона, написанная в свое время против Вулси, о том, как плохо, когда простолюдины становятся придворными. Как временщик бахвалится, как грешит, как страдает от него страна. Действующие лица – Сговор и Оскорбление, Безумие и Лукавство, а также само Величие, которое провозглашает:

Я над всеми царю, что хочу, то творю,

Я своим кулаком всех врагов усмирю.

Однако в конце концов Величие низвергают в грязь и лишают неправедных богатств. Входит Отчаяние и убеждает его, гнуснейшего негодяя, какого видел свет, заколоться или повеситься.

И когда он уже готов покончить со своей жалкой жизнью, входит Надежда и спасает его.

Впрочем, если вы считаете, что зрителям так понравится больше, можно эту последнюю сцену не играть, а оставить Величие униженным и раздавленным.

Рейф говорит:

– Зовите-меня играл в маске у Гардинера.

– Вот как? – Он встревожен. – Приглядывает за нашими интересами, не сомневаюсь.

Из личной канцелярии Гардинера доходят слухи: епископ поручил своим людям проверить финансы Зовите-меня. У обоих земли в Гемпшире, так что дела неизбежно переплетаются и о любых сомнительных махинациях епископ рано или поздно узнает. Он говорит:

– Лучше бы Зовите-меня обратился ко мне, и мы вместе посмотрели бы его бухгалтерию.

Иногда приход не сходится с расходом. Иногда в сделках есть дыры. Если проявить смекалку, можно поправить дело, не прибегая к обману.

Он говорит:

– Если Гардинер потребует Зовите-меня к себе, тот должен будет прийти. Ему надо знать, в чем его обвиняют.

Он думает, Ризли обвинит меня, что я научил его стяжательству. Я бы научил его бухгалтерии, если бы он хоть раз набрался терпения меня выслушать. Говорит Рейфу:

– Может быть, удастся сговориться. Гардинеру самому есть что прятать, если кто-нибудь удосужится проверить его дела.

После приема, на котором играли маску, Кэтрин Говард не возвращается к своим обязанностям при дворе. Люди королевы сообщают, что Анна рада от нее избавиться. Однако Анна не знает нашей истории, иначе поняла бы, что это не сулит добра. Девица теперь в Ламбете, в доме своей родни, но здесь у нее собственные дамы и угодливая свита из тех, кто рассчитывает возвыситься вместе с ней. По вечерам король пересекает реку на барке. Его менестрели играют «Танец жонглера», «Ла Манфредину» и «Отъезд милорда и миледи». Генрих задерживается допоздна, обратно барка скользит на веслах после заката, флейты и барабаны молчат.

Он думает о врачах, об их кровавом учебнике. Истыканный, изрезанный и покромсанный, Раненый стоит на странице во весь рост, протягивает руки, одна из которых обрублена в запястье: «Ну давайте уж, что еще вы мне приготовили?»

Он сдержал обещание, данное королю: покладистый парламент удовлетворил все требования казначейства. До начала лета этот парламент будет распущен без объявления новой даты созыва. Хотя он, лорд Эссекс, сложил с себя обязанности государственного секретаря, дел не убавилось. Он готовится к незримым опасностям. Если Поль и впрямь направляется в Ирландию, его кораблей не видно. Лорд-адмирал Фицуильям оставил своих капитанов нести дозор, а сам вернулся в совет.

Лорд Лайл продолжает сыпать обвинениями даже из Тауэра. Чтобы это прекратить, надо перестать задавать ему вопросы. Лайл настаивает, что лорд

Кромвель последние семь лет покровительствовал всем еретикам в Кале, обманывал правосудие и пренебрегал королевскими повелениями.

Лайл не говорит кто, когда и где; в его положении остается только швыряться грязью наугад и надеяться: что-нибудь да пристанет. Хонор Лайл под домашним арестом. Он, Эссекс, нимало не удивился известию, что Лайлы задолжали слугам жалованье за два с половиной года.

Шестого июня король зовет его к себе:

– Милорд, я слышал, на вас нападали.

Нападали?

– Мне к этому не привыкать.

– Открыто оскорбляли на представлении маски, – говорит Генрих. – Однако я дал понять, что те, кто порочит Кромвеля, порочат короля. Лишь я могу укорять или награждать моих слуг, больше никто.

Они – король и его советник – ни разу не разговаривали о племяннице Норфолка. Теперь король дает волю своей досаде:

– Я сказал хорошенькой дурочке несколько любезных слов, а теперь весь свет трубит, что я на ней женюсь. Что вы сделали, чтобы это опровергнуть?

Он говорит:

– Опровергать это – дело Норфолка. К тому же для всего света есть ответ. Ваше величество не может жениться. У вашего величества есть жена.

Генрих говорит:

– Вильгельм был в Генте. Виделся с императором. Они пришли к соглашению. Либо – не знаю, что из этого верно, – зашли в тупик.

Что-то Генриха гложет, что-то, не относящееся напрямую к теперешнему разговору, отсюда раздражительность и резкость. Со временем я выясню, думает он, выясню так или иначе.

– Нам еще не сообщили, что произошло в Генте. И я бы не доверял первым полученным сведениям. Я никогда им не доверяю.

– Что ж, поступают они к вам, – недовольно говорит король. – Я знаю, вам доставляют письма, которые должны были попасть ко мне. Я вынужден посылать к вам в дом и вымаливать сведения о моих собственных делах. Уж наверняка кто-нибудь может нам сообщить, по-хорошему ли расстались император и герцог Клевский? Потому что, если нет, это означает войну. Бесполезно идти в парламент и добиваться для меня субсидий, милорд, если они будут тут же потрачены на войну, которой я не хочу, ради человека, который дурно со мной поступил…

– Не думаю, что Вильгельм будет воевать.

– Да? Так, по-вашему, он столковался с императором? У меня за спиной? Я давно подозревал герцога Клевского в нечестности. Он ведет игру и со мной, и с императором. Хочет иметь за спиной мои войска, чтобы смело предъявлять требования Карлу. Хочет получить от Карла герцогиню Кристину, но при этом сохранить Гельдерн.

– Смелый замысел, – говорит он, – однако может удаться. Разве вы не поступили бы так же?

– Возможно, если бы у меня не было ни страха, ни совести. И ни малейших понятий о долге. Возможно, происходи это двадцать лет назад. Ваш Макиавелли утверждает, что фортуна благоволит к молодым.

– Он не мой.

– Да? Кто ж тогда ваш?

– На вас смотрели как на зерцало государей задолго до того, как я появился при дворе. Вы в совершенстве владеете искусством правления.

– И все же, – говорит Генрих, – вы разбиваете мне сердце. Вы твердите: я думаю и забочусь только о вас, сэр. Однако вы отказываетесь освободить меня от этого гнусного, богопротивного мезальянса. Вы тщитесь оставить меня проклятым – без надежды на будущее потомство, в союзе с ересью, одолеваемого расходами и опасностями войны.

– Извините меня, – говорит он и переходит на другую сторону галереи, в яркий свет, прячущий его от взглядов придворных: те сбились в кучку на отдалении и пристально на него смотрят. Он думает: я иду над облаками.

Оборачивается:

– Ваше величество держит в своих покоях портрет Кристины.

– Я мог бы ее получить, – говорит Генрих, – если бы вы пожелали. Кромвеля устраивало лишь одно – женить меня на сестре лютеранина.

– Вашему величеству, полагаю, известно, что герцог Вильгельм не лютеранин. Подобно вашему величеству, он идет собственной дорогой, путеводный свет для своих подданных.

Король начинает говорить, затем умолкает, отрекаясь от собственных мыслей, и продолжает уже другим тоном, веселым, будто шутит:

– Норфолк спросил меня, сколько Кромвелю заплатили за то, чтобы обстряпать брак с принцессой Клевской?

– Я уверен, ему известны источники моих доходов. Как и вашему величеству.

Генрих все с той же веселостью:

– Я вам говорил, от меня ничто не укроется. И еще Норфолк спрашивает: «А помимо того, что он получил, сколько ему платят за сохранение этого

брака?» Норфолк полагает, немалую сумму, коли вы с начала года действуете вопреки моему неудовольствию.

Надо тщательно выбирать слова: не дать обещаний, которые он не сумеет исполнить.

– Я сделаю что смогу, но, если вы разведетесь с королевой, я не смогу отвратить дурных последствий.

– Вы мне угрожаете? – спрашивает Генрих.

– Боже сохрани.

– Он и сохраняет.

Король отворачивается и смотрит в стену. Как будто его заворожила деревянная резьба.

На следующий день у него не назначена встреча с королем, однако он наполовину ждет какого-нибудь послания. Король любит гонять тебя по стране, чтобы крики «Срочно! Срочно!» отдавались в ушах, словно лай бегущих по следу гончих.

Приносят письмо. Он читает и переваривает. Это королевский приказ. Он кладет письмо к другим бумагам. Ждет вызова во дворец, но его не зовут. Он достает письмо из бумаг и дает Ризли. Думает, Зовите-меня все равно бы откопал его из любопытства, а если Зовите-меня доносит Гардинеру… что ж, пусть донесет. В следующие несколько дней мы попытаемся сделать выводы.

Ризли, держа письмо в руках, говорит:

– Король не стал бы вас возвышать, сэр, только чтобы уничтожить. И не дал бы вам эти поручения, если бы не рассчитывал, что вы будете их исполнять.

«Книга под названием Генрих»: никогда не говори, что того-то король точно не сделает.

Он садится:

– Насколько я понимаю, он хочет развестись с королевой. Однако здесь для меня есть затруднение. Я должен сообщить совету, что брак не был осуществлен. Король пишет, я могу сказать Фицуильяму. И еще одному-двоим, если потребуется. В то время как все уже и без того знают. Все знают, что брак был обречен изначально.

Он проводит рукой по лицу. Ирландские бумаги лежат нетронутые. Время ужина, но есть не хочется, и у государственно секретаря Ризли, судя по лицу, аппетита тоже нет. А жаль, ведь Уайетт прислал из Кента раннюю клубнику.

Зовите-меня говорит:

– Вы можете поработать с ранее заключенным договором. Даме придется назначить пенсион. И выполнить все, что потребует ее брат в качестве возмещения. Впрочем, если она по-прежнему девица, Вильгельм может найти ей другого мужа, что будет заметным облегчением для нашей казны.

Он думает, Анна, возможно, сыта мужчинами на всю жизнь. Засунул в нее два пальца. C’est tout.

– Чтобы не позорить короля, – говорит Зовите-меня, – мы можем упомянуть его сомнения. Король опасался, что она несвободна и связана брачным договором с герцогом Лотарингским, потому решил не прикасаться к ней до получения документов. Которые так и не…

– Но зачем мне… – начинает он.

– …И теперь король полагает, как всякий полагал бы на его месте, что клевские советники нарочно затягивают…

– …зачем мне это делать? Если не станет Анны, явится Норфолк под руку со своей шлюшонкой. Он думал править через другую свою племянницу, но та его быстро окоротила. Что эта будет покладистой, видно по лицу. Норфолк рассчитывает выгнать меня из совета, чтобы вместе со своим новым другом Гардинером вернуть нас под власть Рима. Но я этого не допущу, Зовите-меня. Я буду бороться. Можете передать это Стивену от моего имени, когда снова его увидите.

Ризли сжимается, как собака под ударом хлыста. Скулит под грузом знания, как все, кто служит королю.

В ту ночь ему снится, что он в Уайтхолле, на винтовой лестнице, ведущей к арене для петушиных боев. Бойцовые петухи, белые и рыжие, топорщат перья. Наскакивают, хлопают крыльями, рвут друг друга когтями, бьют стальными шпорами, клюют в глаза. Здесь они умирают под крики и топот зрителей, а те, забрызганные кровью, бьют по рукам и выплачивают проигрыш. Мертвого петуха граблями убирают с арены и бросают шавкам.

Наутро он в Вестминстере. Присутствует на заседании палаты лордов. Обедает. К трем идет в зал совета, Одли рядом с ним, Фицуильям позади, Норфолк мельтешит в лучах солнца: то обгоняет, то отстает, разговаривает с вооруженными приспешниками.

День ветреный, и на пути через двор резкий порыв сдувает с него шапку. Он не успевает ее поймать, и она, подпрыгивая, катится к реке.

Он глядит на спутников, и по спине пробегает холодок. Никто из советников не снял шляпу, все идут, как шли. Он прибавляет шаг, словно хочет от них оторваться, но они упорно не отстают.

– Недобрый ветер сорвал шляпу с меня, но не тронул ваших, – говорит он.

Вспоминает Вулфхолл, тихий вечер, руку Генриха у себя на плече. Распахивается дверь, музыканты играют королевскую песню «Коль царила бы любовь», и они вместе идут ужинать.

Сейчас солнце блестит на серебряных нитях в одеянии лорда Одли, играет на синем парчовом плаще лорд-адмирала. Вспыхивает алым в уголке его глаза, когда он прикладывает руку к груди, к сердцу, однако кинжала здесь нет, лишь шелк, лен, кожа. Рейф был, конечно, прав. Когда кинжал нужен, невозможно пустить его в ход.

Снизу тянут за рукав.

– Это вы потеряли, лорд Эссекс?

Мальчонка раздулся от гордости: и что шляпу поймал, и что знает, кто из лордов кто. Он достает монетку, смотрит в задранное кверху мальчишеское лицо:

– Я тебя знаю. Ты носил камыш в Йоркский дворец.

– Благослови вас Бог, милорд, это небось был мой брат Чарльз. А я Джордж. Мы с ним на одно лицо, нас часто путают. Только Чарльз… – Мальчик тянет руку вверх, показывая, какой сейчас его брат.

– Да уж, – говорит он.

Когда Чарльз носил камыш, Анна Болейн была еще простой маркизой; а поскольку он шел в ее логово, Чарльз спросил: «У вас есть образок, сэр, защититься от нее?»

Он говорит:

– Кланяйся от меня брату. Надеюсь, у него все хорошо? И спасибо тебе за шляпу.

Он вроде бы замечает Стивена Гардинера, черную тень на фоне красного кирпича. Где государственные секретари, думает он, кто-нибудь из двоих должен присутствовать… В горле сухо. Сердце трепыхается. Тело знает, голова только начинает понимать… а тем временем мы идем на заседание совета.

Они вступили под крышу, оставив летний день позади. Он думает, здесь я расстался с последним своим приверженцем: Джордж вприпрыжку умчался по лугу, подбрасывая в воздух награду. Рича нигде не видно. Он думает, Уайетт сказал, Чарльз Брэндон мне не поможет, и даже если это неправда, Брэндона здесь нет. А вот Норфолк подкрался сзади. Флодденский Норфолк, отец, прозванный в честь битвы. Как вам такое, Кромвель?

Он думает, мой отец Уолтер не оставил бы кинжал дома. Будь здесь мой отец, я бы не боялся – боялись бы враги. Будь здесь Уолтер, они бы попрятались под столом и обмочились со страху.

Он озирается:

– Будет ли милорд архиепископ?

Фицуильям отвечает:

– Мы его не ждем.

Гардинер вошел вслед за ними. Загораживает дверь.

– Что это значит, Винчестер? – спрашивает он. – Вы вернулись в совет?

– Как и следовало ожидать, – отвечает Гардинер.

– Посмотрим, надолго ли. Кто-нибудь хочет держать пари? – Он садится. – Наше число уменьшилось, но, может быть, начнем?

Фицуильям говорит:

– Мы не садимся с изменниками.

Он готов: вскочил, зубы стиснуты, глаза сузились, дыхание учащенное.

Норфолк говорит:

– Я вырву у вас сердце и затолкаю вам в глотку.

Писари, прижимая бумаги к груди, отступили к стенам, пропуская королевских алебардщиков. Советники бросаются на него. Словно стайные звери, они рычат и скалят зубы, сопят и наскакивают. Фицуильям тянет руку сорвать с него орден Подвязки. Он отбивается, толкает Норфолка так, что тот отлетает к столу. Однако Фицуильям напрыгивает снова. Они тянут его, тащат, пинают, толкают, осыпают ударами, золотую цепь сорвали, он набычился, выставил кулаки, ревет, трясется от ярости, не думает, что говорит, да это и не важно – все кончено. Цепь и Георгия отняли. Кто-то смахнул на пол его бумаги.

Уильям Кингстон высок и широк в плечах – советники расступаются перед ним.

– Милорд? Вам придется пойти со стражниками. – В голосе безусловная уверенность. – И благоразумнее вам держаться ближе ко мне. Я пойду рядом и проведу вас через толпу.

Кингстон отводит лишь в одно место. И когда явился Кингстон с ордером на арест, сердце кардинала ослабело, ноги подогнулись, он сел на сундук и рассыпался в сетованиях и молитвах.

В дверях Гардинер говорит:

– Прощайте, Кромвель.

Он останавливается:

– Называйте меня моим титулом.

– У вас больше нет титула, Кромвель. Вы таков, каким вас сотворил Господь. Да будет Он к вам милостив.

Солнце слепит, лиц не разглядеть. Советники вываливаются следом за ним. Очевидно, делами сегодня заниматься не будут, а может, считают, главное дело уже сделано.

Он думает, сейчас мне помог бы лишь тот, кто застрелил Пакингтона. Впрочем, даже для умелого стрелка целей слишком много. Кого бы выбрал я?

Его ждет лодка. Все подготовлено так тщательно, будто он сам этим занимался. Двухминутная потасовка, но ее, он полагает, заранее приняли в расчет. Быть может, кто-нибудь получил кулаком в морду, но их было столько на одного, они знали, чем все кончится. Отряхнули с себя пыль, сплавили меня с глаз долой.

Сегодня десятое июня. Когда во дворе с него сдуло шляпу, было около трех часов. Сейчас еще нет четырех. Полдня впереди. Он спрашивает Кингстона:

– Милорда архиепископа не арестовали?

– У меня нет такого приказа, – бросает Кингстон, но тут же добавляет: – Не тревожьтесь за него.

– Грегори?

– Я час назад видел вашего сына в палате общин. На его счет у меня приказов нет.

– А сэр Рейф? – Сегодня он очень внимателен к титулам.

– Возможно, его подстерегли, чтобы не допустить на встречу. Но опять-таки у меня нет приказов касательно государственного секретаря.

Он не спрашивает, а что Ризли? Говорит:

– Вы пошлете ко мне домой за кем-нибудь, кто будет прислуживать мне до моего освобождения?

Кингстон говорит:

– Не в нашем обычае оставлять джентльмена без слуги. Назовите имя, и его позовут.

– Пошлите в Остин-фрайарз, спросите Кристофа.

Он думает, я избит до синяков, но болеть они начнут только завтра. Под ними колышется лазурная вода. Впереди Тауэр. Камень искрится, точно море под ярким солнцем.

Часть шестая

I

Зеркало

Июнь-июль 1540 г.

Закат. Кристоф стоит на пороге; одежда порвана, глаз подбит.

– Мне велели поклясться, что я буду передавать каждое ваше изменническое слово. Я поклялся, а потом вышел наружу и плюнул. – Кристоф расхаживает по комнате. – Там внизу река. Можно устроить побег.

– Болван, – отвечает он. – Как отсюда сбежать? А даже будь это возможно, что бы сталось с моими близкими? По-твоему, они бы все уплыли со мной в Утопию на одном большом корабле?

Думает, по крайней мере Кристоф никого не зарезал моим кинжалом, а если и зарезал, трупа не нашли.

– Они ввалились в дом, – говорит Кристоф. – Потребовали ключи. Я сказал, ничего им не давайте. Но Томас Авери подчинился.

– У него не было выбора.

– Захватили дом, будто солдаты. «Все здесь принадлежит королю». Забрали деньги из сундуков. Взломали замок нашего чулана, от которого ключ только у вас. Я сказал одному: «Смотри под ноги, скот, – наследишь на ковре с шелковыми цветами, лорд Кромвель самолично спустит с тебя шкуру». Так нет, он все равно пошел по ковру. Они спустились с факелами в подвал. Вошли и кричат: «Кости!»

Кости и мощи, частью безымянные, частью подписанные. Он думает, я дам поручение: найдите в подвале Бекета и сорвите с него бирку. Это с ним покончит.

Спрашивает:

– Кто у них был за главного?

– Кто, как не Зовите-меня?

Он поднимает голову:

– Ты не удивился?

– Никто не удивился. Но всем было гадко.

Он думает: Гардинер не спросил Ризли, с кем вы, с Кромвелем или со мной? Гардинер сказал: выбирайте, либо я, либо смерть.

Кристоф говорит:

– Они побросали ваши бумаги в ящики и унесли. Зовите-меня показывал, где искать: загляните в тот сундук, откройте этот. Только он нашел не все, что искал, так что под конец разорался. Томас Авери и говорит: «Я подозревал Зовите-меня все последние месяцы. Зачем хозяин его привечал?»

– Христос привечал Иуду. Впрочем, я не навязываю сравнение.

– Потом пришел Ричард Рич. И тоже давай орать: «Посмотрите в желтом сундуке под окном!» – Кристоф ухмыляется. – А желтый сундук-то сплыл.

И вместе с сундуком – вся его переписка со швейцарскими богословами. Пусть теперь утверждают, будто он еретик, отрицающий присутствие Божие в облатке. Доказательств у них не будет. А ему не составит труда сказать, что Бог повсюду.

– Все ждут вашего возвращения. Вы вернетесь, и все станет по-прежнему. А до тех пор я вам буду служить здесь. – Кристоф смотрит на золоченый потолок. – Я боялся, вас бросили в подземелье.

– Ты тут прежде не бывал?

Он сам отделывал эти комнаты, семь лет назад, для Анны, которой предстояло жить здесь несколько дней накануне коронации. Он их заново застеклил, заказал написать на стенах богинь, сменивших цвет глаз с карего на голубой, когда королевой стала Джейн Сеймур. Входишь через большую кордегардию. За ней присутственная зала, светлая и просторная, где он сидит сейчас, дальше столовая, спальня и крохотная молельня.

– Это не ради моего удобства, – говорит он, – а ради тех, кто придет меня допрашивать. Я их жду в самом скором времени.

Ибо королевские советники были готовы к моему аресту, даже если я готов не был. Как они это провернули? Какими тайными перешептываниями, движениями бровей, какими кивками и подмигиваниями? И что наплели королю? Надо думать, наушники просачивались к нему, как только я выходил. Неудивительно, что Генрих говорил, повернувшись ко мне спиной. Неудивительно, что он обращался к стене.

– Скажи Терстону, пусть не вешает фартук на крюк. Пусть присылает мне еду.

– Когда вы отсюда выйдете, – говорит Кристоф, – мы порешим Норферка, оторвем ему голову и кинем псам. Рича я приколочу к полу, где крысы будут отъедать от него по кусочку, и чем дольше он будет умирать, тем лучше. Зовите-меня я отрежу ноги и стану смотреть, как он ползает по двору, пока не сдохнет.

Он опускает голову на руки. Планы Кристофа отняли у него последние силы.

– То-то я потешусь, – продолжает Кристоф. – А Генриха я буду пинать по Уайтхоллу, как свиной пузырь. Вот лопнет, посмотрим, кто тут король. Вот размажу его по камням, посмотрим, кто победил.

В первую ночь, оставшись один, он пытается молиться. Шапюи как-то спросил его, что вы сделаете, когда Генрих от вас отвернется? Он ответил, вооружусь терпением и предоставлю остальное Богу.

Некоторые книги учат, размышляй о последнем часе, проживай каждый день так, будто ночью тебя ждет не постель, а гроб. Богословы советуют это не только узникам и больным, но и людям в расцвете славы и процветания: купцам на Риальто, правителям в сенате.

Но я не готов, думает он. Дайте мне увидеть врага. И король переменчив. Это все знают. Мы постоянно сетуем на его непостоянство.

Однако бывало ли – он не может такого вспомнить, – чтобы Генрих, повернувшись спиной, вновь поворачивался лицом? Он оставил Екатерину в Виндзоре и никогда с ней больше не виделся. Уехал от Анны Болейн, отдал приказ ее убить и препоручил ее другим.

Он прочел библиотеки томов под названием «Зерцало государей»; там говорится, что мудрый советник всегда готов к монаршей немилости и смерть почитает за награду. Разве апостол Павел не сказал, что желает умереть со Христом? Однако он ничего так не желает, как быть у себя в саду этим ласковым вечером, бесполезно меркнущим за окном: у дверей стража на случай, если Кромвель вздумает прогуляться.

Он прикладывает руку к сердцу. Чувствует в груди что-то инородное – будто сердце сжимает с одной стороны и тянет с другой. Сколько дней осталось? Мои недруги будут подгонять Генриха. Они бы предпочли убить меня на этой неделе из опасений, что не смогут долго распалять королевский гнев. Но если Генрих хочет избавиться от Анны, я нужен ему живым, а дело может оказаться не простым и не быстрым. Если я продержусь два месяца, к тому времени Генрих рассорится с Гардинером. Тогда он обратится к Норфолку и что обнаружит, помимо упрямства, тупости и желчи? Так кто будет за него править? Фицуильям? Тунстолл? Одли? Они довольно толковые – толковые помощники главного министра. Три месяца, и королевские дела придут в такой беспорядок, что он станет умолять меня вернуться.

А я скажу: «Нет, ваше величество, я сыт вами по горло. Я еду в Лонд».

Но в следующий миг, в мгновение ока, я выхвачу печати из его рук: итак, ваше величество, с чего мне начать?

Он думает о Томасе Море: тот пробыл в Тауэре пятнадцать месяцев и беспрерывно писал, пока у него не отобрали перо и бумагу. Мор, впрочем, мог выйти на свободу в любую минуту. Ему довольно было лишь произнести некие волшебные слова.

Когда великан убивает Джека, то сам начинает чахнуть. Хиреет и усыхает от одиночества и сожалений. Однако умирает великан лишь через семь лет.

На следующее утро в восемь приходит Кингстон:

– Как вы себя чувствуете, милорд?

– Очень плохо, – отвечает он.

В покоях королевы, разумеется, есть зеркала. Он видел себя в них, небритого, бледного, растерянного.

– Это обычное дело для арестантов, – говорит Кингстон, – особенно если перемена участи была для них неожиданной.

– И каково лекарство?

Быть может, никто еще не задавал Кингстону такого вопроса, однако комендант Тауэра не из тех, кто колеблется с ответом.

– Примите то, что случилось. Примиритесь сами с собой, милорд.

– Я по-прежнему «милорд»?

Кингстон говорит:

– Вы вошли сюда графом Эссексом, и вы Эссекс, пока мне не сказали обратное.

Итак, Гардинер ошибся: ошибся и в большом, и в мелочах. Он не знает, мелочь ли его графское достоинство. В очах Божьих, возможно, да. Однако в эти два месяца он ощущал свой титул как защиту, как стену, что выстроил вкруг него государь.

– И еще, – говорит Кингстон, – король прислал денег на ваше содержание. Он желает, чтобы у вас было все, положенное вам по рангу.

Он хочет спросить, содержание на какое время? Кингстон отвечает без вопроса:

– Король оплатит все, что будет потребно. Срок не указан.

До вчерашнего дня у него были свои деньги. Теперь он нищий и живет на королевское подаяние.

Кингстон продолжает, словно о чем-то неважном:

– Здесь ваш молодой человек.

У него падает сердце.

– Грегори?

– Я хотел сказать, Рейф Сэдлер. Вернее, государственный секретарь сэр Рейф. Вечно забываешь эти последние назначения. И нет, Боже вас сохрани, он не под арестом. Я хотел сказать, он пришел осведомиться о ваших нуждах.

Рейф, во всем черном, спарился от жары.

– Доброе утро, сэр. Ветер совсем улегся. Снаружи печет, как в августе. Говорят, все лето такое будет. Нам не угодишь, да? Тепло, холодно, мы всегда жалуемся.

Взгляд мечется туда-сюда по комнате – Рейф не в силах смотреть ему в лицо. Снимает шапку, мнет, тискает в пальцах бархат.

– Рейф, – говорит он, – иди сюда. – Обнимает его. – Кингстон меня напугал, я решил, что тебя арестовали.

Рейф осторожно трогает его за рукав, будто проверяет, по-прежнему ли он человек из плоти и крови.

– Думаю, и арестовали бы, да только король не хочет перебоя в делах. Я сам не знаю, на каком я свете. Сегодня рано утром отправил Хелен с детьми из Лондона.

– За тобой будут следить. – Он садится. – Я болен, Рейф. Дышать тяжело. Чувствую себя раздавленным. Кингстон говорит, надо привыкать.

– Это потрясение, сэр. Я сам не знал, что происходит, иначе бы как-нибудь вас предупредил. Когда мы шли в совет, меня нарочно отвлекли по какому-то пустяшному делу, а потом я поворачиваю в вашу сторону и вижу стремящуюся прочь толпу. Одли говорит мне: «Ваш господин арестован, я иду в парламент об этом сообщить». Он был готов заранее, у него в кармане лежала написанная речь. Ждал только известия от стражи.

Он думает, я не успел вступить в лодку, как меня повезли через реку Стикс.

– И как парламент воспринял новость?

– Молча, сэр.

Он кивает. Должно быть, в обеих палатах изумились, что человека, которого в апреле сделали графом, в июне вышвыривают пинком, будто пса, укравшего мясо. Впрочем, членам парламента и не положено понимать Генриха. Король не отвечает перед низшими, своими подданными, а только перед Всевышним – если еще отвечает. Послушать Генриха, Господь должен быть благодарен за все, что Генрих сделал для Него в последние годы: перевел Его книгу, пустил Его в народ.

Рейф говорит:

– Эдвард Сеймур тут же отправился к королю просить за Грегори.

– А за меня он просил?

– Нет, сэр.

– А кто-нибудь за меня просил?

– Да. Но я не слышал.

– И Кранмер не просил?

– Кранмер пишет королю письмо.

– Попытайся разузнать для меня, что в этом письме. – Он опускает голову. – Когда я думаю про Зовите-меня… Гадаю, что его понудило… Наверное, я ждал такого от Рича. Хотя я был добр к обоим.

Рейф имеет полное право сказать, я вам с самого начала советовал не доверять Зовите-меня. Однако говорит он другое:

– Все те годы, что мы его знаем, он старался показать нам свой несчастливый характер. Как он вечно не находит себе места от беспокойства, как гложет его зависть. Он предупреждал нас насчет себя.

– На самом деле всему виной мое самомнение. Я не думал, что кто-нибудь предпочтет мне Гардинера.

– Гардинер ему угрожал. Но это вам известно. Что до Кошеля, он бежит за тем, кто сегодня в победителях.

– Скажи Грегори быть настолько смиренным, насколько он сочтет нужным. Его будут допрашивать. Пусть говорит то, что они хотят услышать. И Ричард тоже.

– Ричард в ярости. Хотел идти прямиком к королю.

– Скажи ему, чтобы ничего такого не делал. Пусть сидит тихо и держится подальше от Грегори, и пусть оба держатся подальше от тебя. Не давайте повода обвинить вас в заговоре. Я знаю, как работает мысль Генриха.

Еще произнося эти слова, он думает, нет, все-таки не знаю, иначе не оказался бы здесь. Отдаление от друзей не спасет Грегори. Деньги за границей не спасут. Остается одно – покоряться Генриху во всем, пока его кровожадность не пойдет на спад.

– Как Грегори это перенес?

Ему видится, что Грегори плачет навзрыд, безутешно, как маленький ребенок.

– Опечалился, сэр.

Опечалился? Впрочем, скажи ему кто в детстве: «Твоего старика завтра повесят», он бы не опечалился. Он бы сказал: «Приду пораньше! А пироги будут продавать?»

Он говорит:

– Король дал понять, к каким обвинениям мне готовиться? Или, может быть, Одли?

Рейф отводит взгляд:

– По всему, это будет в основном насчет Марии. Что вы якобы хотели на ней жениться. Король решил наконец прислушаться к слухам. Написал о них Франциску, собственноручно, как мне сказали. Послал за Марильяком – объяснить ему ваш арест. Хотя, думаю, Марильяк бы сам все королю объяснил, потому что французы и распускали эти слухи.

– Начал Шапюи.

– Возможно. Кто знает, где они зародились? Может, у Марии в голове. Я бы не удивился. Она очень странная.

– Нет, – говорит он, – я убежден, она к этому непричастна.

– Вы всегда думали о ней лучше, чем она заслуживает. Вряд ли она шевельнет ради вас пальцем, сэр, хотя, как нам всем известно, вы спасли ей жизнь. Генрих верит – но я не понимаю, как он может в такое верить, – что вы намеревались на ней жениться, свергнуть его и стать королем.

– Бред! Как он мог такое подумать? Как бы я это осуществил? Как я мог о таком хотя бы помыслить? Где моя армия?

Рейф пожимает плечами:

– Он боится вас, сэр. Вы его переросли. Стали больше, чем дозволено слуге или подданному.

И вновь история кардинала, думает он. Вулси сгубили не поражения, а победы, не ошибки, а обида на то, как он велик.

Он спрашивает:

– Мои книги забрали?

– Скажите, какие вам нужны, я принесу.

– Найдешь мою древнееврейскую грамматику? Николя Кленар из Лёвена. Она у меня в Степни. Давно хотел ее изучить, да все времени не было.

Кленар советует усвоить главные правила, прежде чем переходить к частностям. Говорят, по этой книге можно выучить начатки языка за три месяца. Возможно, я столько не проживу, думает он, но стоит хотя бы начать.

Двенадцатое июня, первый допрос.

– Начнем с пурпурного атласного дублета, – говорит Ричард Рич.

Ричард Рич сидит в одном конце длинного стола, Гардинер и Норфолк расположились на почетных местах, а государственный секретарь Ризли беспокойно ерзает на другом конце.

– До последнего времени я не думал, что вы такие товарищи, – говорит он, когда Гардинер и Норфолк усаживаются. – Прежде вы скорее обменялись бы оскорблениями, чем сели за стол по-дружески.

– Мы не всегда были едины во взглядах, – говорит Норфолк, – но одно у нас с Винчестером общее: когда мы чуем правду, мы идем по следу. Так что берегитесь, Кромвель. Что мы подозреваем, то мы из вас вытянем, так или иначе.

Угроза грубая, неприкрытая.

Он говорит:

– Я расскажу вам правду, какой ее знаю. Ничего другого вы от меня не дождетесь.

Гардинер острит перо:

– Говорят, Истину рождает время. Хотел бы я, чтобы время плодилось, как кролики. Мы бы скорее достигли цели.

Входит писарь. Он приветствует его по-валлийски:

– Доброго тебе утра, Гвин. Славная солнечная погодка.

– Ну уж нет! – рычит Норфолк. – Прогоните его и позовите другого.

Гвин забирает свои принадлежности и уходит. Довольно долго ищут писаря, который устроил бы Томаса Говарда и с которым Кромвель не был бы знаком. Наконец все улажено.

Ризли говорит:

– Вы продолжите, Рич? Про дублет?

Рич кладет руку на свои бумаги, словно на Евангелие:

– Вы же понимаете, сэр, что я задаю вам эти вопросы по долгу службы и лично не питаю к вам зла.

Рич заранее себя выгораживает – значит, думает, что Генрих может его вернуть. Он говорит:

– Можно мне увидеться с королем?

– Нет, клянусь Богом, – отвечает Норфолк.

Ризли говорит:

– Это последнее…

Рич говорит:

– Что навело вашу милость на такую мысль?

Он снимает перстень с рубином:

– Это подарил мне король Франции.

– Вот как? – Норфолк кричит писарю: – Эй ты, записывай!

– И тогда я передал перстень королю. Который позже соблаговолил вернуть его мне, сказав, что это будет между нами знак и, если я когда-нибудь пришлю ему данный перстень, даже если у меня не будет печати, даже если я не смогу писать, он поймет, что послание от меня. Так что я отправляю этот перстень ему.

– Но чего ради? – спрашивает Гардинер.

– Разумный вопрос, – говорит Рич. – Король знает, где вы. Знает, кто вы и что вы.

– Перстень напомнит королю, как я ему служил, прилагая все силы и способности. Как я надеюсь служить ему еще много лет.

– Вот это нам и предстоит тут решить, – говорит Рич. – Служили вы ему или нет. Обманули ли вы его доверие, как он полагает, и посягали ли на его трон.

Надо как-то убедить Рича, думает он, и Ризли тоже, что, если Генрих дарует мне свободу, я не стану им мстить. Иначе они уничтожат меня от страха.

– Каким образом посягал? – спрашивает он тоном светского разговора.

– В Остин-фрайарз нашли письма, – говорит Гардинер. – Опровергающие ваши уверения, будто вы верный и безобидный подданный.

– Явные доказательства измены, – подхватывает Норфолк.

– Я жду, когда вы расскажете мне, что это за письма. Я ведь не могу угадать, что за фальшивки вы изготовили.

– Это лютеранские письма, – говорит Рич. – Письма от самого Мартина и его еретических собратьев.

– От Меланхтона? – спрашивает он. – Король сам ему писал.

Гардинер свирепо хмурится:

– А также от немецких князей, побуждающие вас к действиям, губительным для короля и страны.

– Там нет таких писем, – говорит он. – Они никогда не существовали, а если бы существовали…

– Логика крючкотвора, – перебивает Норфолк.

– …а если бы существовали и в них бы содержалась крамола, стал бы я держать их в доме, где вы их сможете найти? Спросите Ризли, что он думает.

Гардинер смотрит на Зовите-меня.

– Что я думаю… – мямлит тот, – что я на самом деле… – И умолкает.

– Продолжайте, – говорит он. – Или вы ждете, что я составлю повестку и буду вести собрание? Мне казалось, вы хотели что-то узнать про мой гардероб.

– Да, дублет, – говорит Рич. – Мы начнем с него, а к изменнической переписке вернемся, когда мастер Ризли придет в себя. Во дни кардинала вы имели в своем гардеробе и публично носили дублет пурпурного атласа.

Он не смеется, потому что видит, к чем они клонят.

Норфолк вопрошает:

– Что дало вам право носить пурпур? Это привилегия монархов и князей церкви.

Рич говорит:

– Возможно, он был малиновый? Если малиновый, то это простительно.

Ризли говорит:

– Я сам его видел. Он был пурпурный. И более того, вы носили соболя.

Он думает: куда хуже тех прекрасных соболей, что я покупал позже.

– Я мерзну. К тому же они были дареные. Мне подарил их клиент, не знающий наших порядков.

Рич сводит брови; ответ сулит столько многообещающих путей, что он не знает, какому следовать.

– Когда вы говорите «клиент», вы имеете в виду иностранного государя?

– В ту пору государи не присылали мне даров.

– И все же, – говорит Гардинер, – даже если ваш клиент не знал наших порядков, вы-то их знали.

Норфолк гнет свое:

– Не по чину и положению вам было рядиться так, будто вы уже граф.

– Верно, – отвечает он, – но отчего вашу милость смущает то, что не смущало короля? Он не желал, чтобы его приближенные ходили в дерюге.

Норфолк говорит:

– Дублет – лишь один пример вашей непомерной гордыни. Оскорбительны не только ваши наряды, но и ваша речь. То, как вы держитесь. Как перебиваете короля. Перебиваете меня. Унижаете посланцев великих государей. Они приходят к вам, а вы велите слугам отвечать, что вас нет дома. После они узнают, что вы в саду катали шары! Они понимают, что ими пренебрегают.

– Кстати, о послах… – начинает Рич.

– Не сейчас! – рявкает Гардинер.

Норфолк говорит:

– Король доверяет вам высокую должность. И вы отбрасываете все установленные правила. Ставите подпись на клочке бумаги, и тысячи фунтов выплачиваются по одной вашей писульке. Лезете в любое королевское дело. Отменяете решения совета. Диктуете государственную политику. Читаете чужие письма. Подкупаете чужих слуг. Забираете себе чужие обязанности.

– Я действую, когда надо действовать. Иногда правительство должно работать быстро. – Он думает: я не могу ждать столько, сколько ворочаются ваши мозги. – Мы должны предвосхищать события.

– Не понимаю, как это возможно, если только вы не обращаетесь к колдунам, – говорит Рич.

Джентльмены переглядываются. Он спрашивает:

– Так с дублетом вы покончили?

Заходит посыльный, шепчет Гардинеру на ухо. Вручает бумагу, которую тот передает герцогу – украдкой, однако он, Томас Эссекс, успевает различить печать французского короля. Норфолк читает с явным удовольствием – с таким удовольствием, что не может удержаться:

– Франциск поздравляет нашего короля с благим начинанием.

– С вашей отставкой, – поясняет Гардинер. – Французам есть что рассказать нам по поводу ваших честолюбивых устремлений. Не говоря уже о том, как вы обманывали доверие нашего государя.

Тут-то он наконец понимает то, что не мог угадать прежде: почему сейчас и кто за этим стоит. Видимо, в начале весны, когда Норфолк был во Франции, Франциск впервые намекнул на возможность союза и назвал цену. Ценой был я, и король не соглашался. До последних дней.

Он говорит:

– Французы предпочитают иметь дело с вами, милорд Норфолк.

Норфолк раздувается, будто его похвалили. Клянусь Богом, думает он, я не знаю, что непомернее: честолюбие Норфолка или его тупость. Разумеется,

французам любезнее посланник, которого можно обвести вокруг пальца, а если до такого дойдет – купить.

– Я хотел бы вернуть нас… – начинает Рич.

– Да уж, – говорит он, – вам стоит сменить тему, иначе вы рискуете доказать, как плох я был для Франциска.

Рич листает старый письмовник:

– В дни кардинала вы сильно разбогатели.

– Но не за счет того, что платил мне Вулси. За счет моей юридической практики, да.

– Как вам это удалось?

– Много работал.

– Вулси обычно щедро вознаграждал своих слуг, – говорит Ризли.

– Да, что Стивен вам подтвердит. Однако есть и расходы. Кардинал впал в немилость, не успев полностью уплатить долги. Враги накинулись на его имущество. В конечном счете он стоил мне убытков.

– Когда вы говорите «враги», вы имеете в виду короля? – спрашивает епископ.

– Гардинер, не держите меня за глупца. Неужто я бы оказал вам услугу, назвав короля вором?

– Вы цеплялись за кардинала, – продолжает Рич, – даже когда его обличили в измене.

– То, что вы зовете «цеплянием», король называет верностью.

– Да, называл. – Зовите-меня чуть не плачет. – Я сам слышал.

Он смотрит на Ризли. Меня не трогают твои слезы. Ты сам выбрал, кому служить. Вслух говорит:

– Король до сих пор горюет о кардинале.

Гардинер говорит:

– Можно не приплетать сюда кардинала? Нас интересует живой изменник.

Рич произносит раздраженно:

– Я хочу приступить к главному, перейти к леди Марии, но не могу этого сделать, не упомянув…

Гардинер вздыхает:

– Если иначе никак.

Рич говорит:

– Вы носили перстень, полученный от Вулси. Говорили, что он обладает некими свойствами…

– Желаете его получить, Рикардо? Я распоряжусь, чтобы вам прислали. Он защитит вас от утопления.

– Видите! – восклицает Норфолк. – Кольцо чародейское. Он признался.

Он улыбается:

– Перстень оберегает от диких зверей. И приносит любовь государей. Непохоже, чтобы он действовал, правда?

– И еще… – Рич смущен. Теребит нижнюю губу. – И еще, говорят, он влюбляет принцесс в того, кто его носит.

– У меня от них отбою нет. Не знаю, как и отвадить.

Ризли говорит:

– Вы не отваживали леди Марию.

Рич добавляет:

– Вы дерзнули, и королю это известно, вы дерзнули злокозненно втереться к ней в доверие, так что она называла вас… – он сверяется с записями, – «моим единственным другом».

– Если мы говорим о днях после смерти Анны Болейн, то, полагаю, я и впрямь был ее единственным другом. Если бы я не убедил Марию подчиниться отцу, ее бы уже не было в живых.

– И почему же вы так стремились сохранить ей жизнь? – спрашивает Гардинер.

– Быть может, потому, что я христианин.

– Быть может, потому, что вы рассчитывали получить от нее награду.

– Она была беспомощной девушкой. Чем она могла меня вознаградить?

Норфолк говорит:

– Вы в своей гнусной гордыне возымели богопротивное намерение на ней жениться.

– Например, – говорит Рич, – вы однажды были ее Валентином и сделали ей подарок.

– Вы знаете, как это бывает, – раздраженно отвечает он. – Мы тянули жребий.

– Да, – говорит Ризли, – но вы подтасовали жеребьевку. Вы хвастались, что можете подтасовать что угодно. Даже жеребьевку на турнире. Я точно помню, в день, когда ваш сын впервые выехал на ристалище, вы сказали ему, не бойся, я сделаю так, что ты попадешь в одну команду с королем, тебе не придется выступать против его величества.

– Это Грегори вам сказал?

– В тот же день. Вы ранили его гордость.

– Он сказал это по простоте душевной. И вам, Зовите-меня, потому что считал вас другом. Однако, полагаю, вам приходится работать с теми обвинениями, что у вас есть. Валентин? Колдовство? Присяжные поднимут вас на смех.

Впрочем, думает он, присяжных не будет. Суда не будет. Они проведут через парламент билль о лишении прав и покончат со мной. Не мне на это жаловаться – я сам к такому прибегал.

Рич хмурится:

– Было кольцо. Как я понимаю, летом тысяча пятьсот тридцать шестого года вы подарили Марии кольцо.

– Но не в знак любви. И в итоге она носила его не как кольцо, а как украшение на поясе. – Он закрывает глаза. – Потому что оно было слишком тяжелое. Слишком много слов.

– Каких слов? – спрашивает Норфолк.

– Восхваляющих послушание.

Гардинер разыгрывает изумление:

– Вы считали, что она должна вас слушаться?

– Я считал, она должна слушаться отца. И я показывал этот предмет его величеству. Счел это разумной предосторожностью на случай обвинений, какие сейчас выдвигаете вы. Королю кольцо так понравилось, что он забрал его и сам подарил дочери.

Ризли опускает взгляд:

– Чистая правда, милорд. Я при этом присутствовал.

Рич с ненавистью косится на Ризли:

– И все равно, объем вашей переписки с леди Марией, ваше неоспоримое на нее влияние, характер сведений, которыми она с вами делилась, сведений, касающихся ее телесной…

– Вы хотите сказать, она жаловалась мне на зубную боль?

– Она сообщала вам то, что приличествует знать врачу. Не постороннему человеку.

– Я и не был для нее посторонним.

– Возможно, – отвечает Рич. – Она даже делала вам подарки. Отправила вам пару перчаток. Перчатки означают союз. Означают брак.

– Французский король подарил мне пару перчаток. Он не хотел на мне жениться.

– Мне отвратительно, – говорит Норфолк, – что дама благородного происхождения так себя унизила.

– Не вините даму, – резко произносит Гардинер. – Кромвель уверил леди Марию, что лишь он собственной персоной единолично защищает ее от смерти.

– Вот оно что, – говорит он. – Моя персона. Леди Мария не устояла перед моим пурпурным дублетом.

– Я хорошо помню, – говорит Норфолк, – хотя, клянусь мессой, не могу присягнуть, когда именно это было…

Он, Томас Эссекс, заводит глаза к потолку:

– Пусть вашу милость не останавливают подобные мелочи…

– Но там были и другие, – продолжает Норфолк, – так что я могу утверждать…

– Выкладывайте уже! – рявкает Гардинер.

– Я помню некий разговор. Может ли женщина править. Может ли Мария править. И вы, вмешавшись, по обыкновению, в беседу джентльменов, сказали: «Это зависит от того, кто будет ее мужем».

Гардинер улыбается:

– Это было осенью тысяча пятьсот тридцатого. Я присутствовал при разговоре.

– И в дальнейшем, – подхватывает Рич, – вы приложили все усилия, чтобы она не вышла замуж. Всем ее женихам отказывали.

– И еще я помню, – говорит Норфолк, – когда король упал с лошади на турнире…

– Двадцать четвертого января тысяча пятьсот тридцать шестого года, – вставляет Гардинер.

– …когда короля унесли в шатер и положили то ли мертвого, то ли умирающего, вас заботило одно: «Где Мария?»

– Я тревожился за ее жизнь. Думал, как ее уберечь.

– От кого?

– От вас, милорд Норфолк. От вашей племянницы. Королевы Анны.

– И что бы вы сделали, окажись она тогда в вашей власти? – спрашивает Гардинер.

– Это вы мне расскажите. Соблазнил бы я ее или принудил? Какая история вам больше по вкусу? – Он разводит руками. – Бросьте, Стивен. У меня было не больше намерений на ней жениться, чем у вас.

– Будьте добры обращаться ко мне как положено, – холодно произносит Гардинер.

Он ухмыляется:

– Мне всегда казалось, что вам не следовало идти в епископы. Однако приношу извинения.

– Оставим в стороне брак, – говорит Гардинер. – Есть и другие способы влияния. Король считает, что вы намеревались посадить Марию на трон и править через нее. И для этой цели вы поддерживали тесную дружбу с Шапюи, послом императора.

– Он обедал у вас дважды в неделю, – добавляет Зовите-меня.

– Вам ли не знать. Вы сидели с нами за столом.

– Он был вашим другом. Конфидентом.

– У меня нет конфидентов и очень мало друзей. Хотя до вчерашнего дня я числил среди них вас.

– Я был в вашем доме в Кэнонбери, – говорит Ризли, – когда вы тайно совещались с Шапюи в садовой башне. Вы дали ему некие обещания. Касательно Марии. Касательно ее будущего положения.

– Я не давал ему обещаний.

– Она считала, что дали. И Шапюи тоже так считал.

Он вспоминает ин-фолио на траве среди маргариток. Мраморный стол, опасения посла насчет клубники. Тучи, сгущавшиеся с утра, слова Кристофа, что в Ислингтоне боятся грозы. И потом Зовите-меня, в сумерках у подножия башни, с охапкой пионов в руках.

Гардинер обещает:

– Когда-нибудь мы вернемся к взяткам, которые давал вам император. А сейчас сосредоточимся на вашей женитьбе. Вы имели виды не только на леди Марию. Вы всячески выгораживали леди Маргарет Дуглас, хотя она провинилась в дерзком неповиновении королю.

– Это я ее разоблачил! – выпаливает Ризли. – А вы представили дело пустяком, и оно осталось без последствий.

– Не без последствий. Ее возлюбленный умер. – Он поворачивается к Норфолку. – Я сожалею, что не спас обоих.

Норфолк презрительно фыркает. У герцога много братьев, и он не горюет о Правдивом Томе.

– Вы позаботились, чтобы она стала вашей должницей. Племянница короля. Кто она была для вас, если не очередная дорога к трону? «Будь я королем» – ваше вечное присловье.

Гардинер подается вперед:

– Мы все слышали, как вы так говорите.

Он кивает. Эту привычку следовало сдерживать. Как-то он сказал: «Будь я королем, я бы больше времени проводил в Уокинге. В Уокинге никогда не бывает снега».

– Вы улыбаетесь? – Гардинер возмущен. – Вы, изменник, изъявлявший намерение вступить с королем в бой?

– Что?! – У него ни единой мысли, о чем это может быть. В голове по-прежнему Уокинг.

– Давайте я вам напомню. В церкви Святого Петра Бедных, неподалеку от вашего дома в Остин-фрайарз, накануне либо в самый день… – Рич не может найти даты, однако это не важно, – вы произнесли некие изменнические слова: что будете держаться собственных взглядов на веру, что не позволите королю вернуться под власть Рима и что – свидетель приводит ваши собственные слова – «если он отступится, я не отступлюсь, я выйду против него с мечом в руке». И вы сопровождали их воинственными жестами…

– Возможно ли такое? – говорит он. – Даже будь у меня подобные мысли, стал бы я высказывать их вслух? В публичном месте? При свидетелях?

– Сгоряча много что может вырваться, – замечает Норфолк.

– У вас, милорд, но не у меня.

– Вы также утверждали, – продолжает Рич, – что принесете в Англию новое учение и что – привожу ваши собственные слова – «если я проживу еще год-два, король уже не сможет противиться».

– Что до вашей сдержанности, – говорит Гардинер, – при мне вы неоднократно забывались в пылу гнева или ради красного словца.

– Я видел вас в слезах, – добавляет Рич.

– Я готов зарыдать сейчас, – говорит он.

Думает: «Я не отступлюсь». Возможно, я и впрямь произнес эти слова. Не прилюдно. Наедине. В разговоре с Бесс Даррелл. «Даже в мои годы я еще в силах держать меч». Я имел в виду, что выйду сражаться за Генриха, но бес противоречия толкнул меня сказать противоположное. И я готов был откусить себе язык.

Рич нашел дату:

– Церковь Петра Бедных – последний день января.

– Сего года?

– Прошлого.

– Прошлого? И где были ваши свидетели год с лишним? Разве они не повинны в сокрытии измены? Буду рад увидеть их в цепях.

Он угадывает, о чем думает Рич: вот, он в ярости, его задели за живое, сейчас он может сболтнуть что угодно.

– Так вы признаете, что это измена? – спрашивает Норфолк.

– Да, милорд, – спокойно отвечает он, – но не признаю, что произносил эти слова. С чего бы я стал бросаться такими угрозами? Как бы я сверг короля?

– Быть может, с помощью ваших имперских друзей, – говорит Норфолк. – Шапюи за границей, но вы состояли с ним в переписке, верно? Он поздравлял вас с графским титулом. Я слышал, он намерен вернуться.

– Придется ему обедать у кого-нибудь другого, – замечает он.

– Зачем нам тратить время на Шапюи? – говорит Рич. – Куда хуже то, что могут подтвердить все, бывшие у Сэдлера в Хакни в тот вечер, когда король встречался со своей дочерью.

Кубки с апостолами, думает он. Вкопанная в землю лохань для охлаждения вина.

Рич говорит:

– Вы вели тайные переговоры с Екатериной. И тогда вы в этом сознались.

– Вам это было давно известно, Рич. Почему вы молчали?

Нет ответа.

– Я вам скажу почему, – говорит он. – Вы молчали ради своей выгоды. Пока вам не стало выгодней переметнуться на другую сторону. Давал ли я вам обещания, которых потом не выполнил? И что обещали мне вы?

– Вам ли говорить про обещания? – перебивает Норфолк. – Король ненавидит тех, кто не держит слово. Вы обещали ему убить Реджинальда Поля.

– И ни капли его крови не пролилось, – замечает Гардинер.

Он думает, теперь мы дошли до сути. Вот в чем Генрих меня винит. И поделом. Тут я дал маху.

Рич говорит:

– У вас дома только и было что хвастовства, как вы заманите Реджинальда в ловушку. То вы натравите на него убийц, которых знали в Италии. Через неделю оказывается, что его убьет ваш племянник Ричард. Потом Фрэнсис Брайан. Потом Уайетт.

Ризли говорит:

– И кстати, Уайетт в бытность послом задерживал некоторые письма от леди Марии, предназначенные императору. Любопытно, по какой причине? Думается, он действовал в ваших интересах, как ваш агент.

– Мой агент? В чем?

– В какой-то гнусности, – говорит Рич. – Мы ее еще не разгадали.

– Но обязательно разгадаем, – добавляет Гардинер. – Мастер Ризли в повседневных с вами делах слышал много изменнических речей. Например, недавно вы говорили, что окажете французскому королю услугу, если тот окажет услугу вам. Хотелось бы знать, что из этого вышло.

– Ничего не вышло, – говорит он. – Французский король не оказывал мне никаких услуг. Это милорд Норфолк у него в милости.

– Тогда зачем было так говорить? – настаивает Рич.

– Хвастовство. Вы сами сказали, что в моем доме его было много.

Гардинер сводит кончики пальцев:

– Если считать бахвалов вместе со всеми прочими, ваш штат составит без малого три тысячи человек. Это монарший двор. Ваша ливрея мелькала не только по всему Лондону, но и по всей Англии.

– Три тысячи? Да я бы разорился. Послушайте, в эти семь лет каждый англичанин умолял меня взять его сына к себе на службу. Я брал кого мог, обучал наукам и хорошим манерам. По большей части за их содержание платили отцы, значит нельзя сказать, что я их нанимал.

– Вы говорите так, будто это смиренные писцы, – говорит Гардинер. – Но всем известно, что вы брали беглых подмастерьев, буянов, разбойников…

– Да, беспутных мальчишек вроде Ричарда Рича в те дни, про которые он предпочел бы забыть. Не отрицаю, что принимал любого, кому хватило духа постучать в мои ворота. – Он смотрит на Рича. – Любой проходимец мог попытать у меня счастья.

– Вы каждый день кормили у своих ворот толпу бедняков, – напоминает Норфолк.

– Все великие люди так делают.

– Вы рассчитывали, что армия нищих поднимется на вашу защиту. Так вот, сэр, не поднимется. Не будут они защищать стригаля, каким вы когда-то были. – Герцог демонстративно ежится. – Великий человек! Святой Иуда, оборони меня!

Рич вытаскивает из стопки документ:

– Здесь у меня опись имущества в Остин-фрайарз. У вас было триста пистолей, четыреста пик, почти восемьсот луков, алебарды и сбруя на целую, как выразился милорд Норфолк, армию. Я слышал, как вы говорили, и Ризли подтвердит мои слова, что у вас триста телохранителей, которые явятся к вам по свистку в любое время дня и ночи.

– Когда началось восстание на севере, – говорит он, – я устыдился, что могу выставить так мало своих людей. Посему я сделал то, что делает каждый верноподданный, если располагает средствами. Я прирастил свои возможности.

– Вы твердите про свою верность, – говорит Норфолк, – а сами готовы были продать короля еретикам! Готовы были продать Кале клятым сакраментариям…

– Я? Продать Кале? С этим к Лайлам. Именно у них и у Полей вы найдете измену. Не у меня, всем обязанного королю, а у тех, кто считает своим законным правом его подвинуть. У тех, кто считает, что Тюдоры лишь временно заняли их трон.

Гардинер говорит:

– Милорд Норфолк, может, к Кале вернемся в другой день?

Ему видны ноги епископа под столом – тот еле сдерживается, чтобы не пнуть герцога в лодыжку. Надо думать, они все еще допрашивают лорда Лайла и до сих пор не решили, какую ложь состряпать из его показаний.

Ричард Рич похлопывает по своим бумагам:

– Милорд епископ, у меня здесь…

Гардинер встает:

– Другой раз.

Ему, Кромвелю, хочется удержать Гардинера, поспорить с ним. Винчестер знает, что все эти колдовские перстни и Валентины – чушь, и наверняка стыдится, что должен такое произносить. Однако Гардинер стремительно выходит, Норфолк за ним; Рич зовет писаря, чтобы помог ему нести бумаги. Говорит: «Желаю вам доброго вечера, милорд», будто они дома, в Остин-фрайарз.

Мастер Ризли смотрит им вслед. Встает, цепляясь за стол, будто ноги его не держат:

– Сэр…

– Не тратьте слов.

– Когда я был заложником в Брюсселе, вы, как мне сказали, не шевельнули ради меня пальцем.

– Это неправда.

– Вы сказали, если меня заточат в замок Вилворде, вы меня оттуда не вызволите.

– Я бы и не смог.

– Вы поручили мне и другим заманить в ловушку каналью Гарри Филлипса, хотя сами его использовали как своего агента и шпиона.

– Кто вам такое сказал?

– Епископ Гардинер. С Филлипсом вы подвели меня под монастырь. Я, ничего не подозревая, поселил его у себя в доме, а он меня ограбил и выставил дураком.

– Я никогда не прибегал к услугам Филлипса, – говорит он. – Честное слово. Для меня он был слишком скользкий.

– Сэр, Норфолк хочет, чтобы вас повесили на Тайберне, как простого вора. А поскольку вы изменник, он хочет, чтобы вам еще и выпустили кишки. Он желает вам самой мучительной смерти. И всячески этого добивается.

– Вы, по всему, тоже.

– Нет, сэр. Поймите, у меня нет выбора, я не могу поступить иначе, чем поступаю сейчас. Но я буду ходатайствовать перед королем, чтобы вас избавили от унизительной смерти.

– Господи, Зовите-меня, – говорит он, – встаньте прямо. Как вы рассчитываете быть при Генрихе следующие несколько лет, если сжимаетесь в присутствии человека, который, по вашим же словам, обречен?

– Надеюсь, что нет, сэр. – Голос Ризли дрожит. – Король дозволил вам ему написать. Напишите сегодня же вечером.

Гардинер стоит в дверях:

– Ризли?

Зовите-меня пытается собрать бумаги, но роняет письмо и, встав на колени, принимается шарить под столом. На письме печать Куртенэ. Ему, Эссексу, хочется придавить бумагу ногой, чтобы Ризли пришлось ее выдергивать. Однако он думает, что толку? Берет молодого человека под локоть, помогает тому подняться.

– Забирайте его, – говорит он Гардинеру. – Он целиком ваш.

Под вечер приходит Рейф. Он слышит голос, и у него заходится сердце. Он думает, если Генрих передумал, то пришлет именно Рейфа.

Однако по лицу видно, что добрых вестей нет.

– И все же король разрешил тебе меня навестить, – говорит он. – Ведь это же добрый знак?

– Он боится, что вы отсюда выберетесь, – отвечает Рейф. – Поставил сильную охрану. Однако меня воинственным не считает.

– Что, по его мнению, я ему сделаю, если отсюда выберусь?

– Вот письмо Кранмера, – говорит Рейф. – Я подожду.

Он идет с письмом к окну; очков у него нет, надо сказать, чтобы прислали из дома. Разворачивает бумагу. Она как будто дрожит. Кранмер, узнав об измене, выражает разом изумление и скорбь: «…столь возвышенный Вашим Величеством, имевший опору единственно в Вашем Величестве, любивший Ваше Величество, как я всегда полагал, не менее, чем Бога… служивший Вашему Величеству без оглядки на чье-либо неудовольствие; слуга престола, мудростью, усердием, верностью и опытом, по моему убеждению, не имевший равных в истории королевства… я любил его как друга, каковым почитал, но более всего за ту любовь к Вашему Величеству, какую, мне думалось, я в нем видел…

…однако теперь…»

Он поднимает голову:

– Ну вот, началось… с одной стороны… с другой стороны…

«…однако теперь, коли он изменник, я сожалею, что ко- гда-либо питал к нему любовь и доверие… и все же я глубоко скорблю…»

Он складывает письмо. Из складки сочится страх. Говорит:

– Ты должен понять, Рейф, мы с Кранмером давно условились: если один из нас падет, другой будет спасать себя.

– Возможно, сэр. Но я считаю, он должен был пойти к королю. Если бы жизнь архиепископа была в опасности, неужели вы остались бы в стороне? Вот уж не думаю.

– Не заставляй меня отвечать на вопросы. Я отвечал на них весь день. Кранмер действует в соответствии со своей натурой, иного от человека требовать нельзя. Рейф, что сталось с моим портретом? Тем, что написал Ганс?

– Хелен его забрала, сэр, и надежно спрятала.

– Где «Книга под названием Генрих»?

– Мы ее сожгли. До прихода Ризли мои люди проверили весь дом. Мы много чего сожгли, а пепел высыпали в сад.

– Отсутствие само по себе говорит красноречиво.

– Однако невразумительно. Не думаю, что против вас сумеют выдвинуть хоть одно существенное обвинение. Джон Уоллоп прислал из Франции письмо с тем, что смог наскрести. По его словам, там все говорят, что вы намеревались сделаться королем. – Рейф опускает голову. – Франциск прислал письмо, король велел мне перевести его на английский и зачитать совету. Мне самому.

– Это было испытание. Надеюсь, ты его прошел.

– Франциск пишет, теперь, когда вы убрали Кромвеля, мы вновь можем быть друзьями. Я уверен, именно это он обсуждал с Норфолком в феврале. Посему неудивительно, что они с Гардинером так осмелели. Все их тайные совещания, обеды и маски… ну и разумеется, у них эта девица, которую они выставляют перед королем.

– Рейф, – говорит он, – ты принесешь мне еще книг? Петрарку, его «О средствах против превратностей судьбы». Томаса Лупсета, его «Искусство умереть достойно».

Лупсет был наставником кардинальского сына. И трактат свой написал вовремя, ибо умер в тридцать пять.

Рейф говорит:

– Не отчаивайтесь. Не сдавайтесь, умоляю вас. Вы знаете, что король действует под влиянием порыва…

– Правда ли это? Мы всегда так говорили.

Однако, возможно, королевские капризы имели одну цель: заставить нас работать и надеяться. Анна Болейн до последнего вздоха верила, что Генрих передумает. И умерла в растерянности.

После ухода Рейфа он возвращается к письму Кранмера и видит вопрос, который архиепископ оставил Генриху для размышления: «Кому Ваше Величество будет доверять впредь, если Вы не можете доверять ему?»

В тот вечер он садится писать королю. После Рейфа приходил Фицуильям с новыми обвинениями. Он проглядел их наскоро: изменнические речи, сговоры, интриги и – что уже не совсем неожиданно – разглашение королевских неудач в спальне королевы.

– Но ведь все знали, – ошарашенно произносит он. – И Генрих разрешил мне поговорить с вами и с приближенными Анны.

– Он этого уже не помнит, – отвечает Фицуильям. – Считает, вы его выставили на посмешище.

Фицуильям пробыл у него полчаса и ни разу не взглянул ему в лицо, пока не поднялся, чтобы возвращаться домой к ужину.

Кристоф кладет на стол бумагу и ставит чернильницу. Уже сумерки, но окно выходит в сад, так что света пока достаточно. О чем говорить? Как-то Генрих ему сказал: «Вы рождены меня понимать». Этого понимания больше нет. Он прогневал короля, а значит, виновен и может лишь уверять, что вина его, в чем бы она ни состояла, не умышленная и не злонамеренная и что, он уповает, Господь явит правду. Он начинает с обычных уничиженных фраз; самоумаления в случае Генриха много не бывает, во всяком случае если пишет узник. «Смиренно припадая к стопам Вашего Величества… поелику Вашему Величеству угодно, дабы я написал, что надлежит, о моей жалкой участи…»

Он думает, я никогда не умерял моих желаний. Как никогда не замедлял трудов, так я ни разу не сказал: «Довольно, теперь я вознагражден сполна».

«Обвинители мои, да простит их Господь, Вашему Величеству ведомы. Как я всегда любил Вашу особу, честь, жизнь, благосостояние, здоровье, богатство и благополучие, а также Вашего дражайшего и возлюбленнейшего сына, Его Высочество принца, и все Ваши начинания, так да поможет мне Господь в моем несчастье и да покарает меня, если я когда-либо думал нечто этому противное».

Они переписывают мою жизнь, думает он. Представляют так, будто моя покорность была внешней, что все эти годы я тайно искал сближения с врагами Генриха, такими как его дочь, якобы моя невеста. Быть может, мне следовало говорить ему о Марии правду. Однако сейчас я ее пощажу. Я не могу помочь собственной дочери, могу помочь лишь дочери короля.

«Господу ведомо также, сколько усилий и трудов я положил, исполняя свой долг. Ибо будь в моей власти и во власти Божьей дать Вашему Величеству вечную юность и процветание, Бог свидетель, я бы это сделал. Будь в моей власти дать Вашему Величеству такое богатство, чтобы Вы могли обогатить всех, помоги мне Христос, я бы это сделал. Будь в моей власти дать Вашему Величеству такую мощь, чтобы весь мир Вам покорился, видит Бог, я бы это сделал».

Он думает, десять лет мою душу давили и плющили, пока она не стала тоньше бумаги. Генрих молол и молол меня в жерновах своих желаний, а теперь я истерся в пыль и больше ему не гожусь, я прах на ветру. Государи ненавидят тех, перед кем они в долгу.

«Ибо Ваше Величество были ко мне исключительно щедры, более как родной отец (не в обиду Вашему Величеству), нежели как господин».

Некоторые отцовские угрозы до сих пор звенят в ушах. Я тебя в порошок сотру, я тебя по мостовой размажу, я тебя на следующей неделе в землю вколочу.

«Душу мою, тело и имение я предал в руки Вашего Величества…»

Что ж, Генриху это известно. У меня нет ничего, что бы я получил не от него. И мне не на что уповать, кроме как на его милость и Божью.

«Сэр, о Вашем благе я пекся, прилагая все свои способности, силы и разумение, невзирая на лица (за исключением Вашего Величества)… но в том, что я умышленно причинил кому обиду или несправедливость, Господь свидетель, меня никто обвинить не может…»

Не только государи лишены благодарности. Скольких он обогатил, скольких устроил на доходные посты – все это теперь работает против него, поскольку неоплатные услуги разъедают душу. Люди не хотят жить под бременем обязательств. Они предпочтут стать лжесвидетелями, продать своих друзей.

Брат Мартин говорит, когда думаешь о смерти, отбрось страх. Но, быть может, этот совет легче принять, если думаешь умереть в своей постели под бормотание священника над ухом. Гардинер будет выдвигать обвинения в ереси и сожжет его, если сможет. Он знает, как это бывает: сырые дрова, слабый ветер, все лондонские псы скулят от запаха.

Король может даровать ему топор. Это лучшее, на что можно надеяться, если только… Всегда есть это «если только». Эразм говорит: «Никто не должен отчаиваться, доколе дышит».

Он заканчивает:

«Писано дрожащей рукой и скорбным сердцем Вашего несчастнейшего подданного, смиреннейшего слуги и узника сего числа в субботу в Вашем Лондонском Тауэре».

Посыпает чернила песком. Тут уж приходится лгать. Рука у него почти не дрожит, но сердце и впрямь скорбное, это правда. Он сидит, приложив руку к груди, легонько ее трет.

– Кристоф, неси ужин. Что у меня сегодня?

– Слава богу! Я уж боялся, у вас аппетит пропал. У нас клубника со сливками. И еще итальянские купцы прислали вам сыр вместе с выражением сочувствия.

Купец Антонио Бонвизи слал Томасу Мору еду, приправленную душистыми пряностями. Однако Мор отодвигал все и говорил слуге:

– Джон, можешь раздобыть мне молочный пудинг?

Герцога Урбинского, Федериго да Монтефельтро, как-то спросили, что нужно, чтобы управлять государством. «Essere umano», – ответил тот. Быть человеком. Интересно, отвечает ли Генрих этому требованию.

Ответа на письмо нет. Во всяком случае, прямого. Допросы начинаются рано, на летней заре, и продолжаются в полуденный зной, когда в свете из окна пляшут пылинки. Иногда все проходит чинно и деловито, иногда превращается в обмен оскорблениями. Как и Фицуильям, Зовите-меня не может смотреть ему

в лицо. Говорит: «он сделал то», «он сделал се», будто Томаса Эссекса здесь нет. Когда Гардинер удостаивает их своим присутствием, то держится строго, сухо, рассудительно, прячет злорадное предвкушение, которое наверняка испытывает.

Писарю Гвину раз или два удается проскользнуть на допросы. Норфолк не замечает – простой писарь не заслуживает герцогского внимания, пока в чем-нибудь не провинится. Писарь забавляет его – узника – тем, что возводит очи горе или кривит рот, мол, ну и бред же я должен записывать. Наконец Рич взрывается:

– Меня не устраивает этот писарь. Он постоянно глядит на арестанта!

– Вы тоже постоянно на меня глядите, – говорит он. – Меня не устраиваете вы, Ричард Рич. Вы говорите так, будто я был изменником все те годы, что вы меня знали. Где были ваши свидетельства до сего дня? Вывалились через дыру в кармане?

Рич говорит:

– Непросто обвинить человека, стоящего так близко к трону. Я искал руководства. Молился.

– И ваши молитвы были услышаны?

– О да, – холодно отвечает Рич.

Гвин снова безропотно забирает перья и перочинные ножи, однако в дверях оборачивается. Входит другой писарь и долго не может разобраться, как продолжать, пока Норфолк не рявкает: «Начинай как угодно!» Так тянутся часы, размеченные колоколами церкви Святого Петра в Оковах и церквей за стеной. Вопросы такие же абсурдные, как в первый день, а картина его жизни все так же далека от реальности, какой он ее видит. В зеркале чужое лицо, глаза скошены, рот разъявлен. Лорд Монтегю, и Эксетер, и Николас Кэрью испытывали то же отстранение от себя, а до них Норрис и Джордж Болейн. Монтегю сказал: «Всех, кого король создает, он затем уничтожает». С какой стати Кромвелю быть исключением?

Меня создала Флоренция, думает он, Лондон меня уничтожил. Во Флоренции колокол по имени Леоне возвещает рассвет даже слепым. Потом звонит Подеста, затем Палаццо-дель-Пополо. С началом службы третьего часа, когда открываются суды, Леоне и Монтарина зовут адвокатов и тяжущихся к делам.

Когда он был маленьким, сестра Кэт говорила ему, что время рождается из колоколов. Когда бьет час и мелодия дрожит в воздухе, оно самое лучше, а то, что остается потом, – вроде обсосанной сливовой косточки на краю тарелки.

Приходит лорд Одли – лицо пристыженное, движения скованные. Я создал тебя, Одли, думает он. Я поднял тебя выше, чем ты заслуживал, чтобы получить покладистого советника, и ты разбогател.

– Я думал, вы здесь со мной, милорд. Вы всегда выставляли себя поборником Евангелия, но, полагаю, лишь с целью угодить мне. Вы клялись мне в дружбе

до конца дней. – Он добавляет: – У меня есть подтверждения в письменном виде.

Фицуильям не появляется. Может, сказал королю, я знаю, Сухарь не предатель, не могу его допрашивать?

– Он занят, – говорит Ризли.

Рич говорит:

– Он назначен хранителем малой печати вместо вас.

Норфолк говорит:

– Надежным государственным мужам есть чем заняться, кроме вашего ареста. В стране куда больше людей, чем один Кромвель.

– Однако никто из них не сделал столько для ее блага, – говорит он. – Я удивляюсь, что ваш сын Суррей не пришел сюда позлорадствовать.

Он думает, впустите сюда этого паука, я его раздавлю.

Отсутствие Гардинера подозрительно: что тот готовит? Приходит Чарльз Брэндон, подтверждает, что Кромвель говорил: будь я королем, я бы проводил больше времени в Уокинге. Вспоминает и другой случай:

– Король подарил Сухарю перстень со своего пальца. И Сухарь сказал: «Оно мне точно по размеру, подгонять не придется».

– И что вы из этого заключаете? – спрашивает он. – Что я правильного размера, чтобы стать королем? А какой размер правильный, милорд Суффолк? Не ближе ли к нему вы, чем я?

Брэндон его огорчил. Для Норфолка Кромвель не более чем помарка, которую нужно убрать, словно расхождение в приходно-расходной книге. А вот род Брэндона славится отвагой. Он ждал сочувствия. Чарльз не отвечает на его вопросы, расхаживает по комнате, потом выходит и резко зовет слуг, будто собаке свищет.

Ризли спрашивает:

– Вам известно, что арестован лорд Хангерфорд?

– Хангерфорд? – Он думает, размышляя о Брэндоне, я что-то упустил. – Какое отношение имеет Хангерфорд ко мне?

– Вот это мы и намерены выяснить, – говорит Рич. – Он написал вам множество писем, а вы ему – много ответов, копии которых государственный секретарь Ризли нашел в ваших бумагах.

Хангерфорд – джентльмен из западных графств, толковый и деятельный шериф. А еще он жестоко обходится с женой, и та хочет от него освободиться; всего за несколько дней до ареста он, Томас Эссекс, дал начало официальной процедуре развода. Он говорит:

– Что-то приходится поручать и таким людям. Королю не могут служить одни святые.

– Некая старуха выдвинула против него тяжкие обвинения, – говорит Ризли. – Ее зовут матушка Хантли.

Бедняга, думает он. У каждого из нас есть своя матушка Хантли. Мою зовут Ричард Рич.

– Обвинения включают колдовство, – говорит Норфолк. – Кромвель в таком хорошо разбирается! Колдовские книги в подвале, а? Когда нашли восковую куклу нашего малютки-принца, Кромвель тут же бросился искать виновных, изымать их гнусные тексты. Однако он сказал молодому Ричмонду, упокой Господь его душу, что ведьм не бывает! Хотя мы все знаем, сколько вреда они причинили королю.

– Я помню тот день, – говорит Рич. – Это было в Сент-Джеймсе, когда заболел Фицрой. Кромвель выгнал меня из комнаты, и я часто гадал, что затем произошло. Оно ведь так было постоянно. Ризли, вы же подтвердите? Он как будто доверяет тебе, а затем вдруг что-то от тебя таит.

– Теперь мы видим почему, – говорит Ризли.

– Так или иначе, вернемся к непосредственному вопросу, – продолжает Рич. – Лорд Хангерфорд прибег к помощи колдуна, чтобы узнать дату королевской смерти.

Он думает, Генрих страшится не лживых гороскопов, а истинного: судьбы, от которой не уйти.

Он говорит:

– Такой человек, как Хангерфорд, неизбежно наживает врагов среди соседей. В колдовстве обвинить легко.

– Не спешите объявить это обвинение пустяком, – говорит лорд Одли. – Уверяю вас, король его пустяком не считает.

Хангерфорд, может, и негодяй, но благу страны не угрожает. Две недели назад он смахнул бы такие обвинения со своего стола на столы подчиненных.

Рич говорит:

– Также его обвиняют в том, что он учинил насилие над одним из домочадцев. Per anum.

– Господи помилуй! Надеюсь, это была не леди Хангерфорд?

– Слуга, – говорит Норфолк. – По счастью, его собственный, а не какого-нибудь другого джентльмена. За это он заплатит жизнью.

– Существеннее, однако, – говорит Ризли, – что Хангерфорда разоблачили как паписта. Его домашний капеллан был в сношениях с северными бунтовщиками. Мы подтвердили это документально.

– Отчего вы этого не знали? – спрашивает Рич.

– Оттого что он мне лгал. Если бы я умел распознавать любую ложь, я бы мог учредить храм и стать там оракулом. – Он воображает себя в роще олив. – Подальше от вас.

Время обеда давно прошло, и он голоден. Герцог тоже, но дни, когда они могли вместе сидеть за трапезой, миновали. Кристоф приносит курицу. Проходят полчаса, во время которых он ест почти с аппетитом. Затем посетители возвращаются. Рич входит последним с нарочитой медлительностью – это значит, ему не терпится что-то сказать. Неторопливо раскладывает бумаги, аккуратно их поправляет:

– Уайетт значительно обогатился.

– Да?

– Ему пожалованы земли Редингского аббатства. Боксли и Моллинга. А здесь, в Лондоне, – Святой Марии Овери, Крестоносных братьев и Спасителя в Бермондси.

– Он давно об этом мечтал.

Рич улыбается:

– Полагаю, он получил много больше, чем рассчитывал.

– Уверяю вас, ему не составит труда спустить все за короткое время.

Ризли, зардевшийся от волнения, подается вперед:

– Милорд, вы не спрашиваете себя, отчего именно сейчас? Это сделано по прямому указанию его величества. Король нашел Уайетта достойным награды.

Как и при падении Анны Болейн.

– Что ж, – говорит он, – что к несчастью для других, то к счастью для Томаса Уайетта. Удача к нему благоволит.

Ризли бормочет:

– Опять-таки, спросите себя почему.

– Это вопрос?

Ризли молчит.

Он, лорд Кромвель, поворачивается к Ричу:

– Никто лучше вас не знает, что земли не жалуются по щелчку пальцев. В случае Уайетта документы начали готовить месяцы назад, когда я отозвал его из-за границы. Им недоставало лишь королевской подписи.

– Король мог бы не подписать документы, если бы Уайетт ему не угодил.

Очевидно, Уайетта допрашивали, а как же иначе? Судя по всему, тот дал ответы, которые королю понравились или, по крайней мере, не вызвали его неудовольствия. Однако что понудило Уайетта так отвечать? Может, Бесс Даррелл носит под сердцем очередное фантомное дитя?

– Уайетт знает все ваши тайные дела, – говорит Ризли. – И, как он часто хвалился, ваши тайные мысли.

– Было бы чем хвалиться, – замечает он. – Вы испытываете мое терпение, Ризли. Впрочем, когда я выйду на свободу, то постараюсь не держать на вас обиды.

И вновь за ребрами трепещет орган, доставивший там много боли самому Уайетту. Любовь терзает сердце. Жребий лишает утешенья… Дни радости умчались быстролетно, Но с каждым днем беда моя все горше…

Он говорит – слова вырываются внезапно, сами по себе:

– Что вы будете без меня делать? Когда такой, как Уайетт, берется за дело, он трудится для того, кто способен его ценить. Без меня вы прочтете строки, как они написаны, но не сможете читать между ними. Марильяк будет водить вас за нос, и Шапюи тоже, когда вернется. Карл и Франциск взболтают вам мозги, как яйца в миске. Через год король будет воевать с шотландцами или с французами, а скорее всего, и с теми и с другими, и он нас разорит. Никто из вас не умеет управляться с делами, как я. Король поссорится со всеми вами, а вы перегрызетесь между собой. Если вы меня уберете, через год у страны не будет ни надежной монеты, ни честных министров.

Писарь говорит:

– Лорду Кромвелю нездоровится. Не сделать ли перерыв?

Он смотрит на юношу:

– Благослови тебя Бог за храбрость.

По лбу течет пот.

Норфолк говорит:

– Да что ему станется? По личному распоряжению короля его даже не пытают, хоть он и не благородного происхождения.

Так проходит день, затем другой. Измену можно состряпать из любого клочка бумаги, было бы желание. Хватит и одного слога. Власть в руках читающего, не пишущего. Герцог то и дело взрывается, Рич продолжает свои нападки, прыгая с пятого на десятое. Иногда он может ответить, иногда вынужден отсылать их к бумагам, которые они изъяли или потеряли. На самом деле, как

он сознается, он занимался столькими королевскими делами, что даже при его способностях невозможно упомнить все сказанное и сделанное.

– Трудно жить по закону. Любой министр невольно что-нибудь да нарушит. Но если я изменник, – он вытирает с лица пот, – то пусть на меня падет Божий гнев и пусть меня разразят все дьяволы ада.

Под вечер, оставшись один, он сидит, разбирая по нитям ткань недавнего прошлого, и все эти нити ведут к Майскому дню. Томас Эссекс в Гринвиче, то выходит из павильона, то снова входит, за ним спешат писари с королевскими бумагами; граф – то есть я – бросает распоряжения направо и налево. Ричард Кромвель на поле, расшвыривает нападающих. Наше чествование друзей и врагов, наша куртуазность, наша spezzaturata[73], наше выставленное напоказ великолепие; Майский день сгубил нас, ибо зависть и порожденная ею злоба выплеснулись из берегов. Ричард нанял каких-то итальянцев написать фреску с его триумфом в хинчингбрукском доме; они собираются украсить целую комнату. Может прийти время, когда Ричарду будет больно смотреть на эту фреску, но писать ее все равно надо. Не следует нарушать данное итальянцам обещание – они этим зарабатывают на хлеб.

За девять дней с его ареста они набрали довольно обвинений, чтобы провести через парламент билль о лишении прав за измену. Теперь ему задают вопросы о религии – готовят дальнейшие обвинения. Спрашивают, что он делал в Кале, кого там защищал. Закапываются все глубже в свой запас фальшивок, откуда можно извлечь что угодно. Норфолк говорит:

– Когда мастер Ризли ехал через Антверпен по королевскому делу, вы дали ему письмо для еретиков.

– Я дал ему послание для моей родной дочери.

Норфолк отвечает:

– По-вашему, это лучше?

Он вновь просит:

– Дайте мне увидеться с королем.

– Нет, – отвечает Норфолк.

Вероятно, Генрих искренне верил, что он изменник и еретик, – час или два кряду. Но не может же он обманывать себя и дальше? Значит, короля не заботит истина, он лишь растравляет свои обиды. Никому из советников не успокоить его уязвленную душу, не утолить его жажду и не насытить его голод.

К концу первой недели Рейф сообщил, как воспринял известие император. Согласно депешам, Карл был поражен. «Что? – спросил он. – Кремюэль? Вы не путаете? В Тауэре? По королевскому приказу?»

Как-то открывается дверь. Он ждет Гардинера, но это снова Брэндон. Чарльз с тяжелым вздохом садится на обитый подушечкой табурет, так что колени нелепо упираются в подбородок.

– Отчего бы вашей милости не сесть на вон тот стул?

Однако Чарльз сидит, словно кающийся грешник, пыхтит, вздыхает, смотрит на стены, расписанные райскими сценами, ручьями и цветущими холмами.

– За всем этим она? Другая?

– Не лично, милорд. Она покоится в часовне. А что до росписи, я ее закрасил.

– Что? Своими руками?

– Нет, милорд. Пригласил художника.

Он воображает, как ночью прокрадывается сюда с огромной малярной кистью.

– Вы славный малый, Чарльз, – говорит он. – Я бы с вами пошел грабить дом, если бы пришлось.

Брэндон улыбается в пышную бороду:

– Много вы домов ограбили?

– В моей бурной юности, вы понимаете.

– У нас у всех она была бурной, – говорит Чарльз.

– Я не пошел бы грабить дом с королем. Скажешь ему: «Стойте здесь и свистните, если пойдет дозор», а он, заслышав шаги, сбежит, пока ты перелезаешь через подоконник.

– Не думаю, что он пошел бы кого-нибудь грабить, – говорит Чарльз. – Он бы нарушил общественный порядок в собственной стране, не так ли? Да и кого ему грабить? Он и без того может забрать что пожелает и пустить нас всех по миру. – Брэндон трет лоб. – Сухарь, я рад слышать, что вы шутите. Послушайте… – Он встает. – Послушайте, вот мой вам совет. Признайте, что вы еретик. Скажите, что заблуждались. Попросите Генриха встретиться с вами лично и обратить вас в правоверие. Ему же это будет приятно, верно? Помните суд на Ламбертом? Как Генрих сидел на высоком помосте, весь в белом…

– Ламберта сожгли, – говорит он.

Чарльз сникает:

– Ну, в общем, это то, что я хотел предложить, и теперь, когда я все сказал… – Чарльз идет к двери, резко поворачивает назад. – Вашу руку?

Они обмениваются рукопожатием. Чарльз двигает его кулаком в плечо, будто они смотрят собачий бой.

После ухода Брэндона он думает, Чарльз прав, Генриху будет приятно меня обратить. Однако есть причина, по которой это решение не годится. Враги убедительно (для себя самих) докажут, что он отрицает евхаристию, а такого рода еретиков не спасает от смерти даже покаяние. Его погубит первая из гнусных статей, принятая парламентом в прошлом году, когда он болел. Итальянская лихорадка все-таки загонит его в гроб.

Билль о лишении прав проходит второе чтение двадцать девятого июня. Между первым чтением и вторым, между вторым и третьим он умирающий. После третьего он будет юридически мертв. Вопрос лишь в том, каким способом его превратят в труп. Если король предпочтет наказать его за ересь, то он умрет на костре, возможно, вместе с Робертом Барнсом и другими единомышленниками; если за измену, то его, скорее всего, отправят на Тайберн и выпотрошат заживо. Даже содомиту Хангерфорду дарует легкую смерть, а ему… Бог весть. Ему снится, будто перед ним выкрашенная алым дверь или не выкрашенная, а залитая алым и стена того же цвета; она мокрая, пол, стена и комната за дверью тоже мокрые и алые.

Дожди прекратились. Глядя из окна королевиных покоев, он видит, что лето умирает. Он помнит нескончаемые ливни в годы перед падением кардинала. Помнит, как привез Рейфа в дом на Фенчерч-стрит и как с того капало на пол, покуда Лиз распутывала бесконечные слои одежды. Думает: она умерла до того, как я чего-то добился. У меня был дом в Остин-фрайарз, но то был дом стряпчего. Когда я служил у кардинала, она меня не видела неделями кряду, все равно как если бы я был матросом и уходил в море. Она стояла на лестнице в белом чепце. Попросила: «Скажи, когда вернешься». После ее смерти я написал завещание, и в те дни я оставил бы сыну шестьсот фунтов и дюжину серебряных ложек.

В день, когда принимают билль о лишении прав, приходит Стивен Гардинер. Кутается, будто замерз.

– Я пришел спросить вас о так называемом браке короля.

Уже по одной формулировке он понимает, что от него требуется:

– Я все для вас запишу. С самого начала.

– Ничего не опускайте, – говорит Гардинер. – От ваших первых переговоров с Клеве до якобы брачной ночи. Изложите все, что слышали о помолвке дамы с герцогом Лотарингским, и честно напишите о нежелании короля вступать в этот брак.

Он поднимает брови.

Гардинер говорит:

– Леди Рочфорд и другие подтвердят, что брак не был осуществлен. Врачи тоже подтвердят. Если она приехала сюда девицей, то и уедет девицей, поскольку король, сомневаясь в законности брака, воздержался от плотского соития.

Он думает, я мог бы поступить, как Джордж Болейн, ославить Генриха так, что тот сгорит со стыда. Однако у меня сын, и два внука, и племянник, и у племянника есть дети. У Джорджа детей не было. Вслух говорит:

– Женить короля всегда было моей задачей. Теперь ее возложили на вас? Полагаю, новой женой станет племянница Норфолка? Что будет с королевой?

– Принцесса Клевская уже покинула двор. Король отослал ее в Ричмонд. Обещал приехать к ней туда, но, разумеется, не приедет. Надо прекратить ее женские сетования или, по крайней мере, сделать так, чтобы она сетовала подальше от короля.

Он думает, она, бедняжка, наверняка перепугана. И некому о ней позаботиться.

– Я полагаю, деньги помогут сгладить обиду.

– Разумеется, она получит содержание. Я этим займусь. Но прежде надо аннулировать брак. Король говорит, Кромвель знает об этом больше кого бы то ни было, исключая меня. Если вам дорого спасение души, вы должны написать правду. От вас потребуют присягнуть.

– С чего мне отказываться? – говорит он. – Готов также присягнуть, что я – честный слуга короля и что вера моя – соборная и католическая, ничем не отличается от той, которую исповедует король. Странно, что в одном вопросе мое слово будет считаться истинным, а в другом – нет.

– Вы – умирающий, – говорит Гардинер. – Они, как известно, не лгут. Прислать Сэдлера вам в помощь?

Он не хочет, чтобы Рейф видел его за этим последним делом. Он думает: аннуляция брака аннулирует меня.

– Я знаю, что требуется, – холодно говорит он. – Предоставьте это мне, милорд епископ. А теперь выметайтесь.

Он садится. Факты выстраиваются в голове, фразы встают одна за другой, но, прежде чем взяться за перо, он роняет слезу и думает: я оплакиваю себя, на этих бумагах кончится моя полезность. Годы неусыпных трудов и насилия над собственной душой, тяжесть топора в руке – ничего этого больше не будет. Когда Генрих умрет и предстанет перед Судом, то ответит за меня, как и за всех своих слуг; он должен будет сказать, что сделал с Кромвелем. Я никогда не стремился занять его место. По всей Англии есть стоячие камни: это те, кто мечтал править. «Ветка, камень, глыба, прут, меня королем Англии назовут». За свою дерзость они обречены стоять тысячу лет, две тысячи лет, под ветром и дождем; вокруг камни поменьше – несчастные, бывшие их рыцарями. Пересчитайте эти камни, и – чудное дело – у вас никогда не получится дважды одно число. Разрушений не счесть, не описать пером.

Записать весь его рассказ – труд на много часов. Иногда заходит Кристоф, смотрит на него, предлагает миску малины, или вафель, или цукатов. Однако он погрузился в свое повествование: Рочестер, травля быка, клевская дама в

оконной нише, разгоряченный король в наряде английского джентльмена. Сцена в Гринвиче, римляне шатаются и падают; король в постели, мнет новобрачной живот и груди.

Иногда мысли неизбежно уплывают далеко за каменные стены, за поля, в леса, густые, как за годы до того, как деревья срубили на дома и корабли, и все исчезнувшие твари живы, к добру или к худу: бобр в ручье, волк, настигающий тебя длинными прыжками. Когда человек не знает, на какую тропу свернуть, он сыплет крошки от хлеба, который несет в руке, но птицы прилетают и склевывают крошки. Он снимает рубаху, рвет на полоски и завязывает их на каждой развилке дороги, но огры, живущие в лесу, идут за ним и крадут тряпицы, чтобы перевязывать себе раны, потому что огры вечно воюют между собой. Он бредет из последних сил, говорящие деревья глумятся над ним, пряча за листьями презрительные гримасы.

Закончив рассказ, он пишет сверху: «Моему королю, Его Величеству всемилостивейшему государю».

Однако не может придумать, как закончить. Быть может, это последнее письмо, которое ему дозволено написать. Так что он пишет: «Молю о милости». Он повторяет, на случай если Генрих первый раз не обратит внимания: «милости». И еще раз «милости», чтобы слово точно вошло в королевский мозг, пронзило королевское сердце.

Под рассказом он вывел: «Писано в среду, в последний день июня, дрожащей рукой и сокрушенным сердцем».

На сей раз он не лукавил. Рука и впрямь дрожит. Он смотрит на нее, будто на чью-то чужую. Из всех написанных им слов сохранится ли эта мольба? Крысы сожрали законы былых времен. Они любят пергамент и рыбий клей; все, некогда живое, они будут есть, а потом, по привычке, будут есть мертвое; от маргиналий они выгрызаются вглубь, в тайную историю Англии. Величайшая заслуга соработников Кромвеля, что они не только давили гадин, но и латали, чинили, делали натяжки, заменяя погрызенную букву, и всегда были готовы вставить на место изжеванной фразы пункт на благо короны. Но что проку? Он жил по законам, которые написал, и должен смириться с тем, что по ним умрет. Однако закон – не орудие для поиска истины. Его цель – создать вымысел, что поможет нам пройти через мерзости к будущему. Милости в мире нет, есть лишь случайная справедливость: люди платят за грехи, но не обязательно за собственные.

Рейф приходит забрать письмо. Печати у него нет, так что он складывает листы и, сложив, медлит отдавать.

– Я всегда говорил Генриху, запугивать людей дешево, но не всегда дает лучший результат. Чтобы узник рассказал вам все, предложите ему надежду.

Рейф говорит:

– Я читал, что философ Кан, когда пришли палачи Калигулы и застали его играющим в шахматы, сказал им: «Вы будете свидетелями, что я выигрывал, – сочтите мои фигуры на доске».

– Я не произнесу таких смелых слов, – печально говорит он. – У Кана на доске оставалась его королева. – Двигает письмо через стол. – Здесь все, чего он желает. Объявит ли нам Клеве войну?

Рейф говорит:

– По всему, герцога вполне устраивает, что его сестра останется в Англии. И если она ни в чем не станет противиться королю, он назначит ей справедливое и почетное содержание.

– С чего она будет ему противиться? Бедняжка. – Он думает: совершить долгое зимнее путешествие и в конце обнаружить, что никому тут не нужна.

Рейф говорит:

– Герцог Вильгельм ведет переговоры с французами. Говорят, они предлагают ему принцессу и союз.

– Так что, он не женится на Кристине?

– Нет, он не сторговался с императором, во всяком случае на сей раз. Говорят, принцесса не хочет за него выходить.

Не хочет за него выходить. Это оставляет лазейку для аннуляции, когда император предложит что-нибудь получше.

– Вильгельм внакладе не остался, – говорит он. – Чего не скажешь про Анну.

Вряд ли она снова захочет замуж, после того как Генрих ее мял.

Рейф говорит:

– Французы клянутся, если надо будет, силой отнести принцессу к алтарю. Ей всего двенадцать, так что вряд ли она тяжелая. – Вздыхает. – Хелен, сэр, шлет вам поклон. Она молится о вас каждое утро и каждый вечер. И наши дети тоже, и все наши друзья.

Что ж, не много молитв обо мне бомбардирует небесные врата. Впрочем, я могу рассчитывать на молитвы архиепископа Кентерберийского, и уж его-то просьбы гремят, как раскаты грома. И Роберт Барнс обо мне молится, а я – о Роберте Барнсе. Нам обоим нечего для себя просить, только мужества. И, как пишет Уайетт, Lauda finem. Восхвалим конец.

На следующий день приходит Эдмунд Уолсингем, смотритель Тауэра:

– Не тревожьтесь, милорд, я не с дурными вестями. Я лишь пришел сказать, что вам надо переехать.

Итак, допрошатели с ним закончили.

– Где я буду теперь?

– В Колокольной башне, рядом с моими комнатами.

– Она мне знакома, – сухо говорит он. – Нельзя ли мне поселиться в башне Бошана?

– Она занята, милорд.

– Кристоф, собери мои книги. Пошли в Остин-фрайарз за одеждой потеплее, там стены толстые. – Он обращается к смотрителю: – Когда Томас Мор сидел в Колокольной башне, ему разрешали гулять в вашем саду. Буду ли я пользоваться такой же свободой?

– Нет, милорд.

Уолсингем – неразговорчивый ветеран Флодденского сражения, свой пост занимает пятнадцать лет и не намерен допустить оплошность.

– Мора не запирали. Будут ли запирать меня?

– Да, милорд.

Он надевает кафтан. «Allons»[74]. Прощается с богинями – последний мимолетный взгляд через плечо. Ни следа Анны Болейн. Он вспоминает, как она сказала – не в этой ли самой комнате? – «Будьте ко мне добры». Думает, если я увижу ее снова, то на сей раз, возможно, буду к ней добр.

Они выходят на открытый воздух. Он оглядывается и видит только вооруженных людей. Смотритель говорит:

– Надеюсь, стража вас не побеспокоит.

Порыв влажного ветра с реки. Трепетание зеленых листьев. Тепло солнца на плече. Работник сидит на лесах, голый по пояс, насвистывает «Веселого лесника»… Он чувствует, что увязает в прошлом, в синем, разлитом в воздухе мгновении. К полудню лесник обгорит.

Много дней, много лет был лесничим я,

Теперь в кудрях седина.

Повешу свой рог у лесного ручья,

Служба моя не нужна.

Прогулка чересчур короткая.

– Меня определили в верхнее помещение или в нижнее?

В Тауэре его встретили пушечным выстрелом – такова традиция. Земля содрогается, река бурлит, а узника, когда тот ступает на пристань, трепет

пробирает до мозга костей, печень возмущается, в ушах звон. На пороге Колокольной башни он вновь испытывает нечто подобное. Это слабость, но он не покажет ее смотрителю, просто коснется стены кончиками пальцев, удерживая равновесие.

Все ж, пока мой лук при мне,

Жены не буду искать.

Построю шалаш в лесной стороне,

Стану жить-поживать.

За открытыми дверями – нижнее помещение: каменное, просторное, сводчатое. Камин пуст и чисто выметен. Стены здесь двенадцатифутовой толщины, свет падает из окон высоко над головой. За столом кто-то сидит. «Это вы?» – беззвучно спрашивает он. Томас Мор встает из-за стола, пересекает комнату и растворяется в стене.

– Мартин, это ты? Хорошо выглядишь. Как моя крестница?

Тюремщик снимает шапку. Он собирался сказать, мне жаль видеть вас здесь, обычные пустые слова, лучше было их упредить.

– Ей уже пять, сэр, и такая славная девчушка, спасибо, что спросили. Такая безобидная.

Безобидная? До чего странные вещи люди иногда говорят.

– Читать учится?

– Девочка, сэр? Им от этого один вред.

– Ты не хочешь, чтобы она читала Евангелие?

– Пусть ей муж читает. Принести вам что-нибудь?

– Лорд Лайл по-прежнему здесь?

– Не могу вам сказать.

– А старуха? Маргарет Поль?

Ему подумалось, что теперь, когда он не удерживает руку Генриха, тот может казнить Маргарет.

– Хорошо. Тебе приказано не говорить, понимаю. Как по-твоему, нельзя ли затопить камин?

– Я скажу, чтобы затопили, – отвечает Мартин. – Вы всегда не любили холод. Помню, как вы приходили сюда к сэру Томасу Мору. Вы говорили: «Надо затопить камин», а он отвечал: «Томас, я не могу себе этого позволить». А вы ему на это: «Да боже мой, я заплачу за дрова – перестаньте же надрывать мое сердце, черт побери. Вы, может, и папист, но вы не нищий».

– Я? – дивится он. – Я так говорил? Мое сердце, черт побери?

– Мор умел выбить из колеи. Когда наступала ночная стража, он возвращался из сада и всю ночь водил пером по бумаге. Сидел за этим столом, в простыне. Она была точно саван – у меня аж мурашки бегали. Сам я ни разу его не видел с тех пор, как его увели. Но другие говорят, что видели. И, клянусь жизнью и спасением души, вы услышите старика наверху, Фишера. Услышите, его шаги.

– Не стоит верить в привидений, – неуверенно говорит он.

– Я и не верю, – отвечает Мартин, – но им-то что, верят в них или нет? Послушайте сегодня. Услышите, как старый Фишер шаркает, а потом стул скрипит под его весом, когда он откидывается на спинку.

– В нем не было никакого веса, – говорит он.

Епископ был тоньше сухой былинки. Чего ждать от человека, который, садясь за стол, ставит череп там, где у другого была бы солонка?

– Ваш слуга может спать здесь на тюфяке, – говорит Мартин, – если вы не захотите сами на нем сидеть.

– Сидеть? Я буду спать. Я всегда сплю. Мартин, если сюда приведут как узника моего сына Грегори или сэра Ричарда Кромвеля, ты мне скажешь?

Мартин возит ногой по полу:

– Да, скажу. Постараюсь сказать.

Пол застелен старой тростниковой плетенкой. Он думает: я велю прислать из дома ковер получше; если там что-нибудь осталось.

Это камера для узников, к которым благоволят, но за обычную комнату ее не примешь. И все же ночь проходит без происшествий. Он прислушивается к шагам Фишера, но старого епископа сморил сон. Раз он просыпается и думает: король может изменить решение, такое случалось. Некоторое время разум ходит по кругу, силясь вспомнить пример. Хроники сообщают, что в правление третьего Генриха король разгневался на своего рыцаря, Губерта де Бурга, графа Кентского, взял его измором, когда тот укрылся в церкви, и бросил в глубокую темницу. Губерт два года прожил в оковах, затем бежал и вернул себе графский титул.

Утром приходит Рейф.

– Итак, как он принял мое письмо?

Рейф движется медленно и, судя по лицу, провел за работой всю ночь. Он хочет приказать, чтобы Рейфу принесли эля, но тот говорит, нет, нет. Я должен рассказать вам, как это было.

– Король выставил советников за дверь. А потом велел мне прочесть ваше письмо вслух.

– Это, должно быть, заняло довольно много времени.

– Когда я закончил, он сказал: «Прочти еще раз, Сэдлер». Я спросил: «Целиком, сэр?» Он подумал и ответил: «Нет, историю женитьбы можешь опустить. Прочти, где он молит о милости».

Когда я прочел второй раз, то увидел, что он тронут. Мне не хотелось прерывать ход его мыслей, но наконец я отважился сказать: «Сэр, довольно одного слова». Он посмотрел на меня: «Для чего довольно одного слова?» Разумеется, он меня понял, и я не смел настаивать. Затем он сказал: «Да, я могу освободить Кромвеля. Я мог бы вернуть его ко двору завтра». Я сказал: «Французы оторопели бы, сэр», – надеялся, это станет веским доводом, ведь вы всегда советовали ему делать то, чего враг ожидает меньше всего.

«Однако французы нам не враги, – сказал он. – С прошлой недели».

Но затем король сказал: «Он так и не простил мне Вулси, и я всегда гадал, до какой крайности может довести его обида? Даже когда мой сын Ричмонд лежал при смерти, он изводил врачей своими вопросами. Епископ Гардинер говорит, сам кардинал мог бы простить, но кардинальский слуга не простит никогда».

Я сказал: «Сэр, клянусь, граф смирился и отпустил кардинала с миром». Однако он меня перебил: «Здесь у меня в шкатулке его предыдущее письмо». Повернул ключ, достал письмо и вложил мне в руки. Сказал: «Читайте. Читайте, где он говорит, что дал бы мне вечную молодость». Я прочитал. Король сказал: «Он ведь не в силах это сделать, верно?» Я готов поклясться, сэр, что в глазах у него стояли слезы. У меня быстрее застучало сердце, я думал, сейчас он прикажет: «Выпустить Эссекса на свободу!» Однако он встал и подошел к окну. Сказал: «Спасибо за ваше терпение, господин секретарь». Я ответил: «Меня обучал очень терпеливый человек». Он сказал: «А теперь можете меня оставить».

– Ты молодец, Рейф. Ты сделал больше, чем я вправе ожидать.

Рейф говорит:

– Когда я был маленьким, вы увезли меня с собой. Поставили у камина, сказали, здесь ты теперь будешь жить, мы будем о тебе заботиться, ничего не бойся. В тот день я расстался с матушкой и не знал, где я, и впервые видел Лондон, а уж тем более ваш дом, но я не плакал, ведь правда?

Сейчас Рейф плачет, словно рассерженный младенец, некрасиво, как все рыжие: лицо красное, все тело трясется.

– Где, во имя всего святого, Кранмер? Где Уайетт? Где Эдвард Сеймур? Им будет стыдно до конца жизни.

– Кранмер это переживет. Не утверждаю, что он будет спокойно спать по ночам, но переживет. Уайетт напишет про меня стихи. А Сеймур, возможно, еще будет направлять маленького принца, когда он, когда Генрих…

Он не станет говорить этого вслух. Ему уже думалось: что, если в эту самую ночь у Генриха поднимется жар, кашель сдавит грудь, легкие вновь наполнятся водой и яд от раненой ноги его убьет? Тогда страна затаит дыхание. Исполнительная рука зависнет в воздухе, даже если топор уже занесен. Я буду нужен принцу. Нужен совету. Эдвард Сеймур повернет ключ в замке и выпустит меня на свободу.

После ухода Рейфа он говорит Кристофу:

– Принеси колоду карт.

Показывает нарисованную даму, тасует колоду, кладет на стол три карты:

– Ну, где она?

Кристоф тычет коротким пальцем.

– Нет. – Он переворачивает карту. – А теперь следи за моими руками, я научу тебя этому трюку. Если когда-нибудь останешься без хлеба и денег, дама тебя выручит. – Добавляет мягко: – Это лишь на последнюю крайность. Тебя возьмет к себе Грегори. Или мастер Ричард. Скажи им, я велел тебя женить, дабы уберечь от греха.

Сейчас он занимается тем, как пристроить слуг. Некоторые отправятся к Грегори, другие – к Ричарду Кромвелю, если, конечно, король не лишит Кромвелей имущества. Кого-то возьмет Уайетт – он теперь при деньгах, и ему нужны слуги для нескольких имений. Он думает, Брэндон будет рад заполучить моих охотников, моих псарей. Дика Персера возьмет к себе торговец, знавший его отца. Итальянские купцы с руками оторвут моих поваров. Мэтью может вернуться в Вулфхолл, хотя там его французский будет без надобности. В апреле, когда его падение казалось почти неминуемым, он собрал мальчиков-певчих, поблагодарил за службу и отпустил по домам, пожелав каждому счастья и вручив по двадцать фунтов. Став графом, он подумал, не стоит ли их вернуть? Сейчас он рад, что не стал их возвращать.

В Италии, работая у банкиров, он освоил мнемонику и практиковал ее с тех пор всю жизнь. Для всего, что хочешь запомнить, придумываешь образ и оставляешь в церквях, которые посещаешь, на улицах, по которым идешь, на берегу реки, по которой плывешь в лодке. Оставляешь их в канавах, в поле между борозд, вешаешь на деревья: арбалеты и кинжалы, драконов и звезды. Когда реальные места заканчиваются, выдумываешь новые – сочиняешь острова, подобные Утопии.

Теперь, когда жить, вероятно, осталось меньше недели, надо обойти свои внутренние владения и забрать образы оттуда, где их разместил. Надо пройти всю прошлую жизнь, бодрствование и сон – нельзя оставлять свои воспоминания одни в этом мире, чужим людям.

В сумерках возвращается кардинал – чуть заметное сгущение тени на краю зрения.

– Где вы были? – спрашивает он.

– Не знаю, Томас. – Голос у старика несчастный. – Я сказал бы вам, если бы знал.

На предложенный стул смотрит с отвращением:

– Я не сяду там, где сидел Томас Мор. Не желаю даже видеть этого неблагодарного после того, как он со мной поступил. Чуть почую его дух, поворачиваю в другую сторону.

Он говорит:

– Сэр, вы же знаете, что я вас не предал? Что бы ни думала ваша дочь.

Вулси ходит по комнате, волоча край багряного одеяния. Наконец говорит:

– Ну что ж, Томас… скажем так… женщины все понимают превратно.

Непомерная усталость, которая прошла, когда он каждый день сражался с Норфолком или Гардинером, теперь навалилась снова. Ощущение в области сердца – будто его давят, сжимают – стали уже привычным симптомом горя. У него чувство, будто он тащит трупы, наваливает их один на другой: Роберта Аска, Правдивого Тома, Гарри Норриса, Уилла Брертона, маленького Фрэнсиса Уэстона и Марка Смитона с его лютней. И даже тех, к чьей смерти он непричастен: королеву Джейн, Гарри Перси, Томаса Болейна.

Он прокручивает в голове вопросы, которые ему задавали, как будто следствие все еще продолжается. Думает про Ричарда Рича: «В июне тысяча пятьсот тридцать пятого арестованный сказал мне: „Ричард, когда начнется царствование короля Кромвеля, вы станете герцогом“».

И Одли ответил слабым голосом: «Рич, мы не можем записать это в протокол. Я думаю, милорд пошутил».

Он вспоминает, как Ризли однажды взорвался: «Он уже считал себя королем. Вел себя как король. Помню, в год, когда все замерзло, в Гринвич пришли французские послы. Они предлагали его величеству свои товары, и его величество их прогнал, сказав, что потратил все деньги на войну с Паломниками. Однако затем, увидев, как они опечалились, что плыли в Англию зазря, он милостиво согласился купить их добро. Но милорд хранитель печати выгнал их из королевских покоев и заключил с ними сделку за меньшую цену, чем они предлагали королю».

Он вспоминает тот день: льдистый свет из окна, разложенные перед Генрихом соблазны: бархатный воротник, два земляничных рукава и для него, лорда Кромвеля, багрово-пурпурный шелк. Зовите-меня сказал: «Поостерегитесь,

сэр». Он помнит напряженное лицо Ризли. Вряд ли тот имел в виду: остерегайтесь меня.

Эдмунд Уолсингем заходит почти каждый день, но времени проводит лишь столько, чтобы удостовериться в телесном и душевном здравии узника, словно боится подцепить заразу. Кингстон занят в совете и в Тауэре бывает только по важным поводам. Так что ему не с кем беседовать, кроме Кристофа, тюремщика и мертвых; а с наступлением дня призраки рассеиваются. Слышен легкий вздох, шорох, с которым они тают, обращаются сквозняком, немазаным скрипом, уходят в природные субстанции – клочья тумана, дымок над прогоревшими углями.

Он живет в страхе, что король запретит Рейфу его навещать, однако, по всему, король по-прежнему желает, чтобы ему сообщали новости. Лорда Хангерфорда приговорили к смерти, рассказывает Рейф.

– Французский посол распускает слух, что Хангерфорд якобы насиловал свою дочь. Однако таких обвинений не выдвинули. Хватило колдовства и содомии.

– Марильяк обнаглел после всех слухов, что распространял обо мне. Ему это сошло с рук.

Он не может найти в себе жалости к Хангерфорду, помимо сочувствия к другому узнику, знающему, что впереди казнь. Хорошо бы Вулси пришел сыграть с ним в шахматы, хоть и не следует играть в шахматы с прелатом – у того всегда в рукаве пешка. Он страстно желает увидеть Томаса Мора, небритого, с усталыми глазами, на прежнем месте за столом – столом, которому дрожащее от сквозняка пламя свечи придавало вид алтаря. Слякотной весной тысяча пятьсот тридцать пятого года Мор научился исчезать со сцены, и ты видел перед собой покойника, безжизненное тело, вроде серебристых трупиков в паутине умершего паука.

Теперь о Море говорят как о мученике, а не как о человеке, который просчитался. Он как-то сказал Шапюи, Мор думал, что сможет управлять Генрихом, и, возможно, был прав, но столкнулся с тем, на что не рассчитывал, – с Анной Болейн. Мы, советники, считаем себя мудрыми и зоркими, мы основательно очерчиваем позиции, строим планы и до поздней ночи отстаиваем свои убеждения. И тут какая-то девчонка пробегает мимо, роняет свечу и поджигает нам рукав; и мы хлопаем по себе как полоумные, силясь уберечь свою шкуру. Я злюсь, что хитрый воришка Рич меня обошел, что болван Поло пробил дыру в моей лодке, что выживший из ума Лайл меня потопил. Может, кто-нибудь скажет, что я умер за Евангелие, как Мор умер за папу. Но большинство не сочтут меня мучеником, разве что мучеником за жажду преуспеть в жизни.

К середине месяца король снова холостяк. Сперва собрание епископов, затем парламент его освободили. Анна со всем согласилась и вернула обручальное кольцо. Рейф говорит:

– Парламент будет умолять короля жениться снова. Ради блага страны. Вопреки собственному нежеланию.

Рейф вздыхает. Цепь государственного секретаря тяжело давит на плечи.

Дождя так и нет. Жара не спадает. Судя по всему, Генрих намерен убить опального слугу полным бездействием. Висконти в Милане придумал пытку, которая длится сорок дней, и на сороковой день, не раньше, узник умирает. В первый день отрезаете ему, например, ухо. На второй день он отдыхает. На третий – выкалываете глаз. Он ждет; он сохранил один глаз, но не знает, когда вы решите его ослепить. На пятый день начинаете полосами сдирать с него кожу. И это не ради того, чтобы вытянуть какие-то сведения. Только ради спектакля для устрашения горожан.

На третьей неделе июля возобновляются допросы. Новые обвинения в лихоимстве. Есть дело, которое тянется уже два года, – насчет корабля, принадлежащего брату коннетабля Франции. Он помнит все цифры и уверен, что совершенно чист, но теперь видит, что ему не отмыться от того, как представила события французская сторона. Франциск хочет поторопить его казнь.

– Ему не терпится отправить меня на эшафот, – говорит он.

– Полагаю, уже недолго, – отвечает Гардинер. – Король подпишет билль со дня на день. Парламент вот-вот будет распущен. Его величество покинет Лондон на лето.

– Как племянница Норфолка?

Гардинер мрачнеет:

– Радуется своему счастью, пустельга. Впрочем, не мне обсуждать королевский выбор.

– Держитесь этого правила, и вы далеко пойдете, – говорит он. – Конечно она пустельга. А как же иначе, в ее-то годы. Для вас лучше, чтобы она не слишком задумывалась. История против нее.

Гардинер смотрит задумчиво:

– Боюсь, история против нас всех.

Сегодня в Колокольной башне оживленный день; за Гардинером приходит Норфолк с новыми бумагами по французскому кораблю:

– Вы должны написать об этом совету.

– Не королю?

– Пишите королю, если вам угодно. Впрочем, вряд ли он найдет время прочесть ваше письмо – слишком занят моей племянницей.

– Говорил ли он, когда меня казнят, милорд?

Норфолк не отвечает.

– Мой сын Суррей говорит, если бы вас не устранили, вы бы извели всех дворян под корень. Он говорит, Кромвель поражен собственным оружием. С ним будет то же, что со многими, кто перешел ему дорогу, знатными и простыми.

– Не буду оспаривать, – говорит он. – Но, быть может, милорд Суррей подумает, чем себя занять, если попадет сюда узником. Удача и король высоко его вознесли, однако нам не следует на такое полагаться, ибо земля у нас под ногами скользкая.

– Я ему передам, – говорит Норфолк. – Однако, клянусь Богом, вы впали в нравоучительный тон! Умные люди не нуждаются в таких предупреждениях. Они промывают себе глаза каждый день. Думаете, король вас когда-нибудь любил? Ничего подобного. Вы были для него орудием. Как и я. Вы, я, мой сын Суррей для него не более чем требушет, катапульта или другая осадная машина. Или пес. Что делать с псом, когда закончился охотничий сезон? Только удавить.

Норфолк уходит и о чем-то говорит с Мартином за дверью, но слов не разобрать.

– Кристоф! – зовет он. – Бумагу и чернила.

– Опять? – удивляется Кристоф.

Он пишет совету. Отрицает, что получил выгоду от несчастий, которые приключились с братом коннетабля и его кораблем. Норфолк знает, пишет он, так как присутствовал при разборе дела, и Фицуильям знает, и епископ Боннер – он был послом во Франции и все вспомнит. Целый час, пока думает и пишет, он чувствует себя не здесь, а в совете. Затем сразу принимается за письмо Генриху. Ему много есть что сказать, но он понимает: если выйти за пределы уничиженной мольбы, Генрих не станет слушать письмо, тем более три раза. Возможно ли умалить себя еще сильнее, чем в прежних письмах? Под вечер он уже не может бороться с усталостью. Откладывает перо и дает мыслям отвлечься. Шапюи снова в Лондоне, опять назначен послом. Возвращаемся к старым играм. Генрих отвесил поклон французам, теперь преклоняет колени перед императором. Кардинал узнал бы в этом свою политику.

Ночью, когда Вулси, моргая, входит в комнату, он говорит:

– Будьте мне добрым отцом. Посидите со мной до конца.

– Я бы рад, – отвечает старик, – да не знаю, хватит ли сил.

Судя по бормотанию в уголке, кардинала больше заботит его собственная кончина. Вулси говорит о свечах вокруг смертного одра, о том, как Джордж Кавендиш держал его за руку. Описывает склонившиеся над ним скорбные лица монахов Лестерского аббатства. Говорит о поспешных похоронах, про которые вроде бы знает. «Почему меня не уложили в мою гробницу? За которую я столько заплатил вашим итальянцам. Где мои подсвечники? Куда делись мои танцующие ангелы?»

Мартин из жалости приходит с ним посидеть. Мор в последние дни много говорил, замечает тюремщик, все время говорил, не только когда хочешь слушать. Рассказывал, как был школяром в школе Святого Антония. Шел с

сумкой по Вестчип к Треднидл-стрит. Зимним утром, в шесть утра, улицу освещал лишь иней на мостовой. Их, маленьких школяров, дразнили свиньями святого Антония; в свете фонаря они принимались зубрить свою латынь.

– А про Ламбет он когда-нибудь рассказывал?

– Про архиепископа Кентерберийского? Он его ненавидел.

– Я хотел сказать, про Ламбет времен Мортона, когда мы оба были детьми. Томас Мор готовился там в Оксфорд, просиживал дни за книгами. Он меня не упоминал?

– Вас, сэр? При чем здесь вы?

Он улыбается:

– Я тоже там был.

Дядя Джон говорит:

– Видишь подносы? Это ужин молодых джентльменов. Они очень много учатся, и если просыпаются по ночам, то думают о Пифагоре или святом Иерониме. От этого у них разыгрывается аппетит. Так что им нужен кусочек хлеба и стаканчик разведенного пива. Так вот, знаешь третью лестницу? На самом верху – мастер Томас Мор. Он не любит, когда ему мешают, поэтому входи тихо, как мышь. Если он тебя заметит – поклонись. Если не заметит, выходи так же тихо и ничего не говори, даже «доброго здоровьица», понял?

Он понял. Хватает поднос и бежит к лестнице – ноги у него крепкие, по виду и не скажешь, что он всегда голоден. Что, если сесть на нижней ступеньке, выпить пиво и съесть хлеб? Услышит ли он ночью, как мастер Мор плачет от голодной рези в желудке? «О, накорми меня, накорми, – жалобно хнычет он, поднимаясь по лестнице. – О святой Иероним, накорми меня!»

На верхней ступеньке в него вселяется бес. Он пинком распахивает дверь и орет:

– Мастер Томас Мор!

Школяр поднимает кроткий заинтересованный взгляд, однако поворачивает книгу, будто хочет закрыться.

– Мастер Томас Мор, ваш ужин!

Он грохает поднос на буфетную полку. Говорит:

– Петли скрипят. Завтра приду смажу.

Открывает и закрывает дверь, чтобы скрипнуло дважды. Ему хочется спросить, что такое пифагор, это животное, или болезнь, или фигура, которую можно нарисовать?

– Мастер Томас Мор, доброго здоровьица! – орет он. – Спокойной ночи!

И уже собирается хлопнуть дверью, но тут мастер Мор зовет: «Мальчик?» Он снова врывается в комнату. Мастер Мор сидит за столом, моргает. Лет четырнадцати-пятнадцати, тощий. Уолтер бы такого обсмеял. Мастер Мор говорит мягко:

– Если я дам тебе пенни, ты другой раз не будешь так делать?

Он сбегает по лестнице, богаче на пенни. Прыгает на каждой ступеньке и свистит. Все по-честному. Ему заплатили, чтобы он не шумел в комнате, про лестницу речи не было. Если мастер Мор хочет жить в могильной тишине, пусть раскошелится пощедрее. Он бежит прочь, туда, где мальчишки гоняют по двору мяч.

После этого он каждый вечер сидел на лестнице затаившись, будто демон, пока Мор не решал, что опасность миновала. Тогда он врывался с криком: «Добрейший вечерок, сэр!» – и грохал поднос так, что Мор проливал чернила. Когда Мор напомнил ему про пенни, он изумленно распахнул глаза: «Я думал, это только за один раз!»

Со вздохом и полуулыбкой Мор вытащил еще монету.

Он думал, Томас Мор пожалуется эконому, тот вызовет его к себе и отлупит. Или сам архиепископ вызовет его к себе и отлупит, а может, как служитель Божий, только отчитает. В последнем случае он собирался много чего наговорить в ответ. Он бы рассказал Мортону, как управляют его кухнями, как воруют со стола оловянную посуду, как лезут пальцами служанке в манду и тут же, теми же пальцами, во фрикасе.

Однако никто его не вызывает. Никто его не лупит, кроме Уолтера, сестер, дядьев, теток, священника (если поймает), отца Шона Мэдокса, Уильямсов, Уиксов… однако Томас Мор ни разу его не тронул, даже чужими руками. Удар завис в воздухе; он ощущал эту угрозу в те годы, когда Мор искоренял ересь и врывался в дома и лавки его друзей. А когда удар все же обрушился, то пал, на кого не ждали: это Мор поднялся на эшафот в день, когда ветер дует будто со всех сторон сразу; рубаха трепетала, пока он стоял, обнажив шею, дождевые струи слезами текли по лицу, а туманная дымка растворяла каменные стены в серой вздувшейся реке. Это была легкая смерть. Один удар – и все. Бывает гораздо хуже.

Когда они встретились взрослыми, Мор его не узнал.

Эсташ Шапюи вернулся в сильно изменившийся Лондон: в воздухе разлита подозрительность, королева была и сплыла. Король вычищает не только тех, кого считает еретиками, но и последних папистов, так что тюрьмы переполнены. Говорят, посол выглядит усталым и не выражает радости от возвращения. Он, Кромвель, понимает, что Шапюи, как человек разумный, и близко к нему не подойдет, бесполезно даже просить, но про себя гадает: придет ли Шапюи на мою казнь? Он не хочет, чтобы приходил сын, даже если дело ограничится отсечением головы, – помнит, как худо тому было на казни Анны Болейн, которую Грегори толком и не знал. Говорит Рейфу:

– Грегори пора написать письмо с отречением от меня. Пусть пишет обо мне как можно хуже. Пусть скажет, что не понимает, как оказался в родстве с таким гнусным изменником. Пусть молит, чтобы ему позволили службой его величеству искупить мои преступления.

– Да, но вы знаете письма Грегори. «На сем, за неимением времени, заканчиваю». – Рейф задумывается. – Я поручу это его жене Бесс. Она – сестра покойной королевы Джейн и скорее растрогает королевское сердце.

Он думает, я всегда был сообразителен во всем, но Рейф Сэдлер сообразителен, когда это нужно.

– Даже в разгар своего нового счастья король наверняка помнит Джейн.

Рейф говорит:

– Запрещено носить траур по изменникам. Однако Ричард Кромвель сказал, что будет носить траур.

– Не надо, – мягко произносит он. – Скажите, что я прошу этого не делать.

И все равно он невольно улыбается. Рейф оглядывает помещение:

– Сказать Эдмунду Уолсингему, чтобы вас переселили? Мне здесь не по себе.

– Я привык. Если встанешь на табурет, сможешь увидеть башню Байворд. Попробуй.

Рейф не видит башню, потому что тоже невысок ростом, зато это позволяет ему успокоиться, стоя лицом к стене; затем он в последний раз обнимает покровителя и уходит в жаркий вечер.

Дверь закрывается, шаги Рейфа затихают. Он открывает свои книги. Тома легенд, компендиумы святых; утешительные легенды. Благодарение Богу, их не забрали, однако надо позаботиться, чтобы они не пропали. Надо написать письмо о том немногом, что у меня осталось, и надеяться, что мою просьбу уважат.

Он читает книгу Эразма «О приуготовлении к смерти», написанную всего лет пять-шесть назад под покровительством Томаса Болейна. Чтение утомляет глаза – лучше смотреть картинки. Он откладывает книгу и начинает листать гравюры. Видит Икара с оплавленными крыльями, падающего в воду. Дедал придумал крылья и совершил первый полет. Он был куда осмотрительнее сына: пролетел над лабиринтом, над стенами, над морем так низко, что замочил ноги. Но затем он взмыл с ветром, и землепашцы таращились ввысь, убежденные, что видят богов или исполинских бабочек, и, пока он набирал высоту, был миг, когда искусник почувствовал нутром: «Получится!» И то было худшее мгновение его жизни.

Двадцать седьмого июля к нему приходят разом комендант и смотритель Тауэра. Кингстон говорит:

– Сэр, король дарует вам смягчение казни. Это будет отсечение головы, чему я искренне рад… – Кингстон спохватывается: – Прошу прощения, я хотел сказать, вы часто просили такой милости для других, и король вам редко отказывал.

Значит, думает он, я не увижу августа. Зайцев, бегущих от сборщиков урожая, холодные утренние росы после Дня святого Варфоломея. Листопад, темные синие ночи.

– Это будет завтра?

Кингстону не положено отвечать, но Уолсингем произносит мягко:

– Если ваша милость прочтет сегодня вечером молитвы, то поступит очень правильно.

Кингстон отбрасывает притворство:

– Я приду в обычный час, в девять, и вместе с вами выведут лорда Хангерфорда.

Значит, я умру вместе с чудовищем, думает он. Или с человеком, который нажил чудовищных врагов, способных силой воображения превратить осужденного в кого пожелают.

Уолсингем говорит:

– Хотите ли вы исповедаться?

– Да, если духовником будет Роберт Барнс.

Комендант и смотритель переглядываются.

– Он осужден, – говорит Уолсингем. – Его казнят в Смитфилде через день или два.

– Одного?

– С ним казнят священника Гаррета и отца Уильяма Джерома. Мы ждем приказов. Еще через день-два повесят двух папистов, в том числе Томаса Эйбла, капеллана принцессы Арагонской.

Гаррет, Джером, его друзья, евангелисты. Эйбл, давний противник. Насыщенная неделя, думает он.

– Надеюсь, у вас хватит умелых палачей.

Кингстон отвечает резко:

– Мы стараемся, как можем.

Он встает. Выражает желание остаться в одиночестве.

– Я не так давно исповедовался, а здесь у меня было мало возможности согрешить.

– Дело не в этом, – смущенно произносит Кингстон. – Нам положено всю жизнь себя исследовать и каждый раз находить новые грехи.

– Знаю, – говорит он, – и знаю, как это делать. Я живу здесь с Томасом Мором. Я читал его книги. Мы все умираем, только с разной быстротой.

Уолсингем говорит:

– Герцог Норфолк просил известить вашу милость – завтра король женится на Кэтрин Говард.

Кристоф говорит:

– Я принесу свой тюфяк. Буду сегодня ночью с вами.

– Не бойся, я не наложу на себя руки, – говорит он. – Надеюсь, палач справится быстрее меня.

– Вы будете писать письма?

Он задумывается.

– Нет. Я уже все написал.

Он отсылает Кристофа погреться на солнце: выпить за его здоровье и посидеть на стене с другими слугами, болтая, без сомнения, о неопределенности своей судьбы, с такими-то хозяевами.

Думает о том, как все будет завтра. По рангу он выше Хангерфорда, так что умрет первым. Король своим решением избавил его от страшных мук и позора. Он будет молиться об одном точном ударе. Вспоминает Анну Болейн, как та заказывала наряды для коронации: «Томас должен быть в алом».

На эшафоте он восхвалит короля: его благородство, милость, попечение о народе. Этого ждут, и у него есть долг перед теми, кого он оставляет. Он скажет, я не еретик, я умираю членом единой католической церкви, и пусть зрители понимают как хотят. Хотя каждому боязно узнать час своей кончины, христианин больше страшится внезапной смерти, как было с его родителем, mors improvisa без покаяния. Соседи в Патни считали, что Уолтер исправился, бросил пить, буянить и драться. Однако как-то вечером он повздорил с другим церковным старостой – и не по божественным вопросам, а из-за петушьих боев. Уолтер поставил другому старосте фонарь под глазом, после чего вернулся домой и потребовал есть. Свидетели рассказывают, что он был бледен и в поту, но все равно умял тарелку холодного мяса, ни на минуту не переставая браниться. Потом принялся тереть грудь и жаловаться на ужин, от которого у него-де в животе печет, а через пять минут уже упал лицом на стол. Его уложили на спину. «Черт вас дери, я задыхаюсь! Поднимите меня, поднимите же» – были его последние слова.

На похороны собралось довольно много народу. Он, Томас, оплатил заупокойные мессы.

– Как по-вашему, будет от этого прок? – спросил он священника.

– Не отчаивайтесь насчет него, – ответил тот. – Он был человек буйного нрава, но не безнадежно дурной.

– Я не о том, – сказал он. – Будет ли Уолтеру прок от молитв? В смысле, есть ли от них прок покойникам? Бог смотрит на нас всю нашу жизнь. Уж наверное, если человек прожил так долго, как Уолтер, Господь успел составить о нем мнение? Если не знал изначально.

– На мой взгляд, это попахивает ересью, – сказал священник.

– Разумеется, поскольку бьет вас по карману. Если Господь не сомневается в собственных решениях, то что проку в ваших панихидах, четках и плате за тысячу веков месс?

Он вспоминает себя пятнадцатилетним, избитым, на мощеном дворе в Патни. Отец стоит над ним, булыжники в крови, дратва торчит из разошедшегося шва на отцовском башмаке. Уолтер орет на него, он орет в ответ: je voudrais mourir autrement[75] – не здесь, не сейчас, не так.

Но, думает он, я не орал. Я не знал тогда французского. Растоптанный, оглушенный, я встал и уплыл за море. Я сражался на чужих войнах, за деньги, пока не сообразил, как зарабатывать их проще: Кремуэлло к вашим услугам, ваша тень в стекле.

Как-то ночью в Венеции перед ним промелькнула куртизанка, призрак во влажной дымке, – стук башмаков в тишине, желтая шаль в бесцветной серости, отзвук смеха. Затем в стене открылась дверь, и женщина растворилась в мраке. Она исчезла так быстро, так бесследно, что он гадал, уж не привиделось ли ему. Он подумал: если мне когда-нибудь потребуется исчезнуть, я поеду в Венецию.

В эти дни ему порой снится, что он тонет. Он просыпается с мокрыми ресницами, не помня, на каком языке говорит, не помня, где он, но страстно желая оказаться в другом месте. Вспоминает детство, дни на реке, дни в полях. Вся его жизнь – мелькание неуловимых женщин. Он помнит мачех, которых приводил Уолтер; не успеешь привыкнуть к очередной, как Уолтер ее выгонит, или она сама убежит, прихватив узелок с пожитками. Он думает о своих дочерях Энн и Грейс; может, он встретит их уже взрослыми? Мысленно видит дочку Ансельмы, как та ходит по его дому и внимательным взглядом отмечает принадлежащие ему вещи: печать, книги, – рассматривает его глобус мира и спрашивает: «А этот остров где? В Новом Свете?»

Ему сообщают, что мастер Ризли переехал в Остин-фрайарз. Король велел распустить Кромвелеву прислугу. Днем по комнатам хозяйски расхаживает Зовите-меня, вдыхает запах бумаги и чернил, розовой воды и смолы. Ночами по полам бесшумно ступает леопардица, вынюхивает давно умерших животных, спаниелей и мармозеток, смотрит вверх на молчащего в клетке соловья. Она чует аромат вареного мяса от несчетных обедов и мышиные кости за стенными панелями; ее недвижный взгляд следит птичий полет за окнами. Он думает, я

потратил тысячи фунтов на стекло. Мастер Ризли не сможет уничтожить то, что я создал. Он может лишь пройти сквозь стекло и пораниться осколками.

Кристоф возвращается нетвердой походкой – пьян, перегрелся на солнце или что-нибудь еще. Он говорит:

– Мог бы побыть там дольше. Я не скучаю.

Июль, ночи короткие. В сумерках он отправляет Кристофа за ужином, а сам думает о рае и аде. Ад рисуется ему холодным местом, пустырем, болотом, пристанью – вдалеке орет Уолтер, потом крики приближаются. Так оно и будет – не сама боль, но постоянный страх боли, страх ошибки, понимание, что тебя накажут за что-то, чего ты не мог избежать, более того, не считал дурным; и такой же постоянный раздор, нестихающий ожесточенный спор сразу за стеной. Рай видится ему празднеством, которое устроил кардинал, чем-то вроде Поля Золотой Парчи в Пикардии – дворцы на диковинной пограничной земле, акры прозрачного стекла, искрящегося на солнце. Хотя, конечно, устраивать такое надо было в краях потеплее. Может быть, думает он, завтра я буду жить в ласковом городе, где последние солнечные лучи смягчают очертания колоколен и куполов; дамы в нишах молитвенно склонили головы, по улице семенит собачонка с пушистым хвостиком, равнодушные голуби садятся на позолоченные шпили.

После ужина он складывает книги. Надо попросить Кингстона, пусть отдаст их Рейфу. Кладет в стопку грамматику Кленара. Он почти не продвинулся в изучении древнееврейского, отчасти по недостатку времени – никогда еще узник не трудился так много и не изводил столько чернил. Жаль, что ему не довелось познакомиться с автором грамматики Николя Кленаром, или Клейнартом, как называют его голландские соотечественники; антверпенские друзья говорят, он великий знаток языков и провел много северных ночей при лампе, копируя завитушки арабской вязи. За книгами на этом языке Кленар много лет назад отправился в Саламанку, оттуда в Гранаду, но все оказалось тщетно – инквизиция упрятала арабские писания под замок. Некоторые говорят, теперь Кленар отправится в Африку – изучать священную книгу магометан. Он воображает, как ученый муж бродит по базарам, питается финиками, оливками, грушами, томленными в меду с эссенцией флердоранжа, бараниной, запеченной с шафраном и абрикосами.

Всю жизнь бредешь по пустой дороге, ветер дует тебе в спину. Тебя мучает голод, и чем дальше уходишь во мрак, тем сильнее терзаешься неуверенностью. Однако, когда добираешься до цели, привратник тебя узнает и с фонарем провожает через двор. В доме ждет огонь в очаге и кувшин вина, на столе свеча, а рядом – твоя книга. Садишься у огня, открываешь ее на заложенной странице и начинаешь читать свою повесть. За окном ночь, а ты все читаешь и читаешь.

В девять часов двадцать седьмого июля он встает на колени и читает молитвы. Он часто гадал, как мы узнаем за гробом умерших близких. Однако сегодня, в последнюю ночь, он видит, что они зримы и сияют. Они обратились в промельк, в мгновение. Между ребер у них воздух, их плоть пронизана светом, мозг костей слился с Божьей благодатью.

Ему чудится, будто из угла на него смотрит мальчишка-рыбник. Пшел вон, срань, говорит он.

Он не может уснуть, потом вроде бы засыпает. Ему снятся четыре женщины, они стоят у его постели, их лица скрыты покрывалами. Он просыпается и высматривает их в темноте, но никого нет, только Кристоф храпит на тюфяке. Он вспоминает Кристофа в Кале, на Кокуэлл-стрит, – грязные лохмы, засаленный фартук. Кто бы угадал, что этот мальчишка будет с ним в последнюю ночь? Думает про мнемоническую машину, ее ниши, полочки, тайные углубления.

Должно быть, он снова засыпает, потому что видит себя ребенком. Вокруг него призрачные товарищи детских игр, другие сыновья Уолтера, родившиеся раньше его и умершие. Он видит этих старших братьев, трех или четырех, в профиль – они то ли вырезаны на скамье, то ли нарисованы на стене. Они стоят на коленях, по росту, от самого высокого, с чьей смерти прошло больше всего лет, до него, самого маленького и незначительного.

Полупробудившись, он спрашивает себя: рассказывал ли Уолтер об этих сыновьях. Нет; и все же каждый раз, как отец выражал ему свое недовольство – например, кулаком или башмаком, – он ощущал их еле уловимое присутствие, их безмолвную жалость как слабое колыхание воздуха.

От звука первых колоколов он садится. Спускает ноги на пол. Слышит, как Кристоф что-то бормочет: молитвы, хочется верить. Видит себя, из последних сил ползущего по флорентийской мостовой. К воротам Фрескобальди.

II

Свет

28 июля 1540 г.

Узник не думает ни о чем, кроме еды.

– Кристоф, где мой завтрак? И вода для умывания? Я не могу предстать перед Богом в таком виде.

Холодный пот. Он проводит рукой по подбородку. Бритву ему не давали; тут их можно понять.

Кристоф ставит на стол хлеб и эль:

– Мартин принесет холодную птицу.

– Хорошо. Попробуй что-нибудь у него выведать. Насчет времени, когда за мной придут.

Он не особо доверяет расписаниям Кингстона; Анна по его милости прождала целый день.

Однако Мартин теперь не тратит на этого узника много слов – тот почти что уже завершенное дело. Он думает, я не знал, что, когда умираешь, никто не хочет на тебя глядеть. Да и тебе на них глядеть не хочется. Ты видишь выражение, которое не можешь воспроизвести.

Мартин говорит – Кристофу, не узнику:

– Лорда Хангерфорда не знают, как выводить. Он ночью видел дьявола. Теперь лежит на полу и орет как пьяный.

Вместе с Кингстоном приходят шерифы, Уильям Лакстон и Мартин Боуз. Вежливо желают ему доброго утра.

– Вы готовы, лорд Кромвель? Мы готовы вас вести.

Ему дают монеты, чтобы вручить палачу как плату за услуги. Его джеркин тоже заберет себе палач – такова традиция. Он думает, надо было найти пурпурный. Или оранжевый, так огорчивший однажды мастера Ризли. Ему приходит в голову, что после его смерти другие будут проживать день дальше; час будет примерно обеденный: бульканье похлебки в котлах, звон поварешек, шкварчание снимаемого с вертелов мяса; тысячи псов очнутся от дремоты и завиляют хвостами; люди в домах приладят на грудь салфетки, окунут пальцы в розовую воду, преломят хлеб. А когда крошки сметут и посуду унесут мыть, его тело будет разрубленным мясом и палач протрет лезвие дочиста.

– Что-нибудь кому-нибудь передать? – спрашивает Мартин. Он готов исполнить такую просьбу ради платы от родных покойника.

– Скажи моему сыну… – Он умолкает. – Скажи государственному секретарю Сэдлеру… нет, не важно. Пошли в Остин-фрайарз и передай Томасу Авери…

Нет. Авери не надо повторять дважды.

Он говорит шерифам:

– В Плимуте некий человек, Уильям Хокинс, снарядил корабль в Бразилию. Взял на борт свинец и медь, сукно, гребни, ножи и девятнадцать дюжин ночных колпаков. Хотелось бы мне знать, что из этого вышло.

Шерифы сочувственно сопят. Наверняка жалеют, что не вложились.

Он оглядывается через плечо:

– Кристоф, возьми метлу и подмети.

У Кристофа лицо сморщенное – вот-вот заплачет.

– Сэр, я пойду с вами. Подметут и без меня. Вот, – он роется за пазухой, – у меня есть образок, святой образок, мне его матушка подарила, возьмите, Христом Богом прошу.

Он отвечает:

– Мне не нужен образ, я увижу Божье лицо.

Кристоф держит образок на ладони:

– Сэр, отнесите ей. Она его ждет.

Он разрешает повесить образок себе на шею. Вспоминает другой, подаренный сестрой, тот, что лежит на морском дне.

– А теперь, Кристоф, послушайся меня в последний раз. Когда подметешь, можешь идти за мной, только в драку не лезь. Мне нужно молиться, так что не прерывай мои молитвы. Мартин, и ты обо мне молись, когда я буду умирать. А потом, если смогу, я буду молиться за тебя.

Он вспоминает, как Джордж Болейн сказал: у нас есть актер, который играет Робина Доброго Малого. Когда короли и королевы удаляются со сцены, он выходит с метлой и свечой – это значит, что пьеса окончена.

Свет утренний, мягкий, небо – бледно-голубое. Уже чувствуется, что день будет снова жаркий. Идти предстоит за крепостную стену, до Тауэрского холма, где воздвигли эшафот.

Он, с трудом веря своим глазам, смотрит на ряды вооруженной стражи.

– Столько? – спрашивает он Кингстона.

– Стой! – орет начальник стражи.

Это всего лишь Хангерфорд. Его тащат под локти двое стражников. Одна процессия должна пристроиться за другой. Хангерфорд смотрит сквозь него остекленелым взглядом, не узнает.

– Милорд, – говорит он, – нам осталось совсем немного времени, и, хочется верить, наша боль будет сильной, но недолгой. Наберитесь мужества и поддерживайте себя надеждой. Если вы искренне раскаиваетесь в содеянном, то уповайте на Бога – Он милостив.

Он пробыл в заточении сорок восемь дней и за все это время практически не выходил на открытый воздух. Даже такой мягкий свет режет глаза, и он вспоминает Тиндейла, идущего по белильным полям. Рейф прав, думает он, мы вечно сетуем на погоду, и сегодня она не такая, как надо. Англичанин умирает вымокший, под дождем, который поливал его всю жизнь, и, когда бродит тенью по старым местам, не поймешь за моросью и туманом, живой или мертвый. Климат защищает его, как ладони – свечу.

Они уже за крепостной стеной, на Тауэрском холме. Люди, стекающиеся к лобному месту, ступают по своим покойникам, праотцам и праматерям. Говорят, здесь под землей лежат кости бессчетных лондонцев, умерших во время чумы. Они падали мертвыми прямо на улицах; трупы уносили в спешке и хоронили прямо в добрых башмаках, даже не срезав кошель, так что тут прямо под ногами лежат сокровища для тех, кто решится их откопать.

По реву толпы не поймешь, пришли лондонцы горевать или радоваться. Впрочем, поскольку король поставил в оцепление шесть сотен солдат, это и не важно. А возможно, они и сами не знают. После тишины в Колокольной башне он идет как по полю сражения, на стук барабанов: боро боромбетта…

Скарамелла пошел на войну…

Теперь страницы его книги листаются все быстрее и быстрее. Свиток сердца разворачивается, строчки исчезают. Между молитвами в голове звучат стихи:

Я есть, что я есть, чем я должен быть,

А что я есть, не вам судить,

В славе, в холе, в узах мне жить —

Я есть, что я есть, чем я должен быть…

…Судите-рядите теперь вкривь и вкось,

Как справедливость велит или злость;

Мало узнать вам меня довелось.

Я есть, что я есть, уж так сошлось.

Сердце стучит, будто вот-вот вырвется из груди. Позади другая дробь, барабанная – та-та-та. Она сбивает ритм его сердца – тук-тук, та-та. Кровь приливает к щекам и замирает в жилах, точно прилив, готовый смениться отливом. Он оборачивается на звук, не понимая, что это значит, отчего барабан в толпе. Стражник придвигается ближе, загораживая ему вид. Почему? Они что, думают, это сигнал? Та-та-та. Думают, он надеется на спасение?

Scaramella fa la gala…[76]

– Смотрите, куда идете, милорд, – говорит стражник.

Он смотрит и видит перед собой ступени эшафота.

– Вот и дошли, – говорит он.

Перед ним стоит Томас Уайетт. Это его стихи, чьи же еще? «Судите-рядите теперь вкривь и вкось…» Уайетт протягивал руки. Его не связали, так что он может стиснуть ладони Уайетта. «Не плачьте, – говорит он. – Если есть, что простить, я прощаю. Учтите, это не относится к Стивену Гардинеру. Но я прощаю короля. А теперь помолчите, и услышите, как я это скажу».

Он думает: в глазах Уайетта смерть. Кому ее узнать, если не мне? Враги твои процветут, ты же последуешь за ними.

– Поднимайтесь, – говорит стражник.

Он пытается оттолкнуть их руки. «Я справлюсь». Сердце по-прежнему несется вскачь, спотыкается. Но они все равно будут тебя поддерживать, хочешь ты того или нет. Бывало, осужденные падали. Теряли сознание. Бывало все, что угодно. Лорды стояли на ногах до самой смерти и даже после. Во время оно на этом самом месте обезглавили Томаса Фицалана, графа Арундельского, и его тело вскочило и прочло Патерностер. Все палачи, когда собираются на сход, обсуждают это как непреложный факт.

Он уже на ступенях эшафота. Разум спокоен, но у тела своя забота, а именно – дрожать. Он вновь оборачивается. Помилования не ждет, знает, что король занят женитьбой. Просто хочет найти, кто шумит, и утихомирить его, чтобы, умирая, слышать только свое сердце, пока поэзия и молитва не стихнут и сердце не умолкнет.

И тут он видит, что через плотную толпу, размахивая руками, продирается Кристоф. Господи, только бы не с оружием! Он напрягается всем телом, готовясь к потасовке.

– Милорд, милорд! – вопит Кристоф.

Стражники выстроились стеной, но Кристоф просовывает между ними руку, будто хочет его коснуться. Один из стражников поднимает кулак в латной рукавице. Слышен хруст. Лицо Кристофа кривится от боли и неожиданности. Держа руку на весу, точно сломанное крыло, и трясясь всем телом, Кристоф изрекает проклятие:

– Генрих, король Англии! Я, Кристоф Кремюэль, тебя проклинаю! Святой Дух тебя проклинает! Твоя собственная мать тебя проклинает! Надеюсь, в тебя плюнет прокаженный. Надеюсь, у твоей шлюхи французская болезнь. Надеюсь, вода из твоего сердца поднимется и хлынет у тебя из носа. Чтоб тебе под телегу попасть. Чтоб тебе сгнить с пяток до макушки, медленно-медленно, за семь лет. Чтоб тебя Бог раздавил. Чтоб тебе в ад провалиться.

Кристофа оттаскивают. Толпа такая плотная, что отдельных людей толком не различить. На таких зрелищах есть особые места для придворных, но он не

станет на них смотреть. Все прошло, все смыто дождем и кровью. На сем, за неимением времени, заканчиваю.

Теперь он лицом к лицу с палачом. Зрители стремительно отодвигаются, уменьшаются. От палача разит спиртным. Плохое начало. Он воображает рядом с собой Уолтера: «Святые угодники, у кого ты купил этот топор? Тебя надурили! Эй, дай топор моему мальчонке, Тому. Он наточит как следует».

У него мелькает мысль схватить топор и завалить палача, однако именно это подсовывает тебе под конец жизнь: бой, в котором ты не можешь победить. В свое время он подбадривал многих, кому недоставало опыта и сноровки. В иных обстоятельствах он бы забрал топор из неумелой хватки, сказал: «Смотри, как надо».

Палач протягивает ладонь. Он кладет туда монеты:

– Не бойся нанести удар. От твоей неуверенности ни тебе, ни мне лучше не будет.

Палач встает на колени – вспомнил, что должен сказать:

– Простите меня за то, что я должен исполнить. Это мое ремесло и мой долг. Здесь у меня тряпица, сэр. Закроете лицо?

– Чего ради? – спрашивает он, а про себя думает: «Только если из жалости к тебе».

– Милорд, вам придется встать на колени. Когда будете готовы, положите голову на плаху.

Анна умерла мгновенно, и он затем подошел поговорить с палачом, прочел выгравированную на клинке надпись: «Speculum justitiae, ora pro nobis»[77]. На топоре слов не пишут.

Он встает на колени. Читает молитву. Барабанный бой. Ла дзомберо боро боромбетта… Алая вспышка. Он думает: мне надо следовать за господином, ничего больше. Протянуть руку, ухватиться за край одеяния. Высматривать алый отблеск, идти за ним.

Он укладывается умирать. Думает: другие справились, и я справлюсь. В ноздри вплывает запах свежих опилок и, откуда-то, ароматы кухни Фрескобальди – гвоздика и чеснок. Краем глаза он видит движение – это зрители встают на колени и отводят взгляд. Во рту пересохло, но он думает: пока я живу, я молюсь. «Все мое упование возлагаю на Твою премилосердную благость…» Какое-то движение в небе. Что-то заслоняет солнце. Это Уолтер, его отец, голос в воздухе. Он лежит, избитый, на булыжниках двора перед домом, в котором родился. Все тело сотрясает дрожь. «А ну вставай!»

Боль острая, жгучая, содрогание, судорога. Металлический вкус смерти: медленной, еще не наступившей. В панике он пытается сделать, что велит отец, да только руки не держат, ползти не выходит. Он угорь, червяк на крючке, силы вытекли из него, и вроде он уже бесконечно давно согласился умереть, но сердцу никто не сказал, и оно сжимается в тщетной попытке биться. Щека лежит на пустоте, лежит на алом. Он думает: идти за ним.

Уолтер орет: «Давай-давай, заблюй тут все, заблюй мои добрые булыжники. Давай же, вставай! Поднимайся! Святые греховодники! Встань на ноги!»

Очень зябко. Люди думают, холод наступает потом, но ему зябко сейчас. Он думает: зима. Я в Лонде. Я провалился глубоко в хрусткий белый снег. Я раскинул руки ангелом, но теперь я кристалл, я лед и погружаюсь все глубже; теперь я вода. Земля под ним пучится. Река увлекает его, он высматривает быструю струю алого. Отлив внутреннего моря несет его по багрянцу. Теперь он далеко от Англии, от этих островов, от вод соленых и пресных. Он исчез, стал склизким камнем под ногами, последним затуханием оставленной им волны. Он вслепую ищет выход, дверь, луч света, скользящий по стене.

Эпитафия

Вдруг, однако, тебе, о ты, который родишься после меня! – тебе, как я желаю и чаю, лучший достанется век! Сей сон Летейский не может длиться без срока: мрак расточится, поздним потомкам вновь отворится тропа к пречистому древнему свету[78].

Петрарка. Африка, IX

Послесловие автора

Через полтора года после женитьбы короля на Екатерине Говард ее обвинили в преступной связи с придворным Томасом Калпепером, а также в том, что у нее были любовники еще до свадьбы. Ей отрубили голову. Вместе с ней казнили Джейн Рочфорд за пособничество в измене.

Детей у Генриха больше не было. Его шестой, и последней женой стала Екатерина Парр, бывшая леди Латимер. Умная и образованная Екатерина, пережившая короля, вышла за Томаса Сеймура – своего четвертого мужа – и умерла, родив ему дочь.

После развода с Анной Клевской, своей четвертой женой, Генрих остался с ней в дружеских отношениях. Она получила богатые поместья (в том числе конфискованные у Томаса Кромвеля), жила на широкую ногу, не выражая желания вернуться на родину, и умерла на десять лет позже Генриха.

После казни Кромвеля Генрих прожил еще семь лет, больной, немощный и опасный. Он отправился воевать во Францию и обесценил английскую монету. Его сыну Эдуарду было девять лет, когда тот взошел на трон, лорд-протектором стал Эдвард Сеймур. В царствование Эдуарда в Англии окончательно утвердился протестантизм. Однако Эдуард умер в пятнадцать лет – вероятно, от туберкулеза. Его сестра Мария, взойдя на трон, попыталась восстановить Римско-католическую церковь. Она назначила Стивена Гардинера лорд-канцлером, а Реджинальд Поль, возвращенный из долгого изгнания, стал архиепископом Кентерберийским. Томаса Кранмера, Хью Латимера и многих других сожгли как еретиков.

Мать Реджинальда Поля, Маргарет, графиню Солсбери, казнили в 1541 году. Джеффри Поля помиловали и отпустили на свободу, но он бежал в Рим и вернулся в Англию лишь после воцарения Марии. Он умер в 1558 году, оставив одиннадцать детей.

Генрих довольно скоро пожалел о смерти Кромвеля и вернул Грегори баронский титул. Грегори иногда появлялся при дворе, но по большей части жил тихо в аббатстве Лонд. Он умер молодым, и его жена Элизабет воздвигла ему красивый надгробный памятник, который можно видеть в часовне и в наши дни. Ричард Кромвель тоже пережил падение своего дяди. Он был назначен джентльменом личных покоев и воевал во Франции. Умер он в 1545 году богатым человеком. Его правнук, Оливер Кромвель, стал лорд-протектором первой английской республики.

Ансельма и Женнеке вымышлены. Считается, что у Томаса Кромвеля была незаконная дочь по имени Джейн, родившаяся, вероятно, вскоре после смерти его жены. Однако мы не знаем, кто ее мать, и никаких полезных догадок у нас нет.

Рейф Сэдлер после казни Кромвеля впал в немилость, однако пережил ее и оставался на королевской службе почти до смерти. Он умер в 1587 году, без малого восьмидесяти лет; молва называла его богатейшим из нетитулованных англичан. Его дом в Хакни, Брик-плейс, теперь носит название Саттон-хауз и находится в ведении Национального фонда архитектурного наследия. Соседний Кингс-плейс, некогда принадлежавший Гарри Перси, не сохранился.

Томаса Уайетта арестовали в 1541-м вместе с Сэдлером, но вскоре выпустили и восстановили на королевской службе. Впрочем, его обязали вернуться к жене, с которой он задолго до того разъехался, и оставить Бесс Даррелл, от которой у него был по меньшей мере один сын. Осенью 1543 года его отправили в Корнуолл встречать императорского посла, неожиданно прибывшего в Фалмут. По дороге у него начался жар, он остановился в Шерборне, где и умер.

Уильям Фицуильям сменил Кромвеля на посту хранителя малой королевской печати. В 1542 году он возглавил войско, направляемое в Шотландию, но по пути заболел и умер; наследников у него не осталось. И Томас Ризли, и Ричард Рич в свое время стали лорд-канцлерами. В последние годы Генрихова правления Ризли сделал головокружительную карьеру. При Эдуарде он получил титул графа Саутгемптона и вошел в регентский совет, но проиграл в яростной межпартийной схватке и умер в 1550 году. Ричард Рич, сменивший его на посту, основал династию и Фелстедскую школу в Эссексе; оставил пятнадцать детей и огромное состояние.

После смерти Кромвеля Артур, лорд Лайл, пробыл в Тауэре еще полтора года. Потом король его помиловал, но на следующий день, не успев выйти на свободу, он скончался «от ликования». Хонор Лайл вернулась в Англию и дожила до 1566 года. Ее дочь Энн Бассет вышла за Уолтера Хангерфорда, сына человека, казненного вместе с Томасом Кромвелем. Джон Хуси сохранил свой пост в Кале и во время французской кампании Генриха занимался снабжением английского войска. Он умер двумя годами позже, однако письма, которыми он обменивался с Лайлами, а также письма самих лорда и леди Лайл и членов их семьи составляют уникальную хронику эпохи. Подобно Джорджу Кавендишу, приближенному джентльмену Вулси, Джон Хуси – один из величайших свидетелей истории.

Чарльз Брэндон, герцог Суффолкский, умер в 1545 году, к большой скорби своего друга-короля. Его внучкой была леди Джейн Грей, которая заявила права на трон после смерти Эдуарда и процарствовала девять дней, после чего была низложена Марией, а затем и казнена.

Генри Говард, граф Суррей, был обезглавлен за измену 19 января 1547 года. Его отца Норфолка должны были казнить следом, 28 января, однако за несколько часов до назначенного времени казни король Генрих скончался. Так что Норфолк умер в своей постели, в восемьдесят лет.

Эсташ Шапюи оставался послом до 1545 года, и даже после отставки император обращался к нему за советами по поводу английских дел. Он жил в Лёвене, где основал колледж для студентов из родной Савойи. У него был незаконный сын, которого он пережил. Оставшись без наследников, Шапюи пожертвовал часть скопленных богатств на стипендии для английских студентов.

У Марии де Гиз, мадам де Лонгвиль, которая вышла за короля Шотландии, хотя ее сватал Генрих VIII, выжил только один ребенок, дочь, которую обычно называют Мария Стюарт, королева шотландцев. Второй муж Марии Стюарт, лорд Дарнли, был сыном леди Маргарет Дуглас и графа Леннокса.

Кристина Датская, герцогиня Миланская, была одной из интереснейших личностей своего времени. В ее долгой жизни был счастливый брак. В 1555 году, в правление Марии, она совершила визит в Англию и посетила Тауэр; без сомнения, она понимала, что если бы вышла замуж за Генриха, то оказалась бы там много раньше.

Мария Тюдор в конце концов все-таки вышла замуж – за Филиппа Испанского, сына императора Карла. Филипп старался как можно реже бывать в Англии; Мария умерла, несчастная и бездетная, в 1558-м, и о ней мало кто пожалел. Ей наследовала Елизавета, дочь Анны Болейн. Династия, воцарившаяся в 1485 году на Босвортском поле, закончилась в 1603-м; Елизавета была последней из Тюдоров.

Благодарности

Когда я села выразить благодарность историкам, музейным работникам и ученым, которые в эти десять лет уделяли мне время, вдохновляли меня и подбадривали, то обнаружила: список такой длинный и содержит столько знаменитых имен, что похож на вульгарное хвастовство знакомствами. Поэтому я просто хочу сказать, что благодарна всем и никого не забыла. Еще я признательна моим издателям по всему миру и той незримой армии, что стирает пыль с экспонатов и бережет сокровища, дабы, пользуясь словами Тиндейла, моль и ржа не истребили и время не уничтожило то, что осталось миру от Томаса Кромвеля.

Примечания

…серо-коричневая палая листва Дня святой Цецилии... – День святой Цецилии – 22 ноября.

«Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто джентльменом был тогда?» – Слова из речи Джона Болла (1338–1381) – английского священника-лолларда, который проповедовал социальное равенство и был одним их вдохновителей восстания Уота Тайлера 1381 г.

Поэт Скелтон однажды сравнил Марджери с примулой. – Джон Скелтон (1460–1529) – английский поэт-лауреат, наставник Генриха VIII.

…в крови железо, а не чернила. – В 2010 г., после работы над «Вулфхоллом», Хилари Мантел легла в больницу на операцию, о чем написала в книге «Чернила в крови. Больничный дневник» (Ink in the Blood: A Hospital Diary, 2010).

…некоторые жалкие богословы утверждали, что если бы Господь пожелал, чтобы мы ходили в цветном, то создал бы цветных овец. – Тертуллиан в сочинении «Об одеянии женщин» обличает роскошь римлянок, которые не только носили ткани, окрашенные дорогими красителями, но и наряжали в них рабов и даже завешивали ими стены: «Какое другое заключение можно извлечь из сего сверхъестественного смешения цветов и разнообразия тканей, как не то, что Бог не в состоянии был сотворить таких овец, на которых шерсть была бы багряного или другого блестящего цвета, в какой она теперь окрашивается? А, как известно, что Он мог бы и сие сотворить: то надлежит согласиться, что Ему было то не угодно, потому что Он того не сделал; стало быть, изменять волю Его, есть не иное что, как дерзость» (перев. Е. Карнеева).

Скарамелла идет на войну… – Популярная фроттола «Скарамелла» («Scaramella va alla guerra») французского композитора Жоскене Депре (1450–1521). Скарамелла – хвастливый солдат, персонаж итальянской ренессансной комедии.

…как там у Боккаччо? – «восстания плоти»? – Выражение заимствовано из десятой новеллы третьего дня «Декамерона» Д. Боккаччо.

Даже узурпатор Ричард Скорпион… – Историк и антиквар Джон Рус (1411–1492) называл английского короля Ричарда Третьего (1452–1485) Скорпионом, потому что в его гороскопе Скорпион был асцендентом, определяя, по мнению хроникера, мнимую мягкость короля, за которой скрывалась жестокость.

Это герб Ральфа Кромвеля из замка Таттершолл. – Ральф, барон де Кромвель (1393–1456), сражался бок о бок с Генрихом V в битве при Азенкуре (1415).

Бог в своих небесах. Ворота на засове. – Ср.: «Бог в своих небесах. И в порядке мир». (Р. Браунинг «Пипа проходит мимо». Перев. Н. Гумилева.)

…с утренней звездой, райскими вратами, кедром и лилией среди терний. – Все перечисленное, а также упомянутое ниже specula sine macula, «зеркало без изъянов», – символы или наименования Богородицы.

Он вспоминает доктора Агостино, взятого под стражу в Кэвуде… – Доктора Агостино, венецианца, личного врача Вулси, арестовали в Кэвуде одновременно с кардиналом. Кавендиш в своих воспоминаниях пишет, что с врачом обошлись очень бесцеремонно.

…на потолочных балках Хэмптон-корта затесался один Екатеринин резной гранат. – Резные символы на потолочных балках Большого зала Хэмптон-корта заменяли несколько раз: в 1529 г., забрав Хэмптон-корт у Вулси, Генрих велел сбить эмблемы кардинала и вырезать его: геральдические лилии, тюдоровские розы и так далее, потом добавил туда и Анниных соколов, которых потом тоже сбивали. Немудрено, что на каком-то этапе там могли вырезать и Екатеринин гранат, который потом позабыли сбить.

«Нет у меня сына, чтобы сохранить память имени моего». – 2 Цар. 18: 18.

Он учил нас пути и истине… – Ср.: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6).

…он открыл наши ожиревшие сердца. – Ср.: «Ожирело сердце их, как тук; я же законом Твоим утешаюсь» (Пс. 118: 70).

И кто есть сыны века, и кто – сыны света. – Ср.: «Ибо все вы – сыны света и сыны дня» (1 Фес. 5: 5). Также ср.: «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде» (Лк. 16: 8).

Поль. Из Италии пришла его книга. – «О защите единства церкви» (Pro ecclesiasticae unitatis defensione, 1536) – труд, в которым Поль опровергал претензии Генриха на роль главы английской церкви и защищал власть папы; позже был опубликован без согласия автора.

Разве я сторож брату моему?.. – Быт. 4: 9.

…прислал людей из мастерской Галейона Хоне… – Галейон Хоне (1467–1551) – фламандский витражист, работавший в Англии.

Дрозд строит храм на холме, зяблик на мельницу тащит мешок… – Стихотворение «Доверяйте женщине» из сборника средневековых шуточных песенок:

Увидите, что дрозд строит храм на холме,

Зяблик на мельницу тащит мешок,

Кулик возит бревна, чтоб дом был к зиме,

Сойка вынесла на рынок масла горшок,

Чиж на журавля грозится ножом,

Гаечка-синичка правит гусём —

Тогда и доверяйте женщине во всем!

«Грущу, сударыня, похищен поцелуй…» – Томас Уайетт, «Грущу, сударыня, похищен поцелуй».

…пироги и пиво… – Ср.: «…ты думаешь, что если ты добродетелен, так уже не должно быть ни пирожков, ни пива?» (Шекспир. «Двенадцатая ночь», акт II, сцена 3; перев. М. Лозинского).

«О Лондон, ты цветок средь прочих городов». – Уильям Данбар (1460–1520), «Посвящение Лондону».

Жаркие вздохи, холодная грудь. – Томас Уайетт, «О вздохи жаркие, летите к ней, / Прожгите эту грудь, что холодней / Полярных льдов…» (Перев. Г. Кружкова).

…чтобы перекинуться в «Сдайся-смейся». – Старинная карточная игра для пяти игроков: каждому игроку сдают по восемь карт, остальные двенадцать выкладывают на столе. Когда игрок ходит, он забирает со стола карту, парную одной из тех, что у него на руках. Когда пары заканчиваются, игрок выкладывает на стол свои карты и выбывает, или «сдается», а его партнеры над ним «смеются». Победителем считается последний оставшийся в игре.

Меня ведет любовь, я говорю любя. – Данте, Божественная комедия, Ад, 2 (в переводе М. Лозинского: «Меня сюда из милого мне края / Свела любовь; я говорю любя».

Как сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют. – Мф. 6: 20.

…напоминает ему резную деву работы Николауса Герхардта... – Николаус Герхардт (1420–1473) – самый известный скульптор Северной Европы своего времени, голландец по происхождению.

«Диалог между Законом и Совестью» – трактат английского правоведа и протестантского писателя и памфлетиста Кристофера Сен-Жермена (1460–1540), написанный в форме диалогов.

«Проходят дни, печаль гнетет сильней». – Стихотворение, приписываемое Томасу Уайетту (перев. В. Ржевской).

…окунает своих детей в древнюю купель Буршье в приходской церкви. – Томас Буршье (1404–1486) – архиепископ Кентерберийский в 1454–1486 гг., лорд-канцлер в 1455–1456 гг.; короновал трех английских королей: Эдуарда IV, Ричарда III и Генриха VII. Пожертвованная им купель находится в церкви Девы Марии в Мортлейке.

Клеман Жанекен, его псалмы. Дуэты Франческо Спиначино, сальтареллы Дальца из Милана… новая токката Капиролы... – Клеман Жанекен (1485–1558) – французский композитор, автор многоголосных песен, месс, псалмов; Франческо Спиначино (?–1507), Джованни Амбросио Дальц из Милана (?–1508) и Винченцо Капирола (1474–1548) – итальянские композиторы, писавшие для лютни.

Как сказал нам апостол Павел, что посеет человек, то и пожнет. – Гал. 6: 7.

И день и ночь передо мной… – Томас Уайетт, «В годину зла». Рефреном стихотворения звучит фраза из трагедии «Федра» Луция Аннея Сенеки Младшего: «Circa regna tonat».

Стучится рыцарь у ворот… – Уильям Корниш (1465–1523), «Стучится рыцарь у ворот».

Бенедетто работал над саркофагом год за годом… – Бенедетто Граццини, или Бенедетто да Ровеццано (1474–1554) – флорентийский скульптор. После смерти Вулси Генрих велел ему достроить предназначенную для кардинала гробницу. В конечном итоге похоронили в саркофаге адмирала Нельсона, который покоится в соборе Святого Павла.

…что-то бормочет о Дунсе Скоте. – Блаженный Иоанн Дунс Скот (1266–1308) – шотландский богослов, один из самых авторитетных философов Высокого Средневековья.

Итак, семь мудрецов, говорит он Грегори: вот их изречения. – «Семь мудрецов» – особо чтимые древнегреческие мыслители, чьи имена были объявлены в Афинах в 582/581 г. до н. э. Антологии их изречений считались полезными для воспитания юношества, однако сами списки мудрецов меняют от автора к автору. Кромвель приводит изречения Клеобула из Линда («Мера важнее всего»), Питтака Миттиленского («Лишку ни в чем!»), Хилона из Спарты («Познай себя»).

«A la Guerra, a la Guerra, Ch’ amor non vol piu pace…» – фроттола (многоголосная лирическая песня) итальянского композитора Бартомолео Тромбочино (1470–1534).

«Perche un viver duro e grave, Grave e dur morir conviene…» – фроттола Маркетто Кара (1465–1525) – наряду с Бартоломео Тромбочино самого известного сочинителя фроттол.

Мы все выросли на историях о Джеке-Соломинке и Джоне Всеисправителе – в те славные дни простолюдины захватывали Лондон, убивали судей и чужеземцев. – Речь идет о восстаниях Уота Тайлера (1381) и Джека Кэда (1450). Джек-Соломинка (Джек Стро) – один из предводителей восстания Уота Тайлера; некоторые историки считают, что за этим прозвищем скрывался сам Уот Тайлер. Джон Всеисправитель – прозвище Джека Кэда, который называл себя также Капитаном Кента.

…словно в объятиях Скевингтоновой дочки… – Скевингтонова дочка – тиски, орудие пытки, изобретенное заместителем коменданта Тауэра сэром Уильямом Скевингтоном в царствование Генриха VIII.

Трудящийся достоин награды. – Лк. 10: 7.

Он подумал, Богу есть дело до малых птиц. – Ср.: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего» (Мф. 10: 29).

Где «Зеркало Неаполя»? – «Зеркало Неаполя» – украшение из алмаза плоской огранки размером с палец и очень большой грушевидной жемчужины. Сестра Генриха Мария получила его, став королевой Франции, а когда овдовела, не вернула «Зеркало» новому королю Франции, а переслала брату, дабы смягчить его гнев из-за ее самовольного брака с Брэндоном.

…мальчишка завел песнь о войне с маврами, скорее меланхоличную, чем воинственную. – Испанский пограничный (мавританский) романс «De Antequera sale el Moro» («Мавр из Антекеры» // «Из Антекеры прибыл мавр…», композитор Кристобаль де Моралес, 1500–1553) описывает пятимесячную осаду Антекеры королем Арагонским, Фердинандом I Справедливым, в 1410 г.

«Я смуглянка молодая, роза без шипов» – песня-вильянчико «Yo me soy la morenica…» из «Песенника герцога Калабрийского», опубликованного в 1556 г. в Венеции; ее героиня сравнивает себя с черной, но прекрасной возлюбленной Соломона из Песни песней.

…едва ли отличит Понтефракт от страны Кокань. – Кокань – мифическая страна изобилия и безделья во французской и английской литературе XII–XIII вв., где текут винные реки, а пироги растут на деревьях.

«Господи, я работаю над этим и работаю над самим собой: я стал сам для себя землей, требующей тяжкого труда и обильного пота». – Августин Аврелий. Исповедь. 10, 16: 25. (Перев. М. Сергеенко.)

Она напечатана в типографии Альда Мануция, с маркой-дельфином... – Альд Мануций (1449–1515) – итальянский гуманист и книгопечатник, создатель одного из первых настоящих издательств; его книги считаются шедеврами книгоиздательского искусства Возрождения. Мануций первым начал печатать в каждой книге свою издательскую марку – дельфина, обвивающего якорь.

Когда колокола призывают читать «Ангел Господень»… – «Ангел Господень» – молитва, которая в католических храмах читается трижды в день – утром, в полдень и вечером. Чтение этой молитвы зачастую сопровождается особым колокольным звоном, который также называют «Ангел Господень» или «Ангелюс».

Невежественные северяне называют Генриха Кротом… – Согласно пророчеству о шести королях, которое относят к началу XIII века, шестой король после короля Иоанна Безземельного (1166–1216) будет Кротом – гордым, трусливым и злобным. Дракон, волк и лев прогонят его из Англии и разделят ее на три части, которыми и будут править после того, как поверженный Крот утонет в море. Шестым королем после Иоанна Безземельного был Генрих Четвертый (1367–1413), однако во времена Благодатного паломничества восставшие вспомнили старое пророчество, называя Кротом Генриха Восьмого, а Роберта Аска – Драконом.

Сравнить лорда Кромвеля с Пирсом Гавестоном… – Пирс (Пьер) Гавестон (1284–1312) – гасконец, фаворит короля Эдуарда II. Средневековые летописцы утверждали, что Эдуард II и Пирс Гавестон были любовниками.

Господи, сделай меня хорошим, но не сейчас. – Неточная цитата из «Исповеди» Августина Аврелия: «Господи, дай мне целомудрие и воздержание, но не сейчас».

Скоро пост, и вы еще поплачетесь о котлах египетских... – Ср.: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, кода мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта» (Исх. 16: 3).

Есть поэт, который пишет о зимних войнах, где все звуки застыли. – Упоминание о замерзших звуках сражения есть в «Пантагрюэле» Рабле: «Вот граница Ледовитого моря, в начале минувшей зимы здесь произошло великое и кровопролитное сражение между аримаспами и нефелибатами. Тогда-то и замерзли в воздухе слова и крики мужчин и женщин, удары палиц, звон лат и сбруи, ржанье коней и все ужасы битвы. Теперь суровая зима прошла, ее сменила ясная и теплая погода, слова оттаивают и доходят до слуха» (книга IV, гл. 56, перев. Н. Любимова). Либо Кромвель ознакомился с книгой Рабле до того, как она была опубликована, либо почерпнул эти сведения из какого-то другого источника. Упоминания о замерзших словах есть у Плутарха (Моралии, том I, диалог «О продвижении к добродетели» с отсылкой к поэту Антифану, чьи произведения до нашего времени не дошли) и у Бальдассаре Кастильоне в книге «Придворный» (1529).

…но до тех пор мы видим сквозь тусклое стекло, не лицом к лицу. – Ср.: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу» (1Кор. 13: 12).

…кардинал аплодирует откуда-то из-за примум мобиле. – Primum mobile – последняя сфера в системе мира Птолемея, расположенная по дальнюю сторону сферы неподвижных звезд и сообщающая движение всем остальным сферам.

…Портинари показывали ему Рождество, написанное для них в Брюгге лет за двадцать до того. – «Алтарь Портинари» – триптих работы нидерландского мастера Гуго ван дер Гуса. Был заказан для церкви Святого Эгидия госпиталя Санта-Мария-Нуова, сейчас находится в галерее Уффици. На центральной

панели изображено поклонение пастухов, на боковых створках – донаторы со своими святыми.

Как там вдова, мадам де Лонгвиль? – Мария де Гиз (1515–1560), старшая дочь Клода Лотарингского, герцога де Гиза. Первым браком была замужем за Луи Орлеанским, герцогом де Лонгвилем, вторым – за Яковом Шотландским; мать Марии Стюарт.

Есть и другие разбойники, чьи деяния хранит молва: Клим из Клу, Адам Белл… – «Адам Белл, Клим из Клу и Уильям из Клоудсли» – английская народная баллада, тематически примыкающая к корпусу баллад о Робин Гуде. Первые две ее песни известны на русском в переводе Игн. Ивановского под названием «Три лесных стрелка».

…рыцарей древности, таких как Бэв из Амптона и Гай из Уорика… – Бэв из Амптона – легендарный английский герой, персонаж двух жест XIII в., а также их многочисленных переводов и переделок, в числе которых «Повесть о Бове Королевиче»; Гай из Уорика – персонаж средневековой легенды, известной в Англии и Франции в XIII–XVI вв.; рыцарь, который после многочисленных побед над великанами и драконами принял монашество и стал отшельником.

Он зовет Джона Бойла… кармелита… – Джон Бойл (Бейль, Бейл; 1495–1563) – епископ Оссорийский в правление Эдуарда VI, видный английский богослов, историк и драматург. Уже в молодости отошел от католической веры, отказался от монашеских обетов и стал проповедовать реформационные взгляды. Его перу принадлежал ряд пьес, написанных в традиции средневековых мираклей, где в аллегорической форме подвергалась критике католическая церковь («Иоанн Креститель») и превозносилась реформационная политика английского государя («Король Иоанн»).

Говорят об имперской невесте: Кристине, герцогине Миланской, племяннице императора. – Кристина Датская (1521–1590) – младшая из шести детей короля Дании Кристиана II и Изабеллы Габсбургской. В двенадцать лет по настоянию дяди-императора вышла замуж за Франческо II Сфорцу, герцога Миланского, который был старше ее почти на 27 лет. Болезненный Франческо вскоре скончался, и Кристина в тринадцать лет осталась вдовой.

Ими обмениваются за столами в кентерберийском «Чекерсе»… – «Чекерс» – старинная таверна в Кентербери (вероятно, она появилась одновременно с первым наплывом паломников после убийства Томаса Бекета). Согласно анонимному продолжению «Кентерберийских рассказов», именно там остановились чосеровские паломники, когда добрались до Кентербери.

«Я законы храню, обид не чиню, верен супруге своей одной». – Из стихотворения Генриха VIII «Я слишком молод, говорят». (Перев. А. Петровой.)

Уайетт пишет: «Нашего короля оставили позади тележного зада». – Впоследствии эти слова («Король останется позади тележного зада, и, клянусь кровью Господней, если так случится, то поделом ему!») инкриминировали Уайетту как изменнические; инкриминировали ему также близость с императором и контакты с Реджинальдом Полем.

До того как святого Христофора крестили, он был людоедом с песьей головой и звался Страхолюд. – Христофор – святой мученик, живший в III или IV в., воин по имени Репрев (Отверженный, Дурной), взятый в плен римлянами и позже служивший в мармаритской когорте римской армии. Отличался огромным ростом, а до обращения ко Христу – и грубым нравом. На иконах иногда изображается с песьей головой, согласно легенде, по которой он происходил из племени кинокефалов; впрочем, уже в ранних церковных источниках указывается, что необычный облик святого и его происхождение из страны псоглавцев и людоедов «следует понимать символически, как состояние грубости и свирепости во время пребывания его язычником». Хотя многие образованные люди (например, Эразм Роттердамский) смеялись над культом песьеголового святого, Христофор был одним из самых популярных святых; Кристоф – французское произношение имени Христофор.

Собираете себе сокровище на земле, не так ли? – Ср.: «Не собирайте себе сокровищ на земле» (Мф. 6: 19).

…«Любезнейшему другу сэру Томасу Уайетту, рыцарю, королевскому послу при дворе императора». – Письмо Т. Кромвеля Т. Уайетту от 28 ноября 1538 г. В этом письме, рассказывающем о диспуте короля с Ламбертом, Кромвель употребил сочетание «зерцало и свет всех прочих королей и государей христианского мира».

Богородица Кавершемская толкает в бок святую Анну Бакстонскую… – Церковь Божьей Матери в Кавершеме была построена до 1106 г. и стала местом паломничества; ее посещала Екатерина Арагонская; церковь была разрушена в сентябре 1538 г. по приказу Генриха VIII; в Бакстоне источник теплых минеральных вод был посвящен святой Анне, матери Девы Марии, в 1538 г. Кромвель приказал «закрыть и заколотить» источник.

Это труд под названием «Утешение государей», написанный советником одного из саксонских князей. – Автор книги – Георг Спалатин (Георг Буркгард; 1484–1545), советник курфюрста Фридриха Мудрого и видный деятель немецкой Реформации, передал эту книгу Кромвелю через астронома Николаса Кратцера.

…а ваше кресло – Гибельное Сиденье. – В легендах артуровского цикла Гибельное Сиденье – место за Круглым столом, оставленное Мерлином для рыцаря, который будет достоин обрести святой Грааль. Недостойные, садившиеся на это место, навлекали бедствия на других и погибали сами.

…враги его обошли и к концу парламентской сессии получат свой Шестистатейный статут. – Согласно принятому в 1539 г. Шестистатейному статуту, прозванному Кровавым, под страхом смерти запрещалось: 1) говорить или писать что-либо против пресуществления; 2) настаивать на необходимости причащения под двумя видами; 3) вступать священникам в брак; 4) нарушать монашеские обеты; 5) говорить, что частые литургии бесполезны и 6) что устная исповедь перед священником излишняя.

Что до правящего дома Клеве – они ведь плавают по Рейну в лодках, запряженных серебряными лебедями? – По меньшей мере с XV в. графы и герцоги Клеве возводили свой род к Рыцарю Лебедя. Этот герой средневековых легенд, один из семерых близнецов, превращенных в лебедей, в разных вариантах истории носит имена Элиас или Лоэнгрин.

Если Барнс и не еретик, он очернился еретической смолой. – Ср.: «Кто прикасается к смоле, тот очернится» (Сир. 13: 1).

В ноябре он записывает в список дел: «Рединтского аббата судить и казнить». – Хью Кук, последний аббат Рединга, был осужден меньше чем за день и казнен 13 ноября 1539 г. Пятнадцатого ноября казнили Ричарда Уайтинга, последнего аббата Гластонбери. Обоих бездоказательно обвинили в отрицании верховенства короля над церковью. Уже после их смерти утверждалось, что они поддержали северный мятеж тремя годами раньше либо заговор Эксетера в конце 1538-го. Поскольку Гластонбери был самым богатым сельским аббатством Англии, а Рединг шел в этом списке сразу за ним, целью, вероятнее всего, было припугнуть несговорчивых аббатов, затягивавших передачу земель и зданий казне.

Свинцовый крест, хрустальный крест, остров Авалон… – Примерно в 1190 г. монахи Гластонберийского аббатства, по их утверждению, обнаружили кости Артура и его жены Гвиневеры. Хронисты сообщают, что на глубине пяти метров нашли гроб из целого древесного ствола и свинцовый крест с латинской надписью, что здесь погребен король Артур с острова Авалон. Сам текст приводится в пяти различных вариантах, даже насчет числа тел есть расхождения, – согласно некоторым хронистам, с Артуром и Гвиневерой лежал еще и Мордред. Большинство историков считают «находку» обманом, призванным собрать деньги на ремонт аббатства, которое в 1184 г. сгорело почти дотла. Хрустальный крест, по легенде, был получен Артуром от Богоматери и, согласно средневековым авторам, хранился в Гластонбери, где его выносили каждую среду и пятницу Великого поста.

Это Ролевинк, история… – Вернер Ролевинк (1424–1502) – немецкий писатель, картезианский монах, автор примерно 30 сочинений; из них наиболее популярной была краткая всемирная хронология «Fasciculus temporum».

«Пусть белая прекрасная рука исцелит мои печали». – Фроттола «Che la Bella e Bianca Mano» Антонио Каприоли (ок. 1450 – ок. 1520) с рефреном «Che la bella e biancha mano che m’accora e po sanarmi».

За что один лежу всю ночь?.. – Томас Уайетт, «О муках и скорбях, причиняемых любовью».

Это все вы найдете у Гальфрида Монмутского, в его книге. – Гальфрид Монмутский (ок. 1100–1154/1155) – священник, автор нескольких книг, среди которых «Пророчества Мерлина» и «История королей Британии». Гальфрид руководствовался «Историей бриттов» Ненния, «О погибели Британии» Гильды Премудрого, «Церковной историей народа англов» Беды Достопочтенного, латинскими хрониками, валлийскими легендами и, вероятно, собственной богатой фантазией; сам он ссылается на «некую весьма древнюю книгу на языке бриттов», в существовании которой историки сильно сомневаются.

…мозаичный пол из оникса, порфира, зеленого змеевика и стекла рассказывает нам в пророческих надписях, сколько простоит мир. – Мозаичные полы Вестминстерского аббатства, выполненные в XIII в. в технике косматеско (по имени семьи итальянских мастеров Космати), последние полтора века были спрятаны под толстым ковром; в 2008 г. началась их реставрация. Надписи с расчетами даты конца света сохранились не полностью, но есть их старинные копии, гласящие, что мир просуществует 19 683 года.

Он не Лютер. На том стоит – покуда Гардинер не собьет его с ног. – Ср.: «На том стою и не могу иначе» – слова, которые Лютер, по преданию, произнес на Вормсском рейхстаге в ответ на требование признать власть и непогрешимость римского папы.

…как сказал поэт, ни зелени, ни плодов, одни шипы. – Сокращенный пересказ строфы из Данте: «В нем все темно, без зелени, без цвета, / Там нет плодов, и яд в шипах древес». Ад. Песнь 13. Перев. Д. Минаева (первая строка) и М. Лозинского (вторая строка).

…или на те семена, что упали на каменистую почву. – Ср.: «…иное упало на места каменистые, где не много было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока» (Мф. 13: 5).

Я ее целовал, она меня… – Из стихотворения Джона Скелтона (см. прим. к с. 57).

…как галка, ждущая, когда созреют смоквы, питается надеждой. – Басня Эзопа «Галка и лисица», в которой лисица говорит галке: «Напрасно ты, любезная, на что-то надеешься: потешиться такой надеждой, пожалуй, можно, но насытиться – никогда».

Разыгрывая Пандара, вы позорите свои седины. – Пандар в «Илиаде» – великий стрелок из лука, однако в более поздней литературе («Роман о Трое» Бенуа де Сент-Мора, «Филострато» Боккаччо, «Троил и Крессида» Чосера) Пандар помогает сойтись Троилу и Крессиде, причем с каждым пересказом истории все отчетливее обретает черты сводника.

…кардинальские галки танцуют вокруг флагштока. – На гербе Томаса Вулси были изображены и две корнуольские галки (клушицы, одно из английских названий – beckets) в память о Томасе Бекете; эти же птицы вошли в герб Томаса Кромвеля (помимо розы Тюдоров и трех львов).

…по совету Цицерона, жить бодро, умереть храбро? – Цитата, часто ошибочно приписываемая Цицерону, на самом деле из Второй сатиры Горация: «Quocirca vivite fortes, fortiaque adversis opponite pectora rebus». «Сохраним же всю бодрость! Твердую душу поставим против ударов Фортуны!» (перев. М. Дмитриева).

Знаете, был такой прорицатель Калхас, который пережил предреченный ему час и умер от смеха. – Эту версию смерти Калхаса Мавр Севрий Гонорат приводит в комментариях к эклогам Вергилия: другой прорицатель предрек Калхасу, что тот умрет, не попробовав вина из своего виноградника. Калхас изготовил вино и умер от смеха, когда, держа чашу в руках, собирался объявить сопернику, что попробовал вино накануне.

…или может сказать, в Ирландии он или в земле Нод. – Земля Нод в Книге Бытия – место, куда был изгнан Каин после убийства Авеля; расположено «на восток от Едема» (Быт. 4: 16).

Томаса Лупсета, его «Искусство умереть достойно». – Томас Лупсет (1495–1530) – английский священник, гуманист, друг Томаса Мора, Эразма Роттердамского, Томаса Линакра, Гийома Бюде и Реджинальда Поля, помогал

своим друзьям в подготовке их книг, в частности «Утопии», оставил также много своих работ: переводов, писем, нравственных трактатов.

Любовь терзает сердце. Жребий лишает утешенья… Дни радости умчались быстролетно, Но с каждым днем беда моя все горше… – Томас Уайетт, «Любовь и жребий и мой разум».

По всей Англии есть стоячие камни: это те, кто мечтал править. «Ветка, камень, глыба, прут, меня королем Англии назовут». – В Оксфордшире, неподалеку от деревни Лонг-Комптон, есть группа неолитических стоячих камней, называемых Роллрайтские камни. Легенда гласит, что здесь некогда проезжал король со своими рыцарями. Колдунья – владелица земель – сказала, что если он, проделав семь шагов, увидит Лонг-Комптон, то станет королем Англии. Король произнес приведенные выше слова и сделал семь шагов, но оказалось, что деревню от него загораживает древний курган. Тогда колдунья обратила и самого короля, и его рыцарей в камни, а себя – в бузинное дерево.

…философ Кан, когда пришли палачи Калигулы и застали его играющим в шахматы, сказал им: «Вы будете свидетелями, что я выигрывал, – сочтите мои фигуры на доске». – Этот рассказ о философе Кане Юлии приводит Сенека в сочинении «О безмятежности духа»; правда, у Сенеки упоминаются не шахматы, а игра в камешки.

Их, маленьких школяров, дразнили свиньями святого Антония... – Свинья – один из атрибутов святого Антония Великого; по самой распространенной версии это объясняется тем, что госпитальеры-антониты разводили свиней и лечили их салом от антониева огня; по другой версии святой Антоний исцелил дикого кабана и тот стал его послушным спутником.

…я не еретик, я умираю членом единой католической церкви, и пусть зрители понимают как хотят. – Термин «католическая» (кафолическая, вселенская, в церковно-славянском переводе – соборная) означает универсальность церкви в пространстве и времени, так что Кромвель мог, не кривя душой, назвать себя ее членом, не подразумевая под этим Римско-католическую церковь.

Некоторые говорят, теперь Кленар отправится в Африку – изучать священную книгу магометан. – Голландский ученый Николя Кленар (1495–1542) задался целью прочесть Коран, дабы обращать мусульман в христианство; арабский он выучил в Гранаде с помощью раба-мавра и, так и не получив от инквизиции разрешения ознакомиться с находящимися в ее распоряжении арабскими книгами, в 1540 году отправился в Марокко, но через пятнадцать месяцев тяжелых лишений вернулся в Гранаду, где вскоре и умер.

«Все мое упование возлагаю на Твою премилосердную благость…» – Из молитвы, которую Томас Кромвель произнес на эшафоте (ее приводит в «Книге мучеников» Джон Фокс (1516/1517–1587). Также она известна из молитвенника, хранящегося в семье Уайеттов, – по неподтвержденной легенде, этот молитвенник Уайетту через одну из своих придворных дам передала накануне казни Анна Болейн. Предполагают, что в обоих случаях источником был некий несохранившийся сборник молитв.

…дабы, пользуясь словами Тиндейла, моль и ржа не истребили… – Ср.: «…собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет…» (Мф. 6: 20).

Е. Доброхотова-Майкова, М. Клеветенко

* * *

notes

Примечания

1

Перевод Ю. Корнеева.

2

Итак (фр.).

3

Пепельный, серый (ит.).

4

Застенчивость, стыдливость (фр.).

5

Излишний, чрезмерный (фр.).

6

Положение, которое было прежде (лат.).

7

«Смелее, мой храбрец!» (фр.)

8

Зал (ит.).

9

Святое вино (ит.), сорт белого десертного вина.

10

Приятного аппетита (фр.).

11

Бескорыстно (лат.).

12

Зеркало без изъянов (лат.).

13

Необходимость (лат.).

14

За день, поденно (лат.).

15

Rich по-английски – богатый.

16

У меня (фр.).

17

И я в Аркадии (лат.).

18

День гнева (лат.).

19

Любовная записка (фр.).

20

Даже в Аркадии (лат.).

21

Скамеечка для молитвы, часто резная, с налоем для книги.

22

Великие (ит.).

23

С начала, с азов (лат.).

24

В целом (ит.).

25

О мертвых либо хорошо, либо ничего (лат.).

26

Любовь побеждает все (лат.).

27

«Анна без головы» (фр.).

28

Сорванец, шалопай (фр.).

29

Благодарим Бога (лат.).

30

Радуйся, Царица Небесная (лат.).

31

Венецианская павана, феррарская павана (ит.).

32

Новые песни в четырех частях (фр.).

33

Моя вина, моя величайшая вина – первая фраза покаянной молитвы (лат.).

34

Буду угоден Господу в стране живых (лат.). – Пс. 114: 9.

35

Храни вас Бог (фр.).

36

Гром разносится по царствам (лат.).

37

Так проходит слава мирская (лат.).

38

Силой (фр.).

39

Идем (фр.).

40

Перевод А. Салтыкова.

41

Крестьяне (лат.).

42

Ученики (ит.).

43

Попал, задел (фр.).

44

Напротив (лат.).

45

Король Генрих. Королева Анна (лат.).

46

Вести, о король, ты знаешь, то не радостные вести… (исп.)

47

Жизнь коротка, искусство вечно (лат.).

48

У. Чосер. Птичий парламент (перев. С. Александровского).

49

Сила (фр.).

50

Как дела, Кристоф? (фр.)

51

От итальянского названия павлина – pavone, переливчатый темно-лиловый.

52

Да будет бдительным покупатель (лат.). – Принцип, по которому приобретатель делает покупку на свой страх и риск.

53

Время придет (фр.).

54

Слава в вышних (Богу) (лат.).

55

Тебя, Бога (хвалим) (лат.).

56

Радуйся, Царица [Небесная] (лат.).

57

Перевод Игн. Ивановского.

58

Миролюбивый кардинал (фр.).

59

Ключи Соломона (лат.), средневековый гримуар.

60

Фамилия Форрест по-английски означает «лес».

61

Тело Христово (лат.).

62

Продажа при свече (фр.).

63

Последний огонь (фр.).

64

Где щеголи, с кем я кутил
В расцвете юных дней своих,
Кто пел, плясал, шумел, шутил,
Скор на язык, на дело лих?

(Франсуа Вийон. Малое завещание. Перевод Ю. Корнеева).

65

Иностранец, молодой англичанин (ит.).

66

Чудеса! (лат.)

67

Сделано в Венеции (ит.).

68

«Да здравствует король!» (лат.)

69

Благодарение Богу (лат.), здесь – отпуст мессы.

70

Радуйтесь! (лат.)

71

Это всё (фр.).

72

Две ночные поллюции во сне (лат.).

73

Изящная непринужденность (ит.).

74

«Идем» (фр.).

75

Я хочу умереть иначе (фр.).

76

Скарамелла устроил праздник (ит.).

77

Зерцало справедливости, моли Бога о нас (лат.). – Из литании Деве Марии.

78

Перевод М. Л. Гаспарова.